

Александр Солженицын

Красное колесо. Узел III Март Семнадцатого – 3

СЕДЬМОЕ МАРТА

ВТОРНИК

478

Нет, ещё только от аппарата отойдя, Алексеев почувствовал, что отказывался недостаточно резко, надо было резче.

Нисколько не был он обрадован предложенным назначением в Верховные. Во все эти дни революции, при всех своих шагах и решениях, ни минуты он не имел в виду своего личного возвышения. И перед великим князем совестно: очень легко может подумать, что это – самого же Алексеева интрига.

Человек должен занимать свойственную ему высоту и свойственный ему объём, – только тогда он чувствует себя наилучше. Зачем бы ему ещё подниматься? Сиротливо, как на сквозняке.

Да у великого князя авторитет какой выдающийся. Смело он повелел Алексееву собрать сведения с мест о том, как принято его назначение Верховным, – и отовсюду откликнулись, что – с удовольствием, радостью, верой в успех и даже восторженно. Даже в разбурлённом Балтийском флоте поняли так, что возвращается сильная твёрдая власть и наступит порядок. Четырнадцать городов, среди них такие как Одесса, Киев и Минск, уже прислали на имя Верховного приветственные телеграммы и выражали уверенность в победе. Во всеобщем трясении этих дней великий князь был единственная скала и опора, единственная надежда! – и именно его неосторожно, торопливо, тайно толкали, свергали руки самого правительства! Это было чудовищно неуклюже. Как будто не правительству больше всех требовался порядок!

А для простых солдат, привыкших к звучанию имени? – это будет совсем необъяснимо.

И ещё – чего от него Гучков хотел? Массовой смены генералов, с одного маха?...

Поздно в ночь Алексеев окончательно решил, что откажется. Перед аппаратом он сплеховал. Уже вызывать их снова поздно, но завтра утром...

Так был застигнут врасплох, что самого важного не сказал: что это ещё за «приказ №2», мало «№1»? Рузский вчера сообщил, что получен по радио и гуляет у него по фронту такой «приказ №2» – и опять от Совета рабочих депутатов, и опять в обмин Ставки! Как будто здесь не армия была, а балаган. И «приказ» не о чём-нибудь, но: в каких частях уже произведены выборы офицеров, то выбранные утверждаются в должности!

Не то что ночь, а десять ночей можно было не спать от одного этого! Ах, не сказал! Теперь же, ночью, надо было слать телеграмму. Им всем опять, в них не разобраться, – и Родзянке, и Львову, и Гучкову (хотя Родзянки, главного искусителя, что-то не стало слышно).

Телеграфировать, что вынужден их просить, дабы никакие распоряжения общего характера не направлялись бы непосредственно на фронты. Для армии не могут быть обязательны распоряжения никому не известного совета рабочих депутатов, не входящего в состав правительственной власти, – и они не будут объявляться войскам.

Да впрочем, мало он послал им жалоб? Всё бесполезно. С грустью должен прибавить, что многочисленные мои представления правительству... Такие «приказы» грозят разрушить нравственную устойчивость и боевую пригодность армии, ставя начальников в невыразимо тяжёлое положение... без способов бороться...

А, да что там:... Или нам нужно оказать доверие – или заменить нас другими...

А не назначать Верховными...

Разошёлся в сердитости Алексеев, как ещё не был.

А – сам военный министр что приказывает? – ведь это не какой-то совет депутатов – а он тоже всё разрушает: отмена титулования, курение, карты, клубы, политические общества для солдат, – и даже намеревается отменить отдание чести! – сумасшествие какое-то... И на его №114 – уже непоправимо изданный, но с опозданием присланный зачем-то в Ставку на отзыв, – тоже надо отвечать. Раскалывали армию по самый корень – и спрашивали, как посмотрят главнокомандующие! Все офицеры Ставки, кто прочёл, были единодушно возмущены. И вместе с Лукомским уже начал Алексеев составлять ответ – и теперь глубоко в ночь продолжали. Писали обстоятельно.

... Что совершенно отменить отдание чести недопустимо: армия превратится в милицию низкого качества. Большинство старших начальников уйдёт с военной службы, и неоткуда будет набрать хороший офицерский состав. Можно отменить отдание чести, становясь во фронт, но первым должен приветствовать обязательно младший. Ослабить титулование, курение, трамваи, клубы? что ж... Но участвовать солдатам в собраниях с политической целью совершенно недопустимо: господствующее значение в армии получают крайние левые идеи. В нынешних событиях армия не приняла никакого участия, но, вовлечённая в политику, может быть вовлечена и в государственные перевороты, и трудно предвидеть, в какую сторону. Ради победы надо стремиться, чтобы армия оставалась спокойной. Не надо, чтобы мысли её были заняты политическими вопросами...

Пропала ещё одна ночь. Лёжа в постели, придумывал аргументы и даже полуязвительные, как ему казалось, фразы, потом накидывал шинель на бельё, садился к столу – и ещё вписывал ровные чёткие убористые свои петельки, крупнеющие от сердитости.

... Если армия втянется в политику, то не позже июня Петроград может оказаться в руках германцев... Пример французской революции неприменим...

И вот, кажется, что остроумное придумал Алексеев: вопрос Гучкова об отдании чести разослать всем главнокомандующим, а те чтобы разослали до командиров полков. И пусть все командиры полков отвечают! – но не Алексею, которому и так всё понятно, – а самому Гучкову! Пусть град этих писем, конечно отрицательных, грянет на голову Гучкова!

Это хорошо придумал, первый раз заулыбался.

Всё разбереженное кружилось в голове, заснуть нельзя – и приказ №114, и приказ №2, – а зашёл среди ночи в аппаратную – а там лежит ещё новая дикая телеграмма от Квевцинского: что Эверт получил телеграмму от Пуришкевича, будто «приказ №1» – фальшив, злостная провокация, и это удостоверено министром юстиции Керенским и самим Чхеидзе из Совета депутатов, и спрашивает Эверт, можно ли объявлять войскам?

Это б радость была, да какая! Но по суматохе этих дней и по собственной трезвости Алексеев теперь не поверил. Пуришкевич – он психопат, вполне мог и напутать.

Озаботился неважно, начисто спать не мог.

Ему пришла в голову и такая мысль: пока он только наштаверх – он не вызывает бури недоброжелательства. Но если в нынешней безумной обстановке его вознесут в Верховные, тут все полезут на стену, и первое же общество, ему припомнят, чего не припоминают сейчас, например его секретную директиву прошлой осени: что многими учреждениями Земсоюза ведётся революционная пропаганда и необходимо установить за ними самое строгое наблюдение, а если факты подтвердятся, то и закрывать. И сейчас если эту директиву кто вытащит, то что поднимется?

А тут ещё – обидеть Николая Николаевича. А тут ещё – разозлить главнокомандующих. Нет, нет! – ни с какой стати не хотел Алексеев брать этого поста.

Кой-как забылся к рассвету. А утром, не дожидая дальнейших событий, послал в продолжение аппаратного разговора новую телеграмму Львову и Гучкову: просил оставить в силе назначение Николая Николаевича! Получаемые от войск донесения показывают, что его

приняли с радостью... (И про два флота, и про 14 городов...) Вопль наболевшей души всех начальников, кто любит родину и армию... В такие минуты подвергать хрупкий организм армии новому испытанию, перемене, мало понятной для простой массы солдат... При таком повышенном настроении населения, получающего толчки от Петрограда и Москвы...

Так написал: верю... нет, *верую*, что вы примете в соображение всё высказанное. Именно теперь нельзя жертвовать порядком и сплочённостью армии!

Послал – и ждал всё утро. Ставку Правительство дёргало при всяком вздоре, а само на всё важное молчало, такую манеру выработали.

И – понимай как хочешь. Уже днём пришло от Гучкова всего несколько слов – и даже нельзя понять, ответ это или нет? Просто: сознаёт свою великую ответственность перед страной и обеспечит армию всем необходимым для победоносного конца.

Это – на прошлые жалобы? на последнюю телеграмму? или вообще? – как понять?...

А между тем служебный день шёл и с неожиданных сторон приносил своё. На приём к Алексееву попросился английский военный представитель Хенбри Вильямс, он же и старший среди союзных представителей. Алексеев ожидал тревожных расспросов об армии – и заковался.

Но английский генерал пришёл не с этим. Он принёс длинное письмо начальнику штаба от имени всех своих коллег, а устно пояснил, что все они предлагают свои услуги для охраны Государя императора при его возможном возвращении в Царское Село и дальнейшей поездке. Чтобы какие-нибудь революционеры не оказали ему препятствий в дороге.

Вильямс стоял в позе официальной и с холодной английской сдержанностью, – но предлагал совсем не заурядный внеслужебный шаг, движимый несомненной преданностью свергнутому императору, всегда крайне ласковому ко всем союзным представителям.

Однако не заурядно этот шаг выглядел и с русской стороны. Он выглядел бы как жест недоверия Временному правительству, сообразил Алексеев.

И ответил, что такая мера стеснила бы самого бывшего Государя в его новом состоянии частного лица. И она ничему бы не помогла, ибо не от чего Государя охранять, ему ничто не грозит. А новый запрос правительству вызвал бы только новую отяжку отъезда – новое неудобство для всех.

По уходе англичанина, внимательно читая его письмо, Алексеев узнал, что тот вёл вчера переговоры с императрицей-матерью, чей поезд всё ещё стоял на могилёвском вокзале, – и эта идея как бы не матерью внушена? Может быть, и сын о тех переговорах не знал.

Скорей бы она уезжала, не место ей в Ставке.

Скорей бы и Государь... (Лукомский уже не первый раз напоминал, что Государь слишком долго задерживается, могут быть неприятности.)

В бумаге было ещё и другое предложение союзных генералов: им издать общий меморандум о поддержке Временного правительства.

Это, пожалуй, имело большой смысл. Это хорошая идея.

Да какой выход оставался для России, если не всячески поддерживать и укреплять нынешнее умеренное правительство? Уж какое б дурное оно ни было и каким бы способом ни угнездилось у власти, но если не оно – то самые крайние разнузданные силы и общий разгром.

Даже не любя, даже не хотя, Алексеев должен был теперь служить этому правительству верой и правдой.

А между тем он слал ему только жалобы и брюзжания. А если уже союзники предлагали публиковать о своей поддержке, то раньше должна была от Ставки быть такая телеграмма, чтоб её могли поместить в газетах.

Это нужно, да, теперь он понял.

Сел, посочинял. Недолгая работа.

... Все команды штаба и все части могилёвского гарнизона сохраняют спокойствие, дисциплину, преисполнены стремлением довести войну до победного конца... И провозглашают громкое «ура» дорогой России и её Временному правительству...

(по социалистическим газетам, 5-7 марта)

ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

Товарищи солдаты! Старые силы принимают все меры, чтобы внести смуту в наши ряды. Офицеры-революционеры сейчас наши товарищи. Всякие столкновения и оскорбления – недопустимы и опасны. Только когда есть бесспорные факты... Не верьте ораторам, которые не имеют специальных удостоверений с печатью... Не будем губителями завоёванной свободы!...

ОБРАЩЕНИЕ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

Товарищи солдаты! Пришла пора разогнуть спины, сбросить все путы, мешавшие жить. Необходимо освободиться от условий, при которых старая власть обращала солдат в своих бессловесных исполнителей. Но при отправлении служебных обязанностей вы ни на минуту не должны забывать о строжайшей дисциплине... Подполковник Грузинов дал слово Исполнительному Комитету, что всех офицеров, непригодных и вредных для дела свободы, он будет удалять...

МЫ ЖДЕМ ОТВЕТА. По какому праву на свободе тот, именем которого творилось всё насилие над русским народом? Почему он свободно разгуливает по России, допускается на фронт?... В груди вчерашних владык не может не kloкотать люта́я ненависть к народу, стряхнувшему иго... В руках обломков старой власти – колоссальные богатства, которые будут брошены щедрой рукой на борьбу со свободой. В их руках – все военные тайны, знание слабых мест России. Им есть что рассказать Гогенцоллернам! Разве Бурбоны не вонзили отравленный нож измены в спину Французской революции?... Мы ждём ответа!

... Почему Временное правительство не заявило публично, что акт «назначения» царём Львова в качестве премьера недействителен? Надо снять с премьера пятно, что он – «царски-законный министр». Иначе правительство расписывается в своих монархических симпатиях.

Есть слухи, что и Николай Николаевич «назначен» царём главнокомандующим. Но он даже командовать Кавказским фронтом больше не должен. Во Франции – даже офицерских должностей не доверяют членам бывших династий, чтоб они не воспользовались ими для переворота.

КОМУ УСТУПАТЬ? Наибольшая опасность для революции – разъединение её сил раньше чем самодержавие будет сломлено... Чтобы все попытки прежних душителей народа... Если на месте одной отрубленной головы вырастет другая... Полушёпотом, полукраснея восклицают: «бедный Николай»... Обвиняют в неуступчивости нас, рабочих и солдат, но, товарищи, кто же кому должен уступать? Мы видели, как умеренные партии уступали **вправо** – почему же они теперь не хотят уступить **влево**?... Опыт истории: борись за большее, а меньшее ты всегда успеешь получить.

... На улицах открыто ведётся агитация за Михаила. Но для народа недопустим возврат к монархии. Монарх всегда выражает интересы тех групп, которые при выборах были бы

побеждены... Обезвредить династию и её тайных союзников!...

К ОТВЕТУ! ... Тиран ещё на свободе!... Николай со всеми чёрными силами может осуществить заговор контрреволюции. Мы знаем из истории народных революций... Николай и его холопы должны быть немедленно преданы суду народа.

В ТЮРЬМУ! Царя в России нет. Остался Николай Александрович. И этот Николай Александрович – великий преступник, залитый морями пролитой им народной крови...

... Самое крупное поражение Гогенцоллернов и Габсбургов – в уличных боях революционной недели Петрограда.

... таким образом, петроградским рабочим предстоит оставить улицу, где они в течение недели работали над созданием народной свободы, и вернуться к станкам? Но можно ли думать о продуктивной работе, если перед рабочими снова станет плотной стеной произвол предпринимателей?... Прежде всего потребовать немедленной выдачи денег за те дни, которые они провели вне фабрик и заводов, завоёвывая свободу для всего народа. Позором навсегда покроет себя тот, кто осмелится это оспаривать... Немедленно же восстановить заводские комитеты, которые зорко следили бы за тем, чтобы рабочие силы не расточались бесплодно. Рабочие сами должны позаботиться, чтоб их не истощали чрезмерным трудом. На предприятиях, работающих на оборону полным ходом... А на других... оберегать себя от ужасов безработной жизни.

... Временное правительство в согласии с предпринимателями постановило оплатить прогульные дни революции рабочим казённых заводов.

ЗАБАСТОВКА ПРЕКРАЩЕНА - РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Цель прекращения забастовки ясна: не столько забота об обороне, сколько показать петербургский пролетариат в шовинистическом освещении. РСДРП, которая, не боясь обвинений чуть ли не в измене, всегда боролась против попыток разных социалистов... Прекращение забастовки, конечно, временное. Временное правительство жаждет внутреннего Мира, но чаяния буржуазии не играют решающей роли для борющегося пролетариата...

Свободы – оплот демократии. Правительство всегда имеет возможность произвольно суживать рамки свобод. Шире пользуйтесь завоёванными свободами – тогда правящие классы уже не сумеют отнять их у нас. Но если народ не использует в полной мере захваченных революцией свобод... Помните, что всякое право определяется соотношением общественных сил... Что во время революции каждая минута дорога!... Дело революции не закончено, это надо повторять как можно чаще.

Воспрещение черносотенных изданий . Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов постановил воспретить выход в свет всем черносотенным изданиям, как-то: «Земщина», «Голос Руси», «Колокол», «Русское знамя». Газету «Новое время» за то, что вышла без предварительного разрешения Исполнительного Комитета, закрыть впредь до особого распоряжения.

... По сведениям, полученным Советом рабочих депутатов, последнее время переодетыми жандармами перевозятся по железным дорогам значительные кипы погромной литературы... Исполнительный Комитет решил принять самые энергичные...

От **железнодорожных жандармов** Председателю Государственной... Совету

министров... Совету Рабочих...

Железнодорожные жандармские чины оставлены на произвол судьбы. Оружие у нас отобрано неизвестными нам воинскими чинами, не предъявившими никаких уполномочий... В Комитете наших делегатов не приняли и отказались гарантировать нашу безопасность и жизнь... Просим признать нас гражданами российскими... Большинство из нас с благодарностью правительству пойдёт в Действующую Армию на передовые позиции.

... Оживление погромной агитации в Полтавской и Киевской губерниях... В поражениях армии и падении абсолютизма винят бесправных евреев.

... Товарищ Урицкий телеграфирует из Копенгагена... Не дают виз и другим революционным эмигрантам. Не пора ли гражданину Милюкову проявить побольше энергии?

... Одна из главных задач – **уничтожение хвостов**. Это вырвет последнюю почву из-под ног остатков чёрной сотни. Уничтожьте хвосты – и тем самым вы укрепите революцию!

Астрахань. Старый режим оставил на складах 1800 вагонов рыбных грузов...

... На Охте и Пороховых народная милиция занялась парализованием местной власти. В неё проникла чернь, пользующаяся оружием для реквизиций.

ГДЕ ЖЕ АМНИСТИЯ? – нельзя больше медлить.

... От всех юнкеров есть делегаты в Совете Рабочих Депутатов, кроме Николаевского училища. Чем объяснить подобное явление? Отсталостью юнкеров в политическом отношении? или начальство их держит в ежовых рукавицах? Стыдно, юнкера, в такое время не принимать участия в строительстве народного счастья!

Нижние чины авиа-авто-дружины требуют продолжать войну до условий, достойных великодержавного народа, и провести принудительное отчуждение земель...

ГОТОВЬТЕ ЗНАМЕНА! – для участия в торжественных похоронах жертв революции!... Трупы жертв не предавать земле до общих похорон.

Таинственный автомобиль... Ежедневно меняет номера... Мчится с бешеной быстротой, ночью с потушенными огнями, систематически стреляет в народ...

... состоится собрание портных, портних, скорняков, шапочников... Ввиду исключительной важности момента в жизни страны все товарищи портные и портнихи сочтут своим долгом явиться...

Учащиеся средне-учебных заведений! Позорно оставаться в стороне от общего движения немymi зрителями... Временный Центральный Комитет в гимназии Лентовской...

Товарищи парикмахеры, мастера и подмастерья! В дни великого созидания мощи народной на развалинах старого строя – спешите организовать союз!

... Товарищи кустарного башмачного и сапожного цеха!... Мы должны собраться и обсудить нашу общую тактику...

К учительству России! Товарищи учителя! Спешите образовывать организации, где их нет.

Рентгенологи Петрограда приглашаются...

Товарищи украинцы! Записывайтесь...

В Литейном театре – общее собрание Бунда...

Женщины! Настало время заявить о своих правах. Идите на митинги!

Товарищи фармацевты и фармацевтки! Грянула буря! Наступил момент строительства нового государства. Соберёмся и обсудим создавшееся положение... Мы против конституционной монархии...

ХУЛИГАНСТВО. «Воззвание. Товарищи воры, воротилы, грабители, взломщики, аферисты, шантажисты, ханжисты, политурщики, мародёры, карманники, форточники, чердачники и прочая братия. Мы много поработали в первые дни революции и нам надо собраться, чтобы избрать представителей в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов для заседаний. Объединяйтесь, товарищи, в объединении сила! Собрание для избрания депутации имеет быть в среду в 12 ч. ночи на Обводном канале под Американским мостом.

Группа сознательных деловых.»

Распространяемая по городу эта прокламация показывает, что чёрная сотня организуется для борьбы с революцией, не останавливаясь перед самыми низкими средствами. Ни для кого не секрет, кто эти заговорщики: Марков 2-й и Замысловский на свободе...

... До сих пор нигде не упомянут 176 пехотный запасный полк, что он примкнул к революционному движению.

... Предлагается всем, самовольно отлучившимся из 175 пехотного полка, вернуться в полк в ближайшие дни. В противном случае считать их сторонниками старого режима.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ...

... От графа Орлова-Давыдова...

... от больных хирургического отделения...

... от группы евреев в квартире госпожи Ринг через врача Амитан...

ВЕРНИТЕ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ! Товарищи солдаты! 28-го февраля из главной кассы управления Николаевской ж-д караулом солдат были взяты поступившие из выручек станций деньги для препровождения в Государственную Думу. Просим товарищей солдат сообщить, куда доставлены народные деньги, или вернуть их лично или почтой...

Из Новой Деревни нам сообщают: уже третьи сутки здесь приходят ораторы и призывают рабочих и солдат вооружаться, идти к Таврическому дворцу для ареста Родзянки или убить его как противника Свободы. Они же уничтожают приходящие «Известия», и агитация их имеет успех.

ТОВАРИЩИ! ЧИТАЙТЕ «ПРАВДУ» ВСЛУХ НА УЛИЦАХ,

НА МИТИНГАХ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ДРУГИМ!

НАСТОРОЖЕ. Радостный для народа подъём революции оказался „тревожным» для князей Львовых и Родзянок... Это язык правительства Николая Романова. Если Временное правительство и сделает что-либо для народа, так только поневоле, это нужно твёрдо помнить рабочим, крестьянам и солдатам. Это снова правительство капиталистов и помещиков, но умнее царского. Оно стоит против революции и хочет дать народу поменьше.

(«Правда»)

... Не признавать никаких соглашений с буржуазией! Временно утверждённое правительство признаём неудачным и надеемся, что это будет исправлено.

Резервная автомобильная рота

... Мы будем бороться за немедленную ликвидацию войны путём массовых действий рабочих всех стран. Мы будем стоять за создание Третьего Интернационала на место разрушенного войной Второго...

В ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД «ПРАВДЫ» поступило...

480

И наконец Белокаменная приходила в себя от восхитительных дней. Комитет общественных организаций издал воззвание к учащимся средней школы, что вполне понимает их горячий порыв, но не надо вносить разлада в государственную жизнь – а с понедельника следует вернуться к школьным занятиям. Его другое воззвание было: кто имеет более 20 пудов муки, пусть представит сведения о своих запасах. Впрочем, обнаружилось, что в Москве муки и без поступлений должно было хватить на 2 недели, а поступления подкатывали ко всем вокзалам, а Тамбовская и Саратовская губернии из уважения к стольному граду – подарили Москве каждая по 300 тысяч пудов ржаной муки. Тем временем снова открылись все первоклассные рестораны (повара и официанты прекратили революционную забастовку). Пошли трамваи, все украшенные красными флагами и лозунгами. Командующий Грузинов воззвал о необходимости отобрания воинского оружия, кому оно не может принадлежать. Восстановила свою деятельность биржа. На квартире Рябушинского было принято решение собрать в Москве Торгово-промышленный съезд. Разрешили открыть бега, без тотализатора однако. Во всех церквях отслужены были молебны, а священники произнесли проповеди о переживаемых событиях. Восстановилась театральная жизнь в той мере, как могла преодолеть добровольный самозапрет театрального общества: не давать спектаклей на Крестопоклонной неделе, – но где спектакли составлялись, там оркестр играл марсельезу и устраивался общий митинг артистов и публики. Кинематографы работали все, и на экранах появилась сенсационная фильма «Тёмная сила», о Григории Распутине, которую снимали для Америки, не предполагая, что её узрит и отечество. В Лиховом переулке на квартире Монархического союза был произведен обыск, а квартира начальника Охранного отделения Мартынова была разгромлена и разграблена. Решили не освобождать арестованных городских, околоточных надзирателей и приставов. Историк Мельгунов приступил к разборке полицейских архивов, а на Петровке 16 создана комиссия о несудебных арестах, дабы упорядочить аресты. Напротив, губернатор граф Татищев и вице-губернатор граф Клейнмихель, давшие подписку о верности новому правительству, были из-под ареста освобождены. Упразднился навеки чёрный кабинет при московском почтамте, и устанавливалась временная цензура телефонных разговоров с некоторых подозрительных аппаратов, а иные были вовсе сняты. Из городской думы, сердца этих революционных дней, выехали наконец и Комитет общественных организаций, в Леонтьевский переулок, и Совет рабочих депутатов, на

Скобелевскую площадь, – и в опустевшем пострадавшем здании Думы подметали, скребли, мыли стены и окна, и елозили полотёры.

И в самые эти оздоровительные дни разнёсся слух, что в Москву едет знаменитый революционный деятель, сам министр юстиции Керенский!

И это оказалась правда! До сих пор лишь второстепенные члены Государственной Думы приезжали что-либо пояснить о событиях, да свои деятели ездили в Петроград посмотреть да подузнуть. Раненная своим непревосходством, Москва ревниво следила, как всё важнейшее варится на берегах Невы, – и хоть Учредительное Собрание замышляла перетянуть к себе. А вот – ехал сюда самый яркий, самый популярный, самый левый из министров! – ехал явиться и осветить! А в частности, как предупреждала печать, ознакомиться с местными судебными установлениями. А ещё в частности – войти в непосредственные сношения с рабочим классом Москвы и ознакомиться с его взглядами на текущий политический момент.

И на Николаевском вокзале, украшенном, как и все вокзалы, красными флагами, к полудню собрались для встречи представители Комитета общественных организаций, представители Совета рабочих депутатов, представители московской городской управы, и комиссар юстиции Москвы Муравьёв, и, конечно, от московской адвокатуры, от совета присяжных поверенных, от судебной палаты, от окружного суда, – а ещё построен был почётный караул юнкеров Александровского училища.

И вот, к подкупольному перрону, выдавшему столь много славных приездов из Петербурга и Петрограда, – подошёл экстренный поезд из паровоза и двух вагонов – и на площадке второго вагона стоял первый в России министр-гражданин! (Как он был молод, как он был строен, как шло ему лёгкое пальто с меховым воротником и мягкая шляпа!) Сняв перчатку, он заранее безо всякой заносчивости показывал свою доступность, помахивал пальцами встречающим. Тут раздалась команда капитана взводу юнкеров:

– Для встречи слева, слушай, на-краул!

Юнкера взяли на караул. Барабанщик забил встречу.

Александр Фёдорович мило кланялся, прикладывая пальцы к шляпе.

Не только он: глубже на площадке стояли и тоже прикладывали два любимца Москвы – Челноков и Кишкин, тоже приехавшие из Петрограда, а на днях давшие образец гражданского поведения: Челноков, назначенный Родзянкою комиссаром Москвы, не счёл возможным состоять по назначению при наступившей эпохе свободы – и добровольно уступил комиссарство избранному Кишкину. Но даже их двоих почти не заметили при встрече.

Едва сойдя со ступеньки вагона скольльзящим движением ноги, гражданин-министр расцеловался с длинным тощим князем Дмитрием Шаховским (у обоих стояли слёзы в глазах) – и с представителем железнодорожных рабочих, который назвал Керенского товарищем. А от прапорщика принял большой букет красных тюльпанов, перевязанный широкой муаровой лентой.

Князь Шаховской, с большими ясными глазами, знаменитый кадет, секретарь выборгского заседания, дрожа от охватившего волнения, долго не в силах был выговорить даже слово. Наконец начал:

– В эти знаменательные дни, которых русский народ никогда не забудет, вы доказали, что самый ярый радикализм, самый пылкий дух можно вложить в живое дело и воплотить в реальные формы! Вы доказали это своим горячим личным примером! От имени Москвы и от имени... я приношу вам самую горячую... Благодаря именно вам мы уберегли наш город от кровавых эксцессов. В Москве всё спокойно, всё в образцовом порядке, вы убедитесь сами.

И – ещё раз пылко расцеловались.

И затем Керенского приветствовали от городской магистратуры. И затем – от Совета рабочих депутатов -

– ... как господина министра юстиции, но и нашего дорогого товарища...

И вручили ему письмо от председателя Совета Хинчука. Министр, освободясь от

букета, тут же прочёл письмо, и умное лицо его осветилось решимостью:

– Я отсюда еду немедленно к вам!

Это – меняло предположенный распорядок, и смутило представителей судебных властей, прокуроров, комиссара юстиции, приветствовавших министра от имени, от имени и ещё от имени...

Но Керенский, принявший весьма официальный вид, заявил:

– Прошу меня не ждать. Я буду и в суде.

И затем, отвечая на все приветствия резким, далеко слышным голосом:

– Товарищи!... Господа!... У меня нет слов, чтобы выразить, что я переживаю! Но я лично – я только исполняю свой долг. Я знаю, что русский народ – великий народ, и русская демократия – великая демократия! Для них – нет ничего невозможного, а я... я только являюсь их орудием. Да, для меня величайшее счастье, что эти дни я мог действовать наверняка. Я шёл прямой дорогой, ибо хорошо знал и крестьянство, и рабочий класс, и вообще весь русский народ... Вот, я приехал от имени Временного правительства, пользующегося всей полнотою власти, приехал передать вам привет от нас, министров, и заявить, что мы отдаём себя в распоряжение нации и будем исполнять её волю до конца! И вот, я приехал спросить вас: а идти ли нам до конца?

– До конца! до конца!... – загудела толпа, принявшая к этому времени громадные размеры. Здесь толпились солидные, раскормленные общественные деятели, и немного офицеров, и много солдат без строя, рабочие, мещане, студенты и гимназисты.

И закинув голову движением роковым, принимая эти клики как глас народа, Керенский шагнул ещё и обратился к почётному караулу:

– Господа офицеры, юнкера и солдаты! От имени Временного правительства я приветствую русскую армию, навсегда освободившую Россию от тиранической власти! Отныне у нас только один народ – народ вооружённый!

Прошёл гулок восхищения.

– Старая рознь между офицерами и солдатами, между армией и народом – отошла в вечность. Мы все теперь – граждане! – раскинул он над собою одну руку в лайковой перчатке, другую без перчатки. – Мы все теперь – сыны великого свободного народа.

И – пошёл, пошёл, легко, свободно, не зашёл в парадные комнаты вокзала, а сразу на улицу, где ждал его автомобиль.

С ним рядом заняли места как адъютанты – два артиллерийских офицера, прикомандированных от командующего войсками.

И под крики «ура» и рукоплескания автомобиль тронулся от вокзала. В Совет рабочих депутатов, на дружеский и негласный разговор революционеров.

Корреспонденты газет тем временем бросились в редакции.

481

После убийства Фергена, в тот же вечер, хромящего капитана Нелидова под большим конвоем, чтоб его не растерзали по пути, отвели в свою 2-ю роту, и советовали или объявили, что он теперь совсем не должен выходить из ротного помещения, ни даже на свою квартиру в офицерский флигель, а постоянно находиться и жить в ротной канцелярии.

Впрочем, и над трупом Фергена солдаты 4-й роты потом жалели и даже были плакали – и приведя растерзанное тело в порядок, положили в гроб, отнесли в полковую церковь, служили панихиду. Но пришла мать штабс-капитана – и почему-то не выдавали ей трупа, и снова надругались над ним.

Голова уже переступила через всё, что можно было понять, не понять, Нелидов жил уже как бы не он, и всё равно. И, пожалуй, в ротной канцелярии безопасней, хотя здесь никогда не один, а как всякий солдат в казарме, и в голове гудит, гудит постоянно.

Сразу же пришлось ему выручать ротного фельдфебеля, уже сильно избитого. В роте существовал ящик, куда складывались собственные деньги солдат и при этом записывались в

тетрадь, а когда солдату надо было – он брал. Фельдфебель и хранил этот ящик и вёл эту тетрадь, всё это заведено было против краж. Как начались беспорядки – фельдфебель прекратил выдачу денег, за что его и избили. Теперь распорядился Нелидов все деньги пересчитать и раздать на руки.

Хотя солдат никто как будто не преследовал, но все в роте были крайне возбуждены и даже напуганы – боялись этих самых рабочих. Говорили Нелидову откровенно: это *вольные* не велят нам козырять и чтоб мы не поддавались ехать на позиции – а мы на позиции не прочь, да и козырять нам не тяжко. Объяснили ему теперь солдаты, чего он раньше и не предполагал: что Выборгская сторона все прошлые месяцы была утыкана дезертирами, которые жили по поддельным паспортам от подпольщиков, иногда по финским паспортам, свободным от мобилизации, – и вот эти дезертиры среди рабочих сейчас громче всех и на горло брали.

У рабочих у всех заимелись винтовки и даже автомобили – а в роте винтовок почти не было. На ночь выставляли против входных дверей стол для дежурного и дневальных, а на него клали заряженные винтовки, стволами ко входу.

Нелидов послал взять из клиники разобранные там винтовки и ещё сумел добыть с арсенального склада – тогда рота стала спокойней.

Теперь его как командира роты вызывали сидеть на заседаниях батальонного комитета – идиотское, нудное и бесконечное сиденье. Почти непрерывно выступали, сменяя друг друга, двое-трое солдатских заправил, вышедшие наверх не по грамотности, не по уму, а по нахальству, – и теперь они несли любую чушь. Но ни одного жизненного вопроса комитет разрешить не мог, и обсуждение самых пустячных длилось часами. И иногда уже приближалось, вот почти решено, – тут выступал кто-нибудь из трёх, что ещё упущено, надо добавить, – и опять размазывалось на часы.

И только один вопрос решился единогласно и быстро: в батальоне лежал приказ об отсылке очередной маршевой роты на фронт. Решили: своей роты не отправлять, а набрать и послать вместо себя арестованных городских. Об этом послали делегатов в Совет рабочих депутатов. И даже – в Москву и в Казань, чтоб и тамошних арестованных городских забрать сюда, в счёт.

Кто-то надоумил батальонных вожakov, что надо создавать комиссии по разным вопросам. Создали. Но все комиссии, едва коснувшись дела, тут же и отказались за полным незнанием, как приступить и наладить.

Тем временем во всех ротах постановили, что солдатские занятия должны быть в день только два часа. Тогда и все хлебопёки, сапожники, шорники, обоз – тоже стали работать лишь два часа. Всё в батальоне остановилось. Писаря перестали выписывать наряды – и из гарнизонных складов перестали отпускать муку и продукты. Никто не хотел и чистить выгребные ямы, они переполнялись и зловонили. Приходили к Нелидову взводные и отделённые командиры и просили освободить их от должностей: они не только не могли никого ни в чём заставить, но превратились в батраков для своих подчинённых, и всё, что надо было принести или сделать, – должны были делать сами.

И тогда батальонный комитет решил возвращать всех офицеров, кого найдут, – на места. Стали ходить по городским квартирам разбежавшихся прапорщиков и уговаривать их – вернуться в батальон. Капитана же Нелидова выбрали заведующим хозяйством батальона. Он принял, поставив условием, что всех назначит сам и чтоб его распоряжения не обсуждались комитетом.

И комитет принял.

Теперь разрешили Нелидову перейти жить на свою квартиру. Особенно были все довольны, что он сумел выдать солдатам очередное месячное жалование.

И может быть только по этой своей популярности он смог вчера спасти капитана Дуброву: солдаты учебной команды, все его ненавидящие, как-то разведали, что он лежит в Николаевском военном госпитале. Отправились туда на грузовике, выволокли Дуброву из палаты, из госпиталя, никто из врачей не смел помешать, и повезли на грузовике в свои

казармы, избивая по дороге и здесь избивая на гауптвахте. И готовились его расстреливать тут же, у дровяного штабеля, – Нелидов еле успел туда дойти, с палочкой, остановил их и убедил, что надо отослать в Государственную Думу, таков закон. (Дуброву один раз уже и спасли там.) На искровавленное лицо капитана при полуотнятых руках и ногах страшно было смотреть.

И так вчера в полном изнеможении и даже в омертвлении всех чувств Нелидов впервые пришёл ночевать в свою квартиру, – впервые с той страшной ночи, когда увели Сашу Фергена и через десять минут вбежал Лука с воплем, что капитана подняли на штыки.

Ещё живым казалось место, где Нелидов последний раз поцеловал Фергена в ледяные губы.

К себе самому уже было полное равнодушие, хоть пусть и расстреливают, – а пока не расстреливают, так лечь и заснуть.

Но не успел и сапог снять – раздался звонок, правда нормальный и без грозного стука. Лука открыл – и вошёл капитан Степанов – только что с поезда, только что вернувшийся с Кавказа! И была в нём ещё неломаная свежесть отпускника.

Да он знал ли, что здесь творится?

Знал... То есть знал вообще о петроградских событиях, но ничего путём о батальоне.

– Швейцар флигеля тебя видел?

– Да.

– Ну так, брат, сейчас же исчезай. Твоя рота – тебя приговорила к расстрелу, тебя сейчас арестуют. Сашу Фергена так убили, знаешь?

Побледнел. Да ничего он не знал, он же прямо с вокзала.

Нелидов спешил ему рассказать, но и спешил отправить, чтобы спасти. Решили, у каких знакомых он будет, на Петербургской стороне, – и он исчез. Уже потом спохватился Нелидов, что надо было шашку у него отнять, на сохранение. Да сами всё ещё не привыкли, дико.

Не успел Степанов уйти – нагрянул десяток солдат:

– Где Степанов?...

– Не знаю, ушёл.

Сидел Нелидов и подёргивался: вот сейчас услышит стрельбу или прибегут, скажут, что растерзали, как Фергена.

Но не шли, слава Богу, не шли, и Нелидов, изломанный всеми передрыгами, ведь десять дней это уже длилось, так и заснул, мертво.

А сегодня рано утром его разбудил свой фельдфебель, умоляя спасти капитана Степанова (он же и был их 2-й роты). Оказывается, от своих он вчера вечером успел уйти, но на Гренадерском мосту его задержали гренадеры – отняли шашку, допрашивали, опознали полк и вернули ночью сюда, в казармы. И на него накинулась кучка негодяев из 2-й роты, стали оплёвывать, избивать и хотели расстрелять.

Но как раз эти сутки их рота несла караул по батальонной гауптвахте – и фельдфебель (которого Нелидов сам недавно выручил) сумел убедить обидчиков, что расстрелять лучше завтра утром, увёл от них капитана Степанова на гауптвахту и посадил – но под надёжных часовых, которые его не выдадут.

И всей власти капитана Нелидова было: срочно послать в Государственную Думу надёжного унтера, чтобы сейчас прислали сюда автомобиль со своим конвоем – и переняли бы Степанова под арест туда в Таврический.

Еле успел автомобиль.

482

Сегодня Агнесса с Адалией под ручку пошли смотреть, как впервые пустят трамваи.

И зрелище стоило того! Сперва появилось несколько служебных вагонов, обтянутых красной бязью, к одному были прицеплены две открытые платформы, на них сидела

воинская музыкантская команда и всё время не переставая играла марсельезу! Этот трамвайный поезд ходил по городу под одни сплошные овации. Все прохожие останавливались и любовались. На Невском и на больших улицах население встречало манифестацию трамваев обнажёнными головами.

А потом пошли уже обычные пассажирские трамваи, но все с плакатами: «Земля и воля» – «В борьбе обретёшь ты право своё!» – «Да здравствует демократическая республика!» А из некоторых вагонов марсельеза доносилась изнутри.

Агнесса и Адалия, украдкой друг от друга, вытирали слёзы. Открыто, по Невскому, под общее ликование – «В борьбе обретёшь ты право своё!»... Как это описать?

А кому не выпало дожить? Святые герои! За то, чтобы мы теперь могли жить, они отдали своё самое драгоценное!

Прекрасный сон! Искупаются все мученики за свободу!

На некоторых остановках вокруг трамваев собирались митинги, и трамвай тогда задерживался. Отходил трамвай – митинг рассыпался. Но умирительно было смотреть на гражданский сознательный порядок, как вся публика, не исключая и военных, повиновалась милиционерам, иногда совсем юным, не дородным псам старого режима, и устанавливалась в единую очередь, и все садились с задней площадки, никто не толкался локтями, не лез с передней, – общее доброжелательное солидарное настроение, коллективная радость, когда все друг друга любят – дух революции! – и вот отчего так хорошо, как не могло достигаться при старом режиме никаким принуждением. Вот, уже и наступает всеобщее братство!

А день – белоснежный, после мятели на понедельник, морозный, солнечный, радуется небо голубое. Сестры отшагивали, иногда приходилось под музыку. Неужели – **свершилось** ?...

Это слово «свершилось!»- во всех воззваниях, во всех газетах, им наполнен воздух, - громоподобное слово, – а каким другим и можно выразить?! Революция – победила!!! Поймите, братья, – победила! Развалилась казарма сословий! Кто только не угнетал личность! – племя, клан, каста, сословие, церковь, семья, государство, национальность, – всё теперь сброшено! И личность встает из этого хлама, из этих цепей!

На Невском, на солнышке, у стены дома, расстелив по утопанному снегу брезентик, какой-то дядька разложил стопочками, продаёт – запрещённые книги. Покрикивает, предлагает. Смотри, Даля, смотри! – Кропоткин «Речи бунтовщика»! Лавров! Карабчевский – «Дело Сазонова»! Толстой против церкви! Ницше – «Антихристианин»!... Сестры – к нему, наклонились, перебирают дрожащими руками, счастливыми пальцами. Смотри же! смотри! Если б нам сказали десять лет назад – что вот так, на Невском, на брезентике, открыто будут продаваться?... – и не налетает городской?

А публика неблагодарная – тоже не налетает, уже всем хочется новой...

Да ведь в этом книжном лотке сфокусирована эпоха!

Пошли счастливые дальше.

А все эти разбитые, замазанные гербы?!

Или: Мариинский театр хочет установить автономию от государства! Разве не символ?

Чего боялись многие наши? Не дожить до революции, или что она своей кровавостью не оправдает надежд. И вот – всё не так!!

По Садовой – и пошли на Михайловскую площадь, где тоже большой разъезд трамваев. И там встретились, остановились на солнышке (всё-таки морозец забирает) со знакомыми Адалией – интеллигентная брачная пара, хотя просто либералы, пингвин и гагара, но лично вполне честные. (Адалия знавала таких, у Агнессы таких не бывало.)

Они: **кого** же мы боялись? **Кто** это так цепко держал нас когтями двуглавого орла? Как легко нам досталась невероятная победа!

Агнесса отбрила им: нет! Совсем не так легко, свободу принесли нам те, кто пали в тёмные годы. Высокая цена.

Муж-пингвин застыдился: да, мы неблагодарно упускаем... Но где же было набраться обывателю политической практики? Ведь до сих пор политикой можно было заниматься

только героям. А вот – народ пошевелил плечами, и...

Народ? Как теперь согласно: все славят «народ», всё сделал – народ, и как-то забыли об интеллигенции! А между тем: от Радищева до Спиридоновой, 150 лет жертвенной борьбы – чьей же? А – народ? Что он такого сделал? Всё-таки можно бы быть благодарным интеллигенции больше.

Проворчала гагара: как можно было уголовных распускать. Тут отповедала Адалия:

– Да разве они виноваты, что социальные условия бросили их в водоворот преступлений? А теперь им в тюрьме обливать слезами нашу свободу?

Пошагали сестры домой, Агнесса сказала в сердцах:

– Меня что возмущает, что сегодня каждый обыватель «отряхается от старого мира» и намекает о себе, что только по счастливой случайности не казнён при старом режиме!

Ах, пусть. Но как захвачена молодёжь! Как горды, что это всё совершили они. Вероника теперь окончательно спасена, она – в животворной струе. Общество помощи освобождённым политическим – нельзя было ей найти лучше! Прямая связь с традицией!

Да теперь может и Саша отстанет от этой дрянной купеческой девчёлки?

483

И как же замотали, ловкачи: и сами не взяли власти и другим не дали. И не мог Шляпников относиться к соглашателям с откровенностью, скрытничал с ними и подозревал подвох на каждом шагу, да так оно и было. Против блока оппортунистов не вытягивала партия большевиков в Исполкоме. Но знал он, что неприятен им, мешает, – и доволен был, что мешает, и сидел, по-любимому руки скрестя на груди, молча.

Сегодня Шляпников необходимо должен быть тут потому, что в повестке стоит вопрос о рабочей милиции, по которой он считается главный уполномоченный. А ещё будет обсуждаться вопрос об отправке в Ораниенбаум 1-го пулемётного полка.

А пока они с живостью и волнением обсуждали слух, что по каким-то железным дорогам какие-то переодетые жандармы перевозят кипы погромной литературы – и какие надо энергичнейшие меры принять, чтобы воспрепятствовать перевозке. Шляпников молчал. Не поверил он ни на грош этой панической истории: все жандармы были насмерть перепуганы, искали, как жизнь спасти, а не перевозить опасное. И – на каких же именно дорогах? и кто эти кипы видел? почему не отобрал? и почему ни одной брошюры для примера не доставили? – откуда ж узнали, что погромная? Но очень нервные тут были все верховоды.

Потом начали обсуждать «Известия», по докладу Нахамкиса. Ещё три дня назад Шляпников бы должен был ухо держать востро, и вмешиваться, и захватывать влияние, – но теперь была своя «Правда» и катитесь вы. Понятно, что они так волнуются: от газеты вся сила зависит. Теперь давал Исполнительный Комитет Стеклову дис-кре-ци-онную власть над газетой, значит: действовать по изволению, как его левая нога захочет. И в редакцию набрал – дружка своего Циперовича, Базарова, Гольденберга, ещё Авилова – так не нашего Глебова, а Бронислава, меньшевика. Ну, ещё там и Бонч, хоть и трус и изменник, а заставим на нас поработать.

С Бончем тоже теперь разбирался персональный вопрос: взял да отполировал в газете генерала Рузского, тот устроил Исполкому истерику, – но и принять сторону генерала не могли меньшевики, а и с Бончем ничего не могли сделать по нерешительности.

Теперь ещё крупный вопрос: о похоронах жертв революции, уже отложенных на десять дней, а теперь ещё на неделю: нельзя на Дворцовой площади! вмешался Горький с художниками и архитекторами.

На Горького Шляпников стал в обиде. Все последние годы, кажется, был заодно с большевиками, с кем же? А в эти Дни закружилась ли голова, все его признавали своим и чествовали, да вообще в мозгах у него сидело некрепко, – и присоединился он к златоустам классовой гармонии, любителям единства, – и отказался сотрудничать в «Правде», так

бедной литературными силами, что бы значило ей имя Горького! Звонил Шляпников усовестить его – ответил: «помогаете врагам революции!» Мы – врагам революции? Это – наша пролетарская честная «Правда»? Буржуазным дурманом застило голову ему самому. Какую-то свою отдельную радикально-республиканскую партию затевал.

Ну, наконец о пулемётных полках. 2-й пулемётный удовлетворился казармами на Охте и никому особо не мешал, а вот 1-й пулемётный разорял Народный дом и, самое главное, его уборные, уже начали солдаты испражняться на бульваре вокруг Народного дома, – так что к наступающим дням весны это грозило превратиться в заразу в центре города.

Всё – как будто так, с уборными ничего нельзя исправить, и невозможно сейчас, ещё при снеге, первым революционным строительством начинать разрывать бульвар и строить новую канализацию. И натурально жить полку там, где для него оборудованные казармы, в Ораниенбауме. Всё как будто так, но 1-й пулемётный, расположась на Кронверкском наискосок от ПК, – уже сильно приклонил ухо к нам, наши там поработали, – и обещает стать боевой силой большевиков – да ещё вооружён пулемётами! – и как раз его дать вывести из города? Ни за что! Для этого Шляпников и собрался биться, но не слишком громко и широко, чтоб не дошло до фронтовиков: фронтовики со своей стороны обижаются, почему этих не ведут на фронт, а тем всё время воевать? Да и тут пересилить большинство голосованием он тоже не мог. А стал подпугивать исполкомовцев пулемётчиками: ведь не стерпят! а ну – повалят с пулемётами на Совет?

Боялись.

И высмеивал собственными же их доводами: как же они сами придумали, добились не выводить революционного гарнизона, а теперь выводят? Кто ж будет им верить? И другие части взбунтуются? Да любой батальон смахнёт вас тут всех.

Но эти ловкачи были из тех, которых и в ступу загнав, там не утолчешь пестом – увернутся. Сейчас же, тут же, они придумали и постановили: послать требование военному министру, чтоб Ораниенбаум также был объявлен районом Петрограда и оттуда тоже не имел бы министр права никого послать на фронт без разрешения Совета. И таким образом этот вывод полка станет совсем и не выводом, а даже расширением завоеваний революции. И чтобы пулемётный полк, уйдя в Ораниенбаум, имел бы своих постоянных представителей – тут, при Петроградском Совете.

А главное, заявил Чхеидзе, и вот откуда он был такой бесстрашный: имеется заявление товарища Пешехонова, что сам полковой комитет пулемётчиков имеет желание вести полк в Ораниенбаум, но нужно им приказание от Совета.

Заёрзал Шляпников на стуле: дело плохо, обморачивают наших там ребят. Но здесь – ничего сделать не мог, записали постановление: просить 1-й пулемётный полк сего же числа выступить в Ораниенбаум и (как главное!) впредь без разрешения Исполнительного Комитета не дать себя никуда посылать. И поручили Скобелеву немедленно отправляться в Народный дом и там объявить. Самое страшное, это они понимали, – объявить.

Шляпников тихо вышел и быстро послал гонца на Кронверкский: там как раз сейчас при ПК на Бирже труда собирались активисты из 1-го пулемётного. Пулемётчиков? – не отдадим!

484

(по свободным газетам, 7 марта)

ЗАЯВЛЕНИЕ КНЯЗЯ ЛЬВОВА ...Принял представителей печати...

– Конечно, не для интервью и для лишних слов теперь время. Временное Правительство работает день и ночь... Не меня поздравляйте, господа, а великий русский народ, чьё величие проявилось в Великой Русской Революции. События так велики, так потрясающе грандиозны, что никаких слов не нужно. Невероятная яркость и быстрота

переворота... народный гений совершил чудеса, ошеломил весь мир своим величием и своим великодушием к прошлому. Над Россией засияло солнце, мы все в лучах этого солнца... В Петрограде уже всё расчищено для новых идей. Но Россия велика и не везде могли понять смысл ошеломительного переворота. Кое-где на периферии произошли незначительные эксцессы, к ликвидации которых Временное Правительство стремится с осмотрительностью. Тяжёлые недоразумения разразились лишь в Балтийском флоте. Нельзя успокоиться на том, что старая власть свергнута и слава Богу. Наша задача – в каждом гражданине создать веру в светлое будущее России, – и в таком духе постепенно перевоспитать многомиллионное население. Самое трудное – это внедрить в умы новый образ мысли. Надо на всех ступенях жизни посадить людей, проникнутых новыми идеями. Когда надевают чистое бельё, грязное необходимо снять. Сменить администрацию сверху вниз...

На вопрос, когда будет созвано Учредительное Собрание, министр-председатель ответил, что это – чрезвычайно сложная задача, потребует от 3 до 6 месяцев. На вопрос о дальнейшей судьбе Николая II: об этом Временное Правительство будет иметь суждение в ближайший день и своё решение опубликует особым актом.

... Впервые Россия становится вровень с передовыми странами Европы, впервые вводится у нас западно-европейский строй...

ЗА ХЛЕБОМ. Временное правительство посылает на места своих комиссаров, которые должны разъяснить крестьянам всю важность и необходимость обеспечения хлебом и другими продуктами.

... Центральный Продовольственный Комитет закончил подсчёт всех наличных запасов муки. Петроград в течение ближайшего времени вполне обеспечен хлебом.

... Под влиянием происшедшего переворота настроение крестьян коренным образом переменялось. Крестьянство, проникнутое доверием к новому правительству, при высоком патриотическом подъёме повезёт хлеб...

... Переворот в Гельсингфорсе произошёл с минимальным количеством жертв. В дни переворота матросы по своей инициативе усилили караульную службу.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА. Новый командующий военным округом заявил корреспонденту «Биржевых ведомостей»: «Разобравшись немного в событиях, я уже теперь в полной мере убеждён, что совершившийся переворот принесёт благо России, благоприятно решит исход гигантской борьбы... С глубоким негодованием отвергаю ходячее мнение, будто перемены в России отразятся на ходе военных действий.»

АМНИСТИЯ. УКАЗ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

... Отблеск праздника возродившейся страны должен озарить и жизнь общеуголовных преступников...

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!

КОНЕЦ РУССКОЙ БАСТИЛИИ... Шлиссельбургская крепость подожжена. Пробил час русской бастилии! При трудности определить, кто является политическим, освободили уголовных и воров рецидивистов. Старый каторжанин Орлов, которому ничего не стоило зарезать человека за целковый, теперь рыдал как ребёнок. Вкатили в главные корпуса бочки с керосином и бензином. Загрохотали взрывы, вся тюрьма пылала. «Проклятая, пусть погибнет навеки!»

ПОБЛАЖКИ ДИНАСТАМ. Герман Лопатин обратился к военному министру... Отъезд царя в Ставку – к чему это допущено? А что если появится манифест: «возбуждаемый *неотступными мольбами* нашей героической армии, я чувствую себя вынужденным поднять снова бремя правления, а посему беру назад своё отречение...»?

СНЯТИЕ ЦАРСКИХ ПОРТРЕТОВ... Царскую усыпальницу в Петропавловской крепости сделать Пантеоном погибших революционеров. Царей выбросить, а дорогие нам святые прахи свезти туда.

Рассказ генерала Рузского. ... Для меня было неожиданностью, что литерный поезд царя направился во Псков. Я распорядился, чтобы прибытие царя прошло незаметно... Поразительно, с каким хладнокровием и невниманием отнеслись к пребыванию царя население и войска... Я лично держался от царя в стороне, избегая с ним встреч и разговоров... Я не решался высказывать царю своё мнение, не имея решительно никаких директив от Исполнительного Комитета...

Гомель. Здесь задержан бывший министр двора бывшего царя граф Фредерикс.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ожидается в Петроград в ближайшие дни.

РАСПУТИН И ДВОР. Выясняются чрезвычайно интересные детали...

Заявление арестованных. Группа офицерских, жандармских и полицейских чинов, находящихся в Таврическом дворце, считает своим нравственным долгом засвидетельствовать о том особом попечении, которым они пользуются со стороны администрации...

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ! Бывшие царские опричники содержатся в Кремле на дворцовой гауптвахте в прекрасных помещениях, получают изысканные кушанья!

СРЕДИ ЕВРЕЕВ. Телеграмма объединённого комитета еврейских общественных организаций Москвы...

... В ближайшую неделю будет созвано совещание представителей Бунда по всей России.

Еврейский студенческий митинг всех высших учебных заведений Москвы...

... Причт, староста и прихожане Благовещенской церкви сокрушаются о легковерии к слухам, будто стреляли с их колокольни и снято оружие... Просят дать покой верующему населению принять молитвенное участие в текущих событиях и просить у Господа благословения на новую, честную, свободную, спокойную жизнь...

... Если безжалостный бог битв потребует отказа от наших целей, далёких и гордых, – склонимся перед диктатом войны. Русский рабочий обязан дать русскому солдату всё необходимое.

... Северная столица идёт как бы по великолепному государственному инстинкту.

... Редакция завалена письмами по поводу нового гимна...

БРАЧНЫЕ ЦЕПИ. Необходимо немедленно разорвать ещё одни цепи, цепи брачные, под тяжестью которых томились и томятся тысячи людей, которые ошиблись в оценке друг друга.

ГЕРМАНИЯ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ... Хаос толкований...

Американский посол высказал живейшую радость по поводу перемены строя в России.

... При петроградском общественном градоначальстве создаётся бюро сыска для задержания важных уголовных преступников, ошибочно выпущенных на свободу...

... Все пожарные части опровергли: на их каланчах пулемётов не было...

... Автомобиль 15-00 с чёрным флагом в последние дни положительно терроризировал мирное население и милиционеров, которых он расстреливал.

ВОЕННЫЕ ДЕЛА. ОВАЦИЯ А. Е. ГРУЗИНОВУ.

Досадная опечатка вкралась в предыдущий приказ подполковника Грузинова по войскам г. Москвы. Напечатано: «Затем стройными рядами проходили мимо меня мои войска», нужно читать: «мимо меня народные войска.»

... Собрание служащих сберегательных касс шлёт земной поклон рабочему классу...

... Председателю Государственной Думы. Общее собрание легковых извозчиков Москвы приветствует новое правительство России. Много жертв унёс старый режим...

... Полковник Печёнкин обращается с покорнейшей просьбой к студенту-универсantu, производившему 1 марта совместно с тремя солдатами осмотр квартиры полковника в его отсутствие, – возратить забранное из квартиры древнее и старинное оружие, редчайшие экземпляры, имеющие большую ценность.

ПОТЕРЯН БАГАЖ. 27 февраля на Николаевском вокзале я передал свой багаж неизвестному, который...

В дни революции **подкинут ребенок.** Умоляю добрых людей откликнуться.

Знающих местонахождение испорченных и оставленных автомобилей...

ДВЕ ПАРЫ ВОРОНЫХ рысаков нарядных продаются...

485

О чём говорилось в московском Совете рабочих депутатов при закрытых дверях – не узнала пресса, естественная скрытность революционных деятелей. Но в 3 часа дня Александр Фёдорович Керенский на автомобиле въехал в Кремль. (Его сопровождал присяжный поверенный Муравьёв, уже назначенный председателем Чрезвычайной Следственной Комиссии. Тем более благоволил к нему Керенский, что другой очень прогрессивный московский присяжный поверенный, Тесленко, уже трижды за эти дни отказался быть товарищем министра юстиции, и это проникло в газеты и не могло не служить к некоторому омрачению сверкающего имени Керенского.)

В громадном Овальном зале Судебных Установлений, с его великолепной потолочной лепкой и люстрами, собралось и уже ждало второй полный час так много представителей судебного ведомства и присяжной адвокатуры, как только могла выставить Москва и вместить в этот зал. Впрочем, при таких редкостных событиях никакие часы ожидания не тягостны, а стечение лучших умов само себя интеллектуально питает. Уже известно было, что новый министр круто не переносит все ордена прежнего режима как ордена ложные и все ведомственные формы как оскорбительно-тиранические. Итак, хотя никто из чинов судебного ведомства ещё не был разжалован – все они явились как лица сугубо штатские, лишённые званий и орденов, и только единою строгою чернотой костюмов рознились от многоцветных пиджаков независимой присяжной адвокатуры.

Ещё в вестибюле Керенского встретили эти десигнированные председатели департаментов судебной палаты и прокуратуры. По другую сторону ковровой дорожки тут же собрался в полном составе совет присяжных поверенных, лучшие умы и языки Москвы.

Молодой стройный министр (в австрийской куртке, но в этот раз с проблеском белого воротничка) милостиво и с большой любезностью покивал в одну сторону, покивал в другую, пожал несколько случайных рук и стрелою направился в зал, все остальные за ним.

Помнил ли когда-нибудь Овальный зал такое переполнение и столь бурные длительные аплодисменты – ещё будут спорить историки. Аплодисменты никак, никак, никак не хотели смолкнуть. Лишь с трудом через них протрубился голос Муравьёва:

– Господин министр! Здесь собрались московские судебные установления – судебная палата, окружной суд, прокуратура, адвокатура, служащие суда – встретить первого министра юстиции свободной России!

– На стол! на стол! – раздались воодушевляющие голоса.

И Керенский, как бледный ангел в чёрном, взлетел на стол. Речь его прозвучала лаконично, но как ясно осветила она вперёд прожектором всю его многообещающую программу! И какие переливы святого волнения свободы теснились в струе этого голоса при несколько отрывистой дикции.

– Господа судьи! Господа присяжные поверенные! – (Он переставил их вперёд.) – Господа прокуроры! Родилась свободная Россия и вместе с нею родилось царство закона и свободной судейской совести. Старый порядок ниспровергнут навсегда и безвозвратно. Я надеюсь, что те из судей, которые служили старому режиму, найдут сейчас ответ в своей совести, смогут ли они отдать себя служению делу истинного правосудия или исполнят свой служебный долг и уйдут! Я хотел бы, чтоб наступление царства правды не заставило меня прибегать к экстренным мерам и тем омрачить нашу общую радость.

В столь вежливой форме предупредив закоснелых, как можно решить проблему несменяемости судей, министр обернулся в ту сторону, где более теснились адвокаты:

– А в вас, господа присяжные поверенные, я горячо приветствую единственное сословие, геройски и до конца охранявшее в России светильник правосудия!

Единственное сословие России! И как это было правдиво! И как заслуженно светились адвокатские лица!

Отдельно к прокурорам министр не обратился, но сразу:

– А вам, господа служащие канцелярий, а вам, господа курьеры, я даю слово, что впредь вы будете пользоваться всеми правами, которыми должны пользоваться все свободные граждане свободной России. Организуйтесь для защиты своих интересов!

И спорхнул со стола.

Затем уже судьи и прокуроры были ни при чём, а в помещении совета присяжных поверенных собрались одни адвокаты, все свои, и атмосфера очень потеплела.

– Товарищи! – говорил министр, и любовь была в его голосе. – Право у нас в России только и осталось в одной вашей... нашей корпорации. Впрочем, едва ли нужны лишние слова. И просто... позвольте мне у вас просто отдохнуть...

Это сердечное обращение растрогало адвокатов. Наступила величайшая непринуждённость. Министр сидел за столом заседаний, пошевеливая ошейник глухого

воротника, а адвокаты толпились со всех сторон и красноречиво напоминали наболевшие вопросы, когда-либо ими же красноречиво поднятые. Один из них был – о женщинах-юристках.

– О да, о да! – оживился усталый министр. И решительно обратился к председателю совета. – Я прошу вас немедленно начать приём женщин в сословие. – Он посмотрел на наручные часы. – Если можно – даже сегодня, постарайтесь.

Присяжные поверенные живо интересовались, какая будет расправа с царём.

– Господа, – возразил министр, – в такой момент не должно быть нервирующих разговоров. Представители династии в руках правительства, в моих собственных руках, – и неужели мы способны на компромиссы? Но! не должно быть места и инстинктам мести.

Коснулись вопроса об освобождении политических. Министр объявил, что от консорциума петроградских банков получено на нужды освобождаемых полмиллиона рублей. Коснулись, как организовать торжественную встречу возвращающихся из Сибири. Министр отнёсся очень поощрительно и особо указал на необходимость встречи «бабушки» русской революции Брешко-Брешковской:

– Она моя учительница в эсерстве и мой друг. И когда она проедет через Москву – дайте мне знать, я сам её встречу в Петрограде.

Тут оказалось, что и среди присутствующих есть присяжный поверенный, отбывший ссылку в Сибири. Министр порывисто расцеловался с ним. Вообще министр был мил, обаятелен, населил восторгом присяжных поверенных. Он просил их и впредь не стесняться и свободно делать ему указания на необходимые реформы или вопросы.

Но увы, дела звали его дальше, вся Москва нуждалась в нём. Под бурные овации министр вышел-вышел-вышел, на кремлёвском дворе сел в автомобиль и со своими офицерами-адъютантами поехал на съезд мировых судей.

Они его все ждали давно и все без формы, как и было предупреждено, но в чёрных сюртуках. Все стояли, и председатель съезда приветствовал Керенского речью: о том, что мировые суды действуют более 50 лет...

– ... и блестяще! – вставил министр (хотя уже распорядился обойти их временными судами из рабочих и солдат).

– ... и выборные мировые судьи оказались победителями в борьбе за свою независимость и незапятнанное знамя.

И Керенский вдруг стремительно нагнулся, рукою до полу, думали – он обронил что-нибудь, нет, – это он низко поклонился мировым судьям, всегда шедшим по правде и совести, и так донесшим факел до наших дней.

Он, кажется, много хотел тут сказать, но посмотрел на часы и заторопился. Ему надо было мчаться в электротheater «Арс» на Тверскую, где его ожидали более тысячи делегатов московского гарнизона. По дороге сопровождающие офицеры досказывали ему, как развивается движение в гарнизоне, как уже не первый раз офицеры и солдаты тут заседают вместе, а позавчера после заседания пошли из «Арса» по Тверской, под марсельезу, взявшись под руку вперемежку, – и так, привлекая восторг населения, до памятника Скобелеву, где были речи, и затем к университету – сообщить студентам своё решение о войне до победного конца.

В огромном театре все поднялись – защитное сукно, солдат больше, и многие не сняв шапок, и встречали министра густым хлопаньем, а он прошёл на сцену и стоял – тонкий, скромный и бесконечно-значительный. А когда наконец аплодисменты утихли – он вострепнулся к речи, и звонкий голос его достигал последних рядов амфитеатра.

– Я, министр юстиции Керенский, член Временного правительства, более чем товарищ вам, – ибо я не только убеждённый демократ, но я и убеждённый социалист и, я думаю, я понимаю нужды народа. Скажите, могу ли я сообщить Временному правительству, что московская армия – наша, что она верит нам и сделает всё, что мы ей скажем?

И вся аудитория загудела: «Верим! Ваши!» – и снова гулкие хлопанья.

И – ещё говорил Керенский, как пришло время в пробуждающейся армии показать не

дисциплину внешних приказов, но железную дисциплину долга перед родиной. Нужно колоссальное самообладание. Вот исполнилось пламенное желание: командный состав и солдаты слились в единстве!

То ли речь уже кончалась, то ли была заминка обдумывания, но в перерыве министерского тенора раздался из зала бас:

– А почему Николаю II разрешён проезд в Ставку?

– Заверяю вас, – властно отозвался Керенский, – Николай II находится полностью в руках Временного правительства. В Ставке он не имеет никакого значения.

– А правда, что Верховным Главнокомандующим назначен Николай Николаич?

– Вопрос о Николае Николаиче, – отвечал Керенский, – тоже обсуждался Временным правительством. И могу вас заверить, что если правительство обнаружит в этом отношении колебания – я не задумываясь уйду из его состава!

Не успели понять – в каком направлении, какие колебания, – вдруг министр зашатался как тростинка – к нему кинулись, офицеры из свиты подхватили под руки, еле успели не дать ему упасть – и опустили в кресло на сцене, с пепельным лицом, опущенными веками, в обмороке.

Зал загудел: что сделали с любимым народным министром? Да не умирает ли он?...

Ему бегом несли стакан, попить и побрызгать.

Кто-то стал объяснять над рухнувшим бездыханным, что министр уже неделю не спит, не отдыхает...

О! Каково ж напряжение революционной энергии!

Да – не спит ли он?

Да, кажется, он просто заснул.

Но! – вот уже зашевелился! Он испил воды. Он даже, кажется, улыбнулся изнеможенно.

И вот – уже поднимался!

Уже поднялся?

Да! Он уже говорил опять, и голос его набирал прежнюю звонкость:

– Господа! Откуда эти разные слухи? Не придавайте им значения! Уверю вас, со стороны династии нам не грозит никакой опасности. Все они находятся под неослабным надзором Временного правительства, и будьте спокойны: пока я нахожусь в министерстве, – голос его уже был грозен, удивительно было это мгновенное преобразование, – никакого соглашения со старой династией быть не может! Династия будет поставлена в такие условия, что раз навсегда исчезнет из России! Создавайте новый народ – а всё, что осталось позади, отдайте мне, министру юстиции!

И снова это был властный пронзительный министр, от которого ничто в стране уже не могло укрыться.

Тут на сцене электротeatра появился и командующий Округом Грузинов. Его тоже встретили овацией, а он сообщил аудитории, что войска московского гарнизона всё более настойчиво желают видеть его не временным, но постоянным командующим. Что делать?

Министр отнёсся очень отзывчиво:

– Это великолепно! Я обещаю поговорить в правительстве, чтоб именно так и было!

486

Подполковник Бойе двое суток так и не вышел на батарею, чего никогда не бывало. Сидел ли безвыходно в землянке? отлучался куда? не только солдаты его не видели, но и офицеры. И последний батареец мог догадаться, что подполковник волчится на отречение.

Но чёрное его отчаяние никак не передалось Сане: ну не монархия, так «республика» – «дело народа», святое слово, ещё привольней люди живут? Когда Саня с Котей учились в одесском училище – 40-летний юнкер-«дед», учёный землемер, подсаживался к роялю и были ж юнкера, кто ему подпевали:

Выпьём мы за того, кто «Что делать?» писал,

За героев его, за его идеал.

Скорей на Саню подействовали строгие лица солдат при чтении манифестов и как потом расходились в молчаливые кучки без обычного мельтешения и шуток.

А Чернега – как будто и совсем не придавал значения, легко балагурил о разном. А Устимович и сам пришёл как солдат – с вопросом, с озарением под густыми валиками бровей:

– Солдаты поговаривают – будет мир теперь, а? Наступление отменят?

И так это светилось в нём – Саня не нашёлся погасить.

А газет не было, вместо них прикатывали слухи. То: в Австро-Венгрии революция, Венгрия отделяется. То: царь – скрылся, новое правительство его всюду разыскивает, а в Петрограде – 12 тысяч убитых, ужас!!

Потом прорвалась одна московская газета с блекловатыми фотографиями новых министров – лица как лица, вполне обывательские, никаких сверхлюдей.

И тут же пришёл приказ по Западному фронту: уменьшить ежедневную дачу хлеба.

А боевых не то что действий, но и шевеления не стало. После наших событий противник и вовсе стрелять перестал – не то что из орудий, но ни даже пулемётной очереди, и работ никаких.

И пришло Сане в голову: а не снять ли пока боковой наблюдательный, оставить один передовой против Торчиц, облегчить дежурства? А командира батареи всё не видно. Пойти пока присмотреться самому.

День был в пеленистой мглице, может где-то недалеко шёл снег. Морозец небольшой, но Саня надел свою кавказскую бурку – была она ему как родная душа со своего Кавказа, ласковый тёплый мех, на наблюдательном и спать в ней хорошо. Не гнался Саня за тем воинственным видом, какой придавала бурка, но какую-то силу сообщала она. Хотя – заметна очень, и в обычное время остерегаться высунуться в ней.

На боковом наблюдательном застал на дежурстве старшего фейерверкера Дубровина. Любил его: понимает стрельбу, интересуется топографией. Он был награждён серебряными часами «за отличную разведку» и с важностью сматривал на них. На дежурствах не ленился, всё набирался полезного. Смуглое, всегда серьёзное, даже хмуроватое его лицо не казалось мальчишеским, хотя ещё не росло на нём.

Сейчас он передал подпоручику журнал наблюдений. В общем – передовые линии спали.

Подпоручик достал свой любимый цейс, стал медленно обходить знакомую местность. Неизменно занесенные снегом запущенные решётки и каменные кресты на православном кладбище, как бы безлюдном (а там хорошо врыты и замаскированы долговременные сооружения). Еле дымят такие изученные Скарчевские окопы. По закрытому скату, слышно, прогнали тележку – значит к мосту на Щаре.

В глубине блиндажа у телефона сидел Улезько, здешний житель, вот уж наверно странное чувство воевать у себя дома. А Дубровин стоял у смотровой щели, грудью к земляному косяку, рядом с подпоручиком. И спросил тихо:

– Ваше благородие. А хотите, я может вам сейчас любопытную штуку достану?

– Какую, ну тащи.

– К пехоте надо сходить.

Ушёл. Улезько подрёмывал на чурбаке с трубкой. Минут через десять Дубровин вернулся. И на дощечку перед наблюдательной щелью, хорошо освещённую, положил – прокламацию? Небольшой листок грубой бумаги, на нём крупно: «Приказ №1».

Чей? Саня глазами вниз: Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Что

ещё за командование? Стал читать.

... Во всех батальонах, батареях немедленно выбрать комитеты от нижних чинов... Винтовки, пулемёты должны находиться под контролем комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям...

– Что они? С ума сдвинулись? – сказал подпоручик вслух, и не мог не накрыть листовку воспретительной ладонью. И оглянулся на Улезьку.

Дубровин с невозмутимыми щеками:

– Да уж знает. Все уже знают.

– Как? А мы ничего не знаем.

– От пехоты. По Перновскому полку их не одна ходит. Перновский гудит. И у ростовцев, кажись, есть.

– Да откуда взялась?

Дубровин сумрачно и носом шмыгнув:

– Лих её знает. Из тыла привезли. Может отпускные.

– Так это же глупость! Да и при чём тут мы? Это – Петроград, к нам не относится.

Снял ладонь, стал читать дальше.

... Вне службы и строя, в своей общегражданской и частной жизни солдаты... Обязательное отдание чести вне службы отменяется...

– А что у нас – не служба? – спрашивал подпоручик Дубровина, будто тот и писал приказ. – У нас всё служба.

К отданию чести Саня тоже с трудом когда-то привыкал, но теперь так понимал, что без чести – не армия.

... Отменяется титулование – ваше превосходительство, ваше благородие...

– Ну, это другое дело.

Эти «вашбродь» какие-то тряпки заношенные.

... Воспрещается грубое обращение с солдатами...

Очень правильно.

... Воспрещается обращение к ним на «ты»...

Усмехнулся:

– Был такой словарист Даль, пишет: тот учитель, который гордится, что называет учеников на вы, – лучше бы научил их называть себя на ты, тогда б он знал русский язык. «Вы» – не русское обращение, и совсем для нас неловкое. В старину говорили: ты, Великий Государь, не прав!

Однако листовка лежала под пальцами. Доложить начальству? – так это не в нашей батарее. Дубровин принёс – Дубровин и унесёт.

Оглянулся на Улезьку. И различил в полутьме внизу его уже не дремливое, но любопытное, от щели освещённое, добродушно-соблазнённое лицо.

487

Итак, предстояло обратиться ни много ни мало – к народам всего мира, сразу! И хотя под этим воззванием стоять будет подпись всего двухтысячного Совета Рабочих Депутатов – Гиммер ощущал, будто его собственный тонкий и слабый голос должен прозвучать на всю Европу и дальше. Он когда брался, в соревнование с Милюковым, искажившим смысл нашей революции, ещё не почувствовал всей трудности.

Привлечь бы Горького! Вот чьё могучее слово, высокого художника, могло бы взволновать и захватить народы! Позвонил Гиммер Алексею Максимовичу и попросил его написать такое воззвание. Тот согласился.

Но ещё пока он напишет – а у Гиммера самого руки тянулись к перу. Да ничем другим в Исполкоме он теперь и заниматься не мог, раз уж замаячила, замучила его великая задача. И после того как Чхеидзе подсказал неплохую фразу – пусть народы возьмут дело войны и мира в свои руки, – Гиммер записал её и так начал строить воззвание. Он не сомневался, что

Горький напишет сверх-художественно. Но разве сумеет он предвидеть все подводные камни выражений, столкновения разных социалистических фракций и крыльев самого Исполнительного Комитета, чтобы мимо всех этих скал благополучно провести проект? Нет, только Гиммер мог все эти рифы видеть и миновать.

Главная трудность была: выдержать честный интернационализм и циммервальдизм, ни в коем случае не дать пищу и опору оборончеству – но суметь провести это воззвание через Исполком, где оборонцы составляли большинство, а значит – бросая им какие-то куски. Но бросая эти куски, ни в коем случае не дать левому крылу Исполкома обвинить себя хоть в тени шовинизма, этой явной заразы для всякой честной революционной публики. Надо было под микроскопом рассматривать каждое своё выражение. Но и ещё: надо было не забывать, что кроме народов всего мира это воззвание будут читать и русские солдаты, а они мыслят о немце по-старому, как только о враге, и надо так умело к ним подойти, чтобы парализовать всякую игру буржуазии на том, что революционная демократия призывает «открыть фронт» и тогда Вильгельм слопаёт революцию.

Вообще «солдатский вопрос» и вообще все солдатские вопросы и дела вызывали у Гиммера кошмарное отталкивание, томление духа, как только кто-нибудь поднимал их на Совете, а это случалось каждый день. Он активно и наступательно сознавал, что солдатская масса – это величайшая помеха, крайне вредный и весьма реакционный элемент нашей революции, хотя именно участие армии и обеспечило её первоначальный успех. Теперь, правда, уже исчезли опасения, что столица может оказаться во власти солдатчины, что революция будет повреждена разгулом солдатской стихии. Но опасность залегала глубже, общая вредность в том, что армия вообще участвовала в революции: потому что это была форма вмешательства крестьянства, его незаконное, глубоко вредное проникновение в недра революционного процесса, в русло, которое должно было принадлежать одному пролетариату. Хотя крестьянство и представляло собою, увы, большинство населения, но, жадное до одной лишь земли, направляя все свои мысли к укреплению лишь собственного корыта, к избавлению от земского начальника и урядника, крестьянство вполне имело все шансы продремать главную драму революции и никому бы не помешать. Пошумевши где-то в своей глубине, подпаливши сколько-то соседних усадеб, поразгромив помещичье добро, – получило бы крестьянство свои желаемые клоки земли и утихомирилось бы в своём идиотизме сельской жизни. И гегемония пролетариата в революции не встретила бы никакой конкуренции – и единственный революционный и социалистический по своей природе класс довёл бы революцию до необходимых пределов.

Но из-за того что шла война и крестьянство было одето в серые шинели – оно возомнило себя главным героем революции. Не где-то там в сельской стороне и не в Учредительном Собрании, где оно угрожало большинством (да когда ещё будет это Учредительное, да и так ли оно нужно?), – нет, вот тут, над самой колыбелью революции, крестьянство стояло неотступно, тяжкой массой – и все с винтовками! Таким образом оно выдавало себя за хозяина и страны, и государства, и революции. Это было совершенно неуместно и исключительно вредно! Истинные задачи революции, непосильные крестьянству, с успехом можно было выполнить при его нейтралитете.

И главная из этих задач была, вот, ликвидация войны. И именно в этой задаче крестьянство могло очень напортить, ибо шло на поводу у буржуазии, прислушивалось ко всякому национал-шовинистическому вздору, ко всяким противонемецким жупелам, ко всяким офицерско-кадетским нашептываниям – настолько, что с ним легче было говорить о наступлении, чем о мире. Даже здесь, в Петрограде, пройдя революцию, солдатская масса просто не позволяла говорить о мире, просто на штыки готова была поднять каждого как «изменника» и «открывателя фронта».

Было от чего возненавидеть эту солдатчину и с тоской видеть, как непроглядные мужики в серых шинелях забивают собой думские залы – и в них тонут лица передовых

пролетариев! Да мало: уже и в сам Исполнительный Комитет впёрлось десятеро солдат, и нужно было считаться с ними чуть ли не как с равными заседателями, кошмар, и никак не придумывали их отлавировать. (Придумали: пусть солдатская секция изберёт свою Исполнительную Комиссию – и уже избрали, 40 человек, – и может быть от нас перекочат туда.)

И вот: надо было так составить воззвание, чтоб и эту солдатчину не перепугать и не оттолкнуть.

Вчера днём так получилось: Гиммер мучился над своим текстом, а тут прислали готовый текст от Горького. И решительно не было ни единого тихого уголка во всём Таврическом, где бы присесть поработать. И пришла такая парадоксальная мысль: всё равно везде шум, а отправиться на заседание солдатской секции в Белом зале, и там, в этом чужом окружении, может быть даже и лучше мысли придут: как же к этой серой массе подладиться?

А заседание, как всегда, от назначенного два часа ещё не открывалось, не собрались, хотя кресла были все полны, кто дремал, кто ходил, курил, кто группами митинговал, – дремучая масса, можно себе представить, какие там глупости среди них выговариваются, как они растеряны от обстановки!

Но не толковать с ними пришёл Гиммер, а поднялся на секретарскую огороженную площадку, быстро согнал оттуда робкого солдата, сел, вынул из кармана трубку горьковского текста, потрёпанную складку своего – и стал работать, иногда отфыркиваясь от табачного дыма. Возвышенное положение над собранием как-то символизировало его роль направителя этого моря.

Стал читать – величественные красивые слова Горького просто накатывались как океанские валы! – но видно, видно было сразу, что это превосходное воззвание не пойдёт, оно всё было в плоскости мировых культурных перспектив. Вставками, поправками? Нет, тут ничем нельзя было спасти дела. Итак, надо было продолжать на своих клочках готовить большой манёвр.

Тем временем собрание солдатской секции началось, но Гиммер долго не слышал его, даже и стука председателя-прапорщика Утгофа над головой, и доклада Скобелева, как он ездил в Гельсингфорс и что там. (Да ничего особенного там, разве во Французскую столько крови пролилось?) Потом долго доизбирали в свою Исполнительную Комиссию, уже человек за 80, ослы! – а попадали туда многие прапорщики, подпрапорщики да писари. Когда же пошли прения и Гиммер вслушался, то ещё раз изумился солдатскому идиотизму: они не могли подняться ни до какого крупного политического вопроса, а только о своих гражданских правах (а зачем они им нужны? вот, действительно, разбудили!), дав истерике размалёвывали тяготы солдатской жизни, и все по очереди одно и то же, а председатель-прапорщик подзуживал их, и так они разгорелись, что требовали отменить всякое вообще офицерство. Тут даже и Гиммер вчуже понимал, что это глупость, и Исполнительный Комитет из лояльности к правительству не мог бы согласиться. Но ведь и возражать надо тоже осторожно: нельзя аргументировать, что без офицеров дезорганизуется фронт (а может быть это и было бы простейшее решение войны?), но выдумывать что-то другое, обещать отвод наиболее нежелательных офицеров и продвижение солдат в офицеры.

Всё это сиденье тут вчера только и убедило Гиммера, насколько беспросветно найти не то что общий язык с солдатами, но хоть какие-то выражения, сносные для их ума.

А над своим возванием он терпеливо работал – и вчера до конца дня и сегодня с утра. Признавали и другие товарищи, что воззвание Горького как ни красиво – а не пойдёт. И Гиммер корпел и ввинчивался в свою композицию, набок язык заворачивался от предчувствия, как это будет проходить в Исполкоме: справа ли, слева ли поддержат, – а противоположная сторона сразу загудит возмущённо. По лезвию, по лезвию – и можно протанцевать, надо уметь.

А сегодня Алексей Максимыч – и сам пришёл, хмурый, в Исполнительный Комитет. Это произошло впервые! – и Чхеидзе поднялся торжественно, чтобы его приветствовать, но

момент был – уже конца заседания, и смялось.

Гиммер забеспокоился, что Алексей Максимович так заинтересован в своём воззвании и теперь ведь обидится, если сказать ему, что... Но нет, он не по воззванию пришёл, а верней по воззванию, но по другому. Прислал его художественный комитет с воззванием к народу о сохранении дворцов: узналось, что в Петрограде толпа побила сколько-то статуй и стёкол. Воззвание было уже готово, написано ещё красивее – беречь дворцы, это чудо народное, сделанное под гнётом деспотизма, – Исполком тут же охотно принял и отправил в типографию.

У Горького же было и ещё поручение от комитета художников: что вздорно решение Совета депутатов хоронить жертвы революции на Дворцовой площади: нельзя её разрывать, и нет там места, и разрушен будет архитектурный комплекс. А только – на Марсовом поле.

И потирал снизу усы в озабоченности, и смотрел на одного, другого деятеля.

Да Исполкому всё равно было, где хоронить. Но отстаивая себя от Совета решать вопросы истинно принципиальные, скрытные, некрикливые, – не хотелось испытывать терпение массы ещё на этом мелком, но зацепистом вопросе: уже решил ведь Совет – на Дворцовой.

Но как раз шёл Чхеидзе в Белый зал председательствовать на рабочую секцию. Взял и Горького, пусть сам и обратится к массе.

Горький уверен был в силе своего убеждения. Пошли, проталкиваясь через стоящих – и наверх.

Нельзя сказать, чтобы вход писателя был замечен залом, хотя и посадили его на секретарское возвышение.

Ещё заседание не началось, а зал уже был задымлен до тумана. Шинелей мало, а всё чёрная рабочая одежда.

Но Чхеидзе не мог начать, как хотел, потому что сразу и надрывно полезли с внеочередными заявлениями. Первый, Блейхман, уже и трибуну захватил. Пришлось ему дать слово.

От имени петроградских коммунистов-анархистов он требовал допустить их депутатов в Совет. А ввиду того что Временное правительство уже куёт цепи – то немедленно убить всех арестованных старых министров. И требуют анархисты: отменить всё, что сокращает нашу свободу; и выдать им оружие и патронов, так как революция не закончена, и материальную поддержку. Ибо свобода в опасности, а их выгнали из типографии, требуют разрешения Исполнительного Комитета. Где же свобода?!

Уж Чхеидзе уговаривал его, что не надо так долго, всё ясно, в Совете место дадим.

Но так же непримиримо полез депутат Черноморский.

Что он хочет за подписью ста присутствующих товарищей немедленно огласить судьбу Николая II, и не только его одного, но всего царствующего дома, который разъезжает по всей России, это экстренный вопрос! В широких массах рабочих и солдат, завоевавших для России свободу, возмущены, что низложенный Николай Кровавый, жена его, и сын маленький, и мать находятся на свободе, разъезжают по России и на театр военных действий. Даже он уполномочен не ста человеками, но всеми четырьмя тысячами, это большой вопрос! Почему мы должны узнавать, что Николай едет заниматься цветами в Ливадию? Немедленно потребовать, чтобы Временное правительство засадило всех членов дома Романовых под надлежащую охрану!

Ах, Чхеидзе ли, в этом самом зале и столько лет, не бился о самой широкой гласности! Но сейчас он ясно видел оборотную опасную сторону её. А чем же Исполнительный Комитет и занимался, как не толкал Временное правительство арестовать Романовых! Но нельзя же было об этом так прямо вслух публично.

И он стал выговаривать депутату и отговаривать, что вопрос – да, животрепещущий, неотложный, но... (приходилось сказать, иначе не убедишь)... нельзя дать противникам улизнуть. Просит председатель здесь решения не принимать, а мы сами всё постановим.

Как-то убедил. А после этого заговорил торжественно, навёрстывая почёт, недоданный

Горькому:

– Товарищи! Перед вами стоит человек, который вышел из вашей среды и показал миру, какая мощь и творческие силы заключаются в пролетариате.

Слегка похлопали, как каждому, но не поняли, кто такой.

– Это Алексей Максимович Горький! – гортанно нагонял Чхеидзе своё упущение.

Горький сперва прочёл воззвание о сохранении дворцов.

Зал тихо послушал, несколько раз хлопнул. Чхеидзе проголосовал – принять.

Тогда Горький уже побойчей:

– Вы решили устроить похороны на Дворцовой площади. Почему именно в этой земле? Вы думали, в Зимнем дворце будет Учредительное Собрание? Но признано неподходящим. Художники предлагают устроить похороны на Марсовом поле. – И ещё золотил, умасливал: – И мы предлагаем устраивать там национальные праздники, концерты, картины для удовольствия народа. Будет приятно, если весь мир увидит, как культурен русский пролетариат. Ещё ни одна революция не шла в ногу с искусством. Вы – первые выполните эту задачу!

Хорошо слушали, никто не кричал против.

Горький отговорился, довольный, что убедил.

А стали голосовать – отказали. Не желают.

ДОКУМЕНТЫ – 16

СПРАВКА

Выдана причту Благовещенской церкви в том, что обысками 1, 3, 4 и 6 марта в церкви ничего подозрительного не найдено. Слухи о подземных ходах и оружии в церкви оказались неосновательны.

Председатель Василеостровской

народной милиции Соломон

Секретарь Каплун

488

Комитет общественных организаций был в Москве как бы своё здешнее временное правительство – то есть уважаемые, всем народом излюбленные и выдвинутые общественные деятели (неприятно одёргиваемые только Советом). Правда, управлять они могли лишь одною Москвой, но сужденья иметь могли обо всех делах государственных, и так например вчера в пленарном заседании по предложению одного профессора обсуждали: почему царь Николай II находится в Ставке, почему Николай Николаевич назначен Верховным Главнокомандующим? – И приняли резолюцию, что Комитет находит необходимым подвергнуть царскую семью личному задержанию. Или о Московском военном округе, охватывающем 10 губерний, также было составлено ими суждение: ходатайствовать об оставлении командующим – милого Грузинова.

Пленарные заседания их последние дни обикли проходить в старинном Английском клубе, давнем центре московского свободомыслия, к тому же очень удобном в отношении помещений, залов и хорошего ресторана. И сегодня к концу дня они все уже собрались там и заседали, когда среди сидящих прошелестела весть:

– Приехал! Приехал!

И председательствующий Прокопович тотчас прервал очередного говорящего и торжественно объявил:

– Товарищи! – (Это сладкое слово они уже употребляли вместо «господа».) – Сейчас мы будем иметь честь приветствовать...

И – двери распахнулись, и в них, как любимый публикою артист при появлении

задерживается на миг дать разразиться рукоплесканиям, встал Керенский (а за ним виднелся всё тот же Грузинов). И, о боже, что поднялось! какие бурные аплодисменты, какие клики «ура», «браво» и «да здравствует Керенский!» Много минут собрание просто не могло успокоиться. И растроганный министр всё кланялся, всё кланялся, благодаря.

Когда же все расселись и воцарилась тишина, то первым выступил новоизбранный комиссар Москвы Николай Кишкин, коренастый, с растрёпанной бородкой, очень энергичный, некогда врач, но уже давно-давно видный общественный деятель.

– Я только что вернулся из Петрограда, вот в одном поезде с министром, и, – горячо, – могу засвидетельствовать, что если бы не было Керенского, то не было бы и всего того, что мы имеем, здесь и по всей России! И золотыми буквами должно быть записано его имя на скрижалях истории!

И поднялась овация ещё на пять минут.

Затем Кишкин вкратце пытался передать, что же делается в Петрограде.

– Когда я ехал туда, меня волновал вопрос, так ли всё чувствуют и понимают в Петрограде, так ли бьются их сердца, как наши? И вот, когда я встретился с князем Львовым, я задал ему первый вопрос: понимает ли он, что теперь нельзя идти старыми путями? Он ответил: «да, конечно», и что теперь все законы должны выходить из народной массы, что законодательствовать должен сам народ.

Затем Кишкин образно описал первые дни событий в Петрограде, и что творится там сейчас. Москва легче перенесла, дружнее сорганизовалась, тотчас же после переворота забились все артерии её муниципальной жизни.

– В Петрограде другое. Он ещё не спаялся, в нём ещё дух растерянности. На Москве обязанность – зажечь Петроград! вдунуть в него жизнь! Мы должны отсюда ударить его свободным лозунгом. И мы, москвичи, совершив это, и результаты отразятся не только на России, но и на всём земном шаре. Русская революция двинет весь мир, и мы должны в это верить!

Как только произнёс он «земной шар» – так сразу закружилось, закружилось в головах, и представилось это величественное шествие революций по всей Земле, – и собрание залилось аплодисментами.

А самый-то главный юбиляр – но не забытый, нет, а в ожидании минуты своей, сидел у всех на виду в президиуме, в потёртой загадочной куртке, поощрительно склоня свою умную голову с коротким бобриком, с голым лицом артиста.

– Я ещё не кончил, господа, – настаивал Кишкин сквозь аплодисменты. – При прощании премьер-министр протянул мне бумагу, и когда я её прочёл – я сказал: «свершилось!» Это была бумага от генерала Алексеева, где он от имени низложенного царя просит князя Львова разрешить ему взять семью и уехать в Англию. Вы видите: революция победила!!!

О, едва он это произнёс! О, что поднялось в зале!

И как на пенистых волнах над собранием взнёсся Керенский. Уже, казалось, ничто не могло быть сильнее, но это ожидалось ещё сильнее!

И какая тишина наступила! Но в ней, увы, министр уставшим слабым голосом попросил разрешения говорить сидя.

Но и сидя – он некоторое время молчал, даже сидя не мог говорить – таково было истощение народного героя. Дальние ряды встали, чтобы лучше видеть гражданина народного министра, и даже стали взлезать на кресла, чего никогда не знал Английский клуб. Тишина становилась всё напряжённее, всё напряжённее, уже просто невозможно, только скрип кресел. Все взоры были обращены на министра – худощавого молодого человека с измученным бледным лицом и воспалёнными, но полными энергии, да, полными энергии глазами. И вот, наконец, он заговорил слабым голосом:

– Граждане Москвы... Как только оказалась возможность, Временное правительство послало меня сюда. Нам и мне хотелось поскорее увидеть своими глазами, что творится здесь, в сердце России. Я должен сказать, я поражён Москвою. И по возвращении в

Петроград передам Временному правительству моё восхищение всем виденным у вас.

Немного он оживал от слабости.

– Позвольте мне – не говорить речь. Такое ли время сейчас, чтобы говорить речи? Я просто передам вам, что происходит в России. Отовсюду к нам поступают сообщения, что Россия охвачена единым желанием освободиться от старого строя. Нам кажется, что опасности контрреволюции уже не существует.

Вздых облегчения в зале.

– Говорят, необходимо обратить самое серьёзное внимание на царскую семью. Эти опасения смешны. Нам самим пришлось оказывать помощь всеми покинутым детям бывшего монарха, послав им сестёр милосердия и врача. Я могу определённо сказать, что **вся** старая власть отдала себя в наши руки. Мною уже организована Чрезвычайная Комиссия для расследования действий старой власти, которая откроет перед страной полную картину разложившегося режима, и мы заклеим его. Картина повсюду исключительно отрадна. В последние дни, правда, сознаюсь, мы пережили один ужас: в Балтийском флоте разгорелись было волнения. Одновременно пришли и сообщения, что враг спешит воспользоваться нашими неладом и готовит удар на Северном фронте. Мы – тотчас же направили членов Думы, я лично говорил по прямому проводу с матросами, и в результате всё стихает и ликвидируется. Министр земледелия вчера сказал мне, что продовольственный вопрос теряет свою остроту. Финансы укрепляются, ибо за граница обещает нам любую финансовую поддержку. Организация транспорта находится в таких верных руках как Некрасов, и этого достаточно, чтобы с уверенностью глядеть в будущее.

Так уже не было и никаких беспокойств? Нет, всё-таки были:

– Единственно, что меня теперь отчасти беспокоит – это Петроград. Если можно так выразиться, то, уехав из Петрограда в Москву, я как бы из тёмного душного каземата попал в просторный зал, наполненный воздухом и светом. Конечно, в Петрограде всё постепенно смягчается, но бесчисленные учреждения департамента полиции, пронизавшие столицу насквозь, не дремлют. Например, каждую ночь в городе появляются бронированные автомобили и расстреливают наших милиционеров, исчезая бесследно. Стараются развить свою деятельность и провокаторы. Нам известно также, что принимаются определённые меры и против некоторых членов Временного правительства.

Некоторых!?! Его-то в первую очередь, конечно! Террор – против революционера? Поднять руку на народных избранников – о, какое же злодейство! Так вот ещё отчего был устал и разочарован этот голос, теперь дорогой всем нам:

– Да, и в Петрограде разрядится вмешательством Москвы и всей страны. Я предлагаю общественным организациям Москвы устроить ряд поездок по провинции и в Петроград. Необходимо напитать их волей и духом нации.

Кажется, нашло отклик, пробежало по рядам: а что? и поедем! Напитаем.

Наконец и о себе:

– Я вошёл в правительство против единогласного постановления Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов, – вошёл потому, что я знал, что именно нужно стране: идти к Учредительному Собранию. В правительстве я – единственный представитель демократии, но должен сказать, что мы действуем солидарно. Каждый проводит то, что необходимо, по совести. Всякое предложение по социалистической программе принимается без возражений. Мы все решили забыть нашу партийность. Я это говорю откровенно, в порядке моих личных впечатлений.

Так и не нашёл сил встать, так и говорил сидя. Уж вытягивались, уж крутили головы, чтоб не упустить его движения.

– О себе же должен сказать, что мне выпала тяжёлая доля направить по нужному пути министерство юстиции. Но я – не изменю своим принципам. Мои принципы – это вера в человека, вера в человеческую совесть. Я не хочу и не буду прибегать к незаконному воздействию на судей. И вы знаете, когда мы не спали в течение шести суток, когда мы не знали, стоит ли день или ночь, – вот тогда мы и увидели, что такое человек и человеческая

совесть.

(Слушайте, слушайте! Это поразительно!)

– И если, господа, дело пойдёт так и дальше, то мы создадим такую славу нашему государству, что голова кружится!

Сквозь аплодисменты Прокопович, надрывая голос:

– Не имеет ли кто вопросов?

– Наша просьба – долой смертную казнь! – закричали.

А доктор Жбанков, стоя на кресле, произнёс и длинней:

– Отмена смертной казни – мечта демократического мнения! Оно удивляется: прошло 8 дней революции – и почему казнь до сих пор не отменена?!

Министр выставил отпускаяще руку, зал затаился и услышал:

– Акт об отмене смертной казни уже составлен, и по приезде в Петроград я его подпишу. Через три дня о нём узнает вся страна.

О вездесущий! Он и в этом успел! Заревели новые восторги, и уже не все слышали, как представительница лиги равноправия женщин добивалась участия женщин в выборах Учредительного Собрания, а измученный министр отвечал ей, что он лично, конечно, сторонник равноправия женщин, но проведение принципа в жизнь может потребовать значительной технической подготовки.

Прокопович умолял наконец отпустить министра – ведь у него ещё несколько заседаний сегодня!

Его отпустили. Но тут же, до выхода из клуба, перехватили журналисты – что будет с Государственной Думой? (Функционирует. Он сам вчера выступал там.) – Соберётся ли Учредительное Собрание до конца войны? (Гораздо раньше.) – Как произошло отречение Михаила? (Сел на диван и нашёл силы рассказать подробно.) – Как с провокаторами? (Имеет ценные нити.) – Национальный вопрос?

Министр не мог не усмехнуться, но радостно:

– Господа! Сейчас такая масса работы, что нужно быть гением, чтобы выполнить её в короткое время. Но мы всё-всё-всё помним, и вопросы польский, еврейский, латышский, грузинский – все будут скоро решены!

У подъезда Английского клуба Александра Фёдоровича ожидала огромная толпа. Когда он появился, пошатываясь, вся эта тысяча обнажила головы и раздалось громовое «ура».

СУЕТЛИВ ВОРОБЕЙ, А ПИВА НЕ СВАРИТ

489

В захолустном Могилёве не могли и раньше создать парадности, только поддерживали Губернаторскую площадь. А теперь разливалась красная мерзость, загубляя и её. Писари, шофёры, техники, штабная челядь и георгиевские кавалеры ходили, бродили с красными лоскутами на грудях, на фуражках, или красными шарфами под кожаными куртками, в одиночку и группами, или стягивались там и сям модные митинги, где нахальные местные молодые люди выкрикивали – «самый свободный гражданин!», «самый свободный солдат!», «проклятье свергнутому режиму» и голосили к «углублению революции». И над городской думой и над казёнными учреждениями висели красные флаги, ещё правда пока не над зданьями Ставки. Честь ещё отдавали, но иногда, кажется, с замедлением, как бы ожидая,

чтоб офицер отдал первый. А во фронт уже никто не становился. И в одном облупленном здании заседал Совет солдатских депутатов. А полковнику Значко-Яворскому Алексеев разрешил созвать и Совет офицерских депутатов, и искать столкнуться с солдатами.

И какой же был выход? Выход был не у Свечина, выход был у Алексеева: разогнать эту всю банду, вплоть до Петрограда, пока революция ещё не упрочилась. Хотя посланные полки вернули на места, но их можно так же легко двинуть снова – пока все фронтовые части, сотни полков, ещё не тронуты заразой, а Петроград – квашня, там силы нет никакой. И задача все эти дни облегчается тем, что Государь в Ставке – можно манифест отыграть назад с той же лёгкостью, как он был дан: Верховный вождь снова со своей армией и посылает её, куда хочет, какие препятствия? Немцы? Уверен был Свечин, что они сейчас не шевельнутся, хоть полфронта снимай. А ждать, что из новой власти разовьётся что-нибудь полезное, – никак не приходилось. Сидеть под этой новой слякотью – было оскорбительно.

Но – сам Свечин никогда не был водитель войск, а – штабной мыслитель. Он – понимал, а сделал бы кто другой. И над ним все были такие же – совсем лишний в Ставке Клембовский, и генерал-чиновник Лукомский, да такой же в общем и Алексеев, да такие же его и главнокомандующие – что Рузский, что Эверт, что Иванов, – все они бескрылые топтуны куропаткинской школы, удивительно все обминули скобелевскую!

Но всё это понимая – никому из них Свечин ничего не высказывал. Наступало такое, кажется, время, когда личности будут динамично выявляться и меняться. И слишком откровенным быть не стоит.

В Четырнадцатом году, ещё плохо представляя Ставку, офицеры запасались верховыми конями и смазными сапогами. Но нигде по лесным болотам пробираться не пришлось. Даже стоянка в лесу под Барановичами была лишь игрой Данилова. А уже полтора года прочно сидели в Могилёве, хотя и грязном городе, без удобств, без развлечений, с четырьмя вагонами одноконной плетущейся конки, с двумя кинематографами, множеством еврейских лавочек вокруг стен Братского монастыря, а извозчики поили лошадей у водонапорной башни, – впрочем, в губернаторском доме, где теперь Государь, когда-то революционерка стреляла в губернатора. Офицеры Ставки жили в реквизированной гостинице «Бристоль», имея собрание в переделанном кафе-шантане, или на частных квартирах. Для минувшего спокойного года штаты были избыточны: в одной генерал-квартирмейстерской части без Лукомского 2 генерала, 14 штаб-офицеров и ещё несколько обер-офицеров. И прошлые месяцы не слишком были напряжены руки к работе, а теперь и вовсе ослабились, ото всей обстановки. Кроме тех, кто *поднимал карту* с раннего утра по ночным донесениям, остальные приходили только к 10 часам, а кто и позже, а уже в 12 шли завтракать, после завтрака ещё по домам, не на много длинней и вторая половина, а в восьмом часу вечера на обед, и только убеждённые энтузиасты приходили вечером поработать до одиннадцати. Иные же и во время дневных занятий разговаривали о назначениях, о повышениях и наградах, о постороннем, почитывали газеты, рассказывали анекдоты. (А в дипломатической канцелярии и морском штабе даже складывали разрезные картинки.) Алексеев сам работал неотрывно, но другим замечаний не делал. Не делали и ниже, так оно и плыло. Только Гурко тут всех подстегнул и погонял. А сейчас, от революции, и вовсе настроения опустились. Все размышляли – что ж это происходит? Хрустнул главный стержень всякой армии: уверенность в безусловном подчинении, – как же сохранится армия?

Некоторые офицеры Ставки, особенно не служившие при Николае Николаевиче, но понаслышке, очень ждали теперь его приезда, надеясь на его крутой нетерпеливый нрав, как он Распутина обещал повесить, – неужели же смирится перед расслабленным Петроградом? Он – не размазня, как Алексеев. Иные повесили в кабинетах портреты великого князя.

Но не Свечин. Он-то хорошо знал, что великий князь – одна декорация.

А между тем продолжал оставаться в Ставке отрекшийся Государь, бесцельно, – и уже начинал стеснять своих бывших подчинённых. Можно было встретиться с ним во дворе, на площади, на улице, – увеличивалась неловкая напряжённость. Распространялось в воздухе, что теперь предосудительно, если не опасно, выказать рьяную верность или почитание –

показаться смешным? старомодным? противореволюционным? – это ощущение быстро входило, скрадывая впитанную вековую верность трону.

А раньше всего проявилось в службе. Передавали в Ставке, что придворный парикмахер отказался подбривать отрекшегося императора – и вызывали другого, из города. Самому Государю – не сказали, конечно.

Но хотя к стратегии ослабели все взоры – она продолжала нависать и жить, и кто-то должен был заниматься её выкладками, и это был генерал Свечин и группа с ним, отчасти по долгу, отчасти по интересу.

Вообще, в кампанию Семнадцатого года Россия вступала неузнаваемо снабжённой и уверенной. Но расстройство подстерегали со всех сторон.

Зимой война как будто и замерла, но не совсем. На несчастном Румынском фронте, губительном прирезке к русскому фронту, при румынской неразберихе общей и особенно в железных дорогах, куда вдаль не хватало нам подъездных путей, – ещё ползими наступали немцы. Как изувеченный орган, хотелось бы этот румынский фронт даже отсечь от здорового тела, освободиться. Но напротив, в ноябре на конференции союзников в Шантильи (наши представители не ожидали, сплеховали) был принят совершенно идиотский план кампании 1917 года: все русские силы гнать именно туда, в это худое горло, на Болгарию, чтобы вывести из строя именно её. При хороших дорогах это, может быть, было России и выгодно, путь на Константинополь, но при нынешних...

Гурко, приняв должность, тотчас спохватился и деятельно боролся с этим дурацким планом, с этим насилием союзников над нами, как всегда, – но отменить его и получить равноправие наступать на главных немецких фронтах удалось лишь на петроградской конференции в феврале – и только с этого момента можно было планировать сражения на главных полях, а до того обязаны были вести подготовку в сторону Болгарии. Не столько реально повезли туда войск или вооружения, сколько оперативное отделение Ставки разрабатывало это всё на бумаге – и много планов, таблиц, подсчётов, диспозиций прошло за зимние месяцы через руки Свечина. И через несочувствие, через отвращение к этому бессмысленному плану вынужден был Свечин строить конструкцию, которой не ждал успеха. Да даже и в невыгодных румынских условиях мы оттянули на себя противника с салоницкого фронта, облегчая союзников. А Лукомский и без союзников считал нижний Дунай самым важным местом – что именно там немцы будут наступать весной.

Когда же перенесли внимание на германский фронт, то выявились разногласия между главнокомандующими: наносить ли один мощный удар и тогда на каком фронте? или несколько? Решено так и не было, и главнокомандующие составляли каждый применительно к своему фронту. Но с прошлого года понравился успех Юго-Западного против слабых австрийцев, и это склоняло (и больной Алексеев прислал такую записку из Крыма) поручить главный удар снова Брусилову, а другим – подсобные.

Наконец, с февраля пошла и эта разработка, как всегда не столько сводясь к увлекательным жирным стрелкам на пробой линии фронта, сколько к числу людей, лошадей, штыков, сабель, орудий, снарядов разных калибров и типов, вагонов, паровозов, топлива, металла для ремонтных работ, рабочей силы, которой уже не хватало во внутренних губерниях России из-за чрезмерной мобилизации (тут грешил и Николай Николаевич, и Алексеев, и Государь), а значит – к привозу инородцев Туркестана, китайцев, персов, а затем же кормлению их всех в прифронтовой полосе, а значит опять – к подвозу, продовольствию, неубранному хлебу и заготовке дров. А так как во всём выяснялась узость подачи, да вообще Ставка не распоряжалась ни снабжением, ни тылом, – то значит, напротив, легче было уменьшить подвоз людей в прифронтовую полосу, но взять на работы из своего воинского состава, значит ослабить первую линию.

А весь февраль ещё бушевали вьюги, прервавшие снабжение именно Юго-Западного фронта. И фронт дошёл до состояния, которого не бывало с начала войны: когда муки оставалось на 10 дней, сена-соломы на два, а зернового фуража даже меньше чем на день, и чуть прервись ещё подвоз – мог бы начаться падёж лошадей. (Если, конечно, верить

донесениям Брусилова, а каждый фронт приуменьшает свои запасы.)

И вот – началась петроградская революция. Остановились, уже две недели, все главные военные заводы, прекратился поток снаряжения. Проволочить фронт ещё и через это расстройство – сильно удлиняло подготовку.

Свечин продолжал разрабатывать наступление – да будет ли оно?

Разгадывали и германские намерения: воспользуются ли нашим разбродом? Хотя и подвозили немцы боеприпасы к Северному фронту, кое-где аэропланы отметили подготовку дорог, – но ничего похожего на тот бум, как кричали газеты, пугая публику, что немец идёт на Петроград. Наша революция – им кстати как нельзя.

Но прикатила опасность не от немцев, а от дорогих союзников. Пришёл взволнованный Тихобразов, кому выпало перепечатывать перевод письма генерала Жанена, начальника французской миссии при Ставке, к Алексееву. Это было жёсткое письмо (сейчас ещё не вручённое Алексееву) о том, что французское и британское командование в согласии назначили день общего наступления на Западном фронте – 26 марта, а наступление русских армий должно начаться если не в тот же день, то лишь короткими днями позже, чтобы не дать противнику распоряжения резервами.

Свечин только посвистал. Оставалось меньше чем 3 недели! Если бы не случилось революции – это было бы допустимо, хотя и с мятелями, перебоями, всеми неприятностями затянувшейся зимы. Но – теперь?...

Только горько усмехнулись с Тихобразовым. Если революционный развал пойдёт вот так и дальше – станет сомнительным не только *когда*, но и – вообще способна ли будет наша армия перейти в наступление?

Однако же и за горло брали союзники – и что теперь Алексееву отвечать? Как будет выворачиваться старик? – сегодня такой осунувшийся, больной, с захмуренным лицом.

Уходил Свечин на обед с тем, чтоб вечером не прийти.

Частная жизнь даёт нам выход из всех безвыходных положений.

С октября он не ответил ни на одно зывающее письмо жены, а завёл себе тут расчудесную любовницу. И пошёл теперь к ней.

Она – полька была. Какие во всём мире бывают одни только польки. Кто не знает – тому не описать.

490

И наконец вчера – долетело родное дыхание от ненаглядной умницы Аликс! – всё, как металась она, как мучилась, – на пересложенных листках из подкладки шубы извлекла капитанская жена, – не боялась, преданная, привезти. Письмо от Аликс, и записочки от Марии, одной здоровой. Уединясь, целовал их. Три и два дня разделяли от писанья до прочтения – а зияла целая провальная вечность. Павел привёз ей жестокую весть – но и та не сломила её мужественное сердце и тем более не нарушила её обычное высокое понимание жизни: «Господь Сам милует и спасёт их.» Вопреки событиям, она верила, что всё будет снова хорошо, и даже снова он будет на престоле.

А что? Всё может быть. Всё в Божьих руках.

Главное, верно замечала Аликс: он не нанёс ущерба самой короне. Пожалуй, он это и чувствовал, – но сказала первая она.

И даже на следующий день, когда в Царское Село новости приходили всё хуже, арестовывали офицеров близ самого дворца, заменяли их выборными, – Аликс верила, что войска очнутя.

Она не верила другому: что иначе их куда-нибудь, когда-нибудь отпустят. Эти дни и Николаю казалось странно: ведь он – частное лицо, почему не пускают ехать? Но вот – отпускали. Пришло разрешение от правительства на его вопросы о Царском Селе и об отъезде в Англию. От самого Георга ответа ещё не было, – но какой может прийти, кроме самого радушного? И Хенбри Вильямс уверен, что английское правительство не будет

возражать против приезда русской царской четы.

И скоро, осиротевшие, они будут тихо грустить где-нибудь на широкообзорном балконе Виндзора.

Боже, сколько свежести и сил добавилось от драгоценных писем! Обняло душу. Снова можно жить. Обогащённый, взволнованный, Николай гулял в садике раз и второй раз, выхаживался.

Своими письмами Аликс разрешила его от прошлого – поняла и простила, без его объяснений.

Переполненный, как отблагодарить, придумал такую телеграмму (теперь поучишься хитрости!): «*благодарю за подробности*», – и она догадается, что дошли тайные письма! Остроумно. И ещё, о чём можно: «Здесь совсем спокойно», – значит, нет дерзких наскоков, оскорблений – да и революции самой нет. «Старик с зятем наконец уехали в деревню», – пусть порадуется за старого Фредерикса, облегчится сердце хоть за них двоих.

Хотя на самом деле, нет, не легко добраться нам до успокоения: сегодня передал Алексеев, что Фредерикс арестован в Гомеле. Бедный, бедный, дряхлый! С каким сердцем могут арестовывать такого? И откуда такая ненависть? И в чём он виноват?...

В Могилёве было спокойно, да, – только очень тоскливо. Невыразительные лица свиты не располагали ни к какой откровенности. Да и не привык Николай ни на кого – кроме жены и матери – переключивать свои страдания и обиды, никому открываться. Да что он успел усвоить от отца, так именно эти качества монарха: самообладание и спокойное достоинство.

И как же эти дни облегчила Мама своим приездом! Как уютно завтракали и обедали с ней, и проводили вечера. Последние годы мнилась натянутость между Мама и Аликс, Мама многое не одобряла (Аликс же никогда не осуждала её) – но вот всё снова было хорошо, прощено и понято.

А сегодня с утра явились в губернаторский дом два совсем юных офицера – один конвоя, другой лейб-гвардии Московского полка, – каждый ещё с одним многосложным спрятанным письмом от Аликс! Они добирались пять дней! – им трудней, чем женщине, в офицерской форме нельзя было ехать свободно, пришлось переодеваться. Сперва поехали во Псков, добились, что их принял Рузский, и сознались ему (напрасно), что везут письма от государыни к Государю. Мерзкий Рузский только усмехнулся: «Поздненько, господа». Наконец, добыли солдатские шинели и ехали под видом «революционных хулиганов».

Эти письма оказались ещё на день раньше – ещё в самый день отречения, ещё в большем жару и неразберихе, но в верном предчувствии – как же безошибочно сердце Аликс! – что хотят Государя куда-то заманить и дать подписать какой-то ужас. Писала о растерянности Павла, о гадостях Кирилла.

Вспомнить своё бессильное, безвластное положение тогда у Рузского – действительно в западне, – было мучительно и стыдно. Но за минувшие дни Николай так уже отъединился от прежней власти и возвысился в такое чистое настроение – он, как покойник, потерял уже способность на кого-нибудь обижаться. Что была ему эта вся власть? – разве когда-нибудь она служила ему источником радости? Всегда только в тягость. Чего стоили ему одни только эти увольнения и снятия с должностей – каждый раз как убиваешь человека. Сам для себя – Николай ничего не потерял с властью.

Освобождённый от власти, он уже и не мог радоваться провалу своих бывших врагов. В обезумело м вихре второго марта выражала надежду Аликс, что Дума и революционеры отгрызут друг другу головы, пусть они теперь попытаются потушить пожар. А Николай – не хотел теперь неудачи новому правительству, напротив – удачи, хоть пусть и припишут его неспособности, а своему таланту. В том и был весь смысл его отречения, чтобы поскорей наступил покой в русских сердцах и по лику Руси. Если бы покой не воцарился – то, значит, он отрекался зря.

В эти уединённые дни – то в успокоительную мятель, как вчера, то под мягко падающим снегом, как сегодня, в эти тихие ставочные дни, когда в его дом не доносилось ничто из кипевшего в соседнем штабном, ни петроградские агентские телеграммы, он и сам

их не хотел, а только безличные, ни к кому не обращённые, спокойные сводки о том, что фронты дремлют, – в эти дни Николаю всё больше излюбивалась такая высокая прощающая точка зрения, когда не видно подробностей на каменистых сегодняшних тропках, а через горные цепи и горные цепи открывается голубой туман величественного будущего. Что он отдал власть в государстве – уже несколько не щемило его. Главное – он не примирился ни с чем, чему противится совесть.

Ничтожны мы все перед Богом – и бессильны перед мировыми событиями.

Пусть поведут Россию эти образованные самоуверенные люди, пусть. Может быть, они на то и имеют право.

В этом новом высоком настроении Николай нашёл в себе решимость встретиться уже не только с Вильямсом, но и с остальными шестью военными представителями союзников. Теперь он поборол в себе боль о прошлом, неловкость пережитого падения, отпал стыд, и оказалось вовсе не тягостно. Все представители были участливы, с глубоким пониманием. А серб – плакал.

Боль доставляла ему единственно – передача Верховного Главнокомандования. Особое, исключительное место, к которому Николай считал себя рождённым и так тянулся. Ревновал он – к Николаше. Как и в Четырнадцатом, как и в Пятнадцатом году, всё сталкивала их судьба на этом единственном месте – кому вести вооружённые силы России, – и никак не получалось на двоих, а кто-то кого-то должен был вытеснить. Сейчас – даже губернаторский дом невозможно было поделить, Николаша явно затягивал свой приезд, чтобы дать Николаю уехать. И Николаю невозможно было медлить здесь дольше. Встретаться – никак не хотелось.

Но и эту последнюю ревность – к Николаше, Николай старался в себе пересилить.

Да, вот уже подошла и грустная пора – уезжать. Перед вечером пришёл добрый Алексеев объявить, что завтра будет приготовлен поезд – и удобно ехать, никаких препятствий больше нет.

Так и всему, всему на свете наступает конец. Сегодня после чая Николай со щемящим чувством стал укладывать вещи – свои и сына, которому уже никогда сюда не приехать, никогда тут не играть. А он любил...

В доме кое-где начали укладывать дворцовое имущество – сервизы в ящики, упаковывали старинное чайное серебро, сворачивали ковры.

Всегдашняя тоска от разорения гнезда.

Печально собирался Николай, но внутри него нарастало другое – самое высокое прощание, – не с губернаторским домом, не со штабом, не с Могилёвом, – но со всею 12-миллионной армией, – и кто сидел в окопах, и кто подпирал фронт изблизи, и кто шагал в маршевых ротах, и кто лежал по госпиталям и ехал в санитарных поездах, и кто ещё только обучался в запасных полках, – со всем этим единым могучим храбрым существом, так преданным ему до сих пор, как большой добрый зверь.

Душа не давала обминуть это самое главное прощание.

А состояться оно не могло иначе, как приказ бывшего императора к своим войскам.

Это – не сегодня впервые, это уже несколько дней в Николае созревало.

И предвидя, что даже за несколько дней мог измениться воздух, сама терминология, и не желая неумышленно резать уха, Николай просил Алексеева – нельзя ли прислать ему эти новейшие «приказ №1» и «приказ №2».

И сегодня от Алексеева прислали их – тщательно отпечатанные на лучшей «царской» бумаге, держимой в Ставке лишь для документов, идущих на государево рассмотрение.

Но оба «приказа» оказались и по смыслу бред, и по форме своей невоенной, и даже особенно разила их нелепица, будучи отпечатана на царской бумаге.

И не стал Николай расстраиваться, вникать и отемнять свою душу.

Нет, никто не нужен был ему в помощь, чтобы найти слова к нынешнему моменту. В его новом состоянии слова эти были удивительно понятны, сами лились, – он записывал их по фразе, ещё потом вынашивал на прогулке в садике.

... В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска! (И слёзы застилали – непереносимо.) В последний раз... обращаюсь к вам... Да поможет Бог новому правительству вести Россию по пути славы и благоденствия... Да поможет Бог вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага... Уже близок час, когда Россия со своими доблестными союзниками... Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы... Кто думает теперь о мире – тот изменник отечеству, предатель его... Повинуйтесь же Временному правительству... слушайте ваших начальников... Да ведёт вас на победы святой великомученик и Победоносец Георгий...

491

Великий князь Андрей Владимирович не участвовал прямо в убийстве Распутина, но о разных заговорах толковал и с братьями, Кириллом и Борисом, и с другими великими князьями, и в январе по желанию Государя должен был недобровольно уехать из Петрограда в вакации на Кавказ, где в Кисловодске уже и лечилась его мама от всех великокняжеских расстройств этой зимы. И сюда-то пришли потрясающие вести из Петрограда, и единственное светлое – назначение дяди Николаши Верховным Главнокомандующим. Это одно давало надежду на исправление положения. К тому ж Андрей Владимирович послужил эту войну в штабах и считал себя военным. Очень ему захотелось повидать дядю Николашу до его отъезда в Ставку. И он помчался поездом в Тифлис. Но лишь потому ещё застал его там, что сборы тёти Станы и тёти Милицы затянулись, впрочем дядя так и не дождался их. Встретились с ним сегодня прямо на тифлисском вокзале. Вагон князя Андрея перецепили к поезду дяди. Тут был и Серёжа Лейхтенбергский, только что из Севастополя.

Из белого открытого ролс-ройса, преминавшего шпалеры войск, учащихся с красными флагами, полицейских с красными бантами, великий князь, ощущая, как все любят его воинственным полководческим видом, изумительным ростом и сложением рыцаря, вышел на вокзальной площади, прошёл на перрон. Здесь ждала его провожающая группа – от городского управления, от наместничества, военные. Порядок поддерживался юнкерами.

Побеседовал с беспокойным французским полковником. Поцеловался с экзархом грузинской церкви. Поцеловался с генералом Юденичем. (Не очень его любил.) Поцеловался с Янушкевичем. Со ступенек благодарил всех за горячие проводы и доверие в победоносном окончании войны. Вошёл в вагон, уже полный цветов.

И из окна чуть помахивал, чуть помахивал четырьмя пальцами кисти, передавая кивками горделивой головы, как он всё знает, всё понимает, всё сделает.

И – покотил, покотил поезд живописнейшей дорогой под солнцем, – сперва зелёным раем Закавказья, затем скалистым узким набережьем, через правые окна – Каспийское море, через левое – отроги объезжаемого Кавказского хребта.

Вскоре после отхода поезда дядя Николаша позвал князя Андрея к себе. В полузатенённом салоне он сидел за столом – в своей манере, сохраняя и сидя всю воинственность и готовность вскочить, – и пил прохладительное, холодный гранатовый сок. Показал Андрею сесть и сразу:

– Я рад тебя видеть. И рад, что ты с мамой в Кисловодске. Повелеваю тебе там и быть. До моих указаний никуда на фронт не уезжай. – Дядя уже чувствовал ответственность и распорядительность за весь императорский дом. – Всему семейству правильно оставаться на тех местах, кто где есть. Однако, я конечно не могу ручаться за вашу безопасность. – И своими крупными прорезистыми выразительными глазами, такими яркими и в команде и в гневе, тогда чуть с безуминкой, он повёл: – Меня самого могут арестовать каждую минуту.

– Как?? – подскочил Андрей перед Верховным.

Живое лицо дяди Николаши умело выразить многие оттенки, вот – полностречие ударов судьбы, а острые концы усов и всегда выражали настороженность.

– Да, – произнёс он могильно. – Знай. Всё может случиться даже со мною самим. Я ещё не уверен, что мой поезд пропустят и я доеду до Ставки.

– Да что же? дядюшка?! – напуган был Андрей уже до крайности.

– Вот так, – говорил Верховный мрачно, как проиграв сражение, и нагоняя ещё новую мрачность. – Что делается в Петрограде – я не знаю, но там всё меняется, и очень быстро. Утром, днём и вечером – всё разное, и – всё хуже. И – всё хуже. И – всё хуже! – говорил он с расстановкой и с ударениями. И всё мрачнее выглядел.

Князь Андрей так и захолодел: а он-то ждал от дяди избавления всей России, а также императорского дома. Но если – настолько всё хуже и так быстро в один день?

В этом нервном состоянии, отпивая гранатовый сок со льдом, стали вспоминать февральские дни.

– Скажу тебе под глубоким секретом. Несносный Колчак предлагал объединить фронты и противостоять новому правительству. Это что-то невозможное! Я отверг!

Сидел с гравированным лицом, смотрел в окно.

– А по приглашению Алексеева я советовал Ники отречься. А он мне даже не ответил. Его манера, ты знаешь.

А Андрей рассказал о себе, как это всё узнавалось в Кисловодске. Сперва слухи о стрельбе на петроградских улицах, потом телеграмма Родзянки с малопонятным текстом, потом – что все министры арестованы, тут – телеграмма от дяди Николаши, что он – Верховный, потом слух, что Родзянку просил дядю Николашу подавить бунт, потом в газетах – как гром, два отречения сразу, и особенно ужасное отречение Михаила, призыв ко всеобщим выборам, – край! В один день рухнуло бесповоротно всё прошлое...

– А ведь я ему говорил! Я всё ему говорил! – то сидя, то ходя рассуждал дядя Николаша. Его длинные ловкие руки так и изламывались, то в локтях, то в кистях, и застывали на мгновение, выражая извороты фраз. – Последний раз, 7 ноября, в Ставке я разговаривал с ним преднамеренно резко, желая вызвать его на дерзость! Но ты знаешь его: молчит, пожимает плечами. Я ему прямо сказал: «Мне было бы приятнее, чтоб ты меня обругал, ударил, выгнал, чем – твоё молчание. Опомнись, пока не поздно! Дай ответственное министерство – пока ещё время есть, а потом уже не будет!...»

Стоял во весь рост и шурился орлино:

– Но ведь ему насаждала Алиса, что я хочу захватить его трон! Потому он и отправил меня на Кавказ. Спрашиваю: да как же тебе не стыдно было поверить? Ведь ты знаешь, как я тебе предан, я воспринял это от отцов и предков!... А он всё молчит. И тогда – я понял, что всё кончено. В ноябре я потерял надежду на его спасение. Мне стало ясно, что рано или поздно он корону потеряет.

И с тех пор... Ну да что там!... Он шёл против всего общественного мнения России – в ослеплении доказать твёрдость своей власти. А ведь он – и не виноват. У него чудное сердце, прекрасная душа. Но не могли терпеть – её! Она его и погубила. А теперь в газетах распространили, что у неё нашли проект сепаратного мира. Вздор, конечно, но её могут и растерзать. Народная ненависть накалилась.

Дядя Николаша грозный ходил по салону, народная ненависть заразила и его.

Постепенно успокоился и признался, что большое облегчение испытывает: успел получить от Алексеева телеграмму, что Ники из Ставки сейчас уезжает. Хорошо. Никак не хотелось бы теперь встретиться с ним.

Вот ведь: хотел захватить себе пост Верховного по несправедливости – и наказан. Всего лишился. Божья воля.

Ничего, ещё всё можно будет исправить. Россия – любит дядю Николашу. Армия – обожает его. Общественное мнение – всегда за него, как было в Девятьсот Пятнадцатом. У всех вера, что он приведёт их к победе. И – приведёт!

– Да вот сейчас, за день до отъезда, были у меня два грузинских социалиста. Из самых крайних левых, конечно. И что ты думаешь? Вошли – извинились за свои костюмы. Называли меня – только «ваше императорское высочество». Откровенно говорили: всю жизнь мечтали о социальном перевороте. Но их мечта была – конституционная монархия, а не теперешняя анархия. Этого – они никак не хотели! И они не допустят до

республиканского строя: Россия к этому ещё не созрела. Что ты думаешь? – и с социалистами вполне можно иметь дело.

Смотрели в окна. Менялись пейзажи, полугорные, зелёные. Шёл поезд, шла жизнь, уводя их в будущее. Хорошо думается в поезде, на его ходу.

– Постепенно я всё налажу! У меня – будут по струнке! – жесточел дядя Николаша. – Твои братья... Я буду откровенен как всегда. Явка Кирилл в Думу – всех возмутила. Это – пакость. Бели бы после отречения – ну, допустимо. Но – до ? Долг чести и присяги! Какой же он офицер? Переходить на сторону врагов Государя? Где же кровь наших предков? Где сознание достоинства? А – Борис? – Дядины глаза засверкали молниями. – Как будто симпатичный мальчик, а на самом деле говнюк. Какой он походный атаман? Его имя среди всего казачества стало ругательным, проклятьем. Где бы он ни проехал – смрад оставляет. Мне представили счёт парохода за его проезд из Энзели в Баку. Весь переход – 12 часов, а счёт на 10 тысяч рублей. Масса вина и... Если всё такое подтвердится в Ставке – я его от походного атамана отставляю, хватит позора! Распутник! Такую славу я не могу терпеть. И династия тоже. Конечно, уход совершим деликатно. Подаст рапорт – по здоровью. И я – **повелеваю** ! слышишь? – дядя прокатил большими овальными глазами, и движение одной кисти у него было, как останавливал бы полк на параде, – чтоб ни Борис, ни Кирилл не заявлялись в Кисловодск к мама . Ты это уладишь, найдёшь необидную форму. Теперь мы все должны быть очень осторожны, очень!

Андрей слушал с почтением и восхищением. Он привык уважать военный чин, а ещё соединённый с неподкупностью и властью, как у дяди. Он верил, что дядя – спасёт всех и вся. Но всё-таки в отношении большого их семейства дядя многого не знал, тут, в кавказском отрыве, он не пережил этой раздирающей зимней истории после убийства Распутина – а с Андреем Кирилл да и Дмитрий были советчики чуть не каждый день.

Время растилалось, и Андрей стал рассказывать дяде всё, всё.

Тут получилась растрата и жуткое недоразумение. Государь был накалён против семейства разными слухами, которые ему через кого-то тотчас же передавались. А Аликс, конечно, не упускала случая разжечь. И как же не стыдно было поднять шум из-за убийства такого грязного негодяя! На совещании с дядей Павлом решили: требовать от Ники дело прекратить, никого не трогать, Дмитрия оставить в Усове, в противном случае могут возникнуть самые невероятные осложнения! И Сандро отправился в Царское, но не добился освобождения ни Дмитрия, ни Феликса. Ники решил ждать доклада Протопопова. А тот старался создать уголовное дело. Тогда всё семейство собралось у мама подписать коллективное письмо Ники, поставили 16 подписей, – но на Ники и это не подействовало, он ответил с поразительной логикой: «Никому не дано право заниматься убийством, знаю, что совесть многим не даёт покоя, удивляюсь вашему обращению!» Так он намекал на всю великокняжескую семью, что и другие замешаны! А сами – устроили скандальное ночное отпевание Распутина в Чесменской богадельне, – и Аликс, одетая сестрой милосердия, поехала присутствовать. И ещё скандальней – задумали хоронить его труп в Фёдоровском соборе! – гвардейские офицеры клялись, что ночью выбросят тело вон! – потом решили хоронить в часовне на земле Вырубовой. А бедного Дмитрия – выслали в Персию.

И что же за совпадение! – именно вот этой железной дорогой, только навстречу, Дмитрий и ехал совсем недавно, обливаясь слезами. Он нежный, слабый, какая жестокость сослать его в Персию! А невинного Николая Михайловича за промахи слабого языка – так внезапно погнать в деревню! На Новый год весь Петербург перебивал у него, прощаясь. Нет, дядя Николаша, мы должны забыть семейные распри и в нынешний опасный момент быть все солидарны!

Увы, увы, мой мальчик. Это – Александр покойный разбил семью, и нам уже никогда не объединиться. (К нему лично дядя Саша был очень несправедлив: исключил из свиты, лишил вензелей, сделал задвинутым генералом.)

На больших остановках собирались толпы – приветствовать проезжающего великого князя, – и дядя Николаша выходил на площадку со своей бесподобной строевой выправкой –

бросал несколько слов – и всё отзывалось в «ура». Да что за порода представительная была в нём – каждым движением и каждой неподвижностью – воин! Как выразительно он олицетворял династию! Видя его, не могла толпа, не могли солдаты не верить в победу! В Пятнадцатом году все его армии отступали без снарядов, позорно гонимые, – кого угодно тогда бранили, но только не его, невозможно было подумать о нём худо, он лишь возносился! О нём рассказывали легенды: в одном месте успел раскрыть измену, в другом – расправился с генералом за его леность и плохое обращение с солдатами. Народ жаждал вождя и героя!

Дядя Николаша очень возбудился триумфальными встречами на станциях, подтвердел, повеселел.

Князь Андрей уходил из вагона дяди Николаши, снова приходил, обедали вместе, ещё и князь Орлов, тучный, с вельможными повадками, Влади, как звали его все великие князья. Многие годы он был крайне близок к Государю, начальник военно-походной канцелярии у него, ближайший советник, – но потом отдалялся, и даже в опалу, извержен был из свиты тогда же, когда дядя Николаша из Ставки, и вместе с ним приехал на Кавказ помощником Наместника. И так они сжились, что вот дядя Николаша тянул его с собою в Ставку назад.

Свечерело. В сумерках, а потом в темноте поезд трубил между Каспием и Хребтом, под утро князю Андрею надо было отцепляться в Минеральных Водах, – попрощался с дядей Николашей, но долго не спалось, а под ровный стук поезда в своём вагоне долго беседовал с Влади.

Орлов вспоминал Манифест 17 октября, как Фредерикс, да все, были согласны с Витте и уговаривали Государя подписать, а Влади умолял не подписывать: если и уступать, то не сейчас, когда вынуждают. Но уговорили и Трепова-труса, – и акт был подписан. В тот вечер все разъехались, а Государь просил Влади не покидать его, сидел в кабинете с поникнутой головой, и крупные слёзы падали на стол: «Я чувствую, что потерял корону, теперь всё кончено.» А Влади уговаривал его. «Нет! Ещё не всё потеряно! Только сплотить всех здравомыслящих, и ещё можно дело спасти!» Но вот – не сплотили.

Сколько помнил князь Андрей – дядя Николаша тоже был там в те дни и тоже уговаривал подписать. Но сейчас Влади не называл так. Он только выразить хотел то, что к потере короны давно уже шло.

Разговаривали по-французски. Князь Андрей спросил:

– Скажите, вы думаете – для него теперь всё потеряно? Он уже никак не вернётся на трон?

Орлов принял загадочный вид:

– Может быть... Но только без неё.

Поезд выстукивал, выстукивал в темноте – вещее.

– А скорей всего, я думаю, – великий князь.

– Вы думаете? – встрепенулся князь Андрей.

– Да. Он дал понять тифлисскому городскому голове, что – согласен возглавить Россию... Даже – ещё раньше всех событий.

– Ещё раньше??

У Андрея Владимировича была жилка историка-летописца, и он стал выведывать у Влади: когда же раньше? при каких обстоятельствах он мог говорить об этом с тифлисским городским головой?

Под клятвой и вечной тайной Влади открыл: ещё под Новый год голова приезжал с поручением князя Львова: если бы совершился переворот, то согласился ли бы великий князь возглавить Россию после этого?

И великий князь, видя, как безнадежно идут русские дела, – едва-едва удержался от согласия.

В Ростове-на-Дону поезд великого князя приехала встречать и новочеркасская делегация, какой-то дикий есаул Голубов. Великий князь пожал им руки. Они рассказали о

перевороте в Новочеркасске и что с собой сейчас привезли арестованного атамана Граббе, не сразу признавшего их Исполнительный Комитет. Великий князь согласился взять атамана к себе в поезд – и увёз.

492

Колчак мало сказать любил русский флот больше себя – он был впаян во флот. Не меньше военного – в полярный. Во все русские корабельные корпуса, бороздящие море. Флот – это единое, многосоединённое, быстрое живое существо. Сухопутная армия распадается на полки, роты, на людей, – вряд ли можно любить её такой цельной любовью, как флот. Колчак воскресал с каждым распрямлением Балтийского флота во время войны.

А получив отличный стройный Черноморский – и не суметь спасти его вот сейчас? Не может быть. Не плестись за событиями, а стать впереди них.

Позавчерашний импровизированный сбор представителей от команд сказался неплохо. Доносили с одного, другого, третьего корабля: настроение улучшается. Команды заявляют, что надо воевать и подчиняться офицерам.

Настроение можно назвать: возбуждённо-мирное.

Балтийские события до сих пор почему-то не разнеслись по Севастополю, как не заметили их. И подробности не приходили, выручает, что мы далеко.

Полиции не стало, но по всему городу – воинские патрули. Повсюду честь отдают – безукоризненно.

И оставалась спокойною Керчь. И спокойно на Дунае.

Но достигнутый выигрыш может быстро растаять. Его надо теперь возобновлять.

Из Петрограда везли газеты с обезумелыми воззваниями рабочих и солдатских депутатов – о гражданских правах нижних чинов. Не подожгли с первой искры, бросали следующие.

А что это обещает – сверхсложной конструкции флота, где всё на математическом расчёте непотопляемости, непроницаемых перегородок, остойчивости, корпусных обводов, плавучих и скоростных качеств, законов навигации, девиации, – и на всё это хлынет толпа варваров и революционных невежд?

Правительству нужно было действовать не в днях, но в часах: что существующие законы остаются незыблемы до всяких нововведений. Но правительство – закисало, и метко угадывал в нём Колчак безнадежную слабость. И слабость – в Ставке. А великий князь, отвергнув диктаторство, теперь где-то едет, едет – и тоже ничего не сделает, уже видно по первым пышным словесам приказов.

А совет рабочих депутатов – будет совать огонь под паклю.

Но в воле Колчака, но в силе Колчака, но по уму Колчака – спасти Черноморский флот. Чтоб он не взорвался и не погруз, как «Мария». Сохранить в высоте развернутым свой флаг с Георгием Победоносцем в центре Андреевского креста. Перебыть, перебиться каких-то, может быть, две-три недели – и скорей вывести в море на операцию. Хоть – придумать операцию. (Да даже необходимо провести демонстрацию силы перед Босфором, чтобы противник не считал нас в развале.)

А десант на Босфор – вытянул бы всё!

Необычна угроза флоту – необычно должно быть и решение, никакими тактиками не предусмотренное. Как его увидеть?

Не вышло мирному Югу стать против бунтовского Севера, – надо найтись и в новых условиях. Юг – далёк, Юг – обособлен, у него найдётся свой путь.

Вспоминал Колчак того рослого вислогубого матроса, которому так понравилось беседовать с адмиралом. Может быть – он и высказал истину?...

Это, и правда, была многолетняя грозная истина: пропасть между чёрной костью и белой, между матросом и офицером. И во всём нашем жаре возрождения и постройки флота это оставалось знакомой и непреходимой трещиной.

А сейчас – сами обстоятельства вели к тому. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Надо рискнуть!

Но как в движении корабля, так и в движении человеческой жизни должны быть положены строгие румбы, дальше которых ты сам себе запретил отклоняться.

Что значит командовать флотом, если в любую минуту он может перестать повиноваться? Если не определишь себе чётких границ – превратишься в мартышку на месте командующего. Надо в чём-то уступить, да, – но второстепенном. А в существенном – всё держать.

Колчак обдумал и сформулировал три условия, при которых он спускает адмиральский флаг.

Если какой-нибудь один корабль откажется выйти в море или исполнить один боевой приказ.

Если будет смещён один командир корабля или начальник отдельной части – без согласия командующего.

Если какой-либо один офицер будет арестован своими подчинёнными.

Ибо это говорится с почтением – «Народ», но мозг и нервы флота – офицеры, без них – паралич. Царь отрёкся – у офицеров осталось Отечество. Но если офицеры начнут уходить со службы – корабли станут мёртвыми коробками, и это не спасёт отечества.

Эти три своих условия Колчак сообщил правительству и морскому министру (увы, уже подтвердившему часть «приказа №1»). Но пока ни одно из этих условий не нарушено, внутри этих жёстких линий, внутри этого треугольника он должен был попытаться преодолеть заразное петроградское дыхание.

А оно разлагало быстро. Уже сейчас было ясно, что если какой-нибудь офицер наложит на матроса дисциплинарное взыскание, то нет сил привести его в исполнение. Заставить – уже нельзя было никого ни в чём.

Но – увлечь? Но – убедить? Каждый день набирать аргументов, чтоб заново и заново убеждать?

Задача – не невозможная однако. Ведь офицеры превосходят нижних чинов и специальным знанием военного дела, и преданностью ему, и общим развитием. Даже если рухнет принудительная дисциплина – ещё этого всего может достать, чтобы вести.

Но и предвидеть, что не с доверчивыми нижними чинами придётся дело иметь, а и с теми как раз, кто и в мирное время грабил банки, взрывал дворцы, стрелял в министров и генералов, – с эсерами? вероятно с ними, кто там ещё? а какое гадкое слово, тут и сера, и нечистоты.

Так! В Морском собрании на Екатерининской улице адмирал приказал собрать всех офицеров флота, порта и крепости, морских и сухопутных. И ясно и прямо высказал офицерам: дисциплинарной власти не стало и больше на неё не надеяться. Но войну продолжать надо – и остаётся патриотический дух, который не может не соединить офицеров с матросами. Быть может революция усилит патриотизм и желание закрепить переворот победой? Значит, надо искать новые пути воздействия на команду, прилагать новые, небывалые усилия сплотиться с матросами душевно, разъяснять им правильный смысл всех событий, как это не делалось никогда, вести их понимание – и так удерживать от безответственной политики.

После Колчака вышел говорить сухопутный генерал. Он не изошёл тех напряжённых аргументов, которые выносил в себе Колчак за эти два дня после смерти Непенина. Но стоял по-своему крепко: императорской власти не стало – патриот обязан выполнять указания новой власти, но власть должна быть одна и не расщеплена, для блага родины невозможно допустить никакой другой власти, рядом и неподчинённой. А посему, если Совет рабочих депутатов будет претендовать на власть – надо разогнать Совет!

Слишком откровенно. Другая опасность, от которой теперь предстояло Колчаку удерживать своих генералов.

Но требования Колчака были столь необычны, а генеральская давящая поступь,

напротив, так понятна, – генералу очень хлопали многие кадровые.

Затем выступил начальник штаба десантной дивизии, молодой подполковник генерального штаба Верховский. Это был типичный интеллигент, забредший в армию, переодетый в штаб-офицера, вся фигура с мягким извивом и такой же голос со вкрадчивой зачарованностью, и очки интеллигентские, и мысли, но изложенные находчиво. Перенимая теперешний тон, он обернулся лягнуть «старый строй»: не было снарядов, а теперь совершилось великое чудо – единение всех классов населения, и вот во Временном правительстве рабочий Керенский и помещик Львов стали рядом для спасения отечества. А в петроградском Совете рабочих депутатов заседают такие же русские патриоты, как и все мы здесь. Офицеры не имеют права стоять в стороне, предоставив событиям саморазвиваться, иначе мы потеряем доверие солдат. Родина у нас одна и мы должны строить ту, которая вышла из революции.

Верховскому хлопали не кадровые, а младшие, офицеры военного времени, такие же интеллигенты, как и оратор. Но получалось так, что его выводы – о братстве и сотрудничестве с солдатами, сомкнулись с выводами Колчака. Тем лучше. Колчак своей сосредоточенной мощью, сухой фигурой, чуть переклонённой вперёд, – перешагнул все традиции и может быть – может быть? – схватил момент, как бьющуюся рыбу.

И в сошедшемся духе этих двух речей были выбраны уполномоченные от офицеров для заседания с уполномоченными от матросов и солдат. И с таким соединением уже нельзя было и медлить: от отдельного собрания одних офицеров все команды напряглись подозрением: не против них ли сговор?

И сегодня вечером, в этом же зеркально-паркетном Морском собрании, в этом же белом зале – вот, заседали вместе. И дико было видеть в офицерских рядах – сидящих простых матросов.

Живая сильная скользкая рыба билась в руках адмирала. Удержит ли?

Пока отлично. Поднимались на подиум матросы, держали необычные речи перед офицерами – и невынужденно заявляли, что обязуются подчиняться и продолжать войну со всею силой.

А тем временем снаружи послышался оркестр («марсельеза» конечно). Шли сюда! Что ещё такое?

Оказалось: двухтысячная толпа, смешанная, черно-матросская, серо-солдатская и штатская, ходили на вокзал встречать депутата Государственной Думы (какой-то социалист, ещё навезёт дребедени). Но поезд опоздал – и вот пришатнулись все сюда.

И среди них – были вооружённые. Зловеще, вне караула или патруля.

Тогда на широкий балкон Собрания, над колонным подъездом, вышли по сколько-то офицеров, матросов и солдат. И адмирал Колчак среди них.

Уже стояли сумерки – тёплого весеннего дня, в аромате цветения, обещающий южный вечер. Темно возвышался в стороне памятник Нахимову. Повевал мягкий ветерок с бухты. Толпа беспорядочно перепрудила всю улицу, лицами к балкону.

Оркестр вдруг заиграл – похоронный марш. И кто-то кричал: «Лейтенанту Шмидту». У них – была своя традиция.

И все, и адмирал Колчак, сжав челюсти, выстояли похоронный торжественно на балконе.

Потом с балкона стали говорить речи – сам адмирал, этот подполковник Верховский, у него убедительно получалось, ещё капитан 1-го ранга, лейтенант, солдат, матрос. Что все мы теперь – одна семья.

И в толпу – передалась эта настоящая мысль. Что тут – нет врагов. Что оставшимся без грозной власти и перед лицом жестокого врага, как же нам не объединиться?

И передалось – оркестру. И он хотел играть объединительное.

Но – национальный гимн, и слова Жуковского, сильный державный царь православный, – это было теперь отрублено.

И заиграли – «Коль славен», никто и не зная толком, что это шведский лютеранский

хорал.

Но такова была сила рождённого доверия, – на балконе стояли «смирно», а в воинственной толпе стали опускаться иные на колени – на тротуар, на мостовую.

На быстро темнеющем небе выступали первые звёзды.

На городском холме зажигалось единственное в мире очертание севастопольских огней, треугольник главных улиц.

Высоко на горе мигал военный маяк.

По рейду скользили шлюпочные огоньки.

493

Укатали-таки вчера Гучкова депутаты: ночью пошаливало сердце. То останавливалось, то нагоняло учащённо.

Поднялся поздно, и на целый день осталась мрачность. Уже всё кряду воспринималось дурно, и даже если из каких гарнизонов доносили, что стало в порядке, – Гучков знал, что не в порядке, лгут, ещё всё развалится.

И действительно, из Брянска сообщили, что начальник гарнизона, уже признавший Временное правительство, арестован, и будто бы для его спасения. Из Тоцкого лагеря требовали, во имя спасения же народной свободы, удалить с постов некоторых генералов и офицеров. В Карее вспыхнул мятеж – от того, что комендант крепости промедлил с признанием Временного правительства. Из Риги латышский член Думы настаивал снять с поста, ни много ни мало, начальника штаба 12-й армии, – иначе возможно народное волнение.

Лежали отчаянные телеграммы и от Рузского.

И как за этим угнаться, и как это всё предупредить? Что мог из Петрограда увидеть или оценить Гучков? Ему только и оставалось со всем соглашаться. Через голову Рузского телеграфировал в Ригу Радко-Дмитриеву, своему приятелю: временно устранить своего начальника штаба.

Что поделаться!...

И хотя вчера так энергично разговаривали с Алексеевым по аппарату, – а позже ночью от него пришла новая телеграмма – сразу Родзянке (без понимания обстановки), Львову и Гучкову, нашёл её утром на столе. Это был тон жалобы и усталости: что правительство не отвечает на все его запросы, что ложные «приказы» проникают в Действующую армию, грозя разрушить её нравственную силу и боевую пригодность, ставя начальников в невыразимо тяжёлое положение.

Всё это было не ново, нов был – тон усталости. Алексеев не только не оказался взбодрен объявленным ему назначением на Верховного, но через несколько часов уже писал: «или заменить нас другими, которые будут способны...» Ещё удар! Не только, значит, предстояло тактично и быстро сменить Николая Николаевича, но и поставить взамен оказывалось некого? Алексеева тоже смещать?

Такой поворотливости Гучков не мог обеспечить. Всё это только ещё наслоилось на его мрачное настроение. Правительство было – ничто. Его министерствование – со связанными руками.

И так показались ему коротки все человеческие возможности...

Надо было как-то поддержать Алексеева, не дать ему развалиться на посту. Этим удобен телеграф: его обязательная краткость и всем открытость даёт возможность не отвечать полностью и выражаться иносказательно. Послал так: что сделает всё необходимое для победоносного окончания войны.

И всё в этот день оборачивалось Гучкову мрачно, что и не должно. Изучал ли протокол вчерашнего заседания поливановской комиссии о ротном комитете и его наблюдении за ротным хозяйством, каптенармусом, фуражиром, кашеваром, взводными раздатчиками, – в отчаяние приходил от нехватимости той реформы, которую предстояло провести на ходу

войны. Подписывал ли приятное назначение – профессора Бурденко, отходившего его год назад из смертной болезни, главным санитарным инспектором вооружённых сил, – всё равно настигала мысль о малости своих возможностей, вот опять и о сердце.

А ещё: вчера на правительстве поручили военному министру вместо угасшей царской присяги составить новую, в пользу Временного правительства. Понимал Гучков, что для простого набожного народа присяга важна и грозна. Вот, поливановские члены поднесли ему и проект, он его чуть подправил.

ЦК октябристов прислал Гучкову на одобрение партийное воззвание (все партии печатали, и октябристы тоже вынуждены были), – и только горечь прохватила его: сколько усилий уложил он в этих октябристов – а ведь не сбылась партия. У других почему-то клеится.

Утекали невозвратимые часы, невозвратимый день. Вручённая ему армия содрогалась под ударами разрушительной агитации – а Гучков не только не мог запретить поток этих идиотских «приказов», но и вместе со штатскими революционерами «разъяснял». Утекали дни, а он не делал чего-то главного и даже не мог сообразить, что делать.

А шёл день – лишь к тому, чтобы ехать на вечернее долгое заседание Временного правительства.

Всего пять дней в этом правительстве, Гучков начинал его ненавидеть: сборище улыбчивых, вежливых калек, не способных стукнуть кулаком. Во всю жизнь порывистый деятель, никогда ещё Гучков не состоял членом более беспомощного объединения. И как он мог ещё недавно доверять Терещенке, Некрасову – даже заговор?

С сегодняшнего дня переехали от Чернышёва моста в хорошо знакомый Гучкову Мариинский дворец – не замусоренный, не заплёванный, как Таврический, не пострадавший в революцию своими парадными залами, разноцветным мрамором, бронзой, дорогими паркетами, коврами и лакеями, – и поднявшись торжественной лестницей, минуя роскошную двухъярусную ротонду с верхним светом, потом опустясь в полуторное кресло за парадным столом под синевархатной скатертью, можно было, не знаячи, вообразить их действительно – членами властного правительства великой державы.

Гучков даже не пытался согнать с лица завладевшую мрачность, придать себе вид веры в их занятия. Он сел со сгорбленной спиной, свислыми плечами и посматривал.

Обсуждался важнейший вопрос: о воззвании. Гучков даже не вник: ещё новом воззвании? Или опять о вчерашнем? Сразу и к населению и к армии, и чтобы для авторитетности подписали все члены правительства. И что надо бы в таком воззвании ещё выразить.

И нежный министр финансов, начав с удивлением ощущать себя не на праздничном посту, но в жестоком мире, просил, нельзя ли в воззвание вставить призыв к бережливости? И начать готовить население к повышению налогов?

Но для воззвания, цель которого была – объединение правительства с народом, это оказалось неподходящим. Отложили.

А вот наконец поставлен в заседании и вопрос, который мог бы стать сотрясающим, самым напряжённым для правительства: об аресте царя и его семьи. Но, так хорошо подготовленный в кулуарах, теперь стараниями предупредительного князя Львова он прошёл совсем быстро, как второстепенный: с кем считались – уже обсуждено было частным образом, с кем не считались – того сопротивления не могло возникнуть.

Да ещё до решения кабинета уже было выписано распоряжение князя Львова четырём членам Думы ехать за царём. (В этом щекотливом вопросе удобно было пригородиться членами Думы.) И они уже были сейчас на вокзале.

Для военного министра вытягивался отсюда вывод, что надо завтра утром организовать арест императрицы с детьми в Царском Селе?

А почему, собственно, Гучков согласился этим заниматься? А хорошо бы и правильно заняться этим как раз министерству внутренних дел. Вот этому улыбчивому князю самому.

Ещё от военного министра ждали новую присягу. Вот она.

О тексте почти не спорили. Скорей бы какую-нибудь.

Ещё спешили: поручить министерству юстиции ускорить судопроизводство по обвинению Сухомлинова в государственной измене. И расследование по Щегловитову, Протопопову...

Опущенно сидел Гучков и удивлялся: неужели когда-то его так волновало сшибить этого Сухомлинова?

Буркнул – что с армией плохо. И оторваны они здесь от Ставки.

Князь Львов с находчивой любезностью возразил, что Гучков ещё ни разу не соединился с Алексеевым в общем документе, в едином воззвании. А сейчас, как раз при новой присяге, такие соединённые голоса могли бы...

Чёрт его знает, может быть. Не думал Гучков, что полуграмотная российская масса могла быть увлечена воззваниями, и не ворочался язык ещё такое составлять, но так как другой никакой меры не виделось, так может и воззвание?

Совсем поздно он вернулся к себе в домин, написал Корнилову распоряжение об аресте царской семьи завтра с утра, отослал с нарочным (по телефону этого нельзя было). И опять вызвал к прямому проводу Алексеева.

Что ни разговор со Ставкой, то всё тягость. Ещё держится ли он там, не развалился? И как передать ему по телеграфу всю щекотливость положения здесь? И как войти в щекотливость его?

О завтрашнем аресте царя слалась шифрованная телеграмма, об этом не по аппарату.

О Николае Николаевиче. Что никак не возможно менять решение, это уже не в силах правительства.

О воззвании?... Трезвый Алексеев неожиданно оказался к этому отзывчив. У него была и такая ведущая мысль для воззвания: строить – на опасности от врага. Что Германия готовит страшный удар – и может быть прямо по Петрограду!

Это – сильное средство, да. (Несомненно, только средство: из ленты не вытекало, что Алексеев имеет серьёзные разведывательные данные.) Но в нынешней беспомощности правительства, правда, – чем другим проймёшь публику?

Итак, звать тыл к труду, армию к дисциплине и сплотиться вокруг офицеров. Разрушить авторитет офицера – значит разрушить армию. Невзгоды боевой жизни одинаковы для солдата и офицера, и пули и непогода одинаково их секут.

Да это, Михаил Васильич, вы там и лучше видите и ярче можете выразить, и у вас несменённый штаб Ставки, есть умелые перья, – уж пусть такое воззвание составит ваша сторона, а мы с вами подпишем вдвоём.

Алексеев согласился. Завтра же составит. И ещё непременно хочет выразить в нём: всякий, кто призывает к непослушанию начальству, – изменник отечеству, работает на пользу немцев.

Рассержен старик, довели.

Да, да. И можно: что отечество, родина нам не простит. И потомки нас заклеят позором. И пусть тяжёлая ответственность падёт на тех, кто будет помехой правительству.

Может быть всё-таки: сильное слово вернёт нам наших солдат?...

А – что придумать другое?

Не давать оружия офицерам – так война начинается не против немцев, а против офицеров?

Нет, случилось нечто большее, чем Саня ощутил, когда Бойе положил перед ним отречный манифест. Что-то сдвинулось побольше – и непонятно что.

Третий год Саня да и все жили одним состоянием: что мир заполняла война и всякий выход в будущее был только через конец войны. И всякое событие к будущему могло произойти только вот тут, перед ними: пойдём ли вперед или пойдём назад. Но вот они не

шевелинулись, ни выстрела не раздалось, ни подумать не успели, – где-то далеко, косо сзади, что-то неожиданно повернулось – и у них тут всё сместилось.

И сразу – утерялся в их действиях главный смысл, как будто замутилась стереотруба, или отказала буссоль, или остановились часы, или отсырели заряды.

Сегодня, чтобы принять решение о боковом наблюдательном, хорошо было бы повторять осмотр через каждый час, и так посидеть тут до вечера. И Саня повторял ежечасно, но нигде ничего достойного не наблюдал – противник замер небывало и неподдельно. К концу дня растягивало белесость, небо яснило, холодело, за стволовичскими тополями обозначилась закатная заря – не открылось солнце, но яркая желтизна протянулась горизонтальной полосой. Однако и с прояснением не подняли немцы нигде наблюдательной колбасы. Как бы прямо указывали на перемирие.

Предвидя, что тут придётся долго посидеть без дела, Саня принёс в кармане крохотный томик Пушкина из павленковского десяти томника – разрозненных три томика было у него, и он часто их читал.

И всегда вылавливал себе у Пушкина новое подкрепление.

И вся сегодняшняя революция не могла иметь на то никакого влияния.

Так сидел он в бурке на чурбаке и в слабом свете от смотровой щели почитывал маленький томик. А потом вставал и наблюдал в бинокль и в стереотрубу.

По мере заката перешла через розовость и полиловела и посерела полоса за тополями на холме.

Оставил Улезьку дежурить, пошёл. Сперва ходом сообщения, потом выпрыгнул наверх.

Ещё не сосмеркло. Подмораживало. Под сапогами сильно хрустел ледковатый снежок.

Вдруг – что-то толкнуло его в сердце: повернуться. Как будто он ощутил за собой неслышное присутствие, наблюдение, – кто-то был сзади и смотрел за ним.

Обернулся (хорошо что через правое плечо), – месяц молодой! Да тонюсенький серпок, еле высветился, только в такой небесной чисти и виден.

А близко сбоку от него – крупная яркая Венера.

А что-то есть тайное в лунном свете! Почему присутствие молодого месяца даже спиной чувствуешь как живое существо, так и ощущаешь, что небо не пусто? Ведь не свет же его заставил повернуться, света от него и нет ещё. А вот что-то от него излучается, толкает.

Шёл Саня ещё и суеверно довольный, что увидел месяц через правое плечо, ещё оглядывался. На фронте каждый месяц – долгое время, а то и решающее для тебя: твой месяц или не твой?

Натягивало чистоты и морозца. Ещё и не вовсе стемнело, но в небе проявились звёзды, даже и не сильные. А на юго-западе так и вымерзали – чёткие, изголуба-зелёные: молодой месяц – и Венера.

И от этого мирного света небесного – в душе тоже расчищалось, легчало. Как-нибудь всё прояснится, установится, кончится. Начнётся же когда-нибудь жизнь как жизнь.

Война, как к ней ни привыкнешь, – а не жизнь.

На батарее сразу спустился к Сохацкому, узнать, где подполковник. А тот, выслав сидевшего в землянке писаря, с большой таинственностью, с выразительно-нервным лицом достал папочку, раскрыл – а там лежал всего один машинописный листик: перепечатанный на машинке, видимо в штабе бригады, – всё тот же «приказ №1»!

Штаб бригады теперь, секретным образом, доводил его до сведения только офицеров.

Понимая, что капитану будет неприятно, Саня сказал ему бережно, что – солдаты уже читают.

Капитана перекосило. Этот приказ, видно, руки ему жёг.

А командир батареи? – нету, отлучился.

Воротился Саня к себе в землянку – узнал, что Чернеге и Устимовичу уже тоже давали читать. (Да Чернега, конечно, и прежде того читал.) Устимович сидел пил чай с сахарком,

вытянув крупные ноги в мягких чувяках, – и всё так же млея одной надеждой, что теперь скоро наступит мир, с каждым таким новым приказом – ещё скорей. А Чернега был на уходе к своей бабе в деревню, теперь уже не к Густе он ходил, а к другой, к Беате, – весёлый, нисколько не угнетённый ни этим приказом, ни всеми новостями. И рад бы с ним Саня поговорить, да он – как шар укатчивый, колобок, всё в движении.

А хотелось – именно с кем-то говорить, понять из чужих голов, высказать своё. Что-то такое большое оказалось, что в одной груди не помещалось. Пойти на другую батарею? В штаб бригады?

Но тут Цыж принёс – пачку газет! московских, сразу за несколько чисел. Вообще к газетам равнодушный, теперь Саня набросился. (И Устимович к себе потащил.)

Это – не были газеты в обычном смысле! Это были голоса, никогда не звучавшие, слова, никогда не сочетавшиеся, – глаза лезли на лоб. Это был какой-то грандиозный сквозняк, вихрь, в котором кувыркались как бумажные – члены династии, сановники, общественные деятели, давние революционеры и новые министры. Всё не устоялось, двигалось, обещало, ничего нельзя как следует понять, ни предугадать – и оторваться нельзя. Саня не замечал входивших, уходивших, одни газеты приносили, другие уносили, нельзя было начитать, наглотаться, вместить. Он потерял своё обычное раздумчивое и отстранённое состояние, в скрюченной позе сидел над столом, потом на койке.

В их Гренадерской бригаде специально всех поразит, конечно, вот: их бывший командир генерал Мрозовский (которого тут все боялись и не любили), возвышенный царём до командующего Округом, – не только ни одной минуты не сопротивлялся революции, но легко поддался аресту, а будучи арестован – сразу же и присоединился ко Временному правительству! А как был грозен тут, а как неприступен!

Можно присоединяться ко Временному правительству, отчего же, но не таким же слугам царя! Ну хотя бы тень достоинства.

Читал Саня, читал, – и вдруг:

«В конце февраля жертвой революции пал заслуженный профессор по кафедре баллистики, член Артиллерийского комитета, почётный член конференции Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Николай Александрович Забудский, выдающийся знаток артиллерийского дела. Московский университет удостоил его степенью доктора прикладной механики. Парижская академия избрала его членом-корреспондентом.»

И – встала в памяти фамилия, в тот раз слышанная мельком: Забудский! – генерал-профессор с заморщенным лбом, проверявший их батарейные пушки! Как он неуставно вытирал платком вспотевшие залысины, как сутулился, как объяснял умно, – и рука у него была какая мягкая слабая...

Да – за что же его?! Да – он при чём? Да как же он мог пасть!

Как эту смерть себе вообразить?

Все эти дни воспринимал Саня события через какую-то пелену непонятливости. А тут вдруг зинуло: увидел он светлого умного старичка с раздробленной кровотокающей головой – где-нибудь на улице? Или на лестнице?

И Саня – отшатнулся.

Вот так приходит свобода?

495

Весть о том, что министр юстиции в Москве, – пронзила весь город, достигла даже лишённых свободы. Арестованный у себя на квартире генерал Мрозовский просил свидания с министром. Арестованный на железной дороге царский сатрап Воейков, доставленный в комендантские камеры Кремля, тоже просил министра о свидании. Где-то в переездах министру докладывали эти просьбы, но он не только охоты к ним не имел, но и запятнать себя не мог, а лишь распорядился отправлять Воейкова в Петропавловскую крепость. Да вот что: прицепить сегодня же к поезду министра, так верней.

Несмотря на телесное изнеможение, со своею железной волей министр спешил выполнить свою дневную программу. И уже везли его вниз по Тверской и поперёк Охотного ряда – в здание городской думы, проскрёбанное и прочищенное от революционных дней.

А там – заседала не прежняя выборная дума, отчасти реакционная, но дума нового состава – с поправкою на всех тех, кого следовало избрать. Сверкали стоячие крахмальные воротнички, воротнички. Вся общественная Москва рвалась присутствовать в этом заседании! – и впервые за 50 лет публику пускали по билетам, хотя удвоено было число мест и открыты думские хоры. И ещё тысячная толпа не сумевших проникнуть толпилась перед зданием. А проникшие – были вознаграждены.

Ради торжественного случая было забыто постановление прежнего реакционного режима об экономии электричества – и думский зал получил полное праздничное освещение. И в исходе девятого часа в это сияние, под гром аплодисментов, вступили: Александр Фёдорович Керенский, полноватый Грузинов со своим боевым штабом и комиссар Москвы Кишкин.

Они заняли места рядом с членами управы, а городской голова Челноков, хромоватый, мешковатый, но расторопный, заблестел своим пенсне с трибуны и потянул с протяжным московским аканьем:

– Вы понимаете, что в настоящую минуту созвать думу старого состава я не мог. На свой риск я решил опубликовать списки новых гласных и созвать сегодня именно их. Я не хотел по этому поводу беспокоить князя Львова и взял ответственность изменить состав думы на себя, в надежде получить ваше одобрение.

Аплодисменты подтвердили, что только такая решительность в революционное время...

И ещё городской голова извинялся, что было бы неправильным взять ему на себя излагать события этих дней. Но необходимо остановиться на двух моментах:

– Обязаны ли мы почтить память тех, кто погиб в Москве за свободу? – (Те три солдата, случайно убитые на Большом Каменном мосту.) – Прошу встать.

Встали гласные, встал министр, встала публика.

– А затем я должен обратить ваше внимание на того,- (уже сорвались первые нетерпеливые аплодисменты, хотя не догадались – о ком), – без кого Москва не прошла бы через водоворот событий без кровопролития. Я говорю, разумеется, о подполковнике Алексее Евграфовиче Грузинове! – (Страстные аплодисменты.) -... который с великой простотой и решимостью пришёл в городскую думу и заявил нам: «Ваши войска в беспорядке. Надо, чтобы кто-нибудь их организовал.» И то, что он сказал, было высочайшим гражданским подвигом! Он предложил свою голову за свободу России! И мы с удивлением и благоговением увидели, как начал он своё дело! Я уверен, что всех нас теперь воодушевляет одна мысль: подвиг Алексея Евграфовича перешёл в историю! И я просил бы думу избрать специальную комиссию для достойного увековечения имени подполковника Грузинова!

И разразилась – буря, буря аплодисментов! Да, пронести сквозь века! да! Весь зал стоял – и, естественно, стоял лицом к нему сам Грузинов, не так чтоб очень подтянутый (давно уже не на военной службе), но что за красавец мужчина, со жгучими глазами, с шёрсткой малых усов, однако созданных щекотать воображение женщин.

Стояли, хлопали, стояли, хлопали, – наконец слово взял Астров. С несколько туповатым лицом, усеченным подбородком, вычитывал резолюцию:

«В пережитые нами великие исторические дни доблестные войска московского гарнизона... Москва никогда не забудет, что во главе московских войск в эту ответственную минуту самоотверженно стал подполковник Грузинов и своими решительными действиями... увлекая в едином великом порыве... Вечная признательность Москвы...

И снова дрогнул зал от взрыва аплодисментов.

И поднялся для ответа Грузинов. Была некоторая бархатность и в голосе его и в повадке:

– ... Того, что я сейчас переживаю, достаточно, чтобы умереть спокойно... Всему

случившемуся виной не я, а сознание, охватившее весь народ. И если я сумел схватить в руки этот порыв и направить его в русло – это моё счастье. Я не заслужил этих оваций... Но я употреблю все усилия, чтобы дело свободы не пострадало, а расцветало бескровно. Я закончу солдатскими словами...

Могучее «ура» потрясло здание думы.

Наконец через клики и крики поднялся долгожданный Керенский. (После Английского клуба он соснул часа два на квартире, выпил крепкого чаю и хотя всё ещё был бледен и невыспат, но держался куда молодцом.)

Овация совершилась – ну просто грандиозная. Керенский бодро перестоял её, слегка загадочно улыбаясь, – и наконец мог заявить:

– Господин городской голова! Временное правительство, обладающее полной властью, повелело мне явиться сюда и низко поклониться Москве, – и он движением полурыцарским отдал низкий поклон городскому голове, – а в её лице и всему русскому народу, и заявить, что все силы и всю жизнь мы отдадим на то, чтобы власть, вручённую нам народным доверием, довести до Учредительного Собрания.

И ему особенно приятно выразить всё это в стенах московского городского управления...

– ... которое с возникновения Москвы, – (то есть очевидно с 1147 года), – создало две таких могучих организации как Городской Союз и Земский Союз, а теперь поможет создать непобедимую Россию.

Гром аплодисментов.

Ждали большой блестящей речи, но министр ничего более не выразил, а дал знак, что хочет уехать.

И дума занялась оглашением телеграммы посла Бьюкенена, почётного гражданина Москвы, и ответными телеграммами к Англии, Франции, и чествовала поочерёдно Кишкина, Челнокова, Астрова, и поручала Челнокову разработать вопрос об увековечении Воскресенской площади в истории Москвы как центра народного движения: расширить её за счёт владений Охотного ряда, срыть все здания между Театральной площадью, Манежем и думой и выстроить грандиозное здание московской думы – Дворец Революции.

А Керенскому между тем доложили, что в здании городской думы обнаружен неизвестно кем подложенный ящик ручных гранат.

Какое коварство! Да не есть ли это то самое зловещее покушение? Министр распорядился произвести самое строжайшее расследование.

И – унёсся дальше по Москве.

Несмотря на позднее вечернее время (но специальный поезд ждал его до любого времени), он ещё замчался в польский демократический клуб – и там под очередные аплодисменты разъяснил, что не удивляется полякам, относившимся с недоверием к России: дело в том, что и русские до сих пор не верили сами себе.

И наконец, автомобильными колёсами довершая свой магический вдохновляющий круг по Москве, домчался снова до Совета рабочих депутатов, откуда начал утром. Большой Совет как раз заседал в Политехническом музее – и аплодисменты и клики «ура» своему верному социалистическому соратнику продолжались несколько минут.

Уже никакое сердце не могло выдержать столько славы за полдня. Керенский стоял на подиуме с букетом алых цветов в руках на фоне чёрной куртки, уже с закрытыми глазами, опустив голову и подёргиваясь.

Председатель Совета товарищ Хинчук приветствовал его как заместителя председателя Совета петроградского:

– Вообще, рабочие люди не дают своих деятелей в министерства. Но пока вы, товарищ Керенский, состоите в министерстве, мы знаем, что измены не будет. Мы верим вам!

И снова, и снова шумная овация!

Керенский передал кому-то цветы, шагнул крепче, ещё крепче – и вот уже вытянулся, и вот говорил с прежней звонкостью. Он снова объяснял дорогим товарищам рабочим (и

интеллигентам), как это получилось, что он решил вступить в министерство, и кто был против, и кто был за, – и всё гордее и гордее:

– Если вы мне верите – не предпринимайте ничего, не посоветовавшись со мной. В любое время телеграфируйте мне, если потребуется, и я приеду, чтобы рассказать вам всю правду. Помните, – он руки артистически прижал к груди, – что я – ваш! весь – ваш! Здесь я – не министр, а – товарищ вам. Я – **товарищ** вам! И пролетариат должен стать хозяином страны!

Зал был очень доволен, однако закричали оттуда:

– А почему Николаю Второму позволено разъезжать по России?

– А деток не пора приструнить?

– А кто будет Верховный Главнокомандующий?

И даже:

– Смерть царю!

Ах, занозистый вопрос! Он и здесь. Где только он не звучал. Не могли наслаждаться российские подданные свободой, пока ею наслаждался царь.

Но Керенский не только не смутился – он как будто обрадовался этому вопросу! он шёл как будто навстречу освежающему ветру. Почти улыбка играла на его больших губах.

– Николай Николаевич – Верховным Главнокомандующим **не будет** !

Тишина. Отрезано.

– А что касается Николая Второго, то бывший царь сам обратился к новому правительству с просьбой о... – Какое-то чутьё, оно у Керенского было, дало ему знать, что нельзя так просто назвать, как в Английском клубе. – С просьбой о покровительстве. И Временное правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя. – И очень грозно и беспощадно: – Сейчас Николай Второй в моих руках!!! в руках генерал-прокурора!! И вся династия Романовых – в моих руках!!! – Это потрясло зал. Сейчас объявит о казни их всех! – И я скажу вам, товарищи, – лик его был страшен, и нельзя было предвидеть пощады: – Русская революция прошла бескровно – и я не хочу! – и я не позволю! – (погиб царь) – омрачить её! Вчера в Петрограде я говорил речь к демонстрации, а впереди толпы стояли подозрительные люди, которые требовали казни арестованных сановников. Это были – **враги народа** ! – вскричал он отчаянно, и зал дрогнул, -... которые хотели бы в крови утопить величественное дело свободы! И я ответил: «**Ни одна** из революционных социалистических партий не призывает к насилию и бессудным расправам, а только бывшие охранники и провокаторы». Но мы не дадим омрачить светлое торжество свободы! **Маршом** русской революции! – захлёбчиво гремел он, – я никогда не буду! Но в самом непродолжительном времени Николаи Второй под моим личным наблюдением будет отвезен в гавань и... – (и утоплен?) -... и оттуда на пароходе отправится в Англию. Дайте мне на это власть и полномочия!

И так это было замечательно подготовлено и выражено голосом, – аудитория уже и смягчилась, и была согласна: да что в самом деле? пусть себе едет! И даже хлопали, и даже кричали «ура». Даём полномочия!

Керенский, бледный, закрыл глаза и простоял полминуты. (Он хорошо угадал момент! Он понимал толпу! И вот – отвёл кровь.)

Но уже торопили его спутники, засуетились офицеры-адъютанты, Керенский прощался, прощался за руку с руководителями Совета – и уже уходил – ушёл – и ещё в вестибюле грянули ему последние аплодисменты.

Погнали на Николаевский вокзал.

Экстренный поезд стоял под парами, и вагон с Воейковым был прицеплен.

Страшный Чрезвычайный Следователь Муравьёв уже сидел в поезде.

Из последних сил Керенский прощался, прощался – с присяжными поверенными, с представителями Совета, с Челноковым, с Кишкиным – и вот уже стал на площадку вагона и вот уже помахивал. Поезд тронул. Была половина двенадцатого.

Заплетаясь ногами, Керенский дошёл до купе.

Но не рухнул: ему предстоял теперь интересный допрос дворцового коменданта. Сейчас намеревался он попить с Воейковым чайку, поражая его любезностью, и выведать о придворных изменах.

496

Уже он посадил её на извозчика, она отъехала от гостиницы, – и вдруг испытала – сжатие, сомнение: всё ли – **так**? А может – не поняла?... А может – всё плохо?...

И – тотчас, пренебрегая недовольством извозчика, повернула его к подъезду, подождите, и пренебрегая что швейцар, – снова вверх по лестнице – и снова постучала к нему!

Открыл удивлённый.

Задыхалась:

– Я только подумала... Всё у нас – **так**?... Всё – хорошо?... Ну, я только для этого. Я ухожу...

Но – ещё, ещё повисела в его руках. И он опять пошёл проводить.

Никто их не видел на тёмной улице, а – как в многолюдном торжестве: смотрите! смотрите все!

Приехала домой – а глаза такие счастливые.

И хорошо – быть такой!

Как необыкновенно с ним – нельзя передать! Всё вокруг – он. За что ей это?

О, хотя бы завтра, как сегодня!

И – ещё потом.

И – куда бы ни позвал.

Но если и никогда ни разу больше – это уже всё в ней.

На всю жизнь.

У Ликони теперь так много, что отбирай, отбирай – нельзя отобрать всего.

497

Тягуче невыносимо затянулось царское пребывание в Ставке. Но чувство стеснения перед бывшим Государем испытывал Алексеев не только от этого. Нет.

Это была и какая-то потупленность перед ним, какой Алексеев не знал раньше, отношения были всегда простые.

Постоянно занятый делом, Алексеев не имел привычки ковыряться в своих чувствах. Но сейчас что-то тяжелило в груди непривычно, как посторонний предмет.

И понял Алексеев: вот что, как будто он чувствовал себя виноватым. Виноватым? Но в чём же он был перед царём виноват за эти дни? Он точно действовал всё по закону, и ни одного приказа не отдал самовольно, кроме разве остановки полков: с Юго-Западного, так он и вызывал их сам; с Западного – так получил потом подтверждение от Государя. Ни одного приказа он не нарушил. Он честно всё делал. А напутал – Государь своим отъездом, скорее был виноват он. А вообще – все события прошли мимо них обоих.

Так, да. А чувство вины – необъяснимо залегло. Залегло, и даже: не останется ли оно с отъездом Государя, вот что?

Когда сегодня пришло из Петрограда, что отъезд бывшего царя назначен на завтра, готовить поезда, а от Государственной Думы прибудет несколько депутатов для сопровождения, наконец-то, – Алексеев счёл неудобным такое важное известие передавать Государю запиской. Пошёл сам.

За эти дни равномерной жизни в Ставке и частых бесед с матерью Государь стал выглядеть намного спокойней, сгладилась ужасная врезанность черт, какая была при приезде. И даже такая светлость появилась в его облике, как будто он был даже доволен, как будто он не пережил катастрофы. Светлый взгляд – и безо всякого укора к Алексееву. Нет,

Государь ничего не имел против своего бывшего начальника штаба.

Но именно поэтому не было духа у Алексеева отказать Государю в его последней просьбе, почти детской радости: издать прощальный приказ по Армии. Формально он не был уже Верховным пять дней, он был никто, и не мог такого приказа издать, – но каменное сердце нужно было, чтоб отказать. Уже отказал ему Алексей в бредовой затее – брать отречение назад, а уж это-то – можно? Государь – как ребёнок, хочет попроситься.

Проскрипел генерал, согласился.

И к вечеру Государь прислал ему текст.

Да приказ был в общем вполне и полезный: призывал к борьбе до победы и к верности новому правительству, всякое ослабление порядка службы – только на руку врагу. В дни нынешней растерянности такое присоединение голоса бывшего царя могло лишь помочь делу, послужить объединению, как и те воззвания, какие они намеревались сочинять с Гучковым. Сейчас – опасный момент, сейчас – всеми силами собрать всю верность, какая есть. И какую соберёт им Государь – тоже пригодится, даже больше всего.

Но формально нельзя было издавать приказа за его подписью. Сделал так: напечатать как сообщение, как часть своего приказа, подписанного наштаверхом.

Отдал на перепечатку.

Договорено было с Государем и об утреннем его прощании завтра с наличным составом Ставки.

Уже поздно вечером доложил дежурный, что просит приёма генерал Кисляков.

Алексеев повёл усталыми глазами – какая ещё срочность по путям сообщения? Кисляков не подавал голосу с того дня, неделю назад, как приходил доложить о невозможности принять в своё ведение все железные дороги. Но что за срочность сейчас? – не предупредил телефоном, а уже ждал в приёмной.

Ну что ж, велел принять.

Опять это нездоровое впечатление рыхлости при молодости, ничего военного, чиновник. И нет прямоты в глазах, всё искривляется взгляд. Но в этот раз оказалось и понятно. Волновался, краснел:

– Ваше высокопревосходительство. Я не имею права вам докладывать... Но считаю невозможным не доложить... Но я рассчитываю, что вы... Что больше никто?... Это секрет.

И смотрел напряжённо.

Вот так подчинённый! – не имеет права докладывать. Но правда, у него своё начальство, министерство путей.

Только что не потребовал с Алексеева клятву. А поглядывал испуганно и пятнами краснел. Шаткий, выворотной.

– Ваше высокопревосходительство! Я получил шифрованную телеграмму от министра Некрасова. Он...

И – не говорил дальше. А положил перед Алексеевым саму телеграмму в печатных цифрах и чистовую расшифровку своей рукой, чернилами.

Алексеев стал читать – и ощутил, что краснеет и сам, хотя этого с ним не бывало.

Некрасов сообщал Кислякову, что готовить надо не два литерных поезда, как обычно, а один – но с особой тщательностью и при запасном паровозе, так как отъезд бывшего царя из Ставки будет носить характер **ареста**, с каковою миссией и прибудет делегация членов Государственной Думы!

Вот оно что?! Вот как? А Алексеев и совсем не догадывался!

Арест? Делегация?

Да ведь он сам и просил командировать представителей для сопровождения.

Но кто же мог думать так?...

Та-ак...

Поджимая губы, Алексеев перечитывал. Смотрел на Кислякова. С Некрасовым, а то и с Бубликовым? – своя у него переписка. Глаз да глаз.

А больше и говорить с ним было нечего: сказал – спасибо.

– Ну что ж, готовьте.
– Но вы, ваше высокопревосходительство...? Но я считал, что вам не могу не доложить?...

– Да, правильно. Спасибо.
Отпустил.
Спасибо? – или лучше бы не говорил? Ещё навалил тяжесть.
Добровольно отрёкся, не боролся, – и за что же?...

Но – стать на место Временного правительства – можно понять и эту меру. В первые дни становления правительства – и свободно разъезжает бывший царь?
Та или иная мера неизбежна.
Теперь что ж? – надо всё выполнить?
Да у Алексеева ничего и не спрашивали, требовалось от Кислякова.
Хотя странно – и обидно – что лично его не удосужилось Временное правительство известить.
Или – не доверяло?
А между тем – кто же будет... провожать, устраивать?
И – новый горячий укорный толчок в сердце: а – **сказать** ? Государю – сказать?
Как же – не сказать??
Но он, будто, дал и слово. И чтоб не было эксцессов.
Но в какой-то момент **это** неизбежно сказать?...

Или – не говорить вообще? Пусть так и едет?
Нет, всё-таки порядочность требует сказать. Так долго работали вместе.
Сходить сейчас – и сказать? Он ещё не спит.
Разволнуется.
А завтра будет обряд прощания – и Государь перед всеми скажет что-нибудь резкое, лишнее?
Узнав заранее – Государь может что-то передумать. Переменить решение, как хотел переменить с отречением. И вдруг – откажется ехать? Откажется повиноваться? Или захочет ехать в другое место?
И – что тогда делать?
Сердечно жалко, – но как ни жалко, царь должен нести свой жребий и все выводы из своих поступков.
Да, благоразумнее – скрыть до самого последнего момента.
О, скорей бы его увозили! Как устал Алексей от этой двойственности, от этих сокрытий.
Сегодня ночью не дёргали к аппарату. Алексей запер дверь, зажёл лампаду и на коленях долго молился.
Прося Господа – простить.
Во всём этом что-то тянулось, что надо было – простить.

ВОСЬМОЕ МАРТА

СРЕДА

498

Чем дальше Воротынцев загонялся в румынскую глушь – тем надсадней ощущал всю свою поездку как позорную болезнь, о которой никому не расскажешь, или – как впад в слабоумие. Хотел бы он забыть её начисто! Не разгадал, упустил, проволочился никчемным привеском через самые центры событий, – отступая по дням, это было всё резче видно. Может быть, он ничего и не мог бы сделать, но в бою совершаешь и невозможные шаги. А

он и не шевельнул рукой. Да хотя бы 1 марта, – нельзя офицеру в Петроград? но он был дома, переодеться в штатское – и ехать? А куда ехать? Кого искать?... С чем?

И не облегчало узнать, что не один Воротынцев растерялся – растерялись все. Вся императорская армия. И Ставка. Сам царь. И брат его. И вся Россия.

Что говорить о Воротынцеве, когда весь Балтийский флот «примкнул к революции во избежание гибели», – **чьей** гибели? своей? или революции?

Вот и в штабе Девятой – Воротынцев застал всех растерянными и никто не мог сказать о прошлом: что же надо было делать? А своим отречением Государь как вырвал землю из-подо всех. Верховный Главнокомандующий – внезапно, первый, ушёл с поста, и не обратился ни к кому к нам за помощью. Кто б и хотел защищать монархию, – **как** ?

Генерал Лечицкий ходил по штабу с омрачёнными глазами (всё не сняв с погон царских вензелей). Молчал. Никого не собирал, ни к чему не призывал.

Как хотелось получить от него – решение? ясный приказ? Молчал.

В 9-ю армию, на далёкий фланг, с опозданием докатывались осколки событий, притёк приказ Гучкова №14 – не обрадовал: если и военный министр как бы подтверждает нижним чинам, что правила воинской дисциплины были символом рабских отношений?...

Тем чувством бессилия, каким был обескуражен Воротынцев в Москве и в Киеве, – теперь были смяты все. С каждым днём всё разрушительней и непоправимей, – а что делать? никто не мог указать.

Но если не вмешиваться в ход событий – чего мы стоим? Вот: есть еще запасы воли, движение, – но куда их?

Последние дни Воротынцев стал подниматься очень рано, ещё в темноте, гораздо раньше, чем требовалось. И – потому что сон потерял, когтило его. И – потому что это из верных путей выздоровления. Есть какая-то силовая удатливая ёмкость у ранних утренних часов, у самых раннеутренних, когда ещё все спят; все направления долга особенно отчётливо просвечиваются над тобой, а все направления слабости легче отпадают. Даже не имея никакой определённой цели, но начать бодрствование раньше всех, опережая общую жизнь оказаться на ногах и со здоровым разумом, – непременно будет послана за это какая-нибудь находка, удача, мысль. Кто рано встаёт – тому Бог подаёт, проверено. В этот час обойти ли расположение позиций – всегда откроется такое, чего и за год не дознаешь в обычное дневное время. Да и по штабной жизни – прийти на занятия, когда ещё нет никого, дежурные борются с предутренним сном, а новости ночи накопились, – всегда хорошо для размышления и решения.

Так и сегодня он пришёл в штабной дом, снимал с гвоздя ключ от комнаты, – аппаратный дежурный протянул ему отпечатанную бумагу: ночью получили, сейчас передают в корпуса.

Приказ по Действующей армии.

В обрамлении Алексеева и с его подписью – а приказ-то самого Государя.

Неожиданно.

Понёс к себе в комнату.

Хотелось закурить. Но утром натошак избегал, ядовито.

Прощальный приказ?

Короткий. Почти весь сразу и вбирался в глаза.

Но вот что: не казённо-пафосный, какие бывали раньше. Несомненно сам писал, почти слышится голос Государя, негромкий, страдательный.

«В последний раз обращаюсь». И свои войска назывались «горячо любимыми», а заостеневшие «доблестные» оставлены союзникам. Впрочем нет, увязан язык формами как гирями, выныривают и наши «доблестные».

А к правительству, сместившему Государя, было: «да поможет ему Бог вести Россию» и – «повинуйтесь Временному правительству».

Как не бранили, как не дразнили его недоброжелатели! самая мягкая из кличек была – «полковник». И сколько ни сердился на него, бесился Воротынцев сам, – а сейчас был

тронут. Не за Временное правительство, а – самим Государем тронут. Вот эта незлобивость, тихость – всегда, может быть, слабостью была русского царя, но сейчас... Ведь никто не вынуживал ещё и благословлять новое правительство, призывать к послушанию ему, а вот...

Что ж делать... Христианин...

Слишком христианин, чтобы занимать трон.

Каким был, таким и уходил.

Значит, не просто он заклинал тысячу раз о любви к России – но вот для неё потеснялся готовно и сам.

Что ж делать. Каков был. Каков нам достался.

Может быть, какой-то есть в этом неулавливаемый смысл.

Вот... Сам... Легко. Без борьбы.

И – каково ему сейчас? С такой высоты – и в два дня?...

Нелогично, недоказуемо – а боль Воротынцева стала: что он как будто и сам приложил руку к этой мерзкой революции.

Хотя ведь он ничего **не сделал**. И ничего не сделал против совести. Только – зашатался мыслями.

А сейчас, когда республика раздавалась ворохами даром на всех перекрестках, – Воротынцеву было гнусно ощутить себя в этом ревущем потоке. Сейчас – ему даже неправдоподобным казалось: как это он мог замахиваться? Как это он мог хотеть, чтобы Государь отказался от престола?...

И кончал Государь трогательно, как не бывало принято: Победоносцем Георгием. Вспомнил его – и приставил к покидаемой армии: да ведёт вас к победе!

Святого Георгия своего Воротынцев почитал.

Но была в приказе малая фраза, которая его ожгла. Первый раз глаза пробежали, второй раз упёрлись – и Воротынцев почувствовал, что зардевает:

«Кто думает теперь о мире, кто желает его – тот изменник отечеству, предатель его.»

Потому ли, что настоялась такая глубокая тишина, одиночество, никто ещё этого приказа не знал, не читал, не добивался получить, он лежал перед одним Воротынцевым, – стало так, будто Государь ему и говорил в лицо, всё о нём зная: что он, Воротынцев, предатель, изменил России.

Всё зная? И что мира хотел, и **что** осенью задумывал?

Воротынцева бросило в жар.

Сломав две спички, закурил.

Вот это и мучило его всю минувшую неделю, ещё от Москвы, а потом разбереживалось в пути, а потом на Крыме проверял, а тот и не колебнулся, – вот это и мучило: что уже осенним замыслом он в марался в эту же революцию.

Уже тогда изменил присяге? долгу?

Но Государь! но вот теперь вы тоже изменили присяге! долгу!

Кому крикнуть? – поверженному?... Легче всего.

Но – не вся вина за Воротынцевым, нет не вся! Да. Он думал так с прошлого года и думает сейчас: России нужен мир. Один мир! Выше всего – мир! Раньше всего – мир! И – почему это предательство?

И даже уверен: в эту войну ни за что не следовало нам вступать, ни – подготовительные жесты выражать, это роковая была ошибка. А только если Германия сама двинула бы на нас. Вот тогда была бы и Отечественная, и несомненная для каждого последнего мужика.

А уж застряв в войне, и в ней захлебываясь – надо было иметь ум и мужество из неё выходить.

Да вот и в этом прощальном приказе: «уже близок час, когда Россия с союзниками сломит последнее усилие противника»... Государь уверен в этом.

Ах, как вы все уверены!

Да как бы ни побеждала наша колонна, но выбитый картечью падает из строя, и победа уже – не его. Вместе с союзниками победа у нас пусть будет – да что останется от нас самих?

Да сколько же, сколько же в нашей истории мы бессмысленно клали русские головы, не жалея их! Куда ни ткни. Нынешняя война – чем лучше хоть войн Анны Иоанновны? То напрягались посадить саксонского курфюрста польским королём. То бездарные миниховские походы на Очаков и Крым, 100 тысяч русских положили на юге за право только получить Азов со срытыми укреплениями?! И при Елизавете гнали русскую пехоту помогать Англии и Нидерландам на Рейне. А зряшная бестолковая Семилетняя война – лучше, что ли? Зачем взяли на себя это европейское распорядительство – осаживать Фридриха, а плодами этих жертв и побед даже не воспользовались никак.

Горели щёки, горел лоб. Да, пошатнулся, да, – но изменником отечеству себя не признаю!

Потому что эта война – не выше всех задач России!

Конечно, если поминать только доблесть, одну лишь доблесть... Но и кроме доблести есть что в России поберечь.

Да все мы, и дворяне, и образованные, – как мы плыли по России беспечно, и сколько ж мы в ней упустили, отчасти – всё доблестными нашими войнами.

Я – предатель? Да ведь мы все, и много раньше, и многократно – предали наш народ! И в эту войну мы его отдали – предали.

И вместе с вами, Государь...

Постучался взволнованный дежурный при аппарате:

– Господин полковник! Я должен вас предупредить: из Ставки сейчас поступило распоряжение: рассылку этого приказа остановить!

Воротынцев не сразу понял: повелено остановить?... (И – то, что *о нём* ?...)

Начал понимать:

– Да как они смеют? Останавливать прощальный приказ? Ах, мерзавцы! Ах, скотины низкие!

499

Что ж, и самый опытный пловец в неведомых волнах – и сбит, и наглотался, и хорошо если не потонул. Тыловые волны оказались такого свойства, что генерал Эверт совсем растерялся в них и только вид важный ещё удерживал, а так совсем потерял силу рук и управление.

Хотя он и признал *молодое* правительство – этого оказалось совсем не довольно для прочности. Он все так же оставался Главнокомандующим Западным фронтом, и все те же три армии и пятнадцать корпусов были в его управлении, – но на самом деле ничего не осталось от его единовластия. Когда вначале он посчитал, что от петроградского нового правительства не зависит, а была бы всё та же Ставка над ним да все корпуса на месте, – он не предвидел, что новая власть образуется через несколько домов от него, в самом Минске. И едва только он не помешал им собраться в их первые часы, – они стали разливаться вполне самостоятельно и подрывать его власть. Едва разрешил собраться «Комитету общественной безопасности» – как тот назначил какого-то небывалого «гражданского коменданта» города, – а тот повелел арестовывать городских полицейских, якобы «за нарушение тишины и за пьянство», – и тут же насилия перекинулись на все железные дороги Минского военного округа, и на всех станциях обезоружили железнодорожных жандармов. И тут же образовался в Минске свой совет рабочих депутатов – и выпустил свою газету, возмутительную по содержанию, а Эверт никак не мог ввести политическую цензуру: он не имел таких указаний и прав.

Весь город сам собою расцвётился красным, возникло скопление и многое движение на улицах, – а Эверт не имел никаких прав, указаний, да и приёмов, да и сил: как это всё остановить? Он только мог телеграфировать военному министру Гучкову, что в тылу округа арестовывают начальников, – а что Гучков? болтун и директор банка. А Ставка – сама была

обезглавлена на несколько дней, до прибытия великого князя, молчаливый же нерешительный Алексеев никакой твёрдой поддержки оказать не может. От великого князя памятовали и ждали испытанного предводительства войсками, – но пока оно не возвратилось? Генерал Эверт не только не имел решимости подавить эту иррегулярную смуту, но он и сам неудержимо втягивался участником этой смуты так, как втягивает вертящаяся вода.

6-го марта новые власти, не спрося генерала Эверта, назначили всегородскую манифестацию совместно с гарнизоном – и так это было уже неотвратимо, по новейшей развязности, что Эверт не только не искал, как помешать, но счёл за благо и сам участвовать, дабы придать манифестации законную благопристойность.

Народ со всех сторон, охоткой и любопытством, валил на Соборную площадь. Полиции нигде уже не оставалось, и движением делали вид что руководили – самозванные гражданские лица с повязками на руках. Едва ли не все жители и особенно вся учащаяся молодёжь были тут. Многие несли красные флаги, и красные куски с надписями, и в красных тряпках были многие стены, – а на крышах, балконах, и на колокольне чернели зрители. Пришлось на площади выстроить все наличные войска гарнизона – и Эверт послал Квецинского обойти их, приветствуя «с новым государственным строем и народным правительством». Войска кричали «ура», но городские деятели на одном с Эвертом балконе указали, что строй войск следует обойти лично ему. Хорошо. Статный, почти богатырский, прямой, бородатый, – Эверт пошёл вдоль всего строя, и все войска кричали «ура». Очевидно, личное участие и было правильное решение, чтоб удержать движение в границах благоразумия.

Затем соборный причт служил молебствие (далеко не вся площадь сняла шапки, да тут и евреев много, а красные флаги так и торчали повсюду). А затем надо было с построенного деревянного помоста речи говорить – и кому же первому? Опять Эверту. И он сказал, глотая посушевшим горлом: «Верю, что с Божьей помощью новое правительство, составленное из лиц, избранных народом...», поведёт родину к новому счастью. Затем пошло легче – о войне, о враге, встать грудью за Русь Святую, за Верховного Главнокомандующего. Так благополучно произнёс Эверт свою речь, и гремело „ура» по площади. Эверт держал тяжёлую руку под козырёк. Потом выступал депутат Государственной Думы, и местные вожди.

А кто-то стал ломом разбивать над аптекой императорский герб.

Обожгло сердце кипятком.

А – что поделаешь? Уже придя сюда и речь произнеся – что поделаешь?

И в других местах, где висели гербы, стали их дробить.

А тут – пошёл церемониальный марш, и повалило минское население. И Эверт всё держал руку под козырёк – и чувствовал, как её било дрожью.

Ушли генералы с площади, уходили воины – а там на трибуну вылезали какие-то всё новые, штатские, и выкрикивали свои речи.

Не усматривал Эверт, в чём он ошибся или как бы мог иначе, а на душе было погано: вот, он отдал этим красным флагам и ораторам не только весь свой Западный фронт, но и, за своей широкой спиной, – обширный Московский округ, за который тоже отвечал, и им тоже давал телеграммы объявлять манифесты, от которых Россия обесцарела вмиг и вкруговую.

На несколько часов порадовала неожиданная телеграмма из Петрограда от Пуришкевича: постоянный соучастник Западного фронта своим санитарным поездом, он теперь спешил сообщить Эверту радостную весть: что разбойный смутительный Приказ №1 оказался фальшивкой!

Вот как? Слава Богу! И что ж за мерзавцы: кто его сочинил и кто его повсюду телеграфировал?

И тут же хотел Эверт эту радость объявить приказом своему Фронту, но уже привык к колебаниям этих дней: а вдруг ещё что-нибудь не так? как бы не ошибиться? Ведь Пуришкевич – это не начальство какое-нибудь, не инстанция. И Квецинский очень просил воздержаться, еще раз выяснить.

Снеслись со Ставкой – и что ж оказалось? Приказ №1 никакая не фальшивка, а фальшиво сообщал Пуришкевич, а ведь член Государственной Думы и солидный человек.

Эта городская манифестация в понедельник оказалась не концом красного разлива, как надеялся генерал Эверт, – а ею только началось. Теперь полилось и по мелким городкам и гарнизонам – и не любовь к родине и не страсть к победе над германцами – а всё больший разболт, неповиновение, аресты отдельных начальников, особенно с немецкими фамилиями.

Дались эти немецкие фамилии! И про самого Эверта загудел Минск, что у него немецкая фамилия – и не хотят такого! И пришлось унизиться и дать опровержение в газеты, что фамилия у него – шведская, а не немецкая. Поверили, нет ли, но уже нет свободы распоряжения. Да и как управляться мог Эверт против анархии, когда сам же был на *митинге* ? (Откуда слов нахватались, сроду в России такого слова не было и никто его не понимает.)

А из Москвы привезли газету «Эхо польское», там было напечатано, что офицеры штаба Западного фронта подвергли Эверта домашнему аресту. А ничего подобного не было, – но что ж, и на это опровержение печатать? Значит, глотай обиду.

О Господи! Да скорей бы приезжал великий князь, да брал бы армию в свои испытанные руки!

Придумали вот что: в минском гарнизоне тоже составилась какой-то Совет депутатов от воинских частей, попали туда благоразумные офицеры – и дали телеграмму Петроградскому Совету рабочих депутатов, откуда и катилась вся зараза: убедительно просим не выносить никаких постановлений и приказов, направляемых непосредственно к армии; судьба России вверена Временному правительству.

А уж таких приказов было несколько, и каждый вечер, поздно ложась, не знал Эверт, какой новой бедой застигнет его утро.

Сегодняшнее застигло статью в «Минском голосе», где печаталось, что арестованный дворцовый комендант Воейков намеревался открыть Западный фронт немцам, чтобы подавить революцию.

Краска и жар так и обагрили Эверту лицо. Ведь дворцовый комендант не командовал Западным фронтом! Если он мог так обещать или намереваться – значит, читатели могли теперь подумать, что Воейков имел или уговор с Эвертом или расчёты на него. Читатели могли подумать, что и сам генерал Эверт готов был открыть фронт немцам!

А эти читатели, вот и минские, становились теперь всеильны даже над генералами.

И – никакого выхода не было теперь Главнокомандующему Западным фронтом, как садиться и писать опровержение в этот паршивенький «Минский голос». Что: Воейков осквернил Западный фронт предположением, что он способен пропустить врага своей родины. Но – никто тут не способен на такое гнусное преступление. И если бы даже был отдан такой приказ, и даже с самого верха, – ни генерал Эверт и ни один из военачальников никогда бы...

О Господи! О нет! Не удержаться на Главнокомандовании, если оправдываться в каждую последнюю газетку! И решился Эверт: телеграфировал Гучкову просьбу – назначить его на другую должность, а желательно – в Военный Совет (на отдых).

И телеграмма от Гучкова не замедлила:

«Считаю ваше пребывание на фронте опасным и вредным. Предлагаю немедленно сдать должность.»

И – никакой замены. Отслужил.

«Предлагаю»...

Но всё-таки – должен приказать о том великий князь? Ещё посмотрим.

Пришёл Свечин утром в штаб – подали ему прощальный приказ Государя к армии. Неожиданно.

Но и естественно.

Разослан? Начали рассылать в ранние часы, но Гучков узнал – и запретил.

Помял Свечин большими бровями, губами. Вот это уже была низость, один политический расчёт и никакой воинской души. Не зря ему всё-таки Гучков никогда как человек не нравился. И сколько ни рядился в военные. Военный должен отзываться на струнку благородства.

И что ж в этом приказе? «Повинуйтесь Временному правительству, слушайте ваших начальников.» Чего же испугались?

Внимательно прочёл небольшой текст. Уж на приказы, на приказы намётаны были глаза штабных. Никогда никаким Верховным Главнокомандующим он не был, конечно, ничего не направлял, – а душой был армии предан, это да.

Это и здесь. Использовал привычные раскатистые выражения, а приказ как вопль. Больно ему.

Не разослали, пороссячи души.

Что ж Алексеев?...

Уже известно было, передавали: в половине одиннадцатого в зале Дежурства желающие офицеры Ставки будут прощаться с Государем.

Идём конечно. Кто ж проявит низость не пойти?

Оперативное отделение пошло в полном составе. Да и другие.

Управление Дежурного генерала занимало по ту сторону площади здание окружного суда. В прямоугольном нынешнем зале Дежурства сохранялась невысокая балюстрада поперёк длинных сторон, разделявшая, не до середины, бывшие места публики от судейских мест. Из-за этой балюстрады – теперь собравшиеся и размещённые в несколько тесно сбитых рядов вдоль всех стен образовывали как бы восьмёрку, суженную в обтёк балюстрады, сейчас не видимой за спинами; а посреди, в самом узком месте, оставалось небольшое пустое пространство.

Кто и забыл, что висел тут большой портрет императора, – теперь видели пустой прямоугольник более яркой стеной окраски.

Стали строиться. Входная дверь была в углу восьмёрки. От неё по длинной стене пошёл правый фланг. Его начинали три великих князя, затем Лукомский, Клембовский, затем по управлениям и отделениям, старшие генералы во главе своих и в первом ряду. Затем офицеры конвоя, офицеры георгиевского батальона. Так проходила вся восьмёрка, а в конце уже другой длинной стены, на левом фланге, пристроили человек 50 нижних чинов, выборных от отделов и частей – конвойцев, георгиевцев, писарей.

Висел гулок негромких разговоров.

Затем вошёл Алексеев, как всегда скромно, не ища заметности, тихо беседовал с Лукомским.

К Свечину он стоял лицом и близко – и как никогда показался ему котом-котом, – усами, очёчками, небольшой головой, – ряженым учёным котом в кителе полководца.

И где же полководцы?

Затем адъютант подбежал сообщить Алексееву, что Государь вышел из своего дома, идёт.

Ровно в половине одиннадцатого с лестницы, через закрытые двери, донеслось громкое отрывистое:

– Здравия-желаем-Ваше-Императорское-Величество!

Хорошо гаркнули, всё как раньше.

В этом одном солдатском крике за всю процедуру и сохранилось – «как раньше».

В зале Дежурства наступила гробовая тишина.

При открытии двери генерал Алексеев скрипучим голосом и негромко скомандовал:

– Господа офицеры!

Государь вошёл. Совсем не молодецвато, лицо было жёлто-серое. И грузнели мешки под глазами.

Он был в серой черкеске кубанского пластунского батальона, с шашкою через плечо на узкой портупее – и, как все тут стояли с обнажёнными головами, свою коричневую папаху он снял левою рукою и держал зажатой при эфесе шашки. Орденов союзнических не было на нём, белел только георгиевский крест.

Поздоровался за руку с Алексеевым, с великими князьями.

Сделал общий поклон в офицерскую сторону.

Повернулся, от себя направо, к солдатам и поздоровался с ними негромко, как здороваются в комнатах.

А те – гаркнули и здесь, не столько глоток, как с полнотою и рвением:

– Здравия-желаем-Ваше-Императорское-Величество!

И хотя из разных команд, голоса не сорвались от чередующего темпа.

Затем Государь сделал несколько шагов на серединное пространство, ближе к перехвату восьмёрки, – и стал, всё так же с папахой, скомканной у эфеса, а портупее шашки врезалась в грудь.

И стал-то он так – что как раз лицом к пятну снятого своего портрета.

Свободная правая рука его сильно, заметно дрожала. Он ею приоттягивал портупеею от груди, как бы ища груди простора, добавляя дыхания.

Он и никогда не был мастер говорить перед многими, так и в этой последней речи в своей жизни.

Тишина стояла – абсолютная. Но нервная.

Но это же была офицерская среда, самая привычная ему и родная! А сегодня...

Всё же голосом он заговорил громким, ясным, но сильно волнуясь и делая паузы неправильные, не в тех местах.

– Господа... Сегодня я вижу вас... в последний раз. Такова воля Божья. И следствие моего решения. Что случилось – то случилось... – Совсем не была подготовлена его речь, он только тут думал и удивлялся: – Далеко задумана Божья воля, трудно нам её читать. Во имя блага дорогой нашей Родины... предотвратить ужасы междуусобицы... Я почёл... Я отрёкся от престола... – кажется, сам вздрогнул от ужасного звучания этих слов. –... И решение моё окончательно... бесповоротно... лишь бы только Родина наша устояла. Сломить лютого врага. Наша родная армия... наша Россия... в благоденствии...

Голос его приближался к надрыву:

– ... всех вас за совместную службу... за верную, отличную службу. Я полтора года видел вашу самоотверженную работу, и знаю, как много вы положили сил. И так же честно служить родине при новом правительстве... до полной победы над врагом...

Все смотрели не мигая, не шевелясь.

Кончил, не кончил, – но говорить дальше он не мог. Его правая рука уже не дрожала, а дёргалась. Хваталась за темляк шашки, встрёпывала его. Ещё бы два-три слова – и Государь бы разрыдался.

Поднёс дрожащую руку к горлу. Наклонил голову.

И хотел бы Свечин, хоть внутренне, возразить: «Эх, сам ты наделал немало». Но в этот миг – не мог, разобранный.

А тишина – всё напрягалась, истончалась – и стончилась – и позади Государя кто-то судорожно всхлипнул.

И как будто этого толчка только и ждала тишина – взрыды раздались сразу в нескольких местах.

И даже – просто заплакали, открыто вытираясь. И:

– Тише, тише! Вы волнуете Государя!

Государь оборачивался то направо, то налево, в сторону этих звуков и пытался улыбнуться – но улыбка не вышла, а напряжённая гримаса, оскалившая зубы и исказившая лицо.

Тут он быстрым шагом воротился к правому флангу, в сторону Лукомского, где он покинул жать руки, – и теперь продолжал, медленно идя вдоль первого ряда. Всем пожать он

и не мог, в тесную глубину, но старался подряд всем передним.

Это было всё перед Свечиным, в первой дуге восьмёрки, до балюстрады. Государь подвигался вдоль генералов и штаб-офицеров, близко наклоняясь вперёд к каждому, едва не глаза в глаза, – и у самого еле удерживались уже дрожащие слёзы. Как-то неумело схватились пальцами и со Свечиным, и не переправлять было пожатия, и не задержать руки дольше.

А рука была тёплая и сухая.

И Свечин, вообще никогда никак не расположенный к трогательности, почувствовал себя разнятым.

А Государь, поблизости, уже жал руку генерал-лейтенанту Тихменёву, начальнику военных сообщений.

И вдруг – остановился в своём передвижении, воззрился на генерала в упор и, задерживая его руку, сказал:

– Тихменёв! Так вы помните, как я просил вас? Непременно сумеете перевезти всё, что нужно для армии. Вы помните?

Голос его помягчел до просительности.

Тихменёв дрожаще-растроганно отвечал:

– Ваше Величество! И я помню – и вот генерал Егорьев помнит.

И потянул высокого, худого нервного генерал-лейтенанта Егорьева, главного полевого интенданта, который, кажется, хотел уйти во второй ряд и спрятать лицо.

И Государь обрадованно жал руку Егорьеву, на голову выше себя, тряс её:

– Так Егорьев, вы непременно всё достаньте! Теперь это нужно больше чем когда-либо. Я говорю вам – я ночей не сплю, когда думаю, что армия голодает.

Издали, не соседи, этих слов не слышали конечно, но как будто в ответ на них с той стороны, с солдатской, кто-то взвопил на весь зал по-простонародному, будто оплакивая, что армия голодает. Или всех здешних, покидаемых. Или покидающего Государя.

Как взрыдывают по покойнику.

На другом конце восьмёрки рухнул на пол огромного роста есаул конвоя.

Кончив обходить штабные отделения, Государь не пошёл в сторону конвойцев, предполагая ли с ними прощаться отдельно, – а стал теперь благодарно, благодарно жать руки офицерам георгиевского батальона, впусую съездившим в Вырицу. А среди них – было много и раненных по несколько раз. Всхлипывания и вскрики участились по всему залу. Гигантский вахмистр-кирасир вскрикнул:

– Не покидай нас, батюшка!!!

Зарыдали из солдатской кучки.

И Государь как ударом был прерван в обходе – остановился.

Хотел говорить к солдатам – и не мог.

Кинул голову через себя назад – слёзы ли вернуть к истоку.

Низко резко поклонился оставшимся.

И с опущенной головой быстро направился к выходу.

Но тут Алексеев избочисто-осторожной походкой преградил путь Государю – и начал что-то говорить, модулируя надтреснутое скрипенье в человеческую речь, – да началось в зале шарканье, и даже Свечину слышно было сюда не всё.

Вот что: Его Величество не по заслугам ценит труды Ставки, они делали, что могли. А он желает Государю счастливого пути и новой счастливой жизни.

Счастливой?...

Государь распахисто, нецеремонно обнял Алексеева, тоже заплакавшего, и трижды крепко облобызал.

Каждым долгим поцелуем благодаря за верность.

Держалась-держалась Мария – и вот заболела, как остальные. А Ольга часто бредила при высокой температуре: правда ли, что приехал отец? и какие толпы пришли всех убивать? Здоровье детей поворачивалось снова к худшему в изнурительном цикле кори – и ещё будет милость Божья, если никто не оглохнет и не наляжет других последствий. Чтобы со всеми сразу вместе – ничего подобного не было долгие годы, да никогда. Послал же Бог такое испытание в самые страшные дни короны!

Слава Богу, Алексей болел в этот раз – легче всех. Но зато и отчётливое понимание событий настигало его от часа к часу.

– Так что, я больше никогда не поеду с папой в Ставку? – изумлялся он.

– Нет, мой дорогой, никогда.

И спустя недолгое время:

– Я не увижу своих полков? Своих солдат?

– Нет, дорогой мой мальчик. Боюсь, что нет.

И ещё спустя:

– А яхта? А мои друзья там? Мы никогда больше не поедem на яхте?

Пока что из его «друзей на яхте» неизменно переменялся приставленный к нему дядькой боцман Деревенко: озлобился, огрызнулся. А Саблин, любимец Саблин, сподвижник всех яхтенных прогулок, теперь и капитан «Штандарта», – так и не появился во дворце!

Болезнь детей звала и требовала Александру Фёдоровну – но и заслоняла от той низости и унижений, которыми был теперь обложен и стянут дворец. От пьяных солдатских песен снаружи, вблизи. От глазенья через решётки парка. От того, что караулы Сводного гвардейского полка, вместо прежней красивой процедуры смены, теперь поздравляли друг друга с новорожденною свободой.

Никто не был освобождён из чинов, арестованных в предыдущие дни, но к тому ж ещё арестовали и генерала Ресина – и приходилось и его заменять старшим из уцелевших офицеров.

От Ники пришло несколько телеграмм за эти дни – как всегда лаконичных, со скрытием всех чувств и мыслей от посторонних глаз. Эти телеграммы, как ни вчитывайся, не открывали главной тайны и даже не намекали: что же делается там, в Ставке, вокруг него и в самой Действующей армии? **Начинается** ли защитное движение? Опминаются ли русские люди, что они теряют в короне, в троне?

Конечно, не с Алексеевым, порченным человеком, с кем-то другим. С Эвертом?

Не вставал перед глазами государыни такой военачальник, который бы всё возглавил.

Каждое утро государыня начинала с надеждой и молитвой, что в армии подымается движение за Государя. Но ни газеты (да они-то лгут), ни слухи людские не отвечали ей ничем обнадежным.

Оставалась ещё благородная сила – союзники, особенно королевская Англия и сам Джорджи. Для союзников – какой ужас! Союзники не стерпят такого позора и провала во время войны! Как неуклонно верен был им русский царь, попирая все частные, особенные интересы, – так ответно верны ему будут и они! Английское, французское правительства – они не могут воздействовать в несколько дней, но они найдут влияние образумить восставших! Императрица ждала.

Хотя эти дни, после ночного визита Гучкова с Корниловым, она и жгла, жгла дневники, письма – всё же она отчасти и успокоилась. Особенно понравилось ей, что Корнилов – рыцарь, и пока он во главе петроградского гарнизона – можно быть спокойной за детей, за себя, за дворец.

Но сегодня утром – рано, ещё в десятом часу, во дворце раздался телефонный звонок, и Бенкендорфу оттуда объявили, что с ним говорит генерал Корнилов – уже здесь, с царскосельского вокзала! Корнилов просил узнать у Ея Величества, в котором ближайшем часу она может его принять.

Александра Фёдоровна была застигнута едва встав. После того ночного, но благополучного визита – снова он? И так рано, внезапно? Он должен был выехать из

Петрограда чуть свет?

Это не могло быть по радостному поводу. Какое-то несчастье. Да и сердце сжималось так. Но – откуда несчастье? Не угадать, теперь жди отовсюду.

Бенкендорф сообразил у телефона и в волнении спросил, какая причина привела генерала? Но Корнилов отказался разьяснять по телефону, лишь настаивал на приёме.

Ничего не оставалось, как назначить время. Сколько нужно успеть одеться и подготовиться. Через час. В половине одиннадцатого.

Ровно в половине одиннадцатого в Александровский дворец вступил невысокий смурноватый темнокожий генерал Корнилов в сопровождении полковника и штабс-ротмистра. Бенкендорф встретил их на первом этаже и пригласил на второй. Ротмистр остался внизу, двое старших поднялись.

Государыня – вместе с обер-гофмейстером Бенкендорфом – вышла к ним в глухо-закрытом чёрном платки. Она знала, что выглядит совсем плохо, как всегда утром, и уже не пыталась скрыть постаренье лица, но хотя бы беспомощность глаз. Она толчками волновалась, и все силы клала скрыть волнение, хотя оно несомненно выражалось на лице переходящими красными пятнами. Да замороченная всеми тревогами и болезнями детей, она ощущала себя как в дыму.

Все ж успокаивал её первый опыт, что в Корнилове есть рыцарственное, и он не должен принести плохое.

Корнилов представил, что с ним вместе – полковник Кобылинский, новый начальник царскосельского гарнизона.

Не разбойничьи лицо и повадка были и у Кобылинского.

Не подавая руки, государыня предложила всем сесть.

Сели по разным случайным стульям.

На Корнилове белели-сверкали георгиевские кресты – один у сердца, один на шее. Он почему-то не начинал. Вежливо ждал вопроса императрицы?

Сколько генералов пришлось ей за эту войну почтить высочайшим вниманием, поздравлять или благодарить, они смотрели восторженно, преданно, благодарно, – не помнила она такого отчуждённого генерала. В прошлый визит он показался ей почтительней.

У него была совсем короткая стрижка, с проседью, никакого чуба, отчего усиливался солдатский вид. Сильно отставленные уши, лицо корявое, глаза как прищуренные, будто высматривали.

Но смело встречая его взгляд, таящий власть и тайну, государыня спросила, удерживая провалы голоса и стараясь чётко, без акцента, отчего звук речи становился деревянным:

– Чем могу служить, генерал? Чем я обязана вашему визиту?

Корнилов строго поднялся. Сказал очень негромко:

– Ваше Императорское Величество. На меня выпала тяжёлая задача. Я здесь по поручению совета министров. Решение которого обязан вам сообщить. И выполнить.

Что-то плохое. Что-то настолько серьёзное было в этих глуховатых фразах, – государыне не было никакой надобности подниматься – она встала.

И тотчас поднялись остальные двое.

Не рассчитала голоса и громче чем надо:

– Говорите. Я вас слушаю.

Корнилов из полевой планшетки достал бумагу. Развернул на ней же, как на переносном столике.

Захолонуло сердце: читать готовую бумагу – это хуже, чем она могла ждать.

Читал – не очень гладко.

– ... признать отрекшегося императора Николая Второго и его супругу лишёнными свободы...

Вот оно пришло! Неотвратимое. Как Антуанетте. Но насколько ждала в ту ночь – настолько сегодня не ждала почему-то.

Стиснула зубы. Только не показать, не признать силу удара. Наклонила голову.

– ... и доставить отрекшегося императора...

Составителям или Корнилову как будто нравилось повторять сочетание.

– ... в Царское Село.

О Господи, хоть приедет сюда! Хоть вместе наконец!

– ... Поручить генералу Михаилу Васильевичу Алексееву представить для охраны отрекшегося императора наряд в распоряжение командированных в Могилёв членов Государственной Думы: Александра Александровича Бубликова, Василия Михайловича Вершинина, Семёна Фёдоровича...

Рядом с «отрекшимся императором» – о, как развёрнуто они себя титуловали, приликая к великой минуте! И – кому, к чему были все эти подробности после громового низвержения: Святая Русь арестовала своего царя!?

Ещё наклонила голову – не могла держать, не могла смотреть:

– Не продолжайте.

Но он с разгону так и продолжал до конца: что эти четверо членов должны затем представить письменный отчёт, и он будет обнародован. Что...

Третью ночь тому государыня так боялась услышать об аресте – внутренне тряслась. А сейчас почему-то – нет, не испугалась. Сейчас почему-то её собственная судьба и детей – как будто не существовала. Сейчас одно только гудело тяжёлым колоколом: Россия подняла руку арестовать своего царя!

А Корнилов сложил бумагу, спрятал в планшетку. Опустил её висеть на боку. И руки по швам.

И тем же негромким глуховатым голосом объяснял, что это всё значит практически. Что охрана дворца перенимается от Сводного полка и Конвоя – войсками гарнизона. Что запрещается пользоваться телефоном. Вся корреспонденция подлежит контролю.

То есть откровенно объявляли, что будут читать чужие письма.

Всё так, но сам вид Корнилова – простоватый, недалёкий, неумный, неразвитый, вполне унтер-офицерский, совсем не созданный для исторического момента русской династии... И ещё тут при чём этот неведомый полковник?

– ... Те лица из свиты, кто не желает признать состояния ареста, должны покинуть дворец сегодня до четырёх часов дня.

Государыня властно подняла голову и смотрела на генерала свысока:

– У меня все больны. Сегодня заболела моя последняя дочь. Как будет с врачебной помощью детям?

Врачи будут пропускаться беспрепятственно, но в сопровождении охраны.

Можно ли оставить дворцовую прислугу?

Пока – да, из тех, кто сам пожелает. Но постепенно прислуга будет заменяться другой.

– Но мы все привыкли?... Но дети?...

Корнилов стоял навтыжку – на том же месте, на том же расстоянии, без видимого смягчения, густые чёрные слитые усы изгибались над губами. Унтер.

Если можно было ещё что-то узнать или добиться (государыня и сама плохо понимала – что), то только наедине.

Попросила, нельзя ли остаться с генералом вдвоём.

Бенкендорф – тотчас поплыл на выход.

Полковник замаялся, посмотрел на неподвижного генерала – получалось, что надо выйти и ему.

Ещё секунда, секунда – и они останутся вдвоём. О чём же спрашивать? Для чего она просила остаться наедине?

Она не успела сообразить, и не успела найти вопроса.

Закрылись двери – генерал оглянулся на них. Шагнул ближе к ней на два шага. И вдруг в его узких глазах бессердечного атакующего кавалериста она увидела живые огоньки. И усы шевельнулись, когда он выговорил тише прежнего:

– Ваше Величество, не расстраивайтесь. Вам ничто не грозит худое. Всё это –

формальность, мера предосторожности против разгула мятежных войск. Всё равно вы привязаны к месту, пока больны ваши дети. А когда они выздоровеют... Я слышал, что на Мурмане вас будет ждать британский крейсер.

502

По всем нашим восточным границам, от Каспийского моря до Японского и ещё по ту сторону их, знал Корнилов несколько лет военной разведки, полдюжины восточных языков и подвижно-неутомимую жизнь сухого бесприметного воина с бурятской наружностью. В японскую войну командовал бригадой, в эту – дивизией, и прослыл среди офицеров фаталистом: за то, что вёл себя на фронте так, будто смерти вообще не бывает. Его наблюдательный пункт не уходил из передних окопов, так попал и в плен. Для всякого генерала обычно плен означает конец войны – доотбыть остающийся срок войны со льготами в быту и размышленьями об ошибках. Но Корнилов бежал – горами, лесами, ночами, питаясь только ягодами, и так три недели, – и побег его, прогремевший на Россию, встал среди доблестных событий этой войны.

После того он получил армейский корпус в гвардейской армии Гурко – и стал его любимым понятливым помощником и схватчиво нагонял достижения военной практики, упущенные им за год плена. И до недавних последних дней предположить бы Корнилов не мог, что вся его цельно-военная жизнь вдруг получит какое-то извращённое продолжение. И когда Гурко воодушевлённо напутствовал его – использовать на пользу России своё исключительное назначение в гущу революционной смуты, – Корнилову никак ещё не приоткрылось, какие ждут его повороты.

Но не успел Корнилов проморгаться в Петрограде, как в первый же вечер Гучков повёз его в Царское Село, и во дворец, и велел приготовить надёжных офицеров для назначения сюда. И уже можно было понять, к чему это клонится, и лёг осадок.

И всякому военному отвратительна роль тюремщика, но если ещё и сам недавно 15 месяцев был узник – и знаешь, что такое потеря свободы?

А вчера поздно вечером Гучков прислал Корнилову распоряжение: сегодня с утра ехать в Царское Село – арестовать императрицу и установить условия военной охраны с таким расчётом, что туда прибудет и арестованный царь. И к этому прибавлялась детальная письменная инструкция содержания арестованных, разработанная видимо в министерстве юстиции. И в чтении инструкции можно было только изумиться, какие изощрённые эти умы тюремных содержателей, как они предусмотрительно и изгибчато опережают всякие порывы узника.

Но сама юстиция скрылась в тени, а распоряжаться подталкивали боевого генерала, как бы в насмешку над армией. Однако приказывалось – правительством, и как же можно не выполнить? Служба не спрашивает согласия.

Впрочем, объяснил Гучков, и Корнилов облегчился, что арест этот – мера временная и прежде всего для сохранности царской же семьи от озорников и мятежников.

Готовилось втайне. Полковник Кобылинский, назначаемый командовать царскосельским гарнизоном, всё узнал от Корнилова только уже в поезде сегодня утром. На станцию Царское Село вызвали царскосельского коменданта и в ожидании часа, назначенного царицей, обсуждали дислокацию дворца, парка. Конечно, топографическая карта бесполитична и расстановку военной охраны можно исполнять как чисто боевую задачу.

Но военное превосходство применялось к одинокой женщине.

Однако же и эта женщина... Когда Корнилов после побега представлялся ко Двору – он стал говорить о нечеловеческом положении наших военнопленных в Австрии и Германии, что надо их защитить, хотя бы прижав германских и австрийских у нас. И не встретил отзыва. Царица странно сказала: «Ах, пусть Россия покажет пример великодушия!» И охлаждающий шелесток прошёл по голове Корнилова. Хорошо ей быть великодушной, сидя

во дворце!...

И вот теперь предстояло именно Корнилову и ему одному объявить императрице невероятную новость: она и дети императора брались под арест! Эта легендарная, беспечно белая семья, высоко, как в облаке, плававшая над всею прошлой жизнью Корнилова, – вдруг упала наземь больно – и оцепить её дозором должен был боевой генерал, присягнувший императору.

И ещё – что дети все больные, и царица измучена тем, и вполне беспомощна, хотя хочет держаться гордой, – всё это помрачало Корнилова и взяло ему язык.

И только и было облегчение, и смог он передать ей наедине: что это временно и – для них же.

Со всей её надменной осанкой, запечатлённой на стольких портретах, вот – еле держалась она, покачивалась – и посмотрела на него благодарно. Глаза её были беспомощные, улыбка – принуждённая.

Ещё темней и строже чем вошёл, Лавр Георгиевич вышел от царицы.

Теперь – много мелких действий предстояло ему совершить.

Сперва – распорядился выключить телеграф и все телефоны во дворце, оставив только два у ворот и два в караульных помещениях при офицерах.

Затем велел собрать в зал всех находящихся во дворце лиц свиты и прислуги, всего человек до ста пятидесяти. И объявил им: что все желающие уехать должны уехать тотчас, а желающие остаться при царской семье – должны будут впредь подчиняться режиму арестованных.

Затем распорядился о смене постов Конвоя Его Величества и Сводного полка. (Теперь Конвою доверятся лишь конные дозоры для охраны окрестностей.)

Затем из многих дворцовых дверей назначил три действующих, и отныне охраняемых стражею. Остальные велел запереть и сдать ключи караулу.

Через нового дворцового коменданта штабс-ротмистра Коцебу, привезенного с собой из Петрограда по выбору Гучкова же, – указал расположение караулов внутри дворца и вокруг него.

Установил очередь назначения караулов от гвардейских стрелковых полков царскосельского гарнизона и порядок высылки дозоров. Дважды в день охрану будут проверять от штаба Округа.

Всем остающимся и имеющим дело со дворцом должна быть теперь объявлена подготовленная инструкция. Все продукты и довольствие должны доставляться только через кухонный подъезд, приём и выдача их – лишь при дежурном офицере, при этом не должно быть допускаемо никаких разговоров о внутренних лицах дворца. Все поступающие и исходящие письма, записки и телеграммы должны просматриваться лично штабс-ротмистром Коцебу и пропускать – лишь характера хозяйственного и медицинского, остальные – передавать в штаб Военного округа. Вход во дворец дозволяется только вызванным техникам и врачам – и то в сопровождении часового или дежурного офицера. Без разрешения командующего Округом не дозволяются никакие свидания с лицами, содержащимися в Александровском дворце. Прогулки отрекшегося императора и бывшей императрицы допускаются в светлое время дня, в часы по их желанию, на большом балконе дворца и в прилегающей части парка – но в сопровождении дежурного офицера и при усилении внешней охраны.

Всё это получилось отлично-чёткое, почти военное распоряжение. Временное правительство не могло бы найти лучшего исполнителя.

Ну, кажется, кончил и собрался уезжать, ехать к премьер-министру Львову докладывать о выполнении, – как доложили генералу ещё новое: за парком в лесу обнаружена часовня, охраняемая караулом, а в ней – труп Распутина в металлическом гробу.

Ещё одна забота, И оставить так нельзя, будут глумиться. Откапывать? перевозить в Петроград?

(февральский образ выражения)

... Поют газетные колокола!... Свершилось великое, перед чем кружится голова и немеет язык. Воскресла Россия!

... Когда-нибудь, через десятки, а может быть сотни лет на сцене народного театра будут ставиться исторические пьесы из времён Великой Революции...

... История скажет, что эта была величайшая и лучшая из революций, грандиозная по внутренней сущности... Великая Бескровная...

... Наша Революция – восьмое чудо света!

... Великая Революция брызнула миллиардами искр счастья и надежды в сердца пострадавшего русского народа.

... Прежде многие пострадали за то, что любили народ, но тогда народ не слушал, не пошёл за ними.

... Второе Пришествие Революции!

... С нами свет! великая радость возрождения! Мы дошли. Мы пробилась. Пала русская Бастилия!

... Семь дней назад началось бытие Свободной России. Писать со этом сейчас значит писать Книгу Бытия. Нужен библейский язык... Из хаоса вышла жизнь... Февральская Революция совершилась с такой непредвиденностью, которая приближает её к сотворению мира... Мне радостно и жутко. Я увидел свободу и свет, которых ждал тысячу лет.

... День 27 февраля, отныне великий на вечные времена...

... Революция ударила с циклопической силой...

... Когда пронёсся громовой звук революции – задрожали стены монархии... Сквозанный русский богатырь сорвал свои оковы.

... Творимое чудо Революции! Пыл грозных битв! Этот подъём творчества, эта энергия деланья...

... Теперь, когда благовест народоправства коснулся самых тугих ушей...

... Из величайшей в мире деспотии – в величайшую демократию! Русская революция в несколько дней достигла того, на что другим революциям понадобились годы. Россия достигла сразу вершин современной политической культуры.

... Да это же вовсе не революция! Это – светлое Преображение, величайшее из земных чудес! Над светлым и ярким пафосом восстания, сделанного Петербургом,- гордитесь, жители невской столицы!

КРАСНЫЙ ЛЕБЕДЬ. Сказочный лебедь с багряными перьями, фламинго Севера, Петроград, Петроград, где взять слов, чтобы прославить тебя? Будем, как Пётр, такими же железными и, если, нужно, беспощадными.

(Тан-Богораз)

... Кровавый цвет знамён говорит о стальной воле народа.

... Жутко-стройное движение рядов революционной армии.

... Одним взмахом благородной воли русские люди уничтожили в себе всё злое и тёмное, что закралось в их душу на тернистом историческом пути многострадальной России. Радостная идея свободы осветила народные умы...

... Буйным вихрем революции сброшены с пьедесталов в грязь все старые боги.

... Сказано последнее похоронное слово тысячелетней полосе русской жизни.

... Благодетельная буря смела одним ударом прогнившие насквозь устои старого порядка, очистила воздух, в котором задыхалась чуткая совесть русского народа.

... Всероссийская тюрьма, именовавшаяся Российской Империей, более не существует.

... Старый режим пал со сказочной быстротой. Он ничему не научился и всё позабыл...

... Это они, насильники и расхитители народных прав, изобразили свою мощь в виде хищной двуглавой птицы с растрёпанными крыльями, держащей в одной лапе кнутовище, в другой камень...

... Царские опричники в раззолоченных мундирах, годами пившие народную кровь...

... Русское правительство нигде в культурном мире не пользовалось доверием и уважением...

... династия Голштейн-Готторпов, именовавшая себя Романовыми...

... «Романов» стало синонимом всякой грязи и недобропорядочности...

... Николай Последний, низвергнутый деспот...

... Убийца народа, обagrённый кровью бесчисленных жертв...

... Их кровью спаивалось дело свободы. Чьи голоса прорывались сквозь треск расстрелов и свист нагаек...

... Целые поколения страстотерпцев русского освобождения. С молитвенным благоговением мы вспоминаем их...Имена, которые давно целует пылкими устами уповающая Россия...

... Мучительно жаль тех десятков лет, прожитых в раболепном молчаливом созерцании всех ужасов...

... гнойники царизма... отвратительное ярмо выродившейся монархии...

... Но капли крови погибших утонут в голубом океане свободы...

... Счастье нового бытия вы поймёте потом, когда проснётесь и увидите, что вы – не в охранном отделении, что нет жандармов, которые стащат вас с постели... Склоним колена перед тем, кто сотворил это чудо,- перед Народом! Он стал бурей в красном облаке.

... Именно мгновенность, естественность, простота великой русской революции... И наш народ назвали гениальным...

... Воистину, только великий народ мог оказаться способным на такие великие свершения...

... Подобно старому Фаусту, русский забитый народ преобразился в молодой, энергичный, здоровый...

... В древнем Пскове, где 408 лет назад в последний раз прозвучал вечевого колокол, – суждено было ещё раз родиться русскому народоправству... Снимая императорский герб, мы утишаем и печаль Великого Новгорода, лишённого вечевого колокола...

... В Таврическом был сплошной муравейник, который творил колоссальную государственную работу. Это была ночь воскресения русской жизни... Священное здание Цитадели Русской Революции... В Думе началась работа великанов...

... Блестящая плеяда имён, всенародно известных... Можете ли вы себе представить русский парламент без Милюкова?

... Цвет нашего общества, кто ещё 5 дней назад трепетал и ждал своего смертного часа...

... Новая власть единомысленна с народом и неотделима от него. Правительство, свободно избранное Россией...

... Отныне правительство – это народ, революция – это порядок, власть – это мы все. Счастливо поколение, которому достаётся устраивать...

... пламенно агитировать за новую святую власть...

... Одной рукой перестраивая государственное управление, другой продолжать борьбу с немецкими полчищами...

... Вильгельм II в своём крупновском величии стоит в пределах нашей дорогой родины с высоко поднятым мечом – и готов с демоническим смехом нанести смертельный удар проснувшемуся самосознанию. Немцы хотят обратить нас в навоз – удобрением для Германии.

... Ликуйте, граждане! Вы учите немцев делать свободу! Русская свобода даёт грозное предостережение прусским каннибалам. Победа русского народа перевернула вверх дном все расчёты немцев.

... Хула на святого духа Восстания: шепчут, будто демократия готова предложить мир...

... Когда вся Россия как один человек кладёт на алтарь войны... Не первый раз нашим богатырям выносить лишения. Не один поход сломили они, имея в ранцах лишь сухари.

... два с половиной года войны ознаменовались целым рядом актов и действий московской думы, направленных на разрушение старого режима. Мы знали, предвидели, предрекали. Огненные письма давно начертали роковые слова приговора. Нужно ли оглядываться назад, когда всё устремилось вперёд, к засиявшему свету свободы? Пусть мёртвые хоронят своих мёртвых. Есть ли в России не верующие в то, что свершилось? Робкие сердца говорят: как бы не повредить войне? Не смущайтесь! Теперь войну ведёт освобождённый русский народ, а вчера он вёл её в цепях, окружённый предателями, изуверами, безумцами, для которых интересы Германии были ближе, чем интересы России...
(Астров, новый председатель московской думы)

... Как прекрасно сказал Керенский: народ, в три дня сбросивший династию, правившую 300 лет, может ничего не опасаться!

... Кроме титанической энергии русская демократия обнаружила и недостижимую моральную дисциплину.

... Со времени государственного переворота никто в России не вправе чувствовать себя обывателем... Державный народ! – «государство – это мы!»

... Умер обыватель! Здравствуй, свободный земляк!

... Скованный раненым телом своим, солдат должен был с окна следить за всем происходящим. Но душа его не стерпела и, вырвавшись из стен лазарета, он, сопровождая патруль, пошёл искать измену.

... Политический переворот был глубоко воспринят народной психикой и не все могли выдержать душевное равновесие...

... Наше будущее, озарённое ярким солнцем свободы, можно считать обеспеченным. Но наше настоящее – нелегко.

... Мы выводим орнаменты на величественном фронте, которым потомки будут любоваться тысячи лет. Но как нам не пролить божественного нектара!...

... Могут наложить пятно на светлый фон освободительной революции...

... Мы взяли в руки горящий факел. Зажжём им светильники в храме русской свободы! Но сохрани нас Бог поджечь самый храм...

... Наша обязанность – превратить чернь в демократию.

... Счастье так близко, так возможно, как оно никогда не было в истории народов. Свободы, которых другие народы добивались шаг за шагом, тут стали доступны все разом...

... Русский народ понесёт святыне заветы другим народам.

... Что за дни! Революция развёртывается спокойная и прекрасная, словно голубая река. Прошёл миг – и ты восстал, великий, могучий и прекрасный! Так громче же бросайте,

трубы, в воздух звуки свободы!

... Мы придаём огромное значение этому пафосу. Народ переживает величайший праздник национальной души, равного которому не бывало и уже никогда не будет... Сохранять отвращение к старым формам! только в постоянном чувстве сравнения ощущение грядущего будет радостно... Пусть он сохраняет свежую память о ненавидимом прошлом, это поможет ему полней оценить свободу... Праздник освобождения должен быть подчёркиваем ежедневно. Не уводите так скоро народ с праздника революции к будням!

(«Биржевые ведомости»)

... Революционная пора в красивых увлекательных образах минула слишком быстро, ими никто не налюбовался вдоволь. Надо долго, долго слушать эту сказку, чтобы уверовать в неё...

... Ярким узором необычайной красоты покрыла нашу жизнь пена революции...

... Наши сердца залиты исполнением трепетных и страстных мечтаний. Как оторваться взору от пьянящих красных знамён?...

... Для русских теперь свобода – прекрасная невеста, и незапятнанны её одежды. Может быть, это чудо явит миру «прекрасную даму» поэтической мечты...

... Наша действительность похожа на сказку Шехерезады, на Светлое Воскресенье...

Христос Воскресе, Свободная Россия!

(«Лукоморье»)

... Зачем мы боялись красного знамени, когда Христос отирал пот в Гефсиманском саду? Это же знамя – и русской революции.

... Литургийное настроение!... Деяние, обвеянное духом несомненной святости! Наитие Святого Духа! Косная плоть нашего быта окунулась в сладчайшую радость бытия.

(Ф. Сологуб)

... Печать Богоприсутствия на всех лицах. Никогда люди не были так вместе.

(З. Гиппиус)

... Поистине радиоактивная энергия излучается из миллионов человеческих существ, ставших гражданами и товарищами...

... Мы ощупываем себя в блаженном и томительном недоумении: сон это или явь? Молниеносный темп нашей революции не поддаётся учёту...

... Пулемётная поступь Российского государства – кого не захватит?

... Высшего счастья мы уже никогда не испытаем в жизни. Россия действительно великая страна, и это видит мир.

... Мы показали, что мы можем всё. Нет для нас недоступного, нет запретного...

... Россия, говорит один швейцарский публицист, становится во главе цивилизации. Да, мы это знаем! Мы с гордостью принимаем все похвалы и восторги, потому что они заслужены.

... Заря великого прекрасного будущего восходит над нашей родиной. Пойдём навстречу этой заре.

... Всероссийская Пасха разбудит мертвецов всего мира!...

... Дивный храм свободы, равенства и братства, не обременяя ничьих плеч, вершиной своей будет уходить в бесконечную лазурь неба...

... Как солнце красное, должен засиять на русской земле возрождённый суд, творя святое дело правды.

... Революция не мстит, а прощает...

... Революция, как весенний вихрь, вырывает чертополохи зла, освежает побеги добра и сверкает молниями подвига. И нет в ней низости, ни атома жестокости...

... вырвать последние ядовитые корни отошедшего в историю!

... Открыть окна и двери свежим струям... убирать старую ведомственную плесень. Рвать, рвать без жалости сорные травы! Не надо смущаться, что среди них могут быть и полезные растения: лучше прополоть с жертвами.

(«Биржевые ведомости», 8 марта)

... Звезда Востока становится путеводной звездой к новым яслям свободы и равенства...

БЫЛА БЫ ИЗБА НОВА, А СВЕРЧКИ БУДУТ

504

Газеты, газеты, газеты... Теперь, когда рухнуло Огромное, непоправимо, ничего уже видно не спасти, – оставалось знакомиться с новой жизнью. Занятий на курсах всё не было, и Ольга Орестовна, рано с утра одевшись как на лекции, садилась не в кабинете, а за пустой обеденный стол и травила себя чтением всех этих развёрнутых газет подряд.

Пока не стали выходить газеты – была оскалена только дикая морда революции: на крыльях нарядных автомобилей и внутри них – мурлы, и наведенные на всех встречных дула, с прицелом по невидимому врагу. А из газет – полезла пошлость.

Революцию все петербуржане видели своими глазами. А с первой газетной страницы стали узнавать нечто совсем иное. Невнятно упоминались «эксцессы», «анархия» – но никто не разъяснял, что это такое именно. Все знали, что по квартирам ходят и грабят солдаты, но газеты писали: «переодетые в солдатскую форму грабители, хулиганы», – как будто «хулиганы» было такое известное сословие, или так легко столь многим переодеться в солдатскую форму. Об убийстве адмирала Вирена и офицеров в Кронштадте пресса, дождавшаяся свободы, писала по сути одобрительно («стоял за старый порядок»), и не убийства видела, а что Кронштадт таким образом присоединился к революции. Поскольку

революция была сразу же объявлена великой, бескровной, солнечной, улыбающейся, – то трупы офицеров и растерзанных городских надлежало замалчивать во имя идолов свободы. Так много цветилось красного повсюду, что кровь убитых не была видна. Расстрелянного Валуева даже «Новое время» называло «скончавшимся», а не убитым. И убитого адмирала Непенина некролог напечатать никто, кроме «Нового времени», не решился. Складывалась жуткая картина: вчера был хорош, наш герой и гордость, и даже *присоединился*, а сегодня убили – ну что ж, туда тебя. Все в городе знали о разгроме и грабеже «Астории» – из газет же оповещались, что «Астория» пулемётами обстреливала народ. О полицейских пулемётах – на чердаках и крышах – была сплетена самая наглая, но и удачно привившаяся ложь. Первая пустила её «Биржёвка» Проппера – пошлейшая из пошлячек, и было подхвачено всеми, и так много раз повторено, потом уже изустно, что все и поверили, хотя никто никогда ни одного такого полицейского пулемёта не обнаружил. И ещё отдельная ложь: что пулемёты стреляли с церковей и колоколен, – только биржевая газета могла так соврать. Однако поверили все, хоть включай в хрестоматии.

Ложь стала принципом газет с первых же дней их безудержной свободы. Впрочем, они не стеснялись ложью и до революции. И в той же «Биржёвке» толпились печататься знаменитые литераторы.

Да газетные лжецы уже захватывали и английскую печать. И пронырливый журналист «Биржёвки» проник на страницы Observer'a и давал англичанам совет воздерживаться от критики нового русского правительства в момент, когда русский народ (он говорил, разумеется, от народа) столь нуждается в дружественном расположении.

Ольда Орестовна ходила смотреть сожжённый Окружной суд – несчастливое творение злочлючного Баженова, единственное его здание во всём Петербурге, и вот именно оно сгорело. То были грандиозные развалины, выгорели внутренности, обрушились лестницы, разбита статуя Правосудия, – все газеты упоминали этот пожар и все, кажется, с гордостью, как достижение, никто не написал «варварство».

Зато усвоили безжалостно-насмешливый тон в отношении арестованных сановников, со злорадством описывали немощи и жалобы 70-80-летних стариков, как один из них так бессилён, что еле веки поднимает к подходящим, а другой опасается пить сырое молоко. Корреспондент «Биржёвки» объяснял арестованному генералу Путятину, не видящему причин своего задержания: «Возможно, вы взяты в качестве заложника», – и газета печатала такое не стыдясь. Как о милости писали, что администрация великодушно *разрешила* арестованным жандармам получить постель и пищу из дому – то есть это значило: в царскосельской гимназии, в кавалергардских казармах – арестованных и не кормили, и не давали казённой постели, как никогда бы прежде не посмели содержать революционеров. Тем более писали любую гадость о свергнутой династии, императрицу иные газеты называли Сашкой, плели вздор, как она организовала покушение на царя, а то подстроила падение люстры во дворце – чтобы прославить предсказание Распутина, – а уж убийство Распутина обсасывалось сладострастно. «Русская воля», ещё одна биржевая акула, где блистал Леонид Андреев, писала, что уже в 1914 году военная разведка нашупала в Царском Селе шпионскую радиостанцию, но ей пришлось прекратить расследование. Ещё писали: при обыске в Царском Селе найдены большие запасы продовольствия (как будто царский дворец мог жить без него) и оружия (так у охраны?). Газетные поэты печатали пошлые стихотворные фельетоны о царствовании Николая II, а где изображались и карикатуры на отрекшегося царя.

Но самое подлое было сообщение, расмакованное по всем газетам, что Государь в дни революции намеревался открыть фронт немцам, и об этом, будто бы, дал согласие Воейкову. Даже если у кого в свите и могла бы зародиться такая мысль, – как досада, как сбрыкнутое, а не как реальный план, – кто бы посмел высказать такое Государю! (И никому из газетчиков в голову не приходило, что немцы в такие ворота просто *не пошли бы* : что для них может быть желанней нашей революции?)

Изнемогала Ольга – и от этой лжи, и от того, как ясно видела её, и от того, что не могла

бы убедить читательское стадо.

Столько лет либеральная пресса грезила свободой (впрочем, имея её предостаточно) и обещала, что вот когда грянет свобода... А теперь выступила такая, даже неожиданная, сплочённая низость, такое сплошное отборное неблагородство. И – ни одного протестующего голоса! Даже гадостней всех было правое «Новое время», перелинявшее в одну ночь: из него изумлённо узнавали теперь читатели, что оно и всегда ненавидело монархию (даже и Елизавете приписывало казни!), только и желало революции, да даже и православие уже готовы были отбросить, голая национальность безо всего святого, под шапкой «Свободная Россия», как бы не было до сих пор в России никакой жизни, а только рабский невылазый труд и надо всем царствовал урядник. А какие газеты не хотели литься – тех просто теперь закрыли наглухо. Той мечтаемой свободной прессой сразу овладел гадкий тон угодливости.

Да не мучило бы так от газет, если бы из них не била мерзкая эпидемия всего общества: в дни разразившейся свободы – страха отличаться от других. Теперь-то, когда «не стало урядника», «легко дышится», люди более всего и забоялись отличаться от остальных, восторгаться революцией меньше чем соседи. Возникла боязнь не показаться достаточно радостным. В несколько дней поднялась такая волна, что никто не смел плыть поперёк, никто не смел возразить вслух, какую бы чушь ни несли, какую б нелепость ни делали. Диктатура потока. Всех по России охватило холуйство поздравительных телеграмм правительству – и слали их в Петроград в нечитаемых количествах. «Монархический союз русских людей» в Москве «силою вещей прозрел вместе со всей страной». Хор Мариинского театра устроил службу-представление в Казанском соборе – и модно было попасть туда, к паперти подъезжали моторы с красными флагами, дивно пел хор Херувимскую и Верую, Апостола читал драматический артист и протоиерей Орнатский провозглашал, что благодаря заре русской свободы православная церковь наконец избавилась от цезарепапизма. В Рогачёве пытались создать власть вопреки Совету депутатов – их тотчас огласили «погромщиками». Какой-то инженер на Воронежской железной дороге осмелился задержать телеграмму неизвестного ему Бубликова, – уже этого инженера травили и увольняли.

А характернейший случай произошёл с начальником Управления почт и телеграфов Похвисневым. Собрание служащих затребовало от него объяснений: как он посмел в революционные дни в своей квартире дать укрываться Штюмеру? И тот стоял перед собранием своих подчинённых, бледный, утраченный, и оправдывался: сперва Штюмер по телефону велел прислать ему кучера с лошадьёю, – какое ж он право имел отказать? А вдруг этим экипажем Штюмер сам неожиданно приехал на Почтамтскую и попросил приют. Из соображений, ну, просто вежливости Похвиснев не мог сразу выгнать, но просил Штюмера уходить побыстрее: если толпа заметила – то будут громить их квартиру. Будто бы Похвиснев с женой уговаривали Штюмера сдаваться аресту, и тот всего-то пробыл в их квартире, ну, 30 минут. Собрание горячо возмутилось: государственного преступника не должен был скрывать и 30 минут, а звонить в Государственную Думу и просить прислать стражу для ареста! И сбитый Похвиснев уже объяснял иначе: да и тридцати минут не был! да всего только 7-10 минут! да я его даже не пропустил из передней в квартиру! Я даже не допустил его говорить по моему телефону. Я не дал ему даже передохнуть. Я так и сказал: вам здесь не место! Езжайте и будьте на людях! Я – отгеснил его из передней. Да я никогда не касался политики, господи! Да моя деятельность вся на виду!... – Но собрание возмущалось и голосовало 213 против 93, выражая Похвисневу недоверие, и опубликовать в печати, чтоб об этом неморальном поступке своего начальника могли высказать мнение и провинциальные почтовые ведомства. И Похвисневу осталось заявить, что он тотчас покидает должность.

А в самые первые дни революции возражавших вслух – и вовсе арестовывали.

Гадко было дышать этой атмосферой травли – и вот уже смелостью, режущей ухо, зазвучала мотивировка Шнитникова, почему он отказывается пойти товарищем министра к Керенскому: «Я – сторонник демократической республики, но с уважением отношусь и к

истинным монархистам», – это в городской думе, публично! – невероятно!

Да, но – где же та опора трона? У нашего государственного строя не проявилось ни исполнителей, ни друзей. Поразительно, не находится чиновника, который бы громко заявил, что по своим убеждениям он не может теперь оставаться на службе. Наоборот, все стараются уверить, что они всегда только и мечтали о низвержении старого строя. Кто недавно превозносил царя, теперь обливают его грязью. Нет такого ослиного копыта, которое бы не спешило лягнуть, перед чем недавно пресмыкалось.

Но больше: где та преславная аристократия, ликовавшая по простору Руси три века? – те «наперстники разврата» (как теперь подмахивали журналисты)? Аристократию, лицо которой три столетия и выражало собою лицо России, – смело в один день, как не было её никогда. Ни одно из этих имён – Гагариных, Долгоруких, Оболенских, Лопухиных – за эту роковую неделю не промелькнуло в благородном смысле, – ни единый человек из целого сословия, так обласканного, так награждённого! А ведь мечтают о «волшебном избавлении». Но никто ничего не пытается делать. Многие из аристократов и гвардейских старших офицеров – надели красные банты!

И – где епископы? Церковь – где?

Но ещё хуже многих – сами члены династии: позорно спешили выдавать корреспондентам узнанное в интимных разговорах, особенно Кирилл Владимирович со своей Викторией. Да и хлопотун Николай Михайлович. И дутый рыцарь Николай Николаевич, не ведающий, как он повторяет другого дядю другого короля – Филиппа Эгалите, голосовавшего за казнь племянника, но не спасённого тем от гильотины.

В эти дни французская революция владела умами общества в мифическом плане. Но всё же французская монархия сопротивлялась 3 года, а наша – всего 3 дня. Да как же всё могло развалиться уж настолько, настолько быстро?! Когда умирал старый строй во Франции – находились люди, открыто шедшие за него на эшафот. Там были свои легенды, свои рыцари, Лавуазье, Андре Шенье.

Да и сам Государь! – из первых явил пример полного и мгновенного отступления. Как же мог он – как же **смел** отказаться от помазанья? (Вспоминалась кислая усмешка Георгия – в чём-то он был и прав?...) Государь-то – первый и признал это теперешнее правительство.

И вослед за тем – как могло мгновенно и дружно совершиться такое раскаленье воздуха? – и вот уже опасно не восхищаться революцией или не требовать ареста царя – за что? Ведь он добровольно отрёкся, не начал войны за трон, не позвал иностранную силу, как Людовик XVI, – за что же его?...

Но самое гадкое было, что и Ольга сейчас в этом раскалённом воздухе струсила тоже, и была противна сама себе. Профессоры Бестужевских курсов, одни продолжая искреннее увлечение, другие из этого нового холуйства, согласились подписать унижительное обращение к «дорогим слушательницам»: вместо прямого распоряжения явиться, наконец, на занятия, совет профессоров считал желательным в меру возможности установить правильную учебную жизнь и **просил** слушательниц помочь в этом.

И хотя Андозерская совершенно была несогласна с этим тоном – она не могла оказаться отдельной, и подписала тоже.

Но даже хуже. Две таких «дорогих слушательницы», Ленартович и Шейнис, явились к Ольде Орестовне домой, не предупредив телефоном, прямо позвоня в дверь, – и попросили, да на просьбу это не походило, это настояние было, уверенное, – пожертвовать на освобождаемых политических заключённых.

Этих политических заключённых считала Ольга Орестовна разрушителями жизни, она не симпатизировала им нисколько и помогать не хотела, и знала из газет, что уже биржевые комитеты пожертвовали им полмиллиона рублей, – но, профессор, у себя дома, стоя перед этими двумя разгорячёнными курсистками, она не только не высказала ни одного из этих своих возражений, но и никакого уклончивого, подсобного выражения не нашла. Она даже не смотрела им прямо в их требовательные глаза, но свои холодные отвела вниз.

Принесла и подала им 50 рублей, презирая себя.

Да потрясена она была даже в собственном своём доме – переменной, если не изменой, горничной Нюры. Всегда такая верная, ладная, в начале революции побежавшая выручать её часики от солдат, и выручила, – Нюра за эту неделю стала бегать на собрания, возвращалась рассеянная, пасмурная, отвечала отрывисто – и вот-вот, вот-вот ожидала Ольда Орестовна грубости или взрыва.

Вот так – всё разваливалось. Улицы были полны гуляющей публикой – а Россия опустела.

А от Георгия – ни письма с отъезда. Да и почту разносят плохо. Не зная куда, написала два письма ему на фронтовой адрес.

Как он пережил это всё? Этот весь обвал? Что делал, пытался?

Но это безумие! Что-то можно! Что-то можно – важное, крупное, как-то решительно выступить, кого-то сплотить!...

В подтверждение народного единодушия приводили газеты, что высказываний против революции не услышали ни от одного из офицеров.

Все они, монолитом, стояли там на фронте, офицеры своего императора, – и отчего же не рявкнули страшным грохотом, не дунули тем духом, от которого всю революцию снесло бы как карточную?!

Загадка: что ж они там?? Какой представительный гигант казался на фотографиях генерал Эверт, вот слуга царя! – и что же он? Уже и он поспешил отступиться.

Написать Георгию ещё письмо? большое-большое. Описать весь этот новый пошлый воздух, когда стало опасно думать не так, как все. (Ещё можно ли в письме откровенно писать? А перехватят? Вон какие речи в Управлении почт...)

Спросить его: что же?? Как он понимает? Как он **теперь** понимает? Что он видит? что делает??

Нашла она, дама, рыцаря и героя, – почему ж он не бился за её цвета?

А впрочем – не ускользнул ли он от неё самой?...

505

Минувшей ночью – как это так легко решил Алексеев, что царский приказ к армии будет популен? Его тяготило чувство виноватости перед царём – но ещё до утра в тревоге проснулся он с чувством виноватости противоположной: да лояльно ли это по отношению к правительству? Царя подвергают аресту – а Алексеев распространяет его приказ к армии? Ведь это получается – крупный политической важности шаг, его нельзя рассматривать как личную услугу. По раскалённой петроградской обстановке – как это может там выглядеть?

И Алексеев в терзаниях еле дождался утра. Уж очень-очень не хотелось ему обращаться в Петроград после всего, что отписал им за прошлые сутки. Новая власть относилась к Ставке обиднее, чем прежняя: как к подчинённым, чьё мнение даже не интересно.

Но страх совершённого разбирал, и надо было обратиться. Хотя формально Ставка не подчиняется военному министру, но последние дни обернулось так, что – подчиняется. Дал телеграфный запрос Гучкову и послал ему текст приказа царя.

И очень вскоре – получил запрет всякого распространения и печатанья!

Ах, ах, верно предчувствовал! Распорядился: тотчас же прекратить передачу приказа. Уже было упущено: на фронты передали, теперь останавливали вдогонку, чтоб не слали в армии и корпуса.

Останавливали – как и Манифест отречения. Такая судьба документов Государя.

А затем – надо было идти на прощание с ним штабных офицеров. И снова испытывал Алексеев неловкость, преоборываемую, однако, сознанием долга: и остановка приказа и сокрытие от царя предстоящего ареста – это был долг Алексеева как начальника штаба. Долг перед армией, которая оставалась, – выше долга перед бывшим отрешённым начальником.

Одного только боялся Алексеев: как бы Государь, что-нибудь прослышав, не спросил

бы его прямо в лоб: а не арестуют ли его? Открыть ему секрет шифрованной телеграммы Алексеев всё равно не имел права – но и солгать перед доверчивыми глазами Государя было бы ему больно. Он ведь – большой простак, Государь, и для человека это, может быть, неплохо. Но для монарха – невозможно.

Нет, в зале Дежурства всё прошло гладко, было не до личных объяснений и вопросов, Государь небывало волновался.

И пока он говорил свою прерывистую речь, а потом был остановлен слезами, Алексеев тем более испытал к нему сочувствие как к слабому и малому. И именно зная о предстоящем аресте и о тех нелёгких испытаниях, которые могут теперь Государя ждать, – он и пожелал ему искренно: счастья в предстоящей жизни. Он действительно желал ему хорошего.

Государь обнял Алексеева и поцеловал – крепко, не церемонно.

А затем ушёл – и так на несколько ещё тягостных часов исключилась им возможность разговаривать или объясняться. После всех прощаний Государь уехал на вокзал к матери, чтобы там дожидаться уполномоченных, и уже не возвращаться в Ставку.

Тем легче. Вот он уже и не мешал.

А на вокзале ему уже совсем недоступно будет сопротивляться аресту.

Но при всей неловкости и трудном переживании последних часов – ничего другого Алексеев не мог эти часы делать, кроме как работать. Штабные офицеры и даже Лукомский с Клембовским могли понимать день-два как перерыв между двумя Верховными, а вот заявится Николай Николаевич с твёрдой рукой! – но только Алексеев один знал, что приедет ещё новый отреченец и изгой, – а между тем армейский руль шатается без твёрдой руки.

Но и ничего другого более срочного делать не пришлось, как подготавливать обещанные Гучкову воззвания. И этого дела, как всякого дела, Алексеев тоже не мог поручить чьему-либо перу – и сам своим бисерным ровным почерком нанизывал:

«Воины и граждане свободной России! Грозная опасность надвигается со стороны врага. По имеющимся сведениям германцы накапливают... Захват Петрограда повлечёт за собой разгром России, водворит старый порядок с прибавкой ига немецкого. Нам грозит опасность на заре свободы обратиться в немецких батраков...»

На самом деле, опасности немецкого наступления Алексеев ни из чего не видел, но даже ему хотелось, чтоб она возникла, и армия построжела бы перед ней.

Тут Брусилов телеграфировал, что по политической обстановке ему приходится снять императорские вензеля с погон.

И ответил ему Алексеев опозданное: что сам отрекшийся император, понимая положение, дал разрешение снимать генерал-адъютантские вензеля и аксельбанты.

ДОКУМЕНТЫ – 17

Французская военная миссия в России, 8 марта ГЕНЕРАЛ ЖАНЕН – ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

Главнокомандующий генерал Нивель просит сделать Вам сообщение, что в согласии с высшим британским командованием он назначил днем начала общих наступлений на Западном фронте 26 марта. Этот срок не может быть отложен. Нужно, чтобы мы начали наступление как можно скорее.

В соответствии с тем, как было решено на конференции союзников, прошу Вас начать наступление русских войск к началу апреля. Необходимо, чтобы ваши и наши операции начались одновременно, в пределах нескольких дней. Французское Главнокомандование надеется, что наступление русских армий будет преследовать цель достигнуть решительных результатов и будет рассчитано на длительное ведение.

Ген. Нивель настаивает перед Вашим высокопревосходительством на полном удовлетворении этой просьбы.

Сегодня после завтрака командир батареи проявился: вызвал господ офицеров к себе. Пошли все четверо.

В сером свете землянки Бойе сидел за столом под оконцем усталый. Лицо его было землисто, подглазья изрезаны, вид – контуженный.

Для офицеров были приготовлены стулья, табуретки. Сели полукругом. Перед подполковником лежали штабные бумаги.

Он ещё помолчал, даже глаза призакрыл. Потом заговорил, и голос его волочился как по острым камням:

– Вы вчера читали, господа, тот возмутительный самозванный «приказ». Можно было надеяться, что это – пьяный бред и не относится к русской армии. Но сейчас мы получили приказ нового военного министра. И я должен вам сказать... И я должен вас спросить... Капитан, потрудитесь прочесть вслух.

Сохацкий стал читать с типографски отпечатанного листка.

Отменялись титулования, назначалось обязательное «вы» к солдатам. Отменялись все ограничения для солдат по курению на улицах, посещению клубов, состоянию в политических обществах.

Да это, правда, не тот ли самый вчерашний и был «приказ»? Но впрочем, – улицы, трамваи, клубы и политические организации – всего этого на фронте и близко нет. Саня ждал решающего пункта: неужели и министр подтвердит, что офицерам запрещается доступ к оружию? Нет, это не прозвучало. Ну, тогда это ещё вполне терпимый приказ.

А глаза Бойе или пенсне его – блистали недоумённостью – невероятностью! – невозможностью!...

Надёжно была насажена широкая голова Чернеги.

А Устимович сидел всё с той же немой покорной надеждой.

И подполковник заметил, что офицеры его не поражены.

– Но, господа, но какие же наши солдаты – граждане? Какие политические клубы? До чего же можно дойти в абсурдах?

Саня внутренне живо не согласился: если не граждане – то по нашей вине. А когда-то и начинать делать их гражданами. Ну, война – не лучший для этого момент. А после войны ничто не заставит – и опять ничего не будет. Когда-то начинать. Стыдно не начать.

Но он пожалел подполковника, ничего не возразил, ни взглядом.

Серо было в землянке. Кажется, и лекарствами пахло, как у больного.

Серо – и молчали.

Молчали – а не отпускал.

И совсем без отдаления чином, в выдохе последнего убеждения вытянул подполковник, как жилу собственную растягивая:

– Гос-по-да! Но ведь погибла Россия!...

И вдруг – как из весёлой бочки – забубнил Чернега, да развязно:

– Не, господин полковник, не пропала! Народу – тьмища. Нужно будет – всегда спасём.

Горько узнавательно откинулся подполковник:

– Да кто же спасёт? Не вы ли, прапорщик Чернега?

Ничего супротивного не уловя, ещё бодрей гудел Чернега:

– Так точно, господин полковник! Нужно будет – и я спасу!

Бойе чуть-чуть колебнул головой, с горьким одобрением дерзкого.

Нет, на санин взгляд приказ министра оказался не такой уж провальный. И можно было бы испытать облегченье. Если бы старичок Забудский на петроградской лестнице не лежал бы с раздробленной головой. И ещё других таких, может, сотни. (Сказал Саня Чернеге о смерти профессора – а тот как рот перекрестил после еды: «Ну, царство ему небесное.»)

Подполковник двумя руками о столик подпёр голову, чтоб она держалась, раньше не было у него такого положения, голова его сама стояла на воротнике и плыла по воздуху, – и

попросил капитана прочесть заодно и остальные приказы, чтоб не носить.

Ведь сквозь армейскую пирамиду никакая стрела приказа не может пробить, не обрастая добавочными перьями на каждом этапе.

Сохацкий взялся читать машинописные листы.

Следовал приказ главкозапа Эверта:

– «...Теперь, когда события во внутренних областях нашего Отечества могут смутить ваши сердца и отвлечь ваше внимание от великого дела службы под знамёнами российскими... обращаюсь с начальническим приказом и отеческим наставлением».

Вот это «отеческое» – пройденный тон. Не нашёл нового.

– «... Первое основное требование нашего молодого правительства и моё – сохранение строгой воинской... Второе требование – не заниматься политиканством, не тратить времени и нервов на бесцельное обсуждение... а смотреть в глаза врагу и думать, как его сокрушить...»

Поди объясни солдатам: об отречении царя не думать, а только о немце.

Теперь – приказ по 2-й армии генерала-от-инфантерии Смирнова:

– «... К вам, доблестные офицеры! Больше чем когда-нибудь вы должны быть наставниками солдата. Тесней общайтесь. Объясняйте ему непонятное. Относитесь к нему с полным доверием, и он ответит тем же.»

Ах, верно! Какой чистый голос оказался у Смирнова! Да, Саня много упустил в эти дни. Но – если б самому-то хорошо понять!

– «... Солдаты! Когда-нибудь с гордостью вы будете вспоминать: я отстаивал Родину от дерзкого врага... И вот вы получили права, заслуженные кровью. Но возвышают человека не права, а умение ими воспользоваться... Братья! Неужели отдадим немцам Свободную Россию?»

Теперь же ещё и – приказ по Гренадерскому корпусу:

– «... В районе театра военных действий отдавание чести, становясь во фронт, отменяется во всех случаях и заменяется простым обязательным прикладыванием руки к головному убору, символ единения воинских сил...»

И ещё ж по 1-й Гренадерской дивизии: во всех частях установить три постных дня в неделю, а в лазаретах – четыре.

Как сбросило от неожиданности. Ещё не состроились все осколки Огромного – а малая жизнь, в самом деле, должна ж была и при революции течь.

И ещё приказ по 1-й Гренадерской артиллерийской бригаде. Комиссия обследовала 1-й дивизион и нашла: в 1-й и 3-й батареях содержание лошадей отличное, лошади в очень хороших телах... – (Чернега расплылся.) – Во 2-й батареях есть и худоватые. В солдатских землянках найден порядок, солдаты одеты опрятно, смотрят молодцами, за что им спасибо... Где вышел чеснок – приобрести, не жалея денег.

И снова – приказ Главкозапа, от 6 марта: всем ротам и батареям обеспокоиться устройством огородов.

И приказ по бригаде: приступить к вывозу навоза на огороды бригады.

Жизнь шла! Хоть там весь Петроград перевернись, – а бригада должна жить, и сохранять людей и лошадей, и держать фронт.

Это было – всем едино понятно и несомненно.

И подполковник попросил печально:

– Подпоручик Лаженицын. Постройте батарею, прочтите всё это.

Пулемётный полк в Народном доме, по-прежнему с дулами пулемётов на Кронверкский проспект, стал кошмаром Пешехонова: ко всем неприятностям с отхожими местами, потоки мочи уже протопили снег до тротуара, добавились ещё несколько заболеваний, врачи подозревали и сыпной тиф, а между тем праздные пулемётчики заседали

в трактирах и чайных, могли разнести тиф по городу. Но цепко держались за свой нелепый театральный дом. Днём Пешехонов всё думал о них, а ночью ему снилось, что началась повальная эпидемия или что солдаты вышли с пулемётами на улицы и секут всех подряд,

И он продолжал сноситься с полковым комитетом: может быть, всё-таки, убедилась, что на Петербургской стороне места нет, и согласятся вернуться в Ораниенбаум? Не надеялся. Но вдруг вчера утром пришёл такой ответ: согласен полк вернуться в Ораниенбаум, но если будет приказ от Совета.

Счастье какое! Тотчас же поехал Пешехонов в Исполнительный Комитет, попал перед началом заседания и стал просить Чхеидзе и других – как можно скорей, сейчас, в один час, издать такой приказ. Товарищи из Совета насторожились: выводить войска из Петрограда? нет ли тут контрреволюционной затеи?

Всё же убедил: если сами пулемётчики согласны – значит припекло. И позже сообщили ему, что Исполком такое решение принял и послал в Народный дом Скобелева. Ну, хоть одно большое дело сделал!

И сегодня ждал, что пулемётный полк двинется восвояси. Но оттуда вдруг пришло: солдаты передумали, не пойдут. Да почему ж? Кинулся сам Пешехонов в Народный дом. Объяснили унтеры из полкового комитета:

– Это – не приказ. Сказано: «Совет *просит* ». Стало, можем и остаться.

– Не, не пойдём.

Что-то тут переменялось в несколько часов. Какие-то студенты и барышни отговаривали пулемётчиков. Догадывался Пешехонов, что это – от большевиков, их штаб – наискось через Кронверкский. Встретил Стучку и Шмидта – только плечами пожимают.

Они!

И помчался снова в Таврический и умолял Чхеидзе приехать хоть самого, но тот расслаб. Да ведь Скобелева не послушали...

Ничего не сдвинулось. Остались!

И уборные – в том же виде.

В этих поездках в Таврический хлопотал Пешехонов и по другой своей досадливой заботе: об автомобилях.

Автомобили стали демонами этой революции, ничего подобного не видано было в Девятьсот Пятом. Гонять впустую по городу продолжали и до сих пор. А милиция стала усердно останавливать их, проверять документы – так стало на автомобиле продвигаться чуть не медленнее, чем пешком, автомобили стали гонять по боковым улицам, чтоб объехать милицию. А ещё ж – «чёрный автомобиль»! Никто его в глаза не видел, но все слышали, что он расстреливает милиционеров, хотя ни один ещё не пал, любимая легенда Петрограда, и по утрам все бросались к газетам – не поймали ли чёрный автомобиль? (И как раз сегодня пришло известие, что задержан! на Вознесенском мосту, даже среди дня, и не сопротивлялся, а принадлежит члену городской думы Казицыну, известному реакционеру. Кинулись арестовывать Казицына, но он доказал, что автомобиль у него отобрали в первые дни революции.)

В том и дело, что все хотели теперь иметь автомобили. В первые дни их реквизировали именем революции, в следующие просто воровали, уводили из гаражей, а хозяева осмелели жаловаться – и куда ж как не в комиссариат? Разбирайся! Одни требовали искать, другие готовы были крупно заплатить сейчас же, только бы получить свой автомобиль назад. А автомобильный отдел комиссариата, стал Пешехонов подозревать, какие-то деньги с хозяев и берёт, и автомобили хозяевам возвращает, то снова их откуда-то получает, творились под носом аферы и некогда было их накрыть. Достигло его, что где-то кем-то подчищались номера, переменялись наружные признаки, а автомобили как бы не отгонялись даже в другие города. Тогда кое-кого из своего автомобильного отдела Пешехонов перевёл в другие отделы, набрал новых – но тут же начались недоразумения с центральным автомобильным отделом Совета в Таврическом: до сих пор те не имели претензий к Петербургской стороне, а тут стали отбирать их автомобили. Вернул в отдел прежних подозреваемых – всё стало на

места. Теперь вот пошёл искать правды в автомобильном отделе Совета – ничего не найдёшь. Да кто ж этим всем заведывал? – автомобильная комиссия ИК – Гвоздев и Линде. Гвоздев занят одними заводами, он сюда глаза не направляет, а мечтательный Линде весь отдался политической пропаганде в армии, в автомобилях и не понимал, и не вникал.

Да не в одном автомобильном – обнаружил Пешехонов жулика и в начальнике своего продовольственного отдела, на которого полагался, ибо тот присоединился к нему ещё в первый день в Таврическом, сказался делегатом общества взаимного вспоможения приказчиков, – а тут все продукты комиссариата, реквизируемые, охраняемые, оказались у него в руках, затем и деньги, но открылось случайно, что он хитит и продаёт.

Мотался Пешехонов в заботах – а город был такой белоснежный, не посыпанный золой из заводских труб, и солнечно, и небо голубое, чистое, лишь первые заводские дымки, и всё в красных флагах. Революция победила, подумать! – а у него, кроме первого вечера, не было и дня порадоваться ей, так много втеснялось в голову, а что-то и до сознания не доходило, или тотчас вышибалось другим.

Вот ещё забота была: у него же на Петербургской стороне появилась ещё другая милиция, кроме комиссариатской, так что на улицах могло дойти даже и до столкновения двух милиций. Не такая славная была у Пешехонова – и недисциплинированная, и непривычная, но и не две же милиции рядом! А на заводах появлялась ещё какая-то третья милиция.

Но и это не всё, а: комиссариат – вообще ли власть? Потерян тот спешный момент, когда его назначали, – а сейчас нельзя и усмотреть, кому же он подчиняется? В некоторых частях города не было и никаких комиссариатов, на Выборгской – властный большевицкий. А на Петербургской возник и районный совет рабочих депутатов, но не смог стать конкурентом комиссариата из-за того, что Пешехонов в самом начале догадался вызвать к себе представителей от фабрик и заводов в регулярные совещания. Так он получил себе опору, однако же это была и тяжкая обязанность – совещания с ними после 10 часов вечера, вялые, тягучие, когда головы уже не работают, все измучены до крайности, а тут – обсуждать «принципиальные вопросы», давно решённые в комиссариате днём. Действенный актив у комиссариата всё время и был, но – присяжные поверенные, студенты, курсистки, мелкие чиновники, а никак не эти рабочие представители, не ориентированные ни в чём.

Однако Пешехонов пропустил другое: прошедшие всюду выборы в «гражданские комитеты». Что такое гражданские комитеты, в первые дни революции было всем как будто понятно, а потом совсем непонятно, но выборы прошли, и комитеты существовали, как бы единственная выборная власть – а вместе с тем и не власть никакая. А попала туда почти сплошь интеллигенция, как раз самая распрогрессивно-демократическая, но безо всякого опыта практической работы, да ещё в такие дни.

Однако – они всё-таки были выборные. Демократия сталкивалась с демократией. Приглашать теперь население на новые выборы – значило подорвать его доверие ко всяким выборам. Но и допускать расщепления власти тоже нельзя. Оставалось сговориться? Но гражданские комитеты не желали разговаривать с невыборной властью. А рабочий совет почувствовал себя таким важным, что хотел иметь для себя больше мест, и помимо всяких общих выборов.

И главная же задача революции – установление народной власти – стала как-то расползаться.

Пешехонов жаждал бы иметь и власть над собой, поддерживать её, но и самим же опереться на распоряжение, закон, циркуляр. Однако не было связи ни с какою властью наверху. Временное правительство не декретировало никакого местного самоуправления – ни по Петрограду, ни по стране. (Тут Шингарёв рядом жил, Пешехонов встречался с ним, спрашивал: когда же, когда же? Вот-вот, вот-вот.) В центральных учреждениях Пешехонова встречали с недоумением и в толк не могли взять, какую же власть он представляет. Никаких указаний или запросов к нему не присылали никогда. Когда же Пешехонов отправился к общественному градоначальнику Юревичу, известному исследователю противостолбнячной

сыворотки, заявить, что комиссариат и милиция держатся на бесплатном труде, а многие уже уходят, то Юревич очень удивился, обещал кредитов. Сегодня пришла городская телеграмма от них: сообщить, сколько в комиссариате письмоводителей, паспортистов, регистраторов... – они судили по старым полицейским штатам!

Итак, центральная власть оставалась без опоры, а местные власти не могли противостоять раздирающему самовольству. Вот, рядом, большевики захватили особняк Кшесинской, – а Пешехонов не находил решимости даже заикнуться выселить их оттуда. И если толпою так легко была сметена власть, существовавшая 300 лет, – то чего стоило ей смести этот недельный комиссариат?

508

Сегодня в большом думском зале опять шумела солдатская секция Совета – а через коридор от неё в неудобной, уже завтра уступаемой комнате, здесь последний день, заседал Исполнительный Комитет. И председательствовал на нём, как всегда, Чхеидзе.

Своё председательство в Совете и Исполнительном Комитете Чхеидзе понимал как важнейшую службу революции, важнейший пост революции, – и не тщеславно это понимал, как выросшее своё значение (он без колебания отказался стать министром), но как возможность послужить тому, к чему шла вся его политическая жизнь. И он страдал, что далеко не все в ИК относились к своему членству так же, но – манкировали, то вовсе не приходили на заседания, то приходили с любым опозданием и даже не извинялись, то в заседаниях мешали, перекидывались записочками и даже просто переговаривались вслух. Открывая заседание и глядя в свою повестку дня, никогда Чхеидзе не мог быть уверен, что у него соберётся или не разбежится достаточный кворум, да и само понятие кворум перестало существовать в ИК: сколько бы ни присутствовало, те и голосовали. Да совершенно точно нельзя было подсчитать, сколько вообще членов в ИК: всё время они из разных источников добавлялись. Спросить Николая Семёновича – он и цифры точной назвать бы никогда не мог, но с добавленными солдатами – уже больше 35 человек. Трудно работать. Вот сегодня пришёл и сел уважаемый седовласый Чайковский, с большой бородой, никак нельзя было отказать в членстве старейшему заслуженному революционеру. А неизбежно было и от офицеров принять одного члена – и приняли поручика Станкевича, да он-то был революционный демократ, лишь в военной одежде и с небольшими усиками по военной моде. Этот, по крайней мере, сидел и очень внимательно слушал.

Всё же для спасения дела Чхеидзе решил быть твёрдым – и предложил и без голосования провёл, кивнул Капелинскому записать в протокол: заседания Исполнительного Комитета и впредь будут начинаться ежедневно (хоть Николай Семёнович сам устал, один бы день в неделю и отдыхать) в 11 часов дня, а кто не будет их посещать – должен сам снять свои полномочия. (Потому что исключать – не оберёшься межпартийных дряг.)

Также и повестка дня была чревата неожиданностями. Иногда она настолько не выполнялась, что Чхеидзе брал вчерашний исчерканный лист и вёл по нему заседание сегодня. Но даже и остатка нельзя было кончить на следующий день: всё время врывались новые вопросы – от самой жизни, от телефонных звонков, от добывающихся посторонних – и от своих же членов: каждый из них считал свой вопрос важнее всех прочих. В заседаниях было много крика, недоразумений, столкновений, все измотались.

А ещё не хватало времени проверить Капелинского – что он пишет в протоколах: прений там не было, но хоть бы постановления правильно писал. А то заставлял Чхеидзе и в постановлениях недописанные фразы.

Так и сегодня. В повестке стояло: об обращении к международному пролетариату. О взаимоотношениях с правительством (третий день переписывали). О возобновлении работ на заводах. Положение в Кронштадте. О похоронах жертв революции.

Но ничего этого и не начали, а сразу сорвалось посланцем 1-го пулемётного полка: вчера выразивший желание уйти из Петрограда, сегодня полк передумал и хотел знать

окончательный приказ от ИК. А это совсем меняло картину: одно дело – полк идёт добровольно, тут никто не может упрекнуть ИК, другое – под давлением ИК, тут может возмутиться вся солдатская масса и затрещит сам Исполнительный Комитет. (Через коридор в думском зале солдаты как раз и обсуждали шумно: допустим ли вывод из Петрограда хоть единой воинской части?) И вот, начали повестку дня с пулемётного полка, и высказывали разное, растерянно, и решили послать туда сейчас опять Скобелева, на переговоры.

Тут совсем некстати кто-то влез, что петроградское духовенство обнаглело и просит допустить его до участия в похоронах жертв. Это всех возмутило в ИК: похороны с духовенством потеряли бы всякий революционный пафос, а сбились бы на поповщину. Сам Чхеидзе испытывал к попам отвращение как к тараканам или к лягушкам, его передёргивало всего, он даже представить не хотел такой отвратительной картины. Отказали.

Сейчас же взял слово Чайковский, с огромной лысиной и ещё твёрдыми глазами: что необходимо арестовать попа, стоящего во главе военно-морского духовенства, до сих пор не арестован. Постановили.

Пошло об арестах, так выскочил Шехтер: что у него есть сведения, будто освобождают часть арестованных городских. Да не может быть! Да что ж это делается, товарищи, в нашей революционной столице? Керенский, вот кто за это отвечает! – и как заместитель Чхеидзе по Совету он должен вот тут рядом сидеть, а он ещё ни на одном заседании не появился, занёсся, находит время в Москву мотаться, на правительстве сидит, а у нас нет. Чхеидзе очень обижался на Керенского. Записали: поручить Шехтеру лично объявить Керенскому о недопустимости освобождения городских.

Тут, который день, «Петроградские ведомости» просят разрешить им выход. Реакционная газета, отказать ещё раз.

Тут – какая-то путаница в Петропавловской крепости, и сам комендант добивается. Нельзя не выслушать, Петропавловка – бастион, и все царские министры там сидят. Пусть войдёт. Вошёл старый генерал, очень взволнованный, и докладывал стоя, перед пиджаками. Неразбериха полная, не знает даже: кому крепость подчиняется. Уж сами себе выбрали покровителем министерство юстиции. А Военная комиссия никаких директив им не даёт. Ничто не ясно, и никто не объясняет. По приказам арестовывают, на другой день того же самого освободить.

Кого это освободить? Нет, товарищи, Керенский зарвался, надо его осадить! Надо вызвать его на заседание ИК.

Не придёт...

А Зензинов, восторженный и глуповатый, лезет: «бабушка революции» Брешко-Брешковская выехала из минусинской ссылки 5 дней назад, а мы до сих пор не готовим ей достойной встречи! (Эсеры в ИК почти не чувствуются, он да Александрович с мрачным взглядом, всё начисто здесь осуждая и голосуя против всего подряд.)

А Рафес, по неважности вопросов, понял так, что дело уже к концу, и – со своим: поступили приветствия Совету депутатов от левых с-д шведского парламента, а также от всего киргизского населения.

Да нет же! – вышел Чхеидзе из себя, стал кричать изо всех немногих сил: не мешайте повестке дня! не входите-выходите! не разговаривайте громко! тише там, у стола кормления.

И видя, как нервно ходит, места не находит, из угла в угол, то на цыпочках тянется, широкие кисти сухо потирает маленький Гиммер с войлочными волосами:

– Обсуждаем проект обращения к международному пролетариату!

И Гиммер воспламенился, схватил с подоконника приготовленный лист и стал тонким дрожащим голосом читать свой проект. Обращение это Чхеидзе считал самым правильным и важным делом. Но встречали его под непрерывный шум: то галдели большевики с Кротовским и Александровичем, то – правые меньшевики и Бунд. И если растерзать, кто против чего был, то в проекте мало что и оставалось. Чхеидзе много стучал ладонью по столу, призывал к порядку. Но видно было, что тут, на заседании, не разобраться и обращения принять нельзя. Тут вошёл уверенный Стеклов, и сразу сговорились, что он с

Гиммером будет этот проект ещё дорабатывать.

А Стеклов привёл из «Известий» своего Бонч-Бруевича – давать объяснения по поводу оскорбления Рузского. Пузатый, смешно одетый по-армейски Бонч-Бруевич объяснил, что никакого там оскорбления не содержалось, что высшие генералы все неискренни, Ставка – контрреволюционное гнездо, и ещё не так с ними надо разговаривать.

И, пожалуй, верно. Хотя вчера делегация Рузского и проняла тут Исполнительный Комитет – но, пожалуй, слишком расчувствоваться перед Рузским было бы вредно. Оставили без последствий.

Тут вошёл Богданов, сказал: на солдатской секции бушуют против приказа №2, требуют объявить, что это только – проект приказа, а не приказ.

Да что за чёрт! Всё запуталось. Уже его ограничили разъяснительной телеграммой. Но сказать, что такого приказа вообще не было, – ИК всё же не может плюнуть самому себе в лицо. Но и не посчитаться с солдатской секцией тоже не может.

Выход был в том, чтобы дать теперь в «Известиях» ещё одно пояснение, да вот то, что Соколов предлагал, где он, Соколов? Испарился.

Так если о протестах – вот пришёл и протест кадетского ЦК против Приказа №1. Ну, с этими-то разговор – послать их... Нет, то же самое, но вежливо написать.

Товарищи, товарищи! О возобновлении работ. Кузьма Антонович, какое положение?

Гвоздев тоже пришёл недавно – озабоченный, нахмуренный, сидел с уголка стола, через очки просматривал свои бумаги. Не все вставали, докладывая, но он встал. Что творилось на заводах! – полный разнобой. На Путиловском открылась лаборатория и шрапнельный завод, остальные требовали прежде ареста Романовых и конфискации банков. Русско-балтийский уже получил 8-часовой, а Лангезиппен сам себе его объявил, а Трубочный – устранил всю администрацию и сам назначил новую. Сестрорецкий, Ижорский, печатники, Старый Парвьяйнен – приступают, но требуют 8-часового. Невский судостроительный согласен на сверхурочные, железнодорожники требуют демократизации, пекаря – конфисковать муку у хозяев. А весь Московский район – полностью против и шлёт всех матом, никаких работ.

Что мог решить Исполнительный Комитет? Не все члены и эти названия заводов знали. Вот, не слушалась рабочая масса. Значит: ещё раз издать подтверждение постановления, в энергичной форме повторить, чтоб на работу – становились. Призвать наших товарищей рабочих, что надежда на соглашение с фабрикантами не исчезла. Но и фабрикантов предупредить, что ответные закрытия предприятий – постыдны в переживаемые дни, и Совет депутатов не допустит такого произвола над борцами за освобождение. Совет поставит тогда вопрос о передаче таких заводов рабочим коллективам.

Собственно, весь спор был и добиться надо было от предпринимателей – 8-часового рабочего дня при том же заработке. Но тут Богданов, всё время снующий, принёс из солдатской секции: недовольны! шумят: почему рабочие требуют 8-часового дня? А у нас, солдат, день немерянный! А мы на фронте в окопах – круглые сутки? Так что они, умней нас? Или никому 8-часовой – или всем!

Взялся Чхеидзе за свою бедную плешивую большую голову: нет, это дом сумасшедший! Воевать – восемь часов в день? Нет, всем угодить никак не возможно, что делать, товарищи??

Никто не знал.

Народные волны беспощадно били в грудь Исполнительного Комитета. И зло брало на правительство: а оно – ничего этого не знает, уехало себе в тишь и роскошь Мариинского дворца – и спокойно там дремлют. И чем они там занимаются? И что они готовят втайне от нас и от народа?

Заволновались, с разных сторон горячо. Как только об этом задумались, так подозрения стали груди рвать. Как же мы их упустили из-под пролетарского надзора? Ведь они нас обманут! Ведь они так хоть и царя восстановят, любую реакцию! Мы должны их намерения знать вперёд – и чего не одобряем, чтоб они не делали!

Крупный Стеклов, – всё более выросло в Исполкоме его значение и уже выдвигался он как вторым товарищем председателя, – стоя предложил: избрать сейчас постоянную комиссию из 5 человек – и ей поручить постоянный контакт с правительством, пусть она всё ему наше передаёт и всё нужное с него спрашивает.

Большевики сразу – не надо! Соглашений с Временным правительством по сути быть не может, это – самообман, только завязнем в переговорах.

Но большинству предложение понравилось, и трёх человек избрали, даже не обсуждая, так это все признавали, головку Исполнительного Комитета – Чхеидзе, Скобелева и Стеклова.

А дальше?

Кого-то надо военного одного, чтоб нас не перехитрили. Согласились на Филипповского, молчаливого, деловитого.

А пятый?

Представлялось, что рассудительного, умеренного надо поставить, и правые предложили Гвоздева (он ещё не ушёл).

Но увидел Чхеидзе и другие тоже, как забеспокоился, завился, закрутился маленький Гиммер, даже на одной ноге поворачиваясь от невозможного нетерпения, и к кому-то взглядами, и к кому-то шёпотом – да как же это без него будут самые главные разговоры происходить! да ведь он же главный теоретик, и предложивший буржуазное правительство!

Стали спорить. Меньшевики уже раскусили, что Гиммер только выдаёт себя за безфракционного, а на самом деле подгаживает им, левее левых. Но уже и у Гиммера набралось сторонников много, и большевики все голосовали за него. Голосовали, обляляли счётчика, а ну-ка считай как следует. Казалось – поровну. Но вытянул Гиммер на одну руку больше, чем за Гвоздева.

И только кончили голосовать – вкатился хлопотливый Соколов с размётанными фалдами: что такое? без меня избрали? ах-ах-ах! я бы тоже хотел попасть!

Но уже шестого не добирали, хотя Соколова эта работа и есть любимая: на переговоры ходить.

Что же касается Николая II, то как раз мы и проверим искренность Временного правительства. И действительно, уже невозможно сдерживать народное негодование, поступают петиции, вот (Эрлих прочёл): Черноморский, Иванов, Шеф, всего 95 подписей, члены Совета рабочих и солдатских депутатов, крайнее возмущение и тревога, что Николай Кровавый и жена его, уличённая в измене России, и сын его и мать находятся на свободе... Безотлагательно принять меры к сосредоточению в определённом пункте.

Да! да! И хотя уже два раза на ИК постановляли, но под таким давлением зафиксировать ещё раз и отрезать у Временного правительства все уловки, они что-то хитрят: **решено** : арестовать всю семью! Конфисковать немедленно всё их имущество! И лишить их прав гражданства. И при их аресте чтобы был представитель от Совета!

Да, а что же с пулемётным полком? А что же: Скобелеву они сейчас отказали. Передумали, не пойдут.

Потёр, потёр Чхеидзе усталую лысину и предложил записать: приказ о выводе в Ораниенбаум – отменить.

Воля народа.

И вот когда наконец дошла очередь послушать наших делегатов, ездивших в Кронштадт.

Не порадовались. Разгром продолжается. Офицеров продолжают избивать, какие не арестованы. А арестованных много сидят. На командовании их почти не осталось. Даже командиры кораблей некоторые выбраны из матросов, но ничего, конечно, в деле не понимают. Митинги, митинги, службы – никакой, бери немец голыми руками.

КУДА НИ ГЛЯНЬ – ВСЁ ДРЯНЬ

509

Не забывать, напоминать себе: в Совет ты пришёл, чтоб опередить саму революцию, её незримо бешеный ход. Чтобы в самом гнезде анархии – опередить анархию и дать состроиться новому порядку. Напоминать себе, потому что сидя в бурлящем думском зале, в гуще тысячи солдатских депутатов, Станкевич чувствовал себя не рациональным направителем, а щепкой, и бросало его стихийным переплеском туда же, куда всех бросает, и за пять минут нельзя предсказать, куда всю эту громаду повернёт один языкатый оратор.

Какая там повестка дня! – какую б ни объявили, она всё равно не выполнялась никогда, сбиваемая потоком и неожиданным наклоном ораторов, не привыкших ни к каким заседаниям. Как всегда, и сегодня то и дело вылезали с приветствиями – от гельсингфорсского совета депутатов, от псковского авиационного парка, из Торжка, из Луги, от разных ещё запасных полков... А обсуждать предполагали «права солдата», парой адвокатов была подготовлена целая декларация по развязыванию и роспуску военной дисциплины, – но всё повернул вылезший на трибуну писарь: что Совет депутатов должен разослать по всей России пропагандистов, которые бы всюду разъезжали и *боролись с земством*, и пропагандистов этих оплачивать, не упустил. «Деревня – нищая духом!» – восклицал он, – и надо её готовить к Учредительному Собранию.

А тут, взглядеться, только называется «солдаты», но мало бессловесных дошло до этого зала, тут едва не половина и сидела писарей да настроканных унтеров с начатками образования. Они, на беду, уже кое-что знали – и ещё знали слишком мало.

Вот, один доказывал, что нам нужна не конституция, а республика: конституция – это накормление наполовину, республика – когда человек будет накормлен досыта. Ни при каком государе никогда хорошо не будет.

Другой поправлял, что не вообще республика нужна, а – демократическая республика. Вон, во Франции – там давит буржуазия.

А третий опять: что кто остался в деревне – в делах не разбирается, надо ехать разъяснять. Надо везде расклеивать программы, чтоб они висели перед глазами.

– Вся сила – в крестьянах, и надо их подговорить к республике!

И ещё вылезал какой-то наивец и, снявши папаху, кланялся собранию, что отец его был крепостным, и он согласен ехать разъяснять на свои последние средства, бесплатно.

Откидывали ему, что в деревне – учителя и учительницы, они сами всё крестьянам объяснят, им только газеты посылать.

А с места кричал:

– Я требую, чтобы все войска Петрограда послали домой письма с требованием республики!

А с трибуны:

– Самая главная пропаганда – это объяснить, как и кому принадлежит земля и как её надо делить. Если у нас останется царь – то земля не достанется крестьянам. Если будет республика – то вся эта дорогая земелька будет нашей! Земля Романовых должна принадлежать населению.

Откликались:

– Так у нас уже и есть народная воля. И значит – вся земля наша.

– Нет! – кричали ему. – Если Вильгельм победит – всю землю заберёт! Надо прежде победить Вильгельма.

А бородач просил: в сами войска пригласить людей, и объяснили бы они, какой должен

быть у нас строй.

А там кричали: выбирать лучший кадр для управления, и деньги от капиталистов передать в крестьянские банки.

– Нет, – кричали, – поручим Временному правительству засеять всю землю!

Многочисленное революционное собрание – это всё равно что революционная уличная толпа. Толпа кажется всевластной – а на самом деле идёт за вожак и даже хочет, чтобы ею управляли. И чтоб её убедить – надо или очень-очень уверенно утверждать, или много раз повторять одно и то же, или кинуть в неё порыв как факел. Но ничего этого не мог сегодняшний председатель прапорщик Утгоф. Он только тщетно образумливал с родзянkinской вышки:

– Товарищи! Товарищи! Мы должны обсуждать вопрос об армии, а чем мы занимаемся?

И тут же давал слово пришедшей французской военной делегации.

И майор восклицал:

– Вив ля Рус!

А с места:

– Француз пупа не надорвёт!

После того выходил молодецкий подпоручик из союза республиканцев:

– Товарищи! Демократическую республику – ещё надо, чтобы народ понимал. Если прямо посылать агитаторов в население, то примешаются провокаторы. Прежде необходим порядок в воинских частях. Свобода – это не значит обижать другого. Два солдата ушли с поста спать – это не порядок. Есть много примеров...

Но – не много было охотников на эти много примеров. Сильно гудели, не слушали.

Да, именно это первое и нужно было: порядок в воинских частях. Именно его и хотел достичь Станкевич, но не в безалаберном гудении этого зала, а в Исполнительном Комитете, куда он уже был избран. Он воспитывал себя – больше не теряться в этих волнах.

А они – хлестали.

Депутат-солдат, вернувшийся из Кронштадта, докладывал, что нашёл там дела – ничего. Моряки согласны служить и понимают серьёзность момента.

И в подтверждение выходил рослый матрос с пулемётной лентой через плечо наискось, по новой моде. Мрачно налегал локтями на откос трибуны и басом:

– У нас всё в порядке. Чует сердце моряка демократическую республику. Если надо будет – дадим из Кронштадта залп по нашим врагам.

Убедительно, даже слишком.

И нервный подпрапорщик:

– Надо прежде всего в сами войска послать пропагандистов из революционеров! Я – сам поеду на фронт! И скажу им: если заставят идти на Петроград – убейте такого командира! После войны мы сразу не сложим оружие, не-е-ет!

И сколько же вспыхивало сейчас таких индивидуальных дерзких воль – и во все стороны направленных. И кто же бы успел их все сориентировать?

Вспоминали Государственную Думу – и сейчас ему в ответ:

– Чтой-то я не помню, чтоб наша деревня в Думу выбирала. Кто их выбирал? Не, нам другую подавай!

И из фельдшеро:

– Если мы провалим с Учредительным Собранием – мы все погибли. Старая власть не подавлена... Каждый доктор может повести за собой целый уезд, и всё пропадёт.

И – опять бородач, рослый кавалерист, рядовой:

– Вот слушайте. Каждое дело начинается с благословения Бога. – (Уже зашумели.) – Я – старый солдат, служил беспорочно семь лет...

С места:

– И выслужил семь реп?

– Я хочу сказать вам тайну о дворцах.

Смех. Не слушают.

– Э-э, – рассердился кавалерист, – да тут всё лычки сидят, тут рази солдаты!

Выхватил саблю в воздух, провёл – испугались, смолкли.

– Э-э-эх, – вложил саблю, плюнул, куда-то в кого-то, и сошёл со ступенек.

Председатель объявил депутацию из Свеаборга. Вышел румяный плотный радостный полковник:

– Товарищи! Мы выражаем восторг от нового строя и желаем работать вместе с ним! Да здравствует свободный народ!

По словам – могло быть изневольно, а по виду – подхалим революции. Да – строевой ли?

И за ним – свеаборгский морской капитан. Но этот – глухо, уныло (Непенина убили):

– Мы работаем для укрепления добытой свободы. У нас все едино – солдаты, моряки, рабочие и офицеры. Да здравствует свободная Россия...

И – опять в пулемётных лентах, от 2-го пулемётного полка. Лихо:

– Поклон вам, товарищи, за ваши дела освобождения! Всех врагов свободы надо изолировать и всё у них отобрать. И решить, и арестовать в 24 часа, а то они распродают имущество. И в порядке спешности немедленный арест всего романовского дома!

Хлопали: очень забористо, уверенно сек.

Но от пулемётных ли полков, давивших Петроград, – наклонило председателя на вопрос о выводе лишних частей из Петрограда.

Крики ему:

– А как выводить, ежели революция не закончена?

– А чьим приказом? Не военный министр, должны судить об том мы сами!

– Хотя и увести, но представители их должны заседать здесь, быть всё время на страже Петрограда.

– Хотя и вывести, но иметь меж собою связь!

И – от самого заинтересованного, от 1-го пулемётного полка – унтер на трибуне:

– Мы признаём Совет солдатских депутатов, и больше никого, даже Бога не слушаем! И мы не уйдём из Петрограда, пока нам не дадут землю! И мы вчера не послушались приказа министра ехать на позицию, хотя наши солдаты там и очень необходимы, и больше нигде в России нет таких специальных войск, как наши пулемётные полки. Но пока во главе армии стоит Николай Николаевич – нельзя посылать не только солдат, но и боевых материалов.

Со всем свободолобием, со всей широтой воззрений – страшно стало Станкевичу: и где же, когда же такое вызрело, что мы не замечали? Неужели – за эту одну неделю только? Уж кто бывал левее его! – но с болью пристукивало его сердце, когда вот так разносили армию.

Заспорили: а вывозить ли на фронт артиллерийские снаряды?

Председателя сменил ловкий Борис Богданов из Исполкома – и уговорил все такие вопросы передать в Исполнительный Комитет. А здесь сейчас – обсуждать Декларацию Прав Солдата. А проект – уже в руках, вот он.

И – как маслом по солдатским сердцам. Отныне все солдаты – граждане... Отменяется отдание чести...

Да, с честью не надо было так священнодействовать: за 6 шагов до офицера повернуть голову, руку выбрасывать вывернув и есть офицера глазами, – надо было давно и проще: что это – просто взаимное приветствие.

... Никаких дисциплинарных наказаний ни от кого... Отменяется бег по кругу, постановка под ружьё, разжалование. Облегчить увольнение из казармы. Разрешается носить вольное платье и вступать в любую организацию... Курить где угодно... Отменяются всякие работы... Отменяется вечерняя проверка... Отменяется обязательная молитва... Отменяются денщики...

Вмешался доктор:

– В Действующей армии отменять денщиков нельзя. Офицер сидит голодный в окопе, как же он будет без денщика?

– Тогда платить денщикам!
– Нет, и за плату нельзя! Все в окопах, а денщики сидят в тылу!
– А что ж – вместо них бабья набрать? так что получится?
– От имени казаков прошу оставить вестовых! Денщики признаны во Франции. Без денщика офицер запаршивеет. Ежели офицер будет и сам лошадь убирать – что он тогда будет из себя представлять?...

Светочем ярким свобода
Блещет над нашей страной.
Счастье родного народа
Только в свободе одной.
(«Новая марсельеза»)

510

(по западной прессе)

АНГЛИЯ

Русская революция будет гораздо менее кровавой и ужасной, чем её великий французский прототип.
(«Рейнольдс Ньюспейпер»)

...Сравнительное спокойствие, с которым произведена перемена... Весьма утешительно, что движение не направлено к заключению мира... Под флагом свободы доблестные сыны России будут сражаться с ещё большей храбростью.

ГЕРМАНИЗМ СВЕРГНУТ... Мы надеемся, что эти события – конец наиболее трагического в трагической русской истории. Для Германии эта революция является величайшей катастрофой со времён битвы на Марне. Этот удар убивает германские надежды на сепаратный мир. Нельзя было нанести злейшего удара Германии! Русская армия делается ещё более страшной для Германии, чем когда-либо прежде.
(«Морнинг Пост», 3 марта)

Находившиеся у власти в России прогерманские элементы дважды пытались заключить сепаратный мир с Германией, и дважды разоблачения в Думе свели эти заговоры на нет.
(«Дейли Ньюс», 3 марта)

Есть основания полагать, что великий князь Николай Николаевич был отставлен, чтобы подготовить почву для сепаратного мира.
(«Ивнинг Стандарт»)

... Этот переворот – несравненно более важное явление, чем победа на фронте.

Ллойд Джордж в палате общин: «...Один из поворотных пунктов истории (возгласы одобрения)... Солдаты отказались повиноваться приказу (возгласы одобрения)... Нам приятно знать, что новое сильное Временное правительство образовалось со специальной задачей вести войну с ещё большим напряжением (возгласы одобрения)... Свободные

народы всегда были наилучшими защитниками своей чести... События в России – первоклассное торжество тех принципов, ради которых мы начали войну. Мы уверены, что они не повлекут никаких затруднений для ведения войны...»

... Пусть звонят в колокола, пусть развеваются все флаги в Британской империи! Наконец-то нашим союзником будут не подкупные грабители, но Россия!

Рухнувший государственный строй в своих характерных чертах был германским. Этот строй имел все недостатки прусской бюрократии и ни одной её добродетели...

(«Вестминстер Газетт», 3 марта)

... Реакционеры и враги свободы, которых так неожиданно свергли, были пацифистскими интриганами и тайными друзьями Германии...

... Основная опасность заключалась в том, что царь мог бы недостаточно быстро осознать положение и сопротивляться революции или отложить своё решение. Но у него, видимо, хватило мудрости и бескорыстного патриотизма, чтобы не идти этим путём. Отказавшись от верховной власти по собственной воле, он избавил свой народ, как мы надеемся, от гражданской войны и социальной анархии. Наиболее опасный момент уже пережит. Если бы царь предпочёл сопротивляться требованиям Думы, то он несомненно мог бы встретить поддержку со стороны многих войсковых частей. Однако он понимал, какими последствиями такое решение угрожало России и тому великому европейскому делу, которому царь так верно служил.

(«Таймс», 3 марта)

В АМЕРИКЕ УДОВЛЕТВОРЕННЫ... Русская революция вызвала радость... Комментарии еврейских лидеров, чья враждебность к прежнему русскому правительству была огромной помехой для союзников, исполнены сочувственной надежды... В ответственных кругах Вашингтона неофициально революция приветствуется с чувством полного удовлетворения как крупный шаг на пути ко всемирному утверждению столь сердечно лелеемых идеалов либерализма.

(«Таймс», 4 марта)

В финансовых кругах Сити сообщения о русской революции приняты очень хорошо. Новости оценены положительно как для России, так и для прогресса в войне. Обменный курс рубля повысился. Среди еврейских банкиров и коммерсантов Сити вчера было выражено особенное удовлетворение известиями из России. Они считают, что в условиях эффективного конституционного правительства можно ожидать улучшения положения евреев в России. Как в начале войны, так и во время неё евреи проявляли, скажем, «несовершенное сочувствие» к судьбам нашего союзника. Заметный сдвиг в этом направлении...

(«Таймс», 4 марта)

ЕВРЕИ И РЕВОЛЮЦИЯ. С интересом, гораздо более чем пристальным, еврейская община в Лондоне встретила важные сообщения из Петрограда, так как они открывают более светлые перспективы миллионам их братьев... Радости и заботы миллионов евреев в России находят сочувственный отклик в сердцах их единоверцев, которым выпала более счастливая участь и которые пристально будут следить за будущими событиями, искренно надеясь, что нынешнее движение откроет более светлую эру русским евреям.

(«Дейли Телеграф», 4 марта)

... События в России явились большей неожиданностью для миллионов там, нежели

для нас здесь, в Англии, потому что у нас почва была тщательно подготовлена бесчисленными статьями о «тёмных силах», о Распутине и так называемых немцах, правящих Россией. Более того, британское общественное мнение очень помогло обеспечить успех этому движению... Но прогерманизма в России было меньше, чем где бы то ни было в Европе.

Если царь действительно отрёкся – он поступил благородно. Он несомненно мог найти силы большие, чем те, которыми располагает Дума, и сражаться в гражданской войне, проливая кровь тысяч людей и разоряя свою страну. Он всегда был монархом-идеалистом и царствовал, окружённый интриганами и неуместными поступками, которые затемняли и часто сводили к нулю его слова. Наблюдатели со стороны в большинстве своём чувствуют, что царизм держал Россию воедино, а если это единство отнять – Россия пойдёт прахом.

(«Таймс», 4 марта)

ФРАНЦИЯ

Париж. 4 марта вечером газеты, наконец, сообщили о перемене правительства в России. Впечатление было неописуемое: публика на улицах вырывала газеты у разносчиков, все останавливались и читали исторические сообщения. В политических кругах предвидят, что события в России отзовутся в неприятельских странах серьёзными осложнениями. Теперь Россия свободна организовать могучую оборону.

... Теперь война становится натиском четырёх европейских демократий на последний оплот консерватизма – на Берлин.

... Русский народ встал на ноги, гордый, и вызывает неприятеля для последнего боя. Грозящие Германии опасности колоссально возрастут, если на её восточной границе создастся демократическое государство.

... Революция свершилась и она принесёт немцам катастрофу.

(«Эко де Пари»)

... Кайзер, который так много ожидал от своих агентов в России, должен быть в отчаянии...

(«Рапнель»)

... Революция подготовит военный реванш русской нации, так как армия исполнится непреклонной волей к победе...

(«Пти Паризьен»)

... Энергия, с которой ведётся война, ещё более повысится...

(«Эксельсиор»)

... Петроградский переворот совершился при кликах: «Да здравствует Франция!»

(«Юманите»)

Французский публицист Густав Эрве пишет: «Можно сойти с ума от радости. Что Верден, Изер и Марна по сравнению с грандиозной моральной победой, которую союзники одержали в Петербурге! События в России – это самое большое происшествие в мировой истории со времён Французской революции.»

Парижская биржа проявляет больше уверенности в связи с успокаивающими сообщениями из России.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ

Остаётся фактом, что в ходе революции власть захватила проанглийская партия...
(«*Нойе Фрайе Прессе*»)

Провозглашение Временного правительства свидетельствует, что умеренные партии, которые являются орудиями Англии, находятся полностью под влиянием радикальных элементов...

Восторг союзников – неискренний. Революция – тяжёлый удар для Четверного Соглашения и в действительности окончит войну на Восточном фронте. Причины, вызвавшие крушение старой власти, остаются роковыми и для новой.

(«*Берлинер Тагеблатт*»)

... Революция поведёт к ослаблению русского фронта как физическому, так и моральному.

... Известие о революции в России было встречено в германской армии радостно. Все уверены, что Россия пойдёт со дня на день на сепаратный мир.

Было бы смешно, если бы германская политика считала себя призванной содействовать восстановлению старого режима в России. Германия весьма мало заинтересована в том, чтобы была разрушена русская свобода.

(«*Берлинер Локаль Анцайгер*»)

... Мы не собираемся торжествовать заранее, однако можем с оптимизмом рассматривать ход событий.

... Ещё неизвестно, куда ведёт разжигание страстей у народа, который стоит только в начале политического развития и в котором чувства и мистические представления преобладают над ясным политическим разумом.

... Несовместимо с уроками истории предполагать, что революция остановится там, где хотят её руководители, и не окажет разлагающего воздействия...

(*Австрийский экс-министр внутренних дел*)

... Крестьяне представляют 90% всего населения России – они добродушны по характеру, но воск в руках бессовестных эксплуататоров... В этой колоссальной массе до сих пор глубоко сидела идея царизма и православия. Трудно поверить, что эти элементы государства низкого культурного уровня смогут оказаться достаточно зрелыми для современного парламентского режима.

(«*Нойе Фрайе Прессе*»)

ДРУГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ

Рим. Министр иностранных дел заявил, что новое революционное движение в России не только не замедлит продолжения войны, но сделает его более упорным и энергичным... Все депутаты поднялись со своих мест... Величественная манифестация длилась... В парламентских кругах... Не может быть и речи, чтобы революция вызвала замедление военных операций.

Ватикан. Статс-секретарь Св. Престола выразил своё восхищение по поводу беспримерного в истории бескровного переворота в России... Папа Римский Бенедикт XV с живой радостью узнал... Уверен, что теперь отношения между Святым Престолом и Россией примут ничем не омрачаемый характер.

Лиссабон. Сенат и палата депутатов единодушно выразили приветствие русскому народу по случаю происшедшего переворота.

Амстердам. Биржа ответила на весть о русском государственном перевороте – повышением курса рубля. Нидерландское правительство выразило нашему посланнику в Гааге своё изумление, что великий переворот прошёл сравнительно бескровно.

Небывалое волнение охватило все скандинавские страны. Норвежское правительство выразило особое сочувствие водворению в России демократических начал... Приветствие шведских социалистов...

(«Социалдемократен», Швеция)

Полвека ждала Европа русской революции и не могла дожидаться. Когда же мы потеряли всякую надежду – теперь плотина снесена, и начинается великое возрождение народов!...

(«Социалдемократен», Дания)

У центральных держав нет оснований питать надежды в связи с русскими событиями. Родзянко, уже ранее проявлявший хладнокровие и силу воли, несомненно разумно использует власть.

(«Берлингске Тиденде», Дания)

Русские события вызвали в Швейцарии взрыв всеобщего восторга, как будто дело идёт о близких Швейцарии интересах. Женева восхищается величием подвига, совершённого русским народом и Государственной Думой. Для русских граждан это первые дни, когда не надо стыдиться своего государственного строя и правительства.

Немецкая колония в Берне приняла первые вести о русских событиях тоже с восторгом. Но эта радость быстро превратилась в печаль, когда пришло полное описание событий.

Эта революция – не восстание народа, стремящегося к миру, не революция обездоленных, а революция национальных ультрапатриотов. Эта воюющая партия прижала царизм в угол... Свергнут царь, самый деспотический и самый кровавый из всех властителей, каких знала история за последние 100 лет...

(«Форвертс», Швейцария)

В новое правительство вошли самые светлые головы России.

(«Нойе Цюрхер Цайтунг»)

Хартия свободы, предложенная Думой, ставит Россию в один ряд с культурными народами... В помощь свободной России будут даны влияние и коммерческий ум 6 миллионов русских евреев.

(проф. Масарик)

ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ ПЕЧАТИ

... Отречение от престола единодушно приветствуется всей английской печатью... Телеграф принёс первое имя Родзянки – и это сразу подчеркнуло всенародный характер переворота... В палате общин оппозиция торопит: признать новое русское правительство,

послать приветственные телеграммы.

В Лондоне с исключительным интересом следят... В статьях английских газет – неограниченное доверие к руководителям русской революции. Все газеты отмечают, что Временное правительство собрано из крупных государственных деятелей. Английская печать приветствует освобождение России, и выражает надежду, что Россия с новой энергией будет бороться с врагом.

(«Биржевые ведомости»)

Печать отмечает торжество свободлюбивой Англии, для которой союз со старой самодержавной Россией был тяжёлым бременем. В палате общин сообщение об отречении Николая II встречено шумной приветственной демонстрацией. Теперь русская демократия нанесёт смертельный удар Германии...

Ни одно из событий, происшедших на памяти нынешнего поколения, не подействовало столь сильно на воображение широких масс английского народа... Непоколебимое доверие к обновлённой России... Английское общество уяснило себе историческую необходимость русской революции... Петроградский корреспондент «Таймс» с глубоким пониманием русского национального духа много способствовал росту восхищения перед величием и красотой событий...

(«Биржевые ведомости»)

... Воскресные газеты отражают общий восторг... «Русский народ наконец обрёл свою душу»... «Ослепительная программа политических реформ»... «Русская революция внесла освежительное дыхание в мировую атмосферу»... «Либерализм одержал величайшую победу»...

... Русская колония в Париже восторженно приветствует падение политического строя в России. Всё население Парижа шлёт обновлённой России пожелания... Впечатление грандиозное. Все повторяют: «революция для национальной защиты! Вив ле Русс!» В палате депутатов – рукоплескания и крики «да здравствует Россия!».

... Старое императорское правительство в критический момент не нашло себе защитника в союзных странах. Можно сказать уверенно: союзные нам народы и правительства вздохнули с облегчением, когда до них дошла весть о падении старого режима. Даже война не могла сгладить пропасть между свободными Англией и Францией и поработанной Россией. Республиканская Франция принуждена была в течение многих лет поддерживать сношения с русским самодержавным правительством. Нас всегда спрашивали: сами бессильные в борьбе с гнётом, как вы можете нести свободу другим?...

Невозможно передать энтузиазм французской печати.

(«Биржевые ведомости»)

Циркулярное сообщение Милюкова вызывает во всей парижской печати самые восторженные отзывы... Богато красноречием... Задача победы над черносотенной реакцией требует победы над Германией.

... Русские крестьяне и русский пролетариат, уже имея в своих руках всеобщее голосование, должны, по мнению французов, подождать со своими требованиями экономического характера...

По известиям из Соединённых Штатов, в американском общественном мнении совершился полный переворот по отношению к России. Американцы до сих пор не доверяли

России. Было несколько странно видеть либеральные и демократические нации Запада плечом к плечу с автократической империей. Соединённые Штаты не скрывали своего изумления перед таким союзничеством. Сейчас создаётся возможность открытого союза всех свободных народов против монархической Германии...

(«Биржевые ведомости»)

АМЕРИКА В ВОСТОРГЕ. Американское общественное мнение, прежде настроенное враждебно к антидемократической России, теперь с энтузиазмом приветствует русскую революцию. Изменение строя в России избавляет Америку от пятна союза с самодержавной Россией. Здесь убеждены, что возрождение России не приведёт к её выбытию из войны, как напрасно твердят германские пропагандисты в Нью-Йорке, а заставит её вести войну с подлинной решимостью победить Германию, свободно от происков изменников.

... Американцы, в особенности же американские евреи, выражают энтузиазм. Известный банкир Якоб Шифф, который до сих пор всегда противодействовал распространению русских займов, теперь приглашает Россию к широким кредитным операциям в Америке.

(«Речь», 10 марта)

В результате революции курс рубля на зарубежных рынках вырос.

При первых известиях о революции в Петрограде германская печать взликовала. Им казалось, что тут исполняется их собственный хитрозадуманный план: обессилить Россию. Но сведения о быстром исходе революции показали неприятелям, что они ошиблись.

(«Речь»)

... В Берлине и в Вене дрожат, германская печать смущена, не в состоянии прийти в себя. Германские газеты крайне разочарованы той скоростью, с которой восстановлен порядок.

... Инсинуации германской печати... Клевещет, будто революция подстроена кучкой либералов...

По всей Европе ожидали, что пожар, охвативший Россию, превратится в хаос. Когда же этого не произошло, то Россия в глазах всего мира стала в первые ряды культурного человечества. Благородная программа министра Милюкова принята с симпатией во всех союзных странах.

АНГЛИЯ

Зловещая роль полиции... С самых первых дней революции стало известно, что полиции были предложены фантастические суммы для подавления национального восстания...

Военная мощь России невероятно выросла. Мы должны молиться, чтобы совершающееся чудо русского обновления продолжалось.

(«Уикли Диспэтч»)

Лондон, 9 марта. В палате общин министр Бонар Лоу заявил: «События в России напоминают о начале французской революции. Мы помним, с какой радужной надеждой либерально мыслящие люди всех стран восприняли весть о падении Бастилии... Мы также помним, как быстро и как печально эта яркая заря померкла... Но для матери парламентов

мира не будет преждевременным направить поздравительный адрес и восторженные приветствия свободному русскому народу и правительству, выразившему намерение успешно закончить войну. (Аплодисменты.) Однако позволено мне будет и выразить сочувствие последнему царю, который был нашим верным союзником в течение трёх лет и по наследству получил бремя, для него непосильное... И мы можем лишь радоваться, что на последних стадиях мирового конфликта во главе всех союзных держав будут правительства, которые действительно представляют их народы.» (Возгласы ликования.)

Лорд Асквит: «... С самого начала военных действий Россия не только лояльно, но великодушно выполняла свою задачу... Самодержавный строй, который, казалось, сделался неотъемлемой частью русской жизни и стал выше всяких покушений, – пал за несколько дней, не оказав действительного сопротивления. (Аплодисменты.) Совершить такую революцию в одну из величайших войн – тяжчайшее испытание мудрости и предусмотрительности самых просвещённых государственных деятелей...»

Палата общин единогласно приняла резолюцию с братским приветствием к русскому народу... «Выражая полную уверенность, что это приведёт не только к счастливому и быстрому прогрессу русской нации, но и к тому, что Россия с новой силой и новой энергией будет дальше вести войну...»

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ ... Императрица-мать намеревается вернуться в Данию. Бывший император после короткого пребывания в Крыму хочет поехать в Швейцарию или во Францию. Великие князья решили остаться в России и предложить свои услуги новому правительству.

(«Таймс»)

... От русского народа ждут теперь только, чтоб он собрал всю энергию для последних военных усилий... Пусть нас не обвиняют в недостатке сочувствия к русским стремлениям, но осмелимся выразить, что их выполнение зависит от успеха военных действий... Наш петербургский корреспондент указывает, что республика как форма правления в высшей степени непригодна для России...

(«Морнинг Пост», 9 марта)

Теперь деятели земств и городов обладают действительной властью, получив в свои руки издавна им знакомый государственный аппарат, ими же самими построенный...

(«Вестминстер Газетт»)

Россия не допустит ни анархии, ни социалистической республики. Однако во всех революциях дают себя знать отрицательные последствия отсутствия верховной власти. Наш корреспондент сравнивает действия нового правительства с попытками ковбоев удержать вырвавшихся коров...

(«Таймс»)

ФРАНЦИЯ

Единение – вот тот неожиданный феномен, к которому пришла история народа, наполненная продолжительными внутренними раздорами... Что скажет теперь германский император?...

(Клемансо)

Париж, 9 марта. Перед началом заседания палата депутатов приветствовала продолжительной и трогательной овацией перемену русского государственного строя. «Да продолжают с энтузиазмом героические армии России великое дело вплоть до общей победы над врагом!» Крики «да здравствует русская революция!» долго раздавались в палате, и все

депутаты обернулись к дипломатической ложе, в которой находился русский посол Извольский. То место, где премьер-министр сказал, что учреждения новой России будут развиваться по принципам Великой Французской Революции, было встречено бурными рукоплесканиями.

В кулуарах депутаты выражали некоторое беспокойство по поводу действий Совета рабочих депутатов и сочувственно отнеслись к мысли послать в Петроград делегацию французских социалистов, чтобы советы опытных товарищей оказали содействие в сдержанности и политической мудрости.

Французские парламентарии-социалисты: «С восторженной радостью приветствуем великий переворот!... Как наши отцы в 1793... Всему миру вы несёте дуновение свободы и лишили русскую реакцию возможности вредить... Падение русского самодержавия – осуществление лучших мечтаний... Выполняя предначертание своей судьбы, Россия вошла в то великое движение, которое увлекает по пути прогресса народы Европы, Америки и Азии. В вашей революции – всё будущее международной демократии, и вы можете осуществить величайшую демократию мира. Обеспечьте мировую республику и братство народов. Раздавим германский империализм, последнюю твердыню самодержавия!...»

Французский сенат: «Новые узы связывают нас с Россией, и нам особенно приятно приветствовать эру свободы, наступающую на Востоке. В коалицию демократии, осаждающую Германию, русский патриотизм вольёт новый пыл...»

... Петроградское правительство составлено из лиц, намерения которых совпадают с намерениями Франции.

... Быстрое повышение русских ценностей на французском финансовом рынке.

... Милюков на посту министра иностранных дел с его программой войны до конца, присоединением Константинополя, и всё это в 8 дней – лучшая из революций и одно из самых великолепных событий истории!

(«Фигаро»)

511

Никак не хотела русская революция вобрать в свою корону Бубликова – но он-то знал, что был бы лучшим её украшением, что ни во Временном правительстве, ни в Совете депутатов не было человека с такой взрывной энергией и такой широтой гражданского понимания, – ни дутый Милюков, ни гаер Керенский, – просто дикая была несправедливость, что революция не впитала Бубликова. И он, как мог, ещё карабкался в неё встроиться. В потоке всякой революции бывают переменчивые ситуации, когда первый ряд падает как сражённый – и возглавить события выходит ряд второй.

В окружении Родзянки услышав, что готовится думская депутация сопровождать царя из Ставки, – Бубликов тотчас выхлопотал быть главой депутации. Ничего особенного эта краткая операция ему не обещала, кроме того что побыть на виду, пройти по всем газетам, а ещё – своими глазами повидать поверженного царя, интересно.

Но как же он сразу сам не догадался? – это было не сопровождение, это был арест! – объявил им князь Львов, когда они пришли за документами. Так тем замечательней! Арест монарха – драматический пункт всякой революции, багровый момент! – и ярко быть записанным в скрижали как участник его!

Выехали четверо депутатов, комиссаров по новой терминологии, вчера вечером поздно из Петрограда, ночь покойно спали, – а днём на крупных станциях, особенно в Орше, встречали их поезд манифестации – не то чтобы толпы, но изрядные толпишки –

железнодорожников и зевак, прослышавших, что едут члены Думы, никто и не знал, конечно, куда, зачем. До сих пор лишённый публичных речей, Бубликов теперь охотно высказывал на них – и обидно не рассчитал, сорвал голос. К трём часам дня к Могилёву еле говорил.

И на могилёвском вокзале была кучка, крикнули им «ура» – а Бубликов уже и ответить не мог, говорил за него другой.

Вполне мог бы генерал Алексеев встретить их на вокзале. Однако не удостоил. (Не предан революции искренно, отметил Бубликов, при следующей волне падёт.) Встречал лишь осведомлённый генерал Кисляков – рыхлый, рыжий, со своими военно-железнодорожными чинами. И конфиденциально сообщил комиссарам, что поезд царя подготовлен, и даже сам он уже здесь, в поезде у матери. Но – ничего не знает.

Действительно, у другой платформы друг против друга стояли два синих литерных императорских поезда.

Собственно, можно было его вот и брать. Да и ехать.

Но нельзя было взять без военных властей, – не торжественно, да и как именно? – вооружённой силы у комиссаров не было. Нетактично сделал Алексеев, что не приехал на вокзал.

Что ж, сели все четверо комиссаров в автомобиль и через пригород, а затем по главной улице Могилёва отправились в Ставку.

В штабе Алексеев, правда, тотчас принял их. Был у него вид какой-то зачумленный, хмурый, невыспаный, – начальника штаба всех вооружённых сил можно было вообразить бодрей. Видимо, революция ему действительно боком вышла.

Зато Бубликов, только что с голосом сиплым, чувствовал себя военным, напряжённым, поворотливым, быстрым. Он предъявил генералу предписание Временного правительства за подписью князя Львова о лишении свободы бывшего императора. И настаивал, чтоб это действие было совершено быстрее, пока император не успел приготовиться.

У генерала Алексеева за очками были по сути ехидные глаза чиновника, усы какие-то котячьи, да весь вид. Себе на уме, очень не открытый.

Как бы с робостью генерал спросил: а стоит ли сейчас объявлять бывшему царю об аресте? Он согласен ехать, он знает, что сопровождать его приедут депутаты Думы, поезд подготовлен – и пусть себе едет?

Но Революция не имеет нужды скрываться и стыдливо клонить голову! Бубликов не намеревался увозить царя обманом! Нет, бывшему царю должно быть строго и полновесно объявлено, что он – арестован!

Так, может быть, депутаты сами и объявят? – Алексеев смотрел просительно. Совсем потерянный, не боевой генерал.

Нет, это – дело военных, начальника штаба. Бывшему императору будет легче услышать это от Алексеева.

(А отказывался Бубликов единственно потому, что потерял голос: от этого упал бы весь эффект ареста, царь мог бы усмехнуться.)

А ещё хочет Бубликов: чтобы к императорскому поезду был прицеплен отдельный вагон, в котором комиссары и поедут.

Это не встречало затруднений.

А ещё хотел бы Бубликов получить полный список имён всех, кто будет бывшего царя сопровождать, – от свиты и до прислуги, каждого. (Он всех их считал как бы потенциально арестованными.)

Вот это требование, думал он, затруднит и задержит. Но как раз оно оказалось для Алексеева крайне легко: все и всякие виды списков у него, очевидно, хранились, и соединив разные, он тут же приложил список 47 лиц. Впрочем, на вокзале его можно уточнить.

Бубликов прочёл. Что была свита императора? Как всё его окружение, как весь его выбор, – ничтожества. Но вот – адмирал Нилов? Всё же военный человек, может дать какой-то военный совет, предпринять какое-то решительное действие в пути. Надо его

отъединить, не брать.

Всё.

Комиссары отправились в автомобиле на вокзал – и Алексеев тотчас вослед за ними.

На платформе между двумя литерными поездами четверо штатских комиссаров стали в хвосте, ожидая своего подцепляемого вагона. С ними – наряд из десятка гвардейцев железнодорожного батальона.

А Алексеев мимо них хмуро прошаркал вперёд. Говорили, что – царь всё ещё у своей матери, и Алексеев зашёл туда, в вагон императрицы.

Бубликов следил, что произойдёт. Нельзя было ждать от Николая – а вдруг какое-то всё же сопротивление, протест?

На ту же платформу стягивались и кто нужен и посторонние. Что-то публика уже прослышала или почувствовала, собирались всё гуще, так что комиссарам издали было уже и плохо видно.

Больше молчали.

Погода стояла нехолодная.

Из вагона императрицы никто пока не выходил. А тем временем Нилову объявили, что он должен остаться в Могилёве. Руки по швам, он спрашивал: арестован ли? Ответили ему, что – таких указаний нет.

Этот человек, совершенно бесполезный в отношении государственном, но годами деливший с императором все его передвижения, столования и досуги, всегда пьяный или полупьяный, а сегодня как раз и трезвый, просто слабость государева, просто придворное теплокровное существо, – пошёл теперь в царский поезд взять свои вещи.

Толпа всё сгущалась – и необычно молчала, как не бывает на платформах при провожании. Все стояли в бездвижности – и лицами туда, где бывший император.

Человек сто пятьдесят набралось.

Вдруг – от императрицы вышел Алексеев и пошёл сюда, к комиссарам.

У него было сморщенное, горькое выражение, усы лезли на очки, глаза совсем смежились.

– Всё объявлено, – тихо сказал он Бубликову. – Государь приглашает вас сегодня к своему столу обедать.

Чего угодно ожидал Бубликов, только не этого. Что угодно предусматривал он в своей революционной задаче, но не такое.

Арестованный царь – подумал, где им пообедать.

И – интересно было посидеть один раз за царским столом и посмотреть на него близко, и поговорить, – так ведь и не видел, даже арестовав!

Но – терялась революционная поза, мог быть неважный штрих для истории.

Бубликов отказался – за себя и за всех комиссаров.

Тут подали и их вагон.

Алексеев попрощался с ними за руку – и ушёл опять вперёд.

Вдруг вся толпа дрогнула – и тогда в просветах, а с площадки вагона и над головами, можно было увидеть: из вагона старой императрицы не вышел – выскочил царь, в кубанской форме, в чёрной папахе, пурпурном с исподу башлыке, при казачьем оружии, аксельбантах, и почти перебежал искосный путь к своему вагону, на ходу подняв руку для козырянья – да так и не опуская её, всё подряд и держа, у закинутой головы.

Кто-то подбежал и поцеловал ему свободную левую руку.

Вся толпа стояла туда лицом – и молчала. Ни выкрика.

Так и скрылся в своём вагоне.

Алексеев зашёл за ним.

Потом вышел.

Лица свиты уже все сели в поезд.

И комиссары тоже вошли.

Ударили три звонка отправления. Дежурный по станции взмахнул флажком машинисту.

Толпа молчала. Но вся повернулась к императорскому поезду.

Алексеев отдал честь при отходе царского вагона.

Вагон с комиссарами тянулся последний – и видел головы, головы с перрона. Все лицами сюда.

Но одобрения не было на них. Ни взмаха руки.

Только Алексеев, когда вагон комиссаров поравнялся с ним, снял шапку и поклонился.

А тонкая изящная старая императрица стояла в широком окне своего вагона, через платформу, – с отчаяньем.

512

Владимир Дмитриевич Набоков был из тех несравненных счастливых, кого судьба одаряет всем возможным, не соразмерясь: и богатством, и знатностью, и чинами, и цветущим здоровьем, и выдающимся тонким умом, и даром красноречия, и способностью проявлять себя с лучшей стороны, и неизменной высокой уверенностью в себе. Отчасти от этой уверенности и постоянства своих удач он не держался за звание камергера и отдал его за одну публичную революционную речь. Человек его ума и образованности не мог не сочувствовать Освободительному движению в России – и в своём особняке на Большой Морской он принимал важнейший Земский съезд в 1904 году. Он, разумеется, был избран в 1-ю Государственную Думу и был среди её серого пиджачного состава несравненным джентльменом, и каждое заседание в новом костюме и галстук. Однако крах 1-й Думы стал и крахом его общественной карьеры: в Выборг он не только поехал, но был там секретарём заседания – и это было последнее видное, что делал он. Все последующие Думы были для него закрыты. Возвращаться на службу государственную и он сам бы уже не хотел, и его бы не взяли. Быть просто видным членом кадетского ЦК значило свести себя к партийной деятельности – в этом проявилась бы недостача вкуса. Но жизнь, полную вкуса, при своих средствах, красивой жене, отличных детях, в столичной среде он мог вести и не занимаясь ничем собственно. И так счастливо и ярко прошёл у него весь период до войны. А в войну он стал полковым адъютантом ополченской дружины, ведшей тыловые работы, уехал из Петрограда и тем более оторвался от кадетской среды. Когда же и вернулся делопроизводителем Главного штаба, он как-то уже не соединился с ЦК к-д: отчасти и права не имел как офицер, впрочем этим можно было пренебречь, а – не было особенного смысла. В эти военные годы он иногда печатал фельетоны, съездил как-то в Англию, – живых же связей с кадетским ЦК не восстанавливал. И так не был в курсе их жизни, и они тоже воспринимали его как фигуру уже постороннюю.

А тут вдруг – эти неожиданные петроградские пертурбации. 27 февраля застало Набокова на службе, близ Симеоновского моста, и он не без опасности добирался потом домой по простреливаемым улицам. 28 февраля и 1 марта, пока на улицах продолжалась стрельба, он вообще не пошёл на службу и никого из домашних не выпустил, а новости узнавал от знакомых по телефону и от прислуги – уличные.

И вот, мгновенно и легко, свершилось всё то, к чему они когда-то, 15 и 10 лет назад, стремились, и что, очевидно, не оставалось характеризовать иным словом как: революция. (Хотя и кровь не лилась и баррикадной борьбы не было, странно.)

А поскольку она произошла, то создавалась и новая интереснейшая общественная ситуация. Служба в Штабе почти потеряла смысл, и Набоков стал похаживать в Таврический дворец к своим старым кадетским знакомцам, приглядываться. Раньше, в самые лучшие сильные годы кадетской партии, Набоков считался в ведущей тройке-четвёрке. Сейчас брали в правительство второсортного провинциального Шингарёва, недалёкого профессора Мануйлова, – из настоящих же кадетских сил входил один Милюков, а Набокову не

оказывалось места по причине давнего его отрыва.

Но с сожалением и тревогой он смотрел за ничтожным составом этого первого свободного правительства России. Государственных деятелей всего два – Милюков и Гучков. Ещё двое работоспособных, хоть и без блеска, – Шингарёв и Коновалов. А остальные даже и работать не умели, ни составить бумагу, ни проследить её прохождение, не то что руководить министерствами. Хотя Набоков и не любил Маклакова, но теперь должен был признать выдающимся свинством, что министром юстиции взяли не Маклакова, а попрыгунчика Керенского, это было совсем несерьёзно. Сам глубокий и тонкий юрист, Набоков не мог не понимать, что у Керенского юридических знаний – на фунтовый кулёк, остальное газетная демагогия, и он мог быть министром юстиции почти с таким же успехом, как приказчик магазина готового платья. И с ужасом можно было представить, как этот бесформенный ком министров покатится.

Оформить отречение Михаила 3-го марта уже никто не был в состоянии и призвали Набокова и барона Нольде. Но кто же далее будет формировать – их самих, их мысли, бумаги, указы, постановления? Пустить их без руководящей руки – было просто пустить их на гибель.

Формовать – ему было легче всего, он сам был – форма.

И Набоков не погнушался предложить себя Милюкову – управляющим делами правительства. Это не был министерский пост, не входил в ссору-распределение портфелей, но всегда существовал и исполнялся чиновником самого высокого класса: при министрах строгой подготовки – тоже достаточно незаменимым, а при таких, как сейчас, – единственным спасителем-направителем. Милюков понимал, как недостаёт этой фигуры, и рад был увидеть на этом месте своего кадета, умницу и доброжелателя.

И подписав у Гучкова увольнение от своей военной службы прапорщиком, Набоков взялся за дело. Министры приходили на заседания правительства поговорить, осведомиться, получить себе какой-то указатель, но понятия не имели, как это работать, как переводить мысли и голосования в законопроекты. А при замеревшей Государственной Думе и распущенном Государственном Совете правительство оказалось в могуществе, которого не знало ни одно царское: оно и могло и должно было неконтролируемо создавать и издавать законы для огромного государства. Однако, от неумелости и впопыхах событий, первые дни законы издавались на основании устного заявления одного министра и устного же согласия остальных. Решение принималось – ещё не имея никакого текста, не сопровождаемое никаким расчётом или бюджетом. Один Шингарёв представлял письменные проекты. И вся эта бестолочь так покатила хаотически, что и Набоков первые дни не успевал справиться, да ведь ему надо было организовать в Мариинском, помещения, секретари, протоколы, делопроизводство, – а тут ещё на него взвалили и составлять воззвание к населению, – и невольно в первые дни из правительства вытекали не сами законы, не сами реформы, а только обещания их. Так торопились, что самый фундаментальный акт – установить свою власть в покорной провинции, стал легкомысленной импровизацией князя Львова: просто сменить губернаторов на председателей губернских земских управ. (Объяснял же Львов по Толстому, что не надо никакой власти.)

И ещё несколько дней таких, и власть бы кончилась, не начавшись: Временное правительство развалилось бы само по себе, от неумения вести бумаги и дела.

Но наконец к сегодня Набоков уже всё приготовил и сам был готов. И с начала сегодняшнего заседания властно взял его в руки. Он начал первый и диктовал условия министрам.

Отныне никаких вопросов не вносить в правительство без письменного проекта постановления. Разногласия обсуждений, мнения большинства и меньшинства не будут вноситься в журнал заседаний, чтобы воля правительства представлялась единой. (Отчасти не хотел Набоков и брать на свой секретариат напряжение этих споров.) Заседания правительства разделяются на: открытые – несколько делопроизводителей, представители ведомств, протокол публикуется; закрытые – делопроизводитель один, протокол ведётся, но

не публикуется; и совершенно секретные – присутствует только управляющий делами, а протокола нет. При правительстве создаётся и будет работать тут же, в Мариинском дворце, Юридическое Совещание (снова Маклаков, Кокошкин, Нольде, Аджемов) для подготовительной разработки принципиальных вопросов и реформ. Первые задания ему: выработать Положение о выборах в Учредительное Собрание. И вопрос о пределах применения военной цензуры. (Без цензуры, как сами требовали прежде, оказалось всё-таки нельзя.)

Как будто всего и немного, но появились первые рамки работы. Кажется, министры не обиделись: они уже сами страдали, что расплываются.

Затем доложили, что поезд с арестованным царём уже в пути и происшествий нет.

Милюков сообразил и предложил умную вещь: надо охранить от бывшего царя в Царском Селе документы чрезвычайной государственной важности, чтобы он их не уничтожил. Опечатать кабинет, приставить караул.

Согласились. (Но почему-то не сделали.)

Гучкова не было. Уже привыкали к его отсутствиям.

Керенский, так триумфально проехавший вчера в Москву, не явился доложить о своей поездке: то ли отсыпался, то ли зазнался, то ли слишком много дел. Его заместитель Зарудный, тоже бывший адвокат, известный по делу Бейлиса, докладывал вместо него: о безотлагательной важности создать Чрезвычайную Следственную Комиссию – и начать разбираться в клубке преступлений и измен бывших правящих лиц. Раскрытие этих преступлений поразит страну. Предполагается создать большую следственную часть, затем из присяжных поверенных многочисленную наблюдательную – за следователями, чтобы предупредить лицепрятание. Затем – президиум из авторитетных лиц. Огромное делопроизводство. Это будет крупное учреждение, на много месяцев. Нужно отвести большое петербургское здание. И выделить значительные фонды, цифра ещё не определена.

Согласились.

Рядом не мог не встать вопрос: а как же с избыточными арестами первых дней революции? Всё же: против кого не обнаружено за 10 дней никаких данных – не следовало ли бы их освободить? Но это может бросить политическую тень на правительство. Хорошо, если это политически выглядит никак не возможно, то хотя бы дифференцировать арестованных, что они предназначены не для суда и тюрьмы, а, скажем, для ссылки? или высылки за границу?

И как бы всё-таки, и какими силами бы всё-таки – прекратить самовольные обыски и аресты, какие продолжаются в Петрограде и сегодня? Как добиться, чтобы не происходили аресты без распоряжения судебных властей?

И – конечно высунулся Некрасов со своим главным: какие условия поставит правительство подрядчикам достройки Мурманской железной дороги?

Но ещё более срочный вопрос был с **фондами** – и в заседании началась оживлённая неразбериха. Как оказалось, каждому министерству, чтобы начать действовать, всё более остро были нужны деньги. А на какие цели можно тратить особый 10-миллионный фонд? – например для путевых денег командировочным? А как быть с секретным 4-миллионным фондом внутренних дел, допустимо ли расходовать его на возврат ссыльных из Сибири?

Набирать новых чиновников и служащих – нужны были деньги. Но даже и увольнять некоторых неподходящих судей, сенаторов, сановников – теперь разглядели: а кто же будет платить им пенсии или заштатное содержание? За каждым увольнением маячит выплата пенсии – а из каких фондов? Или вот, закрывают некоторые учреждения – а куда попадут ликвидируемые кредиты? Финансы покусывали и напоминали о себе из первых.

Терещенко уже сделал, что мог: держал яркую речь в Экспедиции государственных бумаг и призвал служащих увеличить выпуск ассигнаций. Теперь что ж ещё можно – воззвание к населению?

Дать воззвание к бережливости населения?

И обещать бережливость Временного правительства?

Нет, Терещенко имеет в виду... Ведь ещё дают проценты по союзным займам и очередные платежи союзникам. А было бы бесчестием для Временного правительства отказать в долгах союзникам, об этом не может быть и речи!

Конечно! Нет! Не может быть и речи!

Да и во все стороны, куда ни повернись, правительство должно платить. А население – едва ли не так поняло наступившую свободу, что теперь не надо платить податей и налогов? Во всяком случае, в дни революции платежи повсюду прекратились.

Да, господа... да, это грозная опасность.

И что же предпринять? Очевидно – воззвание. Воззвание к сознательности населения: возобновить платежи.

Но это будет слишком резко звучать, мы хотели повременить. В самые первые ранние дни? Это оскорбит обывателя?

А не укорят ли нас Выборгским воззванием? – мы же и призывали не платить налогов.

Но это – неизбежно, господа. Нужна лишь правильная мотивация: во время грозной опасности все граждане отныне свободной России будут с готовностью нести свои обязанности. Мы завоевали *права* народа, но ведь вместе с ними и обязанности.

Тогда, знаете, по щекотливости вопроса и для большего авторитета – давайте подпишемся все министры, не одни только Терещенко с князем?

Но тогда – тем более как нужно отработать текст.

И все взгляды обратились на Набокова.

Уж он этого и ждал. Уже один раз предпочли его деловому воззванию пафосное винаверское – а теперь снова требовали от него?

Но тут – влетел на заседание Керенский, и было что-то ангельское в этом влёте: такой он был невесомый, свеженький. И в руках не нёс ничего.

Все доброжелательно приготовились выслушать рассказ об успехах Временного правительства в Москве.

Ангельское – но и демоническое. По праву ли своего возврата из Москвы, или представительства Совета рабочих депутатов, или он не вполне ощущал достоинство мягкого председателя управлять собранием, – Керенский, ещё не садясь и с острой косою гневной складкой на лбу под юношеским ёжиком, спросил:

– Так намерено или не намерено министерство иностранных дел энергично содействовать возвращению наших революционных эмигрантов из Европы и Америки? Отовсюду летят телеграммы, жалобы на задержки! Каково же наше революционное лицо? Как снести этот позор?!

Он мог бы сказать это всё спокойно и обратиться «Павел Николаич». Но в сочетании с гневным тоном и третье лицо о министерстве, – Милюков и сам напористый человек, но растерялся от такого дерзкого напора, он не привык встречать подобного тона и не осадил Керенского, но даже покраснел и стал оправдываться. Всем открытый повальный возврат в Россию тоже был бы неблагоприятен, там есть публика и уголовная. А розыскные органы старого режима рухнули – и теперь никто не может помочь разобраться. Но и так уже – на кредит, на дорогу и расходы эмигрантов министерство выделило 430 тысяч золотых рублей.

– Вы не слышите, что вы говорите! – ещё воплистей и тоньше вскричал Керенский. – Это – герои! это – страдальцы! это – мученики! Наша революция в неоплатном долгу у них! Как можно разрешить такое над ними издевательство? Как можно не распахнуть им объятий Отечества?

513

А прощание с родным Конвоем и со Сводным полком было ещё разрывательнее, чем в зале Дежурства: и вовсе открыто рыдал.

И вот – день прощаний! – ещё не отдохнуло сердце от предыдущих – теперь расставание с милой Мама . Это-то – по крайней мере не навсегда.

А Мама не могла скрыть своих дурных предчувствий. Ей почему-то казалось, что может быть они и никогда больше не увидятся.

Да как же это может быть, Мама ? Вот выздоровеют дети, мы уедем в Англию, а вы в любой момент можете ехать в Данию...

С сохранившейся ещё не старой нежной улыбкой Мама кивала узким лицом и отирала мелкие слезинки.

Приближался час отъезда, а на платформе, между поездами, набиралась какая-то публика.

Поглядев из-за занавески, увидел Николай милую группу из пяти гимназисток старших классов в чёрных шапочках с коричневыми лентами на боку и золотистыми кокардами на них. Девочки стояли как раз против их вагона и с ищущими лицами всё смотрели, смотрели в затянутые окна.

Не мог удержаться – оттянул занавеску, открыл им себя. Улыбнулся.

Они – вмиг заметили, оживились, подбежали – не вплотную, и стали живыми движениями и выражениями показывать, как они сочувствуют. И плакали. И трогательно показывали жестами, чтоб Государь написал им что-нибудь и передал.

Николай был согрет сочувствием этих девочек. Взял лист бумаги – но так перетеснена душа, и что вообще можно написать? Написал им крупно: «Николай». И послал со скороходом.

Получили – и показывали восторженную благодарность. Целовали лист. Одна сложила и спрятала.

Бедные дети.

Тут пришли снова прощаться великие князья – Сандро, Сергей, Борис. Поговорил ещё с ними. Их положение тоже теперь обнажалось, становилось висящим, непонятым.

На платформе стоял принц Ольденбургский, крупный старик в полушубке, опираясь на палку, горбясь.

В императорский поезд носили, носили багаж.

Затем доложили о приходе Алексева. Николай перешёл принять его в соседний вагон.

Добрый Алексеев даже за эти часы, от прощания в Дежурстве, стал неузнаваем: почти вовсе не открытые и всё время потупленные глаза, черты врезанного страдания в лице, совсем старик. Что ж ещё новое стряслось?

Оказывается: думские депутаты привезли распоряжение: Государь будет следовать... **как бы** под арестом.

Что за вздор – под арестом? Зачем? Разве он не едет сам, добровольно?

А что значит – «как бы»?...

Ну, просто вагон депутатов будет прицеплен к императорскому поезду, и сношения по пути с железнодорожными властями будут производить только они.

– Ну что ж, пусть. Это простая формальность. Не надо так расстраиваться, Михаил Васильич! – успокаивал и наконец несколько успокоил генерала Государь.

И сообразил пригласить депутатов к своему обеду.

И ещё неприятность: Нилову запрещают ехать с Государем.

Вот это уже было оскорбительно: что ж, Государь не волен в своей свите?

Но и не устраивать же скандал, неприлично. Ничего страшного, в конце концов. Поедет отдельно.

Алексеев ушёл.

Передал новость Мама – а у неё глаза расширились, и на тонком лице проявился страх. И это донесло до Николая сознание, что, правда, как-то странно и неприлично: зачем же – арест, даже если это только «вид»?

По сути – очень неприятно. И вот что: наверно, об этом уже и все знают?

На военной платформе между двумя императорскими поездами густилась всё большая толпа, как-то мрачно неподвижно. И что ж, они – уже все знают?

И как недавно Государю было стыдно показаться отречённому союзным

представителям, так теперь ещё стыдней: как же показаться вот этим всем людям, простым и непростым, – под видом как бы арестованного? Что ж они будут думать, ведь это исключительно неудобно.

Крепко-крепко обнял Мама – узкоплечую, маленькую, постаревшую. Целовал, целовал. Но скоро увидимся.

И перейти-то было недалеко – наискосок, через полтора вагона, но жгло: как же так? Всегда вознесенного своего императора они увидят теперь – как бы арестованным? падшим?

Почти как – раздетым.

Эти тридцать шагов – жгли его, жгли все взоры, на него обращённые, и этих гимназисток, – он не видел их никого прямо, но косым зрением ощущал. Все видели его падение, – и это было стыдно непереносимо.

Но, по вежливости, он должен был как-то отозваться толпе – и он все тридцать шагов держал под козырёк (отчасти так и заслоняясь от них).

И – ни звука не донеслось из толпы.

Подскочил верный Нилов – согнутый в спине, и собачьим движением ткнулся в левую руку, поцеловать.

Но обожжённый Государь – пронёсился и не мог остановиться с ним.

И ещё раз, уже в вагон Государя, вошёл попрощаться Алексеев.

Да, вот с Алексеевым они прощались может быть и навсегда. И во всяком случае – уже никогда им так хорошо не поработать вместе, во главе армии. Жалко стало старика, с Николашей ему уже так не будет. Крепко обнял, удручённого, и трижды поцеловал, натываясь на усы.

Вскоре поезд тронулся – и Николай стал к окну открыто: толпа его уже почти не видела, искоса, – а из окна в окно, когда поравнялись, маленькая Мама перекрестила его.

И вдруг – каким-то необъяснимым сжатием охватило его грудь – что да, да, никогда больше он не увидит свою мать! Лишь вот этим последним скольльзящим взглядом, когда окна уже и разошлись.

И – всё. И Могилёв отодвигался, отодвигался. И поезд шёл обычным путём, как и возил императора столько раз.

Он часто, бывало, смотрел в окно, – и смотрел сейчас. И, даже выравненные снежною пеленой, узнавал некоторые приметные места.

А погода была ветреная, тоскливая.

Всё было как обычно, и вагон обычный, и своё купе с образами.

Помолился.

Сколько езжано, сколько лёжано, сколько читано в этом вагоне. И в японскую войну все поездки на благословение войск. И в эту войну – то в Ставку, то на фронты. И последний тревожный бросок в Царское, так и не удавшийся прорыв. И – страшная ночь отречения...

Этот поезд – стал его верным домом, стенки вагонов – как своя расширенная кожа. Вот, он был опять у себя, в себе. И нынешняя поездка была не худшая из его поездок: не надо было ломать голову ни над какими проблемами, даже и над маршрутом (это была теперь забота депутатов), – а ехал он наверняка в своё Царское, открытое ему, к ненаглядной Аликс, к дорогим детям.

А выздоровеют – и поехать пока в Англию, никого не стеснять, и самому не слишком растравливаться.

Что ж, 22 года он нёс ответственность за Россию, – не всю же жизнь, пусть понесут и другие.

Но к чему этот грубый арест?...

Разве он отрёкся – не добровольно?

Разве он сопротивлялся?

Он звал – благословение Неба на это правительство, и всех призывал помогать, поддерживать, солдат – подчиняться. Конечно, это всего лишь формальность и, очевидно, всего лишь на время дороги. Но всё же обидно, стыдно.

Ну да волнения схлынули, позор пройден. Теперь предстояла тихая частная жизнь.

Не самая худшая из его поездок.

Душа успокаивалась.

После войны вернуться в любимую Ливадию – и тихо жить на этих безмятежных благословенных горах.

Последний закат иногда прорывался в окна. Но затягивало запад, находили тучки.

Нет. Тяжело было. Больно. Тоскливо.

А само собой тѣк и обычный царский распорядок, неизменный и в поезде. Пошёл к чаю со свитой.

Боже мой! Как она проредела! Не было Фредерикса, Воейкова. Не пустили преданного Нилова. А где же – Граббе? А – Дубенский? А – Цабель? Остались в Ставке. А – почему? И почему не сказались?...

Мордвинов и Нарышкин держались очень нервно, и Мордвинов уже успел объяснить Государю, что лицам свиты, не достигшим пенсии, приказано новым военным министром не оставаться в свите, но на военной службе.

Это – каким же министром? Это – Гучковым?

Оставалось близкой свиты всего пять человек за столом – ещё Алек Лейхтенбергский, доктор Фёдоров, да князь Долгоруков, исполняющий теперь сразу должности и министра двора и дворцового коменданта.

Но и сегодня не было основания нарушить отвлечённость застольного разговора, совсем постороннего к событиям. Только поддерживать разговор больше досталось Государю и Долгорукову.

И лишь в конце чая, когда уже подымались, Государь вдруг, неожиданно для себя, произнёс, с попыткой улыбки:

– А вы знаете, господа... Я... Я – ведь как бы лишён свободы.

514

Заболел семилетний Тити, сын Лили Ден, крестник императрицы. Об этом Лили узнала по ещё невыключенному телефону, как раз в суматохе. Говорила – горничная и подносила сына в жару к телефону. И он бормотал: «Мама, когда же ты приедешь?»

Разрывалась Лили, но было невозможно, но было предательски в эти ужасные часы покинуть дворец! И она решила – даже не говорить государыне.

Однако та сама, мужественная, но с совершенно красными глазами, позвала её:

– Лили, вам надо уходить. Вы понимаете этот приказ? Никому, кто останется, уже не разрешат покинуть дворец. Подумайте о Тити, разве вы сможете не только без него, но даже без известий о нём?

Говорила так – но конечно мечтала хоть одну живую близкую душу сохранить подле себя.

– Ваше Величество! Моё самое большое желание – остаться с вами.

Скорбное лицо государыни осветилось – не улыбкой, которая не шла к её лицу никогда, – но светом от невидимого источника:

– Я знала это! Но я боюсь, это будет ужасным испытанием для вас.

– Не думайте обо мне, Ваше Величество. Мы будем переносить опасность вместе.

– Боже, милая моя, родная девочка, как я вам благодарна за вашу преданность.

– Это я должна благодарить вас, Ваше Величество, что вы разрешаете мне остаться с вами.

Эти два дня совместных сжиганий очень сблизили их. Государыня разворачивала, разворачивала письма, фотографии – читая про себя, но не скрывая лица, и не боясь ничего открыть Лили, как своей. Вместе утерянное – сблизило их больше, чем вместе бы приобретенное.

А вчера вечером верная прислуга предупредила, что жечь больше нельзя: уборщики

печей обратили внимание на непомерное количество золы в каминах – а сейчас всё доносится наружу, уже верить никому нельзя.

Вот как! – даже свободы сжигать своё интимное у себя в камине государыня была лишена!

Ну, правда, большую часть успели.

Вся обстановка вокруг дворца уже была отравлена предательством, и это коснулось части прислуги. Сама государыня не видела потока грязи, выливаемой на неё газетами, злобных статей и карикатур, – но это всё притекало во дворец, и прислуга отравлялась.

И ещё приходили государыне письма, – Лили читала их, даже сегодня трусливо-анонимные, – с предложением помочь установить мир с немцами.

Лицу государыни естественно было выражение грустного величия. Или, при неподвижных глазах, магнетически-пламенный взгляд:

– Ах, Лили, страданиями мы очищаемся для небес. Мы, которым дано видеть всё и с *другой* стороны, – мы всё должны воспринять как Божью руку. Мы молимся – а всё недостаточно. Из *другого* мира, потом, мы всё это увидим совсем иначе. С отречением Государя всё кончено для России. Но мы не должны винить ни русский народ, ни солдат, – они не виноваты.

Её поразило, что в сегодняшних утренних газетах уже было крупно напечатано дословно то, что Корнилов ей сегодня прочёл. И так, весь Петроград с утра уже знал сегодня обо всём – и ни одна сочувствующая душа не прорвалась предупредить государыню.

Бенкендорфы, разумеется, оставались. Приехала из Кисловодска Настенька Гендрикова – как раз сегодня, прямо в капкан. Милый Боткин – оставался при детях. Милый Жильяр, учитель французского, заявил, что никуда теперь не пойдёт. Мистер Гиббс, учитель английского, оказался в Петрограде, и его теперь не пускали во дворец. А граф Апраксин не мог покинуть обязанностей враз, но уже дал понять, что на таких условиях он оставаться не может.

А давно ли брался учить государыню, как ей быть?...

Там и сям проходил, показывался новый комендант дворца – штабс-ротмистр Коцебу, бывший офицер Уланского Ея Величества полка, она его не помнила, правда. Но Лили – хорошо знала его! – это был её дальний родственник.

И она подстерегла его на проходе в одиночестве и спросила, что это значит.

Он ответил в большом смущении:

– Не могу себе представить, почему я назначен на этот пост. Меня никто не предупреждал, не объяснял. Сегодня ночью разбудили и приказали отправиться в Царское Село. Заверьте Их Величества, что я попробую сделать всё возможное для них. Если я смогу быть им полезен – это будет счастливый момент моей жизни.

Едва Лили донесла эту тайную радость до государыни – принеслась следующая: Сводный гвардейский полк отказался сдать караулы пришедшим стрелкам!

Вот это так! Вот это новость! Да ещё может быть с этого начнётся и весь великий поворот войск??

Но хотя они не сдали караулов и до ночи – не стало внутренних постов, и откуда-то просачивались в дворцовые коридоры развязные дерзкие солдаты с красными рваными лоскутами – и с любопытством заглядывали в двери комнат, спрашивали объяснений у слуг.

А в парке раздались выстрелы. Это – революционные солдаты стали охотиться на ручных оленят.

Когда-то в 3-й Думе Гучков первый дал публичную пощёчину сплочённым густопсовым великим князьям – тем более они рассеялись теперь: отставка Николая Николаевича решена; какие ещё великие князья сидят по генерал-инспекторским местам, во

власти Гучкова, те притихли, ожидая верного снятия; болтливый Николай Михайлович, воротясь из короткой деревенской ссылки, поносит династию как может; а Кирилл Владимирович уже разобрался, что и ему не прокатиться гоголем по революционной дороге, но пришёл смущённо доложить министру, что слагает с себя командование гвардейским экипажем. На его неумном лице намного поменьшело самодовольства с того недавнего дня, когда он с пышным красным бантом явился в Думу и предполагал, кажется, сыграть роль главного представителя династии в новой обстановке. Так мало дней прошло – так много перемен.

Отпадали враги справа, но грозно наседали враги слева: Совет рабочих депутатов. И надо было успеть и умудриться ловкими ходами уманеврировать из-под них армию, от их разложения. Тут надеялся Гучков на поливановскую комиссию. Она заседала каждый день, и Гучков заходил поприисутствовать. За одним концом стола для веса сидели генералы, за другим – молодые, энергичные и язвительные генштабисты, и Гучков не нарадовался их напору, изобретательности и революционной энергии, не знающей над собой никаких святых авторитетов. Работа комиссии продвигалась быстро. Уже утвердили изменение уставов в пользу личной и гражданской свободы солдата. Уже утвердили положение о ротном комитете и передачу ему значительной доли хозяйственной жизни. Уже поставлен был вопрос, как соотносить распоряжения фронтовых властей и центральных ведомств. Пожалуй, у фронтовых властей было слишком много прав, и революционное правительство не могло ограничиться такой жалкой ролью, какая подходила царскому.

Вчера от советских депутатов Гучков упал духом, а сегодня приободрился: устоим! Главная-то его надежда была: омолодить командный состав армии! Как дорога была ему эта идея! Расчистить фронтовые, армейские, корпусные, дивизионные командные места ото всей завали, старья, протекционизма, тупости, поставить талантливых, молодых, энергичных, и каждый будет знать, что отныне его карьера зависит не от связей и случайностей, – да как же преобразится, взбодрится вся армия, как кинется она в победу! какой возникнет наступательный дух! Гучков и был рождён к этой задаче, и это высшее было, что мог он сделать на посту министра. Ещё не вполне пока ясными путями: как именно безошибочно и быстро обнаружить всех правильных кандидатов? Но очень рассчитывал на помощь генштабистов (Половцова особенно приблизил к себе, заведовать особо важной перепиской).

А всё остальное, чем приходилось заниматься Гучкову, была удивительно-бесперспективная нудь. Вот – куча приветственных телеграмм военному министру – от начальников гарнизонов, от комендантов городов. Вот – делегации от гарнизонов, уверяющие, что там всё в порядке теперь (а там не в порядке). Вот – приветствия лично ему, от французской «Тан» и английской «Дейли Кроникл», – они надеются и уверены, барашки, что теперь Россия начнёт крупно наступать (и надо отвечать им в тон). Но вот и доклады по военному снабжению и комплектованию фронта резервами: военное производство всё остановилось (в Москве настроение Совета – «долгой войну»), не дают открыть даже противогазовый завод), транспорт в перебоях, а тыловые части настолько взбудоражены и переворошены, что потеряли всякую боеспособность, нечего и думать посылать их на передовые позиции. Последнее место, куда мог поехать сейчас военный министр, – это казармы запасных полков: ещё неизвестно, поднимутся ли с нар при его входе, а уж какую-нибудь советскую гадость выкрикнут непременно.

И оставалось... оставалось одно реальное дело в руках военного министра – готовить и подписывать воззвания. То – к населению, то к армии, то к населению и армии вместе. К офицерам отдельно. И к офицерам и солдатам вместе. Подписывая единолично. Или со всеми министрами. Или со Львовым. Или с Алексеевым вместе. Одни такие воззвания уже были на днях опубликованы. Другие предлагались готовые к подписи. Третьи сочинялись.

Вот, было готово: к гражданам и воинам. Развитие той мысли, которую вчера предложил Алексеев: что немцы готовят удар на Петроград. Никаких подобных данных разведка не принесла – но это был сильный ход, объединить разболтанную солдатскую массу тут. И помимо того, что готовилось с Алексеевым, Гучков решил сам от себя заявить то же.

Победа врага приведёт к прежнему рабству, свободные граждане станут немецкими батраками. А спасти может только организованность. И не сеять раздор, препятствуя Временному правительству, но всем вокруг него объединиться. Наступают роковые минуты!

Уж если такое не пройдёт – то и ничто сплотить не может.

И – ещё воззвание военного министра: что даже под серыми солдатскими шинелями прячутся многие немецкие шпионы, мутят и волнуют тёмные силы Вильгельма, – не слушать их, смутьянов, сеющих рознь. Не верить им.

И, наконец, просто приказ по армии и флоту. Всё о том же: что надо сплотиться с офицерами, верить им. Свободная Россия должна быть сильнее царского строя.

Гучков с Половцовым и другими помощниками обсуждал заклинательные формулы, так и так кочующие из документа в документ, – и сам уже в них переставал верить, но не во что было верить и в другое.

И много же времени отбирало. И отупение какое-то.

И он рад был хорошему предлогу сегодня: оторваться от своего безрадостного сидения в довмине – но не для того, чтобы ехать на ежедневное скучнейшее заседание правительства, нет, ему там нечего было докладывать и слушать нечего, а предлог вот отличный: ведь за ним ещё оставался, налагался и Военно-промышленный комитет со всей его деятельностью, – и вот сегодня в петроградской городской думе было назначено как бы расширенное заседание ВПК, а в общем – привлечь внимание общественности к вопросам промышленности и военного снабжения.

И трое они – Гучков, Коновалов и Терещенко, поехали туда.

В Александровском зале думы собралась тысяча человек, отборное общество, деловой мир, военные мундиры, много дам, все желающие принять участие в общественной жизни столицы, так грубо прерванной революцией, теперь рады исключительному поводу сбора. У входа здание охранялось войсками. Внутри ослеплял забытый блеск орденов, звёзд, белого крахмала и дамских нарядов – взвинчивающая радостная обстановка.

Гучков (не нарочно) опоздал, его все ждали, раздался возглас в просторном зале: «приехал!», – любимец России, знаменитейший сын её! – и все встали и бурными аплодисментами, забытой силы, приветствовали вход его, а потом проход в президиум вместе с Коноваловым и Терещенко.

И Гучков – ощутил освежение, как правда нужен ему этот всхлёстывающий удар, найти себя в атмосфере напряжённой, сочувствующей образованной аудитории – и почерпнуть уверенность из собственного уверенного голоса, и ощутить вокруг себя ореол славного прошлого.

И Гучков сидел на подиуме, разглядывая зальное скопление в счастливом молодеющем состоянии: возвращалось к нему прежнее чувство знаменитого человека.

А тем временем – всходили и всходили ораторы, и так весело, в завоёванной свободе, звучали их речи.

В этом зале как бы отменились законы революционной смуты, трепавшие город, и возвратилась прежняя приятная устойчивость жизни, однако и с полной свободой.

Председатель совета съездов промышленности и торговли возгласил, что пала власть, при которой труд народа и благоденствие были парализованы. А теперь – в полном доверии к правительству и в союзе с первыми демократиями мира...

И от совета съездов биржевой торговли («с умилённым чувством старого шестидесятника»). И комитет коммерческих банков. И московский биржевой комитет: наконец сметена вечная преграда народной самодеятельности и высоким идеалам! Московский люд бьёт челом первому собранию великодержавного народа! Деньги на войну у народа всегда найдутся! («Браво!») Россия – страна чудес! Раньше все были уверены, что свобода явится следствием победы. Теперь мы видим, что победа будет следствием свободы!

И особенно – приветствия министрам, самоотверженно взявшим на себя бремя правления в такой страшный момент. И так постепенно подступило ответить из министров главному.

Александр Иванович поднялся – счастливый, забывши все свои министерские тяготы и мрачности, взвинченный радостью этого собрания и новыми, новыми нестихающими аплодисментами. И навстречу – разве мог он опрокинуть им всю тревогу? Да она и ему самому уже казалась сильно преувеличенной.

– Милостивые государи! дорогие сотрудники последних тяжёлых лет! Мы-то с вами привыкли понимать друг друга с полуслова и при цензуре. Но через ваши сердца я обращаюсь к необъятной России, к которой несутся все наши помыслы, ради которой мы готовы и жить работая, и умереть страдая! (Аплодисменты.)

Он и правда думал так. Он овеян был знакомым прежним чувством, прежним правом: говорить сразу ко всей России.

– Все убедились, что победа России при старой власти невозможна, а надо свергнуть её – и лишь тогда появятся шансы на победу. (Аплодисменты.) И когда арестованы были наши товарищи, члены Рабочей группы, мы с моим другом и ближайшим сотрудником Александром Ивановичем Коноваловым отправились к представителям старой власти и сказали: «Мы с вами не в прятки играем! Мы не были революционной организацией, когда создавались, это вы сделали нас революционной организацией, и мы пришли к заключению, что только без вас Россию ждёт победа!» (Бурные аплодисменты.) И вот мы, мирная деловая организация, включили в свою программу – переворот, хотя бы и вооружённый! (Бурные аплодисменты.)

Гучков стоял перед ликующим залом, запрокинув голову. Вот наступило время! – теперь он открыто, с трибуны, мог заявить о планах переворота. Не в точности так было, переворот они придумали задолго до ареста Рабочей группы, а после её ареста не предприняли нового ничего, но сейчас всё легко сливалось и сплачивалось, чуть-чуть выправлялось в памяти, чтобы быть стройней, и брался реванш невзятого переворота. В эту минуту Гучков особенно любил слияние своего замысла и своего торжества. (И сколько милых дамских лиц! Никогда не стареет тяга в человеке.) Но избегая опасного пафоса, смягчил шуткой:

– Но господа! Этот переворот был совершён не теми, кто его сделал, а теми, против кого он был направлен. Заговорщиками были не мы, русское общество и русский народ, а сами представители власти. Почётным членом нашей революции мы могли бы провозгласить Протопопова. (Смех.) Это был не искусный заговор замаскированной группы, младотурок или младопортугальцев, а результат стихийных сил, исторической необходимости, – и в этом гарантия его незыблемой прочности. («Браво! Браво!») Не людьми этот переворот сделан, и потому не людьми может быть разрушен. Теперь надо внедрять, что наша позиция незыблемо прочна, и никакие заговорщики мира не смогут нас сбить с неё. Правда, обломки валяются ещё повсюду, – ну что ж, выметем их из нашей русской жизни! (Бурные аплодисменты.) Перед нами – великая творческая работа, для которой потребуются все гениальные силы, заложенные в душе русского народа. Мы теперь должны – победить самих себя, вернуться к спокойной жизни.

«Самих себя» он имел в виду – буйных солдат. Речь его хорошо извернулась, но только не та аудитория его слушала.

– И мы должны разрушить ту фортецию, которая стоит в Берлине. Я призываю вас к трудолюбивой, муравьиной работе. Я верю, что Россия выйдет из невероятно тяжкого положения, к которому привела её старая власть. Я со всех сторон вижу, как проснулись дремлющие угнетённые народные силы.

И даже слишком проснулись...

– Никогда ещё не было такого энтузиазма к работе. Правительство уверено, что падение старого режима увеличит интенсивность работы. С верой в светлое будущее русского народа...

Весь зал встал, и долго-долго-крепко аплодировали – и из этого упругого ветра набирался Гучков сил вести два военных министерства, что он, в самом деле, приуныл?

А потом выступал Коновалов, оратор не аховский, даже скучный, но общие слова

умеет связать. Он – тоже заклинал: как не было ещё, но должно было стать непременно:

– Сегодня нация – поистине властитель своей судьбы. И не должно быть предела жертвам и подвигам. Русский народ-герой на фронте защищается грудью, а здесь разрушает вековые узы!

Наконец встал говорить и Терещенко, но он неожиданно где-то осип (может быть, в Экспедиции государственных бумаг) и говорил еле слышно. Впервые, защищая свою страну, мы можем смело говорить, что любим её.

Афоризм понравился, аплодировали.

Председатель мог заключить только одним: чтобы высказанные тут сегодня великие мысли по возможности распространились бы на всю необъятную Россию, а главным образом, конечно, речь Гучкова.

Уход министров из зала сопровождался большими овациями.

А ещё в собрании оказался Пуришкевич – и теперь пронзительно просил слова. Но несмотря на все его новейшие революционные заслуги, – и думские речи против правительства, и выстрелы в Распутина, – слова ему не дали: всё-таки правый. Да истерик, да скандалист.

516

От самого приезда комиссаров и все проводы Государя – мучительно дались генералу Алексееву. И почему «комиссары», когда они просто депутаты Государственной Думы? Потом старший из них Бубликов, – таких острых опасных людей Алексеев из опыта своей жизни и вспомнить не мог. Решительный, а глаза бегают, напряжённый, но и раздёрганный, то и дело всё оборачивался, будто ожидая, что кто-то стал за его спиной. Так и видно было, что он всех тут, начиная с Алексеева, подозревает в замысле, заговоре или подлоге. А ещё его манера вести себя, с задавашеством, голову закидывать, – в чужом месте, да в Ставке! – очень коробила. Первый раз за все эти десять дней Алексеев ощутил революционный Петроград не по аппарату, но через этого Бубликова, – и шершисто же по коже! Неужели теперь так и будет, и все из Петрограда будут приезжать такие?

И подумать, что именно этому Бубликову как радетелю железнодорожных перевозок, не представляя его лица и поведения, Алексеев неделю назад своими руками отдал все железные дороги страны, а значит – и весь ход событий.

Повидав – пожалуй бы не уступил.

А уж теперь ничего не оставалось, как уступать дальше. Два часа с ним здесь – продержаться вежливо, предупредительно, что ж по-пустому портить отношения?

И как же строили петроградские! Всё тяжёлое почему-то продолжало падать на Алексеева: и горечь объявить Государю об аресте. Бубликов, со всей своей дерзостью, не брался.

Всё больше Алексеев теперь понимал, что за эти дни – много они поработали его руками.

Тяжело он вволок свои ноги в салон императрицы-матери, шагом не генерала, но удручённого старика.

Посреди салона, уже ожидая его, стоял без папахи тоже не Государь, и не полковник, не кубанец-пластун, но 48-летний простоватый, усталый, ещё на дюжину лет загнанный человек и, не скрывая тревоги, расширил глаза на Алексеева.

Отъезда он ждал, но почувствовал что-то и смотрел: чем ещё ударят его? Отменят ли отъезд? Не пустят в Царское?

И огрузило старое сердце больного Алексеева, и окоснел язык, так неподъёмно ему стало объявить. Зачем он взялся?...

И не было сил смотреть в большие доверчивые, добрые глаза царя.

Ища как-нибудь помягче, пообходнее, Алексеев тихо, смущённо бормотал, что Временное правительство с этого момента... как бы... просто в качестве временной

предупредительной меры... в основном, чтоб оградить от революционных эксцессов...

Приняв удар лбом, Государь ещё шире раздрогнул веками и стал сам успокаивать Алексева – не расстраиваться.

Стояли друг против друга наедине – последний раз из стольких раз, когда их соединяла привычная служба. Вот самое страшное было сказано – и ничего. Теперь бы – что-нибудь помягче?

Повспомнить?...

Никто не мешал, не контролировал – сказать сейчас любые почтительные или преданные слова. Но – не шли. Что-то внутри обвалилось, загородило, ничего такого не мог Алексеев вымолвить.

С облегчением, что обошлось гладко, Алексеев ходил потом по военной платформе. К депутатам. И назад к императорскому вагону.

Но неизбежно было зайти ещё раз, попрощаться. Опять тяжело. Зашёл. В зеленоватом салоне Государь широко раскрыл руки и крепко обнял Алексева.

И благодарил, благодарил его за всё.

И не просто ткнулся в щёки, но трижды взаправду поцеловал генерала.

Ещё с платформы, под козырёк, Алексеев почтил начавшийся отход Государя.

Пошли, пошли голубые вагоны с орлами. И подбирался обычный жёлтый второклассный с депутатами-комиссарами. И Алексеев подумал – нельзя их не поприветствовать на прощание. Но отдавать им воинскую честь – было бы неуместно. А вагон вот приближался, и что-то надо было сделать. Просто помахать рукой? Тоже не для генерала.

Растерялся. И перед комиссаровым вагоном – снял фуражку. И приклонил голову.

И тут же пожалел.

Возвращался в штаб – в смутном состоянии. Обиженным, униженным. Использованным.

И опять погрызало это чувство – как будто вины перед Государем. А вины – никакой не было. Какую можно было назвать? Разве только: вчера в ночь не предупредил об аресте.

Но всё равно это не помогло бы Государю. А только испортило бы ему настроение раньше.

Смутное, мерзкое состояние. От такого состояния только и было одно верное средство – работа.

А работа – всегда ждала, не придумывать. Неодолимые расчёты транспорта, продовольствия, топлива. А к ним теперь – и припирающее требование союзников: начать наступление 26 марта!

Ах, как вам легко пишется.

На все налегшие обиды – ещё эта налегала, от союзников. Поразиться надо: до какой же степени они никогда ни в чём не полегчали, не сбрасывали русским! И не помнили наших жертв – ни самсоновского выручения, ни двух ещё в Восточной Пруссии, ни брусиловского. И постоянно вмешивались в русскую стратегию. И не делились снарядами. Никогда ни в чём хорошо не помогли, посылали помощь только от избытка, И требовали, и требовали русских войск к себе на фронт. И навязали румын. И настаивали назначить общего Верховного – из французов. И вот теперь – 26 марта.

И англичане, и французы только в том и проявляются, что постоянно видят одни свои интересы.

Не имел права Алексеев в ответе раздражиться, выйти из рамок, – а сказал бы он им!

Но и наше новое правительство и новоиспеченный военный министр – они-то разве понимали наше состояние, подорванное десятью днями революции? Один Алексеев по своему положению только и мог охватить во всём объёме. Но тем более не должен был он держать это при себе. Все сношения с правительством эти дни – короткие дёрганья, по слишком срочным, но и преходящим вопросам. А не могла бы верхушка правительства сама приехать сюда да вникнуть?

Ничего, у Алексеева хватит терпения написать предлинные объяснительные телеграммы и Гучкову, и Львову.

Тут даже рисовалась возможность взять у них компенсацию за своё перед ними унижение. Тряхнуть их, что они ни о чём не ведают.

И – погнал, погнал мелкие петельки строк.

Это началось ещё с румынского вступления в войну, оно лишило нас равновесия, переклонило на левый фланг, нарушило главные оперативные перевозки, обнажило наш север. Теперь и Балтийский флот стал небоеспособен, и нельзя рассчитывать на его восстановление. И одновременно такое же разложение катится от Петрограда к Северному фронту – агитаторы, неповиновение, аресты офицеров, и волна докатилась уже почти до окопов. И в этом натиске мы склонны видеть тайную умелую работу нашего *врага*, использующего безотчётных неразвитых людей. В офицерском составе – упадок духа от травли, – и в чём же останется сила армии? При наших малокультурных солдатах всё держится на офицере. Целые воинские части скоро станут негодны к бою. При таких условиях германцы могут без труда заставить нас катиться назад. А разобраться – откуда всё разложение? От фабричного класса и малой доли запасных тыловых частей. Голос земледельцев и фронтовой 10-миллионной армии ещё не высказан, – а они не простят перевороту поражение в войне. И начнётся, может быть, страшная междуусобица в России.

Должно бы их пробрать, что никакие они ещё не властители над Россией.

Спасенье одно: успокоить армию, восстановить доверие солдата к офицеру. А для того – правительству перестать потакать Совету рабочих депутатов. Поставить предел бесконечному потоку разлагающих воззваний! Мы ждём и просим приезда ведущих министров в Ставку для совещания с главнокомандующими. Чтоб обсудить наши потребности. Возможности. И добровольные ограничения.

Когда Алексей ровными строчками и сопряжённым языком выписывал свои срочные документы – он как бы преодолевал все наросшие угрозы, все расстояния, непонимания от дальности. Облегчаясь в аргументах – он как бы уже и превзошёл опасности, и ему, как всегда, стало легче.

К концу своих двух длинных мрачных писем он изрядно успокоился, уравновесился, стал надеяться на доброе взаимопонимание с правительством, и как оно осадит Совет депутатов и остановит гангрену.

Отлежала досада, неловкость, привезенная с вокзала. Алексей хорошо преодолевал изнурительно-тягостный сложный день и мог рассчитывать хоть сегодня поспать без сердечной муки.

Найдёт он завтра как ответить и союзникам. Гурко на зимней конференции не обещал им так рано.

Но тут пришёл Лукомский с тревожным лицом – и положил перед ним газету «Известия Совета рабочих депутатов», сегодняшнюю, прибывшую с вечерней почтой.

На её грязноватой странице с нечистой печатью и многими крупными заголовками была отчёркнута штабным красным карандашом – статейка.

И почему-то ёкнуло сердце у Михаила Васильевича.

Что ещё? Это было... Это был комментарий газеты на приказ генерала Алексева ещё от 3 марта, когда Алексей узнал только ещё о первой банде, едущей по железной дороге, и телеграфировал в штаб Западного фронта, чтобы такие банды старались даже не рассеивать, но захватывать, немедленно тут же назначать полевой суд – и приговор приводить в исполнение немедленно же.

Тогда – это составилось так естественно, простая мера военачальника, Алексей написал текст телеграммы не задумываясь.

Сегодня – он может быть и задумался бы, что выразился слишком резко.

Но вот он читал газету Совета – и шея, и лицо его наливались жаром.

... Генерала Алексева многие наивные люди считают человеком либеральных взглядов и сторонником нового строя...

Да, он себя и считал теперь таким! Уж теперь у него и выхода другого не было, как сторонник.

... Разоружение железнодорожных жандармов считается в его глазах тяжёлым преступлением, заслуживающим смертной казни...

Да, до сих пор он думал так. Но теперь видел, что перебрал. По тому, как оно покатилося...

... И это после того, как новый строй установлен именно захватом власти...

Что верно, то верно, Михаил Васильич, кажется, запутался: в самом деле – а вся-то власть?... И тогда – что тужить о жандармах?

Всё больше его наливало жаром испуга, простого грубого испуга, пока он читал роковые подслеповатые строчки.

... Но особенно замечательны средства, которые намерен принять генерал... Генерал Алексеев достоин своего низверженного господина Николая II. Дух кровавого царя жив в начальнике штаба...

Аи, как нехорошо! Как грубо связали.

... Этим распоряжением Алексеев сам подписал себе приговор в глазах сторонников нового строя...

Боже мой, что ж это делается? Как они разговаривают? – ещё острее Бубликова...

Приговор??... Крепко же умеет Совет рабочих депутатов...

... Но генерал Алексеев не найдёт таких «надёжных частей» и «верных офицеров».

И, кажется, верно.

В центре Ставки, в охраняемом штабе, над своими беззвучными излияниями безмолвному правительству, – от резкого голоса Совета депутатов почувствовал Алексеев себя беззащитным, просматриваемым, угрожаемым.

И – одиноким.

Нет! Он достаточно дистанцировался от отречённого царя и не допустит объединить себя с ним, никак!

Но: без царя-то он и застигнут одиноким.

Иногда и сердился на царя, и забывал, как хорошо: защитная власть над тобой. А без неё – вот ты и не сила.

И никогда единого резкого слова, не то что подобного, он от Государя не слышал.

Газета доканчивала:... По имеющимся у нас сведениям военный министр Гучков распорядился не применять репрессивных мер, которых требует генерал Алексеев...

Вот это так! Вот так они его и покинут, безголовое правительство.

А он им пишет – не потакать Совету депутатов!... Всё вперевёрт.

Вдруг сообразил: да ведь приказу о бандах – уже 5 дней, а отзыв – только сегодня?

Сообразил: **обманули!** Давно уже метили, но ждали, пока он арестует и спровадит царя!

А он даже прощального царского приказа не допустил...

Использовали...

А теперь – как же защищаться? Опереться – не на кого. Не на кого.

Надо – спешить как-то оправдаться.

Как-то выразить свою лояльность.

Вот – поскорей принять Ставку новую присягу.

ДЕВЯТОЕ МАРТА

ЧЕТВЕРГ

(по свободным газетам, 8-9 марта)

ПРИКАЗ ОБ АРЕСТЕ НИКОЛАЯ II

У КНЯЗЯ ЛЬВОВА. Ваш корреспондент посидел несколько минут в кабинете князя Львова. Картина почти жуткая, незабываемая. Как ко всеобщему центру летит сюда электричество всей сотрясенной страны... Он быстро берёт бумаги, быстро читает, в то же время берёт телефонную трубку, быстро отвечает. Эта великолепная быстрота государственного кормчего спасительна и драгоценна...

... И этот темп, взятый новым правительством, естественно не вяжется с длительным обсуждением законопроектов в Государственной Думе, это теперь невозможно.

... Опасения двоевластия, к счастью, преувеличены. Совет Рабочих Депутатов совсем не считает себя «вторым правительством»...

... Общество сближения с Англией верит, что отныне при талантливом и патриотическом руководстве вашем, глубокоуважаемый Павел Николаевич...

Хлеб везут! – много телеграмм... Крестьяне выражают радость по поводу падения старого строя и заявляют, что повезут зерно, сколько б его ни потребовалось для армии и страны...

... Старая власть думала сгубить великую Россию, но свободный народ всем нутром почувствует, что сейчас его долг – привезти хлеб!

Хлебный кризис в Германии. Опасность обострения...

... Смерть адмирала Непенина явилась совершенно случайной. В порту он был встречен каким-то рабочим, который выстрелил в него. В Балтийском флоте он считался одним из наиболее отзывчивых и гуманных начальников.

При аналогичных условиях был убит и адмирал Небольсин.

ПРОЕКТ ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ. Министр юстиции Керенский... Будет опубликован в ближайшие дни.

... Одна благая весть сменяется другой: за амнистией – отмена смертной казни! Какое громовое эхо раскатится по земле русской – нет надобности доказывать... Во веки веков этот акт пребудет торжественным свидетельством величия и благородства.

АРЕСТ ПРЕДАТЕЛЯ ВОЕЙКОВА. Секретное поручение Николая II в Казань. Взят с поезда и помещён в Кремле на дворцовой гауптвахте... При нём найден целый сундук с крайне важными секретными документами. Нетрудно догадаться, что за поручение было от сверженного царя...

Драгоценности Александры Федоровны... Как известно, они стоимостью в несколько миллионов рублей. Великий князь Павел Александрович предложил ей сделать им опись и передать под охрану Временному Правительству. Но это предложение отклонено.

У ГЕНЕРАЛА РУЗСКОГО. Герой великой войны ген. Рузский присоединился к народу тотчас после получения первых известий о брызнувшей над столицей заре свободы. Царь

отправлялся во Псков с надеждой, что ген. Рузский ему поможет усмирить бунтовщиков. Но с первых же слов генерала тиран понял, что надежды его нелепы. «Русская революция, – сказал генерал Рузский, – доказала всему миру, сколь силён дух русского народа»... Горизонты генерала так широки, что он свободно вмещает все течения политической жизни вплоть до социалистических учений. Корреспондент «Русской воли» был приятно изумлён, когда убедился, что ген. Рузский легко ориентируется в тонкостях с-д большинства и меньшинства.

(«Русская воля», 8 марта)

У КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. Первый из великих князей, признавший новое правительство. Над его дворцом – красный флаг. Адмирал Романов любезно встретил меня у дверей кабинета... Он не скрывает своего удовольствия по поводу совершившегося переворота: «Мой дворник и я – мы видели одинаково, что со старым правительством Россия потеряет всё. Здесь, – Кирилл Владимирович делает картинный жест рукой по кабинету, – собирались мои единомышленники, члены Государственной Думы, либеральные сановники не у дел, и мы не раз обсуждали... Но сказать царю было бесполезно. Чем он был занят, что у него не было времени выслушать? Скрывать нечего, Александра Фёдоровна правила Россией. И Виктория Фёдоровна беседовала с ней, осветила положение страны, назвала имена лиц, достойных быть ответственными министрами. Царица возмутилась.»

Вошла Виктория Фёдоровна: «Как приятно говорить то, что думаешь.» Кирилл Владимирович доволен: «Теперь-то уж я свободен и могу свободно говорить по телефону. А раньше – прерывали каждую минуту. Мы ведь жили чуть ли не под гласным надзором полиции.» На вопрос, правда ли, что царь последнее время спился: «Я слышал от экс-царя, что он бросил пить с начала войны.»

(«Русская воля», 8 марта)

В СТАНЕ ЧЕРНЫХ. Самоупразднители . Председатель правления монархического союза в Москве отправил телеграмму... «ныне обратив остаток своего состава для служения не за страх, а за совесть Новому Правительству, разрушившему тёмные силы России...»

НЕВЕРНЫЕ ХОЛОПЫ. Люди будущих поколений поразятся: как случилось, что самодержавие оказалось покинутым с первого выстрела?... Та каста, которая жила и кормилась за столом самодержавия, спряталась по норам, не пошевелив пальцем... и покинутый ими царь одиноко ждал в своём вагоне великодушия русского народа. Английские карлисты, французские роялисты являли подвиги самопожертвования, а эти... На всю Россию оказался один человек, у которого хватило мужества не пережить падения режима и застрелиться, – Зубатов!

... 8 марта – первое легальное собрание петроградской еврейской сионистской партии. Всемерно поддерживать Временное Правительство в его освободительной работе... в интересах расцвета еврейской народной жизни в России и национально-политического возрождения еврейской в Палестине.

... Собрание петроградской секции Бунда.

ПОГРОМЩИКИ. Неизвестно где, но в какой-то тайной типографии печатаются погромные и контрреволюционные прокламации.

Могилев. Полиция на свободе и начинает готовить еврейский погром. Полицейские ведут пропаганду среди местного несознательного белорусского крестьянства. Необходимо принять решительные меры.

ЛОЖНЫЕ СЛУХИ. В течение 5 и 6 марта в Петрограде злонамеренными лицами усиленно распространялись слухи о происшедших будто бы в некоторых городах России еврейских погромах. Называли Витебск, Ковель и др. По тщательной проверке этих слухов членом ГД Фридманом оказалось, что они лишены всяких оснований. Наоборот, известие о снятии национальных ограничений сочувственно встречено всеми слоями населения России.

Заявление обер-прокурора В. Львова. ... Я всегда боролся против самовластных распоряжений обер-прокуроров, но в данном случае я вошёл в церковное ведомство с хорошей метлой. Эта метла заденет всё негодное и вредное – на пользу православной церкви и государства... Весь сор будет выметен в самом ближайшем времени...

ДВОРЦЫ – НАРОДУ! Нельзя не отметить с возмущением голоса, призывающие к осторожному обращению с дворцами, дескать там сокровища искусства. Мы знаем «просвещённый» вкус деспотов. Их коллекционерство носило отвратительный характер. Никаких «художественных сокровищ» почти не имеется...

В эти великие дни свержения династии «Обмановых» хочется обратиться... нужен величественный памятник русской свободы.

(акад. Бехтерев)

... Есть проект установить на Дворцовой площади колонну Свободы, ещё более величественную, чем нынешняя колонна Победы, – и на ней золотыми буквами будут написаны имена всех героев революции. Предполагается переименовать площадь – в Февральскую.

... Предлагаю л-гв Волынский полк переименовать в «Национальную гвардию».

Два влиятельных иностранных дипломата подробно изложили Фредериксу, в чём заключаются требования и чаяния русского народа. Но чтоб он доложил это государю как бы от себя, ибо нельзя же говорить царю, что иностранные дипломаты вмешиваются во внутреннюю русскую жизнь. А он всё забыл, достал при царе листок и царь спросил...

Петр Кропоткин о революции. Сегодня ваш корреспондент посетил Кропоткина в Брайтоне. Великий революционер сказал, что с первого получения известий из России не может приняться ни за какую работу. Радость его неопишима. Он глубоко верит, что деспотизм в России рухнул навсегда. Теперь совершенно невозможно оставаться за границей.

НЕ ВЫДЕРЖАЛИ. За истекшую неделю в городскую больницу Св. Николая на Пряжке поступило 96 человек, заболевших психическим расстройством. Преобладают мужчины. Только 7 марта поступило 27 человек.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРИЗНАЛИ НОВОЕ РУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ. ОТСТУПЛЕНИЕ НЕМЦЕВ.

В КАЗАРМАХ. Во всех воинских частях Петроградского гарнизона приступлено к будничной работе. Занятия идут полным ходом под руководством новых избранных начальников. Между солдатами и офицерами налаживаются отношения полного доверия. Офицеры, заявившие себя приверженцами старой дисциплины, находятся под арестом.

ПРИКАЗ по войскам г. Москвы. Офицеры и солдаты! Что же нам делать, чтоб удержать завоёванную свободу?... Преступление перед родиной бежать с фронта, самовольно отлучаться из казарм и ехать домой в деревню. Не только я, но и комитет Совета Солдатских Депутатов осуждает побег и самовольные отлучки.

Командующий войсками подполковник **Грузинов**

СОЗЫВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ В МОСКВЕ... Городской голова Челноков... Другого решения о месте созыва не может быть. Москва – сердце и колыбель России. Москва сыграла важную роль в народном движении. В Москве возникли организации, подготовившие революцию. По тем же основаниям центральное правительство должно быть переведено в Москву, чтоб окончательно порвать с петроградским периодом русской истории.

... Редактор-издатель «Московских ведомостей» просил Совет Рабочих Депутатов оказать содействие к возврату захваченной типографии и дать разрешение наборщикам вернуться на работу. Исполнительный Комитет ответил, что не может оказывать особое содействие выпуску «Московских ведомостей».

Тифлис. Солнечное весеннее утро. Тифлис провожает наместника. С опустевшего дворца падает великокняжеский флаг. В городе полный порядок. Арестован начальник дворцовой охраны. Произведен обыск в жандармском управлении. Группами солдат разоружены все постовые городовые. Офицеры одной воинской части арестовали ближайших начальников и предложили свои услуги Совету Р. Депутатов...

Хрусталева-Носарь заболел. Уезжает лечиться на юг.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ. Министр просвещения Мануйлов распорядился: в средних школах в этом году занятия могут быть прекращены с 1 мая. А в учительских институтах и семинариях в этом году отменяются выпускные экзамены.

ТРАМВАЙНЫЕ РУЧКИ. Кто вернет в Управление трамвайные ручки, **будет дано вознаграждение** : за большую ручку – 5 руб., за малую – 3, за ручку с рычагом для крана тормоза – 5.

Митинги прислуги . 8 марта на многих рынках состоялись митинги домашней прислуги, требующей своего раскрепощения.

Собрание официантов и других служащих трактирного и ресторанного промысла. По вопросу о текущем моменте собрание постановило, что, если только будет попытка со стороны Временного Правительства уклониться от исполнения программы, Совет Рабочих Депутатов должен немедленно провозгласить себя временным революционным правительством.

... покорнейше просят вас почтить память усопшего и пожаловать на вынос и отпевание тела его...

Не откажите, добрые люди, помочь бедному приходу воссоздать храм Св. Николая взамен сгоревшего.

300 рублей ТОМУ, кто укажет, где находится крытый автомобиль Рено, принадлежащий датскому подданному.

Интеллигентный молодой человек, еврей, свободный от военной службы, знает все виды счетоводства, ищет место личного секретаря. Предлагать только серьезно.

Нужна комната в еврейской семье барышне, свободной художнице.

Продаются: енотовая шуба, дворянский мундир с треуголкой...

ПОКУПАЕМ бриллианты, изумруды, жемчуг, сапфиры – за серебро. Караванная, уг. Невского.

АРЕСТ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

АРЕСТ НИКОЛАЯ II

СУДЬБА ДИНАСТИИ. Арест Николая II и его жены кладёт конец тревоге. Россия встретит известие с полным удовлетворением. Через короткое время бывший император вероятно будет отправлен в Англию. Пусть пароход увезёт Николая Романова из земли, где он создал для себя позор, тюрьму и пустыню.

ВЫЕМКА БУМАГ. В Царском Селе и, по-видимому, в Ставке и в Ливадии произведена выемка бумаг государственной важности. Бумаги эти будут рассмотрены особой следственной комиссией.

... Можно быть спокойным за жизнь венчанного ничтожества: никому не придёт в голову удостоить его мученического венца.

(«Биржевые ведомости»)

НЕ ВЕРЬТЕ РОМАНОВЫМ!... Позаботиться, чтоб и мамаша императора разделила судьбу арестованных!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!!

ВОЗЗВАНИЕ МИНИСТРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ. Товарищи кооператоры! Помогите Родине выйти из той глубокой бездны, в которую её бросил старый режим. Будьте в народе сознание гражданского долга... Родине нужен хлеб! Призовите население к поставке хлеба. Разъясните многомиллионному крестьянству... Каждая минута промедления преступна. На нас с вами ляжет тяжёлая нравственная... В память павших борцов за свободу принесите свой драгоценный опыт на алтарь служения...

ПЕРВЫЙ СИГНАЛ АГРАРНОГО ДВИЖЕНИЯ. В некоторых уездах Петроградской губернии народный подъём вылился в форму движения против помещиков. Пострадали некоторые усадьбы. Для водворения порядка были посланы воинские команды, которые своим авторитетом окажут содействие к разъяснению...

(«Новое время»)

ГРАЖДАНЕ РОССИИ! ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ! ... Вам, землепашцам, надлежит немедленно помочь снабжению... Братья, не дайте России погибнуть! Не выдайте родины! Везите и продавайте хлеб добровольно, не ожидая особых распоряжений.

Родзянко

... Сторонники истинных интересов народа должны повести самую широкую агитацию

среди крестьянства, чтоб уяснить ему грозную опасность со стороны сладко поющих буржуазных элементов...

(«Московский листок»)

... Министр финансов Терещенко обратился к представителям банков с надеждой, что финансово-хозяйственная жизнь страны теперь пышно расцветёт.

Русский рубль. Революция в России очень благоприятно отразилась на международном курсе рубля.

На нужды революции кулисы петроградской биржи собрали около полумиллиона рублей.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. На собрание рабочих Экспедиции государственных бумаг, обсуждавшее, продолжать ли забастовку, неожиданно явился министр Терещенко. Это вызвало сенсацию и явилось первым таким случаем в истории. Министр обратился с яркой речью о важности их работы. Речь была покрыта аплодисментами. Решили немедленно приступить к изготовлению бумаг.

БЕРЕГИТЕ АРМИЮ! Приходят тревожные слухи. Некоторые люди проникают в армию, ибо теперь полная свобода передвижения и слова, и ведут там проповедь скорейшего и бесславного окончания войны. Полкам говорят: откажитесь сражаться и война окончится. Не хочется верить, чтобы нашлись русские граждане, способные на это!

ФОРМА НОВОЙ ПРИСЯГИ...

... Всем самовольно отлучившимся из 175 пехотного запасного полка в ближайшие дни вернуться в полк. В противном случае считать их сторонниками старого режима.

... Но если упьёмся раздором и распрей – можем сделаться холопами холопов, добычей германских солдат. Дети наших детей скажут: «Тысячу лет они были рабами, и когда им свалился дар лучезарной свободы – они не сумели защитить её грудью». Враг – в воротах! Солдаты – в окопы! Рабочие – к шрапнельным станкам! С каким лицом мы пойдём в Учредительное Собрание, будучи побеждены? Нет, пойдём туда с победной песнью!

(«Русская воля»)

ГОТОВИТСЯ ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ... Пусть до конца скажутся величие и красота стремлений народа! Пусть займётся заря нашей свободной жизни без смертной казни! Слабый и безвольный режим мог держаться только устрашением, виселицей и нагайкой. Русская революция торжествует свою победу иначе! Сильная и могучая, она смело упраздняет смертную казнь! И в такую острую минуту, когда страсти горят.

... Верёвку освятил Рылеев,
Как освящён был крест Христом.
Да не увидим мы злодеев
В её объятии святом.
Ф. Сологуб

... Как ни странно, наивеличаявая революция не принесла нам свободы печати. Без особого разрешения Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов выпуск изданий воспрещается.

(«Речь»)

... Анархия, бесчинства, грабежи, врывания в частные квартиры, порча имущества, бесцельные захваты учреждений продолжаются до сих пор...

... Всем губернским комиссарам принять срочные меры к охране заводов, имеющих склады спирта.

ИНТЕРВЬЮ КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. «Что я могу добавить к тому, что известно широким массам? Моё credo? Но кто его не знает? Свершилось. Переворот произошёл по вине бывшего государя. Только безумцы могли предположить, что 1300 пулемётов на крышах и церквах...

... Разве я, великий князь, не испытывал гнёт старого режима?

... Разве я скрыл перед народом свои глубокие верования? Разве я в дни великого освобождения пошёл против народа? Вместе с моим любимым гвардейским экипажем я пошёл в Государственную Думу, этот храм народный... Я всё это говорю не к тому, чтобы оправдаться, – за мной нет особенных грехов. Но теперь старые корабли сожжены, впереди я вижу лишь сияющие звёзды народного счастья. Русский народ широко вздохнёт и возьмётся ковать себе счастье...»

(«Биржевые ведомости»)

ИНТЕРВЬЮ КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА... Я не раз спрашивал себя, не сообщница ли Вильгельма II бывшая императрица. Но всякий раз силился отогнать от себя эту страшную мысль. Во всяком случае в Германии были великолепно осведомлены о планах царствующей семьи.

(«Петроградская газета»)

Позднее раскаяние. «Мы, нижеподписавшиеся офицеры и классные чины наружной полиции, скорбели, что, будучи по роду службы разбросаны по всей территории Москвы и оставленные на произвол судьбы, невольно были лишены возможности разделить всенародную радость по случаю освобождения России. Смеем надеяться, что запоздалое наше сочувствие будет принято залогом нашей преданности.»

(Более 200 подписей)

Одесса. Зачислено в присяжные поверенные 60 помощников, евреев. Местная правая газета «Русская речь» прекращена. С завтрашнего дня то же издательство начинает выпуск газеты прогрессивного направления.

Воронеж. Арестованы организаторы местного отдела Союза русского народа.

ЦЕРКОВЬ И МОМЕНТ.

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НАКАНУНЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ ГЕРМАНИИ... Всё население Соединённых Штатов жаждет войны... Предполагается заём союзникам в 1 миллиард долларов.

(Петроградское телеграфное агентство)

ВОЙНА. БАЛКАНСКИЙ ФРОНТ.

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ.

Чёрный автомобиль по ночам продолжает терроризировать город...

... Население столицы недоумевает: почему трамвайное движение ежедневно

прекращается в 7 часов вечера. Это объясняется тем, что служащим трамвая необходимо обсудить ряд профессиональных и политических вопросов. Это обсуждение займёт всего несколько вечеров.

ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ г. МОСКВЫ...

ПОЖАР в доме московского купеческого общества.

10 марта в помещении Европейского Театра состоится собрание домашней прислуги.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПОЖАР ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. Погибло в огне 50 тысяч пудов американского хлопка.

Харьков. Арестован ген. Риман, известный каратель 1905 года... На вокзале публика устроила овацию проезжающему из ссылки Сумарокову-Эльстону, убитому Распутина.

Елизаветград. Проезжая воинская часть освободила 40 дезертиров, задержанных за уголовные преступления. Затем толпа разгромила сыскное отделение.

Полтава. Грандиозная манифестация, митинг, трубный военный оркестр. Седовласый Короленко кротко выслушивал ораторов, смиренно прижавшись к народу.

Симферополь. На совещании духовенства вынесено порицание архимандриту за проповеди против интеллигенции и демократии в кафедральном соборе. Запретить подобные проповеди!

Царицын. Исполнительный Комитет разослал по деревням студентов вести агитацию...

Иркутск. Губернатор арестован, а командующий военным округом делал вид, что признаёт новую власть, но пришлось отрешить его от должности.

Чита. С Нерчинской каторги прибыла Спиридонова и другие. Народ встречает героев-страдальцев с энтузиазмом, носит на руках.

КУПЛЮ ИМЕНИЕ, район и цена безразличны.

Барский особняк продаётся на набережной Большой Невки.

ДОРОЖЕ ВСЕХ ПЛАЧУ за драгоценные камни, золото...

КТО не заявит добровольно о нахождении у него скрипки профессора Чернова – подвергнется преследованию за утайку.

Имел он несчастье уже знать, что это за боль в середине груди: уже бывала у него от сердечного припадка. И такая сразу беспомощность: не то что встать, но лёжа не найти положения. Ты сразу пригвождён этой раскалывающей болью как вогнанным клинком, и никакой не министр великой России и российской армии, а зажившееся обречённое чучело.

И ты зовёшь «Маша! Маша!» на помощь, приложить компресс. Потом вспоминаешь, что сам же от неё ушёл, перекочевал в довшин. Но странно: через некоторое время вместо

адъютанта она же и появляется – и поглаживает, и массирует грудь. И может быть спадёт. Да кажется и спадает.

Посылается нам масштаб нашей беспомощности, напоминательный сигнал, как мы ограничены, – и сразу шатается наша правота и обвинительная сила по отношению к другим людям, вот и к Маше. Ещё вчера простить ей не мог, что в неповторимые дни революции она смела изматывать его своими мелкими сценами, своим выпяченным неутраченным самолюбием. Не могла увидеть события его глазами, а всё видела своё, ненасытимое.

А сейчас, благодарно испытывая её заботу и прикосновения к больной груди, думал: да ведь это – несчастье её. Несчастное всежизненное неравновесие женщин сперва с передержанным девичеством, потом с замороженной сексуальностью, а сердце, как у всех людей, требует счастья, требует его – хоть взрывами, обидами, слезами.

Её несчастье – больше, чем его. А всё-таки – трое детей рожено. И хоть один сын убит по её недосмотру, а один монголоид – не по её же вине, но Верочка, любимица, – чья же?

Когда столько лет вместе, – как ни отрезай методически, но в любые пять минут, от события или взгляда, дурное отношение вдруг переменяется на тёплое, и ты бессилён дальше. За столько совместных лет – как не набраться и тёплому?

А когда тебе уже пятьдесят лет и ты лежишь беспомощный, и не знаешь, отпустит ли, – так невольно и примириться с ней, сразу простить целые годы истерической бессвязицы, смириться, какая уж она есть. Вдруг обнаруживаешь, что несмотря ни на что – а проросла она через самое твоё сердце.

Все умрём, и даже может быть скоро, – и что мы всё делим?

Но так ли омужественоло сердце от боёв или так оно зачерствело, – даже лёжа под тенью смерти почему-то нет позыва молиться. От староверческого детства не осталось в груди – ничего.

Однако кажется – отходило.

И уже мягко, дружно разговаривали с Машей.

Необъяснимо, почему это произошло сегодня. Не удивился бы – утром позавчера, после наканунешнего раздирающего разговора с Советом. Но вчера – ничего не случилось, напротив, речь держал в городской думе, вечер торжества, и снова чувствовал молодым себя, и снова героем. А вот...

Однако что теперь делать с поездкой? Ведь сегодня вечером думал выезжать в Ригу.

Решение ехать родилось от накопившейся безвыходности последних дней. Уже почти неделю министр, ответственный за армию воюющей страны, он сидел беспомощно у себя в кабинете и принимал донесения, разоряющие душу: неподчинения, аресты больших начальников, смута в гарнизонах. Вчера совсем рядом, в Выборге, арестован комендант крепости – и ничего нельзя сделать. А тут – нудные заседания Временного правительства, где, сказал бы Гучков без ошибки, ни одного мужчины кроме него нет.

Шла война? Так все главные события должны были совершаться на фронтах. Но именно там их не было. А вся боеспособная и броненосная Россия замерла вдоль фронтов, замерла как бы даже в загадочности: никаким полным голосом не отозвалась на революцию.

И стало казаться Гучкову эти дни, что если он перестанет костенеть в петербургских кабинетах, а вырвется на фронт – то и эту загадку разрешит, и может быть благополучно. Да настоящее место его – именно там, среди армии. Именно там и придут ему в голову правильные мысли и действия.

Объезд петроградских казарм, как это он делал вначале, его разочаровал: и не армия это вовсе, не воины, – но какая-то вязкая, глупая масса, и вовсе не увлекаемая словом своего министра, перепорченная агитаторами.

Ему хотелось соединиться с силой, движением, успехом. Это могло быть только на фронте.

Но и слишком далеко уезжать сейчас тоже нельзя: в любую минуту Петроград может потребовать. Простейшая поездка – в 12-ю армию, в Ригу, к хорошему другу своему болгарину Радко-Дмитриеву, старая балканская дружба, и Гучков защищал его от нападков,

будто тот виноват в прорыве Макензена под Горлицей.

Но вот – как же теперь ехать?

И Маша, вдохновлённая вернувшейся близостью, в размахе подбодренной своей энергии:

– Саша! Ничего! Поедем! Я буду с тобой. Я в вагоне буду за тобой ухаживать – ты будешь лежать.

А что, может быть? Так не хотелось уже отменять, настроился.

Так что, брать и Машу? Ещё вчера казалось бы это диким, а сейчас – уже и естественным.

– Только весь день лежи, не занимайся ничем. А вечером поедем!

Сегодня поливановская комиссия заседает... Хотел быть.

– Ну, может быть, ты и права. Правда, поедем.

С благодарностью и он к ней. С ещё большей она к нему.

519

Ехал Николай в своём императорском поезде – и наполнен был высокой грустью, сожалением, размышлением, прощанием, мечтой. В эту поездку он ничего не читал, и не докладывали ему никаких новостей, а всё больше смотрел он в окно. И только видел – сугробы, снежные поля (вчера между Оршей и Витебском мятелило, поезд задерживался даже).

Вдруг вспомнил: сегодня день, когда в народе пекут жаворонки.

Весёлый возврат жаворонков.

На остановках в щель занавески – странно-бездейственные группы железнодорожников и просто жителей: молча стояли, молча козыряли поезду, молча шапки снимали – будто поезд вёз мертвеца.

На мелких станциях не видел он ни одного красного лоскута ни у кого на груди, на больших – бывало, но и те зявились на поезд молчаливо. А на станции Дно (как недавно он тут проезжал во Псков!) толпилось много солдат на платформе, очень миролюбивых. Шарили глазами по зашторенным окнам, видимо искали своего Государя, конечно! – и подходили к кондукторам, спрашивали, – но всё глухо, даже шёпотом.

Так, снегами, безмолвием и шёпотом, был сопровождён весь ход поезда, последний.

И Государь – стеснялся, не решался, он цели не видел – показаться бы народу, дать посмотреть на себя или что-нибудь им сказать. Стеснялся – и скрывался за шторами.

Ехал Николай в императорском поезде – а поезд всё меньше ему подчинялся, утекал из-под остатков его влияния, но Николай ничего этого не замечал. Теперь не было всеуверенного всезнающего Воейкова, приходившего бодро докладывать Государю о ходе поезда и спрашивать указаний. Заменял его в должности молодой Долгоруков, но не он теперь вёл поезд, он отстранён был от подробностей движения, и поездка стала как бы глухонемой. Никто из свиты теперь не связывался с железнодорожниками, а – депутаты из последнего вагона. И когда на 149-й версте вдруг останавливались и стояли в поле – никто не пришёл объяснить. Гораздо позже узналось, что вспучило рельс и останавливал путевой сторож.

И так же ничего не знал Николай, что думает и что делает его наполовину растаявшая свита.

Не знал, что лейб-хирург Фёдоров в своём купе со своих погонов на шинели выцарапал государевы вензеля – чтобы в Царском выйти уже без них. (Но оставил вензеля на тужурке, чтобы мочь ходить к царскому столу.)

Не знал, что милый граф Мордвинов раньше всех сумел осведомиться, что поезд от Вырицы пойдёт не прямо на Царское Село, но крюком через Гатчину, какая удача! – и уговаривался с одним и другим путевым чиновником, чтоб остановку сделали в Гатчине, где живёт его семья, – и он сойдёт со своим багажом (уже упакованным).

Не знал, что и флигель-адъютант Нарышкин, недавно писавший протокол всей сцены отречения, сейчас уже объяснял одному и другому, что не может задержаться в Царском, ибо в Петрограде у него срочные личные дела. И очень всем советовал слушать указаний Временного правительства, это единственно верное поведение.

Не знал, что остатки его свиты, кроме Долгорукова, костенели от ужаса, не ждёт ли их всех арест при выходе на перрон в Царском, – и только тем успокаивались, что должны б отпустить, ничего дурного за ними не числится.

И поездные путейские чины тоже волновались, вспоминая недавнее убийство Валуева – тоже ведь ни за что.

И не знал Николай, что в последний комиссарский вагон являлись через тамбурную площадку делегации императорской прислуги – зарекомендоваться, и с денежными дарами, и с царскими обедами на думских депутатов.

А у тех были свои заботы: с крупных станций посылать телеграммы в Петроград, а от каждой непредусмотренной остановки всплашиваться: не готовится ли нападение на поезд – освободить царя?

Никто не приносил Николаю всех этих известий, да и не было у него заведено, чтобы свитские доносили друг о друге. А сходились к очередной еде – говорили о скорости поезда, о погоде, даже о военных действиях на фронтах, где не было сейчас действия. Прежде, в хорошие дни, Государь пытался и шутить за столом – да как-то никто в свите не понимал шуток.

На одной из станций кто-то достал газету и прочли об аресте Воейкова в Вязьме.

Свита восприняла зловеще, как предзнаменование себе.

А Николай сказал, о нём и Фредериксе:

– Жаль мне их. В чём же они виноваты?

Проехали Сусанино.

Ещё какой-то был переполох между Семрино и Гатчиной, на переводной ветке, резкий свисток, остановка, и беспокойно ходили от комиссарского вагона.

В Гатчине останавливались – и Николай видел избоку выгрузку вещей, только не понял чьих.

У станции Александровской довелось ему на арке на красной бязи прочесть надпись: «Долой гнусное самодержавие».

Передёрнуло плечи как ударом бича.

Чем ближе к Царскому, вся эта мерная укатывающая мрачность поездки стала претворяться и в Государе в тревогу. Что-то вдруг замутило его, что всё – не хорошо: не сам он едет, его везут, – и ещё туда ли? И ещё допустят ли до Аликс?

Неиспытанное состояние: безвластия в собственной судьбе.

А в последние полчаса надо было наконец и прощаться – со всей поездной прислугой (Николай пошёл в их вагон), с высшим служебным персоналом поезда.

Затем – и с салоном своим, где отрёкся он неделю назад.

И – со служебным своим кабинетом.

И – со спальней своей, в иконах.

Он смахивал слезинки.

Вот подошёл поезд и к царскому павильону – маленькой царской станции в стиле весёлого русского шатра, в стороне от общей станции и на отдельной ветке.

Погода была – притуманенное, незадёрнутое солнце.

Никто не созван был ждать такого зрелища – приезда царя. Да раньше сюда и не допускали посторонних. Сейчас кой-какая молчаливая публика собиралась, но мало, – немногие в штатском, да любопытные солдаты без оружия, но с красными наколками и плохо подпоясанные, десятка два. Из дворца никто не приехал для встречи, а приезжали всегда. Самые старшие встречающие были – два полковника да железнодорожные чины.

Царский вагон, как всегда рассчитанно, остановился прямо против шатра – но выходить не предложили сразу, а сам Николай постеснялся.

Сперва комиссары из последнего вагона подошли к начальствующим лицам, толковали с ними на перроне.

А между тем из поезда всё кто-то выходил, выходил, не мешкая, и рассыпались прочь. Исчезали флигель-адъютанты.

И только единственный остался изо всей свиты, из двенадцати человек, молодой князь Василий Долгоруков. Ожидал сопровождать Государя во дворец и распоряжался о его вещах.

Наконец полковник с перрона сказал, что можно выходить. Передали Государю.

Уже готовый, одетый, всё в той же своей черкеске кубанского батальона, с пурпурным изнутри башлыком, в чёрной папахе и с казачьим кинжалом на поясе – Николай вышел из вагона – нет, выскочил порывисто. И опять при общем молчании, как и в Могилёве, – перебежал в шатёр, с опущенной головой – скорей мимо ещё нового стыда! – сквозь него – и в закрытый автомобиль, с Долгоруковым.

А полковники от гарнизона – в свой автомобиль.

И так оба автомобиля покатали ко дворцу.

Милое Царское лежало в своих уютных сугробах, но разбросаны были на чистом снегу – клочки газет, бумаг, папиросные пустые пачки, а встречные солдаты некоторые были неимоверно распушены в форме, военному глазу больно смотреть.

Кто-то узнал автомобиль царя, кто-то и кулаком показал.

Перед решётчатыми воротами Александровского дворца стоял усиленный караул – не своих, но гвардейских стрелков.

Всегда бросались распахивать ворота перед автомобилем Государя – а сейчас, как будто не понимая, из-за ворот резко окрикнули:

– Кто здесь?

Из автомобиля некому было ответить.

И дежурный незнакомый прапорщик у ворот не спешил распорядиться открыть.

Но кто-то другой, спускавшийся по лестнице из дворца, спросил: «Кто здесь?»

И от ворот туда тот же резкий голос, первый спросивший, ответил дерзко, звонко:

– Николай Романов!

Показался поручик – горящая папироса в пальцах, красный бант на груди, крикнул:

– Открыть ворота бывшему царю!

Открыли. Автомобиль въехал.

На крыльце стояли и другие офицеры стрелков, и рядом внизу – стрелки, и все с красными приколотыми лоскутами.

Ещё раз надо было быстро перейти. Не глядя. Не видя. Как можно быстрее.

И Николай рванулся перейти, поднимался на крыльцо – никто ему не отдал чести, никто не вытянулся.

А он – не мог им не отдать. Рука сама поднялась к папахе.

Как иначе может пройти военный?

520

Из окон штаба Северного фронта виден, по ту сторону оснеженной реки Великой, Спасо-Мирожский монастырь.

И кажется ещё никто этого не отмечал в печати.

Отметим. Переключка веков. Какой? Наверно, Двенадцатый? Тринадцатый? И – Двадцатый. Там – причудливые главки, тишина. Здесь, перед штабом, – фырканье автомобилей.

Нет, даже лучше: ведь это – старореспубликанский Псков. И так, через реку Великую (нота-бене!) старая республика протягивает руку новой, образовавшейся тут же, во Пскове. Замечательное начало!

Перед комнатами Рузского у вешалок – вестовой казак. (Тоже запишем, читатель только и живёт деталями, а «Биржевые ведомости» славятся броскостью.) Приёмный зал.

Потёртый стол с чернильницей. Потёртые старомодные стулья.

Вот и генерал. Распушенные сивые усы. Тонкая притушенная улыбка. Голубые усталые глаза. Сияющая белая четырёхугольная причёска. (Эти детали – рассредоточить по тексту, чтобы поддерживать зрительное впечатление.)

– Правда ли, господин генерал, что сегодня ваш штаб принял присягу Временному правительству?

– Да, это наши торжественные минуты, и я уже об этом дал телеграммы – князю Львову и Родзянке. Мы обязались полным повиновением правительству до Учредительного Собрания, которое и установит образ...

Узкая впалая грудь. Зубы – обкуренные, желтоватые, вероятно от постоянного табака. (Не писать.) Посасывает жёлто-стеклянный мундштучок.

– Значит, ваш фронт можно поздравить. После присяги у вас увеличится дух уверенности. Скажите, каков вообще дух войск?

– Дух войск прекрасен, несмотря на некоторое отвлечение внимания. – (Глухой монотонный голос, но этого не будем отмечать.) – Это естественное движение радости за освобождённую родину. Но армия быстро подавит его и сосредоточится на будничной работе войны. Мы будем держаться при всех обстоятельствах! – со стальной решимостью сказал Главнокомандующий.

На подбородке – бородавка, а на ней – свиток седых волос. (Вставить? не вставить? Для корреспондентской зоркости – ценно, для тенденции – не полезно.)

– Правда, к большому делу налипли тёмные люди. Теперь появилось множество самозванцев, они бесконечно опасны для народного дела. В одной волости сожгли земские продовольственные склады. Но это всё временное, преходящее... Всё это схлынет, станет на твёрдую почву.

– А что известно о намерении противника? Он готовит решающее наступление на Петроград?

– Очень возможно. Мы держим немцев только силой оружия. Двина – крепка, по ночам крепкие морозы, и если не будет внезапной быстрой оттепели – военные действия вполне возможны.

Совсем не генеральская, а интеллигентская приятная манера говорить и обращаться. Самому корреспонденту, даже не по профессии, просто приятно с ним говорить. Затронуть вопросы и более тонкие.

– А что вы можете сказать, генерал, о бывшем царе?

Генерал смотрит умными, усталыми, проницательными глазами:

– Да что же! Безвольный человек – вот почти всё, что можно о нём сказать.

Пожилой генерал с алым бантом на прямоугольной старой сильной груди в смехе показывает белые мальчишеские зубы и весело хрипит сквозь табачный горький дым:

– Между прочим, Государь не любил газет. Хотя неверно утверждают, что он их вовсе не читал.

– Но был ли он, по крайней мере, умён?

– Умён ли – не знаю, я его так мало знал.

– Разве мало?

– Мне редко приходилось с ним говорить. Я занят был своим делом. А он – всегда молчалив, и его молчание было не без хитрости. Не знаю, кому он верил, но мне – нет. Он постоянно прислушивался лишь к своим ежедневным советчикам, кто его тесно окружал. А кто видел его раз в месяц или реже, как, скажем, Михаил Владимирович Родзянко, – тот действовать не мог.

– Фредерикс? Воейков?

– Фредерикса, знаете, мне жаль. Разве можно винить его за преклонность лет или за преданность Государю? А вот Воейкова – нисколько не жаль.

– Протопопов?

– Не было более противостоящих фигур, чем Протопопов и я.

– А как влияла императрица?

– Да, она на него нехорошо влияла. Она и с матерью царя была в дурных отношениях.

Запишем так: с рыцарской сдержанностью, принизив тихий голос, Рузский говорит о роли царицы в интимных делах государства.

– Ужасно, ужасно... Царица имела определённое влияние на царя. Отсюда и многое объясняется в его характере. На него всегда имел влияние тот, кто последний сказал.

Да у генерала – просто бессознательно добрая, рассеянная улыбка. Он – как бы намекает на бесхарактерность и духовную шаткость отрешившегося царя.

– Это был... это был осторожный, скрытно-размышляющий человек. Но и – с большим жизненным опытом.

... Ещё недавно полный, но либеральный хозяин петроградской печати (когда он был командующим Округом), Рузский пользовался большой симпатией газетных кругов – и ценил это. Он знал, что отношения с прессой – деликатный пункт и эффективный путь. Чтобы завоевать общественное мнение, Главнокомандующий пристолычного фронта не должен пренебрегать печатью, а дружить с ней, это и есть собственно Петроград, а «Русская воля» сильна поддержкой банковских кругов, а с «Биржевыми ведомостями» особенно надо дружить, это газета самовластная. Да ещё всякий раз, когда он говорил о царе или особенно о царице, – в душе поднималась незабываемая, незатираемая обида, как он был снят с Северного фронта, безусловно по настоянию царицы, и вынужденно отдыхал долее своего лечения, и потом унижительно не назначался вновь, пришлось искать через великую княгиню и князей. Всегда в душе это приходилось подавлять, обсуждать только с женой, страдающей от унижений, – а вот теперь давление раздвинулось, рассвободилось, и можно было впервые высказаться открыто, для общества. Однако, именно в событиях последних дней генерал настолько потерял опору, чувство равновесия, что невольно искал его, даже и в этом интервью. Он как будто слишком зашагнул уже, зашагнул.

– Но надо помнить, что Александра Фёдоровна была совсем больная. Больное сердце.

– Но она – истеричка?

– Нет, нельзя сказать. Она – выдержанная женщина, в ней чувствуется характер. А вот девочки – мне очень нравятся, хорошие у них дети, симпатичные. Да и мальчик.

– Но скажите, отношения её с Распутиным... м-м-м... имели основу...?

– Нет, нет, – запротестовал Рузский. – Говорить об эротических отношениях недопустимо. Ничего такого не было.

Корреспондент с разочарованной миной рисовал карандашом петли в блокноте.

– Скажите. Но по крайней мере – был ли Николай Романов патриотичен? Или – равнодушен к нашей стране?

Рузский старался не проявить злопамятности:

– Судя по его словам – он был русским. Вы помните его заявление о войне до конца, пока последний немецкий солдат не будет изгнан из пределов России?

– Ну, это ловкая перефразировка Александра I.

Рузский искал: что же можно сказать о падшем царе хорошего?

– Да, он должен был послушаться голоса общества, проявить уступчивость – и ещё бы выплыл.

Пососал мундштучок. Не находилось доводов.

– Да, конечно, он сам виноват, что всё у него так сложилось.

Впрочем – улыбнулся подкупающей улыбкой, зная – что доброй, симпатичной, и это будет записано:

– Да что я буду судить? У меня у самого масса недостатков...

* * *

Подполковник Буря 4 марта шёл мимо сторожевого в Двинской крепости – тот нёс винтовку как палку и не отдал чести.

– Почему не отдаёшь чести?

– А я у тебя её не занимал!

* * *

В гусарском полку 16 кавалерийской дивизии на Стоходе сперва узнали, что Государь назначил Николая Николаевича, и были довольны. И только через полсутки – что царь, оказывается, отрёкся. Офицеры побледнели.

У немцев местами – оркестры, салюты. Бросают нам прокламации с аэропланов или привязывают к пропеллерам посылаемых мин.

* * *

В Симферополе начальник гарнизона генерал Радовский объявил выстроеным войскам манифесты об отречении. Объявил, что поддерживает новый строй и призвал пропеть всем вместе «Боже, царя храни». Войска пропели.

За это генерал получил неделю ареста.

* * *

В 193-м запасном пехотном полку в Хамовниках известие об отречении Государя было, в московской обстановке, по внешности встречено радостно всеми – и офицерами тоже. Да многие молодые и верили искренно, что вот теперь-то, освободясь от развала царской власти, мы и победим немцев, и война скоро кончится. А поопытнее, кто видел в этом конец России, – искали по одному молчаливых единомышленников: что предпринять? Собрать кучку сопротивления? – так уже видно, что никто за нами не пойдёт. Да ведь Государь сам отрёкся!... И оставалось каждому: просить ускорить отправку его из запасного полка на фронт. Может быть *там* ?...

* * *

Когда в Лифляндии на ж-д станции у Штоксмандорфа едущий на фронт запасной пехотный батальон узнал об отречении царя – он бросился громить пищевые пристанционные склады. Власти вызвали на подавление 5-й Уланский полк – но от нерешимости вернули его на позиции.

* * *

Вольноопределяющийся Б. в белой папаше с восточным лицом, в очках, крикнул батальонному командиру, ставшему на стул прочесть задержанные телеграммы:

– Что вы тут читаете? Николая уже нет! Извольте сойти...

Солдаты сорвали с командира наплечные ремни с револьвером и надели на Б. Он взлез на стул:

– Беру временное командование батальоном в свои руки. Господ офицеров мы пока арестуем: нужно выяснить, с народом они или против.

Солдат Альперович подумал: и надо ему, еврею, соваться? Как бы не испортил дела. А вдруг не выгорит, и мы, евреи, первые ответим. (Ему самому было стыдно такой рабской мысли.)

Но интеллигентное лицо Б. было полно ответственности.

Офицеров повели на гауптвахту. Солдатская толпа кричала: «Бей его, шкуру!» – «Ткни его штыком!» – «Дай ему чечевицы!» – «Расстрелять бы их, мерзавцев!».

Когда их отвели, кто-то крикнул:

– Теперь арестовать фельдфебелей и взводных!

– Арестовать! – откликнулось эхо.

Всякий, кто имел на кого злобу, – называл фамилию, и толпа кидалась искать обидчика.

Солдат, бывший землемер Зёрнов, стал протестовать:

– Какая ж это, братцы, свобода? Это безобразие.

На него показали:

– Вот этот... взять его... Он за старое правительство.

(Из «Биржевых ведомостей», 13.4.17)

* * *

Генерал граф Келлер, командир 3-го конного корпуса, был неутомимый кавалерист, проходивший по 100 вёрст в сутки. Когда, щеголяя молодцеватой посадкой, он появлялся перед полками в своей волчьей папаше и чекмене Оренбургского казачьего войска, его кавалеристы готовы были за ним куда угодно, по взмаху руки.

Теперь близ Кишинёва он велел собрать сводный строй ото всех сотен и эскадронов. Объявил с коня громко:

– Я получил депешу об отречении Государя и о каком-то Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и бои, и победы, не верю, чтобы Государь император в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и Россию. Я послал телеграмму: «Третий конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрёкся от престола. Прикажи, Государь, и мы приедем и защитим Тебя!»

– Ура-а-а! ура-а-а! – закричали драгуны, казаки, гусары. – Веди нас!

Но через несколько часов подтвердилось необратимое – и он сломал свою саблю перед строем.

* * *

В одних частях после отречения императорские портреты тихонько убрали сразу все. В других – остались висеть, и когда солдаты погорластее требовали, чтобы сняли, – начальники имели твёрдость отказаться: на то, как на всё, должен быть приказ. Но и им приходилось вскоре убрать: раздражали.

Офицеры, которые истолковали отречение как добрую волю царя и продолжали его хвалить, – вызывали недоверие этих горластых. А остальные – молчали.

* * *

В Казани в запасном полку солдат-пройдоха предложил (чтоб не идти на учебные

занятия): «Давайте сегодня пойдём на молебен по случаю получения свободы.» И все стали кричать: «Пойдём на молебен, не хотим на занятия!»

Но солдаты-татары, человек сорок, выстроились, подошли к офицеру: «Веди нас, ваше благородие, на занятия!»

Остальных уговаривали – сначала ротный командир, потом батальонный, полковой, – не помогало. Тогда полковник спросил громко: «А кто это хочет на молебен? Кто?» – «Вот я!» – выступил зачинщик. – «На тебе рубль, пойдёшь к батюшке, чтоб он тебе отслужил. А мы все пойдём, когда получим приказ.»

Угомонились.

* * *

Собрали на митинг 125-й Курский полк. На середину выехал автомобиль, с него стали ораторствовать капитан, солдат, рабочий, гимназист – он задиристей всех: Кровавый Николай... И наследник был не от императора, а от Распутина... Царизм разорил Россию до основания и только теперь, при свободе, будем воскресать и жить как в раю.

Только вот хлеба стали выдавать не 2,5 фунта, а два.

* * *

Полковник Оберучев, с молодости народоволец, потом с-р, стал первым военным комиссаром Киева и поспешил на военную гауптвахту подбодрить, кто там томился за уклонение от службы, побег и дисциплинарные проступки: что скоро утвердят их освобождение. Восторгам их не было конца. И вдруг с изумлением узнал, что уже сидит и первый «политический арестованный нового строя» – юноша-офицер, поляк. Командир их первого польского полка, формирующегося в Киеве, потребовал от офицеров письменного объяснения, как они относятся к перевороту. Этот прапорщик подал рапорт, что относится к перевороту отрицательно и стоит за Николая II. Командир полка арестовал его. Оберучев, всю жизнь ненавидевший этого царя, спросил:

– И вы, поляк, так любите Николая II?

– Да, я хочу видеть его на престоле.

– И будете стараться восстановить его?

– Непременно.

– Как же вы думаете это сделать?

– Если только узнаю, что где-нибудь зреет заговор в его пользу – немедленно примкну, – ответил без запинки.

– А если нигде не будет?

Юноша задумался:

– Составлю сам...

Но через несколько дней, почитав газеты, признался:

– Безнадёжно.

* * *

6 марта в 682-м пехотном полку, в тылах 2-й армии, после вечерней переключки фельдфебель 3-й роты Маляев обратился к дежурному поручику с просьбой разрешить ему разъяснить солдатам некоторые приказы. Получив разрешение, он стал перед строем говорить о текущих событиях и о выборе депутатов от каждой роты. После него ефрейтор 4-й роты Шумилов, уже без разрешения, выступил тоже с речью: что солдаты мало получают

мыла, отопления, освещения и скрыли от них приказ о выборе депутатов в Совет Рабочих, – а также почему у нас служат немцы и, между прочим, командир полка полковник Катхе.

Прибывший тотчас командир батальона штабс-капитан Хвесюк разъяснил, что приказа выбирать депутатов не поступало, а никаких приказов от них не скрывают, и советовал солдатам разойтись.

Солдаты как будто разошлись. Но вскоре человек 200 из этого батальона окружили штаб полка, а провода в штаб полка и во все батальоны прервали. Офицеры в помещении штаба были арестованы.

Тем временем полковник Катхе, георгиевский кавалер, возвращаясь из бани, зашёл на квартиру к штабс-капитану Хвесюку – и тут помещение окружили солдаты 1-го батальона. Из толпы вышел ефрейтор Шумилов и объявил: «От имени нового правительства арестуем вас!» Отобрал у полковника револьвер, шашку – и в санях, под конвоем двенадцати солдат отправил на железнодорожный разъезд Демехи, к гомельскому поезду. После этого была снята охрана с полковых телефонов. На следующий день в полку шли нормальные занятия, и других выступлений не было. Но разговоры текли: что офицеров с немецкими фамилиями мало арестовать, а надо поубивать.

Из Гомеля начальник гарнизона отправил полковника Катхе вместе с его конвоем – в Смоленск, в штаб Округа.

В 684-м полку той же дивизии офицеры передали командиру полка полковнику Яровицкому, что солдаты просят его по-хорошему сдать командование и покинуть полк, пока его не тронули. Полковник тою же ночью уехал в штаб дивизии.

* * *

Когда в запасной полк, стоящий в Борисоглебске, достиг «приказ №1», командир маршевой роты, зауряд-прапорщик из фельдфебелей, георгиевский кавалер, пытался скрыть его. Но нашёлся другой офицер, прапорщик из студентов, который собрал ротное собрание и прочёл «приказ» вслух. После этого маршевая рота потребовала: сменить ротного до её отправки на фронт. И выбрала новым ротным – прапорщика-студента.

* * *

В Режице против прибывшей из Петрограда беспокойной вооружённой группы был отправлен отряд Сумского полка. Но те – буйствовали, оскорбляли офицеров, а сумцы остались пассивны и стали присоединяться к мятежникам. По городу начались самовольные аресты.

Комендант Режицы сам отменил одание чести, заявив в приказе по гарнизону, что она необязательна.

* * *

Из тяжёлого артиллерийского полка, стоящего в Царском Селе, доносили о контрреволюционном настроении. Тогда из ораторской коллегии при петроградском Совете рабочих депутатов послали в полк агитатора. Он выяснил: эти артиллеристы недовольны «приказами №1 и №2» и требуют выпуска нового, толкового. Считают, что у нас нет свободы печати, а Совет рабочих и солдатских депутатов скрывает своё отношение к войне – и пусть выразит ясно. И сведения такие, что не у всех в Совете верны мандаты, и заседают хулиганы, и почему там нет делегатов от офицеров. И что за распоряжение не идти на фронт? – полк собирается идти. И как быть с землёй? – солдаты беспокоятся, что ничего не

получат.

* * *

В Царском Селе погоны ещё носились, но все нереволюционные офицеры – без оружия. Только кадровые офицеры ещё козыряли друг другу, да редко старые солдаты. (С поникшей головой смотрели на развязных мальчишек с папахами на затылок, расстёгнутыми, а то с девками под руку.) Можно было встретить солдат с офицерскими кокардами и офицерским оружием.

* * *

В некоторых тыловых частях солдаты волнуются: а не может вернуться старое? Подозрительно относятся к начальству. В одной части созывали на митинг, и командир полка распорядился: идти без винтовок. Это вызвало большое подозрение, и все пошли с винтовками.

Кое-где солдаты стали выставлять кроме приказно-уставных ещё свои караулы – у складов оружия, и непомерные по численности. Подозревают офицерскую измену.

«Вот пускай нам дают жалованья десятку в месяц. А не дадут – то мы пошабашим!»

* * *

Под Дерптом 282-й маршевый батальон арестовал часть своих офицеров, арестовал соседних помещиков, их управляющих, – и стал распоряжаться продуктами и инвентарём тех имений.

* * *

Присяга в спешенном лейб-гвардейском Уланском полку Ея Величества императрицы Александры Фёдоровны. Накануне командир полка полковник Миклашевский предложил офицерам: чтобы сохранить боеспособность полка – не отдаляться от улан, и для того надеть красные банты, ведь это – непринципиальная мелочь, да и Временное правительство признало этот цвет своим, и у него отнято прежнее бунтовское значение. И офицеры надели банты, иные со слезами. Развелись красные флюгера на пиках эскадронов, и непривычны были звуки трубачей. Скверно на душе. Но ведь – Россия оставалась, и вела войну?

* * *

При новой присяге солдат смущает, что каждый должен подписываться: «Не можно руку прикладать» (старое русское понятие). Делегаты разъясняют: «Потому что вы теперь граждане, и каждый должен сознательно подписать.»

В иных полках отказывались присягать под своим боевым полковым флагом, а лишь под красным.

* * *

В 80-м Сибирском полку первым председателем солдатского комитета стал священник.

В Егерском запасном батальоне в Петрограде избрали комитет совместный солдатско-офицерский. Председательствует прапорщик, секретарь – вольноопределяющийся с университетским значком, среди солдатских депутатов – студенты, актёры, журналисты.

* * *

В 31-м Сибирском стрелковом полку выборные ото всех рот явились ночью в штаб полка – арестовали командира полка и 19 офицеров «за то, что не сочувствуют новому порядку». И выбрали командиром полка поручика Крюкова.

* * *

9 марта в 11-й полевой тяжёлой артбригаде солдаты парка пытались арестовать командира бригады генерал-майора Яценко – за то, что он «идёт против правительства» (требует, чтобы его называли «ваше превосходительство»). Командир дивизиона уговорил солдат не арестовывать. Согласились, но решили послать своего выборного в Петроград с жалобой на генерала.

* * *

Ещё вчера солдаты качали поручика Тимохина, говорили, что верят ему, ничего дурного не предпримут. А сегодня он пришёл в роту – закричали ему «вон!» и объявили, что уже выбрали себе нового ротного.

522

Как раз сегодня думал Исполнительный Комитет начать свои заседания позже, и в новой комнате: более просторная №15, она и в спокойном коридоре и ещё отделяется от него передней, а там телефон, удобно.

И переезд уже начали с утра. Члены Исполкома были далеко не все, а между ними болтался очень возбуждённый Соколов, уговаривая каждого, кого ловил, что нельзя откладывать, Совет должен принять приветствие к польскому народу и заявить, что вся демократия России стоит на почве признания независимости Польши. Но слушали его рассеянно, отмахивались: одни заняты были переездом, другие не могли понять, почему именно независимость Польши – сегодня самый первый и острый вопрос. Даже интернационалист Гиммер не стал соглашаться с Соколовым: это – влияние польских буржуазно-патриотических кругов, а мировое классовое единство пролетариата запрещает нам содействовать всякой национальной независимости, как впрочем и препятствовать.

В новой комнате была разрозненная мебель (наверно, что-то растащили в эти дни по другим комнатам). Прежде всего, не было большого стола, за которым мог бы разместиться весь разросшийся Исполнительный Комитет. Стулья – разнородные, иные шатались. Были плетёные кресла, но часть продавленные. И стоял – роскошный турецкий диван. И – великолепное золочёное трюмо, на которое невольно скашивались глаза даже членов ИК.

Но ничего ещё не успели как следует скомплектовать, ни внести рабочего стола (а стол с закусками и тем более ещё в прежней комнате), как разразилась гроза: комиссар Исполнительного Комитета по железным дорогам телефонно донёс, что получил тревожнейшее сообщение железнодорожников: в настоящий момент по железным дорогам движутся два литературных царских поезда – и движутся они сразу к границе, видимо к Торнео:

а цель у них – эвакуация бывшего царя в Англию!

Потрясающе! Ошеломляюще!

Как всякое слишком огромное и неожиданное известие, оно отбивало память, лишало способности соотнести и сообразить. У всех начисто отбило, что кажется только вчера и царь и царица с детьми – арестованы, да ещё порознь, в разных местах, так что и соединиться им неизвестно когда бы. Никому в голову не пришло переспросить: а на каком же именно участке движутся литерные поезда? Уже ли прямо к Торнео, миновав Петроград? Они грозно двигались, и этого было довольно, и стук их колёс, усиленный страхом, загрохотал в Таврическом! И наконец: откуда это всё, и станция назначения, стало известно железнодорожным служащим? Значит, точно!

Никто из членов Исполкома, наскоро скликаемых теперь в новую комнату, не догадался это проверять, – да потому что именно верностью своей, классовой верностью и необходимостью пронзило проклятое известие: именно так, коварно и подло, и всегда бежали все венценосцы! именно так, коварно и подло, и должно было поступить буржуазное классовое правительство! именно так и должно было сработать их предательское нутро! А нам, пролетариям, стыдно! и нельзя было забываться и доверяться! И ведь мы же вчера постановили, чтобы при аресте присутствовал наш депутат – а Временное правительство опять тайно послало своих!

Пришедшее известие быстро обрастало и подробностями, неизвестно откуда прилипнувшими, но также несомненными: об этом вчера было ночное тайное совещание правительства! До сих пор поездка откладывалась только из-за болезни детей. Весь приказ об арестовании царя был чистый обман! Они не решили окончательно, направить ли поезд через Торнео или через Архангельск, но поручили Керенскому сопровождать Романовых до самой Англии! Нет, только до порта отправления!

Изменническое Временное правительство – но и Керенский же изменник революционной демократии! То-то скрывается он, змея, никогда не бывает на ИК!

В необорудованной комнате с зияющей серединой собралась стоя неровная дюжина членов Исполкома, кого нашли в Таврическом и созвали. Все были охвачены волнующей тревогой, никто не курил, и никто не жевал. Лица были мрачны, позы напряжены – вся обстановка ещё этой неустроенной комнаты напоминала первые дни Таврического, когда дыбилась революция, и власть колебалась.

И первое распоряжение Скобелева было: поставить воинскую охрану у дверей передней комнаты – чтобы никто не мог напасть неожиданно на Исполком, ибо неизвестно, как далеко прочернилась и проползла измена.

И никто не пытался сесть, даже Чхеидзе со слабым позвоночником. Так и стояли все большим кругом вокруг пустой середины, набираясь тревоги из лиц других или потерянно глядя в пустой пол.

И начались напряжённые прения. Не брали слова у Чхеидзе, но говорили, у кого что рвалось из груди. Говорили – все, и даже по несколько сразу, и даже Соколов отстал от польской темы, но уронил бородку на жилет, сражённый предательством цензовых, а у Чхеидзе грузинский акцент обострился до зловещего клёкота.

Это – продолжение всё того же гнусного замысла гучковской поездки! – они хотят без нас, тайным договором с Романовыми, решить форму правления!

И решить – в пользу монархии!

Да, ясно! Они хотят сохранить монархию!

Это – шаг к реставрации!

И это им будет очень легко сделать: разве то был настоящий акт отречения, по всем правилам?

Контрреволюция хочет сохранить монарха для своей чёрной игры!

А там вмешается империалистическая Великобритания – и реставрация неминуема!

Да ведь ещё: царь знает наши военные тайны! Передаст Германии, всё раскроет!

Да разве можно выпустить Николая II за границу?! Располагая колоссальными

средствами, припрятанными на чёрный день в заграничных банках, – он легко организует заговоры против нового строя!

Будет питать черносотенные происки!

Рассылать наёмных убийц!

– Да ни один монарх на свете, – восклицал бледно-жёлтый Гиммер, – не поколеблется расправиться иноземными штыками с родной страной, раздавить свой «родной народ» для утверждения своих «законных прав», – и даже не поймёт, что это – предательство, но его естественная функция!

Величайший тиран, палач, – и куда же бежит? в «великую демократию»!

Приютившую Маркса! Герцена! Кропоткина!

Да нет, не может быть даже речи, чтобы пустить его за границу!

И в России оставить его на свободе – пагубно для дела революции.

Но что же делать?

Мысли терялись.

Что делать – это было самое трудное. Задержать – да, но – как? но – где?

Мысли – разбредались, кто-то перескакивал на опасность великих князей, и, сравнительно, в каком порядке кто кого опасней.

Да **опасней** всё это вместе было, чем у французов во время бегства Людовика! Тогда – только король бежал. Сейчас – изменяло само правительство!

Тень вареннского бегства, королевской ночной кареты, – великие тени колыхались призрачно над неровным кружком исполкомовцев, в неполном кворуме вместо трёх дюжин.

Они чувствовали себя – Конвентом, и ещё больше и ответственней того прежнего Конвента!

И кому трюмо высокое попадало в глаз – от этого трюмо, охваченного бронзой, почему-то становилось ещё особенно зловеще.

Задержать – да, но где и чьими силами?

Всегда тяжеломерно-решительный Нахамкис тоже не мог предложить конкретно.

Но тут появился чистенький Филипповский во флотском мундире (такой всегда странный среди профессиональных революционеров) и подал простую мысль: где бы сейчас ни находились царские поезда и направляются ли они через Торнео или через Архангельск, – им не миновать Петрограда. И значит, прежде всего надо: усиленными воинскими частями занять все петроградские вокзалы. А для того чтобы обеспечить их верность Совету – придать к ним комиссарами офицеров-республиканцев, из нового союза, который организовал Филипповский же. Кроме этого, можно чрезвычайных комиссаров выслать вперёд, по трём линиям – на станции Тосно, Званку и Царское Село, чтоб они организовали заставы там.

Это сразу приняли – и Филипповский, по-флотски повернувшись, пошёл исполнять.

Вослед ему ещё догадались: поставить под ружьё рабочие боевые дружины! по всей столице!

Но об этом надо было просить большевиков – а не было сейчас тут ни Шляпникова, ни всей большевицкой верхушки. Только вёрткий толстенький Козловский. Просили его – идти, звонить своим, просить.

Эти простые мероприятия облегчили головы – и стало легче думаться.

А не послать ли ещё телеграмму на все-на все станции, всем железнодорожникам: задерживать царские поезда, где только ни заметят?

Послать.

А – что же с Временным правительством? Свергать ли его? Арестовать? Разогнать?

Или – выяснить обстановку? Послать делегацию, узнать, что они имеют в виду? Поставить им ультиматум, царя содержать – под строгим арестом!

И под наблюдением Совета! любое перемещение царской семьи – только с разрешения Совета?... И никакой мысли об Англии!

Но от главного, от главного не должна была уклониться мысль: а с царём? Вот теперь,

очевидно, мы задержим его, – но что же с ним делать дальше?

Пылающе-презрительный вид Александровича показывал, что не ждёт он от этих жалких меньшевиков произнесения главного слова: отрубить голову! Все эти социал-демократики ещё немели перед обаянием трона.

Вот, через несколько часов, царь попадётся – в руки наши, не Временного правительства, – так что же?

Петропавловская крепость! Трубецкой бастион! Хотя б это грозило и полным разрывом с Временным правительством!

И сменить весь командный состав Петропавловки – чтобы не было подкупа и побега. Прежнему офицерству – не доверяем!

Всё так, но... кто-то должен прежде – арестовать царя. Это – кто-то из нас. Кому же?

И когда вопрос этот прозвучал – каждый стал искать глазами по кругу – кому ж из присутствующих поручить арест царя?

Посмотрели на Чхеидзе – куда ему, дряхл. На Скобелева? Тоже растяпа. Соколов? – болтун. На Цейтлина, на Шехтера... (На Гиммера и смотреть не стали.) Александрович и Нахамкис – вот были тут двое подходящие.

Но кто-то сказал:

– Нет, товарищи, арест царя – исторический акт. Это должен сделать по возможности русский и лучше всего – чистокровный рабочий.

Стали опять оглядываться: рабочего среди них не было вообще ни одного, да и русских – обочтись.

– А – Гвоздев? – догадались. – Где Гвоздев?

Гвоздева, оказывается, не было в кругу, забыли его позвать, и он в другой комнате возился, конечно, со своими заводами.

Решили – поручить Гвоздеву!

Все согласились, только один Александрович ворчал.

ДОКУМЕНТЫ – 18

9 марта 1917

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВСЕМ

От Исполнительного Комитета Рабочих и Солдатских Депутатов. По всем железным дорогам и другим путям сообщения – комиссарам, местным комитетам, воинским частям.

Всем сообщается вам, что предполагается побег Николая Второго за границу. Дайте знать по всей дороге вашим агентам и комитетам, что Исполнительный Комитет приказывает задержать бывшего царя и немедленно сообщить в Петроград, Таврический дворец.

Чхеидзе, Скобелев

Сидел Гвоздев в Комиссии по возобновлению работ и тянул как вол, потемну начиная и потемну кончая, и это ещё не ходя на заседания Исполкома, времени не терять. Но прежде хоть был в подсобу Рабочей группе Военно-промышленный комитет, а теперь его как не стало (лишь вчера в городской думе собирались об нём торжествовать). Правда, Коновалов, уже от министерства промышленности, иногда выпускал воззвания к рабочим – как пшики, никто их не слышал, – и все усилия, как убедить рабочий класс воротиться к работе полностью, ложились на Гвоздева и его комиссию. (В ней был теперь ещё Богданов – так он всё ходил председательствовать на общие собрания Совета, стал незаменимый председатель. Ещё Панков был, так его только за глотку держи, чтоб не вопил: «бей мастеров!») Телефон в

их комнате не умолкал, и посыльные то и дело уезжали на заводы и возвращались с них с новостями неутешительными.

Хотя четыре дня назад и проголосовал Совет восстановить работы, но с тем, что «по первому сигналу снова бросить», а пока – «вырабатывать экономические требования». Как позвано, так и услышано, так рабочие и вернулись: не к станкам, а больше – хулиганить. Редко где работа началась по-настоящему, но и там собирались в митинги, требовали оплатить им полностью дни революции и вообще повысить оплату. Где волюнили, не становились к станкам, где работали попустя руки, зато на каждом заводе измышляли свои новые требования, а пуще всего не подчинялись мастерам, оскорбляли их и даже вывозили на тачках. Или требовали уволить директора. И такое пошло дикое: что мастера теперь должны быть не по званию своему, а самими рабочими выбраны, хоть и из рабочих же. Но это уже был – конец всякого завода.

Но – что было делать Козьме? Он звал рабочих умеряться, не так-то зараз всё требовать, – но поди уговори своевольников, ведь революция победила! Избалованью лишь потачку дай, люди от отпуска всегда бешенеют, всякого человека только работа и держит.

А тогда и заводчики выходили из терпения и грозили локаутами. Всё опять кренилось развалиться.

А не слушались рабочие и Совета депутатов – так кого они тогда вообще слушались?

Но Гвоздев, как ни сокрушался их хулиганством, по положенью своему не мог стать твёрдо против: это б значило и вовсе качнуть рабочую массу к большевикам, те только и ждали. Без рабочего единства и вовсе бы ничего нельзя из заводчиков вытянуть.

А большевики поджимали на Совет, и тот грозил заводчикам, что даже при малейшей попытке локаута будет отбирать такие предприятия в управление рабочих коллективов.

А заводчики – ещё более от того шарахались. А Козьма – веди с ними переговоры, убеждай.

До сего дня очень помогал Гвоздеву советами и наладкой дела – Пётр Акимович Ободовский, то и дело забегал в комиссию по труду. Но с сего дня назначили его ещё, вместо генерала, и по снабжению металлом заводов, – стало быть теперь перейдёт он на металл, Козьме падает поддержка.

Да ведь если б только своё дело! – но состоял же Гвоздев и членом финансовой комиссии Совета, и автомобильной комиссии, а там был свой разворох дел, и надо тоже вникать.

А вчера на Исполнительном Комитете едва что не выбрали Гвоздева ещё в Контактную комиссию, на постоянные переговоры с правительством. Сла-Богу, пронесло.

Да чего на Исполкоме не издумывали? Три дня назад почему-то именно Козьме вдруг поручили ехать и закрывать «Новое время». Почему – именно ему, хотя и без него там было говорунов и в издательской комиссии и в агитационной? А – неприятное дело, никому не хотелось пятнаться, подставляли вместо себя безответного. Но и это пронесло, передумали закрывать «Новое время», как-то те уластили Совет.

И вдруг, после тёмных, густо-заботных дней – сегодняшний принёс Козьме совсем неожиданную, необхватную радость: от петербургского «Общества фабрикантов и заводчиков» позвонили ему, потом прислали на переговоры – да каких уступчивых! Это ж самое общество фабрикантов никогда и слышать не хотело ни о восьмичасовом, ни о минимуме заработной платы. Ни о чём разумном они слышать не хотели. А тут вдруг, о чём и грезить было невпопад, – в один раз согласились по всему Петербургу на восьмичасовой день, и без понижения притом заработной платы, – и подписывать хоть завтра, вот диво-то! 30 лет лозунгами носили рабочие, сами никогда не верили, – а вот, пожалуйста, сдавались капиталисты!!!

Так что ж, получалось, что всё это озорство, нахальство, хулиганство – оно и помогло? Вот те так! Значит, по-хорошему ничего с людьми нельзя, а только силой?

Тут меньшевицкая «Рабочая газета», ещё не споровясь, писала, что бороться за 8-часовой день несвоевременно, – а заводчики, вот, уже несли на блюде. Соглашались они

теперь и на фабрично-заводские комитеты и на примирительные камеры, – только чтобы без разбора в этих камерах не удаляли самовольно мастеров и административных лиц.

Так Козьма и сам так думал. Так конечно!

Вот живо дело пошло, вот нечаянно! Неужто всё и обойдётся миром, ладом? Да лучше и не придумать.

И только собрался Козьма идти на Исполком докладывать о такой победе – как и за ним оттуда прибежали: туда иди скорей! Козьма и пошёл проворно.

А они в новой комнате стояли все на ногах кругом, возбуждённые, – да уж они знали?...

Не, лица все были мрачные, даже перепуганные. И все повернулись к нему, как к главному виноватому.

Да что ж эт такое приключилось? Да в чём же Козьма оступился? Открыл он рот в оправдание, объявить им свою радость, – нет. Ото всех Чхеидзе:

– Товарищ Гвоздев! Исполнительный Комитет поручает вам арестовать бывшего царя Николая Второго!

Что это? Почувствовал Козьма, что вдруг вся краска ударила ему в лицо, густо, как уж он забыл, когда и было.

И все увидели эту краску на его лобастом лице – и смотрели на него ещё более как на виноватого.

– Что это? – бормотал Козьма, растерявшись. – Другого дела у меня нет? Другого человека у вас нет? Что это?

И правда, не знал он за собой ни заслуг таких, ни такого выдатья на всю Россию, чтобы вот именно вдруг ему – да царя арестовывать. Да он и не гош к тому. Да он и не...

Пробасил Нахамкис поощрительно:

– Товарищ Гвоздев! Это большая честь! Вы должны гордиться!

Подскочил и Гиммер, как воробей на одной ноге:

– То он вас арестовал – а теперь вы его! Справедливо!

Этого Гиммера, прости Господи, терпеть не мог Козьма: уж такой надседливый, надоедный в Совете человек – и самый бесполезный: ничего никогда не делал, только речи свои пропискивал.

– Да почему же – я? – руки разводил Козьма, из головы даже вылетело, с какой победой он шёл.

Но никто не объяснял, почему – он, почему – сами не идут. Молчали.

А сказали, что сейчас будет выписан ему мандат на царя. К сожалению, неизвестно, где именно находится царь, где именно его арестовывать, но скоро выяснится, сообщат, тогда туда и ехать.

А сейчас на помощь аресту будет собрана рота семёновцев и рота пулемётчиков.

И надо арестовать также всех без исключения членов династии. А их имущество будет конфисковано народом.

Приподнял руки Козьма, возражать, – не насчёт династии, насчёт себя, – ослобоньте, мол. Нет, стояли все слитным, грозным кругом: только ему!

Так, с приподнятыми руками, как с подхваченным беременем, и отправился Козьма к себе в комиссию по труду. Про восьмичасовой день так и вылетело.

Почему-то сильно его оглоушило. Одно, первое, отрываться от своей работы досадливо, никак нельзя. А второе: неподым тяжело.

Это неправильно Гиммер прошебетал: он – тебя арестовал, а ты – его. Он – царь, тут уклону нет. Не Николай бы Второй правил Россией, так другой кто-нибудь.

А жил себе в России – Козьма Гвоздев, помощник машиниста и токарь. Тот – царствовал, а этот – точил на токарном станке. И никогда бы в голову не запало, что скрестятся их пути, да в такой час неровный. Да с таким мандатом.

Принесли мандат. Росчерки лихие. Жирная печать.

Смотрел на него Козьма безо смысла.

Царя арестовать – как-то не гораздо.

524

Сергей Масловский был человек – драматически неиспользованных возможностей, как и всегда гибнут лучшие таланты на Руси в её кошмарно-неблагоприятной истории. Индивидуалист *par excellence*, романтик-борец с душой конквистадора, – что бы он мог, если бы перед ним развернулись просторы! Но едва не захлопнулась тюремной дверью неудавшаяся революция, а теперь, в удавшуюся, ведь он побывал на самом важном месте, в центре урагана, – но опять ничего не достиг, и вот тяготился в Военной комиссии каким-то писарем на офицерской должности. Однако за эти первые дни упустил и кооптироваться в Исполнительный Комитет, это уже просчёт непростительный, Революция пошла гигантскими шагами, и другие имена были вписаны в её раскалённую летопись. Все занимали места, а Масловский везде опоздал, и только складывал про себя, как бы мог ядовито выразиться про этих выскочек-министров: что они сменили воротничные салфетки общественных ужинов на портфели общественного кабинета. О-о, он умел выражаться преостроумнейше, прерадовитейше, как он укусит – так никто, но не возникло и новых журналистских мест, кроме грязных «Известий», а во всех солидных газетах все места были укомплектованы своими пишущими мальчиками.

И оставалось, оставалось... опять отдаться своим литературным надеждам (псевдоним Мстиславский будет хорош и даже чем-то страшен), да посещать квартиру Гиппиус и Мережковского на углу Потёмкинской, тут же близко, – всегда к нему внимательных и возможных будущих покровителей на литературном пути. Им изливал он и всё своё недовольство Советом рабочих депутатов и его стихийностью. Если вдуматься – то и новая Революция не слишком удавалась.

И вдруг – Революция ещё раз позвала Масловского, на своём огненном пролётном языке: со 2-го этажа Таврического его позвали на 1-й, в Исполнительный Комитет, – там, в неустроенности, у конца случайного стола сидели Чхеидзе, Соколов и Капелинский – сильно раздёрганные, Соколов с заломленными фалдами сюртука, всегда аккуратный Капелинский с отбившимся на сторону длинным галстуком, а Чхеидзе – трагически вращая глазами.

И вот что они ему объяснили (в Военной комиссии, за рядовыми бумажками даже не знали этого ничего). Сегодня утром были определённые сведения, что Временное правительство обмануло Совет и тайно гонит царский поезд к какому-то из портов для отправки царской семьи за границу. Исполком принял все меры по железным дорогам – остановить! Сейчас получены последние сведения: царь прибыл в Царское и отвезен во дворец как арестованный. Необходимость его перехвата и ареста таким образом отпала. Однако поколеблено доверие к Временному правительству: где гарантия, что они не предпримут такого шага снова на самом деле? Вся охрана дворца – в руках Корнилова, – но, в конце концов, что мы знаем о генерале Корнилове? У него есть демократическая репутация – но так ли он предан народу? Мы должны обеспечить себя от всякого возврата Романовых на историческую сцену. Да за границей у него колоссальные богатства, к нет двух мнений, что он использует их в борьбе против народа. Не ясно, что надо сделать, – но что-то надо! Уже были разогнаны многие меры: заняты вокзалы, собраны кое-какие войска. Но ещё какую-то демонстрацию нужно сделать, чтобы Временное правительство получило урок и остерегалось, да и жаль покинуть начатые приготовления. Так вот предлагается: Масловскому как человеку решительному. (Масловский не мог не ответить признательным кивком) – поручить – поручить ему – совершить нечто эффектное, найденное на месте: перехватить царя в руки Совета и в Петропавловскую крепость? Или хотя бы проверить условия содержания его в Царском Селе? установить действительность охраны? Что-то такое, чтобы почувствовало Временное правительство, и подавить все поползновения Романовых!

Так! Настал. Настал великий час. Тот миг, для которого он и жил всегда, конечно, – а

вот уже думал, что пропустил. Ему! – потомуку поблекнувшего, оттиснутого дворянского рода, – ему и войти к царю – печатающим беспощадным шагом. Наше происхождение и обязывает нас к подвигам. Он слишком долго был беспомощно зажат в проходах меж библиотечными полками. (А для писательской биографии – какой это случай! Какая пища острому едкому глазу!)

Так! Революция подошла к своему роковому неизбежному повороту – бегству короля! Взлетающий миг! (Нота-бене: однако и не споткнуться, тут – прямая конфронтация с правительством.)

Что делать? Прежде всего – чего не делать? Не надо было Совету передавать власти Временному правительству, а себя ставить в какую-то постороннюю позу. Теперь – что делать?

Ах, это было слишком ясно! Зачем полунамёки, полупризнания и полуклятвы? Всё революционное нутро Масловского встрепенулось навстречу прямому ответу: **цареубийство**! – вот пламенный язык революции, вот кардинальное решение вопроса, и никакой реставрации никогда!

Но из присутствующих – один лихой Соколов мог одобрить, ему доступны были крайности. А те двое, как и вся почти головка ИК – заячьедушные меньшевики, от полнозвучия такого решения у них лопнут барабанные перепонки!

Обещать же им только усилить охрану дворца – было бы презренным компромиссом.

Ещё и первых слов не сказав, Масловский внутренне так вырос, так напрягся – к великому мигу своему и российской революции, – сам удивился своему властному голосу:

– Как я буду называться? Эмиссар Совета?

– Комиссар для надзора, – сказал Чхеидзе.

– Хорошо. Пишите мандат, – читал из невидимого, зажмурясь: – Принять всю военную и гражданскую власть в Царском Селе... для выполнения возложенного на него особо важного... особо важного государственного акта!

Акт! В это – всё могло входить. И – любые меры к изоляции царя, и, конечно, проверка условий его содержания. Но и любые меры – к его расстрелу. Хоть сегодня же, там же... Комиссар сам ещё точно не решил, не знал, но – государственный акт.

И не теряя минуты – помчался собираться. Внутренне – он уже вырос. Но не хватало перерождения внешнего. На нём был хотя и военный мундир и шинель офицерского покроя – но без погон, а только интендантский значок. Библиотекарь он был – не военный служащий, а вольнонаёмный, мундир и шинель носил незаконно. На вопросы, кто же он есть, – отвечал: «Масловский, без звания.» **Без звания** – можно было понять и высоко, как бы не вмещаясь в офицерские чины, но можно было, увы, понять и – как нижний чин, рядовой.

Уж этого – исправить было сейчас нельзя, но пока печатался мандат – вот как вышел из положения Масловский: у одного кубанского казачьего офицера в Таврическом выпросил до конца дня устрашающую кавказскую папаху и полушубок без погон. Полушубок придавал ему сразу боевой, дикий, иррегулярный вид, так что не придёт и в голову спросить звание. А папаха – дивная, чернобарашечья, со многими шевелящимися змейками завитков, да ещё утроившая голову его по объёму, – воистину была как голова горгоны со змеями.

Перед золочёным трюмо исполкомовской комнаты, ещё опоясавшись чужою шашкой, проверил – очень страшно! очень выразительно! (Только усы – штатская щётка, вот когда голое лицо.)

И – браунинг в кармане полушубка! Он ощутил в себе – безднопропастную революционность. Даже самому страшно этого размаха.

Мандат был готов, подписан Чхеидзе. Так, да не так: «принять всю военную и гражданскую власть в Царском Селе» – да, но «государственный акт» – сробели меньшевички, а: «особо важное поручение»...

Ну, в это тоже входит...

Автомобиль – ждал у подъезда. Свита – два офицера-республиканца: штабс-капитан

Тарасов-Родионов, пулемётчик, и уже знакомый понятливый прапорщик Ленартович с подвижным лицом.

А на вокзале должны были ждать их уже собранные рота семёновцев и рота пулемётчиков из 1-го полка. И действительно – ждали. Семёновцы – довольно распущенным строем, при них – неуверенных два офицера. Пулемётчики – грозней, из-за своих станковых, на колесиках. (Рота не рота, а семь пулемётов есть.)

И Гвоздев встретил их на ступеньках вокзала радостно: передать постылое командование да ехать по своим делам. Действительно, вид его, такой уж белобрысый, наивный, никак не подходил для великой революционной задачи.

На перроне зеваки смотрели на солдат, вкатывающих пулемёты в пригородный поезд. Какой-то дежурный газетный корреспондент цеплялся – кто такие? куда? зачем? – но не так был прост Масловский, чтобы поделиться с корреспондентом. Да солдаты сами рассердились и прогнали его.

Тронулись.

Штабс-капитан предложил обсудить тактику – но Масловский, под жуткой своей папашой всё возрастая, всё возрастая, не удостоил его обсуждения. Его беспогонство возвышало его и над штабс-капитаном.

Мандат был – необъятен.

Уже в пути семёновский офицер даже не доложил, а так, в нынешней революционной манере, обронил, что семёновцы едут с пустыми винтовками, патронов почти не везут: не хотели брать, тяжесть таскать, убедить их не удалось.

Хо-хо... А какой ещё там боекомплекту пулемётчиков?

525

Сегодняшний день складывался у Павла Николаевича невыразимо приятно. С утра в своём министерстве у Певческого моста он назначил первую встречу с корреспондентами газет. Во второй половине дня, – ввиду особой торжественности уже в Мариинском дворце, – весь состав правительства должен был принять признание от иностранной державы – Соединённых Штатов Америки. Великие Соединённые Штаты имели смелость официально и полностью признать русскую революцию и притом хотели непременно первыми. (И Милюков охотно вошёл для того в малую конспирацию с американским послом Френсисом, давая опередить других союзников.) В этой послеполуденной церемонии Павел Николаевич также был именинником и ведущей фигурой: как по положению министра иностранных дел, так и по особым своим связям с Америкой, где он был первым популярным изъяснителем России и первым пророком падения царского режима.

Итак с утра в роскошном зале министерства с высокими окнами, раскинутыми серо-зеленоватыми шторами и в pendant к ним лягушачьим ковром – в креслах с высокими овальными старинными спинками рассаживались представители петроградской и московской прессы, человек около двадцати.

Павел Николаевич и всегда остро любил прессу – этот живо-отзывчивый нерв общества, выражающий самую душу его. И в каком-то отношении, в одной из функций своих, как передовик кадетской «Речи», он и сам принадлежал к ней, не в репортёрском, конечно, смысле. Общество газетных корреспондентов, исключительно восприимчивое, острое, было для Павла Николаевича, может быть, самым интересным, более перчистым, чем скучные порой профессорские компании или блеклые иногда собрания кадетского ЦК. Когда между думскими заседаниями Милюкова обступали корреспонденты, то их волнующее понимание извлекало из его уст часто наилучшие формулировки. И вот сегодня, с большинством хорошо знакомый, но впервые выросший до своих подлинных размеров, – он встречал их как хозяин, сохраняя и дружески понимающий тон, и сознание своей несравнимой ответственности.

Сперва два корреспондента, встав из кресел, приветствовали Павла Николаевича как

первого общественного министра иностранных дел России. Это воспринимается как общий их праздник и надежда, что теперь отношения между министерством и печатью...

О да. Павел Николаевич благодарил. Да, их встреча застаёт правительство, избранное русской революцией, в конце первой недели его деятельности. Сам он хотел бы управлять своим министерством в соответствии с величием переживаемого момента. На посту руководителя русской внешней политики он намерен внимательно прислушиваться к голосу общественного мнения, наиболее чутко выражаемого печатью.

Заявление Милюкова не было написано им заранее, все эти мысли настолько ему органичны и выношены, что не могли составить затруднения в изложении.

– Господа, – говорил он с наслаждением к процессу речи именно перед ними. – Я считаю, что моя первая задача состоит в том, чтоб укрепить и упрочить тесные узы, связывающие нас с нашими союзниками. До сих пор нам приходилось краснеть перед союзниками от позора за наше правительство. И сами союзники стыдились его. Мы даже не могли быть уверены, что русское правительство окажется верным союзным обязательствам. Теперь же в итоге великого переворота отсталая Россия стала равной передовым западным демократиям, и союз с нами уже никого из них не может компрометировать. До сих пор Россия была единственным тёмным пятном во всей противогерманской коалиции, она тяготела мёртвым весом над державами Согласия. Но теперь наконец мы можем не стыдиться самих себя и выступать с сознанием своего достоинства. Теперь никто не может сомневаться в нашей искренности. Мы получили право обсуждать высшие освободительные цели войны – положить конец германским мечтам о гегемонии и не упускать из вида освобождение народностей Австро-Венгрии.

Светло и твёрдо блистало пенсне Милюкова (он за своим столом сидел, не стоял, – дружественная теплота беседы пересиливала её официальность). Карандаши и автоматические ручки радостно, уписчиво двигались по блокнотам, не все успевая.

– Да вот вам поразительный признак перемены. Вот только сейчас, утром, я получил телеграмму от человека, который был известен как злейший враг России, – от крупнейшего американского банкира Якоба Шиффа. Он пишет, я позволю себе зачитать: «Я всегда был врагом русского тиранического самодержавия, безжалостно преследовавшего моих единоверцев. Но теперь позвольте мне приветствовать русский народ с великим делом, которое он так чудесно совершил. Позвольте пожелать вам и вашим коллегам в новом правительстве – полного успеха.»

Корреспонденты просили дать им потом телеграмму полностью.

– Вот, господа, старый режим действовал как тормоз против Соединённых Штатов. А теперь все наши союзники сразу стали на сторону нового порядка в России. С необыкновенной поспешностью они намерены официально признать новый строй. Но естественно, они рассчитывают на быстрое укрепление нашей военной дисциплины, и на нас лежит долг это доверие всячески оправдать. Сохранение военной мощи сейчас для нас особенно важно. Надо покончить с такими актами поколебания дисциплины, как неудачный «Приказ №1». К счастью, никаких дальнейших эксцессов нет и, надеюсь, не будет.

А – в Германии какое впечатление от нашего переворота? – спрашивали корреспонденты.

Вопрос был не простой. Имело смысл ответить на него двояко, ибо тем извлекалась двоякая же польза.

– С одной стороны, германцы стали рассчитывать воспользоваться временным ослаблением нашей военной мощи, чтобы произвести сильный натиск на Северном фронте. Как раз сюда уже прибывают германские подкрепления.

Строчили быстро.

– Поэтому всякий гражданин, кто не хочет нового торжества немцев, должен способствовать восстановлению военной дисциплины. Опасность велика, и русская армия должна приготовиться отразить её, это вопрос чести русского народа. И в интересах достигнутой свободы.

(Этот момент чрезвычайно важно разнести широко.)

– Ну, а с другой стороны... С другой стороны, в Германии распространилось ложное представление, что русская революция выражает победу пацифизма, что теперь можно будет склонить Россию к сепаратному миру. Но не мне вам говорить, господа, что это странное толкование может вызвать только улыбку. Не следует преувеличивать пацифистское движение среди части наших социал-демократов. И считаю своим долгом предостеречь, – его голос пожелезнел, и призрак собственной железности, повторный призрак его знаменитой ноябрьской речи поднялся в корнях его волос, – что люди, свергнувшие Штюмера за его стремление к сепаратному миру, – никоим образом не пойдут ни на какой сепаратный мир.

Получилось, что сказал прямо о себе. Но не только так, но и – твёрже, но и – заветное:

– В частности, в наши национальные задачи теперь ещё более укладывается ликвидация турецкого государства. Это государство, созданное завоеваниями, за 500 лет не могло перейти к гражданственности, не достигло уровня современных культурных государств, – и оно не может существовать!

Записали как сенсационное.

Ещё – о том, о сём. Спросили о возможной продолжительности войны.

– Несомненно война – уже на скате, господа, мы приближаемся к развязке. Силы врага убывают в большей пропорции, чем у нас. И уже в середине лета можно будет с уверенностью определить сроки окончания войны. Война закончится торжеством права и справедливости. Если дисциплина будет сохранена, если мы справимся с собою – мы справимся и с врагом. Прекрасная будущность обновлённой России будет обеспечена!

Беседа вскоре была закончена в тёплой, даже ласковой обстановке.

А так как Павел Николаевич, предвидя дипломатический приём, уже был во фраке, то ему оставалось лишь выпить чашку кофе, подписать десяток поданных бумаг – и, продолжая триумфальный день, ехать от Певческого моста к Синему.

В Мариинском дворце, в роскошной ротонде, с 32 колоннами и 32 люстрами в два яруса, золочёной лепкой потолка под купол верхнего света, уже велись приготовления ко встрече американского посла, но возникали разные затруднения, в частности, каким же знаменем декорировать сторону Временного правительства, своего же знамени не оказывалось теперь? Дав одно, другое, третье указание, Павел Николаевич отправился в кабинет князя Львова. Он не упускал теперь всякой возможности встретиться с князем наедине, чтобы вернее его направлять. Ещё не так легко было застать его без Некрасова, без Терещенко, без...

Но тут князь оказался один, и можно было присесть на короткое совещание с ним.

Павел Николаевич намеревался информировать премьера о вчерашнем довольно неожиданном повороте разговора с английским послом. При духовной близости, возникшей теперь между демократической Россией и демократической Англией, и с тем, что Бьюкенен согласился поддержать правительство против назначения Николая Николаевича, никак Милюков не предполагал, что опубликованное вчера в газетах постановление Временного правительства об аресте царской семьи вызовет в английском посольстве такое волнение. Бьюкенен даже настаивал получить гарантии, что будут приняты все меры предосторожности к охране личности отрекшегося императора – кузена английского короля. Милюков ответил, что это, собственно, не арест, а лишь условное ограничение свободы. И Временное правительство по-прежнему желает (будет и облегчено), если царская семья уедет в Англию, – а делаются ли уже в Англии приготовления к их приёму? – Ещё нет. Ещё нет принципиального согласия, констатировал посол. А не была бы Дания или Швейцария более подходящим местом для царя? – Нет, нет, – отверг Милюков и просил от имени правительства, и со срочностью, чтобы такой приют был поскорее предоставлен, с тем, что до конца войны царь из Англии не выедет.

Но не успел он сейчас этого всего Львову высказать (дабы убедить его, что и сейчас наименее хлопотно для них отправить в Англию всю семейку), как князь проявил полную

расстроенность (выражавшуюся у него в некотором увлажнении его небесных глаз):

– Ах, Павел Николаевич, именно это дело значительно осложнилось!

– Да что же такое, Георгий Евгеньич?

– Вы не можете себе даже представить: Исполнительный Комитет бушует! Кто-то пустил злостный слух, и в Совете поверили, что мы на самом деле не арестовали государя, но тайно препровожаем его за границу.

Хотя это почти и совпадало с конфиденциальным милюковским предложением (и действительно, кто-то из правительства, осведомлённый и неверный, разгласил?), но в бурном потоке негодования Исполнительного Комитета самому князю враз открылась и преступность и невозможность подобного плана: как же он сам этого не разглядел?

– Нет-нет, Павел Николаич, перед Советом мы должны быть безукоризненно лояльны. Всю эту затею... нет-нет, надо её выкинуть из головы. Да вы только представьте, правда, как это выглядит из Таврического дворца?

Выглядело, действительно, контрреволюционно.

– Они большего хотят: они хотят заключить государя в Трубецкой бастион. Я насилу уговариваю их – оставить в Царском Селе, а уж как угодно укрепить охрану. Если угодно – приставить комиссаров от Совета. Ещё хорошо, если согласятся. А как вы думаете, Павел Николаич?

Да собственно, Павлу Николаевичу что ж? Ему с Николаем Вторым детей не крестить. Конечно, неприятны напряжения с послами. Но их не сравнить с ожесточением Совета. Зачем же снова провоцировать течь огненную реку Ахеронта?

– Да что ж, да что ж, Георгий Евгеньич... Может быть, ваша и правота. И уж во всяком случае нам надо помедлить.

– А не разгласится ли ваша вчерашняя позиция, через послов? – искал князь тревожными глазами.

– Нет-нет, – успокаивал Милюков, – я именно просил Бьюкенена держать дело в строгой тайне и ни в коем случае не разгласить, что отправка царя – это инициатива Временного правительства.

– Ах, ах! – томился бескрайне-добрый князь, даже видеть его было страдательно. Он всегда крайне быстро взволновывался, но очень длительно успокаивался. Похрустел пальцами. И – искательно, как если бы премьером был Милюков: – Павел Николаич! А если хорошо рассудить – так зачем это нам и по сути? Ведь создаём мы сейчас Чрезвычайную Следственную Комиссию. И вот она обнаружит тяжёлые государственные преступления, подготовку сепаратного мира... И что же, отвечать будут только министры, а царя мы выпустим за границу? Хорошо же мы будем выглядеть. И где же логика?

Пытливо смотрел князь, и со всей той болью, как только может русский интеллигент:

– Я боюсь, что Совет прав – и по сути, – прошептал он.

Да Павел Николаевич и сам это вполне начинал обнаруживать. Да, при эвентуальном судебном процессе... Да ему ли пристало обличье защитника кровавого тирана и всей династии? Да просто сбили его послы демократических держав. Потому что, если они находят, то... Но вообще-то...

Тут – ввинтился в комнату, конечно, Некрасов, со своим непроницаемым, но вечно подозревающим видом.

Разговор продолжили уже вполне официально, что Николай II должен оставаться заточён.

Вошёл Терещенко, тоже во фраке.

Правительство начинало собираться для церемонии встречи с американским послом.

Павел Николаевич пошёл проверить последние приготовления.

Наступала вторая радость дня и даже ещё более яркая.

Уже приготовлена у него была тирада, и знал он, как скажет:

– Благодарим великую заатлантическую республику за признание нашего нового свободного строя! Вы видите, как широко и полно наша страна разделила высокие идеи

переворота! В эти дни я являюсь центром потока американских телеграмм. Я...

И теплейшие воспоминания о своих блистательных турне и лекциях в Америке заливали Павла Николаевича. И действительная благодарность к американским деятелям, которые всегда были сторонниками русской оппозиции.

— ... Я достаточно знаю Америку, чтобы сказать, что эти новые идеи свободной России есть и ваши идеи. И что наш переворот даст сильный толчок к сближению двух наших родственных демократий.

ДОКУМЕНТЫ – 19

Ставка, 9 марта

ГЕНЕРАЛ АЛЕКСЕЕВ – ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ

Русская армия не может выполнить наступление в конце марта – начале апреля. Затянувшаяся зима с обильными снегами обещает продолжительную распутицу, когда дороги почти непроезжи. Вьюги с сильными заносами расстроили работу наших железных дорог, и базисные магазины не пополнены... Наконец, нельзя не обратить внимания на ту болезнь, которую переживает государство. Переворот не мог не отразиться на выполнении всех работ.

Наше наступление может начаться лишь в первых числах мая.

526

Всё рухнуло. Всё кругом ещё дорушивалось. Всё было грозиво-темно, как в день Страшного Суда.

Но было и утешение послано Небом: наконец-то вместе! Наконец-то, друг ко другу прильнув, – передать! Даже меньше всего – словами. Боже, Боже, как Ты развёл нас в эти трагические дни!

Все эти розненные дни – как нёс Николай изнурительную броню самообладания: ни разу, нигде, ни при ком, кроме Мама, да ещё прощаясь с офицерами Ставки, лицом не выразил своих переживаний, не выказал ни скорби, ни отчаяния, ни растерянности, а словами – так даже малой озабоченности. Он столько был на людях эти дни, – ни в единой фразе не сломался, не выдал себя – и даже Алексею не пожаловался, не открылся в щемящей, сосущей боли своей, даже в страстную минуту, когда просил вернуть Алексею трон. (А ведь можно было...?)

Солнышко! Солнышко! Отчего в эти дни мне не было дано прикоснуться к твоей силе?! Может быть, вдвоём мы нашли бы что-то лучше? Но я – не сумел, пойми и прости! Меня сразила быстрота прихода телеграмм от них ото всех и их единодушие. Эти телеграммы – все со мной, ты их прочтёшь сейчас. И Николаша среди них – первый. Я решил, что мне с моего места не видно чего-то, что видят все. Я – не мог лучше. Я – не мог найти других путей.

И с какой запирающей силой это всё сдерживалось неделю – с той же неудержимой прохлынуло теперь. Прорвало – запреты, преграды, и слезами покаяния, слезами отчаяния, слезами освобождения – хлынуло к Солнышку, сам на коленях пред ней, а лицом уткнувшись в её колени, именно так хотелось душе.

Он – сложил с себя груз этих дней, и отдавал ей на суд.

Он – был мучим терзателями, и только вот теперь отпущен. Он как бы сомнамбулически действовал, и только вот теперь прояснялся.

Ах, никогда не послано было мне удачи! Я всегда знал, что мне ничего не удаётся.

Но Боже мой, но двадцать два года я старался делать только лучшее, – неужели я не делал его никогда?

Ах, нет правосудия среди людей!

Это было – в розовом будуаре Аликс. Она – сидела на розовой кушетке, а он –

коленями на ковре. В комнате был тонкий умирающий, нет, уже умерший, аромат – от вороха завядшей сирени на окне, – её постоянно доставляли свежую с юга, но от начала беспорядков уже много дней не обновлялась ни она, ни гиацинты, ничто из цветов.

С той минуты как камердинер Волков внезапно доложил: «Государь император!» – и Алике бросилась ему навстречу – полубегом, сколько ноги несли, – и увидела – неузнаваемого старика – коричневого, с тёмными тенями под глазами, во множестве морщин, ещё не бывших две недели назад, с поседевшими висками, и с шагом – не прежним шагом молодого, сильного человека, но потерянно усталым, сбивчивым, – могла ли она, могла ли она бросить ему хоть один упрёк – хотя столько ошибок наделал он?

В таком разрыве душевном, в таком последнем упадке – могла ли Алике его упрекать? За то, что во многих местах только твёрдый её совет выводил его на верную дорогу? За то, что отклонялся он от советов Божьего человека, а прислушивался к людям нечистым, неверным, как и этот Алексеев, – как ещё и теперь он не видел его предательства?

Может быть только сейчас, рассвободясь, Николай впервые до конца ощутил своё свержение. Своё унижение. И, сброшенный со всех пьедесталов, он нуждался хоть на каком-то ещё задержаться.

И это угадав, она захлебываясь отвечала ему:

– Ники! Ники! Как муж и как отец – ты мне дороже, чем как император!

Это была правда, но даже и не правда, и так, и не так, – но в этот момент она чувствовала так, или не могла выразить иначе.

Его безутешное горе – разве чем отделялось от её горя? Разве сердца их когда-нибудь были разъединены?

И мой прощальный приказ по армии, моё прощание сердцем с моими солдатами, – и это запретили, не пустили, – за что?

Боже мой, как Бэби ждёт твоего приезда! Считает минуты.

Он – знает? Как он узнал?

– Я поручила, ему сказал Жильяр: «Ваш отец больше не поедет в Могилёв, он не хочет быть Верховным Главнокомандующим».

Огорчился?

О, ещё бы! Ведь он как любит солдат и армию! А спустя некоторое время Жильяр добавляет: «Вы знаете, Алексей Николаевич, ваш отец больше не хочет быть императором.» Испугался очень: «Что произошло? Почему?» – «Потому что он очень устал, перенёс много тяжёлого в последние дни.» – «Ах да, мама говорила, – остановили его поезд, когда он ехал сюда? Но папа будет императором потом опять?» Жильяр объяснил, что нет, и что Михаил отрёкся. Алексей помрачился, думал, думал, ничего не сказал о своих правах, а: «Но как же может быть без императора? Но если больше нет императора – кто же будет управлять Россией?»

Но ведь я правильно сделал, скажи? О, как я колебался! Оставить Алексея на троне – разлучить с нами. Ведь они все так и хотели бы: отнять у нас Алексея, а самим – править при нём. А потом – я уже думал наоборот: вернуть Алексея на трон. И сделал попытку изменить Манифест – но Алексеев сказал: никак не удобно.

Ты правильно сделал, ты всё правильно сделал, мой муженёк! Как же мы могли бы остаться без Солнечного Луча?... А если бы ты знал, какой это был позор и удар, когда гвардейский экипаж бежал из дворца... А Конвой вёл себя вполне благородно! Вполне. Но они одни ничего не могли сделать. Да я сама остановила кровопролитие, не велела им сражаться. А твой Сводный полк! Какие чудеса верности, разрывающие сердце! Ведь вчера, после уже установленного ареста, они весь день отказывались дать сменить себя с постов. И сегодня всю ночь простояли – они хотели сами встретить твой приезд с подобающими почестями! Они выкатили пулемёты – и не хотели впускать новую охрану за решётку дворца. Но это я – позвала к себе их полковника и сказала: «Не повторяйте климата французской революции!» И они – уступили, и вот перед самым твоим приездом только ушли.

О, этот пример подбодрял! О, наш святой народ ещё нас не выдаст.

А заступил – какой полк?

Первый гвардейский.

Так ведь это – тоже наш, из наших самых верных!

Ещё стоял в памяти вид последнего у них зимой смотра, который принимал Николай.

Ты знаешь, Ники, Корнилов – тоже, он порядочный человек. Он при аресте вёл себя очень прилично.

Да весь этот так называемый арест – уже как пустая прихлопка по забитому месту, он уже ничего не отяжелял, сам по себе воспринимался бесчувственно, – а вот освобождение он принёс! Возможность быть наконец вдвоём с Аликс, наедине с Аликс!

И – выплакаться ей. И – исповедоваться. И – пожаловаться.

И ещё же – молитва у них остаётся, безграничные просторы молитвы.

Молились.

И снова плакали.

О Ники, предадимся воле Божьей! О Ники, Господь видит своих правых! Значит, зачем-то нужно, чтоб это всё так случилось. Я верю, я знаю: свершится чудо! будет явлено чудо над Россией и всеми нами! Народ очнётся от заблуждений и вновь вознесёт тебя на высоту! Вернётся разум, пробудятся лучшие чувства.

И даже очень скоро это всё может случиться.

Арестованы, нет ли, – но какая отъединённость окружала их соединённость! Что-то там в мире катилось, происходило, – но с тех пор как они вместе – это уже не касалось их. Теперь они будут подкреплять друг друга любовью – и все перенесут.

Пойдём к Бэби? К детям?

Невозможно с моими такими глазами, я напугаю их. Я лучше пойду пройду по парку, это всегда мне помогает.

Ну пойдёшь, а я буду смотреть за тобой в окно. Да, ты знаешь... ну, не всё сразу. Лили и Бенкендорф убедили меня, что надо сжигать – дневники, письма, бумаги, – чтоб они не завладели этим и не воспользовались во вред. И я уже много сожгла.

О, как жаль!

Но что же делать?...

Слишком много сразу здешнего не могло вступить в голову Николая, – он ещё почти оставался в Ставке. И два псковских вечера ещё цепко когтили его. С Долгоруковым они вышли через садовую дверь – и пошли гулять.

Сейчас – быстро, много пересекать по парку, – и должно отлечь, и высохнет, и просветится лицо. В каких только мрачных бедах не успокаивала его быстрая многая ходьба.

Как всегда, он шёл на пяток шагов впереди, Долгоруков сзади. По широкой расчищенной дорожке Николай направился в сторону большой аллеи. Он, правда, видел оцепление из солдат – но так понимал, что это новый вид охраны дворца, да верней он не успел в это вникнуть, не об этом были мысли.

И вдруг два солдата перед ним выставили штыки, преграждая путь, и один из них дерзко крикнул:

– Сюда нельзя, господин полковник!

Николай – не понял даже: кому это, какому полковнику? (Он был в полковничьих погонах всегда – но никогда же не слышал такого обращения!) И он продолжал идти, не глядя на развязных солдат.

И тогда к ним подбежали ещё двое или трое.

– Вернитесь, когда вам говорят! – кричали ему.

Или даже:

– Тебе говорят, назад!

Всё это было в полминуты: он увидел несколько простых солдатских лиц, которые всегда так славно замирали на смотрах, – да это же и был 1-й гвардейский стрелковый!

Император не мог сообразить, понять, возразить. Он стоял и в растерянности смотрел

на рассерженные, непочтительные солдатские лица. Он просто никогда не видел русских солдат такими!

Тут приспешил офицер – но молоденький, не кадровый, с худую выправкой и без всякого почтения тоже. Не беря под козырёк, он сказал:

– Господин полковник, гулять в парке нельзя, только во дворе.

Император посмотрел на него – на солдат – на раскидистые зовущие ветви парка.

И – понял.

527

Со ржавым повизгиванием покатали пулемёты по перрону станции Царское Село, – перрон был сколот от снега, очищен до асфальта. И штыки семёновцев колыхались за плечами, в пасмурном дне.

Не имел Масловский точных инструкций, не выработал точного плана, а только ясно было одно: сила и натиск! и совершить нечто грандиозное!

Приказал: немедленно занять телеграфную, телефонную. А сам, с Ленартовичем как с адъютантом, ворвался к начальнику станции и ещё с порога объявил:

– Вы арестованы!

И его папаха, ощущаемая всем теменем, даже слишком надвинутая на лоб, велика, и напряжённо-готовный вид Ленартовича не оставляли сомнений.

Начальник станции совсем оторопел:

– Простите – за что же?... Кто же?...

Видя, что тут сопротивления не будет, Масловский милостиво перерешил:

– Арест – негласный. Остаётесь на месте, но вот – прапорщик будет приставлен к вам безотлучно, контролировать ваши действия. Вы обязаны не допустить прохождения через вашу станцию каких-либо военных сил. О всякой опасности немедленно докладываете мне.

– Но на станции есть военный комендант...

(Ах, не туда попал?..)

– Арестовать и коменданта! На тех же условиях! – ничто уже не могло остановить или удивить Масловского.

Где – начальник гарнизона Царского Села?

Тут недалеко, в ратуше.

На разогнанных крыльях решил: без отряда, оставив их тут, на станции, в пассажирских залах, – вдвоём с Тарасовым-Родионовым да пару солдат – и в ратушу! Не возьмут, не осмелятся! – за его спиной Совет! Кто насаждает дерзко – тот и берёт, все растеряны, все неготовы.

Однако, отведя Ленартовича, глядя в решительное его лицо:

– Если я не вернусь через час и не пришлю приказаний, – прапорщик! Идёте со всем отрядом в казармы 2-го стрелкового полка, самого революционного тут, поднимаете стрелков, движетесь во дворец...

И ещё, доверительно, но со всей экспрессией:

– И **любой** ценой... я повторяю – **любой** ценой обезопасите революцию от возможности реставрации!

Прапорщик – со вскинутыми глазами, с трепетно-понимающим, мужественным лицом.

– Смотря по обстоятельствам. Или вывезете всю арестованную семью в Петроград, в Петропавловскую крепость. Или... ликвидируете...

– **Ликвидировать?** – выпрямился ясноокий прапорщик. Голос его чуть продрогнул.

Он почувствовал шевеление в волосах. Только это шевеление, а себя самого – он не чувствовал. И какой же жребий – всё падало на него! Он взял и Мариинскую цитадель – и теперь?... Куда дальше несло его по огненной колее революции?... В охоту за королём? И – куда его? Доставить на гильотину? Саша, пожалуй, и готов, – да, он готов! – но он хотел бы понять роковую инструкцию совершенно точно.

А Масловский – пронзительно-хищным взором прочёл на ясном лице всё, что переживал прапорщик. И – взревновал к нему! – да разве можно такой озаряющий акт кому-нибудь передать? Нет, это он сказал – для своего окаменения в статую. Мгновенно, сейчас, перед прапорщиком. А он пока – ехал в ратушу, уверенный в успехе. И вернётся меньше чем через час.

– *Ликвидируйте вопрос* – на месте, в Царском. Надёжностью охраны. Контролем Совета.

В приготовленном для них автомобиле поехали с Тарасовым-Родионовым. На подножках, лихо выставив штыки, два революционных семёновца. (Но если в окна не увидят, то всё пропадает, в дверь так не войдёшь.)

Царскосельская ратуша, недавно такая наверно сверкающая, изрядно побезобразела: парадная лестница и паркетный пол двусветного зала загажены окурками и следами грязных сапог. Солдаты, потерявшие воинский вид, сидят в шёлковых креслах с ружьями, с папиросами в зубах, или валко бродят в незатянутых шинелях.

Это – хорошо! Это – дыхание нашей победы и ослабляет *их* .

Тех, к кому Масловский приехал. На втором этаже был у них скороспелый штаб, и в нём два полковника: один – комендант всего Царского Села, другой – только вчера назначенный начальником гарнизона – Кобылинский, впрочем уже и соучастник ареста императрицы, как бы на нашей стороне, всё путается.

Сколько их, армейских старших офицеров, насмотрелся Масловский за свою службу в Академии! Знал он их слабости, служебная впряженность, а нет жара инициативы, им всегда легче, когда им приказывают. Скольким гневом он перекипел на них за все те годы между двумя революциями, что был их заложником. Выдавал им книги. Он – презирал этих полковников, и все дутые звёзды их, и уверен был, что сейчас они не выдержат напора.

Вошёл – как ветер. Не отдавая чести – положил им с прихлопом на стол свой страшный мандат.

Почитайте, почитайте... «Всю военную и гражданскую власть»!

Полковники тревожно переглянулись. Что-то общее было в них – не только рост, не только «Владимиры» у каждого, но и откатанная по лысынам служба:

– Простите, но мы подчиняемся не петроградскому Совету, а Временному правительству. А ваш документ не имеет визы правительства. Значит, он сделан помимо?

Спрашивают... Они сами-то не уверены. Они сами-то млеют, не понимают: что это значит – Совет Рабочих Депутатов?

И голос Масловского взлетел:

– Должен ли я вас понять в том смысле, что вы не склонны считаться с постановлениями Совета революционного гарнизона и революционных рабочих Петрограда??!

Полковники робеют – неизведанное время, неизведанные ухватки. Ещё переглянулись.

– Что вы, что вы, мы разумеется знаем, что Совет признан Временным правительством. Но вы – военный человек и должны понимать, что всякий приказ выполняется только в порядке прямого подчинения. Мы подчинены – генерал-лейтенанту Корнилову, командующему войсками Округа. Да извольте, мы его сейчас вызовем к телефону.

Висит на стене коричневый ящик.

Нет, если дать позвонить Корнилову – всё провалится: Корнилов – в правительство, те – в Совет, и меньшевики струсят. Весь мандат был выписан Чхеидзе с переполоху – и надо лететь на мандате:

– Оставьте в покое Корнилова! Если б я нуждался в генерале Корнилове – я привёз бы вам его самого или его подпись. Но я в данный момент и не собираюсь перенимать от вас, по силе этого мандата, командование. От вас требуется, – о, сколько мощи в своём голосе, дрожь до наслаждения, – передать мне сейчас императора, я отвезу его в Петропавловскую крепость!

– Императора?! – потрясены полковники. – Это уже совершенно невозможно.

Формально и строжайше запрещено допускать кого-либо к арестованному императору!

И – отчаянная решимость служак! та единственная у них решимость, когда уже прямо заставляют нарушить долг. (Ах, сорвался, перебрал. Не надо было прямо про крепость.)

Но всё же попробуем. Грозно:

– Так вы – отказываетесь подчиниться Совету Рабочих Депутатов???.

Знал, знал он этих баранов, не тёртых в политике, они могут выдержать бой, но не гражданское столкновение:

– Я не отказываюсь, – растягивал Кобылинский. – Но я должен получить распоряжение генерала Корнилова.

А телефон – висит, приглашает. Масловский коварно, и тем ещё грозней, смягчил голос:

– Слушайте, господа. Вам, может быть, уже доложили, что я прибыл сюда с пулемётной ротой. Вместо того чтобы терять время на разговоры с вами – я сейчас одним боевым сигналом подниму весь ваш гарнизон?

Правдоподобно. Это – знают они: их собственный гарнизон любой пришлый агитатор может взбудоражить в любую минуту и в любом направлении, это уже явлено. Они командуют гарнизоном лишь постольку, поскольку гарнизон согласен дать собой командовать.

Замялись.

Ну, ещё толчок! Ещё толчок! Дух момента, выращивающий гигантов. В голове вихрится отчаянно-изящная комбинация: если осмеливаетесь – можете меня арестовать! – пока не подойдут мои пулемёты на выручку. А если нет – то арестованными объявляю вас я – и с вас снимается вся ответственность, и я забираю императора!

Но и, годами привыкший к осторожности: нет, так можно совсем переиграть.

– И если, господа, я пока не поднимаю гарнизона, то лишь потому, что уверен: я выполню задание и с вашего согласия. Именем революционного народа! Итак?...

Переглядываются растерянно. Так он и знал! Выиграно?

– Да поймите, – тянет Кобылинский, не знает, как величать пришельца. – Я не имею права... Только по приказу генерал-лейтена...

Жалкий раб старомодного долга! Он и на пороховой бочке бормочет о служебной субординации.

– Хорошо, полковник! Кровь, которая сейчас прольётся, – падёт на вашу голову!

Полковники – бледны.

Но чувство: больше выжать нельзя ничего. Во всяком случае – нейтрализовал их, пока по Царскому можно передвигаться спокойно.

– Счастливо оставаться! – козырнул им Масловский без звания – и чуть не сплеховал, не повернулся через правое плечо. Через левое, и как-нибудь половчей, даже пристукнув каблуками сапог.

Тарасов-Родионов ждал в автомобиле, не подозревая, в каких вихрях бой.

Семёновцы вспрыгнули на подножки, по-петроградски выставили штыки вперёд.

– В Александровский дворец! – скомандовал эмиссар с разинским видом.

528

Война! Это – всем вопросам вопрос. Но пусть кто хочет вертится-качается, только не большевики. Шляпников держался самого крайнего, а самое крайнее – оно и самое простое. Начиналась война – объявили мы «долой войну!». Теперь произошла революция – всё равно «долой войну!» или даже тем более.

Но раньше и буржуазия и соглашатели считали, пусть беспокоится царское правительство. А вот после революции изменилось у них у всех сразу.

Буржуазию – можно понять: она пришла вроде бы к власти, но нет у неё, как у царя, реальной силы гнать войска в наступление. И может она надеяться только – овладеть умами.

И для этого теперь вся буржуазная пресса перепевает верность родине, необходимость одолеть Вильгельма. Вместо поповской проповеди о защите православной веры ставят теперь новые виды обмана: свободу, землю, волю, лишь бы погнать солдата на колючую проволоку. Забыть все внутренние обиды, забыть все партийные и классовые различия, мол рабочий вопрос – после победы, земельный вопрос – после победы, а пока – переть на колючую проволоку ради отечества денежного мешка. И, конечно, «долой войну» им не остаётся изобразить иначе как измену родине. Самую даже умеренную мысль о мире буржуазная пропаганда заранее порочит тем, что связывает её с царём и двором. Изображает так, будто и революция вся произошла от военных неудач царя, хотели все солдаты побеждать, а царь и двор им не давали.

А вся эта буржуазная сказочка – без корней. Произошла революция ни от каких военных неудач, а просто – устали. Из этого и надо исходить в реальных революционных действиях.

И по всей России против тысячи буржуазных газет антивоенную агитацию бестрепетно подняла одна «Правда». Первый раз открыто в России напечатала циммервальдскую резолюцию. И напечатала кинтальскую. (Никто больше не решился.) И призвала открыто обсуждать вопрос о войне, от которого никак не уклониться новой российской демократии.

А «Известия» Совета дипломатично обмалчивали войну уже десятый день, будто её вовсе не было. Об чём угодно находили братья-социалисты высказаться, но не о такой мелочи, как война. Стала выходить меньшевицкая «Рабочая газета» – тоже молчала блудливо. А устно уже гулял у них такой лозунг: «Революция имеет право на оборону». Как признали правительство, так признали и войну, – течь, как все текут. Они устави́ли шаткие ножки своей политики на том, что народ согласен воевать и дальше. И не только уклоняются серьёзно обсуждать военный вопрос, печатать о нём статьи, – наоборот, ещё упрекают большевиков, что своим голым «долой войну» они теперь вносят раскол в единство революционной демократии, играют-де на руку чёрной сотне, это ж надо договориться! И предлагают: ради успеха революции – помолчать.

Но это дико! Для чего ж тогда были Циммервальд и Кинталь? Что же переменялось, почему теперь отказаться? Что все русские социалисты тянут в предательство – так так оно было и всю войну, и все европейские так же. Нет, надо иметь твёрдость нести «долой войну!», как бы это ни встретили. Как раз ради революции и надо ставить вопрос о войне всё острее!

И что на «Правду» окрысились со всех сторон – это не удивительно. Удивительно, что и в собственной партии набралось интеллигентов, кто брюзжал, что «долой войну» теперь надо снять, такой лозунг мол ничего практически не даёт для прекращения войны. Так, товарищи, если он не практичен и ничего не даёт, – давайте его развивать, но в направлении том же – долой войну! Зато этот лозунг – острый какой, он всех будоражит, найдите другой подобный! Неужели нам сюсюкать о «патриотическом долге перед страной», как со всех сторон выставляют?

Но обескураживало, что лозунг и среди рабочих встречал поддержку слабую. На многих заводах слушали «долой войну» хмуровато, – поддались националистической заразе. Объясняется, очевидно, тем, что за время войны состав заводов сменился: многих боевых забрали на фронт, а сюда набрали деревенскую серость.

Но что там! – солдаты и те встречали худо. Для кого и надо было отменить войну, а они, по неразвитости, замороченные, не понимая собственной пользы, откликались, что могут так призывать только немецкие агенты. Были уже случаи, что солдаты отказывались участвовать в демонстрации, если будут нести «долой войну». Конечно, слышали они одно и то же со всех сторон – от буржуазии и от оборонцев – и отпугивались от большевиков. Оборонцы грозили большевикам «гневом революционного народа», – и действительно приходилось поостеречься: не во всякое место ехать выступать, а поехав – не всё говорить. Самому и Шляпникову в кавалерийском полку не дали говорить, за криками. Почти выгнали. И других большевиков за последние дни.

И чувствовал Шляпников, что тут он – у самого безотлагательного вопроса и всей революции, и партии. И нутром чувствовал, что – прав. Но уже – не хватало мозгов. И со всех сторон получая не поддержку, а противодействие, – кто не колебнётся? Уверенность подтаивала в нём: а вдруг что-нибудь не так?

Ещё раз собрали БЦК (шишкоголовый Молотов тарачился), ещё раз собрали ПК: так остаётся партийная точка или не остаётся? Превращение империалистической войны в гражданскую – какая причина снять? А вот – защита отечества? При каких обстоятельствах мы, может быть, согласны? Или – никогда? Сказать «никогда» – не значит ли потерять солдат навсегда?

Тощими головами всё-таки нашлись так: родину защищаем только после того, как установится революционная диктатура пролетариата и крестьянства. А пока – требовать от Совета Депутатов обратиться к пролетариату воюющих стран с призывом брататься на фронтах.

Против этого не попрёшь: брататься – русскому солдату по душе.

Важно было – удерживать в своих руках агитационное дело Совета. Кому в какой полк ездить агитировать – поручено было агитационной комиссии Исполкома, без её ведома и разрешения ни один агитатор не должен был иметь хода ни в какую казарму, все были предупреждены. Установили так, чтоб не допускать к войскам агитаторов монархических и враждебных революции, – однако Гутовский, заведующий делами комиссии, сам оборонец, так подбирал, чтоб ездили только оборонцы. К счастью, именно в агитационной комиссии Шляпников и состоял и уж тут своё право использовал: набрал много этих бланков, уже с печатями, и сам выписывал и подписывал всем своим. (По таким бланкам можно было ехать агитировать и в прифронтовую полосу.) Комиссия была недовольна, и Гутовский жаловался в Исполком, – но там прямо в лоб Шляпникова побаивались.

Да для чего ж бы он в этой комиссии и состоял, как не дать накинуть узду на большевиков (и на межрайонщиков, с ними налаживать согласие)? Он на эту комиссию аккуратнее ходил, чем на сам Исполком. В комиссии надо было бороться за Красикова, утверждать его в большевизме, а бундовца Эрлиха подавлять.

И сегодня, придя в Таврический, не пошёл Шляпников высиживать в ИК – но пошёл в большой думский зал постоять (присесть негде), посмотреть на заседание солдатской секции Совета.

Это было поучительно: сразу одними глазами вобрать как бы весь гарнизон Петрограда, – тот самый гарнизон, на удивление не дававшийся большевикам, кто одни и защищали его интересы. Вобрать, чтобы понять: как же его взять? Как и чем этих солдат повести?

В любимой своей устойчивой позе, чуть ногами расступя, а руки скрестя на груди, поглядывал Шляпников и послушивал.

Доверчивы они были, и больше всего – к шинели. Всякий в солдатской шинели был им уже свой, хотя б это был мобилизованный адвокат, служащий в канцелярии, и вёл бы их против собственных интересов, этого они не различали.

Впрочем, на солдатской секции говорить о политике было не принято, вся их политика была – что за родину они конечно постоят, а всё их обсуждение здесь: казарменный быт, как им сегодня обходиться в своих частях и по службе, чтобы полегче. Верхушка Исполкома никак иначе эту солдатскую массу направить не могла, хоть и присылали сюда Бориса Богданова в председатели. Тут и списка присутствующих не вели, а только – была масса солдат, и Исполкому только бы в сторону её отвести, благополучно бы кончилось.

А Шляпников – вольно среди них себя чувствовал. Толкали его, обкуривали, ноги отдавляли, – всё веселей, чем на Исполкоме.

Сегодня читалась громко, медленно, уже готовая (и знающие военные тут, видимо, помогли) «Декларация прав солдата», – и выслушивали, кто против, кто больше, перекрикивали и голосовали по пунктам. Несколько таких собраний они уже, видно, эти свои права мусолили: революция – это и были их права. И верно они понимали.

Отменяется наименование «нижний чин». Отменяется «так точно», «никак нет», «не могу знать» и «рады стараться». Отменяется и команда «мирно». (Поспорили – согласились оставить как переходную, без неё нельзя, но чтобы по стойке долго не держали.) Отменяются все виды наказаний. Наоборот, предаётся суду всякий начальник, наказавший солдата.

И споры были в мелочах, хоть и въедливые, хоть и с бранью, а в главном: шла солдатская масса заедино, брать свои права!

И думал Шляпников: замечательно! Это и есть реальный ход революции: брать свои права! И этого не остановить.

Сегодня вечером в Соляном городке собирают большевики своих сторонников – большевицкую «фракцию» отсюда, из Совета. (Как определить свою «фракцию»? а: кто «Правду» одобряет.) И изо всей здешней массы, из двух или уже больше тысяч, – хорошо если придёт рабочих человек сорок (не выбирают большевиков в Совет, заголосовывают, нету их здесь), а солдат если придёт двое-трое – так уже хорошо, уже начало, дрожжи.

Но несмотря на такую свою малочисленность и ничтожность, – вот тут сейчас, в этой «декларации прав солдата» – на самом деле и для всех ещё неведомо – побеждали большевики! Просчитались мудрецы-оборонцы из Исполкома, уже не говоря о буржуазии! «Долой войну» – это они наотрез не допускают, а «демократизация армии» – в этом они отказать не могут, было бы неприлично. А что ж такое и есть демократизация армии, если не: долой войну!?

Просто смешно, как они везде галдят: в выборной армии возродится боеспособность, укрепится дисциплина, станет сознательной! – да развалится, как дважды два.

И вот так мы освободимся от войны!

Так – давайте демократизацию, это нам и нужно, поработайте на нас! Не в лоб, так по лбу, а наша возьмёт. И ничего, что сегодня солдаты не дают нам говорить. И ничего, что сегодня в Соляной городок только трое их и придёт. А работает это всё – на нас! И с «долой войну!» мы не сосутим, нет!

В тесноте парламентского буржуазного зала, обтолканный шинелями, обкуранный со всех сторон, – Шляпников долго стоял, не утомляясь, и весело поблескивал глазами в сторону президиума.

ДОКУМЕНТЫ – 20

9 марта

ГУЧКОВ – ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

Весьма секретно. В собственные руки.

... Действующее положение вещей таково:

1) Временное Правительство не располагает какой-либо реальной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допускает Совет Рабочих и Солдатских Депутатов... войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Временное Правительство существует лишь пока это допускается Советом Рабочих и Солдатских Депутатов.

2) Начавшееся разложение запасных частей прогрессирует – и о высылке в армию в ближайшие месяцы значительного количества людских пополнений не может быть и речи.

3) Так же безнадежно стоит вопрос и о пополнении конского состава армии, реквизиции лошадей пришлось прервать, дабы не обострять настроения населения.

4)... Невыполнимы в намеченные сроки все новые артиллерийские и иные формирования...

Высший жизненный принцип князя Львова был – вера и доверие. Вера – в людей, во всех людей, в наш святой народ. И доверие – каждому человеку. (Только от дурных условий, в которые человек поставлен, он может обмануть доверие.)

И когда обманывали доверие князя или не верили ему самому – ему было особенно больно. Сам в высшей степени порядочный и честный, он не допускал непорядочности в других.

И когда сегодня днём к министру-председателю внезапно приехала делегация от Совета – сам Чхеидзе, и с ним Скобелев и Нахамкис – с грозным вопросом: в какой побег отправляется царская семья и как могло Временное правительство так предательски обмануть Совет? – нежная душа князя была ранена глубоко. Ему стало горько, хоть заплакать:

– Голубчики, – спросил он жалостливо, – милые мои, разлюбезные, да как же вы могли поверить? Да как же вы могли так о нас подумать? Если мы вам обещали, если мы вас оповестили, неужели мы могли бы вас обмануть? Да конечно арестованы!

К счастью, самое последнее известие он мог им уже сообщить: что поезд бывшего императора благополучно прибыл в Царское Село и сам император в охраняемом автомобиле доставлен в охраняемый дворец. А семья и вообще никуда не трогалась с места.

Рабочие депутаты, развалясь в бархатных креслах, ещё допрашивали, ещё не верили, потом поверили.

Так значит, планов отъезда в Англию – нет??

О нет, о нет, друзья мои!

И правительство обещает не совершать никакого перемещения бывшего Николая II без Совета Депутатов?

О, конечно.

Итак, семья будет арестована в Царском Селе впредь до выбора нового, более строгого, места заключения?

Хорошо, пусть будет так.

Причём в надзоре за бывшим царём и его семьёй должен участвовать специальный комиссар Совета Рабочих Депутатов.

Великодушный князь не имел никаких возражений.

А Николай Николаевич? Он не может быть допущен до командования!

Совершенно справедливо! И князь уже отправил великому князю разъяснительное о том письмо.

А где он есть? где он ездит?

Надеемся перехватить его в дороге.

В Ставке он не должен находиться!

И не останется!

Так удалось князю ублажить суровых своих контролёров. И сердечно уговорились обе стороны, что такие встречи будут полезны и в дальнейшем, регулярно, – и выбранная Исполнительным Комитетом комиссия, в составе их же, будет через день-через два приезжать в Мариинский дворец, и здесь они будут откровенно обмениваться соображениями о дальнейшей политике.

Очень хорошо! Это просто великолепно!

Это, действительно, вызволяло князя от многих ненужных и мучительных колебаний: во всём ладить, всё согласовывать, соборно, дружно!

Проводил гостей – и некоторое время разрешил себе походить по роскошному кабинету. Своя 56-летняя жизнь всё более вырисовывалась князю как красивое построение. Он – никогда не добивался власти, ничего не делал для этого, он даже не любил политики, больше всего любил практическую земскую работу с хорошими людьми вокруг. Он только был всегда непримирим к злоупотреблениям императорской власти. И вот какие-то мощные силы, им не призванные, даже ему не известные, стали ему со всех сторон помогать и возвышать его, – да русская общественность, кто же, или, шире того, – сам русский народ

вознёс князя как своего любимого избранца, – и князь не чаял теперь, какой ещё верной службой отблагодарить и оправдать надежды. Но для этого ему не нужно было издавать указов или приказов, – по опыту жизни в мрачной императорской России он терпеть не мог казённых распоряжений сверху, давящих человеческую инициативу, такой власти в России вообще должен наступить конец. А всюду на местах должно оживиться или самозародиться умное творческое движение интеллигентных людей, и вся задача руководителей страны – только не мешать ей, – и так Россия достигнет славы небывалой среди просвещённых народов!

А между тем в мраморную, золочёную и паркетную тишину и уютность Мариинского, несмотря на набег 27-го февраля почти не потревоженную революцией, где бесшумные статные камер-лакеи в расшитых ливреях и белых чулках, сами важнее вельмож, и сегодня разносили новым министрам и новым сановникам чай, кофе, печенья, собиралось правительство на ежедневное заседание – в комнату рядом с парадной приёмной, за палисандро-перламутровыми дверьми. А министры-то – усталые, и даже до обессиленья.

И рассаживались за овальным лакированным столом – и князь Георгий Евгеньевич во главе его. Минувшие дни огорчало князя, что два-три-четыре министра всегда отсутствовали, конечно занятые своими делами, – но не хватало их общения в заседаниях. А сегодня – собрались до единого все, правда Гучков – перед выездом, он намеревался ехать на фронт. Лицо Гучкова было обидно угрюмо все эти дни, не соответствовало общему улыбчивому светлому духу нашей революции. Зато Милюков сегодня весь сиял, и было от чего: заатлантическая республика первая пожимала руку первому свободному русскому правительству! Князь проверяюще прошёл по лицам, и особенно взглянул на Керенского, в котором он с каждым днём чувствовал растущую деятельную силу и испытывал к нему растущее уважение. Керенский положил на стол нераскрытый портфель и чуть задумчиво искося уставил длинную голову. Очевидно, не возражал.

Тут взъерошенный Шингарёв, на заседаниях всегда полуотсутствующий, ушедший в разложенные свои бумаги, настойчиво попросил дать срочное слово ему. Заговорил взволнованно, без бумаги, свободными глазами ища понимания в коллегам. И вот что рассказал. Сейчас ему донесли уже о третьем и четвёртом случае, как группы вооружённых солдат задерживают на станциях поезда с продовольствием, идущим для армии, – и реквизируют из этого продовольствия сколько желают для себя, даже и целыми вагонами. И случаи – на разных станциях тыловой полосы, друг с другом не связанных, – так что как бы не начиналось этакое массовое движение, захвата продовольственных поездов революционными частями. Так вот... что делать? Министр земледелия просит каких-то решительных мер.

Ах, опять решительных мер! Ах, не наш это язык – «решительные меры», он не достоин свободного союза свободных людей. Милые мои, зачем же так грозно? Да не преувеличивает ли Андрей Иваныч? Да откуда он взял, что есть угроза массового движения? Да нет, стихия уляжется, уже укладывается, здравый народный смысл возьмёт верх, народ сам всё устроит наилучше, народ сам всё знает не хуже нас.

Но Шингарёв тревожно настаивал на мерах, так разволновался.

Ну что ж могло в таком случае сделать правительство? Выпустить обращение к солдатам о недопустимости подобных действий. Надо выработать и представить проект. Удобней всего, очевидно, Александру Иванычу, поскольку – солдаты, значит – его министерство.

Гучков хмурился. Не записал.

А Шингарёв – ещё не кончил. Он вообще не имеет уверенности, что в эти весенние месяцы, при распутице всюду, удастся обеспечить армию хлебом. Он ставит вопрос о желательности сократить душевое потребление хлеба в армии.

Если бы месяц назад такое произнесло царское правительство – Земсоюз и сам князь Львов выступили бы с громовыми речами, что правительство готовится удушить голодом своих серых героев. Но в нынешней обстановке для укрепления революционной ситуации –

что ж, может быть... Ну... пусть министр земледелия войдёт в ближайшее соглашение с военным министром.

Гучков мрачно молчал, не двигаясь.

Но Шингарёв хочет больше. У него идея: чтобы усилить приток хлеба из глубины России – нельзя ли составить ещё одно обращение – от имени Главнокомандующих фронтами – прямо от Армии! – ко всему населению – в видах побудить его усилить подвоз продуктов для армии?

Гучков повёл плечами, мрачно молчал.

Не решаясь проступить эту мрачную завесу, князь обходительно предложил самому Шингарёву выработать проект такого обращения.

Конечно, всякие обращения полезны, потому что они разрабатывают общение между людьми.

Но у Шингарёва были и прямо материальные заботы: разрешить в Каспийском море обычно запрещённый в такое время лов рыбы неводами, пригоняемыми к берегу. Это может существенно помочь в снабжении армии.

Ну что ж, это можно, Каспийское море – богатое, не правда ли, господа, не обедняет?

А Шингарёв и кончить не мог: ещё обсеменение полей.

Милюков уже косился на младшего кадета, теряя своё светлое выражение.

Но теперь министру земледелия взялся отвечать военный министр. Вот было неприятное сообщение, где-то между тремя министерствами проходящее: в Казанской губернии возникли на этих днях аграрные беспорядки, погромы поместий и культурных хозяйств. Промелькнуло и тут, в Петербургской. Так кто и что будет предпринимать?

Ах, да ещё об этом горько было вспоминать князю Львову! Понятны и простительны были сельские погромы при царском произволе, – но почему же теперь, когда народ получил свободу?... Это было уже какое-то абсолютнейшее недоразумение!

Употребить оружие? О нет, о нет, это и все присутствующие хорошо понимали: при данной ситуации? в настоящее время? О нет!

Да военный министр и не настаивал, он, кажется, и не представлял, какие бы воинские части на это употребить. Он предлагает скорее министерству внутренних дел озаботиться организацией на местах новой полиции взамен распушенной.

Поскольку сам князь уже не успевал руководить собственно министерством внутренних дел, он обернулся к Щепкину. А Щепкин вот что предложил: пусть министр юстиции подтвердит прокурорскому надзору о необходимости привлечения погромщиков к уголовной ответственности.

Сурово, конечно, это было – сразу уголовная ответственность, но поскольку полиции не существовало и армии подходящей не находилось, – то что ж могло выручить, как не прокурорский надзор?

Керенский по-прежнему сидел задумчиво-косовато, так и не раскрыв портфеля, так и не высказавшись ни за, ни против.

Как будто постановили?

А вот что, а вот что, – оживился князь и с ним другие: в Казанской губернии обратиться к местным общественным организациям и лицам, пользующимся доверием населения, – с просьбой оказать содействие для вразумления и успокоения крестьян!

Это – замечательно придумано! Это – лучше всего! А с уголовной ответственностью подождём.

Сбил Шингарёв, испортил всё настроение от американского посла. Но вот проблема и у Милюкова: как же теперь вручать офицерам английской армии преждедежалованные, при царе, русские ордена? Допустимо ли?

Решили: впредь – недопустимо. Но сейчас, пока, выдавать.

И затем, министерство иностранных дел нуждается в дополнительных кредитах. Вольнонаёмным служащим за дополнительные занятия – 8 тысяч рублей. И вообще служащим суточные – 40 тысяч. И чинам центральных учреждений министерства, и

семействам призванных на военную службу – 56 тысяч. И ещё разные единовременные пособия и прибавки – 25 тысяч.

Такому важному министерству и такому уважаемому министру невозможно было ни отказать, ни торговаться.

Да и у министерства внутренних дел был запрос: кредитовать нужды беженцев в первой четверти 1917 года, всего 28 миллионов рублей.

Утвердили.

Наконец и Керенский – громко щёлкнул замками портфеля.

Все обернулись, и особенно князь Львов. От этого сильного человека он и ждал сильных слов.

Но Керенский ничего не вынул из портфеля, только щёлкнул, а всё – устно, из своей великолепной памяти.

Во-первых, язвительно улыбнулся длинным ртом, мстя Гучкову за вмешательство в дела своего министерства, – следует предложить военному министру приостановить и даже немедленно прекратить насильственную реквизицию труда инородцев в Туркестане: население там никак не склонно к военным усилиям и мы не можем понуждать его к труду помимо его воли – это было бы против принципов завоёванной свободы. Во-вторых, развивая те же принципы свободы, необходимо снять с могильного памятника депутата 3-й Думы от Енисейской губернии, а перед тем туда сосланного, доску, закрывающую цитату из его речи в Думе.

Единодушно согласились. Поручили обер-прокурору Синода распорядиться.

530

Так Масловский до сей минуты и не решил – что же именно ему сделать. Наибольшее бы – выхватить у этих ворон Николая и увезти. Только бы увезти! – и через полчаса он будет в Трубецком бастионе – и совсем другие разговоры с Временным правительством: цензовые хоть зубами лязгай.

Но реальных сил для этого не было никаких: семёновцы на вокзале без патронов, а как ещё там отзовётся 2-й стрелковый полк – тоже может быть оружия таскать не захочет. Конечно, если сейчас по Царскому Селу объявить, что царя готовят опять на престол, – гарнизон можно и взбунтовать. Но это далеко выходило за его поручение, Совет переполошится, что пойдёт!

Однако же и достаточно Масловский чувствовал необычайность революционных ситуаций: они создаются столь причудливыми, что не подчиняются законам размеренной жизни, обычную жизнь они прокалывают как рапиры и могут выпереть в самом неожиданном месте. Такой рапирой и был его мандат – грозного и загадочного состава слов и укрепленный самой большою силой – Советом.

А с другой стороны, наслушан был Масловский многих армейских анекдотов о караулах и какие ляпсусы бывают.

Попробовать!

Подъехали. Александровский дворец несравнимо меньше Большого, не дворец, а просто длинный двухэтажный помещичий дом, два крыла.

В ближайшем – железные решётчатые ворота. Перед ними – часовой.

– Пропусти! – уверенно махнул ему Масловский грозной рукой, как если бы проезжал тут уже много раз.

Запрещено.

Изумился такому не порядку.

– Так караульного начальника!

Тот пошёл звать.

Сейчас всё зависело – какой выскочит, опытного не прошибёшь. Но – удача, да половина сейчас в армии таких: совсем зелёный, прапорщик, по-детски важный и

чрезвычайно ответственного вида. И:

– Ни в коем случае, никого, категорически.

Тогда погрознеей, сколько хватает голоса и вида:

– Я прислан... – а если штабс-капитан рядом помалкивает, так считай, что сам-то я от капитана и выше, – я прислан с особо важным поручением от Петроградского Исполнительного Комитета!

Да, но ни в коем случае, никого, кате...

– Молодой человек, поверьте моему опыту. Никакая инструкция не может предусмотреть всех возможностей. Вы понимаете, что такое Петроградский Исполнительный Комитет?

Тончает, стройнеет. Понимает.

И полупрезрительно:

– Что ж мне, показывать вам свои документы – тут, на морозе?

Прапорщик дрогнул. Пригласил войти в помещение наружного караула.

Удача! Но одновременно и ослабление: остальные боевые силы, штабс-капитан и два семёновца, остаются снаружи. Теперь вся сила: сам, папаха и мандат.

Погрознеей развернуть. Показать со значением: мандат на столе, сам – закаменел под папахой.

Юный прапорщик прочёл, совершенно растерян. Вручалась вся военная власть! – и для исполнения *особо важного* .

– Что же вам угодно?

Снисходительно к его зелёности:

– Вы понимаете, об этом я не могу говорить с вами, но только с вашим начальством. Пойдёмте внутрь.

– Но, простите, я и сюда не имел права вас пропустить. А во внутренний караул...

Приказ самого генерала Корнилова...

– Есть приказы выше, чем Корнилова: Именем Революционного Народа!

Та самая прорезающая рапира.

– Хорошо. Я вызываю дворцового коменданта.

Послали. В караульной комнате разводящий стоит как смирно. Прапорщик одёргивается, похаживает. Масловский подумал: присесть? Нет, стоять – внушительней.

Вошёл уланский ротмистр, довольно интеллигентного вида.

– Штабс-ротмистр Коцебу, комендант дворца.

– Особуполномоченный Петроградского Совета полковник Масловский!

Пусть так, царь – полковник, и он – полковник: на генерала всё равно не вытянуть.

И мандат – опять на стол. (Крупная печать у Совета, хорошо что управились сделать. И подпись Чхеидзе – по буквам ясная.)

Да-а-а... *Особо важное поручение* ...

– А – в чём оно состоит, позвольте узнать?

Масловский замер с поднятой бровью.

– Пройдёмте во дворец, я вам объясню.

– Это невозможно. Начальник караула не имел права пропустить вас и за ворота. Мы имеем строжайшее распоряжение законной власти...

Грозно:

– Ротмистр, что за разговоры? А Совет Депутатов, по-вашему, – незаконная власть?

Начальник караула ни в чём не провинился, а вот **вы**, господин комендант!...

Прорезающая рапира. А что? в такие дни и не обернёшься, как обвинят и срубят голову.

Уже только защищается:

– Но Исполнительный Комитет должен же понимать, что нельзя ставить людей в такое положение. Ведь Совет тоже признал Временное правительство. И мы подчиняемся ему. Так надо...

– Что **надо**, ротмистр, – знает Исполнительный Комитет!

Что за музыка – «Исполнительный Комитет»! У народовольцев, казвивших Александра II, тоже был – Исполнительный Комитет. С тех пор звучит.

Заколеблен ротмистр.

– Ну, извольте... Если... Хотя это не по правилам... Я позвоню генералу Корнилову сейчас...

– Если вы позвоните Корнилову, я буду это рассматривать как оскорбление Исполнительного Комитета. Со мной на станции – авангард петроградского революционного гарнизона, а если нужно – и весь гарнизон двинется сюда!

И такое – видели на днях, убеждать не надо. Революция! Музыка момента! Даже, может быть, мог бы Масловский сейчас и объявить Коцебу арестованным, сошло бы. Не решился. Но во всяком случае – Уполномоченного с его мандатом не возьмётся арестовать вся соединённая дворцовая кордегардия.

Мандат – прорезающий каменные стены. Ещё, может быть, и Николая возьмём живьём! Повёл! Повёл. Пошли вдвоём.

Какими-то тёмными переходами. Подземным коридором. Большая подземная казарма, при электрических лампочках, переполненная солдатами, перемешанный гомон голосов.

Идея! Прямо – к народу. Отнять у них массы! Только голоса мало:

– Здравствуйте, товарищи! Привет вам от петроградского гарнизона, от Совета Солдатских Депутатов!

Кто ближе – услышал, отозвались нестройно. Кто поднялся с нар, иные стали подходить.

Ротмистр забеспокоился. Теперь сам:

– Пойдёмте же.

Ну нет! Только тут и собрать армию:

– Товарищи! Петроградский Совет имеет сведения: готовится незаконное освобождение свергнутого царя! С тем, чтоб его снова посадить на престол! Революционный Петроград надеется на вашу поддержку!

Ближние что-то отвечают – в том смысле, что понимают. А кто – отходит. А сзади спрашивают – о чём это?

Тут – если дали бы поагитировать свободно, то может быть сразу бы – и взят Николай!

Но ещё и хмурый поручик подхватывает под локоть:

– Идёмте же, идёмте! Вас ждут.

Нет, этих поднять не успеть. Да неизвестно ещё и подымутся ли.

Светлая комната первого этажа. Человек двадцать офицеров, вместе с Коцебу, уже слышали, знают, резко возбуждены. Хлынули навстречу полукольцом, наперебой, возбуждённо (и Коцебу свои силы собрал революционным путём!):

– Это Бог знает что такое!

– Кто вы, полковник, мы вас не знаем.

– Военный человек не может так действовать!

– Мы все выполняем приказ!

– Восстанавливать солдат против своих офицеров?

– Это возмутительно! Только-только стали солдаты успокаиваться – и опять разжигать?

– Разбуровать, как у вас в Петербурге?

Плотно охватили! Эмиссар Исполнительного Комитета стал теряться. За последние дни офицеры так робки, а вот этой дружности он не ожидал. Если все они заодно, то их не пробьёшь.

Заблуждал его взор, на ком бы остановиться, и вдруг – увидел среди них знакомое лицо, да, знакомое! Немолодой уже прапорщик – да левый кадет! встретились!

Ну, так и быть должно было! Офицерство военных лет – это ж не прежние собакевичи.

И тот – узнал. И кричит:

– Господа! Одну минутку. Мы оказались знакомы! Разрешите нам поговорить

конфиденциально?

Надежда на какой-то смысл. Офицеры стихли.

Перешли с кадетом в соседнюю комнату.

– Сергей Дмитрич, так, кажется? Ваша затея безумна, откажитесь. Полк ни за что не допустит.

Что-то перестали прокалывать революционные фразы. Эмиссар оседал. И этот «Сергей Дмитрич» обыденный как будто срывал угрожающую змеиную папаху. И станет известно, что – не полковник.

Хотя ручка браунинга виднелась из кармана.

– А какая затея?

– Вы хотите убить императора? Здесь, в его дворце?

– Да откуда вы это взяли? Только оттого, что я социалист-революционер? – (Эти дни замечательно звучащее сочетание.)

– Но ротмистр Коцебу говорит, что ваш мандат... Вы разрешите посмотреть?

– Ну, пожалуйста.

И предъявление – первое обыденное, без эффекта. Однако, на кадета впечатление сильное:

– Ваше поручение средактировано **страшно**, я не подберу другого слова. А что же можно подумать?

– Ну как... Принять меры, не допустить бегства. В интересах углубления революции недопустим здешний режим содержания. Если нужно, то...

– Что?

– Перевезти его в другое место.

– Это исключено. Это оскорбление полку.

От этих переговоров эмиссар не укрепился. Всё вязло. Вернулись в комнату к офицерам.

Масловский оглядывал их безнадежно-верноподданные гвардейские лбы: даже дни революции не сотрясли их собачьей верности.

Объяснил. У Совета есть неопровержимые данные, что коварно готовится бегство царя – для реставрации его. И полномочия комиссара (уже сдержанной) – пресечь такую опасность. Может быть, спокойнее – перевести его в другое место.

Новый взрыв офицерского возмущения – и опять единодушный:

– Так вы нам не доверяете?

– Вы хотите устранить наш полк?

Да в общем-то – и хорошо бы. Но видно, что не удастся:

– Господа, при чём тут недоверие? Если б я вам не доверял – я пришёл бы сюда не один, но привёл бы под дворцовые стены хоть целый корпус! Хоть весь матросский **Кронштадт**.

Кронштадтом их – как саблей по глазам, как кровью брызнуть в глаза, – откинулись.

– Кронштадт! – вонзил и повернул. Недолго и с вами справиться, только сбегать за матросами. – Но если я убежусь, что арест произведен со всею строгостью, что охрана безупречна... Может быть, может быть... – разочарованно уступал он, уже не видя, не веря, – обойдётся и без вывоза в Петропавловскую крепость.

Коцебу стоял с твёрдо-вызывающим взглядом, руку на эфес. Нет, не даст.

Старый коренастый капитан ответил мрачно и твёрдо:

– Вывезти Государя мы не дадим, хотя бы пришлось дать бой.

Всхлестнулся Масловский: а всё-таки?

– Вы отлично знаете, господа, что если будет найдено нужным – будет вывезен в Петропавловку и он, и вы, и кто угодно! Но может быть, повторяю, можно обойтись и без столкновения. Совет не хочет непременно столкновения. Я для того и поговорил с солдатами, чтобы убедиться... И вижу, что солдаты вполне лояльны Совету. Но я хочу понять в отношении вас...

Старшие офицеры отошли посоветоваться в оконное углубление. И один из них после этого:

– Мы заняли караул тоже не так легко. Всю ночь и ещё до сегодняшнего утра Сводный гвардейский полк не хотел сменяться – не верил нам, а мы ему. И уже пулемёты расставили, чуть не дошло до боя. Так вот, и мы заняли не для того, чтобы так легко уйти. Пока мы здесь – ни бывший император, ни его семья из этих стен не выйдут. Мы будем караулить бесменно. Мы можем взять на себя обязательство, что наша смена не произойдёт без ведома Петроградского Совета. Вы удовлетворены?

– Без *согласия* Совета, я так понял?

Молчали.

Приходилось удовлетвориться...

И – что же? И – только-то? Вся поездка его, весь его исторический мандат, весь его дерзкий натиск – вот только этим и кончатся? Так и зря проездил? Так и вернуться с пустыми руками?

Революционная гордость не позволяла. И стыдно перед Исполкомом.

Уже срываясь и скатываясь с достигнутой высоты, эмиссар в переворачиваниях всё же стремительно соображал: что же бы ухватить? как сохранить лицо?

И – выхватил:

– Но кроме надёжности охраны мне надо убедиться, что охраняемый – действительно тут. Вам придётся – предъявить мне арестованного.

Офицеры вздрогнули. Потемнели. С гневом:

– То есть как – **предъявить** ?

– Что за мысль? Да ведь хуже этого...

– Он никогда не согласится!

– Что за жестокость, и притом бесцельная? Вы же не можете действительно сомневаться, что Государь тут? Что ж, по-вашему, полк станет стеречь пустые комнаты, что ли?

– Мы все его видели. Мы даём честное офицерское слово, что Государь – тут, и замкнут.

И снова они противились, офицерская двадцатка, напряжённым полуокружьем.

Но чем горячее они возражали, тем вернее эмиссар понял, что ухватил правильно. Они считали жестоким – из-за унижения? Так вот, унижение монарха и было более всего нужно! Унижение – важнее самого ареста. Унижение – в каком-то смысле даже ещё лучше эшафота! Этот факт будет отражён в газетах, о нём все узнают, – великолепно! Царь – не согласится? – так вот именно пусть согласится! Это и будет перелом его воли!

– Да, именно **предъявить** ! Я не могу вернуться в Совет, не убедившись собственными глазами...

Тем и разителен был наш эсеровский террор, что мистику «помазанничества» он разменивал в физиологию кровавых кусков. Снизить помазанника – до проверяемого арестанта, перед комиссаром революционных рабочих и солдат! Императору, прошедшему тюремную проверку, – этого уже не забудут ни живому, ни мёртвому.

– Да, именно – предъявить! – гордо вскинул Масловский голову в змеиной папаше. – Иначе судьба Временного правительства и всей России снова станет на карту!

Это – замечательно он сказал. Всё более видел, что тут им – не отказать. **Кронштадт** – только что был, и может повториться.

Послали за полковым командиром.

Караулы от 1-го стрелкового гвардейского полка были поставлены только наружные. А внутри – дворец остался как остался, все коридоры и двери свободны, одно крыло тесно заселенное царской семьёй, потом пустующие парадные залы середины, коридоры по обоим

этажам с ответвлениями к лицам свиты – а в дальнем крыле больная Аня Вырубова и все, кто суетился вокруг неё.

И к ней тоже должны были пройти вечером, – но эти первые часы были у детей – сперва у наследника, в светлой комнате, Алексей уже выздоровел, потом у дочерей – у выздоравливающих старших княжён, потом у всё ещё больной младшенькой Анастасии, и в вовсе тёмной комнате у тяжело больной, в жару, Марии, – она не могла ясно внять, что отец приехал, то подтверждала, что приехал, то бредила, почему не едет, и о страшных людях, которые толпой идут убить маму.

Только побывав в этих комнатах – мог ощутить Николай, как досталось его ненаглядной выхаживать сразу всех больных, и в такие дни.

А Оля и Таня ликовали от приезда отца. Хотя ещё лежали, но уверяли, что теперь-то совсем выздоровели. Им казалось – приезд отца разрешал все беды.

Они так и говорили, вертясь на подушках: ведь если мы теперь все вместе – нам ничего не страшно, папа, мама!

Алексея, тоже повеселевшего, обнимал, прижимал, молча, стараясь скрыть, как потерял, очень трудно было говорить.

Поблагодарил Лили Ден, этого нежданного ангела, разделившего самые тяжкие дни императрицы.

Лили заплакала.

Пытался поговорить при ней, при Бенкендорфе о незначащих вещах – но не хватило всей выдержки и привычки. Такое дупло ныло внутри – можно было только замкнуться, закрыть глаза, смолкнуть, одеревянуть. Николай только с Аликс мог быть сейчас наедине, не в силах проявлять какую-либо жизнь.

И они снова спустились в свои комнаты.

Заперлись.

Не удалась прогулка – мог Николай наверстать силы в том, чтобы несколько часов пробыть с Аликс – в молчании и рухнувши. Через эту перемолчку и неподвижность он должен был пройти, чтобы возродиться.

Александра уложила его на кушетке. Сидела подле него – и прикладывала ко лбу прохладные влажные платки.

В дверь – не постучала, но погладила комнатная девушка государыни:

– Ваше Величество... Граф Бенкендорф осмеливается просить вас.

Аликс тихо встала и вышла.

Граф Бенкендорф – дрожали его узкие бакенбарды – в смущении и волнении нёс какую-то бессвязицу: Государь должен появиться перед каким-то пришельцем, комиссаром Совета рабочих депутатов.

– Как это – появиться? – разгневалась императрица, ещё чувствуя в себе последние силы, тем ответственной, чем меньше их оставалось у августейшего супруга. – Государь не назначал никому аудиенции!

Граф ломал пальцы, ещё бы он не понимал, старый царедворец! Но новый комендант дворца говорит, что нет иного выхода. Не угодно ли Ея Величеству принять с объяснениями коменданта?

Как всегда доставались ей – мужская доля, мужские решения. В таком состоянии, как Ники был, он принять решенья не мог.

Государыня прошла в зелёную гостиную, всё в том же, своём теперь обычном, платье сиделки, – и приняла штабс-ротмистра Коцебу, уже с благоприятной характеристикой Лили Ден, и всматривалась теперь в него своими облевыми, усталыми глазами, – кажется и они, последние в семье, скоро перестанут смотреть.

В таком состоянии и не рассмотришь нового человека. Но Коцебу держался очень почтительно и с тоном заботливым – как все их прежние хорошие окружавшие офицеры.

Он объяснял, что у него – нет выхода, нет таких сил – ссориться с Петроградским Советом. А Совет желает удостовериться, что Государь – действительно тут.

Задохнуться можно было!

– Но куда же он мог деться? Но где ж ему ещё быть?

Однако Коцебу не отступал. Если произошло бы столкновение с силами Совета – это ни для кого не будет хорошо. Но с большим трудом достигли, как уладить мирно. И это – совсем небольшая процедура, она не будет Государю отягчительна. Ему – не надо этого комиссара принимать, ни разговаривать с ним, ни даже – с ним здороваться. Придумали так: в том скрещении коридоров наверху, где картинная галерея, Государь пройдёт, не останавливаясь, по одному коридору, а из другого будет смотреть этот комиссар, вот и всё. Комиссар будет окружён вооружёнными офицерами караульного полка – он не сможет ни двинуться, ни оскорбить.

Получалось так, что надо – согласиться. Положение узников не давало слишком большого выбора.

Но знала государыня, в каком расслаблении и немоте оставила Государя. В состоянии ли будет показаться?

На переговоры призвали Долгорукова. Нельзя ли эту процедуру отложить – часа на два? хотя бы на час?

Увы, увы, нет, – штабс-ротмистр сильно беспокоился. За час может быть потерян мирный исход. Ея Величество не представляет, какие опасности уже минованы.

Очевидно, приходилось уступить.

Александра пошла приготовить Ники. Он лежал на спине в тяжёлой дрёме, с полуоткрытым ртом, и стонал. Её сердце разрывалось: за что ещё это страдание и унижение ему посланы?

Она двумя руками взяла его за голову, ласкала и пробуждала.

Он плохо вникал: почему, куда нужно идти? зачем? Но верил ей.

И с тягостью, с тягостью – приподнялся, сел. Скрывая следы его слабости, она сама его обтёрла, умыла.

В спальне он переоделся из шлафрока в лейб-гусарское. Переодевался он по военной привычке всегда легко и быстро.

Глаза и многие морщины на тёмном лице были как ямы.

Аликс перекрестила его, – и он вышел к Бенкендорфу и Долгорукову – то ли поняв, то ли всё ещё в сером непонимании.

Слава Богу, ему не надо было никому ничего говорить.

Это была – как маленькая коридорная прогулка, поскольку ведь парк был теперь запрещён.

Но как стыдно гулять развенчанному!...

Они поднялись на второй этаж. Бенкендорф почтительно объяснял Государю, где и как надо пройти – до комнаты камердинера Волкова. И – нужно без головного убора.

Понял, не понял?...

Снял гусарскую фуражку, положил на коридорное окно.

Сам Бенкендорф с Долгоруковым поспешили вперёд, занять позиции. А Государь должен был помедлить минуты три здесь.

Потом пошёл – совершенно как в забытии, как во сне, как сам не присутствуя и не участвуя.

Сам открыл полотнище широких дверей – там дальше, на перекрестьи коридоров, под стеклянными потолками, уже почти не дававшими света приконченного дня, горели ярко лампы, все, какие были там.

Николай прижмурился, больно.

Медленно бесцельно шёл.

В трёх шагах от перекрестка вбок стоял этот самый комиссар – в форме военного чиновника, но в крупной лохматой кавказской папахе, одну короткую ногу выставив вперёд.

Позади него стояли-сторожили – два напряжённых офицера с необычным положением правых рук в карманах, нельзя не заметить.

И ещё – уланский штабс-ротмистр.

Ни он, ни другие офицеры не отдали чести, вытянулись. Расправился и Бенкендорф.

А комиссар – не пошевелился и папахи не снял. Стоял всё с тем же диким видом, выдвинутой ногой, как будто начав движение к Государю. И никто не сказал ему – или уже поздно? – чтобы скинул папаху.

И никто не решился сбить рукой.

Стало тихо до дыхания.

Государь шёл не слишком чёткими, совсем не обычными своими шагами, со слабым малиновым призвоном шпор. Шёл, самой походкой выражая недоумение и незнание, как ему правильно делать.

И странным было отсутствие фуражки. И голова не стояла твёрдо по-военному.

Измученный вид, воспалённые веки, мешки подглазные обвисли. Усы свисали. Как постарел!

Всего-то требовалось: не оглядываясь, не косясь, пересечь как можно быстрее коридорное скрестье – и уйти, и избавиться, всё.

Но Государь – не сумел пройти, не замечая напряжённой сбоку группы. Он естественно повернул голову к присутствующим – а тогда и замедлился – а тогда и направление изменил – полшага, ещё полшага сюда, растерянно глядя по лицам – недоуменно впервые соображая: почему они так стоят? в таком сочетании? И кто этот в змейчатой папахе?

Ещё змейней были те глаза, они жгли ненавистью. Комиссар искажился лицом, дрожал лихорадочно.

И перед этим ярким явлением злобы Государь остановился, очнулся, – почувствовал. На его измученно-опухшем лице проявился смысл – и изнемога.

Он чуть перекачнулся с ноги на ногу. Дёрнул одним плечом. И уже поворачивался уйти – но не мог он, из вежливости не кивнув группе на прощание.

Кивнул.

И – пошёл, неустойчивым шагом, – но не далеко вперёд, как направлялся, а – назад, откуда пришёл.

ДЕСЯТОЕ МАРТА

ПЯТНИЦА

532

Сегодня приснилось, что Епифановна подаёт ему телеграмму. И он сразу почему-то понял, что телеграмма та – не простая, но – *астральная*. Павел Иванович взял её, она была не от руки написана телеграфисткой и не печатающим аппаратом, – а типографски. И сразу же он увидел: к ней есть и примечание, мельче, внизу. И по своей книжной привычке, большому вниманию к сноскам, он стал сразу читать не главный текст, а примечание. Однако буквы петита оказались чересчур мелки – или искажались, едва на них падал взгляд? – начинали плыть. Тогда он скорей поднял глаза на главный текст – но и тот был упущен, уже размывался. Ни слова не прочёл. И холодея, понял, что это путает нечистая сила: не хочет, чтобы люди узнали важное глубинное известие.

Проснулся.

Сон показался таким значительным – сейчас же его записать, несколько слов на листок, при ночнике, потому что потом заспится – никогда не вспомнишь.

Что-то в этом было истое: какой-то посланный нам, но не доходящий до нас смысл.

Ещё только чуть брезжило, и Павел Иванович опять заснул. Но в это утро не суждено было ему покоя. Он оказался где-то в темноте, и кто-то невидимый, стоя сбоку, взял его кисть в свою руку и стал выразительно сжимать. И он – понял это предупреждающее

сочувственное сжатие: сейчас он что-то увидит, что-то блеснёт и объяснится. Сжатье сильнее – и нарастало в нём чувство: сейчас увижу! – сейчас увижу! – сейчас увижу! Отчасти страх, отчасти жажда увидеть, – и проснулся судорожно.

Отдышался.

Между обоими снами была несомненная связь.

Какие-то знаки посылались, но – не разгадаемые.

Уже взошло солнце. Были те короткие минуты, когда утренний луч пробирался справа мимо стенки трубы и переходил по свешенной вязовой ветке. Иногда вестник радостного утра, иногда безжалостен он был этой резкостью освещения, беспощадно вызывавшей к жизни.

От которой Варсонофьев всё больше отставал по скорости? отодвигался по высоте?

Но время ли так впадать в старость и в отдых? В эту тревожную неделю врывалось наружное и в его уединённость. Нет, начиналась такая пора, что и старые кости ещё нужны будут в дело. Его голос ещё послушает кое-кто.

Хотя, вот, Льву Тихомирову, с его отстоенной годами одинокой позицией, гордей бы посидеть дома. Зачем он нуждался унижаться, идти являться к новым властям, – увеличивать их значение?

За эти дни Павел Иванович сделал несколько выходов – в университет, в городскую думу, в так называемый «комиссариат», и посидел в Английском клубе в публице на расширенном заседании Комитета общественных организаций, а сегодня был зван в кинематограф «Арс» на заседание кадетской партии.

Не успели ещё миновать дни событий, как городская дума уже была занята их увековечением. Сильно хромой, но непоседливый энергичный Челноков, со своим хорошим протяжным московским акающим говорком, просил и собирал ото всех «воспоминания об этих днях», как будто всё уже установилось и не было дела важнее. А может из-за того, что ему приходилось уступать пост городского головы, он спешил теперь навёрстывать в истории. Да и все члены думы, – правомочны ли, демократичны ли, всё это теперь заколыхалось, – спешили укрепить себя постановлением о воздвижке грандиозного Дворца-памятника в честь бессмертного переворота, и уже посланы были чиновники узнавать цены строений на Воскресенской площади и во всём Охотном ряду: всё это предстояло снести и срыть для увековечения. (А – жалко было Павлу Ивановичу Охотного ряда.)

Пост городского головы уже предлагался Астрову, но лукавый самоуверенный Астров не хотел принимать, ожидая себе более важное назначение в Петрограде, очевидно в правительстве?

Варсонофьев с удивлением наблюдал эту их напряжённую заинтересованность в новых постах – как будто они совсем не понимали ничтожную шаткость их в ураганном размахе событий.

За восторгами от быстроты и бескровности они теряли ответственность за судьбу страны: ещё во что, ещё во что это перельётся дальше? Неужели такой сильный ток Истории, едва начавшись, может так мирно улечься?

Вообще москвичи считали себя обойденными: они столько вложили в раскачку Освободительного движения, так часто ступали впереди Петербурга – а вот их всех обошли, кроме князя Львова никого не взяли в правительство, ещё Кокошкина там допустили поблизости, – и тем жарче москвичи теперь хором требовали, чтоб Учредительное Собрание собиралось в Москве. Теперь громко заявляли, что революцию подготовил более всех Земгор – а он возник в Москве. А в Петрограде вечные туманы и сырость влияют на психику тамошних людей, и те забывают о насущных нуждах страны. Москва же – центр народного движения против царя, средоточие общественной мысли, колыбель России, – и пора навсегда покончить с петроградским периодом нашей истории.

Оно-то бы и правда, Учредительному – конечно место в Москве.

А комиссариат – то бишь, теперь вместо градоначальства, – занял

генерал-губернаторский дом на Тверской. Там распоряжался, расхаживая под неснятыми портретами всей династии, придавая жестами себе энергии, – хлопотливый, суетливый, недалёкий врач Кишкин, до сих пор управлявший санитарной деятельностью, по которой и выдвинулся из Союза городов. Главная же задача комиссариата была теперь: борьба с возможной контрреволюцией. А выдвинулся Кишкин на том, что 3 марта, в день сумасшедшего революционного трезвона, – ни с кем не сговорясь и никем не уполномоченный, решился показать, что и сам он демократ и вся городская дума, – и хотя ещё никто не знал тогда об отречении царя – выступил, что царь «для нас» не нужен.

И сейчас на вопрос Варсонофьева, как он думает овладеть положением, Кишкин нервно отвечал:

– Да не бойтесь вы демократии! Не пугайтесь Совета рабочих депутатов! Вот я работаю с ними уже несколько дней – и не могу себе представить организации более сильной, лучшей и правильно смотрящей. Вот сходите туда сами!

Тут к Кишкину добился режиссёр Большого театра и просил назначить третейский суд ему с хором: хор теперь обвиняет его, что он в царское время был слишком требователен.

Павел Иванович пошёл в университет. Там в богословской аудитории он застал заседание профессоров на тему: моральное очищение университета; и – можем ли мы мириться в наших рядах с теми, кто нас прежде дискредитировал; и – как нам участвовать во всеобщем становлении революционных взглядов. Решили создавать из профессоров лекторат – для распространения в населении здоровых понятий о государственном устройстве. Так взятая, идея была очень хороша: здоровые понятия о государственном устройстве ой как были нужны, – и не только тёмному нашему народу, но и светлой нашей интеллигенции. Однако дальше всё сразу разделилось: а какие же понятия – здоровые?

Тут Варсонофьев не выдержал и подзудил их: вот например, всеобщее избирательное право – это здоровое понятие или нет? А если это только механическая схема, у всех на виду, идея примитивных умов? Единственно ли возможная основа народного представительства? Руководить – всё равно должно государственно-опытное меньшинство, – но к более тонкому построению власти долго и трудно идти.

Очень зашумели. Заострилось: так с какой же платформы лекторы будут объяснять? Одни предлагали: со строго академической позиции. Другие настаивали: нельзя никого лишить права выражать свои партийные взгляды, но можно обязать всех к такой общей платформе: война до победы и всеобщее содействие Временному правительству.

От университета поднимался Варсонофьев медленно по Никитской, как и все прохожие уставая от размеса перемолотого, зернистого, не убранного с тротуаров снега, – и ощущение у него было, что во все эти его выходы с ним во всех местах играли какую-то недостойную игру. Пока он сидел невылазно в своём дряхлом домике, глубоко размышлял, видел тайные сны, слушал через форточку обезумелый колокольный звон – он и сам был богаче и предполагал богаче мир вне себя. Но если всё это великое свершение только-то и сводилось к сносу Охотного ряда, послаблению оперному хору, политической очистке профессорских рядов и ежедневному заседанию нескольких собраний в разных залах, из которых правильной всего смотрит Совет рабочих депутатов, – то стоило ли Варсонофьеву выходить? Что ему в этом мире делать?

Верней: пришла ли пора делать?

Ход революции оказался и пошлей – но и таинственней, чем он думал.

Проходя мимо «Униона» у Никитских ворот – должен был сойти с тротуара, обойти у входа группу арестованных, окружённых конвоем. Это были с белыми узелками или с пустыми руками, в штатском или в остатках полицейской одежды люди, жавшиеся, жалкие, напуганные, – медленно, по переключке, запускаемые внутрь.

Варсонофьев спросил, ему объяснили, что это – полицейские и жандармы, свозимые из уезда. Тут, в кинематографе, им место предварительного заключения.

И Варсонофьев – вдруг вспомнил. Вспомнил, как в самом начале войны он с двумя студентами сидел тут в пивной, под «Унионом», – и сказал им что-то вроде: кто знает, ни вы

ни я не знаем, что ещё в этом «Унионе» будет.

Не мог он в который раз ещё и ещё не удивиться – всеобщей тайной связи вещей.

533

Веру Фигнер девушки видели теперь уже не раз, и совсем вплотную: она была высшей руководительницей всего их комитета по помощи освобождённым политическим и иногда приезжала в их центральное бюро, на Баскову 2. А как раз сегодня вечером их бестужевское отделение (в которое и Фанечка входила) устраивало в театре музыкальной драмы митинг с участием Фигнер. И уж Фанечке на сегодняшний день никак бы нельзя отрываться – но именно в 11 часов утра должна была вернуться поездом из Сибири «бабушка русской революции», как все поголовно звали её, – знаменитая Брешко-Брешковская.

И как же было удержаться, не встретить?...

Сорок четыре года назад Екатерина Константиновна, уроженка аристократической семьи, отправилась для пропаганды в гущу простого народа. Через несколько лет она была осуждена по знаменитому процессу 193-х к пяти годам каторжных работ, после каторги бежала с поселения, но неудачно, снова арестована и отправлена на Карийскую каторгу. А дождавшись амнистии по восшествию Николая Второго – скрылась от полицейского надзора и 10 лет была на нелегальном положении. К эсерам она примкнула при самом их основании. 10 лет назад снова была арестована, жила в Сибири на поселении, уже 73-летняя бежала в мужском платье с Лены, поймана, – и вот теперь возвращалась из Южной Сибири триумфально в Петроград – как символ полувековой борьбы за свободу! Небывалый момент!

Брешко-Брешковская была не на одно, а на два революционных поколения старше тётки Адалины и тётки Агнессы. Тётя Адалия, природнённая ко всей народнической традиции, решила непременно сегодня идти встречать «бабушку». Напротив, тётя Агнесса, строго преданная своей партии, не хотела встречать никого другого первого, кроме Кропоткина, когда он приедет. Хотя отдавала дань и Бабушке: она стояла у колыбели максималистов, это она вселяла в них нетерпение, что революция делается слишком медленно. Теперь отвалились многие спорности между партиями, как: признание-непризнание подполья, террора, участие в парламенте. Но и – всем было жаль покинуть свои старые испытанные знамёна.

И вот тётя Адалия пошла вместе с Веронькой и Фанечкой. Пошагали – потому что именно с тётей Адалией сесть на трамвай было совершенно невозможно, так давились и висели с подножек. Да и цветы в руках чтобы не забыть.

А идти было – до Николаевского вокзала. Первоначальный маршрут Брешко-Брешковской был назначен через Москву, чтобы и там могли торжественно встретить. Но уже в пути кто-то где-то перерешил, и теперь она приезжала с Вологодской линии.

На Бестужевских курсах занятий всё не было, хотя была резолюция слушательниц: приступить к ним с удвоенной энергией, но и к общественной работе. (По поводу занятий ещё одну сходку собирались делать. Было много идей: требовать увольнения слишком строгих профессоров; и чтобы больше не было оценки «весьма удовлетворительно», а только «удовлетворительно», пусть все будут равны; и вообще – соединиться с Университетом.) Профессора в эти дни мало появлялись на курсах, обслуга не убирала, в аудиториях мусор и даже окурки. Да ходили-то на курсы только на сходки, да один раз на митинг о текущем моменте, устроенный партией эсеров. Не от особой склонности к эсерам, а чтобы своими глазами посмотреть знаменитых революционеров: выступали там и были захлестнуты прибоем оаций – Герман Лопатин и Кулябко-Корецкий. Многих лиц на курсах Вероня уже не видела незапамятно, от самой революции, например Ликони. А с другими, как с Фанечкой, не разлучалась. Из общественной работы настолько не вылезала, что вот и с тётей поговорить было всё некогда.

Главную работу девушки вели по помощи освобождённым политическим. С утра, едва

вскакивали, они неслись либо в своё центральное бюро, при клубе адвокатов, где с утра же неизменно сидела Ольга Львовна Керенская, либо – по городу со вчерашним заданием: собирать по домам пожертвования, добывать и устраивать квартиры, кровати, бельё, или закупать питание, или помогать устраивать медицинскую и юридическую помощь, или расспрашивать приезжающих о сидевших с ними, и составлять списки тех, и разыскивать навстречу – ведь не все же явятся и попросят. Работа была бы иногда изнурительна, если бы не так благодарна своей пользой и человечностью: ведь помогли самым избранным людям, столько страдавшим за счастье народа! (Правда, на Баскову являлись за помощью и многие самоосвободившиеся уголовные. Неприятна была роль отказывать им и объяснять почему, но кому-то доставалось по очереди, дежурной.)

Ещё в затее у них было – создать музей ссылки, с предметами обихода ссыльных и заключённых, – и уже теперь имея в виду эту цель, они приглядывались и иногда выпрашивали у освобождённых какие-либо вещи.

Потомки будут целовать эти потускневшие кружки и изношенные одежды.

До вокзала они дошли в половине одиннадцатого, и уже оказалось поздно. О, что тут творилось во дворах вокзала и на перронах, – сбитая толпа, возбуждение, сколько учащейся молодёжи, и гимназисты, и партийные деятели, и, конечно, просто обыватели, – не протолпиться! Худенькую слабую тётю Адалию так сжали, чуть не раздавили, Вероня и Фаня устроили ей защитную коробочку своими спинами.

Но какая у всех упоённая радость! какое ликование, лёгкость! С какой нежностью выговариваются свято-революционные имена – до Александра Фёдоровича Керенского (наш!) и Николая Семёновича Чхеидзе (наш!). Какое счастливое время! спали оковы с тел и душ. Вчера по Петрограду был слух, что царь сбежал из-под ареста, – ничего подобного, никуда он не сбежал.

И у скольких цветы – гиацинты, тюльпаны, астры! Какая весна! Как засыпят сейчас Бабушку! Что за символическая встреча! Для съёмки приготовился кинооператор, а саму Бабушку ждали убранные вокзальные царские комнаты.

На боковых путях, на стоящие там вагоны и паровозы, всюду уже взобралась публика – смотреть.

Затем вскоре раздалась марсельеза мощного оркестра! Думали: это уже подходит поезд, и потому играют. Ах, как великолепно!

Но что-то звуки шли не с той стороны: нарастали, потом стали ослабевать. Объяснилось, что это – по Знаменской площади проходила колонна солдат с оркестром, только и всего.

Как? А своего оркестра – нет? Ну, это даже обидно, даже оскорбительно, не могли предусмотреть!

Так – и поезд не подошёл? Нет, и поезд не подходил, передавали. Передавали спереди, потому что пробиться было никак нельзя.

Однако позиция девушек и тётки оказалась внезапно выгодной – с их ступенек, подъёмно ведущих из дворика на перрон, они хорошо увидели, как позади них толпа расступалась, расступалась – и бурно аплодировала и кричала.

И Вероня и Фаня увидели – и тоже закричали приветственно. Повезло им увидеть! – это шёл в направлении бывших царских покоев от автомобиля сам Керенский! За все эти революционные дни они видели его впервые! – и теперь просто выхватывали глазами! (Зашептали: он признаёт себя учеником Бабушки!)

Стройный, тонкий, он шёл с такой лёгкостью – изящной лёгкостью, но и лёгкостью героя. И в минующей толпе не глядя ни на кого отдельно, он лёгкой скользящей скромной улыбкой как бы отвечал им всем.

И какая сосредоточенная умность лица!

О наконец-то, о наконец же Россия в руках умных людей!

И – Фигнер была уже на вокзале. И были депутации от Архангельска, от Дерпта, от Великих Лук и от Вышнего Волочка.

А поезд всё не шёл и не шёл. С вологодского направления – не шёл. А из Москвы пришёл – и пассажиры и носильщики с чертыханием пробивались.

Настроение стало охладевать, цветы – повядать, ноги мёрзнуть. Но тётя Адалия воодушевлённо держалась твёрже девушек: для неё Брешко-Брешковская была живая героиня её юности.

По толпе передавали, что к двенадцати часам подойдёт иркутский поезд – и Бабушка будет в нём.

Но не шёл иркутский.

Толпа стала кинуть и редеть. Стало возможным проходить вперёд. Наши пошли туда дальше, на перрон. Да тут был весь интеллигентски-демократический Петроград, знакомые раскланивались.

Потом передали: запрошена станция Званка, иркутский придёт только завтра в 5 утра, но Бабушка с ним почему-то не едет.

Кто-то высказывал, что она – недомогла, сошла с поезда, и теперь приедет только 15 марта.

Но что ж, об этом не могли раньше узнать?

Такая досада!...

А уже когда вернулись к себе на Васильевский, позвонил им знающий знакомый: что запросили телеграфно и Омск, – Бабушка не прибыла ещё и в Омск.

534

(по свободным газетам, 10 марта)

ГРОЗНЫЙ ЧАС

ПРИЗЫВ НОВОЙ ВЛАСТИ К АРМИИ И НАРОДУ

К НАСЕЛЕНИЮ, АРМИИ И ФЛОТУ

Граждане! Воины! Перед лицом надвигающейся и уже близкой опасности... Недремлющий враг стягивает все, что можно, к нашему фронту. И если мы не сплотимся... Народу предстоит великий подвиг... Судьбы родины в ваших руках.

Подписали: *Львов... Милюков... Гучков... Шингарев... Керенский...*

ВОЗЗВАНИЕ. 9 марта 1917.

Воины и граждане свободной России! Германцы накапливают силы для удара на столицу... Захват Петрограда положит конец новому строю... Солдаты, проникнитесь... Только повинясь офицерам... Временное Правительство признает глубоко прискорбными и всякие самоуправные и оскорбительные действия в отношении офицеров... И пусть тяжкая ответственность падет на тех, кто...

Военный и морской министр *Гучков*

Начальник штаба Верховного Главнокомандующего *Алексеев*

... Германия готовит страшный удар на Востоке. Русская революция мешает кровавому кайзеру. Вильгельм хочет восстановить в России старую династию... Россия благословляет свою чудную рать на одоление врага...

СУДЬБА ЦАРЯ. ... Князь Львов ответил нашему корреспонденту: да, вчера мы обсуждали... Большинство склоняется отправить царя с семьёю в Англию. Вопрос об удалении династии из пределов России во всяком случае не вызывает сомнений. Сейчас царь

под арестом, меры пресечения приняты. В течение ближайших дней порядок следования его из России будет выяснен.

Министр юстиции А.Ф.Керенский сказал: необходимо, чтобы общественные массы игнорировали всякие слухи, которые нервируют общество. Сейчас излюбленная тема – судьба низложенного царя и всякие нелепые версии. Министр юстиции располагает несомненными доказательствами, что значительное число бывших охранных агентов, ещё находящихся на свободе, занимается распространением нелепых слухов.

... Заядлые изменники Романовы, постоянно говорившие о необходимости предать русскую армию только для того, чтобы сохранить престол безумцу-царю и полупомешанной царице из нищих гессенских принцесс... Оказывается, не Воейков предложил царю открыть фронт, а сам Николай Романов высказался ему...

(«Русская воля»)

... Какое-то гнилое болото у них в душах... Император всероссийский, этот помазанник Божий, ненавидел Россию, и чтобы спасти свой сгнивший престол...

НА СЛУЧАЙ ПОБЕГА. По всем пограничным пунктам России и Финляндии разосланы телеграммы: принять необходимые меры на случай могущего произойти побега Николая Романова из Царского Села.

... Уверенно говорят, что Временное Правительство имеет точные документы, что Романовы желали повторить попытку Людовика XVI... И всегда склонные к сепаратному миру, а на этот раз ради реставрации монархии... Документы настолько серьезны... Оградить Россию от укуса змей...

... Царь был арестован после того, как в Ставке он простился с армией. Молча выслушали солдаты-граждане и офицеры-граждане своего бывшего «вождя». Громовая Марсельеза завершила эту комедию прощания и показала бывшему царю, что он – конченный человек. Закроем же чёрную книгу деяний и жизни Николая Романова.

(«Русская воля»)

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!!!

Петроградское дворянство, приветствуя Временное Правительство, изъявляет полную готовность предоставить все свои силы... Разослали телеграммы дворянствам других губерний...

К Временному Правительству. Мудрые избранники народа! Вы отважно решились стать у власти. Бездну знаний, мужества, таланта приходится вам проявлять. Исполнинские задачи возложены на ваши плечи. Мы радостно выразили присягой свою полную покорность вам.

13-й Уланский Владимирский полк

... Появился признак двоевластия, он угрожал гибельным расхождением... Но, к счастью, мы можем об этом говорить в прошедшем времени, и не повторятся такие печальные недоразумения, как приказы Совета рабочих депутатов...

... Самодержавие рухнуло перед единодушным напором всей нации – и только сохраняя это счастливое единство мы можем победить. Безрассудно сейчас возбуждать классовое недоверие и так толкать имущие классы к союзу с павшим режимом. Не вбивайте клиньев!

... Отсутствие хлеба помогло родиться свободе, но дальнейший рост её немыслим без хлеба. Спешите снять с отечества страшную тень голода!

... Старый земец Шингарёв конечно может исправить следы безумного хозяйничанья Риттиха. О чём Риттих говорил в Думе – было ложью, он надеялся усыпить тревогу общества. По последним сведениям, крестьянство уже начинает усиливать привоз хлеба на рынок. Теперь затруднения могут быть только временные.

... Генерал Рузский не скрывает, в каких острых отношениях он всегда стоял с царём. Все знают, что он открыто поступал вопреки желаниям царской кучки дармоедов.

... Генерал Рузский признал бестактность смещённого начальника псковского гарнизона Ушакова. Вместо него назначен генерал Бонч-Бруевич, брат известного социалиста-революционера.

... Сейчас мы накануне великих реформ по демократизации армии.

... 9 сего марта великобританский военный агент генерал Нокс, пробывший 2 года на русском фронте, посетил запасной батальон лейб-гвардии Волынского полка, где был радушно встречен офицерами и солдатами. Генерал Нокс спросил солдат, желают ли они продолжать войну. Ораторы от солдат единодушно заявили, что готовы пролить последнюю каплю крови. Все понимают, что залог этой победы – дисциплина. Настроение батальона произвело на английского агента самое лучшее впечатление.

... Из всех гарнизонов Петроградского округа получаются вполне успокоительные сообщения. В большинстве гарнизонов воинские части энергично пресекают попытки грабежей и другие эксцессы.

... Исчезают становые, урядники, исправники, стражники – а в жизни ни произошло ни малейшего замешательства.

... местами краткие временные проявления пугачевщины, ещё не проникшейся радостным величием времени...

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЯЕТСЯ в России единым росчерком пера первого народного министра юстиции... Отмена смертной казни – благороднейший дар воссиявшей свободы! Величайшая в мире революция – бескровно и завершится.

... Смертная казнь позором тяготеет на истории человечества. Вопрос о недопустимости её разработан исчерпывающе... особенно в России. Это – великая идея человечества. Во веки этот акт будет торжественным свидетельством величия народной души.

Уголовные преступники желают знать, будут ли даны льготы для них. Акт амнистии не смягчил их участи.

Не верю в правду я народа,
Когда кричит он мне в ответ:
Лишь политическим свобода,
А уголовным нет.

АМНИСТИЯ ДЕЗЕРТИРАМ... Уклонение от отбывания воинской службы при старом режиме явилось последствием чрезвычайно тяжёлых условий в рядах войск. Особенно остро

это ощущалось людьми интеллигентных профессий. Между дезертирами масса людей интеллигентных, которые оставляли фронт не из трусости, а от режима старого правительства. Теперь они с радостью готовы отдать жизнь, но боятся ответственности. Военный министр Гучков на вопрос нашего корреспондента... Никакого преследования к прежде уклонившимся, если они теперь явятся.

... Жандармы и полиция сидят под замком, а студенты их охраняют. Тут улыбнётся и мёртвый...

НОВЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ. Вчера, 9 марта, в московской судебной палате приведено к присяге 110 евреев – помощников присяжных поверенных. Общественный раввин Мазе обратился к ним с речью: «Отныне все сильные и благородные душой могут и должны развить всю энергию и мощь духа... Канули в вечность те времена, когда требовалось стирание национальной личности, отречение от своей веры... Всего более я радуюсь за великую Русь...»

... 9 марта на общем собрании петроградской судебной палаты было приведено к присяге 124 еврея, помощника присяжных поверенных, и приняты в присяжные поверенные.

... В ближайшее время будет созван всероссийский еврейский съезд.

... Открылись тюрьмы, раскрылись души – не омрачим новую жизнь старыми средствами политической борьбы!

... Русский народ – демократ, это уже не раз отмечали наши публицисты... Изумительна культурность народного восстания...

Шьём мы саван погребальный

Палачам родной страны...

ТРАГИЗМ ЦЕРКВИ. Черносотенная деятельность церкви, от митрополитов до сельского духовенства, неизбежно наводит на подозрение, что церковь по самой своей природе была связана с рабством. Трудно отказаться от этих подозрений. Но история русского освобождения помянет немало семинаристов добрым словом – сильную бунтующую мысль детей духовенства. 1905 год показал, что духовенство не всё сплошь занято черносотенным идеалом.

Обращение Святейшего Синода к чадам православной церкви.

Свершилась воля Божья... Доверьтесь Временному правительству все вместе и каждый в отдельности... Чтобы подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело... Да благословит Господь труды и начинания Временного русского правительства.

... Отцы церкви впервые свободно вздохнули при Временном правительстве.

Илиодор из Нью-Йорка сообщает, что едет в Россию. Пишет, что «утопит монархию в грязи». Книга его о Распутине «Святой чёрт» будет бесплатно раздаваться народу.

НАСТУПЛЕНИЕ СОЮЗНИКОВ НА СОММЕ. Немцы отказываются принять сражение и отступают.

Потопление французского броненосца «Дантон»...

АМЕРИКА И ГЕРМАНИЯ. На днях президент Вильсон сделает заявление конгрессу, что Америка фактически уже находится в состоянии войны с Германией. Русская

революция уничтожила последнюю оппозицию в Америке против вступления в войну. Война уже признаётся начавшейся.

Заявление английского правительства в палате общин. На вопрос о безопасности бывшего царя... Нет причин беспокоиться за судьбу его и членов семьи.

ГРОБ РАСПУТИНА ВСКРЫТ. Цинковую крышку разломали на куски, каждый хотел взять себе. Это, говорили, на счастье, как верёвка от повешенного.

ЧЕРНЫЕ АВТОМОБИЛИ. Несмотря на наступившее успокоение – черные автомобили продолжают терроризировать публику. Вчера вечером появилось два новых чёрных автомобиля: один мчался с бешеной быстротой мимо Зимнего дворца, другой расстреливал публику в Лесном. Для поимки чёрных автомобилей по городу выслано три бронированных. Нет сомнения, что в ближайшие дни они будут пойманы.

... Дабы получить билет на право входа в Таврический дворец, надлежит обратиться с письменным заявлением к дежурному адъютанту. На следующий день заявившим объявляется резолюция коменданта и кому пропуск разрешён – выдаются билеты.

Подписал: комендант полковник *Перети*

... В чайной на Большой Посадской солдат показывал посетителям ружьё, нечаянно нажал курок, пуля попала в живот служанке.

... Совершенно уничтожить повсюду названия «Александровский» и «Николаевский»...

... Раскрадены вещи Протопопова...

ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ... Проект Венгерова был принят с поправками Иорданского, Ляцкого, Амфитеатрова... Ликует и трепетно волнуется Россия на всём своём великом протяжении... И могут ли не быть переполнены энтузиазмом сердца писателей русских при созерцании чудеснейшего из всех известных всемирной истории переворотов?... Не литература присоединяется ныне к революции, а революционная Россия осуществила то, что проповедуется русской литературой уже больше 100 лет... Радищев развернул знамя свободы. Первую оду вольности сложил Пушкин... Злая сатира Грибоедова, горький смех Гоголя... Достоевский – певец бедных людей... Тургенев – апостол освобождения крестьян... Некрасов – Тиртей русской революции... Гениальная сатира Салтыкова... Ослепительный успех революционной мысли Белинского, Чернышевского, Писарева, Михайловского... Великие изгнанники Герцен и Лавров...

Веруем и исповедуем, что свободный народ... что небывалый расцвет...

... Вставайте, товарищи художники! Слейтесь в единый весенний поток и с кликом «да здравствует свободное русское искусство!» смойте из дворцов искусства всю императорскую плесень и мишурную мерзость!... Под красным знаменем революции организовать ячейку революционного правления.

... Митинг в Московском Художественном театре... Чувства святого восторга...

ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ г. МОСКВЫ. ... В дни переворота, когда рушились старые органы управления, в широкие слои населения могли проникнуть сведения, не подлежащие оглашению. Призываю осведомлённых лиц во имя пользы дорогой Родины не разглашать сведений военного характера.

Подполковник *Грузинов*

Чествование Грузинова. ... Командующий сказал: «Я не стремился к тому посту, который сейчас занимаю. Но судьба поставила меня на это высокое место...»

... Кавказские газеты с тёплым чувством отмечают, что великий князь Николай Николаевич с первых же известий придал государственному перевороту решающее значение.

Ташкент. Великие события приняты русским и туземным населением восторженно.

Киев. В городскую думу включены представители от еврейских организаций. Ночью проведены обыски в поисках Маркова и Замысловского, но тщетно.

Ставрополь. Ликующий народ, манифестируя по улицам, перед памятником Александру II провозгласил вечную память царю-Освободителю.

Актарск. В уезд посланы отряды казаков с целью пропаганды нового строя.

Одесса. Собрание чинов полиции, городских и представителей рабочих... Как обеспечить возможность искреннего служения полиции новому строю. Комплект городских сокращается наполовину. Над зданиями участков – красные флаги.

Ялта. Местные чины Союза русского народа заявляют в печати о преданности новому правительству.

Царицын. Второй день пожар в тюрьме.

Саратов. Общество потребителей решило построить дворец Свободы.

Орел. Появилась мука и керосин.

... В то время как города уже примкнули к новому правительству, деревня продолжает оставаться в неведении. Это может создать брожение.

... по деревням держатся остатки старой власти...

... Письмо крестьянина в редакцию «Тамбовского Земского Вестника»: «Господа депутаты революционного движения! В добрый час вперёд! В уезде многие земские начальники, волостные старшины и урядники не дают нам рассчитывать устроить на русской земле рай. Пропагандируют, что будет нам борьба, а не мир... Не напечатаете моего письма – пожалуюсь московским депутатам рабочим.»

Ярославская губерния. Кооперативная организованность крестьянства обеспечит новому строю счастливое разрешение продовольственного вопроса. Господствует бодрое настроение и уверенность, что война скоро кончится.

В Макарьевском уезде крестьяне грозят разгромить земство, которое не озаботилось подвозом хлеба.

... Общество хлопчатобумажных фабрикантов ассигновало на нужды революции...

... С новым режимом домовладельцы могут попробовать перестать топить свои дома...

Открыта подписка на роскошное художественное издание **Русская Революция** .

КТО ВЕРНЕТ в Управление ТРАМВАЙНЫЕ РУЧКИ, будет дано вознаграждение: за большую ручку – 5 руб., за малую – 3, за ручку с рычагом...

Деревенская девушка желает поступить прислугой, только не к евреям.

НУЖНА барышня-еврейка в интеллигентную семью к мальчику.

ИМЕНИЕ купить желаю.

КУРОРТ ГУРЗУФ открыт круглый год. Первокласная французская кухня. Апартаменты по 3-4 комнаты, телефоны. Морские ванны во всех отелях. Итальянский оркестр. Верховые лошади.

Писатель -француз приглашает в качестве секретаря молодую православную даму или девицу симпатичной наружности, любящую литературу и совершенно свободную.

КАБАРЕ ПОДВАЛ открыт, Леонтьевский пер.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ электротеатр – **ТЕМНЫЕ СИЛЫ** (Григорий Распутин).

535

И всю жизнь Шингарёв кроме работы не знал ничего – но ещё так ему не доставалось. Как неуклюже топчутся два борца, всё схватываясь, всё норовя лучше подцепить противника, – так и он топтался, пытаясь охватить эти плечи необъятные, эту тушу непомерную своего неизведанного противника – продовольственной проблемы. Он прерывался лишь на короткий сон и на длинные заседания правительства, правда ещё на дорогу домой тратил время, потому что не захотел вселяться в казённую квартиру при министерстве – стыдно казалось (хотя удобно бы очень – и министерство, и правительство в одном шаге). Всё же остальное время он тонул в этом море, пытаясь измерить его.

Он не из рук докладчиков, но сам должен был прознать всю глубину. Он был нов на деле, а нужно было действовать как давнишнему тут, прирождённому. Весь окоём застилала проблема, как накормить сейчас армию, города и потребительские губернии. Но и давние, и долгодействующие течения должны были быстро стать ему известны: как не прервать и даже установить прочней земледельческую статистику, без чего не будет видно вперёд; как не прервать смет по развитию земледелия в Семиречьи (надо признать, плодотворное наследство Столыпина); или как не подорвать обработку хлопка в этом году в Туркестане; или как укрепить школу Народных Искусств по развитию ремёсел. А дни революции навалили – на кого ж, если не министра земледелия? – ещё преогромную задачу: осваивать земли императорского пользования – Удельные и Кабинетские, – и передавать – кому? как? Это требовало не дней, а нужда была почти дневная – хотя б для того, чтоб не начали громить помещиков.

Трудно, трудно – но и как плодоносно это всё являлось! Так больно оторванный от изученных финансов – вот уже, за неделю, Шингарёв, кажется, сжился и с министерством земледелия. Да может быть даже оно было ему куда и родней, чем министерство финансов. Да всё родно, что делается для родной России, только уж определиться бы к какому-нибудь делу одному.

Но ещё и сами организационные формы не помогали, а скорей мешали ему. По сравнению с министром царским у Шингарёва система получалась как бы не запутанней: ведь он был повязан ещё постоянной связью с Советом рабочих депутатов, с его продовольственной комиссией, и её подкомиссиями, и совещательным советом, навязываемым ему. Когда Шингарёв оппонировал Риттиху в последние недели Государственной Думы, он упрекал его, что надо больше слушать общественность, а с развёрсткой не торопиться. А вот набиралось у Шингарёва этой общественности с избытком (сам же, сгоряча, ещё позвал на помощь и Вольно-экономическое общество), но от кипенья её ему не просвечивало облегчения.

И только сейчас ощутил и осознал Шингарёв, какую тяжестью висело на министре земледелия громоздкое Особое Совещание по продовольствию, которое Прогрессивный же блок и придумал: многочленное совещание при министре малоответственных советчиков из общества. Ещё недавно, пока Шингарёв и его друзья были в оппозиции, такое совещание казалось им единственным способом вселить разум в правительственные действия. Но вот Шингарёв стал министром – и увидел всю обременительность, неоперативность, неуклюжесть этой затеи: она способна только отягощать и задерживать его действия, а в идеях Совещания он не нуждался: они сами были из дела видны. Теперь он изобретал предлоги, как бы этого Совещания вовсе не собирать.

Шингарёву неизбежно было опереться на свою систему продовольственных комитетов, – но как сложно и долго было их составлять! Председателем центрального комитета должен был стать он сам, а члены – набраться сложнейшим образом: по 5, по 4, по 3, по 2 (и это всё колебалось и обсуждалось), от Совета рабочих депутатов, от Земсоюза, от Союза городов, от военно-промышленных комитетов, от биржевиков, от сельскохозяйственных палат и от кооперативов. Только не знали, каким же образом взять советников от питающей деревни, как услышать голос самих крестьян? – но была надежда, что крестьян пока с успехом заменят кооперативы. И все эти намечаемые деятели уже набирались, охотно входили и спешили обсуждать, пока больше на частных встречах и в печати, – руководящие принципы будущего комитета, общий план, общие меры. И «Биржевые ведомости» поучали министра, как правильно насытить продуктами центры потребления и даже как реорганизовать производство хлеба в стране.

Но общегосударственному комитету не через кого было начать работать, пока не будут созданы продовольственные комитеты губернские, уездные, волостные, – созданы спешно, и с тем же сложным представительством – по 5, по 4, по 3, по 2, да чтоб достаточный перевес демократии над цензовыми земцами, а чтоб работники были деловые – да не включать ли туда и только что уволенных, недавних уполномоченных по хлебу? Как набрать их всех быстро, толково – и быть уверенным в их работоспособности? А особенно в волостях! – из кого набирать в волостях? кто готов к этой работе? Вот когда под горло подступило пожалеть, что Государственная Дума столько лет тормозила столыпинское волостное земство!

Так сразу, одновременно надо было: и перестраивать организацию и усилить снабжение.

Сейчас предстоял самый опасный тяжёлый месяц полного бездорожья в центральных губерниях. Уже начавшаяся на юге распутица теперь будет продвигаться на север, а после снежной зимы она будет долга, и русская деревня со всеми запасами закроется на полтора месяца. До распутицы надо успеть собрать столько хлеба, чтобы всей армией и всеми городами просуществовать апрель и май. В последние дни, к счастью, хорошо подошли продовольственные грузы на Северный и Юго-Западный фронты, так что они снова стали откладывать в неприкосновенный запас. Но по всей Средней России надо было успеть подвезти зерно к станциям в самые короткие дни. Чтобы вся деревня как один человек бросилась доставлять запасы! Воздействовать на население надо было так быстро, как не могли успеть никакие законы, распоряжения и организационные меры, – воздействовать надо было пламенным словом!

Да такой путь воздействия был и более всего открыт, понятен и близок сердцу Шингарёва! Он даже предпочёл бы только так и действовать с министерского поста. Патриотический порыв – наше счастье, исцелитель всех наших недугов! Все планы дрожали и таяли из-за надвига распутицы, и оставалось только – снова и опять воззвать! Воззвать – к порыву людей. Самое простое – прибегнуть к человеческому голосу, подать его – о помощи! – и соотечественники, и мужички не могут не отозваться! Везите хлеб! Соотечественники! Меньше всего думайте о ценах и выгодах, а – везите хлеб! Если война требует жертв жизнью – почему ж не пожертвовать достоянием?

По бездорожью, по инертности – воззвание не дойдёт? Так – проталкивать его в крестьянское сознание! Пусть оно будет по церквям прочтено и разъяснено духовенством! И телеграфировать во все земства! И пусть уездные земские управы мобилизуют самых популярных общественных деятелей – на разъезды и разъяснения! В хлебородные губернии посылать комиссаров, эмиссаров: разъяснять крестьянам всю важность обеспечения городов хлебом. (А к петроградскому населению тоже воззвать: до введения карточек экономить хлеб.)

Так первые дни из деятельности Шингарёва рождались главным образом только воззвания – то от имени Родзянки, то – от продовольственной комиссии, то от целого правительства, то – особо к кооператорам, этой деревенской интеллигентной силе. Нужна спешная закупка и доставка хлеба к станциям и пристаням!

Хлеб производят крестьяне, но лучшая надежда получить его – через интеллигенцию. Если не интеллигентные силы будут агитировать за сдачу хлеба – то кто же? И от кооперативов, и от ссудо-сберегательных товариществ текли телеграммы с выражением глубокой радости о перевороте и с предложением продуктов в дар. Постановил Шингарёв собрать в конце марта кооперативный съезд.

Но прошла уже полная неделя Временного правительства, телеграф разнёс все воззвания по всей России, – а сани с зерном что-то слабо показывались на станциях.

Министр земледелия ещё продолжал делиться с печатью: да, все надежды возлагает только на общественную самодеятельность... На местах уже осознали и приступили к ликвидации доставшегося нам тяжёлого наследия... Продолжал искренне так говорить – но сам уже начинал и разочаровываться: воззвания воззваниями, но только государственные меры могли по-настоящему решить дело.

Неделю назад его коробила разосланная Продовольственной комиссией телеграмма, дававшая право реквизировать хлеб у всех, чья запашка больше 50 десятин. А позавчера Шингарёв созрел – и телеграфировал по всей России циркулярно: всем уполномоченным по закупке хлеба для армии – эту реквизицию **привести в исполнение немедленно**, платя по твёрдым ценам. Он не только не отменил ту телеграмму, – он усилил её!

О, если б на насильственную реквизицию хлеба решилось царское правительство – кадеты первые бы уничтожили его в Думе. Но сейчас, когда власть перешла в руки народа, а Думы как бы совсем не стало, – теперь революционная власть, не боясь нареканий парламента, могла декретировать хоть и эту меру, хоть и большую: создать по всем губерниям и уездам энергичные хлебные комитеты – для добывания, вытягивания хлеба из русской глубины. И посылать им наряды центральной власти.

Теперь, вблизи, присматривался Шингарёв к деятельности своего предшественника Риттиха – и начинал сознавать, что тот делал на своём месте, пожалуй, наилучшее, что только мог. Разбираясь в кипах министерских бумаг, разглядывал теперь Шингарёв, что не в царском наследии было дело. В этом самом кабинете работавший Риттих (к счастью – ушедший от ареста, иначе это невыносимо мучило бы сейчас Шингарёва) – как бы оставил ему тут, в воздухе, и наилучшие советы. И Андрей Иванович начинал увлекаться тою системой, с которой так недавно боролся.

Как недавно, две недели назад, восклицал Шингарёв в Думе: политика мешает Риттиху делать священное дело продовольствия. «Неосторожно, господин министр!» Но сейчас

именно политикой – революционной – была переплетена и перемешана вся хлебная работа Шингарёва. Как недавно высмеивал в Думе Шингарёв риттиховскую идею *развёрстки*, активного призыва населения к добровольным поставкам, – а идея-то была правильная, и совсем не заменялась кадетской идеей самодеятельности: с августа по декабрь смогли купить только 90 миллионов пудов, а за декабрь-январь Риттих умудрился купить 160 миллионов, за что Милюков разносил его в Думе, а сейчас города и армия только этим и переживали зиму. А сейчас – о если бы, если бы поступление хлеба было февральское риттиховское, которое кадеты в Думе назвали катастрофическим, – о если бы оно, мы пережили бы весну! Но доходили сейчас вагоны хлеба, заготовленные при Риттихе, – а новые никак не заготавливались, несмотря на весь революционный подъём.

Кадеты и сам Шингарёв обвинили Риттиха в его настойчивой громогласной хлебной развёрстке – как бесчеловечной мере. А сейчас Шингарёв обдумывал те же самые проблемы как уже имеющий власть – и ясно видел, что развёрстка хлеба не только была нужна, и должна быть ещё форсирована (с некоторых губерний потребовано слишком мало), – но для спасения страны развёрстка уже слишком слаба. Если и предстояло исправить меры Риттиха, то, с удивлением видел Андрей Иванович: не сдерживать их, не отменять, но резко усилить в том же направлении, вмешивать государство не меньше, чем было при Риттихе, но – больше, беря под государственный контроль и заготовку, и перевозку, и разгрузку, и распределение повсюду. (Да Андрей Иванович и прежде так начинал подумывать – но перед единством партии не смел высказываться.)

То есть... то есть проступала страшная, отчаянная мысль, которая и прежде маячила взору Андрея Ивановича, но про себя, без ответственности: что придётся, придётся... Ох, глядя на Германию (к ней давно уже приглядывался Шингарёв)... не пришлось бы вводить *государственную монополию* на хлеб? Реквизиции – это только начало, а за ними проглядывало множество насильственных мероприятий, вплоть до того, что: весь хлеб России объявить собственностью государства! (Как это и сделано в Германии.) Внезапно, по телеграфу, в глушь, отрезанную снегами и распутицей, объявить: за вычетом норм посевных, кормовых и продовольственных для самих крестьян – всё остальное зерно объявляется собственностью государства, и хозяева этого хлеба превращаются лишь в хранителей его, ответственных перед государством.

Идея была – страшная своей революционностью, своей необычностью для России: Шингарёв дерзал переступить черту, ещё никогда никем не переступленную за тысячу лет России, – отнять хлеб у сеятеля и кормильца!

Но для спасения самой же России ничего другого придумать нельзя.

Однако: по ценам, что есть сейчас, забирать хлеб насильственно и даже весь подчистую – бессовестно, не вознаграждено за труд.

Так неужели же? – ох, неужели? – надо поднять твёрдые цены? Самим поднять, против чего так резко спорили? – это будет позор кадетского знамени! Этими зимними месяцами, вторым лидером кадетской фракции, никакого сомнения не имел Шингарёв, что твёрдые цены надо понижать. Но сев на министерское место – сам теперь увидел ясно, что их надо поднимать, как Риттих поднимал. Должны же оправдаться и затраты землевладельцев! Хотя бы то, что в крупные хозяйства сейчас не найти рабочих и сколько приходится только за них переплачивать. Беженцы пристроились в основном в городах. Нескольких разумных посетителей из деревни в эти дни успел принять Шингарёв, в том числе известного тамбовского помещика князя Бориса Вяземского, приехавшего на похороны брата. (При большом опыте в сельском хозяйстве и разнообразных способностях, у него было только лицо невыразительное, очень среднего чиновника, надо привыкнуть. Но Шингарёв его знал по Усманскому уезду, уважал.) И между прочим Вяземский предупреждал, что твёрдые цены не избежать повысить, если Временное правительство не хочет поставить всю деревню против себя.

Однако все эти свои новые догадки – осмелится ли Шингарёв высказать публично? Страшно перешагнуть через кадетскую совесть. Демократические деятели и сегодня

бушуют, что нельзя поднимать твёрдых цен, но наказывать, наоборот, понижением цены всякого, кто задерживает хлеб. А что закричит Совет рабочих депутатов? А Громан? (Всё носится со своей идиотской понижательной шкалой: чем больше хлеба сдаёт земледелец – тем дешевле надо ему платить.) Это поднимется такой свист и грохот...

Перед немым лицом бородатого серого мужика – страшно было Шингарёву сделать шаг в хлебную монополию, даже до холодного пота. Перед подвижными, быстрыми лицами демократических коллег – так робостно, стыдно было обмолвиться о повышении твёрдых цен.

А ТЫ ПРОВЕРЬ, ПРОЙДЁТ ЛИ В ДВЕРЬ?

536

За десять лет, предвоенных и военных, сэр Джордж Бьюкенен почувствовал себя в России чем-то большим, нежели посол: тесные тёплые связи с русским обществом выдвигали его как бы в общественные деятели самой России. (Правда, по-русски он так и не научился.) Может быть, лучшим тут символом было, что в прошлом году Москва избрала его своим почётным гражданином, поднесла ему икону XV века и громадную серебряную чашу, изображающую шлем русского богатыря. В здании посольства у Троицкого моста Бьюкенен поселился не как временный посол, но как постоянный житель этой страны, перевёз сюда и всю свою личную обстановку из Англии, все свои вещи, всё, что имел, – ибо наша жизнь и есть наша повседневная, а не какая-то откладываемая будущая. (Когда начала бушевать по улицам революция, где-то кого-то грабили – можно и раскаться, стоило ли всё сюда везти?)

В этом здании Бьюкенен часто принимал Родзянку, Гучкова, Милюкова, оппозиционных думских лидеров, здесь запросто очень свободные велись политические разговоры, и проклинали самодержавный строй, и императрица, и даже передавались слухи о заговорах, как и по всему Петрограду. Будучи человеком волевым и действенным, Бьюкенен не ограничивался этими благожелательными разговорами – но и сам выступал с влиянием. Министру Сазонову он просто стал близкий личный друг, и они пребывали в полном ладу, отчего так выигрывали англо-русские отношения. Узнав, что готовится смещение Сазонова, Бьюкенен совершил беспрецедентный для посла шаг: уже не имея времени даже для консультации с английским правительством – послал российскому императору личную от себя телеграмму: что посол так тесно работает с Сазоновым, что не может скрыть страха, какой вред его отставка причинит англо-русским отношениям, отчего и вынужден предостеречь царя от такой ошибки. А царь не ответил – и сместил Сазонова. (Министр сэр Эдуард Грей потом одобрил демарш Бьюкенена, и вообще его способ ведения дел в России, но, к сожалению, телеграмма стала известна немцам, и те окрестили посла некоронованным королём России.)

Так глубоко от сердца вошёл Бьюкенен в русские дела – не скрывал своих симпатий к стремлениям русских либералов и вместе с ними вёл следствие о несомненной государственной измене Штюрмера (увы, несомненных улик не удалось собрать – а реакционность его была у всех на виду). Богатый опытом и практическим зрением, Бьюкенен не мог отказаться давать и самому русскому царю пояснения, объяснения и советы. Он пытался остановить его и от неразумного принятия Верховного Главнокомандования. Он указывал ему на аудиенциях, что для блага России – надо даровать ей парламентский строй и

пойти на уступки общественности. Иногда предлагал ему кандидатов на то или иное министерство. В прошлом октябре очень рекомендовал царю подарить Японии Северный Сахалин – за то, чтоб она прислала свои войска на русский фронт. Вообще он усвоил разговаривать с Николаем II, как до него ни один посол не разговаривал с державным властителем. А после убийства Распутина запрашивал Лондон, можно ли энергично поговорить с царём от имени английского короля и правительства. Такого полномочия он не получил – и решил говорить от собственного имени. В эту последнюю аудиенцию, накануне Нового года, царь принял посла не в обычной непринуждённой обстановке, но в торжественном зале аудиенций, один, в парадной форме и стоя, сразу отгородясь холодом официальности. Но и это не остановило сэра Джорджа, и он энергично убеждал императора, что единственный способ спасти Россию – это отказаться от нынешней внутренней политики и уничтожить преграды, отделяющие царя от народа. У Государя – странный способ выбора министров, и отдаёт ли он себе отчёт в опасности положения? «Если Дума будет распущена – я потеряю веру в Россию! Вы, Государь, находитесь на распутьи и должны выбрать одну из дорог!» И предостерегал, что некоторые советники императора в руках немецких агентов. И пока Протопопов у власти...

Всё тщетно! Николай держался оскорблённо, ничему не внял. И то была – последняя аудиенция. А революция, к счастью, назрела и прорвала, и вот уже была достигнута одна из целей, которые Англия преследовала: укрепить Россию для ведения этой войны.

И теперь, поворотом исторического колеса, вот, английский посол оказывался едва ли не распорядителем судьбы этого царя.

Два дня назад, выполняя пожелание Милюкова, Бьюкенен телеграфировал в Лондон, что Временное правительство просит предоставить в Англии приют бывшему царю и желает срочного ответа.

Такое приглашение не просквозило в телеграмме короля к царю (которую Временное правительство, видимо, не передало адресату, – да пожалуй и к лучшему; да это – его дело). И такое приглашение казалось невозможным, если знать всю обстановку в Англии и чувствительность либерального правительства Ллойд Джорджа к левым голосам. Но вопреки всем предвидениям и к полному изумлению сэра Джорджа, сегодня пришла из Лондона телеграмма, что король и правительство Его Величества счастливы присоединиться к предложению Временного правительства о предоставлении государю и его семье убежища в Англии, – разумеется, если они будут обеспечены необходимым содержанием, и разумеется лишь на время войны.

Это ново! Удивительный документ! Тут больше движения чувств, чем реальной политики. По дипломатической привычке сэр Бьюкенен перечитывал и перечитывал, выявляя невидимую часть... **Присоединиться к предложению** – вот где был ключ в телеграмме, вынужденной и вряд ли долговечной. Перед общественностью Великобритании правительство Ллойд Джорджа не могло представить этот переезд иначе, как результат настойчивой просьбы Временного правительства.

Но была ли на деле такая настойчивая просьба? Из прошлых разговоров с Милюковым Бьюкенен не вынес впечатления о большой решимости правительства – и даже наоборот. Этим ключом и следовало отпирать.

По революционной обстановке Бьюкенен избегал пользоваться и своим автомобилем, и своим выездным фаэтоном с серыми в яблоках лошадьми с дрожащими ноздрями и роскошным кучером Иваном в синем наваченном толстом армяке, голубой четырёхуголке с посольскою кокардой, в белых замшевых перчатках, с голубыми возжами. Сейчас сэр Джордж предпочитал, чтоб не нарваться на оскорбления, скромно пройти пешком по Миллионной до министерства.

В ту же минуту принятый Милюковым, он положил перед ним расшифровку телеграммы.

Милюков был облегчён – несомненно, он не ожидал столь быстрого и столь решительного ответа из Лондона. Облегчён – но и смущён:

– Но сэр Джордж! Я уже говорил вам: мы никак не можем допустить, чтобы раскрылась инициатива Временного правительства в этом вопросе! Она должна остаться в тайне. Мы находимся под страшной угрозой и нареканиями Совета рабочих депутатов!

– Но, господин министр! – возразил посол. – Наше правительство также имеет своих крайних левых, с которыми должно считаться. Мы тоже не можем взять инициативу на себя. Согласие, вы видите, пришло исключительно в ответ на вашу просьбу.

За очками Милюкова появилось совсем редкое для него умолительное выражение:

– Но в нынешней обстановке... Мы никак не можем выявить такой инициативы, сэр Джордж! О нас подумают...

– Но и мы, Павел Николаевич, не можем допустить, чтоб общественные круги не только Англии, но и России заподозрили бы английское правительство в намерении реставрировать русскую монархию.

Тупик.

– Примите во внимание, что переезд царя положит косвенную тень также и на французское правительство – как бы тоже в соучастии в попытках реставрации. Будут протесты и там.

Обсудили аспекты второстепенные. Чтоб император не покидал Англию, пока не будет окончена война? Да, это очень желательно и с русской стороны – чтоб он не стал где-либо игрушкой врагов. Содержание? – да, да. (Хотя: можно ли будет средства государя вывезти из России?...) Снова осведомился посол, насколько сейчас прочно обеспечена безопасность бывшего императора? Один великий князь, не желающий оглашения своего имени, посетил дочь посла и предупреждал, что император будет убит, его надо вывезти поскорей.

Милюков с неожиданно живым движением очень попросил посла: не контактировать ни с какими членами сверженной династии! – это может бросить тень и на вас и на нас.

– Но ведь в России сейчас нет поводов ожидать какой-либо опасности царю? – настаивал посол.

– О, ни малейшей, – заверил Милюков.

Тогда Бьюкенен ещё, гипотетически:

– А отчего бы государю не поехать в Ливадию? Там он будет и хорошо защищён, и его легко там изолировать.

– Увы, возможны неприятные задержки в пути со стороны революционных рабочих. И потом – семья ещё не выздоровела.

Посол ушёл, а Милюков остался со своим недоумением.

Несмотря на дружбу с Бьюкененом, он тоже не мог говорить откровенно.

Собственно, сэр Джордж сам его сбил позавчера, проявив слишком уж повышенное беспокойство о судьбе царя. Он сам подтолкнул Милюкова усилить, ускорить просьбу об отъезде царя в Англию.

Буквально такого поручения от правительства Милюков не имел. Это всё были – скользкие мнения, предположения, – а на самом деле правительство зажато Советом.

Да просто нельзя было ожидать от Англии столь поспешного – хотя по-английски и уклончивого – согласия.

Только ли оно! Русский посол в Мадриде князь Кудашев только что телеграфировал, что и испанское правительство приглашает государя, и безо всяких условий.

Дело не в приглашении – дело в невозможности: что скажет Совет?

Да и сам Кудашев – слишком откровенный монархист, его следует уволить.

537

Так было тихо всквозную на фронте, что в солнечный день в лесу был слышен шорох: как подтаявший снег осыпается с сосен.

От череды дневных таяний и ночного морозца образовался наст. И на открытом поле он так и держится прочно, едино, поблескивая в солнце, а в местах осенённых вдруг со

страшным шуршанием вдаются, опадают большие плиты корки.

В лесу (Саня забрёл в Голубовщину) там и сям по снегу темнеет какой-то сор. Это нашелушилась и облетела бронзовая прозрачная бумага – сосновая тонкая кора с верха стволов.

А где и потолще, это с низу ствола.

И немного игл, не досыпавшихся осенью.

А то – насорённая шелуха от десятка разгрызанных сосновых шишек. И мелкие следы, мельче заячьих. Живут!

У молодых сосен из концов веточек уже растут желтоватые свечи.

А небо – белесовато-голубое, нежное, ранне-весеннее.

От солнца коже – прямое тепло. И где-то в воздухе – перемещение тёплых струек, между холодных.

И ото всего вместе – нежная тяга: когда же, наконец, начнёшь ту главную свою жизнь – чистую, светлую, необходимую? До каких же пор – окольные пути, война какая-то?...

Что-то в Сане отчуждалось от войны. Сам пошёл, два с половиной года долгом вгонял себя в военного человека, и даже втянулся, даже почти безоглядно воевал, – а вот отказало что-то. Не стало совсем стрельбы, военных действий – и Саня сразу ощутил себя выключенным из войны.

Увы, его – не считали выключенным. И сегодня дали расписаться в приказе, что с понедельника он будет при фольварке Узмошье, при штабе бригады, через день обучать офицеров 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского и 3-го гренадерского Перновского полков действиям с противотанковыми орудиями.

Странно это было сейчас.

За долгое стоянье здесь обучали кого чему, появились добавочные специальности. Устимович – газовый комендант, Чернега – по орудиям противоаэропланам, а Саня стал как бы специалист по выдвинутым вперёд одиночным орудиям против ожидаемой новинки «танков» – железных передвижных чудовищ, которые у англичан уже в деле, а у немцев вот-вот должны появиться. «Танков» ни разу ещё не было, но в январе Саня стрелял с передней линии по прожекторам, по нему отвечали – а он продолжал стрельбу и заставил прожекторы погаситься, – светили немцы потом ракетами, кострами, а прожекторов больше не зажгли. А потом еле укатили орудие – немцы дали по тому месту смертоносный огонь.

С того вечера подпоручика Лаженицына и признали окончательно – по противотанковым орудиям.

Но петроградские события – лишали это всё смысла.

Такое ощущение, будто кончилось санино дело здесь. Что-то надломилось и в войне и ещё более в нём самом – и Саня разом потерял к ней вкус.

Немцы? – наверняка не будут больше действовать, появилась уверенность. Зачем это им? Они только рады нашей революции, руки развязались.

Даже энергичные честные слова смирновского приказа не собрали Саню к действию. Да и вряд ли кого многих. Они – искренно выражали, да не всё нынешнее состояние. В соседних гренадерских полках то одна, то другая рота отказались идти на работу – и оба раза ездили уговаривать командиры полков. А потом и целый батальон – дошёл до работ и отказался. Так и возвратили его в резерв.

Если у войны была (вообще бывает?) душа – то она отлетела.

Ну и пусть. Ну и лучше.

Именно – к лучшему, может быть, это всё и происходит? Это общее тяготение к миру – разве оно не есть стремление к добру?

Бог посылает – расстаться с войной.

Но если душа отлетела от войны – то и не в революцию она вселилась. В три дня Саня насытился газетным революционным чтением – и стало ему скучно-прескучно. Всё писали о грандиозности событий – но не видел он в том никакой грандиозности, а обезумелую суету. Всё это огромное, непроторливое, мутное – на сколько ещё времени?

Интересно, что Котя? Саня написал ему письмо, но встречного не было. Теперь он – чуть подалее, легко не съездишь.

Косо прислонясь к бронзовой сосне плечом, и головой к ней, а лицом жмурясь к солнцу, Саня стоял как подпорка ствола.

Такая подпорка зовётся *пасынок* .

А он хотел быть – сыном. Этого леса, этой весны, всего голубовато-солнечного огляда.

Он хотел вернуться в ту жизнь, какую знал раньше, когда совсем нет войны, и никакого ей оправдания.

Хотелось – этого мира! Размышлений. Уединения.

Чуть-чуть, вот, отъединись, – и греет солнышко, попискивают клесты, и с дыхательным шорохом оседает отяжелевший снег.

Ясная тишина – и царствует над ней тайна Божья.

И хочется подняться к ней и влиться в неё как в самое своеродное.

Подняться к ней – как это сказано: от земного изгнания.

Что это? Предчувствие, что скоро убьют?

Нет, чувство такое светлое, не вяжется со смертью.

Голубизна неба – ещё несмелая, несплошная.

Вся глубина и яркость его – впереди.

*

* *

Ты воспой, воспой, жавороночек,

Сидючи весной на проталинке.

538

(по социалистическим газетам, 8-10 марта)

АРЕСТ НИКОЛАЯ II ... считаясь с явно выраженной волей революционного народа, Исполнительный Комитет признал пагубным для дела русской революции как оставление Николая II на свободе, так и выезд его за границу...

Подробности ареста царя... В пути царского поезда к комиссарам Государственной Думы являлись с денежными пожертвованиями для жертв революции – всего 380 руб. 50 коп. – делегаты поездного состава, от кухонной прислуги и от дворцовой полиции. Делегат последней заявил: «Так же честно, как мы служили старому порядку, мы будем служить и новому правительству.»

РАССТРЕЛЯТЬ? ... телеграмма Н.Н. Романова, который, неизвестно по какому праву, продолжает именовать себя Николаем Николаевичем... Озабочен не осуществлением свободы, но поддержанием дисциплины... не отстаёт и начальник штаба Алексеев... Такие господа не свободу дадут, а военно-полевые суды, виселицы и расстрелы. Чего же смотрят Гучков и кн. Львов? Неужели они думают, что у Романова и Алексеева не найдётся верёвки и для них?

... Газета «Речь», орган Милюкова, призывами к народному единению науськивает

против солдат и рабочих, а сама подготавливает реставрацию Романовых...

... Наш враг силен и хитёр. Он отступил, притаился, но точит свой нож, чтобы воткнуть народу в спину. Волки надевают овечьи шкуры, проникают, куда возможно, чтобы завладеть потерянными позициями, и втихомолку организуют контрреволюционные силы. Демократия должна зорко следить за этой искусной подпольной работой. Главная опасность грозит именно с этой стороны.

(«Известия СРСД»)

... Страна нуждается в мире, кто не понимает этого – тот враг народа. Мы желаем думать, что Временное правительство – не враги народа.

(«Рабочая газета»)

ТОВАРИЩИ! ЧИТАЙТЕ «ПРАВДУ» ВСЛУХ НА УЛИЦАХ,

НА МИТИНГАХ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ДРУГИМ

... Временное правительство – целиком из представителей буржуазии и землевладельцев. Таким образом, рабочие, разгромив монархию, добровольно сдали власть привилегированным классам. Это небывалая революционная скромность. Революция есть прежде всего захват политической власти. Это так легко было сделать, а рабочие упустили. Но остаются две позиции, с которых можно без новой революции кое-что вернуть: демократическая республика и прекращение войны...

... вожди английской лейбористской партии «твёрдо рассчитывают на помощь русских рабочих в деле свержения германского деспотизма»... Мы всем сердцем ненавидим деспотизм Вильгельмов, но и Брианов, но и Ллойд Джорджев, деспотизм к полякам, евреям, но и жителям английской Индии. Везде одурманиваются мозги пролетариата, война ведётся в интересах крупнейших капиталистов. Все они, капиталисты коалиции и центральных держав, уже туго набили себе карманы. Все эти прибыли идут за счёт крестьян и рабочих. Чтобы скорей победила революция в Германии, нужно открыто заявить, что мы не хотим продолжать войну без конца.

Резолюция на митинге солдат и рабочих 8 марта, 1000 человек. Это Временное правительство не является выразителем... Недопустимо давать ему власть над восставшей страной... Совет Рабочих Депутатов должен немедленно устранить это Временное правительство либеральной буржуазии.

... В рядах Временного правительства таятся контрреволюционные вождения...

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ? Новое правительство выпускает 2 миллиарда бумажных. А дальше что? Буржуазия кричит: «всё для войны!». Вот пусть и отдаст – все доходы за 1916 год всех акционерных обществ, всех домовладельцев, всех землевладельцев, всех частных железных дорог, банков и держателей процентных бумаг. Не разорятся, а только покажут, что «всё для войны!».

О НАШИХ БЛИЖАЙШИХ ЗАДАЧАХ. Возвращение к работам в наши сказочные дни есть явление сложное. Под тяжким гнётом царского самовластья душой пролетариата владела страсть к разрушению – и привела его к победе. Но пробуждено новое сложное чувство – воля к строительству новой жизни... На улицах новая жизнь стоит перед пролетариатом в ярких одеждах свобод. Но на фабрике – разве может рабочий мириться с

прежней обстановкой?...

... будем выработать оружие для революционной армии, но оставляем за собой право в любой момент возобновить беспощадную забастовку...

В ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»... будем всячески поддерживать «Правду» и распространять проповедуемые ею идеи в среде наших малосознательных товарищей...

Сознательные солдаты Измайловского батальона

... Московский СРД постановил: требовать от владельцев предприятий вознаграждения рабочим с 28 февраля по 6 марта...

... Решено к работам не приступать, объявить бойкот... Должны уплатить за прогульные дни революции!

... Ни для кого не тайна, что революционные войска победили без офицеров. Только после победы офицерство стало присоединяться. Поэтому задача момента – создание революционного офицерства из отличившихся рядовых, унтер-офицеров, фельдфебелей... Ротные комитеты должны зорко следить, чтобы командование солдатами не находилось в руках сторонников старого порядка...

Французский офицер в Совете Рабочих и Солдатских депутатов. ... попросил слова и на чистом русском языке обратился к солдатам с поздравлением по случаю свержения ненавистного царизма. Речь вызвала бурю долго не смолкавших аплодисментов.

ПРИЗЫВ К ПОЖЕРТВОВАНИЮ. Совет Рабочих Депутатов... Ко всем, кому дорога победа над старым режимом... жертвовать на нужды революции деньги и припасы...

Агитационная комиссия при ИКСРД... установила те общие положения, которыми агитаторы должны руководствоваться в своих выступлениях на собраниях...

К ЕВРЕЙСКИМ РАБОЧИМ. Товарищи! Старый режим пал. Кровавым ужасом заливал он всю Россию... Революционный пролетариат был отдан на разграбление преступной банде палачей и охранников. Угнетение еврейского населения было доведено до неслыханного цинизма и зверства... 6-миллионный еврейский народ задыхался в удушливой атмосфере... Еврейский пролетариат всегда высоко держал знамя революции. Ещё много усилий, чтобы были выявлены все грани нарождающейся свободы... Ещё живы прислужники старого режима... Издыхающий зверь царизма ещё может оскалить свою окровавленную пасть...

ЦК Еврейской Рабочей Партии Социалистов-Территориалистов

ОРГАНИЗУЙТЕСЬ! Дело революции не закончено! – это надо повторять как можно чаще, всем и каждому. Надо уничтожать нашу расплывённость...

От Продовольственной Комиссии. ... все находящиеся в Петрограде воинские части просьба немедленно сообщить, где они питаются.

Норма Потребления хлеба уменьшена до одного фунта для лиц интеллигентных профессий и до одного с четвертью для занимающихся физическим трудом.

УНИЧТОЖЬТЕ ХВОСТЫ! – и тем самым вы укрепите революцию!

... Слой мелкой торговой буржуазии (лавочники, сфера услуги) совершенно не нужен

экономически и вреден политически...

Очереди для входа в трамвай решил установить Исполнительный Комитет. Предполагается ввести парижскую систему.

РАБОЧИЕ КЛУБЫ. Предстоит великая избирательная битва в Учредительное собрание. Великая Французская Революция начала политическое воспитание масс с открытия политических клубов. Побольше клубов как можно скорей! Пусть они будут маяками для масс!...

... На первом заседании Одесского СРСД... об организации борьбы с недремлющими тёмными силами...

Шлиссельбургская крепость горит четвёртый день.

Слушатели и слушательницы зубоврачебных школ! ... Единственная форма свободной борьбы пролетариата за лучшее социалистическое будущее...

Общество студентов и курсисток мусульман... Глубокоуважаемый Александр Фёдорович! Вам, почётному члену наших организаций, шлём горячее слово приветов...

... Товарищам марксистам-грузинам предлагают собраться для совещания о текущем моменте.

Товарищи часовщики! Мы переживаем величайший момент в нашей истории. Собрёмся в театре «Ренессанс» и обсудим...

Вниманию рабочих булочно-кондитерского, калачно-макаронного и хлебо-бараночного производства! Цепи, сковавшие наши руки, пали. С сознанием своего могущества приступим к созданию...

... высказаться по поводу всероссийского съезда **портных** в ближайшее время.

МИТИНГ ШВЕЙЦАРОВ. Говорили о политическом моменте и о тяжком положении швейцаров, дворовых и ресторанных...

... принять немедленно шаги к созыву социалистического Интернационала...

УКАЗ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ АМНИСТИИ...

... до чего нельзя медлить с разгромом очагов старой самодержавной власти... Слуги реакции не сдаются... в Богородицке... в Рогачёве... Эти попытки должны быть подавлены на всём пространстве России с решительностью, достойной великой революции. Нельзя дать им опомниться от первого шквала революции! Нельзя оставить на свободе эти банды полицейских, жандармов, завсегдаев черносотенных вертепов и реакционных салонов. Ядовитую змею надо раздавить немедленно!

(«Рабочая газета»)

ГЕНЕРАЛЫ-УСМИРИТЕЛИ. Приказ генерала Радко Дмитриева... При малейшем проявлении свободного духа... Всякий монархист – враг народа и свободы.

... Что значит сейчас борьба за 8-часовой рабочий день? Это значит бросить занятую

политическую позицию и перейти на новую, экономическую. Но разве так делают на войне? Завоевав позицию, на ней хорошо окапываются.

Жертвуйте заработок первого дня после забастовки – в **Железный Фонд «Правды»** .

РЕЗОЛЮЦИЯ БЮРО ЦК РСДРП О ВОЙНЕ. Продолжение войны Временным правительством ставит цель грабительской политики прежнего царского... Основная задача: борьба за превращение империалистической войны в гражданскую войну народов против своих угнетателей... Неотложно необходимо:

- широкое братание в траншеях;
- выборы комитетов на фронте, руководствуясь Приказом №1. Защита страны может быть только при революционной диктатуре пролетариата.

... Временное правительство торопится закрепить армию приведением её к присяге – не свободе, а Временному правительству. А если Временное правительство захочет оказать вооружённое давление на Учредительное Собрание? пожелает разогнать Совет Рабочих Депутатов? Опубликованный текст присяги – преступное покушение на права народа. **Свобода в опасности!**

Заём «свободы» – или заём порабощения? Новый министр финансов сообщил о новом грандиозном займе на нужды кровавой бойни... Одной России война в день обходится 50 миллионов рублей. Ни одной копейки не даст пролетариат, но сильней подымет голос!...

Товарищи солдаты! Не сдавайте оружия, вооружайте новые кадры революционной милиции. Революция не кончилась! Требования восставшего народа осуществить можем только мы сами...

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД «ПРАВДЫ». Недостаточно только записаться в партию и получить членский билет... Надо поставить себя на службу своей партии... Неумоимо вербовать... собирать пожертвования...

СУДОРОГИ СТАРОГО РЕЖИМА... Во многих местах представители старой власти пытаются... Можно однако не сомневаться, что и в самых медвежьих углах...

... О положении дел в деревнях имеются только отрывочные сведения. Процесс революции там идёт неравномерно и замедленным темпом.

... Еврейская группа демократического объединения приглашает сочувствующих еврейских беспартийных на организационное собрание.

Конференция организаций Бунда...

... 206-я годовщина кнутобойства и злодейств дома Романовых: 5 марта 1711 г. Пётр I пристегнул эпитет «императорский»... Университет, Академии, учёные общества, театры – откажемся от этого позорного титула!

... Женщина-работница, спавшая непробудным сном столько долгих лет, в полном подчинении мужчине, проснулась! Вставай, русская работница! Подбирай ключи от счастья женского, отпирай замки!

... Длинный рабочий день, как доказал Маркс, ведёт к непомерному увеличению прибавочной стоимости...

Резолюция слушательниц курсов Лесгафта. Требуем непрерывного надзора за Временным правительством со стороны Совета Рабочих и... Признаём только те постановления правительства, которые подписаны Советом Рабочих и...

... Московский комитет РСДРП послал приветственную телеграмму вождю РСДРП т. Ленину.

ГОРОДСКАЯ МИЛИЦИЯ. Районные советы милиции должны избираться всеми гражданами и служить органами контроля за милицией. Но ввиду того что такие выборы в скором времени осуществить невозможно, временно эти советы будут избираться самими милиционерами.

Люди чёрного автомобиля – это гласные петербургской городской думы... И они распоряжаются воспитанием наших детей, заведуют трамваями? Вырвать городское хозяйство из их рук! Новые выборы в думу явочным порядком!

... В интересах перестраивающейся на новую, светлую и лучшую жизнь Родины прошу редакцию поместить, а комиссара Московской части оповестить встревоженных прихожан, что с колокольни св. мучен. Мирона Егерского полка, а равно из квартиры настоятеля никаких выстрелов из пулемётов, как показало следствие самих солдат-егерей, не было.

Протоиерей церкви св. мучен. Мирона

Михаил Добровольский

Расследованием Гос. Думы подтверждено.

Комиссар Московского района

Вл. Динзе

ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ!... из главной кассы Управления Николаевской железной дороги... Прошу товарищей солдат сообщить, куда доставлены народные деньги, или вернуть их в главную бухгалтерию... Каждая народная копейка должна быть на учёте...

Товарищи писаря... приглашаются в столовую Главного Штаба для совещания об организации своего Центрального Комитета...

... Общее собрание лазаретных, связанное с переживаемым моментом. Отсутствующих из лазарета просят известить по телефону...

Печники решили идти со всем революционным классом и выбрали одного делегата...

Товарищи счетоводы! В великий и исторический момент...

ПРИВЕТСТВИЕ. Братья-товарищи! Не забудьте и нас, тружениц-прислуг, ибо мы рабыни, находимся под игом...

Группа петроградских прислуг

К товарищам трактирного промысла. Позорное самодержавие Николая Второго рухнуло. Переживаемый момент обязывает нас, «пролетариев зелёной вывески», приступить к организации наших расплётённых сил... Соединиться с товарищами поварами... Обращаемся к Совету Рабочих депутатов, чтоб он зорко следил за Временным правительством, почти исключительно состоящим из консервативно-буржуазных слоев с явно монархическими тенденциями... И установить во всех трактирах, ресторанах, кафе и шантанах – 8-часовой рабочий день.

Потерявшийся мальчик Николай Ионов находится у солдата 4-й роты на Фонтанке... Прсят родителей явиться за ним.

539

Изо дня в день перекладывали вопрос о печати: дозволить ли выходить всей печати без ограничения или правые газеты запретить? Но уже нельзя было оттягивать, просители не уходили из приёмной, надо было что-то постановить. Большинство ИК соглашалось, что разрешать все газеты без разбора – вредно. Но и разбор всё время производить – хлопотно. Да и действительно как-то неудобно стеснять свободу печати, упрекали свои же некоторые социалисты. И решили – все допустить, ладно. Но – зорко следить, что они там печатают.

Вопрос беспрепятственной печати сразу связывался с опасностями провинции. Революция не могла спокойно развиваться, не уверенная в провинции, – а провинция всё ещё клубилась тёмной невыясненной тучей: в любом углу можно было ожидать сгущения контрреволюционных сил и взрыва их. Появление правых газет могло бы этому способствовать. Петроградский Совет обязан немедленно установить надо всей провинцией властный жёсткий контроль. Но для этого и созданная иногородняя комиссия ИК оказалась неудачно составлена: один Александрович там был несомненного дела и готов был хоть сейчас ехать с револьвером и бомбами расширять революцию. А Рафес – столичный житель, привыкший к журналам, статьям, – никак никуда он ехать не собирался, да даже и мыслями вникнуть не мог в дела этих несчётных губернских и уездных городов. А уж тем более – Гиммер: он не желал опуститься с уровня интернационального до провинциального и быть, и дать себя считать кем-нибудь иным, кроме как теоретиком, направляющим всю революцию. Он уже несколько дней бродил с рассеянно-отсутствующим выражением, держа в руках стёртые в сгибах листы с проектом нового порученного ему Манифеста к Народам. И кто к нему на ходу обращался – он совал рецензировать свой документ. А на заседаниях, утонув в углу турецкого дивана, продолжал его править.

Другая же опасность росла в самом Петрограде – и это не было уступчивое Временное правительство, но – командующий Петроградским Военным округом Корнилов. За первые же три дня с его назначения тут начали на него поступать жалобы: он не выполнял всех требований Исполнительного Комитета, не снимал с должностей подозрительных офицеров, скрывал свои действия от посланного к нему советского представителя, пытался в полках ломать солдатскую самодеятельность и насаждать прежнюю царскую дисциплину. А ещё и появилась в газетах заметка, что в корпусе его на фронте солдаты продолжают петь на поверках «Боже, царя храни».

И – пронизан был Исполком острым подозрением, что буржуазия его обманула: пока притворяясь сговорчивой, сама поставила на Петроград чёрного генерала, чтобы подготовить реакцию и переворот. Угроза была слишком близка и опасна, надо было разглядеть этого генерала получше и поговорить с ним начистоту. (Нахамкис и Александрович требовали: снять генерала безо всяких с ним разговоров.)

Кого же послать на разведку? Правильно было – из Военной комиссии, чтобы сколько-нибудь дело понимал, но и – нельзя было никакого офицера генерального штаба, потому что такая же дворянская кость и каста, такой же заговорщик. И сошлись – на кандидатуре Ободовского.

Странный был этот Ободовский: несомненно левый – но ни к какой партии не мог быть отнесен. Инженер – а толкся среди военных. И вот, послать на политическую разведку – так лучше его и не придумали. И вчера – послали, он имел переговоры с Корниловым. А сегодня, сейчас – пригласили его на Исполнительный Комитет и слушали.

Ободовский говорил поспешно и так убеждённо, что не хотелось сразу ему и уступить. По его высокому нервному лицу гонялись морщины, он хлопал по лбу ладонью, как будто бил на себе мух, и подвижно оборачивался на возраженья, ещё более подвижными глазами успевая вперёд. Тридцать человек сидело в Исполнительном Комитете – он как будто

каждого отдельно убеждал.

Вот в чём удостоверился Ободовский: кандидатура Корнилова выбрана исключительно удачно. Он настоящий воин, подлинный представитель фронта – карпатский герой, для солдат нельзя было выбрать более авторитетного, они его восторженно встретили в Совете, и офицерство сплошь за него. Корнилов совсем не противопоставляет себя Исполнительному Комитету – и хочет сохранить с ним контакт. Он даже сам предложил, что будет только тех лиц утверждать к занятию должностей, которых предварительно одобрит Военная комиссия. Он обещал не смещать командиров, избранных солдатами, и напротив – смещать тех, кто подозревается во враждебном отношении к революции. Все передвижения войск готов согласовывать с Исполнительным Комитетом. Ободовский долго с ним говорил и просит членов Исполкома ему поверить: Корнилов вполне трезво усвоил истинное положение дел в Петрограде, реальное соотношение сил, – и может, и должен быть оставлен командующим Округа.

Вывод докладчика оказался неожидан, фигура Корнилова уже почти решена была к снятию, оставалось только передать требование Временному правительству. Но если так?... А вызвать генерала сейчас сюда! вот прямо сегодня, на заседание к нам?! Посмотрим на него, и сами убедимся. И факт, что он явится, тоже будет ему уроком подчинения.

Ободовский пошёл телефонировать.

Тем временем одни переходили к закусочному столу, не нарушая заседания, другие продолжали обсуждать текущие дела, которых был большой список.

Надо было послать приветствие товарищу Мерингу, в ответ на его приветствие. Одобрели. (Станкевич спросил у соседа шёпотом, кто такой Меринг, и очень уронил себя. Ну и набрали членов, – да вождь немецкой левой социал-демократии и биограф Маркса!)

Надо было утвердить меры по усилению советского влияния на Северном фронте.

Надо было... Да, вот... Стали клеветать на Исполнительный Комитет, что он неизвестно из кого составлен, что в нём заседают какие-то анонимы, неведомо кто такие, откуда взялись. А сами хватились – и правда: в журнале секретаря не было всех точных адресов и даже не все истинные имена членов были известны другим товарищам.

И теперь Чхеидзе предложил, чтобы все немедленно сообщили Капелинскому свои подлинные имена и адреса.

Нахамкис рассердился: что же, мы подчиняемся самодержавной идеологии? Это при самодержавии нельзя было отлипнуть от своей фамилии – но и то, например, за ним установился и признавался его псевдоним Ю. Стеклов, – а теперь он должен отказаться от своего славного революционного прошлого?

Чхеидзе разводил руками: не отказаться, но общественность требует всё шире, ничего не поделаешь.

Станкевич, новичок здесь, заметил, как многие смутились. Но ведь не было теперь прямой опасности открывать свои имена. Так оттого, что, оглядываясь, тут слишком много инородцев, – несоразмерно их численности и в Петрограде и в стране? Но это и следствие грехов старого режима, который насильственно отметал инородческие элементы в левые партии. А не больше ли виноваты сами русские, что их тут нет, что они не нашли инициативы сюда пробиться?

Тут началось картинное, с актёрским изображением, сообщение Масловского, как он вчера устроил проверку царю. Смеялись. И сам Масловский понравился Исполкому: вот, при таком скромном виде, а какой великолепный революционный взмах оказался в товарище. Однако стать постоянным комиссаром при арестованном царе он отказался.

А Соколов будоражил дальше: итак, Исполнительному Комитету удалось вчера пресечь опаснейший заговор контрреволюции – похищение царя. Но об этом нигде не опубликовано, а – надо! Для авторитета Исполнительного Комитета очень выгодно показать, как мы реально контролируем правительство, в революционных массах возрастёт к нам доверие и Уважение. И просил Соколов поручить ему сегодня вечером на пленуме Совета депутатов выступить с полным изложением вчерашней операции. (Уже не помещаясь в

думском зале, сегодня первый раз собирали Совет в Михайловском театре.)

Соколов – как зуда: он когда чего-нибудь добивается, то никому уже покою не даст, даже всему Исполкому. Согласились: пусть – объявим; пусть – Соколов.

Но тут – с силой распахнулась дверь и решительно вошли, на ходу размахивая руками, – Гвоздев и Панков. Отчего они так, откуда? – не все сразу вспомнили: были на переговорах с фабрикантами. И вот...

Гвоздев – подошёл к общему столу, не садясь. Выпятил лоб с выражением недоуменно радостным и потряхивал рукой, как в пожатии:

– Так что, товарищи, – договор заключён! Питерские фабриканты отступили по всей линии. Согласны на восьмичасовой!

Что поднялось! Вскакивали с мест, аплодировали, кричали «ура». Едва начали переговоры – и сразу 8-часовой! – и никаких хлопот Исполнительному Комитету! Да этого нельзя было представить! Десятилетиями боролся пролетариат, мечтать не смел – и вдруг, одним ударом!

А-а-а, напуганы буржуи, толстосумы!

Надо и дальше из них выжимать!

Но – наша, наша сила какова?! Кто мы есть, а?!

Так позвольте, товарищи, так если фабриканты уступили – теперь надо договориться с правительством о заводах казённых, и с городом – о городских. Невозможно же одним восьмичасовой, другим прежний.

И пусть издадут указ – по всей России! Не один Петроград! Победа должна быть всеобщая!

Вошёл Ободовский – и обнимал Кузьму.

Исполком не узнавал сам себя, многие так и стояли на ногах. Что ж мы за сила, а? Перед нами расступись!

– Корнилов – едет! – доложил Ободовский.

Ага-а! Ну, и судьба Корнилова тем более на волоске, если он сейчас только чуть-чуть...

Нахамкис крупно выступил вперёд и стал укладывать тяжеловесно:

– Товарищи, сейчас – не поддайтесь доверию. Помните, что перед нами – генерал старой закваски, царский пёс. Он конечно хочет революцию не только на этом закончить, но – повести вспять. Ни одного нашего требования – не уступайте! Вывод гарнизона – ни одной части! Все наши распоряжения по петроградскому гарнизону – безоговорочны! А какие реформы обещаны в Действующей армии – пусть делают, да поскорей.

После него резко выступил Эдуард Соколовский. Демократические реформы в армии только тогда станут возможны, когда будут назначены военачальники, подходящие для народа. Ни один сейчас главнокомандующий фронтом, ни один командующий армией – не подходящий для народа, и Корнилов тоже неподходящий.

В защиту Корнилова никто не говорил, но стали всё же высказывать: а займём пока по отношению к нему выжидательную позицию? Подождём и посмотрим. Ведь он на посту – только несколько дней, посмотрим.

Скобелев говорил: нет и нет, слишком много против него подозрений.

Красиков предложил: вот мы его как проверим – требовать для всего петроградского гарнизона выборное начало. Хотя бы низшие офицерские должности чтобы были выборные. И посмотрим, как он отреагирует.

Этой глупости не мог Станкевич слушать.

Эти большевики подступали уже комом к горлу. Ведь среди них ни одного военного, а громче всех рассуждают о войне и об армии. Как вожак их Шляпников с очумелыми крайними лозунгами, как этот Красиков, и эти два жёлчных злых адвоката – толстый Козловский с лицом как жирная задница и длинный, сухой, угрюмый Стучка. Среди всех большевиков тут поражал один Залуцкий, питерский рабочий, мягкий, печальный и так озабоченный, будто кто-то из близких его долго и безнадежно болен. Однако же и он голосовал заодно с остальными. Станкевич ещё молчал, привыкал тут, а придётся с ними

столкнуться.

Пока Корнилов не ехал – объявили перерыв.

И в этом разброде – он явился, в сопровождении нескольких офицеров.

Нет, вид у него был – никак не царского генерала и не петербургского. Не взнесенный, отблещенный, не вскружеусый, никак не белокостный барин, – а скромный, тихий, даже неразвитый, – как фельдфебель, почему-то бы вдруг произведенный в генеральский чин. Да даже и не немецкий и не великоросский вид, так наполняющий офицерство, – а смуглый, калмыковатый.

И этим видом своим и тихим рокотом голоса Корнилов сразу обезоружил почти всех членов Исполкома.

Стал подряд со всеми здороваться за руку, поглядывая внимательно на каждого. А затем и сел на первый попавшийся стул, боком к столу, – и вокруг него рассаживались члены ИК где кому придётся, уже не в виде заседания.

Свита генерала стояла поодаль, а из других советских комнат и из Военной комиссии тоже стали собираться, любопытствуя. Сразу набилось, нажалось к стенам, целая толпа. А то и курил, дым висел. Но разговаривали с Корниловым только те несколько, кто сели против него (ни Чхеидзе, ни Скобелев туда и не попали, не попал и Станкевич, единственный офицер в Исполкоме). Разговор получился запросто, беседный.

И совсем просто, ещё специально не допрошенный, Корнилов сам спокойно сказал, что он хотел бы работать в согласии с Исполнительным Комитетом. Что сам – очень нуждается в помощи Исполнительного Комитета, для того чтобы восстановить в войсках дисциплину, сплочённость и единую волю к победе.

Ну, не так сразу и просто.

– Но признаёте ли вы революцию? – допрашивал его Козловский.

Да, конечно.

Тут же Соколовский:

– Но готовы ли вы защищать её от всякого нападения?

Да, конечно.

А каким он нашёл гарнизон?

Не стал восхвалять революционность гарнизона, но и не бранил, а сказал, что он надеется – всё может постепенно направиться, если терпеливо отнестись.

Очень выгодное впечатление он производил, члены Исполкома стали успокаиваться.

Однако Гиммер, тоже из любопытства поспешивший к Корнилову поближе, свои бумаги засунув в нагрудный карман пиджака, поверить не мог, чтобы царский генерал так простодушно относился к революции. Слушал он его простоватый голос – не верил, смотрел на его солдатское лицо – нет, это – лукавое было лицо, а глаза не внимательные, а – насмешливые, с огоньком насмешки! Он насмеялся над ними всеми тут!

И как только вообразил, что это всё – сплошь насмешка, – страшная представилась ему картина, потопление революции в крови, снова Галифе! И решил Гиммер сейчас срезать Корнилова и разоблачить.

– А скажите, господин генерал, – прокричал он, нагибаясь вперёд через плечи сидящих. – (Станкевич заметил некоторое изумление генерала, и подсадовал: как назло перед ним подобрались даже карикатурные лица, и как раз ни одного русского, – вот и будет судить об ИК.) – Уже несколько дней буржуазная пресса ведёт игру на немцах – что добытая свобода может погибнуть от Вильгельма. И даже что наступление начнётся прямо на Петроград, и даже уже собирается кулак. Что вы об этом думаете, господин генерал?

Корнилов прищурился-прищурился, и в этой мине нельзя было разобрать, то ли он сам этой буржуазной лжи стыдится, то ли не выдерживает пронзительных взглядов допросчиков.

– Конечно, – сказал он тихо, – если дисциплина пошатнётся – может ослабнуть и наше сопротивление.

Гиммер не удовлетворился, он хотел прямого отказа:

– Но, генерал! Но где основания для паники? Распутица, бездорожье, от фронта до

Петрограда – семьсот вёрст?

Он мог бы и ещё аргументировать, да это было бы бесполезно: попробовать стать на точку зрения Гинденбурга: неужели немцам нужно наступать? неужели им не кажется самым удобным то, что сейчас у нас происходит?

ДОКУМЕНТЫ – 21

Берн, 10 марта

**ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ РОМБЕРГ -
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, Берлин**

Шифровано. Совершенно секретно.

Выдающиеся здешние революционеры имеют желание возвратиться в Россию через Германию, так как боятся ехать через Францию – из-за подводных лодок.

Берлин, 10 марта

**СТАТС-СЕКРЕТАРЬ М.И.Д. ЦИММЕРМАН -
В СТАВКУ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ**

Так как в наших интересах, чтобы в России взяло верх влияние радикального крыла революционеров, мне кажется уместным разрешить им проезд.

540

Когда над Лавром Корниловым грянуло назначение на Петроградский Военный округ, то в двое суток пути, помимо смущения, уже испытал он в себе разворот кругозора для нового поля. Хоть совсем неожиданно свергли царя – но непоправимого Корнилов в этом ещё не видел. Правда, и Гурко предупреждал, какие ждут его в Петербурге горланы и пустоболты. И в Ставке Алексеев предупреждал, что в Петрограде – зараза, и не слишком надо доверять новым властям. Но и вступая в должность, Корнилов в приказе ещё без сомнения подписал, как ему составили в штабе: теперь только сплочение, дисциплина, твёрдость – и победа решена!

Но дальше с первых же часов он увидел, что если и сохранялся тут оплот, то только военные училища, да ещё пожалуй артиллерия и казаки. Остальной же гарнизон обнаружился в омерзении. В запасных батальонах все учения прекращены, и необученные солдаты в возбуждённой праздности гудят о свободе. И унять их некому. Унтер-офицерский состав здесь слаб и тоже распущен революционными днями. А офицеры, и прежде недостаточные по штату и временные, без устойчивых связей с солдатами, теперь частью разогнаны, частью в растерянности, некоторые на положении выборных, во главе рот – прапорщики, и Корнилов не мог отменить выборных и вернуть назначенных. И вымести агитаторов из казарм невозможно из-за комитетов – как гнилое бревно, всажённое в каждый батальон. А очиститься от комитетов – тут в Петрограде нет сил ни у кого, это Корнилов понял быстро.

Корнилов был поставлен правительством – но само правительство и военный министр боялись каждого шороха и действовать не смели.

Ну что ж, попал к ним как заложник от честного фронта. Ушица вместе, а рыбка пополам.

Затем была какая-то Военная комиссия, существовавшая вне всяких штатов и уставов, ничего полезного она делать не могла и единственно правильное было – её разогнать, но и этого Корнилов не мог, она связана была с Советом рабочих депутатов и опять же с военным министром.

Скрепить офицерство, поднять его дух? Офицеры и сами пытались, но жалкое то было зрелище. В Доме Армии и Флота они собирали свой тоже Совет – офицерских депутатов, уравновесить солдатских депутатов, – и вчера вечером Корнилов посещал их собрание, и

выступал там: что возврата к прошлому не будет, вот арестована царская фамилия. (Про себя неприятно.) И оценил, что ничего весомого из Совета напуганных офицеров не выйдет.

Генерал Корнилов не мог действовать в Петрограде так, как хотел, пока не будет иметь здесь собственную военную силу, верные крепкие, не запасные, части. Но такие части можно привести только со стороны, – а это теперь не позволит Совет рабочих депутатов. И какие-то части взамен из Петрограда вывести – тем более мешает Совет депутатов.

Да что там! Совет депутатов на второй же день прислал командующему Округом указание, что он должен сменить своего помощника, генерала! Именно этот помощник ему и не нужен был, – но какова же наглость Совета? Как же в таких условиях командовать?

А вчера для переговоров от Совета пришёл к Корнилову горячий поляк, инженер, правда понятливый. Он так прямо и говорил: вся сила – у Совета. И этого не оспоришь. И был вынужден Корнилов обещать покорность, позорную для командующего: что все утверждения в должностях он будет проводить через Военную комиссию.

А сегодня эта самочинная лавочка прямо вызвала командующего к себе на заседание! И хотел бы Корнилов вгоряче послать их к чёртовой матери, но понимал, что нельзя. Чтобы вытащить из грязи разваленную колымагу гарнизона – надо было ни разу не выйти из себя. И он, не откладывая, сразу же и поехал на это новое испытание и унижение.

Никаких там хмуроватых рабочих не увидел, а всё белоручки, все с выражениями значащими, а то и заносчивыми. И поражало – что почти вовсе не было русских. А когда сели – то прямо перед ним оказались какие-то резко наскочливые наглецы. И почему же именно они – управляют?

Метали – «конъюнктуру», «плутократию», «империализм». А патриотизм назвали – иезуитским понятием.

Эге-е, на вашу тонкость да не нашу простоту! Толковать им тут о всеобщем единении было бы бесполезно. А о чём тогда другом?

И скрывая своё недоверие, а ещё больше свою сердитость, Корнилов поглядывал из глазных щёлок на собеседников, обсевших его, и, притворяясь попроще, мурчал им о восстановлении внутриармейского единства.

Теперь-то он понял, что представитель Совета, два дня как прикомандированный к штабу Округа, не именно сам по себе был прощельга, и присылаемые от Совета бумажки, кого снять и кого назначить, не случайно были сволочные. Просто весь спёртый дух в этой комнате ничего общего не имел с воюющей армией.

Да всё вчерашнее безобразие в Царском Селе, насилие над начальником гарнизона, разврат караула, проверка царя, – разве не этими типами, вот отсюда, было затеяно? Да не здесь ли и этот мерзавец, который вчера туда ездил проверять царя? Не теснится ли тут за плечами, высматривая теперь лицо генерала? По-настоящему, уважающий службу военный человек Должен был бы сейчас потребовать от них наказания этого мерзавца – и только потом допустить себя к разговорам. Но не Корнилов, а Временное правительство так поставило, что опутаны были липким руки-ноги генерала. А оставалось сужать глаза терпеливыми щёлками и простодушно заявлять себя сторонником революции и что это честь для него – командовать революционным гарнизоном.

Распущенной бандой.

Но и правда, по вине же Временного правительства попадал генерал в глупое положение с немецкой угрозой: правительство, Гучков, как пугая детей, распечатали, что немцы готовят кулак на Петроград, а Корнилов не мог же вслух признать, что правительство врёт, плетёт, теперь как-то надо было поддерживать, – и подвергнуться тут наскоку с завизгом, а справедливому. И бормотать в ответ непонятное.

На обратном пути из Таврического, просто по дороге, Корнилов заехал на Кирочной в казарму. Ещё не знал точно, чья это казарма, лучше б не заезжал: жандармского дивизиона.

Безоружные перепуганные измученные жандармы были выстроены перед ним – и жандармский оркестр играл уже разученную марсельезу.

Так и стало в ушах надолго.

А сам Корнилов не так же? – принял в штабе развязного корреспондента «Биржевых ведомостей». И уже привыкая к сетям здешней петроградской беспомощности, он, боевой генерал, должен был опять нести чушь: что произошедший переворот – верный залог нашей победы, в тылу – и есть самая важная победа, теперь осталось победить только на фронте. И что только Свободная Россия может выйти победительницей из такой войны. И приветствовать гучковскую реформу армии, во время войны, – мол, действительно назрела и неблагоприятно излишне отягощать солдат дисциплиной.

Уж там – что он сказал, а корреспондент что ещё приписал? Корнилов всё это выговаривал, как бы морщась внутри черепа. Его ум по непривычке всё не справлялся: зачем этот вздор нужно повторять?

Но так сложилось в Петрограде, что только повторяя вздор, можно было надеяться сделать какое-то и дело.

541

До чего же могут замотать политики простого честного генерала! Избирая военную карьеру и потом служа сорок лет, никогда Алексеев не готовился попасть так нечисто. Как бы холодная грязь и муть обволокла и тело и сердце за последние дни – и уже как о чудесном времени вспоминал он о тех месяцах, когда не нарушало ему службы ничто, кроме болезни. Уж как он бывал и был в службу воткнут – и болезнь не могла его отклонить от исполнения долга, полными часами дней и вечеров сидел и читал, и вникал, и писал, и рассматривал, – а вот нашли такие дни, что и самая простая работа валится из рук, не разделяемая рассеянной душой.

Немало далось ему усилие скрывать от Государя подготавливаемый арест и запретить его прощальный приказ. Но невозможно служить двум господам, и уже избрал Алексеев за себя и за всю российскую армию – служить Временному правительству. Однако ещё третий и сильный хозяин – Совет рабочих депутатов, ударил палкой по голове, а Временное правительство не спешило защитить Алексеева. И в этом-то ударенном состоянии – и ощущении, что обманули его самого, – досталось Алексееву вчера проводить в Ставке присягу Временному правительству, присягать самому и пригласить к присяге вместе со всеми ставочными офицерами также и двух-трёх великих князей, состоящих тут. А затем давать телеграмму правительству: сего числа все чины могилёвского гарнизона и штаба принесли присягу на верность... твёрдо верую, что новое правительство с помощью Божьей внесёт успокоение стране...

А из Петрограда навстречу – пьяные телеграммы Совета депутатов: арестовать уже арестованного царя!

И за всем тем как-то отступил ещё один подготавливаемый обман: великого князя Николая Николаевича. Ведь он-то тем временем ехал, приближался к Ставке! Шли четвёртые сутки от решения Временного правительства отставить великого князя – и почему же никаким способом по дороге за все эти сутки не могли сами известить его, остановить? Будто бы посылали распоряжение в Ростов-на-Дону, а там упустили великокняжеский поезд, может ли это быть? единственный путь через Ростов. Будто бы посылали потом офицера с письмом от правительства – но и этот офицер разминулся с великим князем.

Ещё знал Алексеев от английского генерала Хенбри Вильямса, представителя при Ставке, что уже и его привлёк посол Бьюкенен, и его тоже втайне подготовили убеждать великого князя подать в отставку, – так опасались министры упорства князя, что прибегли и к послу.

И вот – знали в Ставке теперь они двое с Вильямсом, да Лукомский с Клембовским. Но – молчали...

Как просил Алексеев Гучкова и Львова приехать в Ставку самим объявить решение великому князю! или прислать сюда письмо! Нет, они хотели и эту неблагодарную работу выполнить руками Алексеева, пусть показывает ленту телеграфного разговора.

Но кроме этой ленты десятки и десятки приветственных телеграмм от армий, корпусов, крупных городов лежали и ждали приезда князя, – и что-то же они весили! И, пожалуй, не меньше той ленты. И до сегодняшнего мига Алексееву было видно, что отрешение великого князя – безумный акт, противоречит интересам армии и страны. И как же они в Пятнадцатом году все сплошь хором, эти же самые, негодовали на отставку Николая Николаевича, как буйно доказывали, что только он один и может быть Верховным, – и вот?... И Армия же, правда, хотела великого князя. И всё переобъявить должен был почему-то Алексей, вопреки своим убеждениям.

Ответил Львову: категорически нет! Пусть шлют письмо.

Был момент: обещали прислать с отрешением Поливанова. (В Пятнадцатом году с тем же самым присылал его и Царь.) Нет, отменили.

А между тем, вот, сегодня, в четыре часа пополудни, Николай Николаевич приезжал в Могилёв!

А письма из Петрограда, ни какого-либо объяснения так и не пришло.

Вот, приезжал Николай Николаевич – и неотвратимо было сегодня встречать его и разговаривать с ним и делать полный вид вступления в Главнокомандование? – опять мучаясь обманом и в тоске ожидая, как бы это решилось помимо наштаверха.

Встречать? Но зная, что великого князя через несколько часов отрешат от должности – нельзя же было встречать его на вокзале полным составом штаба! Но и: пока он оставался у должности, нельзя было и не встретить его почётно.

Эту безвыходность Алексей разрешил так: набрал для встречи несколько генералов не у дел, оказавшихся в Могилёве даже и случайно: одного – бывшего командира лейб-гвардии гусарского полка, того же, каким и сам великий князь командовал, только раньше него; другого – преображенца, теперь – инспектора всех запасных батальонов России (только пропустила его инспекция революцию); ещё нескольких. Конечно, и Лукомский с Клембовским. И так получилась вполне почётная встреча, и тёплая, и вместе с тем частная. Мог подумать Николай Николаевич, что Алексей не хотел отрывать штабных от работы.

Так ли понял великий князь или просто был в свехвеликолепном настроении, но укор не промелькнул на его красивом долгом лице. Великодушие было в его первом окрестном взгляде на этот вокзал, полтора года назад покинутый при таких униженных обстоятельствах, и в рукопожатиях его длинной быстрой руки.

Он был в кавказской форме, при своём высоченном росте очень грозный в ней.

Да, он был в рост со своею армией и с долготою её линии фронта! Да, он был счастлив вернуться наконец на своё настоящее место, к своим настоящим обязанностям!

Не сам он, но князь Орлов, но адъютанты рассказывали встречавшим, что весь переезд от Тифлиса до Могилёва был сплошной овацией великому князю. На Дону казаки долго скакали вровень с поездом. В Харькове подносили хлеб-соль рабочие, даже совет депутатов.

Великий князь приехал командовать – с полномочиями, с надеждами и любовью всей России.

И как бы хорошо! И пусть бы!

В открытом автомобиле, рядом с Алексеевым, хозяйски поглядывал на Могилёв.

Приехали в здание генерал-квартирмейстерской части – сказал великий князь, что не желает даже отдохнуть с дороги. Не имеет необходимости осматривать и апартаменты свои в соседнем доме, после Государя, всё это устроится без него, – а он желает немедленно приступить к деятельности!

Надеялся Алексей ещё несколько часов потянуть, а там приспеет отрешительное письмо, – нет, к деятельности!

Что ж, сказать самому? Невозможно, как через сердце собственное перевалиться. Будешь какой-то интриган, подси́дчик. А великий князь так горячо, требовательно, пронизательно смотрит.

Ну что ж, если к деятельности, то сразу в государеву комнату, где Государю делались ежедневные доклады. (И так удержат великого князя от обхода всех помещений Ставки,

что, кажется, с удовольствием он сейчас бы предпринял.)

А пришли в государеву комнату, где Государь бывал и тих, и невелик, – Николай Николаевич сильно задвигался, не помещался в кресле, обхаживая стол, откидывал венские стулья, устремлялся то к одной картовой стойке, то к другой, – выпирал из этого малого пространства.

Так начать с того, что подписать самоприказ о вступлении в должность Верховного? (Приходилось совершать невозвратимый шаг – но ведь и не слали же никого!) Бумага была уже заготовлена.

– Надо принести присягу Временному правительству, – нашёлся возразить Алексеев.

– О конечно! Завтра же утром!

Николай Николаевич сел в кресло, сильно кверху выдаваясь над столом, взял перо, длинноголовый, остроусый, энергичный, готовый к высоким тяготам.

Перепробовал несколько перьев.

Ещё что-нибудь изобрести в помеху? остановить? Ничего не придумашь.

Сильными росчерками подписал.

Итак – Верховный.

Алексеев стоял рядом с ним – принять бумагу, и чувства его раздвоились. Досадовал он, что Временное правительство так мямлит, вот совершается лишнее действие, но ещё больше склонился: а – хорошо бы работать с великим князем. В себе не находил Алексеев грозной силы повелевать двенадцатью миллионами. А в великом князе она сгущалась. И – какая! При такой всероссийской поддержке – да стукнуть бы ему сейчас кулаком по столу, да и не вздумать уходить!

Пожалуй, и не решилось бы правительство против него бороться.

Вот – эти поздравления, приветствия ото всей страны. Главные из них.

С открытым удовольствием стал Николай Николаевич читать, читать, предшествуя ими дело, – и ещё веселел и крепчал от них.

Мог Алексеев распорядиться ещё и другую пачку приветствий принести, обширней. Может быть, так и затянуть вечер? – тоже упустил, недогадливость сегодня какая-то. Ту пачку отдали уже адъютантам.

А Николай Николаевич встал, журавлиными шагами иссек, иссек комнату, – та-ак! Он – хотел бы немедленно работать! Может ли Михаил Васильич представить ему сейчас общим очерком положение дел в Европе и положение на всех фронтах?

К этому Алексеев был всегда готов: и все бумаги у него проработаны и подобраны, и в памяти полный след.

Да такой разговор и открывал пути искренности, освобождал от напряжённой двусмысленности: делать лишнее и каждую минуту ждать подноса петроградского письма – а что потом? А потом – великий князь не подумает ли, что Алексеев участвовал в обмане? Уж-жасно всё колется.

Итак, положение в Европе. Сперва – положение Центральных держав. Германия уже выкачала из своего народа все возрасты от 17 до 45, теперь Oberkommando требует ополчения до 60 лет, не исключая и женщин для работы в тылу. Тем не менее, армии Антанты превосходят армии Центральных держав на 40%. Рацион немецкого населения доведен до голода. Химики изобретают суррогаты для замены хлеба и жиров, изобрели для лошадей суррогат из соломы и древесины, наши части захватывали. И в Германии, и в Австрии – упадок народного духа, жажда мира. Подводная война, начатая немцами в январе, хотя и подрывает флот союзников, но не видно, чтобы могла его уничтожить. Зато она надвигает вступление в войну Соединённых Штатов, – и может оно произойти буквально на этих днях. Это, по сути, решает войну, положение Центральных становится бесперспективно. Несколько дней назад, вот уже в первых числах марта, немцы, не вынужденные союзниками, внезапно отступили между Аррасом и Суассоном, на фронте в 100 вёрст и в глубину до 30, – это в местах, где так кроваво давалось им продвижение. Такое сокращение фронта – верное доказательство недостатка сил. Альтернативно можно было бы

предположить переброску войск к нам на Восточный фронт – но ни по времени года, ни, особенно, по нашим революционным сотрясениям, не предполагает генерал Алексеев наступления немцев сейчас против нас.

Великий князь слушал не формально, остро смотрел карты, смотрел цифры, видно, очень соскучился по большому размаху. Эта манера отличалась от того доверчивого покоя, с которым всегда выслушивал доклады Государь. Происходила как бы действительно передача дел? Смешанная горечь: привык Алексеев все дела иметь в одних своих руках – но и заслониться великим князем от революции как бы хорошо?

Сейчас Россия удерживает 157 пехотных дивизий противника и 30 кавалерийских, что составляет 49% его сил. Правда, германских дивизий из этого только половина. Ещё, как ты знаешь (они – на «ты»), одна наша дивизия послана к союзникам в Салоникскую армию, почти корпус – во Францию. Но и без Кавказского фронта у нас сейчас перевес и штыков, и батальонов, и сабель, – назвал крупные цифры. Только вот, – не мог не пожаловаться, – реформа Гурко, проредил старые дивизии, а новые к весне ещё не готовы. Зато артиллерийское снабжение к этой весне – выше всяких похвал. К марту уже изготовлено и на складах – 72 миллиона выстрелов, – вдвое больше, чем мы израсходовали за всю предыдущую войну.

Да, никогда ещё за всю эту войну соотношение сил и перспективы не были столь обнадеживающими и даже уверенно победоносными. Труд невидимых миллионов суммировался в конце концов, и мускулатура огромной России проявляла своё превосходство над германской. Если бы – не революция...

– Сколько всего мобилизовано?

– За всю войну – четырнадцать миллионов триста.

– А сколько сейчас в Действующей, со всеми тылами?

– Шесть миллионов восемьсот.

– А в Петрограде сколько запасных?

– Сто шестьдесят тысяч.

Князь перестучал по столу крепкими длинными пальцами.

Но наш Северный фронт уже развращён близостью Петрограда и анархического Балтийского флота, который вообще потерял всякую боеспособность. Конечно, твой Кавказский хорошо удалён, но там свои беды, ты знаешь, нехватка железных дорог и даже полное бездорожье, бесфуражье, – и что может дать продвижение там? Только тешить англичан в Месопотамии. На Румынском – вроде того же, и румыны не годны никуда. А вот Западный и Юго-Западный... Не видно путей и приёмов, как удержать от этой волны заразы...

– Я пытался издавать удерживающие приказы. Но не получил поддержки правительства. А газета Совета депутатов...

Даже больно говорить.

В Алексееве двоилось: то ли он, правда, передавал дела? и тогда имело смысл жаловаться новому Верховному на правительство и на Совет. То ли ничего этого не будет, всё спектакль, – и тогда зачем же?...

А великий князь смотрел так светлоглазо, обещающе.

– Хорошо будем работать, Михаил Васильич. Ты, конечно, останешься на своём месте.

Передача дел – шла, и правила её требовали говорить обо всём. Перешли к Западному. К перспективности наступательного направления на Вильно и уязвимости направления Барановичи-Минск. Да и к Эверту же. Эверт, со всем его грозным воинственным видом, совсем размяк в новой обстановке, сел в галошу. Что исключительно удаётся ловкому Брусилову – льстить и обращаться с общественными комитетами, то Эверт не способен, и сам уже просится в отставку, и Гучков его как бы снял, хотя это не его прерогатива. Русский ладит с Петроградом, а Эверт...

Непосильно было Николаю Николаевичу слишком долго слушать – и не вмешаться. Слишком нераспрявлено было его остроугольное тело без движения, и уже тянуло его

взмахнуть дланью:

– Эверта – снимаю немедленно! – И даже почти не думая: – На Западный фронт назначаю Гурко!

Ого! Далеко же зашла передача. Это верно, из командующих армиями теперь, после опыта в Ставке, Гурко – старший и первый. Но...?

– Заготовь приказ сейчас же, подпишу! – сказал великий князь, вставая из-за стола, на полную голову выше Алексеева.

И – что ж теперь? заготавливать приказ?...

Приходилось.

542

И опять пришли часы томительного ежедневного отсиживания на заседании правительства. Уже некоторые министры приловчились присылать вместо себя заместителей (уехавший Гучков был сегодня заменён двумя – сухопутным и морским), а Шингарёв не решался: и неудобно, и боялся что-то важное своё упустить провести, ведь свойство всякой работы таково: только то и будет наилучше сделано, что сделаешь сам. А свои горячие вопросы, которые ставишь на заседаниях, – они за одно заседание и не решаются обычно.

А сегодня он нёс – свой грандиозный, спорный и безжалостный замысел.

Шингарёв очень хотел бы с этого и заседание начать, потому что ничего важнее сейчас в России не видел. Но ему не дали.

Сперва сам князь Львов благодушно рассказывал о дальнейших мерах своих по сокращению министерства внутренних дел: департамент полиции, политический розыск, охранка, жандармский корпус – упраздняются в России навсегда! Это освобождает для государства значительные кредиты. Учреждается лишь временное управление по обеспечению безопасности граждан.

Затем, блистая как начищенный, именинником выступил Коновалов. Самое крупное событие произошло по ведомству его: сегодня петроградские заводчики согласились на 8-часовой рабочий день, хотя московские продолжают сильно возражать. Теперь честью Временного правительства будет – как можно скорей и самому подравняться по 8-часовому дню: ввести его на всех оборонных заводах Петроградского района.

А здесь и состояло 70% всей военной промышленности России. Но заместители Гучкова не возражали.

Подумал Шингарёв: не слишком ли смело во время войны? Ведь не станут давать достаточно оружия. Но что-то было видно тем заместителям Гучкова, чего другие не знали: согласны.

И Коновалов, своим пенсне сверкая во все стороны, так же именинно просил теперь уполномочить его министерство подготовить введение 8-часового дня и по всей России, и по всем группам предприятий.

Вправду ли у человека столько душевных сил и уверенности, или он только делает вид?...

Уполномочили.

Ну, а уж раз вклинился, он и тянул всё своё: отпустить кредиты на разработку бурых углей; отпустить кредиты на подвозку нефтяного топлива по Мариинской системе.

Уже многие министры поняли этот главный смысл правительственных заседаний: просить себе кредитов. А Шингарёв всё стеснялся.

И опять же Коновалов горячо произнёс небольшую речь, что и его министерство считает своим долгом помочь всеобщей тяге в нашей стране к снятию национальных и вероисповедных ограничений. Это сегодня невозможно сделать по отношению к германским и австрийским подданным, но несправедливо далее удерживать талантливую, предприимчивую и богатую еврейскую нацию от беспрепятственного образования акционерных обществ и занятия любых административных должностей в финансовых,

торговых и промышленных предприятиях.

Насчёт немцев Шингарёв не был согласен: он сам внёс проект, и совет министров клонился к принятию, – об отмене ограничений в германском землепользовании: их имения и участки процветали, зачем подрывать? Но тогда – и почему же не допустить в промышленность столько талантливых техников – немцев по происхождению, но верных русских по подданству? Эта шумливая чистка от немецкого засилия все военные годы была картой правых кругов.

Керенский, всё время сидевший непоседливо, даже боком к столу, нервными движениями показывая, как ему некогда, и ни к чему здесь быть, и не этим ему заниматься, – тут вслушался, встрепнулся, и, всех перебивая, воскликнул воодушевлённо, от глубокой души, от мечты: национальные и религиозные ограничения мы всё отменяем по крохам, в частных областях, – а что бы нам поспешить сформулировать универсальный закон об отмене всех этих ограничений сразу во всех областях жизни? Одним взмахом! Не поручит ли правительство министерству юстиции внести такой обобщающий проект?

И задумался, красиво держа голову, давая задуматься и всем.

Встретили одобрительно. Сразу и поручили.

Шингарёв порадовался. Он и всегда считал, что несправедливо сдерживать евреев какими бы то ни было ограничениями, в чём бы то ни было. Мы сами своею внутренней политикой толкаем их в непримиримость. Если мы хотим первенствовать, то просто мы сами должны проявиться талантливей, энергичней, настойчивей, последовательней, – а вот этой последовательности у нас всегда и не хватает.

И сразу тут же князь Львов дал слово Шингарёву.

Андрей Иванович уже забылся, забаякался, не ожидал, вздрогнул. А ведь он – решался! А ведь он решился! – высказать сейчас коллегам свои отчаянные еретические и жестокие выводы.

Сейчас он произнесёт слова, которые невозможны среди демократов. Он представлял, какое возмущение загорится, как накинется на него однопартийцы (никого из них он не предупредил!), а тем более Керенский.

Своим влажно-взволнованным голосом он стал говорить – не кратко, сбиваясь, возвращаясь, то глядя в свои заметки с колонкою аргументов, то на коллег, взвешивая всю неслыханность, необычайность выговариваемого. Он искал, как же это подпереть: неизбежно нам предстоит перенять у Германии идею... нешуточная война требует и нешуточных мер... И министр земледелия не видит иного выхода, как...

Он воздвиг перед ними глыбы, под которыми они все тут сразу могли похорониться...

Бесчеловечная хлебная развёрстка!

Насильственная реквизиция хлеба!

Весь хлеб России – собственность государства.

И – позорное поднятие твёрдых цен.

Но он готов был выдержать любой натиск, потому что чувствовал за спиной – Россию.

Однако что это? Никто не выкрикивал возмущённо. Никто даже не пытался перебить или воскликнуть. А когда Шингарёв стал помётывать взглядом на своих кадетов – на твёрдые очки Милюкова, язвительные губы Набокова, угрюмо-подозрительного Некрасова, затем и на других, – он ни на одном лице не увидел ни сильного движения, ни удивления, ни пробуждения. Сидели так же ровно, скучно, полуусыпленно, как ничего не заметя.

Ещё не веря успеху, Шингарёв спешил оговориться, сбалансировать. Разумеется, на ту же Германию глядя, можно понять, что продовольственное снабжение не решается изолированно от всех других видов снабжения: железным инвентарём, кожами, тканями, керосином, всеми предметами широкого потребления. И всё это надо – одновременно. Но от этого только трудней. Значит, надо наложить жёсткий государственный контроль и на промышленность?...

Да он сам для себя ещё ничего не решил! Он и предлагал на их суждение. Он готов был и настаивать, и слушать, и исправляться.

Однако Милюков, уже не первое заседание: и присутствуя – как бы радужно отсутствовал, был так переполнен своими шагами во внешней политике, что не считал важным ещё вникать, что тут происходит кроме. Чего он чутко не спустил бы, не простил бы с думской скамьи, – то равнодушно пропускал сейчас.

А Набоков не был министром, и не спрашивали его мнения тут же.

А Мануйлов был по просвещению, и то едва не тонул.

Некрасов волчисто смотрел, но молчал, – то ли для себя выжидая, кто будет за что.

Очень грозно-значительно выглядел чёрный Владимир Львов, но не пошевелился.

И только Коновалов успел возразить, что для промышленности такой жестокий принцип принять – значит подорвать производство.

А кто друг с другом переписывался записочками.

И неожиданно для себя Шингарёв без всякого боя получил санкцию на переворот всех хлебных отношений в России. С ласковой улыбкой резюмировал князь Львов, что, оставляя пока в стороне промышленность, министру земледелия поручается разработать главные основания реформы о хлебной монополии.

Керенский – слышал ли о монополии? понял ли? – но рвался со своими срочными вопросами, звонко стал излагать их. Во-первых, необходимо оплачивать командировочные для петроградского окружного суда. Во-вторых, надо огласить в печати обнаруженные в департаменте полиции денежные расписки депутата Маркова-второго в получении денег из секретного правительственного фонда. В-третьих, как отнесётся Временное правительство к тому, что прежним судебным следствием некоторые финляндские граждане привлечены по обвинению в государственной измене. Хотя среди части финского населения и действительно распространены симпатии к немцам, но в этом виноваты мы сами. А было бы очень нетактично таким обвинением сейчас будоражить финляндское население. В-четвёртых, сообщается Временному правительству об уставе Чрезвычайной Следственной Комиссии и правах её производить осмотр и выемку корреспонденции.

Приняли к сведению. Согласились.

Какие-то подобные нужды были и у Некрасова, и он стал их уже выкладывать, когда министр юстиции вспомнил в-пятых: теперь, когда приносят присягу войска, неизбежно принести присягу и членам Временного правительства.

– Вот, – голос Керенского стал насмешлив до резкости, – Юридическое совещание предлагает форму присяги... Но тут много уступок традиционным формулам, не слишком ли это старомодно?... Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом?... В исполнении сей моей клятвы да поможет мне Бог?... Да стоит ли нам-то...?

Помялись. Так-то так, но надо не оскорбить и слух народа.

– И потом, господа, наш спор ещё со дня отречения Михаила: как определять нам самих себя: правительство, возникшее волею народа – или по почину Государственной Думы?

Тут вступил Набоков и особенно просил, чтобы никто не оговаривался и не употреблял прежнего опозоренного названия «совет министров», но все бы употребляли только «Временное правительство».

Да, ещё же, самый важный вопрос! Исполнительный Комитет желает иметь постоянные контактные встречи с правительством. И значит, – оглядывал министров доброжелательный премьер, – надо нам выделить из своей среды кого-то, трёх-четырёх, постоянных делегатов на эти контакты.

Очень испугался Шингарёв, чтоб его не выбрали: тогда – бесконечная говорильня, торговля, и всей работе гинуть.

Но его и не предлагали. Возглавил комиссию сам князь Львов. А следующий так же естественно предполагался Керенский, – но он стал резко отказываться, мотать головой, что как раз именно ему совершенно неудобно – противостоять товарищам по левым партиям.

Признали, уважили его нежелание.

Милюкова думали, но он ледяно отказался. Ему такая роль виделась унижительной.

А Некрасов и Терещенко, напротив, сами выдвинулись, очень хотели. Их и выбрали.

У Милюкова вот такая забота: Палеолог задумал дать банкет в честь полного состава Временного правительства. Это, конечно, мило и приятно – но какие это вызовет кривотолкования в Совете рабочих депутатов.

Увы, увы. Надо, Павел Николаевич, тактично отговорить французского посла. Просить его отказаться от этого замысла, понять наше положение.

Теперь ещё такой вопрос: что делать с бывшими царскими поездами? Их – пять, и они великолепно оборудованы для поездок. Если кому понадобится из правительства. И неужели теперь их разорить?... Жалко.

Но и оставить одиозно: что о нас подумают?

Милюков решительно заметил, что эти поезда могут понадобиться для иностранных гостей, например.

Склонились так: оставить три лучших – собственный императорский, заграничный и императрицы Марии Фёдоровны. А свитский и пригородный – упразднить. И будет пополам.

Дальше потекли назначения, назначения... Отставного полковника Грузинова назначить постоянным командующим Московского военного округа. (Грузинов имел большие заслуги: прошлой осенью он выхлопотал разрешение на знаменитый Продовольственный съезд, развернувший грозную критику царского правительства)... Казённую продажу питей поручить профессору Политехнического института Фридману... Разрешить бывшему государственному секретарю Крыжановскому свободное проживание в Петрограде (опасается ареста).

Что-то сегодня всё заседание промолчал обер-прокурор Синода Львов, но с самым значительным дегенеративным выражением, зловеще прокатывая глаза и черня бородой.

Он – ещё не открывал им своей ярости, не пришёл час. Он был оскорблён, занужен, разъярён вчерашним внезапным непослушанием Синода, даже если не забастовкой архиереев! И он готовил удар: расчистить эту святую братию!

Но ещё не всё про себя решил.

543

В плане своей поездки только одно Гучков упустил: ведь Ригу надо ехать через Псков. Снова по той же бездарной дороге его сомнительной поездки – и снова через тот вокзал, не принесший ему настоящей победы. И снова видеться с Рузским, участником и свидетелем той ночи? Почему-то очень было неприятно.

А вот что: если проезжать Псков ночью – можно и не видеть ничего и не видеться. И не обязан министр начинать поездку с главнокомандующего фронтом, может сразу проехать и к командующему армией. Так и решил. Но поезд задержался, и вышел из Петрограда вчера вечером довольно поздно, так что во Псков попадал всё-таки на раннее утро.

И прицепленный к нему вагон военного министра тоже оказался не слишком подготовлен: в салоне по-прежнему ввинчены в стену портреты царя и царицы. Но подхватчивый Половцов энергично и охотно взялся сейчас же их и вывинтить. Тут же сам это и сделал, с помощью писаря.

Высокий ростом, лихо-воинственный видом, в папахе Дикой дивизии, постоянно подвижен, остроумен, проницателен, Половцов очень импонировал Гучкову, такого коренного военного и вместе с тем столь находчиво-насмешливого очень не хватало поблизости, да у него оказался и письменный слог так же отличен и отточен. А Половцов сразу упросил взять в поездку и своего приятеля, корреспондента «Таймс» (пусть союзники знают о поездке министра!). Ну пусть.

Ещё ехали в вагоне с министром два адъютанта (теперь не было Вяземского...), фельдъегерь и писарь с машинкой.

И караул из юнкеров-павловцев. (Юнкера остались в Петрограде одной настоящей военной силой.)

Ночью Маша продолжала подлечивать мужа, следила за лекарствами.

Во Пскове рано утром Гучков просил не раздвигать занавесок, он даже видеть не хотел этого перрона, вокзала и башни водонапорной. Постояли – тронули, Гучков подумал, что всё обошлось, миновали.

Но спустя час в дверь купе раздался тонкий отчётливый стук Половцова. Оказалось: во Пскове ожидал их и вошёл в вагон генерал-квартирмейстер Северного фронта генерал-майор Болдырев: комендант вокзала предупредил штаб фронта о проезде военного министра. Рузский, видимо, обиделся, не явился, а Болдырева Половцов уже час поил чаем и находил, что – умница. Может быть, Александр Иванович его примет, неудобно?

Да ничего другого и не оставалось, вот и вставать, а думал ещё полный день отлежаться в вагоне.

Болдырев был по типу «младотурок», с подвижным умом и зубоскальством над порядками. Но через его насмешечки видно было, что и он ошеломлён: творился какой-то зловещий цирк, неуправляемые солдатские толпы врываются в канцелярии, штабы, арестовывали генералов или полковников, и даже убивали.

Оттого ли, что в устной передаче, но всё это вдруг проступило Гучкову с живостью, – слушал он, слушал – представил: да ведь и его, военного министра, вот так же может арестовать толпа солдат? Чем он так уж недоступнее этих генералов?

А на станциях, узнав о проезде министра, выстраивались почётные караулы, ждали толпы железнодорожников и жителей, а то и местный гарнизон, и надо было выходить к ним с речами. Гучков призывал к единению против коварного врага – ему кричали «да здравствует первый народный министр!» и несли к вагону на руках.

От голоса утомлялась грудь, и на перегонах он ложился, а Маша опять прикладывала холодные компрессы.

Унижало это бессилие в важнейшие дни жизни.

Впрочем, если б он был сейчас и совсем здоров, – он не представлял, что бы сейчас такое должен был первое спасительное делать. Понятно, что уходят часы и минуты, а что делать – непонятно.

Генерал Болдырев так и остался с ними в вагоне. Естественно было ему теперь доехать до армейского штаба.

В Ригу дотацился поезд – уже было темно. На вокзале ждала огромная толпа, выстроился почётный караул Финляндского драгунского полка, на его штандарте – большой красный бант. Трубачи играли марсельезу.

Сколько ни причислял себя Гучков к военным людям, и в поездках надевал полувоенные мундиры, – но первый раз его встречали как генерала, он ощутил гордость и прилив сил. Принял почётный караул от драгун и моряков, поздоровался с войсками, поздравил с новым государственным строем и просил поддерживать его. А навстречу выступил с рапортом Радко – тяжелоголовый, круглолицый, с раздавшимся подбородком.

После рапорта тепло обнялись и поцеловались. Ещё дошумливали музыка и общий гул, а Радко сказал Гучкову близко: поступили сведения, что террористическая партия намерена в Риге убить прибывшего Гучкова.

Гучков – поразился. Нет, он не испугался, как пугаются трусливые люди, но его обожгло. Обожгло не столько страхом, сколько обидой: неужели безумный террор способен обернуться и против них, против нового правительства, против самой революции? Это уже было чудовищное извращение мозгов.

А толпилась на площади – масса, и покушение ничего не вставляло произвести.

О, нелёгко будет путь революции!

Надо было ехать к Радко в штаб. Подавали автомобили. В один приглашали Гучкова с женой, но он решил разъединиться с Машей и позвал сестру с собою Болдырева:

– Ваше превосходительство, едемте со мной: не хочу, чтоб дети лишились одновременно отца и матери. Вот, собираются меня убить. Что делать, доля риска необходима.

– Да, – ответил Болдырев, – это маленькое неудобство вашей профессии.

(А про себя подумал: не спросил Гучков – а у него, у Болдырева, есть ли дети? – зачем ему садиться с министром? Неудобство выявлялось не только для министра.)

Да, Рига всегда бывала полна революционерами – а такой и связи в голове не возникло, когда наметили ехать сюда.

Всюду с домов торчали красные флаги.

Слишком медленно тянулась кавалькада автомобилей, слишком медленно. Ехал первый народный министр – и густые конные наряды охраняли его от народа.

Но всё обошлось благополучно – и Гучков невольно повеселел и поздоровел.

Предварительно, в тесном кругу высших офицеров, посовещались с Радко. Даже начальник штаба у Радко – и тот ведь был смещён Гучковым под угрозами солдатского гнева, – Радко этого не одобрял: такая уступка может повести к капитуляции. Впрочем, он был уверен, что к началу военных действий дух армии восстановится.

Безупречно был охранён их штаб – но в темноте колыхалась Рига, переполненная совсем неизвестными людьми и агитаторами из Петрограда, – и волны их уже бились в тыловые линии Северного фронта. Немец не шевелился от самого дня революции, и даже может быть плохо, что не шевелился: оттого резвей вели себя агитаторы, и разъедающая опасность налегала сзади.

Назначили на завтра благодарственное молебствие в кафедральном соборе, затем парад войскам, совещание в штабе армии, затем посещение миноносца, нескольких местных революционных комитетов, приём депутатов.

Потом – ужинали, вместе с двумя членами Думы, уже объезжавшими фронт, – Ефремовым, видным членом Прогрессивного блока, и комиком Макогоном. На обоих висели георгиевские медали, которые дал им Радко за посещение Пулемётной горки. Было и дело: депутаты рассказывали о солдатских пожеланиях, и Половцов записывал для поливановской комиссии. А потом депутаты смешили всех рассказами о своих похождениях на фронте в эти дни.

И в безунывной бодрости Ефремова и в хохлацком юморе трезвого Макогона вдруг представилась вся эта революционная армейская катавасия – весёлым недоразумением, которое оборет наш рассудительный народ, почувствуется, не вступит в бездну, – и даже весело будут вспоминаться эти дни всеобщей растерянности и головокружения.

И Гучкова – самого потянуло рассказывать смешное, а он тоже умел. Нашло ему рассказывать о Протопопове, о его несомненном полном сумасшествии, как он ходил по лестнице задом, разные анекдотические случаи, очень смеялись. Сейчас уже странно было, что этот ненормальный мог руководить и Государственной Думой, и нашей парламентской делегацией в Европу, и министерством внутренних дел. Всё отошло как сон и вспоминалось смешно.

Нет, одолели мы то, одолели неодолимое – и нынешнее тоже одолеем!

Но остались с Радко вдвоём – и тот мрачно говорил о своих тылах, неподвозе, разболтанности железных дорог в несколько дней, без жандармов, и повсюдном непослушании офицерам.

Он придумал, что раз уж комитеты неизбежны, то выбирать смешанные солдатско-офицерские – до дивизии, до корпуса, до армии, и может быть только так мы ими управим. Вчера уже и начали такие выбирать: они будут поддерживать внутренний порядок, разрешать все недоразумения между офицерами и солдатами – ну, и само собой бороться против контрреволюции. (По Риге развесил Радко приказ: ни в коем случае никогда не петь «Боже, царя храни».)

Идея таких комитетов Гучкову очень понравилась.

не грезил увидеть сегодняшнее зрелище! Сегодняшнюю публику!

Первая тысяча и вторая тысяча – в грубых сапогах, шинелях, бушлатах, папахах, фуражках, не снимая их, ещё не отбросив недокуренной махорочной цыгарки (где-нибудь на пол там), – пёрла и пёрла во входы, без всякого контроля, прихватывая и любопытных с площади, глазела на невиданные залы, на люстры, на лепку, путалась в системе перекрестных лестниц, через один этаж, и, чертыхаясь, перелезали к дружкам через перила, и пробивались, наконец, в главный зал, столбенели от пышного тёмно-жёлтого занавеса с государственным орлом и вылепленных девок по бокам его, а сверху – как на солдатскую бесчасную надобность – выставлены и часы, да как бы не серебряные, а задери голову – весь круглый потолок ещё разрисован-разрисован. А в обвод зала – пузатые наклеплены как гнёзда рядами, за жёлтыми занавесками, и там тоже уже свой брат, кто с какой лестницы попал, и светильниками утыканы все эти пуза, свету – залейся.

И ужайшими проходами между ложами и краями партера, где, бывало, в нежнейших нарядах, придерживая трен, проходили дамы по одной впереди своих кавалеров, – теперь протискивались сразу два-три здоровых дядьки, спеша захватить себе место в ряду – жёлтое кресло с тёмно-жёлтым бархатом сиденья, и в редкое кресло садился один, а то всё вплотнялись по два, и по два.

И когда уже все места по всем ярусам были захвачены, и ложи внабитку – всё равно депутаты не помещались. Чудо-занавес поплыл вверх – а там на помосте ещё сколько места! И попёр народ туда, усаживаясь на полу. И только попереду за столом держался президиум, а уж прочие члены Исполнительного Комитета садились на штабель декораций сзади.

Питерские рабочие, кто и видел прежде, как к этому театру подъезжают на фаэтонах, – вот не думали и сами когда попасть в серёдку. И насыщенно, но и злорадно оглядывались теперь на всю эту красоту.

Сегодня здесь заседал и застоял полный пленум Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

А ещё сколько-то же осталось и в вестибюлях, и снаружи, – не влезли.

И вожди Исполнительного Комитета щурились на это невместимое, необъятное чудище Совета, от которого не знаешь, какой неожиданности ждать. Они почти и не встречались с этим чудищем. Неповоротливая, обременительная ноша, насколько удобней было бы Исполнительному Комитету поворачиваться без неё. Однако не были вожди уверены, что уже могут без неё. Они ещё не могли оценить соотношения сил, и в глубине ещё не забыли, что и сами-то не имеют полномочий. И вот сегодня выносили на повестку дня деликатный вопрос о Контактной Комиссии, как узнавать действия правительства и передавать ему требования революционного народа, – утвердить на Совете созданную комиссию и её состав. (А глубже посмотреть: зачем это обсуждать здесь? Ненужный и опасный прецедент.)

Но раньше того – выдвинули эффектное событие ареста царя, и докладывать о нём взялся неуёмный Соколов: не успел сам арестовать, ни даже проверить в Царском, так хоть поговорить. Выскочил на авансцену живчик с бородкой и пятном белой лысины среди чёрной поросли – и захлёбчиво, многословно сообщал – о судьбе Романовых! И кого ж это могло не втянуть! А чем больше замечал Соколов, как захвачено дикое застывшее толпище, – тем драматичнее он добавлял и размазывал. И – как Гучков с Шульгиным без разрешения Совета поехали сговариваться во Псков. И как из Пскова царь снова кинулся захватить Ставку, чтобы оттуда повести армию на столицу. И как буржуазные круги хотели навязать царём Михаила, но Исполнительный Комитет настоял на отречении, и так уладили этот вредный эпизод. И как затем царь Николай задумал сбежать со всей семьёй в Англию, – (зал молчаливо напрягся!), – а Временное правительство ему потакало, вело переговоры без ведома Исполнительного Комитета, но Комитет узнал, и решил действовать самостоятельно, и послал множество воинских частей и даже бронированных автомобилей, они плотным кольцом окружили царскосельский дворец, и так не дали Николаю Романову сбежать!

Царь и народ! – и народ в креслах императорского придворного театра, судящий о царе,

– непредставимая ситуация! Эманация Великой Французской Революции! И на её подымающих волнах Соколов упивался бессмертной ролью.

– Но один арест Николая II ещё не исчерпывает вопроса! Пока что мы лишили его только политических прав – но ещё не успели коснуться имущественных. А сколько у него имущества во всех пределах России! Какие имения! И какие огромные миллионы во всех иностранных банках! И он там за свои деньги купит себе монархистов! Теперь надо выяснить, какое имущество Николая Романова может быть признано личным, а какое – произвольно захваченным из государственного казначейства, – и всё это надо отнять!

Набитый жёлто-серо-чёрный зал заволновался. Раздавались крики одобрения. И Соколов кричал, подхваченный одобрением:

– А раньше – нельзя его выпускать за границу! И думаем, что вы одобрите наше решение.

И уже на прорыве аплодисментов, верхним криком:

– И вы должны верить своему Исполнительному Комитету!

И зал хлынул густым хлопаньем. И – криками. И – воем. И – трёхпалым пронзительным свистом. И топотом сотен ног.

Соколов отошёл, вытирая пот с лысины, торжествующий.

Кричали:

– Все его проделки выяснятся!

– Вы нам докладываете, чего ещё узнаете!

– Та-а-ак!

Вожди Исполкома переглядывались: неплохо. Чудовище задобрено. Теперь:

– Слово имеет товарищ Стеклов.

И вышел на авансцену – такой крупный, уверенный, бородатый, как купец знатный, для народа располагающая фигура. И когда поутихли, стал густым голосом объяснять.

С этим правительством не обойтись иначе, как на него давить. Оно само такого натворит, что много может нам повредить. Мы сами не пошли в министры, но зато должны контролировать их. А без нас они слабы. Со временем они может быть соберут около себя консерваторов, но я надеюсь – мы им не дадим. Тут и вопрос о 8-часовом дне. И о демократизации казармы. Надо на них давить организованно. Вы – сила решающая, и они вам вынуждены подчиняться. Сила – на стороне революции, а не буржуазии. Мы им будем заявлять наши желания, а они чтоб не отговаривались незнанием. Они и сами к нам обращаются. Вот почему Исполнительный Комитет избрал комиссию из пяти человек – контролировать правительство непрерывно. И вы, я надеюсь, это одобрите. Уже теперь ваше мнение может сделать всё. А может нам придётся опять совершать революцию.

Так забрал зал – даже перемахнул. Разожжённые во вкусе своей тысячеголовой власти, из зала густо кричали:

– Не доверять Временному правительству!

– Обманщики!

– Царские лакеи!

– Устроить самим новое революционное правительство!

– И во главе – товарища Керенского!

(Не было его тут, но все знали.)

И – полезли ораторы, по коленкам соседей, через плечи сидящих на полу проходов, и по ступенькам на сцену, – как их не выпустишь?

– ... Там, в правительстве, – капиталисты, которым нужен Константинополь. Надо бороться с Временным правительством, а не присягать им! Оно ещё не заикнулось, что нужно крестьянину и народу!

– ... Не надо связывать себя никаким контролем их! Правительство – крупно-буржуазное, одна клика заменила другую!

Вылез и за контроль:

– Мы переживаем момент организации.

И такой вылез:

– Тут говорят только вольные, а вот я, серый герой, георгиевский кавалер... Серый русский крестьянин высказывает голос русской воли...

Не дали ему договорить, оттянули.

Опять рабочий:

– Не мы для правительства, а оно для нас. Так что должно беспрекословно исполнять наши требования. Если правительство с чем нашим не согласится – мы опять возьмёмся за оружие! Временное правительство должно быть просто секретарём Совета рабочих и солдатских депутатов, не больше.

Но и предупреждали:

– Товарищи, Петроград не похож на всю Россию! Оттуда многие приветствуют правительство. Ещё есть кроме нас Россия – и она не наша.

Но и успокаивали:

– Да мы всегда можем правительство арестовать! Если оно не уйдёт – так мы их и арестуем.

– Вопрос неясный! Продолжить прения.

И Стеклов – при всех своих физических данных – растерялся от этой разноголосицы и нескончаемого шума, которого не было сил остановить. И тут – волчком вывертелся на авансцену снова Соколов – всё же есть люди, незаменимые в революции. И предупреждающе поднял, держал руку. А зал – уже полюбил его за сообщение о проделках царя. Поверил в него. И смолк. И Соколов – быстро, но спокойно:

– Товарищи! Обсуждаемый вопрос – простой и ясный. Пока это правительство выполняет все требования Исполнительного Комитета, а мы можем его сколько угодно контролировать и внутри каждого министерства наблюдать хоть за всей перепиской, – мы призываем вас оставить его на месте. В настоящих условиях Исполнительный Комитет берёт на себя ответственность за деятельность Временного правительства.

Сразу вдруг и поостыли.

Полегчало.

Тогда, для новой замазки и доверия, – выпустить Гвоздева? – читать вслух пункты соглашения с заводчиками. Сейчас заревут в одобрение, верный успех.

Там – полезут с приветствиями, приветствиями.

Но никуда не уйти, опять этот проклятый режущий вопрос: можно ли перенести похороны жертв на Марсово поле? Зато, мол, там воздвигнется ряд памятников – и всем народным движениям! и великому делу народной свободы!...

И всё же не было уверенности, согласится ли Тысячеголовый? С похоронами что-то сильно упёрся.

545

Такой прекрасной весны, как нынешняя, ещё никогда не бывало!

Никогда сила таянья не была такой пышущей. Никогда так тонко не замерзало к вечерам. Никогда не бывало таких нежных подснежников, покорных губам. Никогда столько не гулялось.

Да свободного времени никогда столько не было... Никакой весной не веселились так сразу все люди.

Ксения с уверенностью угадала свою лучшую и заречённую весну! Все вёсны, которые она прожила до сих пор, – были только приготовлением. Всё, что она жила и мечтала до сих пор, – было приготовлением. И вот, наконец, счастье неизбежно должно было явиться Ксенье – именно этой весной, да просто вот в этих днях! Пришла пора радости! Всё нутро её это чувствовало!

И нутро же – жадным толчком завидовало каждой беременной, встреченной на улице. Каждой беременной. Уж кажется, в эти революционные дни чего только удивительного не

было на улицах, лишь озирайся. Но и в эти дни ничто так не удивляло Ксенью, так не толкало в сердце – как вид беременных женщин.

Всё-таки это – чудо из чудес!

А гулянья было в эту неделю – не исшагать: занятия на курсах по-настоящему до сих пор так и не возобновлялись. (И балетная группа в революционные дни что-то не собиралась.) Ещё неясно было всему студенчеству: как же теперь их возобновлять? – в прежней ли форме или чего-то же добившись от революции! Первая победа была уже известна: в этом году институты, курсы и гимназии распустят раньше обычного! Профессора поздравляли студентов с обновлением России. Студенты-медики требовали: удалить нежелательных профессоров, минимум экзаменов и практических занятий для перевода на следующий курс. В Университете собирали то летучий митинг всех учебных заведений – на поддержку Временного правительства и войны, то уже и Совет Студенческих Депутатов. Каким-то общим собранным способом должно было решиться их общее студенческое будущее.

А тут призвал студентов и курсисток почтайт: что за революцию накопилось неразнесенных 60 тысяч писем, идите добровольно письмоносами! И – хлынули, и Ксения с подругами тоже. Да у неё все жилы тянуло от десяти минут смирной посадки – ноги требовали если не танцевать, то ходить и бегать. Нагружали их тяжёлыми сумками по утрам, но была большая поэзия: по незнакомым лестницам ходить, как будто ты везде свой, и разносить людям их задержанные жданные вести.

А по вечерам бы – в театры, так из-за четвёртой, Крестопоклонной, недели поста не было ни спектаклей, ни даже киносеансов. (Вчера – сороки, хозяйки жаворонков пекли.)

Зато сегодня вдруг приехал из Ростова Ярик, который, правда, и ожидался по письмам. Прекрасный подарок, и ко времени! Очень соскучилась: ведь не видела его ещё с до войны!

Вообще не видела его такого военного. Свой Ярик, братишка, однолеток, у носа по-прежнему веснушчато, детская доверчивая чистота безусого лица (над губой стал брить), глаза нескрытые, брови отзывчивые, – а на всё это наштампована война, мужское сжатие губ, но главное – насажен туго мундир, тугие ремни, венчающая голову папаха, даже и странная на детском лице, – а уже и самый настоящий офицер, владетель двух сотен жизней.

Он пришёл – у Ксеньи сидела Берта. Ксения порхнула к нему, естественно обнялись поцеловаться – но губы сошлись, едва наискосок – и поцелуй вдруг полыхнул – Ксения в испуге оторвалась. И щёки загорелись.

Поздоровался с Бертой.

Обе они, в два голоса, стали его поздравлять со свободой и с революцией.

И тут выразился на нём изумлённый или печальный сдвиг бровей. И только что весело вошедший, он ответил им с закрытой усмешкой:

– Милые девицы, умойтесь холодной водицей и успокойтесь. Как бы эта свобода ещё не вылезла всем нам боком.

Сказал это настолько старше их, первый раз Ксения не ощутила права над ним зубоскалить.

– Да отчего же?

Ярик сидел на топком диване, а подбоченясь на колени, как-то по-походному.

– Да что ж, – протянул. – Даже донские казаки – и те атамана прогнали. Сколько я ехал сейчас – ни на одной станции охраны не видел, и мосты – не охраняются. Приходи немец – и взрывай. Иной солдат мимо офицера проходит – только что плечом не толкает.

– В Москве этого нет.

– Ну как же нет, да много так. И в трамвае.

Он уже пробыл несколько часов в Москве, остановился при казармах у приятеля.

– И в Москве на вокзале – охрана распущенная. А приказы вашего нового командующего висят – что это за подполковник во главе Округа? – что запрещает побеги и самовольные отлучки? Чтоб такой приказ издать – знаете, сколько нужно этих побегов?

Не приходило в голову. Они этих приказов не замечали, не читали.

– Пишет: «бежать с фронта – преступление перед родиной». Так это что ж – и с фронта уже бегут?

Опять сдвинулись губы, брови. На девиц посмотрел – и вниз наискось.

Берта вскоре ушла. А хозяек обеих не было – редкий случай, и ещё больше часа могло быть до возврата. И Ксения – решилась рискнуть. Предложила с порывом, так хорошо ей стало:

– А хочешь, пока хозяек нет – я тебе потанцую? А кормить – уже потом буду. А пока вот – жаворонок съешь.

– Да что ты! – просиял Ярик. Она раньше так его не баловала, чтоб специально для него танцевать. – Конечно!

– Только я уже теперь не босоножка! – предупредила.

Заволновалась. Не только потому, что нагрянут хозяйки и будет очень неудобно. Но: никогда в жизни она не танцевала наедине с мужчиной, для него. (Хотя – какой же Ярик и мужчина?)

Но уже было – кинуть, поймано, не вернуть. И в запретной чинной столовой, где Ксенья позволялось отнюдь не всё, – а стол-то как раз стоял в стороне, удобно, широкая полоса вдоль окон свободна, быстро отодвинула кресла под чехлами к окнам, а стулья задвинув под скатерть поглубже, открыла прямой пропьяс по начищенному паркету, – и убежала в свою комнату. Молниеносно сменила платье, туфельки, надела красное плоское ожерелье – и в узком чёрном выскользнула к нему.

И как раз проступили в окна, через тюлевые гардины – предзакатные жёлтые лучи.

Сама себе напевая музыку – проходила, пролетала туда и назад, с поворотами, выступкой, с перебежкой, прокрутами, то руки косо вперёд, как будто летя, – и правда чувствуя себя летящей, способной к полёту! Давно так счастливо не танцевала – но и всё время чувствуя, и почему-то тревожно, присутствие своего зрителя.

А он сидел, утонувши в диване, перебегающе следил – но ни слова, и не хвалил, так поражён.

А ведь – лучший способ разговора! Как можно много выразить в танце – гораздо больше слов. Какая в танце есть несвязанность! (Хотя ещё и не полная откровенность.)

Он – не похвалил, и она убежала молча, ощущая так, что произошло в этом танце нечто.

И опять, очень торопясь, и волнуясь, переодевалась – теперь в украинское вышитое, с широкими рукавами, с монистами.

И – выскочила, проплясала ему яростного гопака!

Вскрикивала громко! – тут и он стал вскрикивать, и даже кричал от восторга, подхлопывал ей ритм – встал – пошёл к ней, поймал за руки – и так доплясались до хохота. И он её обнял. Крепко-крепко.

Крепче, чем.

Полмига казалось – сейчас будет её целовать и совсем по-новому.

Испугалась, оторвалась. И опять убежала.

И хотелось ей ещё чардаш сплясать – но долго шнуроваться. Да благоразумие требовало лучше убрать все следы. Так и правильно. Едва переоделась, уже шум от дверей, – быстренько подвигали мебель на места. Вернулись хозяйки.

И хорошо, что вернулись: после объятия созданся между ними ожог – не прикоснуться, и говорить наедине невозможно. А за общим столом потёк разговор о революции – и Ярик малоодобрительно о ней говорил, и так угодил хозяйкам.

Да, что же в Ростове?! (Ксения и о Ростове не успела его расспросить, уж самое главное.)

После ужина пошли с Яриком погулять.

На их глазах молодой зеркальный месяц зашёл за Храмом Христа. Вечер был крупнозвёздный, но почти как будто без заморозка, тёплый, – или так казалось?

Бродили по набережным – сперва по Софийской, потом перешли к Водоотводному и по

Кадашевской. Может и нигде в городе, но здесь-то особенно в эти тёмные часы никак не выдвигалась в глаза революция, не сказывалась ничем, и красный цвет если ещё где был, то уже не заметен. Такой же вечный тёмный Кремль, устойчивые чугунные решётки – и белеющая ледяная москворецкая цельность, впрочем уже с подмоинами, подбухшая, вот-вот готовая **пойти** .

И Ксения вот так же была вся готова – пойти.

Он вёл её крепко под руку, подпустя пальцы ей на кисть под перчатку – и иногда водил ими там, глядя.

Нежно.

В полутьме не так было видно его детское лицо, едва угадываемое, легко придумываемое. Чётко – шинель, ремни, шашка, фуражка, сапоги,- она шла с боевым фронтовым офицером и иногда совсем забывала, что это – сводный брат её.

С фронтовым офицером – гордей всего и было гулять.

Вообразить бы его совсем незнакомым, как будто вот только что познакомились, – и, странно, тогда легче, открытей.

О Ростове – вдруг не захотелось говорить. И он догадался, почти не рассказывал. Да ведь у них был один общий и московский год – она курсисткой, он юнкером, – но и его не вспоминали.

И перестал называть «сестрёнкой» и не говорил «печенежка». Просто, часто, – «ты».

А рассказывал фронтовое разное, и всё такое важное, свежее, – даже старая лесопилка на обратном склоне, не растащенная на блиндажи, но приспособленная под штаб полка.

И как Рождество встречают на фронте.

Лишь бы звучали голоса.

Да какой он брат? Лишь товарищ отроческих лет, – чему это мешает? Брат – это скучный лысоватый Роман, считающий деньги, не пошедший на войну. А этот – воин, мужчина!

И всё время – крепко под руку, всем локтем до конца и плечами тесно.

Нежно.

Совсем новое установилось между ними. После сегодняшнего танца.

Хорошо танцевала. Как легко в танце! – а так путанно в жизни.

Зачарованно так пробродили – ничего больше не было, но уже много. Уже – достаточно пока.

Так в темноте и привыкла видеть – лицо совсем новое, мужественное, незнакомое.

Расставались, уговорились: и завтра встретиться днём, гулять, и послезавтра.

Какие это особенные вечера! – уже неотвратимо подступающей весны.

Возвратилась домой возбуждённая, счастливая, наполненная, долго не могла заснуть.

Как это так вдруг переменилось?

Всё хорошо: и что он такой изученный, близкий – и что такой вдруг незнакомый.

ОДИННАДЦАТОЕ МАРТА

СУББОТА

546

(Февральская мифология)

НИКОЛАЙ БЫВШИЙ. Да будет проклята лже-романовская династия ныне и присно, и во веки веков! Первое преступление «немкиного мужа» – это измена и предательство. Коварный лицемер, предатель в душе, вероломный, неискренний и лживый... Если дело

Мясоедова расследовать в глубину, то нити потянутся к дворцам.

(«Русская воля», 8 марта)

... В начале войны надеялись, что царь не захочет бесчестья себе и своему войску. Но, видно, у царя было нерусское сердце. А министры ни о чём, кроме своей выгоды, не думали...

... Великая страна оказалась во власти врагов русского народа...

... Реакционная Россия противопоставляла реакционной Германии лишь ленивое и неискреннее сопротивление...

... Мы все знаем, что между русской и германской реакцией всегда существовал теснейший договор взаимного страхования от революции, и этот договор не был разорван и после возникновения войны.

... Сношения августейших пораженцев с Германией не вызывают никаких сомнений. Арестом их – нанесён смертельный удар по шпионажу.

... Несомненное соучастие в шпионаже старой правительственной власти.

... Всё, что кровью завоевала русская армия, – пришлось отдать из-за измены Сухомлинова...

... Теперь мы узнали, что в России была крупная немецкая партия. Она опиралась на государыню, которая не могла забыть, что в Германии её братья и родственники. Немецкая партия хотела поражения России. Она находилась в сношении с германским штабом и выдавала военные тайны. Предателей будут судить, и на суде выяснятся все подробности.

... Мы узнали кошмарную правду о том, какой удар готовили высокопоставленные иуды стране и героической армии, измышляли вернейшие способы предательства... Мы начинаем это узнавать из английской печати...

... Гнусная дворцовая камарилья последние упования свои возлагала на императора Вильгельма. В интимном кружке клеветов замышлялась измена против России и армии.

... Все мы знаем, что царь и его приспешники были и остались друзьями Германии.
ген. Маниковский

... Царь за пышным обедом подписывал предательские договоры с Вильгельмом.

... Россией фактически управлял не Николай II, а Вильгельм...

В КОЛЬЦЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА. Как мы могли воевать? Неужели мы до сих пор ещё не разбиты? Наши поражения были естественны и логичны, наши победы – вопреки здравому смыслу. Сегодня открытие за открытием: измены не только были, но они превосходили всякое воображение. На измену возникла мода: кто чище предаст свою родину? Николай давал тон. Шли беспроволочные телеграммы Вильгельму.

... Россия, распинаемая безмерным предательством, уже казалась умирающей...
Никогда со времён Иуды Искарота над народом не совершалось такого предательства.

Ф. Сологуб

... Русский народ защищал Россию вопреки своему недостойному правительству. Но в народе всё больше вкоренялось убеждение, что правительство боится победы.

Д. В. Философов

... Шайка царских бандитов, самая бессовестная, лживая и хищническая в мире... От городского до министров и царя была одна шайка, которая высасывала соки из народа.

... Преступная шайка чиновников расхитила всё до того, что мы еле остаёмся живы...

... Бестолковая несуразная русская жизнь, в которой всего было в изобилии, кроме счастья...

... С платком во рту, со слезами на глазах мы всё видели, всё понимали и... молчали.

... Жалеть ли прошлого? – расслабленного, психически-гнилого, заражавшего свежую народную жизнь только смрадом и ядом...

... Все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая не могла пройти сама, ни быть излеченной обычными средствами.

Александр Блок

... Мы жили в крепостническом режиме до последних дней.

... Как накануне 1 марта 1881, так и накануне 1 марта 1917 царизм пускал в ход только нагайку, пулю и виселицу.

... Павший режим мог выдвигать на ответственные посты либо хищников-предателей, либо ненормальных людей, соединявших политическую беспринципность с безграничной развязностью.

(«Новое время»)

... Злостное пренебрежение старого режима священными интересами родины...

... Гнусный режим грубого произвола, в котором задыхалась вся Россия, кроме хищной шайки диких помещиков...

... Режим продажности годами торговал народной кровью.

Чхеидзе

... Самодержавие держало солдат хуже, чем заключённых: не отпускали со двора за покупками. В учебных ротах многие товарищи кончали самоубийством...

... Народ, который оскорбляли годами, до сих пор считался удобрением и подстилкой. Людям надоело быть вьючными животными, надоело терпеть вечное унижение, опротивело постоянно кого-то подкупать, перед кем-то вымаливать.

(«Новое время»)

... Старый режим как могильный камень давил всякую свободную мысль. Гасители-приспешники только и понимали, как давить всё культурное...

... От старого режима больше всего страдала свободная печать.

... Старое правительство, враждебное всякой инициативе, кроме черносотенной...

... Все еврейские погромы были делом рук правительственной власти. Да и правительство не особенно тщательно скрывало это.

(Кузьмин-Караваев, «Биржевые ведомости»)

... У нас был погромный монархизм.

... Погромы удавались только тогда, когда в них принимала участие переодетая или даже не переодетая полиция.

... Царство Каинов, вешателей, душителей народных прав. Безмерно терзали тело и душу России, довели Родину до невообразимого позора и разрухи.

... Россия была превращена в огромную тюрьму. Кладбищенский покой царил в России, и только псы мракобесия и слова ненависти были безусловно свободны...

ДИНАСТИЯ ГРЕХА И КРОВИ... Триста с лишком лет как кошмар тяготел над Россией... История русских царей – это история временщиков, шептунов и предателей.

... Александр II любил только парады и хорошую муштровку.

... Александр II вполне заслужил свою казнь от рук смелых революционеров. Казнь 1 марта 1881 года показала, что борьба с царизмом возможна только путём крайних мер, не знающих пощады.

... Но всех Романовых превзошёл по жестокости Николай II. Человечество не знает более кровавого царствования, чем царствование последнего Романова. Войны и казни, расстрел безоружных, предательство и измена Родине – вот что глубоко запало в народные души.

... Царь крови и виселицы...

... Николай II был одним из самых преступных насильников, какие только были известны миру.

... Реки крови, которые пролил романовский последыш, затмевают Ивана Четвёртого.

... И главной чертой Николая была личная лживость: Он был признанный глава убийц и грабителей.

(«Биржевые ведомости»)

... Царь вышел глупый-преглупый. Рождённый быть безголовым, инстинктивно был недоволен: зачем ему голова... Полная нечувствительность к эмоциям нравственного восприятия. Маленькие страстишки, поверхностная сентиментальность. Опасный неврастеник, может быть даже параноик... Дегенеративные начала несомненно переданы Александрой Фёдоровной всем своим детям... Россия может считаться счастливой, что отделалась от Александры Фёдоровны так дёшево.

Александр Амфитеатров

... Царь открыто состоял членом банды погромщиков, называвшей себя «союзом

русского народа».

... О благе народа царь совершенно не думал, через пять минут всё забывал.

... Свита спаивала царя, и он не интересовался делами...

... Вокруг царя было гомерическое пьянство...

... Царю и министрам не было дела до родины – они хотели только не упустить власть из своих рук.

... Николай был очень хитёр. Он умел выбирать себе советчиков и прятаться за их спины.

... У него были деспотические замашки и бесконечная рыхлость характера...

... Ханжа и деланно религиозная Александра Фёдоровна была полна всех пороков. В ней не было настоящего сознания поститься, но по каким-то тайным соображениям она строго преследовала скоромное. Она имела немало фаворитов. Один из них был офицер Сводного полка О., отравленный единомышленниками Вырубовой. От смерти фаворита она заболела нервным расстройством. Исцелил её появившийся Григорий Распутин.

... По духовному завещанию Николая II в случае его смерти регентшей объявлялась Александра. Будущая «Екатерина III» спешила приблизиться к заветной цели. Главное, ей нужно было укоротить жизнь Николая. Зная наследственную слабость его к алкоголю, А.Ф. пустила стрелы в этом направлении. Но Николай пил и не сдавался. Тогда организовали покушение на его жизнь. Подробности заговора вскроются во всей своей неприглядной наготе, когда над супругами будет назначен гласный суд.

... Диктатура безумия поставила страну на край пропасти...

... Великое преступление старого режима, что он совершенно разрушил народное хозяйство...

... Наследие, оставленное нам старым режимом, настолько тяжело, настолько испорчено, что исправление его представляется поистине гигантским трудом.

... Государственная Дума объясняла, как помочь беде с питанием, но царь никого не хотел слушать...

... Холопы русского самодержавия, состоявшие на службе у германского правительства, прилагали все усилия, чтоб запутать дело продовольствия, довести народ до голодания.

... Анархия, которую сознательно сеяло правительство изменников и врагов народа, вынудила страну вступить на путь самозащиты.

... Одна сила, перед которой народ преклонялся и безгранично верил, – Государственная Дума. К ней обратились теперь взоры восставших, под её охрану отдали молодую русскую свободу.

... Никакие частичные мероприятия не помогли бы. Надо было разрушить до

основания всё старое здание.

... Царское правительство с сознательным расчётом вело явную политику довести народ до края отчаяния, до исступления, вызвать на восстание – и залить его дымящейся народной кровью. И момент был чрезвычайно подходящий для правительства: жестокая война удерживала всех нас от выступления.

А. Серафимович

... Логическим завершением была попытка вернуть уходящую власть путём разрыва Минского фронта для пропуска войск Вильгельма. Какой кошмар!

... Низверженный царь готовил народу ужасное кровопролитие...

... Революция произошла тогда, когда страна сказала себе, что со старой властью она победить не может.

... вдруг армия повернулась к этому режиму не рукояткой, а лезвием.

... Революционный пролетариат и революционная армия спасли страну от окончательной гибели и краха, который приготовило царское правительство... Революционер-рабочий и солдат мощной рукой удержали народное хозяйство от падения в пропасть...

... Вопрос ясен. Народ бесповоротно решил, что царя – не надо, он – не на благо, а на зло государства.

Н. Гредескул

... проклятая поганка на теле России...

... Уничтожен внутренний гнойник, заражавший всё национальное тело. Мы не только освободились – мы вымылись от грязи, прилипшей к России. Управляемая ненавистной властью, Россия походила на распавшееся бесовское царство. Когда стало очевидно, что именно терпение ведёт нас к неизбежной гибели, ему должен был наступить конец, иначе Россия не была бы Россией. Везде задавались мучительным вопросом: достойна ли Россия существовать на свете?

(Евг. Трубецкой, «Речь»)

... Весь народ признал: то, что случилось, – хорошо. Велик Бог земли русской, что уберёт её от дворцового переворота в февральские дни, но дал вызреть народному гневу. Рок России, такой несчастный, на этот раз оказался счастливым.

... Русская революция уже названа чудом – и это верно. Режим, под гнётом которого жила Россия, был режимом лжи. Ложь была возведена в культ. И вдруг страна с ничтожным напряжением её с себя стряхнула.

... Это историческое чудо очистило и просветило нас самих.

П. Струве

... Свершился суд Божий...

Еп. Андрей (Ухтомский)

... В нашем представлении до сих пор понятие революции связывалось с морем крови.

Но русская революция разыгралась с изумительной стройностью. Великий гнев народный вылился в формы поразительной мягкости.

... Не нужно было быть пророком, чтоб предсказать: трагедия русского народа кончится великим сотрясением. Царскому самодержавию нужен был этот лес воздвигаемых виселиц, палачи не знали пощады. «Столыпинским галстуком» нас хотели задушить навсегда. Все ждали революционного вихря, но все и боялись его: улицы, обгагрённые кровью, казни без конца. Но наша революция – особенная, мы сияем миру ровным светом. Закалившись в страданиях, подвергаясь невероятным пыткам, ужасам средневековья, мы сохранили незлобивость и великодушие.

... Великая русская революция не оказалась ни мстительной, ни жестокой...

... Бывали революции буржуазные, бывали пролетарские, но революции *национальной* доселе не было на свете. Эта революция – народно-русская, всенародная в высшем значении слова.

... У нас не было народа в высшем смысле, а – бесправная забитая масса. Мы верим, что русская армия не показала и части тех сил, которые в ней таятся. Великие февральские дни родили одухотворённую массу, из которой только и можно ковать «народную армию».

... Всё было против нас – и мы воевали. Можно ли сомневаться, что мы теперь победим?...

... Германия ещё не получала более решительного удара, чем наша революция...

... Наши благородные союзники в дни русской революции не дали Германии проявить активность на русском фронте...

... В новом строе измена по отношению к союзникам не зреет, как зрела она в старом строе.

... Теперь в России не может быть пораженчества, психологически объяснимого прежде. Оно может существовать только в чёрном подпольи черносотенства.

... У реакции только один путь вернуться к нам: на острие немецких штыков. Итак, в союзе со свободолобивой Англией и народоправной Францией...

... В минуту, когда Германия запоёт марсельезу, - наши руки соединятся. И скоро не будет никаких армий – и зачем заботиться теперь о глубокой армейской реформе? По всему фронту, обращённому к немцам, разверните красные победные знамёна!

Леонид Андреев

... Переворот в России – не только русское, но и мировое счастливое событие. Россия своей колоссальной массой задерживала общий прогресс человечества. Именно её грозная сила помешала совершить в Европе политическую реформацию, начатую Соединёнными Штатами в 1776 и Францией в 1789. Россия казалась мёртвым грузом на ногах новой цивилизации.

(Меньшиков, «Новое время»)

... Русское государство вновь, как встарь, стало единым владыкой своих судеб. Истекшие дни показали, как неслышанно созрел русский народ. Опираясь на таких граждан,

Временное правительство будет в состоянии довести наш народ до окончания блестящей победы и до Учредительного Собрания.

... Лозунг Учредительного Собрания стал историческим императивом, могучим средством дисциплинировать стихию революции... создать организационные кристаллы, вокруг которых произойдёт уплотнение законности и права...

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ. Россия свободна! Идёт таинственный процесс коллективного творчества.

... Новое правительство приняло на себя тяжёлое наследие. Что систематически разрушалось в течение десятилетий, нельзя исправить в несколько месяцев...

... гнилые и ядовитые ростки самодержавия... Мы вырвали их и вспахиваем землю новой России, чтобы на ней насадить прекрасный сад свободы и демократии...

... Какое великое счастье жить в эти дни!

... Во дни святого счастья

Возникнет над землёй

Блаженного безвластия

Желанный строй.

В пыли не зашевелится

Вопрос жестокий: чьё?

И в сердце не прицелится

Безумное ружьё.

(Ф. Сологуб, «Биржевые ведомости»)

СУПРОТИВ ПЕЧАТНОГО НЕ СОВРЁШЬ

547

Радостную, упоённую ночь провёл Николай Николаевич! Среди ночи просыпался и ощущал – как он счастлив! и как, наконец, он поведёт славную русскую армию! Кажется, до утра не дожидаться, скорее к действию.

После полутора лет несправедливого изгнания от злобной императрицы – возвратился он на своё законное место. И покоящееся тело его и удовлетворённый разум наполняли это радостное сознание: до чего же он, наконец, на месте. И как вся Армия теперь воспрянет: обожаемый Верховный Главнокомандующий! И как вся Россия теперь вздохнёт свободнее, зная, что войска поведёт её любимец.

А ночевал Николай Николаевич в своём вагоне: в губернаторском доме ещё складывалось Никино имущество, ещё пока там всё перечистится, переставится, прежде чем въезжать, а потом и Стану позвать из Киева. В большой бодрости великий князь поднялся, умылся, помолился, выпил утренний кофе и уже намеревался ехать в штаб, принимать одно энергичное решение за другим, чтобы перетряхнуть армию к победе, – как доложили, что просит приёма полковник из Петрограда с поручением от князя Львова. Вот как? –

наконец-то, давно пора им отозваться. Но вестей от князя он очень ждал на Кавказе, тогда – удивляло молчание правительства, в такие решающие дни. А теперь, для Верховного, сообщения с правительством становились рутиной. Принял полковника в салоне уже на ходу, стоя: что там?

Полковник виновато докладывал, что он уже четвёртый день с этим письмом едет за князем, но везде разминулся в дороге.

Однако Верховный Главнокомандующий, не осердясь на задержку, оставил объяснения без внимания, рассеянно поспешно вскрыл письмо тут же, при полковнике, развернул – и... – проколотый! -

... ещё по-военному развернулся и сумел уйти в своё купе.

И диагонально припав к столику, ещё читал, не веря, не умея понять:

«... обсудив вопрос о назначении Вашем на пост Верховного Главнокомандующего, пришли к заключению, что создавшееся в настоящее время положение делает неизбежным оставление Вами этого поста. Народное мнение резко и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых какой-либо государственной должности. Временное Правительство не считает себя вправе остаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым может привести к самым серьёзным последствиям... Временное Правительство убеждено, что и Вы во имя блага Родины сложите с себя ещё до приезда Вашего в Ставку звание Верховного Главнокомандующего...»

Нет! Нет!! Нет, он этого не ожидал! Нет!! В революционные дни он готовил себя к неожиданности – но не такой!! **Этого** – нельзя было предвидеть!

Это будет... Это будет... Это будет – Третье Отречение?!

Отречение Ники? – имело смысл: засыпка пропасти между властью и обществом.

Отречение Миши? – имело смысл: Мише был не по силе трон.

Но какой будет смысл **этого** отречения – оторвать от Армии её Вождя?!!

И – что же решать? И – что можно решить? И – с кем же посоветоваться?

И – **кто** его отрешает? Назначенный в один час вместе с ним какой-то Львов?...

Ах, как роково получилось, что Стана не поехала с ним сюда! Ах, как же нужна сейчас умница Стана с её твёрдым взглядом на события! Как роково получилось, что в такой День, при таком решении! – и они разлучены...

Сегодня и Стана и Милица и Петя должны быть в Киеве.

С Алексеевым? Но Алексеев – не великокняжеской крови, не ровня. И что-то вчера он не понравился: прятал глаза, был хмур. Великий князь даже подумал вчера, не разочарован ли Алексеев, не хочет ли он стать Верховным сам?

Да и – о чём же с кем советоваться, если написано так ясно и в правительстве уже всё решено?...

А пружинилось в великом князе великое нетерпение, которое и было двигателем его полководческих действий, нетерпение, которое никогда не давало ему выжидать, прятаться, – но вытягивало проявиться раньше всех и решительней всех.

Унижаться? Цепляться за пост? Просить? Ни за что!!!

Но – быстрее! но – больше! – швырнуть им!!

Конечно, можно не спешить сдавать – ведь он уже принял командование! Можно ехать в штаб, работать, обдумывать, обсудить и с Алексеевым.

Но – нет! Но – быстрее! Швырнуть им!!

От груди и в спину проколола насквозь обида – уже не на какое-то там правительство, а на саму Россию! Если Россия не оценила великого князя, если Россия не хочет его – неужели он будет навязываться?! Нет! – и горло его задрожало. Он даст и России почувствовать своё достоинство! Он – именно хочет теперь в благородстве опередить и саму Россию! Он даже и не может ждать ни одной минуты!

И – метнулся саженными шагами, через салон, мимо забытого полковника-к адъютанту! бланк телеграммы!

Плюхнулся в стул, подогнув на полу остроугольные ноги, – и размашистыми крупными

буквами писал:

«Рад вновь доказать мою любовь к родине, в чём Россия до сих пор не сомневалась.»

И хотя горло всё так же дрожало, но уже и удовлетворённо.

Пусть Россия прочтёт – и пожалеет.

И уже равнодушно – отдал адъютанту на отсылку.

Огненный порыв вырвался из тела как душа – и даже голова ослабла на шее, требовала ручного подпора.

И посидел так тихо. И пришла мысль: но если он не Верховный – то кто же теперь?...

Ах, зачем его вытребовали с Кавказа! Уж как хорош он был на месте там.

Но – Наместником он и остаётся? Ведь он предупредил правительство, что оставляет за собой этот пост!

А никакого другого поста, ниже, он теперь в армии занять не может. Не согласен.

Но и вернуться на Кавказ как бы разжалованным и после таких проводов – разве возможно?

А тогда что ж – отставка?

Уехать просто – в поместье, в Беззаботное?... (А там сейчас волнения...)

Кончена жизнь? Как внезапно.

Генерал Алексеев прислал предупредить, что сейчас на вокзал приедет протопресвитер и в вагоне примет присягу Временному правительству от великого князя и сопровождающих офицеров.

Ах да! Присягу!...

Осветилось: а почему – в вагоне? А почему – не в штабе?

Так Алексеев – **знает ??** и знал вчера?? Предатель!!

А может – это его интрига и есть??

Присяга Временному правительству?...

Неудобно отказаться.

Отказаться – невозможно.

ДОКУМЕНТЫ – 22

(Опубликовано 11 марта)

ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Решительно отбросив приемы управления прежней власти, угнетавшей народ... Проникаясь всецело духом правового государства... заявляет, что приняло к неременному исполнению все возложенные на государственную казну при прежнем правительстве денежные обязательства... погашения по государственным займам, платежи по договорам, содержание служащим, пенсии...

Вместе с тем и все платежи, следующие в казну, налоги, пошлины должны вноситься по-прежнему... При громадности текущих военных расходов и увеличении государственного долга – повышение некоторых налогов окажется неизбежным...

Временное Правительство твердо уверено... что все граждане отныне свободной России с готовностью будут нести возложенные на них законом обязанности перед Родиною.

(подписи 12 министров)

ДОКУМЕНТЫ – 23

(Опубликовано 11 марта)

ВОЗЗВАНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА

Граждане и воины!

Враг угрожает столице. Петроград и его окрестности наводнены германскими шпионами. Нет звания, каким шпион не назвался бы. Он переодевается во всякую форму.

Нужна контрразведка. Генеральный штаб это дело наладит. Граждане и воины, не спутайте этих верных людей с агентами сыска бывшего режима. Новой власти сыска не нужно, она управляет в согласии с волей народа.

Следите за собой. Не выдавайте плана обороны.

Военный и морской министр А. Гучков

548

Котя Гулай не усматривал такой каузальной связи, чтоб от царского отречения Россия погибла. (Интересно, что Санька думает?) Котя так понимал, день ото дня всё увереннее, да и газет начитавшись: что это встряхивание может сказочно оживить Россию. Пусть, пусть революция идёт! А генералов с немецкими фамилиями лучше и сместить, чтобы подозрений не навлекали. Именно и надо, чтоб началась солдатская самоуправа.

Котя не без злорадства надел на присягу изрядный красный бант.

А капитан Клементьев, старший офицер батареи, не надел.

День был погожий, снова солнечный, хотя и прохладный. Снег липкий, мокроватый, но не таял. Долго стояли – ногам через сапоги стало холодно, а лицо уже приятно теплило солнце.

Их командир дивизиона, только что вернувшийся из отпуска из Петрограда, вчера собрал всех офицеров и под впечатлением виденного обратился не с приказом, но с горячим советом: на предстоящую церемонию присяги Временному правительству всем офицерам надеть красные банты. Что если Временное правительство признало красный цвет своим – теперь нам нечего пугаться его как жупела! Он убеждал, что впредь вся боеспособность их части зависит от того, удастся ли офицерам завоевать доверие солдат, чтоб их не считали противниками переворота. Он ужасался поступку бригадного священника, который после оглашения Манифестов отказался беседовать с нижними чинами об отречении, пока не получит подтверждения от Священного Синода. Вот так, – говорил командир дивизиона, – мы разрушим, погубим армию и не доведём войны до конца. (А не менее ужасно, говорил, попали некоторые части, которые успели присягнуть Михаилу, – и теперь, через неделю, им переприсягать.) Никто из офицеров не знал – что ж это за банты, как их делать, какой формы и размера? – и командир дивизиона показывал им. Он уже распорядился раздавать красную материю солдатам.

Сегодня командир дивизиона приехал на батарею сам, сам же звучно, уверенно читал перед строем присягу – сперва всю вместе, потом по словам, и батарея повторяла: «Клянусь перед Богом и своею совестью... повиноваться Временному Правительству... всем поставленным начальникам полное послушание... Не щадя жизни ради Отечества...»

А офицеры, как это принято, держали правую руку поднятой, с пальцами, сложенными для крестного знаменья.

А потом все, все по одному подходили к первому орудию, папаху под мышку, руку без рукавицы клали на ствол, а другой рукой крестились, кто православный. Потом целовали крест, лежащий на столике.

Обошлось гладко. (А в соседнем пехотном полку принесли к присяге знамя – но разглядели там инициалы царя – и не решились присягать, пришлось унести.)

Потом читали перед строем обращение военного министра.

Расходились после построения, и Клементьев, тоже присягнувший, и глубоко печальный, – пригласил Гулая зайти к нему в землянку, есть маленькое дело.

Он и вчера всё объяснение просидел с печальным безучастием, смотрел на командира дивизиона глазами больными или как на больного. Он-то сам (начальство не знало, а Гулай

знал) на солдатские вопросы, как понять отречение, всем отвечал, что стряслось страшное несчастье, что без царя Россия пропадёт, – то есть ещё похуже того священника. Совсем не умел Клементьев притворяться. Но из солдат никто ему в ответ не осклабился, слушали, как соглашались.

Клементьев был старше Гулая всего-то на два года, а перегородка между ними была непреходимая. Даже странно, где это поместилось: всего на два года, а уже капитан, кадровый, и три года успел послужить до войны и всю войну. А просто: не только университета, но и гимназии не кончал, а сразу военное училище. Перегородка в том, что Клементьев был вовсе слит с военным делом, исключительно хорошо стрелял (Гулай у него много набрался). А с другой стороны – никаких философских интересов, ни начитанности, так что нельзя было бы ему сейчас предложить такой, например, аспект: что нынешняя русская революция есть ещё один шаг в саморазвитии Мирового Духа. А ещё – был Клементьев как-то слишком серьёзен, да даже и всегда печален. Ровесники, называли они друг друга на «вы», по чинам или по имени-отчеству.

Сейчас спустились к нему в землянку. Присели, в шинелях. Через окошко падало немного солнца, было светлей обычного земляночного. И снова Котя видел эту печальную серьёзность, делавшую Клементьева старше лет, и удивлялся его сокрушению, не пропорциональному событию. Всего-то росли у Клементьева юнкерские лёгкие усики, а лицо – уж так изнедавшееся горя.

За войну и у Коти было изнедавшееся, но за месяцы тихого оборонного стояния горечь сгонялась, а ликовала на лице молодость и сила.

Что-то яркое подсвечивало Косте под лицо. А, падал солнечный луч на его нагрудный красный бант.

Клементьев снял фуражку (у него иконка висела в углу), принагнул голову с чернявыми, молодо-густыми, но короткими волосами и сказал замыслительно:

– Да... Вот вам и блеск царского трона. Имени. И могущество власти. Было – и как не было.

Всё так, но мысль банальная, Гулаю нечем было отозваться.

– Царь был – Помазанник Божий, – очень серьёзно говорил Клементьев. – И прадед его царствовал, и пращур, 300 лет. И царь – один. А во временном правительстве может быть двадцать человек? – как же мы им присягаем? А если они разругаются и станут в разные стороны тянуть, – как же им соблюдать присягу?

Это верно.

– Ну, не им лично, России, – сказал Котя легко.

– И как же это новое правительство допустило арестовать царя? Неужели там не нашлось людей, кто бы помешал?

Гулай смолчал.

– Как вот мне вернуться к старику-отцу, старому служивому, – и без Государя императора?...

Вот ещё вопрос.

– Читаю вот, – кивнул Клементьев, на кровати лежала у него кipa газет. – Что только не пишут о царской семье, жутко читать. И за такие подробности берутся. Развязались перья. А и подумаешь: что-то за этим есть? Неужели столько неправды было вокруг трона?

Хотел ли он просто пожаловаться, поскулить, для того и позвал. Удивительна была такая его деревянность при его молодости. Он медленно выпускал фразы, а между ними продолжал думать. После контузии у него чуть заметно подрагивали руки и были зрачки неодинаковые.

– Несомненно, – сказал Гулай басом. – Были силы, которые царём играли.

Если вам так легче.

– А всё-таки, – уставленно в стенку, не в Костю: – Как же так? Петроград, тыловые могли произвести революцию, не спрося армию? Штатские люди – и с нами не посчитались?

– Да-а, – в тон, но без сожаления отозвался Гулай, – штафирки, конечно. Но им

подручней было.

Клементьев как обдумывал, почти не двигался.

– Но Государь был патриот. И самоотвержен.

Немного бы меньше серьезности, нельзя уж так серьезно с глазу на глаз.

– Однако, немецкая партия его сбивала. Он давал собою играть. Во главе великой страны так нельзя.

Клементьев прямо не возразил. Но желая ли оправдаться, поделиться по-равному:

– Успокаиваю себя тем, что с высоты престола освободили нас от присяги. Если Государь император сам соизволил отречься – тогда что ж? тогда и мы должны присягнуть? А то – не знаю... А то – я бы не мог... «Не щадя жизни ради отечества», – что ж, это верно... Государь отрёкся, но остались Вера и Отечество, да...

Чего совсем не было у Клементьева – юмора. «С высоты престола» – так можно в манифестах писать, но не говорить же в простой речи. И вообще – можно услышать такое от закоснелого старого офицера, какого-нибудь князя, – но от 27-летнего офицера из простого народа?

Скучновато уже получалось. За этим он и звал? Или за чем?

– Василь Фёдорыч, вы хотели что-то мне...?

Клементьев посмотрел на него удивлённо. И уже полная растерянность вступила в его печальные глаза.

– Да. Да. Позвольте... – вспоминал. – Позвольте, вот странность, насколько же память отшибло? Что со мной? А были у меня нервы – жена говорила: «дубиной не перешибёшь».

Смотрел с досадным мучением забытой мысли. Смотрел – как от Гулая ждал напоминания.

– Вот, говорю, надо нам теперь, после беды, батарею сколачивать, крепче держать.

Нет, не то. Не вспоминал.

– Ну, в другой раз, Василь Фёдорыч, когда вспомните. – Встал.

И Клементьев встал. Уныло.

– Вот странность... А как вам нравится, – ещё задержал, – в приказе министра: «солдаты и офицеры, верьте друг другу»? То есть, солдаты, не избивайте офицеров? Ведь это же нетактично. У нас и тени неповиновения нет, это у них в Петрограде, – а зачем же нам читать такой приказ? Нетактично.

– Правда, – согласился Гулай. – Это глупость.

И уж на самом уходе его – вспомнил Клементьев.

– Да, вот что! Ерунда совсем. Командир дивизиона в Москве нанёс визит институту, который нам всё подарки шлёт. И директриса, между прочим, пожаловалась, что один наш солдат пишет слишком развязные письма её институтке. Командир, даже неловко, просил повлиять. Это – ваш Евграфов. Вот, возьмите.

Нашёл, дал. Армейский полуконвертик, в трубочку склеиваемое письмо.

Гулай взял. У себя в землянке прочёл, залихватское приказчиье ухаживание, галантерейным языком.

При подарках были всегда имена и адреса жертвователей, почти всегда девиц. Такие подарки получал и сам Гулай, офицерские мало чем отличались от солдатских, и внутри мешочков такие же трогательные письма упаковщиц, нередко гимназисток, восторженно предлагавших заочную дружбу и переписку. Некоторые вкладывали и фотографии, подруги разоблачали, что она чужую положила, а сама уроды. Все воедино эти письма представляли неразведанный, таинственный и манящий букет – то самое, что и есть жизнь. И Гулай сам иногда отвечал довольно ухажерскими письмами, но не с такой откровенностью, как размахнулся Евграфов.

Вызвал его.

Вошёл – не только всегдашним зубоскалом, но ещё и именинником от огромного красного банта на груди. Такой именинник и такой свободный – какой же ему теперь выговор? Он и раньше бы не послушал.

Но чего уж решительно не мог Гулай – это говорить ему «вы», пропади и всё Временное правительство!

– Садись, сукин сын! – показал ему на табуретку. – Ты что же невинных девочек соблазняешь?

Улыбнулся Евграфов польщённо, выказал ровные белые быстрые зубы. Даже не спросил, о ком речь, видно не один такой случай был, а победно:

– А виноватых – чего ж и соблазнять, ваше благородие? Наше дело холостое!

– Это верно, – согласился Гулай, смеясь. – А карточка-то хоть есть у тебя, или ты как с рогожным кулём?...

Евграфов и всегда был в разговорах смел, а тут, видя такое расположение, опять омыл зубы:

– А что, господин поручик, дозвольте спросить, правду ли говорят, что царская дочь Татьяна отравилась? Говорят, от Распутина забеременела, а сама – невеста румынского наследника. Так не могла позора пережить?

549

После завтрака пришёл Ярик – и отправились они снова гулять, занятий ведь нет.

Но – но... – вчерашнее очарование сразу не возобновилось. Как будто вчера – это вчера, и отделено чертой, – а сегодня и днём невозможно было отвлечься, будто это какой-то незнакомый воин, а всё время виделось, что это – Ярик, восстанавливались все мальчишеские черты, столько раз виденные в домашней обстановке, и та же припухловатая верхняя губа, и те же веснушки у носа. Конечно, уже не восторженные задорные глаза – но если б сейчас отпустили его с фронта, то могли б они помальчишечеть.

(Ещё она всматривалась – нет ли, не дай Бог, в нём выражения предсмертной обречённости, как, говорят, бывает. Но ничего такого не виделось, нет.)

И очень Ксения смутилась: да где же *тот*? Ведь *тот* – был вчера, был.

Кажется, и он был смущён. Шли с неловкостью. Неясностью.

А во все глаза лезла внешняя жизнь, и революция. Там и сям – остывшие, с жестяными трубами кипятильники, из которых на днях поили на улицах горяченьким бродячий народ и бродячие войска. И – трамваи с красными флагами и надписями по красному: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Да здравствует республика!»

Кто-то, говорят, захватывал типографию «Русского слова», кто-то – кафе «Пикадилли». Зачем?

И – в одном, другом, и третьем месте, на Театральной площади, на Страстной и на Тверской – необычные кучки домашней прислуги, горничных и кухарок, – в платках, суконных чёрных пальто, по пятьдесят и по сто вместе, горячо гудящих: требовать себе хороших комнат, а не закоулков, требовать свободных дней, и чтоб не будили, когда из театров приходят. (У них какой-то большой митинг сегодня был, вот и доспаривали.)

А Ярика больше поражали подростки с обнажённым иногда оружием и тяжёлыми револьверами на боках, – может быть заряженными? Белыми повязками на их руках удостоверилось, что это – милиционеры: не хватало студентов, и вооружили подростков. Ярик ужасался, что они пустят оружие там, где не надо, а против пьяного громилы и всё равно не справятся. Да у таких оружие – худший из беспорядков, отнять легко. (Ещё и студенты как справятся – тоже неизвестно.)

И тем более не пропускал его глаз развешанных повсюду военных приказов. А на стенах, на заборах, на театральных тумбах всё висели, висели приказы подполковника Грузинова – и те, которые уже читаны, и новые, не по два ли раза в день он их выпускал? Такой новый: не разглашать сведений военного характера. И такой новый: приказываю всем отлучившимся солдатам добровольно вернуться в части! Не ставьте меня в необходимость прибегать к принудительным мерам воздействия! И ещё такой: дезертиры освобождаются от ответственности, если вернутся в части до 20 марта.

– Фью-ю-ю! Да ты понимаешь, печенежка, что это всё значит? Во время войны! И – до 20 марта, а сегодня 11-е. Не очень-то надеется.

От приказа к приказу, от квартала к кварталу он темнел.

И правда, теперь и Ксения поняла необычность толпы: слишком много свободно гуляющих по улице солдат, слишком много, такого не бывало.

Но честь поручику – отдавали, и он всем отвечал, отвечал без конца, для того вёл Ксению левой рукой.

И уже совсем не так слитно, не так нежно, как вчера. Всё отвлекало их от них самих.

А вот ему приятель рассказал, тут на днях было шествие по Тверской – солдаты под руку с офицерами и под марсельезу?

– Знаешь, я всегда был за то, чтоб устав мягче, – ведь умираем вместе. Но идти в обнимку?... В первые дни в Ростове мне эти солдатские восторги нравились, но что-то, знаешь, слишком раскачало.

Сообразил:

– А ты-то – что домой пишешь? Ты домой не написала случайно: поздравляю вас со свободой?

Нет, смеялась Ксения, домой – понимаю, что так нельзя. А Женечке с Аглаидой Федосеевной – так именно так. Разминулось письмо, он его в Ростове не видел.

– Они-то – да, они так и понимают. Но это всё, печенежка, гораздо сложнее. Вот как бы мы войну не стали проигрывать.

Опять уже запросто обсуждался харитоновский дом как их общий, свой, запросто звучала «печенежка».

А напряжение меж ними от вчера – ослабло... исчезло...

Да ведь они и никогда не скрывали своей нежной расположенности: они всегда были как брат и сестра.

Снова заблестала между ними весёлая и непроходимая стеклянная грань.

От яркого света уйти бы в дневной сеанс в кинематограф? – так все зрелища закрыты.

И правда, что это ей надумалось? Почему ей вчера так определённо показалось? Ведь если это войдёт в их жизнь – что ж тогда будет со всеми их отношениями в харитоновской семье? Это – никому и в голову не вберётся.

Что-то скучнела и внутренне пустела их прогулка.

Около кинотеатра «Арс», запруживая Тверскую, собиралась новая толпа: ожидался там кадетский митинг.

По тумбам, по афишным доскам ещё много было развешано анонсов – что будет на пятой неделе поста, лишь бы только выбраться из четвёртой: снова все театры, кинематографы, а крупнее всех развесила фирма Либкин: сенсационную фильму «Тёмные силы» – о Распутине, завлекательность, ведь это хлынут смотреть. Да когда так быстро изготовили?

Но сегодня – никуда они пойти не могли. И когда перед закатом Ярик провожал её домой, через Большой Каменный мост, Ксения звала:

– Пойдём, у нас посидим.

Но он стал при перилах, вытянулся в своих натянутых ремнях, смотрел на ледяную реку в тёмных пятнах – помрачённо. И вот сейчас, в закатной жёлтости, почудился ей на его юном простодушном лице – свет жертвы.

Губы сжались твёрдым пожатием:

– Нет, сестрёнка, прости, не пойду. – Ещё хмурился туда, мимо. – Почему-то тяжело. И я не уверен, что останусь дольше. Я, может быть, знаешь... уеду завтра.

– Раньше отпуска? – изумилась Ксения.

– У-гм.

Так почувствовала:

– А я тебя – ничем не обидела?

Он помягчел, повернулся, руку на руку положил:

– Да нет, сестрёнка, что ты.
Обнялись – как всегда раньше.
Она перекрестила его.
И пошла со склонённой головой, как будто виноватой себя чувствуя.
Если что и могло быть – то упущено вчера вечером.
Вчера казалось: этого уже много до переполнения. А на самом деле, значит, вчера случилось мало.
Да Боже, – где же тот ? **Когда** это вступит, наконец?

550

Утром позвонил взволнованный Ардов и просил принять его – послушать громовую статью. Если Сусанна Иосифовна одобрит – то завтра же она раскатится на всю Россию.

Сусанна привыкла, ей часто приходилось быть в положении вдохновительницы. Адвокаты, журналисты, даже и писатели нуждались в её слове поддержки, улыбке, – часто звали её послушать свои лучшие речи, приносили черновики статей – оценить и покритиковать, у неё был чуткий редакторский слух. Их дом был не только дом Давида Корзнера, но и Сусанны Корзнер, она-то своим сиянием и собирала постоянную публику. И эту роль свою она любила (не без того чтобы гордиться, но скрывала). Это выслушивание мужских вдохновений никак не была измена мужу, но – напряжённый спектр жизни. Ей приносили своё лучшее – и она по силам старалась ещё улучшить это лучшее.

Отказать было невозможно, так он рвался, – а между тем дня уже не хватало, позже предстоял Сусанне торжественный и необычайный вечер: всемосковский еврейский митинг. Сегодня – суббота, и он назначен был позже вечером, после святой неподвижности, а перед тем у неё соберутся знакомые, сговорились ехать гурьбой. (В этой связи и сама Сусанна вспомнила субботу и успела попрекнуть в шутку Ардова: не лучше ли завтра? «Ах, какие пустяки! – донеслось в ответ. – Этот замысел распирает меня уже всю ночь, я не могу его носить дальше.»)

Перед приходом Ардова переменяла блузку.

Он ворвался с весело-блуждающими глазами. Сели в столовой под верхней лампой, там всегда не хватало дневного света, взяли кофе, Ардов разложил свои беспорядочные листы с беспорядочным почерком. И радостно-нервно:

– Сусанна Иосифовна, я не буду предварять, текст говорит сам за себя... Нет, всё же немного предварю... Вы – читаете, вы – слышите, вы – отдаёте себе отчёт: ведь готовится предательство святой свободы!! Всё чаще – и откуда? совсем не от черносотенцев. Эти голоса, зовущие к предательству, раздаются в революционных газетах, печатаются открытые призывы – сбросить войну, как будто это... старое надоевшее пальто, нам стало жарко, тесно, и мы сбрасываем. Но войну – не сбросишь! О нет! Вот, вы читали: немцы готовят сокрушительный удар на Петроград. А мы – беспечны! И я решил: я не могу молчать дальше, я и наша газета не имеем права молчать! На это надо – ответить, но ответить не серо, ответить громово! надо хлестнуть по нервам! Надо – всех пробудить! Мы дадим огромные заголовки. Вы – согласны? вы – понимаете?

Сусанна – да, понимала, читала, знала.

– Я – с вами согласна, я – патриотка, это кроме всяких шуток.

Только она не уверена, что дело столь угрожаемо, и даже столь загублено? Но, однако, сильно написать – это всегда полезно, и если... Почитаем.

– Да! Изо всей силы! Да, так написать, чтобы рыдали простые солдаты! Вот так, – начинал уже читать. – Сбылись лучшие надежды многих поколений, оправданы страдания бесчисленного множества замученных! В три дня из царства самого свирепого деспотизма мы перенеслись в безбрежный океан безграничной свободы! Да! На нас свалился дар радостный – но и трагический! Мы оказались в вихре героической эпохи – но это и обязывает нас стать героями! О граждане, поймём единодушно: лучше умереть в такую

эпоху, чем жить в эпоху прозябания! Долг каждого гражданина – чтоб освобождённая Россия была Россией победоносной! Ныне создалась опасность не только отечеству, но – свободе! Немцы надеются, что наш переворот приведёт к ослаблению русского воинского духа – о, как жестоко они ошибутся! Мы, победившие внутреннего немца, неужели поддадимся внешнему?! Мы верим, что армия нас не выдаст! Конечно, Вильгельм хочет отомстить нам за сверженного царя, он всегда его поддерживал.

Он сам себя перебивал в большом волнении, то ли усиливая воздействие на Сусанну своими объяснениями, то ли одновременно готовя варианты фразы:

– Да, конечно, тут место сказать и о старой камарилье: они все получили по тому счёту, который был кровью написан на полях сражений. По сути, союз трёх императоров продолжал тайно существовать, их объединяла круговая порука. Существовал же и какой-то тайный договор Николая с Вильгельмом об измене Франции. Мы и границу как следует не укрепляли, чтобы дать прусским войскам возможность давить «революционную сволочь».

Он вписывал между строк или сносками, на полях и на обороте, а кофе стыл, забытый. Сусанна мялась.

– Я... не уверена, что эти доводы найдут уж такой отзыв в солдатской простой душе. И что он будет рыдать.

Но это, кажется, и не была ещё сама статья или даже главная часть её, а только – примерка.

Ардов метнул взглядом:

– Да не солдата! – солдат и так стоит на посту. Нам надо пронять – гражданина! обывателя! даже интеллигентного обывателя, кому революция досталась так слишком просто! Я – буду насмехаться, вот будет мой тон! Свергли Николая II – и радуетесь? А он – величина малая. Вас называют гениальными за ваш переворот, а вы – как рабы: связали надсмотрщика и пляшете. А подходят – усмирители с плётками. Где же, где же – рёв прорвавшегося революционного потока? Сколько дней революции уже прошло – а что мы сделали? Усилилось ли производство снарядов? Обеспечены ли города продовольствием? Где же наше вдохновение? Где же наш порыв? Где гнев? Где оскорблённые сердца? Где поруганная честь?

Да, в этом тоне что-то острое было найдено, Ардов сразу уловил бодрящее одобрение Сусанны – и ещё горячее взялся:

– Нас хватило только на то, чтобы свергнуть нашего мелкого самодержца. Позвольте! А безопасность ваших близких? А слёзы вдов и сирот? А руки, заменённые деревяшками? А Униженная Россия?... Да, русский народ отходчив. Он навяжет красный галстук на памятник Александра III, и удовлетворится этим, – и опять примется за своё богоискательство.

Да, какое-то дикое веселье было в этих строках, они не могли не затронуть, хотя бы оскорбив.

– Но Гинденбург идёт казнить нашу свободу – а мы спокойно слушаем, как какие-то нетерпеливые мечтатели рядом с нами кричат «долой войну!». Поистине, наш народ слишком долго был рабом! Или вы не чувствуете железной поступи этих мгновений?... Потомки или назовут наши имена святыми, или проклянут как разрушителей России. Раньше у нас было оправдание: во всём виноват режим. Но теперь – ответственность на нас! Теперь – нет отговорок, которые оправдали бы нас перед историей. И у нас – нет отступления. Освободительную войну только и может вести свободное государство. **Мы сами подписали свою судьбу: мы обречены на войну!**

– Несколько дней назад вы писали: мы обречены победить! – помнила Сусанна.

Польщённый Ардов с раскраснелыми ушами кивнул:

– Еще несколько дней назад и можно было так сказать. Но сегодня приходится сказать вот как... Вы ненавидите деспотизм? Но в Европе остался только один деспот. Пусть же ведёт вас против него ваша любимая марсельеза!

Глотнул кадыком. Глотнул кофе.

– А то все только распевают её. Понравилось... И дальше. И теперь не время для

празднеств! Что это открылся за новый вопрос: работать или не работать на заводах? Это – старый режим цеплялся за колёса ваших станков, и оттого у нас было меньше пушек, меньше снарядов. А теперь не то что работать – надо навёрстывать всё упущенное за прежнее время. Теперь – пусть ваши станки вертятся с удесятёрённой скоростью! Вложите всю вашу любовь к свободе – в этот бег колёс! Введите систему Тейлора! У нас мало отравляющих газов – создайте нам газы! Пусть работают и женщины! Пусть вся Россия напряжётся как огромная космическая пружина!

И уши пылали его, и щёки, он – весь сгорал, он и сам уже без Сусанны видел, что статья удалась отлично.

– Всё – для свободы! Такой минуты ещё не было в нашей истории! Только свободный народ и может вести освободительную... а, это уже было... Неужели мы упустим то счастье, которое далось в наши руки, трепещущие от волнения?... Неотразимо написать! Написать так, чтобы стало стыдно всей стране!... Может быть, и всем нам придётся идти под знамёна без отсрочек и белых билетов! У всех у нас – один билет: на котором написан наш гражданский долг!

Его голос переломился.

Успокоясь, он снова проверяюще смотрел на Сусанну.

Сусанна ли не умела слушать и смотреть! ушами и глазами выслеживать, ещё иногда поддерживая и изгибом кисти. Она – ничего не пропустила. И теперь сказала вдумчиво:

– Да, это сильно. Неожиданно, остро, дерзко. Можно поправить несколько выражений. – Ардов не скрывал, как доволен. – Но если говорить по сути, меня беспокоит вот какой оттенок. Повторяю, я патриотка. Войну – надо вести. И она именно должна стать войной за свободу. Мы должны защищать Россию от Вильгельма, как защищали бы её от Романова. Война – это горькое наследие, за то, что мы её рабски приняли, и в том мы все виноваты, и теперь надо нести её до конца. «Немедленное прекращение» – это какое-то безумное ребячество или извращённое толстовство. Но всё же, – она пристально смотрела на Ардова, а искала в самой себе: – всё-таки, что-то должно измениться в нашем отношении к войне, нельзя говорить прежним голосом. Ну, скажем, с таким добавлением: долой побединство! Победы – нам тоже не надо, а только отстоять свободу. А?

551

Наконец-то Александр Фёдорович стал высыпаться – и уже больше не падал в обморок. Да и сбросилось это безумное революционное напряжение, или, верней, так хорошо он втянулся в него, что уже вращался как в обычной жизни. Чтобы полнее сгорать на министерском посту – совершенно правдоподобно не возвращался он на свою семейную квартиру. Но чтобы не переезжать и семьёю сюда, да и по доброте, – не изгонял из казённой министерской семьею арестованного бывшего министра Добровольского (и разрешил мадам ежедневные свидания с мужем, и держал речь к домовою прислуге: служить по-прежнему), а себе взял только рабочий кабинет, который стал ему также и столовой, и рядом комнату для сна. Но быт устроился отлично: метался ли Керенский по Петрограду или вёл приём в министерстве, а тем временем графский повар распоряжался на кухне большими запасами графской провизии. И пока в деловой части здания бурлила напряжённая работа министра – здесь приспевали любимые блюда Александра Фёдоровича или, за недостатком его знания и опыта, блюда по рекомендации Орлова-Давыдова, или по усмотрению самого повара. А к вечеру в прихожей непременно стал появляться ещё и великий князь Николай Михайлович. И как только последние дела кружевитого дня спадали – министр с графом и с великим князем принимались приватно ужинать, со вниманием, разнообразием и пояснениями о блюдах.

Николай Михайлович, лысый, с короткой шеей и художественно обстриженными усами-бородой, появился в приёмной министра юстиции едва ли не в первый же день и сразу пришёлся Керенскому: с одной стороны это был несомненный, неподдельный великий князь,

его императорское высочество, – и вот тянулся в свиту Керенского; с другой стороны – вполне оппозиционный великий князь, в опале у отрекшегося царя, ведший агитацию в великокняжеских кругах, готовый поддерживать и заговоры, считавший убийство Распутина недостаточной мерой, а теперь, после двухмесячной ссылки в деревню, уже и горячайший сторонник Великой революции. А с третьей стороны – он ведь был историк! и может быть в самое ближайшее время будет способен отразить государственные шаги самого Керенского! А наконец и просто обворожительный человек.

А ещё, кроме общей приватности, приятности и дружелюбия, Николай Михайлович охотно дал себя приспособить и для обработки всех великих князей: чтоб они присылали министру юстиции письменные заявления о своей лояльности Временному правительству, об отказе от права престолонаследия и – об отказе от удельных земель, приносивших большой доход. Этот последний пункт был тонок: законодательно – этого отнятия можно было добиться только Учредительным Собранием, а вот если бы добровольно, то и быстро. Хотел Керенский поднести такой готовый подарок своему нерасторопному правительству.

И Николаю Михайловичу неплохо удалось. После ареста Николая II великие князья быстро тронулись и стали такие заявления присылать и даже телеграфировать, а Николай Михайлович ещё и комментировал министру, кто сдался легко, а кто туго. Легко согласились все Константиновичи: что не может быть и речи о престолонаследии, а Уделы есть собственность народа. Георгий Михайлович более осмотрительно отказывался лишь от престолонаследия, а по Уделам лишь обещал подчиниться решению, когда оно состоится. Александр Михайлович и Сергей Михайлович ограничились поддержкой Временного правительства, как будто бы остальных вопросов не поняли. А Владимировичи – упирались. Андрей был – далеко в Кисловодске. Кирилл – от престола отказался, а об удельных землях умолчал: хотя с красным бантом и приветствовал революцию, но расставаться с богатством жаль. А Борис, казачий походный атаман, и вовсе молчал, и вообще в его окружении в Ставке настроение было тёмное: поступил донос от проводника штабного поезда, что в штабе Бориса группа офицеров-заговорщиков решила открыть немцам проход на Петроград, а сами заговорщики тем временем бомбами и револьверами уничтожат всех министров. (Послал Керенский генерала-юриста в Ставку арестовать заговорщиков.)

А тут подоспела и присяга Николая Николаевича Временному правительству. Керенский выложил и своих верноподданных великих князей – и велел всё это скорей обнародовать во всеобщее сведение.

От первой минуты своего министерства, даже ещё от предминистерских тайно-сговорных часов, обжигаяще чувствовал Александр Фёдорович и горячо говорил своему верному партийному оруженосцу Зензинову, и коллегам по правительству, и чинам своего министерства, и всем, кто припадал послушать, – на какой недосыгаемый пьедестал он поставит в России юстицию. (Пьедестал пьедесталом, но кой-кого надо бы ещё быстро и похватать.) Величайшие вековые юридически-революционные деяния выпали счастливицу. Освобождение всех революционеров из Сибири! (И чтоб унижить старых прокуроров, предписывал им лично освобождать своих вчерашних обвинённых и поздравлять их.) Амнистия! – мечта интеллигентских поколений! И широтой своей захватывающая дух: не только всех политических, бунт против верховной власти, преступные деяния против императорской семьи, посягательство на изменение образа правления, публичные речи к ниспровержению строя, призыв войск к неповиновению, распространение заведомо ложных слухов об учреждениях, – но и всех уголовных, кто совершил убийства, ограбления по политическим и религиозным мотивам, и промотание оружия, и всех штрафных военнослужащих перевести в разряд беспорочно служивших. А уголовные, кому не будет прощён полный срок, – те могут идти в Действующую армию, укрепляя её ряды, а при свидетельстве о добром поведении будут затем прощены.

Правда, жестоко было бы: освобождая политических, ничего не сделать для уголовных. Керенского мучило, что он пока мало сделал для них: неужели по-человечески они заслужили такую кару, как тюрьма, крепость, каторжные работы? Ведь виноваты не они, а

среда. Сколько из них получили только сокращения наполовину... По-революционному, кто воистину не подлежит никакой амнистии – это повышающие цены на квартиры и продукты, вот они удушают революцию!

Да вообще! Да вообще: пора, наконец, тюремную практику превратить в гуманность! Пора вообще отказываться от наказаний, ибо они не исправляют! Самое правильное было бы: для оздоровления духа преступников отправлять их на побывку в семью. Начальником Тюремного управления Керенский назначил теперь – профессора Жижиленко, очень передового. Отменить кандалы для каторжан! И предавать суду жестоких чинов тюремной администрации.

Досталось теперь Тюремному управлению и брать в своё ведение многочисленные арестные помещения, нововозникшие по всему городу и подгородью. За первые революционные дни хватало все, кому не лень, набралось арестованных тысяч более пяти, несравненно с тем, что сидело при царе, и не хватало тюремного фонда, брали под арестантов манежи, кинематографы, гимназии, ресторан Палкина, караульное помещение для кавалергардов, царскосельский лицей. Где успели нары устроить, а то на полу, без матрасов, без белья, лишь кому из дому принесут, и уборных не хватало. И не следовало держать лишних, и нельзя выпустить опасных сторонников старого режима, и ещё та опасность, что они могли проникнуть и в стражей. Уже заселили военную тюрьму. Спешно восстанавливали повреждённые в революцию «Кресты». И Керенский поручил присяжному поверенному Гольдштейну возглавить особую комиссию, нет – даже 20 следственных комиссий под его руководством: чтоб они обходили все места заключения, выясняли, за кем не числится никаких дел, и освобождали бы их. Все содержались без всякой санкции прокурора, даже без регистрации, без классификации, арестованные и упрятанные кем попало, – и к этим пленникам революции жест великодушия предстояло сделать опять-таки революционному министру.

И ещё надо было разработать единый подход к добровольно сдавшимся полицейским чинам: с ними-то как? продолжать держать? освободить?

А чтобы вся череда амнистий и других славных дел становилась бы тотчас широко публично известна – учредил Керенский при своём министерстве бюро печати. Должна существовать форма прямого обращения министра юстиции к народу. Сообщать не только о действиях, но и о замыслах министра. Да что! Да в самых недрах министерства нужны были срочные реформы! Чтобы лучше шла работа, Керенский отменил все чины, титулы, ордена и призвал младших служащих самих организовать для защиты своих политических интересов. Впредь – никто не будет назначен на какую-либо должность в министерстве без общего согласия младших служащих! К сожалению, сейчас ещё нельзя повысить всем содержание, но можно ограничить норму работы. (Кричали «ура» и благодарили.)

Да что! Да едва выходил Керенский из министерства на Екатерининскую улицу, чтобы сесть в автомобиль, – собирались вокруг дворники, прислуга из соседних домов, – и как было не встать в автомобиле, не произнести им речь: что теперь все будут равны! и князя – и дворники!

Великие дни, когда Александр Фёдорович формовал русскую историю! Яркость, плотность, напряжённость, все фибры души трепещут! То – ещё раз слетать в Сенат. Предупреждённые сенаторы уже все не в мундирах и лентах, а в пиджаках, и конечно все взволнованы его приездом. Однако в гражданском департаменте Александр Фёдорович был очень ласков: просил их спокойно возобновить занятия, никаких перемен не ожидается, министр сам себя отдаёт в распоряжение Сената. Гражданский департамент всегда стоял на страже закона, и министр это ценит. Они хотят выработать приветствие Временному правительству? Что ж, пожалуйста. Вот в уголовно-кассационном департаменте у меня разговоры будут совсем другие. И перешёл в уголовно-кассационный, тот самый, который утвердил столько политических приговоров. Там он разговаривал с сенаторами всего лишь минут десять, но так строго и грозно, что оставил их возбуждённо-красными, близ сердечных припадков.

Всех их надо менять! И Керенский спешил предложить сенаторские посты адвокатам – Винаверу, Грузенбергу, Карабчевскому.

Да проще: надо вообще отменить верховный уголовный суд, не должно быть такого центрального судилища, достаточно, что судят на местах. Это всё – от имперского величия.

А ещё слетал – в Петропавловскую крепость. Это тем более важно и нужно, грозное явление министра юстиции должны там запомнить все. Во дворе, замкнутом бессмертными стенами и корпусами, был выстроен гарнизон – и министр произнёс к ним пламенную речь, призывая к строжайшей дисциплине и революционной ответственности. И пусть верят своим офицерам, что они – такие же революционеры, и над всеми над ними славная тень декабристов, повешенных вот тут же где-то, на стене.

Здесь у Керенского теперь сидело 35 министров и сановников. Обошёл бастион, где содержались преступные вельможи. Кроме общей стражи, у нескольких важных камер стояла дополнительная революционная. Смотрел в глазки, лишь к Макарову и Штюмеру велел распахнуть и на мгновение появлялся в их дверях изваянием Дантона. (Он поражался сходству своему с Дантоном: от размаха революции – так же первый министр юстиции, и так же в его руках король, и так же он шагает к премьерству, – но – о, не будет же обезглавлен!) Распорядился: свидания давать им раз в неделю при прокуроре, а Протопопову вовсе не давать. (Все эти дни к нему цеплялась жена Штюмера – то выпрашивала свидание, то вернуть ей чемодан с отобранными драгоценностями, отказал.) Утвердил им 40 копеек кормёжных в сутки.

Весь Петроград хотел видеть своего министра юстиции! – и как было отказать городу? То и дело приходилось мчаться куда-то, чтобы перед какой-то, ещё и не разгляженной, публикой выбрасывать отрывистые фразы, опьяняя себя и слушателей.

А сегодня замчались почему-то в управление Межевой частью, все служащие радостно приветствовали министра обновлённой России – и Керенский благодарил их, призывал к деятельной и спокойной работе по предстоящему всеобщему перемежеванию земель. А потом в автомобиле со своим заместителем очнулись: почему они, собственно, туда поехали? ведь это же – министерство не то земледелия, не то внутренних дел?

А тем временем натекали со всех сторон телеграммы, и кто-то же должен был воспринимать их и откликаться. Из одних мест – приветствия, приветствия! Из других – просили ускорить амнистию уголовным. Из Одессы – подтвердить амнистию дезертирам. И поляки, прося автономии, слали телеграммы Керенскому же. И французские министры-социалисты слали горячие поздравления (и призыв продолжать войну) – кому же, как не единственному тут социалистическому министру? И надо было отвечать Жюлю Геду.

А тут – хватало забот по своему министерству, и надо было расторопно распорядиться. Из Московского окружного суда затребовать на пересмотр дело Йоллоса, убитого черносотенцами 12 лет назад, – в надежде расширить теперь круг виновных. Из Таврического дворца – отпустить арестованную престарелую графиню Нарышкину: оказалась она оговорена Милюковым, спутана с другой Нарышкиной, не виновата ни в какой государственной измене. То – возбуждённые переговоры с Москвой, где Керенский в свой визит великодушно позволил деятельность адвокатесс, и теперь там в юридическом мире происходил бум. То возникло расследование о загадочной шифрованной телеграмме, в дни переворота присланной некой Ивановой, Невский 71, от некоего Иванова: «Выезжаю Вырицу, оставляю корзину, булки, хлеб.» Это – несомненно было от генерала Иванова и связано с его карательным движением на Петроград, – а сам он скрылся в Киев, и надо было достать его оттуда и потребовать объяснений. То – поступили угрожающие сведения о подготовляемом покушении на документы Департамента полиции, вывезенные в Академию Наук для изучения, – и оставалось приказать отвезти их в неразобранном виде в Петропавловскую крепость для сохранения. Напротив, бумаги, конфискованные в Союзе русского народа и в Союзе Михаила Архангела, свозили в министерство юстиции для скорейшего следствия. То – утверждал министр к публикации найденный список сотрудников петроградского охранного отделения. То – подкладывали ему заявленье одного

из них, студента Зенона Лущика, с просьбой расстрелять его как не заслуживающего снисхождения, – а Керенский ставил милостивую визу. То – промелькнул где-то в Таврическом какой-то кавалерийский офицер, якобы покушитель на жизнь министра юстиции, – а потом являлась депутация офицеров с чувством глубокого возмущения и бесконечно ценя дорогую всему русскому офицерству жизнь гражданина-министра. (А потом вскоре оказывалось, что никакого покушения не готовилось, а – самоубийство.) Но на всякий случай перед каждой ночью проверяли, не проник ли в здание министерства кто чужой, особенно офицер. На ночь поперёк министерской двери укладывались на пол курьеры. И ландыше-валерьяновые капли, поданные министру, Александр Фёдорович велел выпить сперва самому лакею. То – являлась к социалистическому министру депутация рабочих со своим рабочим кандидатом в министры финансов: имел уже опыт заведывания больничной кассой на Выборгской стороне, – и Керенский должен был экзаменом при них доказать рабочим, что кандидат всё же не годен в министры. То подходило время мчаться на вокзал – встречать из Сибири почётную старую эсерку Брешко-Брешковскую (Керенский должен был всей России теперь доказать свою принадлежность не к трудовикам, а к эсерам, в которых он, увы, никогда не участвовал действительно). И ехал на вокзал, а она не приезжала.

Но все эти разрывающие обязанности не только не смущали Александра Фёдоровича – а воспламеняли его к ещё более круговертной деятельности. Он чувствовал себя – в своей стихии, он чувствовал себя гением революционного действия!

Более того: он чувствовал себя – карающей дланью революции, калиткою Немезиды. Грозно-траурным маршем прошагивала Она через грудь Александра Фёдоровича – и в Россию.

Вот – уже отменил он прежнее правило, что судебные приговоры относительно лиц высокопоставленных и с высокими орденами должны утверждаться верховною властью. Вот, наконец, хлопотами целой недели, он собрал Чрезвычайную Следственную Комиссию по делам высокопоставленных лиц, и отвёл ей 5 комнат в Сенате, и в члены ввёл своего Зензинова и добровольца прапорщика Знаменского, – а во главе, для леденения крови подследственных, так и возвысил присяжного поверенного Муравьёва. За собой же Керенский оставил следить за следственными шагами и доносить правительству о добытых результатах. Он ждал их вскоре. Сегодня, 11 марта, Комиссия уже начинала допрашивать (окружение Протопопова), – и скоро отчётливый ход Немезиды услышит вся Россия и омертвеют виновные вельможи. (А дальше развернутся – и злодеяния самого царя. И – нельзя ему уезжать в Англию, нет.)

Распахнуть через себя путь желанной Справедливости в Россию, полную несправедливостей, – как от этого не задрожит грудная клетка?

Недавно у Таврического дворца произошла демонстрация с лозунгом: «Смерть арестованным!». Кипливый к благородству Керенский отзывчиво (через бюро печати) довёл до сведения всех граждан, что ни одна из революционных социалистических партий не призывает к насилиям и бессудным расправам, и есть основания утверждать, что подобные призывы есть деятельность бывших охранных и провокаторских организаций. Министр юстиции убеждён, что граждане Свободной России не омрачат светлым торжеством великого народа.

Да уже напечатали все газеты, что по распоряжению министра юстиции разрабатывается проект отмены смертной казни – навсегда. И каждый следующий день, разворачивая газеты, читатели ждали этого исторического закона.

Не так долго было и разработать его, там всего несколько пунктов. Но...

Одна-две смертных казни ещё очень могли бы понадобиться, чтобы грандиозно довершить картину российской революции.

Александр Фёдорович искренно ненавидел пролитие крови. Но – для того, чтоб она никогда больше не проливалась в России...?

Совсем не по кровожадности, не по мести грезил Керенский о такой казни – но из эстетико-революционного ощущения совершенства всей картины! Чтобы не отстать от

Великой Французской.

И он – медлил с опубликованием запрета.

552

Мучительные колебания Государственной Думы, а тем более её Председателя, – разъезжаться ли всем по местам своего избрания для деятельной работы или, напротив, удерживаться в Петрограде и заседать, – как бы толчком решились от случая с депутатом крестьянином Саратовской губернии. В революционные дни он улизнул, не сказавшись и Председателю, и поехал в свою Саратовскую. Но в своей же родной деревне на сходе получил от стариков выговор: как же он мог в такое время оставить Государственную Думу? И вот – воротился.

Урок! Урок народной мудрости, к которой Родзянко всегда бывал прислушлив. И урок, вдохновляющий к новой деятельности! Ну конечно же, ну в самом деле! – разве это нормально для парламента: разъезжаться, когда драгоценные силы каждого из них нужны именно в соединении?

И сегодня в библиотеке Таврического Родзянко снова собрал частное совещание членов Государственной Думы, чтобы обсудить этот эпизод и сплотиться.

Уже и библиотека становилась слишком просторна для собравшихся, уже и тут сидели они редковато. Сердце Михаила Владимировича сжималось – но он крупнодушно расширял его и тем заполнял пустоту мест.

Итак, он обсудил поучительный случай с саратовским депутатом и очень просил более не разъезжаться и передавать другим депутатам, чтобы собирались.

Далее он обрадовал их сообщением, что с фронта получают самые успокоительные известия, порядок в Действующей армии не нарушается.

Тут очень кстати выступил возвратившийся с Северного фронта депутат Дзюбинский. Этот народоволец, в юности сосланный в Сибирь, а оттуда потом делегированный в Думу, известный острый и беспощадный критик всего правительственного, от кого привыкли слушать только недовольство, теперь поднялся со своей уверенной широкой головой, столпообразно продолженной в шею, и тоже радостно стал рассказывать депутатам, как прекрасно настроены войска и как они рады переменам: теперь они знают, за что будут сражаться и жертвовать жизнью. Также нашёл Дзюбинский, что и генерал Рузский во всём хорошо разбирается, прекрасно осведомлён и смотрит на будущее с верою.

От имени Государственной Думы и её Временного Комитета Родзянко благодарил Дзюбинского за полезную поездку.

И на местах, докладывали депутаты, тоже всё спокойно.

На этом сегодняшнее заседание закрылось.

Ну да у Председателя оставался ж ещё Временный Комитет. Если кто возглавил и направил всю революцию в самые рискованные дни, то именно его Временный Комитет. И он же стоял твёрдым оплотом против опасности восстановления старого строя. И он же послал своих депутатов везти арестованного царя из Ставки. И с дороги именно во Временный Комитет слали депутаты телеграммы о том, как следует Николай. И являясь законным держателем Верховной власти, имея право сместить любого министра и даже всё правительство – не делал этого.

А Временное правительство, напротив, не оценило всей этой незаменимой службы Комитета и даже стало в несколько дней как бы вовсе его игнорировать, не держало в курсе предпринимаемого. Князь Львов ни разу не позвонил Родзянке за советом.

А вот сейчас Николай Николаевич получил заслуженную отставку с Верховного – значит, надо было обсуждать новую кандидатуру, и с кем бы лучше всего это решить, как не с Временным Комитетом? Однако правительство и движения такого не делало.

Правительство давало иногда поручения Комитету, но если разобраться, то – унижительные: из-под августейшего покровительства Марии Фёдоровны перенять в своё

ведение Красный Крест. Или руководить новоучреждённым Фондом Освобождения России, как он издаёт и распространяет литературу, устраивает лекции, чтения, беседы в поддержку Временного правительства.

Напротив, правительство чутко, болезненно прислушивалось к прениям и мнениям какого-то Совета рабочих депутатов, и с *ними* оно создало Контактную комиссию, совещаться периодически. А Родзянко, а Комитет, а Дума знали о действиях правительства не больше чем любой обыватель.

Так и, с другой стороны, злополучный якобы член Временного Комитета Думы Чхеидзе – знать не хотел Комитета и забыл своё думское происхождение, – но из другого крыла Таврического пересылал по коридору грозные протесты против выпуска Временным Комитетом каких-либо публичных актов.

И, конечно, вся солдатня подчинялась тому крылу. Конечно, Временный Комитет не озаботился иметь штыковую силу, ни захватить население в струю пропаганды, не мог раздавать недобросовестные посулы, – и в результате только платонически мог быть недоволен Советом и Временным правительством, а действовать против них не мог.

Но как же, как же все они не понимали – трагичности, символичности и бесповоротности того, что они делали?! Ведь Временное правительство, созданное Государственной Думой и обязанное отвечать перед Думой, не только не отвечало на простые вопросы её, но перехватило себе даже и коренную думскую законодательную работу, чего не бывало и при царе! Раньше Дума негодовала, что в её перерывах издавались законы по 87-й статье, – а теперь потекла сплошная 87-я, правительство само издавало закон за законом, мол при нынешнем положении страны оно не может дожидаться санкций Думы. Да посмотрите же в зеркало, господа!

Парламент победил – и что ж, он стал ненужен? Народ победил – и что же, народное представительство стало ненужным?

А для кого же все эти годы добивалась Дума власти – если не для Думы?

Страшная поздняя догадка теперь впустила когти в сердце Михаила Владимировича: да не с самого ли начала, все 10 думских лет, революционное крыло да и все кадеты использовали Думу лишь как прикрытые своих целей?

Ведь вот и Николай завещал Михаилу: править *в единении* с Государственной Думой (а не с Временным же правительством).

Да, в глазах народа Дума была внесена необычайно высоко, сегодня во всех дальних углах России всё совершалось именем Думы, все знали и верили только в Думу, – и ни в провинции, ни в армии поверить бы не могли, что и Дума и её Председатель совсем не облечены никакою властью.

И публично объявить это – Родзянко не решился бы, больно.

Могло бы правительство князя Львова понять, какой драгоценный символ для них хотя бы идейное существование Думы? Ведь наступит час и правительство само будет искать поддержки Думы против левых эксцессов.

Но они этого не понимали.

Сглублялась горечь в горле Председателя. И рассасывал он её только неустанной работой.

Всё ещё приходили сотни приветственных телеграмм, надо было во множестве их читать и на какие-то отвечать. Телеграммю читил Председателя и генерал Рузский: о том, что штаб его Северного фронта принял новую присягу, и с полной преданностью и горячими пожеланиями успеха... И Родзянке же слал телеграмму Союз русского народа: что он предлагает свои услуги Временному правительству. И инспекция фабричного труда отдавала себя в распоряжение Временного Комитета. И начальник боевой дивизии выразительно телеграфировал Председателю: в вашем лице приветствуем обновлённую Россию. Достоянейшему представителю, столь мощно и твёрдо ставшему в решительную минуту против тёмных сил...

Да с фронта катили не только телеграммы, но делегации, – и кто же мог выходить к

ним в Таврическом дворце, если не Родзянко? Приехали делегаты Острожского полка, привезли резолюцию: великое солдатское спасибо за обновление нашей родины! Если мы чего и боимся, то – что проiscaми тёмных сил нам не дадут закончить победой... И делегаты Малоярославецкого полка: с восторгом встретили переход власти в честные руки и будут защищать Государственную Думу до последней капли крови!... И манифестация украинцев в малороссийских костюмах: как можно энергичнее продолжать войну с Германией!

А в промежутке между делегациями Председатель писал какое-нибудь воззвание. То он призывал деревню вывозить хлеб, а теперь не упустить призвать её сеять новый.

Всем, кто трудится над землёй. Без хлеба – ничего не будет. Государственная Дума просит вас, чтобы не остались поля незасеянными. Исполните свой святой долг – сейте каждый на своём поле. Весь излишний хлеб будет куплен правительством по необходимой цене...

Сколько ж, сколько было в России дела! Уже и снявши с себя управление, Родзянко едва прогребался через дела.

А сегодня к Председателю явилась и вовсе необычная делегация: митрополит Владимир с полным составом Святейшего Синода! Родзянко с почётом принял их и рассадил, и угощал, готовый служить святым отцам.

А они пришли – с жалобой на конфликт с правительством. Сперва, неделю назад, обер-прокурор Львов объявил им, что Церкви будет полная свобода в самоуправлении, а правительство остановит, только если что несогласно с законом. Синод поверил и издал успокоительное послание к православному народу. Но всего через три дня Львов энергично заявил Синоду, что Временное правительство считает себя в прерогативах прежней власти, отказал в созыве церковного Собора и отдал распоряжение о подготовке церковной реформы по воле правительства. Тогда Синод пожелал обсудить новый закон об управлении Церковью. Львов ответил, что выработает без Синода, и даже ревизию церковного хозяйства будет вести сам, и назначать епархиальных иерархов он тоже будет сам, чего не делал и Самодержец, глава Церкви! После этого 6 иерархов подписали заявление, что не считают возможным оставаться присутствующими в Синоде. Позавчера присоединился и весь Синод: считать поведение обер-прокурора неканоническим и довести до сведения Временного правительства.

Итак, это был шаг Синода, не виданный во всей русской истории! Синод заявляет, что и он хочет воспользоваться свободами, объявленными всем гражданам, а если нет, то полным составом подаёт в отставку!!

Эти дни, руководя государством, Родзянко совсем упустил думать ещё и о Церкви, – а тут вот что! Он был ошеломлён явлением этих клобуков в свой кабинет, как будто преображённый и лучистый от блеска крестов с алмазами. Этих высоких духовных лиц он привык почитать издали, во время торжественных служб, – а тут вот все запросто они пришли к нему – и чего же хотели?

И сердце его было на стороне Синода и трепыхало от возмущения этим чёрным разбойником Львовым. И пришли они сюда – как ко Главе государства. И проблема была огромна и почётна, чтобы Председателю её и поднять, а кому же?! Поднять – и тряхнуть – и громыхнуть – и проучить этих зазнавшихся министров! И сердце его – бурлило от гнева!

Но... Но... Конфликт с правительством сегодня – был бы грозен. Невозможен.

И – некем его проводить.

И нельзя раскалывать силы порядка перед анархистами из Совета.

И... И... Со всей своей вальжностью и многоданной властью Председатель стал уговаривать членов Синода – как-нибудь с отставкою погодить. А там как-нибудь уладится.

А церковным иерархам и всегда доступна идея смирения. Они и сами понимают, что невозможно оставить Церковь без кормила. Что всё равно неизбежно им вести дела до созыва нового Синода.

И благоразумный Сергей Финляндский высказал, что не следует своим слишком большим упорством подрывать молодое Временное правительство. Нужен компромисс с

С такой быстротой Николай Николаевич отказался от командования, – Алексеев узнал уже с опозданием, что тягостная обязанность объявлять – свалилась с него. Хоть это!

Но кроме облегчения – испытал он и огорчение, что этот порывистый властный человек не останется тут. От петроградских посяганий на Ставку – всё больше чувство незащищённости и неуверенности охватывало Алексеева, – неуверенности, какой он не знал во всей своей военной службе и даже в отступлении Пятнадцатого года.

Обещался великий князь в этот день с утра кипеть над бумагами, а вот всё миновало, опустело. И единственные бумаги, которые надо было теперь составить и подписать, – это передача временного исполнения должности, применительно к статье 47-й полевого положения, начальнику штаба, впредь до назначения преемника. И – рапорт великого князя военному министру с просьбой уволить в отставку.

Всё это и подписано было. На породистом лице великого князя с трудом сохранялось выражение гордости, так свойственное ему. Никакой деланной усмешки на губах. А долго прорезанные глаза не могли скрыть печаль. Слишком силен был удар после трёхдневной дороги в оврагах, возбуждённого приступа к делу – и...

И влага подёрнула глаза, и надломился голос, когда, с жалостью к себе, поручил Алексееву великий князь просить ему от Временного правительства беспрепятственного проезда в Крым и свободного там проживания в Чаире, а брату в Дюльбере. Ехать в большое тульское имение ему казалось опасным.

Мог себе позволить теперь великий князь уйти в личные планы. Но Алексееву было уже невмочь и недосуг – вслушаться, посочувствовать, посидеть. На его плечах всё увеличивалась тяжесть – и с отречённым великим князем он уже не имел права делить её.

Сегодня два офицера привезли тайное, откровенное и оглушительное письмо от Гучкова. Он прямо признавался, о чём Алексеев не хотел, не смел догадываться: что Временное правительство не располагает никакой реальной властью, а лишь сколько позволяет ему Совет рабочих депутатов. (Разгневанный на Алексеева!...) И что разложение запасных частей прогрессирует.

Боже мой, так чем держаться Действующей армии? За спиной, вместо обширной отечественной земли, – обвал, бездна... А впереди всё тот же сильный зоркий враг.

И таково было грозное свойство гучковского письма, что даже Лукомскому не хотелось его показать. Никому вообще. Переварить в одиночку.

Впрочем, в характере Алексеева было – не бояться огорчений, но стараться всё плохое всегда знать, чтобы скорей принимать меры. Постепенно – он всё перерабатывал.

Ни с кем он не мог делиться своим разрушительным знанием, а между тем лез к нему приехавший корреспондент «Русского слова»: какие меры надо принять, чтобы армия восприняла переворот без ущерба?

И – нельзя ничего не ответить, такая теперь общественная температура.

Скрываясь за очками, за сожмуром, за кислым выражением, отвечал Алексеев, что армия не может сразу охватить таких событий. Разъяснить солдатам не могут посторонние люди, а только прямые начальники. Наша задача – сроднить и сблизить солдат и офицеров.

А возможно ли выборное начало?

Абсолютно невозможно. В мире такой армии не бывало и не будет.

Среди дня вдруг вызвали к аппарату. И потекла лента от князя Львова, взволнованная. С первых слов стало понятно, что он до сих пор не получил отправленную утром телеграмму великого князя об отречении, но только что получил вчерашнюю: что великий князь прибыл в Ставку и вступил в отправление должности Верховного.

И, видимо, перепугался. Но и не прервёшь течение его ленты.

... Между тем Временное правительство имело возможность неоднократно обсуждать

этот вопрос перед лицом быстро идущих событий и пришло к окончательному выводу о невозможности великому князю быть Верховным Главнокомандующим. И был послан офицер с письмом, с указанием на невозможность. А теперь телеграмма великого князя о вступлении в должность стала известна Петрограду и вызвала большое смущение. Достигнутое великими трудами успокоение умов грозит быть нарушенным...

И который уже раз это у них! – то полное успокоение, то всё нарушено.

... Временное правительство поставлено в затруднение: оно обязано немедленно объявить населению, что великий князь **не** состоит Верховным Главнокомандующим. Князь Львов просит генерала Алексеева и самого великого князя – помочь нашему общему делу. Решение Временного правительства никак не может быть отменено па существу, но весь вопрос в форме его осуществления: правительство хотело бы, чтобы великий князь сложил с себя полномочия сам...

Это поразительно, насколько они не чувствовали в себе силы! – они не решались утвердить великого князя, но и снять его тоже не решались. Гучков не примрачил...

Наконец лента остановилась, и Алексей мог отвечать.

Он сразу успокоил: вопрос благополучно исчерпан. Уже послано две телеграммы: о сложении звания и потом об отставке. Если даже эти телеграммы ещё не пришли, генерал Алексей не видит препятствий немедленно объявить это во всеобщее сведение и положить предел смущению умов. Кроме того, великий князь просил гарантировать ему и его семейству беспрепятственный проезд в Крым и свободное там проживание на своей даче. И он просит на время проезда командировать вашего комиссара. И чем скорее будет решён этот вопрос и чем скорее состоится отъезд великого князя из Могилёва... Об этом и генерал Алексей убедительно просит князя Львова.

Там, на той стороне, задышали свободно.

– Слава Богу. Вопрос относительно дальнейшего следования великого князя будет решён через несколько часов, и решение будет немедленно сообщено вам.

Теперь такое известие:

– Военный министр выехал на Северный фронт.

Алексей это уже знал из донесений.

Теперь и:

– Сообщите, пожалуйста, общее положение. И настроение войск в данную минуту.

Общее положение? – не Алексею в Петроград было объяснять. Оно было наилучшим образом объяснено в письме того самого военного министра, – и ещё хорошо, что Алексей не успел его показать новому Верховному. А ещё бы два-три часа он не отрёкся – и надо было бы показать. И не счесть всех последствий, какие это могло бы вызвать в необузданном князе. Конфликт с Петроградом мог бы разразиться гибельным.

А настроение?

– В боевых линиях, в громадном большинстве частей, совершенно спокойное. Исключение составляет Гренадерский корпус, где все события нарушили равновесие и замечается некоторое брожение и недоверие к офицерскому составу. Меры к разьяснению событий приняты. Надеюсь на благополучный исход, которому поможет и близость противника.

Меры – только что к разьяснению. Других мер не стал видеть Алексей.

– Далеко не в таком положении находятся части и запасные полки войскового тыла. Бедность в офицерском составе, энергичная агитация делают своё дело – и то тут то там вспыхивают местные беспорядки.

Изложил князю Львову свой план примирительных комитетов – против революционных. Надо искать путей невиданных – по невиданным обстоятельствам.

Как только генерал Алексей получит согласие главнокомандующих на такие комитеты – он войдёт с представлением в надежде, что правительство поддержит эти меры. Просил бы и – назначить комиссара Временного правительства для постоянного пребывания в Ставке, для установления нравственной и деловой связи.

Никогда в другое время не попросил бы такой глупости. Но наступила такая эпоха – эпоха комиссаров, посылаемых всеми, во все дырки, – а само правительство не всегда получишь к телеграфному аппарату.

И наконец, – наконец, что же? Как это всё понимать?

– Я закончу просьбою скорее закончить переходное время в смысле Верховного Главнокомандования. Назначить определённое лицо, которое полновластно вступит в трудную должность управления войсками.

Алексеев, правда, видел, что всё клонится к назначению его самого, и сам, честно, не видел никого другого на эту должность при нынешних обстоятельствах. Но и так же, честно, он не гнался за этой должностью, которая сегодня совсем и не выглядела как успех военной карьеры. А тактичность требовала кого-то предложить. Очевидно – Рузского, они сами не могли не думать о нём, он был и близок им во всех отношениях.

– Так как ныне главкосев, по-видимому, пользуется наибольшими симпатиями известных кругов Петрограда, то, может быть, вы сочтёте соответственным вручить эти обязанности – ему?

Но Львов ответил в изящной форме:

– Когда будет объявлен приказ о принятии вами Верховного Главнокомандования?

Принятие Главнокомандования – есть временное исполнение должности. Что ж, -

– Приказ будет объявлен сегодня и сообщён телеграммой на фронты.

– Приложим все усилия помогать вам и надеемся на дальнейшее несение вами должности Верховного.

Но тогда уж позвольте:

– Великий князь вчера назначил генерала Гурко вместо Эверта. Но сегодня мы читаем агентские телеграммы, из которых видно, что на эту должность будто бы назначен генерал Лечицкий?

Удобно командовать, если о назначении своих подчинённых узнаёшь из газет! Но знает ли о том хоть само правительство?

– Если вам известно что-либо по этому вопросу, не откажите ответить, так как надо положить конец недоразумениям сразу на трёх фронтах – Западном, Юго-Западном и Румынском.

С прелестной беспечностью Львов отвечал:

– По поводу Гурко ничего не знаю. Ждём Гучкова, тогда скажу, чтобы он тотчас вам сообщил. А улучшилось ли положение на Северном фронте?

Если относительно агитации – он должен был бы сам знать лучше. Если же...

– В боевом отношении на всех фронтах более или менее спокойно. Особо рельефных признаков накопления немецких сил против Северного фронта пока нет. Да и погода не благоприятствует широкой операции. И германскому флоту.

И, уже окончательно облегчённый, Львов:

– Могу добавить, что в последние дни во всей России, не исключая Петрограда, заметно сильное стремление браться за работу и большой подъём духа. Можно надеяться, и мы твёрдо верим, что этот подъём покроет недоимки, вызванные пароксизмом революции. Идут вести о подвозе хлеба в усиленном порядке. Москва вступила в нормальную жизнь во всех отношениях. По-видимому, мы решили стадию первых шагов строительства новой жизни. Наша опора – здравый рассудок и великая душа русского народа. До свиданья!

– Будьте здоровы. Помогите вам Бог, – только и мог отозваться новый Верховный, отходя от аппарата.

С кем это он сейчас разговаривал, с каким призраком? От кого получил назначение? Разговаривал – и забылся, и как будто – с серьёзным правительством.

Но снова перед глазами встало безжалостное тайное гучковское письмо, ещё даже не освоенное вполне.

Лондон, 11 марта
ЛЛОЙД ДЖОРДЖ – кн. ЛЬВОВУ

... Как бы мы ни ценили лояльность и верное сотрудничество бывшего императора и русских армий в течение последних двух с половиной лет, мы полагаем, что революция, с помощью которой русский народ связал свою судьбу с твердой основой свободы, является лучшей лептой, которую Россия принесла на алтарь союзников... Русская революция еще раз подтверждает ту истину, что великая война является борьбой за народоправство...

554

Ни нашей стрельбы, ни немецкой уже не было который день, и не ждалось. Уже и обвыкли жить потиху.

А солнышко светило ровно, что ни день, – и даже утопанный на батарее снег под каждую стопой ещё чуть подавался. Сильно он везде поёжился. А округ каждого стволика вытаивала воронка, на большем пригреве аж и до земли.

И по этой тиши, и по этому солнышку, и по размысленности нутрянной – хотелось чего-то делать весеннее. Плуг ладить не приходится, семян готовить не приходится, – а хоть что-то бы по хозяйству.

Но какое ж у солдата хозяйство? Орудие хоть и славно выручает, а не своё, да и карабин обрыдл – никогда в нём той души не будет, что хоть в цепу.

А вот дело, один догадался и все тянут: из земляночной сыри вынести под солнце своё барахлишко – разобрать, подсушить, сложить понову, может что и выкинуть, только нечего солдату выкидывать, всё жаль.

Какое у солдата хозяйство? Всё в одном заспинном мешке и всё тряпичное; потвёрже, углом давит – только если консервы в походе. Но тряпичное – оно и самое дорогое: промочил ноги, если портянки нет запасной, а к ночи морозец прихватит на позиции, вот и пальцы отморозил. И холщовые портянки дороги, а уж байковые! – как женина ласка. А ежели подштанники тёплые, а ежели фуфайка, - ну!

Но и без этого самого нуждяного – откуда-то набирается у солдата чуть не полный мешок добра. Уж не говоря, у кого балалайка – ту в руках носи или на двуколку пристраивай, у иного – шашки. У счастливого – и нож перочинный складной (бывает с двумя лезвиями, бывает и с шилом и со штопором), его на самом дне мешка берегут, да гляди чтобы в дыру не ускочил. А у кого – бритва со принадлежностями (у фейерверкеров больше). Зеркальце малое. Иголка с нитками. Мыло. И у каждого ж – чайная кружка жестяная, редко у кого маляванная. Ложка! – первый друг солдата. А потом же ещё, время от времени, к Рождеству, к Пасхе, или так середи года, без причины, присылают подарки из тыла. Пряники, орехи – эти тут же и съедаются, в два присеста. Махорка или даже папиросы – это покуриваешь, неделю-другую-третью. А курительная бумага тонкая, нежная, как городские курят, – она от махорки и прорывается, газетке не соперница, на неё и смотреть чудно – а и выкинуть жаль. И в землянке сыреет – вот её теперь сушить. А то присылают ещё по книжечке совсем махонькой – записывать, а чего записывать? А листики малые – и на письмо не выдерешь. Ну, ин всё равно сохранить, может до детишек. А химический карандаш – этот у каждого в деле, слюнявить, чтобы поярче, да письмо писать.

И незадачливое добро, а всё солдату приживается, уж будто и природнено, жаль потерять.

А ещё чего более всего насылают – это крестиков да иконок, уж на себя их вешать некуда и поставить негде, так в мешке и лежат. Теперь – тоже им сушиться. От них, выставленных, вся солдатская разборка на поляне уже больше не на базар похожа, а как будто, в облог церкви, ко крестному ходу приуготавливаются.

Повылезали, каждый каку-ни-то рядинку по снегу иль по лапнику простелил, и

разложил сушиться, а сам рядом, чтоб не застыть – да от времени переворачивать.

Ещё не столько в солнце силы, сколь света, – глаза зажмуривает и душу располагает – не переругиваться, не перешучиваться. Кто о ствол ослонясь, кто на корточках, – неподвижны, сами будто просушиваются, от сырости зимней. Уже троезимной.

А в душе только и клубится: да сколь же можно? Неуж столько прожить, перетерпеть – и до конца не дожить? Да уж вдосталь, кончать бы скорей! Замирялись бы. На что ж она тогда – и лево-руция?

Вот, говорят, и в Венгрии – то ж она. И Вильгельма со дня на день скинут. Да вот и кончится всё.

Терпели – и дальше б терпели, ничего такого не ждали. Но коли уже так приключилось, что царя не стало, – так теперь-то чего ж не кончать?

В Перновском полку, уже все знают, давеча не пошли две роты на ночную работу, передовку укреплять, на что мол нам теперь это? Мы дальше не пойдём – дослужит и та укрепления, что есть.

И – ничего им. Приезжало начальство уговаривать, кой-как склонило идти работать, – а никого не арестовали.

В пехоте – больше нашего теперь отмах: хватит, теперя домой пойдём! На Пасху будем дома.

А другие говорят: никуда не распустят, так и будем довоёвывать, но питание сильно улучшат.

А иные булгачат: еще всё назад повернется, и царь воротится, и всё будет, как было.

А кто: там, без нас,- землю не почнут ли делить?...

Только тенью души застлут: может, и правда там уже делят? Письма – когда обернутся, когда узнаешь?

Но и солдату из строя никуда не податься, хоть и под пули прямые погонят: в армии всё на сраме держится. И кандалов на тебе нет – и не денешься никуда, а пойдёшь, как направят.

Принесли ребята с наблюдательного листовку, с эроплана немцы разбрасывали, но по-русски. Прочли (офицерам не говоря). Там написано: всё англичане затеяли, они царя обманули, на войну подтолкнули, они ж его и скинули. Только англичанам эта война и нужна, – а русский молодец-мужик за Англию умирает. А ваши матери, жены и дети живут в нужде, оттого что Англия вместе с богатыми торговцами задерживает съестные припасы.

Може и так, кто это разберёт. Съестное-то, впрочем, у нас без Англии.

А перед строем читали приказ по армии. Начинает снег сходить с полей. Солдаты! не ездите без дорог, не сокращайте хождением напрямки по вспаханым полям. Вспомни, что ты и сам хлебопашец, сколько труда и забот стоила тебе каждая полоска.

Это – поверней за сердце забрало. И правда, смотрим на эту землю как на бабу пьяную, поруганную, ничью, как только в ней ни копаемся, как только её ни полосуем. А она ведь – чья-то же родная, да вот Улезьки и Гормотуна. Им-то какво смотреть? С нашей бы вот так, под Каменкой!? – вот так бы лес валили, да так бы окопами изрывали, да так бы ездили наискосок – да разве это стерпно перенести?

Эх, вся земля – чья-то, везде своё родное, – да приведи Бог к нашему вернуться. И – куда мы запёрлись? И чего третий год сидим, из пушек рыгаем?

Перешёл к Арсению Шутяков, на корточки присел.

– Слушь, Сеня, а не больно мы разомлели? А не рано? И ежели мы так – то гляди бабы же наши сполохнутся, как эта свобода до них дохлынет? Ведь бабам-то свободу нельзя давать, баб от неё разорвёт.

Прищурился Арсений. Не ли чит мужику на такое возражать.

– Разорвет, – согласился. – Нельзя.

А про себя подумал: Катёне-то можно. Катёне свобода не пошкодит. Уж до того разумница. До того прилежница.

И так это сердце занялось: что там сейчас Катёна? Как там Савоська? Как там Проська?

Ох, разняло-разняло, потянуло.

Так вот, зажмурясь в тишине, и не знаешь: где ты, кто ты? Одно и то же солнце всем светит, – и немцам тоже.

А може – вся война – приснилась? А може, ты в Каменке и сидишь, сожмурясь? Вот сейчас глаза раскроешь – увидишь родной двор, сарай, избу, Доманю на крылечке?

ДОКУМЕНТЫ – 25

Лондон, 11 марта

**СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ БАЛЬФУР –
ПОСЛУ БЬЮКЕНЕНУ. Петроград**

Выясните, можно ли предполагать, что нынешнее русское правительство не будет придерживаться политики своих предшественников в отношении вывоза пшеницы из России в Великобританию и Францию? Может быть, было бы хорошо указать, что всякое изменение этой политики, неблагоприятное для союзников, неминуемо отразилось бы на экспорте военного снаряжения в Россию.

555

(вторая неделя петроградской революции)

* * *

На улицах Петрограда уже не встретишь с перекрещенными на груди пулемётными лентами, с большими револьверами открыто за поясом, как становилось даже привычно ещё несколько дней назад. А сейчас – уже смешно бы. Зато солдаты стали вычёсывать из-под папах живописные чубы.

И банты красные стали редеть и уменьшаться в размерах. (Но ленточки с надписью «За демократическую республику» продают по 20 и по 30 копеек.) На некоторых появились, кто-то выпускал, жетоны в честь победы Февральской революции: то тусклого металла, женская фигурка с древком знамени, то золочёные: «Да укрепятся свобода и справедливость на Руси». И ленточки к ним – как георгиевские, но со вставленной красной полоской.

Во многих местах – всё ещё митинги на ветру, небольшие, дюжины по две, – а слушают благоговейно. И всегда есть оратор – со скамьи, с кучи снега.

Не вернулись на улицы те наглые шикарные автомобили с вензелями и гербами, так носившиеся прежде. И богатые – не так щеголяют богатыми нарядами, исчезли вызывающие дамские шубы, Невский и Каменноостровский перестали выглядеть парижскими бульварами, кричащими о счастье. Но сутолока и многолюдье не уменьшились, народ всё куда-то валит, даже больше прежнего, потому что трамваев меньше, не сядешь. Только стала толпа сплошь проще и солдатистей.

Отдираются защитные доски витрин, начинают снова заполняться опустевшие витрины, даже и ювелирные. На одном стекле, где выгравирован орёл, добавили наклейку: «это – орёл итальянский», чтоб не били.

Снова зажглись кинематографы и появились вереницы у театральных касс.

В кофейных – много солдат. Сидят и с офицерами за одним столиком.

* * *

На дворце великого князя Кирилла Владимировича на улице Глинка постоянно

развевается красное знамя.

На Театральной площади с пьедестала памятника Глинке рабочие скалывали зубилами слова «Жизни за царя».

Стоял рядом артист, уговаривал не сбивать.

* * *

Начальника Николаевской железной дороги инженера Невежина держали под домашним арестом и часто обыскивали – за то, что он 26 февраля давал вагоны для подвозки каких-то военных отрядов. На Николаевском вокзале – пробки неразгруженных товарных вагонов: то некому разгрузить, то ломовики бастуют.

Там же, на вокзале, толпа пробила череп человеку, на которого кто-то указал, что он был надзирателем в тюрьме. Не проверили.

* * *

Вдова Столыпина встретила на набережной старого лакея Илью из Зимнего дворца, – когда жили там, то хорошо его знали, он много рассказывал об Александре II, Александре III, показывал вещи из их быта. Сегодня он так же утопал в своих белых бакенбардах, а шёпотом с ужасом рассказал, как на днях при нём из тронной залы вынесли царский трон, ещё екатерининский.

А на самом был красный бант.

Вдова упрекнула:

– Что же вы, Илья? Зачем эту гадость?

Оплывал Илья бакенбардами:

– Из предосторожности, Ольга Борисовна, из предосторожности только!

* * *

Мальчишки играют: ведут под палками одного или бьют его все сразу: «Офицеров бьём!» Поют: «Отречёмся от старого мира». Продают красные флажки на палочках. А кто бегаёт, зазывает: «Открытки! Гришка Распутин с листократками!» (Продаются и грязные книжонки об императрице с Распутиным, кто-то успел всё изобразить и напечатать.)

Кучка революционных подростков покушалась свалить Медного Всадника. Сорванцы взобрались на памятник, били металлическими прутьями, ломиком, – но безуспешно.

* * *

Из проповеди священника в те дни: «Мальчишки и девочки с пальмами цветами встречали Христа Спасителя – вот как сейчас гимназисты гимназисточки встречают Великую Русскую Революцию...»

* * *

На Пушкинской улице жгли большой книжный магазин монархического союза. Костёр из книг и брошюр горел во дворе, и ещё тлел два дня.

«Сатирикон» острит: изобразил Петропавловскую крепость, а под ней подпись:

«Дворянское гнездо».

* * *

В дни хмурой оттепели превращаются улицы и площади Петрограда в непроходимую, где и непроезжую топь: водяная набухлость грязного снега много выше краёв дамских бот. Автомобили, экипажи и ещё не ушедшие сани, ломовики и грузовики – все зашлёпаны грязью, как и брюха лошадей. Всё, что не чистилось в революционные недели, теперь отдалось публике, – а дворники и сегодня не подхватываются ретиво, не видя себе ни понукания, ни награды. Уж тем более завалены и запущены дворы. Когда схватит опять морозец, удерживая градуса три и днём, – ещё пока сковывает это революционное безобразия.

А очереди у хлебных магазинов стоят как и раньше, только с домов свисают красные флаги.

* * *

На рынках солдаты продают дорогие предметы. Солдаты броневых дивизионов – вещи из дома Кшесинской.

На Сытном рынке двое-трое солдат идут мимо хвоста баб, стоящих за провизией, подходят к прилавку и безо всякой справки об оптовых ценах объявляют лавочнику:

– Та-ак... Будешь продавать масло – руб двадцать, мясо – 35 копеек, бутылку молока – 12.

И – дальше. Бабы в хвосте – в восторге. А лавочник – растерян и не хочет подчиниться, особенно если лавочница. И доходит до драк с выдираньем волос, их разбирают в комендатуре.

* * *

Назначали и переносили день введения хлебных карточек. Но и за два дня до него в районном комиссариате – ни самих карточек, ни инструкции.

Пошёл слух, что старые деньги с изображением династии не будут больше принимать, всё уничтожится. Паника. Бегают в газетные редакции, в банки, спрашивают.

* * *

В мелочной лавке орудует за прилавком поручик с двумя орденами на груди.

– Что вам угодно?

Вошедший офицер:

– Мне угодно, чтобы, стоя за прилавком, вы сняли бы офицерский мундир.

– Не понимаю, теперь свобода! А стоять за прилавком – ничего недостойного нет.

* * *

Вводя гостей в столовую к роскошно уставленному столу, дама объявила с торжеством:

– Господа, у меня сегодня – революционный стол!

Действительно, все кушанья были – красного или розового цвета.

Среди гостей был известный экономист. Он вздохнул:

– Ото всего этого надо отказываться. Скоро будем рады и фунту чёрного хлеба.

– Да почему же? почему? – возмутились в ответ. – Во главе революции стали умные люди, преданные народу!

– Оттого, – сказал экономист, – что всякая революция создаёт хозяйственный развал, а от него ещё усиливается революционное озлобление. Порочный круг.

* * *

В здании электротехнического института на Морской созвали «районное собрание обывателей».

– Не обывателей! – кричал черноволосый юноша в кожаной куртке, какие носят в технических частях, – а граждан! Я протестую!

Намеревались избрать комитет: для охраны личной и имущественной безопасности (район – центральный, состоятельный, и было у всех, что побережь).

Юношу в куртке тоже предложили в кандидаты.

– Что вы можете сказать о себе?

– Могу сказать, что убеждения мои – очень и очень левые.

– Bravo! bravo! – закричали.

А приятель подбодрял:

– Говори – анархист, и дело с концом.

Выбрали.

Кричали:

– Фёдора Иваныча Шаляпина, он нашего района!

* * *

По поздним вечерам патрули кричат: «Мотор! Стой!» – и грозно преградив штыками, проверяют документы у шофёров. Может показаться, что наступил строгий порядок. Но нет, многие автомобили так и не возвращены владельцам, а те не смеют громко жаловаться.

Ночные обыски какими-то солдатскими командами не прекращаются, и ни одна квартира на всём раскиде богатых кварталов не может быть спокойна, что не постучат. Грабят – и нельзя сопротивляться, а уйдут – не на кого жаловаться.

В Литейном районе – много аристократических особняков, и владельцы их то и дело просят районный комиссариат о запоздалой защите – не от солдат, но от «грабителей, переодетых в солдатскую форму».

На Садовой ограбили ювелирный магазин: забрались ночью с чёрного хода, сорвали висячий замок. Вывезли весь товар на поджидавшем извозчике, и орудий взлома тоже не оставили.

Банда человек в пятьдесят окружила, осадила Преображенскую гостиницу и, ранив служителя, ворвалась, разбрелась по номерам. Но подоспели другие солдаты с милицией, окружили – и арестовали их всех.

В Ораниенбаум приехали на автомобилях от имени петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов – и стали громить и грабить дворец.

А в Шувалове среди бела дня неизвестные высадили из своего автомобиля троих штатских, застрелили их и поехали дальше.

* * *

Поздно вечером в аптеку на Везенбергской у Балтийского вокзала пришли трое, спросили спирту. Но не было у них документа, установленного городской думой, и дежурный фармацевт отказался. Трое вышли на улицу, положили под аптеку соломы и подожгли. Весь дом сгорел.

* * *

В первые дни революции думали и говорили, и печатали в газетах, что освобождённая от царизма столица, как и вся страна, не нуждается в полиции. Но нет, к удивлению, оказалось слишком много городских подонков. И теперь милиционеров щедро оплачивали, в три раза больше прежних полицейских. (Именно от этого туда тянулись поступить профессиональные воры и беглые арестанты.) Для новых комиссариатов поспешно ремонтировали повреждённые полицейские участки (разгромленные на 2 миллиона рублей).

* * *

В погреб колониальных товаров Кёнига на Васильевском острове явилось вечером несколько человек с белыми повязками городской милиции для ночной охраны имущества магазина. Старший приказчик, уходя, отдал им ключи. Самозванные сторожа вошли в магазин, взломали ещё замок винного отделения и стали хозяйничать. Но захмелев – перессорились, шумели, – и к утру их взяли.

* * *

Так повысились цены на извозчиков – седоки удивлялись, многие платить не хотели. Звали милиционеров-студентов разбирать спор.

Помощник присяжного поверенного Шлосберг и журналист Фрейденберг после работы в районном комиссариате, уже вечером, взяли извозчика, чтоб он развёз их по домам. Подъехали к дому на Казначейской, где жил Шлосберг, – и тут с извозчиком возникли разногласия по расчёту. В это время из подворотни вышли трое матросов, и извозчик пожаловался им, что господин не хочет платить. Те с криками: «деньги! бумажник!» – набросились на седоков. Фрейденберг отдал бумажник со 160 рублями и поспешил уехать на этом же извозчике. А Шлосберга матросы затащили в подворотню, кинжалом в грудь убили и ещё уродовали труп.

Дворник поднял тревогу, из комиссариата прибыли милиционеры и арестовали грабителей. Они оказались нетрезвы, были в гостях у проституток. Объяснили, что приняли убитого за переодетого охранника.

* * *

Революционный комитет шлиссельбургского завода направил петроградскому Совету рабочих депутатов резолюцию: гарантировать полную амнистию не только политическим, освобождённым из шлиссельбургской тюрьмы, но и всем одновременно освобождённым уголовным каторжанам, потому как они, в единении со своими политическими товарищами, организовали ответственную службу по охране имущества. Например, один уголовный, имевший три бессрочных каторги за грабежи и убийства, охраняет сейчас большие суммы общественных денег.

* * *

Гнев народа ещё не утолился, и самочинные аресты продолжают, иногда вместо ареста берут залог, но когда потом арестовывают – залога не возвращают. Таскают в следственную комиссию, та освобождает. Одного после четырёх таких освобождений привели пятый раз.

Графиня Клейнмихель распоряжением Керенского переведена из заключения под домашний арест. Приставленный к её дому караул из гвардейского экипажа, 15 человек, потребовал с арестованной, чтоб она платила за свою охрану каждому по 2 рубля в день.

* * *

В новое общественное градоначальство на Гороховой пришёл молодой человек и у врача, ведущего полицейский приём, стал повышенным голосом требовать защиты от обысков. «А кто обыскивает?» «Мой двоюродный брат! Когда-то-сь за моей женой ухаживал, теперь в отместку наладил с обысками.»

Пришёл старый адмирал и просил дать охрану похоронной процессии для его убитого родственника. «Да кто ж похороны тронет?» – «Те же, кто и убили.»

В хорошем пальто с каракулевым воротником пришёл некто и, волнуясь, и всё ещё колеблясь: «Я – служащий охранного отделения, арестуйте меня!»

* * *

Жандармский полковник Левисон застрелился на Смоленском кладбище, на могиле своей матери.

* * *

Стали заседать учреждённые Керенским новые временные суды – из мирового судьи, одного рабочего, одного солдата. Судья заседает без прежней цепи (как и низшие судейские служащие сняли форму с блестящими пуговицами). Документация не ведётся, лишь короткая запись в регистрационном журнале. Разбирают дела от мелких до посягательства против нового порядка. В прежнем мировом суде предельный штраф был 300 рублей, тут – 10000 или арест до полутора лет. Приговор: «Именем Временного Правительства в России временный суд приговорил...» И осуждённого к заключению отправляют туда немедленно.

Привели рабочего-милиционера, поставленного охранять винный погреб после разгрома, но сам украл бутылку вина. При рассмотрении выяснилось, что раньше – ссылался за политическую неблагонадёжность. Судья предложил дать неделю ареста, рабочий – удвоить, а солдат: «Простить! Никто б не удержался!»

Обвиняли курсистку в краже 1500 рублей у своей квартирной хозяйки. Оправдали.

Жена пристава заявила, что при разгроме её квартиры 27 февраля её прислуга Рыбакова похитила все драгоценности. Рыбакова отрицала. Милиция произвела у неё обыск и нашла драгоценности. Тогда Рыбакова объяснила: она взяла их, чтобы спасти от громил. Оправдана.

Привели во временный суд женщину, которая энергично срывала со стены наклеенный номер «Правды». Признал суд, что женщина действовала по недомыслию, и ограничился выговором.

Пришли в суд два арестанта, выпущенные в революционные дни из тюрьмы, один

убийца, другой вор. Им – нечего есть, а в мастерской при тюрьме они заработали по сто рублей, но теперь разгромлена канцелярия тюрьмы, им негде получить свои деньги, и они просят суд выплатить им. К полной для себя неожиданности и изумлению они были арестованы: «Разве при новом режиме арестовывают?» Но за добровольную явку суд скинул им половину прежнего срока.

* * *

В трамвае старуха громко вздохнула: «Ох, времена!» Сидевшая рядом интеллигентная женщина отозвалась: «Времена – языческие, а не христианские. Помазанника Божьего свергли с престола и посадили под арест.» Услышав такое, трамвайная публика переполошилась, и эту женщину, госпожу Фогель, препроводили добровольцы в следственную комиссию. Там её продержали несколько часов и отпустили с той лишь формулировкой, что она – психически неуравновешенная.

* * *

Из квартиры депутата Государственной Думы Родичева полотёры унесли всё столовое серебро, из комнаты дочери – золотые вещи. Та по свежим следам бросилась в милицию, точно назвала воров. Ей пригрозили карой за клевету.

А к брату Родичева, в его отсутствие, забрались воры. Он, возвращаясь, застал их. Они побежали чёрным ходом, он – успел сбежать по парадной и вместе с дворником задержал их. Свели в новый суд. Там их подержали и скоро выпустили. Мировой судья объяснял философски: «Сегодня Иван в милиции, а Пётр в ворах, Иван выпускает Петра. Завтра Пётр в милиции, а в ворах Иван...»

* * *

Молодой офицер, из студентов, был в Петрограде проездом и шёл переулком, в кармане шинели – браунинг. Навстречу – солдат, по виду из писарей: «О, офицер!» – и револьвер наставил.

А в переулке безлюдно. По той руке, что револьвер держала, офицер ударил левой, а правой выхватил из кармана свой: «А ну, подай сюда револьвер! Кру-гом! Ша-гом марш!»

* * *

В набитом трамвае солдат-санитар читает кадетскую «Речь»: почему некоторым газетам, например «Новому времени», разрешено выходить только с предварительного согласия Совета рабочих депутатов? Санитар вслух солидарен с газетой, и многие пассажиры согласны.

Но оспаривает вольноопределяющийся, показывает удостоверение, что он – член временного суда, и предлагает санитару отправиться с ним туда. На остановке вызывает милиционера и ведёт его.

* * *

В министерском павильоне, в Таврическом, и после отправки главных арестантов в

Петропавловскую всё так же было густо, и всё приводили новых арестованных. Всё так же лют был Преображенский унтер Круглов, окающий по-нижегородски. Керенский и новый прокурор Переверзев почтительно пожимали ему руку. Комендант Перетц заискивал перед ним и перед солдатами, и был груб к арестантам. Правда, после царского отречения Керенский произнёс тут, в павильоне, речь о новой законности и разрешил арестантам разговаривать между собой. А вскоре повалили в павильон и общественные депутации – «для проверки», – а просто поглазеть на «бывших». И старались заговаривать – чтобы потом передать узнанное публике и в газеты. И корреспонденты – пытались интервьюировать арестованных. И фотографы – снимать их в нынешнем положении, но фотография была медленная, а арестанты не давались.

* * *

Горький стал Председателем Особого Совещания по делам искусства. И обратился к петроградскому городскому голове с письмом: на воротах московской заставы содержится надпись: «Победоносным российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши». Она оскорбляет чувства поляков и должна быть заменена другой, с указанием заслуг солдат и рабочих в деле революции.

Бунин, Горький, Вересаев, Короленко, Кареев, Винавер, Гинцбург подписали воззвание: немедленно приняться за создание дома-музея в память борцов за нашу свободу, где учёные грядущей демократии, пользуясь опытом прошлого, находили бы руководящие идеи для будущего.

Добровольцы из статистического отдела городской думы уже начали собирать разные предметы для будущего музея.

* * *

В Царском Селе из здания Александровского лицея украдена единственная существовавшая коллекция личных вещей Пушкина.

* * *

На Марсовом поле всё готовилось к массовым похоронам жертв революции: то разводили костры для оттаяния земли, то рвали пироксилиновыми шашками. Похороны всё переназначались, откладывались. Ещё причина – не хватало трупов. В моргах передевали в штатское и трупы замученных городских. Говорили в городе, что некоторые гробы и просто хламом набивают.

А труп адмирала Непенина в Гельсингфорсе жена разыскала только через сутки, в мертвецкой, в обезображенном виде.

* * *

Вечером 29 марта гроб Распутина был вынесен из склепа в Царском Селе, скрыто перевезен в Парголово по другую сторону Петрограда и там под командой сапёрного офицера труп облит керосином и сожжён на большом костре. При холодном ветре, рвавшем дым, собралась толпа окрестных мужиков, немо наблюдая, как сжигают святого старца, друга царя и царицы.

* * *

Сперва послали в Кронштадт на разведку – горничную Дуню с подругой, им проще. Долго они там добивались, даже водили их солдаты с шашками наголо, наконец узнали точно, что штабс-капитан Таубе – жив, сидит под арестом, о чём анонимную телеграмму давал – его денщик. Тогда поехала в Кронштадт леночкина мама – и виделась с папой. Рассказал: матросы врываются всюду, убивали даже офицерских жён и грабили везде. И сейчас одни часовые говорят между собой: «А чего мы время теряем, их сторожим? Убьём да и разойдёмся?» А другие, которые как раз стояли: «Барыня, ваш муж – сухопутный, нам не нужен. Вы приведите каких-нибудь его подчинённых – мы им отпустим.»

Леночка записала в дневнике: «Всё это принесло мне пользу, я не так уже дорожу жизнью, как раньше.»

* * *

Племянница-курсистка, восторженно:

– Дядя! Ведь это же – Революция! Вы говорили – она неизбежна и необходима!

Дядя (М.В. Бернацкий, финансовый советник при Временном правительстве):

– Да, говорил. А теперь вкушаю плоды своих теорий. Тебе это трудно понять, девочка, а я всё больше убеждаюсь, что России был бы нужен просвещённый абсолютизм. Рушим, рушим – а что из этого будет?

* * *

В больнице Николая Чудотворца, доме для сумасшедших, – 150 человек заболевших в дни революции. Жена городского вопит от страха за мужа, то воет, то мяукает, кричит: «стреляйте! стреляйте!», пока не впадает в изнеможение. Старший дворник помешался, когда лежал больной, а солдаты пришли с обыском и требовали оружия. Вагоновожатый кричит: «Можно ехать дальше! Мы не работаем, можно ехать, рельсы свободны!» Много солдат, есть рабочие. Состояние возбуждённое, бурное. Одни поют революционные песни и наступают на врагов свободы. Другие трясут, воображая что оружием, и зовут толпу вперёд.

И много таких же обезумевших – в Новознаменской больнице, на Удельной и в Николаевском военном госпитале.

556

У них установился как бы такой обряд: именно за последние суматошные дни он уже который раз приходил (каждый раз позвонив – можно ли?) – в конце служебного дня. И Вера проводила его глубоко за полки, за свой столик, у окна на Екатерининский сквер. Ни по телефону, ни придя, он ничего не объяснял – и никакого внешнего библиотечного повода не было в его руках, хотя это было нетрудно придумать.

Свою кожаную куртку вешал тут на гвозде – и в суконной грубой рубахе садился на указанный стул – через столик против Веры. И – выдыхал, выдыхал, сперва выдыхал долго, как бы дух выпускал. Но и выдохнув, покойной симметричной формы не принимала его грудь, плечи, голова, а так – косовато, неудобно сидел. Ещё выдыхал, меньше.

Прошлый раз показалось Вере, что эти выдохи – перед каким-то тяжёлым разговором, перед объяснением, – и сердце её часто забилося, и она чувствовала, что покраснела. Не потому что ждала (да и ждала!), не потому что хотела (да и хотела!), – но потому, что очень боялась этого объяснения – и даже предвидела, что от него может быть только всё хуже.

Объяснения полного – так чтобы всеми словами с обеих сторон было сказано всё – между ними никогда не было. Но и – в несколько приёмов, всякий раз неудачно начатое, фразами, полуфразами, недосказами, – уже и было. Он – почти был готов. И почти это сказал. Она – почти отклонила. Однако и не вовсе.

Оттого объясниться наполноту – и страшно, и жутко. И хотелось. И могло совсем иначе выясниться.

В те разы собирался ли он, или даже не собирался, или духу не хватило, уклонялся в последний момент, – но не произнёс никакой даже подводящей фразы. И сегодня Вера почти уже не ждала её, она так начала понимать и уважать их правило.

И не услышав его жалобы – Вера уже всю её чувствовала только что не в мелких подробностях. Из его прежних, ещё прошлогодних, обмолвок, да ещё из каких-то сторонних случайных сведений – она знала и довоображала ту ежедневную плитку, которая всякий день придавливала его на домашнем пороге – и, как бы вот, перекашивала плечи.

А ведь ему было только тридцать шесть.

Если бы, не приведи Бог (и сразу сердце неразумное бьётся с радостью), он начал бы говорить – эта плитка стала бы вдруг через бок переваливаться, катиться, даже подскакивать – и могла пришлѣпнуть их всех – двоих, троих, четверых? И даже до трупа?

А так, молча, – как будто удерживали плитку от падения и были, вроде, все целы.

Совершенно неуравновешенная, истеричная женщина, и эфироманство... Она только губит его.

Но и какое-то же неодолимое, не изъяснённое Вере притяжение было там – если сам он не мог освободиться, как прикованный подземно.

Михаил Дмитриевич всегда приходил к Вере только сюда, в библиотеку. Ни разу никогда не попросился прийти к ней домой. (А почему бы она его не приняла?)

Он смотрел – то в окно. То – на корешки, корешки книг.

И – на неё же, прямо.

Она – в окно. На свои листики, карточки.

И – на него же, прямо.

И когда вот так, напрямую, они встречались – здесь, в безвидном и беззвучном уголке, – на секунды было рассказано, выражено и отвечено дальше всех мыслимых слов, дальше всех допустимых границ: дочиста рассказано, до всех болей обжаловано, и прощено, и отвечено «да».

И от открытости, явности этого понимания – нельзя было выдержать взгляда больше нескольких мгновений: всё тогда сгорало!

И первая Вера утягивала глаза, спасалась.

А то и он – круто отворачивался в окно.

И продолжал сидеть.

Даже от таких вот встреч-молчанок, может быть, следовало бы уклоняться. Ибо не знаешь, когда что наступит.

А согревало: что Вера ему нужна!

А утешало: что во всякую минуту она может всё вызвать и изменить. И самой быть счастливой. И сделать его.

Но сидя сорок, пятьдесят минут – не всё же время молчать. И даже не слишком протяжно молчать, не слишком часто замолкать.

И Михаил Дмитрич рассказывал, и те разы, и сегодня, – о другом совсем, но тоже давящем его.

Сегодня, к счастью, опубликован восьмичасовой день, хоть это решилось. Да если б хоть восемь часов-то работали, а то ведь не будут.

Переложил голову с одной руки-подпорки на другую.

Но и много ли этим решилось? Заводской процесс распался. Разве сейчас военные заводы способны перестроиться с двух смен на три? Только если ничего не перестраивать, а лишние часы оплачивать как сверхурочные. Но ошалелые партийные агитаторы требуют

запретить и сверхурочные.

И удивительно и страшно было Вере, что не находила она в себе жалости к той женщине. Как будто – и нет её, как будто не она между ними. Что это?...

Кому? как? через какие уши? с какой трибуны объяснить: мы и так уже несколько недель не работаем как следует, мы и так уже не выполняем военных поставок. Да нельзя же и примитивно сравнивать нас с Европой – у нас же сколько церковных праздников в году! – это и семичасового не получится. Как это вложить каждому рабочему: неужели мы оставим наших братьев беззащитными перед огнём свинца? Неужели мы пустим врага во внутренние российские губернии?

Так – порциями он что-нибудь говорил, она – кивала, удивлялась, сочувствовала. Иногда протирал по лбу наискось большой ладонью.

Сам он – не в силах разорвать своего узла, но отдавал это ей и обещал подчиниться.

Нет, не та женщина была препятствие Вере. А – та девочка. Восемь лет, ещё ломкий стебелёк. Неповинная девочка.

И даже тем беззащитнее, что не его родная.

А он, если скажет о ней, – всегда с нежностью. И как же – отнять его у девочки?

И так – ноет. И так – ноет.

Не было томика в русской литературе, который бы Вера не заглотнула трижды, дважды, единожды, – и навсегда они, живыми спутниками: Антон-Горемыка или немой Герасим, пронзительно обречённые Варвара и Настя из «Жития одной бабы» – «беда у нас смиренному да сиротливому», – и всё ниже, ниже, и в «Тупейном художнике» разбитой спившейся крепостной артистки любовь к её растимым теляткам – и боль, когда ведут их резать.

Теляток!...

И что ж – всех их не было?...

Объяснять рабочим ситуацию – такого обычая у нас нет, и некому, людей таких нет. Да заводская администрация вся напугана, оставлена без защиты, перегоняют друг друга в уступках. Уже многие инженеры смещены рабочими. И два директора, на Невском судостроительном вот.

Да не всего ли об этом он и пришёл рассказать?... Может быть, другого и не было?...

– Да за что же, Михаил Дмитрич, такая ненависть к инженерам?

Это имеет историю. По поспешности нашего промышленного развития инженеры очень быстро продвинулись в заработках, богатая обстановка, роскошные квартиры, – вот уже и в кровопийцах. Конечно, ещё бы немного свободного развития, и стали бы доравниваться в заработках и умелые рабочие, не было бы этой трещины. Но – война, а теперь вот...

Однако если и заполнение времени – рассказ этот подпирал Петроград, полы благополучной библиотеки, снизу, коробя, – теми чёрными загадочными фигурами, какие мы и встречаем на улицах, да не слишком много думаем о них.

На одних заводах требуют: сокративши рабочий день – ещё теперь увеличить и заработную плату! На других рабочие сами стали устанавливать расценки, с большими, конечно, завышениями. Где – запретить увольнять без заводского комитета. Где – отменить обыски на проходной.

Ужасны ошибки, уже сделанные нами. Но ещё ужаснее – которые мы, может быть, сделаем. Как не ошибиться вперёд? Отклонить сейчас – это вообще уже отказаться от жизни. Двадцать семь лет. Это уже – похоронить себя.

И как же эта агитация за неделю всех поглупила: рабочие вообразили, что могут сами избирать мастеров и инженеров! Как будто они могут оценить их технические способности. Да ведь и листовки такие свежие ходят: все ценности создаются трудом рабочих, а инженеры и фабриканты – ничего не делают.

А однажды показал фотографию девочки. Какие испуганные глаза!...

Зачем показывал?

Он такой современный, индустриальный. А совесть – нежная. И не оцепенеет в нём.

Недотёсанное, сильное лицо Михаила Дмитриевича стыло в недоумении:

– Вообще такая природа человека? – сила, власть – и опьянились? Ведь что делают! На некоторых заводах, я слышал: материалы портят, раз не уступают по-ихнему, и грозят станки бить! И инструменты воруют, домой тащат.

Но и взять на себя весь этот перелом? – ведь во всю жизнь не изгладишь с души.

Косая гримаса по его большим губам, крупному носу.

– Да и трогательные же есть. Ведь и правильного же сколько. Запретить женщинам подносить тяжести. Где поставить вентиляторы, где умывальники с полотенцами. Уничтожить чёрную книгу предпринимателей. Конечно, заводчикам надо многое давно уступить. А они отступают только в страхе.

Любимая Ирина Годунова, ступая чистою меж мерзостей, неблагодарностей, и хлопоча за своих неприятелей...

Пусть будет только жизнь

Запятнана твоя – но дух бессмертный

Пусть будет чист, не провинись пред ним!

Ведь что, оказывается, в революции губительно? – быстрота. Никто ничего не успеваешь понять – а все только тянут руки и рвут своё. Если б можно было убедить рабочих поверить, что их положением заняты и другие, и что их спокойствие сейчас было бы для них не потерей, а выигрышем! Но если б и рабочие могли понять – хоть солдат, всего-то! Как же можно тут начать устраиваться – а солдатам не слать снарядов?

Спохватился, что много ли говорит, или ей неинтересно.

Так в перемолчках и переговорах прошли его прошлые визиты, проходил и сегодняшний. Но с потемнелого лица его – снимался и снимался вдавненный отпечаток тяжести.

И Вера – молчала. Она не находилась – что. Она хотела бы найтись – только помочь ему в тяжести. Но, вот уж, она была самый последний человек, который мог бы что-то посоветовать об этом чёрном трудовом почти подземном мире.

Молчание затянулось. И взгляды опять встречались – так близко, так страшно. И секундами казалось, что сейчас нашатнётся на них обвальным разговор. Одного неосторожного слова достаточно.

И в торопливом испуге Вера сама искала, чем заполнить затянувшуюся тишину.

О возвые их библиотеки ко всем типографиям России. В неуправляемые эти дни, когда никто никому не приказывает, никто никого не слушается... Чтоб великий переворот сохранился в памяти потомства в виде полного собрания печати... Все бы, по гражданскому долгу, присылали в отечественное книгохранилище по два экземпляра даже каждого листка, афиши, плаката...

И к чему это она? – из одной только неловкости. Он как и не слышал. Но уже за эти полчаса голова его как-то выше стояла.

И он первый раз – улыбнулся ей, крупногубой своей улыбкой.

И – она ему, из тихой незаметности.

И – что-то он должен был тут сразу сказать?! Вот сейчас?!!

И сказал:

– Так мы перезванивались, встречались... И решили: все теперь образуют союзы, соберём и мы, Союз Инженеров. Тогда мы сможем с Советом Депутатов как-то разговаривать.

Сегодня вечером, вот через час, на Николаевской улице и будет у них первое заседание. Он туда и шёл.

Но – не зря тут посидел. Лицо, глаза становились выносливей, терпеливей.

И это была – награда Вере.

Разве было бы светлей, если б они воспользовались своей – взаимной – в общем, свободой?

Шляпников поставил, наверно, рекорд: от последнего октябрьского приезда в Россию пять месяцев бесменного подпольного состояния, без всякого своего угла, всё в скитаниях по Питеру, по чужим квартирам, под слежкой, по полночи заметая следы. Но уже втянулся и, может быть, такой-то жизни перенёс бы и год. А вот две недели революции домотали его, после подпольной усталости их-то он и не выдержал: совсем другого вида гнёт, и на разрыв. В зеркало глянул – просто старик, с лицом ссунутым, усами обвисшими. (Сашенька не разлюбит?)

А заботы – заваливали. Буржуазная печать подхватила всей бешеной улюлюкающей сворой – и обставили большевиков травлей. Рассчитывая на народное легковерие и темноту (а они и есть у нас), в одну кучу валили царских контрреволюционеров, агентов Вильгельма и большевиков. Создалось такое погромное настроение, что опасались за присвоенную типографию «Сельского вестника» и стали держать там вооружённый караул. А тут и неприятности с разоблачением провокаторов, – выставляли в окнах «Русской воли» на Невском, будто Черномазов был главный редактор «Правды» (а совсем недолго) – и вот потому «Правда» учит нас: «долой войну!».

Шляпников потребовал от Исполнительного Комитета Совета защиты большевиков от клеветы. Но эта вся меньшевицкая рухлядь показала себя: «Теперь свобода прессы, защищайтесь сами.» Ни «Известия», ни «Рабочая газета» не выступили в защиту большевиков: делали всю ту же молчаливую мину, а на самом деле злорадствовали.

Ну что ж, чем больше бешенела буржуазия, тем самым, значит, верней мы и действуем? – попали в самую больную точку. Трудно, опасно разворачивать интернациональное знамя, но стоит того! Зло и весело!

Однако – внушалась масса. И были случаи на улицах: вырывали у газетчиков «Правду», рвали, а то и сжигали. И это делала – толпа, не подставные какие лица. И никто не смел вступить.

И даже в революционном Кронштадте – и там засомневались в большевиках.

Гоня от филёров по питерским огородам и пустырям, ворочая забастовкой на 100 тысяч человек, Шляпников привык считать себя слитно с народом. А вот – он повис как на обрывках. И ничего не мог делать задуманного. И потерял уверенность в правоте.

Но ещё и эту травлю круговую можно было бы выдержать, – а достиг питерских большевиков удар от собственных ссыльных думских депутатов из Сибири. Глупый Петровский запросил телеграфно Чхеидзе, какой придерживаться программы. А Муранов выступил в Ачинске с поддержкой Временного правительства! Вот так да! Это сразу сюда донеслось, и тут тем гуще засвистели против Шляпникова, что он действует безответственно, и среди самих большевиков единства нет, не знают, что делают.

Как тут не потеряться? Может и правда ополоумел?...

Вот так со всех сторон вместе доточило его подпольную усталость – и дальше не мог он без поддержки и смены.

А прийти поддержке оставалось – только из-за границы.

Но из революционеров, скрывавшихся там, никто до сих пор не ехал. И от Ленина не прорвалось – ни даже нескольких слов телеграфных! В Швейцарии как затаились, ни звука оттуда: что они думают? что предпринимают?

А как нужно было Шляпникову сейчас рядом – светлую ясную голову! Хоть не Ленина, Сашеньку бы!

Но она – не ехала, хотя ей из Норвегии было близко, поездом. И не писала, когда приедет. Только в первые дни проскочила от неё одна восторженная открытка, поздравляла с революцией.

А – ни слова любви. Не поместилось просто?...

И не ехала.

И не писала, когда приедет. Задерживалась почтовая переписка? Так приезжал за это время один товарищ из Стокгольма, привёз письма от левых шведов. А от Сашеньки ничего не было, хотя могла она передать.

Думать и горевать было некогда, и тем более впустую измысливать: а может быть?... Нет ли тут простого бабьего отвороту?... Да когда бы так быстро? Да отчего бы?...

А он уже не представлял себя без Сашеньки когда-нибудь. Она помогала ему верить, что – прав, и стоять на своём. Вдвоём с ней он был сильнее и полней не вдвое, а больше.

Но – не ехала. И не писала.

Пытался связаться телеграммами – ничего не вышло.

После опозоренья от сибирских ссыльных – только и ждать было теперь помощи из-за границы. Ленин – все разногласия всегда решал одним ударом. И не может быть, чтоб он сейчас поддержал Временное правительство или войну!

Но как его дождаться?!

Оставалось – посылать гонца в Стокгольм: узнать, в чём дело, и понудить их ехать быстрее. Нашли такую, Марью Ивановну, знала и конспирацию и языки.

Подозревая Временное правительство, да даже и Совет, что будут препятствовать возврату заграничных большевиков, формальный повод придумали: вызволить застрявшую литературу. Надо было получить паспорт на выезд. Но общественное градоначальство, занявшее Гороховую, ещё пока не расторапливалось со всеми делами.

Тогда придумал Шляпников сходить в Военную комиссию: ведь препятствия на границе могут быть именно военные, это им подчиняются сейчас пограничные власти в Белоострове и Торнео. Да Военная комиссия и оставалась ещё тут рядом, на втором этаже Таврического.

И всё сделалось быстрее, чем в социалистическом Совете или бы в градоначальстве. Вежливый подполковник выслушал, пошёл составил бумажку и принёс её, за подписью Ободовского: «со стороны Военной Комиссии не встречается никаких препятствий к выезду имярек такой-то».

Дали Марье Ивановне комплект вышедшей «Правды», большевицких воззваний и листовок, пусть это всё посылает Ленину на проверку. Но ещё раньше телеграфирует ему из Стокгольма: скорей, скорей бы возвращался в Россию!

И – Сашеньке прямое письмо: что ж ты не едешь, Милунечка! Что с тобой? Так тебя жду!

558

Легла на Гиммера ещё одна творческая работа. Стало известно, что Временное правительство коварно разослало войскам новую присягу, даже не известив Исполнительный Комитет. (И узнали-то – от проходящих солдат!) И теперь поручили Гиммеру и Эрлиху проанализировать текст этой присяги и выдвинуть поправки, чтоб её опротестовать. И в новой комнате ИК, где сперва не хватало столов, Гиммер с Эрлихом на широком подоконнике, грудями на него же, читали и поправляли присягу.

Одиозность и неприемлемость присяги бросалась с первого же чтения: она должна была завершаться крестным знаменем для православных и целованием преславного корана для магометан,- дикий анахронизм для революционных дней, чего не мог допустить социалистический Совет. Что за отжившая форма? И где же тогда свобода вероисповедания?! Да даже если стать на точку зрения христиан – клятва есть насилие над душой!

Да вообще, присяга как таковая, обломок рухнувшего царизма, не должна позорить новый строй! Что присяга? – в день революции она была превосходно нарушена солдатами, и все шли дружными рядами, – и зачем же присяга??

Но если вникнуть, то главная одиозность новой присяги была даже и не в этом, а в словах: «полное послушание начальникам, когда этого требует мой долг солдата и гражданина перед отечеством». Что это? Послушание, полное и безоговорочное? Как это может иметь место? Всякая истина конкретна и тем более в революционное время. Послушание – даже если против завоёванной свободы? Послушание, – а если против народа? Против республики? А если – против Совета рабочих депутатов?

О-о-о, тут была тонкая штучка, хитрый замысел! Пауки из Временного правительства не дремали! Они хотели оплести армию дисциплиной покорности и так вырвать её из-под Совета.

Посовещались с Нахамкисом, тот вспылил и шумел: не уступать! не допустить! Не могут выполняться распоряжения никаких воинских начальников, если они идут вразрез с волей Совета!

И вот, природно невоенному человеку и врагу этой войны, Гиммеру надо было теперь исправить присягу для всех военнослужащих России!

Но и что присяга! – мелочь, когда надо продвигать Манифест ко всем народам мира. Министры все обманщики, и Милюков из них первый. Жгло Гиммера, как Милюков обошёл и обманул его на своём радио «всем, всем, всем»: что революцию, якобы, произвела Государственная Дума. Простить не мог он Милюкову, и хотел отплатить ему Манифестом как бы в личную месть.

Эти дни Гиммер бродил, весь углублённый в свой Манифест. Надавали на Исполкоме поправок, и поручено было их все учесть. Но поскольку поправки пришли и слева, и справа, то понимал Гиммер, что работа – бесперспективная, и к исправленному тексту будет столько же недовольств и поправок. И он напрягал тонкость ума, как ему извилисто проползти между всеми возражениями и опасениями – и развернуть на весь мир своё интернационалистическое знамя.

В таком рассеянии он мало замечал заседания ИК, панику вокруг побега царя. Он то и дело вытаскивал свою затёртую бумагу и нечиненным карандашом вписывал четвёртые и пятые строчки поправок, где уже и прочесть их было невозможно.

Но ещё и сам он не выбрал оптимальные варианты – как объявили ему вчера, что придётся прочесть проект Манифеста на общем пленуме Совета. Гиммер ужасно взволновался: и потому, что текст был ещё не доработан, и – кто там на Совете мог оценить все его изощрённые тонкости и находки? И – как он голос найдёт для большого зала, не получится ли опять немая рыба? (Соколов предлагал выступить вместо него.)

Исполкомовцы шли в Михайловский театр большой разговорчивой группой, по улицам всё ещё зимним. И тут, по пути, прибились к ним два вернувшихся циммервальдиста, первые наши ласточки из Европы! И радостно, и тем ответственней при них чистота Манифеста. Они оба возмущались радиogramмой Милюкова: просто кутерьма в головах, если всё – для победы и в руках цензового правительства, так зачем тогда вся революция? Ещё нажгли они Гиммера жаждой – скорей, скорей провести Манифест!

Но собрание Совета оказалось полным базаром. Много кричали, много волновались, и опять о похоронах жертв, и о городской милиции, и могут ли в ней участвовать дворники, и как производить в ней выборы, и опять же не дошло. И хорошо, Гиммер был даже рад.

Зато сегодня на ИК решили ещё раз слушать и критиковать его проект. (Между тем очень перепугался Гиммер, услышав, что депутата Суханова направляют комиссаром в провинцию. Ужас! – его перекидывают с мировых вопросов на провинцию?... Но оказалась ошибка: это – другого Суханова, настоящего, думца.)

И снова, и снова нападали на проект и слева, и справа! Но уже все устали вникать, и споры шли вокруг частных. Замотал их Гиммер! Свою главную циммервальдскую идею он за это время обставил такими несомненными бастионами, что их уже не так легко было подорвать. Вот было главное положение, которое трудно оспаривать социалистам: «российская демократия будет противодействовать империалистической политике своих господствующих классов и призывает народы (не правительства!) Европы к совместным

выступлениям в пользу мира». Это был тезис всеобщей классовой борьбы, даже во время войны, – и это был настоящий циммервальдизм! А оборону отечества – он не мог вовсе отвергнуть из-за Гвоздева, Богданова и других правых меньшевиков, но Гиммер ловко назвал её: «защищать нашу свободу от реакционных посягательств как изнутри, так и извне», – то есть на первом месте опять-таки классовая борьба, но в том числе не дать себя раздавить и Вильгельму.

Это вовсе не было обязательство продолжать войну до победы! Это – ловко было составлено! Это не значило отдать себя в хищные лапы российского империализма! Защита революции не обращалась тут в простую оборону своей страны от других наций! Это – острым ухом было проведено! Но – и затушёвано, но и зарисовано сложными кривыми фразами, чтобы собрать на ИК большинство.

А гвоздевское крыло всё добивалось: а как же защита страны от опасности германского ига? А левые считали «штыки Вильгельма» недопустимым шовинизмом. Эсеры прицепились к «пролетарии всех стран, соединяйтесь», почему не «в борьбе обретёшь ты право своё», они не хотели социал-демократического лозунга.

Уже и Гиммер начинал в этих спорах терять сознание, шли черно-зелёные круги в глазах. И вдруг – проголосовали «в основном – за», только вместе с Эрлихом и Стекловым доработать поправки. (Стеклов, избежавший всего труда, мучительного составления, теперь лез накрыть и возглавить и этот проект. Он был тот, из сказки, «я вас всех давишь!»)

Их же тройке поручили и обработать пришедшую в Совет телеграмму Вандервельде. Хитрый этот оборонец горячо приветствовал, горячо приветствовал – российский пролетариат, крушение самодержавия, – а перекидывал на то, что теперь среди союзников все народы свободные и, значит, должны сомкнуться в великой борьбе.

О, тут ещё много подводных скал! И многие из самых знаменитых социалистов ещё обнаружат себя врагами пролетариата!

ДОИТ ШИБКО, ДА МОЛОКО ЖИДКО

559

Владимир Станкевич не был Гамлетом (отчасти может даже и был), но всегда приводили его в трепет эти слова:

Распалась связь времён.

Зачем же я связать её рождён!

А вот точнее даже не времён, а – слоев, он оказался присущим во всех этих слоях сразу – и невольно должен был пытаться связывать их. Большая часть его дня проходила теперь на заседаниях Исполнительного Комитета пяти-семичасовой длительности, и это был, конечно, не только орган власти, но и слой общества, полуобразованные и смежные с революцией. А ещё несколько часов – в Сапёрном батальоне, и это был ещё один слой, да почти сам народ. А ещё между всей беготнёй и заботами втискивались то встречи на улицах, хоть пятиминутные, то забеги к кому-то из знакомых, и это был уже самый сродный ему слой образованного класса, где он особенно быстро, легко понимал с полуслова.

И в этом образованном слое вот что обозначилось: все украшали себя красным, все произносили «наша революция», все торжествовали официально, – но с глазу на глаз с близкими, в разговорах наедине, а в душе тем более – начинали чувствовать себя пленёнными враждебной стихией, катящей совсем неожиданным, неведомым путём, даже

ужасались, даже содрогались. Люди как будто перестали быть сами собой, только внешне играли взятую прежде роль, из побуждений тактических, партийных, карьерных, от личной осторожности до общего психоза. Но даже великий сотрясатель Василий Маклаков через четыре-пять дней после переворота уже сказал в узкой компании, что – всё погибло, и уже никто не удержит власти. А об одном думце, члене Прогрессивного блока, сказали Станкевичу, что он дома в истерике, плачет от бессильного отчаяния. Но выходя на свет – люди всё это скрывают, и даже спешат улыбаться и торжествовать, так стало принято. И Маклаков тоже ведь вслух ничего подобного не заявлял, хотя его бы – услышали все.

Но если настроение интеллигенции на самом деле стало переключаться в мрачность, то настроение солдатни – всё более в радость: шли дни, и отпадала всякая угроза наказания за мятеж, а, напротив, свободы только прибавлялось, делать ничего не заставляли и на войну обещали не посылать, а наступил какой-то сплошной праздник.

В Исполкоме же было ещё третье состояние – направляющего действия, когда не остаётся много времени для чувств. И по характеру Станкевича эта динамичность должна была бы его увлечь – но, странно, именно тут он чувствовал себя наиболее чуже. Он с удивлением не видел здесь ни одного славного имени, не говоря уже – ни одного легендарного революционера, те естественно в эмиграции. Но даже, сам революционный публицист, он тут больше половины вообще не знал, кто они такие, откуда взялись. Извне, для публики, Исполнительный Комитет казался могучим вершителем революционных судеб, а внутри – сборищем серых и раздражительных людей. К ним – Станкевич наименее принадлежал, соединяясь с ними лишь общесоциалистическим направлением.

Но именно только с ними он мог решать неотложно вставшие задачи России.

И всеми этими разноречиями слоев Станкевич оказался оглушён. Каждое он воспринимал ярко, но не мог на всё быстро и наилучше реагировать, а – немел от этой распавшейся связи. По своей энергии и систематичности, и как офицер с техническими знаниями, он мог бы куда больше действовать на Исполкоме и влиять – а немел.

Да и налетающая череда вопросов совсем не была легка и, действительно, кому же посильна? Всё нахлынуло в изобилии, в небывалом виде, и только тот мог не теряться и перед обстоятельствами не терять своих мнений, кто руководился заранее затверженной упёртой догмой, – а другие меняли свои мнения в течении нескольких буквально часов.

В самом деле, что же делать с бывшим царём? И держать ли в тюрьме арестованных министров? По какой системе организовать выборы в Учредительное Собрание? Как решить аграрный вопрос и когда начать его решать – сейчас или после войны? И не решат ли его крестьяне сами раньше? И как заставить распутившихся солдат снова подчиниться офицерам, ведь без этого нет армии! (Может быть, в свою довоенную горячую юность Станкевич и мог бы увлечься красотой этой идеи – выборного офицерства, но сапёрному поручику с опытом понятно было, какая это дичь.) И – всё покрывающий главный вопрос: как же быть с войной? Этот вопрос с удивительным изобретаньем уже расщепился и вился на десяток ладов, – многолезый, многожалый вопрос, кого он не разделил в революционной среде и в России! А война была – захвативший капкан, она не очень-то шла на переговоры. Немыслимо было её прервать – и невообразимо в ней оставаться.

На этом вопросе, как ни на каком, Станкевича разрывало. Вот обсуждался на Исполкоме Манифест к народам мира – и в груди его разливалась горячая волна всеинтеллигентской русской широты, всегда так доступной космополитизму: ах, как прекрасно! через ошетенные фронты понести эту весть всем народам мира! какое всечеловеческое примиряющее чувство, когда все мы друг друга любим!

И тут же понимал: до народов ещё там когда как дойдёт, ещё какое впечатление произведёт – неизвестно, но до нашего фронта дойдёт немедленно, и все штыки опустятся окончательно.

Понимал! И по-офицерски отвергал! Но и сочувственно поражался неуспокоенному ввинчиванию этого Гиммера, нечеловеческого человечка, как будто сделанного в пробирке, – как он неутомимо просверливает этот Манифест через Исполнительный Комитет.

И зятянутый великой мечтой человечества о мире – Станкевич голосовал за Манифест.

Сегодня тянулось длительное нескончаемое заседание, на котором даже споры о Манифесте миновали как эпизод. Сегодня очень много было сообщений с мест: из Киева, из Луги, из Гельсингфорса, большей частью бодро-поверхностные, но и под ними тоже что-то клубилось грозно, как суметь различить.

Докладывал и посылавшийся от Исполкома в Витебск (там опасались антисемитских погромов) вольноопределяющийся Линде, – и этот юноша-фантазёр, воспитанный в немецкой романтике, философ и математик, теперь захлёбывался от восторга, до чего же воодушевлённо витебские войска стоят за свободу и республику, – и Станкевич хотел бы верить как либерал-социалист и не должен был верить как трезвый офицер, и косился на этого Линде, в котором отчасти видел карикатуру на самого себя прежнего.

Потом пригласили с докладом Пепеляева, кронштадтского комиссара Государственной Думы. Он уже делал свой доклад Временному правительству, теперь позвали его и сюда. Кронштадт был – как острый кол, воткнутый в бок Исполкому: какая-то ещё одна мощная сила или даже отдельная республика, ещё более левая и ещё более грозная, чем Исполнительный Комитет мог сам себя вообразить. Вся русская провинция им здесь представлялась как тёмное пятно потенциальной реакции – а Кронштадт вот проявился неукротимо красным клочком, всех дразнящим, никому не подчинённым, ещё новой яростью революции, не испытанной нигде. (Оттого ли, что три зимы просидели без войны, во льдах?)

Пепеляев, кажется, столького там насмотрелся, что уже научился говорить об этом без истерики. Да был он от природы круглолицый устойчивый здоровяк. Рассказы его не вызывали никаких сомнений в правдивости, то же самое три дня назад слышал Исполком и от своего посланца туда. Убито офицеров около ста, а из живых почти нет не избитых, все морские и сейчас под арестом, сухопутные – частью. Путаница Советов: сперва – Совет революционного действия, потом три отдельных – морской, солдатский и рабочий. Был момент – начало как будто успокаиваться, но приехали большевицкие агитаторы с Выборгской, опять всё взбуровили. Тревожные слухи трясут Кронштадт: то один полк ожидает нападения от другого – что будут всех разоружать, то – что где-то в Кронштадте есть электрическая кнопка и если её нажать – взлетят на воздух и город, и крепость, и корабли. Несколько раз склонялось к порядку – и несколько раз опрокидывалось опять в анархию. Очень возбуждающе действуют в Кронштадте слухи о разногласиях между петроградским Советом и Временным правительством.

Красный остров – всех жёг, будоражил. Но придумать ничего не могли другого, как послать туда ещё депутацию, Скобелева конечно. (Он так много ездил, что и на заседаниях редко бывал.)

Заседание сегодня было воистину бесконечное, сорок вопросов.

То лихорадило срочным сообщением, что не пропускают в революцию наших товарищей: какие-то Лурье и Штейнберг телеграфируют из Стокгольма дать указание консулам – всех пропускать, кто просит виз. И постановляли: указать правительству.

То капризничал Соколов: он привык во всём везде участвовать (лишь не успевал повсюду бегать) – как же мог ИК не включить его в КК с Временным правительством! – а он так защищал Контактную комиссию вчера перед Советом! Он так и просил теперь откровенно: кооптировать его в КК!

Но это снова поднимало вопрос о выборах туда, которые и без того трудно прошли. Но и – Соколов был как бы не зачинатель всего Совета, с первого дня 27-го здесь, – отказать ему тоже было трудно. В утешение включили его и Красикова от Исполкома в Чрезвычайную Следственную Комиссию Керенского. Отчасти Соколов успокоился.

Разгорелись большие прения о тяжёлом артиллерийском дивизионе. Фронтовое командование требовало его на фронт, аргументируя, что тяжёлая артиллерия нужна именно там. Но тут, в Петрограде, было же своё постановление: все, кто участвовал в революции, не должны выводиться из Петрограда. Но и от фронтовых частей уже стали приходиться нарекания: что за привилегии петроградцам, а нам и отдохнуть нельзя?

Споры были долгие, большевики и Нахамкис не давали дивизиона. Наконец, против особого мнения Нахамкиса, сговорились: дивизион вывести не на фронт, но в Смоленск, ладно, но чтобы в здешнем Совете оставили своих постоянных депутатов на случай, если что, и в Смоленске сейчас же бы вошли в тамошний Совет.

Затем увидели другую опасность: что делается с солдатскими депутатами? Они избрали свой тоже как бы исполком Исполнительную комиссию, и та действует всё более самостоятельно, не подчиняясь главному ИК, а настроение её, доносят, совсем не то, что у нас здесь: даже и монархические настроения возможны, по несознательности тёмных солдат. И так это грозит расколом наших сил и большой опасностью для революции – созданием второго революционного центра. Нужно эту новую ИК обуздать, поставить на место, срочными мерами повлиять и на настроение её и на состав.

И тут всё сошлось на Станкевиче: ему и возглавить эту работу – убрать (переизбрать) из Исполкома неподходящих солдат, а выбрать подходящих. И возглавить саму солдатскую Исполнительную комиссию.

Да Станкевич ведь и пришёл – опережать революцию?

560

Кто-то из пришедших сказал, что в сегодняшнем митинге для него главное: возможность быть самим собой.

И Сусанна согласилась, как верно выражено. Действительно, вся их привычная, обычная жизнь – адвокатская, московская, культурная, вся она носила какой-то вид – не притворства, но как бы лицедейства, какой-то условной игры. Они годами, да всё своё существование, выступали будто добровольными, а если вдуматься, то невольными участниками по сути чужой жизни. Они и сами уже забывались, забылись, они и на самом деле видели в той жизни интерес, и даже горячо прилагались к ней, и могли бы так вовсе забыться, если бы постоянно не угнетало их притеснение их народа – или вот, миг великой очищающей революции не привёл бы их к опоминанию.

Опоминание – как самоосознание, большое внутреннее очищение: **кто** они воистину, в эту дальнюю страну занесенные как песок ветром. И сама Сусанна – кто? вот, забывшая и синагогу, и субботу, – а сейчас, в миг сердечного соединения со своими, с волнением радости ощущая это возвращение к родному, – вот сейчас они пойдут туда, где открыто и гордо соберутся все свои, тысячи своих, только свои. И первый оратор будет – не лучший из адвокатов, не общественный или партийный деятель, не депутат Думы, – но главный раввин Москвы Мазе. Тот, кто только и мог объединённо выразить, просветлённо соединить их всех.

Давно, давно не была Сусанна в синагоге – тем возбуждённо-радостней теснилось в груди: идти и слушать раввина. Счастливый возврат.

Только Давид ранил цельностное настроение: позубоскалил, что это опять начинаются патриотические концерты. Но видя, как жена огорчилась, попросил прощенья. Сам он ушёл в свой Комитет Общественных Организаций.

Не понимал он и даже сердился, а Сусанне эти дни принесли ещё и такую радость освобождения: от никогда не называемой вины перед менее удачливыми, перед теми, кто застрял *за чертой*, или даже не пытался оттуда выбиться.

С особой нежностью она встречала тех своих спутников, которые дожидались дома субботней зари, не имея права двинуться раньше, и вот только теперь подъезжали.

Первая из них приехала Ханна Гринфельд, вдова, троюродная тётка Сусанны по матери, – высокая, худая, под шубой – ещё в белом шерстяном платке на плечах, она зябла. Сусанна встретила её весело, но осеклась, – Ханна была очень торжественна, а без улыбки. Сказала:

– Это ведь будет сегодня, как если бы нам встретиться и с нашими умершими.

Сусанна – не поняла сразу. Но не успела переспросить – тут же вслед вложила в неё

эта мысль и показалась замечательно верной: да, такая массовая наша сходка и во главе с раввинами, – да, это будет как бы соединение всех-всех, и с покойными мамой и папой тоже. Да.

Торжественность сообщалась и тем, что не все сели к столу перекусить, Ханна и ещё пожилой родственник Давида не сняли верхнего, а сидели в креслах, как бы ожидая, что с минуты на минуту поедут.

А разговор, естественно, вращался о главном: о том, как падают цепи с евреев – одна за другой, почти ежедневно: снимаются ограничения в одной области, другой, третьей, – почти ежедневно, а кажется – всё ещё не быстро.

Но это – и не внешний дар судьбы евреям: это дар – взятый собственными руками.

Молоденькая хорошенькая Руфь, которую Сусанна с любовью направляла и воспитывала как повторение бы самой себя, воскликнула, блестя глазами:

– Вся смелость и прямота этой революции и определились нашим духом!

Да, динамичный дух наш участвовал, конечно, не мог не участвовать при обвисающем русском, – но и голов мы сложили за то достаточно.

Но если так ярко проявился еврейский дух, то следует ждать и яростной реакции против него?

Да! Тысячи погромщиков притаились! – встречала Руфь. Они не могут примириться с тем, что произошло. Они спустились в то святое подполье, где раньше выносились революционные приговоры, – и теперь оттуда помышляют, как вырваться со своими озверелыми дубинами.

Перебрасывались тревогой: ведь там и сям мелькало – то о подготавливаемом погроме, то кажется уже о начавшемся, то о массовой перевозке поездами антисемитской литературы. Правда, всё вослед и опровергалось.

Да, все успехи евреев на чужой почве всегда кажутся такими хрупкими! – один грубый посторонний удар – и всё терпеливо построенное рухнет.

– Вот такие козицыны из чёрного автомобиля...

Они прячутся в толпе и со всеми приветствуют – а сами скрытые, прежние! Они, конечно, будут действовать. Разве они так легко отступятся от прежних привилегий? Конечно, теперь нельзя открыто хвалить старый порядок – но можно дискредитировать новый. Они станут вливать свои ядовитые капли против новой власти. Например, будут подстрекать: скорей к идеальному обществу, долой постепеновщину и реальную политику! Удобная форма! Уже ловили охранников, произносящих левые речи. На самом деле никаких крайних левых даже не существует. Это – правые провокаторы раздувают крайних слева, чтобы Россия свалилась.

Да вот и пример: эти необузданные митинги домашней прислуги и кем-то брошенный лозунг «ещё одной революции», теперь – прислужной. Какой вздорный лозунг. Прислуга, даже лучшая, начинает не повиноваться, оспаривать, – но так развалится сама обыденная жизнь... Обывательскими низами революция понята как что-то вроде масленицы: прислуга пропадает на целые дни, с красными бантиками катается на автомобилях, возвращается домой к утру, чтобы только помыться, поесть, – а там опять на гулянье. А другие – принимают на ночь солдатскую компанию и кутят, спать не дают.

– А чью-то прислугу, Агриппину Проторкину, выбрали депутаткой! Вот возрадутся её хозяева: и работать не будет, и уволить нельзя.

Женщины очень живо откликнулись: революция домашней прислуги грозила анархией всей жизни. У Сусанны с её образцовой, приласканной и одарённой горничной тоже появилась двусмысленность, правда от её монархизма, но как это разовьётся? Их всех зовут на митинги.

– Революция прислуги – это и есть из первых актов черносотенства.

Долголицый бритый доктор Розенцвейг, отоляринголог, высмеивал:

– Да просто тёмный бред невежественных людей. Никаких погромов сейчас бояться нам нечего: погромов не может быть, если им не помогает полиция и не поддерживают

войска. Все эти черносотенцы, мы видим, с такой же лёгкостью отрекаются от своего прошлого, с каким рвением они раньше служили ему, и, как говорится, «переходят на сторону народа». Вон, посмотрите, как даже Воейков подло предал своего хозяина – «эти слова сказал не я, а царь, он был в состоянии сильного опьянения».

Речь шла о сенсационном сообщении Тамарина из «Утра России», что Воейков предлагал Николаю II открыть минский фронт для подавления революции – но теперь, арестованный и спрошенный Керенским, Воейков, спасая свою шкуру, всё перевалил на царя.

– Кошмар! Ужаснёшься: в чьих же руках находились судьбы России!

– Эту предательскую затею открыть фронт Новая Россия никогда не забудет, кто бы ни произнёс те слова!

Доктор Розенцвейг, сложив руки на набалдашнике своей трости, он тоже не отложил её, оттого что «вот поедем», сказал примирительно:

– Что ж с него взять. Малообразованный человек, он не имел понятия о жизни своего государства. Придворные льстецы поддерживали в нём представление о царстве длиннородых мужиков, только и думающих, как угодить царю-батюшке. Александра Фёдоровна добавляла к тому свой истерический мистический бред. Кому теперь не ясно, что династия могла отсрочить своё падение, если бы в 1906 честно и лояльно договорилась с Первой Думой?

Но Николай оправился от страха и снова погрузился в свой фантастический сон о России. Получал миллионы поддельных телеграмм от «союзников» и жил в чаду их преданности.

– А в 1914 он снова получил возможность сблизиться с народом. В тот год и всё русское еврейство решительно поддержало государственный патриотизм. И если бы тогда он сам прогнал всю окружающую челядь и призвал общественное министерство – очень возможно, что общество простило бы ему и никакой бы революции теперь не было.

Но он пропустил все сроки и пренебрег всеми предостережениями. На всякую живую мысль самодержавие единообразно всегда отвечало: «нет!». У Николая II никогда не было ни великодушных порывов, ни государственного ума.

– А у кого из них – был? – сострила Руфь: – Один Сергей Романов единственный раз «пораскинул мозгами», и то уже по мостовой.

И сусаннина выученица она была – и частенько вот так стала резать резкостью какого-то безоглядного поколения. Сусанна исправила ближе к духу сегодняшнего вечера:

– Кажется, для царской власти мы сократили скрижали Моисея, мы требовали от них всего две заповеди: «не убий» и «не укради». Но даже эти две были им не под силу. Работа народной совести всегда была за тысячи вёрст от дворцов.

Вообще разговор пошёл злободневно, политически-плоско, отворачивая от того глубокого настроения, какого сегодня хотелось.

Вошёл последний, кого ждали: старый адвокат Шрейдер, широкий в плечах и крупноголовый. Потрясённый смертью жены, два года назад, он сильно состарился, стал медленен, всё меньше занимался адвокатурой.

– Но как возмутительно, – горячо говорила Руфь, – сейчас пишут газеты, пытаются пробудить противоестественное сожаление: «император осунулся, превратился в старика с глубокими морщинами», – да просто напугался в тюрьму попасть! Суздальские богомазы и тут рисуют свои картинки. Просто неловко и стыдно читать об «их личной трагедии». Его трагедия – не короля Лира, а – тюремщика, от которого убежали арестанты. – Красивые тонкие губы Руфи выделялись в непреклонном изломе. – Или: у царицы дети больны, подумаешь трагедия, как нас хотят разжалобить. А от скольких детей отрывала политических отцов грубая рука жандарма! Конечно, революция не игрушка. – Кончики тонких прозрачных её ушей запыхали. Добавила ходкую фразу: – Революция – не балет.

Но тут горбоносая, со впалыми щеками, всё молчавшая Ханна осадила:

– Так нельзя, Руфь. Трагедия всяких людей – есть их трагедия, и больных детей

особенно. Вот, приезжают из Петербурга, рассказывают, что городских топили в прорубях Фонтанки и через два, через три дня после переворота. Кто они? – простые стражи уличного порядка, – хлебай ледяную и грязную воду, иди на дно. Не говорите мне: всё это прошло не при слишком хороших знаках.

Руфь смутилась:

– Каких знаках?

– Небесных, – отрешённо ответила Ханна, не опасаясь, что кто-то тут улыбнётся.

А Шрейдер вздохнул:

– Мы в России – не в гостинице. Надо уметь её понимать, и с её стороны тоже.

Ханна вернула всех к тому очищающему возвышенному, как и хотелось настроиться.

Давид уже прислал второй автомобиль, пора выходить.

Ехать надо было в цирк Никитина.

561

И правда, Ксаночка была Ярику ближе родной сестры Жени: та училась далеко, а с этой отрочество общее. И с годами всё большая почему-то сладость была называть её сестрёнкой, и в постоянном заботливом тоне между ними, а то в случайной приобнимке – такая славная принялась игра (а ведь – несколько не сестра, но от этого особенная и присладь). Эта игра ещё обновилась в предвоенный год, когда они оба учились в Москве, и естественно было при встрече поцеловаться и товарищам-юнкерам ревниво представить её как сестрёнку.

С годами в душе двоится, и сам уже начинаешь путать игру и действительность. Отношения, не сравнимые ни с чем.

Любил в карие глазки её смотреть с открытой нежностью и встречая открытую нежность.

Но в этот раз в Москве – отдавалось ему гулками ударами по телу. Игра дошла до грани, что уже игрой оставаться не могла. Целовал ли её при встрече, глядел с дивана, как она для него танцует, поглаживал ли руку под перчаткой, – если это и была игра, то уже совсем другая, по новым правилам, и глубока, – но чтоб доиграть её, надо было отказаться от прежней «сестрёнки», а та – пролепила все извивы их отношений.

Две игры перепутались, и одна мешала другой. «Сестрёнство» так остро сближало! – но и загораживало. Как-то было бессовестно, греховно вдруг проломить это доверие. И вот когда он пожалел, зачем это всё игралось? Сейчас эту смугловатую, скуловатую, круглоплечую степнячку он видел прозревающими глазами, как если бы первый раз: уже лопалась зрелость из её губ, зубов, пальцев, смех жизнелюбный по делу и без дела, глаза побегивают, горят, – да зачем же они так застряли в их детской игре!

Но оскорбительно и грубо было бы разломить грань. Как будто своя семья, кровосмешение.

И несколько раз уже набегала горячая тень такая, что вот сейчас прорвётся – и всё назовётся откровенно. И отбегала опять.

Опять он ошибся, как и с Ростовом! Вся встреча с печенежкой была такая же ошибка, как и гощение в семье, – близкие только загораживали. А в нём уже так заострилось, он, наконец, просто как зверь хотел женщину – и без этого не мог уехать на фронт, может быть под последнюю гибель.

Морока какая-то! Ярик выдержал первый вечер (думалось ещё и так, и так), выдержал ещё сегодняшнюю дневную прогулку, но на Каменном мосту перед закатом дошла его тоска до края: что погубится вся его поездка, столько уже потерянных дней, – а он не может вернуться на фронт иначе.

И спасенье его было – оторваться от Ксаны сейчас же, сию минуту! И сегодня же всё осуществить, пусть с проституткой!

И он, не допроводив Ксенью, круто распростился и ушёл от неё.

А распростясь – пошёл наугад, не думая возвращаться и в казармы к товарищу, побрёл

– как под пули идёт потерянный, не смераясь с опасностью, хоть и погибнуть, – пошёл хоть изрешетиться, взять сейчас любую на любом бульваре, с опасностью заболеть, – но только провести с ней ночь, это билось из него с такой силой, он не мог больше откладывать!

А где **их** берут, где надо было их брать? Всем известно, что – на Тверском бульваре, прославленное место. А другого Ярик и не знал, но догадаться можно было, что – на всяком бульваре, удобней всего, можно ожидать на скамейках. (Да не только же, правда, по букве называли трамвай по бульварному кольцу «Аннушкой бульварной».)

Ближе всего был Пречистенский – и Ярослав свернул туда, в своём невладении. Садилось солнце – и время могло быть уже подходящим.

Прошёл половину длинного изломистого бульвара, миновал десяток скамеек, все подсохшие и по нехолоду кой на каких присели – там парочка, здесь с газетой, но и долго не посидишь, и подумал уже Ярослав, что это – промах насчёт скамеек, что **ходить** должны, как и рассказывали всегда юнкера, и не по одной, и наверно только на Тверском.

Как вдруг увидел на отдельной скамейке – одинокую молодую, копна чёрных волос из-под вязаной шапки видна ещё издали.

А ближе – именно это черноволосье, по плечи и густо обрамляющее голову, диковато и даже вульгарно, – именно оно почему-то наводило на мысль.

И поза была не такая, чтоб вот – присела на краешек, сейчас убежит. Нет, сидела она вполне углубисто, ожидаючи.

Кого-то? Она просто, может быть, ждала близкого, знакомого. По неумению различать – не хитро и оскорбить. Да никогда б Ярослав и не решился, если б не такой уж край у него был, обрыв отпуска.

А между тем, хоть и замедлив, он уже приближался, приближался к ней, и надо было решаться: так? или этак?...

Вид её был довольно бедненький, пальтишко с плохим меховым воротником.

А лицо показалось на подходе – даже отчаянно-красивым, зловеще-красивым, даже – таких не бывает, или это – от окружения непомерных её волос?

Обратиться? не обратиться? Фронтальная простота и семейная воспитанность боролись в нём. Как можно неловко попасть, стыдно!

Но красота её – решила. Такую красоту – сейчас! – он пропустить не мог.

А девушка смотрела не на прохожих, но косо вниз, немного презрительно.

И он бы – наверно сробел, миновал бы.

Но вдруг от сапог его – медленно она подняла глаза. И посмотрела – выразительными, чёрными (может, не чёрными, но – вся такая, но от волос) – прямо ему в глаза и не торопясь отвести.

И – всё было решено! – он уже уйти бы не мог, он как схвачен был.

– Разрешите – рядом с вами? – первое трудное, без соображения, спросилось само из него, как из груди выбилось.

– Пожалуйста, – ответила она, но не подвигаясь и без единого движения, всё так же обняв себя руками, может для теплоты, руки без перчаток под рукава.

Что-то в ней цыганское-не цыганское было, но вульгарно-загадочное.

Он сел, в пол-аршине от неё. И следующий вопрос ещё знал, какой задать (а уже потом не знал):

– Как вас зовут, могу я спросить?

Из своего презрительного взгляда на обтаявший лёд у себя под ботами, она ещё раз подняла глаза, теперь близко вровень, так и пробрало его.

– Вильма.

– Вильма? – Вот и сам родился следующий: – Что за имя? Никогда не слышал.

Она на это время не отвела от него глаз, рассматривала.

– Латышское.

Да, и акцент у неё был.

– Вы – латышка? Беженка? – ухватился, как будто это важно было.

– Да. – Голоса много не тратила, а густой был, настоенный.

– Из какого же места?

– С Двины.

– Вот как? – обрадовался Ярик. Почему-то хотелось заверить её дружелюбно, какую-то не грубую нить протянуть между ними. – И я от Двины недалеко воюю. Близко.

Но она не отозвалась. Взор увела.

– Близко фронт подошёл? – с сочувствием спрашивал он.

– Да. По тому берегу. Прямо против нас.

И... и... и всё?

И что ж ещё было спрашивать? Что другое – как будто невежливо. Он не мог спросить ни о семье, ни об образе жизни. Было бы глупо рассказывать ей, какие случаи беженства он знает ещё. Хотя: чем может жить латышка в Москве, каково ей здесь? Наверно, неважно. Ему, правда, хотелось узнать о ней больше.

Но вопросы его пресеклись.

А красива была – ужасно.

И красота её – помогала Ярику. Потому что хотелось красивого, не случайного, чтоб она действительно ему понравилась.

И она – нравилась.

Но ничего не доказывал ни её задержанный взгляд, теперь уже отведенный, ни сиденье их в полуаршине.

А из-под самого её подбородка – вот одно некрасивое у неё, широкого твёрдого подбородка, – чуть выдавалась пунцовая ткань с цветками, косынка.

Ничто не было доказано и никак дальше не разъяснялось. Может быть, она сидела здесь совсем не за этим. (А может быть – за этим, но вышла первый раз и сама не умеет?) Свободное – что-то было в объёме её волос, стеснительности её или прямого запрета он не чувствовал. Но развязности не мог себе нагнать.

И так посидел ещё, молча.

Но и она продолжала сидеть, не переменяя позы, не уходя. Глаза – косо вниз.

Так это и был ответ?

Он вот как сказал:

– Я бы... пошёл с вами?

И почти сразу услышал, сквозь зубы, без поворота её головы:

– Пятнадцать.

И его – осадисто резануло. Всё оказалось – именно так, но зачем так грубо, как сбросило со скамейки на лёд. Да! Ему хотелось всего лишь одного, именно этого, – но хотелось так, чтоб отзывалось и в душе.

Но уже выбора не было. Дорвался.

– Пойдёмте, – сказал.

И тут же подумал: а *как* же они пойдут? Её вид, – идти с ней под руку ему невозможно...

Но оказалось просто: совсем рядом, в Антипьевском переулке. Вильма шла на плечо вперёд, а поручик – чуть сбоку и сзади, весь – за её буйными волосами.

Антипьевский! – надо же! – как раз вдоль задней стены его родного училища. По ту сторону сколько маршировал – думал ли, что всё разрешится рядом, вот так?

До войны и без фронта он бы так не мог.

Маленький двор, двухэтажный дом в глубине. Тёмная лестница, ещё без света. На третий, мансарда.

В первой убогой комнате, которую надо было им пройти, сидела за столом с неубранной едой – другая девушка, не такая красивая, но пожалуй похожая, – сестра?

Странно так проходить – Вильма не познакомилась, не сказала ни слова, шла в следующую комнату. И Ярослав, кивнув той девушке (та не ответила, как не заметила), – за Вильмой.

И Вильма накинула крючок на дверь.

Вторая комната, скошенная крышей, была тоже мала, скорей не чистая. Одна полуторная кровать, одна одинарная, обе под простыми одеялами. Комод под кружевной дорожкой, на комодe стоячее зеркало. Вешалка, стул, табуретка.

Через единственное подкровельное малое окно ещё падал сумеречный свет, и не было надобности зажигать.

Вильма ловко сбросила пальто, шапку, – волосы ещё больше рассыпались, а пунцовая – оказалась на ней шаль, в обхват плеч её, сильных облокотий, – и концами сведена под пояс впереди. И в нищей сумеречной комнате эта пунцовая шаль загорелась как жар-птица. И сильные глаза Вильмы против окна смотрели на Ярослава в упор. И гордо.

И так это вспыхнуло разом – Ярику теперь опять показалось, что – лучше он и найти не мог! Это было чуже, странно – и восхитительно!

Он подошёл к ней распутаться в шали – а воротник оказался вырезной косяком, открывая шею и душку.

Оставалась одна опасность – но спросить её прямо было невозможно, да ведь и не скажет. Оставалось только – доверять ей. Да если б не эти «пятнадцать» – а может, процеженные так с непривычки? – он поручился бы, что она вышла на бульвар в первый раз.

Но какие опасности он не переходил в жизни, не страшней же. Спросить – было невозможно.

А ещё: отстёгивал шашку с револьвером – почему-то мелькнуло, что и это опасно, в чужом неосвещённом месте.

В комнате быстро темнело – и только привычными глазами он продолжал досматриваться до неё. А пунцовый платок на стуле – гас, гас, потом погас, не различался.

Сперва по мнилось, что за дверью сестра. Потом забылось.

Но ему действительно хотелось – войти в её грудь! Заглянуть в её жизнь. Ему хотелось – в чём-то и полюбить, нешуточно.

Он нуждался – ещё и кусочек своей души оставить у неё.

Чуть шелестили шёпотом.

И обнимая, он спрашивал:

– А можно – я до утра останусь?

– Нельзя. Придёт мама и все, ночевать негде.

Но ещё лежали в полной темноте.

Чего не было в её теле – нежности. Но – сила.

Лежал – и уже сейчас подумал: ведь будет её вспоминать, и может – долго.

– А я тебя – запомню, Вильма!

Кажется искренне ответила:

– И я тебя.

562

Сегодня среди революционеров уже пожилой, 43 года, Нахамкис однако сохранял все преимущества никогда не болевшего человека, кровь с молоком. Хотя он всю жизнь отдал революции, начал уже с пятнадцати лет (ещё жив был Чернышевский!) пропаганду среди одесских рабочих, – однако не измытарился по каторгам и сумел не подорвать здоровья. В единственную свою ссылку он попал под свой 21 год, из-за чего не погнали его ни в Верхоянск, ни в Колымск, а в самом Якутске призвали по воинской повинности, он был зачислен рядовым в местную команду и от службы только ещё укрепился. Запрещено было дать ему чин даже ефрейтора, но он исполнял все должности унтера, дежурил по роте, даже заведовал ротной школой – и ещё укрепился в себе, по-командирски. А политическая уверенность у него уже тогда была такая, что потом, живя в одном доме с якутским вице-губернатором, не раскланивался с ним (наслаждение презирать!), а мирового судью принимал у себя в гостях. Да после военной службы он в Якутске задержался недолго: хоть

оттуда трудно было бежать, на пароход при полиции не сядешь, но и пойманных особенно не наказывали, так что рискнуть. Его полуротный офицер, с характером Ноздрёва, пивал запоем и в белой горячке бредил революцией, что он с полуротой сразу перейдёт на сторону народа. Этот поручик и помог ему бежать по зимней Лене на почтовых, спрятавши в своём возке. (И когда позже открылось – поручик не пострадал, а только письмоводитель за подделку документа.) Затем вослед своему беглецу уже беспрепятственно выехала и жена с ребёнком.

За границей Нахамкис не бедствовал, ибо всегда была помощь от отца из России, – не должен был выколачиваться ради грошей, а мог отдаться, свободной революционной деятельности, – да уже и тогда влёкся к литературной, намечая стать писателем, как и кумиры его – Чернышевский, Добролюбов, затем и учитель Плеханов. Однако поклонение Плеханову не было стойким, после II съезда РСДРП заколебался он, не примкнуть ли к Ленину (а какой-то он неполноценный, будто со срезанной частью головы), – но по независимости и яркости своего характера не примкнул ни к кому, а остался – вот и до сих пор – социал-демократом внефракционным, это давало и большую свободу движения всякий раз. Очень сблизился за границей со своим земляком-одесситом Парвусом, вслед ему покатил в Россию на революцию Пятого года, но поучаствовать не успел: пришёл посидеть на заседание Совета рабочих депутатов, как раз последнее, в его гамузе арестован, да как непричастный скоро освобождён.

В последующие годы, хотя тактически принято было грозно проклинать *годы реакции*, – однако было довольно-таки выносимо. Нахамкис стал негласным направителем («секретарём») с-д депутатов 3-й Думы, – там серенькие были, а он вёл их со всей широтой своего революционного кругозора. Но и более того: в эти годы он мог отдаться и своей литературной страсти и своей верности идеалам шестидесятников, от которых отчётливо ощущал своё происхождение, – и написал, и прямо в России напечатал, под псевдонимом Стеклов, научно-полемический труд о жизни и деятельности Чернышевского.

Наш великий предтеча! Один из величайших людей русской истории! Великий мыслитель с гордостью Прометея. Русский Сен-Жюст. Наш первый якобинец (не случайно, что и «Молодую Россию» и многие анонимные прокламации – все, и враги, и сторонники, приписывали ему). И подошёл вплотную к научному социализму! – всеми своими корнями Стеклов чувствовал себя *от него*, и окажись на его месте, вот так же бы и поступал: с умной личной осторожностью (их общая черта!), но энергично поддерживал бы студенческие волнения; с ликующей замкнутой радостью следил бы за грандиозными петербургскими поджогами, спалившими десяток густых кварталов так, что пламя перебрасывалось аж через Фонтанку, толкотня телег, карет, судов на реке, погорельцы с узлами на площадях, и вдали от пожара уже вяжут имущество, огонь охватил и министерство внутренних дел, Петербург представлял вид города, подвергшегося бомбардировке неприятеля, и после того ещё несколько дней сряду вспыхивали новые пожары в разных местах города (кто те безымянные юные смельчаки, клавшие паклевые факелы в дровяные сараи? – остались нам не открыты); и так же не сдерживал бы кровавой ярости в воззвании «К барским крестьянам»; и так же бы негодовал на пошлость глупого Герцена, низко открывшего из-за границы кампанию против радикалов, развязавшего рты всем либеральным иудам в России, да ещё неуклюжим промахом подавшего нечаянный документ к аресту Чернышевского; и так же вызывающе-уверенно вёл бы себя под долгим следствием, зная, что у палачей не может быть доказательств. (А смог ли бы в неустанных литературных занятиях выдержать 20 лет заключения, мученичество?... Писать, писать – только для того, чтобы тут же и сжигать?)

Последовательно отражая философские воззрения Чернышевского, систему его этики, эстетики, историософии и политэкономии (да даже изобретал он и машину вечного движения – ради уничтожения пролетариата), – то и дело находил (перенимал) Стеклов не только глубокое сходство убеждений (например, в интересах трудящихся масс полностью разрушить как всю систему старого самодержавия, так и всё лживое здание александровских реформ – прежде чем они утвердятся; и – никогда не допустить крестьян до

индивидуального владения землёй, только общиной! – актуальнейший вопрос сегодня); не только общую кипучую ненависть к реакции, общее презрение к бледно-розовым либералам и предчувствие оказаться после переворота вождём крайне левой стороны; не только общую страсть к писательству («Что делать» и «Пролог» написаны прямо сразу набело, без единой поправки, – именно так же и писал Стеклов! а ведь у Чернышевского погиб и ещё один роман, о котором односсыльцы свидетельствуют, что он был бы евангелием и библией современного человечества!); но и совпадение многих даже личных черт, как рассудочность берёт верх над воображением, мыслящий человек может отстраниться и от любви, владение собой, когда нужно отступить – то и вовремя отступить; в год написания этой книги – столько же ему было лет, как Чернышевскому в год гражданской казни, и у обоих – якутская ссылка. Но! – легко прийти в революцию из революционной среды, а каково было Чернышевскому из гущи реакционного православия, от того отца-священника, который даже на своего архиерея доносил о неправовоерии! Этот мир так цепко въелся в Николая Гавриловича, что, уже будучи вождём петербургских радикалов, он, проходя мимо церкви, всё не мог удержаться, не перекреститься... (Это дураченье народа православным духовенством всегда отвратно поражало Нахамкиса: сел в поезд с несколькими пролетариями, дёрнул в путь паровоз – и они все перекрестились, как самые тёмные крестьяне. Да что, если некоторые члены Совета рабочих депутатов Пятого года, посаженные в Кресты, когда возвращались с прогулки – крестились на икону в тюремном коридоре...)

Издавая труд о Чернышевском с отодвижкой на сорок лет от событий – мог Стеклов неистовым революционным духом обнажать всю казённую ложь. Уже не было в России такой цензуры, которая мешала бы ему хлётко спорить с теми как будто остывшими реакционными зубрами и Третьим отделением, а он-то сам, как и его читатели девятисотых годов, отчётливо прозревал за *теми* – нынешних псов царизма, всех матёрых палачей по ту сторону баррикады. Только не мог он всласть исхлестать коронованного жандарма, лицемерного иезуита, верховного сыщика, кровожадного жёлчного тирана Александра II (теперь-то – наступило это время, будем делать второе издание книги), но зато уж – продажных тварей царских сенаторов, заскоружлых душонок византийского чиновничества, – *ab uno disce omnes!* – по одному суди обо всех, а особенно – всех либеральных шавок и брехунов из подворотен, не обойдя и патентованного либерала Тургенева, никогда не отстававшего от охранников, и реакционного изувера Гоголя, и полоумного мистического мракобеса Достоевского, политически павшего человека. Да после ареста Чернышевского русская литература впала в маразм, в прозябание на долгие годы.

Тем временем за революционные связи и вокруг думской фракции в 1910 подпёрло Нахамкису садиться и ехать в новую ссылку, но, к счастью, предложили на выбор уехать за границу, так он и сделал. В эмиграции снова сближался с большевиками, преподавал в их школе Лонжюмо, но снова отказывался вписаться в узкую ленинскую дисциплину. С 1913, после амнистии, мог возвращаться в Россию, но ещё задержался, июль 1914 застал в Берлине – и был избит немецкой озлобленной уличной толпой, принявшей за русского обывателя – его-то, с его взглядами! – тем особенно обидно, что он ещё до войны желал военного поражения России. (А ведь тоже мысль Чернышевского: предсказывал столкновение России с Западной Европой, и что будет она разбита, и поражение царизма приведёт к революции.) Хорошо, что немецкие власти быстро разобрались, социалистов сочувственно отпустили ехать на родину; Лурье, Коллонтай, другие товарищи остались в Скандинавии, а Нахамкис имел причины вернуться в Россию. Тут удалось стать чиновником Союза городов и прожить военные годы не только спокойно, но и весьма содержательно. С той же Скандинавией вели коммерческие операции, по поручению Согора Нахамкис уже в войну дважды проехался в Стокгольм за товарами, заказывать лекарства, а у кого? – у фирмы Парвуса-Ганецкого. С Парвусом не угасла революционная связь, создали каналы для денег – на поддержание революционных точек, но притекало и самому, с Фабержевицем, с Подвойским, – столы их в Согоре стояли рядом. В войну появились специфически изумительные товары, такие как

презервативы: в России своих не было, иностранные вздорожали сразу в десять раз, а именно при военном отсутствии мужей они стали особенно необходимы, и ещё к тому же ничтожны в объёме, без труда вкладывались в ящики согорских товаров, а потом продавались негласно в институтах красоты (такой вела и жена Нахамкиса) и по другим гигиеническим точкам.

Даже никогда так хорошо не жилось, как в эти два военных года, не сравнить с довольно жалкими эмигрантскими, – с этой ступени благосостояния можно было бы вообще начать очень приличную жизнь. Но – и война не бесконечна, и революция вот же прикатила, да не для обывательского прозябания и создан был духовный потомок Чернышевского, в полном расцвете здоровья, сил, умственных способностей, – и тотчас приложился к едва грянувшей революции, в первый же вечер вшагнул в Исполнительный Комитет, да не простым членом. Не только по своей физической выдержке он высиживал и выстаивал все сплошь часы заседаний Исполкома и над разморенным столом заседаний выкладывал своё тяжеловесное слово, – но и по политическому таланту кто с ним тут мог равняться? Изношенный Чхеидзе плыл по течению прений, не влияя на них заметно, Скобелев болтался без дела и значения, его посылали затычкой во все места. Слюнявые народники – ничего тут не весили. Только внефракционный Гиммер был голова комбинаторная, с острым соображением, вытаскивал идеи быстро, но по поспешности, перескокам, и лишённый фигуры и силы, никак не козырял в вожди, шёл к Нахамкису в хорошие подручные, как обезьянка на плече, для проверки теоретического курса. И всё направляюще открывалось Нахамкису: и посадить Временное правительство на его шаткое седалище и вести голос Совета «Известия». (Не успевая сам, ввёл туда друга своей одесской юности Циперовича.)

Даже сам удивлялся, как легко ему всё подаётся, нет отпора, бери власть. Ещё один-два шага, он станет председателем Всероссийского Исполнительного Комитета Советов – и это высшая реальная власть, сильнее, чем буржуазный президент.

И тут – эта проклятая история со сменой фамилии. Нахамкис всю жизнь силился отделаться от этой позорной фамилии своего богатого, но недалёковидного отца, и даже подал, в военные годы, прошение о том на высочайшее имя, что для революционера считается последним позором, ибо там обязательная форма – «припадаю к стопам», – но не успело обернуться, а вот революция, и теперь больше всего боялся, как бы не открылось это «припадаю к стопам». И вот подлые буржуазные газетки подняли патриотический визг об «анонимах в Совете» – и как раз может всё разоблачиться. Буржуазная печать – духовная жандармерия.

И теперь – нашёл бы то гнусное прошение и своими руками бы уничтожил, – но в каких канцеляриях его искать? И ещё хуже станет заметно.

А обидно ужасно: при всех его талантах и представительности – налеплена как бы в насмешку унизительная фамилия, уродливей невозможно сочинить, – как будто связывает руки и ноги, заклеивает рот.

В пятёрку Контактной Комиссии Нахамкис вошёл тоже не рядовым членом, а – центральным, самым видным и настойчивым (Гиммер привычно рядом, Филипповский в стороне от главных политических вопросов, а ещё только – Чхеидзе да Скобелев).

С этой компанией и поехали сегодня в Мариинский дворец, в автомобиле не успели сговориться ни о тактике, ни о конкретных вопросах, а в общем виде: давить и произвести впечатление. Тем более инициатива переходила к Нахамкису, он-то всегда найдётся, и что сказать, и как сказать.

В вестибюле Мариинского было, как и в Таврическом: солдатский караул кто курил, кто спал на скамейках, винтовки лежали. Но дальше было интересно посмотреть. Длинная с поворотом парадная лестница с ажурными бронзовыми перилами, стены белого мрамора, а колонны розового, в нишах – статуи античных воинов. Потом один двухъярусный круглый зал, другой двухъярусный квадратный – с верхней галереей, лепным орнаментом на стенах, там и маски, а над дверьми ландшафты, – нет, не туда зашли, – назад через круглый, тут золочёные фигуры вроде грифонов, а паркет какой, ничего правительство устроилось, да всё ещё не пачкано, окурки нигде не валяются, да разодетые чванные лакеи – как им самим не

смешно своих манер? – теперь ещё один зал – Приёмная, с двумя каминами, высокими окнами на площадь, а по стенам опять барельефы, барельефы, – наконец ещё в новую комнату, где за бархатной синей скатертью их ждали четыре любезных и даже угодливых министра. И усевшись за этим столом – Нахамкис опять-таки возвышался крупной, крепко посаженной головой, оглядывал что своих незадачливых коллег, что этих припугнутых министров (почему-то не было главных – ни Милюкова, ни Гучкова), и, без лишней скромности, не мог не ощутить, что он тут – фигура центральная, поскольку Исполнительный Комитет доминирует над правительством. (Дождались! вот когда мы, красные радикалы, добрались и ущемим розовую либеральную блудливую слякоть.) Ещё никем так специально не названный и не выделенный, а становился в России чернышевец Стеклов – первым и главным человеком.

И это явное превосходство он посчитал необходимым выразить министрам на первой же этой встрече. И ждать долго повода не пришлось. Думал Нахамкис – сейчас они будут укорять ИК за резкие действия в Царском Селе, тогда бы им и всыпал. Нет, возражали очень деликатно, почти ласково. Думал – будет следующее столкновение о Верховном Главнокомандующем. Нет, ещё опережая советских гостей, Некрасов объявил им с улыбкой, что эта операция уже произведена, Николай Николаевич окончательно смещён, сегодня. Хорошо, но кто взамен? Алексеев? – реакционный генерал, Исполнительный Комитет не может и его допустить, даже временно! Князь Львов, благостно улыбаясь, спрашивал: а кого же? Вот тут Нахамкис не приготовил, не знал – кого. Тогда, успокаивал Львов, надо только чуть пообождать: Алексеев сам хочет уйти, и уйдёт.

А спор возник – об армейской присяге. Гиммер, который этой присягой много занимался, теперь выпрыснулся с упрёками, что Временное правительство действует самочинно, не оповещая Исполнительный Комитет: такой присяги они не имели права объявлять и даже в действие приводить, и всё без согласия ИК, и мы решительно ставим вето.

Застигнуты были министры врасплох: они искренно, кажется, не ожидали, они не подумали даже. Львов растерянно улыбался, расфранченный Терещенко принял вид размышления, Некрасов сочувственно и готовно развел руками: но как же теперь быть? Уже во многих частях присягали, не отменять же?

Но Нахамкис, единственный, кажется, тут среди них, кто оттянул действительную службу, знал и цену этой подлой воинской присяге, когтями забирающей душу рабочего и крестьянина. И невозмутимо продиктовал:

– Значит, отменить.

И вскинулся вдруг маленький смиренный Мануйлов, которому по своим делам просвещения тут бы и сидеть нечего. Он вскочил, хотя вообще говорили сидя, – и возбуждённо, даже вскрикивая, тоном личной оскорблённости стал выбрасывать, что создаётся совершенно невозможная обстановка, никакое правительство в мире не может функционировать под таким давлением. Он понимает – сотрудничество, он понимает – добрые советы, но признать над правительством открытый посторонний контроль он отказывается! И если говорить о произвольных действиях, то произвольно действует именно Исполнительный Комитет, ни с чем не считаясь и не спрашивая правительства. Так был произведен и этот безобразный влом в Царское Село, так был издан «приказ №1» и «приказ №2», и ещё неизвестно сколько приказов... И ещё, и ещё... – Мануйлов уже бессвязно, но всё горячей выпаливал, выпалился весь – и сел, уже смиренно, как бывает со взволнованными коротышками.

И – лучшего повода он дать не мог! Да и сам-то был – типичный выродец дегенеративного российского либерализма, нижняя ступенька лестницы от Герцена, вот по таким и бить. Кончилось ваше время! Нахамкис скрестил большие руки на большой груди, не только что не встал или не переклонился к министрам вперёд, но спокойно откинулся в покойную кресельную спинку, специально рассчитанную на отдых сановной спины и задницы, и стал тяжёлым басом поламывать:

– Господа. Вы же знаете: в любой момент, стоило бы нам только захотеть, мы беспрепятственно могли бы взять власть свои руки. И это была бы для России самая крепкая и авторитетная власть. И если мы этого не сделали и пока не делаем, то только потому, из теоретических социалистических убеждений, что считаем вас в настоящее время более соответствующими историческому моменту. Мы – согласились допустить вас к власти, да. На определённых условиях. Но именно поэтому вы не должны забываться. И не смеете предпринимать никаких важных и ответственных шагов, не посоветовавшись с нами и не получив нашего одобрения.

Так, даже рук спокойных не расцепив из скрестья, он уже усмирил их всех четверых, вместе с выдохшимся Мануйловым. Он высказал им уничтожающую вещь – а они держали на губах подобия вежливых улыбок. И всего только таких либеральчиков и смогла выставить русская буржуазия! Что за ничтожества! И как бы они хотели эскамотировать революцию, да силёнок нет.

Но надо было додавливать, надо приучить их раз и навсегда. Сам ещё не уверенный на все 100 процентов, но чтоб увериться до стенки – тем победоноснее внушал:

– Так что, господа, вы всё время должны помнить: стоит нам захотеть – и вы сейчас же исчезнете с русского политического горизонта. Никакого самостоятельного веса и самостоятельного значения вы не имеете. Вся ваша мнимая сила – только в нашем признании, и пока оно есть.

Сказал – и испытал торжество сильного мужчины над женственной тварью. Наслаждение презирать.

Голубые глаза князя Львова опечалились, подёрнулись чуть не слезой. Терещенко покраснел и откинулся, будто по обеим щекам принял заслуженные пощёчины. Мануйлов тихо сидел, надувшись. А Некрасов приспустил голову как наказанный пёс.

И обстановка – сразу очистилась. И уже легко пошло обсуждение, в чём именно будет состоять контроль деятельности правительства. Оно обязано заранее информировать Исполнительный Комитет о каждом своём важном шаге.

Подумайте, правительство согласно! Да правительство даже с самого начала предлагало ввести в свой состав на правах членов – какое-то число членов Исполнительного Комитета. Но Николай Семёнович отказался. А Александр Фёдорович любезно вошёл. Правительство уже приглашало от Исполнительного Комитета и контролёров над расходованием своих средств. Но и правительство тоже хотело бы, для ясности, как-то знать иногда заранее намерения Исполнительного Комитета?

Хорошо, вам будет передаваться сводка бумаг, поступающих в Исполнительный Комитет со всей страны, чтобы вы знали мнение народа.

А что это там, в Москве, началось какое-то сепаратное движение цензовых кругов – устроить Учредительное Собрание в Москве? Петроградский Совет не может допустить создания какого-то второго центра в России.

Нет-нет, это произвольные несогласованные попытки, правительство не давало им никакого одобрения. Учредительное Собрание будет готовиться в Петрограде, не сомневайтесь пожалуйста, господа!

Не очень Нахамкис им поверил. Но за эти дни он привык к сильным решениям, и сейчас в нём зрело ещё такое одно: через московский Совет рабочих депутатов заставить Москву саму отказаться от своей кандидатуры.

563

И как трудно каждый раз расстаться, невозможно уйти!

Потом кажется: не три часа пробыла у него, а одну минуту. При нём время ускоряется безумно, всё пролетает.

Пришла домой – и тут же хочется опять к нему. Воротясь – завидует сама себе: это – она была?

Так хорошо, как не бывает. Почему, отчего с ним так хорошо – не хочется анализировать.

И страшно: а вдруг всё гинет?...

Сказал: непридуманные влечения – всегда взаимны.

Да, каким-то странным образом и она – ведь создана для него, человека совсем-совсем другой жизни.

Его каждое слово так решаяще падает на неё. И – рада, что так. И с каждым его суждением её прежний мир изменяется, поворачивается. И – рада, что так.

Но даже уже и опасно: можно ли так сильно поддаваться?

*

* *

*Познала девка хмелинку,
Полюбил барский детинка,
С низу низовой купец.*

ДВЕНАДЦАТОЕ МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

564

Ещё в прошлый понедельник взгомилась Каменка, как прикатил этот слух, что царь нас покинул. Мол, в Питере пе-ре-во-рот.

Да бодай тебя с переворотом, только бы батюшка царь на месте остался.

Однако шёл день за днём, а слух тот не подпёрся. Или там, в Питере, обернулось назад? Никакое новое сотрясение жизни не докатило до Каменки.

И уверялись старики: не может такое в наши ворота вломиться. Никак не может Расея обезглавиться от царя.

Може так – чегоза какая намутила.

Но и Плужников мужик умозорный – что-й-то же знал, как портреты срывал. И подтверждал: «Так! Так. Без царя теперь.» (Уметнулся в Тамбов усейко.)

А в пятницу батюшке привезли пакет из Тамбова.

Открыл отец Михаил Молчанов, а внутри: ещё раз, уже из газет ему известные, Манифесты отречения Государя и великого князя Михаила. И послание Святейшего Синода к чадам православной Церкви: что переворот произошёл по воле Божьей, так как Господь в своих руках держит судьбы царств и народов, а православные христиане призываются ради миллионов жизней, сложенных на поле брани, и ради многих жертв, принесенных для завоевания гражданских свобод (то есть ради революционеров?...), – к повиновению новому правительству, облегчить его великое дело. И затем распоряжение Синода: объявить громогласно сии Манифесты во всех православных храмах, в сельских – по получении их в первый воскресный день, после Божественной Литургии и с совершением молебствия об утишении страстей, с возглашением многолетия Богохранимой державе Российской и благоверному Временному правительству ея, каковое возглашение и должно отныне войти в ектеньи вместо прежнего императорского.

Отец Михаил у себя в домике читал эти бумаги – и плакал вслух. Совершаемое было – выше его разума и вне пределов его воли. Недосягаемо был вознесен над рядовыми

священниками Синод, и сидели же там просвещённые и глубокомысленные иерархи, вот подписалось их два митрополита и шесть архиепископов, и не с лёту же, но по обдуманью и молитве приняли они решение.

Да, как будто так: раз Господь в своих руках держит судьбы царств и народов, надо и этот переворот принять как произошедший по воле Божьей. Хотя изрядно и начитан был отец Михаил, не мог он изыскать в священной литературе довода против этого довода. А сердцем чувствовал – неправоту его в применении к сегодняшнему. Да, вообще – так, а в этот раз – не так! Но – не мог доказать. И – не осмелился бы не подчиниться.

А от тамбовского архиепископа Кирилла, известного твёрдостью взглядов и крутостью нрава, сопровождение было такое: «Спешите делать, пока день есть. Уясните себе и пастве ответственность за целостность родины.»

И – всё. Но в этом можно было понять, что и Кирилл не согласен с решением Синода. И тоже не вправе бунтовать, однако что-то указывал.

Этот день весь, и следующий, отец Михаил много молился, ища вразумления от Господа, и не получал его. И ещё плакал. И бумаг никому не показал, кроме матушки.

И в субботу на всенощной возглашал по-прежнему: «о благочестивейшем, самодержавнейшем великом Государе нашем».

И в ночь на воскресенье решил, что так же прочтёт ектеньи и на литургии. Ведь это будет до объявления всех этих гибельных бумаг.

За столько лет службы как хорошо он знал свою простодушную паству. Лишь несколько было, всё мужчины, знатоков службы, ведавших полный смысл её и каждой входящей молитвы. А самые даже верные прихожанки не задавались знать службу, из чего именно она состоит, как что называется и почему оно в службу вставлено. Сотни раз простояв на обеднях – не всегда помнили они заранее, какие будут слова. Но едва эти слова произносились или пелись – они тотчас узнавали их сердечно, и были согласны с каждым, как сами бы их высказали, – все повторенья о Христе, о его страданиях, воскресении и о Богородице. В том и знали они воскресенье, чтоб с утра оттопиться пораньше, обрядиться к церкви, и выстоять службу, иногда отвлекаясь на хозяйственные и семейные заботы, потом снова возвращаясь к молитве, какая поётся. И этим общим молебным стоянием по воскресным утрам въедино связывалась вся жизнь человека, семьи и села – и давала перейти от одной недели к следующей. И в этом устоявшемся порядке была такая цельность, и так нерушимо было всё, что возглашалось веками, – язык священника не поворачивался теперь вдруг сменить возглашение. И прорезать церковную службу клином политического известия.

Но вот вышел отец Михаил на амвон – не с крестом, не с молитвенником в руках, а с бумагами. Не чужа пола под ногами, как бы не упасть. И с горлом пересохшим.

И читал прекрасные и бесповоротные слова царева Манифеста.

Вот как это врезало в грудь, обрушивалось на сердце: никаким бы газетам, никаким приехавшим городским не могли бы поверить и подчиниться так, как возгласию с амвона Христовой церкви. Отец Михаил читал миротворные слова синодского послания – и сам ужасался. Начиналось оно обещанием из послания Петра: «Благодать и мир вам да умножатся!» Обещало воззвание – но голосом отца Михаила: „Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит её Господь счастьем и славой на новом пути! И да благословит Он труды и начинания Временного Российского правительства, даст ему силы, крепость, мудрость...»

И всё это обещал теперь своей пастве отец Михаил. И это же самое обещалось ныне всеми священниками по всему российскому лику.

(А – зачем это мы делаем? – содрогался. – Зачем это нашими устами, священства? Наше ли это усердие?)

И вот если бы где в крестьянской массе могло бы вздыбиться противление – оно тотчас же и угасало церковно. Вослед тому – молебном об угашении страстей.

Спешите делать, пока день есть... Но – что же мог измыслить, как иначе изъяснить прихожанам отец Михаил? Священно царское отречение... Священно временное

правительство... Да умножатся вам мир и благодать...

В уморасступьи, в придавленном молчании выходил народ из храма.

Пал царь! и Богом освящённый престол его!

Выходили, в праздничной одежке, – но не растекались по домам. Лишь чуть разошлись по косогору кучками.

За эти последние дни накатила оттепель. Со стрех нарастали и обрывались сосульки. Повсюду рыхлел снег, легко уплотняясь под ногами и полозьями. Пожелтели дороги, и на них запрыгали первые грачи.

День стоял облачный, мягкий.

В кучках толковали.

Многие бабы плакали, и даже навзрыд.

– Ой-оиньки! – завапливали, бунили. – Да как же будет без царя? Да это ж горя будет?

– Без царя нам не прожить...

Домаха была крепкая баба, а тут – в слезах, Елисею:

– Да что ж он так сразу? Да что ж он на помочь не позвал?

Елисей от самого амвонного воззыва глядел с дикой мрачностью. И усудил теперь:

– Рыба с головы тухнет. Царя – господа предали.

Подошёл дед Баюня, с палочкой:

– Когда и рой пчёл без матки не живёт – как же вся Расея будет без царя? Да разве мысленно, чтоб хозяйство шло без хозяина?

Подошёл Яким Рожок, скрюченный в спине. Он – верное слышал:

– Прознали господа, что царь обещал после войны по 7 десятин каждому солдату. А это – 70 миллионов. Им – жаль расстаться. И выехали к нему навстречу – Жучков, Разянка и ещё кей-то – и силком отвергли от трона.

– Обдурели городские, – прогудел Елисей. – Государя императора не хотят! А – кого ж им другого надо? Да ведь конь станет на дыбки и узду выпустишь – так убьёт.

Плакала близко старушка:

– Ужо, Бог даст, он пожалеет нас и возвратится.

На всё Божья воля. Поживём – увидим.

– А кто это новое начальство поставил? Ох, не нажить бы с ним беды.

Но и такие пошли толки по кучкам:

– А ведь теперь война должна осотановиться...

– Да неужто солдатухи наши домой воротятся?...

И такое:

– Слышали? Вчера в Волохонщине... Приехал молодой барин, да такой добрый, такой услужливый. И всю землю дочиста мужикам в аренду отдаёт. И за неполную цену. Такого не бывало. Ведь это – к чему-то. Ведь он – там знает...

Потекло, потекло и такое:

– Теперь нам грамоту вышлют насчёт всей помещицкой земли. Разделить по душам, и баста.

– Да! Желаем такое управление, чтобы помещицкую землю раздали.

– А как по части податев теперь будя?

Услыхала Домаха и закорила их сильным воздыхом:

– Э-э-эх, мужики! Не в том одном, буде ли лучше-хуже, а: не было бы перед Богом неправды. О том судите.

Гуторили. Не расходились.

Как при покойнике.

За это время, от выхода из церкви, церковный регент Васька Еграш прошёл мимо толпы беспечально, в сапожках хромовых. Хоть и правил он церковный хор, а с клиром не сроднялся.

За это время седой представительный барин Владимир Мефодьевич, благодетель села,

поставивший тут школу и больницу, – вчера он приехал из города, сегодня был у обедни, теперь, потолковав с отцом Михаилом, медленно перешёл на ту сторону холма, в больницу, там у него и спальня.

И на школьное крыльцо вышел учитель Скобенников, он же Судроглаз, да по какой-то новой моде – с большой красной увязью на драном пальтишке. И как начали мужики уразумевать – та увязь была теперь как знак новой власти. Кто-то, стало быть, поставил Судроглаза в новую власть.

Теперь он стоял на крыльце, на возвыси, особняком, не сходя сюда к толпе, ни с кем не переговариваясь. И что-й-то подёргивался, потаптывался, как-то ему неймалось.

И тут услышался с верху села, с сампурской дороги – колокольчик. Резво ехали.

Показались. Общевня, в паре. И сидели в ней тоже двое, под тип мещан. И тоже с красным на груди.

Спустились сани на мостик – и опять поднимались сюда, по косогору. И пред больницей остановились.

И сошли двое – и хотя в одежке городской, а перепоясаны они были саблями.

Что это? – ахнули в толпе. Невиданность. Что это, зачем?

Что-то не к добру.

Их-то и ждал учитель – к ним напересек пошёл бодренько. И – махнул им, повёл в больницу.

Что это? что это? Небывалое. Стали перетягиваться мужики да бабы туда, к больнице ближе.

Доглядеть, узнать.

Полтолпы туда перешло. А другие тут – домой расходились.

Стали перед крыльцом больничным и ждали.

Постояли – и вышел Судроглаз на крыльцо.

Да раньше он обиходлив был с мужиками. Да ведь голошап.

А тут взъерохонился как новый барин и шумнул резко:

– Что собрались? Интересуетесь?... Распоряжением моим, волостного комиссара, попечитель арестован как за непризнание нового режима!

Арестован? Владимир Мефодьевич? – переахнула, перевздохнула толпа.

И замерла в молчании.

Во-он что!...

Не шу-утят!...

Да ведь и каждого могут!...

Теперь, знать, подастся наверх всякая шабарша.

А близу, по косогору, громко, весело заливались криками ребятишки, играя в снежки. Больно хорошо снег лепился.

565

(по свободным газетам, 11-12 марта)

ГРОЗНЫЙ ЧАС

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ. Движение на Петроград. Манёвры Гинденбурга.

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ! Германские полчища решили двинуться к Петрограду. Ещё есть возможность отразить удар, грозящий смертью нашим вольностям. Но если мы упустим последние минуты... за германскими полчищами вернутся свергнутые властители. Они уже втихомолку потирают руки... Объединимся вокруг Временного правительства – это люди энергии, таланта, безупречной честности. Они – представляют всю

нацию. **БЪЕМ В НАБАТ!**

... нанести удар столице, которая первая зажгла светильник свободы. Наш долг – прислушаться к призывным словам Временного правительства. Под красным знаменем свободы должно быть сделано то, что было невозможно под предательским флагом самодержавия. Объединить всю волю, весь разум народа и армии, чтобы сорвать германское наступление!

Граждане! Вы боитесь реставрации. Вы с тревогой всматриваетесь в лица: а нет ли тут мечты о возвращении Николая II? Вы осуждаете каждого, чей образ мысли кажется вам недостаточно радикальным. Но смотрите: немецкие реставраторы уже шагают, чтобы ввергнуть вас в позорное? рабство. Час последний и беспощадный! Или позор или светлая жизнь. Победа Гинденбурга – и застонет Россия... Змея монархии таится под руинами династии, пока Россия не отбросит немцев.

... Грянул гром – страна возродилась и зажигает армию. Большого подъёма нам не достичь. Напряжём силы, чтоб он разгорелся в священный костёр.

ВОЕННЫЙ МИНИСТР ГУЧКОВ НА ФРОНТЕ... Встречен нескончаемым «ура». Благодарил войска за службу и блестящий порядок. Указал на опасность со стороны врага. «Вы обещаете доверять новому правительству?» Солдаты подняли министра на руки и внесли в вагон.

Как нам сообщают из совершенно авторитетного источника, поездка военного министра на фронт тесно связана с подготовкой противником наступления на столицу. Прежние министры, кажется, ни разу не удосужились побывать на фронте. Гучков, народный руководитель военного ведомства, человек громадной энергии, подробно ознакомится с обстановкой на месте.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!!

О налогах. Несмотря на революционные обстоятельства или именно благодаря им, правительство призывает нас к аккуратной уплате податей и налогов... Русский подоходный налог – самый справедливый и демократический из всех налогов. Долг граждан – возможно скорей подать заявления о своих доходах.

ВЕЗУТ ХЛЕБ. Крестьяне, охваченные общим восторгом и проникнутые сознанием...

... Для пользы страны пусть и помещики и монастыри засевают свои поля, они тоже обязаны поставлять хлеб.

... Невероятные слухи об изменении состояния нашего фронта совершенно не подтверждаются. Армия – в полной готовности дать отпор врагу.

СТРЕМЛЕНИЕ НА ФРОНТ. В штабе Петроградского округа толпится множество офицеров за пропусками в Действующую армию. Желают отправиться на защиту родины, подъём духа небывалый.

... Достаточно ли понимают большевики ответственность демократии? «Правда», вооружившись марксистским учебником, с апломбом гимназистов младших классов палит по Временному Правительству. Впрочем, милые гимназисты от демократии не так страшны: их передовая призывает обучать солдат хоровому пению «Интернационала». Но эти безответственные призывы «долгой войну»? Интересно знать, как смотрит Совет Рабочих

Депутатов?...

Крик «долой войну» – чёрная измена, равная сухомлиновской.

«Правда» выступает со статьями, вызывающими негодование... Европа достаточно видела этих эмиссаров кайзеровского пролетариата, Зюдекумов, Парвусов, Раковских, слышала их коварные уговоры оставить свои отечества без защиты, когда Германия куёт новые мечи.

(«Русская воля»)

... Воейков предлагал открыть Минский фронт, а «Правда» своим лозунгом хочет открыть весь фронт.

... Диким кажется стремление каких-то анонимных старателей посеять рознь между солдатом и офицером. Это – работа на Вильгельма. Пусть те, кто преступной рукой расшатывают армию, попробуют сами довести до...

... Смертная казнь отменяется безусловно и навсегда! Наверное, ни в одной стране так, как в России, нравственный протест против этого худшего вида убийства не достигал...

ЖЕНЩИНЫ-АДВОКАТЫ...

Волнение уголовных в Таганской тюрьме... Их волнует весть об освобождении политических. Потребовали представителей министерства юстиции, иначе будут убивать надзирателей. Служащие тюрьмы жили этот день как на вулкане.

СПИСОК ПРОВОКАТОРОВ. В документах петроградского охранного отделения найден полный список секретных сотрудников. Приводим его...

ПОСЛЕ АРЕСТА БЫВШЕГО ЦАРЯ. ОХРАНА НИКОЛАЯ И АЛЕКСАНДРЫ. БУДЕТ ЛИ НИКОЛАЙ ОТПРАВЛЕН В АНГЛИЮ?

Гарантии Англии... Будет содержаться в условиях, которые исключают возможность сношения с нашими врагами.

... Интендантское управление уведомило администрацию царскосельского дворца, что в дальнейшем продукты для царского дома будут отпускаться исключительно по карточкам.

Тайна влияния Распутина на Александру... Как он сделался собутыльником Николая...

ПОРАЖЕНЦЫ... Движение на императорских верхах в сторону сепаратного мира пустило более глубокие корни, чем это известно... Уверенно говорят, что найденные документы послужат материалом для гласного народного суда...

Следственная комиссия о злоупотреблениях бывших министров.

Как уверяют, министр юстиции склонен к мысли предоставить дела Щегловитова, Протопопова, Горемыкина и др. суду присяжных. Следствие по делу Сухомлинова ведётся ускоренным темпом.

Дворянство. Чрезвычайное собрание объединённого дворянства вынесло резолюцию: «сплотиться вокруг Временного Правительства как единственной в России законной власти, поставившей себе целью защиту государственного порядка и доведение войны до победного

конца.»

Отмена национальных ограничений... В учебных заведениях торгово-промышленного ведомства отменяются все ограничения национальные и вероисповедные...

... Иностранные кредиторы воспряли духом, и доверие их к России в дни революции даже возросло. Курс русского рубля на главных рынках поднялся. Иностранные кредиторы сознают, что русский народ исправно будет платить все долги, сделанные ненавистным правительством. Весть об отмене национальных ограничений в акционерном законодательстве встречена в деловом мире с радостью.

Еврейская группа демократического объединения приглашает лиц, сочувствующих объединению еврейских беспартийных элементов...

... Общее собрание евреев-учащихся средних учебных заведений Москвы...

... Собрание московских фармацевтов постановило приветствовать министра юстиции Керенского и делегировать своих представителей в Совет Рабочих Депутатов.

Обер-прокурор Львов заявил представителям печати: Да, я за свободную церковь, но не за нынешних членов Синода... Ещё до Учредительного собрания я решительно освежу Синод. Нельзя оставить старых порядков в православном ведомстве.

У Львова – высшая власть, он может их всех отправить на покой.

... Собрание псаломщиков избрало трёх депутатов в исполнительный комитет духовенства.

... Ускорение бракоразводного процесса.

АМЕРИКА С НАМИ.

УСПЕХИ ФРАНЦУЗОВ. Наступление продолжается.

НЕУДАЧИ АВСТРИЙЦЕВ.

Наша бдительность на рижском фронте не ослабевает.

Революционное брожение в Германии. Германская печать замалчивает...

Первые раскаты грозы в германском рейхстаге. Социалисты угрожают поставить на обсуждение бюджет министерства иностранных дел.

Итоги подводной блокады. Потопление пароходов...

... Из Нью-Йорка по телеграфу сообщают, что там среди местных евреев обсуждается вопрос о посылке на русский фронт добровольческого и санитарного отрядов.

От комиссара г. Петрограда. До сего времени нередко производятся незаконные аресты и обыски лицами, преследующими корыстные и низкие цели.

... Третьего дня вечером у одной из остановок трамвая чёрным автомобилем было

расстреляно 7 человек.

Грузинов – командующий войсками. Подполковник Грузинов утверждён Командующим войсками Московского Военного Округа. Его помощником назначен генерал-от-инфантерии... В окружном военном совете чины штаба приветствовали вождя войск. Командующий сказал: «Я кладу в военное дело новый элемент: начала общественности и взаимного доверия.»

МИТИНГ ПРИСЛУГИ. В 7 ч. утра в кинематографе «Европейский» на Тверской-Ямской собралась многотысячная толпа кухарок и горничных. Давка была ужасная, шум, крик. Ораторши забирались на столы, стулья, говорили о злых и добрых хозяевах. Призывали провести ещё одну революцию, чтобы свергнуть хозяйское иго. Проходившие мимо кинематографа две элегантно одетых дамы оскорбительно выразились. Поднялся скандал, дам чуть не избили. Их препроводили в участок. Комиссар вместо составления протокола предложил им пожертвовать 50 рублей в пользу детей, дамы с радостью согласились.

Тем временем мимо «Европейского» прошёл полк солдат с музыкой. Густой толпой вся прислуга бросилась за ним, театр опустел. На Триумфальной площади опять был устроен митинг прислуги... Требовать увеличения окладов жалованья не меньше, чем втрое... Форма правления в России должна быть республиканской!...

... Союз художественных работников приветствует владельца электротeatра «Художественный» Брокша по случаю выпавшего на его долю счастья дать свой театр под помещение штаба революционных войск. Решено прибить на вечные времена при входе в здание на память далёким потомкам о великих днях...

МИТИНГ ОФИЦИАНТОВ. «Интересы рабочего класса требуют сплочения в рядах социал-демократической партии.»

Митинг слепых. Выборы в Совет рабочих депутатов.

... Суфлёр Большого театра привлекает к судебной ответственности Шаляпина за оскорбление словами на представлении 10 февраля.

Киев. На губернском земском собрании... заявил Франкфурт: в моём лице впервые здесь присутствуют евреи. Смею заверить, что еврейский народ отдаст все силы для завоевания лучшей жизни.

... Оратор-крестьянин говорил: «Примите нас в объятия любви. Примите нас, младших братьев. У меньшего брата есть и хлеб, и сало, и молоко, и масло, всего вдоволь. Осторожно, с любовью подойдите к меньшему брату, и он откликнется на ваш зов.» Оратора встречают бурной овацией.

Киев. Совет офицерских депутатов постановил: удалять портреты династии из общественных учреждений.

В училище имени Грушевского вводится преподавание на украинском языке. На собраниях начинает звучать украинская речь.

Одесса. Общественный Комитет выразил недоверие выборной городской думе и решил её распустить. Арестован ряд черносотенцев.

Владикавказ. Временный Комитет арестовал всё отделение Союза русского народа.

Баку. Взбунтовались уголовные арестанты, требующие освобождения.

Рыбинск. У собора манифестация опустилась на колени и трижды пропела «вечную память» павшим борцам.

Ярославль. Мимо Ярославля проехал неизвестный священник, открыто выражавший порицание совершившемуся перевороту. По телеграмме он задержан в Костроме.

Симбирск. Из ряда сельских местностей сообщают, что там царит старый порядок, стражники. О перевороте население узнаёт только по слухам.

Юрьев (Волжский). Крестьяне на базаре чуть не избили местного агронома, обвиняя земство в недостатке продуктов.

Котовская волость. Волостной сход решил оказать доверие Государственной Думе. Тут же урядник сам с себя срезал погоны и объявил себя сторонником нового строя.

... На сельском митинге протоиерей сказал: «Лютого зверя, угнетавшего нас, наконец посадили в клетку.» И текстами из Св. Писания доказывал, что республика – именно тот строй, который завещан Богом.

... Во многих губерниях – Нижегородской, Тверской, Владимирской, Черниговской, Полтавской, население желает решить земельный вопрос само, до Учредительного Собрания.

РЕСПУБЛИКА ИЛИ МОНАРХИЯ? Как бы ни разрешило этот вопрос Учредительное Собрание, **объявления и реклама** останутся основой народно-хозяйственной жизни.

Поправка. В №... «Русского слова» вкралась опечатка: исправляющим обязанности главного военного прокурора назначен генерал не А. Пушкин, а В. Апушкин.

Барышня просит каких-либо вечерних занятий.

Молодая интересная дама весёлого характера желает быть компаньонкой.

ИЩУТ КРОВАТЬ желательно стиля Людовика XV или рококо.

Полную стоимость плачу за бриллианты, жемчуга, золото, квитанции всех ломбардов и искусственные зубы. Ювелир Фистуль.

ГРАЖДАНЕ!

ВСЕ ДЛЯ ВОЙНЫ! ВСЕ ДЛЯ СВОБОДЫ!

Германия готовит прорыв! ... Военный министр во всеуслышанье заявил, что немцы готовят России страшный удар. Подвозятся миллионы снарядов, тысячи орудий. Солдаты и рабочие! Устремите весь наш труд – на фронт! Немцы несут на своих штыках трон Романовых! Лозунг «долой войну» – измена родине!

Угроза Петрограду. Очевидно, военный министр имеет данные о намерении Германии нанести такой удар. Гинденбург давно лелеял в мечтах поход на Петроград. Отечество и свобода в опасности!

... Если мы поведём войну с такой же гениальной стройностью, с какой провели революцию, – то дело свободы сделано. И с Вильгельмом II будет то, что вы сделали с Николаем II. О чём можно думать сейчас, кроме этого успеха?... Русские люди! Неужели вас не охватывает дрожь гнева при мысли, что ваша судьба зависит от Вильгельма? Неужели нет в вас священной ненависти к этому Сарданпалу Европы?

СВОБОДА – В ПОБЕДЕ! Нашей свободе внутри страны никто и ничто не угрожает. От финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясённого Кремля до неподвижного Китая вся страна признала Временное Правительство. Но у ворот страны... Поражение врага – это будущее нашей демократии. Без победы не может быть свободы.

... Мы верим в благоразумие русского народа, и потому надеемся, что расчёты Германии не оправдаются.

Князь Львов опровергает слухи о прорыве нашего Рижского участка.

... Умерьте страх! Каждый день плодит слухи об опасностях...

**СОЮЗНИКИ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛИ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ПОСЛОВ В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ.**

Великобританский посол... Испытываю особую радость... оказать полное содействие Временному Правительству во всём, что касается успешного ведения войны... Необходимо более, чем когда-либо, сосредоточить внимание на войне... Великобритания убеждена, что Временное Правительство сделает всё возможное, чтоб довести войну до победного конца.

Итальянский посол... Дело возрождения России с такими деятелями несомненно будет доведено до конца...

Французский... Желание довести войну до конца воодушевляет вас в вашем благородном подвиге...

Милюков... о твёрдом решении неуклонно соблюдать союзные договоры. Но я скажу больше: великие идеи ныне получают твёрдую опору в идеалах русской демократии... Вся страна убедилась, что при прежнем порядке победа не могла быть достигнута. Это убеждение сделалось даже первым источником совершённого народом переворота. Могу вас уверить, сэр Джордж, что исход этого переворота не может противоречить его причине. Взгляните кругом – рабочие уже стоят у станков, дисциплина восстанавливается в войсках. Наша сила удвоена переворотом.

... Надо разъяснить крестьянам, что они не должны допускать захватов чужой собственности. Крестьяне землю получают, но в законодательном порядке... Надо убеждать крестьян везти свой хлеб для продажи.

СУДЬБА РОМАНОВЫХ. Преобладает мнение, что низложенного царя и его семью необходимо как можно скорей удалить за пределы России. К этому склоняется и большинство министров. Этот вопрос не вызывает сомнений. В ближайшие дни будет выяснен порядок следования их из пределов России.

... Самый снисходительный суд не найдёт для Николая II меры наказания, достойной его преступлений против народа. Его надо изгнать из России и этим запечатлеть конец царизма! Ибо низложенный узник опасен для русской революции, к нему будут тянуться монархические чувства, вокруг дворца-тюрьмы сгустятся легенды. Удалите Николая II из России – и о нём забудут как о ночном кошмаре.

(«День»)

Ходатайство Николая Романова. Бывший царь обратился с просьбой разрешить ему чтение газет. Временное правительство не нашло препятствий.

ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА.

МИТИНГ ЕВРЕЕВ. 11 марта в помещении московского цирка Никитина... огромное помещение набито битком... Собрание открыл Фукс, указавший на огромное значение совершившегося политического переворота для судеб еврейского народа. В борьбе со старым порядком немало евреев погибло на плахе и в далёкой Сибири. Затем выступает московский раввин Мазе. Председатель митинга напоминает о роли Мазе в деле Бейлиса. Многотысячное собрание стоя приветствует... Растроганный Мазе плачет. Огромное впечатление производит речь раненого русского офицера: «Я пришёл приветствовать свободных граждан, русских евреев! Еврейское бесправие – это тёмное пятно на совести русской интеллигенции.»

Решено созвать чрезвычайный съезд российского еврейства.

Генерал Лечицкий – Главнокомандующий Западным фронтом.

Английские офицеры о дисциплине... Дисциплина у нас строже, чем у вас... Отдание чести характеризует полк. Солдат не может обратиться к офицеру без унтер-офицера... Во французской ещё строже, и за побег со службы солдата расстреливают... Наши рабочие на время войны отказались от 8-часового рабочего дня.

Положение в Кронштадте. Получены весьма успокоительные сведения. Солдаты и матросы поняли ту опасность, которая грозит Петрограду, если не водворится немедленно порядок и спокойствие... Матросы отказались отпустить в Петроград арестованных 300 офицеров, мотивируя тем, что моряки-офицеры вскоре понадобятся на кораблях.

... Прошло 2 недели, как существует Совет Рабочих и Солдатских депутатов, а между тем не только в остальной России, но даже в Петрограде мы, граждане, не знаем точно состава ни Президиума, ни Исполнительного Комитета... Со всех сторон раздаются вопросы и недоумения.

ВЛАСТЬ БЕЗУМИЯ. «Правда» требует власти для демократии, и в каком стиле! Временное Правительство она называет контрреволюционным! Дальше и цитировать не стоит. Позволительно спросить: да кто ж эти анонимные борцы за демократию?

«Правда». В тот день, когда московские большевики посвятили своей партийной газете целый гимн, – во всех больших газетах был опубликован список провокаторов, и на первом месте – Черномазов, главный редактор «Правды». «Всё выше вздымавшиеся волны рабочего движения вынесли на своём гребне»... шпиона, которому охранка платила 200 целковых в месяц. «Вокруг революционных лозунгов большевиков объединилось 4/5 сознательного пролетариата» – посредством провокатора.

«Князя церкви» сделали скачок. Перед Победоносцевым они пресмыкались. Против кошунства Распутина не смели поднять голоса. Черносотенные иерархи, защитники погромов, влачили в грязи не царскую мантию, давно загрязнённую, но крест. А теперь они требуют, чтобы полнота церковной власти перешла к ним. Но свобода церкви не в том, чтоб она была отдана наперсникам разврата и предателям. Их выход – в отставку, на покой. Пусть уйдут – и верующая Русь найдёт пути очищения осквернённого храма.

(«Биржевые ведомости»)

... Покорнейший святейший синод, воспитанный в рабском послушании, вдруг восчувствовал любовь к свободе! Члены синода подняли знамя восстания против прокурора. Захотели ни много ни мало как всей полноты власти по церковному управлению! Какой фарс! Не теперешним членам синода говорить о церковном строительстве... Они запятнали себя рабским служением преступной династии. Обер-прокурору остаётся только устранить всех этих бунтующих епископов... Нельзя не предвидеть, что и для православия теперь наступает эпоха реформации, и внутреннее содержание вероучения должно испытать существенные изменения.

(«Русская воля»)

Обыск в Александро-Невской лавре . Подозревалось укрытие полиции. Выяснилось, что этот стук – от работы могильщиков.

Вопрос... Духовные круги очень интересуют вопрос, как отнесётся новый обер-прокурор к пресловутому известному харьковскому черносотенному профессору Остроумову...

Священник.

Киев. Произведены обыски у местных деятелей Союза русского народа. Сняты допросы.

ГДЕ ИЗМЕНА? В окрестностях Москвы произведен чрезвычайно важный арест... Арестован сын председателя всероссийского монархического союза – по заявлению крестьян, которые никак не могли понять, чем занимается дачник...

Разоблаченные враги народа. На ст. Уваровка толпа избивала известного черносотенца Киселёва...

... Городовые старше 50 лет не посылаются в армию, но некоторых приходится придержать под арестом.

... В ссылке и за границей – тысячи лучших и смелейших людей России. Пусть их места займут те, кому несладок новый режим.

Ярославль. Трогательная просьба политических об освобождении уголовных: ведь они попали при старом режиме, гнёт старого порядка натолкнул их на преступления!

... В умах запуганных людей революция – это дикое разрушение, беспросветная долгая смута, убийства, пожары, осквернение храмов, изнасилования, толпа упивается вином и кровью, женщины превращаются в гиен, озверевшая чернь носит на пиках отрубленные головы, на площадях гильотины, и шлют на плаху тысячи невинных. Из страха перед этим маревом благородные люди мирятся с тиранией. Но да будут благословенны вечнопамятные дни 27-28 февраля! Где же гильотины? где же окровавленные головы? где обезумевшие мегеры? Напротив, новое правительство отменяет смертную казнь. Ах! Революция – вовсе не разрушение. Наша армия – с одушевлением... Рабочие на заводах торопятся наверстать...

(«Новое время»)

... Социалисты-утописты были застрельщики новой жизни и барабанщики её, и кожа на их барабанах была соткана из самых тонких нервов...

... Создан гимн, посвящённый министру-президенту князю Львову. Но почему-то первоклассные композиторы уклоняются от создания гимна революции...

... профессор Бурденко ставит себе первой задачей раскрепощение Военно-медицинской Академии.

... На ст. Торнео немецкие шпионы легко проникают через границу, так как пограничники и жандармы покинули свои посты, лишь только началась революция.

... Упразднённый жандармский корпус вёл наблюдение за агентами немцев. Поэтому теперь, в его отсутствие, все граждане призываются быть осторожными и молчаливыми, сохраняя тайны воинских передвижений от безжалостного врага.

Упразднение капитула орденов. Большая часть существующих орденов и знаков отличия будет отменена.

... Французам предоставлены льготы при подписке на новые русские акции.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПЕРЕД ВОЙНОЙ. По всей стране раздаются голоса, чтобы не отсрочивать вступления в войну, но чтобы Германия почувствовала всю силу американской демократии. И недостаточно давать союзникам припасы, но надо послать войска во Францию... Сенатор Рут сказал: «Каждый американец должен испытывать огромную радость, что наконец Америка вступает в войну...» Ректор Принстонского университета заявил: «Я как пацифист считаю, что мир должен поддерживаться всякой ценою, в настоящее время ценой войны.»

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. Македонский фронт... Итальянский...

Западный фронт... Цель германского отступления – укорочение оборонительной линии. Теперь подготовка союзников к наступлению потеряла значение, всё придётся начать сызнова, на что понадобится несколько месяцев. Отступая, германцы всё разрушают и уводят население. Гинденбург считает, что это отступление было одной из гениальнейших операций войны.

... После расстрела толпы на улицах Гамбурга женщины подожгли город.

... Счастливый государственный переворот в России, блестящее наступление союзников на Западном фронте, ожидаемое выступление Соединённых Штатов против Германии, – наше будущее с каждым днём принимает всё более светлые очертания.

(«Новое время»)

... Над могилами жертв революции будет воздвигнута колонна, превышающая все существующие донныне в Петрограде.

... Тщательное расследование выяснило, что все слухи о чёрных автомобилях, стреляющих по ночам, лишены всякого основания. Такой стрельбы не было. Петроградская городская дума единогласно постановила выразить доверие гласному Козицыну, сожалея о несчастье, которое случилось с его автомобилем 15-00.

... На митинге прислуги на Кирочной одного солдата так сжали, что его ружьё дало три выстрела. Ранена одна женщина и солдат в ногу.

ЕЩЕ ОДНА СВЕРГНУТАЯ ГИДРА. Тотализатор на ипподромах больше существовать

не будет! Сколько было жертв, сколько отчаяния в семьях... Слава Богу!

... Весело прошли в субботу митинги парикмахеров и сапожников... Многолюдное собрание швейцаров... машинисток-переписчиц... служащих бань...

Зубные врачи, собравшись на митинг, горячо приветствуют и поддерживают Временное правительство... и возбуждают ходатайство, чтобы все зубные врачи, призванные на военную службу, были немедленно возвращены обратно.

Собрание чинов министерства внутренних дел. В опровержение упреков всей массе чиновников в неискренности и быстром приспособлении к новому строю, заявляем: чиновничества, приверженного старому строю, нет и никогда не было. Чиновничество более всех терпело гнёт и несправедливость и ныне искренно приветствует новый строй.

... Администрация московской телефонной сети до революции неизменно отказывала охранке установить подслушивание, отговариваясь тем, что это технически невыполнимо.

Праздник русской революции. Шапки снимите! Сегодня Москва отмечает всех павших в борьбе с произволом. Слава тем, кто смелой рукой сорвал корону с безумной головы самодержца.

РЕЧЬ ГРУЗИНОВА перед солдатскими депутатами... «Рука об руку со мной идти на пользу нашей дорогой родины. Призываю солдат к дисциплине. Вам часто приходится встречаться с плохими офицерами, но Я говорю вам: потерпите! Раньше и я терпел и подчинялся, а теперь, как видите, подчиняются мне.» По окончании речи расцеловался с председательствующим солдатом.

Житомир. На армейских знамёнах преобладают надписи: «Да здравствует республика», «Смерть изменникам»...

Астрахань. Неделя торжеств и ликований неожиданно закончилась побегом уголовных арестантов. Собравшаяся близ тюрьмы толпа приняла их за политических и встретила криками «ура». Затем оказалось, что все они вооружены револьверами. Исполнительным комитетом постановлено: арестовать всех чинов полиции без исключения и оставшихся на свободе черносотенцев.

Екатеринослав. Продолжаются аресты полицейских чинов, все помещены в кинотеатре.

Баку. Начальник тюрьмы телеграфно заявил Керенскому, что восторженно признаёт новое правительство. Но уволен ввиду отвратительного состояния тюрьмы.

Киев. Уголовные объявили голодовку, требуя своего освобождения. Прокуратура освободила 27 чел., голодовка прекратилась.

Одесса. В некоторых деревнях тёмными личностями начато подстрекательство к аграрным погромам.

Поправка. Во вчерашнем номере «Московского листка»... «близость политических к преступным элементам столицы». Следует читать не «политических», а «полицейских».

Готовится к печати роскошная художественно-иллюстрированная

ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ

под редакцией кн. Пав. Долгорукова, в 9 выпусках. Участвуют виднейшие...

500 руб. тому, кто укажет квартиру 8-10 комнат с двумя людскими. Зубной врач Фенхель.

Дороже всех плачу за драгоценные камни, золото...

Благочестивые христолюбцы! К вам обращается с мольбою... Наш деревянный храм существует 200 лет, тесный, убогий, всё разрушается... Прихожане у нас бедны, земля песчаная...

Дедушкин квас. Доставка на дом от одного ведра, в бочатах – до 20 вёдер.

566

В Риге вчерашний день прошёл замечательно. Не только обошлось без всякого покушения (и сразу забылось), не только не болело сердце (и сразу забывалось), но через все свои официальные присутствия Гучков убеждался, что тут, в 12-й армии, ищется верный путь отношений с солдатами. На молебствии в соборе толпились тысячи депутатов от солдат. На параде Радко-Дмитриев произнёс речь о непобедимости русской армии – и последован был восторженным «ура» войск и народа. И члены Думы призывали народ сомкнуться вокруг Временного правительства – и тоже победоносное «ура». Потом войска стройно шли с музыкой по городу. Явно верна была линия Радко на сотрудничество с комитетами! (И это оправдывало линию гучковских приказов по министерству.) Из двух возможностей – давить комитеты (но нет сил!) или поддерживать их – в 12-й выбрали поддерживать. И Гучков в своих речах перед частями, и когда с «Храброго» его выносили в автомобиль на руках (вот вам и флот! на миноносцах он нашёл единение офицеров и матросов), и в приёме военных депутатий – всё уверенней видел правоту этой линии и, обобщая, заявлял уже (и начал верить сам), что ложны слухи о двоевластии в Петрограде, но Временное правительство работает в полном согласии с Советом депутатов.

Так ощутил Гучков этот рижский день как физическое и душевное выздоровление. Да, и в новых условиях – армию можно вести, вот так! И что-то подобное начал делать уже Колчак. И теперь надо бы распространить этот опыт хотя бы на весь Северный фронт, самый угрожаемый от революции. И вчера Гучков телеграммами из Риги назначил на сегодня совещание в штабе фронта и вызвал туда командующих 5-й и 1-й армиями Драгомирова и Литвинова.

Вероятно нехорошо, что так холодно проехал давеча Псков, не повстречавшись с Рузским. Вообще Гучков не симпатизировал Рузскому и раньше: никакой он не генерал – ни дерзости, ни личной смелости, ни порыва в поход и бой. Да всякая мелочь, даже продолжительное лечение Рузского в Кисловодске во время войны, да и с японской войны заболел – и на фронт не вернулся. И то, что десять дней назад они вместе тут были равными участниками царского отречения, – их не сблизило, но было Гучкову даже неприятно при возникшей теперь субординации.

А сегодня, ответно на вчерашнее пренебрежение, Рузский демонстративно не встречал военного министра, а только Данилов-чёрный, с лицом всегда обиженным.

Были и депутатии от войск и населения, пришлось произнести речь. На том самом вокзале, где стояли недавно императорские синие поезда. Но тогда всё обошлось тут же, в вагонах, а сейчас ехали в штаб. (Машу оставил в вагоне. Умница Половцов, всё более

необходимый, был при Гучкове неотлучно, записывая мысли и распоряжения.)

Драгомиров и Литвинов были уже в штабе. Сразу начали совещание.

Но всё пошло иначе, чем в Риге. Никаких ни у кого приятных достижений, а настроение ссадилось, скосилось, почти на опрокиде. Оба командующих армиями, по той же ли революционной свободе не выказывая никакого уважения к военному министру, почти яростно накинулись на него, непочтительно когтя и браня в его лице как бы всё безудачливое Временное правительство и весь мятежный Петроград. Они жаловались на мерзость тыла, разъедающего их тылы, диффузия из Петрограда, требовали от Гучкова суровых мер против комитетов и против развала! И что вопрос отдания чести – так и повис в двусмысленности, слово министра не сказано, все понимают по-разному и каждый день оттяжки запутывает ещё больше. А денщики? – будут существовать, не будут? Надо же это ясно решить, офицерско-солдатские отношения и без того напряжены.

Ещё литвиновская 1-я стояла дальше от Петрограда и в глухом краю за Полоцком, а у драгомировской 5-й в центре был Двинск, уже взроенный как чуть ли не сам Петроград, – и не было жизни самому штабу армии. И Драгомиров...

– Да вы не видели Петрограда! – возражал Гучков. – До вас, господа, настоящая революция ещё не докатилась. Идти против общего течения невозможно, а приходится канализировать, балансировать.

А Драгомиров настаивал, что – докатилась. В Двинске и вокруг – аресты, задержания, смещения, выборы офицеров, преследование немецких фамилий, – что же остаётся от армии? В офицерах и генералах упала уверенность.

Он тем напористей это говорил, что сам был генерал довольно отменный, и носил известную боевую фамилию, сын знаменитого военного теоретика Михаила Драгомирова. И этот, Абрам, и брат его, Владимир, – оба генералы на высоких постах, резкие и решительные.

– И как можно терпеть такое вмешательство этих советов рабочих депутатов! И как мы можем мириться с особым положением петроградского гарнизона – не тронь, они воевать не пойдут?

Гучков ещё оправдывался:

– Да поймите, физическая сила – у Совета рабочих депутатов. Запрещать комитеты – это только вызвать огонь. Крутых мер принимать категорически нельзя, от них будет только хуже! Если со временем удастся удержаться и укрепиться – вот тогда и наведём постепенно порядок.

Он высказал это всё открыто, чтобы верней убедить их, но тут же и пожалел, что соткровенничал. Он почувствовал, что и без того он был для Драгомирова и Литвинова – не военный министр, а бунтовщик, захвативший место.

А вот Драгомиров приказом по своей армии вообще запретил солдатским «депутатам» ездить в Петроград. И именно отказался признать ротные и полковые комитеты!

То есть как раз противно правильному пути!

А сухой сдержанный Рузский со своей мордочкой зверька в очках, хотя не поддерживал натиска генералов, но тоже щетинился и принял сторону противную: что политические события отозвались чрезвычайно болезненно именно на Северном фронте. Расстроены продовольственные, вещевые и артиллерийские запасы, а укомплектования перестали прибывать. И – цифры.

– Но что предпринял штаб фронта? – горячился Гучков, всё больше нарастало в нём раздражение к пассивности Рузского.

Рузский – «телеграфировал и писал в Ставку».

Хороший выход! Вообразил Гучков этого сухого, капризного, скользкого и вечно недовольного генерала – в Ставке, на должности начальника штаба Верховного, или даже самим Верховным, как прочили его левые в правительстве и Керенский, во всё сующийся: а куда он будет писать оттуда? Всё правительству?

И всегда Рузский давал своему фронту самую пессимистическую оценку, что он наступать не может (Гурко выражал удивление, отчего ж противник не сообразил и этого

фронта не прорвал), – тем более сегодня костенел. А Гучкову бы хотелось именно Северный фронт и отодвинуть от Петрограда.

И для себя он выводы сделал. Последнее время он ни одного разговора ни с одним военным не вёл просто, но с постоянным внутренним примериванием: соответствует ли тот своему посту? Относительно этих трёх ему стало сегодня вполне ясно, что их надо всех снимать. Но не сразу всех трёх, у этих – имя, а Литвинова, к тому же зубра консервативного, снять завтра же.

А пока – он холодно отрезал им: чтобы в борьбе за дисциплину они не рассчитывали на военно-полевые суды и тем более смертную казнь: её не может быть в свободной стране, её отменит правительство со дня на день.

Прервались на обед – натянутый, с нелёгким поиском дружелюбных тем разговора, а тут ещё Болдырева тревожно вызвали от стола и сообщили, что сошёл с ума адъютант Рузского граф Гендриков и хотел застрелить Главнокомандующего. Его обезвредили, но надо было меры принимать и докладывать, и так получилось, что за обедом же.

Всё расстроилось, ну времячко.

Сбили Гучкова с мажорного рижского дня, с уверенности, что открыли выход спасения.

Придумал послать на Северный фронт передового епископа Андрея Ухтомского, пусть он тут поагитирует.

Можно уверенно сказать, что ни один военный министр России ещё не работал в такой обстановке.

Но и ни один военный министр не всходил на пост, окружённый таким революционным ореолом. Ни один не всходил с такой смелой широкой программой реформ. Да, Совет давит, стихия разливается, – но в том и искусство, чтобы в этой обстановке успеть совершить реформу. Все высшие чины армии сейчас разделились для Гучкова на тех, кто сочувствует его реформе и поливановской комиссии – и кто не сочувствует и брюзжит.

Например, в Риге Гучкову подали сообщение, что в Петрограде Военный Совет, составленный из старейших генералов не у дел, в заседании свидетельствовал Временному правительству своё восхищение быстрым восстановлением порядка и законности в нашем дорогом отечестве и свою солидарность с реформами вооружённых сил. Даже эти старые дряхлости, Гучков и не ожидал. Вот такая наступательная сила была у его реформ!

Но его главную подготовляемую реформу ещё никто не знал, кроме самых доверенных, она зрела как скрытый удар огромной силы. Старых, неспособных, сто или двести, снять одним махом! – к ним милосердия быть не может, выбрасывать безжалостно. «Дорогу талантам», не считаясь с иерархией, – на это может решиться только министр от революции. Конечно, могут быть ошибки, но общим ходом омолаживательной реформы всё оправдывается.

А готовить это Гучков придумал так. Заказал представить ему список всех командиров корпусов и начальников дивизий. Теперь – опросить человек пять-семь из доверенных и хорошо осведомлённых генералов или полковников, – и так против каждой фамилии записано будет пять-семь мнений. А затем в последней графе из этих частных мнений составит среднее арифметическое о каждом: может ли остаться на своём посту? или достоин повышения? или подлежит изгнанию?

На зыбком болоте между Советом и Временным правительством если это успеть сделать – вот и решена задача, спасена армия и выиграна война!

567

Остался генерал Алексеев не только без Верховного Главнокомандующего над собой, но теперь выясняется, что – и без правительства.

На его столе всё лежало и жгло тайное письмо Гучкова в конверте, взрезанном по кромке и с невзломанной посередине ало-красной накладистой сургучной печатью.

Время от времени Алексеев вынимал письмо из конверта и снова с изумлением

вчитывался. Жестокая действительность – ладно, отбросить всякие иллюзии – хорошо... Но если правительство само признаёт, через неделю после своего создания, что оно *не располагает какой-либо реальной властью*, – то зачем же они носят название правительства? По военному ведомству, пишет Гучков, ныне представляется возможным отдавать лишь такие распоряжения, которые не идут вразрез с Советом! И только **может быть** удастся, совместно со Ставкой, принять какие-либо осуществимые меры для спасения армии и государства. Но при этом не ждите: ни пополнений, ни новых формирований, а с техническим снабжением и продовольствием – неизвестно как.

А в оперативных планах, намечаемых с союзниками, советовал Гучков «исходить только из реальных условий современной обстановки».

То есть прямо: от весеннего наступления – отказаться!

Так если б хоть на два дня раньше он это написал! – Алексеев бы не позорился, не врал бы в письме к французам, что задерживают выюги и распутица.

А это – нечестно. Союзники идут на большое наступление, Нивель пишет, что введёт в бой **все** силы французской армии, будет добиваться решительных результатов. Подводить их – нечестно. Надо сказать им правду.

А как стыдно и тяжело её выговорить!

И достаётся, конечно, – Алексееву...

А в его положении – ничто не изменилось от поста Верховного, и никому не мог он передоверить работу начальника штаба – но все бумаги пропускать только через свои руки. И писать письма, письма нанизанным мелким почерком.

Надо же Гучкову отвечать. Что ж, ваше письмо от 9 марта я принял к сведению...

А – как ещё?... Это – невыразимо словами...

Навалить на него все армейские трудности (по обычаю рапортов ещё и преувеличивая их)? – может это призовет их к ответственности. Вот – недоконченная гурковская реформа по переводу пехотных полков в трёхбатальонный состав (чему Алексеев возражал зимой ещё из Севастополя, не мог Гурко предвидеть революции, но вина на нём): теперь и старые и новые дивизии в некомплекте, и перетасован командный состав, не сознакомился с солдатами, и такие полки особенно беззащитны против разложения... Хорошо осведомленный противник захочет использовать наше ослабление в результате нынешней пропаганды – и в том поражении неизвестно кого обвинит мнение армии. Вся задача теперь – как отсрочить наши обязательства перед союзниками или совсем уклониться от их исполнения – но с наименьшей потерей нашего достоинства. А выполнять их мы не можем. Я пока ответил союзникам, что мы будем готовы наступать не раньше первых чисел мая, но теперь, читая ваше письмо, вижу, что и раньше июля они не могут на нас рассчитывать, – только как им это объяснить благовидно, не роняя лица России? Да ведь мы находимся от союзников в материальной и денежной зависимости – и что если в ответ откажут нам?... Да, нам бы сейчас месяца четыре посидеть спокойно, – ну а если неприятель нас атакует? – мы обязаны драться, и тогда правительство пусть выручает нас из «реальных условий современной обстановки». Если запасные тыловые части развалились нравственно – то может быть отбирать из них лучшие элементы и слать пока на фронт, а мы их здесь доучим при полках? Наконец и продовольствие. В дни таких потрясений питание особенно важно. Хорошо накормленный солдат более склонен слушать голос благоразумия.

Всё – в одну сторону, растянуто, ответ ещё будет ли? – где-то надо остановиться, а то можно писать бесконечно. Гучков поехал в Ригу – а не лучше ли бы ему в Ставку?

Выдохнул тяжело, сник над столом. Утомлёнными очками смотрел на конверт министра, на эту крупную ало-красную печать против своего лица, заползающую закрыть всё поле зрения. В центре сургуча можно прочесть буквы: «военный министр», – видно, печать не пострадала в перевороте, так и досталась от Беляева Гучкову. Сургучный нашлёпок был почти кругл, лишь по одной длинной дуге выдавалась узкая отдавлинка, а в другом месте застыл рельефный острый выбрызг.

Хорошо, ответ Гучкову отдал перепечатывать Тихобразову. А тот подал ему отпечаток

секретного письма, отправленного всем главнокомандующим. Это – то письмо, к которому он прикладывал свою переписку с Жаненом о сроках наступления и предлагал им высказаться, какой же самый ранний срок реален? насколько революционное движение уже отразилось на нравственной упругости войск боевой линии? И если степень расстройств уже чувствительна, то не надо обманывать себя – и сократить наши задачи.

Сутки назад написано – а как уже всё недостаточно выражено! Тайное письмо Гучкова – опрокидывало всё дальше.

И порядочность, да простой деловой смысл, да военная общность – требовали также и это гучковское письмо не скрыть от главнокомандующих.

Итак, что ж, вдогонку надо им опять писать. Стал тут же нанизывать привычные строчки.

... С тяжёлым чувством передавая вам письмо военного министра... Можно понять, что до июня-июля нам предстоит перейти к строго оборонительным действиям. Значит, должно быть изменено и расположение наших сил... Сосредотачиваться на опаснейших направлениях возможных атак противника...

И – ещё долго, подробно.

Но не успел кончить этого письма – сообразил, что ведь ещё нужно одно письмо писать Гучкову...

Милостивый государь Александр Иванович. Чтоб определить наиболее ранний срок наступательной операции, прошу не отказать осведомить меня: насколько можно считать боеспособным флот Чёрного моря?... И в какой последовательности можно ожидать в Балтийском восстановлении подводных, минных, крейсерских, линейных кораблей... Только откровенное изучение состояния...

Нет, этому конца не видно. А – никуда не уйти от нового прямого ответа союзникам, и даже нельзя его задерживать позже завтрашнего дня.

И как стыдно! – с разницей в четыре дня – то писал только о распутице, и вдруг...?

Набрасывал черновик.

... Это всё заставляет внести перемены в соображения о действиях ближайшего времени и повлиять на решения французского Верховного командования... По мнению моему, не истощать до решительного момента французскую армию и сохранить её резервы до того времени, когда мы будем способны совокупными усилиями атаковать врага на всех фронтах...

Внутренне весь изошёл. Неважно чувствовал. Голова покруживалась.

Покруживалась...

... покруживалась красная сургучная печать, почти круглая, так что могла вращаться и катиться.

Вращалась. И – отдавлила резала как лемех, а выбрызг захватывал как лопасть.

568

У революции – невыработанная колея. Разбегается сто колея, и не знаешь, в какую ж именно уставить своё колесо, чтобы покатило. Ещё три дня назад Саше Ленартовичу казалось, что он попал в самую огненную – а вот она вяло разляпливалась в ничто.

Саша, разумеется, и показываться забыл в кавалерийское управление, теперь такие управления летели к чёрту. Он весь был в движении офицеров-республиканцев, но верхушка их Союза (а весь Союз и ограничивался верхушкой) почти целыми днями заседала – в той самой комнате Таврического, где в первую ночь был как бы штаб переворота. Тут они сочиняли и статьи в свой первый номер газеты «Народная армия», отсюда и бесплатно раздавали отпечатанный номер. Но газета плохо пошла по Петрограду.

В среду Исполнительный Комитет постановил послать ораторов в растерявшуюся Петропавловскую крепость (там не знали, кому подчиняться, ошалели от вереницы то арестов, то освобождений, ордера на аресты выписывали кому не лень) – и посланы были два

солдата и два офицера-республиканца, среди них Саша. Там он выступил главным оратором перед выстроенной охраной – и ему очень аплодировали. Впервые в жизни он себя испытал с публичной речью – и великолепно! Легко и плавно складывались фразы (уже отработанные лозунги), голос звенел, как ему казалось. Зубцы знаменитой стены, где повешены декабристы, – придавали оратору трагическое самозначение.

Не успел уложить внутри себя волнение после Петропавловки – на другой же день Масловский взял с собой Сашу в Царское Село. Предстояла какая-то загадочная и мощная операция над арестованным царём! Саша занял царскосельский вокзал, арестовал начальника станции, – приблизился к пламенеющей оси событий! – но на оси не завертелось дальше, или завертелось без него. Несколько часов он напряжённо ждал на станции – но событий никаких не совершилось, а был телефонный звонок от Масловского: отправляться ему со своей командой в Петроград, всё окончено. Только поманило большим, а ограничилось ерундой.

С мукой несовершенности Саша возвращался в Петроград. Разогнанный порыв прошёл впустую, мимо, расслабляющее чувство. Вспомнил, отправился в Дом Армии и Флота, там происходило первое собрание Совета офицерских депутатов. Интересно посмотреть на них, как их цеплять и тянуть.

В этот офицерский дворец Саша в петербургские месяцы ни разу не приходил, из гордости, да не интересен ему был офицерский досуг. А сейчас – впервые, и не мог не поразиться этой прямой мраморной лестнице в несколько маршей, подъём как в бесконечность, а боковые лестницы ведут на галереи с избытком бронзы, золочёностей, зеркал и дуба, а на третьем этаже разноцветные гостиные, – но сегодня в этой роскоши являлась не пышность, а слабость, – слабость тех, кто собирался под её сенью.

В ненаполненном концертном зале жалось офицерское прибрежное потерянное сверканье. Из их Союза республиканцев один сидел и в президиуме. Уже долго заседал Совет – и не предвиделось конца. Выступали, выступали. Но не было дерзких речей, которые могут обжечь, подвигнуть, – какие-то всё слащавые: о единении с Временным правительством – и доверии ему, с Советом рабочих депутатов и доверии ему с Советом солдатских депутатов и доверии ему. Всем вместе твёрдо идти к светлому будущему. И – всем совместно бороться с контрреволюцией, откуда б она ни шла. И – война до победного конца.

Саша испытал откровенное презрение. Это был – не Совет депутатов-офицеров, но – потерянное офицерское стадо, тем более удивительное в своей потерянности, чем самоуверенней раньше держались все эти подтянутые усатые молодцы во главе своих частей и строев. До чего ж они размякли и беспомощны оказались в революции, но – до чего ж и напуганы, где их храбрость? Верное у Саши всегда было предчувствие, что вся их офицерская сила – деланная, а его революционная – настоящая.

Но и сам он был осажён бессмыслицей: если офицеры никуда не годятся, так тогда и Союз офицеров-республиканцев – на что мог надеяться? кого и куда тянуть? И само слово «республиканцы» быстро гасло. Ещё несколько дней назад оно обжигало, но сейчас, когда монархии не предвиделось, – как будто и вся публика становилась невольно республиканской?

А Союз республиканцев обсуждал такие важные вопросы, как отменить марки на письмах в Действующую армию. И – до конца отменить всякую военную цензуру.

Тут ещё вышел на сцену приветствовать собрание картинный казак Караулов. Потом встречали овацией и «ура» взошедшего на сцену сдержанного сухого генерала Корнилова.

Саша ждал – что особенного скажет генерал? Но Корнилов всего лишь сообщил об аресте царской семьи (Саша мог бы сказать дальше и больше) – и эти недавние все монархисты выслушивали с деланно-одобрительным видом. И повторял, что и все повторяют: что возврата к прошлому нет. (Под мундирами, под португезами ещё у некоторых тут билось надеждой на прошлое?) И призывал офицерство работать на успокоение страны.

Да не от них это зависело.

А вчера было второе собрание Совета офицерских депутатов – в том же зале, и Саша

ещё раз сходил на Литейный. Украсил заседание в этот раз – Чхеидзе. Восторгу офицеров не было конца! Вынесли лысого из зала на руках. Но Ленартович, потеревшись несколько дней в Таврическом, знал, что ничего Чхеидзе не решает и ничего не ведёт.

Нет, Совет офицерских депутатов был пустота без опоры.

Что-то затормошился Саша. Устал. Так внезапно для себя, и так на первых днях успешно двинувшись.

Да чёрт побери, не военная же карьера была ему нужна! И не потому он хотел выдвинуться, чтобы отличиться и все бы шали его (ну, немножко и это), а подошёл момент его жизни – наивысше проявиться! Надо было быстрее и точно найти себе и правильное место, и правильное направление усилий.

Нет, не офицерское звание пригодится ему, это ошибка. Хоть бы и не было его от начала. А у него – опора уверенная, это он знал. Но что-то перестал точно ощущать её ногой.

Вот хоть война. Все офицерские заседания в общем были: за победоносную войну. Если ты офицер-республиканец, то получается: уже не только за республику, но и за войну? И многие резолюции целых воинских частей – уже революционных, уже с выборными комитетами, печатались всё так же: за победу. Но Саша Ленартович как был от начала против этой грабительской войны, так не мог перемениться и от революции: непонятно, почему революция так меняла соотношение, что надо было стать за войну?

Победа - нужна! – но тут, внутри, над реакцией, над контрреволюцией. А чем уж так мешал Вильгельм? Расписывали в газетах про него басни, что он хочет посадить на престол Николая, – да никогда! Его враг в такой войне – зачем бы ему Николай?

Честно, откровенно говорили о войне только большевики и межрайонцы.

Может быть и правильной было – выбирать себе *партию*, это и есть опора. (И тётя Агнесса не уставала твердить ему в короткие домашние часы, что только партия делает человека завершённым. Да она имела в виду затянуть его не в ту партию.)

Эти дни дом превратился в сон – буквально в пересып и короткие получасы до сна и после сна, чтобы поесть, умыться и сонно послушать тётушек или Веронику. Он слышал их – но не вникал, сжигаемый своим.

А с субботы на воскресенье пришёл разбитый, разочарованный, и как в первый раз слушал домашних, перестав ощущать перед ними превосходство.

Тётушки горячо несли своё, сбивчиво спорили. Модная тема у них была: идёт или не идёт наша революция по нотам Великой Французской, какие черты уже похожи, какие ещё нет. Так же грозило иноземное нашествие в защиту павшего короля. Так же был поначалу доверчив и добродушен народ. Но – что у нас может сравниться со славным, грозным Конвентом? Но – главная непохожесть, по тётя Агнессе: Французская революция потом разрубила гордые узел старой власти и старых классов – святою гильотиной. А наша – не решается, и не решится, и в своём прекраснодушии попадёт в двусмысленное опасное положение. Однако в том и смысл революции, что кроме неё бывает невозможно ничем расчистить завала. Все учреждения – прогнили, вся государственная машина не годится для республиканского строя, – а Временное правительство, видно, хочет ограничиться малым ремонтом.

Тётя Агнесса много над этим думала, мысли у неё были выношенные, и она не жалела красноречия убедить племянника.

– Революции с их великими общими идеями всегда разбивались об ограниченный рассудок обывателя. Великая Французская победила потому, что отбросила в сторону практический рассудок. Якобинцы лучше угадали, что должно осуществиться, – а не жирондисты с их государственной мудростью. И не наши кадеты.

Да-да-да... Это походило на истину. Не кадеты, Саша согласен, они слишком неповоротливы. Но – кто?

А он – хотел бы быть поворотливым. И – среди таких.

Ещё щебетали тётушки о своём герое Сергее Ционе, бывшем вожаке Свеаборгского восстания: тогда провалился, исчез, и много лет не слышали о нём. А теперь прислал из

Лондона выразительную телеграмму: «Молодцы, братцы! Держитесь того, что сделали!»

Пустое пожелание. Чего ж сам не едет? Был прежде Цион и для Саши герой, но те все уже отжили. Пришло время героев новых.

Тут Вероника, неделю избегавшись по благотворительным делам, шла на Петербургскую сторону на какой-то крупный митинг, где будет и Матвей Рысс. Тянула Сашу.

Саша с вечера сказал – нет, буду целый день лежать, устал. А утром проснулся – опять свежий, нет, надо действовать! Время уходит, воскресенье тоже время.

Митинг был дневной. Пошли. Взял Веронечку под руку правой рукой (теперь чести на улицах не отдавать, добро), пошли по Большому проспекту, на Тучков мост, и по другому Большому проспекту, и не видели всей гуляющей толпы, разговаривали увлечённо, как после долгой разлуки: такие неменяемые пронеслись две недели, сегодня первое нормальное воскресенье в новосозданном мире.

Рассказывали, кто что делал, видел, узнал. Обсуждали и тётки-агнессино внушение. Очевидно, дело сводилось к выбору партии. Вероника, вслед за Матвеем, теперь ратовала за межрайонцев.

Может быть, хотя обидно, что Матвей так опередил, а Саша путался по задворкам.

Да, правильная партия – это самая прочная основа. Партия усотеряет силу своего члена.

Вероника излагала, что слышала от Мотьки: проект объединения всех социал-демократических направлений. Ведь это стыд: 20 лет партия общая, а единой организации нет. Программа у всех почти общая, а политика разная. Вон, в германской социал-демократии, при самых резких расхождениях, – а единство не потеряно. Никакая группировка не виновата, а это всё – проклятые русские условия, разъединяющая конспирация, никто не может подсчитать истинного большинства, на чьей оно стороне. Но теперь отпало самое тяжёлое разногласие – подполье или ликвидаторство, и все должны сойтись на одной программе.

Так гладко говорила сестра, будто в себе это всё открыла и выносила, сочные тёмные глаза её смотрели назидательно, – Саше стало даже смешно, что это она его учит.

А вот хотелось ему, чтоб сестра его спросила о Ликоне, с ней поговорить о Ликоне.

Но так уже раздалились они, и так увлечённо Вероню несло, – не спросила...

Саша мог сегодня и штатское надеть, но пошёл в офицерском, и тем с большим удивлением и одобрением на него смотрели в толпе митинга, в зале. Тут публика была – черно-одежная. Но какая же сила всех их свела и набила битком, тысяч десять, сколько в зале могло стоять или не могло, – и за головами только видно было на помосте несколько красных знамён и оркестр, после каждого оратора играющий марсельезу, – а зал подкидывал фуражки и шапки, не боясь спутать с соседями. Говорили с помоста самую простоту: представитель одного, другого комитета приветствует свободных граждан свободной земли. Монархия – символ бесправия и угнетения слабых. Это социал-демократия первая, которая бросила искру, которая...

Что понимали, не понимали из сказанного, но в нужных местах кричали или рычали одобрительно. Хлопали. А оттого что стиснуты все так – ощущение действительно силы, не то что в расслабленных креслах офицерского люстренного зала. Нет, сравнивая тех и этих, надо было признать, что эти – сметут. И среди *тех* – не стоит болтаться даже передовым республиканцем.

Понимали, не понимали, – а вот собрались, сгустились, сами, никто их не сгонял. Да что ж не понимать: вот возгласили с помоста память павших в борьбе – и все мужчины сняли шапки (баб тоже много, в платках), а оркестр играл похоронный марш.

А потом заговорил – большевик? или межрайонец? никто больше так не мог: что мало сбросить прежний гнёт, ещё нужно выяснить физиономию нового правительства:

– ... Разве в эти руки может быть вложена железная метла революции? Нас хотят уверить, что в государстве, где есть классы с разными интересами, – и может быть единая власть? Они хотят, чтоб Россией правили съезды промышленников и каста попов? Не-ет, им

не хочется принимать нас в компанию власти. Но и мы им не уступим свою власть! И мы отметём ихнюю войну, война народу не нужна, а хотят нарушить доверие между солдатами и рабочими, что будто только рабочие против войны.

И никто не возражал. Из десяти тысяч.

Потом выступил солдат, простецкий: прекратить братоубийство.

И «ура» кричали, и марсельеза опять.

Уж Сашу ли в этом убеждать! – он это всё так и думал, ещё при первых выстрелах этой войны. Но постоявши тут среди митинга – был обратно убеждён ими больше своего: да! кончать войну! – и никак иначе.

Матвея не видели они на трибуне, но после выхода разыскали на улице – в кепи и клетчатом красно-буром шейном шарфе. Едва сошлись – Вероника открыто переступила на его сторону, взяла за локоть, и вид у неё стал счастливым.

Молодые люди строжились, чуть колко поглядывали: прошлый раз, в ночную встречу у комиссариата, не очень они дружелюбно разговаривали. У Саши было чувство как к сопернику, хотя не видно, в чём соперник, где они пересеклись. За сашиней спиной был Мариинский дворец, крепость, Царское Село, у Матвея ничего подобного быть не могло. А сила за ним ощущалась – бо льшая.

Спросил Саша: вот этот выступал, про железную метлу, – кто?

Большевик.

Матвей вытер углы рта носовым платком, он перед тем спорил с кем-то, и сказал Саше примирительно:

– Приходи завтра вечером к нам в Свечной переулок. Межрайонный комитет приглашает всех, кто признаёт объединение большевизма и меньшевизма.

Как будто спуск в старое подполье? А может быть и самое дело? Ответил:

– Подумаю.

А сам решил: надо пойти! Да вырос он в социал-демократии – и надо в неё вернуться!

Смотрел, как Вероня, послушна, стояла, к Матвею прилепясь, – и освежило его полосой радости – и ревности.

Радости – что женщина может быть так послушна.

Ревности: а Ликоня когда? И – что с ней за эти две недели? Забросил, не ходил к ней, обиделся, – а ведь и её же швыряли эти волны как щепочку.

569

Наконец приехали наши из Сибири – Каменев, Муранов и Джугашвили-Сталин. В воскресенье днём Шляпников провёл в Палас-театре первое заседание профсоюза металлистов (к металлистам он продолжал себя кровно относить), оттуда, недалеко, по пути ещё разговаривая с рабочими, пришёл пешком в особняк Кшесинской. А приехавшие трое – уже здесь.

Вот и встреча!

С Мурановым и Джугашвили обнялись. А Каменев осторожно отклонился, подал мягкую руку.

Уселись в белом мраморном зале с пальмами, с окнами на Петропавловку и на Троицкий мост.

Ну что? Как?

Как доехали? А как тут, у вас, в Питере?

Вдруг сразу не получилось простоты, сердечности, не как встречаются старые соратники, захлёб. Как будто не так уж интересно им друг о друге и узнать. А верней – они не час назад приехали, и уже успели тут проведать помимо Шляпникова. Да и Шляпников уже был предварён, что они там в Сибири нагородили в поддержку Временного правительства.

Вместе не вместе они там в ссылке жили – но вместе долгой дорогой ехали,

сговаривались, тут вместе что-то узнавали, – и теперь расселись если не как трое судей над Шляпниковым, то как три ответственных старших товарища, проверить отчёт.

Да Каменев-то был ему почти ровесник, тоже тридцать с небольшим, молодой человек. А густоволосый, чуть кучерявый Джугашвили – кажется, на несколько лет и постарше. А Муранов-то точно на 11 лет старше Шляпникова и держался с большой важностью, сразу.

А кажется, должны были бы их соединить общее горе и общий стыд от последней газетной публикации, о ней только и разговору было по всему Питеру: по бумагам Охранки печатался один сохранившийся (а сколько ещё погребло в пожаре!) список платных агентов её в рядах революционных партий. И вдруг так подобралось, что по значительности постов и имён – Черномазов из «Правды» и ПК, Шурканов, бывший депутат Думы, и Лущик, – виднее всех в этом списке оказались большевики. Получались большевики – как бы самая опороченная партия, – как же зубоскалят меньшевики всех оттенков! Подрывалась большевицкая позиция в Совете.

А приезжие так держались, будто они этого пятна не разделяли: они ведь были не здесь, это, мол, не мы, мы бы не допустили. Самой своей ссылкой они становились как бы чище неарестованного подпольщика Шляпникова. А Шляпников, в ноябре настоявший на запрете всем партийным организациям вступать в сношения с Черномазовом, – Шляпников теперь оказывался как бы виноватым, – и именно он теперь должен был перепечатывать в «Правде» позорный охранный список.

«Правда!» – лучшего детища, лучшей своей гордости не знал Шляпников. А тут – как-то поморщились, чуть не брезгливо: «Правда»?

А – что? Что – плохо?

Мол, слишком грубо ведётся. Мол, слишком резко. Отталкивает.

Да **кого** отталкивает? Кого и надо! Не пролетариат же!

Да дело, кажется, и не в одной «Правде»? Дальше – больше. Каменев с вежливой учёностью, как он весь марксизм вдоль и поперёк изучил за столом, а Муранов надутый, стали поправлять и даже отвергать чуть не каждую меру БЦК, даже самую позицию его и даже, удивительно, – позицию Петербургского комитета, которую Шляпников сам считал соглашательской. Если уж ПК для них – анархически-необузданный, то – каковы ж они сами и как они могли в сибирской крепкой ссылке набраться такого? И, мол, не надо подрывать Временное правительство. И не надо в газете так резко бранить Гучкова, как во вчерашнем номере.

Лучшую затею Шляпникова – вооружить и держать свою рабочую гвардию – тоже не одобрили: против кого вооружать? против кого держать?

Как? – Шляпникова горячий пот пробрал: так что ж, у пролетариата не должно быть своей отдельной армии? Всю силу отдать буржуазии?

По их – выходило так. Известная побасенка: буржуазно-демократическая революция, надо выполнить сперва буржуазные задачи. Но ведь позвольте! но ведь...

Ленин иначе писал-говорил! А эти сидели тут уверенные (да сговорившиеся?). Правда, Джугашвили помалкивал, покуривал папиросу под тёмными усами, – но всё же третий к ним. А Муранов и приехал, и держался с выражением страдальца и вождя: членство в Думе он понимал как вырост на лишнюю голову.

Шляпникову пришлось замяться на вопрос: а чем его выборгская милиция сегодня занята? Пока – ничем, охраны улиц почти не требуется, оружия захватили много, а большинство владеть им не умеет.

Так что, зря заняты люди и кому-то надо платить?

Чутьём пролетарским старого металлиста хватывал Шляпников, что – оружие своё должно быть непременно, решение спора оружием – нормальное пролетарское дело, обучать рабочих – надо, бои – будут!

Но сегодня отспорить было трудно: с кем бои? когда? ведь контрреволюция поджала хвост.

Кроме большевиков, действительно, ни одна партия не вооружалась.

Да что! – если и резолюцию ПК создать *военку* – комиссию по работе в войсках, постепенно отвоёвывать себе петроградский гарнизон, приезжие тоже осудили! – мол не надо вносить раздоры в петроградский гарнизон.

Ну, это уж ни в какие ворота! Это Шляпников усвоил крепко: так что ж, отдать вооружённый гарнизон буржуазии. Не-е-ет!!

Но приезжие как будто даже не очень интересовались его мнением. Они не столько выспрашивали, сколько назначали своё: Муранов – думец, Каменев – направляющий член Центрального Органа, никогда оттуда не выводился, а Джугашвили – такой же член ЦК, как и Шляпников.

У Шляпникова уши разгорелись от их обвинений. Вот так приехала поддержка! – а как он ждал новых партийных сил! Замотавшийся тут с революцией, что он вынес тут почти на одних своих плечах, – и всё не так? Вместо поддержки сбивали с ног?

Теперь уже ясно было, что они расходятся и в самом главном вопросе – о войне. А как раз сейчас дело стало особенно неотложно: в Исполкоме суетливо готовили Манифест о войне, чтобы послезавтра утверждать его на пленуме Совета, – и с приехавшими надо было спешно дотолковаться до единой позиции. У БЦК был план: выступить на пленуме со своим контрпроектом. Хоть и нет надежды собрать голоса – но прозвучать, дать себя услышать.

И Шляпников, уже теряя уверенность, рассказал им, каков план. Но бровастый крупнолицый Муранов, но тихоусый Сталин не поддались навстречу. А в улыбке Каменева выразилось снисходительное сожаление.

Да, в оценке войны как империалистической они конечно сходятся. Что войне надо положить конец – да. Ни аннексий, ни контрибуций, да.

– Но, – пояснял Каменев Шляпникову, немного скучая, – у вас не хватает вот какого оттенка: пусть не рассчитывают Гогенцоллерны и Габсбурги поживиться за счёт русской революции. Наша революционная армия даст им такой отпор, о каком не могло быть и речи при господстве предательской шайки Николая Последнего. Тут вот что разъяснить необходимо: война до полной победы, конечно, не наш лозунг. Но «война до полной победы демократии» – наш.

Мурашки забегали у Шляпникова по голове, как от запыла какой-то твари: вот как лозунги подменяют на ходу, вот мастера! Вот это и есть те мастера: между двумя прямыми решениями – вести войну или не вести – находят ещё десять промежуточных и между ними, как меж забитыми кольями, юлят и путают.

Так ловко это оказалось состроено – не нашёлся Шляпников сразу ответить. Но он же знал свою верность! он точно её знал! Сколько раз, лишённый связи с Цюрихом, он воспалённой головой пытался и пытался представить, как бы решал Ильич, – и всё знание повадок Ильича, и своё, какое было, понимание марксистской теории, и светлые подсказки Сашеньки – всё сходилось, он не мог ошибиться, он не разучился же совсем в дураки! Он делал так, как бы делал Ленин. В наступивших чрезвычайных революционных условиях он вёл и вёл общепризнанную большевицкую политику, как она была десять раз проложена Лениным в «Социал-демократе» и в письмах. А вот, приехали и...

Да не свихнулись ли они в ссылке? Да – большевики ли они ещё сегодня или уже меньшевики?

Так разволновался Шляпников, что стал искать папиросу, никогда не куря.

Горько обидно было не за то, что они не понимают, не согласны, – но за подавляющую их манеру, что одних себя они признавали и приехали занять готовые места.

И Шляпников не решился бы им напомнить, как всю войну он тут на подпольи раздирался один, и пережил отпадение скольких и извращение скольких, и две сумасшедших революционных недели, – а теперь Каменев вежливо отстранял его белой ручкой, Муранов грубо отпихивал плечом, а Сталин невыразительно покуривал. (И за что его, такого несамостоятельного, сделал Ленин членом ЦК?)

И – как должен был Шляпников выявить им не только свою правоту, но и полномочия, силу, власть? Таких приёмов он не знал. И некрасиво применять их к однопартийным

товарищам. Все – уважаемые товарищи, страдали в ссылке.

570

Михайловский театр теперь пришлось возвратить под возобновляемые спектакли – и сегодня днём солдатская секция Совета собиралась опять в Таврическом, снова истаптывая, прокуривая, исплёвывая весь Екатерининский зал, а в Белом – опять где и по двое в депутатское кресло, кто влезет, и сплошь забивая все ступенчатые проходы, и вокруг лож, и ложи, и ещё круговыми толпами не помещаясь в распахнутых дверях.

Но от жары – снимали папахи, фуражки. И под сводами парламентского зала эта тысяча стриженных под машинку голов, уже подсмотренных фотоаппаратами, – шурились, кто робче, кто смелей, на самих себя, на зал, на свою новую непривычную власть.

И можно ли было от этих стриженных голов дожидаться государственной мудрости?

Предлагали Станкевичу взять сегодня председательство в зале – но он не решился: всё не находил в себе хватки и смелости положить руки на руль. Вот у Богданова были для этого нужные качества: самоуверенность до нахальства, и категоричность вдалбливать, не стесняясь повторов. Чтобы вести толпу – видимо, и надо быть таким.

Всем уже была известна, никем не оспаривалась, державная воля петроградского гарнизона: ни одной петроградской части на фронт боле не отправлять! никуда содвигаться не желаем! Но уже зацепляли на днях, а теперь, когда военные заводы начинали работать, выпирало: а как с боеприпасами? Снаряды и патроны можно ли из Петрограда выпускать на фронт или тоже нельзя, чтоб не укрепить контрреволюцию?

Исполнительный Комитет уже знал, куда подталкивал, но размышляли и шершавые, неумелые головы. Оно спокойней бы, конечно, ничего оружейного из Питера не выпускать. Но и армию против немца как-то нельзя же оставить без оружия.

И какой-то серый, а осмотрительный, придумал, подал с места. И согласились постановить: все петроградские части пополнить до двойного боекомплекта – так, чтоб на случай какого столкновения сохранять перевес революционного гарнизона. А уж тогда, что свыше заводы наработают, – выпускать, ладно...

Неуверенного прапорщика Утгофа на председательской вышке сменил оборотливый Богданов, к нему солдатские депутаты уже и привыкли. И как о несомненном, весело бойко стал им объяснять: что вот в войсках начали присягать Временному правительству, а **о чём** присягать – с нами не согласовано. Временное правительство поспешило присягу разослать, а с представителями солдат, с Советом – не посоветовалось. И что надо было в присягу поставить – защита революции, защита свободы – то ничего не поставлено. А к чему это навязывают крестную клятву или коран целовать? Это не по-революционному! Это затрудняет принятие присяги верными сынами отечества и не способствует развитию революции на благо народа. И потому постановляет Совет солдатских депутатов (Богданов всегда вперёд знал, что Совет постановляет, уже и на бумажке выписано): опубликованный текст присяги считать неприемлемым, к присяге пока больше никого не приводить, отставить, – и пускай Временное правительство переработает текст с представителями демократии. А какие части уже успели присягнуть – ту присягу считать недействительной.

Станкевич слушал со сжатым сердцем. Это катилось неудержимым, огромным, давящим колесом, перекатывалось по Петрограду и дальше на все фронты, – и маленькие фигурки под колесом ничего не могли остановить. Он сам – не мог остановить на Исполкоме, и не мог остановить здесь, и даже знал, что Богданов тоже был с этим не вполне согласен – а вот проводил. Это катилось обширным ободом как будто помимо воли людей. А что за суматоха поднимется на фронте? Присяга – тут же отмена присяги, – а дальше? Как быть армии? Как же можно, дав присягу, тут же отменять? Теперь срочно сочинять ещё новую? Так над ней уже будут смеяться.

От законодателей – криков не раздалось. Присяга – не задевала их за шкуру, отменить – так отменить.

Ещё хуже.

И сам же Богданов, перепугавшись лёгкости, спешил объяснить, что отклонение присяги совсем не означает неповиновения Временному правительству! это только – поправка, а новый государственный порядок надо упрочивать!

Упрочивать – но неумолимое кружение передавалось и тысячному сборищу. И какой-то военный врач, повторяя знаменитую реплику Набокова из Первой Думы:

– Власть исполнительная да покорится власти законодательной!

Не поняли, но похлопали.

Закружилась и повестка дня. То и дело лезли с приветствиями представители – от Минска, от Осташкова, от 4-го Донского полка, от каких-то захолустных запасных. А тутошние – лезли поговорить о правах солдата, за прошлые разы не наговорились.

Вот, скажем, ежели офицер допустит превышение власти – то что должен делать ротный комитет?

А – имеет разве право офицер наказать солдата без согласия ротного комитета? Даже и за провинку?

Ну, всколыхнулись, мёдом не корми! Тут – каждому сказать гораздо, у каждого свой, из части, пример. Запотянули руки, запотянули: я! я!

Только успевай им слово давать. А кто не получил – так и с места сам добавляет. Или соседям.

И до того своё наболелое, – хошь оставь нас тут до завтрава сидеть без обеда, без ужина – а только выслушайте, дайте душеньку ослобонить.

И говорили, и говорили. Пройтись туда к вышке не всякому доступно – так у себя тут на столик взлазили и крутились.

Матрос полез: о порядках во флоте.

Ему кричат:

– Нельзя разглашать военные тайны!

А фельдшер:

– Надо утилизировать наш опыт и реорганизовать полковое дело!

– Да ты в новых словах не путайся, как в бабьем платьи! Ты нашими старыми гони!

– Образованным вы не очень верьте, братцы! Им наша свобода не нужна!

– Не, от них тоже поучиться надо! Они книжки читают.

– В книжках, небось, и дерьма много!

И когда б тому конец пришёл – но Богданов окричал, оговорил: следующий вопрос повестки дня!

– Надо признать желательным возвращение из армии на заводы специалистов-мастеровых.

И кто в Исполкоме такую несчастную мысль подал – утверждать это на солдатской секции?

Сразу выперся семёновец неистовый – и давай поливать:

– А что ж рабочие, мать их у...? Значит, нам идти кровь проливать, а они себе 8-часовой рабочий день устраивают? Значит, мы в окопах гниём и денно, и ночью, и недельно, и погоду – и времени нашего не считаем. А они себе – 8 часов рядом с домом отработали, и пошли помылись, и гуляй, и на бабу? Это что ж, братцы, называется равенство? Для чего ж леворюцию закручивали?

И-и-и-их, как подхватились! – забыли про те ротные комитеты, а уж и присягу вовсе, да как завыли со всех сторон:

– Рабочих, мать их перемать!

– Пускай, как мы, работают сутками, не переодёмшись!

– А нет – так заставим! Со штыками – да на завод. Штыком его к станку, да пусть снаряды точит, чёрт ленивый!...

Генерал Корнилов не имел привычки читать газеты, и теперешние революционные тоже, – но сегодня поднесли ему в штабе. И он похолодел как серый камень. Какой-то полковник Перетц, и даже не понять так, чтоб из этой Военной комиссии, а просто полковник из Таврического дворца, дал объявление – и не подумав согласовать с Корниловым – что отныне все аресты в Петрограде будет производить штаб Военного Округа, – каково? А производить будет: по письменному или даже телефонному требованию Временного Комитета Государственной Думы (разве он ещё существует?), или министра юстиции (с каких пор штаб Округа служит министру юстиции?), или, уж конечно, Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов, а что эти такое – Корнилов уж посидел там, повидал.

Вот наглецы! У них не стало полиции, так не знают на ком повиснуть. Чёрта лысого вы от меня дождётесь! Пусть сами те умники и арестовывают, кем хотят.

Спросить бы – что же смотрит военный министр? почему у него распоряжаются какие-то полковники из Таврического? И почему он до сих пор не разогнал «военную комиссию» – что она болтается как шест в проруби! Но и военный министр, три дня назад уезжая на фронт, собрал совещание – и что ж опять внушал? Чтобы штаб Округа разрабатывал и дальше: как изолировать царя и царицу от свиты, кого из свиты взять в Петропавловскую крепость, каких служителей арестовать в царскосельскую тюрьму. Вот-вот создаётся какая-то особая следственная комиссия – разбирать дела свиты, царской охраны, прислуги.

Чёрт бы чем ты занимался! – а при чём тут штаб Округа? Ещё и так стоял в груди колом непроглоченным – арест царицы...

А – зачем Гучков поехал на фронт? Фронты – не в ведении военного министра, и нечего ему там делать. И чем такой объезд поможет при его штатской компетенции? А вот тыловые гарнизоны – как раз министру и подчинены. И он бы лучше задумался: каким способом вывести отсюда на фронт приبلудные пулемётные полки, два пулемётных полка на всю русскую армию, вся огневая густота её, – и оба празднуют тут революцию!

Во всё этом бардаке, условно называемом петроградским гарнизоном, безукоризненно по-прежнему отдают честь одни юнкера.

Ниоткуда не встречая поддержки, Корнилов и сам принуждён был посылать своего начальника штаба приветствовать от имени армии ещё и городскую думу – и просить город выделить представителей в совет при штабе Округа (на кой дьявол они тут сда лись?). Так – играли все тут теперь. Это была «демократия».

Корнилов не был аристократом. Но от такой демократии тошно ему пришлось, вот влип так влип. Нахлобучили его сверху на этот подстрёканный гарнизон, как сажают матрёшку на чайник.

От такой демократии толпилось в штабе Округа множество офицеров: получали пропуска на отъезд в Действующую армию! Вот порядки, офицер не может уехать из Петрограда вольно, превратили город в тюрьму для офицеров!

Демократия захлестнула за пределы, где мрачился разум: в самом Главном штабе, в другом крыле того же подковного здания, где и штаб Округа, писари собрались между собой, создали комитет и постановили: отрешить от должности генерала Занкевича и ещё других генералов, гонителей писарей (кто гонял их в работе и урезывал награды к праздникам). И, кажется, генералов этих министр увольнял. А офицеры Главного штаба вынужденно создали свой комитет – и слали писарям мотивированные ответы на их запросы.

Вот только этого одного теперь не хватает Корнилову: чтоб и в *его* штабе писари создали комитет, а он? – а что ж? – придётся призывать писарей к дружеской товарищеской работе...

Но службу – не выбирают, а куда назначают. Старое – рухнуло бесповоротно, и значит надо поддерживать Временное правительство.

Но – как его поддерживать, если оно само себя не поддерживает? Как строить армию,

захлестнутую болтовней? В несколько батальонов – в Волынский, сапёрный, Корнилов ездил сам, надеясь подтянуть своим явлением и присутствием. Был – строй, полковой марш, несколько горячих речей и обещаний приступить к занятиям. Но уезжал командующий, и всё оставалось по-старому, и занятий никаких. В несколько батальонов вызвались съездить генерал Нокс и другие английские офицеры, не меньше Корнилова обеспокоенные тем, что творится в гарнизоне. Повсюду встречали их рьяно (лестно, англичане!), везде гости говорили комплименты (в Семёновском уверял Нокс, что просто мечтал бы командовать такой частью), – и повсюду же англичане толковали, что и в английской и во французской армии ограничения солдата гораздо строже, чем хотят устроить в русской. Эти нотации солдаты пропускали меж ушей и кричали «ура» гостям.

Посетил Корнилова знакомый его капитан Нелидов, теперь охромевший, просил приехать к ним в Московский батальон, – и Корнилов ездил вчера. Что он там увидел – было неопишимо. Батальон встретил его на плацу не строем, но толпой, – ужасное зрелище, не приведи никакому генералу так попасть. И на приветствие командующего отвечали из этой толпы лишь местами и вяло-нерешительно. Нельзя поверить, что две недели назад это была армия. Сейчас – стадо. И не представить, сколько же сил теперь нужно, чтобы вогнать это стадо снова в строй.

А между тем – толклись к Корнилову корреспонденты газет, получать новые интервью для публики: что именно думает и хочет сказать командующий по поводу славного революционного петроградского гарнизона?

И что же? – врать, делать счастливую мину? Разозлясь, переступил оглядку на Совет депутатов и сказал «Речи»:

– Выборное начало в армии – нежизненно. Оно не может содействовать силе армии, а скорей породит рознь. На фронте надо не рассуждать, а делать.

А ещё же вливался в служебный день командующего поток приветствий от многих частей со всей тыловой России, от гарнизонов далёких городов и городишек, и все они выражали восторг от революции, благополучие своего состояния (можно вообразить), – то от конного полка из Харбина, то от гарнизона Вологды, а и штатские не ленились слать почему-то командующему – из Томска какой-то Нахалович, председатель правления печатников, из Липецка какой-то Трунцевский, ото всех городских организаций.

Сегодня, в воскресный день, только и подошёл Корнилов к этому столу, где навалены были приветствия, перебирал и удивлялся.

И вдруг ещё больше удивился, услышав отчётливо через окна – маршевую музыку.

Да кажется волынский марш.

Подошёл к окну – да: на Дворцовую площадь, в бледном солнце, нехолодно, с Невского заворачивала колонна в бескозырках. И со многими красными знамёнами, плакатами на двух палках – и вытягивалась вдоль Зимнего.

Что это? Ещё одна особенность нынешнего гарнизонного положения: не командующий назначал части явиться – а сама часть решала, когда б ей явиться к командующему.

Прибежали адъютанты, объяснили: Волынский батальон, отстаивая своё право считаться в революции зачинателем, ходил в Государственную Думу, а оттуда пришёл представиться командующему.

И что же оставалось командующему? Надо идти и приветствовать.

Надевал свою фронттовую шинель. (Красной генеральской подкладки сроду он не нашивал – так меньше красного было и сегодня.)

Да, с этим первенством. Когда он был у волынцев три дня назад, ему говорили, что есть же *самые* первые, кто начали всю революцию, только спор идёт, кто именно: говорили – старший унтер Кирпичников, другие – будто прапорщик Астахов, третьи – ещё кто-то. А так как весь выход воспитания гарнизона оставался – льстить и хвалить, так может *первого* – то был смысл – отметить?

Когда Корнилов в сопровождении нескольких офицеров вышел на площадь и по косо́й пошёл к батальону – тот весь уже был выстроен, лицом к Главному Штабу, и так же

повёрнуты все знамёна и плакаты, так что на ходу имел генерал удовольствие и прочесть некоторые: «Готовьте снаряды!», «Война до полной победы!», «Не забывайте своих братьев в окопах!». Что ж, надписи хороши, ни одной дерзкой, кроме «Да здравствует Совет рабочих депутатов», – но есть и в честь правительства.

И эти надписи подбодрили Корнилова. Да не могло измениться русское солдатское сердце! Они – не от зла так распустились, а – от растерянности: военный министр мямлит в приказах, одни офицеры разбежались, другие заискивают, – а солдаты, волынцы и всякие другие, бесхитростно бы готовы отдать свой долг родине, – откуда бы в них другое!

И Корнилов всё чётче и бодрей подходил к батальонному строю.

Не слишком полным подтверждением заметил, что офицеров – мало. А к нему навстречу спешил с рапортом... прапорщик. И доложил, что он – командир батальона.

М-да-а... Где же их полковники? капитаны?

– Слу-ушай! На-краул!

Подхватили винтовки на караул.

Командующий пошёл вдоль фронта и повелительным хриплым голосом здоровался. Рывкали в ответ – дружно, совсем неплохо.

– Да, – вспомнил Корнилов. – Где тут у вас такой Кирпичников?

– Уже прошли, господин генерал. В учебной команде.

– Ну, покажете во время марша.

Стал Корнилов посередине против строя, достаточно отдалённо, чтобы видели все, и выкрикивал речь. Отчасти по обязанности, отчасти искренно.

– Спасибо, братцы, за то, что вы пришли сюда. – (Без вызова.) – Вашей кровью запечатлелся новый порядок. – (Впрочем, кажется, у них потерь и не было.) – Славные петроградские войска сыграли огромную роль в добывании свободы. У вас – молодецкий вид, образцовая дисциплина. – (Ой-ой.) – С такими солдатами, как вы, никакой враг нам не страшен. Помните, братцы, что дав России свободу, мы не должны забывать о наших братьях в далёких окопах. – (Кто-то же из них написал, значит – помнят.) – Наш долг – дать им помощь людьми. Снарядами. И продовольствием. Спасибо вам за вашу преданность новому правительству. Верьте своим офицерам, они – не враги свободы, но желают родине только счастья.

Корнилов – не был никакой оратор и уже не знал, что б ещё сказать, всё обсказано.

– Да здравствуют ваши начальники! Да здравствует славный Волынский полк!

Последнее – особенно пришлось по душе, – и прогремели «ура» мощные. Подхватила кричать и публика, тем временем набравшаяся на площадь вслед за батальоном.

И на правом фланге батальонный оркестр заиграл эту пакостную ихнюю марсельезу. И так почему-то замедленно играл – получалось вроде похоронного марша.

Корнилов сделал знак командиру батальона, тот – оркестру, оркестр выходил против строя.

Волынцы перестраивались поротно в походную колонну.

Тем временем командир батальона указал Корнилову унтера Кирпичникова в первой шеренге. Невысокий, поджарый, губастый, простой, выправка отличная, – в чём-то он показался Корнилову похожим на него самого.

А не награждать бы его, а – розгами высечь.

Отлично загремел церемониальный марш – и, заворачивая правым плечом, роты равнялись и затем печатали снег перед командующим.

На снисходительный глаз – даже и ничего. Если б ещё подструнить их с недельку.

Но – радостно шли, с открытой душой.

Наши солдаты! Не может быть, чтоб уже ничему не помочь.

Командующий отрывисто благодарил, каждую роту отдельно.

Отвечали – весело.

И с каждой прошедшей, ушедшей, пропечатанной ротой веселье как будто ещё нарастало.

Оно передалось толпе, толпа – хлынула вослед за последней ротой и оркестром – подхватила Корнилова на руки – как две недели назад никто б не осмелился с генералом, и в голову бы не пришло. И – ввысоке понесли его в штаб.

Все кричали, ликовали, доигрывал оркестр.

Корнилов нёсся в неудобном возвышенном положении над толпой и думал: вот так бы и от пулемётных полков отделаться, парадом? Мол, низкий поклон вам от меня как от командующего за великую услугу, что вы оказали делу освобождения, а теперь придётся вам пойти на фронт помочь своим. Готовы ли, братцы?...

Нет, не пойдут, мерзавцы.

572

Длинные дальние локти свои кусал теперь Николай Николаевич: зачем уехал с Кавказа? Он был Наместником обширной благодарной страны, его любила армия, любило население и даже социалисты почтительно разговаривали с ним, – попробовал бы кто-нибудь его оттуда сместить! Что за несчастная путаница произошла с его назначением в Верховные, зачем Временное правительство срывало его с Кавказа, почему не сообразило, не остановило раньше?

Горечь переполняла грудь великого князя – особенно потому, что больное это было место, смещение с Верховного, уже второй раз.

Вчера он не удержался и пожаловался английскому генералу при Ставке Хенбри Вильямсу, втайне рассчитывая не только на сочувствие, но может быть на обратное воздействие – через английских властей на русские, ведь эти самые иностранные генералы при Ставке привыкли видеть великого князя Верховным, Англия и Франция знали в нём извечного лютого ненавистника Германии – неужели они не хотели бы и не могли...? Но охоложен был великий князь ответом английского генерала: его преданный и бесколебный совет был – отказаться от поста.

И вот, в начале же этой недели оброненная великим князем шутка, что он вернётся жить маленьким помещиком, – к воскресенью уже и сбылась: он только и мечтал теперь возвратиться в своё маленькое поместье, уже не на Кавказ, – уже не имея более никаких военных обязанностей, как если бы война окончилась. Славная дачка его, Чаир под Ливадией, в солнечном голубом Крыму, теперь манила его как видение другого мира, куда не достигают мерзкие революции.

Но унизительнее того: он даже и к себе в Чаир вернуться не мог ни как Главнокомандующий, ни как великий князь, ни как просто свободный взрослый человек, – он даже к жене своей в Киев (ещё гнев Станы предстояло ему пережить!) не мог поехать как независимый взрослый: он должен был ждать теперь каких-то двух неизвестных ему депутатов зачем-то Государственной Думы, и они будут его сопровождать – как арестованного? как сопровождали Ники?

А ведь ещё вчера, приняв присягу, Николай Николаевич проявил избыточную любезность: послал правительству вторую телеграмму: что мол принял присягу новому государственному строю, что выполнит свой долг до конца.

Теперь всем великим князьям из Ставки неминуемо предстояло увольняться: и Сергею, и Сандро, и Борису. И Пете – ничего тут не получить.

И куда же теперь Орлова? И своих адъютантов? И Сергея, Лейхтенбергского, отобранного у Колчака, ну этого с собою в Крым же. И куда – донского атамана Граббе, по пути прихваченного с Дона по просьбе казачьих властей? – тут по Ставке ходил ещё один осиротевший Граббе, начальник конвоя.

И – где же ждать? Оставалось ждать – в вагоне. Случилось так в первый день – Николай Николаевич пренебрег переехать в губернаторский дом, – а теперь оставалось ему ждать в вагоне, без возможности проехаться, даже пройтись, – не по шпалам же шагать.

Томительный замкнутый день, депутаты не успевали приехать раньше чем сегодня к

вечеру.

Целых три дня пути в Могилёв, в этом самом вагоне, в этой самой компании, а до Минеральных ещё и с Андреем, – как они оживлённо беседовали, как они возбуждённо рисовали себе славное будущее, целую новую эпоху, – а теперь запечатались уста, и даже с Орловым говорить не хотелось.

В защемлении протянулся день, а к концу его, к обеду, пришли два позванных старичка генерала, преображенец и лейб-гусар, которые и встречали его в этот раз в Могилёве. (Теперь-то понял великий князь, почему такая скудная встреча была, без караула, без штабных офицеров, – лукавый Алексеев уже всё знал и умыслил!)

Сели за грустный полубезмолвный обед. Николай Николаевич сидел вытянутый, как закованный, – предстоящим ли видом ареста? такого же оберега и одиночества в Чаире?

Вдруг лакей вызвал от стола дежурного адъютанта князя Шаховского.

Тот вышел, вернулся и доложил, что у вагона собралась и непременно желает видеть великого князя – депутация фабричных и железнодорожных рабочих. Что они настроены крайне благожелательно, – да к иным депутациям великий князь и не привык за эти дни, – и не хотят верить, что великий князь не желает стать во главе Армии, что есть какое-то письмо правительства? – они хотят знать.

Потеплело сердцу Николая Николаевича, он пободрил. Фабричные?

Он и сам готов был к ним выйти, но, может быть, это было несолидно, к малой группе.

Он пошёл, достал из выдвижного ящичка письмо Львова – просил князя Орлова выйти и прочесть его депутации. Ему – нечего было скрывать.

Ход обеда смешался, заволновались, чем это кончится. Один генерал побрёл вслед Орлову.

Депутация стояла на перроне круговой кучкой вокруг вагонной площадки, железнодорожники в своей рабочей одежде, как были кто на местах, фабричные – поаккуратнее, пришли особо, но у всех – хмурый, трудовой, простонародный вид. И почти только пожилые, усатые, были и старики, а молодых не было, ни – женщин. И с красными наколками – никого.

Перед сиятельными генералами двое-трое передних потянулись было снять шапки, но оглянулись – не сняли.

Толстый Орлов стал читать – громко, слышно всем, и от себя добавляя издевательские нотки в местах: *«народное мнение резко и настойчиво высказывается против...»*, *«Временное правительство не считает себя вправе остаться безучастным к голосу народа»*, пренебрежение которым может привести к серьёзным последствиям...»

И тут один фабричный закричал:

– Знаем мы этот народ! Это – евреи! Мы их в Могилёве только и слышим!

А другой, старик из переднего ряда, рассудительно добавил:

– Рази нас слушают? Петербург усем командует. Пусть великий князь не соглашается!

В депутации загудели – вперёд и друг со другом. Не стали уже и письма дослушивать.

– А пусть великий князь к нам пожалует!...

Орлов понял момент – ушёл, не дочитывая.

И быстро вслед на площадку вышел стройный пружинный великий князь – в кителе при орденах, в фуражке. Стал на вагонной площадке вытянувшись, неправдоподобно высокий, почти доставая верха вагонной двери. Вид его был – орлиный, как принимал бы парад выдающегося полка.

Ветровым движением вскинуло руки, сняло шапки, обнажились головы густоволосые и плешивые, и седые.

Молчали.

И великий князь молчал. Он только мог порадоваться их приходу. А – сказать? Теперь – что ж он смел сказать?

И вдруг железнодорожник крупный, на полголовы возвышаясь, поднял руку с двумя свёрнутыми путейскими флажками и надунул через головы:

– Ваше Императорское Высочество! Да нас тут – сила, вся дорога в наших руках. Да вы только прикажите – мы чичас рельсы хоть до самой Орши снимем – и посмотрим, как этот *народ* к нам сунется!

И заволновались, ещё загудели, сдвинулись к вагону, – и один старик потянул руку великого князя целовать, а у него перенимали другие.

И даже слёзы увидел великий князь. И ощутил теплоту и колкость поцелуев на тыльной стороне кисти. И – взыграло в нём, взыграло боевое, ретивое! Вот таковы ж были с вагонной площадки – депутации, оваии, депутации, оваии трёхдневной поездки сквозь Россию.

Ах, как бы сейчас он, правда, им приказал! Ах, как бы сейчас, правда, разобрали рельсы на три версты в петербургскую сторону!...

Но с разобранными рельсами – что же дальше? Начинать войну внутри России? – нельзя было этого взять на себя, нельзя было на это осмелиться. Просто – не хватало и воображения.

Да ведь уже – и сдал он командование Алексееву. И – пылко ответил Львову. И – присягнул Временному правительству. И – вся Ставка присягнула.

И – разве можно теперь это всё повернуть?

А – горько, горько.

573

По последнему снегу, какой ещё оставался, – шёл дождь, всё бурно таяло, в болотных окопах, землянках, блиндажах Преображенского полка опять стояла вода. Потом ветер нанёс на три дня серых низких туч, серой мглы, – и вот висела эта гнетущая тёмная погода.

А неприятель не дремал. Была ночная атака на семёновцев – причём офицеры не ждали её, а солдаты что-то не верили безопасности, простояли всю ночь у бойниц, под утро пошли три немецкие цепи – и им хорошо наклеили.

Этот успешный бой имел в гвардии тот неприятный оборот, что подкрепил солдатские подозрения: настолько ли офицеры против нового строя, что даже будут склонны сдавать позиции немцам? У солдат появилось смутное настроение, что от них скрывают какие-то новые приказы. (Солдаты гвардии были и грамотны поголовно.)

У Свиноухи немцы выслали крупную разведку под прикрытием миномётного и бомбомётного огня. Но наши отбили их, не дали тронуть проволоки. За то они долго бросали потом химическими снарядами.

Ходили и ночные разведки, перекидывались гранатами. По всему Стоходу было беспокойно.

А взяли немца в плен – он говорил: их офицеры убеждены, что через две-три недели на русском фронте будет мир.

Значит, так рассчитывают на нашу смуту!...

Против австрийцев мы выставили большие плакаты, что Америка уже выступает в союзе с нами. Австрийцы не только не стали обстреливать плакат, но кричали «хурра». Гвардейцы даже не поняли. Узнали от следующего пленного: радуются, что, значит, скоро кончится война.

Но ещё когда фронт шевелился, стрелял, угрожал, под разрывы мин и потрескивания пуль о наши укрепления было даже легче: как будто всё по-старому, как будто не случилось Великой Беды.

А когда умолкало, то напротив: все настороженные чувства обращались к тылу, к Петрограду: что – там?

После Кутепова из Петрограда долго никого не было. Потом примчался ещё один отпускник – юный подпоручик, но нёс одну бессвязицу, в состоянии вполне безумном, – и его тут же пришлось отправить в сумасшедший дом, в Киев.

Зато притекали новые тяжкие слухи, мрачлившие душу. Вроде того что: генерал Корнилов – немецкий агент, для того и выпустили его немцы из плена, чтоб он захватил в

Петрограде власть.

Тем временем роте Его Величества приказано было снять вензеля и называться просто «первой».

Генерал-майор Дрентельн вчера сказал командирам батальонов:

– Сегодня я первый раз подписался без «флигель-адъютанта». Но снять вензеля – нет сил, я ношу их с Девятьсот Третьего. Впрочем, про меня все знают, как я был близок к Государю, они меня долго не потеряют.

У него после ранения неправильно срослась нога, кровообращение стало ненормальным, за последние дни ухудшилось, теперь здоровая нога была в сапоге, а больная в валенке – и так он переступал по брёвнам над набравшейся водой.

– Кому мы теперь нужны? Вот, несём нашу службу нелёгкую, – а для кого теперь? Для блага тех мерзавцев, которым гвардия – только помеха. Мы приняли новый строй против своих убеждений – и мы же должны их защищать! Не удивлюсь, если захотят нас всех уложить поскорей на немецкой проволоке. Чем быстрее нас уничтожат – тем будет лучше для «свободного народа».

Посмотрел, посмотрел на своих испытанных полковников. Все выглядели мрачно. А на лице Кутепова была его отродная ослабленность недоумения, – будто он что-то горькое-горькое узнал, и хотел спросить? возразить? и на том застыл навсегда.

Бревенчатая крыша землянки была приподнята над землёй – и вот слышна была дружная капель с неё.

– А иногда думаю: может быть и хорошо, что не дошли мы с полком до Петрограда. Избави Бог, что б это было!...

Капель.

Кутепов промолчал, но живо помня всё, он думал как раз, что было бы хорошо: одного Преображенского на всё бы хватило.

Дрентельн ещё в начале февраля такой свежий, помолодевший вернулся из отпуска, из Петрограда, – а сейчас совсем подался в старика, да ещё с этой ногой.

– А – как, скажите, господа, людям наших верований жить в этой новой России? Невозможно. Для меня погибло все, чему мы молились с детства. Вон, читали: Государь – арестован! Государя везут из Ставки какие-то хамы. Государя хотят судить! Да как это всё преобразенцы могут снести? Или в киевской газете грязно распубликована частная телеграмма Государя к августейшей матери: «приезжай к одинокому сыну, всеми оставленному». По отношению к кому, призрим к себе, можно допустить такую бестактность? Только тем спасаемся, что одеревянело сердце. Вот, рассказывают отпускники: в Саратовской губернии начинаются поджоги, убивают стражников. Ясно как день, что будущий строй и наши земли отнимет.

Тут – Кутепов ещё глубже промолчал. За годы в гвардии он привык к этой странной черте сослуживцев: имея поместья, предполагать, что они есть у всех.

– Вот – подойдёт время, – говорил Дрентельн, – разорвём наше, знамя по лоскуточку на память. А древко с вензелем и крестом сожжём. И разойдёмся.

На знамени преобразенцев висел георгиевский крест, повешенный собственноручно Александром Вторым. Нет, в такую последнюю минуту этот крест, будь командиром полка, Кутепов бы повесил себе на шею, под рубаху.

А пока что к этому знамени они и все их преобразенцы должны будут подходить с присягой Временному правительству, – Дрентельн и собрал командиров батальонов предварить.

И что же, правда, делать гвардии, покинутой своим императором во власть сброда? Кто эти выборные хамы в «советах депутатов», – тыловые писари да разные шофёры, да кто укрывался в тылу. По протекции императорской власти эти нынешние «депутаты» и прятались от войны.

– А теперь этот Хам, не зная России и не понимая её исторических задач, будет её вести! Хам – наступает, господа, и самым настойчивым образом. И скоро будет, как это

было: на пиках понесут головы дворян и будут бросать аристократов с моста в Рону.

– Не республика, а «режь публику», – сказал командир 2-го батальона ходившее *mot* .

Уже везде, и в Преображенском, начинались толки, что надо избирать полковой комитет. И даже предполагалось ещё какое-то худшее безобразие: чтобы делегаты всей гвардейской Особой Армии ехали в Петроград и заверяли свои же негодные запасные батальоны и петроградский Совет депутатов – что гвардия готова с оружием защищать их и Временное правительство.

Но мало того: теперь этому Временному правительству ещё и присягать?

А почему – правительству? Когда, где присягали правительству, сменным министрам? Всегда присягали Верховной власти.

Но – кто теперь Верховная власть? Её нет...

Пришёл и текст присяги. Правда, в этом тексте Временное правительство не очень себя выпячивало, загоразживалось Отечеством, а само поминалось без пиетета как «ныне возглавляющее Российское государство впредь до установления образа правления волею народа при посредстве Учредительного Собрания».

Но если так ждут услышать волю народа – то отчего не спросили её при перевороте?

Присяга эта была – как бутафорная подпорка к надсадившемуся вековому зданию.

А ещё было в этой присяге то глумление, что присягающий клялся повиноваться всем поставленным над ним начальникам, чиня им полное послушание, – но именно это же и было в извечной императорской присяге! – а вот же её легко нарушили. А теперь, с новой отданностью, присягать уже – им? Они наверху изменно перешабашили, а теперь кто не подчинится им – уже изменник?

И ещё – осеяли себя крестным знаменем, когда правительство всё из атеистов. Притворяются, чтоб завлечь народ.

Но что было делать Преображенскому полку, раз войну надо продолжать? Во имя победы остаётся показать пример долга – и скрепя сердце, и скрипя зубами, принести присягу этому правительству-выскочке.

В одной из соседних армейских батарей, рассказывали, было и хуже: пришло отречение Государя в пользу Михаила Александровича – и командир батареи поспешил в тот же час привести всех к присяге Михаилу Александровичу. А через несколько часов пришло и отречение великого князя. Что остаётся от такой присяги у солдат?

Да впрочем, что и у наших?

Так сегодня, под мгlistым небом, в задышливой тёмной ро звезени – Преображенский полк унизительно и неискренно присягал. Императорская гвардия, не позванная с оружием в грозный момент, – теперь, заподозренная, нелюбимая, присягала какой-то кучке штатских.

Одна только досвечивала им звезда, одна над ними была надежда: что Верховный Главнокомандующий, по какому-то ему одному известному смыслу, одобрил это действие. Он конечно видит лучше, он конечно знает, и помнит про свою гвардию – и в нужный момент ещё кликнет её.

Но всё же – духота и мгла позора весь этот день разнимала преображенцев, офицеров, унтеров: как дожить, дослоняться, пережить до конца этот позорный день?

Но – не пережили. Кутепов ещё не успел уйти в батальон – Дрентельн вызвал его снова к себе.

Он полулежал на постели и стуле, выставив больную ногу в просторном валенке, – и вид его был, как будто его опрокинуло, как будто с ним удар.

И – не сказал, а проблеял жалким голосом:

– Александр Павлович... Великий князь – больше не Верховный. Подал в отставку.

На столе лежала телеграмма.

Дрентельн лежал разбитый.

Кутепов стоял. Стоял. Потом сел.

При движеньи по брёвнам пола под ними чуть похлопывала вода.

– А ведь мне, – сказал Дрентельн ещё жалобней, – прописаны горячие ванны, сухое

помещение, держать ногу в тепле.

Молчали.

– Вы, Александр Павлович, готовьтесь принимать после меня полк. А я... Я – вензелей не сниму... Я... ещё раз, вот, может быть увижу царственный Петербург... Да если буду жив – поеду в Италию... Там, знаете: на самом морском берегу – цветут и благоухают померанцевые деревья...

Кутепов шёл в передовое расположение.

Отставка Николая Николаевича была последним безумием этой безумной революции. Проходимцы и подлецы, – если они хотели продолжать войну – как же могли они сшибать единственного вождя с именем?

Если думать о Петрограде, о Ставке, – всё казалось потерянным.

Но если думать о гвардии, о Преображенском полке, – это потеряно быть не могло. Это было – цельное, отдельное, мощное, сильное.

Если доведётся Кутепову принять полк – ну нет, рано ещё думать разрывать знамя на лоскутки!

Он тихо шёл по окопу – и, не услышав его, стоял к нему полуспиной, а лицом к немцам офицер, на уступе, открыто возвышаясь над бруствером. Он – не напевал, не цедил, а как-то упрямо наговаривал – сам себе, а в сторону немцев:

Твёрд ещё наш штык трёхгранный,

Голос чести не умолк.

Это был молодой подпоручик Юра Дистерло – из правоведов, ускоренными курсами при Пажеском – и в преображенцы, всего несколько месяцев на фронте.

После этой постыдной присяги – и он искал опомниться, оправдаться, и убеждал себя сам:

Так вперёд, вперёд, наш славный

Первый русский полк!...

574

В вагоне 2-го класса Ярослав имел лежащую плацкарту на верхней полке. Но когда на Александровском вокзале он с носильщиком (смешно молодому человеку нанимать старого носильщика, но офицерское положение не позволяет нести чемодан самому) вступил в купе, то обнаружилась полная неразбериха: на его полке уже лежали чужие вещи, а полка внизу тоже была занята – пухлощёкой полной сестрой милосердия в мятой фуражке Земгора с красным крестиком на околыше. Стали разбираться – у обоих претендентов вполне законные плацкарты на одно и то же место. Сказать бы, что случай невиданный, вызвать кондуктора, – но в этом же самом купе солидный гордый господин в английском пальто при белом кашне ехал с дочерью, успел занять оба места, а к нему с претензией пришла дама и с такой же верной плацкартой. А кондуктора долго было не дозваться, потому что он в другом купе разбирал такой же конфликт.

Просто никогда не случалось, никто такого безобразия не помнил. Но мрачный кондуктор в потёртой шапке-кубанке не удивлялся и не бранился в невидимую сторону, и не звал обер-кондуктора, можно было так понять, что он такие случаи знал. Возмущённую даму он куда-то увёл, а Ярославу ничего предложить не мог. Но круглолицая сестра, очень

открытая в обращении и с весёлыми, даже дерзкими глазами, – предложила Ярославу сидеть на её нижней полке, а ночью и уснуть в ногах. Ничего другого и не оставалось.

Вечером поболтали и сдружились с сестрой – очень весёлой Наташей Аничковой, из разорившейся ветви большого дворянского рода, ещё дед её служил в гофмаршальской части Зимнего дворца, а отец-демократ хотел отдать её учиться с дочерьми дворников. Но мать настояла на гимназии Таганцевой, где с 6-го класса уже читались лекции, а не уроки, и учителя здоровались с ученицами за руку, как со взрослыми. Гимназию Наташа кончила уже в войну – совсем молоденькая, а фигура крупноватая, с дородностью, прошла курсы при Крестовоздвиженской общине, и уже поработала с тяжёлыми ранеными в Вильне, а сейчас состояла в банно-прачечном отряде, легко. Она сплошь и болтала одна, Ярослав только успевал слушать, но с большим удовольствием. И как курсы она кончала, обманывая родителей (шла будто в университет, а в портфеле белый халат). И как в виленском госпитале по коридору ездила на велосипеде, за что и отчислили. И хотя был у Наташи любимый жених кавалергард, – вместе с сестрами чудили, посылали в «Брачную газету» объявление: «Интересная блондинка ищет знакомства». Строгий старый врач, насмотрясь на эту компанию, веселящуюся рядом со смертью и ранами, вручил каждой из четырёх по запечатанному конверту: «Здесь я написал, что будет с каждой из вас через семь лет, к 1923 году. Раньше – не распечатывать.» Но Наташа, конечно, распечатала и прочла: «Вы пропустите семь своих лучших женихов, семь своих счастливых – и влюбитесь в чужого мужа до трагедии и стрельбы.»

Ярослав возвращался из отпуска в растревоженном и замороженном состоянии. Он уже и соскучился по фронтовому воздуху – но ещё как будто и не исполнил отпуска своего. Он и вбирал охотно всё, что видел и слышал, всему находя место в себе, – и одновременно почти не нуждался в этом. Он даже как бы не ехал сам здесь – это тело его, перепоясанное ремнями, возвращалось на фронт, и правильно, – а душой он остался позади, в дрёме, ещё бродил по неизойденным тропинкам своей ростовской юности и Новочеркаска, и Москвы, и повторял домашние радости, и московские переброды с Ксаной-печенежкой, а глубже всего – был с Вильмой, ещё сейчас лицом чувствовал густоту её кудрей, и губы её, и полыхал ему пунцовый платок.

Вчера он пробыл у неё дольше, чем думали оба, – и когда уходил – в первой комнате кроме сестры сидела и пожилая латышка, видно мать, стыд такой – проходил краснел, проваливался. И в этих попытках – не уговорился с Вильмой на сегодня, а то – зачем он уезжал? он бы перекомпостировал билет, остался бы. И днём сегодня так горевал: как не увидеть её ещё раз? Пошёл на бульвар – но её, конечно, не было. И пошёл в Антипьевский – прямо к ней. Но оказывается вчера, следуя за Вильмой, он не пригляделся, которое из парадных, помнил только, что третий этаж налево. Теперь – не решился доискиваться, ведь он и фамилии её не знал, боялся бросить на неё тень. И вот – уехал. Но углубилось и дополнилось в нём: что какая-то связь повязала его с этой латышкой, и им не миновать ещё встретиться.

Он ехал – счастливо полный, но и растравленный, но и несытый, но и счастливо открытый ко всему. С удовольствием сидел рядом с пухленькой, разбитной, дерзоглазой Наташей – и ничего не пропускал из её рассказов и несходящей вкусной улыбки, сбившихся светлых волос, – но и всё время, пока ещё был достаточный свет, – видел и душой ощущал напротив дочь соседа – молчаливую, тонко-тонко вырезанную, бледную, лет семнадцати. Вот тоже ехала неизвестная и привлекательная своя судьба, – а нашей короткой никогда не хватит, чтоб заглянуть во все.

Уже и стемнело, и чаю попили, – а Наташа всё болтала, и чего только не несла: и как она девочкой, давши честное слово, что с веранды не ступит на землю, – двести саженой шла до озера, перекладывая под ноги книги; и как она в Москве обожает кафе Трамбле на Кузнецком, всегда бросается туда сразу; и как она на ходулях танцевала краковяк. А потом – всё больше о своих предках за два века, которых нельзя было ни разобрать, ни запомнить. Но был там какой-то Руф, основатель масонской ложи в Москве. И какой-то Верещагин,

распорядившийся выкупать землемера в холодном пруду за то, что тот недостаточно низко ему поклонился. И какие-то старшие братья выкрали в масках своего младшего, вымогая деньги у мамыши. А кого-то на станции Тамбов из поезда ещё прежняя государыня выделила в дворянской депутации как редкого красавца. Шутники тамбовские дворяне ночами пьянствовали и переворачивали вывески, а в Москве вступали в клуб золотой молодёжи «Червонный валет», орудовали в масках и оставляли карту с червонным валетом. Насаживали митру на голову продавца церковной утвари и грабили кассу. Обманув знакомого мажордома, показывали пустующий на вакациях московский губернаторский дом иностранцам – и в подставной нотариальной конторе оформляли его продажу, брали аванс. По суду преследуемый Аркадий Верещагин на пари с приятелем пошёл в партер Большого театра сесть рядом с полицеймейстером, во фраке элегантней и надушенный, поклонился ему, обомлевшему, а за несколько минут до конца действия – вышел и на рысака. А другой их участник, Шпейер, замаскированный под кучера, сам привёз на суд прокурора Набокова и пожелал ему успеха. А ещё один Аничков, кончая Пажеский корпус при Николае I, умудрился направить зеркальный зайчик на императрицу, и за то лишился гвардии. И ещё один Аничков выстраивал в ряд всех дам и девочек, велел однообразно приподнимать юбки, а руки в кошачьем положении из кек-уока, – и фотографировал вереницу. А какой-то Аничков, убежав от материнских побоев с братом, помогал прачкам полоскать бельё и ночевал в гробу на стружках у гробовщика. А позже проучился на казённый счёт и стал товарищем министра просвещения. И убийца Каракозов тоже с какой-то стороны относился к их роду.

Уже было давно темно, и отец с дочерью спали, а вся эта болтливая вереница закруживалась в памяти Ярослава – и нельзя сказать, чтобы доброжелательно.

Хотя и полна, предложила Наташа, что поместятся они на одной лавке валетом, раз уж такие революционные обстоятельства.

Но Ярослав постеснялся и её, и дочери напротив – и остался сидеть спиной в угол, дремля в потопках вагона при голубоватом слабом купейном свете – сидя спя, как в ожидании атаки, да впрочем по фронтовой неприхотливости даже и спал по-настоящему. А когда и просыпался, то неудобство положения не мешало ему счастливо осознавать себя, так омытого этой поездкой, с напевным чувством своей подтверждённой значимости в жизни.

575

Прерванные революцией, да кажется ещё и каким-то постом, сегодня возобновлялись спектакли в петроградских театрах, также и в бывших Императорских, а ныне – Свободных. И управление этих театров – тоже обновлённые лица (там произошли выборы и тоже был свой комитет) – приглашало новую власть, министров и Исполнительный Комитет Совета, присутствовать на спектаклях, особенно в Мариинском театре, где собран был центр парадно-революционных артистических усилий.

Однако министры не пошли ни один, наверно избалованы были они этими театрами, – но Чхеидзе, но Скобелев, но Гиммер были очень почтены и польщены приглашением. И действительно, забавно посмотреть, и никогда они не бывали в Мариинском театре, приюте придворных шаркунов и бриллиантных дам.

Как раз-то жизнь Гиммера была связана с театром происхожденчески: толстовский «Живой труп» был сочинён по истинной истории судебного процесса его родителей. Отец, потеряв место чиновника из-за пьянства, спился затем до притонов и ночлежек. Мать уже с ним не жила, но консистория не давала развода. Гиммеру-сыну было 13 лет, когда отец, чтоб освободить мать от себя для нового брака, по её просьбе симулировал смерть: написал письмо, что кончает самоубийством, и у проруби на Москва-реке положил одежду со своим паспортом. Тогда мать покинула своего второго, гражданского, мужа, тоже разгульного (Толстой, которому она переписывала рукописи, отговаривал её), и уже законно вышла за третьего, владельца мыловаренного завода. Но через два года Гиммер-отец просил себе

новый паспорт, был опознан, и бывших супругов Гиммер за обман обоих приговорили к ссылке в Енисейскую губернию. (Благодаря связям и подкупам приговор не был приведен в исполнение.)

Не всякий может похвастаться, что историей его семьи занялся Лев Толстой и она показывается на русской сцене. Но по социалистическому и революционному образу жизни Гиммер в театрах практически не бывал. А сейчас вот почти завершён Манифест к народам, быть может высшее создание политической жизни Гиммера, послезавтра он обратится с этими сильными мыслями ко всем народам Европы! – так сегодня пожалуй чувствовал себя вправе и отдохнуть, посмотреть на дворянско-буржуазные прелести.

Именно сегодня, первый раз после революции, и в Исполкоме устроили совсем сокращённое заседание, только постановили об отмене присяги, о беспрепятственной посылке агитаторов на фронт и выслушали депутацию батальона георгиевских кавалеров, как старому хрену генералу Иванову не удалась его карательная экспедиция – пол-Петрограда расстреливать, а другую сечь розгами. Но тоже не порадуешься, мрачные краски. Докладывали георгиевские кавалеры, что в Ставке – засели сторонники старого режима, даже и их князь Пожарский, и готовят заговор вернуть царя. Постановил ИК: Иванова арестовать, где б он ни нашёлся, кажется в Киеве, а в Ставку послать депутатов.

Всё ж удалось сохранить праздничное настроение. Но перед вечером ещё надо было поехать в Мариинский дворец в качестве Контактной комиссии – и ещё там напряжённо последить, не попасться в какую-нибудь буржуазную ловушку. Там вся коварная была расслабляющая обстановка – ковры, бархатные драпировки, золочёная мебель, услуги величественных лакеев – и любезные улыбки министров, что-то слишком уступчивых.

Сегодня на Контактной комиссии был у Гиммера большой соблазн: с язвительным замечанием передать Милюкову проект своего Манифеста, ответ на все милюковские хитрости. Но осторожность воздержала: ещё двое суток до принятия Манифеста, как бы Милюков чего не испортил.

Заседание Контактной комиссии затянулось, больше из-за Нахамкиса, не ехавшего на спектакль. И когда втроём в одном автомобиле поехали в театр, хоть тот рядом – а уже опоздали к началу. Предупреждённые по телефону, управляющий императорскими театрами и с ним важные чиновники встретили их у входа, объясняя и показывая, – но в ложу шли уже опустевшими полутёмными коридорами. В прихожей великокняжеской ложи гости сняли свои обыденные пальто и обнажили Гиммер с Чхеидзе свои обыденные пиджаки, – а Скобелев был для театра разряжен в лучший костюм и при ярком галстуке, он оказался мастак в нарядах.

Из-за этого досадного опоздания они упустили предначальное торжество в фойе и в театральном зале. Оказалось, их и министров отсутствием воспользовался Бубликов. Публика жаждала кого-нибудь приветствовать и разочарована была, что не видела высоких лиц (средняя, царская, ложа – просто заперта). Искали, искали глазами, вниманием – вдруг распространился слух: «Здесь присутствует тот, кто арестовал царя! – Бубликов!» – «Где он? Где он?? Покажите Бубликова!!» И победоносный, хотя не удатный ростом Бубликов поднялся ногами на своё кресло в партере, овеванный оглушительными аплодисментами – и ведь всё той же буржуазной публики, она не сильно подемократела от обычного, и наряды дам ещё искрились. Бубликов очень важно раскланивался, раскланивался кругло-воздушно-подстриженной головой во все стороны, и затем произнёс короткую речь, что просит не возвеличивать его заслуг, так как они были лишь долгом его службы русскому народу. И публика, ещё захлопав, не возвеличивала далее – и начался спектакль.

А что был за спектакль! Вообще-то была назначена опера «Майская ночь», – но далеко ещё было до неё. Уже перед началом оркестр три раза, один за другим, играл марсельезу. А сцена тем временем была закрыта не мариинским тёмно-синим гербовым занавесом – а белым кружевным из «Орфея». А когда он поднялся – то не оперную сцену увидела публика, а сборный символический дивертисмент. (И вот тут, вскоре, опоздавшая тройка Исполнительного Комитета вошла в ложу, и уже трое своих сидело там.) Задняя декорация

изображала лазурное небо, на нём сверкало солнце с отчётливыми отдельными лучами – и в лучах, сразу под солнцем, была высоко поставлена рослая женщина с разорванными кандалами на руках (иногда поднимала руки, чтобы показать): это была, очевидно, Освобождённая Россия. Затем, чуть пониже и полукругом, группировались наши излюбленные писатели: кудрявый уверенный Пушкин, черноусый Лермонтов в эполетах, скромный Грибоедов в очках, тихий, однако жёлчный Гоголь с распавшимися волосами, неуклонный Некрасов с раскрытой книжечкой, скульптурно-черепый Достоевский и в рубахе навывпуск простяга Толстой. А чуть пониже, другою группой, сгрудились Чернышевский, Белинский, Писарев, Добролюбов, сидел лохматый большеголовый Бакунин, скрестив руки стоял кто-то обречённый к виселице, ещё отдельно, опустив голову, глубокую думу думал Шевченко, в чёрном платье гордо держалась Перовская, а там перемешивались декабристы в мундирах александровского времени, и негнибаемые декабристские жёны, и серые арестантские халаты, и студенты, и крестьяне в лаптях и онучах, и сегодняшние славные рабочие с винтовками, и солдаты и матросы, – и все вместе они то окаменело думали, то вслед за оркестром подхватывали марсельезу и поднимали приветственно руки.

И публика рукоплескала.

И в самом деле – как же это было хорошо задумано и построено! Даже иссушенная политическими страстями натура Гиммера увлажнилась от этой выставленной родословной, где ему особенно дороги были Чернышевский и Толстой. Да и они сами. Исполнительный Комитет в великокняжеской ложе, как будто неизвестно откуда поднявшийся над революцией, – они-то и были прямыми продолжателями этих всех великих, даже и Гоголя, так беспощадно рубивших, и вот срубивших самодержавие под корень. И все великие писатели смотрели сюда в зал, на осуществленье своих надежд.

Теперь опустился ещё новый занавес – красно-золотой. Зажёгся свет в зале бело-золото-голубом, под хороводом амуров и античных девиц в туниках на потолочной росписи. А гербы и короны над царской и великокняжескими ложами были затянуты демократической красной бязью. А капельдинеры, уже не в ливреях с царскими гербами, несли на простых пиджаках белые повязки с новым сочетанием – ГМТ. И заметив новых смущённых вождей революции, разряженная, украшенная публика, избалованная богатством, весёлым обычаем и бездельем, аплодировала, и наводились лорнеты, бинокли, – а вожди, затруженные заседаниями, сидели в ложе, а потом и вынуждены были привстать и поклониться, – наверно, таинственные для них и грозные хозяева их теперешней судьбы.

И какой бы вы ни были непреклонный революционер – но как избежать насладительного чувства гордости? Чхеидзе, Гиммер смутились, рядом Гвоздев – покраснел как рак. И только Скобелев, выкатив грудь колесом, стоял, будто к этому моменту и приехал.

Между тем – сцена опять открылась, при полном свете, – и на ней стоял весь многолюдный хор Мариинского театра – и запел кантату, ведомую басами:

Не плачьте над трупами павших борцов,

Слезой не скверните их прах.

Затем перед хор выступил драматический артист и прочёл собственного сочинения патетический стих «К свободе». И снова хор, поддержанный оркестром, грянул «Эй, ухнем!». И не дав залу опомниться – тут же вослед и «Вечную память».

Стало неудобно аплодировать, но публика, черносюртучными и обнажёнными руками – требовала марсельезу. А как только оркестр из ямы её исполнил – то с овацией и с новой энергией – снова марсельезу!

И – снова марсельезу, с начала до конца. И – снова овации. А хористки все стали махать платочками в сторону Исполнительного Комитета. И Скобелев рывкнул через барьер: «Да здравствуют товарищи артисты!» И – новый всеобщий восторг!

Наконец сцену закрыли, готовя декорации. И весь театр снова повернулся и изнеженными руками аплодировал революционной новой власти, а потом одновременно впадал в выжидательную тишину, не будет ли речей? И ясно стало, что придётся говорить речи.

А Чхеидзе не надо было долго и просить, он всегда готов был выступать. Поднялся у барьера – и прохрипел цензовой публике о торжестве свободы и пролетариата. Но всё же чувствовал себя неуместно, и получилось у него сердито.

А Скобелев, видя кое-где и исполнителей, вышедших перед занавес, произнёс короткую речь о том, как революция раскрепостила и освободила искусство. Это имело шумный успех, аплодировали с авансцены и из оркестра.

И Гиммер ужасно испугался: получалось так, что сейчас говорить речь – ему? Но он – никак не мог: и от испуга, от падения голоса, и от того, что не было у него контактов и общих тем с этой публикой, – о чём им говорить? Да и берёт он себя и свой голос для исторического выступления послезавтра, от чего будут зависеть судьбы войны и мира.

Он покосился на Гвоздева – но тот сидел распаренно-красный, и явно тоже боялся говорить. И Цейтлин, и Красиков – довольные сидели, а говорить не порывались.

Тут выручил их всех какой-то офицер: он поднялся в глубине партера, а когда его заметили и стихли – заговорил о помощи фронту и о войне до полной победы.

И ему аплодировали бурно.

А за тем – увертюра, и начался первый акт, милая малороссийская идиллия, малороссийские костюмы и венки, можно было отдохнуть от публичного внимания.

А в антракте тотчас появился опять управляющий театрами вместе с именитыми представителями и представительницами артистического мира и жали руки, улыбались (и особенно Скобелев – представительницам, это даже Гиммер заметил и удивился: в такое сложное революционное время!). И в заднем салоне ложи им был подан чай в маленьких чашках, с печеньями. Буржуазная роскошь стремительно наступала и подкупала. И хотелось ослабить вечную свою настороженность, и хоть накоротко отдалиться этой приятной жизни – да ведь, кажется, от них не требовали здесь никакой уступки в политической позиции?

А в зале оркестр ещё два раза сыграл марсельезу.

Ещё отдохнули второй акт, а в следующем антракте опять игралась марсельеза – и пришёл управляющий театрами и радушно пригласил депутатов пойти осмотреть закулисный мир. Почётно и интересно! – депутаты пошли.

Управляющий вёл их пыльными полутёмными окольными пространствами, показывал лебёдки, шумовые устройства, где свалены куски домов, фонтанов, садов и моря, – а потом вышли на открытое светлое место, где артисты, в своих костюмах, венках и загримированные, хлынули с большим любопытством рассматривать депутатов вблизи, будто сами они имели натуральный вид, а вот депутаты были существа необычные, противоестественные.

Депутаты смущались, не находились. И только Скобелев один – громко, бодро поздравлял труппу с революцией и занёсся – о демократизации искусства и о стремлении демократии к красоте.

И тогда вышел певец, в малороссийском жупане, и тоже громко объяснял, как пострадали артисты при старом режиме, чувствуя себя почти крепостными у дирекции императорских театров, – и даже никогда не могли осмотреть изнутри царскую ложу, стоявшую под замком.

576

От тоски ли, от непонятности положения, от раздёрзанности душ, – офицеры 1-го дивизиона в воскресенье вечером собрались в Узмошьи, при штабе бригады, на вечеринку. Просто – хотелось чего-то другого, как-то переменить, нельзя назад, нельзя вперёд, – но куда-то вбок выйти из этих тягостных дней. Там во флигеле были такие две комнаты общего пользования, не занятые канцеляриями, и кухонька при них. Натащены пара диванчиков, несколько кресел, гостиный столик из главного барского дома. (И до недавних дней висел царский портрет, а вот кто-то снял беззвучно.) Стоял тут и граммофон-модерн, без наставной большой трубы, а звук даже ещё лучше. А пластинки – свои в каждом дивизионе, у всех

много: между офицерами был порядок, что каждый, возвращаясь из отпуска, должен три пластинки привезти. Прапорщику Фокину велели прийти со скрипкой, а вечеринка устраивалась с возлиянием и закусоном. Хотели и дам набрать, но достали лишь одну сестру Валентину, однако прехорошенькую. Командир дивизиона не пришёл, он заменял сейчас командира бригады, заболевшего (не политической ли болезнью?), и исполнял его должность серо-седой подполковник Стерлигов, он пришёл и был тут старшим. Офицеры собрались не все, не было и подполковника Бойе (говорят, уехал в Петроград), но прибилося двое-трое из 2-го дивизиона и из бригадного штаба.

На сундучке в сенях складывались папахи, вешалка обвисла полушубками и шинелями – а сюда входили, посверкивая орденами, подчищенной сбруей, гренадерскими жёлтыми выпушками, жёлтыми просветами погонов, разрывно-гранатными гренадерскими пуговицами.

Всего лишь вечер один, и ничто не меняется к лучшему – а просто вот эти несколько часов, под музыку, вообразить, что нет ничего того. Праздник! – лучший способ переменить жизнь и себя в ней! На столе – скатерть с цветною каймой, уже празднично, сновали с приготовлениями трое поспешливых смышлённых денщиков, и от первых собравшихся уже пел граммофон, кто-то замышлял на после ужина бридж (недавно появясь, он вытеснял винт и преферанс), кто-то постарше вздыхал, что нет биллиарда. Шутливо и повышенно громко приветствовали входящих:

– Разрешите пожать вашу разблагороженную руку! Думали ли дожить до таких камуфлетов?

– Не тронь его, оно разбито...

Все понимали, что надо держаться сегодня как можно веселей и только не вспоминать. Все были так настроены, и наверно бы это удалось, – если б уже на готовый сбор и перед самым ужином не ввалился – только что подъехавший к самому штабу бригады, воротившийся из поездки в Минск, высокий, худой, весёлый подпоручик Виноходов. Так и видно было, что разрывало его от впечатлений и, кажется, недурных, рвётся рассказывать. Не Петроград, не Москва, – но всё-таки Минск, всё-таки новости, как не послушать! Задержали и ужин.

Ездил Виноходов в служебную командировку, но подстроенную, выпрошенную, чтобы повидать ему свою зазнобушку. Видно, славно её повидал, такой свежий вернулся, задорный, моложе себя молодого, – и рад был рассказывать всё, что только где слышал, подхватил, и даже бы о своей крале охотно, если б его попросили.

Ну, одно – это смещение Эверта!

Да, прочли в Несвижской газетёнке, – но что? но от чего?

Ну, влияние минского совета, не сжился. Потом этот слух, что Воейков хотел через Эверта открыть Западный фронт немцам.

Это – все в газетах читали, и никто не поверил, конечно, и ещё сейчас барон Рокоссовский, стройный, облитой, и лицо облитое, лишь малые усики, в свежем негодовании:

– Какую грязь могут распустили! Неужели мы бы допустили!

Капитан фон-Дервиз побагровел, будто его самого обвинили в чём позорном.

Высокий Виноходов с подвижно-разбросанными волосами был в таком порыве, ему уже жалко было б не рассказать:

– За что купил – за то продаю, господа! Только ради новости! Конечно, всякие мерзости говорят: будто Эверт получил телеграмму за подписью Государя – допустить немцев для подавления восстания, но запросил Родзянку, а тот прислал ему телеграмму противоположную.

– Не всем, что в руки наплыло, надо торговать, поручик! – отбрил Рокоссовский, хоть ростом чуть и ниже долговязого, но зато как стержень. – Нашли патриотов – в Думе!

– А почему бы и не в Думе? А почему вы не предполагаете в Думе патриотов? – забеспокоился штабной интендант полковник Белелюбский, с полненьким круглым лицом, в

пенсне и с лихо вскрученными усами, попавший к ним тоже сюда, да он и помог устроить этот вечер.

– Повремените, господа! – успокоил их большой ладонью староватый Стерлигов. – А кто вместо Эверта?...

Виноходов теперь и остановиться не мог, как разнесшаяся лошадь. Всё с той же беспотерной весёлостью и личной непричастностью он выговаривал новые потрясающие слухи.

Будут расследовать дела императора и императрицы, и возможно даже будут их судить. Н-невозможно!?!

Фон-Дервиз побурел и шеей.

А впрочем – что теперь невозможно?

Эта Верховная Следственная комиссия как леденила, будто какая инквизиция.

Многие стояли, привстали, застигнутые.

Потом такие новости: Временное правительство посылало войска в Луганск на умирение непокорных. Были расстрелы, но газетам запрещено что-либо писать.

Несмотря на расстрелы, это уже выглядело для офицеров отрядней: значит всё-таки где-то кто-то?... Значит, существует не одно мнение только?...

Потом: генерал Иванов после рейда на Петроград подал отставку. Теперь идёт в монастырь. Оказывается, это его заветная мечта.

Отвлеклись на вечерок, рассеялись! Ужина не подавали, ждали от Виноходова дальше.

– А насколько верно, что в Петрограде солдаты сами выбирают себе начальников? – самый жгучий вопрос спокойно задал самый обстоятельный подполковник Стерлигов, сидевший на стуле боком, но устойчиво обвалясь о спинку.

Фронтовики, боевые воины, в согнутых локтях, откинутых головах, настороженных усах, наганы на боку, – к каким опасностям они не были готовы! Но перед **этой** недоумели...

Кроме Виноходова. Он всё легко подтверждал.

Рокоссовский, осью стоя точно посреди комнаты, оглядывался на всех как на виноватых и грозно спрашивал:

– Да как же это можно было допустить? **Как**?! Да что же остаётся от армии?!

И – никто не смел найтись ответить. Все ощущали себя действительно как виноватыми, пригвождёнными.

– И ведь найдутся, – резко презрительно отпустил Рокоссовский, как бы подозревая, что найдутся среди присутствующих, – из офицеров льстецы и угодники, которые так и ползут нравиться солдатам, высказывать повыше, пока можно захватить. – Он ни на ком не задержался дольше и не имел в виду безвинного Виноходова, но смотрел на него, принять новые удары.

Стерлигов развёл пальцами крупной ладони, держал так:

– Этак – невозможно, господа. Должно быть возглашено воззвание к армии с разъяснением, что все ныне действующие уставы сохраняют полную силу до их законной замены. Иначе – развалится армия, и нас не будет.

Молчали оглушённо.

А фон-Дервиз, хотя ему грозил апоплексический удар, ждал и напрашивался ещё на удар:

– А эта мерзость – не выдавать офицерам оружие? Это как? Одобряется правительством?

Чего не знал Виноходов – он и ответить не брался. Он белозубо улыбался. Он – уже выложил что знал, – а теперь пора б и ужинать? да танцевать? Он посматривал на Валентину.

Никого отдельно не упрекнул Рокоссовский, но полковник Белелюбский с большой вероятностью принял на себя, вся бригада знала его либералом. И ответил уговаривающе:

– Господа! Да ведь это же объяснено! Это – никак не относится к Действующей армии, только к петроградскому гарнизону, чтобы не дать образоваться контрреволюции. Должно

же новое правительство как-то себя гарантировать? И надо пожелать только, чтоб у правительства было больше сил в этот грандиозный момент. Подчинимся все новому правительству и не будем ни о чём волноваться. Перевернулась страница истории, господа!

– Да если анархия перекинется в армию – это будет зверь, перед которым не устоит ничто! Уже в нашей Второй устраняют и арестовывают офицеров! Уже что делается в гренадерских полках. А завтра – в нашей бригаде?

– В нашей бригаде – этого не будет, – раздумчиво покачивал Стерлигов широкой головой в серо-седом обводе. – В артиллерии это невозможно.

– Как сказать. Как сказать... Уже и наши солдаты нам не доверяют.

Да, изменилось, это чувствовали. И даже вот над сегодняшним офицерским собранием повисла, как будто, солдатская укоризна или недоверие. В нынешней обстановке такая сходка может вызвать подозрения. С солдатами – не стало прежней простоты.

– Господа-а! – напевал Белелюбский. – В нынешней обстановке и в комитетах есть свои плюсы. Если они будут выбирать себе каптенармусов, кашеваров – так и лучше, меньше повода для недоверия и раздоров. И нам тоже хлопот меньше.

– Да! – вспомнил ещё и не присевший Виноходов. – Ещё вырабатывается проект уменьшения содержания офицерам!

Вот так!... Блистательное офицерство было нищо все годы, во внешнем виде тянулось из последней ниточки, – и ещё уменьшить содержание?

Да неудобно, разговор-то доносился в кухню к денщикам.

– И ещё, – настаивал Виноходов. – Большая часть существующих орденов и отличий тоже будет отменена.

Висели и у него Станислав и Анна, но он выговаривал с радостью настигания, чтобы не забыть.

Набирали! дорожили! гордились! Добытое в пробивном и разрывном огне, чуть не главное в офицерской жизни, переблескивавшее, перезванивавшее на грудях, а у кого-то ещё не полученное, ожидаемое – и...?

– И нашивки ранений тоже, может быть, снимут? Отменят и раны, их не было?

Как пожар, охватывающий так быстро, что не успеваешь и жалеть.

Но, кажется, Виноходов – кончил уже теперь всё. Выдохся. Зарился на стол.

Но он – как перестрелял тут их всех, остальных.

Саня – тоже сильно пожалел награды, георгиевский крест. Кажется – что? Условность. А... Но не это страшно, а: потеря солдат. Вдруг почувствовали себя не во главе своих, а чуть ли не в окружении чужих.

Не быстроумое, не быстроглазое, устойчивое лицо подполковника Стерлигова повело такой печалью и такой мукой. Как пытаюсь бровями прорвать плёнку на глазах, он выговорил с трудом:

– Господа! Мы же ни к чему не готовы. Мы же никогда ничего не знали. Я очень был бы признателен, если бы мне кто-нибудь вот объяснил... Например, что вот именно точно значит, какие это такие эсеры? Что за крокодилы, я их не понимаю.

Их – и неприлично было различать офицерам до последних дней.

– Или – что такое со-ци-а-лизм? Если бы кто-нибудь мне объяснил... – потерянно глухо спросил Стерлигов.

– Да даже, – нервно вскрутил пальцами капитан Сохацкий, – кто бы дал такое объяснение: что такое революция? Такое определение – кто бы дал? Как же нам без этого ориентироваться?

Наступило вялое молчание.

– Да-а-а, – иронически протянул Рокоссовский, всё так же в центре группы и всё так же неослабленный в стане. – Это – вопрос для мудрецов. Или для Белелюбского.

Белелюбский, с прилегающе-прилизанными волосками на лысине, не казался ошеломлённым, он даже охотно взялся бы объяснить. Но чувствовал почти общую недоброжелательность.

– Да почему! – громко вызвался невысокий поворотливый торватый штабс-капитан Мельников. – Вообще революция – не скажу, но революция во время такой войны – пожалуйста! Это – всё равно как наделать в штаны, не дойдя до стульчака одного шага. Это – трагедия!

Расхохотались, вразлив.

Всё-таки, может быть, вечер ещё не был потерян? Пока они все вместе и пока этот вечер?

Стерлигов кивнул денщикам подавать ужин.

577

А вечеринка закружилась совсем и не плохо. Столько грозного распахнулось перед офицерской жизнью, но и молодое же сердце самое утешливое: такое ли мы уже переносили? Уж хуже смерти – что? А над кем она не разрывалась? Что бы ни ждало их, и никогда не бывалое, а ведь не хуже смерти? А они уже все переиспытаны, и друг на друга могут положиться, и связью их стоит дивизион.

Сперва – выпили в меру. А так как доставалось этого не часто, то испытали потепление, примирение, при которых смягчаются неприятности и сдружливо перекрещиваются взгляды.

И во всяком случае вот в этот единственный вечер – не должна была та шальная неразбериха сюда ворваться, можно было о ней не думать, а отпустить сердце, как оно само тянется.

Много было музыки. На скрипке играл им толстощёкий прапорщик Фокин, всё поёживаясь подбородком, а у глаз принимая осанку. Эту скрипку он возил с собой всю войну, и когда собирались офицеры – всегда играл. Да и солдатам иногда поигрывал, они любили.

А всё, что не Фокин, – то играл граммофон. Мальчиковатый прапорщик Ботнев взял на себя смену пластинок и всё время рылся в запасе. Он ставил всё щемящие, с голосом ли, без голоса, вальсы, песни, романсы русские и цыганские. И хотя все разные, а все кружились вокруг единого, травя сердце и настраивая единственно.

Ещё гитара была, её по очереди перебирали. Саня тоже.

Старшие под эту музыку во второй комнате играли в карты на двух столах – да тоже прислушивались, и над ними эти звуки ещё имели власть. А здесь уже расчищена была середина, и на проступе безостановочно сестра милосердия Валя – все глаза на неё – танцевала с кем-нибудь, а ещё иногда покруживалась и пара мужчин, чаще с маленьким шустрим Яковлевым за даму.

Но аромата цветущих акаций

Нам не забыть, не забыть никогда.

Печальный Краев – тонким сложением и долговязостью как Виноходов, однако глубоко серьёзный, медлительный, – пожалел, что нет пианино, а то бы он спел. (В главном барском доме Узмошья, в помещении самого штаба бригады, пианино было, но не идти же туда.) Это совсем было необычное предложение от Краева, он всегда предпочитал молчать, – но действительно веяло в сегодняшней вечеринке что-то разбереживающее.

Валентина была среди них – одна, но прекрасна за десять! Видав её изредка прежде днём и при службе, Саня и не замечал, или только сегодня: какой бронзовый огонь из неё высвечивался. Ещё и – при умеренном недосвете большой керосиновой лампы, подвешенной в середине потолка. Всякий раз, когда она только проскальзывала взглядом по Сане, – она как впыхивала в него, он так и чувствовал пролиз огонька по душе. Но, кажется, она смотрела так и на всех.

Пластинка пела:

Снова пою! песню свою!

Те-бя люблю! люб-лю! –

а казалось, это Валентина и пела, при неразомкнутых губах.

И каждый, кто хотел, за весь вечер хоть раз прокружился с ней, и Саня тоже, испытывая и от взгляда, и от дыхания, и от духов её, и от спины под своей пятернёй совершенную влюблённость, хотя и понимая, что эта влюблённость всего лишь одного вечера, – но как полна! И даже тем особенно полна, что не ждёшь взаимности! И как это он мог, вслед за Толстым, осуждать танцы! что может быть прекрасней танцев!

А Валентина совсем за вечер не отдыхала, себя не щадила, жила для них всех, и хотела всех насладить и всем остаться. И только Яковлев, для того и пошедший в армию, что «военных любят», суетился безуспешно вокруг, а его оттесняли.

– Да ну вас ко всем лешим! – кричал он. – Однако русалки пусть при мне останутся!

А больше всех танцевали с Валентиной ловкие, взлётные и ненасытные Мельников и Виноходов. Счастливо-дурацкая не сходящая улыбка Виноходова выражала непрерывный успех – то у своей минской, а теперь вот у Вали.

Саня раньше долго не отдавал себе отчёта, но постепенно заметил, что некоторые мужчины как-то особенно приспособлены к ухаживанию за женщинами, сразу берут верный тон и тут же имеют успех, и женщины сразу отличают их и благоволят. А у Сани никогда не получалось лёгкого ухаживания с наскока, а всегда должно было сперва произойти медленное душевное сближение, узнавание.

Но сегодня все женщины, певшие из граммофона, вливались в одну Валентину, и самые простенькие слова вытягивали, выматывали что-то из груди:

С тобою – быть! с тобою – жить!

Те-бя любить! лю-бить!

Скудная жизнь, суровая служба, светло-прохладные рассуждения над книгами, – так месяцы живёшь и как будто самодостаточно. А нужен толчок одного такого вечера – и вдруг видишь, как ты тёпел, слаб, уязвим, и совсем не войне предан. И книгами – тоже не насытить души.

От войны – произошло за эти дни внутреннее освобождение. Какие ни происходят мировые события, а твоя судьба – одна единственная.

Как будто не повеселиться, а потосковать они сегодня собрались. Как будто в этой тоске и была главная сладость для каждого, старого и молодого. Как будто должны они были каждый потравить себя – и тогда легче им будет продолжать своё стояние.

А жизни нет конца,

И цели нет иной, –

ни на минуту не давали отдыхать граммофону.

У сдвинутого стола при стенке оказались Саня с Краевым. И всегда спокойно-благородный малословный Краев, сейча, поигрывая пепельницей и зажигалкой, – и не пьяный же, а вот от этой разнимчивости общей, – вдруг, без расспроса, стал рассказывать Сане о своей невесте: какая нежная она, какая единственная, и никакой другой цели не видит он в выживании, как только вернуться к ней. Весь смысл жизни для него в том, чтобы вернуться к ней, – и выше того не бывает смысла.

И хотя в чистом виде и в общей формулировке никогда не мог бы Саня с этим согласиться, – сейчас он согласно кивал Краеву и был сражён, за душу схвачен простотой его довода: да! да, именно так! Воюющему мужчине естественно знать ту женщину, к которой он должен вернуться, и весь его военный путь должен быть – к ней.

Он смотрел на вертящуюся счастливую Валентину, на рдение щёк её, выгретое и движением, и внутренним огнём, и ловил те мгновения, когда она пересекала его глазами, – и любил её, любил её в этот вечер, как никого в жизни. Любил в этой отзывной сестре милосердия – ту свою ненайденную, прекрасную, невыразимо-близкую женщину, которую давно должен был найти и для которой жить. А умереть – так чтобы знать, кого потерял.

Саня – не боялся умереть. Но почему-то всегда у него было предчувствие недолговечности. Что не долго ему жить.

Подсаживался Яковлев, что-то тарыхтел, как жалеет, что их вечеринку нельзя сфотографировать, света мало, – оторвали бы в редакции. (Он одевал несколько солдат в

противогазы и посылал фотографию – «газовая атака». Или в помещицьем залеке разбрасывал до беспорядка и подписывал – «после ухода немцев».)

Не мог Саня, как Чернега, пойти к случайной тут крестьянке, лишь потому что хата её оказалась рядом.

Но и как же жизнь его, петелька за петелькой, всё вязалась так, что и на двадцать шестом году – он одинок, и вот ехать в отпуск – а не к кому?

Что ты – одна всю жизнь,

Что ты – одна любовь,

Что нет любви другой.

Полюбить – по-настоящему. Полюбить пока не поздно. Ведь ещё велика война впереди, и немало сложится голов.

Если уж и судьба в эту войну умереть – то хоть оставить позади себя любимую женщину. С сыном бы.

А другого пути утвердить себя на земле и продолжить – нет.

Их беседа с Краевым распалась. А сидели рядом. Каждый, вполне согласный, думал о своём.

Отпуск выйдет Сане, наверно, в апреле. И теперь он поедет не в станицу, нет. Он поедет – в Москву. Ни к кому определённого, смутные, опавшие нити знакомств. Он поедет в Москву, как в лучшее место, где жил. Где провёл такие счастливые студенческие недоученные годы.

Никогда не жалел, что бросил университет, – а вот в эти дни стал жалеть.

Провести три недели в Москве, да весной, – сейчас перевешивало Сане всю предыдущую и будущую жизнь. Сами тёплые стены московских переулков – помогут. В чём-то. Встретить кого-то. Ведь каждому это обещано.

О нет! Нет! Что-то так расширилось сердце его сегодня, что и обняв всю Москву – не могло насытиться.

Даже представив себе любовь свою – единственную, найденную и уже осуществлённую, – уже и на том не могло остановиться.

Да и не может человек известись – на одной лишь только любви, самой и прекрасной. Как в лёгких есть ещё верхушки, так в нас остаётся ещё и ещё высота.

Что-то так расширилась грудь, потянуло куда-то, всё выше. Это уже была не тоска по неохваченному, по нежитому – а просто переполнительно хорошо.

Так растеснило грудь, что мало стало и этих раздражительных песенок, и даже сияющих глаз Валентины. Тесно – в себе самом.

О таком взмывающем чувстве знал Саня одно стихотворение. Как будто сам его написал – так это точно и единственно было схвачено. «Не жди» Полонского.

Тифлисская летняя ночь (как и везде на юге у нас). Изнуряющий, расплавляющий залив луны – но:

Я не приду к тебе... Не жди меня!

Вот это невыразимое переполнение:

Не ты ли там стоишь на кровле под чадрую,

В сияньи месячном?! – Не жди меня, не жди!

Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою

Часы, когда простора нет в груди.

Ты, мы – созданы для чего-то лучшего, чем мы делаем. Намного лучшего и высшего.

Тесно в себе самом. И в этой комнате – тесно. Такая красота взмывала – потянуло вовне.

Саня тихо всех миновал, в передней насадил папаху, шинель просто накинул. И вышел.

Ах, как хорошо!

Не воздух один свежий после табачного дыма и керосинового нагара, но морозно, хрустально – и ясно. Поместье стояло на небольшой высотке – и во все стороны простиралось мирное полусветное мрение – по порослям, до лесов.

Как раз между двумя высоченными раскидистыми вязами и выше остроголовой еловой обсадки двора – высоко в чистом небе стоял месяц ровно в первой четверти, полукруг.

Но уже довольно было света от него, чтобы на ветках примороженные льдашки сверкали как драгоценности.

И не настолько ярко, чтобы загасить звёзды. Отступя – висели они там и здесь – в раскатившемся беспредельном млековатом небе.

Нет! Даже женщиной не может насытиться сердце. Ещё дотянуться хочется вот в эту зовущую, невыразимую, загадочную красоту, – зачем-то же распахнута она над нами.

Когда сама душа – сама душа не знает,

Какой любви, каких еще чудес

Просить или желать, – но просит – но желает,

Но молится пред образом небес.

И как нам докликнуться! И как нам дозваться!

Так, замерев, с головою вверх, Саня стоял.

Стоял.

Пока не стало и зябко.

Во дворе поместья никого не было.

Он медленно пошёл, сильно хрустя наледью под сапогами.

578

Уже с месяц не было в бригаде ни одного убитого, ни одного раненого, и никто не звал священника – ни отпеть, ни исповедовать-причастить, ни посидеть у постели тяжёлого, написать письмо домой. перевязочный пункт, где место священника во время боя, вовсе пустовал. Могилы прошлой осени ещё не поднялись из снега и не звали убрать их. Не было случая для панихид – но и молебна о новой власти отца Северьяна не попросили служить. Бывало, иные солдаты приходили сами в его крохотную пристройку к главному дому Узмошья – посоветоваться о семейном, побеседовать о душевном, – но от дня революции ни единый человек не притянулся, ни от одной из девяти батарей. И на наблюдательные пункты под пули не к кому было идти, пусто и там. Все жили близ огневых позиций или близ лошадей – но только с лошадьми вот и осталась одна ежедневная работа. Приходил туда – а все бродили без дела, – без дела, но в каком-то духовном заражении, томлении и надежде вместе, как будто опоены каким зельем, не в себе, не полностью слыша и видя, – бродили, и в землянках лежали, томились, читали листки и газеты, – а никто не тянулся к священнику, опалённые этими днями.

Сегодня в передвижном храмике отслужил при штабе обедню – пришли из вежливости два офицера, оба дежурные, ещё были несколько унтеров из штабной obsługi, да вот и всё. Прежде, в тяжёлые дни бригады, отец Северьян измогался, не хватало сил и сна, – сейчас рассвободилось от всяких занятий время, как будто и не стало обязанностей. Стал отец Северьян писать Асе в Рязань чаще и длиннее прежнего. Всегда отзывно она понимала его состояния, и суждения её были ясные, доброжелательные, – так в наступившем сумбуре он ждал больше узнать от неё, чем мог написать отсюда.

И тоже, как все, читал, читал эти отравные газеты.

Поступая в Московский университет в самые тогда революционные годы – ещё никак не прозревал он своей будущей дороги. Отначала и жарче всего он думал отдать себя русской истории. Он испытывал боль, что широкое обстоятельное историческое повествование у нас оборвалось на смерти Сергея Соловьёва – и в середине царствования Екатерины. И 120 лет с тех пор – может быть решающий век России – не исхожен с терпеливым светильником, а оставлен нам в наследство как полузапретный, полутёмный, лишь местами высвеченный писателями-художниками, да втёмную исколотый шпагами пристрастий и противострастий публицистами всех лагерей. Молодой рязанец нёс надежду

на старика Ключевского (и более всего хотел бы попасть к нему в ученики). В университете ещё застал с благоговением его лекции. В огромной «богословской» аудитории нового здания до самых высоких хор было отчётливо слышно каждое его негромкое, но внятное слово. Он был изумительно красноречив, и пользовался этим, и со вкусом выговаривал самое удачное. Курс его был – ослепителен, но и он не был терпеливым последовательным фактическим освещением, в котором же так нуждается Россия, это были всё прорезающие лучи, лучи взглядов, выводов, обобщений. И возраст Василия Осиповича уже не давал надежды, что он воспитает иную школу. А ещё постоянно обронял он шуточки с политическими намёками на современность, всегда ехидно-остроумные – они вызывали восторг аудитории. Но попав к нему на повторный курс, молодой почитатель с разочарованием обнаружил, что это вовсе не импровизации, как казалось, а отработано и дословно они повторялись и на следующий год. И в этом была – недостойность, подыгрывание, – это отталкивало.

Да в те годы, в чудесном новом здании, столько света и простора под стеклянным куполом центрального холла, открытые галереи трёх этажей, широкие перила сидеть и спорить, – в те годы в этом здании, воздвигнутом для светлых знаний, любви к науке и равновесия справедливости, студентам приходилось начать с борьбы за права духа – против студентов революционных, а те – ещё поблажка, если только с оглушительными политическими трафаретами, а то *срыватели* врывались в аудитории в чёрных папах и с дубинками – разгонять слушателей на принудительную забастовку, – и вот тут было испытание и рост характера: без дубинки и без встречной рукопашной устоять и остаться слушать профессора Челпанова.

Челпанов читал введение в философию – и так читал, что это оторвало искателя от истории – и кинуло в мир философии. Год за годом потекли курсы – у Виппера философия истории, у Попова – история средневековой философии, у Лопатина – история новой философии, а затем – новый поворот – у Ивана Васильевича Попова история патриотической философии и сильное в университете даже посмертное влияние Сергея Николаевича Трубецкого, его духовного огня, и кипение семинаров: есть ли Бог? есть ли нравственный закон? есть ли непреходящий смысл жизни и мира? – а затем можно было взять историю религий, раннее христианство, – и так пролёт путь не кончить на университете, но идти в Духовную академию к тому же Попову.

Второе уже столетие модный всесветный атеизм, потекши в Россию через умы екатерининских вельмож – и вниз, и вниз, до сынов сельских батюшек, залил все сосуды образованного общества и отмыл его от веры. Для *культурного круга* России решено давно и бесповоротно, что всякая вера в небесное или полагание на бестелесное есть смехотворный вздор или бессовестный обман – для того, чтобы отвлечь народ от единственно верного пути демократического и материального переустройства, которое обеспечит всеобщее благоденствие, а значит и все виды условий для всех видов добра.

Дивная особенность либеральной общественности! Кажется: равная полная свобода для всех – и высказываться, и узнавать чужие мысли. А на самом деле нет: свобода узнавать только то, что помогает нашему ветру. Мысли встречные, неприятные – не слышатся, не воспринимаются, с невидимой ловкостью исключаются, как будто и сказаны не были, хотя сказаны. А уж в церковь ходить – просто стыдно, говорят: «как в Союз русского народа». И кто не хочет порвать с храмом – ходит к ранней обедне, чтобы незаметно.

Сам себя увёл из попутного ветра, стал против – и не жалел.

Ася, тоже рязанка, кончала высшие курсы, и, женись, отец Северьян после Академии принял сан, и не стал искать места в сгущённом духовном центре, ни возле Лавр, не ставить себя в искусственно поднятое положение – но разделить жребий общий, чтобы иметь же право и судить о нём, а центр? – духовные центры мы сами должны создавать, а Россия, право, не так уж, не так уж велика, чтоб не дать сорока и восьмидесяти таким центрам снизиться воедино, одним светом.

Перед войной и первый военный год отец Северьян служил в Рязани в старинном

малом храмике Спаса-на-Юру. Юр, по которому назывался в народе этот храм, был дуговатым высоким обрывом над неоглядной роскидью окских лугов. Почти вплоть подступал сюда древний город, верхний Посад, внедалеке, отделённый рвом, уплотился рязанский Кремль с Олеговым дворцом, собором и многими церковными куполами, – но сразу за храмом Спаса всякое жильё обрывалось крутью, и всё было – воздух, да ветер, да вид на разливы, и лишь за многие вёрсты виднелись непоёмные сёла. Это был свой Венец, тут любили рязанцы гулять, особо сталпливались в солнечные разливные дни глядеть, как вода затопила, поднялась к домикам нижнего Посада, так что ставили дебаркадер под самым холмом Кремля, и подходили сюда катера в последние дни Поста и на Пасху.

И отец Северьян тоже любил тут гулять – по самому краю излучистого обрыва, мимо храмика своего в одну сторону и потом в другую, почти до златоглавой кремлёвской колокольни. Только гулял он здесь, один или с кем беседу вёл, – когда прежде утрени, когда за всюнощную, уже и во тьме. Даже больше чем для прогулок – это место он любил как главное для себя место всей России и всей Земли, здесь думалось ясно, просторно, как нигде.

С первых своих шагов отец Северьян примкнул к тем в русском духовенстве, кто хотел бы вернуть Церкви место – возродительницы жизни. Чтобы она ответила на тупик современного мира, откуда ни наука, ни бюрократия, ни демократия, ни более всех надутый социализм не могут дать выхода человеческой душе. А прежде всего – вернуть каждому приходу живую жизнь изначальной Церкви.

В самом расположении этого тёмно-кирпичного, стройно сложенного, скромно достойного храма над необъятным окоёмом поймы, где с массивами незаливаемого леса, где с купой столпленных деревьев и домиков (там узкоколейка затапливалась, а станция – нет), и дальними крутыми взлобками окских берегов, – самым расположением напоминалось исконное тяготение православия к незыблемой и просторной красоте, как если бы никакой вечной высшей истины нельзя было понять иначе, как напоясь этой красотой и только через её струение.

Русь не просто приняла христианство – она полюбила его сердцем, она расположилась к нему душой, она излегла к нему всем лучшим своим. Она приняла его себе в названье жителей, в пословицы и приметы, в строй мышления, в обязательный угол избы, его символ взяла себе во всеобщую охрану, его поимёнными святыми заменила всякий другой счётный календарь, весь план своей трудовой жизни, его храмам отдала лучшие места своих окружий, его службам – свои предрассветья, его постам – свою выдержку, его праздникам – свой досуг, его странникам – свой кров и хлебушек.

Но православие, как и всякая вера, время от времени и должно разбредаться: несовершенные люди не могут хранить неземное без искажений, да ещё тысячелетиями. Наша способность истолковывать древние слова – и теряется, и обновляется, и так мы расщепляемся в новые разрознения. А ещё и костенеют ризы церковной организации – как всякое тканное руками не поспевая за тканью живой. Наша Церковь, измождаясь в опустошительной и вредной битве против староверия – сама против себя, в ослеплении рухнула под длань государства и в этом рухнувшем положении стала величественно каменеть.

Стоит всем видимая могучая православная держава, со стороны – поражает крепостью. И храмы наполнены по праздникам, и гремят дьяконские басы, и небесно возносятся хоры. А прежней крепости – не стало. Светильник всё клонится и пригасает, а жизнь верующих вялеет. И православные люди сами не заметили, как стали разъединяться. Большинство ходит по воскресеньям отстоять литургию, поставить свечку, положить мелочи на поднос, дважды в год принять елей на лоб, один раз поговеть, причаститься – и с Богом в расчёте. Иерархи существуют в недоступной отдельной замкнутости, а в ещё большей незримой отделённости – почти невещественный Синод. Каждый день во всех церквях России о нём молятся, и не по разу, – но для народной массы он – лишь какое-то смутное неизвестное начальство. Да и какой образованный человек узрел его вживе, Синод? В крайнем случае, только светских синодских чиновников. А высокие праведники одиночными порывами ищут

вернуться к пу стыням, скитам и старчеству, ожидая когда-нибудь поворота и общества за собой. Но – не их замечая, нетерпеливые и праздные экзальтированно ищут *углубить* свои ощущения, с ненасытностью знамений, чудес, откровений, пророчеств, а без этого им вера не в веру. И как ещё никогда, роятся и множатся секты, уводя от православия уже не сотни, а тысячи. А учёные богословы замкнуты в своих отдельных школах. А грамотеи-энтузиасты разных сословий собираются отдельными тесными кружками в низких деревянных домиках слобод и провинциальных городков, неведомые далее пяти-семи людей и двух уличных кварталов. А в деревне? Среди сельского духовенства есть святые, а есть опустившиеся. И вековая его необеспеченность и зависимость от торговли таинствами – не помогает держаться его авторитету. А тем временем подросло молодое деревенское поколение – жестокие безбожные озорники, а особенно когда отдаются водке. Старый, даже простодушный, мат приобрёл богохульные формы, – это уже грозные языки из земли!

Но гармония, со столетиями уже как бы наследная, – выжила и сквозь Раскол, и сквозь распорядительные десятилетия Петра и Екатерины, – отхлынула от верхов, покинула верхние ветви на засыхание, а сама молчаливо вобралась в ствол и корни, в крестьянское и мещанское несведущее простодушие, наполняющее храмы. Они ошибочны даже в словах молитв (но их пониманию помогает церковный напев), только знают верно, когда креститься, кланяться и прикладываться. И в избе на глухой мещёрской стороне за Окою, дремучий старик, по воскресеньям читающий *Евандиль* своим внукам, искажая каждое четвёртое слово, не доникая и сам в тяжёлый славянский смысл, уверенный однако, что само только это чтение праздничное унимает беса в каждом и насылает на души здравие, – по сути и прав.

Для того немого, бесколышного, для тех глубинеющих корней отец Северьян и считал себя призванным поработать.

Только всего и нужно было: возродить этот прежний «святой дух» Руси, дать выйти ему из дрёмного замиранья.

«Только»!...

Малочисленные единомышленники отца Северьяна рассыпаны были розно по пространству России, не имея единого стяга, ни места выражения, – только встречами, да письмами, да редкими проникшими в печать статьями перекликаясь и зная давая друг другу, что каждый из них – не вовсе один. (Перед войной в столицах их стало больше, но не священники.)

В этом их малочислии, в этой их окружённости равнодушными и враждебными была, однако, не только слабость их, но, если гордыне не поддаться, – и надежда. Всякое движение истины всегда трудно, истина при своём рождении и укреплении окружена бывает насмешкой и отвратна для окружающих. Идти по лезвийному хребту почти сплошь среди чужих или врагов – необходимое условие рождения истины. Хотя – и не достаточное.

Да мысли о церковном преобразовании пробивались, тянулись ещё с середины прошлого века, когда начали строить новое общественное здание и сразу же загремели револьверы террористов, чтоб это развитие опрокинуть. Мысли были, что нездоровье общества – от нездоровья Церкви, и даже удивляться надо, что народ ещё так долго держался. И если мы, духовенство, допустили до этого упадка, то мы же должны и поправить. Преобразование ждало своих призванных деятелей. К 1905 году почти уже был разрешён Собор, первый после двух столетий! – и тут же остановлен уклончивым пером императора: «... в переживаемое нами тревожное время... А *когда* наступит благоприятное для сего...» А когда наступит благоприятное, если мы сами его не придвинем? Приняли запрет за «радостную надежду» – и так удалось созвать Предсоборное Собрание. И выработали превосходные рекомендации, публиковали их, подавали *наверх*, – и всё завязло снова.

Нашлись у реформы и могущественные противники, и на высоких церковных оплотах. Трудней-то всего: как убедить благорасплывшихся водителей Церкви? Высоковластные мужи её и государственные чиновники, поставленные как бы содействовать ей, надменно

уверены, что никакого иного *добра* от нынешнего искать не следует, всё – лживость понятий, дерзость заносчивая, едва ли не революционерство. И при своей уставленной длани над маленьким приходским священником имеют право не противопоставлять ему и доводов, но во всяком заносе его мечтаний остановить беструдным для них ударом, – и он осажён как жерновом на ногах, во взлёте – ударом, вытягивающим хребет, и возвращается к осмотрительным земным движениям. Была ли то косность, тупость, нехоть или лукавое низвращение слова Господня, – но за ними были власть и решение.

Да не только давили, но и возражали умело: что Церковь не есть учреждение человеческое, и потому не нужна в ней внешняя перемена и не должна к ней прикладываться человеческая энергия. Что писатель Достоевский оболгал её, будто она-де парализована, а она – организм вечной жизни, и вхождение в ту жизнь никому не закрыто. Что все эти преобразовательные проекты суть социальные утопии, а поборники их – некие *церковные эсеры*.

Всё это был древний вопрос: вмешиваться в мир или отрешаться от мира. Всё так, христианство – это не устроение социальной жизни. Но и не может оно свестись к отчётному отрицанию мира как зла. Нет! И всё земное есть Божье, пронизано Божьими дарами, и это наша добровольная, обёрнутая секуляризация, если мы сами удаляем Бога в особую область священного. Не может Церковь, готовя каждого к загробной судьбе, быть безучастна к общественному вызволению, отписать народные бедствия на Господни испытания и не силиться бороться с ними. Не уходить нам в затвор от земных событий. Замкнуться в самоспасение и отказаться от борьбы за этот мир – страшное искажение христианства.

Да не какая-то сотрясательная измышленная реформа требовалась, не излом, не поиск новейшего, – но вернуться в прежнее засоренное русло, восстановить, как оно было, и с чего начиналось христианство вообще. Процветание Церкви – не в роскошном украшении храмов, не в дорогих окладах и не в сильных хорах с концертными номерами. Нет, восстановить и укрепить навык христиан самим угадывать себе духовных вождей: духовенство должно быть выборным. Только выборный священник и сгущает в себе дух общины. (А и – не так уже легко вернуться к выборным: сегодняшний мирянин не может, без духовного образования, сразу взять себе на плечи и усвоить двухтысячелетний опыт Церкви.) Разве случайно нет похвальных русских пословиц о попах? Но и кто на Руси униженной священника? Церковь должна перестать быть государственным ведомством. Восстановить весь воздух раннего христианства, – и где мешающая тому стена, кроме наших потерянных сердец? Под общей крышей отмолились, кивнули друг другу как знакомым и разошлись. Нет, оживить формальный приход в деятельную христианскую общину, где храмы открыты и светятся для встреч и бесед не только в часы служб; где дети воспитываются как равные христианские, независимо от состояния и положения родителей; и где безошибочней всего и необидно передаётся помощь нуждающимся, что недоступно для гражданских комитетов, да ещё приезжих людей. Ведь истинная бедность только тут и откроется, когда знает, что к ней стучится не надменная рука. Дар принимается как бы от Бога и принимающий не испытывает унижения, а приносящий дар – приносит во имя Бога, и не испытывает гордыни.

А там разразилась война. А вот – и петербургская революция! Во взлёте общих опасений, сомнений и надежд зажглась у отца Северьяна и своя отдельная яркая надежда: не принесёт ли эта революция свободы и церковному развитию? – хотя помощь христианскому делу от физического переворота жизни угрожает быть коварной. В новых условиях – что будет с церковной реформой? Не мог он тем поделиться ни со священниками Гренадерских полков, ни с дивизионным благочинным, ни с армейским проповедником. Но вот добывал газеты, газет сколько мог, и из груды недоговоренных неясных революционных новостей выискивал, вытягивал каждый отщепок, по которому мог бы судить о церковной жизни в столицах.

Одного митрополита силой сместили тотчас, другого усиленно выталкивали. Из опалы

возвратился в Москву страстный реформатор священник Востоков, отчасти единомышленник отца Северьяна, и вот метался по Москве, ежедневно что-то совершая. Профессор богословия Кузнецов возгласил, что теперь очищено место для церковной реформы и не будут больше архиереи духовными губернаторами. Думец-протоиерей Филоненко звал очищать белоснежные ризы Церкви. По всей Московской губернии происходили уездные собрания духовенства – да не докатилось ли и до Рязани? – вот когда жаль, что на фронте.

Невесть откуда взявшийся обер-прокурор Львов каждый день заявлял что-нибудь освободительное и вызвал из Уфы опального епископа Андрея Ухтомского, известного реформатора, проча его в петроградские митрополиты, – а тот уже по пути делал заявления, что свершился суд Божий, все обманы теперь обнаружены, открыты величайшие возможности в истории русской Церкви, в государственной жизни отныне будут соблюдаться только нравственные принципы и душа замирает от радости.

Так ли?... О, так ли?... Слишком хорошо и легко, чтобы так всё сразу.

Замелькало упоминание о кружке (ещё Пятого года) 32 священников вокруг о. Григория Петрова, – и они сразу же создавали «Союз демократического духовенства» – партия, что ли? – требовали упростить состав богослужения, чтобы приблизить его к народному пониманию, и – «привлечь духовенство к участию в политической жизни страны». А секретарь их, священник Введенский, требовал ещё и светского костюма вне богослужений, разрешения бриться, стричься, и спешил возгласить эстетику – родной сестрой религии.

Спешили-или. Так спешили, что самые лучшие замыслы в первых же движениях начинали искажаться. Уж в отце ли Северьяне не было долголетнего напора деятельности? Но когда в России всё, всё вихрилось – можно ли так вырывать в суматошья церковную реформу? Завлекало их в вихрь как-то всё одним боком. Слишком много разговаривали с газетами. Востоков высказывался всё развязней, протоиерей Цветков склонялся в политическое буйство. Епископ Андрей легкомысленно объявлял о социалистах, что они в глубине души истинные христиане, честнейшие натуры, алчущие и жаждущие правды, но просто не знают церковной жизни, а всё по вине победоносцевского ведомства.

Да как можно сказать такое? Социализм? – он основан не на любви, а на борьбе.

Такой призыв улавливался, да даже уже не призыв, что реформа и сама будет ломать как ураган.

А прокурор Львов всё громче говорил о *хорошей метле*, которую он прометёт Церковь. Истинно ли свободу предлагали Церкви – или только право освятить революцию, новую присягу, воодушевлять солдат на продолжение войны – и услуживать во всём новому правительству?

Кажется, именно так, потому что вот уже Синод подавал в коллективную отставку: он хочет определять сам свой внутренний порядок, и даже при старой власти всегда имел свободу назначения архиереев – а теперь её отнимают.

А харьковский Антоний заявил, что под «реформой прихода» сейчас понимают: ограбить церковное достояние и выбрать себе распущенное духовенство.

Да вон уже, там и сям, местные исполнительные комитеты брали на себя лишить священников сана.

Мчатся бы отцу Северьяну туда, в действие! Но безмолвный ночной фольварк Узмошье замыкал его малую пристройку, с малым столиком, кивотом, походной раскладной койкой да двумя стульями, а на чёрной суконной постельной застилке при керосиновой лампе – газеты, газеты.

Как неясны и непрямые пути к истине. Может быть, и было что-то верное подмечено в той кличке «церковных эсеров»? Как это сегодня закружилось вокруг реформы... – перестраивать? или ломать??

Страшно.

Обречены мы всегда тосковать по дальней правде. А обращаться с ней – не умеем.

От нас требуют признать «новый строй» совершенным? Но Евангелие – не разрешает нам так. Но ни в какие временные общественные формы – глубины Церкви не вмещаются.

В этих быстрых решительных жестах – издали не угадываешь молитвы.

Если мы ещё усилим наши церковные болезни? – да в этом общем урагане по стране ещё увеличим наши заблуждения? – то к чему придём?

Какая ещё новая расплата будет нам за то?

ТРИНАДЦАТОЕ МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

579

Таких сложных культурных хозяйств, как Лотарёво Вяземских, было немного, считая и по всей России. Такого имения не найти во всей Тамбовской губернии. Особенно развил его, вложил душу отец, князь Леонид, бывший глава Управления Уделов, после того как в Девятьсот Первом году получил выговор от царя за поддержку студенческой демонстрации и уехал жить в Лотарёве. После его смерти имение принял старший сын Борис, всего тогда 25 лет, но исключительно разумный, уравновешенный, практичный и настойчивый. Теперь у них был конский завод, рысистый (из самых знаменитых, выигрывали многие скачки) и рабочих лошадей, питомники, рассадники, каждое поле в пятирядной кайме деревьев против мятелей, луговое хозяйство, молочное (стадо швицких коров), птичье, крупный содержанный парк, сад, цветники. Князь Борис не упускал использовать в животноводстве даже и новейший менделизм. У него были и познания и любовь к флоре и фауне, и он ещё мечтал выделить в тамбовской полосе несколько сот десятин целинной земли, чтобы сохранить на них естественные виды растений, птиц и отчасти животных. Лотарёво, и при управляющем, требовало круглогодичного присутствия внимательного хозяина, также и зимой, с быстрыми решениями при инфекции или сложных случаях на конском заводе, а этой зимой небывалые мятели нарушали и подвоз кормов.

Но именно этой зимой события всё держали князя Бориса вне дома. К Новому Году поехали в Петербург с Лили (детей у них еще не было), встречали его у тестя, во дворце Шереметьевых на Фонтанке. (Князь Борис успел расписаться и в Мраморном дворце по случаю высылки великого князя Николая Михайловича, похоже на высылку отца.) А через десять дней у Шереметьевых ещё торжество – серебряная свадьба родителей Лили. А через ещё пять дней нельзя было не поехать на годовщину смерти графа Воронцова-Дашкова, тестя Адишки-брата, но и дедушки Лили по матери (три брата Вяземских были женаты на трёх двоюродных сестрах), ездили большой семьёй, заказным вагоном. В двадцатых числах января вернулись в Лотарёво как раз на полосу мятелей, заносило дом выше перил бельэтажной веранды, прекращалась подача электричества и работа водокачки, откапывали в снегу траншеи в полтора человеческих роста. В конце февраля был первый солнечный пригрев, 1 марта опять мороз и небывалые уши и яркие радуги вокруг солнца. (Как заведено во многих помещичьих имениях, князь Борис вёл «книгу судеб» – такой дневник, где записи через год возвращаются на лист того же числа, и так можно потом проследить многолетнюю судьбу каждого дня.) А 3 марта пришла с задержкой телеграмма, что Дмитрий ранен, ещё через два часа – что скончался. Выехали на станцию Грязи, но опоздавшего московского поезда пришлось переждать полную ночь и ещё полдня, всё расписание нарушилось, – съездили к знакомым Бланкам в соседнее имение, и только от них узнали, что в Петрограде как будто революция. И действительно, ещё через день Москву застали всю в красных флагах, – невообразимое зрелище. А поезд из Москвы в Петроград ещё снова сильно опоздал, так несчастно всё – приехали через два часа после отпевания Дмитрия в Лавре. А Адишка с фронта в этот раз вовсе не приехал.

Затем оставалось четыре дня подождать – и будет девятый день, обедня в Лавре. А тогда стал Борис задумываться: не остаться ли на кадетский съезд, вот в конце марта? (Лили тоже хотела посидеть на съезде, она была из верных жён, делящих все интересы.) А там – и на Пасху, сразу за тем? А там вскоре и митинг сороковой день? Так застрял князь Борис в Петрограде, кажется и ещё на один месяц. За это время и передал Академии Наук зверинец, устроенный Дмитрием в Осиновой Роше.

А хоронить Дмитрия, как он и сам просил, да как уже и требовала традиция рода, надо было в коробовской лотарёвской церкви. Для того поместили его в цинковый гроб, запаяли, и пока держали в левашовском (материнском родовом) склепе в Лавре. А повезти гроб, так получалось, не раньше начала мая: чтоб и Мама было легче ехать, ещё при нынешних расстроенных путях, и у Дильки младенец будет постарше.

Незапланированное своё пребывание в Петрограде, да ещё в столь необычайное время, князь Борис, уездный усманский предводитель, имел поводы использовать для посещения новых правительственных лиц: по сельскохозяйственным делам – Шингарёва, по делам местного суда – Керенского, по делам местного управления – князя Львова, а с Гучковым повидались почти как с родственником. Надо было ещё и хлопотать, как бы достать на этот сезон военнопленных в имение, или же китайцев, или сартов. А ещё, по партийным кадетским делам, посетить перед съездом и Винавера.

Вообще, за военные годы петроградская атмосфера стала ненавистна князю Вяземскому своим постоянным судорожным алармизмом, мрачностью всех выводов и предположений. Он говорил Лили: эта проклятая «общественность» нас доведёт, но мы обязаны с бодрым видом спасать, что можно. А сейчас, после революции, он находил, что в Петрограде быстрее всего и разливается всё больное.

Керенский произвёл на него болезненное впечатление, какой-то прыгающий вздорный оптимизм. Князь Львов – отвратительное: при ясном взоре – на самом деле хитрит, вертится, никакой власти у него нет да и нет желания править, зачем он это место занял? Гучков, напротив, чрезвычайно и неоправданно мрачен. Шингарёв – куда пободрей.

Шингарёва Вяземский знал лучше других: его Грачёвка – в Усманском уезде, хоть и маленький, а свой землевладелец. Да и вообще он был открыт, в разговоре прост. Обсуждали с ним, во что же это может вылиться в деревне, и Вяземский уверенно ему говорил:

– Повторение Пятого-Шестого года в деревне сейчас невозможно. За 10-12 лет утекло много воды. Тогда мы были политически окружены, сейчас мы – видная часть целого, перед которым всё будущее. Тогда – нас всё застало врасплох, внутренне мы были в потёмках, а теперь уже невозможны ни прежние погромы, ни целая катастрофа. Через успешную земскую деятельность, через местное самоуправление мы в лучших крестьянах развиваем чувство совместной ответственности за свою судьбу и за судьбу отечества – и тем революционная пропаганда становится беспочвенной. Хотя всё ещё какой-нибудь щеголь публикует «Деревню», вываливая из неё прочь всякий трудовой смысл жизни, рисует пасквиль, чтобы подмазаться к общественности. В России – много непочатых здоровых сил, и среди них дворянство – тоже ещё не рухлядь, поверьте. И я считаю жестокой ошибкой паническое настроение некоторых помещиков – скорее сдаваться и всё сдавать.

Как он за эту неделю наблюдал в Петрограде кой у кого из приезжих.

– Нет, мы, дворяне, ещё поборемся, выстоим и войдём в будущее.

Кажется, немного только изменилось: не стало железнодорожных жандармов, этих саженных красавцев, как будто и безучастно встречавших-провожавших поезда, а ведь остались и дежурные по станциям в красных фуражках, и те же станционные колокола с часто-коротким вызваниванием «повесток» о вышедших смежных поездах, и те же звучные отправные в один, два и три удара, и те же стрелочники с вылинявшими до жёлтости зелёными фуражками, пропуская поезда, так же ставили ногу на гиревой противовес стрелки

и дудили в медный рожок, – поезда шли, станции не рассыпались, а как будто лопнула удерживающая застёжка, о которой раньше и не догадывались, что она держит.

Утром в Смоленске Ярослав вышел на перрон – и революция напомнила о себе как хлестнула. Что больше всего разило военный глаз – это вольно расхаживающие солдаты, без поясов, с расстёгнутыми шинелями, открыто куря на виду офицеров, и никто не отдавал чести. Ничего хуже они не делали, ну ещё семечки свободно лускали, ну ещё двое вели девку под локти, – но намётанному офицерскому глазу уже хуже и быть не могло: это и был развал, а не армия. И над всем этим опускалась благожелательная разрешённость, признанность: ни отсутствующие жандармы, ни прошмыгивающие смущённо армейские офицеры, ни поручик Харитонов среди них не были вправе повесить голос, одёрнуть, остановить, заставить. Расхаживали какие-то новые наблюдающие штатские и даже гимназисты, одни с белыми, другие с красными повязками на рукавах, но они ни во что не вмешивались, и при чём тут гимназисты? – их никто и не замечал. И если шёл по перрону высокий почтенный старик в хорьковой длинной шубе, а за ним носильщики несли шесть мест и бонна вела двух девочек, – то даже нельзя было поручиться, что за поворотом вокзала расхристанные эти солдаты не прикажут старику шубу снять, а вещи поставить на просмотр – и всё так будет, и никто не вмешается в защиту. Да Ярослав бы конечно вмешался! – но эта всеобщая разрешённость, уже впитанная им из московских дней, обессиливала его.

Странная жизнь.

В буфете 1-2 класса обычный белоснежный повар в халате и колпаке хлопотал у стойки, возглавленной грандиозным самоваром. И, как обычно, в мельхиоровых блюдах на синеватом огне спиртовок подогревались дежурные кушанья. И в обход искусственных пальм на белоснежные скатерти столов разносились пассажирам на подносах тарелки и чай. Однако и в этом зале наступила чужеродная настороженность: от набравшихся сюда солдат, никак не пассажиров 1-2 класса, однако некому теперь было не впустить их или их отсюда вывести, и только явно сторожились буфетские, как бы эти солдаты да не взяли со стойки, не платя, – тоже помешать им некому.

Но: разве эти солдаты не умирают вместе с нами за Россию? Да они-то и умирают! За что же мы их держим каким-то неразрешённым сортом, не допускаемым в чистые места? Ярослав двоился.

За одним из столиков одиноко завтракал поручик. А против него присел, развалясь, с несомненным вызовом – «вот, сгони меня!» – солдат. Он ничего не ел, и сидел не как принято за столом, а разваленной позой, вытянутой ногою вбок, – нахально поглядывал на поручика и лускал семечки – на пол, но иногда попадая и на скатерть, на свой угол стола.

А поручик? Продолжал есть – и не показывая, чтобы поспешно. И так шёл между поручиком и солдатом беззвучный поединок.

Ярослав представил себя в положении этого поручика – и похолодел: а что, правда, делать? Встать и уйти – бегство. Продолжать есть, не замечая, – унижение. Строго крикнуть – вряд ли поможет, после всех возглашённых газетами солдатских вольностей. Применить силу? – вяжешься в унижение хуже.

Ничего и не придумаешь.

Ярослав ли не тянулся к этим нашим мужичкам! Ярослав ли не был сочувствен к младшему брату, слиян с ним! Да у себя в роте, у себя в батальоне он никогда б такого не встретил: солдаты приёмысты были к нему, солдаты его любили! Но вот так сейчас, без своих, оказаться на отлёте?

Не без опаски он занял место за столом. И ел быстро.

Ярослав ли не любил народа! А чем же он ещё жил? Офицерская должность и за три года нисколько не вскружила ему голову. Но всё же сейчас он понял: это правильное было распоряжение не пускать солдат в буфет 1-го класса. И не разрешать им курить в общественных местах. И требовать с них отдания чести.

В чём сила армии – в том, вероятно, её и слабость. Она несравненно сильна беспрекословностью подчинения. Но если офицеров перестают слушаться, то разваливается

хуже, чем у штатских.

По второму звонку Ярослав вскочил в свой жёлтый второклассный вагон, когда хмурый проводник – чёрная застёгнутая куртка, брюки в сапоги, даже более военный, чем эти развязные солдаты, – доругивался с двумя из них и не пускал, а всё-таки те впёрлись в неположенный вагон.

О, да тут уже и в коридоре стояли солдаты, куря, а двое сидели на полу, загораживая проход, – и как-то надо было протесниться через них, не обидя и не унизя.

О, да и в самом купе уже были они! Как раз на диван сестры, на пустое место, и сели двое, и один напротив, – расставили колени, руки опёрли, и задевали сестру, ухаживали. Как раз место Ярослава и заняли. И как было теперь их сгонять? И неловко, и не знаешь – уйдут ли.

Наташа быстрыми глазами увидела его – но не пригласила. Уже подтолкнутая к углу, к окну, – она, однако, уверенно справлялась с положением сама. Откуда у этой дворянской девушки была такая простота? – весело разговаривала с солдатами и угощала их конфетами.

Соседний господин, куда весь его англоманский гонор, засадил дочку за себя, вглубь к окну, собою загораживал её, но не мужской силой выглядел, а жалко, с осунувшимся по шее крахмальным воротничком, ошейником бессилия.

Но не сильнее оказывался и поручик Харитонов. Стоял в коридоре против открытой двери.

И – что же нужно было делать? Над их вагоном, над их поездом, надо всеми железными дорогами, надо всей Россией была как будто кем-то прочтена разрешительная противомолитва – не от грехов, но ко грехам, отпущенье делать худое и запрет защищаться.

Солдаты всё подталкивались к сестре, она всё тараторила и задабривала их, ещё достала угощение, – а Ярославу послала взглядом не только не призыв о помощи, но успокаивающий знак не вмешиваться.

Тогда сосед положил ей ногу на колено. Она так же запросто сняла его ногу, не рассердясь, не закричав.

Ярослав не мог на это смотреть, обожгло его! Но что делать? Это было бессилие, какое может опеленать во сне, когда хочешь защититься, ударить – и не можешь. Он – не мог применить оружие, и бесполезно кричать команду, а что ж? – уговаривать тоже?

Он стал так же беспомощен, как тот поручик на лусканье семечек чуть ему не в тарелку.

И он обернулся к окну в коридоре, так же закуренном незваными солдатами.

Он понимал, что солдаты – не по задумке, но по инстинкту – вот так надвигаются, кладут ноги, – проверяют сейчас их: их, офицеров, и их, дворян, занимавшихся балами и играми «Червоного валета», – и всё будущее зависит, остановят ли их благоразумно в этой проверке. Но – как?

Но и – что же такое наша родина, если не наш народ? вот эти самые солдаты? И как же можно увидеть в них врагов?

За двойными запотелыми стёклами мелькало заснеженное чернолесье, сосняк да ельник, да проплешины болот. Недалеко уже до половодий.

Всё это, конечно, осядет, отстанет, всё это – временные изъяны народного сотрясения. Но жить среди этого мучительно даже каждые лишние пятнадцать минут. И хорошо, что отпуску конец, скорей в батальон, где такого не случится. Не опоздать бы на пересадку в Полоцк, тогда сегодня можно добраться и до штаба армии. Как он радовался, едучи в отпуск! – а теперь ещё порывней рвался в свою часть.

Промелькнул опущенный шлагбаум, у него стояла замотанная в платок баба-сторожиха, выставив зелёный флажок.

Поезд замедлялся к станции.

В начале перрона был высыпан на землю обычный базарчик: распроданные мешки, корзины, жбанчики с молоком.

А сестра в купе всё дальше угощала солдат: есть у неё и сахар, и печенье, и заварка –

кто сбегает за кипятком? Один солдат побежал с чайником.

Ярослав теперь уже и из вагона не шёл: пожалуй, и без чемодана останешься.

А с перрона несли золотистых цыплят, переложенную в кружки хрустливую квашеную капусту, перелитое коричневое топлёное молоко.

И ещё новые солдаты набирались во 2-й класс через кондукторскую ругань, но тоже осмотрительную.

И не было никого выше кондуктора, не было гордого обер-офицера с серебряно-красными галунами, чтоб их задержать.

– А что тут такие за купы? – спрашивали солдаты друг у друга с любопытством, проходя и пристукивая винтовками по полу. – А кто тут по купам?

А почему они ехали с оружием, но без команды?

Ярослав не понял вовремя знаков соседа, приглашавшего его сесть рядом с собой и так оберечь последнее свободное место. Теперь туда ввалились ещё двое солдат, плюхнулись на тот диван, через папашу совсем уже втискивая дочку в стенку.

И Ярослав остался стоять в проходе, отмахиваясь от чужого дыма, глядя на уходящую землю.

Миновал перегон, другой. Расчёт сестры оказался верен: солдаты подобрали, не хамили, размягчились чайком, рассказывали о своих семьях. Наконец, ласково звали и поручика идти с ними попить.

А тем временем, оказалось, два новых солдата потребовали с англомана 15 рублей, на одной станции сбегали принесли полный окорок. И теперь резали его на коленях большим ножом, всех угощая.

581

Отходили дни революции – и всё больше оглядывались казаки на себя, и радовались себе. Ковынёв, ещё свободный от института, занятия не начинались, много тёрся среди донцов, захаживал и в казармы. Он был везде кстати, хоть в 1-м полку, хоть в 4-м, и довольно войти и заговорить с первым встречным, как по выговору, по донским словечкам, по взгляду на дело они опознавались и могли гутарить, внятно обоим до души.

У 4-го Донского была своя история этих дней, ещё прежде революции, город её не знал, а полк теперь гордился. Ещё в январе, за месяц до всей заварухи, два казака 2-й сотни, Хурдин и Сиволобов, прижелили двух солдат, задержанных в трамвае без увольнительных, – напали на комендантский патруль, прапорщика ударили тупеем шашки, солдат выручили – и сами унеслись. С этого удара, теперь гутарили казаки, и началась революция. Тогда выстраивали весь полк, шёл прапорщик по рядам – и опознал обоих. Арестовали, судили военно-полевым, с лишением казачьего звания, прав и состояния, – но посидели Сиволобов с Хурдиным месяц в петроградской тюрьме – и сами ж казаки освободили их вот.

И в Колпине 5-я сотня не стала разгонять рабочих нагайками, – тоже ещё до заварухи, – съехала мирно. А в самом Питере, на Забалканском проспекте, все казаки перед лицом толпы пошвыряли свои нагайки на мостовую – и кричала им толпа «ура», и сотника качали. И столько радости, что толпа на них не плюётся, не проклиняет! А на Знаменской казаки и в атаку пошли на полицию, сдунули её с площади! И до того радовались, что народ их хвалит, – ещё по вечерам, расседлавши коней из наряда, бегли в город – самим позиркать, уже как вольные.

Да, в этот раз казаки смыли пятно Пятого года, уже никто не может попрекнуть их подавительством. И с родного Дона передали: спасибо, станичники, благодарим за честь. И ходил казачий полк к Думе, – «в крови германской искупаем своих лошадей», – и сам Чхеидзе признал, что в революционные дни казаки нанесли смертельный удар самодержавию. Правда, часть донцов, напротив, вечером 27 февраля ушла отсюда, из бунтованного города, вместе и с обозными двуколками – пересидеть в 12 верстах, в Ново-Саратовской колонии, пока подойдёт генерал Иванов «разгонять эту сволочь». Но он

не подошёл. И те земляки вернулись сюда, к этим, которые в городе: донское сродство выше всего.

Среди своих охватывался Ковынёв этим отдельным донским чувством, никому здесь, в северной столице, непонятным, – взглядом как с казачьего кургана. Чем большей громадой продвинулась через Петроград эта революция – тем отдельней воздвигалась скала казачьей тоски и жажды. Здесь, среди дончаков, меньше всего было разговоров о Временном правительстве и Совете рабочих депутатов, Дону это всё ни к чему. И война с Вильгельмом тоже изрядно отсторонилась. А набухало своё: донская весна подступает – и когда же домой? И какие вольности от тутошней революции они довезут до своего Дона? Коли такая свобода тут настала – то уж какая должна распахнуться на вольном Дону? А какой если тут зачался беспорядок – так такого нам на Дон не нужно, ни к чему. Вместе с Питером порадовались казаки революции – однако ж на этом судьбы их и разделялись явно. И теперь, доживая тут, в тёмной столице, ещё сколько-то и довоевывая на фронте, не уставали донцы промеж себя гундорить о своих хуторах, о своих куренях, левадах, оврагах, конском разгоне и рыбных сетях, – это вечное было, стояло под резкими донскими ветрами, ждало весны и своих дончаков назад.

Прежде поговорка была: «Хоть жизнь собачья, да слава казачья.» Теперь возникло всеобщее: «Казакам хуже не будет!» – чем было.

И под ногами Фёдора Дмитриевича уже мертвел петербургский тротуар. Он и раньше-то, все годы, если разобрать, – никогда не любил Петербурга. Что тут? – всегда суетная, чадная, торопливо-жадная жизнь. Эти последние дни натура дончака в нём переимывала петербургскую литературную.

И – что же, что же там дёется? в Новочеркасске? и по всему Дону?... Не сразу сведенья доходили, сейчас прервётся и от донской распутицы. От сестры Маши сегодня получил первое послереволюционное письмо, от 8 марта. Писала она (но, может быть, отчасти и подделываясь под дух брата?), что петроградские события встречены в Усть-Медведицкой повсеместным громовым ура, была манифестация учащих и учащихся, всё прошло тихо-мирно, но все возмущаются окружным атаманом, что он цензурованием искажал телеграммы, только от почтмейстера узнали подлинные тексты. (И сегодня же – письмо от брата Александра, с лесных заготовок из-под Брянска: никак не ожидал такого быстрого и счастливого разрешения революции, а его 7-летний Митька, вот будет революционер! – прямо горит над газетами. И с обычной пылкостью желал Саша Феде быть избранным в Учредительное Собрание, как и был в 1-й Думе, и возродить нашу разорённую родину.)

Кто-то с Дона и приехал за эти дни, вот бурный доктор Брыкин, за ним ещё присяжный поверенный, – добиваться от Временного правительства легализации Донского исполнительного комитета. Но тот комитет – чудоватый, не казачий, никаких выборов от округов и станиц, а там у них профессора, адвокаты, судьи, врачи и торговцы, много из военно-промышленного комитета, на Дону земства нет, – а где ж коренные казаки? кто ж правит Доном? И атаман – не выборный, а поставленный от того ж комитета – никому не известный войсковой старшина Волошинов, воспитатель кадетского корпуса, – не нашлось боевого генерала на всё Донское войско? И не слышно от них о главной нужде: об облегчении казачьей службы.

Приезжали в Петроград и первые вестники от фронтовых казачьих частей. Тут были голоса тревожные. Среди разгулявшейся солдатни громко раздаются проклятья, что казаки поддерживают «чаянья буржуазии» и «контрреволюцию». Безопасно цельным казачьим дивизиям, но тяжелее полкам, разбросанным по нуждам пехоты малыми командами и конвоями для охраны, связи, разведки, ещё тяжелей раскинутым по фронту отдельным сотням, а теперь командование стало их привлекать на службу борьбы с дезертирством, – и окружены они злобой, угрозами солдат – «пождитесь, доберёмся и до вашей землицы! довольно поцарствовали!», – и вот шлют теперь свою тревогу в Питер и в Новочеркасск.

А в России – не одно донское, но 12 казачеств, и всего казаков до 4 миллионов. И при Главном Управлении казачьих войск, на Караванной у Симеоновского моста, теперь

зародился Совет Союза всех казачьих войск – взяли туда и «перводумца Ковынёва», как его теперь называли в газетах, «перводумец» стал его главный чин. По этой несущейся с фронта тревоге решили ещё в конце марта, до Пасхи, собрать в Петрограде общий казачий съезд – и в подготовительную комиссию опять-таки выбрали Ковынёва, хоть и штатского, а всё равно природного казака. На съезде и будет обо всём галда, и каждое казачье войско усилится сплоченной силой остальных, и попробуй солдатня не посчитаться!

А Федю Маша звала приезжать в марте, и сам он рвался, конечно, на Дон, – но всероссийский казачий съезд стоил того, чтоб и задержаться тут. А дальше – Горный институт (ректора переизбрали, и со студентов уже не требовали всех зачётов) этой весной кончит год раньше, хоть и не возвращайся с Дона.

И Зинаиду же звал весной в станицу.

На одни и те же недели приходило решаться всему: и семейному, и донскому.

Но чем потерянной становилась для Феди его петербургская покидаемая жизнь – тем и приятнее последние деньки больше потолкаться в литературных кругах, ещё надышаться, чего уж не будет скоро. И теперь, посиживая над матерьялами к съезду в Управлении казачьих войск, да гутаря с казачьими тут старшинами, – не упускал Федя, что близко – через Фонтанку, Литейный да на Басковой – редакция «Русских записок». Да и потянулся сегодня туда.

В Петрограде наступила оттепель, чуть ли не первая за всю зиму. Сразу небо стало жёлто-мутное, и под ногами жёлто-серое снежное месиво, даже снег тут не похож на снег. От извозчиков, от автомобилей летят в пешеходов брызги – никогда Петербург не бывает такой отвратный, как в зимнее слякотное время. А трамваи – все облеплены гроздьями, на передних и на задних подножках. Гражданских зевак сильно поменело от первых дней революции, но солдат гуляющих полно! – не кончается праздник у них.

И месил Ковынёв по раскислым улицам, сразу превратясь из казака в беспомощного горожанина в тяжёлом ватном пальто и в галошах.

Близко-то близко, но за этот пяток кварталов надо было перемесить ногами совсем в другой мир, и самого себя перемесить – опять к интеллигентному, литературному.

В редакции – своя прелесть. Сидят за столами и скучают дружелюбные любопытные женщины, всегда рады своему автору, посидишь около них, пошутишь, они расскажут, ты расскажешь, ещё узнаешь что-нибудь остренькое или полезное – та особая редакционная непринуждённость, какой не бывает в обычных учреждениях... Так Владимир Галактионыч всё в Полтаве? Болеет? А что Алексея Васильича не видно? Да он всё никак не разделается с комиссариатом, теперь сдаёт его. А ваш, Фёдор Дмитриевич, февральский очерк прочёл Венедикт Александрович, хвалил. Значит, идёт? Да уже в наборе.

Покалякали, много новостей вот каких – театральных. Театры эмансипируются, везде автономные советы из ведущих артистов, предсказывают золотой век искусств, в Александринке начинают репетиции запрещённого Сухово-Кобылина и «Павла I» Мережковского. На всех афишах бывших Императорских театров везде орлов заменяют лирой. Сегодня и завтра идёт «Маскарад» по тем билетам, что пропали в дни революции. Вчера в Михайловском – учредительное собрание Союза Искусств, масса художественных проектов.

Да, художественный, артистический мир всегда кипит, и здесь особенно чувствовал Ковынёв своё неисправимое провинциальное отставание. Как ни теснился в писательскую среду, но сознавал, что остаётся вахлаком, казаком, не успевал за этой тонкостью угнаться ни ушами, ни глазами, ни вкусом.

Тут ещё один автор зашёл на минутку – Гуслицкий, торопился, увидел Ковынёва и стал зазывать его с собой:

– Тут всего два квартала... к Пухнарович-Коногреевой. У неё сейчас публика занятая собралась и приехал доктор из Ярославля, рассказывает, как там революция прошла, очень интересно, это вам нужно всё знать, пойдёте!

Ну, пошли.

Действительно рядом. (Федин глаз и по дороге не пропустил: тянулись сани с дровами – стали в город подвозить, цена упала, а то за революционные дни подскочили дрова.)

Дама эта, Пухнаревич-Коногреева, известная кадетская деятельница, оказалась толстенькая, сбита. И с очень уверенным выражением круглого, не слишком умного лица.

Доктор из Ярославля ещё не пришёл, вернее – уже вчера был, рассказывал, а сейчас опять придёт, вот ждали. Ждали, сидели, болтали, не стесняясь будним днём, – как впрочем и солдаты же гуляли по улицам. А пока, до доктора, во главе беседы сидел писатель Гнедич – уже изрядно пожилой, и лицо со складкой артистизма.

Из кресла, скрутив колено на колено, Гнедич говорил:

– Я – только писатель, всего лишь. Но я теперь – свободен! Наконец нам дали возможность жить, дышать и мыслить! Мне позволено называть чёрное – чёрным. А раньше – нельзя было, сорок лет меня кто-то запрещал. На меня посылали доносы, обвиняли в возбуждении общества. Мы хотели только добра, а нам говорили: холопствуйте. О, неужели же прошло время шутов и прихвостней, евнухов правды?

Поразился Федя, как он закруглённо говорит, «евнухов правды», и как это язык легко складывается? – а это он статью подготовленную читал, статью для газеты, листок у него на коленке лежал, а коленка на коленке, сразу и не заметишь.

– О, неужели на месте рухнувших капищ заклубятся новые алтари? Предоставленные своей воле, о, мы будем теперь ещё строже к себе. Теперь наше сильнейшее оружие – свободное слово! Мы – накануне великого расцвета сил. Душа готова любить и верить. Подумайте: русская печать свободна! – а нам даже некогда порадоваться, так погоняет нас время. А Пушкин, Белинский, Тургенев – сошли бы с ума от радости.

Богомольная русская дура,

Наша чопорная цензура! -

кончилась ты наконец!... Господа! – Гнедич так проникся и разволновался, что, видно, выходил из своей статьи, вставлял от себя и обводил всех чуть не со слезами: – Да сознаёте ли вы полное счастье, что мы живём в такую эпоху? Радость так огромна, что даже жутко становится за её прочность! Люди были в цепях, но ведь и идеи были в цепях! И вот – звучит колокол свободы! Сейчас можно только работать, радоваться и молиться! Было стыдно называться русским – при этом царе. Впервые быть русским – не значит стыдиться своего государственного строя. Мы выросли в собственных глазах – и европейского общественного мнения. Есть зрелища святые, перед которыми не может не обнажить голову даже враг. К таким зрелищам принадлежит русская революция! В какой-то чудесной гармонии решаются её конфликты. В тайниках своей оскорблённой души русский народ всегда носил эту красоту, которая теперь вышла наружу. Как нам не расплескать этого нектара! Снова преломилась плоть и пролилась кровь! Это будет всенародная, вневероисповедная литургия! И теперь, на обломках самовластья, Россия напишет имена!

Федя даже съёжился весь: ведь вот умеют писать! вот умеют говорить!

Хоть и печатал Ковынёва столичный журнал – а Фёдор Дмитрич и по сегодня робел перед каждым петербургским писателем, и особенно перед ними всеми вместе: что они знают и умеют – куда ему, донскому опорку.

582

И ничего такого ярославский доктор не рассказал, чего б они уже не прочли в газетах – о всяких вообще городах: как сперва несколько дней ничего не знали, а потом узнали, и сперва поверить не могли, а потом ликовали, создали общественный комитет и ходили с красными знамёнами – такие люди, которые никогда раньше под красным не ходили. И как губернатор и полицмейстер пытались скрыться, но их схватили. И как, и как...

Доктор был маленького роста, белесый, смешной, симпатичный и почему-то внушал доверие, что врач хороший. Он жмурился от собственных речей, как бы не вынося всего этого хлынувшего света. И не столько рассказывал о событиях – их, видать, в Ярославле и не

было, сколько задышался, выдыхивал из себя свой собственный и общественный ярославский восторг: что в душе – половодье, что несёт туда, где вечно весна, к вершинам человеческого счастья.

Гнедич ушёл прежде, а на доктора пришли ещё два-три человека, среди них в крупных тёмно-роговых очках очень обстоятельный молодой приват-доцент с тяжёлым портфелем.

Но скоро доктору стал возражать длинный, узколицый Гуслиницкий с веретённою бородкой. Вытянув ноги как палки из своего углового кресла, а сам в полусумраке угла прищурясь, он взял на себя роль духа-искусителя:

– Да, господа, мы видим красивую сказку, и я хочу верить в эту сказку со всеми вами, – но в глубине души меня точит червь. В эти дни скептицизм может показаться смешным, да, но я так всё время и боюсь, что явится Некто в сером и объявит, как в «Ревизоре»: приехавшая История просит вас всех к себе!

– Каким же вы это представляете образом? – прибоченила круглые свои локотки Пухнаревич-Коногреева.

– Да каким? В такие подвижные минуты демократия может легко превратиться в охлократию. Есть опасность даже опорочить дело свободы в России...

Ну уж! ну уж! – спохватились, всполошились все, как бывает захлопает крыльями домашняя птица на базу.

– А вот вообразите: у кого будет власть в том же Ярославле? Нашего доктора оттеснят или не позовут. А придут какие-нибудь сильные уверенные люди...

– Власть будет только у народа, и у него одного!

– Народ-то народ, но не забывайте, что вместе со свободой вышли на волю и всякие старые обиды, старые счёты, мстительные чувства, а у кого и жажда власти, да. Это естественно, но в этом великая опасность.

– Ах! – отмахнулись от него. – Вы только не волнуйтесь и не путайтесь под ногами у народа. Русский народ за неделю справился с мировым злом – справится он и со строительством!

– Из вас ещё не вышли призраки прошлого! – присудила хозяйка с круглой, но и язвительной улыбочкой. – Бутылка раскупорена – и надо пить её смело! Большого ряда жертв, чем погубил царизм, – уже не будет. Теперь мы держим твёрдой рукой светильник свободы. И теперь мы приобщены к великим демократиям мира! – это делает нас ещё более твёрдыми.

– Так-так, – посмейчиво настораживал Гуслиницкий. – Но есть уроки истории. Сейчас, конечно, прилив. Но такую фазу мы уже переживали и в Девятьсот Пятом. А потом – отлив, реакция, общество отступило – и взял нас голыми руками Столыпин, который России не любил.

– И дело Столыпина закончили Распутин и Протопопов, – поддали ему.

Да **были** ли они все? Да **был** ли сам Николай? – восклицали. – Вот сейчас пронёсся, как всегда, тенью, – Псков? Царское Село? Заперли его – и как будто не было.

– Но какой теперь возможен отлив? – бурно не соглашалась хозяйка. Её толстенькие руки так и тянулись в боки, будто она и подраться была не прочь. – Самодержавия – уже нет. И все самодержавные лакеи шлют телеграммы «присоединяюсь». Все видят нашу победу! Нельзя ж и допускать примата опасностей, господа! Чрезмерная тревога создаёт нездоровую обстановку. Теперь все чего-то боятся: кто немецкого наступления, кто продовольственных трудностей, кто контрреволюции, анархии, грабежей...

– Да нет, – отмахнулся Гуслиницкий. – Немцев я боюсь меньше всего. – Бояться надо самих себя.

– Я понимаю вас! – поддержали. – Герою Леонида Андреева, знаете, было страшно, когда он видел зевающего жандарма. Когда общество отошёл – эти жалкие люди станут опять страшны.

– Да не-ет, – медленно вился на своём Гуслиницкий, ещё подзакручивал и так завитую бородку. – Меня беспокоят разногласия между общественными течениями.

А приват-доцент, несмотря на свою отменную молодость, отличной выдержкой обладал. Пока хлопали крыльями и возмущались – он сидел за дубовым старым столом опёрто и совсем даже не шевельнулся. Он выжидал, он мелко не спорил. Но вот пришёл момент – и он вступил густым, приятным голосом:

– Тревога нашего коллеги – вполне понятна, господа. Ведь только ещё вчера разрушилась крепость народного рабства. Такая восприимчивость к страхам лишь показывает, как дорога народу завоёванная свобода. Сама по себе наличность тревоги не отрицательна, но положительна. Опасность – не опасность, если мы её осознаём. Но и не надо воображать в испуге уже занесенный нож Пугачёва. Его нет. Всякая междуусобица – да, это смертный грех перед делом свободы. Но в наших руках – не допустить разлада.

У него был, очевидно, свой план. Все головы обратились к приват-доценту. Он прочно опирался на стол, как бы читая небольшую лекцию, сам видимо наслаждаясь звучанием и строением своих фраз, и это чувство передавалось слушателям.

– Тут нужен ряд мер. Нужно всячески популяризировать благость переворота, ценность его и какие он открывает перспективы невероятного расцвета России. Надо же стать в положение народных масс, этих пасынков культуры, – как же им успеть разобраться в хаосе понятий?

От этих «пасынков культуры» – тронулось, зашипало сердце Фёдора Дмитриевича: представил себе своих земляков-станичников, – правда ведь пасынки! Как сказано!

– Конечно, всё цепенение и гниение романовского двора не могли не отпечататься на народе. Народ предал и нашу мечтательную Первую Думу, и атакующую Вторую. Простим ему. Земля покорных хлеборобов спала угарным сном, но полным кошмаров бесправия. И вдруг толчком свобода! – каков переход! Наша обязанность теперь – помочь деревне выбраться из того тупика, куда её загнал Николай II. Надо остановить крестьян от самовольного дележа земли, а иначе пойдут с кольями деревня на деревню. И надо спасти их от самогонного запития, которое может разлиться в революционное время. Надо собирать сходы крестьянок и узнавать, кто тайно торгует самогонкой. И через народную милицию – конфисковать.

Как два несовпадающих камертона дают свой тон друг другу, и звук начинает биться, так в двух ушах Феде зазвенело по-разному. А тот не останавливался:

– Надо действовать энергично и очень широко. Нужно, по сути, немедленно организовать новое «хождение в народ». Надо привлечь студенчество, земское учительство – и теперь они понесут литературу уже не запрещённую, но которую мы свободно будем печатать.

– А город? – спрашивали его. – А образованное общество?

– Да, конечно. – В приват-доценте была такая основательность, большие локти он разложил на столе как два ухвата, ничего не собирался преминуть, всё загрести. – Даже и образованное общество растеряно. Всюду и всем нужны лекторы. Всех коснулась анархия умов. Со всех сторон – лозунги, партийные страсти, воззвания, резолюции, – а обыватель в недоумении. Да, конечно, одной политической революции мало, нужна революция общественного правосознания. Не преграждать лаву, вытекающую из вулкана, – но приготовить ей ложе. Революция – это хаос, но хаос – творящий! – казалось, он пошевелил отдельно от очков роговым надбровьем. – Как мы жили! -

Не бросивши векам ни мысли плодovitой,

Ни гением начатого труда.

Но после государственного переворота никто в России не вправе чувствовать себя обывателем, мы все теперь граждане. «Государство – это мы», державный народ, живая вода общественной энергии. Для России наступает эпоха самостоятельности и великого законодательства.

Феда даже подивился: и что ж этот доцент тут сидел, на них слова тратил? Отчего такие люди – да не во правительстве?

– Не надо нервно жаловаться, а – строить! – упречно водил приват-доцент очками на

всех, а больше на Гусяницкого.

– Из разложения мы создадим организацию. Да умолкнут все разногласия перед задачей закрепить свершённое! Были у нас раздоры с прежними правительствами – довольно! Теперь мы должны поддерживать Временное – всеми силами. Конечно, против всякой власти легко возбудить массы, – но теперь надо отложить гражданскую рознь! Правительство ведёт нас по пути права. М-может быть, м-может быть, – видел он на лицах и возражения, – правительство и допустило какие-нибудь ошибки в суматохе первых дней. Но теперь всё выправляется.

– А если они повторятся?

– Н-ну, – смягчился приват-доцент, – тогда мы предъявим Временному правительству – запрос. У нас должна создаться республика хорошего французского типа. Совершенных правительств и не может быть, пока не станет совершенным сам народ. А пока правительство вправе требовать от нас всех жертв и всех усилий.

Может быть и убедил, но не Гусяницкого:

– А Совет рабочих депутатов? – ехидно завывал он локонок своей бородки.

Тут и хозяйка вдруг, тряхнув локотками, поддержала:

– И меня тоже очень беспокоит Совет рабочих депутатов.

Приват-доцент изумлённо к ней повернулся и спросил густым вкусным голосом, явно полусутоливо:

– Да чем же это он вас, матушка, так беспокоит?

– Политической незрелостью, – поджала хозяйка круглые решительные губы, образуя две симметричных ямочки на щеках. – Недостаточным образованием. Случайностью членов. И известным влиянием пораженчества.

– Что поделаться! – развёл и свёл рычаги локтей приват-доцент. (Его ручищи вполне были бы в сельской работе хороши.) – В конце концов, кто сверг царизм, если не солдаты и рабочие? И кто восстановил работу на фабриках? Так они имеют право и контролировать власть. Совет рабочих депутатов – реальная сила, как раз охраняющая новый строй. Клокотание этого котла грозно только для упавшей реакции.

– Но не сбивать же Временное правительство! – нахмурила хозяйка светленькие брови и говорила сердито. – Но не расстраивать же нашу народную армию! Сознают они, что творят?

– Но оставьте же Совету и право защиты пролетариата!

– А что может потребовать пролетариат? – поморгал глазками ярославский доктор, о нём и забыли, а он слушал очень внимательно.

– Да ничего особенного, – повёл доцент твёрдыми плечами. – Не надо населять призраками левое крыло Таврического дворца. Все эти конфликты между Советом и правительством – неглубоки, они скоро пройдут. Все искусственные причины разлада у нас от кошмарного прошлого: нас злоумышленно разделяли, чтобы над нами властвовать. А нынче у нас произошла революция общенациональная, не классовая, и буржуазия не противостоит пролетариату. Пролетариат и так отлично понимает, что свободу надо сохранять в содружестве с другими классами. Что всякое самоуправство сейчас было бы самодержавием наизнанку, всякий частный захват – вмешательством в права всего народа. Конечно, не время бы сейчас рабочим думать о сокращении заводских часов. Мы все работаем, себя не щадя.

– Ну, а большевики?

– О господи! – вздохнул приват-доцент, расслабляясь. – Достаточно одной статьи в «Правде», чтоб зашевелились волосы на головах пугливых людей, и уже бы замерещилась борьба внутри нас, которая де откроет двери контрреволюции. Будто уж пролетариат только спит и видит, как захватить власть над цензовыми элементами. По-олноте, господа, – густо-успокоительно тянул он богатым своим голосом. – Большевики – составная часть революционных сил, и надо же относиться к ним с уважением. Это прописная политическая наивность – напоминать азбуку политической борьбы тем, кто шёл во главе этой борьбы.

Демократическая «Правда» никак не может нарушить стройного хора свободы. Опасны – холопы Николая, когорты Вильгельма, а большевики наши товарищи, пусть в заблуждении. Пацифистские лозунги? Так у нас всё сейчас звучит раскрепощённо, звонко. Их беда – что они не чистые марксисты и от этого несколько упрощённо смотрят на вещи.

– Я боюсь, – ввивался Гуслицкий, – для них всё человечество делится на большевиков и подлецов.

Горничная внесла шумящий самовар.

– Ну, попьём чайку! – примирила хозяйка.

Всю эту беседу Федя не решался встречать, молчал. А очень бы он хотел местами записывать – и высокий ход аргументов, и этого приват-доцента по чёрточкам срисовать, – но невозможно, неприлично было бы тут записывать.

Между тем разговор тёк и тёк, потерявши остроту спора.

– А вы замечаете, господа, ведь март – это месяц революций? Убили Юлия Цезаря, Павла Первого, Александра Второго, и мартовская революция в Германии, и мартовская в Австрии, и Парижская Коммуна!

– Нет, господа, вот – более знаменательный счёт. Пять войн Двадцатого века: бурская, японская, итало-турецкая, балкано-турецкая, междоусобная балканская – и шестая Великая Мировая. И пять революций: наша Пятого года, персидская, турецкая, португальская, китайская – и шестая Великая Февральская.

Они ещё долго, долго сидели и говорили так, и неудобно было Феде уйти. Как гурманы собираются тонко посмаковать еду и вино – так свела их непреодолимая потребность высказаться друг перед другом, – обговорить, выговорить, проговорить, переговорить, изговорить все возможные оттенки текущего.

– Без веры в Россию в такие дни жить нельзя.

– Для того чтобы уметь любить, надо прежде уметь ненавидеть. Россия освобождена, но не очищена.

– Революция всегда кратковременна. Благодетельный вихрь налетает, сметает всё нежизнеспособное – и после бури озаряет мир солнце свободы. Так и теперь. Недолго придётся ждать – вырастет на наших глазах стройное, красивое здание, в котором все мы будем себя чувствовать уютно, радостно и свободно.

КРАСНО СОЛНЫШКО ВСХОДИТ – КАКОВО-ТО ВЗОЙДЕТ?

583

Стыдно досталось Пешехонову возвращать кинематограф «Элит» его владельцу-бельгийцу. За минувшие дни глаз комиссара присмотрелся зрением революционным, но сейчас, обходя пустеющее помещение вместе с хозяином, Пешехонов мучительно застыдился, как будто это он сам наделал: мебель зрительного зала была отвинчена от пола и вся свалена в кучу; пол – измызган, измазан чернее, бурее всякого воображимого; стены исцарапаны надписями инициалов и лозунгов; шёлковые занавеси захватаны, испачканы и порваны. Но и этого мало: кто-то потрудился слямзить бронзовые части с чугунных статуй, там и сям стоящих по кинематографу. И как же? и когда это всё произошло? – в круговороте этих дней не замечалось. И кто ж как не Пешехонов был во всём виновен? – ведь это он издумал забрать под комиссариат кинематограф.

Они – шли с осмотром, и Пешехонов то и дело извинялся, сам поражался, и

оговаривался об обстоятельствах:

– В моём распоряжении, увы, нет сумм, из которых я мог бы возместить ваши убытки. Но может быть Временное правительство?... Если я обращаюсь к нему с ходатайством? И особенно если ваша бельгийская миссия поддержит ходатайство? У нас очень считаются с союзниками.

Но хозяин кинематографа, пожилой полный еврей с выкаченными печальными глазами, озирался на всё, кажется, даже с большим терпением и бесстрашием, чем Пешехонов. Если удивление было в его зраке, то скорей, кажется, тому, что стены всё-таки стояли и лестница не обрушилась. И он ещё сам произнёс комиссару благодарственные слова – Пешехонов сперва думал, что в насмешку, нет! И только просил написать ему официально комиссарскую благодарность за то, что он добровольно предоставил кинематограф органу революционной власти, а уж он вделает благодарность в рамку.

И он, пожалуй, был прав: в революционные недели это значило больше денег. А ремонт ему оплатят зрители, для которых уже на этот первый вечер была объявлена фильма «Джиоконда».

Сдача «Элита» не означала, что комиссариат перестал действовать: только сократился объём его функций и они разделились по нескольким мелким помещениям. Комендатуру, сборный пункт для отсталых солдат и для бродячих уголовников отправили в биржу труда, на Кронверкский. Жители перестали тесниться во множестве, ища комиссара по каждому вопросу. Но чего стоила одна оставшаяся забота – избыть, скачать куда-нибудь 1-й пулемётный полк! Уже несколько раз они окончательно уходили, уже и прощальный митинг был, собирались идти на прощальный смотр к Корнилову – но Пешехонов и по сегодня не верил, что они когда-нибудь уйдут. Хотя б удалось их переправить в другую часть Петрограда, на Выборгскую сторону, что ли.

И другие благоначатия февральских дней требовали скорейшего уничтожения – например бесплатные чайные. Они превратились в ночлежки и базы бродяжничества для солдат, не желающих возвращаться в свои части, и других темно-пьяненьких типов. (Но ещё найди силы разогнать этих солдат или уговорить.)

А теперь на Петербургской стороне избирали ещё и районную думу, районную управу – и комиссариат превращался при них лишь как бы только в полицейский центр. Остывала революционная магма, и Пешехонову уже нечего тут было делать, он готовил свой уход. Хотели избрать его головой районной управы – он отказался. Во всякую минуту ждали его и в Исполнительном Комитете Совета, и всё это время числили там, однако Пешехонову когда и приходилось появляться там по делам, попадал и на заседания, – он подчёркивал свою к ним непричастность: наростом виделся ему и этот Исполнительный Комитет, самоназначенный, никем не выбранный и лезший перебивать работу правительства.

Какая несомненная обязанность тяготела на Пешехонове как признанном – вместе с Мякотиным – вождём народно-социалистической партии, – это стягивать свою не слишком многочисленную и маловлиятельную партию, собирать её съезд (уже назначили на 20-е числа в Москве) и выявлять прежнюю партийную программу воззванием к новым обстоятельствам. Своя партия всегда кажется самой правильной. И насколько же это особенно верно было о партии «эн-эсов» – единственных сегодня сохранившихся чистых народников, отколовшихся в 1906 году от эсеров из-за их террора, огрязнявшего народничество. Самая правильная партия: «всё – для народа, всё – через народ», этот лозунг и сегодня звучал уместно и точно. И когда сейчас, в общем февральском головокружении, возникли переговоры об объединении эсеров, трудовиков и энэсов в одну партию, – Пешехонову жалко было портить чистую народническую линию.

Уже немало лет Алексей Васильевич вёл жизнь петербургского обывателя-литератора, а отзывчив был к течению высотных струй, тех, что ещё только над нашей головой или глубоко под нами, ещё не вмешались в нашу обычную жизнь и никто их не замечает. И в эту третью революционную неделю он почувствовал по тем струям-завихрениям, что не может тут помочь объединённый социалистический пластырь, нет.

Несомненным и благородным было, кажется, – готовиться к Учредительному Собранию? Но уже почуял Алексей Васильевич, что это движение – слишком медлительное, и оно отстаёт от движения тех струй.

Уж кажется, эти две недели Пешехонов прокрутился с наибольшей быстротой, энергией и отдачей – и вдруг из состояния волчка понял, что – опаздывает!

Мы – все опаздываем!...

А – в чём?

Да деревня же! Необъятные, загадочные, тёмные пространства русской деревни, закипающие в неведомом бурлении от петроградской воронки. Деревня, которой Пешехонов отдал свои лучшие годы и труд, которой только и служили все они, энэсы, – чтоб освободить её из-под самодержавия. Бедная, покинутая, беспредельно-страждущая, погибающая, в разьёме своих грунтовых непроезжих дорог, в хилости своих недоухоженных, недовоспрявших полей, в неухиченности и покренении своих старых изб, почти немая для жалоб и сама не знающая, чего лишена, – и тысячи изобретателей, техников, учёных, ораторов, поэтов и мыслителей, как зарождаются там, так и доживают неразвёрнутыми, сами себя не узнав.

Туда, в эту тьму, и пришло теперь самое время кинуться спасать и просвещать. Но эти пространства были – уже не клочок мостовых, и туда не могло хватить никаких петербургских интеллигентов. Да разве их там ждали? Их там заранее подозревали как «бар». И невозможно так просто кинуться.

Тут, в Петрограде, уже спорили о видах республики – просто демократической, или социальной, или социалистической, – крестьяне ещё неизвестно когда поймут эти споры, ещё не близко ощутят, как они смогут составить четыре пятых Учредительного Собрания (если их не обманут при выборах) и направить Россию, как захотят. А пока, ежедневно и ежечасно, они ждут от революции не политических вольностей, не прав государственного управления, им такое невдомёк, – а только земли измечтанной, где-то в обилии лежащей, незасеваемой, до сих пор не разделенной. И если революционный Петроград не поспешит с решением, то крестьяне поспешат сами: уже доносятся первые слухи о погроме помещичьих имений. И Россия только горше останется без хлеба. Нужны энергичные действия на местах – поля, засев-незасев, пастбища, инвентарь, лесные заготовки, – кто этим всем распорядится?

К счастью, эсеры, которые были в Петрограде (самые влиятельные, вроде Чернова и Натансона, ещё только где-то катили из эмиграции), как будто отказались от своих прежних крайностей, из поджигателей деревни на погромы перенастроились ждать Учредительного Собрания, и даже опасались самовольной организации деревни: отдельное крестьянское объединение, да ещё всероссийское, может стать опасным: это будет отдельная крестьянская власть в России – и сметёт все партии? Поэтому на народнических переговорах эсеры предлагали теперь не допускать постоянно действующих крестьянских советов, а губернские крестьянские съезды допускать только по партиям, разделяя крестьянскую массу.

Теперь, когда пришла самая острая пора протянуть крестьянству руку, – защитники крестьянства уже обдумывали, как его обойти.

А теперь-то и видно было, как мы все опоздали с организацией крестьянства! Самые невинные благие проекты – дополнить церковные приходы кредитными обществами и кооперацией – опоздали! И волостное земство, протасканное, прополосканное через десяток лет думских прений, – опоздало!

А между тем надо всеми пространствами как раз и не стало никакой власти, какая бы могла защитить права и земельные границы – хотя б до Учредительного, внушить всем: ждать. Всё сдвинется – вот **само**, прежде всякого Учредительного.

Александр Иваныч вернулся в Петроград сильно усталым, даже надломленным. После четырёх дней тяжёлой поездки, и ведь внаклад на сердечный приступ, и воскресенья не

было, уже второго подряд, – хотелось бы Гучкову не сразу объявляться в Петрограде, не тащиться в довмин, а тем более на заседание правительства, но понедельник пролежать дома как бы ещё не вернувшись: весь день лежать, набраться сил, удалить мысли, – а с утра во вторник в министерство.

Уговорился с адъютантом Капнистом, что тот будет в довмине наблюдать и звонить, если что. И поехали с Машей прямо с вокзала домой, на Сергиевскую, и сделал, как хотел: разделся и лёг в постель.

Маша была в заботе, и даже подчёркнуто, с твёрдостью: что вот он не обошёлся без неё в трудный момент.

Да, не обошёлся. Этот сердечный приступ обуздал его и наполнил смирением. Не только не было энергии продолжать с женой мелкую борьбу и доказывать свою правоту – но каким-то глохлым равнодушным слоем обложило всякие его залёты в будущее, всякие картины себя, ещё не старого, отдельно от тяжёлой жены. Нет уж, видно, как шло – так шло.

На столике лежала пригласительная карточка от Лидии, сестры Вяземского, – на литургию и панихиду 9-го дня в Лавру. На день, когда он уезжал в Ригу.

Ещё одно напоминание о вечности. Но живых – ведёт жизнь.

Однако покоя в постели Гучков не нашёл. Мысли, возбуждённые поездкой, не улегались, а дыбились, тревожно распирали. Бесповоротное снятие Литвинова с 1-й армии, уже решённое, – не ждало, надо было осуществлять. А по ходатайству своих молодых приближённых советчиков решил сразу снимать и Горбатовского с 10-й армии.

И – сколько ещё придётся их снять, двигаясь дальше к югу?

А ещё же – и Рузского снимать.

Брусилов – тот будет сотрудничать.

А Сахаров – куда годится?

Гучков постарался вернуть мысли в приятную сторону. Скорее заполнять эту ведомость генеральских аттестаций.

И приятно подумать, что за эти дни мог уже приготовить Апушкин, молодой военный беллетрист, генерал, назначенный перед отъездом Гучкова начальником управлений военно-судного и военного прокурора. Создать совершенно новые правовые начала в армии – это была гигантская и заманчивая работа. Военно-полевые суды надо решительно отменять, они сгустили в себе символ реакции, не вяжутся с образом свободы. И Гучкову, когда-то поддержавшему с судами Столыпина, – особенно неприлично. Не простят. По крайней мере, отменить вне театра военных действий. А лучше – повсюду.

Но на этих мечтах Гучкову не удавалось удержаться, а в голову, освобождённую от мельканий поездки, опять всплывало нерешённое само, на чём он тут его оставил. И всё было трудное.

Казанский Военный округ. Гучков распорядился тогда освободить генерала Сандецкого из-под ареста – но казанский Совет солдатских депутатов вновь посадил его, да на простую солдатскую гауптвахту и под усиленный караул. Теперь ехали из Казани или уже приехали уполномоченные Совета убеждать военного министра, что так надо, а он должен убедить их отпустить генерала. Не сегодня, так значит завтра предстоит эта беседа.

А ещё же – оставались без атаманов, отстранённых, – забайкальское и терское казачьи войска, – теперь же и туда простиралась компетенция Гучкова. Пока Гучков ездил или лежал – а войска были без атаманов. Ну в Терское, оказывается, поехал Караулов, может выберут его.

А занявшись казаками – нельзя было не задуматься о приказе: освободить их от наказаний, налагаемых атаманами. Всеобщие свободы надо непременно и поскорей распространять также и на казаков – чтоб отобрать их из мира насилия в мир свободы.

А эти, вгорячах навывбранные из солдат в офицеры? ведь их теперь так просто не разжалуешь.

А во флоте? Натворилось невообразимое: после убийства Непенина адмирал Максимов по сути не был назначен ни Гучковым и никем, а избранный матросами в минуты бунта, так

и остался, нагло. Не был назначен – но и сместить его теперь Гучков не смел: при нынешней обстановке в Балтийском море вполне могло стать, что, как лёд сойдёт, Максимов приведёт эскадру и просто возьмёт Петроград в матросскую власть. Уж лучше не трогать.

И продолжал же висеть над Петроградом и над всей Россией так и не решённый вопрос об отдании чести. Совет депутатов честь отменил, министр промолчал, поливановская комиссия разрабатывала, – а каждую минуту на улицах сотен городов встречались военнослужащие и – отдавали честь? не отдавали? как же?...

Тем временем звонил из довтомина граф Капнист.

Один раз: что всё – ничего, но разные люди очень ждут. У полковника Туган-Барановского важный новый проект, обсудить. Полковник Туманов вернулся из Ставки – доложить обстановку. (Да, это Гучкову надо слышать: полковник должен был посмотреть на Алексеева глазами Гучкова. Об Алексееве-то важнее всего было Гучкову иметь суждение, принять решение.) Потом: эти два дня тут ожидал барон Врангель, начальник Уссурийской конной дивизии, у него письмо от генерала Крымова, но – лично министру, отказался передать в другие руки.

– Так это очень важно! Я готов принять письмо. Шлите его ко мне!

– Сейчас как раз его нет: рано утром был – ушёл.

Вот, и Крымова проездил...

Потом: привезли из Москвы арестованного Мрозовского. Пока, в ожидании министра, поместили его в Мариинском дворце, под отдельной охраной.

Ну пусть пока. Сразу не сообразишь, на всех времени не найдёшь.

Ещё: привезли арестованного командующего Иркутским военным округом. Ну, завтра.

Пока всё. Не прислать ли газет за время вашей поездки? Есть кое-что отмеченное. Ну, пришлите.

Как нужен был бы один покойный день! Не было.

Привезли газеты. Читал лёжа.

Прочёл своё воззвание об угрозе Петрограду. Набатно звучало.

Своё воззвание вместе с Алексеевым.

Несколько правительственных воззваний.

Своё воззвание против шпионов. Совершенно необходимое: военная контрразведка чувствует себя разгромленной, все и везде подозревают полицейский сыск, не стало возможности работать. А Финляндия, после снятия пограничной жандармской охраны, наводнена немецкими шпионами.

И сюда же затёсана была большевицкая «Правда». Неужели и эту гадость должен был министр читать? Да, большая отметка красным карандашом.

Прочёл, обожжённый обидой. Звали – не верить военному министру, развязно и даже бессмысленно нападали на его приказы. И даже – на приказ о немецких шпионах. Ну, это уже чёрт знает что! Как же иначе вести военное министерство во время войны?

И не отвечать же «Правде»!...

Но Гучков сильно расстроился. Где были эти большевицкие газетчики, когда Гучков громил великих князей, громил Распутина, а его травили с верхов? Где они были, когда Гучков писал громовые открытые письма и составлял тайный заговор?

И так писала «Правда»: «в армии всех старых начальников должны сменить революционеры». С каким безумием это пишется? Сменить – да, но почему революционеры?

Да что! В газетах и лучше было! За эти дни был напечатан неизвестно кем составленный, не прошедший военного министерства, какой-то шальной проект создания особой «Петроградской армии»: «Увековечить ту огромную роль, которую сыграли войска петроградского гарнизона в уничтожении старого режима... Из всего петроградского гарнизона составит отдельная армия в несколько корпусов с постоянным квартированием в Петрограде. Всем частям будут присвоены навсегда отличительные названия, свидетельствующие о роли, которую они сыграли в историческом моменте. Нынешние запасные батальоны будут развёрнуты в полки...»

– Вот эта недоученная рвань? – Гучков расхохотался через мрак. – Ах вот что! И как же они будут вести военные действия? Какой же это стратег придумал?...

И всё это – минуя военного министра?

Да, воистину ещё не было такого военного министра в России! Чтоб о подобном проекте узнавал из газет...

Да... Бразды надо забирать потвёрже.

Опять позвонил Капнист: генерал Крымов сам прибыл в Петроград!! Телефонует и спрашивает: когда военный министр может его принять?

Вот отлично! Это – конквистадор!

– Скажите генералу: через час, если он может. Я буду в довmine.

Старый соратник. Единомышленник. Сила! Он и поможет сейчас наладить.

И у самого откуда бодрость! – быстро одевался. Крымов – это замечательно! Это – первый и важнейший сейчас в армии человек.

По-настоящему, надо теперь Крымова – одним смелым махом назначить на Верховного! Только так и делаются великие дела. В Алексева – Гучков не верил. Он боялся его уступчивости в любом неконтролируемом направлении. И ощущал в нём противодействие своим реформам. Но и – снять Алексева сейчас невозможно, слишком много изменений в короткий срок, всё зашатается. Поэтому идея: пусть Алексеев пока исполняет должность Верховного, а назначить к нему начальником штаба – Крымова.

Крымов был из тех генералов, которым всё не попадает, не попадает дела по плечу.

ДОКУМЕНТЫ – 26

Ставка, 13 марта

ГЕНЕРАЛ АЛЕКСЕЕВ – ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ, французская военная миссия при Ставке

Считаю своим нравственным долгом во избежание тяжелых последствий от недомолвок высказать с откровенностью... Переживаемое Россией внутренне-политическое сотрясение... Запасные части внутренних округов пришли в моральное расстройство и не могут дать укомплектований раньше июня-июля.

... посмотреть прямо в глаза событиям и сказать с необходимой откровенностью, что можно рассчитывать на наше широкое участие в операциях только в июне-июле.

ДОКУМЕНТЫ – 27

Псков, 13 марта

ГЕНЕРАЛ РУЗСКИЙ – ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

... Состояние Балтийского флота внушает опасение, поэтому правый фланг Северного фронта и подступы к Петрограду являются необеспеченными... Это заставляет меня просить вас усилить войска Северного фронта, передав сюда до четырех корпусов...

Сколько лет ни поживал Крымов в Петербурге, с перерывами, – то юнкером Павловского училища, четверть века назад, то учась в Академии Генштаба, то служа в Главном штабе, – никогда не мог он к нему привыкнуть, не мог полюбить. Куда б ни переводился служить – в Сибирский корпус, на японскую войну, в Даурское урочище в Забайкальи, в кубанскую казачью дивизию, – везде чувствовал себя при месте, и сердце раскрывалось. А подъезжал опять к Петербургу – заклятыми болотистыми низменностями,

дрянными фабричками, настроенным домовым хламом, где лучше было удавиться, чем жить, – и всякий раз та же смертная тоска подступала.

Нельзя было поставить города гиблей.

А в этот раз поездка была и вся мрачная, от начала до конца. Если б Крымов и не выехал с живого фронта, о который уже ударило несколько накатов тления, и если б даже он не знал русского языка, не понимал бы ни слова, что вокруг говорилось и писалось на плакатах, – одним своим наметанным глазом и даже только через окно вагона – от Кишинёва и до Петрограда, на все эти распушенные шинели, оружие не по форме, развязный вид и красные клочки, – он бы понял: начался небывалый развал всей воюющей армии. Но и вся сила развала в том, что никто не смеет ему противоречить, а все поддакивают. А ещё и сегодня довольно на эту слякоть всего лишь двух хороших дивизий, но – в лоб. Одну из них – прямо в Петроград.

А у Крымова, вдруг принявшего Третий конный корпус от графа Келлера, было таких дивизий три, все конные: Уссурийская, Терская казачья и 1-я Донская казачья. И все они стояли – свободные, в резерве Румынского фронта, не было трудности снять их с места – а только по железной дороге долго везти.

Получив вызов Гучкова, Крымов не сразу мог ехать, по шаткости дел в штабе корпуса после отставки доблестного Келлера. (Видя такой бесполезный исход, сам Крымов присягнул новому правительству.) Однако он послал вперёд с письмом Петра Врангеля, только что произведенного в генерал-майоры, только что получившего Уссурийскую дивизию, – редкого умницу, делового, схватчивого и бойца. В том личном тайном письме Крымов предупреждал Гучкова, что каждый день сегодняшнего образа действий погубляет всю армию бесповоротно. А Уссурийская дивизия за 2 часа может быть погружена на Петроград. Довольно Гучкову дать телеграмму условной фразой – и дивизия грузится.

Но не дождавшись телеграммы, Крымов уже ехал и сам, мрачно изумляясь на станциях, до чего довели русскую армию за две недели, как если бы был понесен основательный разгром от немца.

Приехал в Петроград сегодня утром и в гостинице узнал от Врангеля, что Гучкова эти дни не было в городе и письма передать не пришлось.

Долговязый живоглазый подвижный Врангель однако навидался за три дня в Петрограде и резко докладывал Крымову о здешнем бардаке. И что делается на улицах, и что в казармах, и что в военном министерстве, в поливановской комиссии и ещё в этой отдельной Военной комиссии, неизвестно по какому уставу приляпанной. Прошёлся Врангель по коридорам Таврического дворца, видел нашлёпки на комнатах Совета рабочих депутатов и сами лица повидал в коридоре, – Крымову и ходить не надо, с живых слов.

Крымов курил и бычился. Он горячился и бранился, когда дела и так и сяк. А когда оправдывалось худшее – сугробился и молчал.

Позвонили, что Гучков назначает в довмине.

Поехал Крымов без Врангеля, с Гучковым говорить на один. Прислали автомобиль, тот прыгал по нечищенным снежным колдобинам. Стоял серый, тучемутный денёк, к оттепели, такая погода в этом городе и неделями может стоять.

С прошлого года они не виделись. Входя в чёрной черкеске с одним Георгием в кабинет Гучкова, Крымов насмешливо шурился: не напялил ли тот военный мундир. Нет, хватило ума, в штатском.

Вышел Гучков навстречу к самой двери кабинета. Бодрился голову держать приподнято, – а глаза-то за пенсне – опухшие, отекающие, сильно помятый вид, при самом свежем воротничке.

Не похоже на торжество, как заливались газеты. (Впрочем, ни одной газеты, ни страницы, ни статьи Крымов никогда не дочитывал, покидал как порченую еду.)

Тряхнул ему руку умеренно, душу не вытряхнуть.

С того прошлого толка о заговоре – были они на «ты».

И не устал Крымов – а уж так устал, плюхнулся в мягкое кресло раньше. Гучков в

другое кресло сел осторожно. Подали им крепкого чаю с баранками.

– Болеешь, Александр Иванович?

– А что, видно? – печально улыбнулся.

– Что за напасть, будь ты трижды, сколько раз замечал: как человек сильно нужен – так болезнь.

– Креплюсь, Александр Михалыч. Что-то сердце пошалило. – (А у самого белки жёлтые.) – Ну, зато ты – глыба.

– Эт фигура у меня такая. А то и я... Ну да в общем.

Нервы и у Крымова есть.

Сразу полстакана крепкого, горячего, сахар не доразмешав, отхватил Крымов, избочился на Гучкова – и:

– Дело-то, Александр Иванович, – дрянь!

– Ну не так уж, – отпивал Гучков глоточками и сил набирался. – А что именно у вас?

«У вас!» Что на Румынском да на Юго-Западном, мог ему Крымов и ворох накидать: везде выбирают солдатские комитеты; от Временного правительства едут какие-то комиссары – на кой ляд они в армии; Киевским военным округом командует Оберучев, в своё время изгнанный из 37-й артбригады за неблагоприятные поступки; одного командира дивизии вызвали в Петроград и тут арестовали, что ли, – за то, что послал приветственную телеграмму жене Михал Алексаныча; вся дезертирская дрянь теперь может на фронт возвращаться безнаказанно и над своими товарищами похихикивать, что они дураки служили; командир запасного полка прислал в боевую дивизию телеграмму: «счастлив сообщить, что присоединились к новому правительству».

– Какое мне дело, дурак, до твоего счастья? Ты мне присылай обученные укомплектования.

Лезла в голову и на язык всякая чушь, да пока ехал – одною чушью и просмаливался всю дорогу. А только не туда хотел его Гучков свернуть: у **вас**, он спросил, что?

– Не у нас, а у **вас**! – баснул Крымов. – Верней так, что: приказ №1 издан у **вас**, а немцы его через проволоку забрасывают у **нас**. Так вот: с кем мы воюем? Если немцы заодно с Советом, и правительство с Советом, а мы правительству присягаем, – так кто за кого воюет?

И смотрел на Гучкова литым дураком.

А тот перетирал пенснишко:

– Алексан Михалыч. С Советом – сложные отношения. Сложное положение. Так сразу не объяснишь.

– Да что объяснять? – Откусил Крымов полбаранки и вторую половину стакана залпом выпил. – Получила сволочь свободу – вот те и объяснение. Что это – Совет депутатов? Самозванная кучка прохвостов. Кто их – знал? Кто их – звал? Да полезли туда тыловые, хлам, который войны не видел. Вот эти ж самые депутаты – всю войну и пропрятались в Петрограде, почему они не на фронте? И – как вы, правительство, даёте вами распоряжаться?

Гучков прихлопывал пальцами по своей коленке. Он дослушал гулкое раздражённое бурчанье Крымова и стал ему терпеливо объяснять голосом комнатным, приготовляясь к беседе долгой:

– Этого, Александр Михайлович, в пять минут никак нельзя объяснить. И тем более это непонятно с фронта. Временное правительство сформировалось уже после Совета депутатов и в сложном к нему отношении, и в зависимости от него. В те анархические дни Совет депутатов вообще мог не допустить нашего правительства. Мы только постепенно укрепляемся, опираясь на благоразумные слои общества, базируясь на успокоении публики, рассчитывая на здоровые чувства нашего народа и прежде всего на патриотизм. И все творческие силы мы стягиваем к делу. И вот поэтому я вызвал тебя.

– Да какого чёрта?! – налился Крымов, не слыша или не понимая. – Есть уставы, есть военное начальство, – какого чёрта они вмешиваются в отношения офицеров и солдат? Как вы это можете допускать? Вы – правительство! – Он кричал так, будто старшим по

должности был здесь. – А теперь, я читаю, у тебя какая-то «комиссия», две дюжины из петроградских учреждений, а армейских – полдюжины, и то нестроевых, – и они отменяют дисциплинарные права начальников? Замечание – могу сделать, а наказать – не могу? Значит, солдат не выполняет распоряжения – будем через неделю суд затевать? Вы... кого дураков строите – себя или нас?

Не перенимая от Крымова раздражения, однако уже волнуясь, Гучков объяснял со штатским разведением, переплетением, выворотом пальцев:

– Алексан Михалыч! Свержение царизма – это эпоха. Это не просто смена Верховного Главнокомандующего. Обновляется вся страна, обновляется армия. Свободам – неизбежно распространиться во все сферы жизни. В конце концов, в этом и был смысл переворота. Ты не можешь не разделять этих чаяний и симпатий. Мы же вместе с тобой обсуждали переворот – ради чего?

Крымов полез за кисетом – вспомнил – достал серебряный портсигар и папиросу «Осман». Нежная долгая папироса в его большом закусе была как спичечка.

– Я – про династию нет. Я – не про династию. Хотя в Туземной дивизии плакали об отречении. И в Третьем корпусе продолжают считать наследником Алексея: Михаил – только регент, и не мог отрекаться. Ладно. Но так прыгать, никакой конь не прыгнет, как вы Россию хотите. Свернём голову все. И сама Россия.

Преодолевая крымковский тон недружелюбия, Гучков говорил всё мягче и приятельней:

– Александр Михайлович. Я знаю твой нрав. Я знаю, как ты крут. Но сейчас положение – такая нежная ткань, её не порвать надо, не раздрать, а – постепенно наращивать до крепости. Это – большое умение надо. Мы в правительстве все стараемся. У каждого сложно. А у меня, может быть, сложнее всех. Сейчас – две возможных линии: давить комитеты? или с их помощью оздоравливать армию?

– Давить! – прорёк медведь-генерал. Он был на 10 лет моложе Гучкова, но грузностью набирал возраст.

А тот – уговорительно:

– Мы же этого и боялись – революции. Мы же и хотели её обогнать. Но не вышло. Но нельзя же теперь Россию бить по спине за неудачу. Ну, как получилось. Конечно, во время войны революция – это кошмар. Редким государственным деятелям достаётся такая задача. Я – не военный, перед тобой не строюсь, – и мне особенно трудно. Я только и рассчитываю на помощь друзей, и твою – в первую очередь. Я вызвал тебя, Алексан Михалыч, вот зачем, ты может быть догадываешься...

Голос Гучкова приобрёл некоторую торжественность, и уже поэтому легко было догадаться. Но Крымов, откурив, сидел совсем неподвижным бессмысленным широкоплечим обалдуюем.

– Я вызвал тебя – чтобы предложить тебе пост... Начальника штаба Верховного!

Почти нельзя было вообразить генерала, который бы мог тут не вздрогнуть или не покраснеть. Но Крымов – может быть потемнел, а так и сидел высеченным камнем.

– Понимаешь, Алексеев... Ты сам говорил всегда, что он не настоящий воин. И я согласен. Он был хороший начальник штаба, прикрываясь именем царя и при его безмозглости. Но самостоятельным Верховным и в новой, шаткой обстановке он быть не сможет. Я назначаю тебя для того, чтобы ты постепенно всё перенял в свои твёрдые руки. А потом поднимем тебя и на Верховного.

Крымов и командиром корпуса – только-только становился, ещё не утверждён. А от корпуса до начальника штаба Верховного – три хороших ступени, даже пять очередных. Взлёт – какой и бывает только в революцию.

Ну, выдержка! Он и сейчас не пошевелился и не покраснел. Но Гучков только улыбнулся этому слегка. Он испытывал к этому громоздкому истукану дружественность и благодарность: нигде никогда не дрогнул. Не подвёл. Не предал. Сидел в Карпатах с конями без фуража, без патронов, без хлеба, – отдавал себя под суд, чтобы спасти дивизию. Шёл на государственный заговор без колебаний. И сейчас! Залюбоваться. Какая силища! Пока такие

генералы в нашей армии есть – ничто не страшно, и – можно быть военным министром!

А вот что: Крымов – голосом сразу схрип. Он заговорил не своим басом, но каким-то громохочущим хрипом, лишь постепенно прочистило:

– Вот что... Я – одной Уссурийской дивизией в два дня тебе расчищу Петроград от всей этой депутатской сволочи. Может, крови немного прольём – а может, и не прольём, потому что силы у них – никакой, организации нет и храбрости. Пока они сил не набрали – сейчас их и чистить.

Военный министр откинулся в кресле и шатнулось пенсне на его носу, едва не сбросилось.

– Да ты что? Да ты!... Нет, ты просто совсем обстановки не... Или ты не понимаешь – что такое революция? Республика?

– Да мать её..., республику! – как подземно прогрохотало в Крымове.

Не без жалости посмотрел Гучков на эту глыбную голову на широких плечах: какую жестокую узость полагает армия всем людям, любому самому толковому. Арестовать Исполнительный Комитет – ну, такая мысль у самого Гучкова в первые дни мелькала. Но – разгонять вообще всю революцию?

– Да ты что, Александр Михалыч! – он тихо возражал, ему даже, кажется, страшно было, что эти слова произнесены в его кабинете. – Да у тебя представление о демократии есть?

А Крымов смотрел со своей идольской непроницаемостью.

Смотрел и удивлялся: как же он с таким хлипаком собирался идти на государственный переворот? Откуда он приписал ему военные качества, – что три раза стрелялся на дуэлях, да в юности побывал в Трансваале? Да разве можно было на него серьёзно покладываться? Да как же они не разговорились раньше: одного ли, единого ли они хотят?

Крымову несомненны были в том, что он выложил, польза и спасение России. А эти помешанные на демократии – отдавали Россию под публичный дом?

Открываться Гучкову дальше – даже и не следовало. Поостеречься.

Ну, только в последний раз:

– Всё-таки, может, – спросишь своё правительство? Посоветуйтесь там? Я могу в Петербурге – дня два подождать. Потому что действовать – сейчас момент. А потом – будет поздно.

Как ни грозно и горько, но Гучков ещё усмехнулся, улыбнулся, вообразя, что бы сделалось с Временным правительством, если бы предложить ему такое на заседании: князя Львова бы расплющило, Милюкова хватил бы апоплексический удар, Некрасов бы нагнулся для укуса исподтишка, а Керенский штопором взвинтился бы до потолка и потребовал арестовать Гучкова.

– Нет, Алексан Михалыч. Я в правительстве – единственный человек, кто может от тебя такое выслушать – и не применить репрессий.

Однако, он был и жестоко озадачен: если у Крымова такие замыслы и хватка – как же можно ему отдавать Верховное Главнокомандование?

Гучков уже усумнился, уже жалел, что так сразу предложил, не расщупавши, положась на прежнее доверие. Он искал теперь запасной ход, оттяжку. Он не назвал прямо ведь времени назначения – и тут можно было поманеврировать.

– И я тебя очень прошу: пока подойдёт твоё назначение – ты ни с кем и нигде подобного... Ты прими сдержанность за правило...

– Что? – спросил Крымов. – Какое назначение? Да если вы депутатов себе на шею посадили – так неужели я от вас назначение прийму? Нечего мне с вами и делать. Этакое мне – не по душе. Ты лучше – своё окружение расчисть, у тебя шваль собирается. Уеду в корпус сейчас же.

Гучков опять пожалел. То слишком быстро приобреталось, а то слишком быстро терялось.

– Ну, зачем же так сразу отказываться? Подожди, подумай. Поживи. Поговорим.

– Не. Не, – хриплым дыханием отвечал Крымов. – Нечего делать. Завтра же уеду.
– Куда ж ты уедешь? – усмехнулся Гучков. – Это – бегство. С **этим** – бороться надо. От **этого** не уедешь. Оно к тебе и в корпус придёт.
– В Третий Конный?! – рявкнул Крымов. – Да я первую же солдатскую депутацию нагайкой встречу.
– Нет, нет, погоди. Я тебя так не отпущу. И в крайнем случае ты должен будешь мне кого-то посоветовать. Подумай несколько дней.
– Да мне и думать нечего. Тебе – демократического генерала? Так возьми Деникина. У него мозги – в аккурат такие, как у вас.

586

(пресса о Керенском)

... Его первый вздох почти совпал с последним вздохом первоапрельцев. Его первое воспоминание – смутный ужас, охвативший Симбирск, когда узнали о казни Александра Ульянова, сына местного инспектора народных училищ.

... Любовь к народу клубилась в его честной груди – и он примкнул к социалистам-революционерам.

... У филёров он числился под кличкой «Быстрый». На ходу вспрыгивал в трамваи, они поспевали за ним на извозчике.

... Все думские каникулы посвящал объездам провинции. Приехал – облетел всех, шутками, рассказами пробудил, спрыснул живой водой. То – как-то стих, углубилась мучительная складка между его бровей...

... В октябре 1916 в Саратове прочёл публичную лекцию с разоблачением Прогрессивного блока. Аудитория положительно дрожала от грома рукоплесканий. «Демократия уже идёт! Я отчётливо слышу шаги народа!»

... Его речи – моментные, но всегда общего характера... Его тактические предложения всегда носили отпечаток государственной мудрости.

... Он представляет интересы огромного крестьянства.

... Оратор Божьей милостью. Роковой. Одержимый словом. Избранный судьбой, историей, человечеством. С трагической печатью на челе. Такие люди рождаются в героически-порывные эпохи. Становятся вождями народов и делают историю.

... Предтечи отливаются из того же металла, что и сами революции.

... Перед выступлением волнуется до спазм в горле. Бледнеет, втягивает и вытягивает шею, глотает воздух как рыба без воды. Первая его фраза – всегда громкая, короткая как выстрел. Потом – короткая пауза. Потом – бурная страстная речь... его слова летят с быстротой частиц радия.

... Слова его – не придумываются заранее, не слагаются в красивые звучные фразы, не имеют заученной интонации, не сопровождаются прорепетированными жестами... Но внезапно рождаются как молния, льются бурным потоком, звучат музыкой сердца. Они – только

пенистая оболочка честной мысли, только тигль для расплавленного чувства...

... Керенский – пророк революции. Пафос его безыскусственных слов создаёт детонацию в душах толпы, взрывает незримые залежи энтузиазма.

... «Приходят слова – спешу сказать, потому что другие теснятся, выталкивают. Когда говорю – никого не вижу, ничего не слышу. Аплодисменты входят в сознание толчками, действующими как нервные токи. Вообще всё время чувствую нервные токи, идущие от слушателей ко мне. Всё время в груди – горячие волны. Оттого голос вибрирует, дрожит. Выражений не выбираю. Слова свободно приходят и уходят.»

... Особенность его психики – нервная чуткость к политическим событиям, доходящая до предвидения их.

«... под живым впечатлением вести о вашем назначении министром группа петроградских трудовиков с гордостью вспоминает, что именно она 6 лет назад... Уже тогда оценив ваше мужество, вашу беззаветную преданность интересам народа, вашу готовность к самопожертвованию... Вы первый поняли, как обязана Дума ответить на указ о её закрытии. Вы не дали ей безмолвно сдать позиции и смело призвали её отдать себя под защиту готового к восстанию народа, чутким выразителем которого вы явились за эти навеки незабвенные часы...»

... Смелый неукротимый борец-депутат, имевший мужество ставить все точки над «и». С ещё большим мужеством он принял на себя власть министра юстиции и тем самым, быть может, избавил Россию от ужасов гражданской войны.

... Совет рабочих депутатов устроил ему овацию, какой не видели стены Таврического дворца со дня его основания.

... Отныне стало историческим: «Я не могу жить без народа. И в тот момент, когда вы усомнитесь во мне, – убейте меня!»

... Крик благородного раненого сердца первого свободного гражданина свободной России...

... Человек, которому доверяет вся русская демократия. Стал глашатаем и вождём её.

... в него влюблена Русская Революция.

... Его имя – синоним красоты, чистоты и ясности нашей «улыбающейся» революции.

... Переживаемая русская революция – зарево мирового революционного пожара. Наша революция обязана рождать мировых людей-героев. Героями такой революции не могу быть не социалисты, не представители мировой демократии.

... Первый раз войдя как министр в своё министерство, первое, что он сделал, – пожал руку швейцару. Это было так ново, неслыханно, – разнеслось по всему Петрограду.

... 86 человек в приёмной, не считая депутатий. На лестнице давка, в дверях не протолкаешься. Керенский ежедневно отрывает от своего времени час-два, чтоб обойти эту длинную очередь... «Сперва депутатии! – предупредил Александр Фёдорович. – А уже потом деловые посетители.»

... Вот – депутация социалистов-эсперантистов с пятиконечными звёздами в петлицах. С бесконечным терпением, с каким-то особенным участливым вниманием, свойственным только ему одному, выслушивает Александр Фёдорович приветственную речь (для успехов демократии необходимо ввести в учебные заведения курс эсперанто). В сущности, министр отказывает им, но эсперантисты уходят утешенные и очарованные.

С безропотным взглядом он встречает депутацию от партии анархистов – в чёрных блузах, с чёрными галстуками. Они явились не с просьбой, а с требованием. Керенский с осторожной мягкостью напоминает им о Кропоткине. Их требование решается компромиссом, они уходят удовлетворённые.

Туркестанская делегация – сарты в тюбетейках, текинцы в чудовищных шапках из чёрной овчины. Керенский немедленно удовлетворяет их просьбу.

Представителю уезда делает мягкое внушение, что ввели у себя «сверхреспублику» и не выполняют распоряжений из центра... Трудно быть министром революционной России, не завидуйте ему...

... На приёме сотрудников заявил: «До сих пор эта высокая обязанность превращалась слугами старого режима в издевательство над правом... Даю вам слово, что когда я оставлю пост министра – ни один злейший враг России не осмелится сказать, что во время управления Керенского право и законность оставались пустым словом. Моя программа коротка для изложения и титанически громадна для осуществления...»

... Семижильный он? Старый режим оставил Монблан несправедливостей. И теперь, когда можно открыть клапан – тысячные толпы устремились к Керенскому, именно к нему! Пришла одна дама и жалуется, что муж хочет бросить её...

Теперь вы представляете, какую гигантскую работу делает гражданин Керенский? Не только днём принимает – и ночью. Необходимые приёмы назначаются в 11, 12, даже в час ночи. Доклады ближайших сотрудников происходят за завтраком, за обедом и даже у постели министра. Рабочий день в 16 часов кажется ему недостижимым идеалом. Революция не щадит своих любимцев, она жжёт пылающие факелы с обоих концов.

... Не жалея, сжигает себя на громадной работе. Явился в министерство, устало сел и сказал стоящим в почтительности чиновникам: «Простите, но я две ночи не ложился.»

... Нередко ночует в министерстве, чтобы с раннего утра приступить к текущей работе... Сколько работает Керенский? Точнее сказать: 24 часа в сутки за вычетом, что нужно урвать на сон, на еду, лишь бы не упасть на ходу. В огромных покоях из-за каждой колонны ещё выглядывает призрак Щегловитова. Трудно поправить, что тут наделали за несколько десятилетий. «Керенский идёт!» Вот он появляется с обычно усталым лицом. На нём – всё та же куртка, знакомая публике.

... В зал входит – нет, вбегает – господин среднего роста, бритый блондин, коротко стриженный, в рабочей чёрной куртке. Он весь – порыв, непосредственность, страсть. За ним едва поспевают молодой адъютант, офицер с аксельбантами. Гром аплодисментов! Это – наш Керенский! Он – на эстраде, гром не умолкает. Властный трибун! Он любит толпу – и любим ею.

... Его великодушное, насквозь проникнутое благородством, корректное отношение к побеждённым врагам.

... Фотография не в силах передать его. Выражения и даже цвет его лица быстро меняются от душевных переживаний: стареет и молодеет, темнеет и светлеет – в

зависимости от фактов русской революции.

... О последнем покушении на свою жизнь забыл рассказать даже своей жене Ольге Львовне. И когда она деликатно упрекнула его – сказал: «Всего не упомнишь. Ведь это пустяки. Теперь так много стало сумасшедших.»

... Митя Алимов, обласканный в семье Керенского, обнаружился в Саратове как провокатор. Дал телеграмму министру юстиции: «расстреляйте, раскаялся». Керенский ответил: «Если можно – освободите, он в своей совести найдёт свой суд.»

... Когда говорит – часто опускает глаза. Будто углубляется в себя и в горячем сердце находит прекрасные слова, и в душе, чистой и пылкой, чреватые событиями мысли... Он скажет историческое слово, и слово это запомнится летописцами.

... Когда он говорит – жутко смотреть на него. Он говорит как сомнамбула, полужакрывает глаза и словно глядит внутрь себя, словно прислушивается к тайному внутреннему голосу. Этот невидимый голос есть голос революции. Революция служит Керенскому нимфой Эгерией.

(«Русская воля»)

... «Со сторожами здоровался за руку!» – изумлённо шепчутся чиновники Сената о Керенском. Его чёрная куртка резко выделяется на фоне сенатского великолепия... Министры все поднимают правые руки и стройным хором повторяют за сенатором Врасским слова присяги правительства. Затем подписывают клятвенное обещание. Для Керенского не остаётся места на этой стороне листа – и он «перевёртывает новую страницу истории».

... Кристально-чистый, честный, искренний, мягкой души, скромный и деликатный до застенчивости. Страстный самоотверженный борец за народное счастье, ничего для себя, всё для народа, – умеет заглянуть в самую душу его, всколыхнуть своими речами всё таящееся, великое и святое, слиться с народной душой в творческом процессе... Наш гражданин-кузнец, выковывающий республиканскую Россию.

... Есть что-то в его характере, пылающем и прямом, что даёт веру его словам. В него вложено чувство природной справедливости. Пусть она трепещет в нём, пусть она кричит, а не говорит.

(В. Розанов, «Новое время»)

... Министр правды и справедливости. Первый народный трибун-социалист, народный друг. Символ нашей благородной революции. Тысячи людей несут к нему свою радость. Незабываемая любовь пылкого сердца России...

Его, как первую любовь,
России сердце не забудет.

... Его образ всенародно опозитизирован.

... Стал красным солнышком русского народа.

... Его имя должно быть золотыми буквами высечено на скрижалях истории. Если бы не он – мы б не имели того, что имеем.

Новгородской губернии. Подростком научился он самоучкой читать, писать и четырём действиям. Помещик сдал его в рекруты как неженатого. Всем им, рекрутам, приёмщики обрили полголовы, чтоб не сбежали, а сажая по телегам, ещё забили ноги в деревянные колодки и заперли колодки на замки. Так началась служба Фёдора Клементьева царю-батюшке.

Через сколько-то лет он свалился с коня на учении и стал годен только к нестроевой. Тогда отправлен в команду нижних чинов бобруйского военного лазарета, где за грамотность назначен фельдфебелем. Тут женился он на мещанке из города Игумена, домашней прислуге со следами оспы на лице, и пошли у них девятеро детей, из которых трое умерло во младенчестве. Местились же они тогда в казематном казарменном помещении крепостного госпитального здания, в комнате на два окна и разделённой перегородками на четыре клетушки. Оттуда и помнил Вася своё детство.

Уже позже отец, после 25 лет сверхсрочной службы, был уволен в отставку с золотой медалью «за усердие» и тысячью рублей пособия и сумел купить на комендантской мызе дом в четыре окна. Сам же стал сторожем в банке с жалованьем 10 рублей в месяц, но имел при вешалке чаевые. Год переезда на новую квартиру особенно запомнился Васе ещё тем, что в те месяцы было всенародное радование в честь преподобного Серафима Саровского, все заказывали его иконы, а в день прославления – 19 июля, никто не знал, что это годовщина будущей великой войны! – несли иконы в храм, как куличи на Пасху, со слезами пели «преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!», а заодно с тем любили и императора, чей портрет душевно был вывешен едва ли не в каждом доме – таких, как семья Клементьевых.

Вася окончил церковно-приходскую школу, потом начальное, потом городское училище, освобождён от трёхрублёвой платы как из семьи обременённой и за то, что хорошо учился. Старшие сестры тем временем выходили замуж, старший брат кончил юнкерское училище, а перед Васей, как перед каждым юношей, все пути ещё были равно темны и возможны. Товарищ по городскому училищу Айдик Лившиц увлёк его в нелегальный кружок. Кружок назывался «Самообразование», но всем членам выдали оружие, Васе – стальную дверную пружину, на одном конце приварена свинцовая шишка, так что легко убить человека. В том же кружке был и сын жандармского вахмистра – да и годы были самые революционные. Был у них и «технический вождь», товарищ Абрам. Партийные встречи они устраивали под видом вечерних гуляний на главной улице Бобруйска между двумя знаменитыми аптеками. А одна их сходка в еврейском домике, вросшем в землю, была окружена. С улицы стали жандармы, они бы арестовали, но зады оцепили городовые – и туда, измешивая весеннюю грязь, козий и человеческий навоз, кружковцы выбрались и были добродушно пропущены городовыми. Вскоре арестовали двоих из военно-фельдшерской школы, по городу пошли пересуды о «социал-изменщиках», мать нашла васину гирию, – и он должен был отнести её назад товарищу Абраму, который был возмущён отступничеством. Так, лишь случайно, не пришатнулась васина жизнь к революции. И ещё, лишь по знакомству, удалось ему получить свидетельство о благонадёжности, без которого не открылся бы путь в юнкерское училище.

Расширенные экзамены требовали и физики, и алгебры. В Вильне, в Духовом монастыре, идя на экзамен, Вася истово молился перед ракой мучеников: ведь родители не могли его дальше содержать, но сами ждали помощи. (И в том же монастыре молился он, когда, успешному портупей-юнкеру, ему от простуды отказал голос, и его хотели списывать в отставку.)

Первый раз войдя в казарму, он задрожал от батальных картин на стенах – Восемьсот Двенадцатого и балканской, а одна была картина как проверка духа: старший фейерверкер Миронов стоял, одну руку на пушку, а над ним хивинец с занесенной шашкой: пленный Миронов отказался учить их стрелять, и сейчас его зарубят. А ты бы отказался?

За училищные годы Клементьев сжился с тем, что есть, что помнит, что несёт в себе русская армия, – и ко дню производства монаршей милостью в подпоручики уже дики ему

казались свои другие неизбранные пути. Даже и женитьба его перед войной была событием как бы посторонним, а единственно главная была – военная служба, с отцовским старым самозабвением, под началом Верховного Вождя Армии.

Оттого-то полученная на днях бумага об отречении Верховного Вождя жгла ладонь как головешка. Смертоносная бумага. Это была потеря – больше чем близкого любимого человека, а – на ком всё держалось. Знали: *там есть*, – и спокойно выполняли свой долг. У капитана Клементьева текли слёзы по щекам, только никому не показанные.

В чём совсем он не слукавил – не притворился не только радостным, как командир дивизиона, как некоторые офицеры, – но даже равнодушным. Он так откровенно и видом являл и говорил солдатам вслух, что разразилось над Россией горе и ждут горя ещё худшие. И никто из солдат не позубоскалил, не усмехнулся – но уважали его, что, вот, он верен остался царю, а не спешил выпередиться к новым порядкам. (Его все солдаты крепко уважали со Скроботовского боя, когда он сорвал противогаз отдавать команды – и долго потом ходил травленный.)

За минуемую неделю как будто совсем заглохла всякая боевая и даже служебная жизнь – только что кухня приезжала дважды в день да раз сводили солдат в баню. Клементьев понимал, что службу упускать нельзя, но даже самого себя ему нужно было вынуждать на службу и догляд наблюдательного пункта, и орудий, и передков, и резерва, – внутри всё было отбито и ничего не хотелось. И со стороны немца замершего ничего не происходило – ни выстрела за неделю. И тем более пропала вся служебная охота у солдат и даже фейерверкеров. Хотя неповиновения никто никакого не выказал, и прежним тоном солдаты привычно здоровались по-старому «здравия желаю ваш высбродь!», а заметив недовольный взгляд на свою появившуюся расхлябанность: «Это, господин капитан, я так неприбранный потому, что иду за надобностью.» Но и каждая лишняя затяжка пояса и продёржка шинельной морщи под ним так же должны были начинать им казаться лишним делом. Всё могло поползти и уже поползло – да держался порядок на фейерверкской спайке.

Без Государя станет армия – не та, не та. Таковую армию построить – нужны столетия. А развалить – ничто не долго.

Особенно мучило Клементьева, день ото дня даже больше: как он мог так легко дать новую присягу? – смахнуть прежнюю как не было.

Как зашлёпался.

Но великий князь Михаил Александрович прямо призывал всех подчиниться временному правительству. И генерал Алексеев и генерал Эверт признали эту власть. И великий князь Николай Николаевич. Однако, вот не стало вдруг ни Эверта, ни Николая Николаевича, – а присяга уже дана безвозвратно, а свою душу капитан Клементьев уже повязал.

Пришёл юмористический журнал – и в нём карикатура: как два венчаных брата откидывают скипетр и корону, никто не хочет принять.

Неуважительно – а ведь так... Стыдно.

И на вечерних молитвах уже не пели «Боже, царя храни».

Думал про Государя: а как он теперь? Что, вот, делает сейчас? Ему-то с такой высоты низвергнуться – каково? И знает ли, сколько верных ему осталось в армии? Но все рассыпаны – и ничем Государю не помочь.

Ощущение было – сломившейся жизненной оси.

И ещё новое тревожное ощущение: что солдаты куда-то уходят своим настроением, как схлынывает вода. Клементьев привык солдатскую душу чувствовать близко.

И – аппетита не стало, совсем уж болезнь. Денщик приносил уговаривал:

– Ешьте, ваше высокоблагородие, ещё наголодаемся.

Отодвигал молодой капитан:

– Не хочу, ешь и моё.

От стола крестился на иконку малую в угол.

Денщик ворчал:

– Теперя, как помазанник под караулом, – тоже и морду не всякий перекрестит. А там – и кресты нательные поснимают. Коли воевать больше не будем – так на что мол они?

Начальник телефонистов бойкий старший фейерверкер Теличенко пришёл взять телефон на осмотр. Тоже звал «высокоблагородием».

Усмехнулся Клементьев:

– Зачем порядок нарушаешь? Господин капитан.

Отмахнулся Теличенко:

– А мы на старую благородию валимся, как приучены. «Господином» обзывать – как-то и язык не выворачивается.

Сам ли думал, или поддавал в тон капитану:

– Всё! Теперя подалась наша Расея – а куды? Теперя замест того, чтоб немца колотить, мы как бы один другому не наклали.

– А – по чему судишь? Что заметил? – насторожился Клементьев.

– А как же иначе? – уверенными пальцами подгонял проволочки под клемму заменного телефона. – Столько мужиков без дела собралось, да если немца не бить – кого-то же надо?

Тоже верно.

– Сейчас мы – как пьяные стали все. А накричимся, намахаемся – так может и в чувство воротимся?

Вздыхнул по-старчески капитан с лёгкими молодыми усиками:

– Да, Теличенко. Ни думать, ни говорить не хочется. Кто-то за нас надумал и сделал.

Взял фейерверкер телефон под мышку – да действительно проверять надо было или он предлог искал?

– А вы, вашвысбродь, всё одно отдыхать не ляжете, по вас видно. А приходите к нам на батарею. Вместях сподручней и вам и нам разобраться.

И тронуло и резануло Клементьева это «к нам», так и занозилось после его ухода. Они – звали. Им, и правда, хотелось и потребно было от своего привычного капитана услышать, что к чему. Но – к **нам** уже отделяли они. Уже несомненно было для них, что протянулся какой-то шнур разделительный: мы – и вы.

Но и Клементьев же хотел – поближе к ним. Но и он – без них существовать себе не мыслил. Батарея была – одно его детище. Нельзя было допустить, чтоб отречение Государя разрубило их.

А тут вскоре пришёл, – из батарейного резерва прикатил на бричке, – фельдфебель Никита Максимыч. Пахнуло от него движеньем и решительностью: он и скрывать не скрывал, что новые порядки осуждает и доброй руки к ним не приложит. С ним было как со своим, даже своей, чем с молодыми офицерами, тем же Гулаем: сейчас они все офицеры, а в студентах, небось, прокламации раздавали.

Угольная борода Никиты Максимовича, укороченная, но буйно густая, не старила его, а молодила, ещё больше выражала его привычную власть. На большую теперя кручину, сидеть и вздыхать, у него не было времени и терпения. А приехал он вот с чем:

– Что ж, ваше высокоблагородие, войны нет, а лошади у коновязей обамуниченные, маются. Иному коньку и соломки подстелешь, попонкой прикроешь – а стоит, не ляжет. Уж ноги в наливах, голова к земле гнётся, а стоит. Потому – амуницию сознаёт. А дозвольте – разамунить? Хоть на денную пору?

Лицо у него было набряклое, грубое, даже разбойничье, – а лошадиные боли первее чувствовал.

– Да ведь, Никита Максимыч, теперя-то пехота и ненадёжная стала, теперя-то и побежит? Не успеет орудия взять.

– А без лошадей остаться – лучше?

– Но до сих пор не оставались?

– Так то война была...

Да, вот как... **Была** ...

Не решился Клементьев сам, доложит командиру батареи. Но вскоре после ухода

фельдфебеля подумал: а лошади-то не отделялись на «вы» и «мы». А сходить-ка их посмотреть.

Пошёл пробитой тропочкой в обгиб леска. Где соступал сапогом в тропочку – там подавался снег пружинно, сжимался. Стоял серый оттепельный денёк, к концу.

Но до лошадей не дошёл. Уже видел их, под временным навесом, сколоченным из абы чего, в хомутах, с закинутыми на спину построумками, терпеливых боевых лошадок, в сером свете нерезко различались масти. Но сбоку, из большой землянки ездовых, дослышалось Клементьеву протяжное пение. Пение – как в сказке: из-под земли, от закопанных братьев. И такой звук – бесконечно тягучий и душевно родной, – как силой повернуло Клементьева туда.

Пели во много голосов, и так сильно получалось, что и при закрытой дверке проступало сквозь дерево, солому и землю. И ещё мелодии не узнав, ни слов, – а уже понял Клементьев, что малороссийская. Столько соединяющего тепла было в распеве, – как лилась бы целебная бальзамная смазка между словами, вылечивая и в безнадежности. А распев – медленный, как облака, плывущие по небу солнечному да над пшеничным полем.

Никакой другой музыки кроме пенья церковного да народных песен Клементьев сроду не понимал. Ничто были ему все эти грамофонные пластинки, как любили офицеры, с ихними пискливыми романсами и раскатами фортепьян, – проходили, совсем не задевая душу. А когда мальчиком он пел в церковном хоре бобруйского собора, то выступали они с концертами и светского пения, там певали они и песни народные, – да и летними вечерами ученики собирались петь под плетнями, на крутом берегу Березины. (Дико вспомнить: помощник соборного регента внушал им петь: «Россия, Россия, жаль мне тебя! Царь Николай издал манифест: мёртвым свобода, живых под арест.»)

И сейчас это пение протяжное, как сама живая жизнь, – так и тянуло сразу за внутригрудь, тянуло своего к своим.

На солдат ли обижаться? Разве они рады этому петербургскому перевороту? Разве они звали его или делали? Да они сами растеряны, не знают, куда руки деть. Они если дерзить начинают – так пробуют, как всякий новый предмет хочется расщупать.

«Сейчас мы как пьяные.»

Но все вместе закинуты на дальний передний край против врага. Но всем вместе тут или стоять или погибнуть. Разве можно нас разделить?

Капитан Клементьев спустился по земляным ступенькам, одетым в жердяник, тихо отворил дверь. Она пригораживалась печью, и входящий не был сразу замечен, да и внутри совсем серо, да и не обернулись. Двое ближних солдат у нетопившейся печки заметили – шевельнулись будто команду подать, но и тоже не охотно, со святостью к песне, – Клементьев остановил их рукой. И так застрял в тёмно-сером углу. Да он уже со ступенек узнал песню, не в самих словах и дело было, а в душе:

Край берега по затишку привязаны човны.

А три вербы схилилися, мое жураются воны.

Ездовых в землянке была дюжина. Почти все лежали навзничь на земляном возвышении, заменявшем общие нары, одетые, в сапогах, – и все подпевали, свободно зная песню, но всем голосом выражая несмерно больше, чем могли передать слова:

Як хороше, як вэсэло на билим свити жить.

Чого ж у мэне серденько и млие и болить?...

588

Как в страстны е часы отречения разительней всего было Государю услышать об измене Конвоя – так в эти первые дни плена всю царскую семью горше самого плена мучило сознание – измены верных. Кого считали верными. Флигель-адъютанты. Светлыми, долгими, радостными годами считали их верными – а они отпадали даже в первые минуты опасности.

Ещё на ходу царского поезда спасал себя и свои чемоданы Мордвинов. Ещё с

царскосельского вокзала, даже не заметили когда, – скрылись Нарышкин и герцог Лейхтенбергский. Отстал ещё в Ставке Граббе. Но больней всего пришлась измена Саблина – почти родного, почти члена семьи, обязательного на тесных семейных карточках, милого любимца всех детей.

Ждали их, ждали день за днём, хоть кого-нибудь. Спрашивали по утрам у Бенкендорфа: «Не приезжали?...» Он качал старой головой.

А потом: «И не приедут, Ваше Величество!»

Эти последние дни ещё оставался, но не скрывал своих терзаний заведующий делами государыни граф Апраксин. Сегодня и он прощался, так бессмутительно и выражая, что его обязанности перед собственной семьёй не разрешают ему оставаться в арестованном дворце. И ушёл навсегда.

Но ведь у Лили Ден был оставлен и брошен маленький сын, и она вовсе не обязана была по службе, лишь по дружбе и верности разделила все тяжкие дни с государыней, а теперь осталась и среди арестованных, удивительная душа! Кажется – чужой швейцарец, Жильяр – добровольно заперся с пленниками.

Совсем рядом, в лицейском здании, тоже обращённом в тюрьму, томились – и не было сил им помочь – захваченные начальник дворцового управления Путятин, начальник дворцовой полиции Герарди, генерал Гротен, генерал Ресин, командир корпуса жандармов граф Татищев, подполковник фон-Таль и ещё несколько. Их не кормят, не дают постелей, они лежат на школьных партах и на полу. Их всех арестовали в ранние дни – и теперь, по измене других, что можно было думать: и из них отпал бы кто-нибудь, продлись его свободный выбор?

Эти грозные дни распахнули перед царской семьёй до сей поры непредставимые глубины человековедения. Крушились, но и возрастали в этом суровом опыте. Как же они, глядя в глаза, слушая речь, – так могли ошибаться в людях?!

И любимый духовник их величеств – отец Александр Васильев, – тоже не шёл на зов во дворец. Тоже отшатнулся? (Говорили и: болен.)

А боцман Деревенько – пестун и нянька наследника, обласканный, засыпанный подарками, всегда верный как пёс, теперь мог, заставляли его: развальясь в кресле, приказывал наследнику, едва вставшему из постели, подавать себе то и другое.

«Половина Ея Величества» – остались на месте почти все, от камердинеров до низших слуг. «Половина Его Величества» – рассеялись почти все. Остался верный камердинер Чемодуров.

О Господи, Ты один, ведающий души людские, – открой же нам, научи же нас: видеть суть людскую.

И – прости им отступничество их...

Никогда б не ушёл Григорий – и вот лежал поблизости, – но и мёртвого выкопали, осквернили, увезли.

А уж обо всех великих князьях – что и говорить? Они всегда были первые враги царской чете. Теперь многие – и в газетах поносили, ища расположения публики. И даже Павел – дал пошлое газетное интервью. И, живя по соседству в Царском, – от момента ареста не пытался связаться.

Впрочем, связаться с арестованными теперь и не легко. Узникам запрещены телефонные разговоры, аппараты остались только в караульном помещении. Туда же доставляются все письма и телеграммы, все вскрываются – после чего их вручает новый комендант Коцебу, – как раскрытыми же принимает и все письма от царской семьи. (Но этот ротмистр оказался очень сочувственный человек, даже просто хороший, – и немало писем вручил и отправил закрытыми, отправлял и телеграммы, иногда украдкой передавал и сообщения, полученные по телефону.)

Охранный гарнизон действовал по инструкции, разработанной до поразительных деталей. На положении арестованных состояла и вся придворная прислуга – повара, лакеи и вся челядь, лишь внутри помещений имея право свободного перехода и исполнения

обязанностей. Докторам ли, механикам – право входа (и потом в сопровождении) и выхода каждый раз с разрешения дворцового коменданта, остальным – только с разрешения Временного правительства. Дежурный офицер просматривал каждый стебель приносимых цветов, папиросную бумагу, в которую они завернуты. Вскрывались и истыкались банки с маслом с петергофской фермы, а булки и печенья лишь потому избегали этой участи, что их пекли в кондитерской дворца. (Впрочем, прерывался то один продукт, то другой, то даже картофель, а гофмаршальская часть обращалась к комиссару по делам бывшего Собственного Его Величества Кабинета с просьбой не прерывать доставку молока больным детям бывшего императора.)

Посторонних лиц не впускали во дворец без разрешения правительства, но революционные солдаты – развязные, вызывающие, могли сколько угодно бродить по дворцу, потому что внутренних постов не было. Они всё хотели видеть – комнаты, вещи (и воровали многое, особенно серебряные ложки), требовали показать им наследника, едва не ломались в комнаты больных детей, во все комнаты, приходилось запирали двери, высказывали обо всём беззастенчивые замечания, бранились с прислугой – зачем одеты в ливреи, зачем слишком ухаживают за царской семьёй, зачем слишком сильно кормят и почему несут вино. По вестибюлям, коридорам, парадным залам они ходили в шапках, куря, шумно, вид их был страшен, собственные офицеры боялись их, – да во 2-м гвардейском стрелковом полку и сами офицеры оказались ужасны, ни одного кадрового, всё какие-то зелёные прапорщики.

Но и снаружи успевали они набедить: в парке стреляли по козам, застрелили трёх оленей, полуручных. Одного – совсем близко, и долго кровь бурела на снегу у пруда.

Самого революционного Петрограда, самой революции царская семья так и не повидала – но эти развязные солдаты, ещё недавно лейб-гвардейцы, убеждали довольно.

И чтобы меньше было столкновений и расстройств – все приняли: буквально выполнять распоряжения коменданта и охраны. С полным спокойствием и покорностью (как военный человек) относился ко всем строгостям экс-Государь, не высказав ни разу упрёка, ни даже когда приходилось у запертой двери ожидать по 20 минут конвоя и ключа.

А государыня замечала – ещё, кажется, менее его и всех. От момента возврата супруга отпало ей быть главной воительницей, да и сломлена она была минувшими десятью днями. Теперь она всё более сидела в кресле у сына или у дочерей, часто уйдя в свои неприступные мысли.

На прогулки Николай каждый день ходил с обергофмаршалом Василием (его называли Вале́й) Долгоруковым – на час, на полтора. Вчера и сегодня стояла серая оттепельная погода, не очень приятная. В парк ходить воспрещалось, но для прогулок оставлена была часть сада, отделённая замёрзшей канавкой. Особенно любили – расчищать от снега дорожку вокруг лужайки, друг другу навстречу. Иногда при этом Николай помахивал рукой своим, смотрящим в окна. Полукружьем стояла цепь часовых. Каждому, к которому приближался, государь говорил «добрый день». Одни вовсе не отвечали, другие – называя полковником, третьи – «Ваше Императорское Величество». Что творилось в их шинельных грудях? Что держалось в их головах? И офицеры вели себя по-разному: одни (из студентов) наседали почти на пятки и окрикивая «полковник», другие сторонясь отчуждённо. Офицеру каждому Николай протягивал руку для пожатия. Одни принимали, другие – неловко прятали руку. Иногда расспрашивал их, из каких они военных училищ. Один ответил, что – Виленского. «Да, – похвалил государь, – у виленцев развито чувство товарищества. Хорошее училище.»

Да что ж было на них обижаться? Так ли и об этом ли нужно было думать? В одно утро посмотрел Николай в окно – и увидел часового, спящего сидя, а винтовка валялась рядом в снегу. И смех и слёзы. Что же будет теперь с нашей армией? Как же пойдёт она в своё последнее наступление?

А Николай – так надеялся на нашу победу именно в кампанию Семнадцатого года!

Ах, лишь бы эта несчастная война хорошо кончилась для России, всё остальное – неважно!

Отходили ноющие удары – от ареста, от первого приёма здесь, от смотрин. От голого стыда развенчанности, от своей беззащитной доступности. Не задевали мелкие оскорбления младших офицеров, обманутых солдат. Это всё они совершали – по неведению. Вот, звали «полковником». Думали, что унижают? – ничуть. Николай и не мог сам себе присвоить звание выше, чем успел дать ему отец.

Раз отречение было необходимо для счастья страны – как же было ему сопротивляться? В те дни – жгло, и была досада на многих, и была попытка взять назад, – а вот за несколько дней, как с потерей последней внешней свободы спала и последняя ответственность, – Николай уже и не досадовал. Уже и не жгло.

Он радовался – что кровь не пролилась. (Если где и пролилась – то вопреки его воле.)

Вот за эти три-четыре дня в родном Царском Селе – в этом дворце он родился, он любил его, золотое же заточение! – к Николаю вернулась ясность духа – и смирение. Ничего больше он не мог исправить, никуда его не тянуло, не рвало, – все свои государственные обязанности он кончил. Сдал. Уже никто не мог прийти к нему с докладом, иногда досадливым, или с трудным предложением, смущающим ум, не надо мучиться с выбором. Всё своё – Николай сделал и кончил. Что мог – он сделал, и как мог лучше. И не надо больше наряжаться, переряжаться. (Влез в свои чиненные-перечиненные военные шаровары, которые были у него с 1900 года, Николай любил старые вещи.) Теперь, свалив с плеч все бремена, да жить своей семьёй. Милостивый Господь дал нам всем соединиться вместе!

Бенкендорф доложил, что, по всей видимости, они останутся в Царском Селе надолго. Приятное сознание! А сколько времени теперь – читать, для своего удовольствия или детям вслух. Николай помногу сидел то у Аликс, то у детей, особенно – у Алексея.

Очень озабочивали только их болезни. Алексей, слава Богу, перенёс корь легко и без осложнений. Две старших тоже вполне выздоравливали, ещё уши болели. Но Мария, продержавшаяся рядом с матерью самые опасные дни, теперь окунулась в корь едва ли не всех тяжелей: перекинулось и на уши, и дало злокачественную пневмонию. Около неё собирали консилиум (власти разрешили, но – дикая грубость – чтоб и тут при осмотре присутствовали офицер и два солдата), а милый доктор Боткин, добровольно заточившийся, был рядом всегда. Анастасия же – почти поправлялась, вдруг опять заболели уши и тоже воспаление лёгких. Сегодня сделали ей прокол уха.

Пошли, Господи, пошли, Господи, только бы выздороветь всем.

Семья жила вся в левом крыле дворца, выздоравливающая Аня Вырубова и некоторые из оставшейся свиты – в правом. Иногда собирались по вечерам для чтения, для музыки, – тут, в царском крыле, иногда шли навестить Бенкендорфов или то дальнее крыло – и Николай катил Аликс в кресле. И это был немалый путь, через протяжённость дворца! – ещё сколько пространства у них не отняли. Уютно было натопить камин – и в такую сырость сидеть в тепле и уюти. (Правда, жаловался Бенкендорф, что всё меньше выдают дров.)

А ещё была комната во дворце – бильярдная, всегда запертая, ключ у Николая – потому что там висели военные карты.

Кому же теперь они?...

Всё ж – Николай пошёл туда раз и, запершись, был с картами один, – смотрел, смотрел в тоске на корпуса, двинуть которые от него уже не зависело.

Перед картами он привык слышать ровный говорок Алексеева. Вчера сыну разрешили встать из постели – и сегодня отец повёл его сюда. И сам ему объяснял немного.

Теперь пришлось не посетить храмовый праздник Фёдоровского собора. Но к минувшему воскресенью хлопотали отслужить литургию в переносной церкви дворца – чтобы разрешили пропустить священника с дьяконом и четырьмя певчими. Разрешили, но подвергли их строгим формальностям и придирам на пропуске. Собрались, кто на ногах, – семья, свита, прислуга. Так радостно было, что и в новых обстоятельствах не остались без службы. И молился Николай – за победу русской армии.

И слышал опять в ектеньях не своё имя, но: «богохранимую державу Российскую и – благоверное правительство её». И – крестился истово, и – молился за Временное

правительство: пошли им, Господи, этого благоверия, пошли им успеха в управлении Россией.

Он всё готов был им простить, он – уже им всё простил, лишь бы они спасли Россию!

Первыми с Аликс приложились к кресту, отдали молча общий поклон собравшимся – и ушли.

После того ночного, неоправданного, злого визита Гучкова к Аликс – никто из членов нового правительства не ехал в Царское, не выказывал намерения свидеться с отречённым государем. Их на то свобода. Они не нуждались ничего перенять, ни о чём советоваться. Но бывший государь был отеснён дебрями непонятности. Что будет с ним и его семьёй? Что будет с верными лицами свиты, давшими добровольно себя заточить – но не навсегда же? Что будет с прислугою и служащими? – их сто восемьдесят человек, иные здесь целыми семьями, у других семьи вовне. И – ещё, ещё. Наконец: что будет с дворцовыми гренадерами, этими седыми ветеранами, изувешанными крестами и медалями за все войны, начиная от крымской? Не выбросят же их теперь на улицу?

Но не только не было ответов на все вопросы, а даже не разрешала цензура отправлять письма Бенкендорфа, касающиеся частного императорского имущества.

Наконец, Николай сам обратился к Коцебу – передать просьбу, чтобы приехал посетить – кто же? – либо князь Львов, либо, очевидно, всё тот же неизбежный Гучков?

А пока внешний мир отвечал императорской чете только – газетами. Газеты проходили свободно. Раньше кроме «Русского инвалида» и «Нового времени» Николай не брал их в руки, он испытывал к ним безразличность. Но сейчас и он и Аликс с интересом и с болью на каждой странице – смотрели и смотрели эти гадкие газеты, по несколько разных за число. Странно, и остро, и обидно, и жутко было видеть своё прошлое и настоящее, и само нынешнее общество в этих неожиданных, резких, извращённых боковых лучах. И не газеты крайних революционеров занимались этой травлей – но газеты общества. Общий хор ненависти, глумления, поношения, проклятий – всей царской эпохе, династии и низверженной чете – уже даже не так поражал Николая и Аликс, этим пронизано было всё. Но укол мог прийти с самой неожиданной стороны: вот, читали они, что английский атташе Нокс, столько раз принятый государем не только официально, но за столом, – вот, в субботу посетил казармы 3-го и 4-го лейб-гвардейских стрелковых полков – тут, в Царском Селе, рядом, – и как ни в чём не бывало, как ничто не изменилось, будто государь, союзник Англии, не сидел арестованный в версте от того места. Постеснялся бы...

Что говорят и думают о громовом низвержении династии, о громовых русских событиях за границей – особенно больно и остро затягивало. Приходили, по подписке, иностранные журналы, приносили сейчас и их – но их номера опаздывали, ещё далеко отстояли.

Приносили в газетах и портреты новых министров. Долго и беспристрастно рассматривал их Николай: кому тут можно доверять? кто из них может возглавить Россию, не найденный вовремя им самим?

Из тех же газет узнавали и о своей судьбе: князь Львов открывал биржевому корреспонденту, что удаление династии из пределов России не вызывает сомнения, и всё будет решено в короткое время.

Вот как?...

Сидели с Аликс – грустно. Ближайшим образом это не было долгое путешествие: всего несколько часов поездом до финляндской границы, единственное препятствие – Петроград, если выступят крайние левые партии (грозятся и убить). Ближайшим образом это давало им как будто свободу и независимость, – но подлинные ли? В гостях у Георга – стеснять его перед его левыми, и быть стеснёнными самим, как гостям.

И нельзя жить гостями, надо жить на свои средства. А у нас они теперь потяли, 20 миллионов ушло на госпитали. А за границей ничего у нас нет, на что нам там жить?

Да и – что значит жить в изгнании отречённой императорской чете? Путешествовать по Европе – как высочайшим особам, давая собой материал для иллюстрированных журналов и

быть предметом атаки американских корреспондентов? Страшно этой дешёвой популярности.

Конечно, Аликс хотелось повидать Дармштадт: там умерла её мать, там жила её сестра, Дармштадт ей дорог.

Коцебу, очень доброжелательный и лояльный, посоветовал государыне – написать королеве английской, чтобы та позаботилась о ней и её детях. (Один англичанин брался передать.) Аликс встрепенулась и ответила: «После всего пережитого нами мне не к кому обращаться с мольбами, только к Господу Богу. Английской королеве – мне не о чем писать.»

И потом объясняла своим: «что же писать? Я изранена поведением России, но не могу говорить против неё».

Это – они, английская чета, должны были давно написать первые, хотя бы выказать сочувствие. Выразительно их молчание.

Такая мелочь – упала русская династия...

Николай всегда очень любил своего двоюродного брата Георга, забавлялся внешним сходством с ним. Не так-то он хотел ехать, но обидно, что Георг не отозвался, не посочувствовал. Неужели не мог прислать телеграмму?

Но если и ехать в Англию – то как бы потом, после войны, вернуться в Россию?...

В Крым.

Алексей – так любит Крым. И Крым – так ему полезен.

Но если ехать в Англию – какая грандиозная укладка вещей, страшно подумать!

А вот почему революционные партии так против нашего отъезда: они боятся выдачи каких-то мифических тайн.

От этого предположения у Николая загоралось лицо: эти низкие господа судят сами по себе. Хуже – его не могли оскорбить. Но это – писалось в газетах и внушалось всей России.

Не тайны – но интимную жизнь, но детали жизни государевой четы готовы были вырвать и вынести на базар. Газеты писали, что в Царском Селе будет производиться выемка бумаг государственной важности – для следственной комиссии.

Государственной важности – пусть берут, это теперь – их. Но того, что писалось между собою, что хранилось как воспоминания хрупкие, – нельзя было отдавать толпе. Это угадала Аликс – ещё до возврата Николая – и начала жечь свои дневники, письма. Однако в каминах нарастали кучи бумажной золы, это вызывало подозрения. А с этим надо бы спешить!

Подтолкнул ещё судорожный летучий обыск, устроенный в суматохе по дворцу: пробежали по всем комнатам, ничего толком не глядя, но всюду заглядывая. (Потом Коцебу сказал, из чего был переполох: искали – кто-то донёс – что во дворце работает телеграфная беспроволочная станция.)

И Николай с первого же дня, как работу совершая, стал проглядывать и жечь из личных бумаг такое, что неприятно было бы увидеть в революционных газетах.

И так он наткнулся на письмо генерала Василия Гурко, присланное ему уже после отречения.

Странно, ведь он читал его в Ставке, всего неделю назад, но в тот момент принял – как должное, как обычное в его долгом царствовании выражение верноподданства. Потом сунул в общие бумаги.

Но столько изведаль он за минувшую неделю – измен, лжи, притворства, низости – что теперь письмо Гурко засверкало перед государем алмазно: ведь он писал это письмо **после** отречения, когда всё уже было бесповоротно объявлено. И – писал: что отречение было движимо великодушием! Что память народа – оценит это самопожертвование монарха. (О Господи!) И что Алексей ещё, может быть, вернётся на престол. (О Господи!)

А кончалось – так преданно, так верно, – Николай теперь зарыдал над письмом.

Какие же верные люди были около него, совсем рядом, и уже вся армия была вручена этому неутомимому блестящему отчаянному генералу! – и зачем же было его отставлять – да в самые последние роковые дни – он и был генерал для тех самых дней – и возвращать

больного, маловерного Алексева? – из одного лишь неудобства отказать ему в его посту.

А – что ж было тёмного между ними? Ах, вот: Гурко, будучи в Петрограде, посещал Гучкова.

Не настоял послать крепкий гвардейский полк на стоянку в столицу? Но, воинственный генерал, он дорожил каждым полком на передовой. И Николай сам же нехотя на это поддавался, ему и самому это виделось как нарушение патриотического долга: отзывать гвардию в тыл в разгаре войны, стыдно.

И если Преображенский полк в февральские дни и стоял бы в Царском – разве государь посмел бы двинуть его на кровопролитие, русских против русских?...

Вспомнил, как великолепно Гурко провёл всю зимнюю конференцию союзников, как независимо! Никто не держался перед Николаем так дерзко – но и никто-никто-никто – не прислал после отречения такого верного письма.

Этого письма государь сжечь не мог.

ДОКУМЕНТЫ – 28

13 марта

ГЕРМАНСКАЯ СТАВКА - В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, Берлин.

Никаких возражений против проезда русских революционеров в групповом транспорте с надежным сопровождением.

13 марта

ГЕРМАНСКОЕ М.И.Д. - ПОСЛУ РОМБЕРГУ, Берн Шифровано

Групповой транспорт под военным наблюдением. Дата отъезда и список имен должны быть представлены за 4 дня. Возражения Генерального Штаба против отдельных лиц – маловероятны.

589

Витебск и Полоцк уже прямо были связаны с Петроградом, и с этих станций солдат в поездах ещё увеличилось, – да не командами по служебным командировкам, не возвратных отпускников – но каких-то самовольных поездчиков, это проявлялось в чём-то, и была ли у них всех станция назначения и знали ли они, куда ехали и зачем, – сомнительно. Теперь не стало им нужно брать билеты, шли в любой вагон, – отчего и не ехать?

От Витебска увидел и понял Ярослав хуже: не те солдаты оскорбительны, кто расстёгнут, чести не отдаёт, курит или семячки лускает, – а кто перепоясан, да только офицерской шашкой и офицерским револьвером. Или ещё хуже: сверх шинели, как солдаты носят Георгия, прицепил себе офицерский орден Станислав с мечами, да накривь, с поболтом, – и таких два-три мелькнуло на пересадке в Полоцке.

Это всё приходилось грозно понять: сорвали с офицеров, не подарены же.

То он всё ехал и мучился от стыда, что не смеет заступиться за своих соседей по купе, мучился, но и понимал, что он один не может изменить сломившегося общего положения. И вспоминал, что эти все солдаты – сами не виноваты, что это – наши младшие братья, которым не так объяснили.

А вот – с холодком почувствовал и себя самого под угрозой.

А на станциях не только жандармов не стало – но и комендантских пунктов как будто.

И вот что на полоцком вокзале он заметил с удивлением: на такую увеличенную массу солдат стало офицеров совсем мало, куда меньше, чем их должно быть обычно: то ли не ехали вовсе, избегали, попрятались? То ли – представить нельзя – ехали, но переодевшись?...

Такого унижения для себя Ярослав бы не пережил.

На пересадке в Полоцке он сам поволок свой чемодан – но вдруг вывернулся невысокий веснушчатый скромный солдатик и сказал:

– Ваше благородие, вам ить неловко, дайте, я перенесу!

Солдатик оказался как из своей роты, совсем родной, не тронутый общим хамством. (Да и все такие, лишь бы им очнуться, напустили на них пьяного мороку!) Он же помог Ярославу и сесть на вилейский поездок.

Тут уже и все вагоны были 3-го и 4-го класса, но прежде – да три недели назад, когда Ярослав ехал в отпуск, – на отдельных вагонах была надпись – «офицерский». Теперь такой таблички он нигде не увидел.

В вагоне, куда попал Ярослав, было много народу, да все места заняты – и поперечные, и продольные, вдоль прохода, тут не разложишься, не ляжешь нигде, кроме верхних полок, а те уже захвачены солдатами и мужиками, – но лежать и не предстояло, через несколько часов надо было слезать на пересадку.

При посадке мелькнуло ему несколько офицерских погонов, не старше штабс-капитана. Но в самом вагоне как сел и отпустил помогавшего веснушчатого солдатика, – ни одного офицера вблизи себя, вокруг себя, на просмотре – не видел Ярослав. Сидели – солдаты, мужики, бабы. Шинели, тулупы, поддёвки, свитки, чуйки – деревня и мелкогогородская публика из недалёких мест, – а офицеров как вымело, как будто не на фронт шёл поезд, не залегала рядом громада действующих войск.

В иное время и представить бы лучше не мог Ярослав, как ему попасть, в самую гущу простого народа. Но сейчас он не в себе, напряжённо сидел, с сомнением и томлением. Хотелось ему скорей бы, скорей бы к себе в часть.

Разговаривали все сразу в разных местах, но звонче всех были солдаты, их больше и слушали.

Один солдат, с наянливой игрой голоса, самодовольно рассказывал, как в Петербурге повидал всех самых крупных бывших людей – и Штюмерера, и Протопопова. Да как же это ему удалось? А он – сам их арестовывал.

Публика вся обратилась к нему, онемела даже.

– И – какие ж они?

И – мог бы сбрехнуть парень, да не сбрехнул. Наслаждаясь своим приговором:

– Да люди обнакновенные. Да я – покрасивше их.

А наискосок, у прохода, сидели два матроса гвардейского экипажа, неизвестно зачем-почему ехавшие в эту сторону, на сухопутный фронт. Не уступая ловкому солдату, стали и они рассказывать, голосом на четверть вагона, а на остановке и дальше слышалось: как они плавали на царской яхте «Штандарт» и подглядывали в каюту Александры Фёдоровны, когда у неё офицера были в объятиях.

Старый высокий мужик в продранном тулупе, в объёмистых валенках, насочавших влаги, на все рассказы только крестился:

– Гос-споди, Иисусе Христе! Гос-споди...

Яхту матросы называли правильно, – но уж так ли они плавали на ней? а всё остальное! – ввали в духе этих недель, как установилось. И долг офицера и просто порядочного человека требовал бы от поручика Харитоновна – строго их осадить. Но ещё в Москве насмотрелся он пакостного «Московского листка», который и в худшем тоне и даже карикатурах вязал императрицу с Гришкой Распутиным, сажая государя дурачком под стол, – и вся русская столица, и вся образованная публика – видела и не возражала, а ухмылялись многие.

Нет, сломилось, повернулось что-то выше – и ничего не мог сделать поручик

Харитонов, а только внутренне возражать. И только слушать дальше: что Гришка хотел помирить царя с немцем, а князья ему не дали, убили. Что теперешнее правительство хотело отпустить царя в Англию, и о том сносился царь с царицей шифрованными телеграммами, но Совет рабочих депутатов про всё то узнал, накрыл – и посадил царя с царицей за решётку.

А что государю и государыне пришлось за эти недели испытать, пережить, подчиниться? Уж трудней, чем Ярославу перетерпеть эти несколько часов в вагоне.

В каракулевой шапке и с короткой финской трубочкой, лесопромышленник или торговец, рассказывал, как на проеханной сейчас станции на той неделе арестовали солдаты жандармского подполковника, сорвали с него погоны – а сестры из стоявшего на путях земского санитарного поезда разодрали те погоны себе на клочки – на память о прошлом режиме. А самого подполковника солдаты повели с собой в теплушку увезти прочь – и, ведя, не давали ему переходить через товарные составы по тамбурам, – не, ныряя под вагоны, как мы ныряем.

И – куда его могли увезти в своей теплушке? Трудно вообразилось, чтобы сдать властям. Уж не застрелить ли на перегоне и выкинуть через дверь?

За минувший день сам поражаясь своей ненаходчивости и неумелости, Ярослав представил, какая ненаходчивость должна сковывать вот так неожиданно схваченного человека – уже понимающего, что сейчас его будут расстреливать, и от этого особенно не могущего найти, как же правильно вести себя, чтобы не расстреляли.

Уж недалеко было до Подсвиля, а там скоро и ветка на Глубокое. Казался полон их вагон – но во встречных поездах виделось ещё куда полней, и всё солдаты, в такой густоте, что и на площадках стояли, – откуда же и зачем столько их ехало, прочь от фронта? Столько их ехало, не проверяемых ни по билетам, ни по документам.

Получас за получасом шла вагонная жизнь – то покачка и постук, то остановка: то, при подаче назад, перебегающий лязг буферов, то, вперёд, натужный скрип тяг. Кто-нибудь бегал с чайниками за кипятком, разливали по жестяным и эмалированным кружкам, пили на столиках и на коленях, доставали снедь из мешков и рушали. В своём отделении все притерпелись к своему поручику, он не казался тут странным, лишним, – а как в своей части. Настроение было у всех самое мирное, разговоры растекались на своекожное, а о Питере, о царе, о революции и не вспоминали больше, и не говорил никто.

Но когда-то надо было выйти в уборную. Ярослав пошёл.

Не только обычной болтанкой поезд мешал идти, но нагорожено было в проходе и мешков и ног, выставленных и поперечных, – и не все подхватывались убирать их, а должен был Ярослав аккуратно обступать или вежливо просить.

Уже серело, к вечеру было, проводник поднимался к фонарям в перегорках, проверял, менял свечи.

А в узком тесном тамбурке перед уборной, где накурено было вовсе сизо, – вольно стояли трое крупных солдат и друг другу покрикивали сквозь грохот поезда. Может быть, они только всего, что курили или для вольности стояли тут, – но не мог Ярослав тронуть ручку уборной, прежде не спросивши:

– Вы... не сюда... товарищи?

А как было спросить? Ярослав любил говорить солдатам «братцы», но здесь бы это звучало заискивающе. «Товарищи», – теперь все говорили так...

Высокий худой солдат, черноусый дядька хохлацкого вида, с подвижной мимикой, ссутулился через дым, наклонился к поручику, одну щеку перекосив, глаз прищуря, и крикнул – перекрикивая грохот поезда, самый сильный тут, над колёсами, да в маленьком тамбуре, – нет, просто крикнул на поручика:

– А-а-а! Вот он! А ну, сымай шашку, ваше благородие! И револьвер сымай! Сдать оружие!

Холодно-горячим исполоснуло поручика Харитонова, он вскинул подбородок.

Толчком к действию.

Но – какому? Уже нельзя ответить примирительно! Уж невозможно искать добрый тон!

Но – что??

И – не первому переступить непоправимую границу.

Как знакомый неотвратимый нарастающий подлёт близкого снаряда – вот, сейчас грохнет! И – ничего нельзя остановить!

Под ногами грозно стучало, унося наискось.

А второй солдат, который ближе стоял – с тупым невыразительным одутловатым низом безбородого лица, – без выражения и без крика, рта не раскрыв, сразу взялся за портупею, за косой ремень, на котором держалась офицерская шашка, – рвануть!

Во вьющуюся секунду Ярослав Харитонов как вывился из тела своего, уже попрощавшись с ним, – всё равно подошло прощаться, уступить нельзя, и что-то случится сейчас невообразимое. Вывился – в жалости к своей несостоявшейся молодой жизни, к этому глупому попаданию, к этому жалкому концу мечтавшегося офицерского пути.

И черноусый, нагнувшийся, не выказывал, чтоб шутку затеяли, – а глядел как разбойник.

Всего-то вот так предстояло ему кончить, сейчас! Кончить, потому что отдать оружия он не мог, и остаться жить после оскорбления – тоже.

Выхватить шашку было негде, разве только подбоднуть черноусого обушком, – но отбиться руками в тесноте от трёх здоровых нельзя – и отступить назад через прихлопнутую дверь опоздано – а ещё можно было выстрелить в одного.

И – не решив, не соображая, – сама проворная правая шмыгнула по боку расстёгивать кобуру.

Молодой – широкая челюсть, уцепясь за портупею двумя лапами, а ещё не рванув, сам себе загоразивал и не видел.

А черноусый дядька заметил – и долгой левой перехватил правую Ярослава, вжался пальцами:

– А-а, гадёныш, кусаться?

Это – кто гадёныш, о ком говорилось? – не успевало вместиться в сознание.

Уже не хватало силы и простора – оба локтя упёрлись сзади в стенки – освободить руку при пистолете или спасти шашку, – а тут из дыма насунулся ещё и третий.

Это был сильно широкоплечий шароголовый мрачный боровок, и глазки маленькие, страшней тех обоих.

И от этого, как не от первых двух, понял Ярослав, что пощады ему не будет сейчас: свирепый этот, с кабаньим оскалом, короткими сильными руками – как будто в разведке на языке насунулся вот на немца.

И этот третий закричал яро:

– Стой! Стой!

Уж и без того стоял Харитонов, откачиваться некуда и не хотел. С презрением к этим трём неблагодарным тупым дуракам, растоптавшим всю его веру в русского солдата. Оставалось рук – не отдать шашку, не отдать пистолет, и то уже не хватало.

– Стой! – ещё лютей кричал кабанок. – Стой, не трогай! Это же – наш поручик, это свой!

И, совсем насунувшись Ярославу к лицу, как бить его хотел головой в подбородок, и перекрикивая грохот колёс:

– Ваше благородие! Да ты помнишь меня? Я – Качкин, Аверьян! Мы – из Пруссии выходили вместе!

И – спускаясь обратно в уже покинутое тело своё, возвращаясь жить в чести, Ярослав помягчевшими, слезевшими глазами снова увидел этого увалистого кабанка, короткоухого, как тот показывал над ямой, что копать будто не в силах:

– Качкин, вашвысбродь, по-всякому может! И ничего не докажете.

И его решительное лицо не выражало виноватости.

Ноги огорячились, отмякли, отпадали.

*

* *

Все леса зашатались...

(из песни)

590

Стать обер-прокурором Святейшего Синода (и показать им всем!) – заносился в мечтах Владимир Львов, когда хаживал, после университета, вольнослушателем в Духовную Академию, – но, конечно, никаких реальных шансов не было у него никогда. Пламенное сердце его, не мирящееся с несправедливостью, клокотало ото всех гнусностей, которые вершились в церкви. Но всё влияние его было – членство, а потом председательство в думской комиссии по церковным делам.

И не ждал он в наступающем году сотрясательного хода событий. Однако у себя в имении в Бугурусланском уезде под этот Новый год с семьёю запели «Боже, царя храни», наливая в таз с водой смесь белого, синего и красного воска ёлочных свечей (жена считала всякое гадание противоцерковным, но под Новый год у них разрешалось), – и вдруг почему-то, необъяснимо, вся вода в тазу сразу окрасилась в красное. Вздрогнули такому предсказанию. Столько крови прольётся?

И вот – пронеслась огненным вихрем великая революция, и новое правительство нуждалось кого-то назначить обер-прокурором – а никого и близко не было, хоть чуть касавшегося церковных дел, – и все взоры обратились на Владимира Львова, приехавшего из Бугуруслана на думскую сессию, вознесло его вмиг и на обер-прокурорство, и в члены правительства, – он благодарил Провидение за такую судьбу.

Ехал ли он теперь в автомобиле или в поезде, отмахивал ли длинными ногами по залам Мариинского или по коридорам Синода, – он так и слушал, как внутренне в нём отстукивало, сердце в груди и кровяными волнами в висках: обер-прокурор-Святейшего-Синода!!!

Ну, теперь он расчистит это затхлое гнездо! Ну, теперь он пропишет всем идиотам и мерзавцам на митрополичьих и епископских местах!

Уже знал он, что в обществе стали его звать «русский Лютер», и ждали от него великого разгрома церковной рухляди, – и такая необузданность, ой, была в нём, ой, была! (Одна жена умела его сдерживать, но она осталась в Бугуруслане.)

Да, его принцип всегда был – взаимное невмешательство церкви и государства. Но этого надо было добиваться при царе. Это можно будет установить потом, при республике. А теперь, на первое время, надо переустроить Синод, излечить церковь от язв, от удушливой атмосферы, – а потом уже невмешательство.

Но в духе общих принципов революции, на первом же своём заседании Синода 4 марта Львов так и объявил духовным детям: отныне – Синоду полная свобода по делам церкви. Цезарепапизма больше в русской церкви не будет! И предложил тут же вынести из зала символически присутствующее царское кресло. Вынесли.

Сила положения Львова была в том, что все эти старцы полностью растерялись: не только не промямлили ничего в защиту царя, но распространяли отречение оглашением в церквях и поспешно снимали поминания царя из церковных служб. А ведь сколько могло бы быть конфуза и затора Временному правительству, если б иерархи упёрлись. Но Львов пригнул их властной рукою.

А первый, кого ему надо было вышибить, – митрополит петроградский Питирим, был в

дни революции даже временно арестован, перетруханный отпущен домой, в Синод не являлся, связи его с Распутиным были известны, – вышибить его не представляло труда. Уволили на покой!

И не спрося Синода, Львов телеграммой вызвал на митрополию в Петроград уфимского епископа Андрея Ухтомского – первейшего умницу, реформиста, который хотел устроить приходскую общественную жизнь, и чтобы сельские батюшки умоляли сельскую интеллигенцию помочь священникам приспособиться к новым революционным формам жизни. Пока же Андрей Ухтомский ехал – во временное управление петроградской кафедрой вступил скромненький гдовский Вениамин, в котором Львов не предвидел сопротивления.

Однако он переоценил свою победу над Синодом. Да был слишком занят на заседаниях правительства, тут решался вопрос ареста царя, царицы, смещения Николая Николаевича, – когда же через несколько дней Львов снова явился в заседание Синода, на этот раз вышибать митрополита московского Макария, – то неожиданно встретил дерзкий бунт иерархов. Синод не только отказался отставать Макария, но заявил, что желает воспользоваться благами объявленной свободы и отделения от государства и просит обер-прокурора не проявлять свою единоличную волю, а Синод решит сам!

Ах вот как?? 200 лет жили в дружбе с поработителями народа, были рабами бюрократии, 200 лет не вспоминали о свободе выбора, а когда революция им поднесла?... Что ж они не вспоминали о своей канонике раньше?

– Да неужели у вас такая дерзкая мысль, – загремел на них Львов, – что до Собора вы станете вершителями церковных судеб? Да вы сами не каноничны, император выбирал епископов из трёх кандидатов. Если вы такие совестливые – откажитесь сами от своих мест! В чём гарантия, что вы будете управлять церковью лучше, чем я, Львов? А разве моя власть не от Бога??

Зароптали иерархи, что Церковь никогда не переживала такого давления.

– Так переживёте! – предупредил их обер-прокурор.

Быстро же перехватили святые отцы методы революции! Львов дал волю своему гневу, – а он страшен был в гневе, знал, чёрные брови его метались, как рога у быка. Он быстро им объяснил, что сперва прометёт метлою дочиста, как требуется, – а лишь потом будет у них свободная церковь! Да он всех их разгонит, вот что!

Но иерархи не обратились в бегство, не полегли, а подали – да заранее подготовленное! – коллективное прошение об отставке. И даже самые тихие, как гдовский Вениамин и литовский Тихон, – оказались среди бунтарей, чего Львов никак не ожидал: они были – не заядлые, они были не распутицы, их никто и не трогал, – чего они?!

Однако тут обрывалось могущество Львова, это он сообразил. Коллективная отставка Синода в такие дни могла бы подорвать и Временное правительство, большую внесла бы сумятицу! Этого Львову не простили бы в самом правительстве: он же знал по тайным заседаниям, как у всех голову ломит, сколько задач.

И тогда он решил святых отцов перехитрить: смягчился, обещал подумать, – а их просил в отставку не подавать.

Он вот что задумал: ринуться в Москву, где как раз проявлялось и сплачивалось прогрессивное духовенство – протоиерей Цветков, священник Востоков, уже создали московский комитет действия духовенства, – ринуться к ним туда и общественно-церковной волной свалить Макария с той стороны.

Сказано – сделано! Перебудораженный, протелеграфировал, предупредил, в субботу выехал в первопрестольную, а в воскресенье, вчера – уже проводил собрание прогрессивного духовенства в покоях епископа Можайского Дмитрия, тут были и из мирян известные Кузнецов, Новосёлов, Громогласов, – тут Львов был как бы вполне среди своих, прогрессивной понимающей общественности, и мог говорить откровенно: что призывает их поддержать его в борьбе с Синодом и доказать, что вся полнота власти – в руках Временного правительства. Сам же он от своей твёрдой позиции не отступится ни за что! А также просил их помочь подыскать вместо престарелого безвольного Макария кандидатуру нового

митрополита, который будет уставлен не назначением, но избранием, ладно. Уж тут-то ожидал Львов дружности и сплочённости – но епископ дмитровский зачем-то привёз на совещание бывшего епископа владикавказского, уже на покое, проживающего у него в доме. И этот владикавказский внёс не то что диссонанс, но просто сильно расстроил собрание: он с упорством выступил, что прокурорская власть не должна мешаться в дела церковного управления (с каких это пор они такие стойкие стали?), – и даже резко обвинил, что Львов в Петрограде явился в покои митрополита Макария с вооружённой командой, офицером и солдатами, для ареста митрополита.

– Клевета! – закричал Львов. – Клевета!

Однако единство собрания было сильно испорчено.

Всё же постановили: просить Макария покинуть митрополитство.

Но у Львова не осталось ощущения, что он взял верх: просить покинуть – это не то, что прямо отставить.

Нелегко ему было нести духовную власть!

Сегодня весь день в Москве он провёл активно. Побывал в синодальном училище, но это больше для формы, как положено ему по службе, а по душе – кинулся в учреждения чисто гражданские, ища прилива сил. Сперва поехал к комиссару Москвы Кишкину, жаловался на противодействие синодских иерархов и просил помощи комиссара. Кишкин мялся, повёл его в Комитет общественных организаций: тут были люди решительные, овеванные революционным духом, и дружно постановили: поручить обер-прокурору принять меры к немедленному увольнению Макария на покой.

После того ещё успел Львов на заседание городской думы. Он вошёл во время речи – но заметно, и гласные приветствовали его дружными аплодисментами. А Львов – приветствовал их от имени Временного правительства, облечённого всей полнотою власти. Тогда городской голова Челноков просил передать правительству, что Москва, с восторгом принявшая перемену образа правления, ему верит и будет поддерживать во всех начинаниях. Тогда Львов выступил второй раз, уже не официально, а сердечно. Заявил он думцам: что поскольку православие – важная отрасль государственной жизни, а Москва – центр православия, то просит он городское самоуправление оказать содействие в деле очищения духовенства от тех элементов, тех плевел, тех тёмных сил, которые своим прислужничеством старому режиму позорили церковь, – а сегодня вставляют палки в колёса реформ.

– Но я – не такой человек, – гремел он, предупреждал и врагов дальних, – у кого опускаются руки! И те палки, которые вставляют мне в колёса, – я обращаю против них же самих!

Рукоплескали.

Сильно подбодренный общественностью, после обеда в ресторане Львов поехал на частную квартиру, куда приглашены были видные миряне-реформисты – опять же Кузнецов, Новосёлов и сам Евгений Трубецкой. Обсуждали с ними реформы, создали комитет для подготовки Предсоборного совещания.

И наконец, уже вечером, собрали в епархиальном доме весь московский церковный актив: по обстоятельствам революции и настроению времени только свои, активные, и приходили, а реакционные сидели дома. Председательствующий Цветков благодарил обер-прокурора за его заботу о нуждах церкви и духовенства.

И Львов, растроганный, сказал: сердце его исполнено глубокой радости от такого многочисленного собрания. Он – считает своим долгом отстаивать в Синоде права церкви, духовенства и мирян. Он – просит позволения быть истинным выразителем их нужд перед Синодом.

Аплодировали дружно, и выразили полное позволение и доверие.

Постановили: послать к Макарию депутацию и требовать, чтоб он отказался. Провести в епархии сплошь выборное начало, а на 6-й неделе поста, – сегодня начиналась 5-я, – выбрать и митрополита. Настолько ясно было, что Макарию теперь не устоять.

Таким образом, Львов мог торжествовать: своей московской поездкой он хорошо

подкопался под Макария московского, пока он там в Петрограде в Синоде сидит «первоприсутствующим». А теперь – закрыть зимнюю сессию Синода – и до-после-Пасхи!

Ещё принесли ему из Троицкого посада, из Духовной академии, что студенты там недовольны академическим начальством. Львов оживился: поддержать! – и назначил туда ревизию.

Но тем временем запускалось дело в Петрограде. Гнать туда! Прочёл он в газетах, что у Андрея Ухтомского, видно, лопнуло терпение ожидать митрополитства – и он поехал на фронт, агитировать за войну.

Да, в Петрограде как раз было проще: не выбирать бы митрополита, а назначить уже подготовленного. Но нельзя было придумать, как же теперь отступить от выборного принципа, республиканская идея.

И она должна разлиться на всё Мироздание.

*К дням минувшим нет возврата!
Русь царизма миновав,
К светлым вольностям заката
Паровоз летит стремглав.
(«Русская воля»)*

591

Стал говорить ей «ты».

Сколько близости в этом слове! – голова кружится. Сама с собой потом перебирает: ты, тебя, тебе...

Состояние, до того полное чудес, что страшно вообразить это потерянным.

И: удержать! удержать! удержать!

Говорят в городе: немцы идут на Петербург, уже взяли Ригу, Двинск. Всё это – бледной тенью, второстепенно.

Возобновились спектакли в театрах – не шла и не думала: с ним – нельзя, а без него – зачем?

Боже, как изменилась, как трудно это скрыть, все замечают, спрашивают. А в руки себя взять, притвориться – даже не хочется, от счастья. Разве руками лицо закрыть? – так ещё ясней.

Пока он здесь – глаза не пригаснут. Хотя каждый день теперь: а не последний раз?

В Нижний сейчас не поедет – будет какой-то у них съезд в Москве. Но если бы и в Нижний – к жене несколько ревности, да по какому праву?

А только: послезавтра? – слишком нескоро! завтра? – нескоро! Хочу – ещё сегодня! И сегодня – тоже чтобы скорей! Сколько обнимая – а хочется ещё! И кажется: ещё бы один раз только!

Он полюбил, как она читает ему стихи. И сколько уже прочла.

... Ты знаешь, я люблю горячими руками

Касаться золота, когда оно мое...

А только: пить – не напиться, быть – не набить.

А... если у меня **будет** ?...

Ответил: у **нас** .

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ МАРТА

Генерал-майор Савицкий, начальник пехотной дивизии, ещё вчера получил распоряжение из корпуса: дивизию посетят два члена Государственной Думы, они выступят с речами, устроить обширный сбор представителей всех частей.

Офицеры дивизии взволновались: государственные люди и прямо из Петрограда! В томительный клин одиночества, где офицеры казались покинутыми, входили светлые фигуры поддержки. В сегодняшней обстановке это было едва ли меньше, чем раньше бы – приезд Государя.

Устроить солдатский сбор ото всех частей, также и с передовой линии, и не помалу, тысячи на полторы, оказалась задача не простая, но штабные охотно хлопотали, то и дело перенимая телефонные трубки. За селом поспешно сбивали возвышение для речей. Убедили Савицкого, что трибуну надо обтянуть красной бязью, что все теперь так делают, иначе это даже вызов или неприличие.

Всё для всех было необычно, а уж солдатам тем более: собраться не на парад и без винтовок, и не приказ выслушать, а на какое-то говорение с посторонними – и начальство не запрещает. Отовсюду, месяц рыхлый снег, сходились к назначенному часу. Их ставили в карре вокруг трибуны, но и строимые и строящие чувствовали себя не в обычае, и строй только что не растекался в круглую толпу.

У солдат кое-кого были красные лоскуты на шинелях. У двух-трёх офицеров – тоже бантики, небольшие.

Стояло оттепельно, светлеющая пасмурь: облачный заклад расходился к тонкому – а так и не открылось.

Невысокий Савицкий, туго накрест перепоясанный, при шашке, с коротко подхваченной бородкой, в шестьдесят лет – офицер-молодец на сорок, расхаживал хмурый, с поджатыми губами, не к празднику.

Ждали депутатов на автомобиле – те всё не ехали, и время текло, что-то по дороге случилось, – а приехали на час позже в выездных глубоких санях, запряжённых тройкою крупных артиллерийских лошадей – и в гривы всем трём были вплетены красные ленточки.

Из саней первый выскочил какой-то проворный штабс-капитан с непомерным красным бантом в четверть груди, да не красным, а невыносимо алым, – и стал подавать руки вылезавшим депутатам, но тут подоспели и другие помочь.

У одного депутата – высокого, остроусого и с острою вскидкой, бант на шубе был поменьше, среднего размера. А у другого – приземистого, доброго вида с курчавой бородкой, – совсем небольшой, и скорей не красный, а бордовый, чуть ли не бархатный. А больше ничего в депутатах революционного не было, оба, видно, из барской породы, и в шубах таких же и шапки дорогого меха. И шагали важным шагом как бы по петербургскому тротуару и неловко взбирались туда, на помост, подсаживаемые.

За ними поднялся сухой подвижный Савицкий. И взлетел туда же штабс-капитан с большим бантом. И этот штабс-капитан, ещё вчера императорской службы, вдруг звонко и как бы очень привычно закричал над солдатской толпой:

– То-ва-ри-щи!...

Первым начал речь депутат с курчавой бородкой, Демидов. Он снял шапку, и волосы его оказались тоже в домашне-уютной причёске. И когда чуть улыбался – то это добро получалось и успокаивало в намерениях революции. И говорок у него был приятный барский, хотя голос простуженный или перетруженный.

Напомнил об отречении Государя – но безо всякой революционной ярости, а скорей как неизъяснимый ход Божьих событий, которому все мы подчинены. Вся армия и вся страна приняла весть о перевороте с восторгом, говорил он, но и восторг звучал не как уносящий сердце, а всё из того же фатального ряда, с которым не поспоришь. Новое правительство

призвано проявить мощь России во всём блеске – и не того же ли самого хотим и мы, солдаты? Так надо беспрекословно подчиняться Временному правительству, с глубокой верой в него и в Государственную Думу.

Солдатские лица с большим вниманием и удивлением смотрели туда, вверх.

Честь обновлённой России – нам дороже всего, журчал депутат. Мы победили врага внутреннего – а теперь давайте победим врага внешнего. Победа нам нужна, как хлеб насущный, как воздух. Без победы невозможно торжество свободы. Народ для того и сделал революцию, чтобы лучше вести войну. Патриотический клик «всё для победы» нашёл горячий отклик в сынах свободной России. Наш солдат готов принести свои силы на алтарь свободы и родины.

Из-под папах всё так же смотрели наверх как на диво невиданное – и молодые лица необработанные и бородатые устоявшиеся. Выражение было: что-то явилось высшее, сверху, оно знает!

А если победы не будет – то немцы унижат нас, и мы не сможем заняться нашими преобразованиями. За недовоёванную войну на нас ляжет проклятие потомства. Если враг сейчас победит – мы не расплатимся и внуками, и нас превратят в рабов. Наш долг перед нашими матерями, жёнами, сестрами и детьми – оберечь их от нашествия лютых иноплеменников. Неужели мы подарим злодею Вильгельму нашу святую родину, теперь освобождённую?

Про Вильгельма-то было всего понятнее.

Без разгрома проклятого германского гнезда не может быть никому свободы в Европе. И не можем мы не иметь ключа от собственного амбара: нам необходимы Босфор и Дарданеллы. Пусть не останутся бесплодными наши жертвы двух с половиной лет войны. Забыть ли наши могилы в Польше и Галиции? Теперь враг притаился и ждёт, не ослабит ли наша мощь, и тогда он бросится на нас в напоре отчаянья. Но трепет и ужас охватит немца, австрийца, турка, когда они увидят, что мы от революции не ослабли, а окрепли! А наши верные благородные союзники, которые всегда верили не старому правительству, а русскому народу... Солдаты! Не пожалеем наших сил и жизней! не посрамим земли русской!

Гладко у него выходило. Тем ли польщённые, что их вызвали слушать таких важных господ, солдаты слушали беззвучно, бездвижно, кто и рты полураскрыв.

А тут-то депутат и скажи самое главное, не упустил. Что войско без дисциплины немцам не страшно. Кто сеет раздор между солдатами и офицерами – тот губит свободу. Смута между нами была бы для врага радостью. Русский солдат должен с негодованием отвернуться от лукавых голосов, призывающих его не слушаться своих прямых начальников. Наши офицеры дали клятву быть с нами заодно – так подчиняйтесь им! Только старый строй мешал офицеру и солдату объединяться. У офицера – специальное военное образование, он прошёл все степени службы, знает дело. Во всех армиях мира есть офицеры. Без офицеров вы сами перестанете быть солдатами.

– Каждый из вас теперь – не обезличенный и забитый нижний чин, а сознательный воин, гордый своим званием. А вне строя – свободный гражданин, получивший возможность... Но это не значит, что вы не должны уважать офицеров. Офицеры и солдаты – одно целое, они вместе проливали кровь.

Поняли, что конец, и солдаты крикнули своё «ура». Кто-то папаху бросил в воздух – побросали и другие.

Впрочем, хотя «ура» звучало дружно – опытное ухо Савицкого отличило, что кричала ещё четвёртая ли часть.

– Сложим наши головы за родину! – ещё нашёл голос прокричать депутат, – и доплеском «ура» солдаты обещали сложить.

Добродушный Демидов надел свою круглую шапку – высокий же остроусый Тройский снял свой пирожок, обнажая гордую причёску назад, – и настороженно поглядывал. Голос его оказался острее, дерзее, взысчивей, – и держался он как летел в облаках.

– Товарищи! Мы приехали к вам от нашей славной Государственной Думы,

решившейся свергнуть жалкого деспота Николая, сорвать вековечные оковы царского самодержавия. Совершилось великое чудо возрождения нашей родины. Русский народ, как могучий богатырь, стряхнул иго царизма – и пришла свободная демократия. Глаза всего мира обращены теперь на нас! Перед всеми нами теперь – широкое и светлое будущее, если мы соединимся с Временным правительством. До сих пор русский народ не мог строить своей жизни по пути благосостояния. Царь собирал деньги с голодного мужика на содержание своих дворцов. Армия не могла побеждать врага, а только жертвовала лучшими своими сыновьями. Вы, сидевшие в холодных окопах! Вы теперь не забыты! Нынешнее правительство смотрит на вас как на дорогих детей. Поверим же всей душой нашим народным избранникам! Мы устранили тех изменников, кто мешал нам побеждать. А кто теперь не подчиняется законному правительству – тот помогает врагу.

Иногда он резко-вскидчиво смотрел правей, левой, как бы увидеть, нет ли мятежа или возражения. Но стояли всё так же хорошо, не качались головы, не кривились притерпевшиеся лица, – и депутат продолжал лететь.

– Среди нас нет сторонников войны как таковой. Но победа Германии была бы торжеством дома Романовых. Как только Гинденбург распакует чемоданы в Смоленске – из них выйдет Николай II.

Впрочем, ни Гинденбурга, ни даже что такое чемодан – половина солдат не знала, «чемодан»- это тяжёлый снаряд.

– Произошло то, чего Германия боялась больше всего: русский народ свободен! Но защита завоёванной нашей свободы, за которую мы заплатили страданиями десятилетий, должна быть теперь доведена до логического конца, чтобы были открыты пути прогресса. У Гогенцоллерна только одна цель: потопить нашу революцию в крови. Протянем же руку республиканскому народу Франции! Наш уход из коалиции подорвал бы её силы. Горе тем, кто решается баламутить Россию! В домашних счётах мы разберёмся потом. А теперь сольём наши действия с товарищами офицерами, ныне такими же гражданами, как и вы. На ваши славные суворовские штыки наколите красные знаки революции – ворвитесь в немецкие окопы и водрузите там эти знаки свободы! Петроград дал России свободу – а вы дадите ей победу! Ура-а!

И с тревожным видом протягивал тревожные руки, одну с меховым пирожком, вонзаясь в небо.

С тем же равным усердием покричали «ура» и этому.

Тут высунулся вперёд штабс-капитан с нестерпимо алым бантом:

– Да вы – спрашивайте, товарищи! Вы не стесняйтесь, спрашивайте!

Стеснялись.

– Да вы – спрашивайте!

И тогда какой-то немолодой озабоченный солдат спросил дребезжащим голосом:

– А прибавка жалованья – нижним чинам будет?

Второй депутат ответил витиевато, но больше в том смысле, что – будет.

– А вот, – пробасил тогда приземистый бородач. – Мы слышали: теперь кресты и медали будут отымать? Так мы не поддадимся!

– Что вы, что вы, – радушно раскинул руки первый депутат, – кто же осмелится тронуть ваши боевые награды!

А стоял на трибуне ещё ни слова не сказавший начальник дивизии. Отвращенье ему было говорить – с этой красной трибуны, своим безоружным солдатам, смявшимся в толпу, да и что скажешь, ведь чёрт не надумает.

Только теперь по захолоному молчанию можно было сравнить, насколько при депутатах шептались. Савицкому не досталось кричать, он говорил даже как бы тихо:

– Родина наша сейчас, ребята, – в очень тяжёлом положении. Какого никогда не переживала. Враг занял много городов и деревень – и мечтает продвигаться дальше. А у нас – смута. Радоваться рано. Некоторые чины поняли происшедшие перемены в том смысле, что теперь упразднены воинские уставы и уважение к офицерам. Но без дисциплины не

может быть победы. Помолимся Богу, чтоб он послал нам... честно выполнить свой долг.

«Ура» он не крикнул – и ему, стало быть, не крикнули.

И на том бы, может, и кончилось спокойно – если б, видно, не было уговорено и подготовлено: по знаку ли штабс-капитана – с десяток рьяных подбежало к трибуне и тянулись принять депутатов на руки. За ними тогда и ещё полсотни подбежало, уже из озорства. И депутаты отдались, привычно, как упали, в этот ручной подхват. Подхватили их вряд ли уж так ловко – под спину, под мышки, под коленки, – и, раскачав, кидали вверх с веселеющим воем. Иногда взбрыкивала нога, рука, иногда отставала.

КАБЫ БАСНИ ХЛЕБАТЬ – ВСЕ БЫ СЫТЫ БЫЛИ

593

Никогда Саня и не знал, что у подполковника Бойе есть сын, лейтенант Балтийского флота. А сейчас узнал от полковникова денщика, да сразу: что лейтенанта этого застрелили матросы в первые дни мятежа в Гельсингфорсе, но сперва и неизвестно было, а потом – узналось. И оттого-то подполковник уехал – искать тело.

Как чуяло его сердце! – то-то он был такой сотрясанный.

Вот уже не первой зримой потерей касалась их маленькой батарееи далекая петербургская революция.

Сегодня не было офицерских занятий с противоштурмовым оружием, и Саня пошёл на наблюдательный – передний, к Торчицким высоткам, а боковой они уже сняли по теперешнему покою. Пошёл в шинели, не в бурке, полегче. Сперва, как обычно, Дряговцом, потом полем. День был светлый, но в сплошных облаках. Сколькo раз он этой дорогой ходил, как домашней изродной тропой, и гадал: каково придётся с этим местом расстаться? Три пути он видел: или убьют-ранят, или вперёд пойдём, или не дай Бог ещё отступим. Ну, и четвёртый путь – бригаду перебросят. А вот наступил неизведанный пятый: как будто и на том месте, а всё уже не то.

Вот и ход сообщения. Чуть отпала опасность – и стал казаться едва ли не игрой. Часть пути прошёл поверху, потом соскочил, в слякотцу.

В блиндаже оказался один Дубровин: телефониста отослав или отпустив, себе навесил верёвочную петлю на голову, трубку к уху, и сидел на чурбаке, а не без дела: читал, и в который раз, затрёпанные «Правила стрельбы». Такого же, как Саня, крестьянского происхождения, и способный, а вот не получил образования и незаслуженно низко был поставлен.

Дубровин лишь чуть приподнялся от чурбака – неизбежным движением, обоим понятным и обоим лишним.

Подпоручик снял, накинул на гвоздь полевую сумку. И подошёл к стереотрубе, хотя ничего не предполагал увидеть. Как стали говорить наблюдатели – «пусто, одиноко сонное село».

Но Дубровин от своего чурбака внимательно ждал возврата из трубы поручиковых глаз:

– Ничего?

– А что?

– Да... может, проява будет сейчас.

– Какая проява?

Дубровинская усмешка углом губ, хорошо видная на его чистом лице, даже и она была всегда серьёзная, не смешливая.

– Да... – осторожно, нехотя, – скоро увидим. Или не будет ничего.

– А что, всё-таки?

Не спешил сказать. А – другое, пока ли никого не было:

– Ваше благородие, у меня до вас просьба есть.

С неуходящей серьёзностью паренька, рано ставшего головой своей семьи, матери и сестёр.

– Говори-говори, – поощрил подпоручик, для этого фейерверкера ничего доступного было не жаль. (Что срывался на «ты» – сам не замечал.)

– Защитите меня, как-нибудь, ваше благородие, помогите мне в комитет не попасть.

– В комитет?

– Да вот, будут в батарее выбирать. Ребята, бают, меня хотят. А я – не хочу.

– А почему?

Тем же осторожным складом губ:

– Да ведь это всё брехня, языками молоть. Я не люблю. Это не к делу.

– Не к делу... – думал вслух подпоручик. – А как я могу тебя отвести? Разве офицера послушают?

– Вас – послушают, – уверен был Дубровин. – Скажите, мол: никак из разведки отпустить нельзя. Или что-нибудь.

– Не к делу-то не к делу... Но если комитеты всё равно будут – так лучше пошли б туда деловые, как ты, и поднаправили. Очень возможно, что теперь комитеты будут повлиятельней начальства. Так надо, чтоб умные туда и шли. Иди, Володя.

Дубровин вздохнул, темноватый. Тянуть поклажу – он и привык.

– Я – и так думал. Но тогда уж всех деловых собрать. И тогда, разрешите, я вас предложу.

– А я-то при чём? Комитет солдатский.

– А один офицер должен быть, так уставляют. Уже говорили ребята: хотят вас. Вы только не отказывайтесь, и выберут.

– Так офицеров – наверно офицеры должны выбирать?

Дубровин смотрел умным спокойным взглядом:

– Это теперь – не великое дело. Без солдатской благодарности теперь с нами много не наработаешь.

Сидели оба на чурбаках, близко.

– Об офицерах – много теперь толкуют в пехоте, – размеренно взвешивал Дубровин. – Раньше хоть говори, хоть не говори, а теперь... Помнят офицерам всё, что только было, аж от самого начала. Вспоминают одного командира роты, как он в Восточной Пруссии револьвером отогнал роту от колодца, никому пить не дал, – один отпил, отравленной, и умер... Вспоминают каждый случай. Отступали в 15-м году, и вот офицер, легко раненный, посадил вместо себя на телегу солдата притомлённого... Вчера во 2-м батальоне выбирали комитет, встал солдат и про одного поручика говорит: «Сидели мы под Ломжей в малом окопчике, целый день не выйти, не высунуться. А у *них* была одна только папироса. Так половину выкурили, а половину мне дали. Вот такого офицера нам и надо в комитет»...

У Сани отеплились глаза.

А верно! А – так! Вот это и есть главное! Недаром всё офицерское, воспитываемое в училище, воспринимается сердцем противно. Надо и быть – братом. От одних осколков умираем – почему же не быть братьями?

О, настроение солдат – загадочное и мудрое, и ещё может вылиться в какое хорошее!

– Да пожалуй – и пойду, Володя. Если меня захотят – пойду.

– Хотя-ат, уже говорили!

Какой-то странный гулок донёсся сквозь щель. Дубровин первый оборотил голову, снял трубку с головы – и шагнул к стереотрубе.

– Н-ну! – вырвалось у него. – Вот и чудо! Смотрите, ваше благородие! Или вы в бинокль?

Вскинуть, приладить бинокль – тоже пять секунд. Теперь смотрели оба в четыре вооружённых глаза и видели с равной подробностью.

У главной полосы немецкого проволочного ограждения шевелилась – но не бежала в атаку, а стояла! – полоса наших солдат, спинами сюда, лицом к немцу! И все – безоружные.

Сразу нельзя было схватить, понять: достигли главной полосы – и без боя? – и никакого боя?

Да позвольте, там и немецкие каски – с десятков, меньше гораздо, чем наших шапок, наших полсотни. Но каски – по ту сторону проволочных рядов, однако тоже пробрались через оттяжки, через перепуты – и тоже к главной линии.

Как странно было ловить небегающие немецкие лица в бинокль – чужие усы, брови, чужие выражения, чужие шинели – а не пленные! и не в штыковой встрече! Просто – что?...

Они – **беседовали** ! Взявшись за проволочные оплётки руками, как соседи берутся за пряслины забора, – они разговаривали!

Все раскинутые ежи, все колючие рогатки – всё как не бывало!

Немцы – впроредь, а наших куда больше и сбиваются в кучки, чтобы ближе видеть и слышать.

Третий год сматривал подпоручик Лаженицын в трубу – но такого!...

Много жестов, размахиваний – от возбуждения и безъязычия. Слитный гул повышенных голосов доносился по-над землёй сюда.

Друг у друга закуривают. Смеются. Те протягивают нашим сигареты. Наши делают им скрутки, из кисетов.

Смеются! Как никогда бы друг с другом не воевали!

Смеются! Лупятся, разглядывают. А – какая у них друг на друга злоба?

Вдруг – побежали! Но только несколько: наших несколько – сюда, назад.

И в спину их – не сечёт немецкий пулемёт!

А немцев двое – к себе в окопы, там близко, на самом Торчицком гребне.

Остальные – по-прежнему у проволоки – стоят, лупятся. Объясняются руками и голосом. Удивляются.

Больше всего удивительны – именно эти удивлённые лица. Сколько воевали – а так близко не видели. Сколько воевали – а ещё вот как можно?...

Нет! Самое удивительное – видеть таинственный, загадочный, полуболотистый, изрытый, изорванный взём к Торчицким высоткам, всеми разглаженный ненавистно до комка, – безжизненный кусок земли, проклятый людьми и Богом, кажется навсегда изъятый из человеческого обращения, эти полтора саженей медленного подъёма, которые круче альпийских отрогов, никто живой не может их преодолеть, только с адовым рыгающим огнём и грохотом может пройти их железная сила! – а вот живые люди просто топчутся на ней и смеются, просто бегут по ней сюда и обратно.

С чем это они бегут?

С кусками хлеба.

Не помещается в сознании: ничейная полоса, на которой не может быть ничего живого, – живёт! Прибежище смерти ожило как базарная толкучка.

Именно! – это и есть базарчик: наши бегут, протянувши ломти чёрного хлеба вперёд, как доказательство мира, – не стреляйте! мы несём вам Божьего хлеба!

Бегут – снизу вверх, на всклон, и оттого кажется, будто вытянутыми руками наши просят немцев: не отказаться! принять!

А немцы тоже вернулись: одна бутылка, один флакончик – спиртное?

И уже у проволоки протягивают, меняют Божий дар на дьяволов, не сосчитываясь, что по чём, – и счастливчики из наших по очереди из горлышка тут же пьют доверчиво, передают следующему. (Как будто не было тех отравленных колодцев в Пруссии.)

Боже мой! Что же осталось от войны? В несколько минут смыло всю неискоренимую

войну, всю условность условной ничейной запретной непреходимой полосы.

И – хорошо!

А теперь – что ж и воевать? Как воевать? Зачем?

И – хорошо!

Только тут сообразил:

– Так ты знал?

Дубровин – гулком:

– Знал. Уже два дня как сговаривались. Немцы звали: приходите, ничего дурного не будет. Смелые и вчера уже поодиночке ходили встречаться.

– Так подожди, – начинал соображать подпоручик. – Немцы – первые позвали? Через плакат, что ли?

Тут к нему и заползло: одинаков ли результат такой встречи? Наши после этого – воевать не будут, а немцы? Отлично будут и дальше стоять. И – почему их настолько меньше? И почему *их* начальство, хоть революции у них нет, легко на это всё смотрит, отпускает?

Да уж – не приказывают ли им так? Наше-то пехотное начальство не мешает потому, что не смеет. Кто же сейчас посмеет? И чья винтовка подыметесь бить в эти спины?

Да! Да! – только тут вспомнил подпоручик: ведь существует давнишний приказ. Когда-то где-то были подобные случаи, и офицерам артиллерии объявляли под расписку приказ: дежурный артиллерийский офицер, увидев такое, обязан открыть предупредительный огонь шрапнелью – без согласования со своим командованием или с пехотным, немедленно.

А он?...

Вспомнил – смотрел в бинокль – и не шевелился.

Конечно, его батарейцы не откажутся, они не знают цели, – скомандовать им только прицел и трубку.

Но! – сам перед собой он не в состоянии был такой приказ отдать! Он даже и не задумался серьёзно. Даже если бы – высоко или в сторону, никого б и не рая.

Для проверки, отняв бинокль, посмотрел на Дубровина.

Тот не отрывался от стереотрубы. Спокойное, мужественное, юное, бронзоватое лицо его было гладко, без морщинки. Смотрел, как смотрят на явления природы. С уважением.

И назвал это – чудом.

Чудо и есть.

Двое немцев пролезли между нитками колючки – наружу, к нашим. И с одним из них один из наших схватился бороться. Покачивались, уже сваяв каску и шапку, потом и сами покатались по земле – а все остальные руками взмахивали и кричали.

Всплеск хохота и крик донёсся сюда.

Посмотрели с Дубровиным друг на друга. Дубровин тоже улыбался – своею редкой, сдержанной улыбкой.

И что, правда, нам оспаривать эту изрытую землю – разве земли не хватит всем?

И как после этого ещё воевать *до конца* ? – куда ж ещё концеватей?...

Что-то беленькое замелькало в руках у наших.

Бумажки.

Раздавали немцы – какую-то прокламацию?

Почти всего лишь за одни сутки сотрясена была революционная столица двумя ошеломляющими сшибающими новостями. Сперва как огонь распространился слух, что сданы Рига и Двинск, и немцы многими дивизиями валят на Петроград! (Этого и надо было ждать! Беспечность последних недель только и могла к этому привести!) Но не только не успели дожидаться следующих газет, ни допроситься о новых телеграммах, не успели как

следует перезвониться, переполошиться и решить – как же быть с эвакуацией государственных учреждений? – как разразился новый слух: что наши войска широко прорвали Западный фронт и с боями гонят немцев! (Этого и надо было ждать! Освобождённая революцией энергия должна была разрядиться!) Да не слух – а совершенно реальная телеграмма была разослана во много адресов, только нельзя было докопаться, откуда же первично она подана и кем: телеграмма о победе и чтобы отовсюду слали на Западный фронт порожние составы для приёма раненых.

Вот и верь, чему хочешь. Каково попадать на такие качели, сердце не выдержит. Каково – и всякому, но особенно – Первому лицу России, Председателю Государственной Думы!

Нет, он не должен так себя допускать, так ставить себя в оттиснутое положение. Давно ли – незабываемые дни – он был главный голос Петрограда, обращённый к неразумному Государю или к главнокомандующим. Давно ли всё правительство зависело от его ночных телеграфных переговоров – и отчего же он сам сложил с себя эту задачу? Да главнокомандующие рады будут сообщить ему в первые уши. Да особенно Рузский, с которым и были решающие разговоры. Рузский и сейчас, принявши фронтом присягу, не обошёл Председателя своим донесением.

И Михаил Владимирович сегодня с утра взял автомобиль и решительно поехал в Главный штаб. Несколько волновался, боялся унижения: вдруг штабисты не допустят его до прямого провода? в нынешних условиях всё возможно. Но штабисты оказались почтительны, предупредительны – и разговор с Рузским ему быстро устроили.

И в той же самой аппаратной, где 12 дней назад, удерживая крупную голову свою над волнами сна и бессонья, Родзянко вытягивал судьбу России, – теперь в спокойном деловом дне он говорил телеграфисту, что печатать, и опять тянулась лента от того же невидимого главнокомандующего.

Того же, и Родзянко тот же, – а не было прежней взволнованности и передвигания глыб. Ну как дела? На Северном фронте всё благополучно, настроение армии прекрасное. А были какие-нибудь передвижения? Нет, никаких решающих операций, только обычная разведка. Но, может быть, какие-нибудь успехи, по соседству? Нет-нет, все подобные слухи неверны.

О чём бы ещё?... У двух значительных собеседников – значительный разговор, однако, не получался. Рассказывать о Петрограде? Тоже было нечего, да и не к чему. Не было такой живой проблемы, которую бы обсуждать.

И Родзянко вскоре окончил разговор. С горьким осадком. Куда испарились те горы, которыми он так легко двигал недавно? (Он даже хотел бы сейчас нового великого сотрясения.)

Что ему теперь доставалось? Конечно, не прекращался поток приветственных телеграмм со всей России (уже пришло их 14 тысяч, подсчитано, – но он уже успевал их все прочитывать и даже все предыдущие прочёл). Даже от Художественного театра – лестно восторженная. Более значительным приходилось и отвечать. К Родзянко же тянулись и разные надежды, просьбы: просили его, например, отменить смертную казнь также и по воинским преступлениям. (Полагая, что это – в его руках. Впрочем, и по гражданским преступлениям правительство что-то затягивало.) То делегация петроградских коммерческих банков подносила Председателю чек на миллион долларов – на нужды революции, по его усмотрению. Конечно, деньги были, средства были, оставалась у Председателя немалая сила, – но как её применить? Таяли ряды сподвижников и помощников. Например, остались без дела все чины бывшей охраны Таврического дворца (охраняемого теперь нарядами воинских частей), обратились к Родзянко. Жаль их, былая слава Таврического. А приходилось: отправить в войска на общем основании.

Ещё стали – приезжать делегации с фронта. Вначале очень интересные, теперь они уже становились пожалуй и утомительны. Уже не мог их всех принять Председатель, поручал близким членам Думы – Шидловскому, Мансыреву. Но нельзя было те делегации и

упустить: в залах Таврического их перехватывали агенты Совета рабочих депутатов и тянули к себе, обрабатывать по-своему.

Как раз и сегодня, не успел Родзянко вернуться из Главного штаба, ему доложили, что приехала с фронта делегация моторно-пontonного батальона. Техническая часть, им нужно внимание, вышел сам. Прапорщик, унтер поляк, да тройка солдат, один говорливый ефрейтор, он и говорит за всех: посланы для выражения наших глубоких чувств Временному Правительству! (Все так понимали, что Временное правительство – это Таврический дворец, только сюда и ехали.) Но приехав в Петроград, слышим тут призывы к заключению преждевременного мира, к сдаче на милость Германии.

Ах, молодцы, вот тебе и моторно-пontonный.

– Да, вот такую мерзость изрекают некоторые...

Слышим призывы к неповиновению Временному Правительству? Какие-то самостоятельные выступления Совета рабочих депутатов? Это приближает Петроград к состоянию анархии.

(Ну, анархии – это преувеличено.)

Мы – полностью поддерживаем Временное Правительство до победоносного конца!

– Молодцы, ребята, так и надо! Вполне разделяю ваши взгляды. Прошу вас и дальше быть верными Временному правительству.

Бескорыстно, без всякой задней мысли и колебания, щедро подкреплял Родзянко Временное правительство, – увы, не получая от него взаимности.

А дальше на сегодня назначено было – совещание членов Думы. Это, пожалуй, было главное в деятельности Председателя: вопреки выветривающим революционным процессам, расползанию, растерянности – любой ценою стягивать, сохранять остатки Государственной Думы. Невозможно было, увы, собрать ни одного пленарного заседания, – но собирать столько членов, сколько возможно (иногда и сам звонил отдельным, уговаривая не negliжировать). И сами заседания делать сколь возможно интересными и важными.

Не удавалось уговорить никого из министров прийти сделать хоть коротенькое сообщение – и так хоть на четверть часа создать впечатление прежней Государственной Думы! Но сегодня очень повезло: Родзянко уговорил двух полуминистров – государственного контролёра Годнева и воротившегося из Финляндии, уже не «министра по делам Финляндии», такой должности не будет, но своего исконного блестящего Родичева.

И в библиотеке, соберя около тридцати пяти депутатов, Родзянко сдержанно сиял от удачи заседания.

Как в былое время, всё тот же нудноватый Годнев, методическим голосом и не опасаясь утечки времени, излагал меры и меры контроля, приводил цифры. Совсем как отчёт в парламенте.

И как в былое время, всё тот же Родичев, который никогда не готовился к речам и никогда же не мог говорить сдержанно, снова со своим остротёклым задором и с риторическими фейерверками, не стесняясь малочисленностью аудитории, волновал членов Думы большими успехами политики нового правительства в Финляндии: русский народ заглаживает свою вину перед финским, и от финских деятелей получены заверения, что если в будущем эта политика не испортится, то мы будем прощены.

Наконец, завершая торжественно-официальную часть, и сам Родзянко мог же доложить – и доложил: о взаимоотношении Временного Комитета Государственной Думы и Временного правительства. Что (глотаю обиды и острые углы) между ними полная солидарность. (А иначе и странно бы, почему Председатель не осадит их.) Временное правительство со своей стороны отдаёт себе полный отчёт, что до созыва Учредительного Собрания – выразительницей мнения всей страны является Дума. Вот, они, собравшиеся тут.

Отчасти и Родзянко сам уже перенёсся сердцем от своей любимой, но ослабевшей Думы – ко временам Учредительного Собрания.

Постановили издавать «Известия Временного Комитета», дабы страна могла следить за деятельностью своих парламентариев.

В перерыве министры ушли, без них депутаты занялись самими собой.

Неутомимый отец Филоненко, Ефремов и другие, уже вернувшиеся с Северного фронта, ярко, интересно делились впечатлениями от фронтовой поездки. Вся армия настроена бодро, все воины сознают необходимость дальнейшей упорной борьбы с врагом. Видели «настоящие революционные полки с полнейшей дисциплиной». Все понимают, что надо её соблюдать не за страх, а за совесть, и надо победить. Каждый депутат произнёс едва не по полусотне речей. Недоразумения если где и случались – то лишь относительно отдельных лиц командного состава.

– А как стоит в войсках авторитет Государственной Думы? – спрашивал Родзянко.

– Очень высоко! Невероятные овации, царский приём, да царя так не встречали: носят на руках, склоняют знамёна, целуют руки. И все кричат: «Ура Родзянко!»

Естественно, и должно быть так. Перешли далее. Два депутата, ездивших в Ревель, вынесли также и о флоте самое отрадное впечатление. Встречены были везде с триумфом. Удалось предотвратить эксцессы против офицеров. Матросы просто поражают своим сознательным отношением к делу.

– А как авторитет Государственной Думы?

– Очень велик!

Теперь предстоял разбор весьма огорчительного, волнующего, но и интересного пункта: революционным разбором бумаг в министерстве внутренних дел установлено, что несколько правых членов Думы, а именно Замысловский, Марков, Крупенский и Пуришкевич, получали деньги из секретного фонда! Так – как отнесутся к этому члены Думы? Какие нам принять очистительные меры?

Случай был – исключительно скандальный, на прежнем бы полном заседании всей Думы это был бы взрыв, вскочили бы, стучали пюпитрами, кричали. Теперь – исчезла та страсть и многолюдность, и не прозвучало ропота, но все оживились, переглянулись, содвинулись. Прежде – громогласно бы поносили виновных и исключили бы тут же, – но что предпринять теперь?

Марков, когда-то тяжело оскорбивший Председателя словом «болван», и не мог оказаться никем другим, как таким чёрным негодяем. В пару к нему и Замысловский. О Крупенском – ещё осенью узнали, как он выдал Штюмеру тайны Прогрессивного блока. Но – Пуришкевич?! – вот за кого было обидно Председателю. Ведь прошлой осенью Пуришкевич из черносотенца – да стал революционером! Да какие ниспровергающие речи произносил в Думе – и получал аплодисменты левых, остро-горькую популярность. И собственной рукой убил Распутина! И всё-таки – всё равно?... Конфуз, скандал. Родзянко очень хотелось, чтобы Пуришкевич оправдался. Но он, как всегда, был – в разъезде, в санитарном поезде, где он? Раздавал листовки на Северном фронте, слал оттуда телеграммы Гучкову. На заседаниях Думы не появлялся.

Обсудили так и этак – и постановили: всем означенным депутатам в трёхдневный срок представить удовлетворительные объяснения, а иначе будут лишены депутатских полномочий!

Но угроза эта, когда-то страшная, равносильная общественному уничтожению человека, сейчас совсем не звучала грозно. Ни даже серьёзно: четыреста человек и так разъехались сами, и не лишённые полномочий, хотя Михаил Владимирович строго-настроено отказал всем в отпусках.

Затем занялось совещание новыми назначениями: каким депутатам ещё поехать на какой фронт. Одни отнекивались домашними обстоятельствами, другие уже с ног валились от речей произнесенных, – а иные, как отец Филоненко, были свежи и рьяно готовы ехать дальше.

Назначили человек двенадцать по всем фронтам.

И тут впопыхах прибежали к Родзянко от князя Мансырева, что надо ему идти в Екатерининский зал, подбодряющая весть: 1-й пулемётный полк, простоявший в Народном доме две недели, совсем его перегадивший, теперь надумал и согласился уходить к себе в

Ораниенбаум, вот пришёл прощаться. То ли окончив совещание, то ли прервав его, Родзянко поспешил по коридору мимо Белого зала в Екатерининский.

Но что это? Уже из коридора нельзя было выйти, так густо теснилась тут беспорядочная толпа. А спереди ощущалась предельная полнота всего огромного зала, а сверху, с невидимых сейчас Председателю ступенек, раздавался голос Мансырева, он держал подбодрительную речь к войскам: к упорной борьбе против жестокого германца!

Что за чудо? что за сон? Откуда это наполнение густое в опустевшем Таврическом? Как будто воротились счастливые могучие дни революции! А он, хозяин дворца, и не знал, что всё это здесь собралось!

Близко стоявшие объяснили ему, что сошлось неожиданно два полка: кроме 1-го пулемётного, ещё и Павловский батальон пришёл на митинг как зачинатель революции – и построен там дальше весь.

Ах, вот что! Ах, стало быть, из ревности к Волынскому, который был позавчера, но тот не входил внутрь, построение было на улице.

Но хотя Павловский пришёл без вызова, и без спросу, по февральской памяти вломился весь в Екатерининский зал, куда только по строгим выписанным пропускам теперь пускают, – Родзянко сразу простил им это своеволие и возрадовался взмывшим сердцем – за то, что так неожиданно снова повторилась великая обстановка.

Локтями и крутыми плечами он стал пробиваться вперёд, чтобы выйти к ступенькам, подняться наверх и говорить. Не так просто! – стояли сбито растрёпанные пулемётчики и не знали в лицо этого крупнотулого, крупноголового барина, и пропускать не спешили. А спереди, над головами, там и сям, высились красные знамёна и красные лозунги, и которые не в складках – можно было прочесть местами: «Да здравствует Совет Рабочих Депутатов», «Да здравствует 8-часовой рабочий день», «Мало завоевать свободу – надо её удержать». Ах, вот это последнее правильно.

Прошибально проталкивался Председатель – а наверху над его головой сменился Мансырев и послышался скрипучий как насмешливый голос Чхеидзе. Был лидером самой слабенькой маленькой фракции, сидел где-то там на краю думского зала – а теперь своим Советом захватил почти весь родной кров Таврического и считал себя главным тут хозяином.

– Вы, – дребезжал Чхеидзе, – должны слушать только людей, которых вы знаете. Вот, говорю с вами я – знаете ли вы меня? – Он толковал с уверенностью учителя и паузу сделал для учеников.

– Знаем! Знаем! – кричали из зала.

– Нет, вы меня не знаете, – поучал. – Вы думаете, что я – Председатель Совета Рабочих Депутатов? – (Кто и не знал, так узнал.) – Нет! Я такой же **солдат**, как и вы.

Совсем уже одурел, – возмущённо пробивался старый кавалергард.

– Вы спросите – какой я армии? – не торопился, забавлялся Чхеидзе. – Какого полка? Я – солдат рабочей армии, в ней я прошёл все должности, все чины. Теперь я дослужился до высокого чина генерала. Я – генерал-от-народного доверия.

Ну, кретин! – пробился Родзянко уже к низу лестницы. Теперь уже близко. Но и не прервёшь.

– Раньше мы учились у немцев, – глаголил Чхеидзе. – Теперь пусть они поучатся у нас. Русская революция вызовет скорое подражание в Германии. Мы создали великую свободную Россию – но не хотим лишать свободы других. А если кто захочет отнять нашу свободу – мы будем отстаивать её своей грудью.

Ну – полезно кончил, за это Родзянко ему отчасти простил.

Но ещё прежде чем Председатель занял на верхней площадке первое место – к перилам стал какой-то морской офицер. Он закричал неистово:

– Поклянёмся! – что русский народ никогда не пойдёт за тиранами! Никогда не предаст свободу!

– Клянё-омся! Клянё-омся! – сильно несло из сотен грудей.

Отсюда виден был весь строй павловцев – во всю длину зала и загнувшись (во главе батальона – всего лишь поручик), группы оркестровых труб в разных местах, охотливые и мужественные лица воинов – и знамёна, знамёна.

Наконец – мог говорить Родзянко. Зал – уже видел его и кричал «ура».

Могучим голосом, отдохнувшим за неделю, он как пушкой выстрелил в зал:

– От имени Государственной Думы, доверенной надежды русского народа, я – приветствую павловцев как первых, перешедших на сторону народа!... – Мы исполнили одну нашу задачу, освободились от внутреннего врага, – теперь же сплотимся во имя защиты от врага внешнего! Мы надеемся, что вы, храбрые воины, постоите за **матушку Русь !!!** – (Ничто у него не получалось так густо и сильно, как «матушка Русь».) – Да здравствует свободная Россия!

О, какое «ура» заплескалось под потолком! какое «ура», раскачивая зал! И оркестры заиграли – эту гадку марсельезу.

Но – цвёл зал, сияли тысячи лиц, – и вождь России Родзянко снова был на своём капитанском месте. Он – уверенно вёл революцию дальше.

595

Генерал Савицкий пригласил депутатов отобедать у него. В другой дислокации было бы хлопотно их принимать. Но сейчас стоял штаб дивизии в покинутом доме польского помещика, роскошная столовая светло-зелёной отделки, и не такие выдававшая пиры, и поместительная удобная кухня, где уже с утра затеялся штабной повар, есть и припасы и вино. И столовое бельё в доме на месте, и всякое настольное убранство.

За тем и понять от них, чего он сам не понимал, или понять, что и они ничего не понимают. По речам – весь ход дел им казался благополучным. Заметно разные у них были взгляды, а вели к одному. Знали они что-нибудь особенное? Истекала эта сила из нового Петрограда? Вот послушать.

Четвёртым к столу был начальник штаба дивизии, высоченный полковник гвардейско-кавалерийского роста, намного выше их тут всех. При каждом шаге звенели как колокольчики его савельевские шпоры.

В немитинговой обстановке, вблизи, и депутаты оказались совсем доступными негордыми людьми, а приземистый с курчавой бородкой Игорь Платонович Демидов, кадет, тамбовский помещик, так даже просто милейший благодушный человек. В нём была та покойная барская несомненность, которая допускает быть уже совсем простым, и та насыщенность всеми видами бытия, которая не толкает человека выступать никаким претендентом. И голос его тут, где не надо напрягать, оказался с приятным припевом, и лицо всё время в улыбке.

А со вскинутыми остринками усов Павел Павлович Тройский, прогрессист из Твери, не так был прост, на каждой фразе чувствовались и претензии, и образование, – но ничего яacobинского в близком обращении не проявил, и тоже дворянин, только что городской. И компанейский человек, с весёлым поглядыванием на закуску и выпивку.

Оказывается, депутаты уже несколько дней, с утра и до ночи, ездят по фронту, во многих воинских частях произнесли речи, – вдвоём, подсчитали, 28 речей, – оттого и осипли.

– Но удаётся везде: возглашаем «довести до победного конца» – и везде кричат «ура».

Савицкий испытывал обоих колким поглядом.

Рассказывали депутаты и о Петербурге, наверно, который раз, хотя уставшие их голоса нуждались в молчании. И события, уже известные по газетам, ещё раз узнавались – но почему-то в неточных, расплывчатых, даже миражных контурах. Все эти предметы – Государственная Дума, Временное правительство, Совет рабочих депутатов – выступали как отражённые в колеблемой воде, потерявшие свойства твёрдого тела.

– А что прикажете, господа? – сплетал пальцы Тройский, и облачко шло по его нервному лбу. – Тактикой скрывания событий, необъявления солдатам, создавалась бы в

частях ещё худшая атмосфера недоверия.

А вот: рождаются дикие эти *приказы*, неизвестно от кого к кому. Почему же Временное правительство не пресечёт их?

Но, господа, разве вам не сообщалась телеграмма Родзянки в штаб Верховного: все приказы Совета рабочих депутатов попадают в армию нелегальным путём и не имеют никакого значения, так как Совет депутатов не в составе правительства?

– Да в пустой след потом что угодно можно разьяснить, это уже не действует. – Начальник штаба заметно возвышался над всеми за столом. – Этот Приказ №1 перепоранил всех как влетевшая в строй граната. И между офицерами и солдатами сразу легла вражда. А что если добавлено там же о дисциплине – то этого никто не слышит.

Генерал-майор Савицкий не давал старости собою овладевать, прекрасно ровно держался, на службе, в строю, в бою. Глаза – быстрые, голова маленькая – подвижна, седина полузаметна, и усы и бороду кругло-коротко стриг, не запуская в почтенную старость.

– Да что «приказ №1», когда вот уже, не спрося строевых, печатаются указания генеральской комиссии при военном министре! И все они учат, как развинчивать военные уставы. Вот... – показывал газету.

Ротный командир может присутствовать на заседании ротного комитета лишь по его приглашению и только с правом совещательного голоса! Напротив, представитель ротного комитета имеет право *контролировать* совещания своих офицеров, собирать обвинительные материалы на должностных лиц – и сообщать в советы рабочих депутатов о попытках командиров вернуться к старому порядку. Если нет материала отдать офицера под суд, но офицер этот крайне нежелателен солдатам, – то дивизионный комитет докладывает в Петроград о необходимости отчислить этого офицера. Полковой комитет *разбирает недоразумения* между офицерами и солдатами. Сойти с ума?... А младший офицер лишается всякой дисциплинарной власти и может *жаловаться* на солдата только в ротный суд.

Этим двум господам, хотя и важным таким, Савицкий выговаривал с горячностью:

– Положение офицеров, господа, вы, или ваши петербургские друзья, или правительство, или газеты, – сделали совершенно нестерпимым! Такого – никогда не бывало ни в одной армии мира, и не может такое существовать. А сейчас газеты ещё обещают скорую отмену смертной казни, даже за измену и шпионство. Армия без наказаний, и даже с выборами офицеров, – да что вы, за дураков нас считаете?

– Но господа! – изумлялся Тройский и поводил своими красивыми выразительными глазами, созданными для адвокатских эффектов. – Выборы офицеров – кто ж это принял серьёзно?

Грозно безулыбчивый начальник штаба наложил измерительную сетку. Никакие «общественные права» солдат не существуют ни в какой западной демократии. Во французской республиканской армии военнослужащие не имеют избирательного права, ни права политических собраний. Солдат никогда не имеет права переодеться в штатское и обязан быть на вечерней поверке. А у нас в тылу уже от этого освобождают. И у них командир полка имеет право дать солдату 14 суток ареста.

Когда повар с помощником входили менять, он умолкал.

Депутаты были огорчены упрёками, если не обижены: ведь это всё делают не они!

После вознесенья речей, да видя их рядом, таких обиходливых, разумных, симпатичных, – и правда удивишься, как мы сами бываем не похожи на наши дела.

– Ну как же, господа, а разве вы сами, вот этим приездом, не подрываете офицеров?

Добрейший полнолицый Игорь Платонович, ещё расплывшийся в теплоте обеда, изумился:

– Мы-ы? Но мы говорим только в укрепление!

– Нет, господа. Уже то, что говорили вы, а не мы, что была форма сборища, а не военного строя, – эге, думает солдат, значит есть многое такое, чего наши офицеры не знают или сказать не хотят. Уже то подрывает нас, что вы должны их уговаривать в нашу пользу.

– Господа! – перехватил сообразительный Павел Павлович, поправляя салфетку на груди. – Положение неприятное, конечно, но оно сложилось от неизбежного революционного хаоса, от разно действующих инстанций. Надо перетерпеть и перестоять этот короткий момент, – а уже дальше, уже вот начались все усилия к укреплению офицерства. Но и многое будет зависеть от вашего, офицерского такта. Вот – комитеты...

– Какой-то шестилапый зверь, – перебил полковник. – Как он будет в пехотном строю равняться?

– Но комитеты уже созданы, этого не повернуть. Пусть это зло – а в каком-то смысле может быть и добро? Они есть – так найдите к ним наилучшую линию. Если офицерский элемент стал бы умело направлять комитеты, то было бы отрегулировано бесформенное солдатское движение.

И ведь он искренне говорил, счастливый дар! Вот так они и в Думе говорят? – слышат ли сами себя? И сегодняшних своих крестьянских слушателей как они представляют? Или в тамбовском, тверском имении лишь неделю в год?

Военные стояли наотрез: нет, армия этого не переварит! Комитеты – это конец армии. Они уже кое-где лезут мешаться и в боевую деятельность. Сотрудничать с ними – исключено. Если уж упущено их разогнать – то надо их только обуздывать и не давать расти.

– Напрасно, о, напрасно, господа! – затронутый за важное, заволновался Павел Павлович и успевал всех собеседников охватить подвижным взглядом. – Из-за того, что политическая борьба в армии вообще нелепость, – нельзя офицерам сейчас от неё отказываться. Она уже всё равно началась – так надо войти в неё и спасти армию. Огонь, зажжённый декабристами, разве когда-нибудь погасал в офицерстве?!

Нет, глаза-таки его присверкивали по-якобински, это не почудилось. Ни к ладу, ни к ляду не приходились декабристы к сегодняшней обстановке.

Савицкий печально покачал головой:

– Господа, всё это мы переживали и в Девятьсот Пятом. Я тогда служил во Владивостоке. Сразу после октябрьского Манифеста исчезла всякая дисциплина и всякая связь в войсках. Солдаты везде стали подозревать ненавистную «белую кость», где её и помина нет. До того офицеры носили в кобурах белые перчатки вместо револьверов. А тут – стали бояться своих же солдат, и впервые вкладывали заряженные. Вы поймите этот вид нынешнего боя: столкнуться не с противником, а с бунтом собственных солдат. Если простая смена частей на позиции стала рискованной операцией. Если солдаты один раз узнали, что можно не подчиниться, – то как командовать? А уступать – тогда конец всему, станет не армия, а вооружённая толпа, страшнее для своей страны, чем для противника.

– Но надо смело вступать в комитеты, – не сдавался Тройский, – и направить их. Офицерство должно вступить в союз с лучшей частью солдатской массы!

Зоркий полковник налетел через стол со встречным:

– А вы – знаете эту лучшую часть? Где комитеты создались – кто в них? Фельдшеры, ветеринары да писари! – вот кого солдаты выбирают. В лучшем случае – прапорщики запаса да врачи, окопная интеллигенция. Они-то солдат и будоражат. И вот *им* мы должны уступить власть? А где комитеты уже ввелись – есть ли успокоение? Да никакого, только хуже.

– Но может быть, – мягкие ладони сжимал в примирение спорящих доброжелательный тамбовский помещик, – тогда помогут делу отдельные офицерские комитеты?

– А чем может заниматься отдельный офицерский комитет? Если солдатской массой будет заведовать солдатский комитет, а боевая и строевая жизнь ещё пока у командования, – что остаётся офицерскому? Разбирать внутренние офицерские дразги?

– Но что же иное? Но что же тогда? – покидая тарелку, вилку, нож, всем огкидом в стульную спинку выразил разочарование Тройский. – Если вы вообще не берётесь сотрудничать с комитетами, то что же можно делать?

Савицкий подлокотил голову, тёр по темени:

– Эх, господа. А неужели вы не могли спросить армию, прежде чем совершать

революцию? Как же штатские люди могли не посчитаться с нами?

– Так вышло само, господин генерал. Не поверите: мы проснулись – и не узнали Петрограда.

Начальник штаба пересек режущими глазами:

– А зачем вообще был нужен переворот? Что особенно плохого было раньше?

Это прозвучало как бы неприлично. Демидов вежливо промолчал. Тройский тоже сперва. Но пауза затянулась, и он сказал тихо, глядя в тарелку:

– Господа, к старому возврата всё равно нет. Хорошо или дурно, – надо примириться.

– Хорошо, а вот пишут: в Петрограде в руках Совета рабочих депутатов – тысяча двести пулемётов. Значит – нам, на фронте, пулемётов не дожидаться? И почему в руках Совета рабочих?

Да видите, объясняли гости, запасных пулемётных полков, как вы знаете, во всей армии всего два, и оба перешли на сторону революции. И для её поддержки оба желают сохранить свои боевые силы в Петрограде.

– *Желают!* А что же правительство?

Правительство? Правительство... Депутаты переглянулись, Тройский профортепьянил пальцами по скатерти и улыбнулся с тонкой остротой:

– Между нами, господа, Временное правительство – как хороши, как свежи были розы...

И – замерли те расплывшиеся контуры.

– А Государственная Дума?!

А Государственная Дума? Да вот, все мы в разъездах...

– ... Вот, например, с присягой курбет: Совет рабочих депутатов опротестовал присягу, и она теперь, кажется, будет остановлена.

– Как? Как? – совершенно изумились офицеры. – А которые части уже присягнули?

– Которые присягнули, – перебирал Павел Павлович удолженными пальцами, как бы отряхая прах между них, – те возможно будут переприсягать, а возможно и так останется.

Вот это так! сотни тысяч солдат поднимали руку, крестились, подписывались, – а какой-то дрянной советик из шантрапы отменил её?...

Но и: что тогда остаётся от всякой присяги вообще? Армия без присяги?

Но, кажется, депутаты не слишком были отяжелены этим злоповоротом присяги: кажется, они уже понимали, что стольких сразу неприятностей не перенести, если не относиться к ним легче. Не посидеть, не посмаковать старого винца.

Савицкий сердито выдул сквозь усы:

– И вы думаете, в таком настроении можно наступать? Значит, кампании 17-го года нам уже и не брать.

Да что вы? Да что вы?! – огорчились депутаты. – А в Петрограде, наоборот, самые лучшие надежды!...

– А почему, вы думаете, солдаты так рады перевороту? Надеются: новое правительство быстро кончит войну – и по домам.

Да откуда ж это взяли? – изумлялись депутаты. – Да кто ж такое обещал? Это поразительно!

– А зачем же иначе переворот? Этого вы солдату не объясните. Если продолжать войну – зачем переворот? Всё, что солдат мог, – он давал его императорскому величеству и без переворота.

Уж не обижал до конца, не напомнил: ваше «горе тем, кто баламутит Россию» – не к вам ли первым и относится?...

Депутаты подавлены были выставленной им безнадежностью.

– Так это всё потому, господа, – разводя, растопорщивая все десять острых пальцев, жаловался Павел Павлович, – это всё потому... Не в революции беда, а в том, что у русского солдата нет сознания родины. Если б они любили родину – они не поняли бы событий так извращённо.

– Нет, – возразил коллеге Игорь Платонович. – Родину, Русь – они понимают. Или во всяком случае понимали раньше. Ведь спасали ж её от татар, от поляков – сами, никакой интеллигенции ещё не было.

– Вы, господа, в своих речах как-то странно сочетаете: «за родину» и «за революцию». А вы, Павел Павлович, революцию даже выставляли вместо родины. Да как вы можете их ставить рядом? Родина – это святыня и наша вечность. Революция – временная острая болезнь, умопомешательство, она не может даже года продержаться, – как вы можете их сопоставить?

Добрый Игорь Платонович, уже подхмелевший, кивал, кивал, согласительно. Да он, душка, так всё и думал, как они? Это он по должности депутата?... Ему, может, и самому жалко прошлого быта, своего где-нибудь запущенного поместья и соловья на сиреневом кусте?

Чего-то нет, чего-то жаль,
Куда-то сердце мчится вдаль...

596

(по социалистическим газетам, 11-14 марта)

КАЮЩИЕСЯ ДВОРЯНЕ. 10 марта на заседании совета объединённых дворянских обществ 22 губерний единогласно принята резолюция: «... совершился великий переворот... В эти трудные и великие для России дни все русские люди, отложив всякие разногласия, должны сплотиться вокруг Временного правительства как единой ныне законной власти... призываем всё русское дворянство признать эту власть и содействовать ей... Пусть же дворянство, положив упование на милость Божию, своим бескорыстным трудом...»

... Без бояр, без дворян оказался наш царь,
Кто поддержит тебя, сиротина?
Кто опорой тебе будет в новой судьбе?
Кто заменит тебе дворянина?...

... Он разрушит вконец твой роскошный дворец
И оставит лишь пепел от трона,
И отнимет в бою он порфиру твою,
И порежет её на знамёна.

... Фабрикантов-купцов, твоих верных сынов
Точно пыль он развеет по полю...

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА РАБОЧЕГО КЛАССА... Соглашение о введении 8-часового рабочего дня. То, о чём товарищи рабочие мечтали, на что готовились отдать многие годы упорной борьбы, – достигнуто одним нажимом революционной воли, одним ударом революционного меча. Как бы мог рабочий участвовать в политической жизни, если б ему пришлось отдать всё своё время станку? Теперь – распространить победу петроградских рабочих на всю Россию. Если Петроград окажется единственным городом, где введено ограничение рабочего дня, – он станет притягательным пунктом для рабочих из провинции: масса пролетариев нахлынет в столицу и создаст конкуренцию на рабочем рынке, это приведёт к понижению заработной платы и другим вредным последствиям.

... Представители заводчиков заявили, что идут на такую уступку, рассчитывая на усиление интенсивности труда. Но есть разные приёмы, с помощью которых такое усиление может принять ненормальные формы. По системе Тейлора и при 8-часовом рабочем дне и даже за 5 часов из рабочего можно вымотать все силы.

В МОСКВЕ ИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ? Эти слухи возбудили тревогу среди населения... Свергнул старый режим петербургский пролетариат. Мы понимаем тайную мысль буржуазии: она боится для Учредительного Собрания – революционной атмосферы столицы. И хочет укрыться в Москву, где издавна господствует богатая буржуазия.

УНИЧТОЖЕНИЕ СОСЛОВИЙ И ЧИНОВ. По идее СРСД это означает **полное уничтожение сословий**. Не оставлять и невинных клочков – «дворяне», «крестьяне». 125 лет назад французский народ в бурном гражданском порыве выбросил все сословные названия... Но что мы видим? После стихийного уничтожения твердынь царизма наше Временное правительство ещё твёрдо держится табели о рангах и пишет о назначении каких-то «статских», «действительных»... Это неприемлемо для демократии!

Пенсионеры революции. Отстранённым губернаторам князь Львов сохранил жалованье. Низложенные помпадуров могут быть спокойны, терпеливо ждать того дня, когда начнут насаждать прежний культ нагайки... На народные деньги содержать своих угнетателей?

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА. Россия сказочно разбогатела. Сравните арестантское положение прежде и теперь. Я тоже был арестантом. Мне давали крохотную камеру, Романову – большой дворец. Мне давали 10 копеек кормовых в сутки – а Романову? Нас охранял один надзиратель на 30 человек – а Романова 4 полка...

К амнистии. Во время войны правящее дворянство применяло как кару – призыв стачечников в войска. Амнистия должна распространиться и на них. Рабочие, отправленные на позиции, должны быть немедленно возвращены...

... приспешники и рыцари старого бюрократического насилия могут оказаться между гражданами обновлённой России... Наши пожелания о немедленном отправлении всех этих холопов и кровопийц на позиции...

ХРОНИКА. До сих пор остаётся на свободе митрополит Макарий. Он был главным организатором томского погрома 1905 года.

... Солдаты петроградского разгрузочного батальона выражают живейшую радость по поводу отмены навсегда смертной казни. Рухнул старый постылый режим, и на обуглившись развалинах его в лучах восходящего солнца...

... В оперном зале Народного дома, где когда-то распевал для буржуазии свои песни Шаляпин, теперь заседают пулемётчики. С эстрады – речь: «Какой нам нужен командир полка?» Он должен любить свободу и выражать наши желания... Пулемётчик сам кузнец своего счастья.

Солдатский митинг в запасном полку в Сокольниках... Постановили, что приказ полковника о сохранении старого устава не имеет никакого значения... Также: московский гарнизон должен быть гарантирован от высылки в другие места.

ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩАМ СОЛДАТАМ ОТ РАБОЧИХ. Герои, борцы, титаны! Поколения будут благословлять вас...

ПРИЗЫВ РАДИОТЕЛЕГРАФИСТОВ. Товарищи! На ваших заседаниях говорите спокойнее; нас, солдат, истерическими криками не удивишь, а вот услышать спокойную продуманную речь нам желательно. И мы дадим своё согласие или отказ. Товарищи рабочие!

Вы без солдат, как и солдаты без вас, – пустое место. Только рука об руку мы...

... Отношение железнодорожников к переживаемому моменту... Поддержать углубление начал свободы... На первый план вопросы политического характера...

МИТИНГ ПОЛЬСКИХ РАБОЧИХ. ... Мы не получим независимой польской республики от европейской буржуазии – а только от международной демократии.

Латышский народный митинг в Москве... Довести буржуазно-демократическую революцию до победного конца... Латышский пролетариат является одним из первых авангардов российского революционного движения...

Резолюция студенческого собрания Психоневрологического института. Мы, студенты и студентки Психоневрологического института, бывшие всегда врагами старого строя...

УНИЧТОЖЬТЕ ХВОСТЫ...

... Выходишь на улицу и встречаешь несчастные фигуры оборванных китайцев. Кто их сюда привёз? Улучшим условия их существования.

ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВ. ВОЗЗВАНИЕ. Отвергайте замыслы наложить оковы на свободу. Требуйте созыва Учредительного Собрания Деятелей Искусств – и оно решит вопрос об устройении художественной жизни России. Протестуйте против учреждения министерства искусств и захвата власти отдельными группами...

Союз сапожников. ... Настал момент великого объединения всех масс трудящегося класса, медлить нельзя, и каждый из нас должен не распылять сил... Стоя на точке зрения классовой борьбы, мы не можем объединяться с мастерами...

К товарищам по производству изделий из бумаги... футлярщикам, абажурщикам, картузникам... Товарищи! Мы должны смотреть, чтобы династия из рук Романовых не перешла в руки Родзянок, Львовых, Милюковых... Не теряйте ни минуты, вступайте в профессиональные общества...

Товарищи фотографы и фотографические служащие... Не нужна ли прибавка жалованья? Эксплоатация труда поразительная...

... Вы, товарищи ремесленники, пасынки пролетарской семьи: капитал гнетёт вас сильнее. Идите же все на собрание!

К младшим служащим в городских больницах. Погибло самодержавие, занялась заря новой жизни. Соединимся все как один и предъявим наши требования.

Товарищи конторщики и банковские служащие! Медлить нельзя, нам надо организовать, наступил момент строительства государства... Мы должны своим сплочённым выступлением заявить, какая нужна свобода.

Товарищи пекаря...

Товарищи золотосеребренники, бронзовщики, гравёры, словолитчики, меднолитейщики, гальванопласты...

Ломовики и крючники! Ка тали, носакн , кладчики, разгрузчики! Пришло и нам время объединиться!

Профессиональное общество фармацевтов, уцелевшее во время реакции с 1907 по 1917, примыкает к марксистам...

... прачки, гладильщицы, зовите всех на собрание...

Профессиональный союз работающих иглой...

Доставлен с Измайловского полка мальчик Коля, 6-7 лет, спросить у швейцара...

Мать убедительно просит больницы и лазареты сообщить, не находится ли на лечении мальчик Михаил, 13 лет, Шилов, или значился ли в убитых...

О ВЫХОДЕ ГАЗЕТ. Исполнительный Комитет СРСД постановил **допустить беспрепятственный выход всех периодических изданий без различия направлений.** При этом ИК конечно оставляет за собой право принимать соответствующие меры против изданий, которые позволят себе в переживаемую революционную эпоху вредить делу революции...

ВТОРОЕ НАПАДЕНИЕ. ... Нападение идёт со стороны Временного правительства. Присяга, принятая правительством, направлена против Совета. Сегодня – второе нападение: военный министр приказывает объединяться всем вокруг Временного правительства. Значит: оставьте Совет Рабочих Депутатов, не верьте ему. Далее, Гучков говорит, что «в столице отдельные группы продолжают сеять раздор». Это о вас идёт речь, товарищи члены Совета. Почему же Гучков не называет вас прямо? Потому что он ещё боится вас, потому что за вас – гарнизон. Но когда вас решат разогнать или расстрелять... Гучков говорит: «Много немецких шпионов скрывается под серой солдатской шинелью.» Это – о вас, товарищи солдаты! Будьте настороже!

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА ИЗ ГЕРМАНИИ. ... Радиотелеграмма из какой-то местности близ Берлина: «Привет, товарищи, ура!» Итак, известие о русской революции дошло до германских социал-демократов! Пожелаем же им поскорее справиться со своим Вильгельмом!...

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ. Российская демократия с нетерпением ждёт известий, как откликнется Германия на события в России. Если прусскому дворянству удастся удержать германский пролетариат в тисках дисциплины... Старой власти в Германии необходимо затушить российский пожар. Перед лицом этой опасности старая власть должна быть добита и погребена.

ПРИЗЫВ В.Г. КОРОЛЕНКО, переданный по телеграфу... **Опасность надвигается. Будьте готовы! К сражениям, к битвам, к пролитию своей и чужой крови.** Ужасно, что эти призывы приходится слышать от нас, писателей, кто всегда будил благородную мечту, что народы, распри позабыв, в великую семью соединятся. Но соединяя любовь к человечеству с любовью к родине, приходится подхватить тревожный клич. Я желал бы, чтоб голос печати звучал как труба на заре: **с запада идет туча!...** Я считаю свалку народов великим преступлением. Но ростки международного братства ещё бессильны. Защита родины, нужная всегда, теперь стала вдвое нужнее. Забудем распри, отложим споры о будущем! Пусть все смотрят в одну сторону, откуда раздаётся топот германца.

СТАВКА - ЦЕНТР КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. По сообщению георгиевских кавалеров, посетивших 12 марта Исполнительный Комитет, Могилёв сделался центром контрреволюционного заговора. Офицеры-мятежники издеваются над свободной Россией, нагло утверждают, что новый строй, созданный «кучкой смутьянов», недолговечен и скоро на престоле будет восстановлен Николай II. Делегация сообщила много фактов и имена офицеров, явных противников нового режима. По мнению ИК, необходимо безотлагательно назначить Чрезвычайную следственную комиссию... Правительство обещало. Будем надеяться, что оно будет действовать беспощадно к шайке черносотенных заговорщиков. Солдаты глубоко возмущены безнаказанностью реакционеров...

(«Известия СРСД»)

ГЕНЕРАЛЫ-МЯТЕЖНИКИ ВНЕ ЗАКОНА... Среди нашего высшего командного состава, как известно, много (если не большинство) ярых сторонников старого режима... И они гуляют на свободе. Временное правительство должно неотложно издать декрет, объявляющий генерал-мятежников вне закона. После издания декрета солдаты не только не обязаны будут повиноваться таким начальникам, но смогут безнаказанно убить таких господ...

(«Известия СРСД»)

АРЕСТ ГЕН. ИВАНОВА. Мы в состоянии поделиться с читателем приятной новостью: пресловутый ген. Иванов, который в первые дни революции двинулся на Петроград для подавления революции, наконец арестован. Надеемся, этому холопу Николая II, этому сыну Иуды, будет воздано по заслугам.

ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ. По поводу таинственных знаков, появляющихся на дверях обывателей, – крестов, наклеек двуглавых орлов и «За веру, Царя и Отечество», – комиссар г. Петрограда и Таврического дворца заявляет, что все эти таинственные знаки – дело рук провокаторов и шпионов, которые были выпущены из тюрем в дни революции. Комиссар призывает жителей уничтожать эти надписи и не придавать им значения.

Обыск у пресловутого доктора Бадмаева...

20 следственных комиссий обходят все места заключения и выясняют, за кем из арестованных не числится никаких дел. Министерство юстиции разрабатывает правила о порядке освобождения добровольно сдавшихся полицейских.

Письмо в редакцию. В номере «Правды» от 7 марта была помещена резолюция от имени резервной автомобильной роты. Просим довести до всеобщего сведения, что указанная резолюция является вымышленной... Ни один орган нашей автомобильной роты никогда не высказывал требования прекратить войну и изменить состав Временного правительства.

Одесса. Новосозданный общественный комитет отказал в своём доверии городской думе и городской управе, и взял управление в свои руки. Призыв к населению прекратить потребление спиртных напитков и сохранять порядок на улицах. Постановлено создать в Одессе Народный университет. Воздвигнуть на костях и крови павших светлое будущее России...

Арестованы председатель союза русского народа и председатель «русских людей»... Общее собрание адвокатов постановило приступить к изданию рабочей газеты.

Иркутск. По случаю дня свободы состоялся парад гарнизона. Архиерейский

молебен... От Комитета парад принимал Церетели...

Ревель. Шествие на кладбище жертв 1906 года. От разных организаций несли 26 венков, среди которых были очень роскошные, со всевозможными лентами и надписями. Над участниками шествия развевалось 267 знамён и плакатов. Был изображён бюст молодого доверчивого бойца 1905 года – и рядом серьёзного бойца наших дней. Шествие растянулось на 10 вёрст.

Пенза. На улицах шумные манифестации, один митинг сменяет другой.

Аккерман. С фасада чайной союза русского народа снята вывеска.

Ташкент. Арестован вождь погромно-монархической организации Василий Орлов, бежавший из Москвы.

Киев. За последние дни произведены обыски местных деятелей союза русского народа.

Первое свободное собрание еврейских рабочих г. **Тамбова** приветствует петроградских рабочих и солдат. Вместе со всем пролетариатом еврейские рабочие готовы на новые жертвы для окончательного упрочения демократического строя.

Инжавино, Тамбовской губ. Состоялось многолюдное собрание. Народ заявил, что опека ему надоела, и сам стал избирать новую милицию. Обезоружили старую. Из деревень приезжают на базар не столько чтобы торговать, но чтобы разузнать новости. Растерянность. Спрашивают – лучше будет или хуже? В некоторых сёлах священники со слезами на глазах объявили в церкви, что настал конец мира.

Приветствия Совету Рабочих Депутатов... из Тагила от бывших жандармов... от швейцаров и курьеров министерств... от мирского схода с. Починки... от одесских портных...

... С далёких полей, залитых слезами обездоленных защитников дорогой родины, шлём вам горячий привет. Верим, что близок день, когда... ни безумной роскоши, ни мертвящей нужды... Разделённые расстоянием, но душой всегда с вами
писаря хозяйственной части 66 полка

СПИСОК ПОЖЕРТВОВАНИЙ в кассу Совета Рабочих Депутатов:

от надзирателей дома предварительного заключения;
от полицейских чинов, находящихся под арестом в Кавалергардских казармах;
от парикмахеров г. Петрограда;
от судовой команды крейсера «Аврора»;
от правления Петроградского Благородного Собрания;
от административного надзора Петроградской пересыльной тюрьмы;
от посетителей трактира «Белозерск»;
от юнкеров Военно-Топографического училища;
от дворников и швейцаров участка Васильевского острова;
от прихода села Рождественского;
от американской методистско-епископальной церкви...

Пропала девочка в плюшевом лиловом пальто, в тёплом коричневом платке, Варя, 4-х лет...

Ушел из дому мальчик 14 лет, имея при себе 140 руб. денег. Одет в жёлтое суконное пальто, на голове белая папаха...

ВСЕХ БОЛЬНЫХ И РАНЕННЫХ, отлучившихся из госпиталей, просят вернуться по своим местам.

(из «Правды»)

ЗЕМЛЯ – КРЕСТЬЯНАМ ! Российская революция велика тем, что она потребует передачи всей помещичьей земли. Помещики и буржуазия, оглушённые звоном металла от военных прибылей, не думали о крестьянском хозяйстве. Теперь они задумались. На кадетском съезде они решат, как бы совсем не лишиться земли помещикам или пусть разорённый народ заплатит помещику. Но не может быть речи о покупке. Земельный вопрос может быть разрешён только революционным путём.

РАБОЧИЙ КЛАСС И РЕСПУБЛИКА. Республика – единственная форма, отвечающая требованиям пролетарской классовой борьбы для достижения Социализма... В республике президент будет принуждён чутко прислушиваться к голосу рабочего класса...

ВЛАСТЬ – ДЕМОКРАТИИ ! Руль власти захватило контрреволюционное Временное правительство и прилагает все усилия, чтоб не дать начавшейся революции перекинуться на деревню и на армию. Но это случится, потому что это неизбежно. В армии революционеры должны сменить всех старых начальников. И в деревне органы старой власти должны быть арестованы и обезоружены. И в городах власть, назначенная Временным правительством, должна быть заменена городскими коммунами.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ? Уничтожить министерство императорского двора. Конфисковать удельные земли. Уничтожить «кабинет его величества» – целые уезды земли в Сибири. Более ста лет цари крали деньги у народа и хранили их в английском банке. Если оставить их Романовым – это будет фонд для подкупа убийц и погромщиков. В царских дворцах накоплено несметное количество золота, серебра, бриллиантов. Перевезти в государственный банк, перечеканить в монету. Художественные вещи продавать с аукциона. Использовать Зимний дворец и все дворцы. Бывших министров не меньше чем собак на свалке, – прекратить им пенсии. Жалованье высшим чиновникам представляло грабёж казны. Прекратить.

О СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ. Вопрос о том, кто начал войну, не имеет значения, обсуждать его было бы напрасной потерей времени. Господствующие классы в ненасытной жажде увеличения своих богатств...

ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ...

Все храмы и утварь в них должны перейти в собственность государства – и православные общества будут получать их в пользование от правительства. Эти обязательные правила обеспечат нас от постоянного навязанного засилия духовенства, которое, в большинстве черносотенное, всегда помогало свергнутому правительству в его злодейской деятельности. Недаром попов повсюду звали жандармами в рясах. Духовенство повсюду с церковного амвона проповедовало всегда самые гнусные человеконенавистнические идеи. И в школах вливало в молодые души тлетворный яд черносотенных мыслей.

Приветствие Н. Ленину послало за границу московское бюро Центрального

Комитета: «Горячо приветствуем дорогого и глубокоуважаемого товарища Владимира Ильича, неутомимого борца и истинного идейного вождя... Вы всегда неутомимо стояли на страже интересов рабочего класса и высоко держали знамя... С нетерпением ждём вашего возвращения.»

Партийная литература . В наших партийных газетах большая часть статей появляется без подписи. Это делается для поднятия авторитета партийных учреждений и для устранения рекламирования отдельных лиц. Это внесёт и больше единства во взгляды масс.

... Обращаем внимание товарищей на желательность организации спевков хорового исполнения революционных песен.

ЖЕРТВУЙТЕ ЗАРАБОТОК ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ В ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД «ПРАВДЫ». Рабочая газета не может зависеть от капризов и алчности господ капиталистов.

О митинге прислуги... Собравшиеся стояли на улице. Товарищи прислуги! Мы должны добиться, чтоб и нам было место для собраний. Просим РСДРП подать голос и за нас, не имеющих никогда свободы.

ОТКУДА НАМ ГРОЗИТ ОПАСНОСТЬ? Демократию пугают, что «враг стоит у ворот», а Милюков заявляет, что наша цель – «ликвидация Турции»... Николай II и его приближённые грозились открыть минский фронт Вильгельму – и такая опасность существует, пока армия – в руках Алексеевых...

СИЛА СОБЫТИЙ. Две недели назад наш большевистский агитатор был арестован в Москве красной милицией за то, что призывал к республике. Сейчас и ЦК кадетов уже объявил себя за демократическую республику. Мы указали, что дяде бывшего царя и генералу Алексееву не место быть во главе революционной армии. И Николай Романов уже смещён, а об Алексееве узнаем через недельку-другую.

В БУРЖУАЗНОЙ ПЕЧАТИ ОТКРЫТ ПОХОД ПРОТИВ «ПРАВДЫ». Это нас но удивляет. «Правда» поставила своей задачей защищать интересы всего трудящегося народа. Вчерашние сторонники монархии обливают потоком грязи газету, созданную рабочим классом. Предстоят ещё многие битвы. Борьба не кончена, не обольщаться словами о свободе. Мы помним 1848 год и Коммуну, когда республиканская буржуазия расстреливала рабочих. Мы сочтём нашу революцию законченной, когда вся власть будет принадлежать самому народу, когда все чиновники будут выборными, когда земля будет передана государству. Мы отдаём газету «Правду» под защиту революционного рабочего класса и армии.

... Временное правительство, выдвинутое либеральным движением класса собственников... Но революция будет углубляться и идти к диктатуре пролетариата и крестьянства. Временное правительство склонно было бы задержать развитие революции, но у них нет сил для этого. Упираясь, они принуждены идти вперёд. Мы будем разоблачать каждую непоследовательность Временного правительства, каждую попытку притушить революционный пожар. Мы должны знать, что пути демократии и Временного правительства разойдутся. Нам незачем подгонять события. Они и так развиваются с великолепной быстротой! И именно поэтому было бы политической ошибкой ставить сейчас вопрос о смене Временного правительства. Движущие силы революции – за нас.

Матвей Муранов

О СОВЕТАХ. С быстротой молнии двигается колесница русской революции. За Петроградом тянется, спотыкаясь, необъятная провинция. Но оглянитесь кругом: тёмная работа чёрных сил идёт непрерывно. Чтоб развернуть революцию дальше – надо союз рабочих и солдат сделать не временным, а устойчивым. Орган этого союза – Советы.

К. Сталин

ЧТО НАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ? Каждый гражданин или гражданка нашей молодой республики должен немедленно вступить в ту или иную организацию. Социал-демократы должны быстро стать в железные ряды. Надо, чтобы по всей России возникало множество клубов. Немедленно всюду устраивать стрелковые общества и обучаться стрельбе... До огромной массы населения России докатились только отрывочные сведения о том, что сделано Революцией.

Владимир Бонч-Бруевич

ГОСПОДАМ КЛЕВЕТНИКАМ ИЗ БУРЖУАЗНЫХ ГАЗЕТ

Лишась последнего стыда,
Старайтесь, господа!
... Большие барыши
Вас ждут за гнусную работу.

Демьян Бедный

... На заводском собрании выяснялась физиономия Временного правительства и задачи пролетариата. Признали, что Временное правительство радо протянуть руку прежнему царскому, дабы укротить пролетариат... Решено регулярно выписывать «Правду» и пожертвовать в Железный Фонд...

О ПРОВОКАТОРЕ ЧЕРНОМАЗОВЕ... Единоличным редактором «Правды» он никогда не был. Постоянно шёл разговор, чтобы сместить Черномазова. Всегда тяжело подозревать человека, который считается товарищем... Но улики не было... Недобросовестная травля буржуазной печати...

СМЕШНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ. В травле против «Правды» ничем не брезгают. Спрашивают даже: почему мы называем Петербург, а не Петроград? Николай II пожелал показать свой патриотизм и перекрестил. Этим он не победил немцев и не спас себя. Должны ли мы исполнять всякую его бесполезную затею? Наш Петербургский комитет не желает менять своё имя в угоду Николаю II. Неужели нет более серьёзного вопроса?

... «Правдой» получено приветствие от товарищей **Н. Ленина** и **Г. Зиновьева**.

597

Ещё десять дней назад Александр Фёдорович трепетал от гордости, что включён в правительство, и в драматически-мятежных языках пламени видел свое положение социалистического заложника среди буржуазных министров. Но за немногие дни он великолепно в этом правительстве освоился: Некрасов, Терещенко и Коновалов были его тайно-соединённые и во всём согласные друзья; Годнев и Владимир Львов, постоянно в себе не уверенные из-за своей правой принадлежности, голосовали всегда на стороне Керенского; сам князь Георгий Львов относился к Керенскому с растущим почтением, если даже не с услужливостью, – и Керенский уже ощущал себя как бы заместителем премьер-министра, второю фигурой в кабинете, – хотя, конечно, это место думал занимать Милуков да и Гучков. Керенский уж никак не был рядовой министр, и всего лишь юстиции, но уже – влиянием на князя Львова – приобрел как бы право *veto* на любые решения остального

правительства. А каждое собственное действие его одобрялось, а каждое предложение его принималось; например, чтобы правительство ехало в Сенат и там бы присягало на верность народу.

Правда, такое положение Керенского в правительстве объяснялось не только превосходством его личности, ещё не всеми усвоенным, но тем, что плечи его были нагружены доверием революционно-демократической общественности и всего Народа.

Однако это представительство от Совета, так полезное в первые дни, эта зависимость становилась Керенскому непереносима и даже унижительна, по мере того как росла развязность и претензии Совета. Если Исполнительный Комитет Совета значил больше, чем всё правительство вместе взятое, то что тогда был Керенский в правительстве и зачем? Уронил бы он себя, если б хоть раз отправился туда, на Исполком, тереться среди них и серьёзно отчитываться о правительстве. Как признанная любовь всей России, надежда её, многогласно выраженная, – Керенский бы наилучше всего теперь совсем отменил бы своё советское происхождение, смысл бы его с себя, оно его только суживало. Но это было невозможно при том, что Совет то и дело вмешивался в дела правительства, и надо было какую-то позицию занимать.

А теперь придумали ещё эту Контактную комиссию, и вот исполкомовцы приходили развязно, вчера уже второй раз, сюда, в тихий, сверкающий, золочёно-мраморный Мариинский дворец, – и разваливались в бархатных креслах выслушивать отчёт правительства и давать свои указания. Особенно раздражал Керенского презрительно-басовитый тон Нахамкиса, как он поучал министров о доминации Совета.

Защищался ли добросиятельный князь, что Временное правительство получает со всех концов России сотни телеграмм с приветствиями, благопожеланиями, обещаниями помощи и поддержки, -

– Да мы, – добавлял Нахамкис, – тысячи таких телеграмм получаем, и все требуют, чтобы мы забрали власть себе. Вы – только потому до сих пор правительство, что мы защищаем вас от масс, а они – желают вас убрать.

Как будто не личность энергичного мелькающего Керенского привлекла к правительству симпатии российских масс!

Но самому ему было неудобно о том возражать. Его позиция в Контактной комиссии оказывалась исключительно сложной, разодранной надвое. Он вообще избежал в ней числиться – потому что не мог же вступить в полемику против Совета на стороне буржуазного правительства, но и не разделял ни одной ноты Совета. Вчера он остался присутствовать на ней – как наблюдатель, как другие министры, – и сидел молча, с презрительно-прищуренным выражением. И внутренне корёжился от уступчивости размазни князя Львова.

Вчера заседали в большой комнате, с окнами на Исаакиевскую площадь. Сидели за подковообразным столом, правительство – по внешней стороне полукруга, Совет – по внутренней. Керенский – на самом краю, отдаваясь, как если б он не имел отношения ни к тем, ни к другим.

Хотя уже отошло заседание правительства, ещё было не поздно. Но заседание Контактной комиссии изнурительно затянулось в споре об Учредительном Собрании.

Одна штора была не задёрнута, и виднелись огни «Астории», уличных фонарей, полная темнота там, где громоздился Исаакиевский собор, а иногда по площади проносились световые снопы автомобилей или покачивались точки свечных извозчичьих фонарей.

Собственно, обе беседующие стороны начинали понимать, что появлением Учредительного Собрания они обе отменяются. И поэтому спешить с Собранием не было выгодно ни одной из них. Но и много раз уже было заявлено, что война не мешает созыву. Однако если Львов смущённо оправдывался, что практически невозможно созвать в мае-июне, как обещали, чтобы приготовить абсолютно-демократические выборы, – значит, не раньше всё-таки осени, – Совет показно настаивал, чтобы летом.

Согласились, что должна выбирать и Действующая армия. Должны выбирать и

женщины. Согласились, что подготовку выборов будет вести совместная с Советом комиссия. Но не сумел отстоять князь Львов даже – чтоб Учредительное собралось в Москве. А Нахамкис гремел не по-комнатному:

– Вы хотите увести Учредительное Собрание из-под контроля революционных рабочих Петрограда?

От безответственного его наседания Керенский внутренне извивался. Он уже понимал, как трудно устроить эти выборы, так легко пообещанные. И не видел, почему наотрез надо было отказывать Москве, где его принимали столь восторженно. И представлял, сколько ещё столкновений с Исполнительным Комитетом будет при подготовке.

Но его двойственное положение не давало ему возражать, и он молчал.

И только после заседания остался наедине с князем и резко выговаривал ему за недопустимую слабость.

Конечно, приходилось работать с тем правительством, которое составилось. Лицезреть вечно заспанного недотёпу Щепкина, рядом со Львовым. Приходилось терпеть недостатки и своих союзников. Например, Некрасов не делал ни одного сообщения, чтоб не кланчить повисить оплату кому-нибудь из своих подчинённых, ища у них популярности. То предлагал отменить закон о лиходеательстве – чтобы дающий взятку не подлежал суду, тоже кому-то обещал?

Как раз на вчерашнем и сегодняшнем заседании много и почти сплошь министры просили денег. Шингарёв – повисить суточные продовольственным комиссарам, Милюков – пособие нашему посланнику в Швеции. Коновалов – пенсий для увольняемых начальников Неокладных Сборов и казённой продажи питей, и на покупку угля для уральских заводов – полтора миллиона, и просто на усиление штатов министерства один миллион рублей. Некрасов – восемь с половиной миллионов на усиление оборотного капитала железных дорог. Сам Керенский – воспособления амнистированным, возвращающимся из Сибири. Терещенко – увеличения заработной платы рабочим Монетного Двора, а для Экспедиции заготовления государственных бумаг, которым особенно много придётся работать, он просил сверхурочные, пособие по вздорожанию, процентные прибавки плюс полуторамесячные оклады большинству.

А сверх этих всех, подряд удовлетворяемых просьб не мог не встать, и когда-то должен был встать, и Терещенко вымолвил наконец вопрос: какое же месячное содержание назначить самим членам Временного Правительства?

Ведь они уже 12 дней состояли в должностях.

Наступила пауза. Никто не хотел предложить первый, и неудобно было высказаться слишком определённо. Всем понятно, что несправедливо было бы министрам свободного правительства назначить содержание ниже, чем министрам лакейского царского правительства. А вздорожание военных лет даже могло потребовать некоторого возвышения окладов.

Но никто не был готов первый предложить. И сформулировали так: просить министра финансов представить сведения об окладах прежних членов совета министров и свои предположения.

Других крупных вопросов не возникло. Отменили правила чрезвычайной охраны на железных дорогах. Приостановили мобилизацию труда инородческого населения империи: этот вопрос должен быть решён более гуманно в соответствии с основными началами нового государственного строя. Отменили именование придворными чинами, званиями генерал-адъютантов, флигель-адъютантов и всех других. А когда Гучков – в виде насмешки? – поставил вопрос об изменении порядка передачи наследникам оставшихся от убитых казаков сёдел – не стали рассматривать, мозги усталые напрягать, а – передать Государственной Думе, ей всё равно делать нечего.

Настолько Керенский созрел и создан был к движению, к ракетному движению – лететь, прочерчивая русское небо, появляться, быть показанным, произносить вдохновляющие речи, решительно всё ломать и переделывать, – что всякая заминка,

остановка, вот эти многочасовые закислые, непламенные заседания просто нервы ему надрывали. Вот был Родичев министром Финляндии, пост его быстро упразднился (Керенский этому содействовал), и на днях надо ехать кому-то в Финляндию, произнести там несколько речей, – Керенский взял это на себя. (Он обожает финнов!)

В правительстве было тесно не от князя Львова, – Львов, конечно, старая галоша, но это со временем решится. Раздражающей помехой был, во-первых, Милуков, напыженный на своём министерстве, пока неприступный, но конфликты с ним предчувствовал Александр Фёдорович впереди. И ещё более чужая сила – Гучков. Нельзя было разумно понять его право быть военным да ещё и морским министром.

А сам Александр Фёдорович – насколько больше бы подошёл к этой роли! Как бы он выглядел, перетянутый мундиром по стройной фигуре! Как бы носился с фронта на фронт (да вот, в сохранённом царском поезде) – и как бы воодушевлял войска! Насколько бы легче и воздушнее всё совершал! (Да вот – гневался Совет, что в Ставке заговор, – и что же мешкал Гучков? И кто же раньше настиг казачий штаб карающей десницей? – генерал-прокурор!)

Юстиции? Но юстицию Керенский уже за эти 10 дней преобразил фантастически, уже сформовал новую русскую юридическую эпоху – и мог теперь перенестись дальше. Что ж, не ему достанется возвести юстицию на окончательный пьедестал – но в избытке таланта он рвался на следующий пост! (А пока – отчего не сделать и доброе дело? Он и всегда понимал, что Горемыкин – нафталиновая шуба и ни при чём во всех событиях, а Голицын попал как кур в ошип, тоже ни при чём, – арестовали громко и хватит, – можно их теперь освободить из заключения, только как-нибудь понегласнее, чтобы скандала не было от Совета. И даже самому съездить в крепость, пусть старики запомнят, и история тоже отметит.)

Сдерживая вызов, Керенский помётывал взглядами на Гучкова. Нет, стар он уже, упустил лучший возраст и нет у него чувства ритма революционной эпохи. Сам для себя. Керенский решил заглянуть глубже: что там делается внутри гучковского министерства?

598

Это и есть настоящая жизнь: когда ты нужен обществу каждой своей клеткой, с головы до ног, сразу в десять мест и все 24 часа в сутки. Как-то с Нусей за поздним ужином захотели подсчитать, сколько ж у него обязанностей и постов, – она взяла бумажку, стала писать – а он заснул, локти на скатерть.

Лихорадка революции схлынула, а натяжения, в которых жил Ободовский, не ослабели ничуть. Министр промышленности Коновалов предлагал ему пост своего товарища, – отказался. На него и так теперь было взвалено Особое Совещание по снабжению металлом оборонных заводов. Особыми Совещаниями до сих пор командовали только министры, а он никто, – а надо создать его в неустоявшейся обстановке, да не Совещание, но чтобы заводы получали реальный металл по железным дорогам, взбудораженным той же революцией.

Одно это Совещание должно было захватить всё время Петра Акимовича. Но как только 10 марта достигли соглашения с фабрикантами о 8-часовом рабочем дне для Петрограда, – Ободовский поослабил внимание к заводам, а тут же кипливо взялся за свой Военно-Технический комитет: провести сейчас быструю технизацию нашей армии, даже за полгода достичь германского уровня, а то и выше. До революции его проекты залёживались в Управлениях на зелёных скатертях. А сейчас пали Управления, а руки Ободовского освободились. И уже 11 марта он провёл через Военную комиссию, а 12-го опубликовал в газетах как Приказ: «О расширении деятельности Комитета Военно-Технической помощи». Поручалось ему (он сам себе поручал): устраивать при армиях телефонные, телеграфные, радиотелеграфные, прожекторные и электротехнические школы, и мастерские для ремонта всех этих аппаратов, электростанции для электризации проволочных заграждений, и получать все нужные приборы и аппараты внеочередно с заводов, а сносясь с начальниками воинских частей – забирать от них инженеров и студентов, кто в должностях не по

специальностям.

И, собственно, ничего увлекательнее вот таких задач Ободовский не знал. Однако азарт его теснился той же Военной комиссией – ждали его и там, а вот Гучков уезжал – и членам Военной комиссии, по очереди, и Ободовскому тоже, доставалось вести приём фронтовых делегаций, желавших выразить военному министру патриотические заверения и получить объяснения о положении в Петрограде (как будто сторонний человек мог бы эту дичь понять!).

А ещё же Ободовского ждали на заседаниях Поливановской комиссии по демократизации армии. Хотя по более понятной ему заводской обстановке Ободовский начинал уже бояться размаха этих демократических начал, но из-за хаотических крайностей не могло же возникнуть принципиальное сомнение в самих началах, – иначе зачем же и революцию производили. Если, как предсказано,

Вынесет всё! – и широкую, ясную

Грудью дорогу проложит себе, -

то эта широкая ясная дорога только и могла быть дорогой широчайшей демократии – и только она могла насытить аппетит века и удержать Россию от перехода в бесцветный социализм. Удержать на грани перелома, на грани срыва – всегда трудно, но в этом искусство и задача. Так и в армии. Дисциплина не могла остаться в прежнем виде, но получить гибкость, раздвинуться, – однако ведомая патриотическим чувством и широким умом. И в этом смысле даже те генералы, которых Гучков подобрал в поливановскую комиссию, оказались косными, они лишь тужились казаться демократами, но не успевали за быстрым дыханием реформы. И Ободовский придумал сколотить внутри поливановской комиссии отдельно как бы «демократическую группу»: толковым и смелым собираться ещё отдельно и готовить общую линию напора. Но и такой бывал изворот у этих генералов и честолюбивых полковников, что только бы услужить новому режиму, хоть и развали армию, – и он, гражданский человек, должен был остерегать их!

А тут с другой стороны, из солдатской секции Совета, опубликовали «Декларацию прав солдата» – так Ободовский совсем за голову взялся: что ж остаётся от офицерства в армии! И это – прошло совсем вне поливановской комиссии и военного министерства!

Особое Совещание по металлу Ободовский собирал в Таврическом. Но упирался в десятки вопросов, которых нельзя решить без правительства, – и приходилось ехать в Мариинский дворец.

Сегодня он встретил там на белостенной лестнице с белыми бюстами античных героев – быстро спускавшегося Керенского, издали заметного по австрийской куртке в осиную талию, короткому бобрику и нетерпеливой походке.

Пожалуй, вот этой быстротой, гонкой торопливостью поспеть во сто мест, Керенский нравился.

Ободовского тот знал в лицо, уже намелькались за дни революции, и сейчас, полусбегая с лестницы мальчишески-лёгким шагом, узнал – кивнул – пролетел ещё шага два – но тут же позвал, не помня имени-отчества:

– Господин Ободовский! Одну минутку!

Пётр Акимович не так же быстро шёл вверх, как тот вниз, ещё поблизости обернулся – а Керенский взлетел на эти ступеньки назад – и на этот раз уже тянул, жал руку, не совсем и без силы была его рука.

Двое, вроде адъютантов, бежали позади Керенского, – теперь они тактично отошли на другую сторону лестницы.

Хотя Керенский шёл, очевидно, после заседания правительства и после уже многих часов работы в разных местах, – но вид у него был совсем свежий, даже весёлый:

– Господин Ободовский! – он легко поднял палец, как бы, однако, призывая ко вниманию. – У меня есть одно... у меня к вам один...

Нет, поблизости лицо было у него несвежее, но очень решительный вид. При улыбке обнажался верхний ряд зубов, а веки полуопущенные.

– Такой вопрос, – негромко, но ласково, но и властно говорил он. – Я бы хотел немного познакомиться... вникнуть... в военные проблемы. М-м-м, – снял серьёзность, искупил руладой, – в порядке самообразования. – И уже доверчиво, одобрительно, наградительно: – Не могли бы вы ко мне привезти, вечером, побеседовать, несколько умных полковников из Военной комиссии?

Сощурился ещё у же.

Странно. И лично Петру Акимовичу это было совсем ни к чему. И почему опять именно он, гражданский инженер, должен был собирать полковников Генерального штаба? Но с другой стороны, устроить подобное ему было совсем легко. А с третьей – не умел он вот так в глаза сказать дружелюбному человеку: а не пошли бы вы прочь?

– Ко мне, в министерство юстиции, вечером, попозже, – уточнял Керенский как уже о решённом.

– Да, но... – замылся Ободовский, – об этом должен был бы знать военный министр.

– Ах, Гучков, – сухим коротким смешком засмеялся Керенский. И разрешил: – Ну конечно. Ну конечно.

И добавил, зачем-то смотря на наручные часы:

– Только... послезавтра я в Финляндии... Так хорошо бы завтра вечером, перед поездом, часиков так в десять.

599

Два генерал-лейтенанта, два корпусных командира и два ровесника – они всем телом и видом рознились, и только разве тем схожи, что речь обоих была хрипловата и недлинна.

Крупный грузный Крымов сидел в кабинете Корнилова, на широком стуле едва помещаясь и уже навалив половину хрустальной пепельницы махорочного пепла, а под высокий потолок наоблачив дыму.

Сухонький калмыковатый сдержанный Корнилов иногда присаживался за слишком большой стол, в слишком широкое кресло командующего, а то вставал и прохаживался по ковру тонкими ногами в бесшумных сапогах без шпор, крадущимся шагом разведчика. Подходил к одному из окон – все четыре в ряд от пола, высокие, все на Дворцовую площадь, – и постаивал, поглядывал туда – так же хмуровато, как и на собеседника. Это исконное у него было выражение, будто он чего-то недопонимал.

– Ни одну часть из Петрограда убрать не имею права. – Перешёл. – Они сковались как круговой порукой. – Перешёл. – Конечно, надо расчищать, не могу. Да пулемётные полки, сколько стволов, во всей армии не намного больше. А они тут в разврате. И не могу.

– Так отбери у них пулемёты!

– Не могу, – косоватыми сабельными бровями.

– Так кто же ты? никто? – обдымливался Крымов. Он не любил европейского выканья и всегда прорывался на русское ты, где только можно, даже и с первой беседы. – Не можешь выпереть этих – подтягивай крепкие части с фронта.

– Не имею права, – сухими плечами.

– Как? – и **взять** не можешь? И – привести?

– Не имею права, – из-под литых усов, холодно, как не про себя.

– Так какой же ты к чертям командующий?! Я б – минуты не оставался.

И смотрел на Корнилова по-медвежьки. Вот это Крымов и хотел понять: почему Корнилов в таком положении остаётся командующим? Просто ради почёта? Или – затаился, а есть свой план?

Корнилов провёл по усам маленькой рукой с массивным кольцом белого металла. Молчал.

Узкие глаза, закрытый, так легко его не поймёшь.

– Да от наших генералов – и весь разврат, – признал Крымов. – Спешат, не знают, как лучше... подлизать. Ну и кем Гучков себя окружил, вот я не ждал! – кальсонщиками, им на

складах считать, а не генералы! Что это? – честь отменили, дисциплинарные взыскания отменили, даже «проступки» отменили, – а есть только «недоразумения»! А ещё – и офицеры выборные? Да бабьей метлой такую армию разогнать, это уже не армия.

Густо дымил.

Корнилов малыми шажками похаживал молча, непроницаемый.

– И Военный Совет – идиот на идиоте, – пыхтел Крымов. – Спешат засвидетельствовать солидарность, как легко армию растряхивают. Будто сами сроду не служили, старые пердуны.

Поджёт одну от другой.

– Ещё этот борода-лопата Иванов, дурак. Он-то всё и погубил, первый. Он-то почему в Петроград не вошёл? Самый первый всё держал в руках. Уж один-то боевой полк у него был, Тарутинский, а больше и не надо. Ещё когда сволочь не укрепилась – почему в Петроград не вошёл? – насупленно допрашивал Корнилова, будто тот и не вошёл.

Да на ту же должность и стал.

А вот пойдёшь его разгадай.

– А то есть и главнокомандующие, – гудел Крымов из бочки-груди, – которые красные ленты перед солдатами цепляют. Нашли хороший способ карьеры.

Он о Брусилове говорил.

Но адмирал Максимов проявился и похуже.

Да не мог Корнилов иначе думать, чем Крымов, не мог! И Крымов решительно:

– Тебе надо делать ставку на казаков! Два казачьих полка у тебя есть, что же ты?

– Петроградские казаки сейчас – не казаки, – не протронулся Корнилов. – Они красуются – толпе понравится. В революцию им тут хлопали. Сейчас думают – как бы им на Дон уйти. Вот и всё.

– Да что ты?! – Уверен был: – Не, мои – не такие.

– Поопасись, – возразил Корнилов узко сдвинутыми губами. – Дойдёт и дотуда.

– Не дойдёт! – Уж когда Крымов что в голову вбил – он возражений не признавал.

– До чего может дойти, – хмуро цедил Корнилов, – мы с тобой просто и вообразить не можем. Сукиных сынов если начинать считать, так... с Таврического.

Нет, он был свой! Ну-ну!

– А ты слышал, что шайка приказала? Считать уже принятую присягу недействительной! А? – Крымов гулко хохотал. – Шайка запасных отменила присягу!

А Корнилов совсем не весело шурился: до тебя далеко, а до меня дошло.

Отложил, погасил Крымов всякое курево, хлопнул по столу:

– А училища у тебя как?

– Юнкера – хороши. Одни они службу несут. Вчера в Павловском был. Отличный парад, отвечают дружно, под левую.

– И сколько у тебя всего юнкеров, со старшими кадетами? Тысяч десять?

– Около.

Большими лапами схватился за большие круглые колени – и закачался медведь:

– Так надо дело спасать, Лавр Егорыч! Ведь *такого* Россия не перескочит. Надо – армию спасать.

Корнилов остановился против, как влитой. Сощуренно смотрел.

– Я всё ж думаю – как-нибудь вытяну гарнизон. Конечно, все твёрдые меры у меня отняты, да и нечем их применять... Ну вот начали приезжать делегации с фронтов. Я их посылаю на заводы. Они – в боевом снаряжении туда ездят.

– И что?

– И – проверяют. И тычут: почему, мол, вооружения нам не делаете? И по частям гарнизона.

– О-о-ох, – перекопился Крымов, как штык ему в бок. – Ещё кто кого переговорит. Добрая слава лежит, а худая бежит. Как бы эти делегации, наоборот, фронта не разложили. Ведь и от Петрограда к нам ездят?

– Ездят.

– Ну вот, наездят. – И лапу на стол. – Нет, Лавр Егорыч! Россия этого не перескочит. Запускать эту заразу нельзя, потом нам всем же тяжелей придётся. Петроград надо **расчистить**, иначе нет дороги.

– Кем же? – сверлил Корнилов.

– Кем? Да училищами! юнкерами и кадетами! – размахнулся спешенный конный, ему всё было ясно и легко со стороны. – У вас тут всё парады – вот и собери их всех на один парад, но с боевыми патронами. С оркестром веди к Таврическому. Да и разгони этот Совет собачьих депутатов. И всё! И всё.

Всё было ему ясно.

Глаза Корнилова взблеснули угольками. О юнкерах он уже думал. Юнкера честь-то отдают, но для многих их: вот кончился распутинский позор, наконец свобода. Ещё – пойдут ли? А за старших кадетов – родители расквохчутся: мы отдавали детей на учење, а не на войну.

Да вообще в этом каменном нагороженном городе был Корнилов – как у австрийцев в плену, всё чужое.

Да ещё Совет депутатов – он бы без трепета разогнал, – но правительство его о том не просит, и будет недовольно, или даже разгневается, – как же на правительство руку поднять? на Гучкова?

Служба есть служба. Крымов наехал – Крымов уехал, а кому тут досталось – послужи. Да и Крымов же не против Гучкова советовал.

Но говорить Корнилов был не мастер. И только:

– Как же так, Алексан Михалыч?... Во время войны?

– Так именно во время войны! – опять припечатал Крымов. – А то бы – сполагоря!

В кабинете была открыта форточка – и вдруг стал доноситься оркестр военной музыки.

Приблизился со стороны Миллионной.

Но это была не поганая марсельеза. Крымов первый узнал:

– Павловский марш.

Только после этого влетел адъютант и запыхавшись доложил, что Павловский батальон идёт на Дворцовую площадь на парад.

Темнокожий Корнилов, кажется, не мог покраснеть – а жар в щеках: не догадался бы Крымов, что парад назначен без командующего.

– Да, – как будто вспомнил он. – Придётся мне пойти принять парад. А ты – не уходи, посмотри из окна, какие у нас теперь парады. Павловский считается из первых революционных. Он – как бы начинал, и ревнует к Волынскому.

Крымов переколыхнулся мрачно к окну, добра не ожидая.

Смотрели.

– А это что во главе такой молодой? Капитан, что ли?

– Избранный, – вздохнул Корнилов. – Не велят снимать.

– И-и-избранный, – прогудел Крымов. – Небось, солдатам подмазывает.

Колонна уже выходила на Дворцовую и как раз заворачивала по дуге Штаба, чтобы сделать петлю. Оттого она приблизилась, повернулась сюда красными пятнами плакатов, отвлекающих и от вида и от строя, от формы, от лиц, и можно было читать: «Да здравствует Временное правительство!», «Да здравствует Совет рабочих депутатов!»

– Тьфу, оскомина, – отплюнулся Крымов только что не натурально на ковёр. – И ты пойдёшь их принимать?

Лицо Корнилова было темно, угнетено, но и фаталистично. Движение перемены или гнева не пробежало по нему.

Но подходили следующие плакаты – от сердца отлегалось: «В единении – сила». «Граждане! Подумаем о наших братьях в окопах.» «Победим или умрём!»

– М-м-мн-ничего, – курильно прокашлялся, пробулькал в толстом горле Крымов. – Да и идут, мерзавцы, не так плохо.

– Даже хорошо, – отлегал у Корнилова. – Видишь, всё ещё можно исправить, силы добрые есть. Только надо их поддержать да соединить.

«Отложим личные счёты!» – был следующий плакат, даже умильный.

А за ним опять: «Да здравствует» – на этот раз – «Учредительное Собрание».

А оркестр тем временем перешёл на марсельезу.

Отвернулся Крымов и ушёл в своё кресло.

А Корнилов надел шинель, фуражку. Со стороны ругать – всегда легко, но если тут что-то хочешь делать, то надо в чём-то и уступить, в чём-то и потерпеть. Уж он не признался Крымову, язык не извернулся, что сам написал в два штаба фронтов просьбу допустить туда к ним депутатов от петроградских батальонов. Он думал так почерпнуть от Действующей армии силу своему гарнизону. Этим гарнизоном он командовал – и должен был его спасти.

Вышел на площадь. Погода была предурнейшая, слякотная, грязная, лужи. Но, как и к волынцам, – натягивало любопытствующую бездельную публику.

Стал обходить фронт – стояли молодцами, отвечали дружно, громко: «Здравия-желаем-господин-генерал!» (Уже не сбивались на превосходительство.)

Стал речь говорить. А о чём? – всё о том же. Что нужна крепкая дисциплина. И спайка с офицерами. (Да половину их уже прогнали.) А со стороны офицеров – тёплое заботливое отношение к солдату. Твёрдо всем стоять на защите нового строя. Да здравствует Павловский полк в окопах!

И лица солдат были вполне довольны вниманием.

Да не может быть, чтоб не было пути к их сердцам. Русские воины – очнутся.

Перестроились в колонну поротно. Переняли – очень недурно – ружья на руку, по полковой традиции. И – пошли печатать, небрежа слякотью, очень собой довольные.

Солдаты – те же дети.

Корнилов отрывисто благодарил проходящие роты за отличный воинский вид.

Его – опять подхватила толпа на руки и понесла в штаб.

Дети.

600

Идя на войну, уверена была Таня Белобрагина, что, останься жива (а лучше – умереть), – ни за что не вернётся в Новочеркасск. После смерти матери – близких тут не было у неё. только родня подальше. Вернуться туда, где любовь её была обманута и унижена, – и на какой-то улице вдруг встретиться *с ним* ? и *с ней* ?

Но отбыв два года тяжкого немецкого плена – не ей тяжкого, а нашим страдальцам-солдатикам – с первой осени в лагере Гаммерштейн, без барачных землянок, на голой земле, голодали и косил сыпной тиф, и потом цепь лагерей, где пленных могли загнать побоями в торфяное болото и не выпускать оттуда, или, в Ортельсбурге, застрелить пленного за то, что развёл огонь для чайника не в положенное время, заколоть штыком за то, что унёс две картофелины с кухни; беглецов привязывали к столбу, ноги на весу, на неделю, и круговые наказания всем за побег одного-двоих; где собирали корни, где отбросы из помойных ям, и к привозимой группе сестёр тянулись с жалобами на многие болезни и болячки, которых знать бы не знали в молодом теле, а в твоих руках почти никаких лекарств; – перед этими отрогами скорби начисто иссякла, излечилась, даже уже с недоумением вспоминалась боль самой Тани. И когда она попала прошлой осенью в возвращаемую партию пленных сестёр, вернулась в Петроград (получила там георгиевскую медаль 3-й степени) – то без колебаний отлилось в ней: конечно в родной Новочеркасск, где родилась, училась, стала сестрой, в неповторимую раскинутую просторную казачью столицу – с её крутыми бульжными взъёмами, лещадными плитами тротуаров, ракушечным устилом нежных бульваров, садами, садами, замкнутыми в заборах при сотнях нескученных деревянных и каменных особнячков, ветровой Соборной площадью у купола-шлема и плечей несравненного Собора, бородатым Ермаком с протянутой на ладони подарком-державой,

пирамидальными тополями по Московской, раскидистыми туркестанскими по Платовскому и Баклановскому, дальними видами на аксайские луга, – да нет такого второго города в России! И вернулась. И стала работать в больнице Общества Донских Врачей на Ратной улице. Непереносимое в 20 лет – к 22-м пережито и отвалилось.

Тут и застал Таню новочеркасский переворот с его странностями: составлявшее дух города важное казачество и казачье чиновничество – враз куда-то заглубилось, отошло, в свои особняки? Атаманом Дона! – стал заведующий портняжными и сапожными мастерскими военно-промышленного комитета. А власть в городе, безо всяких выборов, захватил комитет из натолкавшейся образованной не казачьей публики, объявил же себя Областным Исполнительным, то бишь – власть на весь Дон, занял Атаманский дворец и стал распоряжаться не только по Новочеркаску – распустили городскую думу, упразднили полицию, взяли телеграф и почту, призывали обывателей сообщать, где таится скрытый товар, он будет без уплаты стоимости конфискован в пользу населения, – но и по всему Дону смещали с должностей, и даже окружных атаманов, не спрашивая те округа, лишь не тронули пока Войсковой атаманский штаб да не смогли сменить начальника юнкерского училища генерала Попова: юнкера заявили, что будут защищать его с оружием в руках!

Эта мальчишеская отвага – звоном отозвалась в таниной груди! Не за короткие недели фронта в Восточной Пруссии, но за два года плена она ощутила себя военным человеком. И отец – войсковой старшина, погиб на японской. И Мариинский институт кончала, для военных дочерей.

Но рядом с «Областным исполнительным» комитетом быстро вспухало чудовище и похуже: Военный Отдел. Отдел – будто бы того комитета, а по-верному – отдельная власть над городом крикунов из солдатского гарнизона. В Новочеркаске стояло два не донских запасных полка, их 16 тысяч, в Отдел полезли все, у кого глотка, или жажда власти, или жажда мести, – и в руки этой орды попала казачья столица. Заняли протяжное здание областного правления у крутого булыжного Атаманского спуска – и там вседневно кипел их солдатский конвент. Малочисленные голоса делегатов казачьих частей там были забиты и запуганы двумя бешеными жожаками – армейским поручиком Арнаутовым и есаулом Голубовым, всякое выступление против них объявлялось контрреволюцией. Голубов на солдатском митинге в Хотунке сорвал с себя погоны: он – стыдится своего офицерского звания, а кто ещё носит погоны – тот контрреволюционер. И хотя сам он казак, но в борьбе за солдат и крестьян готов отдать последнюю каплю крови. (Потом огляделся – и снова те погоны прицепил.) Этот Голубов был – ватажник «сарынь на кичку!», и когда говорил перед толпой, то злобно захлёбывался – но и толпу увлекал. Но и обдуманые же листы «Известий Донского исполнительного комитета» печатали для Новочеркасска и Дона: «Покончить с казачьей гегемонией. Казаки – приверженцы буржуазии, отразить их удар. Сплотить крестьянский фронт для укрепления завоеваний революции.»

Казачье население Новочеркасска было враз сбито и ошеломлено: у себя дома – они оказались совсем не дома! И даже громко голоса подать нельзя – а только друг к другу домой ходили и приглушённо гуторили. Молча отступившее, не высказанное, но потрясённое казачье несогласие.

И при такой развязке глоток от Военного отдела – что же творилось с солдатской тучей? И на улицах и во всех залах Судебных Установлений кричали: не верьте офицерам! бойтесь казаков! тех и других надо **бить** ! И прямо казакам: «Доберёмся до вашей землицы! довольно поцарствовали! Теперь все равны!»

И всё больше пьяных солдат на улице. И начались грабежи домов. И на памятники Ермаку и Платову цепляли оскорбительные для казаков скабрёзные рисунки и ругательные надписи.

И это – неужели же были те самые братцы, те самые страдальцы, на которых изливалось мукой танино сердце в германском плену?? Не те самые – но ведь братья же тех? Но ведь каждый мог попасть не сюда, а туда? не туда, а сюда?

Однажды на пьедестал Ермака рядом с Арнаутовым взобрался кряжистый вахмистр

Подгорнов, да в простоте казачьих ухваток закричал:

– Эх, Ермак Тимофеевич! Что ты стоишь и молчишь? А дай-ка Арнаутову по потылице, всё он брешет, сукин сын! Когда ты Сибирь брал – не было розни между казаками и крестьянами, вместе шли! Брешет, а ещё поручик. Нехорошо, господин офицер!

И – сбил Арнаутову выступление, гоготала толпа.

Слухи о том, что в Новочеркасске всем вершат солдаты, доходили до станиц – и станицы похмурились. Какие-то неизвестные у власти, начиная и с этого атамана Волошинова. Стали окружные комитеты там да там – не подчиняться Областному.

А среди всего беснования этих двух недель – держался нетронутый, каким и был, Войсковой атаманский штаб. К нему и тянулись последние казачьи надежды.

И вдруг вчера к этим полковникам прислал Военный отдел – своего *комиссара* : рядового солдата Рябцева.

А Войсковой штаб, с достоинством, - **отказался** его принять!

Тогда Голубов и Арнаутов потребовали, чтобы Войсковой штаб в полном составе – ушёл!

А Войсковой штаб – отказался!!

Голубов бушевал: всех переарестовать!

И вчера же Областной комитет, своим порядком, выпустил воззвание: в октябре будет создан Донской областной съезд – а до тех пор комитет будет стоять на страже народных интересов и завоеваний революции.

То есть: растянуть свою власть до октября?

А почему *областной* съезд, а не *войсковой* ? Чтоб обошлось без строевых казачьих частей? опять подавить казаков?

И тут же вдруг подоспела, напечатали, телеграмма от Гучкова: разрешает комитету временно управлять Донской областью.

Только **теперь** разрешает? А они, злыдни, – уже что намесили, накруговоротили?!

И в несколько часов – замелькали казачьи смельчаки по городу: в Войсковой штаб, из штаба.

Немедленно учредить наш Донской Казачий Союз!

В другом бы русском городе – как объединиться? А мы – донцы, вот и сразу все вместе. Дон – это **наше** !

А – где собираться? Все общественные здания уже захвачены *ими* .

А у нас же есть в Новочеркаске – ещё Новочеркасская станица, отдельность одних казачьих жителей. И её правление близ соразмерно стройной Троицкой церкви – сегодня к вечеру принимало устроителей Донского казачьего союза.

И Таня с колотящейся страстью – поспела сюда. И её, в сестринской повязке и с георгиевской медалью, охотно приняли, потеснились.

Вот это воины! Давно бы так! Там где-то гудят, сколачиваются арестные отряды – а мы открываем здесь **нашу** сходку!

Простые военные казаки, синие кителя, красные лампасы, вперемежку с казачьими офицерами – и сколько-то штатских стариков, своих, казачьих, – жили городом, считали, что у нас умов интеллигенции полно, – а она на поверку вышла не наша. И вот – среди нас нет имён.

Но есть – сердца. И сабли.

Казаки – хотят быть хозяевами своего исконного края!

Дон – для казаков!

Наболела казачья душа, пора объединиться! Плечо к плечу! стремя к стремени!

Председатель – есаул. Докладчик: с казачьих вольностей спали вековые оковы. Но для защиты казачьих интересов... Единая казачья семья, свободная от партийности... Исторические основы казачьего самоуправления и уклада... Восстановить их, используя революцию. Областной комитет ведёт к тому, чтоб обезличить Новочеркасск как духовно-культурный центр войска. Конечно, мы будем в содружестве и с донским коренным

крестьянством. (Иногородних в области уже больше, чем казаков.) Но юртовая и войсковая земельная собственность казаков должна остаться неприкосновенной как их справедливое достояние.

Теперь Казачьему союзу – собираться ежедневно! Изберём депутацию к новому атаману: собирать съезд не областной – а *войсковой*, и не в октябре – а в апреле, теперь же!! Областной комитет – пусть себе будет этот месяц, до съезда, но мы учредим Донской Казачий Совет – и взовём к станичникам собирать союзы хуторские, станичные, – и слать посланцев к нам. Собирайся, донцы, во единый круг! Будем готовить учредительный Войсковой Круг! – первый свободный от до-Петра!

Таня смотрела на седоусых старших офицеров – но оглядывалась и как в дверях столпились с блистающими глазами новочеркасские гимназисты и реалисты. И что эти тоже здесь – ах, хорошо!

Вот, кажется, и нашла себе Таня место: она – будет в Казачьем Союзе!

Наступай, наступай, Голубов, посмотрим!

601

По вечерам, если не боевая обстановка, генерал Савицкий любил отдых и простую домашность: выше пояса вместо военного была на нём тёплая вязаная кофта верблюжьей шерсти, а на ногах – тёплые чуваки. Зеркало кафельной печи хорошо нагрето: весна не весна, а пока можно в суше да в тепле – так надо. Ещё очень любил Савицкий всякое хозяйство – и дивизионное, и штабное, и своё собственное, – вот, расписной заварной чайничек с надколотым носком, возил не бросал, ложечки, сахарные шипчики, всё кусок дома.

Позвал начальника штаба чайку вместе попить.

– Вот, Иван Харитоныч, упаси Бог от этих приездов. Это – ещё умеренные, а приедут крайние?

В комнате-кабинете с углубными плюшевыми креслами один стол был с бумагами и телефонами, один под картами, а третий под чаем. Подле него и уселись теперь. Стояла на столе наблещенная 20-линейная яркая керосиновая лампа. Чтёные газеты, по недостатку места или непочтению, свалены были на пол у стены.

Из стакана в серебряном узорном подстаканнике с семейным вензелем Савицкий отпил свой коричнево-бордовый, настоенный, не ослабленный лимоном.

– Голова кру гом идёт. Не сплю. Ведь мы кончаемся... Развал идёт на нас, как по широкому участку пущенный газ.

Высокий суровый полковник сидел недвижно. Что ж тут и говорить.

Савицкий шурился:

– Если б я сейчас мог спасти дивизию тем, что арестовать полдюжины комитетов, – я бы без колебания. Но дело зашло так, что уже и этим не спасёшь. Обычными методами военачальников – мы уже ничего не спасём. А вот я думаю все эти дни... думаю... Отколь гроза, оттоль и ведро. Надо – через верхи.

Начальник штаба удивился:

– Но вы ж их видели, Дмитрий Сергеич.

– А – не через этих. Именно, раз они такие, и *Раззянко* их такой же, – не через них.

В своей трогательной кофте Савицкий сидел, как хозяйка за столом, а решительность движения проявлялась и из-под этой вязи.

– Я думаю вот... Может быть, тот же наш командующий армией... Или даже выше... Просто не хотят взять на себя первой ответственности? сказать первое отчётливое слово против потока? А если я – возьмусь всё первый назвать? Поддам им чёткий рапорт, моя подпись, моя ответственность за каждое резкое выражение, – а им только двигать бумагу по команде до самого верха. Может и Ставке надо – на что-то опереться. Там, смотришь, и от кого другого поступит.

Встал, с отверделой спиной, распрямлённой шеей, уже не домашний старичок, только

что чувяками не печатая, прошёл к письменному столу, выдвинул ящик, достал хрустящие два белых листа:

– Соизвольте посмотреть, – отчеканил, подавая.

Начальник штаба, принимая лист – встал, звякнули шпоры, поклонился, и начал читать стоя, а сел не прежде чем сел и генерал.

Рапорт был написан чёрными чернилами, крупно, и почерк бы хорош, да чуть повреждён. (Ещё под Уздау прочеркнула Савицкому пуля три пальца понаружи.)

«Командующему армией генералу-от-инфантерии...

Командующему армейским корпусом генерал-лейтенанту...

«... Новый военный министр не знает ни уклада армии, ни её моральных потребностей, разве только материальное снабжение...» – сразу брал за рога. И правда, простой хрусткий бумажный лист, а что только можно в него вписать, если без увилистого красноречия:

«Без проведения через законодательный орган появился в спешном виде и сообщён телеграфно от имени военмина приказ об отмене ограничений в правах нижних чинов – под давлением партии социалистов, поставившей себе целью уничтожить Армию путём разложения нравственных устоев её. Под видом отмены ограничений в Армию вносится возбуждение солдат против офицеров. А совет министров и Комитет Государственной Думы продолжают взывать о единстве, как будто не знают или не понимают приказа министра...»

Вот так! Всем Сенькам выдавал по шапкам. Потягивал генерал остывший чай – и с волнением не спускал ревнивых глаз с полковника, угадывая, какое место он сейчас читает.

В таком же духе шло и дальше, всё энергично:

«Нельзя допускать в армию политику, агитацию партий... Армия разваливается сокрушительно. Никакие военные действия этой весной становятся не возможны. Для натур малодушных и подлых надо установить законом физическое наказание, – это есть даже в западных армиях, с культурными солдатами. И – оставить смертную казнь по приговору полевого суда, хотя бы для изменников-перебежчиков.»

И даже на Учредительное Собрание замахивался:

«Невозможно без главной части мужчин обсуждать образ правления, земельный вопрос, состояние сословий.»

– Ну, как?

Начальник штаба отложил листы на чистое место.

И правда, что мог иное сделать беспомощный начальник дивизии? Смело, чётко, и лепить им в лоб. Снизу вверх.

А это никогда не легко, снизу вверх.

– Ваше превосходительство. Боюсь, реальный результат будет один: через считанные дни – вам отставка. В порядке омоложения командного состава.

– Да пусть отставка! – махнул Савицкий, в гневе. – Я и жизнью не дорожу.

Да начальник штаба его знал.

И не знал.

Закинул голову:

– А если ещё и в газетах напечатать?...

Ого! Живо перенимал он образ действий эпохи! Против Гучкова – и гучковский же приём!?

Начальник штаба любовался своим командиром. И ужасался их общему бессилию:

– Газета, ваше превосходительство, в лучшем случае ответит: некоторые воинские начальники по своему политическому невежеству по сей день не уяснили подлинного смысла событий. Не через Гучкова, так через газету отставка ваша совершится тотчас.

– Но командующему армией это может дать опору формальную для протеста? для движения рапорта? Начальник дивизии – тоже не мелочь. И кому-то в Ставке пригодится такой рапорт? Во всяком случае, голос прозвучит?

– Честно говоря, ваше превосходительство, не думаю. Честно говоря: просто некому сейчас в России ничего дельного написать.

Савицкий твёрдо смотрел. Думал.

– Нет, всё равно пошлю. Завтра же.

602

И вот наступил великий день – день оглашения Манифеста «К народам всего мира». Пленум Совета намечался в самом большом зале Петрограда, какой только обнаружили: в Морском кадетском корпусе на Васильевском острове, думали вместить туда тысячи, может быть, четыре.

Гиммер не ожидал, что будет так волноваться. Представить себя сразу перед столькими тысячами, а слова бросать сразу ко всей Европе – это чем ближе, тем казалось грандиознее, и даже в груди пересыхало. Хватит ли голоса? Ну, в закрытом помещении легче, чем на улице. Да ведь не просто же прочесть готовый Манифест – он должен будет сделать распространённый доклад, найти ещё новые аргументы и построения и при этом не слишком рассердить оборонцев и не потеснить интернационалистов. Гиммер думал, доклад такой у него в голове готов, – нет, не готов, с утра понял. Но и удалиться готовить его – он тоже уже не мог, какая-то взволнованная потерянная рассеивала.

Итак, он пошёл на обычное заседание Исполнительного Комитета и полуприсутствовал тут, полуслышал, хотя ни в чём не участвовал, а заглядывал в свои хаотические листки и ещё дописывал сбоку. Переписать начисто и потом заучить или запомнить – уже и времени не оставалось, и усидчивости.

Заседание ИК началось с заявления какого-то шофёра, что ему известно, будто Горемыкин освобождён из Петропавловки. С подобными донесениями теперь многие пробивались в Исполком, они вызывали волнение, но большей частью оказывались ложными. Однако сопоставляя с рапортом георгиевских кавалеров из Могилёва, что вся Ставка – контрреволюционное гнездо? В «Известиях» уже появилась сегодня предупреждающая статья самого Стеклова – сильные статьи «Известий» выдвигались как вооружённые полки. А теперь ещё и освобождение Горемыкина? Да не готовят ли реставраторы этого старца в премьер-министры? Запросить Керенского.

В который раз возмутились Керенским: обязанный отчётом Совету, он никогда не отчитывался, не сказывался, не появлялся, совершенно обуржуазился. Даже на сегодняшнем пленуме, где он обязан быть, он конечно не будет.

Затем энергично докладывал Богданов, что Совет Рабочих и Солдатских Депутатов стал уже чрезмерен, неуправляем, нигде не помещается и работать не способен: там уже скоро две тысячи солдат, тысяча рабочих, это становится абсурд, а не законодательный орган. И нестерпимо такое соотношение: перевес мужицкого большинства, деревенской солдатчины, поглотившей революционный пролетариат. Надо изменить норму представительства, уменьшить общее число хотя бы тысяч до двух, и хотя бы уравнять рабочих с солдатами.

Но – как же это сделать? Изменённую норму – как же провести через сам Совет? Как заставить депутатов самих отказываться от своих мандатов? Навыдавали мандатов без оглядки, навывускали джинов из бутылки – а как теперь их заткнуть назад? Задача!...

Сметливый Богданов предлагал так: нынешний непомерно-громоздкий Совет оставить как он есть, но только для торжественно-исторических заседаний, как сегодня. А для сколько-нибудь деловой работы выделить из Совета или избрать отдельно – «малый Совет», человек на 500, а лучше на 200.

Но что ж толковать о Совете, когда нерабочим и громоздким стал сам Исполнительный Комитет? Уже и здесь набралось чуть не 40 человек, да сколько-то с совещательными голосами. Раньше Совета надо преобразовать сам Исполком. Уменьшить его нельзя, – но не избрать ли из него бюро, которое и будет решать все текущие вопросы?

Приходилось согласиться. Человек семь?

Тут же стали выбирать бюро. Соколов – опять опоздал, опять его не было, – будет жалеть, что не попал. А Гиммер – не стал уже ввязываться в бой, добиваться туда попасть, – да и зачем ему эти текущие дела. Он был – теоретик, он был – мозг. Незаметный, но вдохновенный, – он был истинный направитель всей российской революции. Достаточно было, что он состоял в Контактной комиссии и мог всегда проверять Временное правительство, это – главное.

Выбрали в бюро – Чхеидзе, Стеклова, Гвоздева, Богданова, Красикова, Капелинского и – не Шляпникова, а Муранова: появился теперь Муранов, он был как бы равен Чхеидзе по своему прежнему думскому положению, и все охотно приняли его.

Но ещё бы – кандидатов в бюро? Троих? Выбрали двух инициативников – Шехтера и Соколовского, да большевика Стучку.

Ещё поступило заявление от каких-то правозсеровских интеллигентов, что пришла пора выбирать по волостям Советы крестьянских депутатов, а по одному депутату от пяти волостей присылать в Петроград для Всероссийского Крестьянского Совета. Только ещё этого не хватало, как конкурента или как бревно на дороге? Традиционное увлечение российских интеллигентов мужитчиной уже просто било в нос. Но одно виднелось утешение: что такой громоздкой организации да в нынешних условиях – они и за три месяца не прокрутят.

Ещё возобновили существенный вопрос: об оплате труда членов Исполнительного Комитета. Невозможно держаться бесконечно на энтузиазме первых революционных дней: откуда же брать средства к существованию, заседая тут по 7 часов ежедневно? Да вообще, состоя членами реального как бы правительства России, неужели же мы не имеем права на достаточное вознаграждение?

Однако – сколько себе назначить? Слишком мало – обидно, слишком много – может вызвать рабочее неудовольствие, да ещё и – из каких средств платить? А Временное правительство насчёт 10 миллионов тянет, не отвечает. Поручили пока Брамсону изучить вопрос вознаграждения членам, и доложить Исполкому.

А заседание всё шло, шло. Долго подробно докладывала похоронная комиссия о плане похоронной процессии по городу. Марсово поле было всё не готово, только сегодня там начинали копку, а почва утолочена битым кирпичом и заморожена, теперь костры палить или взрывать. Жертвы революции всё не хоронятся, теперь откладывали ещё на неделю. Ожидали миллиона участников – и боялись Ходынки.

Ещё – проект создать союз чиновников с целью уничтожения бюрократизма.

Так – затянулось и затянулось заседание, пока уже не пригласили членов Исполкома к горячему обеду. И уже надо было собираться ехать в Морской корпус.

А Гиммер – так и не доделал своего доклада, не дописал, не переписал своих тезисов!

Теперь всему Исполнительному Комитету предстояло автомобилями переехать на Васильевский остров – целой вереницей автомобильной по Литейному и Невскому.

Но хотя автомобили Петрограда были, по сути, в распоряжении Совета – стали подсчитывать наличные, и что-то как будто не хватало, плохо распорядились.

Тут Флаксерман, жена Гиммера, она работала в аппарате Исполкома, – возьми и сбей на несчастье:

– Коля! А поедем со мной. Меня – особый автомобиль ждёт.

– Какой? Зачем тебя ждёт?

– Вот тут, в гараже, на Таврической улице. А ждёт – чтобы на Лиговку заехать в типографию, взять пачку «Известий», раздавать в Морском корпусе.

– Так это крюк какой!

– Да на моторе – одна минута, какая разница! Там – всё готово, нам только вынесут, и мы ещё раньше других будем.

Ну что ж, пошли в тот гараж. Оттуда выбегали автомобили, но всё не те. Стали искать. Нашли шофёра, но у него ещё не было ордера. Пошёл подписать ордер. Ждали. Пришёл с

ордером, стал мотор заводить – а мотор не заводится. Гиммер занервничал: пойти назад в Исполком? – но уже, наверно, все места разобрали. Да ничего, заседания Совета всё равно никогда вовремя не начинаются, подождём уж.

Наконец, мотор завёлся. Погнали на Лиговку.

В типографии не только не оказалось собранных «Известий», но даже тех людей, кто бы знал, сколько и где их надо собрать. Пришлось самим лазить по этажам, спрашивать, искать. Наконец – нашли, но теперь надо было искать, кто бы имел право всё это выдать и кто бы это перетащил и погрузил в автомобиль.

Ещё искали по тёмным коридорам, хлопали комнатными дверьми, пока нашлись люди, кто увязал кипы и донёс их.

Шофёр ждал супругов Гиммеров с негодованием: он и сам был член Совета и хотел присутствовать на пленуме, а вот из-за них... Не слушая оправданий, кинулся крутить ручку завода.

Но машина не заводилась.

Не заводилась, не заводилась – и куда ж было кидаться? Извозчика не найти, в трамвай не влезешь, а пешком – всё равно несравнимо дольше. Да каждую минуту, каждую секунду, с каждым поворотом ручки может завестись!

Гиммер искусал все губы, стараясь только не думать, не думать об идиотской глупости своего положения! Не умереть от бешенства, от разрыва сердца, от умоисступления, – что там думает Чхеидзе? Уже, наверно, начали! Но – как же начать без главного докладчика?

Вдруг – машина затряслась, крупными неровными дёргами. Шофёр поспешно вскочил, нажал – и машина понеслась бешено, прыгая по ухабам, по лужам и далеко на прохожих разбрасывая серый снег и грязную воду.

Завернули на Невский, глянула его дальняя прямота, ещё погудели рожком на проворно разбежавшихся прохожих – и вдруг опять остановились. Тряхнуло седоков вперёд.

В этой двухминутной скачке по Невскому Гиммер ещё не успел отойти от муки – как впал теперь в новую, безысходную. Опустил голову на свои бессильные руки и готов был завывать. Но и опять не было смысла срываться: редкие извозчики ехали – занятые, трамвайная остановка не рядом, вагоны обвешаны людьми – а эта чёртова рухлядь всё-таки способна завестись?

В таком корёженьи и с ненавистью глядя на жену, Гиммер произвивался эту остановку. А машина завелась! – и он своим давлением ещё поддавал передней стенке ехать вперёд! А когда опять заглохла резким толчком – стал впадать в транс равнодушия, уже начинали ему быть безразличны и свой провал, и что произойдёт на пленуме, – и не было энергии искать другой способ добраться.

Так, дрыгая, то кидаясь вдоль проспекта, то резко останавливаясь, чёртова машина ещё промучила, промучила их сколько-то, – и всё ж перебралась через Дворцовый мост и дотянула до набережной к Морскому корпусу – с опозданием больше часа. Гиммер бросил жену, «Известия» – и полоумно побежал внутрь.

Пусты были лестницы, переходы, – началось!

В одну из раскрытых и затолпленных дверей зала он всё же втиснулся, проюлил ещё немного – но вот заперся, маленький, слабый, никому не нужный, за спинами, за спинами – и видел только вверх: огромный лепной потолок, на хорах – морской духовой оркестр, на возвышении – крупная модель парусного корабля и на неё взобравшихся отнюдь не модельных матросов, да какие-то морские эмблемы высоко по стенам, да кой-где развешанные флаги, драпировка кусками красной материи, это всё уже при электричестве, дневного света не хватало на зал, – и хотя слышал зычный голос Нахамкиса, а долго не мог понять, где же расположился президиум. Оказался он не поперек зала, а – вдоль, на помосте, на уровне живота огромной бронзово-чёрной статуи Петра Великого в треуголке, – и ступеньки помоста тоже все облепила публика, солдаты и рабочие, – их как выпирало вверх из зала, набитого до отказа, – и как бы тут Гиммер мог пробиться?

А слышно было – прекрасно. И с ревностью слушал он Нахамкиса. С ревностью – и

страшной тревогой, не возьмётся ли тот грубо комментировать Манифест, эти тонкие нюансы войны и мира, проводимые через подводные рифы, а это дело не его, какой же он теоретик, он слаб, он грубый эмпирик. И даже не мог Гиммер понять, уже читался ли Манифест? Обидно как! без автора! да как же они могут?! Или это ещё впереди?

Густо, напористо Нахамкис оповещал:

– Русская революция является не только русской. Ещё 150 лет назад Франция сделала революцию. Была объявлена война хижин против замков, народа против короля.

О-о, да он касался великих теней! великих тем!

– Но тогда русские войска пошли в Париж и восстановили монархию. Потом наш проклятой памяти Николай I... Сами рабы, продаваемые как вещи, мы помогали укреплять тиранов. Имя русского стало ненавистно европейскому свободному гражданину. У нас была тёмная ночь. Но революционный петух пропел – и наступила заря новой жизни – русский крепостной из жандарма превратился в революционера. И каждый с гордостью скажет: я жил в это славное время. И это чувствуют все оставшиеся на престолах тираны. Вот почему Вильгельм дрожит за своё существование. Вашей власти ждут страждущие других государств. Гром радости разнесётся по всему свету...

Ничего, это ничего...

– Царь наш казался великий, потому что вы стояли перед ним на коленях. Но стоило вам храбро встать на ноги – он стал маленьким, глиняным, и вы его легко свергли. Однако дело революции не закреплено. Злодей Иванов арестован – а георгиевские кавалеры просили у нас прощения за недоразумение. В Могилёве собираются контрреволюционеры. Я надеюсь, они будут все переловлены, привезены сюда в кандалах, а тут судимы беспощадно!

Что это, куда это он понёс? Ему не терпелось пересказать свою сегодняшнюю статью из «Известий». В такой великий момент – при чём тут Ставка? какое отношение к Манифесту?...

И электричество вдруг потухло. Но сразу и загорелось.

– Таких людей надо считать изменниками общему делу! – гремел Нахамкис, плохо видный за тесными высокими спинами. – Таких военачальников, поднявших оружие против нового режима, мы объявляем – вне закона!! Если найдётся генерал, который пожелает вести против нас солдат, – голос рокотал громом, – **каждый обязан убить его!**

Зал оживился, зашевелился, загудел, понравилось. Тем временем Гиммер, не имея сил расталкивать плечи, вьюркивал между боков – и всё же пробирался. И вот ему стал виден грозный Нахамкис – как он махал убивающей дланью и пристукивал ею по доске перил, – и нельзя не признать, был революционно прекрасен, неожиданный вождь! Но при чём тут Манифест?

– А в России будет демократическая республика. Будет так называемое русское народоправство. Это в русском духе, вспомните Великий Новгород и Псков. Но в Москве появилась язва – князья. И вот теперь народом уничтожены.

От Французской революции – и к Новгороду. Это – слабость Нахамкиса, он не умеет держаться логической цепи.

– Но есть международная сторона...

Опомнился.

– Как Франция, где дипломатия – привилегия богачей. Дурачащая народ золочёная дипломатия вызывает войны. Если бы над нами не сидели эти паразиты... Народы давно и создали международное общение, Интернационал, но пришла Англия, заговорила о морях, и началась великая война... И мы призываем – «народы всего мира, возьмите судьбу в свои руки!» В начале войны я спрашивал у германцев, будут ли они давать кредиты на войну Вильгельму. И они ответили: у вас, у русских, нельзя свободно слова сказать на улице, вы угроза для нас со своим деспотизмом, и мы будем с вами бороться...

Ах, ещё вот эта ошибка наших интернационалистов: у них почему-то Германия всегда виновата меньше Англии и Франции! Вот Гиммер никогда не потерял бы теоретического равновесия!

А Нахамкис – всё разливался. И как – это немцы должны были выступить с воззванием к русским свергнуть тирана, но они не могли поверить в нас. И как – вот мы теперь выступаем. Это – он так медленно подводил к монументу Манифеста.

А электричество мигало, пугая и раздражая.

И – ещё долго, и ещё сколько лишних подводящих фраз. Нет, не талантливый он! Ах, какая злая неудача с этим опозданием! Какой великий доклад, какой великий момент испорчен!

Но – не имел Гиммер силы выбиться из затискивающей, залавливающей массы. Так и застрял зажатой щепочкой, упал духом. И только его острый аналитический ум, сопротивительно или насмешливо, отмечал, что происходит.

Ну, наконец-то! Наконец-то он стал читать и сам Манифест! Знал Гиммер этот экземпляр, оставшийся у Чхеидзе, перепечатанный на машинке, но и с исправлениями, – и теперь Нахамкис по нему спотыкался, не так расставлял логические ударения – и Гиммеру это больно отзывалось, как если бы от того погибал мировой интернационализм.

Но вдруг... но вдруг... он перестал замечать ошибки. Зычный голос Нахамкиса – над головами стольких тысяч – развернул Манифест как гигантское знамя – как Гиммер никогда и не смог бы, даже по слабости горла.

И он зачарованно прислушивался к этим периодам – «Мы, русские рабочие и солдаты... шлём вам наш пламенный привет и возвещаем... Нет больше главного устоя мировой реакции и 'жандарма Европы'... Уже сейчас с уверенностью предсказать, что в России восторжествует демократическая республика... Наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о войне и мире...»

И – дальше... и – дальше... Красоты сменялись глубинами – и Гиммер услышал свой Манифест ещё величественней, чем ожидал, – как уравновешен! как удался!

«... И мы обращаемся прежде всего к германскому пролетариату...»

И авторское самолюбие его смирилось, что читал не он сам.

И вот – кругом захлопали, захлопали тяжёлыми солдатскими и рабочими ладонями, – и сам Гиммер был перышком лёгким в этом вихре.

А сразу за чтением великих слов на помосте оказался не интернационалист, ни даже социалист, – но служака-полковник, против кого и предупреждал Нахамкис, кто и сегодня честно нёс бы свою собачью службу трону. Но в переменившихся революционных обстоятельствах этот полковник теперь бодро представлялся как новоизбранный солдатами командир Измайловского запасного батальона:

– Я старый солдат, и я заявляю вам, сейчас очень опасный момент: быть или не быть России.

Нагонял монархического страху.

– В наших руках свобода, но я боюсь, как бы она не провалилась под землю! Я боюсь, чтоб деспотический Вильгельм не отнял нашу свободу! Чтоб сохранить свободу – нужны оружие, снаряды и порядок в войсках.

Как будто не прозвучали великие слова! Тут же, через 10 минут, вот как нагло выворачивали взрывную революционную идею в патриотическую пошлость!

– Я говорю вам: офицеры вам очень нужны как специалисты. Теперь мы служим – вам, и будем работать на укрепление сил. А вы – верьте нам.

Но давали только по 5 минут, а то б он ещё разлился.

И ещё вылез офицер – молоденький, но наглый:

– Мы не можем в пять минут решать мировые вопросы. Мы не подготовлены. Мы ещё час назад не знали того, что сказал докладчик. Почему нам проекта не показали раньше? Сейчас – несвоевременно обращаться к немцам простодушно. Докладчик неправильно говорил, что немцы воевали против деспотической России: их удар был – по свободной Бельгии и свободной Франции.

А потом – какой-то солдат, но с правильными мозгами:

– Неужели вечно будет вражда между народами? Вас будут призывать к победе, а тут, в

тылу, восстанут тёмные силы! Окончим кровавую бойню, где бедняки схватили друг друга за горло. Неужели народы не поймут, о чём мы говорим? Да только поднимем клич – и все нас послушают.

А под конец вывихнулся:

– Но если нас не услышат – вот тогда мы не дадим себя поработить.

Потом – социал-демократ, но выказывая наружу всю бесконечную путаность вопроса:

– Мы, демократия, не можем идти за Милюковым, которому нужны Дарданеллы. Мы – за мир без аннексий и контрибуций, самоопределение народов. Враги у нас не на фронте, а в тылу. Но пусть немцы сперва свергнут Вильгельма. Что значит окончить войну? Это не значит побросать ружья. Надо прежде выработать условия.

Новые страдания. Так и знал Гиммер, что чем больше будет ораторов, тем больше запутают великий вопрос. Не надо бы и по пять минут им давать, – по две. (А тут уже кричали, что по пять – мало!)

И эта высшая формулировка об аннексиях и контрибуциях у всех на устах – а не дали вставить в Манифест, вот стыд, там только – против захватной политики.

Тут снова выпустили дурака:

– Мы завоевали свободу, но на этом флаге должно быть написано – победа! Кто ручается, что на наши шеи не возложат контрибуцию? Мы должны дать заявление германскому пролетариату – и посмотреть, свергнет ли он Вильгельма.

И ещё дурака:

– А не поймёт ли германец наш глас как показатель нашей слабости? Если будет удар по нашей свободе, то не с тыла, а в лицо. Нам надо бояться германца!

И Авилов, из «Известий», расхрабрился:

– Товарищи-братья, через штыки мы кликнем клич по Европе: настал конец владычества деспотов! Сбрасывайте свои правительства!

Наконец Чхеидзе кончил эту чехарду и взял слово сам. Но разве и он мог проникнуть в изгибистую структуру Манифеста? Он тоже мог только опешлять и огрублять: своими незаконными комментариями, не утверждёнными голосованием Исполнительного Комитета.

– Русский народ сделал Россию свободной и частью культурного мира. Все народы смотрят на нас. А раньше нас называли жандармом. Наше предложение – не прекраснотушие, не мечта. Ведь обращаясь к немцам, мы не выпускаем из рук винтовки. Мы предлагаем немцам подражать нам и свергнуть Вильгельма.

Каша какая-то, одна фраза противоречит другой, ничего за собой не слышит!

– А в ожидании что же нам – плевать в потолок? Если Вильгельм помазанник божий – так смазать его! – (Зароготали в зале.) – Немцам мы скажем – потрудитесь походить на нас! А если немцы не обратят внимания – мы будем бороться за нашу свободу до последней капли крови. Мы с оружием в руках будем продолжать войну, чтоб оборонять свободу!

Что лепит! Ну что лепит! Всё испортил!

Собачьей лапой развалили такую тончайшую конструкцию! Какое несчастье, что опоздал!

603

Разгоралась по Петербургу буржуазная травля «Правды» – что большевики все прослоены провокаторами и ещё неизвестно чьими агентами. А в самой «Правде», между тем, сильно поменялось, Шляпников и разобрать не успел: он радушно просил приезжих сибирцев писать в «Правду» – они и написали. Вклинили в газету каждый по статье – и сразу нарушили её установку: потребовали поставить свои подписи. До сих пор всё печаталось без фамилий – разве важно, кто именно пишет? – без фамилий статьи и вся «Правда» приобретали грозную беспрекословность, как будто катится беспощадный каток революции: только так! и разбегайся, раздавим! А подписи – сразу делали газету трибуной частных мнений, которые и оспаривать не запрещено. Ольминский как старый газетчик – ставь и его

фамилию. И Бонч полез за сибирцами – ставь и его.

Ну, Сталин ничего вздорного не написал и никаких претензий не выпячивал, вся статья его была – укреплять Советы. (Хотя: почему Советы, а не свою отдельную партию?)

И Муранов, в позиции защитника «Правды» от травли, говорил в общем правильные вещи: не верить подобрешшим фабрикантам, не верить генералам, служившим трону. Но вся статья была не для этого, а: пролетариат знает, под чьим контролем «Правда» издавалась, издаётся и будет издаваться, – правдивост, членов Государственной Думы, и всех пятерых по именам, себя тоже. Позвали гостем – а он уже и ноги на стол. И дальше совсем с потолка: хотя все помнили, что большевицкая думская фракция была сослана за антивоенную позицию, Муранов писал теперь вполне бессовестно: «они пошли в ссылку за то, что в самом начале войны провозгласили революционную борьбу за свержение старого строя и за демократическую республику». После совершившейся революции это, конечно, неплохо звучало.

И этого Муранова фотографию в арестантском халате сам же Шляпников и распространял по Петербургу.

Такого напроломного манёвра, без прямого товарищеского объяснения или предложения, таких приёмов Шляпников не ожидал. Не знал, что и возразить. Он таких методов не знал: как же можно не допустить их до газеты? С чего бы вдруг – с ними и бороться? Но если «издавали и будут издавать» – значит, они хотят «Правдой» руководить сами? (Муранов и больше захотел: чтобы Шляпников уступил ему место в Исполкоме. Ну что ж, может и уступить.)

Однако в сегодняшнем номере приезжие начали и теоретическую борьбу. В статье, уже не подписанной (Каменева, что ли?), они начали и принципиальный подкоп под линию Бюро ЦК: «было бы политической ошибкой ставить сейчас вопрос о смене Временного правительства».

Даже не сказано, что это – новое для газеты мнение, что вот мы спорим, – а просто вот так, как ни в чём не бывало! Распоряжались – не спросясь.

Этот удар – приходился по главной политической линии, которой Шляпников гордился как лучшей революционной догадкой, и которую он с таким усилием пробивал через ЦК. Не вышибать Временное правительство, а только контролировать его? – так думали и меньшевики, и эсеры. Значит, прощай настоящая большевицкая линия? Чему ж научили нас все французские революции XIX века, если не тому, что буржуазные правительства надо сметать, а не подталкивать? Чему же учит Ленин?

Нет, в **этом** уступать нельзя!

И само же собой шла в газете статья и нашей линии: о том, как несутся события, подтверждая любые «самые крайние» требования большевиков.

Получился в газете винегрет.

Не занимался Шляпников «Правдой» сам, но знал, что она – как крылья у него за спиной. И вдруг – начали подшибать.

Очень дурное стало состояние. Будто испакостили и раздавили всё, что он тут два года строил.

А тут ещё – передал ему сегодня Каменев свой «контрпроект» Манифеста к народам мира. И в нём так откровенно и писалось, что наша революционная армия даст отпор немцам – до полной победы у нас демократии!

И это – большевицкий «контрпроект»? Да это хуже, чем гиммеровский проект! Такого соглашательского текста Шляпников, конечно, дальше не пустит. (Но он у них вырвется теперь в «Правде»?)

А у самого Шляпникова не был свой текст готов, понадеялся! А с этим разделением – как было и выступать на пленуме Совета? А сибирцы выступят открыто против? Раздваивалась линия партии на глазах у всех врагов!

Раскола внутри партии Шляпников на себя взять не мог. И оставалось сегодня – не вмешиваться, чтоб только и каменевская группа не полезла.

Ещё и подумать же было некогда: среди дня спешил на большевицкую фракцию Совета в кинематограф «Аза» на Васильевском. А оттуда пошёл с товарищами в толкучку Морского корпуса – с крутыми-крутыми сомнениями. Митинг был, конечно, полезный, но не в те руки попал, а к празднику оборонства. Вот досада: революционные массы свободно метались, а всё равно не загребались к большевикам. И ещё теперь допустить раскол? Ни за что!

Вошёл Шляпников и стоял с товарищами в толпе, не пытаясь подняться в президиум. На хорах устроен был оркестр, подбадривать голосование. И после каждого выступления играли марсельезу.

Стеклов выступал революционно. Всё ж он не меньшевик, скорее наш. И даже больше наш, чем Каменев, Муранов.

Потом раскатисто читал текст Манифеста, все его оппортунистические выверты.

Вообще ничего хорошего в этом манифесте нет. Много громких слов, почти Циммервальд, а простой формулы – без аннексий и контрибуций – в нём нет. И после всех громких слов – русская революция не отступит перед штыками завоевателей. И чем это отличается от непрошенной телеграммы дружка Вандервельде? Так манифест создаст общедемократическую формулу патриотизма, оборончество получит штемпель революционной демократии, – и теперь все вместе будут нападать на большевиков за нарушение национального единства и ставить в пример революционного солдата, готового умереть за родину. Выступать с прямыми антивоенными лозунгами теперь будет значить – выступать против Совета?

О-хо-хо, плохо поворачивается.

Но это всё смечал только острый партийный глаз. А большинство радовалось. А в ораторы ещё полезли патриоты: как бы нам этим манифестом – да не ослабить Россию, противник примет за слабость?

Чхеидзе стал отвечать – как будто и ничего – и тут же всё испортил: не выпустим винтовки и будем защищать свободу до последней капли крови!...

Типичная меньшевицкая лазейка: под видом борьбы с войной – продолжать войну. Оборонческим оборотом он отнял у воззвания ту небольшую долю интернационализма, которая в нём была.

Но на Чхеидзе ещё не кончилось: на помосте вдруг появился Муранов с выпученными глазами, как весь надутый. Не хватило у него партийного такта воздержаться от выступления! Ну как же: задолбил, что он – член Думы, и нельзя ему отстать ни на полплеча от Чхеидзе, ни в чём. Да после Сибири ему особенно поговорить хотелось, а сказать-то нечего:

– Поздравляю вас, дорогие товарищи, с рухнувшим произволом. Пали оковы, вы дали нам вернуться с каторги и ссылки. Я предлагаю не пугаться тех громких фраз, будто немец своим бронированным кулаком раздавит нас. Не верьте этому. Если было бы опасно – **мы бы сказали вам об этом!**

Вот зачем он вылезал: мы бы! Всем напомнить, кто он такой, и что он всё знает, за всем следит. А путёвого – ничего не сказал. И только тем выявил позицию, что пригрозил:

– Есть ещё гады, попрытавшиеся в норы.

Явное дезорганизаторство, выпад против единства партии. Переглянулся Шляпников с Каюровым, с Шутко, – нет, решили зубы стиснуть и молчать, а потом поговорим у себя внутри.

Тут стали спорить, прекращать прения или продолжать. Поднялся шум. Одни кричали: манифест не готов, отложить, дайте ещё обдумать. Другие кричали: «А что скажут союзники?» – «А нам никакого наследства не надо!» – «Обсуждали меньше двух часов!» – «Вопрос не освещён!»

Но уж если столько тысяч собралось – как не принять? Чхеидзе объявил принятие – и грянул оркестр, сперва интернационал, потом марсельезу, кричали и ура, но оркестр заглушал.

Но и на том не кончилось, а вылез зачем-то тщедушный Чхенкели и дребезжащим

голосом объявил:

– Рабочие и солдаты! Я чуть не умер.

Можно было подумать: чуть не умер от радости манифеста. А это он объявил, что тяжело болел, может не все знали.

– Сейчас я свободен, и это достигнуто вами. Я благодарю вас, что я – свободный гражданин. Мы присутствуем сейчас в один из великих моментов истории. Мы утвердили великий документ: это призыв к революции! Он не повредит фронту, но поможет. Он будет понят нашими товарищами за границей. Вас будут помнить наши внуки...

А ему с места:

– Не кричи «гоп», пока не перепрыгнешь!

604

От того вечера 6-го марта, как налетела на Цюрих буря и всю ночь толкалась на старый город, а на рассвете повалила густым снегом, и вскоре дождём, а днём крупой, и снова снегом, и опять дождём, а к вечеру снегом, и только за следующую ночь весь город убелив, успокоилась, – от той бурной ночи и того дня, исшагивая и избегивая скудное камерное пространство своей комнатёнки от обеденного стола до полутёмного окна, не выпускаемый из клетки Швейцарии, непогодой запертый в комнате и не удерживая клеткой грудной, как выпрыгивала страсть вмешаться в действие, – Ленин не сам решил, но за него решилось: раз он задерживается, то отсюда, не мешкая, писать и посылать питерским большевикам программу действий, писать и посылать, и посылать, не окончивши писать, а значит как бы вроде писем, и едва кончивши, сколько есть за сутки, скорей нести кому-нибудь на почту, а самому бросаться в газеты (теперь уже их покупая все подряд, вся комната завалена) и выискивать, выискивать по кусочкам из того, что схватили и разглядели близорукие западные корреспонденты и отобрали как достойное для своей газеты убогие буржуазные умишки, – выискивать и выхватывать, и понимать в разящем свете партийного проникновения – и разворачивать, разъяснять перед непонимающими, растерянными или глупенькими. «Защита новой русской республики»? – обман и надувательство рабочих! Лозунг «а теперь вы свергайте своего Вильгельма!» – ложный, все силы на свержение буржуазного правительства в России! Временное правительство – правительство реставрации монархии, агент английского капитала! И – лучше раскол с кем угодно из нашей партии, чем сотрудничество с Керенским или Чхеидзе, чем доля уступки им!

А в этом разворачивании и разъяснении сам для себя находя, тут же и для партии встраивал недостающие звенья и планы организации: в ответ на великолепный манифест большевицкого ЦК (и чья это голова там вытянула?), объявленный в Питере ещё 28 февраля, а сюда дошедший через 10 дней отрывком в случайной газете, – предложить им и объяснить, как же организовать (не так, как он советовал в 905-м, а теперь): вооружение народных масс целиком! **народная милиция из всего поголовно населения** от 65 до 15 лет (втягивать подростков в политическую жизнь!) и обоюга пола (вырвать женщин из одуряющей кухонной обстановки!), – и чтоб эта милиция стала **основным органом государственного управления** ! Только так: **оружием в руках у каждого** будет обеспечен **абсолютный порядок** , быстрая развёрстка хлеба, а затем вскоре – мир и социализм!

И от вторника 7-го до воскресенья 12-го вырвались четыре таких «письма из далека» и тут же сдавались на почту экспрессами (когда уже написано – тем более жжет, нельзя задержать, нельзя удержать) – кому же? – Ганецкому, умному, славному расторопному Кубе, а он будет отправлять, налаживать туда дальше, в Петербург! (А копии – сразу Инессе, а та – Усиевичу, а тот – Карпинским, а те – назад, и всё экспрессами, это всё крайне важно для спевки о тактике.) Почти всё время кто-нибудь спотыкается – на почту, а ещё же искать по киоскам и читальням непрочтённые газеты и снова анализировать, угадывать – и светом луча выбрасывать вперёд новые пункты программы! А тут Луначарский увиливает выступить

против Чхеидзе, – предупредительную холодность ему. Там Горький, недоумок, суётся в политику: приветствие Временному правительству да басенки «почётного мира», архивредное выступление, придётся ударить по рукам! (Не можешь выдержать партийной линии, так и не суйся, пиши свои картинки.) А там неприятности с Черномазовым в Питере, мало им Малиновского, хотят и вовсе залить нашу партию помоями. (Но Черномазов интриговал против сестры Ани, его безусловно убрать и забыть.) А там Коллонтай уезжает в Россию, счастливая! А тут, пока застряли, успеть бы на машинке перепечатать 500 страниц «Аграрной программы», кто бы взялся? А ещё: как не написать листовки к русским военнопленным, их 2 миллиона: заявите громко, что вы вернётесь в Россию как армия революции, а не армия царя (вполне бы их могли использовать и против); а мы, социал-демократы, поспешим уехать и будем посылать вам из России деньги и хлеб... А ещё: как же при отъезде не написать прощального письма к швейцарскому пролетариату, ещё раз заклеить шовинистов, ещё раз указать им путь (только это опасно, может помешать отъезду. А вот как: написать, оставить здесь, а уже из России телеграммой взорвать, пусть печатают). А тем временем...

... а тем временем совсем плохо с Инессой. Обижена. Сердится. Сидит в Кларане (а может уже и не в Кларане? вот письма прервались, может уже и не там). Сердится, но, как всегда у женщин, это выворачивается во что-то другое, стороннее: будто бы «теоретические разногласия», возражает и капризничает, где ребёнку ясно. Как бы нужна была тут, рядом! Какое время! – неужели время для женских обид? Некому собрать, систематизировать все телеграммы из России, ведь что-нибудь пропустишь наиважное! Но не только не захотела испытать английский путь возврата, а даже в Цюрих не хочет приехать на денёк! В Четырнадцатом году ехала для него с Адриатики в Брюссель, бросив детей, а сейчас без детей и из Кларана – ни разу не приехала на денёк.

И нельзя понять: вообще ли поедет с нами?...

Но всё это, всё это кружилось как внешние воронки на воде, даже с Инессой, – а главные события большими толстыми тёмными рыбами беззвучно проходили близ дна.

Ганецкий коротко отозвался: *будет* ! Но попытка была – дожидаться. По расчёту дней уже мог быть приготовлен в Берлине паспорт и прислан сюда – а не было.

И молчал всемогущий Парвус.

Да он справедливо мог быть и в обиде. А не исключено: испытывал Ленина нервы, усилил свою позицию выжиданием.

Но некуда было деться им друг от друга: события соединяли их.

Если платили ему миллионы ради призрака, – то сейчас-то есть для чего платить.

И – будет, куда принимать. И теперь-то и нужно, не как тогда.

А тем временем в шумных «комитетах возвращения», хотя и с перевесом циммервальдистов, льнули все к *законности* , ждали разрешения от продажного гучковского правительства, а оно уже слало 180 тысяч франков от частных сборов – на возврат дорогим соотечественникам, только конечно через союзников (где и германские подводные лодки топят транспорты дураков), – и уже вокруг этих денег начинались интриги, могли обделить большевиков, собрания шли чуть не до драки.

Ильич на те заседания конечно не ходил, но ему подробно рассказывали. И чем больше все эти споры накалялись – а швейцарско-эмигрантское настроение было только отблеск того, что в России подымается, – понял Ленин, что он поспешил, сорвался: никакого отдельного паспорта получать нельзя, ехать одному невозможно.

И 10-го, ровно через неделю после фотографии, послал Ганецкому отменную телеграмму: «Официальный путь для отдельных лиц неприемлем.»

Всё, отказались.

Зато Цивин ходил и ходил к послу Ромбергу. Тот уверял, что идёт усиленная переписка с Берлином, даже курьерами. И постепенно – из темноты, из будущего, из никогда не бывалого, проступали контуры крупного замысла – как большой паровоз из тумана – да только медленно-медленно проворачивал он свои красные колёса или всё ещё стоял.

А за ним – вагон.

Проступал из тьмы – вагон.

Неплохо. Приемлемо.

Но там пока для этих болтунов, для комитета по возвращению, надеюсь...? эти условия не открыты?...

Нет, нет. Нет-нет. То – официально, здесь – конфиденциально.

Хорошо, хорошо. Так постепенно, несколькими головами, общими усилиями – что-то выявляем, выявляем, находим. Стало потвёрже. (Но – как тянулось! Но – непохоже на немцев как! Да ведь их ещё больше должно припекать, когда объявило Временное, что продолжает войну.)

Стали готовить список, кто поедет. Запрашивали своих по всей Швейцарии, но – тайно, это важно, никого чужих не примешивать. Одновременно (тоже важно!) вслух говорили всем обратное: и Англия нас не пустит, и через Германию ничего не выйдет. И шумно обсуждали анекдотические попытки: Сафарова просилась в английском консульстве, кто-то слал телеграфный протест Милюкову, а Равич придумала фиктивно выйти замуж за швейцарского гражданина – и так получить право прямого проезда. Смеялся Ленин и советовал ей «подходящего старичка» – старого Аксельрода, ничем другим уже не годного революции.

У немцев с одной стороны тянулось, с другой – крутилось и чересчур проворно, верней – одна машина крутила независимо от другой. Сегодня вечером, воротясь из Народного дома, где два с половиной часа делал швейцарцам доклад о ходе русской революции – что истинная, вторая, революция ещё впереди, и есть для неё хорошая форма – Советов депутатов, и уже сегодня надо готовить против буржуазии восстание, – хорошо отвлёкся докладом, освежился от этих изжигающих безвыходных планов отъезда, охотно возвращался пешком по приятному вечеру, поднялся к себе – и ахнул: маленький, сухой, седовьющийся, с уголком платочка из кармана, сидел и улыбался, как ожидая радостной встречи, и от своей важности не торопясь подняться для рукопожатия, -

Сklarц!!!

Не укорив, но и не похвалив, не сказав ни «плохо» ни «хорошо», – Ленин пошёл на Сklarца с пронизывающим косым взглядом (такой взгляд всегда пугал), – тот поднялся, теряя уверенность, и Ленин пожал ему руку, как хотел оторвать:

– Да? Что привезли?

Без путевых впечатлений, без вводных, без сентиментальностей: что привезли?

Коммерсант, всё более входящий в большую политику большой Германии, почтенно принимаемый заметными генералами и в министерствах, и при щедрости своей сегодняшней миссии, – опешил перед этим режущим взглядом щёлок глаз и недобрым изгибом бровей, усов, а всё остальное – как мяч футбольный, накативший ему в самое лицо, – опешил, потерял улыбку и то приятное многословие с предисловием, которыми думал развлечь, и даже приготовленные шуточки, – а сразу высказал главное и выложил на стол.

И не садился.

И Ленин не садился.

А Зиновьев сидел и сопел.

Вот что было. Сklarц приехал уже не только от Парвуса, хотя Бегемотская голова всё и начал (начал сам, ещё до ленинской просьбы, она пришла потом, начал по первым известиям о петербургской революции, рассудив, что не хуже Ленина знает, что нужно), Сklarц приехал со всеми полномочиями от Генерального штаба на проезд через Германию и с обеспеченным выездным содействием здесь германского консула в Цюрихе, а если нужно, то и посла в Берне, – Сklarц привёз готовые документы, – и вот они лежали, чудо, хотя чудес не бывает, – лежали на блеклой клеёнке в жёлтом круге керосинового света.

Вот. Господин Ульянов. Госпожа Ульянова. Всё в порядке.

А – Зиновьев?...

Пожалуйста. И госпожа Лилина. Всё в порядке.

Да, но... А...?

И ещё один, пятый, да, вот: госпожа Арманд.
Всё знал, всё сам предусмотрел гениальный Парвус!
И – Инесса...

И всё! И все проблемы решены! И ни часа больше не ждать, не маневрировать, не дипломатничать, не раздражаться, не посылать посыльных, не ждать известий, ни от кого не зависеть – собрать вещи – а их нет у революционера! – и ехать хоть завтра утром! Двенадцать дней назад отрёкся царь – а мы через три дня будем в Питере – повернём всю российскую революцию, куда надо! Может ли быть быстрее во время мировой войны? Ещё никто ничего не успеет испортить – а уже вырваться первым на петербургскую трибуну, опережая даже сибирских ссыльных, – и отворачивать Совет депутатов от гучковского подлого правительства, и создавать всенародную милицию от 15 до 65 лет обоёго пола, да что угодно!

Документы – лежали. С немецкими готическими вывертами, немецкими орластыми печатями и с пригодившейся, уже приклеенной, вот вернувшейся ленинской фотографией, – в керосиновом свете, драгоценные документы на дешёвой клеёнке, местами протёртой до переплёта нитей.

Таким документам сам канцлер должен был сказать: «да», чтоб их изготовили.

Парвус отплачивал долг, что перескакал когда-то.

И мешок Зиновьев – расплылся, руки протянул к бумагам.

Ленин вскинулся как на врага – тот замер.

Увы, уже понятно было: так просто сунуть руку в пламя революции – обжигалось.

И потерев, и нервно потерев над документами уже чуть обожжённые ладони, Ленин резко взял их назад, сведя за спиною вместе.

Такая сделка не могла бы потом укрыться. Невозможно будет прилично объяснить. И разматается, и разматается до самого Парвуса – и не прикроешься славным революционным прошлым, – а впелят тебя в ту же мразь, и руль революции вырвут из рук.

Да вот что: не потому ли Парвус так и старается, чтоб именно – Ленина замарать с собою вместе? Вот такой индивидуально-семейной поездкой накинуть петлю – а потом и в руки взять? а потом и условия диктовать – как революцию вести?

Но – вовремя разгадал Ленин ловушку!

– Так вы же сами заказывали, господин Ульянов! – Нет коммерсанту оскорбления хуже, чем когда на хороший товар говорят: плохой.

– Заказывал. Но это была ошибка. Обстановка исправляет, – мрачно говорил Ленин, всё так же не садясь, всем напряжением не в речи, а там, внутри, в мысли, и оттуда чревоушительно диктуя: – Надо – большую группу. Человек сорок. Вагон. Изолированный, экстерриториальный вагон.

Поднял глаза, посмотрел на Скларца внимательней, внимательней – и уже сочувственней, и даже веселей. (Сообразил: да этот человек за сутки может доехать до германского правительства! Да это великолепно, что он приехал. Спасибо, Парвус! Ну, немножечко изменим вариант, ну – несколько дней.)

И почувствовав, что Ленин к нему подобрел, – расслабился, улыбнулся Скларц: он и в высоких сферах не привык к такому обращению, он ничем его не заслужил.

– Израиль Лазаревич просил торопиться, – напомнил он. – А то – как бы это «правительство народного доверия» не заключило бы мира!

– Не заключит, не заключит, – развеселились глазные щёлки Ленина.

Усадил его, сел сам через угол стола – и не только словами, но всеми глазами внушал, гипнотизировал, чтобы тот запомнил и точно исполнил:

– Поезжайте и договоритесь прямо. Другие линии очень долго работают. Пусть хорошо поймут, что мы не можем себя скомпрометировать, – и не ставят нас в такое положение. Пусть не ставят нам ограничений – кого там нельзя, годных к военной службе и так далее.

(Как раз сам Ленин и был годен, да перешагнул 44. Но никогда не призывался, как старший сын в семье, – казнь брата дала ему эту льготу.)

– Или – отношение к войне и миру, не надо, и так ясно. И не устанавливали бы проверки паспортов, личного контроля. Как въехали – так и выехали, как неразбитое яйцо, понимаете? И чтобы – ни слова в печати.

Всё – внезапно. Вагон пропустить – как снаряд. Не дать публике времени узнать, обсуждать.

– Да! – вспомнил Скларц, порадовать ещё приятным. – Стоимость проезда германское правительство берёт на свой счёт.

– Ещё чего! – темно вспыхнули, и по-разному, два глаза Ленина. – Странно бы выглядел такой проезд. Какие ж там глупые у вас. За проезд обязательно платим мы! – Смягчился: – Но – по тарифу третьего класса.

И ещё отдельно:

– Идёте ко мне – и не можете одеться скромно. Вас могли заметить товарищи. Из-за этого завтра ещё перебудете здесь, сидите в отеле, а ко мне пусть придёт Дора. Разумеется, без документов, а что-нибудь мямлить, а я ей буду отказывать. И только после этого завтра уедете. А как только будет согласие правительства – чтобы нам дали знать немедленно!

Когда Скларц всё понял и документы собрал, пожал руку очень почтительно, благодарственно, и ушёл, -

– Как ещё можно *им* ставить условия? – удивился размяклый Зиновьев, колыша вялыми плечами.

Ленин остро шурился:

– Никуда не денутся. Заинтересованы больше нас.

– Про Скларца – скроем.

– Нет, Платтену скажем. Хуже, если узнает сам. Платтена, Мюнценберга – нам терять нельзя.

А ещё, для страховки, – немедленно письмо Ганецкому (может, кому и покажет):

«Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к издателю «Колокола», я конечно не могу...»

И даже:

«... Ваш план поездки через Англию...»

Чем больше прыжков и ложных ходов, тем безопасней нора.

Вот – предложенный Ромбергом *вагон* . Вагон. Надо проговорить его словами, надо помочь этому вагону, как цыплёнку, вылупиться в общественное сознание. Говорить, писать, бросать фразы:

– А может быть, *швейцарское* правительство получит вагон?...

– А не согласится ли *английское* правительство пропустить вагон?...

– Как это?

– А... от порта до порта. Отчего бы Англии не пропустить *запираемый* вагон? Например, с товарищем Платтенем и любым числом лиц, независимо от их взглядов на войну и мир?

– Но как же: Англия – остров, а – вагон?

– А... дальше – нейтральным пароходом. С правом известить все-все-все страны о времени его отхода. (Чтобы германская подводная сдуру не потопила.)

ПЯТНАДЦАТОЕ МАРТА

СРЕДА

605

После вчерашнего пленума Совета в Морском корпусе создалась в голове и груди Гиммера сумасшедшая неразбериха: он сам не мог понять, одержал ли блистательную

победу или сокрушительное поражение. Хотя самый текст Манифеста, который он так изошрённо сбалансировал, был принят без поправок, и это надо было понимать как победу, – но от разных расстройств, от своего опоздания, оттого что не сам он это читал, и что нагородил постороннего Нахамкис, и от самовольных комментариев Чхеидзе, извращавших смысл Манифеста, было ощущение кошмарного поражения, заплёванности, гибели лучшего своего творения. И это разыгрывалось в Гиммере весь поздний вечер и ночь, так что он почти и не спал в своей квартире на Карповке, – и как только, ещё в темноте, донёсся первый трём самого раннего трамвая на набережной – он накинул свою дохлую шубёнку, нахлобучил шапку, надел галоши, подламывая края, – и побежал догонять трамвай.

Он как будто просвистывал внутри от пустоты и тоски и нуждался в новом наполнении, а наполнение такое мог ему дать только Таврический.

Конечно, по-настоящему понять значение объявленного Манифеста можно будет не раньше как недели через две: когда он уже провернётся по Европе и услышим, как отозвалась Европа. Но Гиммер не мог легко дождаться того срока: он нуждался чем-то жить и в чём-то сгорать – сегодня.

Совсем ещё были пусты коридоры и залы Таврического. Ещё не пришли служащие Совета, новый аппарат его, не пришли и служащие думской половины, а служители лениво подметали Екатерининский зал после вчерашнего тут митинга. Ни на какую пищу ума как будто нельзя было и надеяться – но фанатически несло Гиммера в комнату Исполнительного Комитета, будто он уверен был, что Комитет заседает там и в виде ночных призраков.

Открыл дверь – и в ещё не разошедшемся сумраке комнаты действительно увидел: на большом столе заседаний, меж бумаг, лежала человеческая фигура, со стопкой же бумаг под головой. Могло причудиться, что это – подброшен труп или залез вор, – но Гиммер не успел так подумать и испугаться, как фигура подняла голову, а на турецком диване зашевелилась другая, – и не только это не оказались воры или враги – но лучшие из лучших друзей, но давно желанные, жданные товарищи из-за границы, первые вернувшиеся революционные эмигранты! – товарищи Лурье-Ларин (длинный, на столе) и Урицкий (толстенький, на диване). Лурье особенно легко узнавался, как только выявлялось, что обе руки у него – сухие, с трудом владеемые, и весь вид болезненный.

О, сколько же радости! прямо хоть кидайся-обнимайся (впрочем, такие сентименты не были приняты меж революционерами). И Лурье, едва проснувшись, даже со стола не слез, лишь ноги спустил, и не спрашивал, где бы умыться, – а Гиммер подсел на ближайший стул, и залились они во взаимном живительном перехлёбе. Ещё сон не стёрся с лица – а чувства Лурье клокотали. (Урицкий же оказался ленив и глуповат: подымался медленно, от разговора отставал, лицо было всем недовольное и глаза совиные, когда рассвело вполне.)

Оказывается, они приехали только сегодня, среди ночи. На финляндско-шведской границе по неисправности въездных документов – не оформлены у нашего посла в Стокгольме – просидели полсутки в жандармской комнате. И главное возмущение их сейчас было – эта задержка, саботаж посла, а значит и Милюкова, в возврате революционных эмигрантов, – и как надо ударить за это Милюкова. И Гиммер страстно поддержал их.

Естественно, они ничего не знали о вчерашнем грандиозном пленуме Совета, ни о Манифесте. Но Лурье был весь переполнен своими новостями, суждениями и предположениями, так и сыпал ими, так и лил. А Гиммер навстречу – своё. И всё это было захватывающе до дрожи, так они и просидели пару ранних утренних часов, полные симпатии друг ко другу.

Лурье не знал подробностей ни о чём здешнем, с приезде ему всё казалось легко, – и тем более непримиримо он был настроен против Временного правительства: оно явно саботировало посылку русских газет в Европу, и там неоткуда было узнать истинных сведений о происходящем тут. Да хуже того! – из встречных перебивов Гиммера ещё утверждался Лурье, что Петроградское телеграфное агентство подаёт в Европу новости в искажённой пропорции: всю революцию старается представить как дело рук либеральной буржуазии: революция как бы не от того, что народ вообще возмущён войной, а лишь

плохим ведением её. Пригашает значение Совета, а будто русская армия и рабочий класс стремятся к войне. И оттого немецкие социал-демократы стали нашу революцию называть в кавычках, мол она попала в руки воинствующего либерализма. Обо всём этом Лурье рвался скорей, сейчас же печатать в «Известиях», ударить по наглости Временного правительства!

Лурье не знал здешних взаимоотношений, трудностей – но даже и не спешил заглотнуть всё, что встречно выпаливал ему Гиммер, – ему как будто было вполне довольно привезенного в груди из Европы. Зато оттуда он привёз полную бескомпромиссность в борьбе за мир, за интернационализм, за переворот во внешней политике России, – Лурье оказывался просто-таки радикальнее и динамичнее самого Гиммера – и склонен был действовать ещё втрое решительней! Да он просто предложил, чтобы Совет, без всякого стеснения, немедленно сам послал бы по телеграфу мирные предложения германскому правительству – как будто русского Временного правительства и не существует! Нечего и дней терять! Революции – всё доступно!

Могучие огни Европы, Интернационала! Это увлекало Гиммера! Он-то – готов был действовать так. Но – другие? но – Чхеидзе? Умрёт от робости! Да может ли Лурье представить, что вчера сотворил Чхеидзе? Он испортил всю революционную силу Манифеста, выступив от себя с непрошенными, самозванными пояснениями, будто бы мы будем с оружием в руках защищать Россию!... Пошёл в болото капитуляции перед империалистической буржуазией. По сути – предал Циммервальд! Он повернул дело так, будто наши мирные усилия возможны только при революции в Германии, – но этого в Манифесте не было!!!

Ну конечно, ну конечно! – было ясно им обоим, и они ещё друг друга уверяли. Наша революция победит или погибнет, всё в зависимости от того, удержит ли она знамя Циммервальда!

Ну, подождите, обыватели Невского и патриоты биржи! Вам кажется – попутный ветер? – так он разведёт вам хорошую бурю!

Лурье хотел пояснить, Лурье настаивал: получилось так, что русская революция пока укрепила союзный шовинизм! И германских интернационалистов душит их милитаристский режим, они думают, что мы капитулировали перед «защитой отечества», они теряют надежду освободиться от военного кошмара, им неоткуда узнать о нас, русских интернационалистах, – потому они и не отзываются, потому и не бросаются в решительную схватку! Лишь затаённо бьются братские наши сердца – а не дают революционного эффекта!

Воодушевление Лурье заражало тем сильнее, что, при сухорукости, ему даже писать пером составляло труд.

Урицкий тоже к ним подсел. Хоть он и сова – но вполне крайних убеждений.

У всякой революции есть своя логика, она не может стоять на месте! Нам надо не упускать из вида самую общую конъюнктуру революции.

Вот что, совершенно понятно: сегодня же Лурье и Урицкий начинают организовывать и издавать циммервальдский журнал «Интернационал». Мировая буржуазия мобилизует силы – и мы будем тоже! Можно ли для этого получить в Таврическом комнату? Да конечно, да вот например № 10.

Но ещё важней и быстрее: надо дать сегодня же бой на Исполкоме. А отчего бы нет? Гиммер не мог представить, почему бы Исполнительный Комитет не зачислил бы в свой состав таких двух славных революционеров. Это – просто формальность, а пока оба товарища могут сегодня же прийти на заседание – и включиться в обсуждение. Да! Выдвинем сегодня на ИК: необходимо побудить правительство немедленно публично выразить своё согласие с Манифестом! (Добить Милюкова!) И в Контактной комиссии не попасться, как бы правительство их не перехитрило. Вчерашний Манифест (да Лурье ещё и не читал его как следует, Гиммер совал ему свой черновик) просто обязывает советскую демократию к борьбе с правительством цензовиков! (В дальнем плане – отбросить пиетет и к интересам всякой частной собственности.) Ясно, что откладывать нельзя ни минуты! Надо смело развёртывать программу советской внешней политики. Теперь прибыло наших

циммервальдских сил – надо атаковать. Сегодня есть своя повестка, может не удастся, – но требовать назначить специальное заседание ИК по вопросу войны и мира!

А не надо ли прежде отдельно собрать циммервальдское крыло ИК? Да, пожалуй, это верно, сперва сговориться самим циммервальдцам. Теперь нас прибыло!

Да ведь отношение ИК к войне ещё не разработано, просто жуть как запущено! Объединяющей платформы нет никакой. Вопрос о войне – это и борьба за армию! Если Совет примет оборонческую позицию – он легко завоеует армию, но это обречёт революцию на бесславное будущее, на коалицию с буржуазией – а там дальше и на капитуляцию. Нет, бороться за армию надо с циммервальдской платформы, надо преодолеть мужицкую косность, эту толщу атавизма, этот примитив национализма, носимого в сердце с колыбели, и заразу шовинизма, привитую либеральными газетами.

Да, задача трудна. Надо разработать тактику, как выиграть бой на классовой платформе Манифеста. (Уже прочёл Лурье Манифест.)

Проговорили вот так, друг к другу прилипнув, со стола на стул, потом и на трёх стульях, – что-то много времени прошло, уже с исполкомской кухни несли хороший завтрак, в сдобренной каше мяса кусок и чай сладкий с булочкой. Дружно поели – просветилось Гиммеру, что надо же прессу смотреть сегодняшнюю, что же пишут о Манифесте?

Сбежал в канцелярию, принёс охапку газет, с густым типографским запахом. Расхватили, уселись читать. В «Известиях» замечательно выглядел гиммеровский Манифест – обширный великий Документ, которым будет отмечен XX век, у Гиммера даже сердце сжалось, не ожидал такого впечатления. И стал совать Лурье и Урицкому – пусть сперва прочтут Манифест как следует ещё раз. И сам ещё покашивался – но ему надо было читать, как отзывается буржуазная пресса.

И он-таки расстроился. Ещё несколько дней назад проглядывал он номера буржуазных газет с усмешкой победителя: такая в них была растерянность перед Советом и даже услужливость. Но что это, они как будто набирали свою силу – в вязкости, по плетению вязких петель они были специалисты, буржуазные перья! Ловко же обработали они Манифест! Бесстыжая «Биржёвка» подала его как продолжение традиционной патриотической политики, а?! А «Речь» холодно обошла 1-ю часть – как истраты на доктринёрство крайне левых социалистов, а зато возвысила 2-ю часть как оборонческую, вот мол и революционная демократия поддерживает защиту родины! Ну, и особенно, конечно, хвалили комментарий Чхеидзе: что вся сплочённая победившая демократия таким образом выступает против режима бронированного германского кулака.

Ну, Чхеидзе сам виноват, – но и как же они Манифест препарировали, негодяи! Никто не приводил его полностью, а только в обрывках и невинностях. Со стыдом и отчаянием Гиммер схватился за голову! Что же осталось от его виртуозного балансирования между левым и правым крыльями ИК? А может быть, он сам виноват: в этом балансировании не заметил, как перевесил чашку оборончества и недогрузил Циммервальд?... Кошмар, если так!

(А между прочим зацепил в газете, что сенатора Крашенинникова, его собственного гиммеровского пленника, вчера освободили из Петропавловки. Жаль-жаль, ну ладно, и две недели посидел – будет помнить.)

И – где же было Гиммеру ответить громово? На заседании Исполкома – это был не ответ. Надо было отвечать – в прессе. Но где? В «Известиях» – не принято выражение личных мнений. А в меньшевицкой газете Гиммер всё-таки писать не мог, ибо был определённее левее их. А свой независимый орган собирались с Горьким создавать – но за революционной колотью некогда было. И получалось – хоть печатайся у большевиков. Позавчера он и сказал в полушутку Шляпникову: «Мне не остаётся нигде писать, как в 'Правде'.» Шляпников отнёсся серьёзно (у них-то совсем литературная пустыня, на Демьяне Бедном едут): «Что ж, я своим предложу. Но только придётся публично заявить, что вы стоите на позиции большевиков.»

По сути – по политической сути – это недалеко и было. Но заявить так публично – была

пошлость, которая затискивала бы многогранную, многоискристую, всю в метаниях личность Гиммера – в тупую партийную колодку.

А сейчас, покинув товарищей читать, Гиммер выскочил пробежаться – и вдруг в Купольном зале встретил – Розенфельда-Каменева -

– Ба! Лев Борисыч! А я уже читал, что вы приехали, да что же не показываетесь в советских сферах? Что, у себя в партии порядок наводите?

Интеллигентный, мягкий, умный, Лев Борисович не скрыл подтверждающей усмешки между усами и бородкой.

– Да, ваши ребята уж такие грубые, правда, и такие неловкие, не дипломаты.

Лев Борисыч посасывал мундштучок, прищурил один глаз. Он как будто стыдился своих большевиков. И вид его и манера говорить были барские:

– Читайте сегодняшнюю «Правду», её нельзя узнать. Это теперь – солидная, настоящая газета. Действительно, у неё был совсем неприличный тон, и репутация... Хоть закрывай совсем. Но я решил её перестроить.

– Ах, так вот и кстати! А мне негде печататься как раз. Я хотел бы, может быть, у вас – но Шляпников говорит: надо объявить себя большевиком?

– Ну, ерунда какая, мало ли что Шляпников. Пишите, пожалуйста, охотно напечатаем.

Так, так, – с поворотом ещё этой новой комбинации спешил Гиммер к Лурье и Урицкому. А что ж? Такая перепрыжка произведёт сенсационное впечатление в советских кругах. Уж во всяком случае, большевики – верные циммервальдисты. И резко оторваться от Нахамкиса, с которым рядом им невозможно быть, тот мешает развороту гиммеровского таланта.

А тем временем в комнате Исполкома набирались члены. Лурье и Урицкий здоровались со многими знакомыми – все петербургские социалисты, в общем, знали друг друга, хоть и отлучаясь порой в эмиграцию или в ссылку, – и уж теперь никому не могла прийти такая неловкость: попросить их покинуть заседание. Лурье уже многим оживлённо сообщил свой проект журнала «Интернационал».

Кончали завтракать, Шляпников пришёл с Мурановым, тоже рыло.

Собралось десять, пятнадцать, восемнадцать человек, и утомлённый, ото всех дней невыспавшийся, да и старше их тут всех, Чхеидзе, в потёртом порыжевшем пиджаке, открыл заседание, зовя к тишине.

Против включения Муранова, не вместо Шляпникова, а лишним, сразу же стал ершиться Чхенкели: лишний большевик? – тогда и нашего лишнего меньшевика! Ничего не могли решить, отложили вопрос на бюро.

Да, придётся Гиммеру ещё придумать манёвр, как вставить Лурье. А уж Урицкого, наверно, не удастся. Да он какой-то мешок.

Дальше упёрлись в финансы. Когда разрешали две недели назад создание Временного правительства, не догадались – никто не догадался! - связать их ещё и финансовым обязательством в пользу Совета: революция тогда пылала, и все умы были заняты одной политикой. Но постепенно остыли, куда ни кинься – нужны деньги, и вот рассчитал Брамсон потребности Исполкома – а денег-то у Совета нет! а деньги-то оказались в министерстве финансов.

А презренное лицемерное цензовое правительство так до сих пор ничего не ответило на требование о 10 миллионах.

Так подошёл момент потребовать этих денег окончательно! Поручили Нахамкису и Эрлиху: сегодня же срочно сформулировать повторный категорический текст требования на 10 миллионов. И за подписью Чхеидзе и Скобелева – послать с курьером в Мариинский дворец.

Тут выступил Громан (он был член с совещательным голосом), очень взволнованный, крупнокалиберный, тучный, и говорил (постоянно гулко гундося, как будто с неизлечимым насморком), что продовольственный кризис катастрофически обострился, а договориться с министром Шингарёвым невозможно... Громан уже тискался к столу со своими многими

бумажками, собирался тут же и доклад начинать. Но на Исполкоме стали очень не любить внеочередные вопросы, каждый метил свой вопрос провести, или может быть раньше уйти, – и так закричали на Громана, что вопрос не подготовлен, что надо пригласить специалистов, – отложили на завтра. (Да просто никто Громану не поверил, зная его манеру пугать, что за три дня продовольственный вопрос вдруг стал катастрофичен. Честно говоря, открылось, что он ни перед революцией таким не был, ни сейчас.)

А Лурье – цвёл, через болезненный свой вид, что он первый, самый первый вестник из-за границы. И не упустил, уже освоившись с обстановкой, взять слово, хотя и не был членом Исполкома, и докладывал о своих собственных переговорах в Германии с комитетом профсоюзов, и что они ему говорили, на каких условиях германские социал-демократы согласились бы на мир. Ещё дальше осваиваясь, как будто он тут заседал уже не первую неделю, не он сегодняшней ночью спал тут на столе, Лурье предложил образовать при Исполнительном Комитете Международный отдел (куда, очевидно, он бы и первый попал как знаток тех дел). И ещё – послать комиссара Совета в Петроградское телеграфное агентство, чтобы контролировать, как они освещают русские события на Западе. И ещё предлагал: выписывать немецкие газеты, и послать агентов Совета в Стокгольм, и послать делегатов Совета по всей Европе...

Всё дельно! И ещё неизвестно, что б он напредлагал, у него-таки был *kopf* на плечах, и говорил он увлекательно, и уже очевидно было предreshено его участие в Исполкоме, – но давлением приехавших делегаций его пока остановили.

А делегаций пёрла – чёртова вереница. Какие-то жалобы на самовольно захваченные партиями помещения в Петрограде, и стали решать вопрос о захвате помещений.

А делегаты какой-то маршевой (но остановившейся в своём марше) роты из Ельца приехали жаловаться, что генерал Эверт издал приказ солдатам не заниматься политикой, – и смеялись тут за столом, что уже и Эверта того давно сняли, и приказа такого не было, – а елецкие делегаты радовались, что с ними разговаривают, и просили ещё, ещё объяснить.

А делегаты казанского Совета депутатов пришли доложить, почему и как они сместили и арестовали своего командующего Округом, – и искали поддержки петроградского Совета, чтоб не уступать перед военным министром.

(А какой-то очередной полк или батальон и сию минуту входил в Таврический, отдавалась тряска и гул по полу, если не по стенам. Началось по второму разу это круговое сумасшествие – паломничество всех полков гарнизона зачем-то в Таврический дворец. Понятен был энтузиазм первых дней революции, но зачем сейчас – опять мусор, грязь, нигде не протиснуться, и ещё уборные надо оберегать от наплыва нечистоплотных гостей.)

И: собрать съезд Исполнительных Комитетов Советов сорока городов России, – надо укреплять свою всероссийскую власть.

И опять же с похоронами жертв: план похоронной процессии для послезавтра всё недостаточно разработан. И могилы не готовы. Так отложить похороны до 23 марта, благо трупы по морозу терпят и месяц.

Но после того как Лурье уже утвердился, Гиммер не очень внимательно следил за происходящим. Он развернул на столе перед собою «Известия» на всю широту окрылённого Манифеста – и озирали его, и впитывали, и перечитывали, и снова любовались. Ему, с его слабым горлом не могшему прокричать речь с крыльца Таврического, – удалось-таки крикнуть на весь мир. И теперь наступят неисчислимы исторические последствия. До пролетариата всех европейских стран донесётся его чарующее революционное слово – и преобразится сознание всех, и преобразится вся война, и западные рабочие крикнут помимо своих правительств, и революционное эхо докатится обратным гулом к потрясённым стенам Таврического дворца.

На столе лежало колечко из красной резины. Гиммер возбуждённо-рассеянно раскручивал, раскручивал его на карандаше. Оно кружилось, как пропеллер аэроплана.

Вытягивалось, расширялось, откуда брался такой охват?

И мелькало как сплошное, красное.

15 марта

**ГЕНЕРАЛ ПАЛИЦЫН (русский военный представитель во Франции) –
ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ**

Ответ французского Главнокомандующего:

«В настоящее время невозможно внести какие-либо изменения в операции и подготовку к атаке, она уже в ходу. Я прошу поэтому, чтобы русская армия, согласно постановлениям конференции в Шантильи... В интересах операции коалиции и принимая во внимание общее духовное состояние русской армии, лучшим решением был бы возможно скорый переход этой армии к наступательным действиям»...

Генераль Нивель верит в содействие нашей армии, как бы трудны ни были условия исполнения.

606

Союзники считают, что наша армия возродится, если мы перейдём в наступление?... Пусть не видят своими глазами, но удивительно, как военные люди могут такого не понимать.

Или уж только: выложись и отдай, а с вами – что будет, то будет?...

Англичане сегодня же настойчиво запросили: английские планы действий в Месопотамии и Сирии опираются на раннее и решительное наступление всех русских войск в Азиатской Турции, – так как будет с ним?

Хотя генералу Алексееву уже всё стало ясно, но не хотел взять на себя бремя окончательного отказа. А – переспросить всех своих главнокомандующих. Разослал.

Из главнокомандующих кто уже отчётливо осознал положение, это Рузский: в спину Северному фронту развал ударил быстрее и сильнее всего. Но Рузский перешагнул сразу и в панику, прося четырёх добавочных корпусов. От кого же их взять? Алексеев был возмущён, и сам подсчитал всё до батальона. И теперь писал Рузскому: «Только ваш единственный фронт имеет двойное превосходство над противником – 505 батальонов против 250.» И к тому же – никаких данных, чтоб удар противника был направлен против Петрограда.

Вчера Алексеев отправил и правительству секретную сводку настроений Действующей армии. В Петрограде правительство хотело получить в нескольких абзацах впечатление обо всём Фронте. Где-то со штабов корпусов начался сбор мнений, и штабные офицеры записывали то, что случайно было у них в памяти, упуская 99 неизвестных им долей, – а затем эти докладные сводились в следующих по старшинству штабах, что-то опускалось, а что-то подчёркивалось, – и так потом явилось целое. Оказались в сводке фразы и бодрые, но больше проступало изо всего собранного, что множество солдат в разных частях всего великого Фронта восприняло отречение царя с удивлением, недоумением, огорчением, сожалением, хотя и не сделало попытки сопротивиться. В иных местах толковали солдаты и так, что долго без царя оставаться нельзя, надо скорей выбирать нового. В общем, Действующая армия поначалу просто ничего не поняла в событиях – это было Алексееву ясно, но не было ясно в Петрограде, судя по газетам.

Да он и сам до сих пор не понимал. Что такое Совет и как он может властно распоряжаться наряду с правительством – невозможно понять военному человеку. Две власти могут означать только развал.

А между тем и сам Алексеев в самом Могилёве не мог помешать Советам, в Могилёве стало даже два Совета-комитета: гарнизонный и солдатско-офицерский комитет самой Ставки, – Алексеев разрешил своим офицерам примкнуть, надеясь таким образом сдержать и направить.

Что вообще было можно придумать против расходящейся волны Советов? Если

правительство ни в чём не мешало им – как могло сопротивляться командование? И Алексеев собственными руками направлял Советы в свою армию: дал указание главнокомандующим создавать центральные комитеты при всех фронтах, и дальше в армиях, и дальше в корпусах, дивизиях, повсюду в смешанном составе, а где уже возникли солдатские комитеты – стараться включать туда офицеров.

В разум не вмещалось: как это, при неотменённых военных уставах и государственных законах, – самозванные Советы присылали на фронт никем не разрешённые депутации, которые сразу же, миновав командиров, обращались к солдатам? В разум не могло вместиться, – но это уже происходило, и не было сил запретить, – и ничего не мог Алексеев придумать, кроме как тоже пытаться канализировать.

Временное правительство плохо понимало, что происходит в армии, но армия, но Алексеев ещё хуже понимал, что происходит во Временном правительстве и вообще в Петрограде. Прямые аппаратные переговоры давно прекратились. Присылаемые документы – были специальны. И Алексеев и все штабные стали как никогда со рвением читать газеты – но быстро почувствовали, что и во всех газетах изложение как бы специальное: слишком горячо, а затуманено розовым и не доглядеться до дела. И потому особенно набрасывались на живых приезжающих.

Так, сегодня вернулся из Петрограда начальник военных сообщений Кисляков, ездивший на доклад к Некрасову. У Алексеева с 28 февраля остался недоразуменный камень, чувство обиды к Кислякову, что тот солгал тогда, не объяснил как следует, – а то ведь не отдали б им железные дороги и могло быть иначе многое. Но – и удержаться не мог от расспросов и вызвал Кислякова тотчас же, хотя этот хитрый рыжий чиновник заведомо не возьмётся передать правду. Он охотно делал доклад по железным дорогам, а выше и дальше будто сам не понимал. Вот, выяснялось, что всякая охрана железных дорог прекратилась повсюду – жандармерия вся распущена, а на замену никто. Ещё кое-где охранялись большие мосты, но уже и тут уверенности нет. Дичь!? Во время войны?

Ну, а как Бубликов? (Ещё один, самый неловкий камень.)

Бубликов? Никто, ничего, его и близко нет в министерстве.

Короткие часы гремел на всю Россию как Робеспьер – и вовсе нет?

А Родзянко?

Родзянко – не у дел, никакого влияния не имеет. Сидит себе в Таврическом дворце.

Это исчезновение гремящих имён трудней всего уразумевалось. Вот, недавно, всё сосредоточивалось только в них – Родзянко, Бубликов, – и вдруг рассеялись как дым?

Но оставались реальны – министры, и, как уже знал Алексеев, они собирались ехать в Ставку, несколько сразу. Вот и предстояло во всём разобраться в прямой беседе наконец.

По-деловому он должен был бы радоваться этой разъяснительной встрече, – а испытывал тягость, тянуло его.

Ещё недавно именно он и дал этому правительству власть – а вот обернулось, и они ехали контролировать его, упрекать, а может быть увольнять.

Если бы 1-2 марта в грозе своей силы (как никогда не бывал) вернулся бы в Ставку император – должен был бы генерал Алексеев складывать объяснения о своих упущениях в государевой службе за последние перед тем дни. Но вот ехали министры Временного правительства – и тех же самых дней те же самые поступки Алексеев должен был истолковать обратно: как упущения признать свою верную службу, и как верную службу – упущения.

Теперь ему предстояло объяснить, почему он всё-таки осмелился собирать войска против Петрограда. А дело, мол, в том, что генерал Алексеев был введен в заблуждение относительно действительного смысла петроградских событий. Сообщения Беляева всё извращали. Из Ставки в те дни нельзя было понять, что это – великое народное движение. По отрывочным и неверным сведениям можно было представить, что это – волнение кучки людей смутьянского характера и, значит, подлежит, так сказать, успокоению. Теперь-то ясно видно, что двинуть войска на Петроград была лишь отчаянная попытка бывшего царя спасти

свою корону. Но в те часы ещё не существовало Временного правительства, чтобы дать генералу Алексееву прямые указания как поступать, – и всё, что генерал Алексейев мог сделать, это отговаривать царя от репрессивных мер, уговаривать его дать ответственное министерство, вплоть до слёз и даже угроз, – да, он даже нашёл форму ему угрожать. В те дни генерал Алексейев не был властен удержать царя от его поездки, от его попыток, – но в решающий день 2-го марта генерал сыграл перевесную роль в том, чтобы подтолкнуть царя к отречению, это теперь всем известно. А когда отречённый царь почему-то приехал снова в Могилёв, – он не был допущен до дел нисколько. И по первому требованию Временного правительства был ему выдан. Не мог генерал Алексейев послужить Временному правительству вернее и лучше!

Изрядно гадко было давать такое объяснение – да ещё будет ли оно и принято?

Как стеснённо, как обидно, как жаль было генералу Алексееву всей своей долголетней честной службы, своего неоценённого умения, старания, – вот и всё никому не нужно, вот, теперь смахнут как муху. Если ещё не вздумают отдать под суд за нерасторопность в перевороте.

Ещё не сегодня министры приезжали, где-то в конце недели, ещё несколько дней оставалось запасу до неприятного разговора.

И не ждал Алексейев, что удар по нему придётся ещё куда быстрее – и опять в форме «Известий Совета», пришедших с сегодняшним поездом.

Дежурный полковник читал газету за столом. При проходе генерала сделал неловкое движение спрятать её, генерал заметил – и сердце его сжалось. Уж от этой газеты он не привык ожидать себе доброго. Хотел пройти, да он может вызвать себе полную пришедшую почту, но понял, что уже не найдёт покоя, и спросил дежурного:

– Там что-то есть?

Дежурный вытянулся:

– Так точно, ваше высокопревосходительство. Мерзейшие статьи.

– Дайте, – протянул руку Алексейев. Взял эту, неровно сложившуюся, полускомканную гадость. И забыв, куда и зачем шёл, вернулся к себе в кабинет. С опалённой, не то охолодавшей грудью стал читать.

Заголовок: «Ставка – центр контрреволюции».

И – всё оборвалось внутри. Уже не читал с полным смыслом, а жалко тащился по строкам.

Ах, это от георгиевского батальона пошло, от них... «Офицеры-мятежники... обещают восстановление Николая II, угрожая несогласным солдатам – пулю в лоб.» Какая ложь, какая чушь... «безотлагательно назначить Чрезвычайную следственную комиссию для раскрытия монархического заговора...» И каков язык – военно-полевого суда, а не газеты! «... Действовать беспощадно к шайке черносотенных заговорщиков.»

Кровь била в вялые старые щёки. Ничтожная чушь – а страшно. Именно по полной бессмыслице и страшно, ибо тут и оправданий не будут слушать.

Но это – было не всё! Сразу дальше – крупней, жирней: «Генералы-мятежники вне закона... Среди нашего высшего командного состава... Мрозовский, Иванов... Но таких генералов немало и среди тех, которые ещё пока гуляют на свободе... Неотложно издать декрет, объявляющий генералов-мятежников вне закона... После издания декрета солдаты... смогут безнаказанно убить таких господ, которые посмеют повести их на усмирение народа... Временное правительство обещало такой декрет.»

Пол наклонялся – и скользил генерал по полу куда-то в пасть, в отсечение головы. Ноги плавильсь, он опустил на стул. Но не расплавились его глаза, и он читал ещё следующую, третью статью, точно вослед, вплотную. Это всё было не о каких-то вообще изменниках, то могло его минуть, но это было прямо о нём.

«... Генералы-реакционеры... Справедливое негодование на распоряжение генерала Алексеева насчёт 'революционных разнузданных шак'... Генерал Алексейев и многие другие, надевшие на себя личину друзей народа, прямо опасны и вредны для свободной России...»

Вот вцепились! Вот не простили! В тот грозный момент, когда банды ехали арестовывать всех по пути, – начальник штаба Верховного не должен был защищать свою армию, но должен был предвидеть, что не угодит революционному Совету, – и за это вот теперь расплатится!

Всё стреляло в Алексеева. Очевидно, мишенью был избран – он. И такой тройной прицел грозил, что с мушки они его уже не спустят.

«... Этот царский приспешник исподтишка старался взять за горло Земский и Городской союзы...»

Ну да, это помнят, оттуда и пошло...

«... Как может во главе нашей армии стоять лицо, которое для сохранения старого порядка готово...»

В своей прежней службе – честной, ясной, прямой военной службе, генерал Алексеев не потерпел бы десятой доли таких оскорблений – тотчас потребовал бы снять с себя обвинения, либо подал в отставку.

Но – не было теперь над ним такого прямого, ответственного и понимающего лица, кому можно было такую отставку подать. Какое-то расплывчатое, многоликое и подмигивающее было перед ним мурло – и подавать в отставку звучало смехотворно, его обещали обезглавить или резать или потрошить, они легко могли прислать вооружённую шайку и сюда, в Могилёв, – а оставалось бездеятельно ждать. Это была опасность непредставимая, неохватимая, неотразимая, – и отказывали ноги, соображение и язык.

И всё сходилось как нельзя хуже: печатали, что монархически настроен штаб Бориса Владимировича, – так это заговор в Ставке?

А великий князь Сергей Михалыч, хоть и подал прошение об отставке, хоть и снял свитские аксельбанты – но расхаживал по Ставке в генеральской форме, – вот и связь Алексеева с павшей династией.

А Николай Николаевич так и застрял в Ставке, всё не уезжал (его не пускали без сопровождения) – так и сидел в своём поезде на станции, пленник в собственной бывшей Ставке, это стесняло и мучило Алексеева, опасно и неприлично было бы его посещать, и неудобно совсем не оказывать знаков внимания, – и вот опять связь с династией. (Кажется, уедет сегодня вечером.)

Наконец – тут же рядом печатали крупно об аресте генерала Иванова в Киеве, – а Иванов совсем недавно свободно жил в Ставке, – и уже понимал Алексеев, что его обвинят: зачем не арестовал Иванова после похода на Петроград?

607

Окончательный отказ Крымова лёг на гучковское сердце обидой. Совсем не на многих, совсем на редких боевых генералов он рассчитывал опереться – и вот главный из них отрёкся. А верные и живые, кто были с Гучковым, – военная молодёжь, не годная для расстановки на крупные посты. Но – уже он начал, и не могло быть у него другого пути. Обновление всего генеральского состава русской армии могло бы стать делом его жизни. Ладно, он переворошит и с молодыми! Выгнать генералов сотню – другая будет армия! Наполеоновского духа.

Как раз в эти дни Гучков дал санкцию на арест окружения великого князя Бориса Владимировича. Это было и неизбежно: притёк донос из Ставки, и нельзя было не дать ему хода, особенно в дни, когда Совет гремел, что Ставка – гнездо контрреволюции. Такой арест, пятка офицеров, прозвучит сейчас в Ставке как звенящее предупреждение. Что военный министр шутить не будет. Предварительно напугать всех тех, кто думал бы сопротивляться.

Красиво бы – и самого Бориса! Совет бы ликовал. И это было бы даже как бы продолжением давней борьбы Гучкова с великими князьями. Но чтобы быть честным – материала не хватало. Борис – щенок, и безответственный, – но не вредный.

Тем более необходима какая-то суровая мера в дни, когда расслабляется вся

военно-судная система. Вчера Гучков упразднил военные трибуналы всюду вне театра военных действий. Полевые суды на фронте решено оставить, но без права смертной казни. То есть глядя вперёд: теперь ни измена, ни бегство с поля сражения уже не будут караться серьёзно. Очень может быть, что не избежать в армии института присяжных – то есть судьями посадить солдат же. От военно-полевой юстиции не оставалось ничего.

Парадоксальность положения была в том, что двигаться к укреплению армии Гучков мог лишь через частичное её ослабление.

Ещё появилась от Совета довольно безумная «Декларация прав солдата», – по безобразию уже опубликованная в газетах – ещё прежде чем поливановская комиссия её рассмотрела, а и рассматривая – пасовала. Но уж эту – Гучков имел решимость не утверждать, или во всяком случае потянуть подольше.

А ещё – присяга. Правительство назначило армии присягать (вероятно зря), а вот все петроградские батальоны отказываются. (Один штаб Корнилова присягнул.) И – что делать?

И с отдаением чести Гучков уклонялся день за днём, надеясь, что просветится что-нибудь к лучшему. Однако не просвечивало. В Петрограде никто не отдавал, кроме юнкеров. На всех просторах железных дорог, этапных перевозок – чести не отдавали. Армия уже перестала выглядеть армией. Так стоило ли военному министру ещё упираться?

А тут – кажется, неизбежность, под напором общественного мнения революции, отменять все боевые ордена, из-за их царского или церковного звучания, – и только георгиевский крест, конечно, надо отстоять.

А тут накладывали прошений и запросов от интеллигентов, которые раньше скрывались от военной службы: надо дать им право, не подвергаясь каре, явиться к исполнению службы ныне, наряду с новопризываемыми. И – неужели же им в этом можно отказать при торжестве революции?

А на возврат дезертиров-солдат придётся положить долгий срок, месяца два, иначе и не вернуться, кто уехал далеко в деревню.

А заводы и мастерские Главного Артиллерийского Управления требовали себе теперь тоже 8-часового рабочего дня – и как же в сегодняшней обстановке стать поперек рабочего прогресса?

22 депутата Государственной Думы, крестьяне, обращались к Гучкову с просьбой – увеличить выплаты солдатским семьям: 3 рубля 20 копеек в месяц по сегодняшней дороговизне ничто. И не отпускают казённых дров.

И придётся добавлять.

А тут подкладывали подписать увольнение великого князя Михаила Александровича с генерал-инспектора кавалерии и председателя георгиевского комитета.

Телеграмму от суматошного истеричного Пуришкевича, уже не знающего, как выслужиться перед новым строем, как заказаться своим: что он лично раздал на фронте полмиллиона воззваний Временного правительства и 20 тысяч «приказов №3» (совместных Гучкова с Советом). Заверял, что настроение в армии внушает уверенность. Зато писал, накопления немцев – лихорадочны, и зловещий признак – молчание их артиллерии. Старый шут, позабывший вовремя сойти со сцены. После убийства Распутина мог бы уже и перестать трястись на виду у всех.

А тут – ожидал самим Гучковым вызванный из далёкого Карса комендант его, а прежде – комендант Ивангородской крепости, талантливый военный инженер Шварц, которого, несмотря на его немецкую фамилию, рисковал теперь Гучков назначить начальником своего Военно-технического управления.

Так минутами – Карс! Ивангород! – толкало сознание огромности, обширности всей этой трёхлетней войны, этой Армии, навалившейся теперь на Гучкова и ожидающей от него – всего.

Но уже докладывали, что прибыла и дожидается депутация Черноморского флота. Фронтowych депутатий разных, уж он привык, приезжало теперь каждый день по две-по три. Однако сегодняшняя делегация была исключительная – и Гучков, глотнув кофе и

подтянувшись, вышел к ней в залик.

Чернело от формы. Стояло 30 молодцов – больше матросы, но и солдаты и штатских немного (выяснилось: рабочие). Среди моряков был капитан 1-го ранга, но Гучков благоразумно удержался подойти пожать ему руку: невозможно было теперь отличить его и возвысить, а жать руки всем подряд – Гучков брезговал, это выверт Керенского. И действительно, главным в депутации оказался не каперанг, а солдат молодой, кажется нестроевой части, Зорохович, – с живыми глазами, ещё гражданскими манерами (так и показался ряженым) и очень свободным языком. Нисколько не робея от обстановки, от министра, от солдат (он назвался председателем Центрального комитета Черноморского флота), чуть шагнул вперёд и залпом произнёс речь. И – целиком положительную. Он заверял, что боевая мощь флота не понизилась ни на йоту (так и сказал), флот и гарнизоны объединены желанием войны до победного конца, достойного великой нации (так и сказал). А поэтому они, черноморцы, приехали *требовать* от тыла неослабной работы на оборону, а Временному правительству окажут всемерную поддержку вплоть до Учредительного Собрания. А министра просил прислушиваться ко мнению севастопольцев.

Как посвежело. Гучков воодушевился:

– Старая власть по своей неспособности и равнодушию вела Россию к гибели. Теперь великая помеха убрана с народного пути. Жалкий сор, оставшийся на месте бывшего величия. Временное правительство выметет начисто. Не скрою: каждому из нас предстоит тяжёлая работа, но её нам облегчит глубокий государственный инстинкт, вложенный в душу народа.

Только – *есть* ли он в народе? Смотрел, смотрел по глазам. И простодушные, и старательные, и любопытные. Больше – на Зороховича, с надеждой.

– Вы знаете, как наш прошлый режим был связан с немцем. – (Уж так прямо не думал Гучков, но так было доступнее народу.) – На наш переворот враг отозвался сосредоточением дивизий, угрозой столице...

И дальше – о свободе, о победе, о единстве, – уже привыкал язык перемалывать.

– Я стал министром – и в моих руках большая лопата, которой я выгребу всё, что себя запятнало. Но помните, господа... – может быть, надо было «товарищи» сказать? не выговаривалось, – что ошибки возможны везде. Может быть, допущу ошибку и я, – но я не задумаюсь над её исправлением.

Вернулся к своим занятиям приподнятый. Корреспондентам отвечать: никаких оснований для пессимизма, настроение в войсках благоприятное, и вера в победу окрепла.

А всего-то, после великих обещаний, подкладывал ему заместитель проект демократической реорганизации военно-учебных заведений: не могли ж они остаться прежними для новой русской армии! Во-первых, принимаются в них евреи. Во-вторых, менять воспитательный состав. Но уже и не хватало толковых чинов для возглавления, – и не оставалось назначить сюда никого другого как директора военно-педагогического музея.

И: остановить трудовую мобилизацию среднеазиатских инородцев, чтобы не возникли новые волнения.

А затем пришёл Ободовский. Гучков любил этого неопенимого инженера, постоянную живость его сочувствия к военным делам, принимал его вне очереди среди военных и даже своих сотрудников.

Но вот – и он хлопотал: для технических артиллерийских заведений подписать 8-часовой день при прежнем заработке и возможности сверхурочных. И – выплатить за все революционные дни. И заводские комитеты.

Встретились молча глазами.

– Но разве это будет работа? – сказал Гучков.

– Ничего не поделаеть, – вздохнул Ободовский. – Всюду так. А иначе будет хуже.

Вздохнул и Гучков. Перешёл поприятнее.

– Ну как в поливановской комиссии?

Ободовский был там вне всех личных натяжений, напряжений и соперничества, наиболее беспристрастен.

– Да может, вы меня оттуда исключите? – хмурился. – Нелепо я там выгляжу, единственный штатский.

– Да за это я больше всего вас там и ценю, Пётр Акимыч.

Брови Ободовского под русо-седающим бобриком головы иронически передёрнулись. Он не улыбнулся, но искринка юмора прошла в глазах:

– Я думаю, им недостаёт военной косточки.

– Ах вот как! – засмеялся Гучков. Повысилось у него настроение после черноморцев. – И в чём же?

– Перед Советом. Уж очень заискивают. Уж очень спрашивают разрешения и выкладывают им все материалы. И каждое только мнение, высказанное на комиссии, попадает в газеты и разносится во все казармы и окопы. И солдатами воспринимается как уже реальность. Что ж это будет?

– Да, это чёрт знает что! Подкрутите их.

Тут Гучков вдруг решил: ни у одного генерала не спрашивал, а у Ободовского первого и спросить.

– Скажите мне, Пётр Акимович, совершенно *entre nous*: а что вы думаете о генерале Алексееве? Можно его назначить Верховным?

Брови Ободовского застыли асимметрично. Сжатые губы прокачались в раздумьи.

– Вот, – решил Гучков, достал ему из стола папку с последним унылым письмом Алексеева о развале и слабости армии. Ни от одной фронтовой делегации не веяло подобным. – Прочтите.

Ободовский не удивился. Отсел в комнате тут же, быстро прочёл, вернул.

– Ну что?

Пожал нервными плечами. Но ответил без всякого колебания:

– В настоящее время – не годится он в Главнокомандующие.

Гучков мысленно поставил в графе Алексеева второй минус, первый был свой.

Ободовский ни минуты не задерживался дольше дел. Вот уже всё кончил, и:

– Некоторый неловкий случай. Сегодня Керенский просил меня привезти к нему на встречу нескольких полковников из Военной комиссии.

Что такое?...

– Зачем?

– Как говорит: хотел бы немного познакомиться с военными делами.

– А зачем ему?

Ободовский пожал плечами.

Бестактно. Как и всё бестактно, что делает Керенский. Само по себе бестактно – да ещё почему же не спросить Гучкова прямо?

Мальчишка! Приказчик революции.

Но запрещать – смешно. Чувство юмора.

– Ну что ж, свозите.

Пока Гучков готовил ведомость на генералов – кто-то уже готовил и на него.

(по свободным газетам, 13-15 марта)

АМЕРИКА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ.

ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНФЛИКТ. Великая заатлантическая республика в случае открытия военных действий... Правительство Соединённых Штатов будет в изобилии снабжать державы Согласия деньгами и снарядами.

... Великая Заатлантическая республика не могла примириться с лишением прав целой категории русских граждан на том основании, что они исповедуют другую религию. Соединённые Штаты отказались от заключения торговых договоров с Россией. Во время войны американские банкиры охотно финансировали Англию и Францию, но Россия не могла пользоваться американским кредитом. Теперь всё это разительно изменилось. Из телеграммы банкира Якова Шиффа мы видим... Приветствие американского посла носило интимно-сердечный характер. Америка становится из преданнейших наших друзей. Воинственное настроение американских политических и финансовых кругов... «Самая молодая» демократия увлекает за собой «самую старую»...

(«Биржевые ведомости»)

Речь сэра Бьюкенена произвела на многих тягостное впечатление. Она заключала такие указания, от которых представитель Великобритании при Временном правительстве мог бы удержаться. Если при господстве старого режима сэр Бьюкенен выходил из рамок дипломатического представителя, то это объяснялось понятным недоверием британского народа. Заподозрить же русскую демократию в возможности нарушения международных обязательств... С правительством русской демократии надо говорить иным языком, чем с германофильским правительством Николая II.

НЕМЕЦКИЙ НАТИСК. Почему именно на Петроград? Значение Петрограда для России ярко выявила революция: достаточно было совершиться желанному перевороту в столице, как сейчас же и уже легко стала под знамя свободы вся провинция.

Телеграмма генералу Корнилову. Редакция «Утра России», отражая патриотическую тревогу, горит желанием отдать все силы достижению святой цели победы и просит вас, любимого армией вождя, дать нам возможность обратиться вашим именем к миллионам читателей с призывом: Отечество в опасности! враг у ворот!

У епископа Андрея Ухтомского. «Сейчас выезжаю на Северный фронт, меня вызывает Гучков телеграммой. Надо спасти родину, озарённую ярким светом свободы. Я ехал три дня по России. Русь святая сейчас великолепна в своём величии. Она знает, что грозный враг при дверях, и молится. А на улицах Петрограда многое мне не понравилось. Нет, не так нужно праздновать великие дни свободы.»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ НА ФРОНТ. Прибывшие из поездки по Рижскому фронту депутаты Ефремов и Макогон... Настроение армии не оставляет желать лучшего. Офицеры и солдаты клянутся в дальнейшем проливать свою кровь. Какое вдумчивое понимание момента! Какое спокойное сознание своего достоинства. На защиту интересов дисциплины стали сами солдаты. Как они теперь подходят с рапортом, как стоят на часах! – гвардейцы! Праздничный энтузиазм слился с будничным экстазом.

... член ГД Дзюбинский заявил: Я только что вернулся с фронта. Повсюду мы видели полное единение офицеров с солдатами. Только теперь, говорили солдаты, мы поняли, за что мы боремся. Напрасно из Петрограда нас тревожат разными листками. Мы умрём все до единого, но не допустим немца.

... При старом режиме между офицерами и солдатами была пропасть... Офицер, избавленный от полицейской роли, станет вождём на поле битвы. Если подвиги совершали прежде рабы – то что же теперь совершат свободные люди!

(«Новое время»)

ХЛЕБ ВЕЗУТ! Известия с мест всё более отрадны...

Норма реквизиции хлеба у землевладельцев с посевной площадью более 70 дес. На продовольствие до нового урожая оставляется по 1,25 пуда на душу в месяц... Для ярового посева... Для рабочих лошадей...

Речи к народу... Но, согласитесь, правительство не с улицы пришло и не вчера познакомилось с государственными вопросами... Бросается в глаза их длинная заслуженность на общественной работе. О таланте подождём говорить, пока не выяснятся успехи. Прежде чрезвычайно трудно было сочувствовать власти, при смрадном происхождении правительства... В нашей несчастной стране, доведенной самодержавием до политической одичалости...

... Господа рабочие и господа солдаты! Ради вашего же спасения не откажите поддержать выдвинутую власть. Народ тоже обязан связать себя клятвой верности правительству. Образованные народы удивляются спокойствию и порядку, с каким у нас совершена революция.

(«Новое время»)

БУНТ ИЕРАРХОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Они протянули свои белые руки к власти. Они не хотят, чтобы церковные преобразования провел бы представитель Временного правительства. Шесть епископов вышло из состава Синода, осталось три члена. Они тешат себя надеждой, что образуется клерикальная гвардия для борьбы с Временным правительством.

Но правительство несомненно полней выражает голос мирской церкви, чем иерархическая среда, – и назначить петроградского митрополита предпочтительней правительству, чем на соборе архиереев. Церковное переустройство можно осуществить только путём внутреннего переворота, подобного революции...

(«Русская воля»)

Резолюция литераторов. Высоко оценивая огромную роль Совета Рабочих Депутатов, глубоко сожалеем о его попытках ограничить свободу слова и печати. Не должны первые шаги освобождения страны направиться на путь угнетателей свободного слова.

... В.Л. Бурцев, поставивший своим девизом борьбу за свободное слово, скорбит, что в настоящее время вынужденно замолкли так называемые черносотенные газеты.

... Свобода печати может быть скверно использована злостными демагогами. Свобода печати для них – механическая свобода писать и набивать умы читателя дребеденью.

(«День»)

СВОБОДА СЛОВА. Временный суд разобрал обвинение солдата в критике вслух в трамвае Совета Рабочих Депутатов за запрет „Нового времени». Допрошены свидетели обвинения. Обвиняемый не агитировал, а лишь критиковал постановление СРД в спокойном разговоре с соседями... Обвиняемый в последнем слове заявил, что всецело признаёт новый строй. Найдено, что он невиновен.

ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ... В военно-судное управление министерством юстиции было представлено два проекта: абсолютной отмены и с сохранением казни за шпионство и измену. Утверждена – абсолютная отмена.

... Военно-прокурорский надзор 5 армии с беспредельной радостью принимает весть об отмене смертной казни.

Претензии арестантов . Многие лица, обвиняемые по чисто уголовным статьям, причисляют себя к политическим – и требуют полной амнистии. Рассмотрение дел затруднено тем, что все документы многих арестантов уничтожены во время пожара в Бутырской тюрьме.

... По роковой случайности из кронштадтских тюрем при освобождении политических были освобождены и все уголовные...

АРЕСТ БАДМАЕВА. По приказанию следственной комиссии произведен обыск... Ведь должны понимать люди, что в Тибете не знают ни химии, ни физики, ни физиологии. Нет и не может быть никакой «тибетской медицины».

К аресту Марии Павловны... Стояла во главе заговора. Много компрометирующих документов...

Постановление об аресте Кшесинской... Прокурорскому надзору поручено ознакомиться с корреспонденцией, забранной на квартире балерины... Кроме того, предстоит арест двух сослуживцев её по сцене.

БЕСЕДА С КНЯЗЕМ ЮСУПОВЫМ, ГРАФОМ СУМАРОКОВЫМ-ЭЛЬСТОНОМ.

... Юсуповский дворец на Мойке, особняк одного из богатейших людей России... Хозяин уже прибыл из ссылки. Прислуга дворца влюблена в молодого князя. «Вы, конечно, приехали узнать о Распутине? Но стоит ли говорить об этой грязной личности? При дворе знали, какого я мнения, я открыто возмущался. Узнав о перевороте, я не был удивлён. Я давно предвидел, что Двор катится по наклонной плоскости. Государыня вообразила, что она – вторая Екатерина Великая. Они не вняли голосу своих близких. Николай Александрович за последний год окончательно потерял волю и всецело попал под влияние Александры. За последнее время государя довели почти до полного сумасшествия, его поили тибетскими зельями. Я бы сказал многое, но не хочу в такое тревожное время обливать грязью тех, которые для России уже не играют никакой роли. Одно скажу: при дворе царил какой-то кошмар.»

... Трезво и насмешливо смотрит русское общество на запоздалый либерализм Кириллов, Михайлов и т.д., не очаровано новоявленными Филиппами Эгалите с их голштинскими дамами. Первой крысой оказался Кирилл Владимирович, любимец пресловутой Марии Павловны, которую надо поставить во главе немецкого шпионства. Его нелепые интервью... Достаточно нам сказать «мой дворник и я» – чтобы мы растаяли?...

ОТМЕНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Временное правительство постановило снять с акционерных компаний ограничения относительно лиц иудейского вероисповедания и иностранцев.

Одесса . Прибыла депутация жителей города Ольвиополя и сообщила, что тёмные силы угрожают еврейским погромом. Генерал-губернатор предписал херсонскому губернатору послать комиссара в сопровождении войск. Туда же из Одессы послан летучий отряд.

Письмо в редакцию. Гвардейский экипаж сим заявляет, что слухи о том, будто бы на колокольне морского Николаевского Богоявленского собора в великие дни революции были поставлены пулемёты, производившие обстрел восставшего народа, лишены всякого основания. Подтверждено осмотрами.

... Великое событие, единственное в истории всех революций по скоротечности и бескровию, когда в несколько часов одна шестая часть света руками петроградцев скинула с себя оковы. Петроград, которому особенно надоел старый строй, взял да и бросил его в тартарары. Сделал это самый нерусский город в России, – и вся Россия сразу приняла весть из Петрограда как благовест. И наша умная Россия взяла да и стала свободной.

(«Новое время»)

Необходимо скрыть чудовишно-мрачные мозолящие стены Петропавловки, а на открывшейся площади воздвигнуть памятник Свободе, не ниже шпица Петропавловского собора... И строить памятник Свободе не из простых камней, но из казематов со всей России.

... Леонид Андреев боится развала. По его мнению, необходима дисциплина. Смешно! У нас о развале нет и помину. Вместо развала – спокойные ряды. Говорили, что усиливается пораженчество. Но я не видел ни одного знамени „долой войну». Наше настоящее прекрасно.

Срочные меры к охране заводов спирта...

ТОВАРИЩИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! Перед нами – ядовитый соблазн. Уже вспыхнули горячие споры, кого из начальства выбросить, страстно заговорили о предъявлении всяких требований, возможны забастовки, – и всё это захватит в плен нашу душу. Сколько же сил останется у нас для выполнения служебного долга? Жалкий остаток. Нет, товарищи! Прочь все шкурные интересы, а святой долг перед родиной пусть наполнит пламенем нашу душу...

К населению Петрограда. Комиссар Петрограда и Таврического дворца обращается к населению с призывом возвращать войскам оружие, как-то: пулемёты, винтовки, револьверы, штыки, ручные гранаты, пулемётные ленты...

... В радикальности устройства милиции мы уже обогнали Англию. Не надо жертвовать интересами охраны нового строя ради ложно понятых принципов демократизма.

ПРАЗДНИК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В МОСКВЕ. Демонстрация 12 марта в Москве... Около часа дня показалась группа всадников. Гремит «ура». Это едет командующий войсками подполковник А.Е. Грузинов во главе своего штаба. «Ура» переносится из конца в конец, с колоколен раздаётся звон. Праздников праздник!

Собрание духовных певцов г. Москвы. Наиболее желательной формой правления признана демократическая республика. Затем собрание перешло к обсуждению, как певцам свергнуть иго хозяев.

МИТИНГ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ в Михайловском театре... К сожалению, немало времени было потрачено на патриотические заявления общего характера, становящиеся уже общим местом. Были также выпады чисто личного характера. Страстное и сбивчивое отношение к речам постепенно повышалось. Немало выступало ораторов, совершенно неведомых миру. Ряд выпадов против Горького... Выбрать комитет не смогли: не прошёл ни один список.

... В воскресенье 12-го я председательствовал на митинге искусств. У меня лично осталось несколько кошмарное впечатление от того, что происходило, и от принятых резолюций... Мейерхольд совершал оскорбительные личные нападки против Николая Бенуа,

чья критика его спектаклей... Ограниченный фанатизм, требующий, чтобы прекратилась всякая свободная инициатива в вопросах искусства...

Вл. Набоков

УСПОКОЕНИЕ. Харьков. Жизнь протекает в образцовом порядке. Всякие легкомысленные выступления и грабежи локализованы в их начатках. После освобождения политических из каторжной тюрьмы возникли переговоры уголовных с окружающей толпой, причём арестанты стали пилить наручники и решётки. Толпа грозила арестовать начальника тюрьмы. После убеждения толпы словом, а арестантов военной силой, волнения улеглись. Было предположено выпустить 50 военных арестантов, но вместе с ними двинулись к воротам 700 уголовных, которые сдержаны подоспевшим конвоем. Двое убиты.

Киев. В исправительном арестантском отделении беспокойно. Военный комиссар посетил все камеры и разъяснил происходящие в стране события. Заключённые возбудили ходатайство о снятии с них позорных кандалов и поклялись, что не воспользуются этим для нарушения порядка. Кандалы сняты. Заключённые передали комиссару 1300 рублей на национальный памятник свободы.

Винница. Из местной тюрьмы сбежало 300 уголовных преступников. Часть их направилась в Киев.

Одесса. Родственники арестованных уголовных собирали толпы вокруг полицейских участков якобы для освобождения политических.

Баку. Торжество омрачилось бегством из центральной тюрьмы свыше 600 арестантов: уже несколько дней в тюрьме волновались, требуя участия в торжествах.

Астрахань. В связи с происшедшим 9 марта побегом трёхсот арестантов местной тюрьмы Исполнительный Комитет постановил арестовать всю тюремную администрацию.

Тифлис. На митинге казаки заявили, что преисполнены готовности снять с себя пятно злополучного 1905 года... Казак заявил от имени своего полка: «Долгие годы мучила нас совесть, что в 1905 пошли мы против народа. Прости нас, Русь, – поклонился на 4 стороны, – мы постараемся смыть с себя старый позор.»

Одесса. Многолюдное собрание купечества решило обратиться с воззванием к фабрикантам и купцам отказаться от высоких прибылей, чтобы доказать чуждость спекулятивным намерениям.

Омск. Брешко-Брешковская встречена командующим войсками Округа и восторженной толпой. С митинга вынесена на руках, объезжала казармы. Остановилась в бывшем дворце генерал-губернатора.

Екатеринослав. Мало работников, особенно в уездах. Теперешним грозит переутомление.

В Харьковской губернии состоялись крестьянские сходки. Крестьяне относятся к событиям вдумчиво и в огромном большинстве высказываются за республику. Авторитет царизма совершенно пал.

... Деревенские женщины по большей части плачут, что нет на престоле царя: пусть хоть плохонький, а должен быть.

В Бендерском уезде крестьяне доставляют комиссару золотые монеты.

В Мензелинском уезде пограбили мануфактурных торговцев.

... Готовятся под Москвой и в Крыму санатории для освобождённых политических.

... В Таврическом дворце получено известие, что Плеханов в Россию не приедет...

... Среди арестованных за последнее время – много бесприютных детей, по подозрению в краже.

... Всемирный пансоциалистический союз пяти угнетённых – рабочего, женщины, интритерриториалия, учащегося и личности – зовёт всех угнетённых на собрание в столовой вегетарианского общества. Учащиеся! Если желаете освобождения из школы-казармы... Развитые личности, тяготящиеся принудительными нормами, – приходите!... Придите все обиженные, оскорблённые и недовольные!

Общее собрание евреев-учащихся средних учебных заведений переносится на...

ИСТОРИЯ ЦАРСТВОВАНИЯ НИКОЛАЯ II. Художественное издание. *Открыта подписка...* Темные силы, эпоха Распутина, интимная сторона царствования – будут широко и полно освещены.

ИНДЕЙКИ И ГУСИ откормленные, из Воронежской губ., по сходным ценам.

ДОХИ ИЗ СИБИРИ.

Требуется хорошая кухарка, знающая еврейскую кухню, умеющая хорошо готовить в пасхальную неделю, на хорошее жалованье.

МАЦА 1-го сорта с гехшером Раввина продается по выгодным ценам.

ПОДВОДНАЯ ВОЙНА. БЛОКАДА СЕВЕРО-ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО СРАЖЕНИЯ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ.

Голодные беспорядки в Германии. Уменьшение рационов вызвало тревогу...

РЕФОРМЫ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ. Отставка генерала Эверта встречена с большим удовлетворением. Началась чистка армии от престарелых военачальников и различных протезе. Устраняются командующие армиями генералы Горбатовский и Смирнов. Омоложение командного состава вызывает одобрение армии.

Впечатление депутатов от поездки на фронт. Боевая сила армии увеличилась по крайней мере в 5 раз. Если бы теперь пришлось перейти в наступление, то никакая сила не остановила бы солдат, воодушевлённых переворотом. Пораженческие газеты рвутся солдатами.

... Явление самовольных отлучек солдат является позорным и недопустимым. Воины свободной России должны знать и твёрдо помнить...

... Всё очарование революции в этом лозунге: «Победить или умереть». Когда был «нижний чин» – тогда нужен был и «устав внутренней службы». Но когда солдат – свободный гражданин, то нужны сознание долга и любовь к родине. Пусть дым фабрик сольётся с дымом орудий – и тогда мы победим врага.

(«Новое время»)

... Не умер ещё, к несчастью, лозунг «долой войну», на митингах к нему прислушиваются. Но удельный вес его падает... Большевики почему-то предполагают, что их обращение прекратить войну будет уважено немецкими рабочими.

... Трон Вильгельма будет опрокинут штыками вот этих депутатов, которые составили Воззвание к народам. Ибо оно несёт не мир, но меч.

Учредительное Собрание будет в Петрограде. Вопрос решён бесповоротно. Совет Рабочих Депутатов находит...

В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ. НАСТРОЕНИЕ ДЕПУТАТОВ. Одни утверждают, что с созывом Учредительного Собрания следует ждать конца войны... Другие: нельзя откладывать, оно само будет работать более года. Раздаются иронические возгласы: «с каких пор кадеты стали выдвигать лозунг демократической республики?»

СКОЛЬКО ВЛАСТЕЙ? Совет Рабочих Депутатов не представляет собой правительства. Но как орган тех классов населения, которые дали России свободу, должен стоять на страже интересов революции – и в тех случаях, когда им угрожает опасность со стороны Временного Правительства, – демонстрировать силу.

... Страна должна знать, кто говорит именем Рабочих и Солдатских Депутатов. Совету необходимо опубликовать полный список всех его членов – притом подлинные, настоящие фамилии и имена. Общее собрание Совета не знает, кто выступает в законспирированном под старым псевдонимом виде. О какой политической ответственности может быть речь, когда деятели скрывают свои подлинные имена и фамилии? Мы не станем разбираться в мотивах, почему считают нужным прибегать к маскировке. Она была понятна в самодержавное время. Теперь, в изменившихся условиях, нелепо продолжать старые приёмы, в сущности оскорбительные для революционной свободы. Такая же анонимность принята и при подписании резолюций митингов. «Правда» публикует резолюцию Бюро ЦК РСДРП против войны и общаться с германскими солдатами – и никем не подписано. Какие деятели выпускают на свет такие ответственные лозунги?

(«Русская воля», 15 марта)

ИНТЕРВЬЮ КНЯЗЯ ЮСУПОВА... Я считаю, что новое правительство спасло Россию и русский народ от гибели и выведет его на путь прогресса. Новая Россия уже куётся. Сейчас у власти стоят сильные люди. Родзянко и Гучков пользуются огромной популярностью, также и среди крестьян... Деревня? – ещё не осилила совершившегося и с трудом разбирается в том, что произошло.

О ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ. Старое продовольственное ведомство обратилось к хлебной повинности, – но отсутствовал широкий государственный масштаб. Теперь при известном крутом повороте руля возможно поднять результативность. Нужно вызвать отток хлеба от крестьянских амбаров и умело направить в потребительские центры. Это – вопрос успеха русской революции. Нужны решительные действия... Хлебная монополия – героическое мероприятие. Она неизбежна для России, но нельзя проводить её карьером без общественной призмы, которая даст преломление основных линий мероприятия.

... С большой неосновательностью поднимается вопрос о свободной торговле хлебом. «Революция должна расковать хлебную торговлю» вот погудка крупных аграриев. Но у русской торговли ещё мало развит государственный инстинкт.

(«Биржевые ведомости»)

... После введения таксы исчезли из продажи мясо, колбаса, масло... Эти алчные грабители ставят нам преграды... Свести с ними быстрые и решительные счёты. Трёхмесячное заключение для них ничто, нужны самые суровые кары!

(«Русская воля»)

8-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Не столь простой вопрос. Реформа совершилась с лёгкостью, не соответствующей моменту. Сокращение рабочего дня не должно уменьшить производительность предприятий, связанных с обороной, накануне может быть генеральных боёв с немцами. Разумеется, если на рабочих лежит долг отдавать силы, то владельцы предприятий должны забыть о невероятных прибылях, которые извлекали они из работ на оборону. Мы надеемся, что компромиссы будут найдены, чтоб Россия не пострадала от успеха петроградских рабочих.

Утек золота русского за границу принял опасные размеры. Перекупщики, китайцы и корейцы, платят старателям больше, чем предлагает русская казна. Вдоль всей нашей китайской границы германские агенты устроили скупочные конторы. Ежегодно с приисков исчезает не менее 1600 пудов золота...

Заем Свободы должен стать делом всего народа. Создать комитеты пропаганды... Привлечь к агитации...

Когда же отмена смертной казни! ... Чем радостней было принято известие об отмене смертной казни, тем тягостней проходили последующие дни, не принося официального акта. Каждый день промедления ложится пятном на русскую демократию.

... Трепетания красного флага над Петропавловской крепостью я не забуду до моего смертного часа. Д. Минаев писал много лет назад:

Есть у нас одна нелепость:
От Петра до наших дней
В Петропавловскую крепость
Возят мёртвых лишь царей.
Но когда ж те дни настанут,
С нетерпеньем ждём мы их,
Что возить в ту крепость станут
Императоров живых?
Почему бы не свезти туда Николая Романова?

... Временное правительство распорядится с бывшим царём по-своему, и пусть никто не смеет требовать правосудия.

(«Русская воля»)

АМНИСТИЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПНИКАМ. В министерстве юстиции идёт срочная разработка проекта. По отдельным видам преступлений амнистия будет полная.

Арест ген. Н.И. Иванова в Киеве... Очень взволновался. Заявил, что уже присягнул новому правительству и готов ему верно служить.

Арестован редактор газеты «Земщина» Глинка-Янчевский.

БОРЬБА СО ШПИОНАМИ... Контрразведывательные органы обслуживаются верными людьми. Этих людей нельзя смешивать с агентами прежнего полицейского сыска.

ЕСТЬ ЛЮДИ! Предстоит организационная работа громадной важности – и она будет сделана блестяще. Все охвачены энтузиазмом, опрыснуты сказочной водою жажды свободы. Людям больших дарований старое деспотическое правительство не давало простора, подбирало низких угодников, бесстыдных опричников. В общественное сознание вбивалась клевета, что нет людей. И посмотрите, сколько оказалось людей, способных мудро творить государственные дела! Первые шаги, самые трудные и опасные, сделаны художественно-мастерски! А уж вести Россию дальше – тем более люди найдутся, страна может быть спокойна.

(из письма военного летчика)... Энтузиазм и подъём духа такие, что если не подгадите там, в тылу, то границы между возможным и невозможным падут. Дойти до Вены, до Берлина? – кажется совершенно правдоподобным. Революция произошла на фронте как дивная святая молитва.

... Получен ряд телеграмм от различных еврейских общин и кооперативных объединений из Нью-Йорка, Гааги, Лондона с приветствиями по поводу совершившегося переворота.

... Еврейский и немецкий вопрос требуют в крестьянстве правильного освещения.

О портретах Александра II. ... он не запятнал себя ничем позорным, подобно своим потомкам, – и присяжные просят повесить портрет в зале окружного суда.

... За все унижения и притеснения латышского народа – латыши ответили верностью русскому государству: стали стальной щетиной на Двине.

Телеграмма из Ниццы. «Всецело становлюсь на сторону Временного Правительства. Савинков.»

ПЛЕХАНОВ ПРИЕЗЖАЕТ! – слух был неверен.

Уход Г.Г. Перетца. Ввиду сильного нервного переутомления комендант Таврического дворца полковник Перетц подал рапорт об уходе. Это вызвало всеобщее сожаление. Пожелали уйти и все адъютанты, состоявшие при нём, и преображенцы, несшие караульную службу.

8-часовой рабочий день начинают осуществлять явочным порядком. Извозпромышленники и ломовики постановили не выезжать на работу после установленного часа – и останавливается разгрузка продовольственных продуктов на станциях, а есть подверженные порче.

... На всех столичных рынках происходят собрания прислуги.

На телефонной станции. Из 19 тысяч испорченных во время революции телефонов приведено в исправное...

ПРОИСШЕСТВИЯ. 14 марта на Николаевском вокзале задержана группа милиционеров в студенческой форме, вооружённых с головы до ног. Оказались самозванцами, выслеживали удобный момент для производства кражи серебра, прибывшего в двух вагонах.

Молебен на московском почтамте в честь совершившегося переворота.

В Кремле. Специальная комиссия по распоряжению комиссара Москвы приступила к приёму дворцов и соборов. Для приёма икон будут приглашены специалисты и опытные оценщики камней.

В Гельсингфорсе скончалась жена убитого адмирала Непенина.

Владикавказ. Грандиозная встреча депутата Караулова.

Киев. Клуб националистов переименовался в клуб прогрессивных националистов.

Елизаветград. Из тюрьмы бежало 500 уголовных. Говорят, имели в виду устроить погром. К вечеру 200 беглецов возвратились.

Николаев. Уголовные местной тюрьмы сообщили депутату Государственной Думы, что решили получить свободу хотя бы через тела надзирателей.

Одесса. В Одесском тюремном замке – «конституционное управление». Стража устранена. Власть начальника тюрьмы строго ограничена, управление тюрьмой – в руках комитета из 10 заключённых, в нём – знаменитый бессарабский «рыцарь больших дорог» Григорий Котовский, смертник, помилованный ген. Брусиловым. Охрану тюрьмы несут сами заключённые, давшие честное слово. Митинг арестантов отправил приветственную телеграмму правительству. Выборные ходят в город за покупками.

Харьков. Специальная комиссия работает над архивом охранного отделения. Найдены списки агентов, среди которых оказались видные деятели рабочих организаций, представители интеллигенции, кооперативов и учащиеся высших учебных заведений.

Сызрань. Бежавший из Симбирска под видом извозчика исправник арестован. Пытался повеситься, вынут из петли.

Понижение цен на продукты. Обильный привоз на базары... В Нижнем Новгороде отпечатано четверть миллиона воззваний Родзянко с призывом подвозить продукты.

Голос земли. В Исполнительный Комитет продолжают поступать приговоры волостных сходов. Вот выдержки:

«... желателен республиканский образ правления с избранием президента по образцу Америки и Франции. Конституционный образ теперь является запоздалым...»

«... Учитесь терпению у крестьян. Берите всех нас на войну. Отберите зерно, скот и всё имущество, но пусть русское «ура» докатится до Берлина.»

... В деревнях настроение у всех праздничное. Об отречении Николая II говорят: «Так и надо, давно пора!» Крестьяне воспрянули духом и ждут разгрома немцев.

Устюжна. В уезде – лесные порубки.

Кое-где отбирают у помещиков землю, избивают агрономов. В с. Конюхове Рязанской

губ. крестьяне разгромили квартиру присяжного поверенного, рояль разрубили на дрова, а бархатную обивку мебели разделили на штаны.

В Нижегородской губернии крестьяне радостно встретили весть о свободе. Преобладают республиканские тенденции. Были случаи разгрома помещичьих усадеб и вырубки частных лесов.

Отменить постоянные абонементы в Мариинском театре, наследственное право кучки феодалов...

ПОКУПАЮ ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ Бриллианты, Жемчуг, Золото, Серебро,
Ломбардные квитанции.

СЧАСТЬЕ ЖЕНЩИНЫ В ЕЕ РУКАХ. Особый японский крем для лица.

Нужна прислуга без мужских знакомств.

КУЧЕР НУЖЕН, хорошо знающий езду на молодых кровных лошадях.

Добрые люди, укажите отцу, где находится пропавшая 5-летняя дочь, ушла к Николаевскому вокзалу, одета в...

609

В мирном домашнем Тамбове все дела во всех учреждениях всегда успевали сделаться до двух часов дня. По всем бумагам принимали решения, успевали отписать, куда надо, убрать в столы и в шкафы и разойтись по домам, кроме разве уж самых мелких служащих. И после того, в разумно просторное оставшееся время суток, отдавали себя удовольствиям: обильным медлительным трапезам (никто никогда в Тамбове голодным не сидел); карточным играм; катанью по Большой улице в экипажах; гулянию в городском саду, где играл военный оркестр; летом – катанью на лодках по Цне и её рукавам – от самого городского берега и в дальние прибрежные леса на пикники, с раздольными песнями на пойме; зимой – ёлки, балы, маскарады, взаимные визиты и опять же катанье на рысаках (губерния изобиловала конными заводами). А ещё ж любительские спектакли и в них соревнования дам!

С войны стало потемней: и в учреждениях больше работы, и тревоги о своих, ушедших на фронт.

А уж с революционных дней и вовсе стало напряжённо: пришли в движение неожиданные, до сих пор не известные горожане и вопросы.

В центре стал председатель губернской земской управы – а теперь внове губернский комиссар – дворянин Юрий Васильевич Давыдов. При нём создан и губернский комитет – как новая революционная власть, и губпродсовещание, а заместителем к комиссару стал присяжный поверенный Шатов, убеждений весьма левых (впрочем, и Давыдов тоже). И тамбовский губернатор Салтыков и гарнизонный генерал признали комитет и подчинились ему без сопротивления. Распахнули двери тюрьмы, и оттуда освободились семеро задержанных по политическим мотивам. И так уже 3 марта в Тамбове бескровно совершилась революция. 8 марта догадались снимать государственные гербы. Давыдов одним приказом устранил от должности всех классных и низших чинов полиции и приказал сдать дела. Только начальник губернского жандармского управления с помощником не подчинились тому честно, а вырывали из дел страницы, из папок вынимали листы и уничтожали их, якобы «по нравственным соображениям», – и Давыдов распорядился арестовать их обоих и сам архив. Поступали и свежие политические доносы, но большей

частью анонимные, Давыдов велел не рассматривать их. Рядовых полицейских, кто помоложе, направляли в армию, а старших возрастом охотно приняли в новую революционную милицию (возглавленную нотариусом), ибо оказалось, что некому нести службу порядка: никто новый не соглашался идти за 52 рубля в месяц. Да что там – домовладельцы и дворники стали тротуары плохо чистить.

Теперь выдавали полноправные документы административно-ссылным – Тамбовская губерния всегда была разрешена для проживания их, да и собственного славного революционера когда-то выдвинул Тамбов – Балмашова, убийцу Сипягина, не говоря уже о несколько смутной, но ярко взлетевшей Марии Спиридоновой.

Открывались светлые просторы, омрачённые, однако, конкуренцией власти. Хотя в городской думе, только что избранной, была сильная интеллигентская группа «прогрессистов», да и противники их, «деловая группа», тоже не консервативны, – в Тамбове возник и стал собираться в лучшем зале города, в Нарышкинской читальне, – Совет рабочих депутатов и требовал признать себя высшей властью в городе. Но лица – совсем неизвестные, а собственно рабочих в Тамбове почти не было. Собирался Совет – не густо, и в читальном зале находились дни для собраний то торговых приказчиков, то еврейских ремесленников, то гимназистов, а то было устроено молебствие трёх тысяч магометан за спасение России.

Ещё одна была видная фигура в Тамбове – губернский предводитель дворянства владетельный князь Челокаев, гофмейстер и член Государственного Совета. Ещё 10 лет назад он был довольно прогрессивен и против губернатора. Но в 1907 крестьяне сожгли его имение – и он стал сторонник жёстких консервативных мер. Однако сегодня у него не было опорных сил для оппозиции, и шёл ему 77-й год, и наконец он приходился Юрию Васильевичу – родным дядей.

Положение губернского комиссара равнялось прежнему губернатору, и Давыдов должен был бы занять губернаторскую канцелярию. Но он больше держался своего привычного кабинета на 2-м этаже земской управы – массивного каменного здания на углу Большой и Араповской, откуда и видна была ему вся центральная городская площадь перед собором и монастырём. Продолжая и дела земской управы, там принимал он большую часть посетителей – и туда же к нему пришёл сегодня и его шурин Александр Львович Вышеславцев, москвич.

– Саша! Откуда? Сейчас приехал? с вокзала?

В другое время, поспокойней и повнимательней, заметил бы Давыдов, что шурин его что-то слишком рассеян, даже расстроен. Но сейчас он сам был так возбуждён и переполнен деятельностью, да и не виделись от дня революции:

– Ну, каково, а? Каково, голубчик, мы отмочили? – встретил его на середине кабинета, обнимал и тряс. – Дождались, а? Ещё при нашей жизни вдруг дождались!

Вышеславцев виновато улыбнулся. По мягкому лицу его – со лба, через глаза и на щёки, как бы постоянно стекало тихое облачко осветлённости, как это нередко бывает на русских образованных лицах.

А Давыдов, усадив его и рискуя оказаться неучтивым, расхаживал по ковру и с размахами рук рассказывал о себе, о своём – да потому что это было не своё, а Тамбов, а губерния, а вся Россия! Ослепительна была общественная победа, и каждое событие и известие пело об этом, и безграничны, бездонны развернувшиеся перспективы, но может быть самое затаённое, да, вот что чувствовала всякая душа болельца за народ, и конечно изгнанника брата Васи бы сейчас: происходит искупление столетней дворянской неправоты! – нашим участием в революции, и как доверчиво революция приняла нас в свой поток!

– Но что в Москве? А в Москве как? Ты рассказывай!

Нет, Вышеславцев не вскидывался из кресла, не разбежался размахивать руками, хотя был моложе зятя почти на десять лет. Он всё так же смотрел мягко-рассеянно, светло-растерянно.

Да он, оказывается, и не прямо из Москвы: он сейчас на обратном пути, из

Волохонщины. Туда ехал по борисоглебской ветке, через Жердёвку. (Кстати, мужики стали драть за пару лошадей по рублю с версты.) А оттуда сейчас, своими лошадьми, через Каменку и Ржаксу.

– В Каменке, Юра, за что Владимира Мефодьича арестовали? Как это может быть?

– Да этот дегенерат, учительшка Скобенников! Объявил себя волостным комиссаром, таких и не бывает. Вместе с акушеркой вытребовали милиционеров, что, мол, попечитель – враг нового режима и *сеет семена*. А просто акушерка мстила ему, он увольнял её. А Скобенников раньше перед попечителем просто лакейничал, и в соглядатаи лез, а теперь, видишь, выиграло, распрямился. Но пока туда-сюда, пока в Сампуре приняли моё распоряжение – а старик две ночи отсидел ни за что, в клоповнике. Безобразие! И сейчас я его пока просил в Каменку не ездить, не дразнить. Но и тоже наш народ! Какую больницу, какую школу старик им поставил, лечил, научил, – а выводили под саблями – стояла толпа, смотрела бараньими глазами, и никто в защиту.

– А Плужников?

– Плужников был тут, в Тамбове. И ко мне приходил. – Усмехнулся Давыдов. – Ещё не хватало нам этих деревенских политиков. Плужников возмущается, что у Родзянки лучшего слова не нашлось, зачем и новое правительство с того ж начало: «везите хлеб!». Мол, сперва пусть город нам товары везёт. Сейчас если все вот так за политику возьмутся... Ну, а что в Волохонщине? Что ты ездил? Проведать? Как Людмила Христофоровна?

– Мама? – вздохнул. – Мама – пока ничего...

Спинка кресла за Вышеславцевым была не ровная, а откинута назад – и так он сам как бы падал назад. И с тем же растеряннo-озабоченным выражением:

– Да не просто проведать, а знаешь... Сердце не на месте. Поехал... как бы чего...

– Ну-у-у, куда! Ничего такого не будет! Посмотри, какая светлая дружелюбная общая атмосфера! Крестьяне всё понимают – и ничего не тронут. Во всяком случае тех, кто был к ним хорош. У меня в Каменке – усадьба, лес, и я ни за что не беспокоюсь. И ваша Волохонщина в Пятом году тоже не бунтовала, чего ты вдруг?

– А у меня – сразу встала тревога... И я поехал. И у мамы, оказалось, тоже. Даже, знаешь, такое настроение: если б можно было всё продать как попало да перевезти своих в Тамбов или в Москву...

– Ну – что ты придумал?!

– Три женщины, что они там могут? Да и кому теперь продашь? Да и не поднимется рука... Разрушить родной угол?...

Медлил. (Подъезжал – краснели почки на берёзовом молодняке, дальше сизой стеной стояли дубы, потом липы, и широко дымились трубы села...)

– Что я вздумал? Всё по-старому? А нет, Юра, сердце не обманывает. Вот собрал я перед домом всех мужиков. Знакомые те же самые мужики. Но вместо прежних глаз – и просительных, и дружелюбных, и, догадаться, лукавых, – новые, любопытные, жёсткие. И шапки сняли не все.

– Так и не надо!

– Так и не надо, я понимаю. А – знак. Столетняя наша неправота – это я понимаю. Нельзя было так широко и роскошно жить на глазах народа. Но когда видишь на лицах новую неприязненную решимость... И несколько совсем чужих, какие-то подбиватели из города появились...

Медлил.

– Я – сильно волновался. Всё же постарался изложить им твёрдо: отдаю им в аренду, пониже цены, почти всю мою пахотную землю, несколько десятин себе оставил – прокормить лошадей, птицу. Отдаю им луговой покос – исполу. Избыток теперь лошадей рабочих – отдаю в долг безлошадным. А что ж? – и в минувшем году не все помещики убрались, хлеб так и остался в рядах, рабочих рук не найти...

– А что? Я и говорю: правильно! правильно! – энергично одобрял Давыдов.

– Другие соседи – жестоко порицают меня, за сдачу. Ну, остались мои мужики как

будто довольны. Сочувственно приняли. Сговорились. И видя эту благорасположенность – я после того сам шапку снял, поклонился миру. И просил: в моё отсутствие не обижать родных. Загалдели, что не обидят.

– Да конечно! Да совсем не та атмосфера, я тебе говорю!

– Как знать? А страшно – лишиться всего сразу, под корень.

– Да нет, Пятый год не повторится!

– А начали распределять лошадей – где там прежнее благочиние в барской усадьбе! – такое торжище подняли с криками и руганью – страшно их. Нет, они за эти недели стали не те...

Вышеславцев, полуоткинутый в кресле:

– Да хоть бы не землю, но усадьбу сохранить. Разрушится – вся наша жизнь, от молодых ногтей? И всего нашего рода?... Знаешь... просто никогда я так не любил нашей Волохонщины, как сейчас. Обходил как прощаясь, так сердце ноет. Как прощаясь... Обе веранды, крытая и открытая. Сколько чаепитничали там... В зной. И в лунные ночи. А снизу, из села, неслись деревенские хоры... Ничего этого больше не будет.

Безусый, открытыми губами, хотел улыбнуться – а боль одна.

– Во дворе дряхлеют конюшни, амбары. В парке дубы – каждый знакомец. Несколько лип – такие уже старые, скованы железными обручами, чтоб не развалились. Сколько труда, теперь уже непосильного, потрачено – полоть дорожки, аллеи, поддерживать ветхие беседки. Сад. Мироновка, грушевка, наливные, китайские, апорт, анис. Летняя печурка из кирпича, под два варенных таза. Тёмный прудок. Ореховая аллея – и калитка в конце. За ней – закат солнца смотреть и как возвращается стадо с поля. И этот высотный вид – на Журавлиное Вершинское. На Синие Кусты... Боже мой...

Взялся за лоб, а верней – прикрыть глаза.

Он ещё многое мог бы перевспомнить, даже из этих угасающих десятилетий. А – библиотека? Сколько собрано, сколько читано... А дальний колокольный звон над полями? А летом на рессорной коляске из имения в имение? – остывающий сухой полевой воздух, стрекочут кузнечики, ровный звук бегущих лошадей, спокойное пофыркивание, мягкий постук по просёлку. Среди ржи. Вальки упряжки задевают за дорожную траву. Или от речки – запах мяты: там, на костре, у шалаша, гонят её...

– Да если мы потеряем даже этот дряхлеющий быт, эту зелёную заглущь – куда привезём мы детей летом? И в знойный день – никогда не увидим, как находит туча без дождя – и перепела опадают в рожь?

Но к губернскому комиссару ждали посетители, просители, предлагатели.

Ну да он же теперь – к сестре, домой? И расскажет ей.

Она – поймёт. Она всё это – вместе помнит.

610

Опять, опять ожил Таврический! Безошибочное сердце вело народ к своей водительнице Государственной Думе! Военный оркестр (уж пусть марсельеза) гремел на улице, потом замолк – но тысячный топот ног отдавался гулом по самому зданию. Пришёл опять лейб-гвардии Семёновский батальон! И как же переменялась жизнь Таврического!

Волны радости так и вздымали Родзянко, он чувствовал себя невесомым. Пусть неблагодарные министры забыли материнское думское лоно, откуда они все вышли, пусть неблагодарные журналисты пренебрегли этим истинным центром русской жизни, – но русский народ знал, где его духовный центр, знал, кого он любит, знал, чему он верит, – и тянулся сюда!

Этот возврат солдатских масс в Таврический был мало сказать торжественный, – эпохальный. И Родзянко ощутил, что надо выйти к нему более чем достойно: не просто единолично, но в окружении свиты из членов Думы – собрать их вокруг себя как можно больше, всех, кто сейчас в Таврическом, чтобы явить символически весь облик Думы.

Собирали спешно из разных комнат – собрали человек двадцать, неплохо, обычно их стало тут меньше. Застёгивались, подтягивали галстуки.

Пошли. Прошли не через Екатерининский зал, а на хоры другой лестницей – чтобы к площадке над собранием спуститься сверху, величественнее.

Весь зал был полон, и сверху это могуче выглядело. Несколько тысяч солдатских голов, без строя, – а над ними растянутые двухпалочные плакаты: «Война до победы», «Берегите завоёванную свободу!», но и – «Да здравствует демократическая республика», но и – «Земля и воля».

Однако же, Родзянко не мог привыкнуть, это не помещалось в его голове: он не был единственный присутственный хозяин в Таврическом дворце! Здесь же был ещё Совет рабочих депутатов, здесь же был ещё Чхеидзе. И уже на выступательной площадке, ниже его, Чхеидзе стоял и вещал – сразу обо всех народах мира и как они объединятся.

И явление Родзянки со свитой не было достойно замечено, ни отдельно приветствовано.

Впрочем, Чхеидзе в этот раз не так уж глупо выбрызгивал:

– Пока немцы не свергнут Вильгельма – наши штыки будут обращены против Германии. Докажите, семёновцы, что вы – львы революции. Да здравствует армия, в которой есть дисциплина, основанная на взаимном понимании солдат и офицеров. Учредительному Собранию и демократической республике – у-ра!

Это «ура» у него звучало так комично-козлино, сорванным голосом, как в водевиле.

Но солдаты приняли и кричали «ура». Что ж. Ладно.

Но и тут не успел Родзянко занять главного места – как выступил полковник, выборный (других теперь не было) командир батальона. Он заговорил звонко, молодецки, голосом, привыкшим к тысячам, – а главное, сказал верные, золотые слова:

– Мы приветствуем Государственную Думу, – и обернулся назад и выше себя, и все теперь заметили думцев, – за то, что она взяла в свои руки борьбу с проклятым старым режимом!

Удивительно легко некоторые видные офицеры выговаривали теперь «старый проклятый режим». Но это было – так, он был проклятый и сметен именно Государственной Думой, и за это ей спасибо.

Ещё поговорил полковник, самого себя укрепляя, что семёновцы теперь – сорганизовались, и являют силу, которая сумеет защитить свободу и счастье России, – и ему отчаянно горланили «ура». А он – деликатно и с пониманием уступил место опускающемуся Родзянке.

Всё внимание тысяч собралось сюда. Безмолвная внушительная свита высилась на ступеньках за плечами Председателя.

Шумно хлопали в ладоши уже заранее. Теперь простодушные семёновцы поняли, что наступает главный момент. Родзянко могуче вобрал кубическую сажень воздуха – и прогремел:

– Благодарю вас, храбрые товарищи... – уже без этого слова было неудобно, – семёновцы, что вы пришли показать свою готовность стоять на страже счастья и свободы нашей матушки Руси!

До «матушки Руси» он, как всегда, выговорил уверенно – но неожиданно быстро она появилась, когда должна была быть в заключение речи. А уже после матушки Руси что можно было добавить? Он понадеялся, что всегда найдётся на речь, – а вот скособочилось и нечего было говорить.

Добавил о борьбе со страшным врагом немцем.

Но и этого было достаточно. Во всём зале наступил энтузиазм.

И ответив, ответив поклонами на приветствия, Родзянко счёл удобным теперь продолжить спуск по лестнице со своей свитой.

Так до низу они и спустились под аплодисменты, и Родзянко подумывал, не подхватят ли его солдаты на руки.

Но – стихли, а наверху опять задрезжал голос Чхеидзе (упустил Родзянко: пока он там, надо было и самому оставаться там):

– А спросите, товарищи семёновцы, председателя Государственной Думы, – исходя ехидством тона, предлагал Чхеидзе, – что он думает насчёт созыва Учредительного Собрания? И – что он думает насчёт демократической республики? А главное, спросите господина Родзянко, что он думает насчёт земли? А спросите, сколько у него самого десятин земли и думает ли он свою землю отдать народу? Отдаст ли он землю, из которой сам не обрабатывает ни клочка? Я отвечу за него: не отдаст ни десятины! И другие помещики тоже не отдадут!

Как полыхнуло в лицо и грудь Родзянко – то ли горячим, то ли холодным, то ли красным, то ли белым, как ослепило, – он остановился, внутри загорячило, упало сердце, – такого оскорбления никто ему никогда не наносил, и он не знал, что делать. Он мог рвануться вверх назад по лестнице – но ещё не был готов, не знал, что говорить.

Какой отвратительный выпад, какая бестактность и грубость! В своё время Родзянко сколько щадил этого гнусавца, допускал говорить с думской трибуны совсем непозволительное, – и вот благодарность. Утеряно было торжественное настроение, солдаты насторожились, – а что мог ответить Родзянко? Революционеры распускали про него слух, что у него 200 тысяч десятин, – но то было у дальнего предка, а у него только четыре с половиной тысячи.

А тем временем какой-то развязный, сполошный солдат-охальник взобрался и захватил слово – и нёс свинский бред, Поток оскорблений всем достойным людям России, какую-то уличную похабщину, – и уже начинались одобрительные отголоски из толпы. А солдат всё разгонялся – и прямо предложил семёновцам: не верить ни помещику Родзянке, ни всей Государственной Думе!

Родзянко пылал. Родзянко дышал запышенно. Он понимал, что на него обвалился один из важнейших моментов жизни, хотели уничтожить и его и Россию. Он не должен был промолчать! Он не мог уже теперь пробираться через зал как побитый. Он должен был ответить! Но – что? И ехидная подача Чхеидзе и развязность солдата обнажили в нём какую-то новую, непривычную уязвимость.

Плохо понимая, он стал топтать по лестнице на площадку наверх опять. Солдат ещё нёс своё, но Родзянко отодвинул его властной рукой. И с новым большим залпом воздуха выкинул в зал:

– Господа! – Уж про «товарищей» он и забыл совсем, язык говорил, как привык. – И я, и Государственная Дума приложим все усилия, чтобы Учредительное Собрание было собрано как можно скорей. – Да он так искренне и намеревался, только от него это уже не зависело. – Мы не позволим никому воспрепятствовать! И Оно будет выразителем воли свободного народа – и все мы подчинимся этому безропотно, и будем защищать тот строй, который будет установлен.

Таким образом, эту гадкую «демократическую республику» он, кажется, обошёл. Но ещё же надо было ответить о земле. Ему вообразились в совокупности свои любимые екатеринославские просторы – чернозёмная ширь, моря пшеницы, и приречные левяды, лошажки табуны. Он и все просторы южнорусские любил, а к своему-то имению особенно нежное чувство. И почему же в момент торжества России – он должен был пожертвовать всем лично своим? Но хорошо, пусть, его сердце готово было и на самую широкую жертву, – однако спрашивали его о большем: готовы ли и все помещики отдать свою землю крестьянам? И что об этом думает не он один, но вся Государственная Дума.

Момент был велик, но велик и Председатель, он привык знать мнение своей Думы и душу России – и мог теперь взяться ответить:

– Что касается земли, то я от имени Государственной Думы заявляю вам, что если Учредительное Собрание постановит, чтобы земля отошла ко всему народу, – то это и будет выполнено безо всякого сопротивления.

Сказал – и только потом сообразил, что Учредительное Собрание и не может

заниматься землёй, оно занимается государственным устройством. Ну, уж сказал. Ещё горячей теперь и уверенней:

– Не верьте, товарищи семёновцы, тем, кто нашёптывает вам, что я или Государственная Дума будем мешать счастью и свободе России! Это неправда, мы сделаем всё! – и да живёт народ русский так, как он сам хочет!

Он вызвучил это всё – превосходно, чувствовал. Благодарное рыдание жертвы, любви и самоумаления подступило к его горлу. Это – передалось залу, и зал заревел неузнаваемо. Забыт был и мелкий Чхеидзе, и тот дерзкий солдат, – и уже так ревели, так хлопали, что когда Родзянко спустился с лестницы – до последних ступенек ему не удалось дойти, солдаты подхватили его на руки – и понесли через зал, пробиваясь, и потом передавали другим, – хотя весил он 7 пудов, но не обронили.

А зал – ревел и ревел несравнимое «ура».

Родзянко – победил. Родзянко снова был со своим народом.

Кто-то там опять лез на лестницу, кто-то пытался вякать, – это уже было бесполезно, Родзянко победил.

Через весь зал его так пронесли, около коридора спустили на пол, и он пошёл в свои комнаты.

А уже стояли в приёмной какие-то моряки. Оказалось: депутация Черноморского Флота. Родзянко отпил воды, приосанился и, неутомимый, вышел к ним.

Потом переходил к каким-то письменным занятиям, но обнаружил, что заниматься чем-либо ему невозможно: так он был обожжён, и что-то вынуто из него большое безвозвратно – там, в речи перед семёновцами. Он потерял душевное равновесие, он не мог найти себя, он сделал что-то не то, изменил кому-то, – и ему надо было время для осознания и успокоения.

Живя не на земле, живя в Петербурге, – он, оказывается, вот как был слит со всюю ширью своей земли, вот как! Без неё – всё опустело, посерело.

А тут надо было распределять Фонд Освобождения России, решать что-то с Красным Крестом, с посылкой делегатов на фронты, – он отвечал и распоряжался, плохо понимая. Вынули из него душу.

А пожалуй: как же эго его угораздило обещать всю землю, да не только свою, а всех помещиков России? И от имени всей Думы?

И почему-то там это легко сказалось, а теперь отдавалось неуклюжей тяжестью.

Не имущества было жалко. А той души, которая есть земля.

Всё не ладилось – а доложили ему, что опять делегация. А, будь ты неладен, да какая же?

Крестьянская. Новгородской губернии.

Крестьянская? Это была первая такая. Ну что ж, надо выйти.

В приёмной комнате, где этих депутатий проходила черед, теперь стояло два – всего-то два? – чудесных бородача – в посконных азиях, в лаптях и оборах, со светлыми струистыми бородами, а – в силе, крутоплечие, крепки, стройны. И один держал в руках неизвестно как довезенные в такой целостности – блюдо, на нём ржаную буханку и солонку с солью и с красной десяткой. А другой держал – развёрнутую бумагу. Они стояли уже в полной такой готовности, может уже не одну минуту и не пять, – стояли как в театре, или как у дороги, ожидая проезда высокого лица, надёжно достоверные, земные, деревенские.

А едва вошёл Родзянко – тотчас ещё приосанились, ещё выпрямились – узнали сразу, глаза их заблестели. Миг один как будто думали – потом первый ступнул раз, ступнул два навстречу Председателю и – поясно истово поклонился, а блюдо держа ещё перед собой, прежде головы – и нисколько не перекосив при поклоне.

– Прими, батюшка, – сказал он только. А голос его звучал церковно.

Родзянко принял, конечно. Миг подержал – кто-то сзади подскочил, перенял.

Первый мужик ничего больше не нашёлся, а всё так же блистал глазами на Председателя, сам не веря такому чуду.

А второй, помоложе, развернул бумагу поприёмистой, кашлянул, и, от себя ни слова, стал читать с бумаги. Грамотен был хорошо. Лилось у него:

– Многоуважаемый и дорогой Михаил Владимирович! Мы, крестьяне трёх деревень, Рахлиц, Старой Пересы и Горок Ловатских, Старорусского уезда, собрались вкуче обсудить совершившийся государственный переворот. И через своих выборных – Якова Соколова и Павла Соколова...

Братья? Нет, не столько были похожи, – но и похожи, общим типом северорусским, крупностью, русостью, открытостью. Может быть – дальние.

– Как вам, главе Государственной Думы, так и через вас всеми любимому князю Львову, которого видим из далёкого уголка необъятной матушки-России, решили преподнести по старому русскому обычаю – хлеб-соль и деньги. Пускай этот дар от чистого мужицкого сердца скажет вам, борцам за нашу свободу, землю и волю, – спасибо! Пускай он открылит вас.

Давно-давно, все эти круговоротные революционные недели, и произнося вереницу пламенных патриотических речей, – не был Родзянко тронут так, как вот получив назад свою матушку-Русь из непритязательных уст. Он почувствовал себя пронятым – ещё больше, чем когда солдаты несли его на руках и он читал лозунги поверх голов.

– Верьте и надейтесь, – ровно, звучно и с достоинством читал один из Соколовых. – Вы всегда найдёте у нас силу и средства. Мы вам ни в чём не откажем. Как некогда Минину, мы принесём вам последние наши сбережения и благословим, как с Пожарским, наших любимых сынов, мужей и отцов на ратное дело.

Они – это **знали** всё? Так это не выдумка была столичных гостиных?

Вот они, ясноглазо смотрели на Председателя с благодарностью за землю и волю!

И почувствовал Председатель, что подступают слёзы. Короткой этой грамотой, своим светящимся видом – как очистили его эти два мужика ото всей досады на ехидство Чхеидзе и на свою опустошённость от опрометчивого бряка с трибуны про землю.

А – кто ж на этой земле и работал, разве он? А кому ж она и отповедана Богом?

Теперь – он к ним шагнул и – первую депутацию, не услышавшую от него ответного слова, – поцеловал в бороду одного Соколова и поцеловал другого Соколова.

Да размахнуться – и отдать.

На тот свет всё равно ничего не возьмём.

А уже тянули его за локоть: в Таврический входили царскосельские стрелки, и слышалась музыка опять на весь дворец.

– Пойдёте выступать, Михаил Владимирович?

Но – первый раз он не пошёл. Был – полон всклень.

611

От штаба дивизии к своему полку попались Ярику санки с каким-то чужим солдатом: вёз неполные, можно было и чемодан вскинуть и даже сесть. Но курносый солдат предупредил:

– Вашбродь, я не прямо. Тут – митин будет, я к нему заверну.

– Какого Мити? – не понял Ярослав.

– Ну как? – удивлялся и тот бестолковому поручику. – Митин, не знаете? Послухать, о чём гуторят.

Ах, митинг! Этого слова и образованные-то люди не знали, кто не бегал по левым сходкам, – а вот солдат уже знал, и на круглом лице его отображалась важность прикосновения.

– Чей же митинг?

– Епутатов! – так же важно заявлял картофельный нос. – С полков.

После того, что произошло в поездном тамбуре, ещё каждая жилка болела в теле, ещё

не расслабла. Ведь – какой случайностью спасся? Уже не был бы жив, он бы кончил с собой от позора. Или выбросили бы его из поезда на ходу. Но и – уходить ото всего этого нового – тоже слабость.

– Ну давай завернём.

Дорога уже была раскатанная скользкая, чуть подтаивало. Снег везде уминался, а ещё не подскользнулся водой и не рыхлел. Стоял пасмурный тёплый денёк.

Проехали меньше версты – солдат свернул отвилком в огиб леска. Там дальше было открытое, никакой частью не занятое польце у опушки – и толпилось солдат, да сотни как бы не с три, – конечно, больше свободный дивизионный народ, из полковых линий не могло столько прийти.

И повозок и санок несколько, составленных тут, у края.

А посреди солдатского сгущения тоже стоял запряжённый парюю возок – повыше и с решётчатым бортом, как возят сено или навоз, и в том возке стояло трое – один высокий статный унтер с далеко разложенными стоячими усами, другой – подпрапорщик, тонкий, петушистого вида и с красным лоскутом на шинели, третий – солдат в папахе набекрень, гололицый, литоголовый, так и распирающий щеками и через шинель грудь (он чем-то Качкина напомнил Ярославу, тот же тип, кольнуло). Этот солдат, – он речь и держал, – хоть и маленький, но подбородком был всё же выше повозной вязки, и двумя руками за вязку держась, – всё чуть поднимался и всё как будто хотел наружу вылезти. И сколько вылезти не мог – столько голосом додавал, кричал, гакал по-над толпой:

– ... Был я с пороку приехавши узнать, как у них там идут дела, в Петрограде. И передать им привет от нижних чинов... от самых последних животных прежних, которых раньше и за людей не признавали... Ну, идут дела ничего, хорошо. Промеж себя идут у них разговоры. А у тёмных людей – напротив. А вы, говорю, старайтесь силою их сломить! Вы, говорю, боритесь унутри – с теми, кто настаивает на прежнем дворянстве! А мы тут, на фронте, всю усиль приложим, чтобы сломить врага. Правильно я говорю?

– Правильно! – загудели охотно.

У кого за спинами торчали винтовки, – а многие были без оружия, налегке, – то ли по близости своего расположения, то ли распущенности второго эшелона. Стояли с важностью события, даже рты приразинув, – и глядели на тех, в возке.

У Ярослава всё забилося: кем эти солдаты собраны, почему и как? Знает ли начальство? И – теперь это всё можно говорить? И в их дивизии это уже всё принято так?

– Ну и, однако, крути так, как следует, концы равняй! Не соблюдается очередь в постановке на позицию. Эт-та надо отрегулировать да направить. Или посылают людей на гибель для захвата единого пленного. Это тоже-ть не война, мы так не одобряем. Нас как мише ньку под пули ставят. В такую содому суют!... Так ведь он, гляди, прапорщик, а призвести его – только бумажки в отхожее место носить. Правильно я говорю? – это он каждый раз с наседаньем на вязку и толстую морду свою высывывая да потрясывая.

– Пра-авильно! – гудело.

– Потому что, – аж рвалось из литомордого солдата, на язык он был поспешен и оборотлив, а папаха всё больше сползала набок, – потому что ахвицера – они все желают восстановления прежнего режима! Они, значит, – кон-ле-ворюцинеры! Вы, братва, офицерам – не слишком-то верьте, не слишком. А от кого к нам забота дурная, полускотная? А от кого к нам вытяжка и все несправедливые издевательства?

Ярослава оглушивало. Говорили против офицеров, значит и против него самого. И уже он испытал, чего это стоит и чем кончиться может. Но и с уважением всматривался в соседей, какая же неведомая сила проявлена в солдатах, когда они собраны вот так, вне строя, рассвободнённо толпой.

– А наши товарищи в окопах молят, что и они хотят пользоваться жизнью при свободе, а не только умирать медленной смертью в окопах! На что же нам тая свобода – да без мира? Это же глумёж один! – подхватил, пристукнул на голове падающую папаху. Зачем тебе свобода, если тебя убьют? Так ещё, может, немцы нас послушают – да и своего Вильгельма

погонят? Да и замирился, а?

– А-а-а! – отозвалось изумлённым вздохом.

Ободрённый, солдат и кулаком уже помахивал:

– Война как хотит – так пусть себе и остаётся! Не мы её начинали, не нам кончать! А Германия нам никакого зла не причинит. Какой бы ни вышел конец – а подкатило кончать войну! Народ не хочет молодые головы отдавать!

И молодые и немолодые головы двигались, покачивались или были неподвижны, – а головы-то все человеческие, а лица все индивидуальные – никак не менее офицерских, хоть суровые, угрюмые, тупые, или светлые, юные, – и вот что: хотя и шёл гулок всё время, а это не соседи друг с другом разговаривали – нет, все стояли в необычной обрядной завороченности, кто и в робости, в одну сторону лицами, как во храме, И если вырывались вполголоса, то – никому, сами с собой или вообще всем. А нетерпеливые и громко:

– Верно выговаривает! Чо-ож головы-то отдавать?

– Ну, ладно, размотал тряпку с языка! Дай и другим погуторить.

Мордолитый и ещё бы хотел говорить, за петроградскую поездку видно разлакомился, но уже шумели, убрали его, слезал он нехотя с возка, – а туда, ногу через вязку закинув, полез степенный, плотный, средних лет с жидковатыми усами и подбородным волосьём. Унтер и подпрапорщик между собой поспорили – и не препятствовали этому говорить.

Стал он тоже, за вязку взявшись, и заговорил голосом скрипко-тёплым:

– Ты, парень, с кем это в Питере балаболит – больно они все бойки да много кричать. Им там, в Питере, жизнь сохранная – а ещё им и восемь часов день подай. А как мы тут дудим – двадцать четыре и под обстрелом? Им паёк выдают, под обстрел идтить не надо, глотки здоровы, – отчего не пошуметь? Нет, пусть они сюды придуть, да в наши окопы сядут, где мы полторы годы сидим невылазно, а воюем все два с половиной. Пусть они нас тут заменять – а мы б на отдых подались бы, с нас довольно. Со всех бы тылов подсобрать, кто мочен носить оружие, – да в армию их, заместо нас...

Это вызвало сильный одобрительный гул.

И оратор, с видом старого плотника, не крича, а глаза сощуривая:

– В мирное время – что за служба была? Хоть и два года восемь месяцев, а помаршировали молодцы-удальцы, да побегали на полигоне с винтовкой, вот и уся старания. С такой службы ворочаешься домой – задница жиром зашла. А ноне служба – чо? Смертоубийство. Теперь если домой калеченный воротится – дак уже счастье, обнимают!

Ярослав поглядывал, искал, кого видел в спину, кого сбоку, – своих ротных никого не нашёл, а полковые были.

– А всё ж дозвольте в постепенность дойти последственно, с разумением, – вёл своё непростецкий оратор. – Если нам своим офицерам не верить, – нас и вовсе тогда пули посекут, мы тут будем кидаться как бараны в загоне. А что ж, офицеры – не с нами зараз погибают? Не так же кровь у них льётся? Только надоть им осознать неправоту того, что промеж нас состояло. Кажная личность, бросившая презрение, не сознавает, что под формой находится строевой солдат. Эт всё должно отступить на старый план, а дать место правде. Пусть заручаются любовью солдата, не отгалкивают его, если хочут идти с нами рука в руку. И таких офицеров немало, братцы. И мы в обхватку примем все их добрые чувства к нам.

Боже мой, что за милый солдат! Что за голос у него приятный. Ведь вот же, вот он, народ, только надо было уста ему разомкнуть – и видно теперь, как можем мы обняться дружески, всю эту ложную злобу отбросив. Как верно говорит: «дать место правде между нами!» Зашекотало, засжалось в горле у Ярика, – и благодарность к этому солдату, и к Качкину, и к другим хорошим – отвалила от его сердца пережитое оскорбление. Терпеливо, терпеливо надо искать открытого общения.

И из толпы не кричали тому солдату против – вот и с ним толпа была согласна, добрый знак.

Пока так волновался, пропустил Ярик у солдата дальше, а к концу услышал:

– Ежели англичанам да французам есть антирес – пусть они и наступают. А нам-то чего

по чужим странам сохнуть, по чужой земле? Тая земля нам никогда не согдится. Так что – обороняться будем, разумительно. А наступать – отказываем! Мы то ж носами не чмыхаем, не! Так и немецкий солдат, братцы, он тоже как мы, подневольный мужик.

Галдели одобрительно.

Этот солдат покончил и тихо слезал с возка. Ещё двое потянулись вместо него – но статный унтер с красивыми усами и победно презрительным видом оттолкнул их вниз и заговорил сам. Вязка была ему по пояс, руки на неё – свободно вниз, а стоял он в телеге – стройно, как на лошади б держался.

– Чмыхи вы чмыхи! – сильным голосом разнёс он. – Поджатый хвост и псу не помеха, правильно! Вы на фронт приехали галушки есть, да? Как это так возможно: обороняться, а не наступать? Где это вы такую войну видали? На месте топчась – вы и во сто лет войны не кончите. На чьей земле воюем? На нашей! Так ежели нам горло сдавили – надо сбросить, чтоб можно дышать. Ежели вы хотите врага разбить – так надо на него идти прямо, а не остаиваться, задницу чесать! Стоять на месте – это уже и обороны нет, вас только толканут – вы и посыпетесь. – Молодецки-властно он всё это толпе выговаривал, видно, что привык с солдатами, и видно, что – с правом, что сам – воин первой статьи. – Да не нужны нам ни пол-Германии ни даже-ть один германский город. Но мира без победы тоже-ть не будет, это кто придумал – так дурацкая голова! Этакого русский солдат не мог придумать. Победа нам нужна, чтоб не немцы нам указывали, какой мир, а – мы бы им!

Тут закричали ему истошно-враждебно два-три голоса:

– Верхогляд ты с тонкой кишкой!

– Кати в отхожее, а то запас кудишься!

– Почево залез, ахвицерскую науку нам вговаривать, мы её слышали!

Унтер не потерял ни осанки, не презрительной гордости, так и смотрел глазами суженными над своими красивыми усами, но перелаиваться не стал – и теперь дал себя отодвинуть тому молодому петушистому подпрапорщику с красным бантом. Этот был безусый – и из молодцов другого рода, заязистого. Одну руку он в боки взял, а другою потрёпывал нервно перед собою к толпе:

– То-ва-ри-щи! Только такие беспрепятственные собрания представителей и могут довести сынов России до конца кровавой расправы! Старый режим делал из солдата бессловесное животное, убивал в нём сознание человеческого достоинства! Но события революции показывают, что убить солдата не удалось. Самый надёжный оплот власти был – косность и невежество народных масс. Но теперь вы прозрели! Нет у нас больше царя-предателя и нет его развращённого правительства! А его прислужники офицеры должны теперь сильно задуматься. Уже командующего нашей армии генерала Литвинова сняли – и так их и всех могут снимать.

Узнал его Ярик! – как раз из их полка он и был, взводный 4-й роты. С выражением зубастой самоуверенной находки звонко-дерзко кричал толпе, иногда добавляя к чувствам и обе руки:

– Но не в железном кулаке, не в отдании чести будет спасение. Надо крепить наши солдатские ротные организации, мы только в них сильны!

Слушали с большим напряжением прихмуренных лиц, половины слов и связи их не понимая – но ожидая, что это – к их пользе говорится, помогали им прозреть себя обманутыми, какими они себя и не ведали раньше.

До сих пор простоял Ярик в каком-то обомлении, в неразборе чувств, как на странном спектакле, в который, однако, не полагается вмешиваться. Но при вступлении этого язвительного подпрапорщика он одумался, что ведь заведут толпу куда угодно, её куда угодно заведут. Что он, офицер и командир роты, раз сюда попав, не должен оставаться безучастен! Однако – что он мог сделать? Лезть вот так же отгалкивать и выступать? Балаган недостойный. Да он и не умел, и слова не подготовлены. Окрикнуть командно, перебить? Не к тону всего сборища, и не послушают, ещё худшее унижение.

Он – не один тут был, видел по краям ещё трёх-четырёх офицеров, тоже младших. И –

никто не вмешивался. Положение их было общее – удушенное.

– Получшить питанию! – кричали меж тем, одобряя оратора.

– Даёшь скорейча замиренье!

– Товарищи! – быстро улавливал и поворачивался молоденький подпрапорщик. – Но и мирное разрешение так просто не предвидится. Совет рабочих депутатов должен требовать от Временного правительства, что оно не ставит целью никаких завоеваний и контрибуций.

– Чего эт – трибуций? – не выдержал один лохматый солдат.

– Эт значит, – обернулся подпрапорщик, – после войны не платить, ну... налогов не платить.

– Налогов не платить! – наконец-то поняли и подхватились сразу в нескольких местах.

– Это – хорошо! Это верно! Та-ак!

Высокий лихой унтер с презрительным видом соскочил вниз.

– Мы, конечно, войны не хотим! – вился подбодренный подпрапорщик. – Но мы и не можем так просто бросить окопы. Пусть и в Германии и в Австрии власть перейдёт в руки народа! Тогда мы сразу, все страны, сговоримся о мире. А пока этого не случится – всякий натиск наших врагов есть покушение на нашу свободу! И мы встретим врага грудью, под красным знаменем! И будем железной стеной стоять в окопах за нашу демократическую республику!

– Че-воо? Че-воо? – завыл голос, кажется уже слышанный, тот, что ссаживал патриотического унтера.

И быстро растолкав несколько спин, и легко взлетевши через вязку телеги, так что ноги взметнулись поверху, – рядом с подпрапорщиком и отводя его сильной рукой, – тяжело стукнулся ногами какой-то бешеный ефрейтор, вида переполошенного и злого.

– Че-во это? – кричал он уже сверху. И описал одной рукой косую дугу, как отрезал: – ле-во-рюция – это значит делай, как народу надобно! А не как начальству! Эт значит делай каждый – что хошь!

И – страшен был он, полубезумный, над толпой, – страшно подумать, что вот именно этому да дать делать, что хочешь. Пёрла из него сила и злость немерянные, а лицо у него было просто каторжане кое.

– Что вы хилаетесь туды-сюды, не знаете, кого слушать? Поднимают крик, что не хотят подчиняться Вильгельму, имеют в виду достичь, чтоб солдат погибал для буржуазии, как раньше для царя. Чтобы все мы, кто ещё тут уцелел, – голову сложили.

– Так что? – крикнул ему снизу тот унтер красавец, он и сейчас на пол головы ото всех выдавался: – Бросай оружие и пусть немец русскую землю захватывает?

– Та-аких чудаков нет, – по-бычиному этот бешеный с телеги головой поводил. И снова вперился и снова нагорячивая – даже трясся от гнева, и так должно было из него выхлынуть: – А только эту русскую землю – прежде отдайте **нам** ! У помещиков заберите – нам отдайте. У монастырей заберите – да нам! У уделов! А то – нашими животами больно щедры! Мол – до победы! Вишь, проливы кому-то нужны! А в мирное время они и так для всех открыты – так и воевать зачем? До победы! А там, глядишь, с теми англичанами сцепятся, али с французами, - и где она будет, победа? На кой же мы чёрт царя свергали? На кой чёрт нам война, давайте её кончать! Разбирайся с офицерьём, штык в землю, да айда домой!

Масса – так и захолонула! Не кричали ему «правильно», смотрели с разинутыми ртами: можно ли такое даже высказать? И что теперь случится?

А кто напугался – лошади! Или перекуснулись две соседних, или что-то им почудилось, – метнулись, лягнулись, – и там, где возки и санки стояли, – раздалось ржание, треск и скрип разъезда.

А из солдатской толпы отозвалось матюгами и гоготом. И кто-то кинулся разбирать, распутывать, догонять, и сама телега с ораторами тоже поехала, – смеялся митинг, и не досталось тому оголтелому продолжать.

В толпе тем временем поборачивались в разные стороны, и соседи заметили рядом поручика.

И какой-то один молодой вихлястый солдат, скорей, что из штабной обслуги, вдруг засиял как знакомому – а незнакомый, и – пошёл к поручику походкой гоголиной, ещё издали протягивая руку:

– А, господин поручик! Здравия желаю!

Ярик был тронут его улыбкой – и свою руку протянул охотно. И жал его совсем не солдатско-мужицкую руку, с опозданием отметив насмешку, какая была и в его походке и в выговоре.

Пожали, отпустили – тот ничего больше не имел сказать, но стоял, разглядывая и улыбаясь.

Тут другой солдат по соседству – смурной и с шишкой сбоку челюсти – увидал пожатье – и сам туда же, к праздничку, и свою сунул поручику жёсткую руку. И сквозь его бессмысленно глупый вид тоже засветилось удовольствие.

Что ж, Ярослав пожал охотно и эту – грубую, неухватную. Это ж и был наш русский воин и русский человек – и из какой чванной гордости Ярослав мог бы стыдиться рукопожатия с ним? Эта черта запрета всегда была искусственна.

И третий – заметил, подбежал, подскочил, чтоб не упустить. Весёлый, лихо провёл рукавом шинели по носу, хоть и нос сухой, – и руку свою выложил наперёд:

– Господин поручик? Дозвольте.

И принимая пожатие, тряс, тряс радостно, – и в радости его не было насмешки, как у первого.

А уж за ним сразу и несколько тянулось. Один – с винтовкою за спиной и торчащим наверх штыком, длинный вислоусый пожилой дядька, ничего не сказал.

И сразу за ним – цыгановатого типа пройда.

И – с усами свешенными, хохлацкого вида, самознатный.

И – пряча всё же дымящуюся цыгарку в левый рукав.

И – бородач простоватый, со ртом незапахнутым.

И – ещё, и ещё. Уже второй десяток.

Уже не вид, не выражения их различал Ярослав – а только их ладони жёсткие, бугорчатые, плоские, да крепкие схваты, иные как клещи.

И – жали, и – жали. Больше – молча, а кто приговаривал «господин поручик», а кто бормотал «ваше благородие».

И – шли, и – шли, как в церкви к кресту прикладываются, все по порядку.

И сам Ярослав как шёл сквозь эту череду жёстких притираний и схватов. Он шёл – не от растерянности, он шёл с добрым сердцем сперва – к этому нашему доброму мужику, которому так долго было отказываемо во всём. И поначалу он улыбался, как обычно сопровождают рукопожатие.

Но – не было конца этому потоку, всё шли – и, кажется, некоторые по второму разу. И больно наминая ему кисть, всё подходили – но только ли из любопытства, но для того ли, чтоб ощутить себя не униженными? Или унижить его?

Со страхом представил: да если так – каждый день придётся, и у себя в роте тоже?

Это пожатье в черёд он ощутил как новый вид беззащитности, хоть и обратный позавчерашнему. Не приложиться стояли к нему в рядок, а – приложить, как становится взвод в очередь к насилуемой девке.

В эти последние дни, в уже возобновившемся размеренном покое читальных залов Публичной (теперь переименованной в Национальную) библиотеки, появился веретенно-тонкий, сюртук в талию, ботинки самой последней моды и наблещены, умные глазки сквозь пенсне, остро вкрученные усы, – один из самых известных кадетов Кокошкин. Не только каждый новый день, но если и в день два раза – он появлялся в новом свежайшем крахмальном воротничке, тот словно оковывал его маленькое личико. За суматошные дни

революции многие стали разрешать себе разные недосмотры в одежде – тем язвительней была белизна и даже франтоватость Кокошкина, удивительная среди интеллигентов.

Друзья-кадеты срочно вызвали его из Москвы, но во Временном правительстве уже не нашлось места, а поручили ему вести Юридическое совещание при правительстве по вопросам, требующим предварительного правового изучения. Он был теоретик кадетской партии (но и модный успешный лектор), – ему вполне подходила порученная теперь работа. В связи с нею он и приходил в библиотеку, требовал много разных томов и перелистывал их.

От одной из его собеседниц передалось по заповальной глубине библиотеки, что он сказал:

– Хотя мой род записан в Шестой Книге, но я ещё искал бы человека, кого бы революция сделала счастливее, чем меня.

(Впрочем, за Выборгское воззвание Кокошкин был лишён дворянства. Впрочем, имение его близ станции Кокошкино от этого не пострадало.)

А другой сотруднице он, от весёлости настроения, рассказал из своей жизни анекдот. Когда он ещё только ухаживал за своей Марьей Филипповной, нынешней женой, а тогда состоявшей ещё в первом браке, она как-то собиралась на скачки (любила играть, и они с мужем вообще промотали состояние) – но внезапно захворала. И в хандре и в нездоровьи поручила: «Фёдор Фёдорович, если вы действительно любите меня – то поезжайте сейчас на эти скачки и поставьте на коня Мистраль.» Фёдор Фёдорович любил её без ума и тотчас поехал на скачки, где никогда не бывал, и поставил что-то рублей триста на указанную лошадь. Но и по дороге туда на извозчике и в зрительном ряду он читал захватывающую политическую брошюру, пришедшую из эмиграции, – и пропустил собственно картину скачек. Наконец общий шум свидетельствовал ему, что забег кончился. Он спросил, кто же победил, ему ответили, что именно Мистраль, и притом очень крупно, должны платить двадцати кратно! Поражаясь чутью любимой женщины, Кокошкин последовал к оконцу тотализатора и предъявил свой билетик. И каково ж было его смятение, стыд, сокрушение, невозможность показаться Маше на глаза, когда ему заявили, что он поставил не на Мистраля, а на соседнего по списку Магика! (Это он рассказал в связи с ходячим выражением «на какую лошадь ставить», то есть на какую партию.)

А сегодня Вера Воротынцева подносила к прилавку заказанные Кокошкиным книги по церковному праву, и досталось им тоже разговориться, по обе стороны прилавка, сниженными библиотечными голосами. О нынешнем слухе, что Владимир Львов подаёт в отставку из-за конфликта с Синодом, сказал:

– Много им будет чести! Скорей весь Синод в отставку пойдёт.

Он чуть шепелявил: «ш» вместо «с» и не выговаривал «л». Ровный в спине, пронзительно уверенный, а тут ещё и презрительный:

– И какое же жалкое зрелище эта церковь! Едва их трянуло – и уже воззвание Синода: покоряйтесь, чада, революции, всякая власть от Бога. Но отчего ж они не проследили, в какой момент власть Протопопова перестала быть от Бога? Сегодня они смекнули и потянулись к дарам свободы, дайте и им! А отчего же они раньше упустили отказаться от прислуживания царскому правительству, от своего инквизиторски-клерикального духа, например в разводах? Синодальные архиереи не слишком ли долго поддерживали всё гнилое и растленное на Руси? Почему их голос никогда не поднимется в защиту невинных жертв? Или почему эти пастыри в былые годы не выходили провожать гробы революционеров?

– Но, может быть, они молились за них? – осмелилась вставить Вера.

– Шёпотом? – остро сверкнул Кокошкин через пенсне. Хотя он был юрист, но не юридическое проступало в нём первое, а скорей эстетическое, он сравнивал не с буквой закона, а с красотой: – А почему они не вышли на амвоны и не возгласили: вечная память убитым за свободу?! Или крикнуть власти: не смейте больше лить крови! На гонения и смерть шли безбожные интеллигентные юноши, а иерархи, обязанные носить в душе Бога, – смиренно молчали? Нет уж, пришла пора кончать эту нечистую игру!

Новая свободная Россия не может принять в своё лоно старых иерархов с доверием.

Пусть прежде отрясут прах старого режима и докажут свою честность. Нет, они не могут понять и примириться, что церковь перестала быть государственным ведомством православного вероисповедания, а становится независимым юридическим институтом.

Как всюду и всегда, когда в обществе заходил вопрос о церкви, о религии, – Вера чувствовала себя принудительно стеснённой, с головою, наклонённой против воли. Она любила это общество, его смелые свободные разговоры, но когда касалось религии – вдруг аргументы казались ей грубыми, а возражать всегда выглядело неловкостью, отсталостью, чем-то стыдным. Вот, от няни знала она: в иных петроградских церквях плакали об отречении. В одной церкви на Лиговке священник произнёс скорбное слово об отречении царя. Зашедшие в церковь солдаты прервали проповедь и повели его вон. «Что ж, убивайте за правду», – сказал священник. Формально этот рассказ не относился сейчас к их разговору – а и очень относился. Но невозможно было его привести. Очень выбирать приходилось выражения.

– Но вы навязываете Церкви язык гражданского мира, – возразительно улыбнулась Вера.

– О нет, несколько! – легко отклонился от упрёка Кокошкин. Узость его сухенького лица выражала острую направленную мысль, свободнее многих свободных. Исклиный ум, отнюдь не выставляющий себя, и по нему вдруг настилалась мечтательность: – Напротив, я могу выразиться ещё гораздо церковнее их: «Галилеянин вновь победил!» – в этот раз в виде нашей революции. Победа нашей революции – это и есть победа того, что не умела защитить церковь. Давно уже отмечено, что в формальном неверии русской интеллигенции было больше истинного религиозного пафоса, больше, если хотите, литургической святости, чем во всей нашей казённой обезличенной церковности!

А эта казённая церковность и отталкивала от официальной церкви всех искренних людей.

– Хватит! Церковь – слишком долго не могла существовать без полиции. Теперь упразднена полиция – будет упразднена и полицейская церковность.

Юридическое положение православной церкви будет решено безо всякого участия церковной иерархии – и лишь исходя из предпосылок правового государства. Ни одна государственная копейка не должна тратиться на церковь. Никакая церковь не должна иметь права преподавать своё учение в школе. Ни одна школа не должна находиться в ведении какого-либо духовенства. И брак, и похороны станут гражданскими. Венчание не должно добавлять никаких прав к гражданской регистрации. И наших покойников мы будем хоронить без участия духовенства.

Однако, это был уже рубеж, где нельзя не спросить:

– А вам не страшно, что так опрокинется весь русский образ существования?

– Нет, я хочу сказать, что религия перестанет быть казённым кошунством. Это право – как воздух: верить или не верить, во что хочешь. Все должны быть свободны и в неверии!

В условиях всеобщей свободы и всеобщего равенства – какая же мыслима государственная церковность? Как может государство поддерживать или признавать какую-то одну из религий как истинную? Тогда эта церковь получит преимущественное право пропаганды, а все остальные из снисхождения останутся только терпимыми?

– Да рассуждая в самом общем виде: всякая религия есть мировоззрение иррациональное, а современное правовое государство – рационально. И – какая же между ними может быть кооперация?

– Однако, – осмелилась Вера, но ещё раз смягчая улыбкой, давая повод истолковать и шутливо: – У государства нет вечной души, а у каждого из нас есть. Поэтому каждый из нас, со своими духовными опорами, – выше государства.

– Ха-ха-ха-ха, великолепно! Парадоксально! – сверкающе засмеялся Кокошкин, превысив библиотечную тишину, закинул узкую схватчивую голову, а острия усов ещё кверху. – Даже ослепительно парадоксально!

Он брал под мышки полученные книги.

– Впрочем, о чём говорить? Разве Россия к сегодняшнему дню ещё была православным государством? Да со времён Петра Великого она уже переставала им быть в полном смысле. Например, в уставах уголовного судопроизводства с Петра допускалась замена религиозной присяги простым обещанием показывать правду. То есть атеизмом в скрытой форме. Конечно, мы пока не отделяем Церковь полностью, оказываем православию предпочтение перед другими религиями.

– Предпочтение? Нет, уж тогда – и отделяйте! дайте настоящую свободу! Зачем же сохраняете обер-прокурора?

– А это требуется для предупреждения всякой контрреволюции. Временно. Переходный период. Пока мы не достигли полной религиозной свободы – наш долг очистить церковь от негодных элементов. А если уж и нынешний переворот не обновит церкви – ну тогда, знаете, она безнадёжна.

Вера иногда – вынуждала себя слушать, вбирать или возражать, чтобы только оторваться от собственных мыслей.

И что такое унылое, неподъёмное она вбила себе в голову, чего на самом деле и нет на земле?

Вот спорила с Кокошкиным, – а в самой-то в ней простреливало: Крест? Крест. Нести крест! Но – и не так же нести, чтобы, подламываясь под ним, ожесточаться? Это – не больший ли грех?

Она думала, думала, думала: неужели же вот так, самой, отказать Михаилу Дмитриевичу – навсегда?...

613

С каждым днём успеха революции уже не было у Половцова ни малейшего сомнения, что правильно он сделал, в первые же сутки толчком сердца к ней присоединясь, а свои служебные обязанности покинув.

Так-то так, но возврат в свою туземную дивизию стал ему как бы и невозможен: это солдатам прощали сейчас хоть и трёхнедельную отлучку, только бы вернулся в часть, – но не полковнику же генерального штаба. Ну, разумеется, с бумажкой от военного министра вернуться можно. Но просто в старую должность – ради чего тогда всё городилось? (Правда, он сумел из Петрограда оказать немалую услугу своему командиру дивизии князю Багратиону: команда связи дивизии прислала в Петроград донос, что князь – приверженец старого режима. Донос попал в Военную комиссию, Половцов его погасил – и дал знать князю о его недоброжелателях.)

Поездка с Гучковым на фронт была для Половцова очень успешна: всё время рядом с министром, всё время нужный ему – быстротой соображения, чёткостью, военным опытом, памятью, отличным письменным слогом (с тонкими переливами дерзости и лести, расположения или холодности – по заказу). Знанием английского, французского и способностью в каждой ситуации понять её юмористический наклон. Полковник Половцов за несколько дней стал для Гучкова важнее всех адъютантов и всех чинов министерства. Министр сказал: «Будете вести мою экстраординарную и щекотливую переписку. Послужите так месяцок?»

Половцов щёлкнул шпорами. Преотлично! Экстраординарная переписка военного министра! При гениальной памяти на все лица и все обстоятельства – да ещё такая доверенность, такая власть! Но почему – только на месяцок?

Во всю красу своей длинной фигуры, кавказского мундира, полковник Половцов двигался, играл бровями рядом с невысоким, рыхловатым министром в пенсне и придавал ему недостающий военный блеск.

(В поездке была только одна неприятная очень встреча: во Псков приехал генерал Абрам Драгомиров, у которого Половцов когда-то служил в дивизии, – приехал

гордо-независимый от революционного министра, иронически рассматривая его окружение, а Половцова – укорно. Этого прямого генерала Половцов привык бояться и уважать – и тут, попавши в перекрест острых взглядов, чувствовал себя как переломленным. «Грустно видеть своего бывшего офицера революционером», – отвесил ему Драгомиров. При Гучкове Половцов не возразил, дотерпел до позднего вечера, а потом пришёл к Драгомирову в вагон с готовым монологом: почему нельзя было не вмешаться в события и насколько, конечно, легче отойти в сторону. «Нет, – сказал Драгомиров, – эти доводы и эта служба не для императорского офицера.»)

А при возврате в Петроград позавчера Гучков почувствовал себя опять неважно, уехал отдыхать домой. И вчера за целый день, уже в довмине, не вызвал Половцова ни разу. Из гордости Половцов не пошёл о себе напоминать. И вот, вдруг, сразу зашатался его превосходный пост, ни по каким штатам не обозначенный, и стал как бы ничто.

И пришлось Половцову внезапно снова задуматься: что ж он от революции получил? Только-то и всего, что членство в поливановской комиссии и в Военной? Правильно-то правильно сообразил он принять сторону революции, – но в то ли место угодил, которое было его достойно?

Поливановская комиссия всё увеличивалась в числе заседателей, уже перешли в готическую столовую довмина за длиннющий стол, определились и наращивались два конца его – генеральский и офицерский, – а между тем быстро падало значение каждого члена. Да мельчилась и сама работа комиссии – дробное рассмотрение параграфов уставов, уже ротное хозяйство. Трезвому человеку давно было понятно, что это – бюрократический тупик, отсюда не выдвигаются. Мельчал и сам Поливанов. День-два предполагалось, что пошлют его в Ставку с миссией смещать Николая Николаевича, – отпало и это.

И что ж оставалось – одна Военная комиссия? Но хотя полковничьи гении, вроде Туган-Барановского и Туманова, ещё бодрились и составляли разные проекты высшего управления российской революционной армией – с каждым днём эта комиссия сдвигалась в сторону призрака. Да кто создал её? по какому плану и для чего? Это сейчас уже никто не мог установить. Она создалась как-то сама, в революционные дни, – а потом существовала лишь потому, что никто не догадался её разогнать – по двусмысленности её положения, то ли органа Совета депутатов, то ли правительства. Существовала на задворках Таврического, в низеньких комнатах 2-го этажа, и никто значительный и серьёзный уже не приходил к ним туда, а пёрлись смурые фронтовые депутации, а то могла прийти и группа студентов какого-нибудь Электротехнического – и Туган же Барановский давал им подробные объяснения о военной угрозе Петрограду.

А впрочем, как ни докучливы были эти визиты – на них-то и держалась Военная комиссия, в этом-то деятельность её и была?

Вообще – в чём была её деятельность? Надо было как-то объяснить это самим себе и публике – и тем утвердиться.

Сели три полковника генерального штаба за стол – и сочинили такое коммюнике для газет.

... Отыскала путь соединения с народом тех воинских частей, которые тёмные силы пытались направлять на защиту старого режима... Была военным штабом революции... (В полном согласии с Исполнительным Комитетом, добавьте! А то получится вообще: не они, а мы?... Самонадеянно.)... Теперь же, до созыва Учредительного Собрания (всё в России сейчас существовало, действовало, делалось только до этого созыва, а после созыва всё должно сказочно обновиться)... не принимая участия в борьбе партий... но в единении с Советом Рабочих Депутатов... и в контакте с Временным Правительством... Каждый воинский чин может получать здесь разъяснения по вопросам общего характера... (А уж как надоели!)

Чёрт, какая мерзкая писанина! И – этим заниматься? Военную комиссию пока подкрепили, ничего не скажешь, – но тоска, но тоска, до ломоты в рёбрах.

Во что превратилась революция!

Половцов выходил и, отменяясь своею кавказской формой с газырями и страшной папачкой, с брезгливостью похаживал по огрызненным коридорам Таврического, униженным залам его, то встречая морды из Исполнительного Комитета, то революционный канцелярский аппарат из их жён и родственников, то, иногда, растяпистым мешком трусящего Родзянку, превратившегося в посмешище и ничто, или робких бывших депутатов этой гордой Думы, теперь переодевшихся попроще и жмущихся неслышно по задним комнатам в своих мертвецких заседаниях. В министерском павильоне ещё додерживали каких-то арестованных, уже 5-й сорт.

Деловая мысль могла быть одна только такая: переходить в штаб Военного округа. Это была прямая и настоящая военная служба. Там были все возможности стать в центре действий. Но кем бы туда перескочить? Пока бы всего естественней – адъютантом Корнилова. Однако невозможно предложить себя самого.

Половцов придумал – и уговорил двух офицеров порекомендовать его Корнилову по цепочке знакомых.

А каждый день после полудня нагнеталась во дворец и в Белый зал заседаний какая-нибудь солдатская или рабочая публика, и полный вечер кричала, выла, рыдала, курила под купол и набрасывала окурков. То приташили позавчера ещё и несчастных офицеров из Совета офицерских депутатов, и даже иностранных посадили в ложу, и заставили выслушивать солдатских ораторов, и пункт за пунктом одобрять «декларацию прав солдата», – как солдат будет членом любой партии, и ходить в штатском, – и вытягивали офицеров благодарить солдат за произведенную революцию и целоваться с ними на помосте.

Половцов иногда захаживал туда, послушивал: какое же мерзавство! И неужели вот это и есть революция? И неужели вот это для неё он покинул свой пост, свою часть, свою честь – а дальше?

Дальше – нога обрывалась. Если не удастся уцепиться за Корнилова... – да что же Гучков, чёрт его раздери, где ж его экстраординарная переписка, неужели уплыла? Именно близ Гучкова в смутное время генеральских перетасовок можно и выскочить в генералы!

И, всё не вызываемый в домин, Половцов решил туда сегодня ехать.

Но явился Ободовский – и отзывая полковников по одному, объявлял, что просит их сегодня задержаться тут до позднего вечера, а он повезёт их к одному влиятельному лицу, для того чтобы осветить тому некоторые военные вопросы.

– Моё сердце, Пётр Акимович, лопнет от любопытства до вечера, я не доживу! Скажите мне хоть шёпотом – к кому именно?

И Ободовский тихо:

– К Керенскому.

О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Фью-фью-фью-ю-ю-ю! Гениально-комбинаторная голова Половцова сразу допоняла и домыслила всё остальное: Керенский готовится стать военным министром!

Хо!-хо!-хо!-хо!-хо!-хо! Надо ему понравиться.

Будущее несколько переориентировалось.

– А Александр Иванович знает?... И не возражает??...

Ну, так тогда это и беспроегрышно!

614

В минской газете прочитал Саня манифест «К народам всего мира». Нет, войны уже не будет. Прокликая такие слова, вряд ли можно воевать. Читали ведь и солдаты.

Это звучало, действительно, фантастически и патетически: через железные фронты, или, как там писали, – через горы братских трупов, через реки невинной крови и слёз, через дымящиеся развалины городов и деревень, – вдруг звучал какой-то новый, не государственный, голос, – от рабочих к рабочим других стран, от солдат – к солдатам чужих

армий, – и могла ли после этого голоса по-прежнему продолжаться война?

И – не Сане было эту войну жалеть. Он сам себе удивлялся теперь, что мог два года с таким старанием и интересом служить. Что мог – добровольно на эту войну пойти.

Он пошёл – потому что тогда Россия нуждалась в защите. А теперь она нуждалась: как благополучно армиям расцепиться да всем разойтись по прежним занятиям.

А Сане, значит, опять в Москву и кончать университет? Мог ли он ещё втиснуться на студенческую скамью? Да пожалуй ещё мог.

Всякая мысль о Москве приходилась ему особенно сладка – и хотелось именно туда скорей.

Надоели газеты, столько дребедени и пошлости было в них, распухла голова. Бросил, пошёл пройтись. По задней опушке Дряговца, мимо всех землянок, в сторону 2-й батареи.

Стоял податливый пасмурный денёк. Подтаивал снег, рыхлел повсюду – а на наезженной дороге зеркалили лужи. Близо кричали грачи, в перелётах и суетне.

На берёзках набухали почки.

Тут Саня встретил прапорщика Фокина, идущего в штаб бригады, очень мрачного. Повернул с ним.

По пути Фокин рассказал о своих злоключениях. Желая повеселить солдат – он поигрывал им на скрипке по вечерам. «А барыню можете?» «А комаринскую можете?» Подбирал, иногда и плясали. И быстро прошёл об этом слух – и стали его уже вызывать каждый вечер, – сперва своя батарея и на передки, потом уже и соседние в Дряговце части: «Прийдить, господин прапорщик, а то весь коленкор без музыки линяет.» Наконец, это ему надоело, уже не осталось ни одного вечера свободного, он стал отказывать. Стали обижаться и даже смотреть по-волчьи. Тут нашли какого-то парня со стороны: «Дай ему скрипку, раз сам не подыгрываешь!» – «Да как же я дам в неумелые руки?» – «А он по ярмаркам играл.» Отказал – ещё хуже стало. Вот: как с ними правильно себя вести? и – можно ли по-доброму?

Саня в душе уверен был, что – можно. Но и с Фокиным не видел: где тот ошибся?

Что его самого соединяло с солдатами – это то, что он знал мужицкий труд и был из мужиков же. А без этого – легко было совсем потеряться. Выходило так, что всякий надевший погон со звёздочкой – уже был обречён на отъединение. Все офицеры до единого – и надменные гвардейские служаки, но и молодые недавние интеллигенты, – все своими погонами отъединялись бесповоротно.

Вот, запрещены были всегда карточные игры солдатам. Но офицеры, напротив, всегда играли, – зачем? Неужели нельзя было воздержаться, отказаться? А теперь – из Петрограда разрешили и солдатам. И они в землянках сидели и резались в карты. И – что можно возразить? А при картах – уже не те солдаты.

Расстался с Фокиным – в расположении своей батареи уже слышал знакомый рогочущий, как жеребчий, голос. Чернега! Саня обрадовался: неделю его не было, как уехал на противоаэропланные курсы в штаб гренадерского корпуса.

Пошёл на голос.

Чернега с большим красным бантом на груди шутил с группой солдат, те вдвое перегибались-смеялись. Вот что в нём осталось – фельдфебельское, это да, Чернега был всегда с солдатами заедино, ещё гораздо свободней, чем Саня.

– А, Санюха! – прилопатил тяжёлой рукой. – Ну, как ты тут? Ты, говорят, член батарейного комитета?

– Да выбрали вот, – улыбнулся Саня.

– И председатель батарейного суда? – уже всё выпросил Чернега.

– Да, – ещё улыбнулся, неуверенно.

Уже влёк его Чернега под локоть в землянку и спросил:

– А Бейнаровича – председателем выбрали? Как допустили?

– Да он выступал, кричал... Конечно б, Дубровина.

– Зря, зря, – уже в землянке отпыхивался Чернега, но не очень заботно. – А у нас в корпусном – тоже еврей, ефрейтор, но образованный, умный, зараза.

– В корпусном – что? – не понял Саня.
– Комитете! – хохотал Чернега. – Ты разве не знаешь? Я же теперь в корпусном комитете, ты не знаешь?

– Всего корпуса? – так и сел Саня на чурбак.

– Ну! А ты не знал?

Со своей купеческой койки ноги спустя, Устимович сиял, он уже знал.

– Да как же ты попал? – изумлялся Саня.

– А я ж там рядом был! Речь им двинул – и выбрали.

Смеялся, очень доволен.

– Тут ещё мою койку не заняли? Сейчас меня Цыж обещал кормить. За всю неделю, что я не добрал тут.

И руки тыкал под умывальник наскоро.

– Всего Гренадерского корпуса? – продолжал изумляться Саня.

– Всего, всего! – бодро хохотал Чернега, руками в полотенце. – А скоро будет армейский съезд – и туда уже выбран, поеду.

– Так ты у нас что? И в батарею не будешь? И служить не будешь?

– Вот, скажи, Санька, и сам не знаю, – посерьёзней Чернега. Пошёл сел на санину койку. – Никто меня, конечно, с должности не высвободил, но исполнять её мне никакой возможности нет. Вот, как теперь с комитетскими будет – никто не знает. Сегодня ж опять в корпус назад надо гнать. – Посмотрел: – Да вы тут с Устимовичем – неужели не справитесь?

Устимович улыбался – с надеждой ли на Чернегу или почтительно, как на героя. Устимович от всегдашней мрачности повернул последние дни к весёлости, то и дело улыбался. Шёл один тот конец, которого он и хотел.

– Ну и койка у тебя неудобная! Как тебе жердь в подколенку не давит? – пошёл, пересел к столу. И по столу хлопнул толстой ладошкой, как прибил: – Всё, Санюха, начинается житуха – ещё такой солдат не видал. Долой баронов, фонов и шпионов! Стоять в окопах будем – а вперёд ни шагу!

И – попыхал, полыхал задыхательным смехом, нельзя понять: и сам так думает или это он про других.

Увидел санин недоверчивый взгляд, и:

– А что? Плохой привал лучше доброго похода. Не я придумал: вон, в газетах пишут: все уставы будем ломать! Наверно и правила стрельбы! Зря ты, Санька, учил! – и смеялся, тряся.

Ещё заново подивовался Саня на своего неиссякаемого приятеля. На всё встречное в жизни был у него избыток силы и веселья. Так и теперь. Зная Чернегу, можно было предсказать, что его и революция с ног не собьёт. Но ещё новой силы он за эти дни нахватался.

– Так ты же мне... Ты – что? Эти дни – где?...

Ещё колесей грудь выкатил Чернега, кашлянул для приосанки:

– Я, Санюха, полки объезжал.

– Полки?

– Перновский, Несвижский, Киевский, Самогитский. Объезжал, знакомился, на передовке везде побывал, комитет должен всех знать! Теперь, Санюха, эти звёздочки, – себя по погону пошлёпал, – ничего не стоят. А вся власть будет у комитетов, привыкай. И имей в виду: не верят солдаты, что офицеры революции рады. «Ещё куда господа потянут!» Закоренело, понятно. Офицер мол и хороший-хороший, а кровь чужая. И не без этого. Езжу, убеждаю: рады мы! вот, на рыло мне смотрите! В пехоте, знаешь, не как у нас, меж собой ворчат: везде начальство снимать, а чтоб свой брат стал. А другие уже домой бегут: боятся, без надела останутся. А на кой ляд эта война, правда? Фу-у-у!... Да что ж Цыж не идёт, не несёт?

Всем своим чёрным долго-усталым лицом Устимович передавал согласие и восторг.

Да и Саня смотрел на Чернегу едва ли не с восхищением – на эту жизненную силу

прущую, безмерную.

– И думаешь, справишься, Терентий? В корпусном?

Важно провёл Чернега большим пальцем по натопыренным коротким усам:

– Мордой в грязь не ткнётся!

В который раз, подавленный его опытом, Саня спросил:

– И – что же ты думаешь, Терентий? Как же это пойдёт?...

– А что? – бесстрашно примеривался Терентий крепким шаром головы. – У народа мышцы затекли, надо и размяться. Туда их всех, Санюха, – Николашку, Алексашку. И Родзянке народ тоже не доверился. Не управили Россией, руки у них слабые. Да ею управлять, знаешь как жилисты надо?

Как руки мыл – у самого по локоть закачены остались – вот она, жила!

– А революцию – её тоже, как лошадь без вожжей, пускать на произвол не надо. Надо её, Санька, поднаправлять! Потому я и в комитеты пошёл.

Не спросил уж Саня о батарее, но пошутил:

– А как же – Беата? Эт'ты до неё теперь добираться не будешь?

Ещё подприосанился Чернега, надувом:

– Теперь, Санька, – не до баб! Всё! Перерыв! Теперь – надо революцию высматривать.

Шоб не завалилась.

Толкнув дверь ногой, шёл за тем Цыж и нёс перед собой двумя руками духовитый чугунок.

– А, денщичья сила! – заорал Чернега. – Что несёшь?

– Так что – чебанскую кубанскую кашу, господин прапорщик! – весело отозвался и старый Цыж.

– А, молодец! А, угодил! А ну, – двумя руками, – стол расчистить! А ну, где моя ложка на четыре вершка!

И правда, с человеком этим всегда забывались горе, сомнения, а возвращалась здоровая охота к еде.

615

Превосходно всё шло и могло идти в министерстве иностранных дел, и Павел Николаевич с пониманием и тонкостью уже задумывал внутреннее целесообразное преобразование департаментов, и ещё новые послы -японский, испанский, португальский, бельгийский, сербский, норвежский, персидский, сиамский, посещали его с признанием Временного правительства, а уж с британским и французским он совещался через день, – и всё бы могло течь преприятнейшим и умнейшим образом – если бы не тяжеловесный, тупоумный и дерзкий Совет рабочих депутатов.

Как четырёхпудовую гирию навесили косо на ремне через плечо – и ходи так, действуй и управляй.

Вот, уже не насыщаясь своей фактической властью над Петроградом, над железными дорогами, над тыловыми частями, не насыщаясь своей «контактной комиссией», здоровенной и наглой фигурой Нахамкиса, нависшей над министрами (смесь отвращения, но и страха стал испытывать к Нахамкису Милюков), – Совет полез и в международные дела! Вчера было слышно об их возне в Морском корпусе, – а сегодня на разворотах не только советской газеты можно было прочесть их безответственное преступное воззвание «к народам всего мира» – и даже, что особенно встревожило Павла Николаевича, – одобрительные отзывы о нём на страницах вполне серьёзных газет.

А это был – типичный, откровенный и разрушительный циммервальдизм! Но наибольший взрыв состоял в том, что петроградский Совет уже присваивал себе международные функции, игнорировал правительство своей страны да и других стран. Он создавал грозную ситуацию, когда правительство должно было твёрдо заявить о себе либо перестать существовать.

Но – кто, кто? – в этом совете министров был тот твёрдый человек, который мог бы решиться на твёрдое проявление, особенно против Совета депутатов? Да никто, кроме Милюкова. Тем более, что вот уже и в его же коренную область Совет вторгался.

Рано утром за кофе, как только пришла вся охапка свежих газет, Павел Николаевич прочёл это воззвание *ex officio* один раз, тут же и другой раз. Нет, его не обманули эти декорации, что «русская революция не отступит перед штыками завоевателей», – может быть, не отступит, но и, во всяком случае, не *наступит*, так? А главная фраза была другая и даже дважды повторена: «решительная борьба с захватными стремлениями правительств всех стран», и тут же – «противодействовать захватной политике господствующих классов».

Как только начинают козырять «классами» – так тут же зияет и пропасть внутри каждой страны и всего человечества. (И «классы» воспринимаются как виноватое Временное правительство и ты сам посреди него.)

Совет депутатов не только вмешивался во внешнюю политику Временного правительства – но и прямо навязывал изменить её!

Как?! Да главный смысл всей революции и был – остаться верными союзникам вопреки измене царя! И теперь Совет депутатов хотел повернуть правительство на ту же измену?

И ведь: своей безответственной декламацией только создают впечатление слабости России: так, чтоб нам перестали верить союзники и перестали бояться враги.

За последние дни несколько раз публично, а в частных беседах бесчисленно, – заверял Милюков союзников в нашей верности союзным обязательствам, что Россия для этого принесёт безоглядно все необходимые жертвы. И – какая же теперь создавалась постыдная неловкость перед послами? И – какой куклой тряпичной выглядел он сам?

Да не только в этом, но вся логика нашей балканской многолетней политики, но вся логика борьбы этих лет, – разве они допускали так безответственно хлопнуть крыльями и отряхнуться ото всех национальных целей России и прежде всего от жизненной потребности в Босфоре-Дарданеллах? *Cui i bono?*

Газетчики всего мира сейчас с сенсационными криками разволочат этот «манифест» на позор русскому правительству – и кто же в правительстве способен не испугаться и сказать властное «нет» этой деструктивной стихии? Что ж, Милюков всегда славился своей способностью высказывать неприятные твёрдые вещи. Придётся продемонстрировать это ещё раз, уже при новом режиме. Придётся стать для всех – *bete noire*.

Какая ирония судьбы: свои главные дипломатические усилия направить не в лавировку меж держав – но: обойти этих сиволапов?

Хорошо, он их заманивает.

Безо всяких манифестов он твёрдо направит Россию по руслу верности союзникам и собственным российским интересам. Он – реально так проведёт, и не обойтись как-то и заявить об этом вскоре – против всего тысячеротого Совета.

Однако если бы – только одна эта дерзость! Но вчера же, на том же Совете, они успели принять и ещё одно воззвание – к полякам! Это уже вовсе взбесило Павла Николаевича! За Польшу боролись все – и павший Николай со своим дядей Николаем, и Вильгельм с Францем-Иосифом, и левое крыло собственной кадетской партии, и все сыпали полякам заманчивые декларации и обещания, – и теперь, обогнав Временное правительство, с беспечностью пролаял и Совет: Польша имеет право быть независимой, создавайте независимый демократический строй! Братский привет! А сегодняшние «Известия» писали так ещё чище: да поднимется восстание во всех трёх частях разделённой Польши! Не теряйте этих дней! (То есть – и против нас восставайте!)

Легко раздаривать, чего не собирали.

Да Милюков и сам уже начал переговоры с польскими кругами. Но польский вопрос такой сложный: поляки рассеяны по разным странам, мнения у них разные. А сама страна оккупирована, и немцы успели выступить инициаторами польского освобождения – там уже национальная школа, суд, самоуправление, набранные легионы. Но и великий размах

русских событий открывает простор для польского вопроса. Однако не давали ничего подготовить *omnium consensu*, но забивали крикливыми декларациями.

Нет, Павел Николаевич не принадлежал к тем горячим головам, как Родичев, кто страстно жаждал всегда независимости Польши. Павел Николаевич понимал, что для силы и крепости Российской империи удобнее держать Царство Польское в своём составе. При широкой автономии, конечно.

Однако этого уже не скажешь так прямо вслух, тут своя филиация идей. Приходится действовать – и стремительно даже! Теперь никак не избежать публичного обращения правительства к полякам. И обращению этому неприлично отстать от советского более чем на сутки: эти сутки ещё можно объяснить технически, а готовили будто бы уже давно.

То есть: надо было буквально сейчас, за несколько часов – Павлу Николаевичу, конечно, кому ж ещё? – написать это воззвание, и сегодня же вечером принять его на заседании кабинета, и чтобы завтра оно уже было в газетах. Прямо вот сейчас, за утренним кофе, не отрываясь, тут же, набрасывать его – да не социал-демократическим шавканьем, а достойным государственным языком.

Но именно сейчас-то надо было ехать на дурацкую церемонию – церемонию принятия присяги Временным правительством в Сенате.

Тем более дурацкую, что вчера же, под давлением Совета, правительство должно было отменить присягу для армии, так торжественно установленную. Присяга для армии хоть имела смысл, потому что простые люди верят в этот акт, – но какой смысл имела присяга образованных министров? – только нежелательный оттенок легитимности к порядкам старой России.

Однако надо было спешить к 11 часам в Сенат – и надевать – что же? торжественный чёрный сюртук.

Глубоко в душе уложив своё намерение ответить Совету о войне, мире и верности союзникам, – Милюков по поверхности памяти и души шарил, составлял воззвание к полякам. И по пути, в автомобиле, уже записывал некоторые фразы.

Ещё несколько дней назад должна была состояться церемония этой никчемной присяги, всё откладывали её – то из-за отъезда Гучкова, то из-за неприезда Владимира Львова, – да этот разиня и сегодня не доехал.

А Керенский! – Керенский явился на церемонию не в сюртуке, но в наглухо застёгнутой своей полурабочей куртке (которую он, очевидно, хотел изобразить сюртук Наполеона). Оделся так, совершенно не считаясь с общей формой, и даже нарочито, чтобы выделяться демократичностью. И ещё более нарочито, проходя помещения Сената, здоровался за руку со всеми швейцарами и курьерами.

Ах, поздно осознал Павел Николаевич, какого же он дал маху, сам позвав этого демагога в правительство.

Ещё он обратил внимание на уныло-усталое лицо сильно постаревшего Гучкова. Но не обменялись с ним ни словом. А князь Львов светился торжественной глупой радостью.

Тем временем министров пригласили войти в зал 1-го департамента. Здесь, как и во всех залах Сената, был снят портрет бывшего царя, светлел-зиял прямоугольник на стене. Вот уже стояли буквою «П» в своей позолоченной форме 24 престарелых сенатора – и сгруженной кучкой в центре стали министры.

Всё это напоминало детскую игру, когда нужно делать как можно смешней, но не рассмеяться, а то проиграешь. Всех министров попросили поднять правые руки и в такой неудобной позе долго стоять, выслушивая и повторяя слова сенатора-председателя. И слова, конечно, самые банальные:… перед всемогущим Богом и своею совестью… служить верой и правдой народу державы Российской… подавлять всякие попытки к восстановлению старого строя… – (как будто в этом состояла теперь борьба) -… все меры к скорейшему созыву Учредительного… и преклониться перед его волей…

Прежде чем «преклониться перед его волей» – надо было поворачиваться побыстрее да действовать как мужчинам. А вот Гучков – что-то дремал, не оказывался союзник.

Дневное заседание правительства отменили, а до вечернего Павел Николаевич успел составить не только великолепное обращение к полякам, а ещё придумал и более ловкий ход: создание Ликвидационной Комиссии Царства Польского (с участием видных поляков)! Это уже, действительно, был настоящий ход действия, язык правительства, а не какого-то митинга в случайном помещении, – и показывал, что Временное Правительство не первый день и серьёзно готовится к освобождению Польши.

Ликвидационную комиссию министры сразу поняли и приняли. Выяснять местонахождение имуществ Царства Польского и передавать их полякам, ликвидировать наши там учреждения. И председателем комиссии – поляка.

Но само воззвание? – министры вдруг закапризничали, стали критиковать. И никто не мог возразить по существу: какие ж его мысли неверны? Освобождённая Россия в лице своего Временного Правительства спешит обратиться к вам с братским приветом? – так, в лице правительства, а не совета депутатов. Срединные державы Европы воспользовались ошибками лицемерной старой русской власти? – верно. Они предлагают вам призрачные государственные права и этой ценой хотят купить кровь поляков, которые ещё никогда не боролись за деспотизм? – абсолютно правильно. Свободная Россия зовёт вас в ряды борцов за свободу народов? – но это оборот, которым Милюков гордился: что мы – опередили их в свободе, пусть нос не задирают, и теперь зовём *их*. А дальше – главное программное заявление: что Временное Правительство считает создание независимого польского государства...

Ну да, – боязливо жался князь Львов, – *чем* считает? Тут очень нужно остороженько.

Залогом мира! – предложил кто-то. Прекрасно.

Да, но в каких границах независимая Польша? Разумеется, за счёт всех трёх – России, Германии и Австрии.

– Но, – тяжело возразил Гучков, – если им самим дать определять, где кончается Польша, то они отхватят Минск и Киев, и всю Литву.

– Я думаю так, – искал Милюков: – из земель, населённых *в большинстве* польским народом.

– А где пополам с малороссами?

– Нет, тут надо доработать, подумать, как бы не ошибиться. Поляки – слишком чувствительный народ.

– Но уже Совет брякнул, мы не можем откладывать, поймите! – сердился Павел Николаевич. Который раз он чувствовал, что ему не хватает в правительстве полноты власти. Совершенно зря он не рискнул взять премьерство в первый же день.

– Надо оговорить, – хмурился Гучков, – что, дескать, Россия надеется, что те народы, которые, ну... связаны с Польшей веками совместной жизни, тоже получают, и в Польше, обеспечение национального существования.

Милюков и сам понимал, что поляков надо укоротить, но его формулировка была более тонка.

Дальше – про будущий братский союз с Польшей – правильно. И ссылка, что только Учредительное Собрание может дать согласие на территориальное изменение России – юридически безупречна, этого не может сделать даже правительство, не то что совет депутатов. Светлый день истории, день воскресения Польши, союз наших чувств и сердец – это всё хорошо, но сошлись на том, что надо всё же дорабатывать. Тем более, что, по важности декларации, должны будут подписать все министры. Ну, к завтрашнему заседанию, Павел Николаич.

Теряем день. Уже и так всё отлично выражено. Какой набор нерешительностей! Павел Николаевич надулся. Завтра представит в том же виде – и всё примут.

И – потянулась, потянулась занудная череда мелких дел, это правительство не умело отбирать главное от неглавного. Что делать с комитетом по борьбе с немецким засилием? Ведь он был по сути орудием правых, – но сейчас неприлично бы выглядело ликвидировать

его. Передать в министерство торговли и промышленности. А Коновалов, воодушевлённый своим успехом снятия национальных ограничений с покупки акций всех видов (еврейские круги приняли восторженно), теперь хотел бы иметь бо льшую свободу с неограничением так называемого неприятельского, то есть австро-немецкого, капитала, зачем нам лишать себя лишних средств? И нужны средства на разработку горючих сланцев по южному берегу Финского залива. Хорошо, миллион двести тысяч. А междуведомственное совещание по устройению и развитию Русского Севера запрашивает: своевременно ли ему существовать или кому оно должно передать свои дела и денежные остатки? Совсем неожиданный вопрос, и никто в правительстве не знал, что тут решить. А Мануйлов тоже просил внимания: облегчить процедуру оставления теперь за штатами профессоров, назначенных прежним правительством без представления факультетов и советов. (Боже мой, неужели это нельзя проделать самому? Да у Павла Николаевича своя есть тоже неотложная работа: быстрее использовать возможности свободы: готовить к изданию свои думские речи с восстановлением выпущенных мест – русская публика заслужила прочесть их полностью. Нет, сиди слушай эту ерунду.) А Набоков предлагал сокращения в составлении официальных бумаг. А вот была телеграмма от духоборов из Канады: они, 10 тысяч, бежавшие от зверского царского правительства, теперь хотели бы вернуться на родину, рассчитывая, что новое правительство не будет же их привлекать к воинской повинности.

Казалось бы: мечта Льва Толстого, и князь Львов особенно рад выполнить?

Но это был бы совсем невозможный и нетактичный шаг сейчас! И как у них не хватает терпения посидеть тихо в этой Канаде? Но если мы их сейчас освободим от воинской повинности – то какие будут обиды в армии? во что превратится государство?

Однако прерывая череду и этих вопросов – подошли шепнули князю Львову, а он объявил, не благоугодно ли будет министрам прервать заседание и в полном составе выйти в круглый зал Государственного Совета – нельзя не выйти – для принятия депутации Черноморского флота.

Нечего делать. Покидали все бумаги и портфели на столах, и потянулись в ротонду. Эти депутации начинали уже вконец заматывать.

Министры стали недружной кучкой, не доходя до центрального паркетного круга, а со стороны розовомраморного зала вошли под сень колончатой ротонды человек 30 черноморцев, многие молодцеватые.

Сразу выступил бойкий прапорщик, и завёл пышную речь: от имени гарнизона и флота какая высокая честь приветствовать в лице присутствующих министров... с чувством благоговения перед великим актом русского народа... с чувством восторга перед поборниками священных прав... (Этот прапорщик, несомненно, в армии был новичок, а на каких-нибудь студенческих сходках выступал не раз.)

И такой же смышлёный и речистый юный солдат вослед ему стал говорить от имени 40 тысяч солдат, матросов и рабочих, что они не положат оружия, пока враг не будет сломлен.

Старший среди них офицер стоял даже не в первом ряду, задвинутый.

Рядом с Милюковым Гучков изнемогал от скуки. Ему бы, кажется, отвечать, но он не двинулся.

И досталось, конечно, масляно-благодарному, всегда в хорошем настроении князю Львову. Князь сообщил морякам, что Россия вступает в новую жизнь и для этого не должна быть сломлена врагом.

И вдруг как пробка из бутылки, как проталкиваясь через расслабленных министров, вьюном, затянутым в своей узкой куртке, вывинтился Керенский. Быстрые шаги – казалось даже перебежит всё пространство и сольётся с моряками! Нет – остановился в самом центре, под верхним купольным светом. И, отвечая на незаданный вопрос, звонко объявил депутации:

– Товарищи! Вы знаете: я – социалист и республиканец! Не верьте слухам, пытающимся подорвать связь между Временным правительством и народом! Я – ваш заложник среди Временного правительства! – и ручаюсь, что нам и народу бояться нечего!

Этой непрошенностью, непредугаданностью шагов Керенского Милюков уже не первый раз был застигнут врасплох, обомлевал: старый боец либеральных диспутов, он не привык к таким повадкам, и не умел осадить. Кто Керенского вызывал? Кто этот вопрос о доверии тут ставил? Какой такой заложник? Что это за «нам и народу»? За годы 4-й Думы Милюков привык к нервной дёрганности Керенского, но тогда она ничего не значила – а за эти недели Керенский преобразился в победительного необузданного актёра, который всё время лез на авансцену и удивительно нетактично декламировал.

– Если бы была, – драматически звенел его голос, – хоть малейшая мысль, что Временное правительство не в состоянии выполнить свои обязательства, – я сам бы первый вышел к вам и объявил об этом! – (где б это он «вышел», в Севастополе?) – Повторяю: вам бояться нечего! – Освобождал он черноморцев от страха, которого и тени они не выразили.

Милюков чувствовал, как в середине груди у него сгущается к Керенскому комок ненависти. Этот дешёвый актёр превращал всё правительство в балаган, всех оттеснял к нолю – и ещё неизвестно, до чего дорвётся.

Вернулись к заседанию, сбитые уже с последнего настроения.

А теперь лез вперёд и настаивал выслушать его этот рослый чёрный горящий дегенерат Владимир Львов, уже явившийся из поездки. (Недавно на закрытом заседании правительства Милюков знакомил министров с тайными договорами России, – Львов кричал ополоумело: «Ах разбойники! Ах мошенники! Немедленно отказаться от всех договоров!» С той ночи Милюков про себя не звал его иначе как дегенератом.)

Дали ему слово для отчёта. Но он не стал кипятиться меньше, а так же всё подпрыгивало его темя как крышка на кипящем чайнике. Он – возмущён Синодом! и митрополитом Владимиром! и митрополитом Макарием! И ещё более возмущён, что они самовольно отправились к Родзянке, не спрося обер-прокурора. И ещё более возмущён, что Синод за это время сносился прямо с правительством – и правительство это допустило, унизив своего обер-прокурора. И обер-прокурор узнаёт обо всём этом из газет. И как мог князь Георгий Евгеньевич без обер-прокурора дать заверение иерархам, что Синод не будет распущен до Учредительного Собрания? А между тем члены Синода проявляют полную неспособность ориентироваться в новой обстановке и никак не могут научиться говорить старым языком!

И этого дегенерата – ведь тоже пригласил в правительство Милюков. Где были его глаза?...

Керенский безвыходно-нервно громко щёлкал замками портфеля.

Гучков обвис головой и плечами и ещё внутри самого себя как будто осел.

Терещенко сидел свеженький, в бабочке, блистающий, – как будто отсюда спешил на ночной концерт или в кабаре.

А где-то за стенами наливался ненавистью тридцатиголовый Исполнительный Комитет и тысячеголовый Совет.

И в первый раз самоуверенный Милюков усумнился: что несмотря на всё доброжелательство Англии и Франции, несмотря на пачки приветственных телеграмм от межпарламентского союза, от парижского муниципалитета, – ни у него, ни у Временного правительства может не хватить силы ног – устоять.

Он уже не был так уверен, что проведёт российский корабль между всех рифов.

616

А в «Правде» со вчера на сегодня произошёл переворот.

Это случилось в отсутствие Шляпникова, у него ноги не успевали везде быть, да он и не ожидал от приезжих такой быстроты. А Молотов, который и сидел в «Правде» и должен был направлять дело, – поддался, струсил, уступил в один вечер. («Я протестовал!»)

И сегодня Шляпников развернул родимую «Правду» – на первой странице разлился вчерашний полуборонческий Манифест Совета, – уже ошибка, такого места не следовало

ему давать. А на второй, в верхнем углу, жирно: о том, что все трое, имярек, вошли в редакцию и теперь поведут «Правду». Не спросили ни БЦК, ни ПК, – всё сами, как будто «Правда» отдельный остров, никому не подчиняется.

Руководство партии складывалось в подпольи, а его устраняли, как муху сгоняют.

Обидно. Но эту обиду Шляпников бы сглотнул: в партийном деле не лица важны, не самолюбие, а – насколько дружно взялись. О, если бы дружно! Но нет, сразу же за Манифестом шла передовица, подписанная Каменевым, – оборонческий шовинистический плевок во всю политику большевиков как Шляпников её вёл, как понимал во всю войну. И такое – прочесть из «Правды»! Стянулось небо в овчинку, потемнело, – лучше бы Шляпникова подстрелили 27 февраля на улице! «Долой войну», – писал Каменев, – это не наш лозунг. На немецкую пулю ответим пулей, на снаряд снарядом.

Но что завертелось в Таврическом! Это был день оборонческого ликования! – «Правде» обрезали ногти, когти, если не руки и ноги! Уж не только в думском крыле ликовали, но на самом Исполнительном Комитете встретили Шляпникова ядовитыми улыбками.

А что началось на Выборгской, на заводах, среди низовых членов! – каково было им среди товарищей, хуже, чем Шляпникову на Исполкоме, они и вовсе не знали, как отвечать. Кто вызывал Шляпникова к телефону, от кого гнали нарочных узнать: что за поворот? как это случилось и как понимать? Без всякого предупреждения, за одну ночь сломалась «Правда» и показывала уже в другую сторону. Другую правду. Как переломит ветром ствол, и он свисает набок, не оторвавшись.

Уж не считай униженья, стыда – какой же ты руководитель? – но смутно, грозно: как же из этого спастись? как выводить партию?

В ПК тоже ничего не знали, были потрясены (а кто и рад).

Шляпников не в дни, но в часы должен был принять решение – исправить положение или сдаться.

Товарищи его и винули, что это он допустил. Да получалось и действительно, что он.

Более сокрушённого и запального дня не выдавалось ему за всю революцию. Без сна, без сил тянули – но было радостно, а тут повернулось тошно, разгромно – и всё внутри, от своих.

Один выход был: сегодня же устроить заседание всей головки партии и сокрушить приезжих голосованием и заставить их подчиниться партийной дисциплине! Созвать расширенное БЦК? Расширенный ПК?

Но даже не было уверенности, что приезжие явятся туда или сюда, так они себя самовластно поставили. Шляпников был для них – необразованный рабочий парень, неизвестно как оказавшийся во главе партии. И все они могли просто не прийти туда, куда он назначит, – тогда уж совсем позор. Шляпников не имел привычки – властно приказать, он голоса такого не имел.

И приходилось собираться на территории «Правды» же, на Мойке. Идти всем туда – это и были поддавки с самого начала. Но ничего не оставалось.

И весь день ушёл на то, чтобы сбить такое совещание в «Правде», хотя бы к позднему вечеру. Не ко всем доставали телефоны, надо было слать посыльных, не хватало кого и послать, – Шляпников и сам немало побегал по сборам, как и привык бегать все дни.

Теоретически – к бою он не готовился: вся теория у него залежала в груди, как хорошая простуда, прочно, уж там как выкашлянет. Новых цитат искать-листать ему было некогда, да не умел он. Но не было у него сомнения, что бой – надо дать. Просто отчаяние брало, что так легко предать и сломить коренную ленинскую линию, протянутую эти годы стальной паутинкой – через рыгающие фронты, через моря, через заполярные границы, из Швейцарии в Петербург.

Итак, собрались поздно вечером в «Правде» – а считалось, что это – совместное заседание БЦК, ПК, редакции «Правды» и приезжих товарищей. И ещё навязался сухорукий, тщедушно-длинный Лурье, сказываясь всячески большевиком.

Расселись в редакционном зале с зашторенными окнами на Мойку. Задымили.

Прямо из Выборгского райкома нужны были бы соратники, но их неудобно было сюда ввести. И так, надеялся Шляпников на горячих, верных, шумных Хахарева и Шутко из ПК. Хитрый Калинин сидел смирно. Молотов совсем раскис. А Залуцкий – как всегда печальный, но не от того, что происходило перед ним, а как от чего-то своего.

С приезжими чувствовалась напряжённость, но лицом к лицу куда было легче, чем Шляпников целый день метался Удувленный. Собирал совещание он – ему и начинать. Он и начал. Никаких записанных тезисов у него не было (никогда не бывало), но в нём самом так уверенно всё было заострено, так изгорало второй день бесплодно, что он не боялся потерять мысль, только что не всё по порядку скажет.

Рабочие массы, заявил он, потрясены и в недоумении: что случилось с большевиками за двое суток? То, что напечатал товарищ Каменев, – это обычное оборончество, которого только и жаждет наша буржуазия. Это – союз с меньшевиками и эсерами. (Не добавил, но про себя: они в Сибири не знали настоящей партийной борьбы и по-обывательски объединялись с меньшевиками.) И Петербургский комитет, присоединял к себе Шляпников, и Московский комитет (он надеялся, что так, а оттуда никого здесь не было), – мы ведём борьбу с такими взглядами.

– Товарищ Каменев предлагает: «народ имеет право знать цели войны». Так грабительские цели войны ясно нам определены в 47-м номере «Социал-демократа», у товарища Ленина есть там такой ответ: «если бы в России вдруг победили революционеры-шовинисты, – мы всё равно были бы против обороны их «отечества» в этой войне!» А сейчас – даже и не они победили, а сомнительные двухдневные республиканцы с монархическим подбоем. А наш лозунг: союз международного пролетариата для социалистической революции.

Каменев снисходительно слушал с интеллигентской усмешечкой превосходства, что с тобой, простым рабочим, спорить. Но, почувствовал Шляпников, ленинской цитатой хорошо он его по лбу угрел, сразу не найдёшься, что ответить.

И Муранов брови нахмурил, усы длинные расставил, выражение дурашливое.

До сих пор, нажимал Шляпников, «долой войну», дай землю и 8-часовой день были три кита нашей пропаганды. Да мы вот на днях издали, распустили брошюру «Кому нужна война» (сашенькину), 200 тысяч экземпляров. И что ж теперь – отказываться от самих себя? На чём же мы плывём? Не достойно революционного социал-демократа повторять оборонческие кивки на немцев – мол, пусть они теперь делают революцию, а если у них нет мужества свергать Вильгельма – то мы пока законно обороняемся. «Давить на Временное правительство» это не ахти какой выход, с этим и все соглашатели согласны, но это близоруко. Давите, давите, а правительству важно только, чтоб армия ему подчинялась и шла бы в бой. Для обмана простачков они какие угодно заявления сделают и от завоеваний откажутся, лишь бы каждый солдат оставался на своём посту, как и призывает товарищ Каменев. Значит, «долой войну» по Каменеву бессодержательно, а содержательно – подкреплять собой спину буржуазии?

До сих пор Шляпников нёс одним дыханием, сильно разгорячился. Но на этой «содержательности» Каменев ему сразу тихим голосом и подставил:

– А что же именно содержательного вы нам предлагаете? Как же содержательно понять вашу тактику?

– А то, что недостаточен переход власти в руки либерально-монархической буржуазии. Она должна переходить к пролетариату.

– Нет, но насчёт войны, – глаза Каменева сжимались, будто он готовился рассмеяться. – Бросай окопы, и пусть туда немец заходит? Бросай винтовку, и пусть он её подбирает?

– Нет, такой глупости мы не предлагаем! – обошёл Шляпников. – Это обывательские сплетни. Это так «Правду» поносят.

– А – что же? Содержательно – что же? – шурился Каменев.

Чёрт его знает, это действительно было ещё не продумано, не известно, что именно делать. Да ведь и обстановка небывалая. Постепенно нащупается. Не мог он сейчас точно

сказать, но чутьём трезвого человека чувствовал, что лозунг – самый сильный, он будоражит солдатское сознание и облегчает агитацию. Что призвать не воевать – это сильней, чем призвать воевать.

– А – вступать с немецкими солдатами в беседы, разъяснять им мировую революционную обстановку. Чтоб они против войны повели борьбу снизу. В общем, объяснять, что мы братья.

– А на каком языке объяснять? – Каменев ехидно.

– Ну, найдётся кто-нибудь. У австрийцев – и славяне, по-нашему понимают.

– А если он в беседу не вступит? – спросил угрюмо бровастый Муранов. – А если он нашего штыком в живот?

Да уж кто из них в переделках бывал больше Шляпникова, вам бы так, господа думские лидеры.

– Так надо с умом. Сперва перекрикнуться. А как – вы предлагаете содержательно? Что вот Манифест опубликовали – так он по воздуху к немецким солдатам перелетит? На немецкую революцию надеяться – так надо ж и нам не воевать. А что вы предлагаете практического?

Теперь Каменеву что-то приходилось ответить:

– Переговоры социалистических верхов.

– Так это само собой, никто вам не мешает. А братание в траншеях – само. Тогда и верхушки будут переговариваться поживей.

Тут – и Хахарев и Шутко тоже голосов поддали. И Шмидт косой помычал. (По Временному правительству в ПК колебались, но против войны – дружной.)

А Сталин сидел в сторонке тихо, благоразумно, папиросы искуривал. Да он – не вредный, он даже, может, – и не против. Из троих он меньше всех был замешан в правдинском перевороте, и у Шляпникова не было к нему упрёка.

Каменев только что не смеялся открыто. Он понял, что Шляпников сам не понимает, что такое «долой войну», и не может предложить разумного способа поведения. А Шляпников горячился, всем чутьём лоя, что поведение такое есть, только не мог он его, действительно, назвать точными словами. Шутко и Хахарев вступили в обсуждение, какие могут быть на фронте случаи. Залуцкий высказывался как бы в рассеянности. Молотов ни мычал, ни телился.

Бурно было, покрикивали, призывали к порядку. Во всё обсуждение мешался ещё Лурье как свежий человек из Европы и всё может рассказать про обстановку в Германии. Слушали его, но не вытекало ясно: так будет в Германии революция или нет, И опять спорили: что делать нашему солдату на фронте?

Горячились, только не Каменев. Он выслушивал с запрокинутой головой, через пенсне, и всё как старое, ничего нового:

– Что мировую войну может кончить только мировая пролетарская революция – это большевизм всегда утверждал, это так. Но пока её нет – мы против дезорганизации военных сил революции.

– А так вы её никогда и не дождётесь! – кричал Шляпников.

Спорили с ним люди безо всякой практической хватки, безо всякого подпольного опыта. Он же – глубоко знал, что говорит – дело, он сам бы сейчас в окопе не растерялся, но доказать этому интеллигенту не мог. Конечно, в социалистических книгах такие случаи не предусматривались.

– Да, – в потеху кланялся он Каменеву, – мы не знатоки. Мы не знаем! Укажите нам такую форму борьбы, которая не дезорганизовала бы армию. А вы не указываете, но предлагаете – вообще не бороться.

– От вашей борьбы, – указывал Каменев, – только травят «Правду».

– Ну и что ж?! Травля на «Правду» нам вполне годится. Мы эту травлю хорошо используем для укрепления нашей партии в рабочих кварталах. По сравнению с меньшевиками. Собираем резолюции в защиту «Правды»! А сейчас добились от Исполкома,

что и милиция будет защищать продажу «Правды». А ещё на «Русскую волю» в суд подадим, поручили Козловскому и Соколову. А свёртывать наше политическое знамя мы не можем! Буржуазия оправится от февральских дней и перейдёт в контрнаступление на пролетариат! А вы предлагаете их тем временем поддерживать!

Спор разгорался шумно, но и весело. Весело было Шляпникову, что ни в чём он не побит, а на всё находит ответ не худший.

В подобных случаях, при таком неразумном упорстве противника, Ленин всегда бесстрашно шёл на раскол! Но Шляпников не мог взять на себя раскола: не имел права допустить его в таком слабом положении партии.

И первый призвал:

– Где же, товарищи, наша большевицкая дисциплина?

Напоминание подействовало. Что они знали все крепко: что именно дисциплиной они выделялись из всех партий. Не избежать было и сейчас, в этой комнате, найти общее решение.

Тем более, что Муранов что-то потерял спесь, почти уже и не спорил.

А Сталин – и с начала не спорил.

А Политикус и Кривобоков охотно кинулись заглаживать.

И Каменев, поняв, что остаётся в меньшинстве, согласился впредь на умеренно-революционную позицию.

Зато надо было и Шляпникову согласиться, что все трое они остаются в редакции.

Уже к полуночи на том поладили – и тут допустили Лурье с его жалобой на Петроградское телеграфное агентство, что оно скрывает размах нашей революции от Европы.

Постановили дружно: написать разоблачительную статью и поддержать реквизицию агентства Советом депутатов.

Туда ему, так ему.

Уже и к полночи – а стояли ещё два предложения о слиянии: с межрайонщиками и с меньшевиками-интернационалистами.

Межрайонщики – ребята боевые, вполне наши, и Шляпников был – за. Но теперь новоприбывшие своим правым курсом будут этому слиянию мешать. Межрайонщики и не захотят, пожалуй.

А насчёт меков-интернационалистов – так надо погодить. Угар объединенчества – тоже ни к чему. (Это ещё добавится двадцать таких Каменевых – все заумные, шаткие, небоевые.)

Но по позднему часу решили перенести обсуждение на пятницу или на субботу.

Вышли – трамваи давно не ходят, блюдут свой 8-часовой день. А автомобиля тоже нет ни одного. У Шляпникова, как у члена Исполкома и выборгского комиссара, был – но он одолжил его вчера товарищам из ПК.

Так и расходились в разные стороны, под ясным, но уже и не морозным небом, по опустевшему пустынному городу. Пошёл Шляпников ночевать на Выборгскую.

Что изменилось в городе? Не то чтобы света меньше – да и меньше (часть фонарей разбита, часть окон плотно зашторена), но безлюдней. Автомобили если проносятся – то без прежнего шика, а по будним революционным делам. И шикарные санки не носятся, ни фазтоны не плывут с обеспеченной самоуверенной публикой – подпугнули буржуазию, подобралась. Да всех лишних прохожих ране й с улицы сметает – боятся встреч, раздѣва, кражи.

Только члену ЦК, БЦК и ИК Саньке Шляпникову нечего беречь, нечего опасаться, а при случае так и двинуть наладчика прямо в физию. Пришла революция, свалили царя, победили, – а шёл Шляпников в том же неподбитом пальтишке, в тех же ботинках и галошах, в которых таскался прошлой осенью по ночным улицам и пустырям, только тогда он смекал, нет ли слежки, да сейчас не подъедешь за 8 копеек на трамвае, а надо шагать да шагать, опять отмерять наискосок по пустырям питерские волчьи тропы.

Да хоть в груди уляжется, разойдётся, а то ведь не заснёшь. Пекли его эти разговоры,

непонятливость, несогласность или невозможность доказать. Да что ж от Ленина до сих пор ни строчки? Хоть бы он им доказал!

Весь вечер не мог Шляпников ещё понять: чем ему так неприятен был суетливо-суёмый Лурье – ничего вредного он не говорил, а скорее в пользу. Но весь вечер мешал, как заноза, а мысли не собрались понять.

И только на пустыре, на бугре, где перед ним раскрылось небо, уже заходящая предполная багровая луна да крупные звёзды, отникающие от её засвета, – тут он понял. Лурье приехал из Копенгагена, добрался, ничего.

А Сашенька была в Христиании, ближе. И не ехала.

И тоска-тоска потянула, хоть завой!

Как же могла не спешить?! Что же с ней?

Да уж хоть не на любовь, хоть на революцию, – как же не поспешить?

617

Поздно вечером, уже Таврический опустел, Ободовский усадил в автомобиль четверых полковников – Половцова, Якубовича, Туманова и Энгельгардта – и повёз их в министерство юстиции на Екатерининскую.

Энгельгардта можно было вполне не везти: мундир он надел во вторую революционную ночь, на минуту ему показалось, что он – во главе революции, издал несколько громких приказов и до сих пор жил ими, ещё не поняв, что оттёрт в ничтожество. И какие ценные военные советы и соображения мог он произнести перед Керенским? Просто смех.

Якубович и Туманов были неплохие штабисты. Если бы Керенскому предстояло разрабатывать стратегическую операцию – что ж, они могли бы ему предложить совет (может быть и негодный).

Но ведь вопросы Керенского наверное будут касаться реального состояния сегодняшних войск, границ возможных настроений, чего-то живого, – а это всё знал и мог высказать только Половцов, единственный тут боевой офицер.

Но и он не мог угадать: какие же именно вопросы намеревается задавать Керенский? Вообще, вся поездка была исключительно пикантной: группа ближайших сотрудников военного министра ехала под полночь к министру юстиции консультировать того по военным вопросам. Это могло означать подготавливаемую смену военного министра? (Ну разве ещё: что министр юстиции готовит военный переворот.)

Так ли, не так, – при всех обстоятельствах эта поездка увеличивала значение тех, кто едет, и следовало использовать эту ночь. Половцов выпил крепкого кофе и привёл себя в состояние высшей догадки и проницательности. От этой ночи могла зависеть вся его дальнейшая судьба.

Адъютант министра юстиции (он назывался именно так, не чиновником!), скромно одетый, но такой же ловкий и быстрый, как Керенский, пригласил их в кабинет.

Кабинет был отлично обставлен, достаточно просторен, но и не великолепен, не подавлял, – а большая удобная комната для разговора десятка человек.

Керенский в своём новоизлюбленном серо-чёрном австрийском френчике сидел за огромным столом как-то избоку, как заскочивший на минуту, не министр, – и будто бы писал.

Будто бы писал, но при входе их как бы отбросил ручку, рискуя забрызгать стол чернилами, и резко поднял голову. И – встал. И по резкости его движений можно было ждать, что он испуган, застигнут и сейчас убежит вон.

Но – ничего подобного. Он – вытянулся, опираясь недлинными руками еле-еле о стол, поклонился сразу всем, с оттенком церемонности, даже дважды, но одною своей бодрой быстрой головой, а не выскочил из-за стола трясти им руки. (Всё-таки штаб-офицеры – слуги старого режима, а он – революционный министр?) Он был весь радостен и свеж, несмотря на

поздний час, да оказывается, и спать не собирался ложиться:

– Я, господа, сегодня ночью выезжаю в Гельсингфорс.

Половцов уловил, что Керенский любуется собой, каков он со стороны, как энергичен, как звучит эта фраза и как не может быть всем безразлично, что он выезжает направить дела Финляндии.

В важнейших встречах решают самые первые две минуты: надо понять собеседника ещё прежде, чем потечёт главный разговор. Половцов впитывал Керенского острыми глазами, острым слухом, но ещё более – своим гениальным шестым или седьмым чувством, познающим суть характеров.

Ободовский, замученный, нисколько не польщённый, и ощущая себя тут совсем не к месту, с выдохом представил:

– Вот, Алексан Фёдорович, по вашей просьбе, для вразумления по военным вопросам, по которым всему правительству приходится иметь суждение... – он маскировал неприличие визита, -... полковник... полковник... полковник...

Половцов, когда был назван и Керенский взглянул на него, – послал министру из своего кавказского обрамления взгляд переливчато-находчиво-готовный. (Вообще, кавказская форма очень помогает выделяться.)

Сели. А Керенский, не выходя из-за своего стола, там за ним прошёлся, как за трибуной, потирая руки. Он был в бодрости пафотической, сильно повышенной, не рядовой.

И не маскируясь и не прикрывая своего интереса, сразу же резковатым голосом задал в аудитории свой главный вопрос:

– Господа! Правительству – (сразу ото всего правительства!) – необходимо знать. Знать ваше мнение: годится ли Алексеев в Верховные Главнокомандующие?

И пытким взором уже считывал ответы с их лиц или предупреждал их не ошибиться в ответе!

Ого! – Половцова даже отбросило.- Ого! дело шло очень о серьёзном! Военный министр, у которого он работал, не говорил ему, что решается такое! Ого! (Ещё раньше чем себя проверить – а что ты об этом думаешь, – уловить: а что хотят услышать?)

Но самый пожилой, солидный и седоватый, был Энгельгардт – и Керенский ждал ответа от него.

Керенский то присаживался, то вскакивал, переходил, – в общем, больше стоял. Тем более и полковники вынуждались отвечать стоя.

Энгельгардт, со своей размазанной манерой рассуждать, сперва сказал несколько никуда не клонящихся фраз. Лишь потом стало из них выступать, что Алексеев опытен как никто другой, уже полтора года начальником штаба, а фактически Верховным, – всякому другому пришлось бы сейчас долго осваиваться, а время не ждёт, весенние бои на носу. Он – очень трудолюбив, очень знающий. Все его уважают. Нет, в короткое время не может быть никакой лучшей кандидатуры.

Собственно, полковники в Военной комиссии между собой от нечего делать и часто болтали на эту тему: кто достоин быть Верховным (про себя примеряя, кем достоин и каждый из них). И как-то всегда, действительно, приходили к тому, что хотя Алексеев никакими полководческими талантами не блещет, и внове, со стороны, даже трудно было придумать – зачем бы его так высоко возвышать, как это могло царю втесаться? – вместе с тем соглашались, что и уверенно заменять Алексеева тоже некем. Ибо тогда б: или Рузским? или Брусиловым? Но оба – тонкие штучки, честолюбивы, несправедливы, а Брусилов ещё и хитёр как муха, и ненадёжен. А – решительно-превосходящих качеств всё равно ни у того, ни у другого нет. Так что менять – не стоит.

Так что Энгельгардт выражал сейчас общее их мнение. И от Якубовича и от Туманова последует примерно то же.

Но – корнями волос Половцов чувствовал над собой крыльный ветер (как крыши чувствуют над собой срывающий ураган)! Вот – перед ним самый сильный человек, выдвинутый революцией, и он как бы не уже имеет замысел, даже уже движение, – и надо

помочь ему в том направлении, и дать увлечь себя туда же! (Правда, тут и такая опасность: что Керенский уже намечает Брусилова – очень неблагосклонного к Половцову, – но почти не может быть, чтобы всего лишь такое решение было у Керенского, – для этого зачем бы ему всё начинать? Такое могло быть решено и в военном министерстве, Гучков тоже относился к Алексееву очень скрепя, скрипя...)

И тут помогла любознательность Половцова: хоть и мерзовато, но он почитывал газетку Совета депутатов, а там сегодня была речь Стеклова, что Ставка – гнездо контрреволюции и неверные генералы подлежат аресту. И хотя Керенский явно сторонился Совета, из которого произошёл, – но не мог или не отозваться или не опередить событий.

Подошла очередь Половцова – он почти вскочил в свою длину (не подобострастно, а просто от избытка джигитской силы) и сказал так:

– Таланты честности, порядочности, работоспособности и знание техники дела – от генерала Алексеева не отнять. Работник – отличный. И к нему все привыкли. Но, – сверлил Керенского горяще, – работник – это не полководец. Революционная армия в грозные часы нуждается в великом полководце!

И видел, что – попал! Что – так!!

Из неуспокоенных перебирающих рук своих правую – Керенский вдруг всунул на груди под борт френчика между двумя пуговицами – но тут же сам заметил, что слишком под Наполеона, и отёрнул. Он весь был – живчик, он искал разрядки рукам, ногам, ему тесно было позади стола.

Ободовский, который, кажется, и не собирался высказываться, однако покивал:

– Боюсь, боюсь, что Алексееву не справиться в новых условиях. Да он – и не принимает их всей душой. Он и переворот-то встретил как-то... с оговорками.

– Благодарю вас, господа! – стоя, с торжественностью объявил Керенский, и вырвал свою руку, снова уже вставленную под борт. – Теперь... ответьте, пожалуйста, мне... – тут в его бодром голосе проявилась первая заминка, но что он спросил! – Как вы думаете? – И сам думал. И во взгляде и в позе его оттенилось пренебрежение. – Как вы думаете: может ли Александр Иванович Гучков с успехом совмещать должности и военного и морского министра?

Ого!!! Ураган-таки срывал крышу, визжали скрепы, вылетали гвозди: министр юстиции спрашивал у полковников только что не прямо: годен ли на что-нибудь их министр?

И – в полсекунды полёта взвесивши весь риск (а без риска не бывает и успеха!) и радостно чувствуя в себе, летящем, слитие двух дуг – и того, что правда он думал, и того, что надо было, – Половцов, как лучший в классе ученик, вскочил, всех опережая:

– Совместить – невозможная задача! Слишком много работы, разнообразия вопросов, лиц.

Он же не сказал, не сказал о своём шефе, чью экстраординарную тайную переписку вёл, что тот **вообще** не годен, – а только не может неестественно совмещать.

Как, видно, и надо было Керенскому.

И тот – тряхнул своей плоскосдавленной с боков головой – и не стал ожидать ответов от остальных.

Встреча была выиграна! – Половцов замечен, запомнен.

Но она ещё продолжалась, всё более непринуждённо. Ещё были минуты до отхода финляндского поезда – и министр спрашивал ещё. Но – не об артиллерийских накоплениях, не о группировке войск, не о дислокациях, – вообще, военные интересы его на этом закончились. А спрашивал он, уже выйдя ближе к ним и откидисто сидя посреди комнаты в кресле, то улыбаясь (неприятно обнажая верхний ряд зубов), то громко хохоча, – разные подробности о членах царской фамилии, кто что знает, – просто как весёлая лёгкая беседа. Спрашивал, и не дослушивал, сам перебывал.

Оказалось, министр юстиции поразительно мало знает о династии и даже трёх юных из шести Константиновичей считал опасными реакционерами. И о ком только он был самого наилучшего мнения – это о Михаиле Александровиче: как корректен! как благороден! не

стал держаться за корону!

– Вот думаю, господа, на днях съездить посмотреть и самого царя.

ШЕСТНАДЦАТОЕ МАРТА

ЧЕТВЕРГ

618

Это Саша все недели бескорыстно делал только революцию. Это он – мучился, к кому примкнуть, с кем соединиться, за кем идти, вот возвращался в социал-демократию, и теперь вместе с Рыссом носился с объединением её ветвей. А обыватели тем временем вернулись к своей обычной жизни, понимая и новую эпоху вполне по-старому, и опять у них вечерами играли граммофоны. И проходя по лестнице мимо двери второго этажа, чуть не каждый раз слышал Саша на площадке:

Что ты – одна всю жизнь.

Что ты – одна любовь,

Что нет любви другой.

И выберут же пластинку. Эта песенка прохватывала Сашу на прострел, и даже до обиды: точно как про него. С какой непонятной узостью, с каким отчаянным постоянством, почему он так привязался к одной, к одной, которую и видел мало, и отдалилась она, отчуждилась, – а Сашу растравно тянуло всё только к ней, а не к каким другим, кто с пониманием, ясным взглядом, ясной речью. Сам Саша был ясен, прям, отчётлив, и всё замудро-запутанное его обычно отталкивало, – и только одна Еленька, с её смутностью, нечёткостью, привлекала необоримо. И Саша отсечь не мог, и хуже того – не хотел.

Врезалось, как она сказала ему последний раз, на своих именинах: «Я – плохая! так и знай: я могу изменять!» На что ещё надеяться, если девушка сама о себе так говорит?

А тянуло, тянуло, всё равно.

Минувшие дни он настойчиво звонил ей по телефону, требуя встретиться: теперь спохватился и понимал, что за эти недели мог и совсем её упустить. Но знал он свою прямоту и силу: как повилика, как горох не могут расти сами, но должны обвиваться на твёрдом стебле, – так и Еленька, сама того не понимая, нуждалась в нём, чтобы выжить, определиться, да ещё в такое шаткое революционное время. Пусть не понимала она, но Саша понимал за двоих, до чего они друг другу нужны!

Он телефоном искал её с воскресного вечера, как загляделся на покорность Вероники Матвею. Он хотел её видеть тогда же немедленно, – в понедельник? во вторник? – но два вечера подряд не заставал её звонком, потом застал днём, предлагал прийти к ней в этот же вечер – она сказала, что занята. И, сколько можно по телефону угадать тон, – никакой обрадованности не отозвалось в её голосе, не соскучилась.

Но Саша не дал движения гордости, не покинул трубку, а настаивал и даже просился на свидание: только увидеть её нужно, лицом к лицу, а там напорным убеждением он её оборет! Чего в ней нет – это стойкости постоянства.

А она всё отказывалась. Да неужели **все** вечера заняты? Все вечера. Но тогда днём, ведь курсов нет сейчас. (От Вероники знал, что Еленька не мелькает и на курсовых сходках.)

Нет, оттягивала. Нет. Потом. Неделькой позже.

А сегодня проснулся – и толкнуло: да просто пойти вот сейчас, утром, не звоня, не предупреждая! Врасплох только её и застать. Иначе он не добьётся.

Вскочив от постельной неги, завтракая, собираясь, волнуясь, – испытывал и решимость.

Все эти месяцы, с ноября, он ошибался, что видел её урывками, откладывал на течение времени. Так – её не удержать. Её надо брать штурмом.

И немудряще, просто – жениться на ней. А почему нет? Свобода личная ему не нужна ни для кого другой, свою свободу – сладко отдать Еленьке. И тогда остальная его свобода наилучше пойдёт на дело. Но – чтоб Ёлочку иметь под рукой. Бойцовских качеств она ему не придаст – но бойцовских качеств у него и своих отбавляй. Скорей, она будет его заволакивать, отволакивать – но этого и хотелось, как лучшей в мире игры. Как тёмной влаги к ясному дню. Нет, хорошо ему будет с ней, хорошо! Не зря он так пригляделся к ней, с первого же раза, хотя всегда казалось своим, что она ему не пара.

Шёл к ней – и зашёл в цветочный магазин. Этого вида торговли революция не прервала, и толпа не громила этих магазинов, и цветы откуда-то всё время поступали. Социал-демократу, да даже и офицеру-республиканцу сейчас идти с букетом цветов было смешно – но тут уже недалеко. А именно с цветами, он чувствовал, нужно сейчас. Насобрали ему каких-то в хороший букет, с перевесом красного.

Да, ему приятно было так: войти – и рассыпать эти цветы у её ног, если б, опять же, не смешно.

Превосходство силы, энергии давало ему такую возможность: быть с Еленькой нежным, и даже поклоняться.

Кроме ликониной матери и ещё какие-то родственники с ними жили, но приходящие молодые люди почти не видели взрослых. Сейчас – прислуга, уже введя Сашу в промежуточную комнату, при нём постучала к Ликоне в дверь.

И Еленька появилась на пороге – в платьи, не по-утреннему праздничном, и сама – сияющая, даже воспалённая от сияния.

Саша – вздрогнул, не ожидав такой встречи.

И тут же понял: да это – не к нему?

Её взгляд был готовно уставлен – но это пока она не осознала его появления.

А вот – поняла.

И шагнула вперёд. В этой просторной комнате она уже как-то принимала его – но как раз сейчас тут закатан был ковёр, мылся пол.

Ликоня повела головой, как лошадка по несвободе, – и отступила. И головой пригласила войти в свою комнату. Ещё не сказала слова никакого – ни радости, ни упрёка, зачем же он так внезапно, и утром.

В ней так много было сейчас необычного, Саша не успевал всего охватить: что же? Изумлённая? – но и отсутствующая. Глаза – как воспалённые от бессонницы, но ничуть не утомлённый вид. А одета, хотя утро, в прекрасное вечернее платье – узкое, алое, но с синим пробрызгом или отливом. Почему? Примеряла?

Саша забирал её глазами, и не пытаясь скрывать восхищение. Это не только была – та, к кому он шёл, но и выше! и прекрасней! Как она изменилась за эти две недели! – вдвое? втрое? Покрасивела? – это мало сказать. Лицом её завладевало победное шествие красоты.

Не шествие – нашествие! Поселилось – и нескоро уйдёт.

Он подал ей букет – не галантно, не гостинно, а двумя руками, выбросив их вперёд – молодо-дружески, восхищённо.

И – выиграл. Не могла ж она просто так бросить букет: надо обрезать, в вазу поставить, или прислуга сделает. Но – вышла.

А он – остался в её комнате один. Оглядывался во все стороны, стоя.

Ощущение было, как если б он обеими руками погрузился в самую Ликоню – под локти её, или под рукава, или под локоны чёрные на плечах. Не только дразнящий запах этой комнаты – духи и ещё что-то, но разбросанные, разложенные, застигнутые как они есть предметы и приметы её жизни, на стене в овале силуэт чёрной тушью, ещё декорации театральных спектаклей – фу-у, голова закруживалась, пока он поворачивался в полный круг, – до чего ж этот мир явился ему необходим, желанен – и почему? Такой инородный – а захватил бы его и весь в один загрёб вместе с Еленькой.

Хотя понимал он, понимал, что ему и всегда, а особенно в нынешней роли, – никак не шло бы таскаться с ней по каким-нибудь «Бродячим собакам», приютам, притонам

взъерошенной театральщины.

Вошла, неся букет уже в вазе. Как тяжёлое, как через усилие. Поставила на столик.

Она не только, кажется, не сказала ему ещё ни слова? но и голову несла как-то мимо, но и полными глазами не посмотрела прямо, кроме того первого взгляда на пороге, непонимающего. Бывала она равнодушной, полувнимательной, насмешливой, – но, кажется, никогда такой чужой.

А он – никогда ещё не был так остро прохвачен ею, пронят, окружён, никогда так не желал её! И ещё будоражило это вечернее платье поутру. Шла она на дневной спектакль? – так будни.

– Ты куда-нибудь уходишь? Генеральная репетиция? – спросил он, имея в виду как тогда с «Маскарадом».

Но этот вопрос и заставил её поднять полный взгляд к нему в глаза. Мгновение смотрела прямо-прямо, как он и хотел. Не только глаза её, тёмно-темно ореховые, без близкого понятного поверхностного выражения, сосредоточенные в себе, – а и ресницы как будто сгустились, маленький рот не был детско-подушечным, как всегда, а будто развился.

Провела одним плечом беспонятливо:

– Репетиция?

А поняв – удивлённо и как бы с гордостью:

– Нет.

Не понял тона. Разве это уже её не увлекает?

– Но не на курсы же? – почему-то возразил, бессмысленно.

– На курсы? – вовсе удивилась она. И верхняя губа её, вот чудо, удлинённая, – повелась как-то вбок, не с сожалением, но... – Так их же нет теперь.

– Ну как, – обиделся он за революцию, но механически. – Сходки. Общественная работа. Вероника, многие ходят.

Она колебнула бровями, как не веря. Колебнула плечом. И как о потерянном:

– Да нет, уж какие теперь курсы.

Трёх недель не прошло от вечера её именин – и как изменилась! Конечно, и Саша изменился, и все, исторически прошла эпоха, но...

– Ты – очень изменилась! – выговорил ей своё удивление, но и восхищение.

– Ты – тоже, – провела она взглядом.

А! Всё же – видит. Заметила. Хотел бы услышать, что – изменился к лучшему, боевому. Но Еленька какая-то невнятная была: посмотрела, сказала – внятно, а тут же – уколебнулась головой, ушла взглядом.

Они всё стояли.

Села на маленький стул без спинки, взяла от туалета. Ему указала на кресло:

– Садись.

В том тоне, что: раз уж пришёл.

Он сел и теперь уже не мог смотреть во все стороны, а определился его обзор так: сама Еленька (спиной к окну, уже в глаза её не взглядишься), проход к окну – а по другую сторону её кровать. Под оливковым покрывалом.

Когда он шёл сюда, он думал: для разгону будет ей рассказывать. Во сколько ярком, необычном он участвовал за эти две недели, она наверняка ничего такого не представляет. А этим рассказом и дать ей почувствовать, что он – герой наставшего времени, из тех, кто и дальше поведёт. Это – должна она ощутить.

Но так не в лад, в случайностях пошла сразу встреча, короткими недоумениями, так видимо он пришёл некстати.

Да Ликоня всё ещё казалась невменяемой, отсутствующей. Такого приёма он не ждал.

И это вечернее платье с раннего утра...

– Так ты, всё-таки, идёшь куда-нибудь?

– Нет, – тихо.

А он, не дождавшись «нет», ещё разогнался:

– Я тебя задерживаю?

– Н-нет, – не так уверенно.

Но уж как ни пришёл, а уйти он не мог без серьёзного. Надо было всё равно – говорить. А говорить – Саша умел только напрямую, не хитря.

– Почему ты ко мне так переменялась, Еленька? – Он сидел прямо против окна, и его-то она видела хорошо. Вместе с этим вопросом он запрокинул голову.

Она повела одно плечо немного вперёд, другое назад. И так же рассеянно:

– Я к тебе – не переменялась.

– Нет, соберись! Нет, ты меня даже не слышишь. Как же не переменялась? Ты такая не была никогда.

Да никакого б ему ответа, никакого объяснения, а – если б только можно было чуть притянуть её к себе, как было раза два зимой, – и никогда не хотелось этого так закружливо, затажно. Ещё из-за этого платья... Зря он дал себя усадить: усаженные – как привязанные к своим местам. А пока оба стояли – ещё естественно было бы подойти.

Вдруг она странным движением, как умываясь, наложила соединённые маленькие ладони на лоб, и медленно, медленно провела по лицу вниз. И оттуда вышла уже как будто с вернувшимся смыслом:

– А что? И когда? – отдельно спрашивала, – ты знал когда-нибудь? о моей жизни? С тех пор как катались на лодке в белую ночь?

Этой белой ночью – полосануло его! не только вспомнил перламутровую воду и незатухшую заревую розовость за Петропавловкой, и саму Еленьку на носу – в белом, а затемнённую при убывлом свете, вот как сейчас, – не только вспомнил, а понял: что сразу тогда, в тот момент, в ту ночь – она была вся для него открыта, – а он не внял, не спешил, не приник, – ещё вольная долгодость простиралась впереди, ещё каза-лось... А неполных три года с тех пор и даже последние месяцы в Петрограде, когда встречались, это уже не сближение было. После той лодочной прогулки – отдаление.

А сейчас, в тёмно-огненном платье, – она сидела насколько расцветнее, взрослей и красивее, чем тогда.

А сейчас, поняв, и со своим принесенным решением, и готовый гигантским шагом перешагнуть назад всё то, что упустил, испытывая горячее частое дыхание, от которого мог переломиться голос, – выклоняясь из кресла вперёд, сколько оно допускало:

– Еленька! Я, правда, знал о тебе мало. А ты сама никогда не раскрываешься. А я всегда был занят каким-то делом. И – война же! И на эти последние недели я совсем тебя не покинул, но был в таком вихре – могу тебе рассказать. На самом деле, я о тебе никогда не забывал, ты во мне – сердцевина, косточка, в самой моей глубине и всегда со мной, – и я сегодня пришёл к тебе, чтобы...

Театрально, смешно, никогда б не подумал – а хотелось стать перед ней на колени – как раз бы шаг вперёд, а дальше – головой в её колени.

Но – не сунулся так, конечно. Однако сидел на краешке кресла, весь подавшись к ней:

– Я пришёл к тебе – знаешь, как раньше говорили: моя шпага и рука! Я пришёл – твою жизнь охранить, а свою – предложить тебе! Я, честное слово... – (он торжественность хотел снять, чтобы не смешно) – я просто сам удивляюсь, до чего я, правда, без тебя не могу. И до чего я тебе предан.

Он не помнил себя, когда бы говорил так.

А в ней – ничто не проявилось. Не качнулась. Кажется – и не покраснела. Не переменяла положенья рук.

И вдруг догадка толкнула его. Он всё собирался выложить своё, а не подумал о ней как следует. Всмотрелся:

– Скажи: тебе плохо? У тебя горе?

И теперь естественно встал, переступил к ней, положил руку на любимые её волосы, чёрную гладь, спадающую по краям лба коротко, а дальше длинно.

Но она не усидела под его рукой, а тоже встала. И высвободилась.

– Спасибо. – Улыбнулась. – Но беды у меня нет. Спасибо.
Но это не был ответ на всё. Он сказал ей – больше. А что скажет она – на все?
Теперь Ликоня стояла так, что оконный свет упал на её лицо – и Саша разглядел: да это – не горе было, не потерянность. А – взожжённое, ни к чему не внятное – это было на лице её – счастье???

Он – никогда такого не видел!!
И – ещё б не догадался, если б её не любил.
– Ты... ты... – взял он её за руки с упрёком, срываясь дыханием вгоряче, – ты...
И вот теперь глаза её наполнились смыслом. Полноглубные, они говорили: да.
Как сожжённое дерево, недожжённый столб, Саша стоял, недоумевая. Не принимая.
Это было, значит, так – но этого не должно было быть.
Он никак этого не ожидал!
Но так и должно было случиться? Никогда она ему не давалась. Послана на мученья.
Вдруг она подняла свою маленькую руку и провела по лбу его, поправляя сбившийся волос. Ласково, сожалительно. Но почти как мать.
И в этом касании была её власть над ним.
А он стоял всё тем же недоумелым столбом.
Стоял неразумно, но образумливался. Но в трезвую его голову возвращался смысл, не замкнутый этой девичьей беззащитной комнатой.
Краснокрылый Смысл, который носился над улицами, над городами.
– Знаешь, – очуивался он. И голова его опять выходила в запрокид, но не такой гордый, как недавно. – Было бы время другое, но в такое... Ох, ещё я тебе понадобится. В тихий уголок тебя не уведут – потому что тихих уголков не будет скоро. Я – так предчувствую, что я тебе понадобится. Что ты ещё...
Её лицо так близко было – а не поцелуешь. И он только вбирал её глазами, несогласный отдать, и неспособный уже никогда оторваться. Нет, это он был старше её, вот за этот месяц.
– Еленька, я предложил тебе, и это остаётся так. И когда тебе плохо будет – зови.

619

Петроград выглядел как пьяница наутро после попойки: те нахально-весёлые уличные лица первых революционных дней теперь сменились к хмурым и озлобленно вызывающим. А самому городу – ещё хуже: запущен, грязен, всё обнажается при оттепели, и даже на Каменноостровском можно набрать мокрого снега в ботики.

Да не столько-то ходила Ольда Орестовна по улицам, сколько прочтёшь в газетах или услышишь из разговоров коллег.

Вострубили, что теперь завоёваны всеобщие права, ничьи не будут нарушены иначе, как по суду, – и держали в тюрьмах 4 тысячи случайно задержанных, а городских и жандармов административно высылали из столиц: «Но это в интересах свободы. Они – опасный контрреволюционный элемент, и мы должны их обезвредить.» Все газеты раздували какую-то несчастную перехваченную записку великой княгини Марии Павловны из Кисловодска к её отставленному сыну, – государственный заговор из Кисловодска! Записку взялся доставить командующий гвардией – и его шумно арестовали.

«Русская воля» Леонида Андреева кинулась напечатать, что в дни революции на броненосце «Слава» команда была выстроена на борту под наведенными пулемётами – и им приказали несколько часов безостановочно петь «Боже, царя храни», – и вот только почему в Свеаборге возникли эксцессы. И редакторы профессорских газет перепечатавали эту чушь до тех пор, пока не дошло до малограмотных матросов, и судовой комитет возмутился: ничего подобного не было, оскорбление чести нашего корабля!

Вот это и был сегодняшний букет: нашатырное всеобщее ликование о наступивших безграничных свободах, захлёб о благородстве союзников (английские войска на подступах к турецкому Иерусалиму объявлялись «последними крестоносцами»), визг, что Вильгельм

хочет восстановить на троне Николая, и безоглядная клевета на не имеющих права ответить, атмосфера оголтения, в которой нельзя и предположительно заикнуться, что какой-нибудь царский министр был не прохвост. Превыше всего гремело и пугало сообщение Чрезвычайной Следственной Комиссии: уже идёт разборка материалов. «Но руководители Комиссии отнюдь не намерены придавать работам академический характер – и стремятся в самом непродолжительном времени дать удовлетворение взволнованной народной совести путём передачи на рассмотрение суда присяжных заседателей главнейших преступных деятелей старого режима.»

Это – грозно звучало трубами, ведущими на эшафот, повторяло грома Французской революции, и немели все возможные возражатели и защитники. Да что там, 16 крупных сановников, среди них Бурдуков, близкий к дворцовым кругам, князь Андроников, бывший начальник Охранного отделения Глобачев и недавний петроградский градоначальник Балк, подали заявление из-под ареста, что хотят принести присягу новому строю! (Лишь высмеянный и оклеветанный царь – через всю муть революции прошёл без единого неблагоприятного или нецарственного жеста.)

Газеты крупно печатали: «Чёрная сотня за работой, происки черносотенных волков: хотят использовать великое завоевание народа – свободное голосование – для того, чтобы восстановить монархию.» Свободное голосование – но голосовать за монархию предательство. Оказывается, кто-то распространяет листовки: используем Учредительное Собрание для всенародного утверждения монархии; при монархии наши крестьяне были наделены землёй лучше, чем западноевропейские, и у нас бесплатные – судопроизводство, лечение и начальное обучение. По сути этих доводов газетам возразить нечего, а только фыркали «смешно говорить» – и дальше городили на «союзников тех, кто прятался на крышах с пулемётами». Но мало того, что никто не прятался на крышах с пулемётами, – а в чём же тогда смысл Учредительного Собрания, и какой же оставлен ему выбор?

Хотя в чудо такое – поворот Учредительного Собрания к монархии, Ольга Орестовна уже верить не могла. Если даже простая смена царей, отца на сына, Александра III на Николая II, создала ощутимо новую эпоху, – то чего ждать, когда оборвалось всё? Когда очередной член династии неразумно выпустил трон – никому? в Никуда? И это – при неграмотном, политически невинном народе – и вот при таком потерявшемся государственном водительство.

Да сама себе не хотела Андозерская все годы признаваться – но ведь и всё царствование Николая II монархическое чувство выветривалось в миллионах сознаний, от 1894 и всё вниз. Кто хотел полным чувством любить царя – обречён был на ежедневное умирание, и даже всякое его публичное появление скорее ранило и оскорбляло. А кто мог серьёзно праздновать – 4 дня рождения (Государя, наследника и двух императриц), 4 тезоименитства, день вступления на престол да день чудесного спасения, – 10 дней в году? При светлой душе Государя, при его чистых намерениях, – как будто изощрялся он вести государственную власть – только и только к ослаблению. Не потому пала монархия, что произошла революция, – а революция произошла потому, что бескрайне ослабла монархия.

И теперь мы можем брести – только в Погибель.

Но и к погибели можно идти по-разному. Образованное русское общество – толпилось к ней глупо, некрасиво и подло. Все как оглохли, как ослепли, перестали различать свободу и неволю. Ещё недавно какая была интеллигенция непримиримая, гневалась, выходила из себя по каждому промаху власти, просто звали, чтобы поскорей и пострашней грянула гроза, – и что ж вот все так сразу обарашились?

А между тем и надо было бы сейчас всего лишь несколько громких голосов вразрез с улицей – но голосов, известных России, – и вся эта нетерпимость и оголтелость атмосферы могли быть смягчены мгновенно.

Всего несколько – четыре, три, даже два крупных голоса! – но не оказалось на Руси ни одного такого мыслителя, ни такого писателя, ни таких художников, ни таких профессоров, ни таких церковных иерархов. Каково гремели и разоблачали раньше! – а теперь замолкли

все или тянули в унисон. Мусульмане из Государственной Думы имели смелость отбросить: что законодательные учреждения не знакомы с основами мусульманской жизни – и не вмешивайтесь предлагать и преобразовывать. А православные на Руси не смели так ответить – да и где бы им ответить? – они были окружены насмешливым обществом.

Но Ольде ли Орестовне было кого-то упрекать, если она и в своём тесном учебном кругу не смела высказаться громко, а тем более перед слушательницами? Занятия возобновлялись на революционных основаниях – в зависимости от голосования слушателей. И, например, в Совет Университета теперь будут входить и студенты и сторожа. (Впрочем, университет оказался занят комиссариатами, продовольственными пунктами, и по сей час не готов к занятиям.) Тот же революционный ажиотаж охватил и ведущих профессоров. Профессор Гримм стал товарищем министра просвещения и ведал делами высшей школы. Теперь огулом – и в трёхдневный срок – увольнялись все профессора, занявшие пост назначением, а не выборами, – хотя бы были и талантливые специалисты. Так уволили известного глазника профессора Филатова. (Андозерская в своё время прошла по выборам, но сейчас в министерстве просвещения спешили «упростить» систему оставления *за* штатами так называемых «реакционных» профессоров – и теперь в короткие месяцы она могла быть убрана от преподавания.) Профессор Булич уговаривал коллег искать новые формы общения со слушательницами, сам же с профессором Гревсом спешил отдать визит бывшему довольно вздорному, зато либеральному министру Игнатьеву. Карсавин и Бердяев уже записались составлять Историю Освобождения России – ещё и освобождения не видели, а уже составлять! Да бердяйствовали, скоропалительно, безответственно, едва не все светила кряду. По Достоевскому: «им сперва республика, а потом отечество». В библиотеке Академии Художеств открывалось общество памяти декабристов – и вместе с революционерами там заседали Репин, Беклемишев, Горький, начинали всенародную подписку на памятник и звали профессоров шире знакомить народные массы с идеями декабристов. До чего это всё было противно, и до чего не в ту сторону беспокойств кидались все!

Но что ещё отдельно пронизала Андозерская в иных своих коллегах-демократах: они на самом деле несли только тонкий налёт эгалитарных идей, – а в тайниках сознания сохраняли девиз умственной гордости, интеллектуального аристократизма, и – на самом деле – презрение к черни. А вот – выслуживались.

В перерыве одного заседания Ольга Орестовна надеялась отвести душу с Кареевым. Знала она, как он всегда терпеть не мог эти студенческие политические забастовки, отмены занятий, неперечисляемые революционные годовщины, и сейчас страдал, что Психоневрологический даже не собирался возобновлять занятия этой весной, но весь отдавался революционному мотанию. Заговорила – и сразу же не нашла языка: не революцию Кареев винил, а, якобы извечную, русскую праздность, изобилие религиозных праздников прежде, которые всегда и мешали нам накапливать культурные и материальные ценности. И вот эти навыки рабских времён России теперь мол механически переносятся в Россию новую.

Ольда Орестовна оледенела. И этот – был из лучших наших профессоров и лучших знатоков западных революций. Во всём Петербурге не оставалось у неё никого, с кем говорить откровенно, – ни из коллег, ни из студентов. Приходилось – с разломной измученной головой – даже плакать, уже и не думала, что умеет.

А вот что. Какое-то предчувствие поселилось в ней. И даже ясное. Что именно этот гибельный ход, передвижка, перестановка всего сущего, – именно этот ход и принесёт ей Георгия. Сами события в нарастающем хаосе – соединят их. Прочно, и без борьбы.

Вот – так почему-то.

Всё сползает к гибели – а жизни людей ведь продолжатся?

И Россия: погибает, да. Но: и не может же вовсе погибнуть такая огромная страна с недрахлым народом!

Значит: какой-то же будет путь развития?

Но – отказывал глаз различить его...

620

Ни в Англии, ни во Франции нет у женщин избирательного права – так тем более мы должны быть впереди! В это воскресенье начнётся с грандиозного митинга в городской думе, потом будет величественное шествие к Таврическому дворцу, сплошь женское, с требованием, чтобы женщины участвовали в выборах в Учредительное Собрание, и даже могли бы становиться министрами. Впереди – кортеж амазонок из сестёр милосердия, Вера Фигнер в дворцовом экипаже, союзы конторщиц, продавщиц, перед каждым – свой духовой оркестр. Вероника, конечно, собиралась идти, и уговаривала тётей. У Таврического будут речи, а потом назад, к Казанскому собору, – на это уйдёт всё воскресенье, и на виду у всего города, это будет просто сказка. (Хотя, увы, сказка кончается, и с понедельника уже никак не миновать курсов.)

Тётя Агнесса кривила губы с папиросой:

– Не слишком надейтесь на Временное правительство, не намного оно лучше царского: сейчас, скажут, не такое время, чтоб уравнивать всех в правах, вот подождите, установится спокойствие. А когда установится спокойствие – так тем более, зачем его нарушать? Всякое государство всегда несправедливо к женщине. У нас только не отнимали права умирать за свободу наравне с лучшими мужчинами.

– Ах, – ни к ладу пригорюнилась тётя Адалия, – только тогда будет женщина равна, когда не будут мужчине всё прощать, а за внебрачного ребёнка клеймить одну женщину.

Тётя Агнесса сердито расхаживала:

– И на Учредительное Собрание тоже не слишком надейтесь. Ну, какой сейчас самый предельный лозунг? «Да здравствует демократическая республика». Мало! – отсекала тётя Агнесса огненной папиросой. – Слабый лозунг!

– Ой! – всплеснула Адалия. – Ну что ты говоришь? Демократическая республика – мало? Да ни о чём другом мечтать мы...

– А что же, тётя Неса?

Остановилась:

– Республика должна быть – трудовая. Весь выработанный продукт должен выдаваться тем, кто его выработал. Ну, за вычетом затрат на производство. Рабочий должен получать обратно всё, что он сделал. Вот это – равенство! Тут сходятся и максималисты, и анархисты.

Счастливо для двух её верностей. И на днях она с группой максималистов-пекарей ходила по Архиерейской и Каменноостровскому – «Да здравствует Трудовая республика», «Да здравствует Всемирная Федерация народов в трудовом братстве!»

– А всё ж, пойдём с нами Бабушку встречать, она великая подвижница.

Тётя Агнесса упиралась: что не столько уж Брешковская и мук вынесла, жила и на воле, и в эмиграции, а сейчас всего лишь с поселения. А вот прах Лаврова перенести бы с чужбины, это да. И почему Кропоткина не называют Дедушкой русской революции, это было бы более справедливо, – и пойдёт ли Адалия встречать Кропоткина?

Тётя Адалия обещала, что пойдёт. Согласилась и тётя Агнесса идти сегодня. Всё-таки: тех, кто побывал на каторге, она уважала всех.

И пошла Вероника с двумя тётями, обеих взяв под ручку.

Снова заполнены были дворы и залы Николаевского вокзала – впрочем, сегодня не так густо, как первый неудачный раз. Однако множество было учащейся смеющейся молодёжи. Были и цветы, но в этот раз тоже поменьше. Ждали Керенского – но он всё не ехал, вот так раз! Зато был оркестр, и он играл.

А поезд – опять задерживался. И ожидающие оживлённо топтались, переходили, обменивались всеми видами городских новостей, а среди них, конечно, и слухами и сплетнями, снижавшими общую торжественную возвышенность. Сплетни были – больше про царскую семью: что Вырубова, оказывается, вызывала у наследника искусственные

кровотечения; что, по рассказу лейб-хирурга Фёдорова, императрица, выезжая в Ставку, именно с Вырубовой занималась там до поздней ночи государственными делами, и давали царю указания. А слухи – даже обескураживающие: что из Финляндии будут высылать всех русских, как уже не пускают евреев; что в Петрограде будут отбирать у граждан не только огнестрельное оружие, но и все ножи; что какие-то три полка потребовали возвращения Николая Николаевича в Верховные; что вовремя арестованный Гучковым штаб походного атамана замыслил поход казаков на Петроград с баллонами удушливых газов.

И хотя многие тут, передавая эти новости, сами же каждый раз оговаривались, что нужен к ним скептицизм, но и Вероника не находила в себе стойкости – удержаться и не передавать узанное дальше, оно властно протекало через все уши, хотя и омрачая многих. Так и тётушки – выслушивали подоспевшие новости, отплёвывались, и хотели бы не размениваться настроением – и разменивались.

А самый пугающий слух был: что в пленниках, многосложенных на Марсовом поле, приготовлены пулемёты и будут обстреливать толпу во время похорон жертв. Просто руки опускались от такого слуха! – ужасно было представить это беззащитное побоище воодушевлённой толпы. И где же были власти? Неужели не было у них досмотра и силы, чтоб эти пулемёты искоренить заранее?

Где были власти и что они знали – действительно следовало изумляться. Повалили к поезду, залили перроны, вышел вперёд оркестр, поднялись цветы над головами, забились сердца, готовились выкрики в грудях – и вдруг – и вдруг! – никакой Бабушки в поезде опять не оказалось! Обыкновенные пассажиры выходили, а Бабушка нет!

Ещё не сразу это распространилось, ещё задние не хотели верить передним, – разочарование просто невыносимое! просто за границами всякого понимания! издевательство, какого и царские чиновники не допускали! Да это и есть провокация тёмных сил, это и есть замысел каких-то злобных реакционеров! Как же так? если известно было – теперь стало и всем известно – что Бабушка ещё, оказывается, не доехала до Самары, что она везде там выступает по гарнизонам, – то каким же образом об этом не узнали и не известили всех заранее? как допустили встречу? как же можно так играть нервами и людьми, и второй уже раз!

Просто рвать и метать хотелось всем от досады. Тётя Агнесса прямо бешеная стала. Да такой массе публики и обидно было – просто так разойтись, потерянный день, кого-нибудь другого бы встретить, что ли!... Но никого такого заметного в поезде не было.

И оркестр...

И тут кто-то придумал: так вот с оркестром теперь и пойдём все по Невскому!

Замечательная идея! Так – и все ходили, все эти дни и все войска. И – вывалила публика на Знаменскую площадь, кое-как разобралась в колонну – и пошли, пошли по середине Невского, уже кое-как отгребённого от расквашенного снега, но по несколотому неровному льду, а где и почвакивая.

И оркестр играл непрерывно. И трамваи останавливались с почтением.

И в этом торжественном шествии с цветами, и когда Невский глядел с тротуаров, – настроение всех, а особенно неунывной молодёжи, снова поднялось: ужасно это приятно, шагать колонной под музыку, стараясь ногой попадать в такт, и ощущая себя боевыми силами революции. (Говорили: примкнул к колонне и известный эсер Камков, только что приехавший.)

Музыка революции! Мы идём! Мы победим! Будущее – в наших руках!

ПРИВЕТСТВИЕ ЛЛОЙД ДЖОРДЖА. «... Высоко ценя лояльное и решительное содействие, которое мы получали от бывшего императора и русской армии в течение двух с половиной лет, тем не менее верю, что революция... есть великая услуга, оказанная принципу, из-за которого союзники борются...»

... Печать и общество с живейшим удовлетворением приветствуют государственную мудрость деятелей русской революции...

... Английские либералы восторженно приветствуют своих русских единомышленников... Окончательная победа европейской демократии над отмершими авторитарными принципами... Перед войной либералы опасались, что англо-русское соглашение нанесёт вред делу свободы. Но теперь Россия бесповоротно вступила в семью свободных наций...

РУССКАЯ ПОБЕДА. Трудно представить себе более презренную фигуру, которая заслуживала бы меньше сочувствия, чем свергнутый царь... Раньше сложность была в том, что, побеждая Германию, нельзя было допустить победы России. Теперь – иное дело. Иными словами, русская революция уже принесла нам половину тех плодов, которые мы надеялись получить в результате победы...

(«Нью Стейтсмен», 11 марта)

Английские социалисты глубоко обрадованы... Все демократические нации Европы с чувством глубокого удивления взирают на быстроту произошедшего переворота... Мы опасаемся лишь одного: чтоб не возникли разногласия между лагерями русской общественности...

ПОЗИЦИЯ ЕВРЕЕВ. Министру иностранных дел был задан в палате общин вопрос, известно ли ему, какие несправедливости совершены в отношении евреев в России, и собирается ли он проконсультироваться с русским правительством относительно гарантий на будущее и возмещений за прошлое русским евреям, с тем чтобы поощрить их добровольное возвращение на родину...

(«Таймс», 10 марта)

ТЕЛЕГРАММА ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА. «... Я всегда говорил: самодержавие – это слабость, которую Россия преодолет. Весть о прыжке от самодержавия к демократической республике изумила Западную Европу. Это – знамение пламенной надежды, оно в самом деле звучит словом Божиим в ушах всех свободомыслящих людей по всему земному шару. Россия – предвестница мировой Федерации республик...»

ТЕЛЕГРАММА БЕРНАРДА ШОУ. «... Наш союз с царём в свободомыслящих кругах считался позором. Мы все знали, что правительство царя в десять раз хуже правительства кайзера, что мы соединились с самым варварским самодержавием, чтобы раздавить самую культурную державу в мире. Мы ничего не могли ответить, кроме того что русская армия нам нужна в качестве парового катка. Отвращение к русскому правительству сделалось глубоким жизненным инстинктом всех любящих свободу... Огромное чувство восторга, с которым весть о русской революции принята в Англии... – мы уже не соучастники разбойников. Наконец мы воюем с чистыми руками! Германским войскам теперь придётся на опыте ощутить, что может сделать революционная армия свободной России...»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО ПЕВЦА. Г-н Шаляпин, великий русский певец, который, как известно, вышел из народа и всё ещё принадлежит к прогрессивным кругам,

дал интересное интервью:

«Я признаюсь, я дрожал во время первых дней революции: будет ли она снова подавлена или осуществится прекрасная мечта русского народа, за которую столько друзей было сослано в Сибирь? Можете себе представить мою радость, когда я узнал, что Волынский полк стал на сторону народа?! Какая великая победа! Какая блистательная революция! Как хорошо она руководилась!»

(«Дейли Телеграф»)

... Русская революция приведёт к энергичному и упорному продолжению войны. Единственная опасность состоит в выступлении реакции...

(«Дейли Ньюс»)

... Генералы должны поддерживать министров, охраняющих конституцию. Надеемся, что никаких изменений в желании выиграть войну...

(«Дейли Кроникл»)

Лондон. Грандиозный митинг в Альберт-холле в честь обновлённой России... Призыв радикалов к новой России о помощи в борьбе с английской реакцией... Один из самых выдающихся моментов митинга – полная горького сарказма речь известного деятеля Зангвилля, играющего руководящую роль в кругах английских евреев...

... На митинге в Кинге-холле... приветствие князя Кропоткина... выступление эмигранта Зунделевича... Оглашено послание Комитета по защите иностранных евреев: «Евреи надеются, что русская демократия разделит приобретенные свободы со столь долго гонимой еврейской расой и даст ныне евреям возможность жить в России и пользоваться своей собственной национальной жизнью. Так как и сейчас ходят слухи о погромах, то мы надеемся, что вы посоветуете истинным друзьям России охранять жизнь евреев и навсегда разрешить трагические еврейские задачи в России.»

Воистину великое событие! Самая отвратительная тирания, какую только знает современный мир, и которая столько лет противостояла любым попыткам просвещения и прогресса, повержена во прах... Наконец эта долгая-долгая ночь для русских евреев заканчивается... Последствия установления свободы в России невозможно охватить умом. Они дойдут до всех концов земли. Они будут влиять на историю будущих поколений. Мы стоим лишь у начала революции, всех последствий нельзя ни вычислить, ни предугадать.

(«Джуши Кроникл», 10 марта)

ФРАНЦИЯ

... В декларации нового французского правительства... Что учреждения новой России будут развиваться по принципам Великой Французской революции – встречено бурными аплодисментами...

Между Великой Французской революцией и русской – поразительный параллелизм. Для Германии победа русской демократии страшней, чем крупное проигранное сражение. Это – величайшая из побед, одержанных союзниками.

... Россия является авангардом республик и демократий всего мира... Руководящее теперь Россией ответственное правительство должно быть охраняемо от крушения. Государственная Дума, вызывая безграничное восхищение всего мира, является истинным орудием воли русского народа.

Русское правительство прилагает все усилия, чтобы сгруппировать энергию революции против внешних врагов, – и оно должно быть поддержано.

(«Тан»)

Мы можем взирать на будущее России с надеждой и доверием. Опасности можно избежать компромиссами партий. Преобладающее стремление населения России – выиграть войну... Французы тем более сочувствуют стремлению России к свободе, что Россия берет торжественное обязательство победить общего врага...

... Германия сильна только духом, только патриотизмом, но русская революция пробила брешь в её психологической твердыне. Немцы притаили дыхание и ждут, что будет дальше. Теперь немцев трудней убедить, что союзники угрожают естественным интересам немецкой нации. Все надежды немцев – на недисциплинированные элементы России...

... Надеемся, революция не создаст изменений в желании выиграть войну, напротив, поведёт к энергичному её продолжению. Революция может вызывать опасения только в том, что народу будет трудно принудить себя к дисциплине...

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Нью-Йорк, 16 марта. В честь приезда в Америку Шацкого русско-американская торговая палата дала обед. Шацкий прибыл в Америку со специальной миссией способствовать установлению дружеских сношений между обеими странами. Шацкий сказал, что приток иностранных капиталов является для России вопросом национальной важности. Заявление Шацкого, что еврейский вопрос разрешён русской демократией раз и навсегда, было встречено присутствующими с величайшим энтузиазмом.

Представитель федерального министерства торговли ответил: «Реформы, возведённые в России, устраняют препятствия в сношениях между нашими странами. Успех американского капитала в России будет зависеть от духа, стоящего за американским долларом.»

... Мы лучше других можем понять злокачественность той системы правления, которую русский народ стряхнул со своих плеч. В Америке проживают миллионы людей, которые на себе испытали несправедливости и деспотизм дома Романовых...

(«Нью-Йорк Ивнинг Пост»)

Митинг в Нью-Йорке в ознаменование русской революции. В числе русских гостей находились Шацкий и Поляков. Были получены приветствия от Рузвельта, Элии Рута, Якоба Шиффа и ряда других... Возможность возобновления торгового договора с Россией встречена американским деловым миром с большим сочувствием...

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И АМЕРИКАНСКИЕ ФИНАНСИСТЫ.

В финансовых кругах Америки заявляют, что русская революция открыла американский денежный рынок. Масса влиятельных финансистов, в особенности из числа русских евреев, подготавливает большой заём...

В интервью петроградскому корреспонденту «Нью-Йорк Уорлд» **премьер-министр князь Львов** сказал: «Старая традиционная Россия ушла в прошлое как дурной сон. Демократический гений русского народа проявил себя... Мы знали, что мы были в состоянии это сделать. Мы это сделали, выдвинувшись во главу движения. Через неделю после начала революции вся страна в плавном порядке. Будущее настолько ярко, что я едва смею всмотреться в него...»

Г-н Родзянко , отвечая на вопрос, какую окончательную форму примет государство: «Ни у кого в России пока не было времени надлежащим образом обдумать этот серьёзный вопрос.»

... В решимости Соединённых Штатов вступить в войну сыграл большую роль великий русский государственный переворот. Американским кругам претил союз с русским самодержавием. Американцы не доверяли прежней России. Они находили, что германский монархизм менее несовместим со свободным духом Америки, чем русский царизм.

20 марта. **Президент Вильсон** предложил конгрессу объявить войну Германии для того, чтобы обеспечить условия для существования демократии в мире, и в то же время с восторгом говорил о замечательных, радостных событиях последних недель в России... «Самодержавие свергнуто, и великий и великодушный русский народ во всей своей простоте и мощи присоединился к силам, борющимся за свободу, справедливость и мир.»

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ

Великий Визирь Талаат Паша : «В Турции, больше чем в других странах, мы относимся с сочувствием и удовлетворением к свержению деспотического царизма. Мы с большой симпатией приняли великую русскую революцию...»

Турецкие газеты пишут о гибели России: что Россия теперь не только не поддержит Согласия, но будет для него балластом...

Австрийские газеты утешают своих читателей... что с Россией в данный момент как с фактором военным много считаться не приходится. Венские газеты высказывают уверенность, что Россия станет на время бездейственной в военном отношении.

... Благоразумие требует мер предосторожности, когда пожаром охвачен дом соседа...
(«Кельнише Цайтунг»)

... Германская печать выражает надежду, что борьба между крайними левыми элементами и умеренными поведёт в русской армии к дезорганизации. Уже какой день германская печать ни о чём другом не пишет, как о русской революции. Главный вопрос, волнующий Германию: что означает сотрудничество Керенского с Милюковым?... В германских кругах мечтают о крайностях русской революции, чтобы Керенский вёл на эшафот Милюкова.

Берлинские газеты перестали печатать телеграммы, неприятные для нового русского строя.

Германские социалисты не разрешили основного вопроса: знаменует ли революция усиление русской мощи или ослабление?... Немцы живейшим образом заинтересованы в удаче русской революции. Если на Востоке воцарится демократия, то и в Германии нынешний строй не продержится долго.

... Мы уверены, что Россия не ослабеет, если избавится от своих тиранов и пошлёт к чёрту свою продажную бюрократию... Русская революция – самый важный результат этой ужасной войны. До сих пор Россия была злым духом для Европы, позорным пятном, которое чувствовал каждый, и союз с Россией даже для верных союзников был позором.

(«Арбайтер-Цайтунг», Вена)

Берлин. В рейхстаге впервые за время войны вся фракция социал-демократов голосовала против военного бюджета.

Депутат-социалист **Носке** : «Немецкие социал-демократы полны решимости бороться против всякой попытки воскресить проклятый царизм... Германия должна официально заявить, что не будет способствовать восстановлению царской власти. Как только в России определится стремление к миру – германское правительство должно сделать шаги к его немедленному заключению. Германской социал-демократии предлагают из-за границы устроить революцию. Но тогда рабочий класс постигло бы величайшее несчастье...»

ЗАЯВЛЕНИЕ ИМПЕРСКОГО КАНЦЛЕРА Бетмана-Гольвега.

«... По отношению к событиям в России мы соблюдаем принцип невмешательства. Это ложь, что император Вильгельм хочет восстановить власть царя... Через несколько недель мы увидим, желает ли русский народ мира или присоединяется к войне до победного конца. Мы будем следить за событиями хладнокровно, с готовым для удара кулаком. Согласие готовится поработить нас даже тогда, когда его постройки трещат по всем швам.»

... Русское правительство предоставило солдатам право стачки. Мы можем лишь желать, чтоб они воспользовались им возможно больше – тогда наши солдаты, связанные железной дисциплиной, могли бы убить возможно больше русских...

(«Берлинер Локаль Анцайгер»)

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Бельгийское королевское правительство ... Самые сердечные пожелания... Довести войну до победного конца.

Рим . «... Революция в России увеличивает наши силы в этой войне. Русская армия, охваченная новой доблестью... От имени всей Италии я посылаю горячие пожелания Государственной Думе...» (Министры и депутаты поднимаются с кликами «Да здравствует Россия!»)

Вопреки германским ожиданиям, петроградский революционный кризис начинает выливаться в организованную волю народа к военным операциям...

(«Коррьере делла Сера»)

Берн . Проект резолюции социал-демократов: «Швейцарский бундесрат видит в русской революции грандиозный подъём свободлюбивых идей, которые составляют фундамент Гельветской республики.»

Стокгольм . Профессор, член первой палаты: «Эта война частично является делом Милюкова и кадетской партии.» Другой: «Нельзя одновременно осуществлять большую революцию внутри и вести большую войну вне страны... Во всех революциях побеждают левые силы, это закономерное раскачивание маятника.»

Председатель португальского сената...

Японская печать... Что Россия проявит всю энергию для общей победы...

Из **Шанхая** от доктора **Сун-ят-сена** ... «Наши товарищи в России одним ударом выкинули стяг демократии. Благодаря нашим двум республикам мир мира близок к осуществлению...»

АНГЛИЯ

... Не отдающие себе отчёта крайние левые элементы в Петрограде... Какой мир предлагает Германия – всем известно: Россия, пожалуй, может кое-что сохранить за собой, но свободная Бельгия, свободная Франция должны попасть под иго, а свободную Англию хотят уничтожить.

Усы императора. Николай всегда, вместо того чтобы принять решение и действовать, покручивал усы и смотрел в другую сторону.

(«Дейли Телеграф»)

Великий князь Николай Николаевич – узкий реакционер. Он отличался жестоким проведением программы изгнания с родных мест десятков тысяч еврейского населения.

Следует предостеречь от слишком жестокого отношения к представителям старого режима. В глубинах народных, столь мало затронутых просвещением, это может произвести крайне опасные потрясения...

ИМПЕРАТОРСКИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ. Мы вправе ожидать от Временного правительства ответа на вопрос, который волнует огромное число крестьян: как будет с обширными земельными владениями царя? Многочисленные крестьяне из армии уже отправились в свои деревни, боясь опоздать к распределению земель. Нужно чётко разъяснить им ситуацию. И новое правительство не может допустить экспроприации частных владельцев.

(«Таймс»)

ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ. Мы искренне надеемся, что у британского правительства нет никакого намерения дать убежище в Англии Царю и его жене. Если Англия теперь даст убежище императорской семье, то это глубоко и совершенно справедливо заденет всех русских, которые вынуждены были устроить большую революцию, потому что их беспрестанно предавали... Нельзя забыть теперь про один факт: Царица стала в центре и даже была вдохновительницей прогерманских интриг... Она погубила династию Романовых, покушаясь изменить стране, ставшей ей родной после замужества. Английский народ не потерпит, чтобы этой даме дали убежище в Великобритании... У англичан ныне не может быть никакой жалости к павшей Императрице... Если наше предостережение не будет услышано и если царская семья прибудет в Англию, возникнет страшная опасность для королевского дома.

(«Дейли Телеграф»)

Среди русских эмигрантов в Англии 25000 мужчин военнообязанных, не вступающих в ряды армии. Если морские сообщения будут неблагоприятны для их возврата на родину, британское правительство должно изыскать меры поставить их под знамёна союзных армий.

(«Дейли Кроникл»)

ЭЛЕМЕНТЫ БЕСПОКОЙСТВА. К сожалению, не могу сообщить о духе умеренности со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов. Эксцессы, которые были совершены под его эгидой, вероятно можно объяснить недостатком организации. Надеемся, г-н Чхеидзе не будет продолжать методы, применяемые... Иначе в цивилизованном мире может возникнуть подозрение... Русские газеты посвящают слишком много места сенсационным разоблачениям пороков старого режима и мало внимания уделяют проблемам, стоящим перед Россией...

(Петроградский корреспондент «Таймс», 13 марта)

... К несчастью, в России существует крайняя партия, играющая врагу в руку. Хотя она представляет ничтожное меньшинство, но она деятельна, а в смутное время деятельное меньшинство обладает силой, не пропорциональной его действительному значению. Всё зависит от способности правительства твёрдой рукой удержать это разрушительное движение.

(«Таймс», 13 марта)

Организация нового государства постоянно затрудняется вмешательством социалистов... Бесконечные уступки ненасытным требованиям теоретиков и невежд...

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ. Сентиментальные прокламации социал-демократических лидеров... Как и Николай II, они прокламируют идею универсального мира... Г-н Чхеидзе, грузинский мечтатель, своим пылким красноречием пленяет необразованные умы... Русская социал-демократия представляет собой отпрыск германского марксизма. По своему существу это нерусское явление и большая часть её лидеров нерусского происхождения... Призыв к трудящимся всего мира будут читать прежде всего русские войска на фронте. Сомнительно, дойдёт ли он до немецкого пролетариата.

(«Таймс», 17 марта)

Лондон, 17 марта. Некоторые английские газеты с особой настойчивостью подчёркивают, что лидеры русской социал-демократии являются лицами, чуждыми по крови русскому народу, и играют в руку истинным врагам России. Обращение Совета Рабочих и Солдатских Депутатов приостановило эту кампанию, достойную сожаления. На деле эти газеты давно перестали отражать мнение Англии.

(«Биржевые ведомости»)

Сообщения с русского фронта пока не вызывают тревоги. Были приняты своевременно энергичные меры, чтоб избежать вредного заражения. Полки, которые я видел, производят чрезвычайно хорошее впечатление.

(Собственный корреспондент «Таймс»)

... Керенский в настоящее время самый сильный человек в России...

ФРАНЦИЯ

... Первое впечатление, что захвата властиспособными лицами достаточно, чтоб навести порядок, было слишком оптимистическим. Временное правительство оказалось перед огромной волной народного недовольства... Поездка французских социалистических депутатов в Петербург... напомнить русским революционерам о военных обязанностях... Русские революционеры должны доказать, заслуживают ли они доверия союзников.

... Опасная сторона русской революции – в том влиянии, которое могут оказать некоторые русские социалисты, совершенно сбитые с толку германскими социалистическими теориями. Если русские рабочие дадут себя увлечь плохим вождам, то у них не будет республики, ни свободы печати, ни свободы совести – но в Петроград придёт прусская армия...

(Эрве, «Виктуар»)

... Не очень понятно, на каком основании совет рабочих и солдат диктует решения... Ввиду большого числа неграмотных русских, народ можно лишь осторожно направлять на

путь прогресса.

(«Тан»)

Французское правительство запретило газетам напечатать манифест Совета рабочих депутатов.

Французский депутат-социалист заявил нашему корреспонденту, что, по его глубокому убеждению, идея сепаратного мира не могла возникнуть в руководящих русских рабочих кругах. Ввиду опасности, которой она угрожает Франции, я и мои единомышленники высказываемся против не только с французской точки зрения, но и с социалистической...

... Опасно закрывать глаза на правду. На самом деле, русская опасность существует...

(«Виктуар»)

... Россия должна одержать военную победу. Только в таком случае Франция будет приветствовать русскую революцию...

(«Ля Франс»)

622

Присяжный поверенный Соколов мог бы сыграть в Великой революции гораздо большую роль, чем это ему до сих пор удавалось. Начать с того, что он ни разу не попал в Государственную Думу, хотя в 3-ю чуть-чуть не избрали. Политические процессы не кормили, но Соколов не жалел на них энергии и так утвердил свою революционную славу. (В прошлом у революционера могут быть и пятна, например отец был не просто священником, но написал известный учебник закона Божьего. Однако своей собственной жизнью революционер должен всё исправить.) Широко знаменитый во всех левых кругах, с прочной репутацией пораженца и ненавистника патриотизма, его лично знали и уважали все крупные революционеры, – Николай Дмитриевич Соколов до самой революции устраивал им на своей квартире конспиративные встречи, сводил подпольщика Шляпникова с членами Думы Керенским и Чхеидзе, – и всё же эта популярность и дружественность не внесли Соколова достаточно достойно в дни революции, лишь только кооптированным членом Исполкома. И хотя с невероятной энергией он вращался едва ли не быстрее всех (ну разве уступая Керенскому) и выдвигался с большим значением (история сочла недоказанным, но это Соколов подтолкнул массы в первый день революции стягиваться к Таврическому дворцу), – всё же ни один важнейший шаг революции до сих пор не оказался скован исключительно с именем присяжного поверенного Соколова. Хотя он и стоял у колыбели этого недоношенного Временного правительства, но не было терпения досидеть переговоры, и их dokonчили без него Гиммер и Нахамкис. На арест царя посылали Гвоздева, Масловского – и никто не догадался послать Соколова. (И только компенсировался он докладом об аресте царя на Совете.) Манифест ко всем народам составили без него другие, и даже манифест к полякам, которыми он особенно и много занимался, – тоже другие. И даже гордость свою – Приказ №1, выведенный его собственной рукой, он не мог приписать себе целиком одному, потому что были свидетели, что советовали и другие, а потом ещё кто-то, за спиной, правил в «Известиях». Да Приказ №1 сильно поблек после того, как Исполком издал и Приказ №2, и Приказ №3, – и вообще стало неизвестно, какой из этих приказов действовал, а какой был отменён. И в самом Исполнительном Комитете, где Соколов был из начинателей и безусловно главных фигур, – оттого ли, что он всё катал по городу, встречался, собирал сведения, – в Исполнительном Комитете его оттерли и не избрали ни в бюро, ни в Контактную комиссию.

Так значение Соколова оборвалось и стало падать.

Но и не могучи побороть потяготу в своих ногах, потяготу носа своего к новостям, ещё

не опубликованным, Соколов и тут не приобрёл усидчивости к заседаниям, а всё так же катал по городу (на трамваях и пешком, автомобиль ему редко доставался), – а между тем ещё быстрее носился в мыслях: кем же бы ему стать? как же достойно связать своё имя с нашей Великой революцией? – так, чтобы во всех школьных учебниках непременно бы упоминался присяжный поверенный Н.Д. Соколов, и с каким-нибудь оттенком леденящим?

Ну, несомненно ему надо попасть в Учредительное Собрание, будущий Конвент, – но это-то ему почти обеспечено, однако ещё не настали выборы. А – пока? Обидно, что, столь близкий к Керенскому, столько услуг ему оказавший в своё время, – он теперь не мог от него добиться назначения в товарищи министра юстиции: назначил Керенский присяжных поверенных, но – других.

Революционный нюх у Керенского есть, да! Он понял, что в дни революции министерство юстиции – это меч её, это – главная действующая сила. Но и Соколов же имел все права, все основания быть частью этого меча – или рукой, её держащей! И не попав в заместители министра, Соколов сметил наилучшее для себя место: Чрезвычайная Следственная Комиссия над бывшими высокими должностными лицами. Какие величайшие революционные права давало членство в этой Комиссии! – допрашивать всех тех, унижавших нас, презиравших нас, безмерно взнесенных вельмож – а теперь трясущихся пленников Трубецкого бастиона. Всю жизнь присяжный поверенный Соколов выступал в роли ходатая или защитника, – но наконец он чувствовал в себе мощь и жажду стать обвинителем! Какую грозную способность допрашивать он открывал в себе! вонзить остриё мести морально – ещё раньше, чем оно войдёт в них физически. И какую обстановочность можно придать заседаниям Комиссии: то поехать всем составом в Петропавловскую крепость и там сгрудиться против подследственного в полутёмной, как бы пыточной комнате. Или – заседать в парадном зале Зимнего дворца и вызывать их, трепещущих, на середину паркетного простора против судейского помоста.

И какое разнообразие захваченных: Протопопов ли, Маклаков, Макаров, Хвостов, или сам надменный Щегловитов, а то – Штюрмер с бородой-веником, древний Горемыкин или начальники департамента полиции, Охранного отделения. На каждого был аппетит допрашивать, во все стороны рвался карающий меч, не хватит времени для допросов денных, а хоть и ночных!

Но: страстнее всего, жаднее всего Соколов хотел бы допрашивать самого царя! – поставить перед собою в струнку это ничтожное мямленное величество, когда на него уже нагрузятся все неотклонимые обвинения, – и посверлить его своими огненными глазами. Какому-то счастливому следователю ведь судьба же – открыть и доказать измену царя! И какому-то судье высокое гордое счастье – отправить его на эшафот. Соколов хотел бы исполнить – и то и другое!

Крылатые параллели с Великой Французской Революцией носились в петроградском воздухе, были у всех на устах. Обжигающее состояние – зримо войти в великую эпоху, и видеть это уже сейчас, и сознавать.

(Правда, Соколов слышал и такое мнение, что аналогия на самом деле с революцией 1848 года: тоже февральская, тоже рухнула монархия за 3 дня, тоже сотрудничество крайних и умеренных элементов, и так же предстоит нам Учредительное Собрание, – а разве Совет рабочих депутатов – не «люксембургская комиссия»? а Керенский – не наш Луи Блан?... Ах, может быть, всё может быть!)

Несколько раз Соколов то звонил Керенскому, то нагонял его лично – и горячо просил не забыть, что он Исполкомом включён в Чрезвычайную! А Керенский уклонялся, какие-то другие у него были планы (дурацкая идея отдать председательство Муравьёву по одной лишь фамилии), – он слишком вознёсся, он забыл старые услуги по революционному подполью. Соколов верно знал, что Комиссия уже зреет, составляется. В воскресенье 12-го опубликовали в газетах положение о Чрезвычайной Комиссии и её первый состав – а Соколова не было там! В понедельник она уже реально переехала в здание Сената и стала занимать комнаты в уголовном отделении – а Соколов всё не имел права усаживаться с ними

там (хотя ездил посмотреть). И только сегодня, в четверг, наконец последовало назначение Соколова, – увы, лишь как депутата от Исполнительного Комитета (а Родичев – от Думы). Ну что ж, ничего, дело поправимое: право задавать вопросы во всяком случае есть. И может быть удастся приподнять чугунную крышку, скрывающую гнусные царские тайны!

Уже сегодня с утра Соколов побывал в Чрезвычайной Комиссии и по лазил над первыми папками, и узнал, что сегодня начали допрашивать заместителей Протопопова, а послезавтра начинаем допрашивать Хвостова.

Ну, хорошо хоть так. А пока, значит, – гнать в Исполнительный Комитет. Если послан от них – надо за них держаться. Да это – одна реальная власть сейчас в Петрограде.

Погнал в Таврический. Вошёл в заседание далеко не в начале под укоризненный взгляд и качок Чхеидзе. Сам Чхеидзе высиживал, иногда не снимая жёлтой шубы, все ежедневные заседания, от начала до конца, председателем. Он видел в этом свою обязанность как самого старшего из социалистов.

Быстрым взглядом приметил Соколов пустой уголок стола у самого Чхеидзе – потянул туда стул и присел там рядом, нога на ногу.

Кончали какой-то предыдущий вопрос – опять о невыводе войск из Петрограда, а фронты требовали пополнений. И допустили к докладу Громана с двумя советниками.

Хотя сидело чуть меньше половины Исполкома, кто вышел, предвидя скучный вопрос, – дерябый сырой сморкатый Громан волновался, выдавая немалую подготовку и особое значение, которое он ожидал от доклада и решения.

Соколов остро поглядывал на председателя, как его правая рука. Лично Громану он сочувствовал: это был такой же одиночный инициативный революционный демократ, открыто не примкнувший ни к одной партии, как и сам Соколов, – и тоже честный, настойчивый, талантливый в своей области.

А сегодня, как стало ясно с первых слов, он пришёл жаловаться на Шингарёва. В сложной, случайно составленной и до сегодня неяснённой структуре продовольственных органов Громан был как бы второй министр продовольствия, представитель от Совета рабочих депутатов, но без всяких реальных прав в министерстве: он мог только стол поставить там, советовать, не одобрять, предлагать своё, а если его не слушали – то вот прийти жаловаться сюда. А здесь тоже его неохотно выслушивали.

Громан начал издали: что царское правительство поощряло интересы господствующих классов, и всю историю установления твёрдых цен на хлеб. (Соколов быстро стал позёвывать, как и другие за столом. Всё-таки и нуда порядочная этот Громан.) И какой доклад он, Громан, представил в конце октября Союзу городов. И как министр Риттих, вопреки советам общественности... И всю подробную историю своей Продовольственной комиссии, и какие реквизиции хлеба были объявлены вот уже в марте – но и они не помогают.

И вот тут Громан подошёл к главному, и голос его, прогундошенный, загрохотал негодованием – и засыпавший Чхеидзе и другие члены Исполкома прочнулись.

Громан обвинял, что министр Шингарёв начинает губить всё продовольственное дело: он не удерживается на жёсткой линии реквизиций, а государственную хлебную монополию, разработанную Громаном, готовит нерешительно и рассматривает мерой временной, когда она должна стать постоянной – ибо не может быть другого способа планомерно и полностью изъять весь нужный хлеб из деревни, сломить сопротивление миллионов противодействующих собственников. А затем государственная власть расширится и на область производства продуктов, будет руководить и посевами, и обработкой, – и это откроет огромные социальные перспективы экономического творчества государства!

А пока за хлеб будет выплачиваться вознаграждение, то надо – по понижающейся шкале: чем больше сдал, тем дешевле за каждый следующий десяток пудов. А министр Шингарёв как раз наоборот – зашатался и хочет идти по стопам Бобринского и Риттиха: снова повесить твёрдые цены на хлеб. Это – всё погубит! Это... – Громан не сказал «контрреволюция», но: это будет огромная опасность для демократии.

И Соколов живо согласился и поддержал Громана: мы не должны делать уступки цензовым буржуазным министрам! (Про себя додумав: что все цензовые министры – скотины, и Шингарёв такой же, и ещё Чрезвычайная Комиссия, переработав всех царских министров, может быть будет иметь повод и время заняться кадетскими.)

Соколов живо это выкрикнул, поддержали его голоса два от большевиков, да Александрович, да Кротовский, всегда крайний во всём, – но что-то большинство (большинство из сидящего меньшинства) водило глазами мутными и робело принять решение. Спросили сопровождающих экспертов, что думают они? Возьмут они на себя ответственность за такое решение Совета о хлебной монополии?

Эксперты что-то перепугались и высказались вразнобой, не слишком в поддержку Громана. Втемяшешься в эту монополию – ещё не вылезешь. Такая монополия только в Германии удалась.

А ещё ж много было вопросов на сегодняшней повестке.

Пока ничего не решили.

Затем Богданов доложил о своей лёгкой быстрой победе над Временным правительством: достаточно было ему представить министрам решение пленума Совета против присяги – и правительство сразу признало свою ошибку и обещало тотчас прекратить присягу в войсках – и до самого Учредительного Собрания никого к присяге не приводить.

На Исполкоме сложилось лёгкое весёлое настроение.

– Требуйте с них пятнадцать миллионов! – кричали Стеклову.

Но Стеклов, всё на ногах, не садясь, серьёзно предложил: потребовать от Временного правительства издать декрет, что не подлежит исполнению никакой приказ воинского начальника, направленный против свободы народа или хотя бы имеющий какой-либо политический оттенок.

– Дальновидно! – шумно одобрили. Стеклов протягивал реальную хватку вглубь армии. Постановили, записывали.

Вместо того чтобы солдаты были связаны присягой перед правительством – пусть правительство будет связано перед ИК. Неплохо!

623

В Союзе Инженеров выбрали Дмитриева, вместе с ещё двумя, депутацией к властям: о том, что работать на заводах стало совершенно невозможно. В эти недели инженеры попали так же, как офицеры в первые дни революции, – только не было у них револьверов и шашек, которые бы отбирать, а такая же вдруг подсечная немочь лишила их всего обычного образа поведения и права: они не могли расставлять рабочих, направлять, указывать, а каждый раз в виде ласковой просьбы: исполнят рабочие – хорошо, а не исполнят – ничего не поделаешь.

Пока в Петрограде ещё только готовились хоронить жертвы революции – а на петроградских заводах вот убили двух инженеров (и с десятков избили), – и чьи это будут теперь жертвы? Немало инженеров от угроз расплаты должны были скрыться и с заводов и даже со своих квартир при заводах, так что только доверенные знают их места.

А был в их депутации и революционный идеалист Подагель с Воздухоплавательного. Он всегда гордился, что участвовал в инженерной забастовке 1905 года в поддержку бастовавших рабочих, и теперь приободрял коллег, что не надо вдаваться в панику, но лишь смягчить анархические события, а по стержню – мы этому самому и служили, оно – совершилось, и надо видеть, как оно устанавливается в светлую сторону.

На Обуховском сохранялся ещё сравнительный порядок.

Их выбрали – идти к властям, но: кто же были власти? Очевидно, заводами должно заниматься министерство промышленности и торговли. Но ещё очевиднее, что оно против рабочих волнений не решится действовать ни на вершок. Пошли советоваться к своему же брату Ободовскому, нашли его в военном министерстве, через коридоры, где щёлкали шпоры, скрипели сапоги. Вышел Ободовский с ними в проходную комнату. Нервное лицо

Петра Акимыча было опалено деятельностью, очевидно и бессонницей, прямые короткие волосы, из светлых всё ярнее седые, дыбко колебались.

Они все были не на месте: заводские работники, вот, почему-то сидели в военном министерстве, а между тем заводское дело прогрохатывало к обрыву, как сорванная с троса вагонетка.

И Ободовский только и мог им подтвердить:

– Господа! Между нами, Временное правительство мало на что влияет и меньше всего на рабочие дела. Тут всё решает Исполнительный Комитет Совета. А там отделом труда заведует Гвоздев, вы, Михал Дмитрич, его знаете, – он разумный человек.

То есть искать управы на рабочих инженеры должны были у самих же рабочих?... Новая **свобода** жала и потягивала, как неловкое платье.

Дмитриев позвонил Гвоздеву. Тот сразу обещал, что поставит их сообщение прямо на заседание Исполнительного Комитета. Но повестка дня перегруженная, когда удастся?

Пришлось звонить снова и снова. Не удалось ни в тот день, ни на следующий, и только сегодня обещали.

Переполненный Таврический дворец никак не ощутил входа троих инженеров. В большом зале стояло множество солдат, кричали временами «ура» и гремела марсельеза. Гвоздева нашли в маленькой комнате бокового крыла, где на стене от прошлого ещё не снят портрет чина в звездах, а бархатом обитые кресла перемежались с табуретками.

С осени не появилось в Гвоздеве никакой важности, а перед визитёрами он держался даже заботливо-суетливо. Прегустые соломенные волосы его, недлинно стриженные, колыхались на голове и были в перепуте, как пшеница в ветер.

Сидели и обсуждали довольно потерянно. Из соглашения Совета с заводчиками выполняется только 8-часовой рабочий день, да и то почти не работают. По соглашению, не было права заводским комитетам вмешиваться в управление заводами – а они являются в конторы и начинают указывать.

Гвоздев в кручине упёрся на руку, свесил светлую косму – и поглядывал на инженеров детски-откровенно, как на самых своих.

– Ездили мы по заводам, – говорил, – и нас слушают не намного больше вас. Раскачали наших ребят как черти пьяные: что по теперешней поре за один день можно взять, чего, ино, и за десять лет не получишь. Да ведь и правда, – тут же и радовался изумлённо, – ведь о восьмичасовом дне двадцать лет бились зря – а гут в один день получили! Сколько из нас масла-то пожато, что скрывать!

И тут же вздыхал:

– Так и дальше, мол, хватай. Экакое свинство развели, ещё так никогда не распускались. Но должна совесть воротиться! Поиграют – должны ж образумиться, что ж мы – нелюди?... А солдатики – пропадай без снаряженья? Или – уж-так погано все люди устроены?

Лицо его, с бровками малыми, разляпистым носом, было застигнутое.

– А Исполнительный Комитет – он как будто и не понимает. Ну, попробуйте вы их растрясти.

Дмитриев предложил: в некоторых полках теперь бывают совместные комитеты солдат и офицеров. Нельзя ли так же и на заводах: комитеты из рабочих и инженеров? Когда рабочих не толпа, а всего несколько человек за стол сядет, – они доступны объяснению, уговору.

– Можно, можно попробовать. – Но что-то затуманились простодушные глаза Гвоздева. – Вон, ещё как бы трамвай обратно не остановился.

Посланный вернулся с заседания, что, кажись, можно идти.

Пошли. Вслед за Гвоздевым вошли в большую комнату с ещё более неподходящей обстановкой: объёмистый диван у стены, золочёное трюмо, а посередине вокруг большого голого стола сидело человек тридцать штатских, ещё и стояли, среди них и несколько молодых солдат.

Депутацию инженеров ввели, но ещё не кончили другой вопрос: доспаривали, что хотя правительство и отменило присягу, но, как всегда, ограничивается полумерой. Что это – не полное признание ошибки. А где признание самой порочности идеи присяги? А как быть с частями, которые уже присягнули, – отменяется ли присяга? Нет! Правительство виновато – так пусть оно высечет само себя.

И штатский Дмитриев, кажется, понимал, что смысл говоримого был ужасен.

Если так расправлялись с армией, – кто поддержит заводскую дисциплину, несравнимо слабейшую?

Но более чем Дмитриев слышал, он невольно смотрел. Успел обежать два-три раза все лица, кто был к нему не затылками, да и другие временами переходили. И кроме пятка тупых солдат, явственно в стороне, охватил, из кого же состоял Исполнительный Комитет. Что это собрание было никак не рабочее: уж рабочих-то Дмитриев видывал тысячи, он узнавал их на улице, отличая от городского обывательского потока. Но хотя в пиджаках, а некоторые и при галстуках, – не было и привычно интеллигентных лиц. А скорей тянулся тот тип бездельных агитаторов, которые шалались вдоль заводских стен и разламывали заводскую жизнь, – только эти одеты прилично.

Кончили с присягой – Гвоздев собрался напомнить о своей депутатии, но тут секретарь Исполкома, очень чистенький, с заострённостью лица вперёд, – заявил вне очереди о срочном важном вопросе, что к нему поступило чрезвычайно тревожное сообщение: на Васильевском острове распространяется погромная черносотенная литература.

Вот уж чего нельзя было и вообразить после трёх недель революции: чтобы кто-то кому-то решился сейчас передать или даже подержать в руке такую листовку. Но Исполнительный Комитет оживился, возмущённо загудел, заговорили сразу по несколько и друг ко другу. Никто, кажется, и не спросил: кто именно распространяет? в каких количествах? какую литературу? кому? Но все требовали решительных мер, а секретарь Капелинский и сам ничего точнее не знал и ничего более не хотел, как записали бы в протокол, чтоб этот вопрос выяснить и пресечь погромщиков.

А тем временем в дверь вошли несколько живописных матросов, с той особой дерзостью, которую им придаёт лихая форма. И сопровождающий их юркий штатский громко торжественно объявил:

– Товарищи! Депутация из Гельсингфорса!

И все сразу повернулись и осветились как бы восхищением перед вошедшими и перед их матросской свежестью. И была забыта инженерская депутатия.

А матросы – тоже же не простые, а те горланы, какие две недели назад своими руками бросали за борт капитанов, – теперь отрывисто, смесью языка натурального и воспитанного газетками, заявляли. Что весь гельсингфорсский гарнизон поклялся добиваться демократической республики. Что очень их волнует вопрос о войне и мире и все высказываются против принятия присяги. Что они верят в мощную силу петроградского Совета Депутатов и ждут от него указаний. А с Временным правительством будут считаться лишь постольку, поскольку оно идёт за Исполнительным Комитетом. А для предотвращения дальнейших убийств офицеров необходимо, чтоб Исполнительный Комитет направлял работников и литературный материал.

И вообразил Дмитриев тот Гельсингфорс, где дальнейшая жизнь офицеров зависит от присылки «литературного» материала. И видел, с каким сочувствием здешние выползни следили за бодрой матросской речью. И потерял всякую надежду, что подробно выслушают его.

Но ошибся. Матросы кончили тем, что заговорили о 8-часовом рабочем дне – что он смущает матросско-солдатскую массу: почему рабочие добиваются себе одним только?

И так обсуждение как бы само собой обратилось к инженерской депутатии. Матросы ушли, а Гвоздев пригласил Дмитриева говорить.

Дмитриев встал, напрягся, чтоб овладеть вниманием собрания, успеть сказать им всё главное, прежде чем его начнут перебивать или раздёргивать. Он помнил, держал в сборе все

эти пункты, случаи, названия заводов, фамилии пострадавших, он сейчас только что повторял их Гвоздеву, он не сбился, – но при напряжённом виде этих странно откопанных людей, при наслушанном об армии и флоте, – говорил с безнадёжностью. Он уже понял, что ни в чём не успеет, и заводов не спасти.

Однако его слушали, не прерывая, и даже как будто с застенчивостью, будто он о чём-то запретном говорил. Или будто их уши не были подготовлены слышать о дезорганизации промышленности.

И никто не спешил отозваться.

Помянул Дмитриев и предполагаемые совместные комитеты инженеров и рабочих, уже не веря.

Члены Исполнительного Комитета невыразительно молчали. Не выступал и Гвоздев, опустивши пшеничный клочок. Да ведь он с депутатией был как бы заодно.

Кто-то сказал: надо выпустить воззвание к рабочим. Во имя революции они должны порядок соблюдать.

Другой: а вот не надо было к работам приступать, пока не добились полного улучшения всех условий труда.

А крупный, рыжебородый, что всё стоял и ходил:

– И потребовать от разбежавшихся инженеров и мастеров немедленно приступить к работе.

Баритон его прозвучал беспощадно.

Тогда вступился Гвоздев тенорком: что стали с фронта всё чаще приезжать солдатские депутации, и все они недовольны, что заводы не работают, а *учетные* на них прячутся, а снарядов не дают. Так может – начать возить эти делегации по заводам?

Но выпрыгнул маленький, острый, с войлочными волосами:

– Но это беспринципно, товарищ Гвоздев! Мы не можем выдвигать против рабочего класса крестьянство в шинелях! Мы не можем использовать отсталость крестьянской массы!

624

(провинция и деревня, фрагменты)

* * *

Министр Некрасов срочной телеграммой отменил всю охрану железных дорог, кроме больших мостов. Везде, где местные комитеты сочтут железнодорожную полицию излишней, – откомандировать её к воинскому начальнику, её обязанности без ущерба выполнят сами ж-д служащие и народная милиция, внесётся только большой порядок.

* * *

В **Харькове** при Управлении Южных дорог создан «Центральный революционный штаб»- коалиционный, от с-д, с-р, к-д, анархистов, председатель – рабочий царовозного депо анархо-индивидуалист Худяков. Штаб взял в свои руки всё ж-д движение, и воинские эшелоны, и передвижку снабжения. Паровозоремонтный завод угрожал забастовкой, если будут выселять лево-анархическое «Вольное братство» из захваченного здания.

* * *

На **Ижорском** заводе после переворота рабочие устранили 38 инженеров и мастеров. При том постановили: сдать их всех в солдаты, а семьи чтоб очистили городские квартиры. Жалованье уплатить лишь по 9 марта, ни дня вперед. (Некоторые из них служат на заводе 25 лет и больше.)

* * *

В **Озерах** Коломенского уезда после переворота местные фабриканты пожертвовали 200 тысяч рублей на устройство пенсионной и ссудной касс для рабочих. Но рабочие вместо такого устройства порешили: разделить все деньги между собою поровну.

* * *

В станице **Каменской**, на Донце, толпа чернорабочих арестовала генерал-майора Макеева, хотя он и приветствовал революцию, и посадила его в одну камеру с уголовниками. Те издевались над ним и били.

* * *

В **Симбирске** жена управляющего Крестьянским банком Бирина, служа в лазарете, выражала раненым солдатам порицание новому строю. Арестована и привлечена к ответственности.

* * *

На второй неделе революции прокатились по всей провинции массовые празднества. Во многих городах они пришлось на 10 марта и фотографии их широко печатались.

Вот солдатня, сгрудившись, подхватила папахи вверх, кричат, кто – просто со всеми, а кто и правда рад, что-й-то новое будет! На палках – красные флаги. В Архангельске ещё по-зимнему, в Пятигорске мужчины уже без верхнего, – сгрудились толпы на площади, красными конусами торчат неподвижные флаги, мальчишки на столбах, в раздвинутой середине держат речи. В Рузаевке – как большая деревенская сходка, запряженные телеги по краям толпы.

В **Екатеринбурге** выстроили особую арку, убранную, перевитую лентами, и несколько раз: «Свободная Россия». Размеры красных бантов на распорядителях – в зависимости от занимаемой должности в Комитете общественной безопасности, председатель Кроль, главный распорядитель праздника – Ипатьев. Во главе шествия шёл молодой присяжный поверенный эсер Кашеев. Шествие прошло от тюрьмы до соборной площади, где с трибуны, задрапированной кумачом, выкрикивались лозунги: «Да здравствует революционная армия!... Учредительное Собрание!... свободная гимназия!» Только колонна войск была тысяч до 60, впереди бригадный генерал на белом коне, а всего тысяч сто. Мимо трибуны двигались лица и безумно радостные, и невыразительные. Гимназистки даже не кричали, а визжали.

В **Томске** народную демонстрацию и церемониальный марш проходящего гарнизона принимал на трибуне среди президиума – венгерский военнопленный Бела Кун.

* * *

Едва образовался в **Екатеринбурге** Комитет общественной безопасности, как туда повалили посетители с жалобами о совершённых кражах, о побоях мужа, с жалобами квартирантов на домохозяев и встречными, с просьбами о паспортах, о перенесении покойников в другую могилу. А врач Упоров пришёл с заявлением от проституток. В эти дни к екатеринбургским домам терпимости солдаты стояли в длинных вереницах, как обыватели за сахаром, и, по сведениям комитета, на каждую проститутку приходилось в сутки до 60 посещений – но протест от них пришёл не о том, а что они как свободные гражданки не желают больше подвергать себя врачебному осмотру.

* * *

Вслед за уголовниками изъявили желание освободиться из тюрьмы и идти на фронт также и воровки. Запросили Керенского – он распорядился отправлять их сестрами милосердия. Красный Крест пришёл в ужас, но первое время принимал.

* * *

Главный принцип отбора в милицию – «незамеченность в контрреволюционности». В **Пензе** хлынули в милицию воспитанники частного реального училища Хайкина, эвакуированного из Минска, – военным было невыносимо смотреть на их неумелые распоряжения.

Внутри городских милиций – свои советы депутатов, свои митинги и порицания начальству.

* * *

В **Москве** излюбили стягиваться на постоянный митинг к памятнику Пушкина и памятнику Скобелева. С утра и до вечера кипит, только люди меняются. Ораторы взлезают по карнизам и выступам постаментов. Всех слушают жадно, а потом споры разбиваются по кучкам, кучки спорят внутри себя до крика, далеко выносятся неровные вспыхи голосов. В толпе – обыватели всех видов – и прилично одетые, и студенты, и простые мещане, бабы, и солдаты, и офицеры, кто с головой забинтованной, у кого рука на перевязи, солдат на двух костылях.

* * *

Ломовой извозчик:

– Нам хоша б и ребублику, только б царя хорошего!

* * *

В **Мариуполе**, как и во многих городах, без полиции по ночам стало беспокойно: выстрелы, ограбления. И стали жители устраивать неслыханную поквартальную самоохрану от босячьих с окраин и от бродячих солдат: мужчины кто с ружьём, кто с палкой, а то только со свистками, ходили патрулями вокруг своего квартала. Гимназистки перестали появляться на вечерних улицах.

Но мариупольцы радовали себя, что зато теперь война скоро кончится.

* * *

По железным дорогам – телеграф, и вблизи них быстро всё известно – даже в Приморской области, за 8000 вёрст от Петрограда. Но в глуши губерний, не то что Казанской, а даже во Псковской, почти весь март ничего не знали. В таких местах держались и урядники, становые, а священники продолжали возглашать в службах царя.

В российских деревнях ещё неделями нависала темнота и непонятность. А там – уже раскисает, грязь, так что из дома в дом не пройти, не то что детям в школу.

* * *

Члены **гурьевского** исполнительного комитета (в Томской губ.) узнали, что на руднике в **селе Салаирском** переворот не объявлен и жизнь идёт по-старому. Послали делегатов. В волостном правлении священник указал: «Гоните их вон отсюда.» На волостном сходе им кричали: «Долой! Вон!» И – с палками погнали, пока один из делегатов не выстрелил из револьвера. Тогда погоня остановилась.

* * *

Под Барнаулом в **селе Зайцеве** священник отказался признать новое правительство. В **селе Ново-Шульбинском** священник отказался служить молебен о благоденствии Временного правительства.

* * *

Местами в деревнях собирают в складчину копейки и посылают мужика в город – за газетой. Такую б газетину купить, где всё как след прописано. А может – и *орателя* какого заманит к ним.

* * *

Свой селянин привёл с беспроезжей дороги какого-то городского.

– Где поймал?

– Ехадчи по большаку. Сказывается бы што товаришшом.

– Кам-пания! Вешать бы этих сволочёв.

– Товаришш! Всё скажи, ничего от нас не утаивай: как там, в Питере, порешили?

* * *

Приехал к барину в Новгород-Северский крестьянин с **хутора Лоски**. Просит объяснить, что верного в слухах, какие ходят. А то – «царь помер, царевич видрикся вид престолу. В Петербургу збрали на престол Леворуцию, але вона ще малолитня, так ии бабушка правле. А та бабушка така погана баба: усэ бурчить та бреше, так ии прозвали Брешко-Брешковска».

* * *

Но вот заездили кой-где по деревням городские. Мол, земля должна быть в одну неделю отнята у помещиков и передана безземельным.

– А остатним шо ж? Шиш?

Приехали какие-то в солдатских шинелях:

– Громите, товарищи! Ничего вам не будет, мы – за народ!

Рвут телефонные провода из помещичьих имений.

А другие приезжают: собирайся, выбирай ка-ми-те-ты. В каждом селе, в каждой волости должен быть ка-ми-тет. А сельских старост, волостных старшин – по шапке, сельских урядников – в шею.

* * *

В **Саратовской губернии** помещик Борель произнёс к крестьянам речь: «Не верьте новому правительству! Его дела в конце концов зальются кровью!»

Арестовали его.

* * *

На волостном сходе в **Велилах** при питерском ораторе порешили: что никогда больше не будет нигде управлять дурак или изменник, а выберем умных и честных, и вот это будет рельс-публика. Кто сказал и так: теперь будем и без денег отдавать хлеб новому правительству.

* * *

В мелких деревнях **Феодосийского уезда** после переворота говорили крестьяне:

– Ото, мабуть, нас опять отдадут панам у неволю.

И этот слух, что восстановится крепостное право, широко раздался по Югу.

625

Ещё и сегодня смеялись московские адвокаты, как в минувшее воскресенье на адвокатском собрании Корзнер предложил давать говорить ораторам только умным и толковым – за что получил от председателя предостережение. А разнервничался Корзнер не только от изобилия совещаний в прошлые две недели, но в то воскресенье оно и растянулось почти на целый день: назначили его в час дня, не учтя, что в этот день Совет рабочих депутатов определил быть в Москве грандиозной демонстрации, празднику свободы. И демонстрация имела успех, особенно из-за весенней погоды, вся Москва была на улицах, и от сборных пунктов десятки тысяч стягивались к центру – молодёжь, женщины, штатские и солдаты без строя, то «отречёмся от старого мира», то «вихри враждебные», и масса красных плакатов и флагов, а с Арбатской площади и отдельная колонна евреев, – и всё это на Театральную площадь, море голов, не то что ехать, но пешком нигде не пройдёшь, с верхних этажей и с низко летящих аэропланов разбрасывали прокламации – «Свобода всему миру!», «Больше снарядов в окопы!», «Война до победного конца», потом появился Грузинов со штабом на лошадях, под колокольный звон. И от того всего на адвокатском собрании долго

не было кворума: кто застрял на улицах, а кто и дома, не поучаствовали и в демонстрации, и на заседании просидели до позднего вечера.

Корзнер потому особенно нервничал, что эти дни нужно было повсюду успевать быть: и на службе, и с клиентами, и вот здесь, на профессиональных совещаниях, и не пропускал же он заседаний Комитета общественных организаций.

– Между прочим, знаете, господа, к нам туда стал ходить писатель Бунин. Думает всё увековечить в художественном произведении.

И заседания одолевали – и никак же нельзя без них: историческое время, оно несётся или крадётся невозвратимыми шагами. Сейчас чего-то не увидишь, не отзовёшься, – потом не исправишь за тысячу лет. Конечно, время – не разглагольствований, а напряжённых дел, но и без совещаний не обойтись, и получается ежедневных. И сословие присяжных поверенных, острее других изнывавшее под гнётом старого режима (сейчас жутко вспомнить: да как же терпели это полицейское хулиганство?) и особенно ярко себя проявившее в защите лиц, гонимых за политические убеждения, – теперь должно возглавить процесс всеобщего разъяснения и даже всеобщей организации. Продолжая охранять эволюцию личной свободы, стать и авторитетными глашатаями гуманных начал среди взволнованного населения.

Адвокатское собрание потребовало изменить адвокатский значок, убрать из него эмблемы прежней власти. Ожидали и пополнения адвокатесс в свои ряды. Постановили: стремиться не к созданию разнообразных партий, ибо теперь у нас единая партия – весь свободный русский народ, но – Союза Союзов, как в 1905, который опять бы объединил всю интеллигенцию. Выбрали редакционную комиссию, туда вошёл и Корзнер, составить обращение от адвокатов к народу и войскам.

Поддержка Временного правительства народом была из задач первоочередных. Надо было организовать, наладить, чтобы изо всех мест посылали выражения доверия правительству. Надо было всюду разъяснять: кто подрывает Временное правительство – тот идёт против народной свободы. Смотрите, новые министры буквально не спят и не едят по недостатку времени, своим примером призывая и нас к сверхчеловеческой энергии.

Но Игельзон посмеивался:

– Ещё самой главной опасности, господа, вы не учитываете! Сейчас для революции самая большая опасность – это обыватель. За переворотом не успевают души, ущемлённые обывательщиной. Человек стоит в стороне от всей сложной мучительной борьбы, но рассуждать о ней – его обывательское право. Читает газеты – и чувствует себя судьёй русской революции. Это он больше всех огорчён, зачем появился Совет рабочих депутатов, и почему милиция справляется хуже полиции. Что за мука, кому приходится в день встретить двух-трёх обывателей! Это существо, которое не может радоваться ничему возвышенному. Крылатой радости он противопоставляет свою крохотную обиду, головокружительным завоеваниям – булавочный укол неустройства. Если ему в манифестации отдавили мозоль – он кричит: вот какая она, ваша свобода! Как нам сделать, чтобы вместе с самодержавием исчез и обыватель? Сейчас, когда надо работать с удвоенной энергией, верить, бороться, агитировать, – нет оправдания тому, кто занят скептической рефлексией! Сейчас малое сомнение – хуже большого преступления! Не смей сомневаться, чёрт возьми!

Крикнули ему в тон:

– Да сгинет обыватель, паразит революции! Он сосёт её кровь своей мизерной рассудочностью.

В шутку. Но и серьёзно.

В самой же Москве произошёл недопустимый и опасно знаменательный казус: курсистки медицинского женского института выразили недоверие новой власти! На каком же основании? На том, что она свергла старую власть слишком бесконфликтно, – так не будут ли и сами такими же? Оригинальный поворот мысли... Точно так же и крайне левая группка большевиков обвиняла сейчас «Утро России» и другие московские газеты, что они два лишних дня подчинялись запрету Мрозовского и соглашались печататься без всякого

намёка на петроградские события – и только забастовка типографов не дала им выйти в таком прилизанном виде. Все такие выпады покрывались остро-опасным словечком «буржуазия». В Совете эти большевики кричали: «Не допустить буржуазию править городской думой!» На митинге в Лефортове один большевик заявил: «Буржуазия устроилась в Земгоре и уклоняется от воинской повинности!» Вот новый поворот – уже и Земгор им плох! Уже и лозунг республики их не устраивает! В уличном «Московском листке» «буржуа» зазвучало как ругательство, среднее между «подлец» и «скотина». «Буржуи» – это буквально все, у кого белая манишка, интеллигентный вид.

Так внезапно возникла опасность молодой свободе совсем с неожиданной стороны. Пристально следили за этими симптомами. Симптомы входили и в их собственные дома. У Левашковичей прислуга уже выставила требования: светлую комнату, два часа перерыв на обед, два свободных дня в месяц, удвоенное жалование плюс беспрепятственный приход гостей. Вот так они поняли свободу! А уступи – требованиям конца не будет. Деньги, допустим, можно добавить, – но разрушить собственную жизнь, распорядок и сделать из квартиры проходной двор? Выставляется харя.

Разделить ряды восставшей России – да это мечта клеветов старого режима, это и есть правая интрига. Вызвать междуусобицу – что может быть теперь желаннее для погромщиков? И вот путь: бросать самые крайние левые лозунги – и так разделить демократию. А дурачки-большевики клюют. Ясно, что это – всё та же черносотенная опасность, но выплывающая с левой стороны. Удобно! – ведь сейчас идёт бешеная скачка левых позиций. Теперь, когда на улицах нет городских, – отчего не кричать «да здравствует свобода!»? Теперь все стали левыми, левизна страшно подешевела. Да в России никогда и не было искренних консерваторов: как можно быть консерватором в стране, которой нечего хорошего хранить? что можно было отстаивать в этом насквозь прогнившем режиме? А сегодня – какую привлекательность для бывших монархистов может иметь монархизм, если он перестал им платить? Консерваторы у нас всегда были те, кому выгодно распутство и гниль, – а вот теперь они все хлынули в «левые». Кто воистину был левым при царском режиме – теперь не нуждается леветь, и выглядит как бы отсталым. А безответственные выглядят «ещё левей», – и перед ними уже тускнеет левизна сознательная.

Ах, досадно было тратить аргументы и усилия против ещё этой мнимой левой опасности, когда не добыты были главные тёмные силы! Хотя реакционные гнёзда, могущие сейчас организовать контрреволюцию, не открывались явно, но они безусловно своё роют и только ждут благоприятного момента. Уже были слухи, что в Витебске, Кишинёве, еще где-то, идут еврейские погромы, потом не подтвердились. Но защиту свобод надо спешить упрочить! (И когда же, наконец, будет издан акт о еврейском равноправии? чем объяснить такую медлительность, кто держит?) Пока что, говорят, полковник Мартынов из Охранного отделения даёт обильные показания на всех своих сотрудников. И надо доискаться и назвать всех, до последнего имени! И найти все корни убийства Йоллоса и Герценштейна! А если оглядеться дальше: по провинциальным городкам что там сидят за общественные комитеты? Какие-нибудь совсем чуждые революции люди, и если схлынет столичный революционный напор – они ещё откроют своё истинное лицо. Там сидят и купцы, которые и сегодня называют евреев спекулянтами.

Но и когда новый строй установится – разве опасности минуют? А можно ли будет верить новому президенту и отдавать ему армию, как была отдана Луи Бонапарту? Все генералы должны быть под неусыпным контролем народа. Верно говорят: Россия сейчас напоминает человека, который долго жил в бедности и вдруг получил огромное состояние, и есть опасность, что он будет слишком щедро раздавать свободы и доверие.

И в обстановке этих опасностей – как досадно, что они возникали и с той стороны, откуда бы им не возникать. Вот – проблема Совета рабочих депутатов. В опьянении своей силой он уже зарывается, будто он уже чуть не законодательная, чуть не исполнительная власть. Левое неразумие: снова разогреть революционную лаву и снова её разливать. Начинают кричать о «диктатуре пролетариата», чуть не о втором правительстве, – и так сами

же от себя отшатывают общественные симпатии. Захватный явочный порядок был допустим по отношению к царю – но дикость, когда большевики проповедуют «явочный порядок» по отношению к Временному правительству. Агрессивный тон при малосознательных массах – это очень опасно. Грустно за неразумие России. На нашем знамени должны сиять закон и право.

Старый Шрейдер качал головой:

– Нет, господа. Не так всё просто. У русского человека природная любовь к беспорядку, и тут ничего нельзя прогнозировать. Культурный ход революции в этой стране под большими опасностями. Охлос, анархия и максимализм могут всё погубить. И винить их не приходится. Народ, который жил в рабстве целые века, не может стать в три недели свободным и выдержанным. А тёмные силы будут везде подстрекать к насилиям. А крестьяне, как только коснётся земли, глупеют, – в них исчезает и наблюдательность, и справедливость, и уж не спрашивай сознания государственной сложности.

Так и возникла – совершенно против всякого разума – ещё одна специфическая опасность: демагогический лозунг «долой войну!». Никакой логикой нельзя было предвидеть такое извращение идей нашей революции, такой идиотский лозунг – но он возник! Опаснейший лозунг для русской свободы! – и проталкивает его малая группка лиц, но он может вызвать расстройство всех наших рядов. Во время воскресной московской демонстрации, правда, ни одного такого плаката поднято не было (говорили: какая-то воинская часть грозилась расстрелять такой лозунг, если появится). Но около памятника Скобелеву такие ораторы высывались. И такие ж статейки о немедленном мире, всегда анонимные, в левой партийной печати. И листки – «долой войну». Это очевидно большевики, вольные наездники от социализма, они безответственны, для них нет ни сложных, ни трудных вопросов. Но пренебречь этой опасностью тоже нельзя. На адвокатском собрании единогласно постановили: пропагандировать среди населения лозунг «война до победного конца!», а для этого подготовить ораторов, желающих выступать на собраниях и митингах, – молодых помощников присяжных поверенных с полемическим даром. И вот теперь собрали инициативную группу адвокатов у Игельсона, чтобы подготовить доводы для этих посылаемых ораторов.

Но что тут готовить? Достаточно сказать: предложения мира исходят от лиц, не учитывающих серьёзности момента. Младенческий лепет! – снять шапку перед полчищами Вильгельма?

Мы должны говорить прямо от имени Действующей армии. Действующая армия не сможет понять, какую цель преследуют те, кто ставит сейчас такой острый вопрос, нервирова и тыл, когда Учредительное Собрание уже не за горами! Действующая армия недоумеет, как можно перестать работать на заводах и прервать поток снаряжения.

Э, нет, господа, аргументы нужно пофактичнее. Ведь для неразвитых это очень соблазнительно выглядит: мол, русский пролетариат посылает германскому пролетариату письмо, а тот протянет руку. Вот тут и нужно: а если немецкий пролетариат не ответит? А если ответит только через три месяца – то как этого дожидаться? А если вы так уверены в своём письме – почему вы его не написали раньше? Немецкая революция? – журавль в небе, никто её не видел. Интернационал? – никакого не существует. Германские социалисты уже и заявили, что считали бы революцию в своей стране величайшим бедствием. Помочь германскому пролетариату? – вот только мы и можем: энергичным ведением войны!

А спросить их, ненормальных: как это можно из войны мирно расцепиться? Только победить – или только сдаться. Одна неделя без снарядов и продовольствия – и наша армия будет расстреляна немцами. Это будет новая сухомлиновщина, нашими собственными руками! «Долой войну» приведёт только к гибели тех, кто в окопах. Нам не нужен захват чужого добра, но обезоружить разбойный народ. Нам нужен мир не временный, но вечный! Сейчас решаются судьбы всего человеческого рода!

– Да сердце сжимается, к чему бы привело нас немецкое торжество! Что бы осталось от нашей завоёванной свободы?

– Да нам ещё два месяца постоять – и немцы подохнут с голоду!

– Господа, нельзя даже допускать постановки такого лозунга – «долой войну». На наших знамёнах – «демократическая республика», и почему же можно обращать взоры к абсолютистской Германии? Те фанатики, которые хотят столкнуться с каким-то, им известным, немецким пролетариатом, подумали ли они о Сербии, залитой слезами?

– Господа, господа, сбросьте пар панславизма. На Сербии не потянет.

– Хорошо, спросим так: имеет ли право русский рабочий не обратить внимания на призыв французских социалистов, известных всему миру? Ведь они зовут – продолжать войну неослабно!

– Да если мы погубим дело союзников – то что ждёт Россию на много поколений? Германское иго! Слухи о революции в Германии для того и пускаются, чтоб ослабить наше сопротивление!

И реалистично говоря: если мы прекратим войну сейчас – не к немцам же нам бросаться за деньгами. Мы окажемся в экономической пустыне и не сможем вести строительство новой жизни. Так уже задохнулись младотурецкая, персидская и китайская демократии, которые базировались на одной идеологии.

В теперешнем фазисе война – не предмет спора, а необходимость. Кто бы каких взглядов ни держался, но должно признать: прекращение войны – не в нашей власти. Можно быть убеждёнными пацифистами, как и многие из нас тут, но нельзя отрицать неизбежности ведения войны.

А Шрейдер своё:

– Господа! Не забывайте, что психология наших масс перевернута вверх дном. Надо всячески будировать любовь к родине, это понятнее простонародью, чем свобода. А через любовь к родине мы спасём и свободу.

Молодой белокудрый Фиалковский, которому и предстояло идти одним из ораторов, взорвался:

– Я не понимаю! Да неужели же Свободная Россия поддастся провокации мира, перед которой устояло даже царское правительство? Мы – именно устранили тех, кто нам мешал побеждать, – и почему теперь «долой войну»? Что случилось? Потому что исчезла сила принуждения? Начальство не смеет наказывать – так бросай всё? И это говорят кому? – республиканской армии?

– Нет, господа, ещё реалистичней, язык неумолимых фактов. Наши оппоненты – понимают ли ясно, к чему ведёт их призыв? Ведь они объективно становятся друзьями и пособниками старого режима. Да Штюрмеры, Фредериксы и все сидельцы Петропавловской крепости мысленно благословляют немецкие пушки. Если б это было в их силах – они помогали бы заряжать германские орудия! Да будь сейчас полный мир – Вильгельм всё равно бы вторгся утвердить Николая! А если фронт будет сейчас прорван – то все притаившиеся контрреволюционеры так и попрут против наших завоеваний. Пораженчество – сегодня может оставаться только в тёмном подполье черносотенства! Среди революционеров – его не может быть!

Да. О да! Это опять она – правая черносотенная опасность, хитро замаскированная под левую! Да, да, – несомненна становится связь царской реакции с этими криками «долой войну»!

О, как же ветвится, как запутан этот простой вопрос о войне!

Надо будет вот что: посылаемым ораторам давать защиту из студентов с хорошими кулаками. Потому что возможны всякие столкновения.

Когда достиг слух, что везде по ротам, по батареям надо выбирать комитеты, хотя ещё и не известно, для чего, три старших фейерверкера в батарее – старший орудийный, старший разведчик и старший телефонист, сговорились, что они и составят батарейный комитет. Шли

доложить о том капитану Клементьеву, по пути встретили подпоручика Гулая, сказали ему. Гулая уважали за суровость обращения и простоту происхождения, он был свой.

– Здорово придумано! – гулко отозвался подпоручик. Жёсткий взгляд его не сразу выдавал насмешку, бывает и задумаешься – что он? – Значит, комитет будет чисто фейерверкский? Правильно! Звание немалое. Сам император Пётр Великий дослужился только до бомбардир-ефрейтора.

– А что? – не понимали.

– А если канониры – свой комитет захотят?

– Так зачем же?... Лучше нас рази рассудят?

– Мы везде бегаем-хлопочем, а править другие будут?

– Правильно! – ещё гулче захохотал Гулай. – Так и вы лучше офицеров не рассудите, а вот же выбирают! Не-ет, братцы, не миновать вам теперь толковать с номерами, с езовыми, с ними вместе составить списки, кого намечаете, – а потом на общем собрании голосовать, да ещё запротоколировать.

– Запрото...?

– Что-т шибко долго, господин поручик, всех обходить да со всеми говорить. А коли на собрании схотят совсем других, а не нас?

– Ну что ж, – посмеивался Гулай, – они и будут. Это вам – демократия, а как вы думали?

Что-то им потом и капитан сказал, не одобрил, дело захрясло. Никого они не обходили, и собрания не созывали.

А создались комитеты иначе: приехали чужие неизвестные люди и стали проводить собрания – в дивизии, в Солигаличском и Окском полках, в артиллерийской бригаде – и везде выбирали комитеты. А сегодня с утра приехал и к ним в батарею какой-то молодой, белокожий, с рыхлой ряжкой, не нашего цвета сизая шинель новонадёванная, а на плечах отстежные хлястики из серебряной рогожки с малиновым просветом, завроде наших погонов, не разберёшь, кто ж он по чину, а по возрасту решили – прапорщик. Одно видать: по земле ему ползать не выпадало. А с ним – унтер из Окского полка, но тот в стороне держался, как провожатый. И вот на позиции близ орудий собрали всех номеров, всех разведчиков, всех езовых, кроме дневальных при лошадях, и сколько-то из батарейного резерва. Помещения тут никакого нет, но стоял мягкий серый день без оттепели – и все расположились прямо на позиции за пушками, подмостясь кто охапкой хвороста, кто колодой, кто на пенёк, а те на хоботах орудий, на отсошниках, как и подпоручик Гулай. А ещё был тут, из деревни, колченогий шаткий столик и три табуретки, поставили и их.

Приехавший сразу занял главное среднее место за столом, и грамотного телефониста посадил рядом записывать, – а третья табуретка так никому и не понадобилась, её потом перенесли капитану, который подошёл с опозданием.

Чудной прапорщик заложил руку за борт шинели и чудно поклонился вправо и влево. (Солдаты оглядывались по-за собой: кому это он поклоны бьёт?) Объявил, что сделает «внеочередной доклад по текущему моменту». (Вылупились.)

И – уверенно понёс, с удовольствием, смачно выговаривая и себя слушая. Чего-то мелькало: «вековой деспотизм... развратный проходимец Распутин вместе с царицей немкой правили Россией... Николая предупреждали, что народ ропщет, но он не слушался советов... на подвигах сотен борцов от декабристов до наших дней... звезда свободы... творчество солдатских масс...»

А дальше Гулай стал замечать у этого земгусара в терминологии признаки социологии и даже чуть не философии – и догадался: этот – из публики, отрепетированной в социал-демократических кружках, а то из тех провинциальных юных интеллигентов, какие читают гимназисткам лекции по философии, чтобы верней уложить по выбору в постель, в Харькове знал Гулай такого Межлаука.

Солдаты слушали смиренно, хотя с глазами стеклянистыми. Прапорщик понёс и дальше – «история всех революций показывает... миражи оптимизма... преодолеть негативность

организации», – вдруг кто-то из батарейцев сзади звучно приговорил:

– Зюньзя!

– и передался, перекатился смешок. Прапорщик не понял, не заметил, а солдаты стали шевелиться, доставать кисеты, скручивать газетные махорочные цыгарки. И задымил по всему расположению, а кто от дыма отмахивался – казалось: от докладчика.

А Зюньзя не заметил бесповоротного – и ещё разгорячился, уже и с жестами, да вольно было речь держать – ни обстрелу, ни ветру, ни снегу, ни холоду, – то ли ждал сопротивления от здешних офицеров, косо поглядывал в их сторону. Но унижительно было бы Косте Гулаю тратить свою превосходную философскую диалектику на этого мордатенького поросёнка.

Секретарь сидел над чистым листом, не понимая, что ему писать.

Капитан Клементьев и не смотрел на Зюньзю, а куда-то вверх стволов, будто обдумывал стрельбу. Несмотря на то, что он молод, в привычках у него что-то немолодое. Командира же батареи не было.

Наконец Зюньзя заметил, что его вовсе не слушают, и покинул свою фразеологию, стал подделываться под лубочный стиль, ища сочувствия в солдатских лицах: «совсем невтерпёж, невмоготу стало жить бедному люду... царские холопы... полиция грабила живого и мёртвого... начальство только и делало, что запрещало жить своим умом...»

Думали – все выборы будут двадцать минут, не рассчитали: время-то близилось к обеду. Народ забеспокоился, закашлялся, больше зашевелился. Наводчик 2-го орудия хозяйственный Прищенко не выдержал и высоко поднял руку, будь что будет.

Зюньзя заметил:

– Вам, товарищ, что? Отойти? Пожалуйста, разрешения не надо.

Прищенко слез с лафета, переминаясь:

– Да нет, господин прапорщик. Чего ж впорожнюю вола гонять? Вот-вот куфня приедет.

Зюньзя обиделся на грубость:

– Как же так, товарищи? Я вам – момент объяснял, а теперь должен объяснить о взаимоотношении с офицерами и о роли комитетов.

– Так вы, товарищ господин, и сказывали бы с конца, а то куфня приедет.

– Чего тары-бары размолачивать! – резким дерзким голосом закричал сзади Евграфов. – Давайте выборы!

Высокий страшноватый Хомутов высморкал на снег одну ноздрю, другую, обтёр нос рукавом шинели и с пучка хвороста у грозил:

– Немец молчить-молчить, а как бухнет раз-другой, тут нас всех и потрафит.

Улыбка презрения прошла по мясистеньким губам приезжего прапорщика. Он посмотрел на них светлыми глазами:

– Так как же мне, товарищи, с вами говорить? – и на беду опёрся о стол, а тот шатнулся, и секретарь подхватил прапорщика под локоть. И ещё менее уверенно: – Я – не знаю.

– Ну а не знаешь – не берись! – резко опять крикнул Евграфов сзади.

Кто-то застыдился, смягчил:

– Господин прапорщик, да ты нас не слушай. Средь нас такого наскажут – на плечах не унесёшь и на возу не утянешь.

Загудели батарейцы: про что дело идёт? хотим знать. У Зюньзи появилась в руках какая-то бумажка.

Но уже не слушали его, а запросили своего капитана:

– Ваш высбродь!... То ись, господин капитан. Объяснить вы нам по-простому: о чём дело идёт?

Капитана Клементьева любили: имел он сочувствие к батарейцам, и никогда никого попусту не распекал.

Со своей манерой молча похаживать-посматривать, он и сейчас присмотрелся – встал – перешёл к столику ближе, но не касался его, и не искал положения рук, улривычного военного они всегда хорошо висят.

– Да что ж, ребята, – заговорил негромко, но всё было слышно. – Тут дело такое. Старый порядок – кончился. А нам – жить нужно.

И остановился. Да кажется, всё главное и сказал. Поняли.

Гулай подумал: и правда. Какой бы там космический аспект революция ни имела – а нам жить нужно.

– Вот и приходится новый порядок заводить, – так же сдержанно и печально объяснял капитан. – И новый порядок придумал, в помощь командиру и в вашу защиту, – батарейные комитеты. Вот вам и нужно в этот комитет выбрать трёх человек. И всё.

– Так это – ещё новое начальство будет? – закричали, смекнули сразу. – А фейерверкера на что?

Один телефонист громко крикнул за комитет. Ему:

– Заткнись, проволочная катушка!

Переругивались.

Приезжий прапорщик бесполезно стучал карандашиком по столу.

Капитан надумал ещё сказать. Замолчали.

– Батарейный комитет будет заведывать всеми батарейными делами, кроме боевого и строевого. Дел таких немало. Например, кому идти в наряд, на кухню или к лошадям. Кому обмундирование дать, кому не дать, – комитет и решит.

– Ого-о-о! – закричали.

– Не-е-е! Лучше нехай фельдфебель! Он приобычен, рука наторена.

– Не, вашескρο... господин капитан! – кричали возмущённо. – Подпусти кого к обмундировке – так на себя напаялит и ещё в запас возьмёт.

– А выбирайте таких, что не возьмут, – пожал плечами Клементьев и ушёл на свою табуретку.

Дело перешло опять к Зюньзе. А бумажка в его руках оказалась списком кандидатов – кто, когда, где успел её написать и ему подсунуть?

Прочёл старшего орудийного фейерверкера.

– Ничаво, – отозвался смиряющий голос. – Повертит тебя строго, но что требуется – отпустит.

– Да погрозится, что морду набьёт, коли чистым ходить не будешь.

Уж этот – раздавал, ничего.

– Старший фейерверкер Теличенко.

– Энтот себе лучшенькое отложит!

– Возле воды ходить, да не замочиться?

– Пушай, ничего, подходящий.

Так так и выходил фейерверкский комитет, удивился Гулай. Не мытьём так катаньем.

Нет, третьим Зюньзя прочёл, не ведая, что это его обидчик:

– Бомбардир Прищенко.

Тот и сам не ожидал – вздрогнул.

Сразу несколько недовольных голосов:

– Ишь, гад, куда нацелил!

– У его штаны аль подштанники заприси, так он с тебя до пуза всё сымет, на солнце посветит, и ещё ругнёт – поноси.

– Так значит, не подходит? – спросил Зюньзя.

Но и спорить оказались ленивы – кого ещё искать? Да и досуга нет.

– Почему не подходит? Пушай и ён будет, как прыщ на ж...

Других мнений не было.

Прищенко сидел красный от волнения.

Чёрный длинный Хомутов вскочил, прислушался:

– А никак, ребята, кухня ходу даёт? Как раз своечасно!

– Так позвольте, товарищи, – уже неуверенно и брезгливо заявил Зюньзя. – Надо голосовать, сколько за, сколько против, надо в протокол...

– Да пиши, пиши энтих, что выкликнул!
С поворота дороги показалась и сама кухня с завёрнутым дымком.
Побежали за котелками.

627

Ушли в землянки офицеры. Разошлись по делам старшие фейерверкеры. Фельдфебеля и с утра на батарее не было. Ушли ездвые к себе на передки – а у номеров что-то не улягалось: расщекотили их, задели – и теперь не могли они сразу к старому смириться, а разгулялись: чего бы такое поделать?

А погода – тучная, мерклая, «пузырей» немец не подымает.

– Хоть бы пострелять, что ли? – кто-то вздохнул.

– Тю на тебя! – цыкнули, – оглузенел? Нам чичас немца никак затрагивать нельзя. Перекрестись, что он не трогает! Что тебе в боку застряло?

Стали вспоминать, когда последний раз стреляли, – да уж назад тому недели три? Да погодите, братцы, это не когда наш ероплан пузырь немецкий поджжёт? (Повалил дым буро-волчистый, и пожалели ребята наблюдателей, какие с пузыря в трубу глядели: люди они тож, а спялятся как мухи в таком огне. Да пушай, мол, и жарятся как вьюны на сковородке, на то война. Или вниз сигают. А как сиганёшь? – по верёвке? так промеж ног усе сдерёшь, бабе удовольствия останется немного. Так у них зонты огромные сделаны, прыгать.)

Расходились ребята, как праздник неоконченный, лишь затравленный, – нет, что бы поделать? А ни в чём карахтеру не разгуляться. И кто-то тут и догадайся:

– Так, братцы, теперя комитет у нас есть – а зачем? Пушай не зря подмётки дерут. Пушай составляют список всякому довольствию, какое нам требуется.

– А чего требуется? – Евграфов передразнил. Он за эту неделю уже наметался, нанюхался: – Нам требуется – по домам. И всё тут!

– Как это – по домам? – строго окликнул пожилой прави льный, и шрам его под глазом надулся, покраснел. – А Россию – чего? – прос...?

– Усю не заберуть! – отгукнули ему. – Нам чего-ни-то оставят!

– Это – гак, братва. Нам – замирение требуется. И тут батарейный комитет не пособит.

– Замирение – не за первым холмом. А вот насчёт вещичек. Ведь обносились.

У Хомутова и локоть куфайки протёрт.

– Давай! Пусть комитет пишет, заготавливает. А на чо выбрали?

Однако и старший наводчик и старший телефонист ушли, да их потревожить нельзя, уважают.

А попался Прищенко, рожа рябоватая. Потянули его, потолкали: пиши! Да де ж писать? Да всё за тот же столик колченогий, пока с неба ни дождя ни крупы не сыплет. А на чём же писать? А от собрания листик чистый остался, иде он?

Нашли на снегу. По толстоте никому на курево не сгодился, однако смят.

– Ничего, поразгладим.

Прищенко от комитетского звания не отказался. Сел на табуретку и вывел химическим карандашом, вслух повторяя:

– Наши требования.

Номера обстали вокруг, обсели на табуретках и корточках, а кто стол ненароком качнёт – того в три глотки матом.

– Так, значит. Что пишем?

– Конешня, перво-наперво пиши обмундированию, верхнюю и споднюю, шобы всю сменили на новую.

– А старо, чинено, шоб не сдавать, а нам про запас оставить.

– И как же ты всё это потаскаешь? В мешок не влезет.

– Обозу добавить.

– Не, ребята! Первое делу всему – обутка, без обутки нисколько не протопаешь. Пиши первое: выдать всем к весне новые сапоги.

– Не-к, во что, во что пиши: замест ватников – всем полушубки!

– Да на кой тебе к лешему полушубки, коли весна?

– А зачем котелок за спиной носим, смекни!

– Пиши, пиши! Так тебе незамедля и приставят по бумаге! Ещё хорошо, коли на другой год к Петру и Павлу отпустят.

– Так ты что, вошь гулящая, ещё к другому Петрову дню воевать хочишь?

– А что тебе здесь, так плохо?

– Чего хорошего: как начнёт садить с чижолой, так и подштанники для лёгкости скинешь.

Прищенко постучал карандашом об стол, на манер того прапорщика:

– Да вы всурьёз, а не лясы молоть!

– Мы и всурьёз. На запас, чтобы промаху не было.

– Да стола не трожьте, дьяволы.

– Что, правда, как пьяный шатается? Что на ём за писанье? А ну, неси молоток, подобьём.

– А его трогать не надо, писать и всё.

– Так шо дальше писать?

– Смазку для обуви!

– Табаку!

– Заусайловской крупки, на день – осьмушку на двоих.

– Не! Осьмушку – на одного.

– Верно. Они всё равно урежут.

Прищенко ждал, слушал, помусоливал карандаш языком. Губы и язык его олиловели.

А все кругом стояли-сидели, зарясь, задумывая, и наперебой выталкивали:

– Чтобы парикмахер стрить да брить приходил каждый день!

– Чтоб сапожник со инструментом и товаром заседал тут, у нас.

– Чтоб каждую субботу баня, а мыло бы отпускалось фирмы Жукова, фунт на двоих.

– А може тебе земляничного отписать, чтоб от тебя не так смердело?

– Так с чечевицы у кого дух не выходит?

– Ну, помалкивай. Далей, далей, ребята.

– Курительной бумажки пачку на два дня! – только тепер про бумагу вспомнили, до того уж к газете привыкли.

– А може тебе ще бумажки для ж... записать? – упёрся Прищенко.

Засмеялись дружно:

– Такой не бывает!

– А что? В городах, в иных отхожих, специальная газетка резаная на гвоздик настрочена, чтоб стенку пальцем не мазали. Небось, барышни её как следоват берет, а наши дорвутся – так с гвоздиком и выхватят, на цыгарки.

– Не, не, – упёрся Прищенко, – такого не подавайть, бумажки нэ запишу. С таким листом совестно будэ куды сунуться.

– Так – а как офицеры свёртывают?

– Так ахвицеры – и по зубам мажут, мало что!

– Во! И нам пиши: зубного матерьяла.

– Балуйся, балуйся.

– Так вон, у Прищенки рот тепер весь синий, хоть песком шуруй, за неделю не ототрёшь. Пиши, пиши, Прищенко, ротяного!

Гоготали.

– В комитет попал – теперя посинеешь.

Прищенко достал из кармана серую тряпочку, стал тереть губы и рот.

– С вами, дьяволами, свяжись.

А карандаш химический за ухо положил.
– А карандаш-то – твой? Чего присвоил?
– А чей?
– Теличенки. Дай, я ему отнесу.
– Не, ты карандашик возьми – да под списочком и распишись. И Теличенко пусть распишется. Весь комитет. И тогда несите.
– А куды несите?
– Ну, куды положено.
– Капитану.
– Ни при чём тут капитан.
– А тому прапорщику, что приезжал. А он дальше нехай двигает.
– А иде он теперь? Он не наш бригадный.
– Не, ты пойди, пойди, с капитаном посоветуйся.
Только начали расходиться – налетел фельдфебель Никита Максимыч, борода смоль, глаз огонь:
– Это что? Почему мебель расставлена? Дневальные, туды вашу растуды, что смотрите?
На формировке окладиста была его смоляная борода, на фронт выезжали – подкоротил, чтобы вша не села.
– Так собрание было, Никита Максимыч!
– Какое тебе собрание? Тут – батарея! Разноси мебель отсюда, чтобы вмиг!
Уж знал, небось, про комитет, и обидно ему, что не его выбрали.
Выступил Евграфов, на городской манер:
– Господин фельдфебель! Пущай постоит. Если кому что потребуется записать.
– Ещё чего! – записать! А ну ж – обстрел? Сколько беды от щепья будет? Эй, дневальные, бери, говорят!
Подхватили дневальные стол, табуретки – и потащили прочь подале. Ну, и не в деревню же назад волокты.
Тем временем Прищенко со списком своим вернулся от капитана:
– Сказал: нигде такую не примут, дюже помятая.

628

А занозила Гучкова эта хитрость Керенского встречаться с его полковниками. На каком основании, для чего? Уж он и жалел, что вчера благородничал и разрешил. Сегодня хотелось ему узнать бы, как же эта встреча прошла? – но не у кого было: Ободовского он сегодня не видел, и полковники тоже все как исчезли: никто из них не появлялся доложить сам.

А тут среди дня Гучков узнал, что в предполагаемую правительственную поездку в Ставку, о которой уже столько разговоров, князь Львов сам не едет, но едут, кроме Милюкова, Шингарёва, ещё и Некрасов и – чуть ли не опять Керенский! Вот этим добавлением обожгло Гучкова как хлыстиком: ещё и в Ставку совался Керенский? Нет, это уже балаган! И ещё Некрасов? набрали хлама!

Собственно, вся эта поездка имела смысл в одном Гучкове: военный министр ехал знакомиться со своей Ставкой. Посмотреть их там своими глазами: насколько они искренно приняли переворот и примут реформы? Посмотреть и в глаза Алексееву и, если удастся, установить единство планов. Позже, для важности, добавили Львова и Милюкова, – а теперь вот как поворачивалось?

Первым движением было – звонить князю Львову и решительно протестовать против такой профанации. Но уже изведав князя Львова, Гучков знал, что это всё равно как боксировать с мягкой подушкой: никакого сопротивления не будет – и результата не будет.

И вторым движением, отталкиваясь ото всей этой пошлой компании, Гучков придумал:

ехать от них отдельно, не завтра, а сегодня же вечером, опередить. Отделиться, свою миссию выполнить отдельно, явственно для всей Армии и всей России, а не как развлекательную прогулку.

И уже в первой половине дня отдал энергичные распоряжения: о подготовке поезда, и какие лица с ним поедут, от каких управлений и что готовить. Решил всех вчерашних наказать, оставить. Взять Туган-Барановского. А брать ли Поливанова? Желательно было бы взять как главного сотрудника по предстоящей великой реформе. Но с другой стороны, как бывший тоже военный министр, он рядом с Гучковым отчасти бы конкурировал, забирал бы слишком много значения себе. Да пожалуй и одиозно было бы среди ставочных появление этой слишком реформаторской фигуры. Не брать.

От быстрого изменения планов уплотнился и сегодняшний служебный день, на который и без того было намечено много – и ещё новое втискивалось.

Надо было съездить в заседание Адмиралтей-Совета и от этих дряхлых адмиралов принять присягу Временному правительству. Утвердить и морскую комиссию по ослаблению уставов – подобную поливановской сухопутной. Затем совещание с комиссаром Кронштадта Пепеляевым и подготовить, кого же назначить новым комендантом крепости вместо убитого Вирена: назначать приходилось не столько по вкусу министра, сколько по вкусу матросов, ибо могли и не стерпеть.

Пришлось больно капитулировать и перед Казанским Советом – не связываться из-за арестованного ими генерала Сандецкого, да ведь и известного реакционера, не шуметь, а выразить казанским советчикам благодарность за твёрдость, с какой они в Казани устранили старый порядок.

Не ощущая своей реальной власти, всё время делать вид, что ты ею обладаешь. Разрушительно для себя самого.

Тут же и докладывали, что Исполнительным Комитетом Совета в Петрограде арестован лучший гучковский агитатор полковник Плетнёв, объезжавший казармы с речами. Превозмутительно! – военный министр не мог послать своего оратора по казармам запасных полков! И – освободить его сам не мог?! Теперь нужно было просить у Исполнительного Комитета? Противно. Действовать через министерство юстиции? – опять же Керенский.

Тут – снова какая-то депутация автомобильно-технической части в кожаных куртках. А подошёл к кипе подложенных телеграмм и писем – и очень неприятное попало от 10 финляндского артиллерийского дивизиона. Спрашивали: развал армии с согласия военного министра – это что, глупость или измена? Какое глубокое непонимание! – да и как понять со стороны? Какое невежественное применение милюковских слов! – к нам ?

А что вот было делать с его собственными военно-промышленными комитетами, которыми он так гордился и развивал их до последней натуги, до последнего дня, – а сейчас, с высокого министерского капитанского мостика, видел, что все эти налепленные добавления сильно кренят правительственный корабль. Ему никак невозможно было зачеркнуть эту всю общественно-оборонную деятельность. Но теперь он испытывал желание крепко подчинить её министерству. (Как никогда б они не дались при царе.)

День клонился к вечеру, и надо было спешить кончать министерские дела и к поезду. (Подушке Львову сообщить в последний момент, не советуясь.) К счастью, состояние Гучкова было куда лучше, чем к рижской поездке, – и тоже в момент из последних он позвонил из домина Маше, что уезжает на пару дней. (Она замаялась – и не сказала: «Возьми меня.»)

Кто когда-нибудь поработал с князем Георгием Евгеньевичем – называл его «разрядником электричества». Он не только не был никогда ни с кем резок – кроме царского правительства в его последние месяцы, оно не заслуживало лучшего, – но он исключительно умел и сам примиряться с врагами и всех между собою примирять. Он знал это высокое

доброе искусство, – с любым человеком поговорить, пошутить – и собеседник будет вашим. Он кого угодно мог обворожить и склонить на свою сторону. Он умел начальствовать обходительно, безо всякого начальственного тона, вносить мир и успокоение в сердца сотрудников. И в конечном счёте правильно оказалось, что его избрали главой правительства: он всех их возьмёт и спаяет своим миролюбием. Даже было непонятно ему: откуда именно в революционные дни взялось в людях ожесточение? что случилось со всеми? Ну, раньше враждовали с несговорчивой старой властью, но теперь она ушла – и почему же всем не договориться между собой по-хорошему? Даже худой мир всегда лучше доброй ссоры, практические соображения всегда выше. Зачем эта вечная во всём политика? зачем эти партийные страсти?

Особенно щемил князю сердце этот постоянный, почти грубый нажим со стороны Исполнительного Комитета. Так нужно было несколько тихих дней для тайных переговоров с Англией о судьбе царя, уже бы его и отправили, может быть, и всем легче, – но едва Временное правительство потянуло с разъяснением – как Совет стал стучать кулаком и даже издал свой отдельный приказ о задержании царя. Так же грубо и не слушая возражений, Исполнительный Комитет настоял созывать Учредительное Собрание в Петрограде – хотя слитное чувство многих ясно подсказывало, что сердце России – Москва, вековая собирательница духовных проявлений и чаяний народа, конечно должна быть и местом Учредительного Собрания. Но князь Львов, хотя и лично многим обязанный Москве, сразу уступил Совету, чтоб не создавать напряжённых отношений. Только противление вызывает зло.

Да и с Советом всё разрядится, надо лишь миролюбиво с ними разговаривать. Откуда они? – они тоже из народа, и не могут нас не понять. Почему князь Львов и одобрял Контактную комиссию: только лично встречаясь, мы их и сможем убедить, надо смотреть друг другу в глаза.

В такой ситуации князь Львов опасался, чтобы вдруг не порвал с правительством, не ушёл единственный здесь представитель революционеров Керенский. С ним – князь был особенно ласков и уступчив. Да он и замечательный был человек: как никто из министров, он умел ярко действовать на воображение масс и скорее мог подвигнуть их к чуду, чем Милюков своими скучными умственными выкладками. У Керенского обнаруживал князь и созвучную себе веру в русский народ – и очень склонился к его замечательной, ещё пока тайной, одному князю открытой идее: дипломатическими уговорами убедить союзников, что России в теперешних обстоятельствах лучше бы выйти из войны. Как бы это было замечательно, если бы мирно, по-хорошему всё уладить!

Да в Манифесте Совета Рабочих Депутатов и был этот возвышенный порыв к мессианской роли России – всех примирить!

О, дожил князь до счастливых дней, когда можно творить светлую жизнь совместно с народом!

Не надо дёргаться, не надо всё время соваться с нашими надуманными интеллигентскими решениями, – надо дать свободно течь великой мудрости народной.

И твёрдо держаться и дальше принципа: мы не смеем влиять на население иначе как нравственно. Никаких приказов. Никакого насилия.

Среди множества народных приветствий, всё притекающих в канцелярию правительства, уже появлялись радующие сердце приветствия волостных сходо́в. Деревня поддерживала революцию, она уже всё поняла, какое счастье! Крайне изумляли князя приходящие от некоторых земских управ просьбы о присылке войск для поддержания порядка. По министерству внутренних дел князь велел отвечать: не подлежит Петрограду, улаживайте сами на месте.

Да Боже, да в любое место такого крестьянского волнения если б он мог поехать сам – он бы в пять минут всё уладил!

Удивляли князя и комиссары, разосланные по разным местам России: они запрашивали оттуда, а некоторые даже мчались назад в Петроград: как быть? невозможно организовать на

местах власть! губернаторы все сменены в один день, начальники земских управ не справляются, повсюду множество комитетов, они друг друга не слушают!... О, слабые неумелые неуговорные люди! Вы, комиссары, и не посланы для управления, вы только и посланы для связи с центральной властью. И зачем же вам непременно – казённое ниссылаемое единообразие? Губернаторов? Если нужно – на местах и выберут. Это замечательно, что так много создано местных демократических комитетов. Везде мудрость народная сотворит наилучшие жизненные формы, всё уляжется. Только нигде не надо доводить до скандалов, надо сговариваться раньше.

Более того, князь готовил на днях ликвидацию и всех градоначальств по всей России: они состоят из людей старого режима, и уже нетерпимы. Пусть и полицию каждый город устраивает на свой ум. И земские начальники тоже естественно заменятся какими-нибудь ещё земскими комиссарами.

Да вот нельзя было далее тянуть и с отменой смертной казни – уже громко раздавались укоряющие голоса. (И Набоков жаждал тоже подписаться под отменой казни, поскольку он более других для этого сделал в прежние годы.)

И амнистию уголовным нельзя было откладывать далее, во всех тюрьмах волновались, и были мятежи.

А в самом Мариинском дворце сидел арестованный генерал Мрозовский – и не знали, что с ним делать. А из Киева срочно телеграфно запрашивали: как быть с арестованным генералом Ивановым? Ну что ж, доставьте его в Петроград, тут произведётся всестороннее расследование.

Да не перечесть запросов и теребящих телеграмм, какими осаждали князя Львова с утра до вечера. И беспрерывно звали к телефону. А ещё ж прорывались депутации, не всем откажешь, – а желала выразить каждая всего лишь полную поддержку Временному правительству.

Возникали самые неожиданные проблемы. То общественные организации, которые до сей поры только и выволакивали на себе воюющую Россию, как собственный князя Львова Земгор, теперь начинали выглядеть как лишние дублирующие создания, мешающие деятельности министров. И Особых совещаний по сырью, по топливу, по металлам, по перевозкам существовало так уже много, что, находил Коновалов, надо добавить ещё два новых Особых совещания, дабы координировать деятельность прежних. А всё равно: воззвание к рабочим Донецкого бассейна об увеличении работы (и ограничить Пасху тремя днями) должно было издавать правительство и комиссаров туда посылать – оно же. И металлургия была в тревожном состоянии. И подпирал вопрос о неизбежности государственной нефтяной монополии. И нельзя было до Учредительного Собрания откладывать рабочего законодательства, свободы профсоюзов, права стачек. Тем временем бастовали в некоторых местах казённых железных дорог, сменяли начальников, а подвижной состав не ремонтируется, – и надо было, настаивал Некрасов, скорее вводить 8-часовой день и увеличивать заработки. Но зарплаток требовали все – и надо было объявлять Заём Свободы, о чём опять-таки требовалось воззвание правительства. А Киев требовал преподавания на украинском языке. А Мануйлов заговаривал о реформе высшего образования в Империи и ликвидации системы народных училищ. А ещё первее всего надо было отменять национально-вероисповедные ограничения в Империи.

Да помилосердствуйте, господа! В каких головах это всё может поместиться – и в каком числе заседаний быть обсуждено, мирно и без скандалов?

А скандал едва не получился в правительстве по неожиданному поводу: кто поедет в Ставку? Давно намечалась такая поездка: уж Ставка ли была для правительства не самым главным местом во время ведения Великой войны? Для личного знакомства с ходом дел натурально было ехать премьер-министру, военному министру и министру иностранных дел, поскольку там состояли представители союзников. Чтобы решить острейшие проблемы снабжения армии продовольствием – неизбежно было ехать и Шингарёву. В таком составе и решили ехать, – но тут Некрасов стал резко настаивать, что эта поездка не может состояться

без него, иначе он не гарантирует работы прифронтовых железных дорог. Чтобы не было скандала – князь ему уступил. Но тут заявил и Керенский, что ему абсолютно необходимо ехать в Ставку для личного знакомства с Алексеевым и всем штатом, для составления общей политической картины, – и уж кому-кому, но Керенскому Львов никак не мог отказать! Но – и не могло же всё правительство в полном составе ехать в Ставку! Так пришлось отказаться от поездки князю Львову самому. Странно будет выглядеть такая поездка без премьер-министра, но и неприлично же никому не остаться в Петрограде.

Сегодня, пока не разъехались, устроили два заседания правительства – ранневечернее и поздневечернее.

Ещё то огорчало князя, что заседаниями правительства иные министры стали манкировать: опаздывали или на самих заседаниях явно дремали, всю страсть приберегая к столкновениям на закрытых заседаниях, ночных. (А и закрытыми заседаниями не следовало злоупотреблять: уже раздавались упречные общественные голоса, что Временное правительство действует в обстановке тайны.)

И ещё одна особенность формальных заседаний: так много подсовывается бумаг с мелкими вопросами – что невольно их оглашаешь, и так мозги министров долго не доясняются до главных вопросов, хотя все понимают, что надо решать именно главные.

Сам же князь и вынужден начать заседание с вопроса о воздвижении в Петрограде памятника павшим в борьбе за свободу. (Хотят сделать выше Александрова столпа.) Постановили: немедленно объявить конкурс на памятник.

А Шингарёв, хотя необъятные вопросы налегали, не мог не объявить о пожертвованиях, поступивших через него, в том числе золотая цепочка, которая будет сдана в банк. (Его голос дрогнул, когда он сообщил об этой наивной жертве.)

Эта цепочка подала повод правительству учредить Фонд Национальной Обороны.

А Милюков возбудил вопрос о наградах по дипломатической службе, подписанных до дня революции: как будто нет оснований отменить их и не обнародовать? Зачем обижать ожидающих чиновников?

А может быть, правильнее награждать орденами только за боевые действия?

По министерству внутренних дел был вопрос: брать ли на себя утверждение выборных предводителей дворянства. Обсудив, решили: правительству – уклониться, предоставить предводителям выполнять обязанности, а там пусть разъяснится обстановка сама.

Ещё: приостановить всякое производство в чины по гражданскому ведомству. (До выяснения контуров нового строя.) Но этого – не следует обнародовать, лишь сообщить к руководству.

О процентной прибавке чинам почтово-телеграфного ведомства. Отпустить полмиллиона рублей.

Им же – на выдачу пасхальных подарков. Ещё полмиллиона.

Мануйлов: можно ли и всем министрам завести свои бюро для осведомления печати, как завёл Керенский?

Решили, что можно.

Управделами спрашивал: распечатывать ли все акты Временного правительства? А за счёт чего? Отпустить 100 тысяч.

Во всей этой мелкой череде первенствующе важно, как держит себя князь. Он-то не должен допустить скуку ни на лице, ни в голосе. Он-то должен с неизменной внимательной и свежей улыбкой осматривать и опрашивать желающих высказаться и видом своим передавать всем бодрость и надежду.

Прекратить празднование царских дней. Взамен того обсудить установление празднования событий государственного значения.

Ещё такой вопрос: петроградская городская дума, не получив разрешения занять Зимний дворец, теперь настаивает проводить свои общие заседания в Мариинском. Но хорошо ли их сюда пустить? – Нет, господа, тут от них жизни не будет. – Но в какой форме отказать, ведь неудобно?... Придумали: ведь тут ещё возобновит заседания Государственный

Совет!

Доктора римского права Давида Давидовича Гримма по совместительству с товарищем министра просвещения желательно бы поставить также и комиссаром над Государственной Канцелярией. Назначить.

Иногда бывает на заседаниях и так, что уже, кажется, решённый и отодвинутый вопрос снова возвращается и врезается: вот, несколько дней назад, решено помиловать всех киргизов, замешанных в прошлогодних волнениях, и возместить им убытки. Теперь телеграмма туркестанского генерал-губернатора напоминает, что в тех волнениях понесли убытки также и русские. Как, и русские? Ну, так распространить.

Глубже в вечер и в ночь уже больше министров собралось, и внимание стягивается острее на вопросах главных.

Окончательно решено все удельные имущества признать национальной собственностью и не платить никаких компенсаций членам императорского дома.

Милюков докладывает исправленный манифест о независимости Польши. Не заметили, что ж он там исправил, – приняли. С плеч.

Ещё Милюков получает согласие правительства признать не подлежащими оглашению все сведения о конференции союзников в минувшем январе.

А теперь – вопрос... вопрос... К нему примерялись уже на закрытых заседаниях и в частных беседах, но его неизбежно внести в протокол, – о казённых окладах самих министров.

Не осталось дремоты, несмотря на поздний час. Все внимательны, но сдержанны.

Так как в частных беседах этот вопрос достаточно выяснен, и министр финансов подготовил все нужные справки, то теперь, мановением доброго князя, решение проходит вполне тактично: сперва утверждают товарищам министра – по 12 тысяч в год, а затем министрам, естественно, на ступеньку выше – по 15 тысяч плюс ещё по 4 тысячи квартирных, кто не занял казённых квартир.

А ещё вдобавок – издержки на представительство. У министра-председателя, военных дел и иностранных это составит ещё по 12 тысяч в год. И остальным – по 6 тысяч.

Всё так, возражений не последовало.

Только вот замечание, небольшое замечание. Его делает сам князь, понимая деликатность. Протоколы наших заседаний все публикуются наряду со всеми великодушными и даже великими актами нашего правительства.

– ... но именно *это* постановление разумней было бы не публиковать во всеобщее сведение. Оно может быть криво истолковано, не к поре прийтись...

Благоразумно. И постановили так.

Миновали неловкость, помогая друг другу.

И так бы на светлой ноте могло кончиться заседание, если бы Набоков не достал из своей папки ещё новую бумагу и не объявил: что Исполнительный Комитет Петроградского Совета Рабочих Депутатов вторично настаивает ассигновать из государственного казначейства на организационно-политическую работу – 10 миллионов рублей!

Знал, помнил князь, – но всё равно забыл, и теперь изумился, как бомбой по груди рвануло.

И – все. Шатнулись даже.

Десять миллионов?... На политическую работу?

Вот это – новые отношения. Вот это – только начини платить.

Да нет, не в десяти миллионах дело, а дело в обиде: зачем же так нехорошо и так даже дерзко?

– Скажите, господа, а кто их вообще **выбрал** ?

(А – нас?...)

Смолчали.

Значит, мало встречаемся. Мало в глаза друг другу смотрим. Упустил князь Георгий Евгеньевич.

И – что же делать? Начать давать? – невозможно.

– В наших с ними условиях насчёт выплаты денег – ничего не было, – твёрдо заявил Милюков.

По нему – хоть бы и отказать, не его будет отказ.

Но – как можно отказать?...

Но – как можно дать?...

Ай, какая неприятность, какая!...

И – Керенский в отъезде, нельзя с ним посоветоваться.

– Вот что... Вот что, господа... Давайте запишем: передать на добавочное заключение министру финансов... И так выиграем время.

Гладкое молодое лицо Терещенки сильно сморщилось.

КРОЙ ДА ПЕСНИ ПОЙ -

ШИТЬ СТАНЕШЬ, НАПЛАЧЕШЬСЯ

630

Поездкою в корпуса Воротынцев убедился, что время утекает невозвратно, всё разваливается от каждого упущенного дня.

И – что же намерен Лечицкий? Вот это хотел бы Воротынцев успеть узнать до его отъезда на Западный фронт!

Прошлой осенью в штабе Девятой при разборе одной операции Платон Алексеевич сказал: «Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник придёт к этому убеждению. Не раньше.»

Но не застал Воротынцев в армейском штабе никакой суеты. Ни о каком отъезде генерала Лечицкого не говорилось. Странно.

Днём Воротынцев был у командующего с докладом о своей поездке. Тут-то он и надеялся обратиться с прямым вопросом. Но присутствовали другие, Лечицкий переходил к следующим делам. Не удалось.

Лечицкий был не из столичных лощёных генералов и никогда не пользовался никакими протекциями. Сын сельского священника, всю службу он прошёл на строевых должностях и с самых низов. Кончал даже не военное училище, а дореформенное юнкерское, выпускавшее подпрапорщиков, то есть старших унтеров, только через год они становились офицерами. И потом 22 года прослужил в захолустных сибирских линейных батальонах, у дальних границ, откуда никто никогда не возвысился. Дослужился до капитана, и на этом кончилась бы его карьера, если бы не японская война. В ней он получил один из сибирских полков, с тем полком – георгиевское знамя, и сам стал генерал-майором. Нет – генерал-солдатом. Все вокруг терпели поражения, а он побеждал. В то время Государь так полюбил его, что сразу после войны зачислил в свиту Его Величества и даже, – не гвардейца, не генштабиста, – назначил командовать в Петербурге 1-й гвардейской дивизией – знаменитыми Преображенским, Семёновским, Измайловским и Егерским полками. Гвардия восприняла как пощёчину, однако Лечицкий тактично вёл себя и за год передал гвардии военный опыт, которого у неё не было. В начале этой войны он формировал 9-ю армию, предназначенную для удара на Познань и Берлин, но от первых неудач был брошен вызволять Люблин, потом

Ивангород, потом задвинут на крайний левый фланг. Тут, между Серетом и Стрыпом (как раз тогда и попал в 9-ю армию полк Воротынцева), при конце нашего великого общего отступления 1915 года, Лечицкий сумел единственный тогда наступать, взяли 35 тысяч пленных и могли ринуться в разваленные тылы противника, просил Лечицкий у Иванова миллион ружейных патронов – тот не дал, нету! А Государь как будто переменялся к Лечицкому, за весь этот прорыв дал ему, не в уровень заслуг, всего лишь Белого Орла, какого имели и начальники дивизий, пожалел Георгия 2-й степени, – или так докладывал Янушкевич? (Последовала другая необычная награда: отцу-священнику – орден Владимира за подвиги сына.) В том сентябре собирались дать Лечицкому Румынский фронт – да не владеет французским языком, а надо же разговаривать с румынским королём.

Воротынцева Лечицкий заметил ещё на Стрыпе, отмечал его и в зимних боях под Черновицами, и награждал за июньское наступление к Кымполунгу. Он вот как разбирается в подчинённых: в майский прорыв 1916 всю артподготовку армии, в обход нескольких артиллерийских генералов, поручил простому командиру батареи подполковнику Кирею, выгляденному им, – и тот обеспечил в несколько часов взятие трёх линий обороны, когда на остальном брусиловском фронте грохотали сутки зря.

Для Воротынцева Лечицкий был генерал в высшем понимании – столько подлинного опыта скопилось в нём. У него есть дар и выше: не окружающим только штабным офицерам, не главным только начальникам, а всем своим войскам внушить волю к победе и уверенность в ней. Но никогда не требует выше солдатских возможностей. («Солдат без подошв – не солдат.»)

С каким же замыслом, с каким намерением он едет принимать Западный фронт? (И если бы взял с собой! Он бы не пожалел!).

А на приёме злополучной присяги при штабе армии держал речь, как все теперь: что старое правительство принесло много вреда России, и звал помолиться о силе и здравьи Временного. Но – и куда ж ему деться? Хоть не даёт рекламных интервью, как Рузский. (В утро приёма присяги Воротынцев кончил ночное дежурство – и, по праву, просто скрылся спать. С отвращением. Конечно, красивого нет. Но публично отказаться, как граф Келлер, – это уход из армии. Как ни унижительно – схитрил. Да надолго ли скрылся? – ещё приступят. А может не дочтут.)

Как раз и сегодня на ночь Воротынцев заступал дежурить по армейскому штабу. И искал и нашёл повод – не слишком пустую телеграмму – войти к старику в кабинет уже настолько поздно, что никого не будет, но чтоб он ещё не спал.

И доложил через адъютанта в половине первого.

Платон Алексеевич принял. Сидел в кабинете один.

Он был ослепительно белый – выседевший до яркого бела: длинные белые сверкающие усы, тем более рельефные, что остальное лицо гладко брито, и вся голова в мелком бело-седом засеке, и брови тоже белые.

Устало читал бумаги, но несмотря на поздний час, одиночество и усталость – стоячий воротник его кителя был застёгнут как среди дня. А китель был домашний – безо всех его многих орденов, и даже Георгиев, одни потемневшие аксельбанты.

Выражение его было устоявшееся печальное: совсем не ждал никакой радости, ни сейчас вот в подаваемом, ничто не могло его прорезать.

Прочёл телеграмму, выслушал пояснение, распорядился.

И опять, но без тяги живой, а как в понурое, наклонял голову в бумаги.

– Ваше высокопревосходительство, – поспешил вставить Воротынцев. – Днём я не имел времени после доклада о поездке представить вам ещё некоторые соображения. Я понимаю, что Девятая армия в подробностях вас уже не касается. Но я думаю, что и на Западном фронте творится то же, если не хуже, – там ведь ближе к Петрограду.

Платон Алексеевич как медленно опускал голову – так медленно приподнял опять. Смотрел на Воротынцева печально-опустевшими глазами. Соображал? Тихо высказал:

– Я... не приму Западный фронт.

– Как? – изумился Воротынцев. – Назначенье отменено? Оно широко распечатано.

Смотрел на Воротынцева – а думал о другом:

– Я – отказался категорически.

Во-от что! Воротынцев не смел подробнее спрашивать, но всем видом своим так хотел знать!

И Лечицкий:

– Не время сейчас возвышаться.

Это надо было – на лету перехватить в высоте. Не время? Да, конечно, не время, когда разваливается, – но и по тому же самому – время!

– Но, ваше высокопревосходительство! Если вам дают фронт именно в этих днях – то, значит, относительно вас в Петрограде лучшие надежды...

Лечицкий чуть подвинул голову:

– Относительно меня – может быть. Но должен я охватывать всю обстановку. Если интендантско-думские генералы будут у меня снимать командиров корпусов и начальников дивизий... Какая *от них* может быть реформа? Если все преобразования проводятся, не спрося командующих и под давлением некомпетентных кругов. А Гучков – вообще отдался Совету депутатов?

Посмотрел ли он, напротив, чересчур внимательно – Воротынцеву почудилось, что командующий испытывает его. Ведь знал же он о его прошлой близости к этой компании.

И Воротынцев – за эти дни не первый раз – почувствовал краску, через шею к щекам. Тотчас он должен был объяснить, чтоб его не путали с ними? Но не находил формы и фразы.

На открытом круглом лбу Лечицкого, уходящем в белый посев седины, даже и морщина не вскатывалась, – но какая обременённость была в глазах, и в тоне, и в сути:

– Не они только. Всё равно, при этих обстоятельствах невозможно командовать. Когда у меня под рукой будут арестовывать начальников и офицеров – а я не могу этого остановить. А все начальники тем более подорваны нравственно и могут не справиться с неповиновением. И во всех частях бушуют или вот забушуют комитеты. А при штабе армии разврат идёт ещё быстрее, чем в корпусах. У нас пока ничего, а вон, генерал Рогоза передал, что ждёт – не арестуют ли его в самом штабе. Но главное: Ставка выпустила из рук всякое управление. Читать их беспросветные информирующие телеграммы – вы не представляете, одно отчаяние. И правительство – дезорганизовано и бессильно. Под кем же служить? Нет... нет... – Платон Алексеевич вздохнул над безрадостным столом. – Кто требует исполнения долга неуклонно – тот готовится из армии уходить.

Вот так так!... Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник...

Метил Воротынцев шагнуть под сильную руку, в боевой ряд, – а ряда не оказалось. Если лучший командующий армией отказывается от борьбы... Обстановку он видел несмягчённо, но вывод был чересчур беспощаден.

– Но, ваше высокопревосходительство! Но если и вы... То – кто же тогда?

Только вот теперь она и объяснилась, та печаль до пустоты, которая поразила Воротынцева при начале:

– А много мог сделать наш генерал Сахаров в решающий день отречения? Побрызжал – и уступил. Ловко подгадали с переворотом: старых офицеров мало даже в гвардии, а в армии почти не осталось. У молодых – совсем иной дух. И вот разрушается всё, на чём армия стояла. Армия – погибает. И руководить событиями – уже нельзя.

Смотрел неподвижно. А стал он сух лицом и пробелён – как бы до святости. В нём как будто очищалось не полководческое его, а наследственное священское.

Но вот с этим, с этим – Воротынцев никак не хотел смириться! Если отказаться руководить событиями – то как быть офицером? Зачем?!

– А – война? Как же тогда пойдёт война?

Командующий медленно, сокрушённо кивнул, кивнул головой:

– Войны – скоро не будет, полковник.

Не будет? Да это бы отлично! Да как к этому дойти?!

– Война? – вы сами видите, из чего ж ей быть?... Конечно, если б я был моложе – я должен бы искать путей. Но при моём возрасте – в **этом** всём я не могу участвовать. Не могу насмеяться над всей своей жизнью.

В **его** возрасте! (Да и не в таком уж возрасте.) Но как быть тем, кого **это** застигло в расцвете?

Заволновавшись, опасаясь не убедить, и забывши границы, командующий не спрашивал его, – Воротынцев, всё так же стоя навтыжку, лишь руки посвободней:

– Да, ваше высокопревосходительство! Может быть, ни одному поколению русских офицеров не приходилось ломать головы над такой задачей! Но она свалилась – и приходится ломать. Как можно, боя не начинав, признать положение безвыходным? Не может быть, чтоб не нашлось средств, – только как бы их увидеть? Эти настроения в армии могут переломиться, как и появились. Может быть, Ставка – одёрнет Совет депутатов? Ведь армия же вся за Ставку!

Пронеслось, в возраженье себе самому: но Лечицкий – не Ставка и даже, вот, не Главнокомандующий фронтом. Значит – ещё один рапорт Сахарову, телеграмма в Яссы: исключите чужие вмешательства в военное управление? И пусть беспокоятся старшие по должности? Что, правда, делать?

Глубоко и слышно вздохнул генерал Лечицкий, ничуть не изменяя лицом на горячий всплеск Воротынцева:

– А я же – не уйду. Я остаюсь, пока меня не уволят. Хотя скоро уволят. Потому что ни я их не буду терпеть, ни они меня. Но вы понимаете военную жизнь: теперь всё будет только ссовываться и падать. Ошибкой было бы думать, что с революцией можно повести игру и её перехитрить.

Не много было Воротынцеву отпущено тут беседовать, но вся неповторимость и вся неразрешимость жгуче поднялись к горлу. Погибала армия? Может быть. Погублена война? Может быть.

– Но, ваше высокопревосходительство, – с открытым волнением спросил: – Что же будет с Россией? Россия же! – не может погибнуть??

Лицо Лечицкого было неподвижно, а выдал, шевельнулся рельефный ус:

– Может быть... Может быть, и не сумеем мы... Передать потомкам Россию, унаследованную от отцов.

В эту ночь, пользуясь своим дежурством, Воротынцев по незанятому аппарату юза послал через штаб фронта в Ставку личную телеграмму Свечину, в условных выражениях: возьми в Ставку теперь же на любую должность.

Сейчас, при массовых перемещениях, такая возможность у Свечина, может быть, есть.

СЕМНАДЦАТОЕ МАРТА

ПЯТНИЦА

631

«Милый мой, дорогой, милый самый!

Если Вы не остановите – я не могу теперь не писать Вам вослед. Меня, значит, нельзя допускать близко так: уже полученного – мало, хочу больше! Как далеко я зайду в своём счастье? Может и справедливо – наказать меня разлукой, так слишком много одной – не полагается?

Я – осмелела от близости с Вами.

И как Вы называли меня – Зоренькой.

У меня глаза светятся – когда о Вас. У меня все мысли тёплые, когда о Вас. Я – добрая,

когда о Вас.

Я – Ваша сегодня. Вчера. И позавчера. И прежде Вас – я тоже была Ваша.

Только – Вас, и никого никогда больше!

Я вчера утром вернулась – и долго не снимала платья, в котором была у Вас, сине-алого, как Вы его назвали. Вы меня обнимали в нём, мне хотелось его оставить дольше, дольше, – я будто тем удерживала Вас около.

Вы сказали – *будет* – так будет. Спасибо! И я – хочу! хочу теперь!

Что бы Вам ни было нужно от меня – я счастлива буду Вам дать. Может быть, когда-нибудь я понадобится Вам для чего-то большего, чем была в эти дни.

Вся Ваша

Зоренька

Но – не вечерняя же?...»

632

В мире выковалась Новая Женщина – с новым психологическим складом, с новыми запросами, новыми эмоциями, самостоятельная, внутренне-свободная женщина, с самоценным внутренним миром, живущая интересами общечеловека. Это – самостоятельная женщина, дающая тон жизни, определяющая образ, характерный для нашей эпохи. Она перестает быть простым отражением мужчины, и мужчина любит ее за смелый полёт, за самобытность духа. Это уже не «чистые» девушки, роман которых обрывался с благополучным замужеством, это и не жёны, страдающие от измены мужа, это – не прежние ревнивые самки, они сами уходят хоть от мужа, хоть от любовника, даже и став матерями. Они резко отмежевываются от женщин прошлого, по-иному воспринимают мир, по-иному реагируют. В их нелицемерных переживаниях сокрыта этика более совершенная, чем пассивная добродетель пушкинской Татьяны, трусливая мораль тургеневской Лизы или, уж конечно, самочки Наташи Ростовской.

А между тем большая литература всё еще рисует нам женщину былого. С тугой повязкой на глазах шагают беллетристы мимо новой женщины, не в силах ее вобрать. Они всё выводят – обманутых, покинутых, слабых созданий, мстительных жён, очаровательных хищниц или бесцветных милых девушек – женщину прошлого с её ревностью – основой всех её трагедий, подозрительностью, нелепой бабьей мстостью, жизнью, сведенной к любовным переживаниям, даже материнством как суррогатом счастья. Много веков достоинства литературных героинь измерялись не гордыми душевными качествами, а запасом плоских женских половых добродетелей и особенно – сексуальной чистоты, воспитанной на почитании непорочной мадонны, – и за нею прятались все эмоции (хотя, в противовес лицемерно навязываемой морали, у женщины физиология играет несравненно большую роль, чем у мужчины) Всё описывают нам прежнюю женщину, воспитанную в пассивности, покорности, податливости, – она жалась к пылающему семейному очагу, незатейливым семейным радостям мирилась со снисходительностью мужчины к себе и искала его привычную ласку. Даже самые крупные писатели XIX века не ощутили надобности заменить чарующую женственность своих героинь свойствами грядущей женщины. Даже в собственной среде они не заметили такую яркую провещницу нового женского типа, как Жорж Занд, – великолепную, яркую, обаятельную индивидуальность, выпрямленную во весь рост своей личности, завоевавшую право уйти от «законного» мужа к свободно избранному любовнику. (Но Бебель справедливо спрашивает: почему такие требования могут выставлять только «великие» души? а – «не великие»?)

Бунт! – вот типичное свойство новых героинь! Бунт против предписаний однобокой сексуальной морали! Бунт против любовного плена! Новая героиня постоянно борется со своей склонностью стать тенью мужа, его резонатором, отказаться от себя, раствориться в

любви, ассимилироваться с человеком, которого судьба избрала ей во «властелины». Новая женщина не испытывает банкротства, когда мужчина отнимает вносимую им долю. Новая женщина не только не боится самостоятельности, но дорожит ею, по мере того как её интересы всё шире выходят за пределы. Так же и новая девушка, когда налетает любовь, когда женское естество предьявляет свои права, – без бывшего сентиментального ужаса переступает запретный порог. В поисках идеала она будет брести ощупью, терзая своё сердце об острые колья житейских разочарований.

На эту новую дорогу многие женщины вступают с трудом, нехотя, перебиваемые атавистическими чувствами женского долготерпения, самоотверженности, бредут даже с тоской, всё лелея мечту о примитивном семейном очаге. Однако своей переоценкой моральных и половых норм новые женщины колеблют незыблемость устоев в душе и тех женщин, которые ещё не вступили на тернистый путь. Новые героини своей критикой заражают и умы современниц.

Увы, эти новые героини выпархивают, вытекают лишь из-под второстепенных перьев. Минувшие месяцы в Христиании Александра Михайловна проглатывала многие-многие, если не все, новые западные романы на эту тему. Она сочувственно, сострастно брела вместе со всеми этими Йенни, Кристами, Майями, Йозефами, Рикардами, Ренатами, Матильдами по их обжигательно неизведанному пути, разделяя с их душами их колеблемое состояние *im Werden* – и обдумывая, и участь, и научаясь многому. (И сама стала писать сексуальные рассказы, переживая на себе эти многочисленные сюжеты, которые невозможно реально успеть пережить в жизни. Жаль только, что в мире, захваченном войной, сейчас эти рассказы не могли найти публики.)

Да кто из нас, женщин, не перестрадал втайне все эти проблемы? – но по вьёвшемуся в нас лицемерию мы всё ещё поклоняемся мёртвому идолу обязательной морали. А она тем временем ведёт человечество по пути неуклонного вырождения, со своим кодексом нерасторжимого моногамного брака и институтом проституции, ибо не выполняет двух главных целей: наилучшего воспроизведения потомства и психического утончения человека в любви. Начать с поздних браков: вынужденное воздержание в период, наиболее приспособленный для деторождения. Оттого происходит отцеживание самых великолепных женских экземпляров, способных более всего вызвать эротические эмоции мужчин, – в бесплодную проституцию. Но проституция тушит любовь в сердцах, в ней нет места для требовательного хрупкого Эроса, он в страхе отлетает, боясь испачкать свои золотые крылышки о забрызганное грязью ложе. А в основу легального брака положен ложный принцип безраздельной собственности. Но если спутник жизни безраздельно прикован к тебе – то какая нужда открывать ему богатство твоей души? Величайшая нелепость: двое людей, соприкасающихся только несколькими гранями, – обязаны подойти друг другу всеми сторонами своего многогранного «я».

А главное: вступая в брак с завязанными глазами, они не знают даже: существует ли между ними то физиологическое сродство, то телесное созвучие, без которого брачное счастье вообще неосуществимо. Совсем не неприличны, но очень бы следовало возобновить «пробные ночи», широко практиковавшиеся в Средние Века. (А литература совсем не пишет, оставляет в полной темноте поразительную наивность мужчин: игнорировать переживания женщины в момент наиболее интимного акта. Неудовлетворённость женщин на этой почве известна лишь медикам – а беллетристика проходит молчаливым это явление, которое могло бы бросить сноп света на множество семейных драм.)

Это – не первый сексуальный кризис человечества, он уже был и в Возрождение, но тогда не затрагивал податного сословия, социальных низов, те дремали в неведении, – а теперь он грозно вступает и в лачугу рабочего. (Семью крестьянина так прочно скрепляет хозяйственный расчёт, что душевная жизнь играет второстепенную роль.) И какая уже существует реальная пестрота брачных отношений! – неразрывный брак с устойчивой семьёй; тайный адюльтер в браке; свобода в девичестве; проституция во всех разновидностях; снохачество; брак втроём; брак вчетвером; – а лицемерное общество всё

делает вид, что не замечает. Да неужели же не пришла пора сорвать с сексуальной морали ореол «категорического императива»? привести её, наконец, в соответствие с практическими запросами прогрессивной части человечества? Индивидуальная воля каждого! – вот единственный законодатель в интимном вопросе. Пусть ещё не завтра наступит для всех новый сексуальный порядок – но дорога уже найдена, вдали уже заманчиво светлеет раскрытая заповедная дверь, – так поспешить распахнуть её – на вольный воздух радостных отношений между полами! Открытая смена любовных союзов на протяжении долгой человеческой жизни должна быть признана обществом как нормальная и неизбежная! Влюбление, страсть, любовь – это лишь полосы жизни, перебегающие под солнцем. Что преступного в том, что эротический экстаз бросает двух людей в объятия друг друга? при чём тут рай и ад?

Да, страшно для девушки начало пути, это одиночество в крикливо шумном городе, среди зазывающе разгульных громад, когда надо бороться сразу: и против внешнего мира и против собственной слабости, склонности прародительниц принадлежать мужчине как вещи. Поиск близкой понятливой души – это опасная удочка. Приобрести мужа-собственника и властелина твоей души? – это как тюрьма. Пора научить женщину брать любовь не как основу жизни, а лишь как ступень, как способ выяснить своё истинное «я». Пусть и она научится, как мужчина, выходить из любовного конфликта не с помятыми крыльями, но с закалённой душой. Эмоциональность – украшение женщины, но и недостаток её. Вместо неё пусть будет самодисциплина. Нынешняя действительность требует от женщины побеждать свои эмоции, взнуздывать свой слабеющий дух. Она должна стать не слабей своего избранника, а то и сильней его. Она должна уметь сорвать со своей индивидуальности ржавые оковы пола, отвести любви подчинённое место, как у большинства мужчин.

Новая женщина, избавляясь от любовного плена, изумлённо и радостно выпрямляется. В ней страсть более не туманит мозга, привычного к анализу. Для женщины прошлого высшим горем была измена или потеря любимого человека, для современной героини – потеря самой себя, отказ от самой себя в угоду любимому. Она дорожит своей свободой и независимостью и отстаивает её со стойкостью женщин древних саг. Она иногда начинает жалеть часов любви, отданных возлюбленному, особенно если он был ниже её. Ей жутко представить себе жизнь, полную только поцелуев, шёпота волн и гармонии звёзд. Она может простить многое, даже измену, она простит обиду, нанесенную самке, но никогда не простит небрежного отношения к своему духовному «я». (Веками притуплённая психология мужчины часто не даёт ему разглядеть это «я».)

Такая повышенная требовательность к мужчине заставляет многих героинь современных романов переходить от увлечения к увлечению, от любви к любви, в томительных поисках. Одного она любит «верхами души», к другому её властно влечёт телесное сродство. (Периодами – и ей приятно предъявить свои права на земные радости, осознать себя «просто женщиной» и на мужчине проверить своё обаяние – воздушные светлые одежды, солнечные встречи, радостный смех, знойность чувства! – ведь пылкое любовное желание обогащает и расширяет индивидуальность! Когда волна страсти захлестывает её, – она не отрекается от блеснувшей улыбки жизни, не кутается лицемерно в полинявшую мантию женской добродетели – но испивает из кубка любовной радости, чтоб убедиться, насколько он глубок. А если он оказывается мелким – она отбрасывает его без сожаления и горечи. «Уметь в любую минуту сбросить прошлое и воспринимать жизнь, будто она началась сегодня», – таков был девиз Гёте.) Чем выше индивидуальность женщины – тем сложнее её душевные запросы, тем острее её социальный кризис.

Большая любовь – редкий дар судьбы, выпадающий на долю немногим избранникам. Но если нет большой любви – зачем же эротический голод? Там, где не достигли Большой Любви, пусть её заменит Любовь-Игра. Это – не всепоглощающий Эрос с трагическим лицом, – но и не грубый сексуализм. Любовь-игра требует большой душевной тонкости, чуткости, психологической наблюдательности – и тоже облагораживает человеческую душу, даже воспитывает её больше, чем Большая Любовь. Сейчас мы слишком склонны уже после

первого обладания посягать на **всю** личность другого и навязывать ему «целиком» своё сердце, когда на него ещё нет спроса.

Увы, люди не знают цены эротической дружбе. Надо научить их красивым и не обременяющим переживаниям: переливать эротическое вдохновение, не платя за это свободой своей души и своим будущим. Наслаждаться друг другом, не злоупотребляя друг другом. Нельзя набрасывать брачную узду на каждого, неосторожно влюблённого. Любовь-игра и указывает эту дорогу.

Чем сложнее и выше психика человека – тем неизбежнее смены. Конкубинат – вот основная форма брака. А наряду с ней – и целая гамма любовного общения в пределах эротической дружбы.

Всё это Александра Коллонтай особенно хорошо и окончательно обдумала минувшей зимой. И хотя по женским масштабам её жизнь уже была прожита, ей исполнилось в этом году 45 лет, и хотя уже много красивого, тонкого и рафинированно простого она пережила, – но она никак не была утолена, не готова была отречься – и ощущала в себе способность, по Гёте, всё начать заново ещё сегодня! – ещё перешагнуть возраст, и как перешагнуть! – посоревноваться с 20-летними. Невозможно отойти от книги жизни, не долистав её ярких страниц!

Александра Михайловна никогда не пыталась скрывать своих любовных связей, как это обычно делают мужчины. Её последняя связь с Саньком Шляпниковым была известна в партийных кругах. Диковатого старообрядческого рабочего паренька она развила, подняла, отшлифовала, – да во всю её жизнь не было мужчины, который оказал бы на неё серьёзное влияние, всегда она. Но и сама с ним испытала много самобытного, и в благодарном порыве – сейчас даже не верилось, как недавно и с какой страстью – она рада была за ним ухаживать, обцеловывать, и даже унизиться перед ним, и всегда упрашивала приезжать скорее и называла себя чухной – хотя обоим было понятно, как это несоразмерно. Забавно было его выращивать. Но всегда было видно самой, что душевно он ограничен, не вождь, не герой (характером – слабей её), достиг пределов своего роста, и уже он не обогащает её, тянуть его выше невозможно, тонок – он не будет никогда. В последнее его пребывание в Скандинавии уже заметно прискучивало.

Ну что ж, у них была когда-то чудесная любовь-игра, но уже вся знакома, ничего нового дать не может, перезатянулась. Александра даже не покидала его – это просто изжито, никакие обязательства не могут быть вечными, нельзя жертвовать своим существом, своими годами. Как не дрогнула Сашенька ещё в ранней молодости порвать со своим первым мужем, гвардейским офицером, хотя имея сына от него, сразу поняв, что жизнь «жены и матери» это клетка, – так и во всех последующих разрывах жизни она была неумолима и не колебалась, разжалобить её невозможно.

А тут – и эпоха такая, всё пришло в движение, всё так нервно-подъёмно, фейерверком взорвалась революция, – теперь-то и всё менять! (Сейчас революционеры будут появляться у всех на виду, на помостах, на пьедесталах – и Санёк со своим незначительным мещанским лицом не достоин показываться с нею рядом.) Революция! – всё в огненном круговращении, и самый неожиданный жребий может заплыть в твоих руках.

В себе она ещё чувствовала столько задатков – дарить! И сама, до переима дыхания, хотела захватной силы, первобытной силы, сильнее себя!

Но именно этого качества было меньше всего в скучной Европе. Но тут сошла красным пламенем с неба революция – и всё преобразила! Сливалось вместе: и ехать в Россию, и пошагать в нетерпеливом напоре своим скалистым звёздным путём!

Надо иметь в себе то особенное чувство – у Александры Коллонтай оно было – принадлежности к феерическому ряду женщин революции, особенному пламенному ряду в мировой истории. Эти события разворачивались – для неё, чтобы ей проявиться! Она входила в своё время, в свои обстоятельства, в свой дух! Она немного опаздывала с приездом в Петроград – но ещё не слишком. И каждой убегающей минутой она ещё впишется в революцию! (Напоследок в Христиании прочла лекцию молодым социалистам: как члены

Думы уже пытались предать революцию, но рабочие силой вернули их в Таврический дворец. И как большевики ещё исправят направление русской революции.)

Ехала по Швеции – о Шляпникове уже было мало мыслей: вопрос решён бесповоротно. Конечно, он будет первое время убит, станет уговаривать, обхаживать, заглядывать в глаза, – но у Коллонтай достаточно душевной упругости, чтобы превзойти такие ситуации. Предстоящая встреча не была приятна, но и не угнетала её. Она не дала ему знать о приезде – чтобы первые часы осмотреться без него.

Двое суток этого пути она много думала не о Шляпникове, но – о Ленине. Не как о мужчине, конечно, смешно представить Ленина мужчиной, но о том, как она перед ним обоснует – этого не избежать – свою нынешнюю теорию и свой идеал, с колючими глазками, колючими негибкими доводами (на всякий случай осторожными в незнакомой области), он, конечно, будет пронзать её на смех. Но и она своего детища легко не отдаст: без нового Эроса наполовину угасал и весь смысл революции. Она заранее почти клокотала, представляя себе эти неизбежные споры: и откуда только может браться такое непростительное равнодушие к одной из, скажем, существенных задач рабочего класса? Ведь это лицемерие, не лучше буржуазного! – относить сексуальную проблему к числу «семейных дел», на которые нет надобности затрачивать коллективные силы и внимание! Но стоит, и раньше бывало, заговорить о пролетарской этике, пролетарской сексуальной морали – как наталкиваешься на шаблонное возражение Ленина, что половая мораль – это надстройка, и пока не изменится экономическая база – нечего и...

Спор – будет, и горячий, и уже сейчас надо к нему готовиться, нельзя не отстоять в партии своё верование. Но надо и – умело свою теорию социологизировать, как умеют опытные марксисты. Так прямо, как Коллонтай думала наедине с собой, почти никому в партии и говорить нельзя, да большую часть тонкостей они и не ухватят. Ленину и другим надо говорить приблизительно так.

Сексуальный вопрос имеет особый интерес при материалистическом понимании истории. Его не могут избежать социалистические программы. Разработка морального кодекса – неизменный момент социальной борьбы: ведь отношения между полами влияют на исход борьбы враждующих классов. Надо уже заранее выискать тот основной критерий морали, который порождается специфическими интересами восходящего рабочего класса, – и привести в соответствие с ним нарождающиеся сексуальные нормы. И только тогда будет возможно разобраться в противоречивом хаосе социальных отношений. Эта психическая реформа будет влиять на коренное переустройство социально-экономических отношений на началах коммунизма.

Для Новой женщины любовь должна быть лишь привходящая мелодия, эпизод. Свобода и одиночество нужны ей для любимого дела – работы, агитации, партии, идеи, без которых она не могла бы жить и дышать. Этим – она делиться не умеет и не отдаст свою свободу ни за какую любовь! Но это может быть осуществлено лишь при обновлённом социалистическом строе душ.

Подчинение одного члена класса другим, как это бывает в закреплённом браке, есть момент собственности, враждебный психике пролетариата. Из основных задач рабочего класса вытекают: большая текучесть, меньшая закреплённость в общении полов. Любовь не должна изолировать пару из коллектива. Это буржуазная идеология требует, чтобы свои лучшие чувства человек проявлял только по отношению к избраннику своего сердца. Но любовные эмоции как фактор могут быть направлены и на пользу коллектива. Любовь может помочь упрочить связи коллективистской солидарности, а именно: чем больше нитей личной любви будет протянуто между отдельными членами класса – тем прочней солидарность класса. Итак, любовь между членами коллектива подчинится более властному чувству любви-долга к коллективу. Любовь-солидарность явится таким же двигателем для пролетариата, как для буржуазного строя конкуренция. Задача пролетарской идеологии – не изгнать Эрос из социального общения, но перевооружить его колчан на стрелы новой формации!

И неужели вот такое построение не убедит Ленина?...

Финскую границу пересекала в Торнео. На санях переехала реку. Первый человек по эту сторону – солдат с алым бантом на груди, – так и вспыхнуло сердце от этой алости! «Ваши документы!» Но с облегчённым ликованием и беззаботностью белозубо усмехнулась ему Коллонтай: «Но я политический эмигрант, у меня никаких документов нет!» Вызвал офицера – совсем юного и тоже с алым бантом, а в руках – список. Назвала себя гордо – и он нашёл в списке. А был смущён её красотой, не мог скрыть, помог ей выйти из саней – и, вспыхнув, осмелился взять её руку и поцеловал робко.

А потом ехала, ехала через Финляндию – родину свою, потому что мать её была простая финская крестьянка, забравшая себе в мужья сперва одного старого генерала, потом другого генерала, полицейского. Как баловали Сашеньку в юности! – от ласк и не было свободы, оттого и пошла она освобождать народ. В гимназию не пустили, чтоб не развратилась политикой, на Бестужевские курсы не пустили, – всё равно не удержали от революции.

Но Финляндию всегда считала Коллонтай – своей родиной. И звала её к вооружённому восстанию.

По мере подъезда к Петрограду уже сердце выскакивало: так хотелось скорее всё узнать и скорей во всём участвовать!

На Финляндский вокзал приехала вчера вечером, встретили только знакомые – состоятельная семья, но с революционными традициями, на извозчике повезли к себе на Малую Конюшенную. Их благоустроенной квартиры революция не коснулась, ничто не было ни разбито, ни похищено, можно было принять ванну и засесть к телефону за новостями. До часу ночи Александра Михайловна звонила разным друзьям и знакомым (обойдя Шляпникова). Между другим узнала и про него, что он поколеблен в БЦК, потерял «Правду», – да, вихревое время ему не по таланту. От Гиммера узнала, что здесь – Лурье, и завтра утром она может всех их видеть на первом заседании циммервальдистской секции Исполнительного Комитета, она приглашается. Очень удачно, ещё она не так опоздала!

Из телефонных же разговоров она поняла и многое главное: что Исполнительный Комитет никем не избран, а заседает в захватном порядке, но главная власть – у него. Что доминируют настроения торжества, праздник демократии, гимн свободе, – не рано ли? ой, не рано ли доверились буржуазии?

Ещё узнала, что барыньки из «Лиги равноправия» на воскресенье готовят грандиозную манифестацию к Родзянке в защиту женских избирательных и общих прав (и Вера Фигнер участвует). Ах вот как! Вовремя приехала Коллонтай! Эту буржуазную затею надо сорвать и перехватить, ещё есть два дня. На манифестации надо будет как-нибудь схулиганить – например, подослать работниц выступить: права не выпрашиваются, их берут с бою! у нас, пролетарок, нет отдельных женских интересов, они совпадают с общими пролетарскими, которые и вывели нас на улицу, и сделали революцию. (Трудящихся женщин можно будет объединять на вопросах дороговизны.)

Утром в десять уже входила в Таврический, с жадностью оглядывая эти стены, эти залы, теперь исторические.

Бродили солдаты, штатские. Мелькала мужественная втягивающая тёмная форма моряков.

Особенно приятно было увидеть милого Лурье – человека остро умного, и с европейским опытом жизни, отчего оба они могли видеть в событиях петроградских больше, чем видели здешние. А ещё: они в первые дни войны были в Германии вместе интернированы как русские, но затем с почётом освобождены как социал-демократы, – ещё воспоминания об этих шовинистических германских днях объединяли их. Лурье приехал всего два дня назад, но уже состоял и в Исполнительном Комитете, уже ко всему тут привык, обо всём рассуждал как участник революции с первых часов, – а ещё через два дня, уверял, такой будет и Коллонтай, безусловно кооптируют, станет первой женщиной в ИК. Во время заседания циммервальдской секции они приветливо перекидывались замечаниями – и вместе

толковали остальным, как тот или иной русский шаг выглядит из Европы.

К счастью, Санёк не пришёл на заседание (хорошо, первый взгляд, первый тон – не на публике), вместо него главным от большевиков был Каменев.

Не нашлось почему-то комнаты, и секция собралась в ложе журналистов думского Белого зала, – обстановка! Коллонтай озиралась, сверкая. Она так сгорала к общественным действиям, что еле сидела, еле участвовала в заседании. Кроме Гиммера и Лурье, отдельных личностей, не от фракций, были от меньшевиков Шехтер и Соколовский, но тоже не делегированные никем, а сами от себя. И также единственный эсер – решительный заядлый Александрович, сам от себя. Впрочем, он со зловещим видом обещал близкий у эсеров раскол, будет тоже две партии.

Решить ничего поворотного не решили, но оформили циммервальдское бюро организационно. Поручили Гиммеру с Лурье готовить резолюцию для ИК о начале новой мирной кампании Совета.

Сам Гиммер был очень озадачен, что его Манифест 14 марта хвалила буржуазная пресса. Он видел в этом признак, что был слишком уступчив на ИК и нарушил последовательность циммервальдской позиции. Но, сухой острый гномистый человек, он горел своими бесцветными глазами и предрекал победное шествие революции, которое не смогла сбить даже подлая кампания против «анонимов» в Исполнительном Комитете. От кого-то Коллонтай узнала, что в министерском павильоне до сих пор содержатся арестанты, человек тридцать, – правда не самые видные, те уже в Петропавловке, но и здесь ещё кое-кто, в том числе и женщины.

– Женщины? – встрепенулась Коллонтай. – Кто?

Полубояринова, издательница «Русского знамени». И жена Сухомлинова. И две дочери Распутина.

– Я хочу их видеть!

– А сегодня захватили, привезли начальника петроградского охранного отделения.

– Хочу их видеть! Всех! Как это устроить, товарищи? – загорелась Коллонтай от ощущения неповторимости, пропустишь такой миг, всю жизнь потом будешь жалеть.

Формально нужно было разрешение министра юстиции, но, конечно, по знакомству можно быстрее и проще. Пошёл Гиммер попросить прапорщика Знаменского, трудовика.

И повели Александру Коллонтай – большевичку и эмигрантку – специальным коридором, когда-то построенным, чтобы члены правительства шествовали из зала заседания отдохнуть в свой павильон, коридором с остеклёнными стенами, впрочем под вечерние шторы, чтоб охранить от выстрела террориста, – повели, и мимо часового с винтовкой ввели в запретную нутрь, уже довольно потрёпанную, уже три недели как плохо убранную тюрьму, – и всё же каждый шаг Коллонтай был её торжеством, ликованием, звоном в ушах: могли мы, социал-демократы, думать дожить до такого? Шла – и чувствовала трепетание в себе общественной страсти. Она ярче торжествовала над такой женщиной из враждебного класса, чем прежняя бы женщина торжествовала над соперницей.

– А начальника Охранки – тоже покажите!

– Хорошо. Пока вот здесь – Полубояринова. Только она очень строптивая, всё время бушует и требует.

И Коллонтай – вошла в комнату, соразмеряя, вся чувствуя свой победный торжественный шаг и своё синее платье, свою закинутую голову, с небольшого роста, понимая, что представляется этой арестантке – вершительницей её судьбы? ангелом Революции?

Полубояринова встала от книги, от маленького стола, она такого ж роста была, как и Коллонтай, – но ни тени схожей красоты, ни изящества в платье, чернокудрая твёрдая мещанка. И не заискивала ничуть, – а сразу так и приняла с ненавистью – и ещё шагнула навстречу.

В двух шагах друг против друга они остановились.

И перед этим упёртым взглядом – никак не меньшей силы, чем свой, а с большей

яростью, – Коллонтай вдруг потеряла ощущение великого мига. Она, оказывается, не приготовила фразы – ни язвительной, ни унижительной, ни игровой, – она шла уверенная, что свободно будет владеть положением.

Такой упёртой силы ненависти она не помнила, чтобы встречала.

Прямыми глазами они смотрели, ничего не смягчая, – и Полубояринова кликнула резким бранным голосом:

– Ну, что пришла, потаскуха? Кто такая?

633

(по социалистической печати, с 15 марта)

О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОИСКАХ. Генералы-мятежники, сосредоточившиеся в Ставке... Приказы Алексеева... Радко-Дмитриева... Драгомирова, не позволяющего солдатам ездить в Петроград... Генерал Иванов после неудавшегося похода на революционный Петроград мог гулять в Ставке на свободе, его арестовали только в Киеве... Обосновался в Ставке и разжалованный Николай Николаевич... Призываем всех революционных солдат и офицеров зорко следить за кознями сторонников старого режима.

СВОБОДА ПОЛЬШИ. Полтора века кровавый род Романовых угнетал эту прекрасную, вечно юную страну. Наёмные убийцы, цари из рода Романовых... Народ-страдалец, вечно погружённый в конспирации, он всегда точил меч, чтобы снести голову петербургскому тирану... Теперь, когда удалось свалить правящую шайку... Нашему поколению выпадает великое счастье расплатиться за неистовства царской власти. Пусть все и каждый, везде и всюду, ведут одну и ту же пропаганду: восстание во всех трёх частях Польши! Нет лучше времени, нет лучше момента, как теперь зажечь святой огонь повстанчества!

... **Собрание социалистов-революционеров** постановило... По вопросу о пресечении Николаю Романову способов уклониться от народного суда признать, что решение вопроса о свободе и жизни бывшего самодержца может исходить только от всенародного Учредительного Собрания. Признать непростительной и опасной слабостью со стороны Временного правительства содержать Николая Романова в непригодном как место заключения царскосельском дворце.

КАК СОДЕРЖИТСЯ НИКОЛАЙ РОМАНОВ. Весь Александровский дворец, все его флигеля и здания, весь парк охраняются сильными караулами, которые стерегут все входы и выходы. Всевозможные повара, лакеи и разная челядь тоже находятся на положении арестованных. Николай Романов не имеет непосредственного общения с членами своей семьи. При нём для компании – дружеская свита. К их услугам лакеи разных рангов, скороходы и арапы.

По просьбе комиссара Масловского Николай был ему предъявлен. По словам делегата, лицо бывшего монарха опухшее, взгляд тяжёлый, исподлобья.

... Просим Временное правительство немедленно арестовать всех членов бывшей царской фамилии и приспешников старого режима.

Колпинский комитет с.-р.

ДОЛГ НОВОЙ РОССИИ. Ближайшая задача Временного правительства – отменить национальные ограничения. Эта отмена больше всего касается евреев. Мы знаем, с какой сатанинской настойчивостью царский режим изобретал ограничения для евреев. В этом была

какая-то утонченность, какой-то политический садизм. Создан был особый кодекс «еврейских законов». Любой захолустный становой был своего рода магистром «еврейского права». Сотни лет отвратительные тарантулы самодержавия ядом своим отравляли жизнь населяющих Россию национальностей. Кошмар еврейского бесправия должен быть немедленно рассеян. Временному правительству пора платить. Срок наступил.

(«День»)

Несколько дней назад разве не сочли бы сумасшедшим того, кто объявил бы, что «Новое время» объявит себя сторонником республики, перо Меншикова будет обливать помоями царский режим и самого царя? Подлинный моральный нигилизм.

(«Дело народа»)

РЕСПУБЛИКА. Свободный народ может оставаться свободным, лишь будучи властным. И представительная республика – ещё не демократическая, если будут избраны представители господствующих классов.

... Всякий гражданин, крестьянин или рабочий, поляк, еврей или великорус, имеет право свободно избирать местожительства и род занятий. При таком порядке не надо добывать свидетельства на право торговли...

Долой смертную казнь! Мы не верим, будто один из вождей демократии сказал, будто сперва надо отрубить несколько голов, лишь потом издать декрет об отмене смертной казни. Кому-то выгодно распускать такие слухи, чтобы опорочить демократию. Не надо нам игры в Маратиков и Робеспьериков.

(«День»)

ПРОТЕСТ БЮРО ЦК РСДРП. Целый ряд буржуазных газет за последние дни повели усиленную кампанию против Социал-Демократической газеты «Правда», связывая её с «немцами» или «провокаторами». Так хотят бороться с нами продажные журналисты капиталистической прессы.

... Ложь, будто мы давали советы «не стрелять в немцев». Настаивая же на прекращении войны, «Правда» только выдвигала положения Циммервальда и Кинтала... Тратить время на опровержение всякой клеветы – значит целиком отдать нашу газету на разбор этой грязи. Нам остаётся только с презрением проходить мимо клеветнических походов.

... Центральный комитет печатников объявляет, что им будут приняты все меры против травли рабочей газеты «Правда» – **вплоть до бойкота типографий**.

Позвольте обратиться к вам, товарищи большевики, братья по революционному делу: если вы так отстаиваете право на свободное распространение своей газеты – то как вы можете поддерживать тех, кто хочет силой изъять из обращения газеты, которые вам не нравятся? Или вы так слабы, что боитесь борьбы пером?

(«Дело народа»)

... Похождения Распутина, его «чудеса», кутежи и связи обступают вас с газетных столбцов. От Распутина некуда деваться. Неужели свободное слово дано для того... Как только стало возможным говорить обо всём – сейчас же потянуло к «клубничке».

(«День»)

ЭМИГРАНТОВ НЕ ВПУСКАЮТ В РОССИЮ.

... Из Копенгагена отбыли первые эмигранты, возвращающиеся в Россию, провожаемые кликами «ура» и пением свыше 500 соотечественников.

... Страстно хочется верить, что русская революция – это только первый великолепный сигнал всемирной революции. Революционная радиоактивность должна прорываться через окопы...

Почтенные буржуа начинают жаловаться на распущенность народа и солдат. Сейчас же, немедленно, пока рабочим обеспечена сила штыков и пулемётов, – необходимо требовать создания главным образом рабочей армии. Вооружить рабочие массы, обучить их, создать тот механический аппарат... Необходимо пользоваться силой, как пользовались ею всегда правящие классы, – чтобы проводить интересы рабочего класса и крестьянства...

(«Правда»)

... Органы местного самоуправления, эти гнёзда вымирающего дворянства, купцов и домовладельцев, лишённые всякого доверия демократии, сейчас фактически умирают на фоне ураганом поднявшейся жизни.

От старого уклада остались гнилостные следы. На многих ещё осталась короста обывательщины. А все должны быть милиционерами свободы. Будем гражданами с головы до ног! Будем ковать своё счастье. Будем организовываться.

ЧЕРНАЯ СОТНЯ ЗА РАБОТОЙ. ... странные знаки и надписи на дверях граждан... видимо, не потеряли ещё надежды на возвращение старых времён. Исполнительный Комитет обращается ко всем гражданам с призывом немедленно стирать эти знаки и надписи и арестовывать авторов. Есть основания предполагать, что к этому тёмному делу кроме гуляющих черносотенцев прикомандированы и некоторые старшие дворники. Пусть эти бандиты не думают, что смогут долго продолжать свою работу. Всякий уличённый будет немедленно арестован и беспощадно наказан. Граждане! Охраняйте свои жилища от царских хулиганов!

К трамвайным вагоновожатым, кондукторам и рабочим. Товарищи! Трамвайное движение до сих пор не вполне восстановлено, многие десятки вагонов стоят в парках неиспользуемыми. Городская деловая жизнь поэтому плохо налажена, терпит гражданин. Интересы революции требуют немедленного восстановления нормальной жизни и высокой организованности. Пусть все видят, что революция ведёт не к хаосу. Необходимо немедленно согласиться на сверхурочные оплачиваемые работы. Восстановление трамвайного движения – это ваша революционная обязанность, товарищи!

Сообщения с фронта, из района 1 армии. Солдаты предоставлены сами себе, офицерская молодёжь нерешительна, подавлена настроением высших чинов. Необходимы отряды агитаторов из числа солдат Совета Депутатов.

... от глубины сердца приносим горячее поздравление новому Национальному Правительству – Совету Рабочих и Солдатских Депутатов. Да здравствует оно и вся Россия. Да поможет вам Господь Бог.

Окопы, 6 подписей

... Общее собрание солдатских депутатов Двинского фронта... Взошло наконец солнце Свободы над русским народом. Все рабочие, утройте свою энергию, делайте снаряды, в них спасение Свободы. Мы, солдаты, клянёмся лечь костями за каждую пядь Свободной России... Солдаты везде просили передать свой низкий привет Временному

Правительству.

Самокатчики 1 Самокатной роты на фронте, узнав об измене в Петрограде своих товарищей по оружию, клеймим их позором, а также их офицерство.

Уполномоченный...

Борцам за свободу... Узнав с невыразимой радостью, что старое безвозвратно рухнуло без малейшего ущерба в промышленности, путей сообщения и вооружения, нас охватил неопикуемый восторг. Теперь мы, сыны свободной России, превратимся в каменную стену, которую не пробить лицемерному народу германского государства.

Офицеры и солдаты 43 воздухоплавательного отряда

Казакм казакам. Дорогие донцы, братья по оружию! Нам всё известно по ходу великих исторических событий. Вы свято исполнили свой долг, и мы, забайкальцы, со своей стороны выражаем вам сочувствие.

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ

... Всем, самовольно отлучившимся из команды Эвакуационного госпиталя, предлагается в ближайшие дни явиться в свою часть. В противном случае будут считаться сторонниками старого режима.

... Предлагается всем, самовольно отлучившимся из 2-й полуроты, вернуться в полуроту до 15-го или 17-го сего месяца включительно. В противном случае перестать считать их своими товарищами и считать сторонниками старого режима.

... Солдат 3-й тыловой автомобильной мастерской призывают явиться в часть до 15 марта. Неявившиеся будут считаться дезертирами.

... Просят товарищей солдат 10-й роты немедленно возвратиться к исполнению обязанностей гражданина.

Товарищи солдаты! Некоторые из вас имеют золотые и серебряные медали, полученные в награду от прежнего правительства. В будущем всякие медали и знаки вероятно будут отменены, так как награда каждого гражданина – в сознании долга, исполненного перед Родиной. Все эти медали драгоценного металла нужны теперь на усиление революционной мощи. Предлагаю сдавать их, Советы Депутатов укажут куда.

СЛУХИ. Мы живём в такое время, когда всему верят. Скажите, что войска Вильгельма в 20 верстах от Петрограда, – и найдутся люди, которые тут же бросятся на вокзалы и заполнят крыши отходящих поездов... Не следует однако и препятствовать бегству из Петрограда перепуганного обывательского стада. Это очистит атмосферу и облегчит решение продовольственного вопроса...

ЛОЖНЫЕ СЛУХИ. Слухи об анархии в Кронштадте являются вздорными. Жертв очень мало. Уже давно царит полный порядок. Подробное изложение событий будет сделано в непродолжительном времени.

... Поступают коллективные заявления, что в различных районах Петрограда наблюдаются серьёзные эксцессы на почве опьянения денатуратом значительного количества человек. Центральный комиссариат милиции призывает принимать усиленные меры к немедленному обнаружению мест продажи спиртных напитков... Продавцы будут подвергнуты самому суровому...

... Разгром магазина гвардейского Экономического общества принёс колоссальные убытки.

Всероссийская конференция Бунда состоится...

Очередное заседание Еврейской Социал-Демократической Рабочей Партии Поалей-Цион 15 марта в гимназии Гуревича.

Париж. Парижская лига защиты угнетённых евреев с энтузиазмом приветствует русскую революцию и выражает твёрдую уверенность, что Временное правительство немедленно осуществит полную эмансипацию евреев.

Нью-Йорк. Русские политические эмигранты, проживающие в Соединённых Штатах, приветствуют совершившийся переворот, спешат вернуться на родину...

Нью-Йорк. Крупный банкирский дом «Кун, Леб и К^о» заявил, что, ввиду нового положения в России, он отныне согласен оказывать материальную поддержку союзникам.

Тифлис, 14. На многолюдном собрании местных евреев единогласно принят лозунг «война до победы!».

Тифлис. Исполнительный Комитет Совета Солдатских Депутатов приказом по гарнизону запретил покупку и продажу казённых вещей. Офицеры призываются к неуклонному несению службы.

Владивосток. Идёт сбор на памятник деятельницы революции Волкенштейн, убитой в 1906 во Владивостоке... Виновных в продаже спиртных напитков решено привлекать к общественным работам.

Нижний Тагил, 14. Введена цензура в типографиях... Председатель комитета – присяжный поверенный, социал-демократ.

Боровичи. На городском митинге подожгли знамя «истинно-русских людей», найденное в одном из местных монастырей. Зажигаются костром сложенные портреты высочайших особ.

Бежецк, 15. Председатель Корчевской уездной земской управы Корвин-Литвицкий сожжён крестьянами вместе с его усадьбой. Лес вырублен.

Слов нет, помещики – зловеднейшее племя,

Однако гнёзда их палить прошло уж время.

(«Дело народа»)

... Всюду без слёз и сожалений деревня рассталась с прежним политическим строем. Исчезли тайные винокурни... Кое-где громят волостные учреждения, дома частных лиц.

... В деревне новая жизнь налаживается с трудом. Характер текущих событий деревня усваивает нелегко и иногда ошибается при оценке их.

(«Дело народа»)

Кишинев, 15... Ораторы в пламенных речах говорили о тлетворном влиянии немцев на Россию, которой фактически управлял не Николай II, а Вильгельм.

ПОРТРЕТЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. Поступили в продажу портреты Желябова, Перовской, Фигнер, Спиридоновой, Каляева и многих других.

... Всех военных капельмейстеров и депутатов музыкантских команд приглашают...

Помните пленных! В дни возрождения России вспомните о ваших братьях-воинах, томящихся в плену. Забытые и бесправные, они умирают от голода и холода.

... Состоялось собрание рабочих и работниц конфетно-шоколадного производства. Почтили вставанием память погибших борцов за свободу. Затем был заслушан доклад о положении дел в конфетном производстве в связи с сахарным кризисом...

... Добиваться развития пролетарского самосознания среди официанток Народного дома...

ВАЖНАЯ ПОПРАВКА. Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов доводит до всеобщего сведения, что напечатанная позавчера «Декларация прав солдата» представляет лишь проект, еще не обсуждавшийся общим собранием СРСД.

ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ – подлинное детище самовластия. Она творит своё грязное дело в темноте. Даже не прикоснувшись к архивам министерства иностранных дел, каждый может с уверенностью сказать, что тайная дипломатия Николая Романова и его слуг не могла служить народу.

«Война до победы» – такой лозунг выставили на своих знамёнах некоторые части Петроградского гарнизона. Но и бывший царь Николай II тоже говорил «война до победы», понимая под этим взятие Константинополя, Польши, Берлина, раздел Германии... Не лучше ли заменить этот неясный лозунг более точным: «война за свободу»? Русская армия, расстроенная преступной неумелостью старой власти, станет непобедимой.

МАНИФЕСТАЦИИ. 15 марта в Государственную Думу явился в полном боевом порядке запасной батальон лейб-гвардии Семёновского полка. Затем через полтора часа – 3-й гвардейский стрелковый полк. Приветствие стрелкам вождей рабочего класса Чхеидзе и Скобелева едва не омрачилось печальным инцидентом: к стрелкам обратилась с речью никому не известная дама с призывом: «Долой войну!» Раздались крики: «Дайте её нам на штыки!» Взволнованных солдат успокоила речь их командира, его подняли на руки и понесли. Другая же часть солдат бросилась к балкону, окружила женщину, и был момент, когда ей грозил жестокий самосуд. Ораторшу с трудом удалось провести через разъярённую толпу и отправить в следственную комнату, где занялись выяснением её личности.

Своим ответом Родзянко расширил задачу Учредительного Собрания – дополнил его вопросом о земле.

ПЕТРОГРАД ИЛИ МОСКВА? В Москве идёт усиленная агитация, чтобы местом созыва Учредительного Собрания была признана Москва. Надо раз навсегда покончить с этой агитацией. Какое основание делать Москву столицей России? Историческое прошлое Москвы, конечно, не может иметь никакого значения. Москва была центром московского царизма. Кремль – каменное олицетворение московского самодержавия, сокрушившего новгородскую и псковскую республику. Со всей этой романтикой пора уже покончить. Кто ратует за Москву – учитывает возможность ловить рыбу в мутной воде.

(«Известия СРСД»)

Разрушительная часть Великой Российской Революции еще не закончилась, ещё во

многих углах России происходят отрывки старой власти.

... Пантера русского капитала оставляет себе все пути к нарушению договора о 8-часовом дне.

Завод «Промет». Продолжение сверхурочных работ при 8-часовом рабочем дне уничтожит наше завоевание и не оставит времени каждому проявлять гражданские права. Собрание постановляет считать 8-часовой день только при полном уничтожении сверхурочных работ.

Офицеры-питомцы Михайловской артиллерийской академии, в стенах которой никогда не угасал светильник свободы, обращаются к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов с горячим призывом восстановить на казённых заводах нормальный порядок. Устранение с заводов большого числа лиц технического персонала неизбежно отразится на качестве боевого снабжения и поведёт к напрасным жертвам на фронте.

ЭМИГРАНТОВ НЕ ВПУСКАЮТ В РОССИЮ...

Телеграмма из Лозанны. Заявляем протест против телеграммы Рубановича. *Ульянов, Натансон.*

... Наши агитаторы Выборгского района бросают горящие факелы в доселе тёмные углы. От них загораются окрестности и революционной бурей разносятся по всей России пламенеющие щепки...

«ПРАВДА» – РАБОЧЕМУ КЛАССУ. Товарищи, братья по революционному делу! Вы должны знать, что в некоторых пунктах города какие-то неизвестные личности вырывают «Правду» из рук газетчиков. Против «Правды» систематический поход, и мы знаем, где его центр: там же, где и центр буржуазной контрреволюции. Все эксплуататоры народного труда, все паразиты и тунеядцы, привольно сосавшие народное тело под охраной царя, все боятся дальнейшего роста революционного движения. Они обдумывают поход против пролетариата, хотят грядущую демократическую республику превратить для него в смирительную рубашку. Они думали ударом по «Правде» привести в расстройство наши ряды. Встаньте же, товарищи, на защиту своей газеты, призовите к порядку расшалившихся сынков буржуазии.

Редакция «Правды»

... Возмущённо протестуем против низких приёмов буржуазной прессы в отношении нашей газеты «Правда», этого великого средства организации... Газета «Правда» не может быть провокаторской, потому что её мнение о войне есть мнение всего грудящегося класса...

Всем комиссарам милиции. Скобелев подписал распоряжение... ИК СРСД протестует против действий милиционеров, запрещающих продажу «Правды»... Оградить торговцев «Правдой» от недостойных выходок отдельных лиц.

Комитет бронедивизиона опровергает слухи, что он и петербургский комитет РСДРП разграбляет дворец Кшесинской. Дело в том, что комитет занял дворец уже после двух погромов. А теперь имущество охраняется.

О сберегательных кассах. Среди населения намеренно распускаются слухи о том, что старые деньги будут уничтожены и все вклады в сберегательные кассы пропадут. Страшно усилилась выемка вкладов из касс. Слухи эти ложны. Население может быть

спокойно относительно своих вкладов.

Вследствие заминки подвоза муки к булочным население Петрограда может очутиться в крайне тяжёлом положении. ИК СРСД примет меры к справедливому удовлетворению требований товарищей, участвующих в извозном промысле. Но надвигается грозное бедствие, а светлые дни торжества Свободы не должны быть омрачены сетованиями трудового народа на длинные хвосты и голод...

Всякие волнения на почве продовольственной неурядицы могут быть выгодны только сторонникам старого режима. Просим товарищей солдат не приобретать белый хлеб в лавках. Исполнительный Комитет просит товарищей пекарей не прерывать работы и согласиться на сверхурочные... Обыватели ещё не привыкли быть гражданами и легко переходят от восторгов к панике. Так возникают слухи.

Письмо из Гельсингфорса. Отношение у нас с матросами великолепное. Единственно что беспокоит – это присылаются ежедневно вагоны со спиртными напитками. Но не было ещё случая, чтобы матросы и солдаты разбивали открытые вагоны, но звонят в комитет, и склад спиртного уничтожается. Много сознательности и инициативы.

Мичман...

В Кронштадте. Сейчас жизнь начинает входить постепенно в нормальную колею. Отношения между офицерами и матросским составом флота, однако, не вполне налажены до сих пор. В начале движения несколько десятков офицеров были убиты, многие арестованы...

Армия и офицерство. Многие офицеры справедливо оказались не заслуживающими народного доверия... Пополнить недостаток молодыми офицерами-революционерами, которые были бы солдатам товарищами и братьями, – особенно из студентов, светлого элемента будущей России.

О ДЕМОКРАТИЗАЦИИ АРМИИ. Выборное начало сулит создание подлинно народной армии. Но надо быть осмотрительными, исключая из полка офицеров прекрасных, знающих, вполне пригодных, но при старом режиме, под влиянием кастовых предрассудков, притеснявших солдат. К таким офицерам надлежит отнестись снисходительно, дать им амнистию... В пехоте послуживший солдат может избираться командиром и батальона, и полка...

Письмо из Действующей армии. Вы есть свет великой России. Мы видим в вас восходящее солнце, которое своими благоприятными лучами... Товарищи! Против нашей живой силы никто не устоит. Спешите просвещать нашу работу газетами и брошюрами. Мы, солдаты, очень мало здесь уведомляемся просветительной силой, которая исходит от вас.

О дисциплине. Чем была для нас кровавая романовская дисциплина? Это скажет вам каждый, испытавший её на себе... Неужели не устраним мы это? Устав требует немедленной реформы. Надеемся, что это будут помнить наши полководцы...

Среди гренадеров. Признано единогласно полезным для солдат допускать беспрепятственно публику в расположение казарм. Желаящим солдатам разрешить проживать на частных квартирах, но с обязательством являться на утреннюю поверку. Выдачу жалованья производить на прежних основаниях.

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ

Товарищи воинские чины 2-го Пулемётного полка! Мощным натиском завоёвана всеми желанная свобода, а враги не дремлют. Возвращайтесь, товарищи, в свою часть. Ибо всякий не вернувшийся от сего опубликования в течение 5 дней будет считаться позорным изменником нашему святому делу.

... Товарищи солдаты ораниенбаумского гарнизона, самовольно отлучившиеся и не явившиеся до 17 марта, будут считаться изменниками общему делу, и список их будет обнаружен...

... Всех самовольно отлучившихся из 262 полка и не явившихся в течении одной недели...

... всех отлучившихся из 16-й пешей Ярославской дружины...

... самовольно отлучившимся из 1-го пехотного запасного полка... В противном случае перестать считать их своими товарищами...

... товарищей-солдат 171 запасного полка, самовольно отлучившихся по разным причинам...

... 180 пехотного запасного полка – с призывом немедленно явиться в свою часть...

СОЛДАТЫ ГРАЖДАНЕ... Не явившихся до 20 марта постановлено считать уклонившимися от исполнения гражданского долга...

Ходатайство бывших дезертиров. ... мотивируют, что раньше они не хотели защищать династию Романовых, а в настоящее время хотят бороться за счастье и светлое будущее новой России.

... Петроград должен помнить, что не он один решает судьбы страны и революции. Опасно, если бы Петроград оторвался от провинции. Он рисковал бы превратиться в штаб без армии.

(«Рабочая газета»)

... Разразившись в Петрограде, революция перекидывается в провинцию, захватывая постепенно всю необъятную Россию. Одна из особенностей нашей революции состоит в том, что базой её до сих пор является Петроград. Схватки и выстрелы, борьба и победа имели место главным образом в Петрограде и его окрестностях. Провинция ограничилась восприятием плодов победы и выражением доверия Временному правительству.

(«Правда», 18 марта)

ЧТО ЖЕ ТУРКЕСТАН? Над всей Россией поднялось солнце Свободы, всюду посланы комиссары – и только Туркестан остаётся в стороне от перемен, и остался в руках того, кто кровавым кулаком, с помощью пулемётов и виселиц... генерала Куропаткина...

Нижний Новгород. В приказе по войскам гарнизона объявлено: ввиду высокого общественного значения Совета Солдатских Депутатов, считать его членов неприкосновенными, не приводить в исполнение дисциплинарных взысканий, наложенных на них, освободить от нарядов и других обязанностей службы.

Екатеринодар. Власть в руках СРД. Пока полное единение, но уже чувствуется со стороны попов и казацких начальников антиреволюционная агитация. В бывшем Кубанском жандармском управлении заседают сейчас 4 большевика.

Николаев. Уголовные здешней тюрьмы заявили думскому комиссару, что готовы подчиниться лишь на условиях...

Рыбинск, 16. Бывшие чины полиции благодарят новое правительство за признание за ними прав гражданства, выразившееся в призыве их в ряды войск, и выражают глубокое

презрение бывшему полицеймейстеру.

Киев, 16. При большом стечении публики снят памятник Столыпину.

Одесса, 16. Арестованные главари черносотенцев переведены на военное судно. Этим исключается возможность побега. Против погромной агитации в несколько местечек посланы комиссар и войска. Отовсюду поступают успокоительные сообщения.

Среди солдат распространяются воззвания, призывающие их в письмах своим деревенским призывать односельчан к засеву полей.

... На обратном пути из Севастополя на одной из станций депутата Государственной Думы попросила выйти к ним огромная толпа крестьян. По их просьбе он рассказал им, что произошло в Петрограде. Многие крестьяне плакали. Нервы депутата не выдержали, он тоже прослезился.

Козельский уезд. Крестьяне в неописуемом восторге от революции, многие плачут от радости. Священник предложил устроить молебствие об избавлении от царя-врага. Крестьяне высказываются за республику, так как, по их словам, «зачем выбирать нового царя, когда всё равно потом придётся его выгонять?»

Ямбургский уезд. Постановлено: готовиться к выборам в Учредительное собрание и уничтожить всю литературу, направленную против демократической республики.

Нижегородская губерния. Во многих сёлах крестьяне усилили подвоз хлеба для уполномоченного и часто отказываются от денег.

... Ко всему трудовому народу: «Берегите святость и успех революции! Не превращайте великого дела социализации земли в самовольный захват её!»
(«Дело народа»)

... Надо признать: в крестьянстве ещё отчасти остались старые рабские привычки. Тут ещё держится в тёмных головах представление о царе-батюшке. Тем ясней: если монархия в Англии вредна, то у нас она чрезвычайно опасна.
(«Рабочая газета»)

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ! Не в пример своим западным сестрам, вы не пожелали замкнуться в эгоистические рамки своих личных женских домоганий, но влились в общую работу...

Воззвание женщин-работниц. До сих пор только отдельные ласточки присоединяли свой голос к хору борцов-пролетариев. Но теперь свободная гражданка-пролетарка предьявляет свои права. Один у нас идеал – социализм.

... в помещении гимназии Гуревича – студенты Бундовой группы...

... Бюро «Ценрей-Цион» приглашает товарищей и сочувствующих...

Среди сионистов. Резолюция общего собрания петроградской сионистской организации: «В светлые дни победы народной воли, мы, носители идеи возрождения еврейского народа, призываем русское еврейство всемерно поддерживать Временное Правительство в его освободительной творческой работе. Мы верим, что оно немедленно осуществит еврейское равноправие. Мы призываем к расцвету еврейской народной жизни в

России и к возрождению еврейской нации в Палестине.»

... В трудный момент, когда повсюду отсутствовала стройность освободительного движения, высоко и гордо поднял знамя Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. С первого дня своего конструирования он предстал как испытанный воин сознательных элементов... Он является и должен являться для нас руководящей звездой.

Петроградская группа Латышской СДРП

Объявление. В дни революции со многих автомобилей были сняты магнето. Надеюсь на честность и благородство граждан, автомобильный отдел ИК СРСД убедительно просит всех, тем или иным путём приобретших таковые, вернуть их в Государственную Думу, комната №13...

... Раненые воины лазарета №3 присоединяются ко всеобщему торжеству...

Керенскому, Чхеидзе. Горячо приветствуем вас, покоривших кровожадного вампира, которого следует познакомить с застенками крепости. Спасибо вам, что взяли в плен сильного немца, теперь Вильгельм нам не страшен...

Из Рогулей, уполномоченный...

Торгово-промышленные служащие (конторщики и приказчики) признают СРСД контролирующим органом над всеми действиями Временного Правительства...

Воззвание к торговому пролетариату...

Собрание «медицинского пролетариата» – фельдшеров, массажисток, акушерок, сиделок, санитаров...

... Постановили создать Всероссийский союз часовщиков...

... Состоялось общее собрание пекарей. Выражаем доверие идти рука об руку с СРД до Учредительного Собрания...

... Мастера сапожники, башмачники, заготовщики, чемоданщики, портупейщики – приглашаются на общее собрание. Не явившиеся будут считаться сторонниками старого режима.

Петроградские **дворники и швейцары**, собирайтесь в цирк «Модерн» для шествия в Государственную Думу. В единении сила!

Собрание дворников... Организуются в профессиональный союз. Первая задача – изъятие из своей среды реакционеров и тёмных элементов...

Первое собрание рабочего клуба. Ораторы часто уклонялись от темы и просто говорили о том, что хотелось сказать чуткой аудитории. Не всё, что они говорили, было вполне понятно собравшимся...

Просьба прислуг. Друзья-товарищи, вспомните и о нас, несчастных прислугах, которым приходится часто работать день и ночь. Мы, рабыни, живём без прав. Даже в церковь нам трудно попасть. Если попросимся, то наши властители отвечают: «Гм, в церковь? Что, сегодня день особенный?»

... Запасной батальон лейб-гвардии Литовского полка просит возвратить две походные кухни, взятые студентами 27 февраля...

634

Угловая гостиная имела окна на Сергиевскую и на Потёмкинскую. Через эти окна простым глазом была видна вся Революция: как она текла и толпилась вереницами к Таврическому дворцу, затем спадала, прекращалась, а последние дни опять многолюдно потекла. А ещё был – неумолчный дребезг телефона, приносивший вести с разных концов столицы, и всё от людей выдающихся. А ещё же – кто не считал за честь переступить порог этой квартиры и обменяться душевными эманациями с её обитателями? Хозяйкой этого драгоценного мирка была символистическая поэтесса, властного характера, с прямой высокой фигурой и глубоко погружённым взглядом, как переполненная тайнами и смотрящаяся в них. Затем постоянно присутствовал здесь её муж, почти уродливый, – поэт, прозаик, драматург, мыслитель, критик и публицист – несколько раскидистый в творчестве, но тоже если не гений, то с яркими признаками того. И почти так же постоянно пребывал там их друг, всего лишь только мыслитель, критик и публицист, но очень собранный, красавец, и с твёрдым взглядом. Мужчины были тёзки, одинаково звала их и хозяйка, но всякий раз, в трилоге или полилоге, было понятно, к кому обращаются или возражают кому.

А беседы лились тут эти три недели почти непрерывно: события настолько сотрясали, настолько багряно освещали души и горизонты, что онемели их перья всех троих: друг лишь иногда писал толковательные газетные статьи, муж – лишь иногда доправлял уже готовую пьесу о декабристах, а хозяйка не написала ни одного нового стихотворения, а переходя озарённо по комнатам, почему-то навязчиво повторяла своё старое:

*... в белоперистости вешних пург
Созданье революционной воли –
Прекрасно-страшный Петербург...*

Революционной воли императора-диктатора, не затхлого русского царя, взрыв святого мятежного духа на берегу балтийских волн, – и теперь как можно скорей должно быть стёрто позорное имя Петрограда, убогая славянщина, рабья кличка, пощёчина русской истории, и как можно скорее должен быть забыт кошмарный петроградский период с августа Четырнадцатого по март Семнадцатого. Ничтожный Николай был дан России мудро – чтоб она проснулась.

Свершилось! Нам оказалось суждено, что не удалось декабристам. Все праведные взлёты тут – 1 марта, 9 января, и вот вспыхнул пламенный столб и зажёг всю Россию! Мы жаждали чуда и оно состоялось! Что б ни случилось потом дальше – какое радостное время! в революционной подвижности всё кричит «вперёд!» Опынение правдой Революции! Печать богоприсутствия на лицах. Влюблённость в свободу, не дарованную, но взятую. Можно бояться, можно предвидеть и каркать – но этих наших предвесенних морозных белоперистых дней Революции уже никто у нас не отнимет. Огненная радость, красная и белая.

Эти три недели почти не выходя из квартиры, они были в душевном единении со всеми свобододолюбцами. Вихри революционных событий все тут прокручивались и прожигались через их души и под их окнами.

У поэтессы был совершенный мужской ум – и она властно охватывала все приносимые вестями события, прежде всего в их политическом единстве, уже потом – в их художественной наивности: и повелительные, хотя тупые воззвания Совета, и нежно уступчивую растерянность думцев. Раза два на четверть часа влетал сюда – кометой, гранатой! – распираемый счастьем Керенский, – изо всех политиков единственный на верной точке. Сюда, в квартиру на Сергиевской, телефонировали и заходили воспринять охватывающий свет – и политики, и журналисты, и секретарь Толстого, и деятели церковного отделения (скорей отделить этот груз от государства!), и конечно всех видов

искусств.

И хотя хозяйка успевала консультировать и направлять и политиков, и журналистов (и держала в сердце ещё рвущихся в Россию революционеров, как Савинков), – и она, и муж, и друг прежде всего были обязаны перед Искусством, ибо, в конце концов, его самостоятельный ход часто определяет и всю историю. Не всем видное трагическое действие – совершалось в Искусстве эти дни, и его последствия могли быть огромны для будущей России. Своё тройное внимание они должны были устремить сюда, и прежде всего, конечно, на театр. Прежде всего нужны были новые пьесы! – вот, пьеса мужа о декабристах, да и пьеса о Павле, прежде запрещённая, теперь обещала хорошо пойти.

Но, но. События мчались, уже 4 дня как театры возобновили спектакли – а в них, находил друг, до сих пор не возник новый пафос. Дни идут – и нельзя допускать, чтобы старая обывательская тина засасывала граждан Новой России. На афишах императорских театров орлы заменены лирой, в Мариинке сняли тёмно-синий занавес с двуглавым орлом – но это ещё не шаги того золотого века искусств, который теперь распахнётся над Россией. Сколько лет они трое ждали, жаждали и предсказывали революционный взрыв – но это ещё не он? «Да торжествует искусство, освобождённое от гнёта и произвола!» – телеграфировала Александринка Временному правительству, – но с чем же она сама вступила в революцию? С «Маскарадом». И этот спектакль вобрал в себя всю косность и рутину, которая уже не сверху давила нас, но сидит в нас самих. Спектакли, которым помешала уличная стрельба, в эти последние дни отдавались – и уже совсем новый революционный зритель видел вполне старый парад. И всё те же старые тянулись «У врат царства», «Шут Тантрис», «Честь и месть», «Шарманка сатаны», и та же двuspальная кровать на французских спектаклях Михайловского.

Но «Маскарад» стоил кардинального разговора – и уже несколько раз он вспыхивал в квартире поэтессы. Эту постановку режиссёр Мейерхольд готовил пять-шесть сезонов с умопомрачительной роскошью – и приготовили к самому дню революции! Бредовая фантазия, раззолоченный просцениум, колонны с золотом, фестоны на порталах, пышные занавесы, затканые серебром (из одного куска кружевной занавес – реклама фирме Лангарта), сияние зеркал, чертоги, бесчисленные вазы, ширмы, цветной водоворот неисчерпаемых костюмов, фасонов, неистовое изобилие шелков и бархатов, хаотическая пестрота, далеко перейдено всякое чувство меры, – а вся красота напрасна, ибо: где же Лермонтов? Без его души – зачем эта нагромождённость? Фальшива радостная гамма светлых тонов и спальня Нины голубенькая модерн, не соответственная её смерти. Не жесты, а ритмические движения, не шаги, а па, исполнение кукольно-безжизненное, нарочитое, нет мрака души Арбенина, не леденит Неизвестный и на ультрасовременном балу даже не заметна потеря браслета. Мейерхольд претенциозно нагромождает трюки и завершает их в финале безвкусным спуском траурного флёра с розовым венком и проходом маски мертвеца. Вот с какой пустотой пришёл к революции императорский театр!

Но и каков же шарлатан Мейерхольд! Обласканец директора императорских театров, казённый клевет с синекурой в Александринке, – в эти революционные дни вдруг совершил опередительное изворотливое па – и в прошлое воскресенье на митинге искусств яростно напал на «Мир искусств» уже с революционных позиций: что они узурпаторы, хотят захватным путём стать вершителями судеб русского искусства, примазаться к новому ведомству и с вожделием ждут освободившихся роскошных казённых квартир! И с такой дерзостью и быстротой Мейерхольд совершил своё нападение, что большинство артистов, сидевшее на митинге, зашумело и заплодировало ему против «узурпаторов» – и Бенуа не решился отвечать. И ещё Люба Гуревич подхлестнула в газетных статьях: что нам прецеденты мировой истории, если мы творим новую жизнь? (Мысль вообще-то верная.) Художники привыкли творить каждый в своём непроветриваемом углу, а пришла пора включаться в широкую народную жизнь! (Тоже не без верности.)

И сегодня в квартире на Сергиевской как раз побывал Бенуа, растерянный и смятый. Он уронил себя в глубокое кресло:

– Да наверно и так. Мы не успеваем за историческим мигом. Русскому богатырю, так долго сидевшему сиднем, мы должны учиться говорить правду просто и сильно – но не визжать и не мешать ему додумать свою думу. А мы, русское искусство, все немного калеки. Мы попорчены чудовищным периодом царизма. Не всем нам уже выпрямиться в рост. У нас нет простоты национального чувства. Но если даже в сумерках царизма – такие пышные цвели таланты, то что же вырастет теперь, на заре!...

Да, какие-то сильные решения должен был принять штаб искусства на Сергиевской! Теперь, когда как будто укладывался политический кризис, но так нервно пульсировал шар Искусства, – их три пера должны были проявить себя с новой силой. И муж – всё доделывал пьесу о декабристах, а друг – стал чаще посылать в газеты новые статьи. В том и величие совершившегося, что это – единый всероссийский порыв. Теперь – надо работать со сверхчеловеческой энергией.

Ушёл Бенуа – и вскоре раздался очень резкий дверной звонок. Так и ёкнуло сердце, не обмануло: да это друг наш Керенский! душа Керенский! – не предупредивши телефоном – влетел ракетой – сияющий, впопыхах – автомобиль ждёт на улице, но, проезжая мимо, не мог отказать себе запорхнуть на пятнадцать минут!

Неудержимо поцеловались с хозяйкой, по привычке политического единомыслия. Пожал руку мужу и другу. И разбросив руки как крылья подстреленной птицы, свалился в кресло, где только что сидел Бенуа.

Хозяйка, всё такая же негибно прямая, но с потеплевшими глазами, села через круглый низкий столик от него и смотрела с тревогой. С его узкого бледно-белого лица и никогда не сходили следы нездоровья – и сейчас это не восполнялось энтузиазмом на подвижном трагичном лице Пьеро. Даже бледная зелень виделась в коже обнажённых щёк.

– Алексан Фёдыч, дорогой, ну что? ну что? Ждём от вас, как всегда, новостей.

– А я, как всегда, – додохнул он, – жду от вас успокоенья душе!

– Что вы делали в Финляндии? Да когда же вы успели вернуться?

– Что делается в вашем министерстве?

– Как ведут себя цензовики в правительстве? Подло?

– Поздравляем с отменой смертной казни!

– Правда ли, что уже совсем готово равноправие евреев?

– О господи! Готово! Этот указ – наша гордость! Ах, если бы я успевал вместить в себя всё, что я успеваю сделать и сказать! Но это происходит почти раньше меня и почти помимо меня! Нигде, кроме вашего чудесного уголка, я не успеваю вздохнуть и...

Он совсем затих, бессильной дугою. Его верхняя губа ребячески оттопырилась в жалобе.

– Что будете пить?

– Всё равно, что подадите, – весь отдышал он. – Я только на пятнадцать минут. Гонят дела! Сегодня вернулся из Финляндии – сегодня же выезжаю в Ставку.

– В Ставку?? Да зачем же? Да неужели и этого не могут без вас? Алексан-н Фёдыч!?

– Не могут. Увы, ничего они не могут.

Друг спросил, когда будут похороны жертв революции, но Керенский то ли забылся на миг, то ли отдался нирване, не в состоянии был ответить, – но веки его не были полностью смежены, чуть покивывая, показывая, что он слышит, что он слушает настойчивые убеждения склонившегося к нему друга:

– Мы надеемся, вы не допустите, чтоб эта церемония потеряла хоть гран торжественности. То, что мы пережили с 1825 по 1917, настолько ужасно, а с 27 февраля по 2 марта настолько чудесно, что обыденные похороны не могли бы удовлетворить народного чувства! И не забудьте: это будут первые на Руси похороны без попов. И мы хороним как будто не только этих, но и всех, отдавших жизнь прежде. Нам надо предаться этой скорби, чтобы потом ещё полней отдаться радости. Они выпили за нас чашу мученичества, чтобы нам открыть чашу радости. Ставьте им памятники, создавайте легенды!

Так, так. Но – что в Финляндии?

Керенский глубоко, облегчённо вздохнул, глаза его раскрылись полностью и он ответил наслаждением:

– В Финляндию я ездил поддержать узы дружбы наших наций. Приветствовать их свободу. Толпы, толпы... Речи... Тюльпаны к статуе Рунеберга. Целовался с главой правительства... Ну, и вообще мне там приятно, ведь они меня вылечили... Ну, народный дом, переполненный... Потом – корабли, беседовал с командами... О, как я безмерно устал!...

Едва с балтийских кораблей, так измучен – и уже ехал в Ставку! – поэтесса не могла чего-то здесь охватить. Но она понимала, что Керенского ведёт художественное вдохновение. Его сияющую фигуру она благословляла с первого дня Революции.

– Боялся, что из-за этой поездки пропущу, не встречу Бабушку. Но она опять задержалась в пути. Не дождусь, когда буду её всюду возить и выступать вместе. Надо поддержать связи с эсерами, а то против меня с той стороны копают. Ещё Чернов приедет... Куда не успеваю, посылаю Зензинова...

Число мест и число дел превосходило человеческие возможности.

– В министерстве? – не забыл и других вопросов Керенский, после глотков ледяного сока. – С вялой нежностью: – Ну что ж, освободил Горемыкина и Голицына...

– Не опасно?

– Да нет, старики никудышные. Очень хлопотала Сухомлинова – ей отказал. И Макарова – ни за что не отпущу, он мне ответит! Вот вернусь – буду старших охранников хоть сам допрашивать.

– А царь – останется под арестом?

– Да какой это арест! – отфыркнул Керенский длинными губами, они у него и беспощадно умели складываться. – Узникам дают общаться друг с другом, какое ж тогда следствие? Вот на днях заберу охрану в министерство юстиции, тогда разделю царя и царицу, чтоб они совсем не виделись, как полагается, – вот тогда мы кое-что узнаем! – Оживился. Но ненависти не было в его голосе. – Тогда, может быть, и выследим «дело Царя». Дело Царя!... Да я должен увидеть их сам. Поеду вот в Царское к ним, нагряну!

Чего не хватило во Французской революции: не явился Робеспьер к Людовику сам!

– Чем более революционным будет правительство в методе своих действий, – внушал друг, – тем большую устойчивость оно приобретёт.

– В такой буре – пойдите, сохраните устойчивость! – горько отозвался Керенский, всё ещё бледный. – Послал судебным палатам приказ: кому это удастся, пока по возможности не освобождать уголовников. Ведь что делается: в тюрьмах посжигали дела, теперь никого не знают, у кого когда конец срока, все говорят – на днях. Теперь всё равно неизбежно давать большую общеуголовную амнистию: кому тюрьма – всех освободить, каторжные работы – снять половину. Скоро дадим амнистию, какой не бывало ни при одном царе!

– Но отчего, отчего ваши министры все такие нежные? – с волевым переливом спросила неуклонная поэтесса. – Почему среди министров, кроме вас, попросту говоря – нет мужчин?

Керенский перебрал длинно-волнистыми губами:

– Не говорите, друг мой. Я сам среди них – просто изнываю. Да! – вспомнил, и ещё на ступень оживился, и обратился к поэту-мужу: – Зачем я приехал? Я же приехал заказать вам популярную брошюру о декабристах – ведь вы же дышите ими, вам легко. Напишите скорей! И напоминайте, и выявите, что декабристы были – офицеры! Это сейчас очень пригодится, это может смягчить трения в войсках. А Сытин закати тираж тысяч сто!

Муж воодушевился, друг во внимательных очках заинтересовался, – но хозяйка продолжала свой важный вопрос:

– А как министры восприняли последний манифест Совета?

– Никак! – возмущался Керенский. – Разве рыбы могут что-нибудь воспринять, не воспринять?

– Но я нахожу... но мы тут находим, что... Манифест – ничего. Конечно, язык

эсдечный и есть подозрительные места. Но он возглашает как бы мир без победы? Это красиво. И при этом не зачёркивает войну как субстанцию, как мы её понимаем, символисты: не в грубо прямолинейном смысле всеобщего истребления, но как жертвенное крещение, экстатический подъём, очистительную жертву вселенского костра, в котором и выявляется Мировая Красота. А вы – это понимаете? разделяете?

– Ах, ах! – страдальчески обжал Керенский локтесогнутыми руками свою огурцовую голову. – Эти идиоты просто предают западные демократии! Мне стыдно будет смотреть в глаза французским социалистам, которых я так заверял в нашей верности!

Он оглянул их троих – и испугался их торжественных, загадочных, философических лиц. И в испуге – вскричал, чтоб эти исторические сфинксы услышали! И – вспрыгнул из кресла, и забегал по гостиной, вцепляясь в свой короткий бобрик:

– Исполнительный Комитет – это кучка фанатиков, а вовсе не Россия! Мне нечего делать с этим Исполнительным Комитетом! И с этим правительством размазнёй мне тоже нечего делать! А между тем, не пришлось бы правительству уйти под давлением сепаратного мира, как нажимают тупицы Совета! И что будет с Россией?

И – упал-наклонился к шкафу, как к скале, на его ребро, провисая спиной в глухом френче:

– А вот ещё приедет скоро сумасшедший Ленин – что будет тогда? Я для него – шовинист! А? А??

635

В комнате Исполнительного Комитета за все дни так и не прибили вешалки – и шубы, пальто наваливались на диване, на скамье в углу, и там всегда кто-то возился, разыскивая своё. А пустым шкафом задвигали, чтоб не было прямого ходу, дверь в соседнюю комнату солдатской Исполнительной комиссии, в неё тоже уже навывирали несколько десятков человек. А председатель её поручик Станкевич был и там, и тут.

А сколько состояло членов в Исполкоме – наверно и Чхеидзе не знал точно, они всё что-то добавлялись, то из эмиграции, может быть секретариат успевал знать, потому что каждому члену ИК был выдан красный билет для свободного прохода всюду в Таврическом. А вот Пешехонов и Мякотин, наиболее близкие Станкевичу по право-социалистической ориентации, войти в ИК не захотели, не признавая законности Советов. И седовласый патриарх народников Чайковский, хотя зачислен в ИК, а почти не бывал. И симпатии Станкевича склонились к группе так сказать «правых» здесь – Гвоздеву, Брамсону и Богданову. А ещё ж сюда доизбрали и солдатских депутатов – пяток писарей во главе с Завадьей и Бинасиком, присяжным поверенным. Да ещё была пара военных чиновников от Совета офицерских депутатов, не смевших на Исполкоме и слова сказать. А Капелинский от простого секретаря поднялся в заведующего секретариатом в трёх комнатах, а просто на протоколах сидели у него Перазич и Суриц, тоже не простые писаря, а какие-то партийные, давно кому-то знакомые.

Приезжающие фронтовые депутации иногда допытывались: как Исполком возник и из кого он состоит. Создалось неудобное положение, потому что непартийным людям трудно объяснить традицию революционно-партийных представительств, при которых примитивные общие выборы совсем не обязательны. Да многое было, о чём Исполком не хотел бы дать знать наружу. Он издавал директивным тоном громогласные на всю страну решения – но как они родились тут, оставалось его тайной. Он ни единый день не выполнил своей повестки, под напором внеочередного принимал решения второпях. Изображаемой уверенности в вождях демократии не было, мнения их менялись с большой быстротой, от уходов-приходов сильно менялся состав заседающих – и настойчивый член мог подловить нужный момент случайного большинства для нужного ему решения. А самым настойчивым оказывался Нахамкис, как второй стоячий председатель он переставал и подминал под себя, да ещё ж выходил к делегациям и полкам речи держать – а речи те, как вслушался

Станкевич, были многословной пустотой и тупым повторением, что внутренний враг ещё не сломлен и эта подозрительная гуманность погубит революцию.

Но больше: что б там на Исполкоме ни было решено, а по стране разносился даже не его голос, а трубный голос «Известий», четверть миллиона порхающих газетных листов, и это был собственный голос Нахамкиса, захватившего «Известия» с тем же самоуправством и безответственностью. Подбор статей и тон их были безобразны, часто голос «Известий» не отличался от самого грубого голоса «Правды», а «Декларацией прав солдата», напечатанной вовсе не как проект, переколыхнули всю армию.

Да десятки членов и нечленов вообще самовольно действовали от имени ИК: на бланках с его печатью рассылали разрешения на грабёж имений, как Александрович, или с мандатами Совета и не считаясь с его постановлениями разъезжали по провинции и фронту. А Скобелев требовал предоставить Совету Зимний дворец.

Таков был тот Исполнительный Комитет, в который Станкевич сознательно пришёл и осваивался тут, видя в нём опору для решений и действий. Но – здесь ли она была?

Во глубине России, по новой моде, возникали такие же неведомые, не сосчитанные и неизвестно как выбранные советы, советы – и слали запросы петроградскому Совету, какой же тактики придерживаться? как относиться к Временному правительству? как...? (А минский Совет слал телеграмму: отвяжитесь, не вмешивайтесь в наши дела!) Петроградский Исполком и хотел бы руководить всеми этими местными советами, да не успевал справиться. И всё чаще говорили, что надо бы ещё в марте собрать Всероссийское совещание Советов.

Станкевич всегда был натурой не только деятельной, но направляющей. Он не мог быть пассивным свидетелем хаоса. Высшая задача была: из какого-то опорного центра опередить разлив анархии, не дать ей развалить армию и Россию! И когда он сидел в бурлении двухтысячного Совета – ему казалось: нет, тут толку не будет, действовать только из ИК. Но с презрением наблюдая бестолковое прозябание ИК, его страхи перед конфликтами с рабочими и с таинственным фронтом, как бы он ветром не сдул их тут чертовщинную слаженность, и как ёжились перед распахнутыми лицами фронтовиков; и слушая жалкий жаргон здешних циммервальдистских формул и как они запутались с этой империалистической войной, что о ней думать, и скорей же надо её кончать, и нельзя же стать лёгкой добычей Гогенцоллернов, – Станкевич откидывался: нет! даже с громоздким солдатским сборищем можно кашу сварить надёжнее: оно благоразумней своего Исполкома, потому что солдаты, по крайней мере, стихийные патриоты, их безграмотная толпа настроена здоровей и дружелюбней.

А тут – участились фронтовые делегации. И перенимая общую самовольщину Исполкома – Станкевич, на то не уполномоченный, стал к ним выходить и решать армейские вопросы. Едва ли не каждая фронтовая часть уже слала или хотела прислать свою депутацию в Петроград: узнать, понять, что тут делается – как может существовать две власти (иногда спрашивали о судьбе царя). Но – высказаться и самим. И высказывания их были самые не циммервальдские: готовы до последних сил бороться! ни пяди не уступим врагу! армия не потерпит мира с Германией! мы не хотим, чтобы жертвы прошлых лет окончились ничем, и это позор для России! всё для войны! Мы 24 часа под снегом, дождём и ветром – а как будет работать тыл? и он должен идти на те же жертвы! Боимся только одного: что нам не дадут кончить победой! Мы под пулемётами врага не хотим купить своё личное спасение позором России! Неужели новая Россия заклеит себя изменой? И даже: не трогайте Армию, не мутите её вашими крайностями! Пусть тыл спасёт нас от провокаторов-агитаторов, а мы спасём его от немцев!

И эта обратная фронтовая волна, прикатившая в ответ на посланную туда волну разложения, – несла надежду! С этими фронтовыми делегациями Станкевич освежался от затхлого воздуха Исполкома и снова узнавал себя (военных лет), свою армию и свою Россию. Может быть, эти делегации и не выражали истинно того, что медленно проваривалось сейчас в дремучих низах армии: делегации могли быть посланы инициативными, энергичными, достаточно просвещёнными группами. Но от этого они не

переставали выражать возможную энергию армии. Эту обратную здоровую волну надо всеми силами поддержать! эту энергию возглавить и направить. Ещё армия здорова! – но нельзя терять этот короткий момент – надо выйти ей навстречу честной, открытой и нераздвоенной революционной властью!

А с первых дней революции появился обычай посылки во все места *комиссаров* – сперва от Думы в обезглавленные министерства, смятенные губернии, разъяснителями на фронты. Но если бессильная Дума так посылала, то не стократно ли успешней может послать Совет с его реальной властью? Посылать теперь не временных, но постоянных *военных комиссаров* Совета – состоять нашими советчиками и направлятелями при самом военном министре, при Ставке, при штабах фронтов, флотов, да пожалуй и всех четырнадцати армий? В момент, когда раскололась власть и на фронтах плохо понимают события, – такие мостики военных комиссаров всё соединят в жёсткую конструкцию: незамедлительно передавать директивы, быстро решать все армейские вопросы, предупреждать ошибочные шаги командующих, но и руководить политической деятельностью в войсках и всей системой солдатских комитетов так, чтоб они не вели к развалу. Право же, это было здорово задумано!

И со своими офицерами-депутатами подготовив доклад, Станкевич вчера застиг Исполком врасплох и получил предварительное согласие, записали в протокол.

Так – наступит ли эта твёрдая конструкция? Можно ли её соорудить нетвёрдыми руками? В Исполкоме в ту минуту, может, сложился случайный состав. А ведь это ещё надо провести и через правительство?

Сегодня в комнате Исполкома было меньше обычных заседающих, зато натаскано много знамён, венков и плакатов: как раз на сегодня назначались грандиозные похороны жертв революции на Марсовом поле, но в последний день отменили за неготовностью. А всё натасканное пока останется здесь, придавая заседаниям Исполкома торжественно-траурный вид: то рабочий, разрывающий цепи на фоне восходящего солнца, то погребальные венки.

И как раз в эту странную обстановку явился совсем неожиданный гость: министр финансов и миллионер, разодетый и даже благоуханный Терещенко. Заседание уже кончилось, но Станкевич остался посмотреть.

Это был первый министр, который явился поклониться Исполнительному Комитету! – Исполком всё же не рискнул бы вызвать министра. До того молодой человек – тридцати лет ему не было, не старше Станкевича, и до того с услеженной наружностью, без усов, без бороды, по-европейски подстрижен, костюм от лучшего портного, уголок носового платка из нагрудного кармана, крахмальный воротничок, бабочка, сияющая улыбка (а глуповатая), – а вокруг по всей комнате черно-красные ленты: «вы жертвою пали».

А из Екатерининского зала доносится марсельеза и вопли, принимают очередной гвардейский полк.

По чьей бестактности этот сахарозаводный наследник и принц киевских шантанов стал революционным министром? Уж после этого ничего более экстравагантного он не мог выкинуть, ни даже вот явись в Исполнительный Комитет. А явился – кажется только познакомиться и показать свою обворожительность? Обходил, любезнейше жал руки членам, рассыпался в комплиментах, давал понять, что он тоже читал отцов социализма. Как болтовню наполняют светскими мелочами, так он рассказывал тут, что уже перестраивает государственный бюджет на демократических началах. И о чём только просил: прислать к нему в министерство нескольких советских, помогать в этой работе.

Власть! – наша революция давала задуматься о ней. Ведь как будто революция и производится, чтобы свергнуть одну власть и утвердить другую. Но – странное впечатление вызывал вот такой министр, да и коллеги его: как будто они робели перед властью, не понимали её и себя в ней.

Но так же диковаты были и эти революционные пиджаки, которые вот раскланивались с благоуханным министром. Сами-то они брать власть не хотели никак, а «пусть либерализм обанкротится перед лицом широких масс». (И: чёрт его знает, чем ещё кончится эта революция, и эта война, и эти двенадцать миллионов под ружьём, что с ними делать?) Сам

Исполнительный Комитет брать власти не хотел ни за что – но связал и правительство так, чтоб оно не имело власти.

Но непонятно осталось: зачем же Терещенко приходил?

А вот что: ведь ничего не сказал о 10 миллионах рублей Совету!

И как-то опешили от его ласковости, никто и не спросил.

636

(армейские фрагменты)

* * *

В Особой армии в гвардейском стрелковом полку Его Величества солдаты отказались спороть с погонов царские вензеля. Генерал Гурко приказал: не принуждать солдат.

* * *

В Каменец-Подольске, где штаб Юго-Западного фронта, генерал Брусилов собрал в обширном Народном доме митинг из солдат и офицеров. Из его речи присутствующие узнали, что Брусилов никогда не любил династии, как ни украшал его бывший царь орденами и аксельбантами, купить его ласками было невозможно, – а всегда оставался верен народу. И что ему всегда претила надоедливая церемония отдания чести, он рад от неё отделаться.

* * *

Командир 22-го армейского корпуса генерал барон фон-Бринкен в момент принесения его корпусом присяги Временному правительству внезапно упал перед строем: умер от разрыва сердца.

* * *

Как теперь понимать отменённую присягу? Кое-где дошло до драки между частями присягавшими и неприсягавшими.

* * *

Батальон из резерва повели вечером работать на передовую линию. По дороге в темноте кто-то закричал: «А что нам идти башку подставлять, что мы, дурные?» И другой: «У всех слобода, а нам башку подставлять?» Офицеры всё же уговорили. Но когда прошли всю дорогу – и всю по грязи – солдаты окончательно отказались. И весь батальон отправили назад в резерв.

Ещё через ночь их водили уже в другое место, по сухой дороге. С перекурами, с переговорами добрались к работам перед полуночью. Повозились малость – и через два часа пошабашили.

А ещё на следующий вечер сказали: «Там на рабочем месте грязь.» И не пошли.

* * *

И две роты 14-го Финляндского стрелкового полка отказались идти на работы, днём. Начальник дивизии генерал-лейтенант Селивачёв, небольшого роста, а с длинным лысым черепом, сам отправился в лес к этим двум построенным ротам, поздравил их с принятием присяги и предложил рассказать, как они её понимают. Вышел унтер-офицер и доложил: раньше они дрались за немцев и предателей родины, а теперь – за счастье свободной России. Генерал громко спросил, согласны ли роты. Ответили, что согласны. Тогда он объяснил им, что долг и повелевает драться при всех условиях. Обещали работать безропотно.

Ещё спросил: а слышали ли они, что некоторые мутят слухами о выборе себе начальников? Так вот, он предлагает им выбрать вместо себя начальника дивизии, на что даёт им четверть часа. Отъехал с офицерами, через 15 минут вернулся: готово? В один голос ответили: «Только вас, господин генерал, ваше превосходительство!»

Тогда генерал объяснил, почему им трудно выбирать себе начальников, не зная ни жизни их, ни военных познаний.

* * *

Высокопоставленный генерал из штаба фронта поехал сам уговаривать полки, отказавшиеся занять окопы. Вдруг один солдат с безумным видом кинулся к нему, выхватил шашку из генеральских ножен, взмахнул над генералом!!! – и воткнул в землю рядом. И в истерике закричал: «Клянёмся генералу, что поддержим порядок!»

* * *

На митингах требуют: убрать из офицеров, кто с немецкими фамилиями. И просто строгих. И – на кого покажут, скажут. Некоторые младшие офицеры, прежде в чём-либо оскорблённые, теперь удобно сводят счёты с обидчиками, старшими чином: одни – через подставных унтеров, другие сами произносят зажигательные речи.

На одном таком митинге слушал-слушал старый офицер и спросил: а как теперь будет с пенсией за беспорочную выслугу лет?

Оратор с трибуны показал ему кукиш под гогот солдат:

– Фигу тебе в нос, а не пенсию, прислужник старого режима!

* * *

Исполнительный Комитет Совета Солдатских депутатов 8-й армии (Каледина) составил из: двух врачей, одного военного чиновника, одного служащего Союза городов и лишь одного солдата. Переполошился затеей офицеров, чиновников и врачей создать в Черновицах свой отдельный союз; объявили «черносотенной затеей» и «контрреволюцией», «тёмным делом». И натравливали солдат на тот офицерский совет.

* * *

Ахтырский гусарский полк посылал в Петроград своего унтер-офицера «для осведомления». Тот вернулся и доложил своим:

– Совет солдатских депутатов состоит из солдат, никогда не бывших на фронте. Да ещё из дезертиров – законных и незаконных. А в госпиталях там раненые требуют давать им не чёрный хлеб, а только белый.

* * *

В Петрограде готовились к похоронам «жертв революции» – то есть павших для её торжества. Не хватало трупов. Из лазарета гвардейского Московского батальона собрались везти убитого капитана Фергена... Полковая дама узнала, возмутилась, вывезла его труп из лазарета и похоронила на Успенском военном кладбище.

* * *

В Кронштадте над кораблями и домами – вперемежку андреевские и красные флаги. Строевые занятия как будто возобновляются, но сильно не хватает офицеров, зато много комитетов и комиссий. Приезжали от Петросовета Скобелев и Муранов, было революционное вече на Якорной площади. Кронштадт «согласен поддержать СРД и Временное правительство *постольку, поскольку*». С 15 марта выходит большевицкий «Голос Правды» в тысячах экземпляров. На гарнизонном собрании в манеже большевики выступают один за другим: «Для рабочего класса и крестьянства революция только начинается!» Военные оркестры играют интернационал.

* * *

13 марта 710 полк ополченской 178 дивизии близ г. Рогачёва оказал сопротивление при посадке в эшелон, ехать на фронт. Только после прибытия начальника дивизии офицерам удалось построить солдат и посадить в вагоны.

Два эшелона 445 пехотного полка отказались ехать на позицию: «Воевать хотим, а на позицию не желаем, дайте отдых месяца два!»

* * *

16 марта в Твери генерал Чеховской, которого Совет солдатских депутатов избрал бригадным генералом, явился в канцелярию запасного пехотного полка за городом и вёл беседу с офицерами. Вошли трое вооружённых солдат:

– Генерал! Нам приказано вас арестовать! Следуйте за нами на гауптвахту.

Никакой бумаги не было предъявлено, но генерал беспрекословно подчинился. Ни один присутствующий офицер тоже не возразил ни словом.

Конвой из 12 солдат повёл его, впереди отдельно. Со стороны другие солдаты и штатские стали бросать в генерала камнями. Одним из них раненный в голову, генерал Чеховской упал. На него набросились и добились камнями – без помех от конвоя и даже при участии его.

* * *

728 пехотный полк пожелал видеть своего начальника дивизии в 2 часа ночи. Затем пережелал и согласился на следующий день. К его встрече полк был выстроен в полном

составе, с офицерами. Уполномоченные от солдат, под шумные восклицания всего полка, заявили, что просят разрешения послать четырёх депутатов от полка в Петроградский Совет, чтоб узнать, что там у них делается, и сделать им свои заявления.

Уже было соответствующее разрешение по корпусу, и начальник дивизии согласился.

Затем полковые уполномоченные выразили, что их дивизия уже месяц стоит на позиции, а другие дивизии корпуса давно отдыхают в Двинске, – и пусть теперь те дивизии поработают в окопах, а без этого и наша на позицию не пойдёт. И ещё они заявляют, что те части в Петрограде и городах, которые ходят по улицам и вывешивают флаги «война до полной победы!», – должны быть поставлены в окопы и испытать на себе, как победа достигается. А нам, послужившим на войне, стать вместо их.

Начальник дивизии генерал-майор Попов четыре часа кряду уговаривал, разъяснял, убеждал (как уже и, с 1 марта, каждодневно беседовал во всех частях), – ничего не добился. Солдаты настаивали, чтобы спешно было доложено командиру корпуса и командующему армией, и дать им ответ.

С каждым днём недоразумения всё чаще – по пустякам, а по характеру грозные. Солдаты озлоблены. Уговорят по одному случаю – вспыхивает по другому.

* * *

В 26-м корпусе из дивизионной инженерной роты пришла анонимка командиру корпуса генералу Миллеру – донос на дивизионного инженера, что он не позволяет роте читать газеты, передаёт не все распоряжения Временного правительства и вообще является приверженцем старого режима, а поэтому рота настаивает убрать его и заявляет, что не будет ему подчиняться.

Начальник штаба корпуса поехал в ту инженерную роту. Дивизионный инженер, высокий худой старик, оправдывался: «А зачем им газеты? Что они из тех газет поймут, идиоты? Россия – некультурная страна, и вся революция в ней – дурацкая затея от начала до конца.»

Уволили его тотчас, рота кричала «ура». Но за дивизионным инженером и старший офицер роты подал рапорт об уходе, по мнимой болезни. А рота стала требовать сместить и прапорщика, и фельдфебеля.

* * *

А в одной дивизии 18-го корпуса взбунтовался перевязочный отряд: потребовал, чтоб над ним не было никакого воинского начальника, а медицинский персонал сам бы самоуправлялся.

* * *

В 144 Каширском полку, известном нам по Хохенштейну, где лёг он наполовину, задерживая немцев, и командир был убит при знамени, а другие попали в плен, – в этом новом полку со старым названием теперь арестовали командира полка и полкового адъютанта. Через день, однако, освободили.

* * *

В одном полку на Западном фронте арестовали сразу 17 офицеров, начиная с полкового

командира и до прапорщика. Обвинили всех в измене: какой-то денщик слышал разговор офицеров: «Такой кабак с правительством – хоть бери чемодан и иди к немцам.» К счастью, приехавший депутат Государственной Думы Щепкин убедил солдат отпустить арестованных. Но начальник дивизии вынужден был взамен этих офицеров дать в полк других.

* * *

В гвардейском Московском полку на фронте третья рота самочинно построилась без оружия, и фельдфебель подпрапорщик Кузнечихин доложил командиру роты штабс-капитану Климовичу 3-му, что рота просит его выйти к ней. Он вышел к ней, поздоровался. Но вместо ответа они по знаку фельдфебеля объявили, что не желают, чтоб он командовал ротой дальше. Климович отправился к командиру батальона с докладом о происшедшем – тем временем рота, смяв ряды, бросилась к землянке, где помещался подпоручик Костылев, объявила ему, что выбрала своим командиром, и стала качать при криках. Климовичу осталось отправиться в обоз 2-го разряда.

* * *

Скомандовали солдатам, что будет полковой парад. Куда его ещё заведут? Не поверили – и зарядили боевые патроны.

В одном полку требуют 8-часового окопного дня. В атаку не пойдут, так как этой земли им не дадут.

В другом: «Хотим домой! Хотим попользоваться свободой и землицей! Зачем нам теперь калечиться? Шибко ужасно умирать при таких открытых дверях в России!» Потом уступили: ладно, стоять в обороне будем, но в наступление не пойдём.

Через лавочника солдатской лавки один полк передал другому угрозу: в наступление не ходить, откроют фланговый огонь.

Восемь разведчиков бросили винтовки и перебежали к противнику. («Теперь слобода, не накажут.»)

В германских листовках: Германия сочувствует государственному перевороту в России, отказывается от вмешательства в её внутренние дела и от наступления на русском фронте. «Англия желает воевать до бесконечности и чтобы русский солдат служил ей пушечным мясом. Свергните постыдное иго англичан!»

А Юго-Западное интендантство как раз в эти недели ухудшило выдачи: ржавые селёдки, худая солонина, чечевица. Громче кричали на митингах: офицеры это нарочно делает, чтоб нас опять вогнать в нижних чинов!

* * *

Уже и такое поползло: офицеров бы кончить, денежные ящики разбить, деньги поделить поровну – да и по домам.

Поделить ротные деньги? Солдаты из хозяйственных мужиков оспаривают: не делить, ещё всей роте нужда будет.

Солдаты в землянках целыми днями режут в карты. Командующий 4-й армией генерал Рогоза запретил и генералам и офицерам играть в карты до конца войны – чтобы только солдаты не играли.

Так всё равно будут.

* * *

В 109 пехотной дивизии нашлись такие развитые-грамотные, что в резолюции написали: установить солдатский контроль над операционными частями штабов. Установить в стране единый прогрессивный подоходный налог, как требует солдатская масса. Конфисковать помещичьи, монастырские и удельные земли. И – пора приступить к мирным переговорам.

* * *

В Брянске вспыхнул бунт гарнизона. При командующем 10-й армией генерал для поручений Марков поспешил в кипение совета военных депутатов, бурно выступил там, добился постановления: освободить 20 арестованных офицеров и восстановить дисциплину. Но после полуночи несколько вооружённых рот двинулись на вокзал расправиться с Марковым и освобождёнными. Толпа бесновалась, положение отчаянное. Марков, перекрикивая гул:

– Да если был бы тут один из моих железных стрелков, он бы вам сказал, кто такой генерал Марков.

Из толпы голос:

– Я – из 13-го полка.

Марков, расталкивая солдат, к нему и за ворот шинели:

– Ты? Ну так стреляй. Пощадила пуля в боях – пусть покончит мой стрелок.

Толпа взмыла восторгом. И под «ура» отпустила его с освобождёнными в Минск.

* * *

Покорнейше просим в нашем 13-м тяжёлом артиллерийском дивизионе полковник Биляев, родственник бывшего военного министра Биляева, убрать, который распространяет слухи, что неверте свободе эти люди сегодня красный флаг, а завтра чёрный и зелёный. Депутаты являлись, но как запуганные старым режимом боятся говорить правду. Ещё командир 3-й батареи капитан Ванчехазе, сын Арестованного генерала Ванчехи, разгневанный выстроил всю батарею и говорит, что я Вас подведу под самые пули, что некого не останется, наказывал солдат безовсякой вины, которое могут подтвердит вся батарея, что он изменник Государства, и покорнейше просим убрать нашего внутреннего врага Ванчехазу за старое истязание.

637

По желаньям, выраженным из Петрограда, генерал Алексеев понял, что Гучкову сегодня не надо устраивать никакой торжественной встречи, а министрам завтра – напротив, надо. И он отдал распоряжение собрать завтра на вокзал штабных офицеров и публику, а сегодня поехал к полудню встречать Гучкова лишь с Лукомским и Клембовским.

Это и лучше, что Гучков приезжал прежде остальных министров, отдельно. Наперёд выступал не политический разговор, очень неприятный, но профессиональный военный.

На перрон всё же стянулось немного публики, кто узнал. Поезд остановился – из гучковского вагона вышло двое юнкеров-павлонов и стали часовыми у входа, отлично держась. В окнах виднелись полковники, сопровождавшие министра.

Алексеев вошёл в вагон, волнуясь: ещё живо было в памяти, как Гучков едва не погубил его прошлой осенью перед императором своими необузданными письмами, так что

на некоторое время даже само звучание его фамилии становилось генералу неприятно. Не виделись больше года – и вот он приехал в Ставку не скромным краснокрестным представителем – а в полной власти. Да он и раньше казался Алексееву человеком необыкновенным – своею всероссийской славой, отвагой, своею противотронной дерзостью. Поэтому и сейчас не было ревнивого чувства, что это – штатский выскочка, занявший пост военного министра. Алексеев с тревогой ожидал, как на него Гучков посмотрит и что первое скажет.

Гучков сидел над бумагами в салоне-канцелярии, образовавшемся от разгородки двух купе. В полувоенном френче, а вид усталый. Поднялся без всякой военной подтяжки.

Алексеев отрапортовал с рукой при козырьке. Пожали руки запросто. Немного полегчало: вид у Гучкова был не для разноса.

Сказали по несколько слов. Несколько слов после таких событий! Всё ничтожно, невыразимо, неперечислимо, а сколько уже отпечатано на текущих лентах аппаратов...

А поздравление с занятием министерского поста – как-то не выговорилось.

Но и, встречно, никакого сочувствия уязвленному Советом положению Алексеева Гучков не высказал. И унижительно было бы жаловаться ему на Совет? А может быть, это и значило, что не надо обращать внимания на газетные статьи?

Гучков представил несколько своих чинов. И – корреспондента «Таймс», зачем-то сопровождавшего его вместо русского.

Фельдфебель павлонов выстроил свою чёткую четвёрку у выхода – и это был весь караул. Проминаясь, Гучков вышел на перрон, пожал руки Лукомскому, Клембовскому, не добавил ничего – и все пошли, сели в моторы.

Этот путь по Днепровскому проспекту за последние недели с разным настроением проезжал Алексеев – то в темноте, то днём, встречая, провожая царя, и всегда с душевным грузом. А кроме этих немногих поездок, он все три недели просидел и пролежал в своём кабинете.

В офицерском собрании был сервирован торжественный завтрак, и все старшие чины штаба ожидали (только оставшимся великим князьям было советано не приходить). Гучков, здороваясь со всеми, иногда и улыбался, а был рассеян. Разговор за завтраком свёлся к пустякам, вполне как бывало за царским столом.

После завтрака закрылись вдвоём в небольшой «государевой» комнате, Гучков сел в единственное здесь кресло, в котором неделю назад томился, не помещался долгоскладный Николай Николаевич. А Алексеев – сбоку, разложив на зелёном сукне стола пачку заготовленных бумаг.

И пять карт фронтов висели на стойках позади их спин, но негодились, не дошло до направлений и стрелок.

Алексеев начинал переговоры с правительством – неравным партнёром: и от передвижки всех событий и властей, и от улюлюкающей травли Совета, и от ослабления армии, и ещё не утверждённый в своём посту, – начинал гораздо неуверенней, чем бывало раньше рядом с расположенным, всегда доверчивым императором.

Раньше военный министр совсем и никак не командовал Ставкой. А сейчас – не могло возникнуть и мысли о неподчинении Ставки министру.

Однако в последние дни и даже часы, проведя важные консультации с главнокомандующими, обменявшись подробными телеграммами, Алексеев пришёл к неожиданному выводу, который укреплял его по отношению к правительству.

Консультации были: на что способны, что могут планировать наши фронты в ближайшие недели и месяцы? И, кроме Кавказского, из четырёх спрошенных главнокомандующих один только Рузский – три дня назад просивший четыре корпуса в подкрепление, имеющий двукратное численное превосходство над противником, а желающий трёхкратного, – только он ответил пессимистически: вековые устои сброшены, новые не созданы, отношения налаживаются с трудом, в запасных частях крайнее расстройство, новых комплектований нет и не будет, дезертирства даже подсчитать нельзя, в

одном 171 запасном полку не досчитывают 4 тысяч человек, – для нас возможна только оборона! – на подготовку наступления нет сил. Перед союзниками же следует объяснять поздней весной и распутицей.

И Алексеев, тоже мрачно видя армейское положение, был с тем согласен. Да от Рузского он и не хотел бы наступления, трудно добыть линию лучше, чем Двина.

Но тут же вослед, с Западного фронта, где временно главнокомандовал старик генерал Смирнов (с которым Алексеев как раз хорошо действовал в августе 1915 при окончательной остановке немцев), – пришёл бодрый ответ совершенно противоположного смысла. Он уверенно писал, что если наше политическое расстройство отнимет у нас способность наступать – то тем более оно отнимет у нас способность обороняться: на оборону надо никак не меньше сил и средств, но их придётся рассредоточить на фронте в 1650 вёрст, не зная, где немцы нанесут удар, а при наступлении мы сами концентрируем их в назначенном месте, и при нашем нынешнем недостатке притекающего снаряжения и пополнений – именно это и легче. Лучше наступать, даже без полной уверенности в успехе, чем обречь себя затыкать угрожаемые места. При неудачном наступлении мы в худшем случае останемся на том же месте, а при неудачной обороне мы будем отступать хуже, чем в 1915 году, – по чисто русской земле и ближе к жизненным центрам страны. Напротив: чем скорей мы втянем войска в боевую работу, тем скорей они отвлекутся от политических увлечений. Да обязаны же мы и помогать союзникам, они вправе ждать нашей помощи.

Михаил Васильич был поражён не самими этими простыми доводами, а – насколько же его в памороки отшибло за эти недели, что подчинённый должен ему объяснять прекрасно ему самому известные принципы стратегии. Так он был травмирован революцией, что потерял ясность взгляда. Да больше всего приходилось общаться с Рузским, а Рузский-то и нагонял паники. Да и правда же Балтийский флот развалился, – и едва освободятся ото льда Финский и Рижский заливы – какой может быть удар по нашему правому флангу?

Но и тем более, значит, чем этого ждать – лучше самим избрать наступление в центре.

А если Гурко примет Западный фронт – то, зная его: он ещё резче будет требовать того, что сейчас Смирнов.

А ответил Брусилов – и пришлось Алексееву покраснеть ещё больше. Когда две недели назад решался вопрос об устоянии армии против революционной заразы и ещё можно было всё спасти – именно Брусилов (с Рузским) мешал собраться совещанию главнокомандующих. А теперь он собрал своих четырёх командующих армиями, и их военный совет решил даже единогласно: армии желают и могут наступать! Наступление вполне возможно! Революционное движение не отразилось пока на нравственной упругости и духе вверенного мне фронта, тлетворное влияние пропаганды скажется лишь при долгом бездействии. Мы перешли к новому порядку в полном спокойствии, вопрос внутренней политики для армии должен считаться законченным, и никаких больше партийных влияний. Пассивный образ действий убьёт настроение, подорвёт веру в высших начальников, войска будут возмущены их бездействием и исчезнет дисциплина. Так же уверен Брусилов, что и военный министр преувеличивает падение нравственного уровня запасных частей: вливаясь в боевые части, они тотчас укрепятся. А первая даже небольшая победа вызовет воодушевление всей России, патриотизм поднимется и напрягутся все силы государства. Да победа нужна нам и для того, чтобы не подорвать веру союзников в нас, иначе они поставят нас в изолированное положение и лишат денежных кредитов. Да победа нужна нам по самым общим соображениям: 1917 – несомненно последний год войны, и как же можем мы закончить бесславно? Конечно, риск есть, – но по ограниченности ресурсов мы вынуждены сузить фронт прорыва и масштаб наступления. И просит Брусилов не предпринимать никаких шагов в смысле отказа перед союзниками от выполнения наших обязательств. Наступление наше возможно начать в первых числах мая.

Да так же недавно думал и Алексеев! Именно так он и писал 9 марта французам: наше наступление начнётся в первых числах мая. Но потом подрезал его первый же Гучков, что правительство ничего не значит без Совета, ничем не распоряжается, не будет ни

пополнений, ни снаряжения. И затменной головой Алексеев написал союзникам 13 марта, что наступление не может начаться раньше июня-июля. И в какое же глупое положение, оказывается, он поставил не только себя, но всю армию и всю Россию?

И даже, вот, нерешительный Сахаров, ещё перепутанный всеми румынскими расслаблениями, – и тот ответил, что склоняется к небольшим активным ударам!

И: все главнокомандующие подтверждали, что гурковская зимняя переформировка дивизий была успешна, новые дивизии не уступают старым и увеличилась наша мобильность.

И всё это сложилось у Алексеева – буквально за несколько часов до приезда военного министра. И когда теперь они с Гучковым уселись в государевой комнате для разговора – Алексеев, очнувшийся в своём прежнем убеждении, мог уверенно докладывать. Что морально неустойчивые войска лучше применимы в наступлении, нежели в обороне. А патронов, снарядов и укомплектований для обороны требуется никак не меньше, чем для наступления. По нынешнему нравственному настроению войск и по глубине театра действий наше отступление теперь было бы губительно, грозней, чем в Пятнадцатом году. Мы не смеем обречь себя на оборону или отложить наступление до июня-июля. А от первых успехов будет всеобщее воодушевление, и – надеется Алексеев – исправится нынешнее недобросовестное поведение рабочих Петроградского района.

А Гучков, по мере того как всё это слышал, – поднимался плечами, выравнивал спину, поблескивал пенсне с растущим удовольствием, и возвращался к нему прежний задористый вскид головы. И даже охотно принял брусилковский упрёк, что военный министр преувеличивает нравственное падение запасных частей. И легко согласился с бурчанием Алексеева – не давать просимых четырёх корпусов Рузскому. Им-то двоим, здесь, было хорошо понятно, что все те шумные заявления их об угрозе германского наступления на Петроград были дуты, лишь для вразумления столицы и подтяжки дисциплины в ней.

Но теперь, укрепись против министра, Алексеев не мог не спросить: а как же – сам министр? само Временное правительство, если, писал Гучков, оно располагает властью лишь в пределах, допускаемых Советом?

Однако, вот, повеселевший Гучков ответил совсем другое: то было написано в мрачную минуту. Обстоятельства нестабильны, да, но не так страшен чёрт. Постепенно улаживается.

Можно было это понять и так, что правительство защитит Алексеева от травли Совета?... Гучков не сказал прямо. И генерал постеснялся спросить прямо. А так:

– Значит, Ставка в своих действиях может реально учитывать только директивы правительства?

Да, конечно.

И есть надежда, что правительство обеспечит высылку маршевых рот из петроградского гарнизона?

Да. Да.

Пободревший Гучков объяснял имеющее ныне быть соотношение между ними. Английская система: за Ставкой – только техническое выполнение чисто военных задач, а общие директивы – от Временного правительства. Некоторые прежние высшие функции Ставки теперь перейдут к военному министерству. Генерал Алексеев останется в качестве Верховного Главнокомандующего. Лукомского придётся убрать, да и Клембовского оставить только на переходный период.

Не в силах был Алексеев тут спорить, да и не сжился он ни с тем ни с другим. Да не всё ли равно, с кем работать, если делаешь всё сам? По своей постоянной форме работы он и не нуждался ни в ком.

А начальником штаба Верховного предполагается назначить генерала Деникина, отличный боевой генерал, Гучков надеется – Михаил Васильич не будет возражать?

В такой форме и так поздно спрашивали – что ж теперь спорить?... (Отличный боевой генерал? – так и место бы ему на своём корпусе...)

Сахарова – в отставку, после его рыданий над падающим императором, заменим Лечицким.

Но Лечицкий уже отказался принять Западный фронт.

Ну а Румынский, свой, примет.

Да переставлять, переставлять – владело Гучковым неутолимое желание. Командующих армиями из четырнадцати хотел снять чуть ли не пятерых! да командиров корпусов – полтора десятка! да начальников дивизий десятка четыре! И верил, что от этого наступит бодрящее настроение среди воинов.

Сидел штатский хромуля – и рвался пройтись ураганом по командному составу. Как будто есть лучшее соответствие, чем когда человек привык к своему посту и к нему привыкли.

Для постоянной связи предполагается держать при Ставке представителей от военного министра.

Когда бывал такой представитель? Зачем?...

Но выбора не было. Разве Алексеев – условно оставляемый, как быть не назначенный, да при арестах ставочных офицеров, тень на всю Ставку, да яростно атакованный Советом и не защищённый правительством, – разве он был в позиции возражать против этих или даже удвоенных реформ? Он должен был проглатывать и своё унижение, и дикие постановления позорной поливановской комиссии, да ещё узнавая их готовыми из газет.

638

От того, что правительство разрешило Шингарёву готовить хлебную монополию, – бремя его только увеличилось, а колебания не оставили. По всей логике дела, монополию надо было вводить. У прогрессивной русской интеллигенции всегда было убеждение, что государственное регулирование имеет преимущество перед частной инициативой, только в кадетских кругах высказывалось, что бюрократическое государство не сумеет регулировать рационально. Теперь же, когда на Руси возникла свободная государственность, – теперь-то, кажется бы, регулирование и начать! Все воюющие страны так или иначе уже отказывались от свободы торговли. И перед всеми глазами – блистательный образец германского регулирования. Так почему ж отставать России?

Но Шингарёв сердцем ощущал нечто выше логики: хлеб взрастил землешец, а государство клало руку: всё моё! И хотя это делалось для пользы всех этих же землешцев, всей этой Руси соединённо – а было содрогновенное чувство роковой черты. Но только другу своей юности, взятому в заместители, да Фроне Андрей Иванович об этом говорил – никому более в министерстве, ни тем более в правительстве: это был, конечно, реликт сознания, который надо отогнать.

Как отец семьи не может жить и спать спокойно, зная, что семье грозит голод, – так и Шингарёв теперь стал чуть не отцом всей России: за всякий голод в ней отвечал он.

Простой сельский врач, как ни рачительный о крестьянах, – думал ли он когда-нибудь, что станет главным вершителем судеб всей русской деревни? Что окажется тем главным человеком, который должен накормить всю Россию? Финансы, он видел теперь, была придуманная для него отрасль. А министр земледелия – он был, кажется, настоящий, уж по всей душе.

Да он рад был, да он горд был, что это так. И крикнуть хотелось: Милая! Потерпи! Ещё немного потерпи! Ещё немного поднатужься и помощи – вот сейчас! А мы Тебе скоро всё воздадим.

Но, Боже, какое бремя! – оно ощутимо гнуло и проваливало плечи, и со дня на день становилось всё тяжелей.

Тем временем сведения о проекте монополии попали в газеты и обсуждались там, министра предупреждали от возможных ошибок: спешное введение монополии может отразиться с плачевностью. Посетила Шингарёва и депутация от хлебных фирм. Эта настаивала, более того: в Германии хлеба не достаёт, а у нас много, и введение монополии у нас – бессмыслица. А учёт запасов, напротив, у нас и труден, и не умеем мы. Фирмы настаивали вообще отменить твёрдые цены и отменить все запреты на передвижение хлебных грузов по железным дорогам: только тогда Петроград получит неограниченно хлеба. Да и ясно, что только выгодные цены на хлеб могут подвигнуть и к полному засеву в будущем.

И это было во многом верно! Но на колебательные размышления не оставалось уже ни дня: проект уже разрабатывался в министерстве и неизбежно катился к утверждению – и министерство предусмотрительно уже отбирало себе даже зернохранилища у Петроградского банка. Шингарёв провёл несколько заседаний комиссии по разработке монополии, сегодня работа была почти окончена – и только предстояло ещё пропускать её через Продовольственный комитет, где Громан будет много портить. (Громан нёс бестолковщину на каждом шагу, странно, что раньше думцы не замечали его ограниченности. Теперь он вообразил себя как бы вторым министром продовольствия, от Совета, оккупировал и сам кабинет Шингарёва, поставил стол в середине комнаты, контролировать министра. За тем столом сразу по пять человек курили – а Шингарёв, не курильщик, задыхался от дыма и страдал от шума, – а неудобно было выставить.) Уже было установлено: что весь сохранившийся в зерне хлеб прошлых лет, хлеб 1916 года и будущий 1917 – поступает на учёт и в распоряжение государства, отчуждается им. Владельцам хлеб оставляется лишь по нормам: для обсеменения, для прокормления себя – пуд с четвертью на душу в месяц (почти петроградская норма), сезонных рабочих, скота – нормы должны быть подробно разработаны губернскими комитетами, учесть местные условия, род сеялки, дни усиленного и неусиленного труда каждой лошади, и молодняк скота отдельно от взрослого, и род корма, и род круп. Всякий владелец обязан объявлять количества по видам и места хранения своих запасов. Порядок и сроки сдачи хлеба (по твёрдым ценам) определяются местными продовольственными органами, они же проверяют заявленные данные. Кто отказывается от добровольной сдачи – у того производится реквизиция по особым правилам, по сниженной цене. Обнаруженные же скрытые запасы отчуждаются в пользу государства по половинной цене. (Очевидно, у местных продовольственных комитетов для этого должны быть *силы* , физические.) Также обязательна для владельца доставка хлеба на станцию, пристань, а до сдачи – хранение и ответственность за сохранность, а немолоченный должен быть обмолочен за счёт владельца. Где нет элеваторов – сушить зерно в хлебозапасных крестьянских магазинах, в частных помещениях.

И ведь не предстояло остановиться на монополии распределять хлеб. Очевидно, при войне, это втянет и глубже: государство должно будет снабжать инвентарём, рабочими руками, удобрениями, кредитом. Подчинить государственному регулированию и мукомолов. А там – регулировать и всю промышленность, и транспорт...

А пока – надо было успевать поворачиваться и распоряжаться как под артиллерийским огнём. В Петрограде – ввести хлебные карточки! (Хотели – с 18 марта, но не успели с переписью населения и не напечатали бумажек, так будет с 22-го.) Телеграфировать во все губернии, чтобы вводили хлебные карточки и там. В Петрограде – запретить всё кондитерское и конфетное производство, выпечку сдобного хлеба, бисквитов, пирожных, исключение для одних куличей под Пасху. Встречный вопль: но у нас недоработанные запасы! Хорошо, на доработку запасов – месяц, и всё закончить после Пасхи. Внести карточки и на фураж для лошадей, изготавливать для них галеты из жмыхов, отрубей и негодной муки. Завал овса у одних породистых на ипподроме, – так закрыть в этом году беговой и скаковой сезон в столицах, а коней отправить прочь. Не упустить распорядиться и о быстром подвозе яиц в Петроград из Киева. А тут – разразилась забастовка ломовых извозчиков: требуют 8-часового рабочего дня. И сразу создался затор в разгрузке

прибывающих продуктов, и без того задержанной в революционные дни. А подходило ещё полмиллиона пудов мяса из Сибири – и если его не доставить тотчас на холодильники, то всё придётся выбросить по начавшейся оттепели. Кого же просить? Только Совет рабочих депутатов, чтобы повлиял на ломовиков.

А тут ещё: старшие чиновники министерства стали подавать в отставку, и особым распоряжением на днях Шингарёв повелел всем оставаться на местах. А младшие чиновники вместо полнодушевной работы занялись созданием республиканского клуба при министерстве. А петроградская Продовольственная комиссия (уже теперь – комитет), заняв недурное здание биржи на Кронверкском, посягала получить Аничков дворец. Пользуясь тем, что ещё не создан общегосударственный Продовольственный комитет, она без дела мешалась и лезла в каждое распоряжение министра, будучи сама никто – призрак революционных дней. Хлеба они не доставали, но при изобилии в петроградских холодильниках битой птицы и мороженой рыбы (раньше о них и не говорили, как о подразумеваемой мелочи) – разрабатывали принудительную таксу именно на эти продукты, что грозило перерывом и в этом снабжении.

Не голод – голод ещё нигде не наступил, его только боялись, – но министр земледелия, поспевая с сегодняшним продовольствием, должен был поспевать готовить и урожай Семнадцатого года, и урожай Восемнадцатого. Продовольствие и земледелие вместе – это и значило: вся Россия на плечах. С юга на север всползала грозная черта распутицы – а за распутицей и за подсыханием так же неотступно катило с юга на север время посева. А с осени не пахали под яровое, не хватало рабочих рук. На юге полевые работы вот уже начались – и не хватает рабочей силы, инвентаря, семян. И как убедить крестьян довериться, что в будущем им не грозит отобрание зерна, это только сейчас такой острый момент, – и убедить их сеять усердно? Опять же – воззвание. (И Родзянко то и дело катит свои воззвания, понимает: «засевайте поля! хлеб будет куплен правительством по необидной цене!» Уж по какой там будет куплен, но – засевайте, родные!) А ещё воззвать к горожанам: возделывайте сами огороды! А ещё воззвать к городским самоуправлениям: выдавайте льготную землю под огороды! Использовать земли коноплянников, цветников. Создать парники рассад, отпускать семена. Каждый, кто вырастит хоть пуд овощей, – облегчит продовольственное бремя России! Департамент земледелия будет рассылать коллекции семян, брошюры по сушке, квашенью, засолу.

Весна идёт! И министерство земледелия должно успеть помочь посевам, в необычной обстановке третьего года войны и второго месяца революции. Инвентарь? У кого нет денег на покупку – для тех устроить коллективное пользование. Снабжение семенами в долг. (Для всего этого тоже потребуются особые органы по всей России.) Разъезжающих депутатов Думы Шингарёв по-дружески нагружал заданиями: обследовать посевные площади и помочь. Но главное – это рабочая сила. Вот, не решаются брать инородцев не то что на войну, но даже на рытьё окопов – а тогда освободились бы крестьяне прифронтной полосы. (Впрочем, и сарты нужны на хлопке.) Кинулся к Гучкову: в тяжёлых местах разрешить крестьянам отсрочки от призыва. И – дать военнопленных, и дать воинские команды на помощь земельной обработке – ведь запасные воинские части по всей России ничего не делают, пусть помогают местному сельскому населению! И ещё же у нас – 300 тысяч учащейся молодёжи, такой активной и революционной, а вот разъедутся на каникулы – как их потом собрать и использовать? Уже теперь собрать в дружины, инструкторам обучать их земледелию...

И во всём этом кипит – ни минуты не забывать, что посевную площадь надо поддерживать и для будущих лет. Не прекращать ни обследовательской работы, ни статистической, ни мелиоративной.

Андрей Иванович едва не шатался. Он не высыпался уже чуть ли не месяц, был измучен, пригнулись плечи, потерял неизменную бодрость.

Но и это всё – было не всё! Всё, всё это, что он делал, мог сделать и Риттих при своём

налаженном аппарате, не хуже. А министр земледелия революционного правительства должен был ещё – и прежде того! – дать крестьянам землю, многолетне обещанную кадетами!

Несчастливая эта прежняя пропаганда о земельном переделе! Какой сейчас передел? Начни сейчас передел – и остановится последнее снабжение городов. Но не только не время им заняться и сил нет, а вот изумление: самой этой необъятной земли для раздачи в России не обнаружилось! Оказывается, даже всю казённую и помещичью землю разделив – в иных губерниях нельзя добавить крестьянину и одной десятины. А все те завидные обещанные десятки миллионов десятин оказались тайгой да тундрой. И не то чтоб это было трудно развидеть раньше, статистика всегда же была доступна, но в спешке и накале борьбы со старым режимом кадетские умы и другие интеллигенты, занятые земельным вопросом, не вникли и не взялись объяснить неистовым передельщикам, да ведь и специалистов всегда не хватало в партии. Что такой земли нет – всегда говорил Столыпин, – отвергали. Посмотреть думские протоколы – так и Шидловский в Восьмом году докладывал об этом Думе, – страстно отвергали. Так пронеслись, как в замороженном сне, – и очнулись теперь, после революции, когда пришлось практически делить, и оказалось: три четверти земли и так уже у крестьян. А оно уже само не ждёт: оно, грозное, уже первыми дымами подождённых помещичьих усадеб завиднелось то в одной губернии, то в другой. Да ведь и должно было полыхнуть, и должно было заклубиться, этого и следовало ждать!

Ах, что бы вам ещё потерпеть, мужички! Что бы вам потерпеть ещё один годок, ещё этот один последний годок – пока Временное правительство укрепитя, кончит войну, созовёт Учредительное Собрание...

Нет, теперь-то они и не хотели подождать!

Что там кипело, в деревенской темени, даже представить было трудно, а предотвратить – нет сил никаких. И несколько дней назад Шингарёв разослал и воззвание к кооператорам: своим нравственным влиянием – не допустите погромов, поджогов, грабежей, истребления запасов! Хорошо ещё, что пламенные эсеры сегодня отступились от поджогов и разделов: теперь сами призывали крестьян ждать до Учредительного Собрания, а пока увеличивать хлебную продукцию, обсеменять неиспользуемые помещичьи земли. С этим и правительство было согласно: пустующие казённые и помещичьи земли обрабатывать без нарушения принципа собственности.

А сегодня пришла и тревожная телеграмма от московского сельскохозяйственного общества. Под вестями о начавшихся крестьянских беспорядках они тоже торопили: издайте срочное воззвание!

Да! И тут ничего не находилось срочней и действенной, чем прямое воззвание. И Шингарёв сразу начал его набрасывать. Но предрекать и обещать, в какую сторону земельный вопрос будет решён, – этого ни министр земледелия, ни Временное правительство не смели, это было бы неуважением к будущему Учредительному Собранию. Можно только писать, что вообще вопрос будет подготавливаться, вот начнётся разработка материалов.

И на сегодняшнем заседании правительства Шингарёв держал перед собой проект воззвания, ещё меняя и дописывая.

Заседание было на редкость нудное. Четверо министров прямо отсюда ехали на вокзал и мечтали отоспаться хоть в вагоне. Всё текло кредитование, все просили кредитов: внутренних дел – кредитовать пособия освобождённым каторжанам и ссыльным, юстиции – ещё полмиллиона также и лицам, покровительствующим освобождённым, путей сообщения – 15 миллионов на продолжение дороги до Кандалакши и покрытие перерасходов, просвещения – 2 миллиона на суточные и другие перерасходы, торговли-промышленности – 5 миллионов на перенос рысисых испытаний в провинцию...

И Терещенко важно кивал, кивал, записывал, нисколько не возражал, как будто деньги у него были немерянные.

Стал Шингарёв докладывать своё воззвание – волновался: ведь знаменательный

исторический момент для России, либеральные круги впервые сами останавливают крестьянскую мечту!

Но министры не заметили ничего необычного. В той же дрёмной текучей манере согласились, без прений и поправок. А Некрасов, как проснувшись, сказал свежим голосом:

– Это идея! Я тоже такое воззвание напишу, от имени правительства. На станциях солдаты бесчинствуют – нет управы. Насильничают над железнодорожными служащими, переполняют поезда, – а если ось лопнет, да крушение? Напишу.

ПОДУМАЕШЬ УМОМ – ГОЛОВУШКА КРУГОМ

639

Жить оставалось только надеждой, что через месяц-два всё устоится, угомоzится – и боеспособность армии восстановится. Но по всему, что капитан Клементьев видел в своей батарее и слышал из окружающей пехоты, – солдатское настроение, напротив, раскачивалось и стало такое переменное, что у офицеров опускались руки. За порывом тёплого разговора – тут же какая-нибудь дикая выходка или недоброе слово, до-слышанное. Пойдѣшь от нечего делать пушки осмотреть – из землянки выглядывают, бурчат: «Вот, заноза, дырку в целке ищет.» И что было правильно: тотчас же пытаться поставить ослушника на место – или не замечать и ждать, что сами убрыкаются?

От начальства получить указания было не от кого. Командир дивизиона продолжал линию, что революция – к лучшему и нас спасѣт. А командир батареи, и всегда-то широкой плывучей комплекции с расплывшейся лысиной на голове, – ещѣ разрыхлился, расслабился и у себя в землянке всё раскладывал пасьянсы.

– Да-а-а, – говорил с сожалением или завистью. – Теперь многие офицеры отпрашиваются в госпиталь. Собирался и я заболеть, да совесть не позволила. Если б не долг войны – взять да и уйти, пусть управляются сами. Но надо всё-таки, знаете, спасти Россию. А с кем, спрашивается, спасти, если солдаты из окопов убегут? Уж вы, Василь Фѣдорыч, прошу, держите батарею, – вы молодой, духом крепкий и происхождения народного, к вам доверия солдатского больше. А нам – теперь трудно стало с солдатами разговаривать. Хоть и признали мы безропотно новый строй – а всё бесполезно.

Не он один отошѣл – как-то вообще офицеры разъединились перед солдатским недоверием, перед газетной пакостью. Соединѣнные годами войны – теперь вдруг разрознились, не было дружных решений, не было единства мнений, каждый сам избирал линию поведения.

А солдаты, пожалуй, наоборот: они теперь искали будущего все вместе. Чернобородый мрачный медлительный Хомутов выразил это так:

– Теперича своо обчества надо держаться. Ежели чужим будешь, храни Господь подранят где, – на перевязку не подхватят. Санитары теперича в очко режутся.

Безработные санитары резались в карты, да, но и свой батарейный ветеринарный фельдшер не только перестал опекать ковку лошадей, но где-то в близком тылу наладил самогонный аппарат, сам был пьян и других угощал, ездовых.

Фельдшеры – это была известная обиженная категория: 4 года они учились, а получали только унтерский чин. И все их зовут на «ты». И в мирное время ещѣ 6 лет должны были служить – куда после этого пойдѣшь? Всегда недовольные, завистливые к офицерам, они теперь и потянули в революцию.

Клементьев нагрянул к фельдшеру, аппарата не нашёл, но самого застал в дымину пьяного: с койки поднялся, но шатался, и весь растрёпан.

– Вы знаете, что пить спиртное на передовой – запрещено? – отчитывал его капитан.

– Эт-та – остатки царских приказов! – отмахнулся фельдшер неровным движением. – А мы теперь держим – новый режим!

– А кто вам разрешил стоять вольно?

– А я смиренно никогда и не умел! А теперь наша взяла – чего тянуть? Власть у вас уже больше нет, которая была при царе. Теперь каждый – себе голова! Не Девятьсот Пятый вам год! – не повесите, не расстреляете...

Уже и остановить его было нельзя, на пять слов капитана вываливал полсотни своих.

– Да не боюсь я и даже Бога!... И вся сознательная пехота на моей стороне!

А на поясе, на шнурке, висел у него финский нож.

И ушёл от него Клементьев ни с чем, с позором и бессилием.

И что, правда, он мог сделать? Никаких наказаний у командиров не осталось. Он только мог просить батарейный комитет рассмотреть дело этого фельдшера.

Если комитет – ещё что решит.

И если фельдшер раньше того времени сам не дезертирует прочь – кто его теперь тут удержит?

Этой фельдшерской историей капитан Клементьев был ранен горестно: да, вообще – теперь всё возможно, и такое. Но – в нашей батарее? Но в нашей!...

Как туча мрачный, возвращался он от фельдшера на батарею. Как же оставалось управляться? Только фейерверкерами: они не стеснялись ругать своих по-прежнему и ругней заставляли поворачиваться.

Но вернулся на батарею – ждало его не приятней. В землянку к нему постучали. Впустил. Вошли Прищенко и Евграфов – по близкому без шинелей, но и без шапок, как никто не ходит, и в отхожее место шапку надевают, – а затем, наверно, чтоб не козырять? или чтоб не снимать их? Вошли – набавляя себе больше значения или смелости – Прищенко поддуваясь, Евграфов покачиваясь.

– Что, ребята, скажете?

– А вот, господин капитан, – начал конечно Евграфов, как городской он всегда был для разговору первый, начал насмешливо позвенивающим голоском, – есть вопрос хозяйственный. Отрегулировать надо.

Мог бы Клементьев – да время тому прошло – указать на устав: что надо обращаться через своего фейерверкера. Да ведь Прищенко был теперь и член комитета, куда же старше.

– Хозяйственные вопросы вы теперь на комитете и решайте, – попробовал отвести капитан. – Или с фельдфебелем, как положено. Никита Максимыч и хочет, чтоб вы всё кухонное и одежное сами отпускали.

– Нэ як, господин капитан, – возразил Прищенко, у него и движение рук стало важное, да не по швам они и висели. – Фельдфебель тут нэ прикасается, тут господов офицеров дило.

– Ну что ж, – вздохнул Клементьев. Сам сидел и их пригласил. – Что ж. Выкладывайте.

Так вот: прослышали они (только писаря и могли их натравить), что в батарее есть такие «экономические деньги». Так – отчего от солдат их скрывают? Почему не объявят и не поделят?

И смешно, и тошно.

– А вы знаете, братцы, что это за деньги? Их от вас никто не отбирает и никто не скрывает, они проведены по книгам. Такие суммы установлены аж от времён Петра Великого. Если батарея сэкономит по сравнению с казённым отпуском, например получит фураж, а прокормит лошадей на подножном корму, – так вот она имеет экономию. И может тратить её на батарейные нужды, для вас же. Вот например всем вам куплены непромокаемые плащи, а в других батареях ведь нет. Это – на эти деньги. Они и есть для вашей нужды.

– А вот как раз теперь, господин капитан, и нужда! – ловкой приказчицей

скороговоркой перехватил Евграфов. На его непоросших щеках девически-гладкой кожи проявился румянец. – Нужда теперь эти деньги по нижним чинам разделить, на питание, на кто что хочет.

– А вот это – никак нельзя, – возражал капитан рассудливо. – Такого порядка – нет, командир батареи не имеет права. Но вы – будьте спокойны.

– Никак не можем быть спокойны, господин капитан! – ещё больше румянился Евграфов, но только не от стеснения. – Тревога нас гложет. Мы к вам – не от себя, мы – депутатами от народа.

– А вот, – словил Прищенко капитана на прищур глаза. – Цим литом распорядився фельдфебель нам сино косить, тамочки, биля второго резерва. Нам и не в голову, мы скосили – а ить ниякой доли с того не ймали. А нонче вот докурлыкываем: то ж не служба военная була, то ж економия, а на нашем горбу? Так с того – нам полагается получить?

Оспой изрытое его лицо всё было захвачено этими ускользящими деньгами.

– Нет-нет, господин капитан! – семенил языком и Евграфов. – Надоть хозяйственные книги всех прошлых лет проверить нашим депутатам. Може нас обворовывали? – а мы скудаемся.

Такой разговор, такие подозрения вслух – быть не могли две недели назад. А сейчас Клементьев хоть бы и рассердился – не мог ни крикнуть на них, ни выгнать, ни даже и отказать.

Но рассердился он только на писарей, за их ядовитую болтливость. А эти ребята – что ж... Клементьев и сам знал по своему голодному нищему детству, как легко в обездоленьи питается подозрение и зависть к высшим.

Этим – что ж, он обещал: доложить, добиться, комитету покажут и хозяйственные книги, отчего же. Даже и хорошо, что комитет этим займётся.

Он-то знал, что в батарее всё чисто, по закону.

Только – ведь они на этом не успокоятся, будут и дальше, и дальше наседать, смотришь, и оперативные планы потребуют.

Дожила наша армия!...

А вскоре после них ворвался в землянку угольнобородый с горящими глазами фельдфебель Никита Максимыч. Ему бы вот и рассказать, пожаловаться насчёт писарей и хозяйственных книг, – но мрачно его принесло, и своим занято.

Такого и не бывало: не спросясь по форме – плюхнулся на табуретку, шапку скинул с хлопом и голову свою чернокудлую подпёр об стол локтями, как какой Пугачёв. И сидел во мраке, отдышивался.

– Что с тобой, Никита Максимыч? – даже испугался капитан. Что-то он, видать, учинил.

– Ничего не знаете? –дохнул как по-пьяному, а воздухом трезвым фельдфебель.

– Нет.

– От начала не знаете?

– Нет.

– Ну, хорошо. Тревожились меньше.

И сам тоже не торопился говорить. Вытянул по столу руки, привычные к власти. Ладони потёр.

Схлопнул ими.

Посмотрел из мрака, исподлюбья, из-под пугачёвской космы:

– Этой ночью из обоза второго разряда укатили два конюха – Клёцкин и Безбатченко. И прихватили два мешка муки. Мне доложили насвету, я – за ними верхом, на Черногузе. И догнал подлецов на боковом просёлке! – Глаза его сверкнули царским гневом. – Лошадей у них – отбил, повозку. И муку отобрал.

Бесовство в глазах запрыгало:

– А самих дезертиров – не-об-на-ру-жил. Безо них воротился.

– Как?? – уж и зная Никиту Максимыча, не понял Клементьев. – Как же так – не

обнаружил?

– Вот так, не обнаружил! – по усам, по бороде сухо и грозно утёрся фельдфебель.

– Так ты... ты...?

– Я ж один был, а их двое! Ещё я их в госпиталь повезу, сволочь такую? На дороге оставил.

640

Господи Всевышний! Мы ещё смеем скорбеть, мы ещё смеем жаловаться! Да оставь нам живыми наших детей!

Как тяжело, но и – промыслительно, но и – объяснительно налегла болезнь всех пятерых детей на эти чёрные дни трона и царской четы. Уже три недели болезней, Ольга и сегодня не поднялась, а припоздавшие Мария и Анастасия вот погрузились в новую бездну жара, у Марии 40,9, дышит из кислородных подушек, у обеих – воспаление лёгких, оглохли обе от воспаления ушей, Анастасию рвёт, Мария бредит. Обе лежат в тёмной комнате, и уже совсем измученная Аликс подле них.

Страх был: что Мария умрёт. Очень плоха. Всё колебалось на весах Господних.

Много раз в день молились.

А наследник в этот раз проболел легче всех, вот уже выздоровел, и даже бегал. Из-за своего всегдашнего нездоровья, оттого отставания в занятиях, он был моложе своих тринадцати лет: вот забывался в играх ото всего отречения, от всех изменений, совсем ребёнок.

А Татьяна, тоже уже на ногах, самая гордая и замкнутая из сестёр, со скорбным лбом, – напротив, всё усвоила, ничего не забыла ни на минуту. Да ведь, Господи, уже взрослая женщина, уже за двадцать ей, а Ольге и за двадцать один. А что теперь ждёт вас, девочки, какие и где женихи? Теперь и румынский принц откажется.

В положении семьи можно было ожидать только ухудшений. Ответено было, что ни Львов, ни Гучков, которых просил приехать государь, – не приедут. Вместо того приезжали правительственные комиссары – проверять, как выполняются инструкции содержания узников. Объявлено было, что по ведомству бывшего Двора и Уделов комиссаром назначен Фёдор Головин, когда-то гнусный председатель Второй Думы, потом капиталист, концессионер дороги на Екатеринбург, язвительный, мелко самолюбивый и ненавистник государя. В его руки теперь попадали и все дворцовые службы, и о содержании вдовствующей императрицы предстояло ходатайствовать тоже перед ним.

А судя по газетам – происходил поворот всё больше в сторону обвинения императорской четы, грозили следствием и судом. Предстояло практически думать: кого брать защитником? Кони?...

У коменданта Коцебу возникли неприятности от начальства. Очевидно, были доносы на него от дворцовой прислуги и от солдат, что он слишком благоволил к узникам и даже дружески обращается, – и как бы не заменили коменданта.

Очень будет жаль. Всё больше понимали арестованные, что режим содержания гораздо больше зависит от лиц, чем от инструкции. Когда в караулы попадали хорошие офицеры, солдаты – сразу чувствовалось в быту и на прогулке отношение другое.

Но эти, кто доносил, – зачем же не ушли, остались служить? Для измены?...

Между тем подробно печатали газеты речь германского канцлера Бетмана-Гольвега. Читая её, Николай заметил, что газета дрожит в руках. Это было – первое германское публичное высказывание после переворота. Для Николая это было – как голос самого Вилли.

Уже давно, три года, всё сердечное было порвано между ними. После коварства Вильгельма в июле Четырнадцатого – они стали враги насмерть и навсегда. Но – столько лет дружбы невозможно было выскрести из груди и всё забыть. И в минувшие дни нет-нет да всходила мысль: а что теперь Вилли? Что думает он о падении русской монархии? И – начинал ли бы он войну, если б это всё предвидел?

И вот – пришёл от него ответ на всё. Речью канцлера.

Царь пал жертвой своей трагической вины: он попал под влияние держав Согласия. В Девятьсот Четырнадцатом он остался глух к напоминаниям Вильгельма о вечной дружбе. Россия прикрыла преступное сербское нападение на Австро-Венгрию. А в декабре Шестнадцатого первая из наших врагов с презрением отвергла наши мирные предложения.

Беспросветно. Беспролазно. Никогда не объясниться. Но – дальше??

Германия никогда не поддерживала реакционный русский режим против освободительного движения. Император Вильгельм всегда советовал Николаю II не сопротивляться реформам. (Да напротив же: он советовал не опускать повода, никакого соглашения с мятежниками, а грянуть речью к народу из стен Кремля.) Царь не послушал его советов. Трудно выразить даже чисто человеческое сочувствие павшему царскому дому. Вздорны слухи о намерениях Германии оказать содействие в восстановлении власти царя.

Боже, как он ожесточился... «Трудно выразить сочувствие»...

Суди тебя Бог, Вилли.

Впрочем, надо вспомнить честно: и Николай же ожесточился. Обещал Палеологу, что лишит Гогенцоллернов права представлять Германию в мирных переговорах.

На Земле между ними было кончено всё, навсегда.

Ко ещё не кончена речь канцлера. Но Германия не смежила воинственных очей: на Востоке Германия добьётся своих национальных интересов! Мы будем следить за событиями хладнокровно, с готовым для удара кулаком.

Боже, Боже! Сохрани Твою Православную Русь...

Нет, не ошибочен был роковой выбор России! Германцы – чужие нам отвеку. Слава Богу, что есть у нас верные союзники в Европе. Вильгельм – никогда, значит, не был искренен, всегда враг. А Георг – и родственник, и верный.

Странно, однако, что так и не написал, не отозвался.

Надо бы разбирать книги и вещи, откладывая, что с собой в Англию брать.

Хотя ехать к ним туда – не хочется. Всегда охотно путешествовал Николай за границу (не так уж и много). А сейчас, когда подступила почти неизбежность отъезда, – вдруг стеснилось в нём: сколько русских мест он уже не повидает никогда (а ведь было всё доступно! мало ездил) и скольким святым местам не поклонится. (Как упустил? Благодаренье Богу, что ездил в Саров.)

Хотя и замкнутый то в Петергофе, то в Царском, то в Ливадии – Николай, однако, повседневно ощущал своё единство со всею Большой Русью: он пребывал – в ней, единством с нею крепился в шторме зложелательства образованного общества, высшего света и даже династии. И уверенно знал, что отдалённый пахарь и неведомый косец – постоянно знают своего Царя, пусть и немые, не слышно их в столичном гвалте.

И всегда непритязательный в потребностях, а сейчас тем более уже отделённый от трона и даже тяготясь ещё сохранённой по инерции, не его приказом, церемонийностью, – всё те же ливреи шествовали важно, всё те же камердинеры предупреждали приход редких теперь и незваных посетителей, и те же скороходы в галунах и со страусовыми перьями сопровождали их, – Николай всё более готов был расстаться со всем этим начисто. Только Ливадию одну было жалко, Ливадию хотелось бы сохранить, Алексею там очень хорошо. Но если и это будет невозможно, а надо бы определить свою жизнь не на оставшиеся месяцы войны, а уже до конца, навсегда, – то предпочитал бы он поселиться простым крестьянином в России, в самом скромном уголке родины, да даже хоть и в Сибири, – чем ехать на постылую, постыдную, скандальную западную популярность или вечное бездомное гостевание – да и на какие средства? никаких средств на Западе не было у него.

И только если уж никак не исполнимо, если присутствие его в России может повредить государственному спокойствию – тогда он готов подчиниться изгнанию.

Эту истекшую неделю заточения и начавшуюся вторую, несмотря на грозные признаки вокруг, Николай с каждым днём всё более чувствовал умиротворение и распрямленье души. Такое настроение было: если бы сейчас и все хором просили бы вернуться на престол – ни за

что бы не вернулся.

Прошёл первый ожог развенчанности – и он обнаружил, что ему легче и проще обращаться с людьми, – стало легче разговаривать с людьми, вот как! Он и раньше предполагал в людях более искренность, чем искательство, – но уж теперь-то и вовсе мог рассчитывать на откровенность тех, кто был к нему хорош.

Во всё царствование он старался принимать решения по совести – насколько это было открыто ему. И никогда не принимал решения в гневе, но всегда давал себе охладиться. И к врагам своим – вот Гучкову, Милюкову, никогда не был преследователем и никогда не арестовывал их, как вот они его. И не применил низких усилий цепляться за власть: едва почувствовав себя помехою, тут же и ушёл.

Говорится: царю – пуще правда нужна. Царю нужна правда больше, чем кому-либо из живущих.

Он оттого был внутренне спокоен, что твёрдо верил: и судьба России, и судьба его семьи находятся в руках Господа. Господь поставил его так, как он стоит. И что бы ни случилось – надо преклониться перед Его волей.

В эти последние дни – заблестал наружный мир. Погода переменялась на солнечную – вчера, сегодня стояли лёгкие весенние морозцы, задерживающие таянье, но всё залилось светом весны. Как поднялось настроение!

Каждый день долго гуляли с Долгоруковым, – слава Богу, не запрещали. Приучились совсем не замечать охраны вокруг и не досадовать на выходы её, если те случались. Да довольно пространства и здесь – если не верхом, если не пешим гоним, а с работницей снеговой лопатой. Чистили, чистили снег с разных сторон, друг другу навстречу, и кончали дорожку у старой беседки.

Николай – наслаждался этими днями! И как увлекает такая работа: из бело-радужной массы, в ослепительных точках всех цветов, вырезать лопатой ровные кубы этого сказочного вещества, перекидывать их – а самому вдвигаться, вдвигаться в белую стену. Ничего в мире больше не видишь, кроме этого, Богом созданного, бело-сверкающего моря.

ДОКУМЕНТЫ – 30

17 марта

ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГЕОРГА V СТАМФОРДАМ – БАЛЬФУРУ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

... Его Величество не может не испытывать сомнений не только по поводу опасностей переезда, но и из общих соображений целесообразности: желательно ли, чтобы императорская семья поселилась в этой стране.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА

СУББОТА

641

Большое помещение с высокими и тёмными потолками, наполненное шумным безалаберным множеством людей, лицами в разные стороны. Откуда-то понимает Варсонофьев, что это – Биржа, и он тут зачем-то стоит. Но не успевает ни приглядеться, ни – что они делают (только разговаривают громко все). Вдруг властно голова его поворачивается, обязанная смотреть. Мимо него входит в зал – мальчик с дивно светящимся лицом, и словно он хочет объявить всем необыкновенную новость. Он проходит мимо, держа в руках перед грудью какой-то небольшой сверкающий предмет, – проходит на середину

зала, свободно, как будто тут не столплены густо, там останавливается, приподнимает что в руках! – и вдруг в едином жарко-ледяном дыхании, дыблящем волосы, охватывающем весь зал (всех тут!), Варсонофьев понимает, что этот мальчик – Христос, а в руках у него бомба! – ужасного взрыва для целого мира – и сейчас, через секунду, она взорвётся.

И не выдержав содрогновения, нестерпимого ожидания взрыва – проснулся.

Ещё и в яви обнимал его ужас этого космического подошедшего взрыва.

Такие сны он записывал. Потянул за ниточку стебель ночника, тот зажётся, – хотел записать на клочке, как делал всегда, чтобы скорей потушить и заснуть. Но так сильно он был охвачен, что всё равно нескоро заснёт.

И с лёгкостью встал в прохладное, взял халат с кресла, в халате пошёл к бюро, сел, зажёл настольную лампу, из ящика достал тетрадь снов и стал записывать туда.

Он давно перестал понимать сны как сочетание бессмыслицы. Бессмыслица и путаница отделялась сама, тут же и забывалась. По меньшей мере наши мысли и чувства во сне – наши истинные, и мы отвечаем за них. Но Варсонофьев знал, что почему-то избран принимать и тайнопись вещих снов. Психологически безошибочны были и все его сны с близкими, он истинно воспринимал, и на большом расстоянии, кто что чувствует. Правда снов не в ситуации, а в настроении.

Однажды приснилось ему, что он подходит к маленькому фонтану и понимает: если приблизить губы к его струе и шептать – то по струе передастся как по телефону, и кто-то другой в далёком фонтане всё услышит. Мно ги способы передачи чувств и мыслей, мы не во всё верим. Не раз бывало, что Павла Ивановича тянуло к телефону – и он шёл, и по пути раздавался первый звонок.

У Варсонофьева была уверенность, что все события нашей жизни и другие лица связаны с нами и друг с другом не только теми явными причинными и следственными связями, которые видны всем, – но ещё и связями тайными, которых мы не услеживаем, даже не предполагаем, – а они не только существуют, но властно влияют, но формируют души и судьбы.

Из каких-то неведомых Божьих глубин к нам постоянно притекает на поддержку и сила, и сознание.

Но сон сейчас так сотряс его, ещё вот оставался страх в теле. Варсонофьев постарался записать точные минуты, когда это приснилось.

И ещё сидел, старался вспомнить точные оттенки смысла, ощущения, ведь они сотрутся потом. Что это была за Биржа? Не петербургская, не московская, и может быть даже вообще не Россия или, во всяком случае, не одна Россия. Это какой-то смысл имело – всеобщий.

И хотя нестерпимо было пережить этот взрыв – но он был не просто уничтожение, он был и Свет, слишком светилось лицо мальчика.

О! сколько было сил непознанных! В каком-то непостижимом объёме совершалось нечто великое – и может быть только слабым отображением были те завихрения на улицах русских городов в последние недели.

Но – зачем посылаются такие сны, вот ему, ещё кому-нибудь? Ведь о них невозможно объявить, на них невозможно сослаться, никого научить, ничего доказать.

Преыдущая запись его в тетради была: «Сны анемподиета в Анапобожьи». Так – приснилось ему, не кто-нибудь сказал это вслух, а – ясно вошло в сознание: что это – его сны так называются, что якобы край, где всё это ему видится, – Анапобожье. Очень понятно было, что – Богов край, но всё в целом не улавливалось.

У снов был свой язык. То снилось ему выражение «на тайло к» – и он сразу понимал, что это значит: тайно. То на какой-то узорчатой решётке, как бы ворот, от невидимой руки выкладывалась надпись металлической вязью, тут и застывая: «Кто не был князь – поди, ведась». И во сне – ему был вполне понятен и значителен этот смысл, а вот записывая – уже не мог ухватить.

А ещё предыдущий записанный сон, на прошлой неделе, был таков. Будто находится

Варсонофьев в церкви, но – ночью, на закрытой сокровенной службе, и церковь почти пуста, присутствующих с дюжину – есть священники, есть миряне, все мужчины. И понятно ему, что церковь эта – в России, но вся Россия – под властью каких-то страшных врагов. А эти здесь собрались на обряд **запечатления** церкви – то есть запечатания её на долгое время, как запечатывались храмы старообрядцев. И запечатление это будет вот в чём состоять: на аналой посреди церкви уже положены три больших серебряных креста (не помещаясь, чуть с перекрывом друг друга, так ясно это видно) – и в ходе службы старший священник зальёт их вместе расплавленным белым воском, и так они застынут надолго. И ещё знают они все: что **после** этого обряда их всех должны посадить в тюрьму, за то что были здесь, и это неминуемо, и они к этому готовы. А власть врагов спешит, чтоб этот обряд не произошёл: они хотят, чтобы церковь не успела запечатлеться. А в обряде тоже спешить нельзя: теперь они все должны лечь на каменный пол ниц и так оползти всей чередою все церковные стены кругом, лишь потом будет запечатление. И Варсонофьев, ползя, думает – как потом успеть дать знать дочери, Марине, о своём аресте, – и вдруг слышит её надрывный плач. И не поднимая головы от пола и не поворачиваясь, он видит другим каким-то оком: Марина в крестьянской вышитой рубахе стоит на пороге храма, не смея войти на обряд, и плачет, уже всё, всё понял.

Он продолжал ползти ничком со всеми – и как-то продолжал видеть на входе рыдающую Марину – такую русскую, в этих вышитых вздутых рукавах, такую родную и понимающую – как будто никогда, ни на сколько они не разделялись, не размежались: они снова были душами слитно, всё иное вмиг отшелушилось как случайное. И уже неважно было, поймёт или не поймёт она теперь о его аресте, – важно, что она – видела запечатление. Будет свидетель!

Что это? Откуда это всё сочеталось?

Однако сегодняшний взрыв из рук светлого мальчика выходил и ещё гораздо шире этого всего.

На улицах, а больше в редакциях, а больше на страницах печати хлестало опьянённое веселье. Павел Иванович не узнавал знакомых – так они были победны, так залётны в мечтах. Но сам он ходил среди них – ссунутый, со свечами тревожных глаз.

Он – никого никогда не мог переубедить своими статьями, над ним посмеивались как над чудаком несовременным. И что группа их 8 лет назад предсказывала в философском сборнике – ни тогда никого не убедило, ни сейчас никому не вспоминалось.

Так – ещё кому же он мог передавать и сны?

Все удивлялись, как сразу, без мрака, разразилось всеобщее ликование.

И не видели, что ликование – только одежды великого Горя, и так и приличествует ему входить.

Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил.

Да, земных.

642

(по свободным газетам, 16-18 марта)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НАКАНУНЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ ГЕРМАНИИ.

ВАНДАЛИЗМ ГЕРМАНЦЕВ. Потопление...

... Весь интерес борьбы на море сосредотачивается на борьбе двух блокад – английской надводной и германской подводной...

Германские планы. По сведениям из германофильских кругов в Швейцарии, германское высшее командование, в связи с революцией в России, отказалось от наступления на Францию и Италию и готовит удар на Петроград.

... По-видимому, германцы готовятся к нанесению России сокрушительного удара, возлагая надежды на якобы наступившую дезорганизацию русской армии. Они надеются занять Петроград и продиктовать оттуда условия мира державам четверного Согласия. Но это может вызвать негодование среди демократических элементов германской армии.

О МАНИФЕСТЕ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ.

Итак, армия остаётся на месте и будет хранить свой доблестный дух для борьбы до последнего вздоха. Это упраздняет тревогу о настроении революционной демократии. (*«Биржевые ведомости»*)

Чхеидзе сказал ещё ярче: «обращаясь к немцам, мы не выпускаем из рук винтовки». В сущности, идеология, общая нам с союзниками. Но, господа, будьте последовательны: если вы намерены не выпускать винтовки из рук, то не дайте же ослабнуть боеспособности армии. (*«Речь»*)

... Смелый шаг, беспремерный в мировой истории. Но трудно поверить в успех обращения. (*«Русское слово»*)

... Это обращение настолько убедительно, что австро-германскому пролетариату возразить нечего.

Ребяческий идеализм тех, кто пытался навязать лозунг «долой войну» широким массам. Это не удастся! Ни один голос больше не смеет говорить о братании с немцами. Россия распрямляет крылья для орлиного полёта, армия готова зажечься новым энтузиазмом.

(*«Русская воля»*)

... недоумение по поводу того, что до сих пор остаются неизвестными и президиум, и Исполнительный Комитет, и многочисленный состав Совета рабочих и солдатских депутатов. Вообще, печать обратила внимание на странную анонимность их. А Петроградский Совет играет роль центрального Совета для всей страны. Должно быть устранено всякое подозрение самозванства. Должно стать широко известно, как Совет составился, на каких основаниях организовано представительство. А ведь именно Совет горячо протестует против всяких тайн. Врачу, исцелился сам!

(*«Речь»*)

Кто такой этот влиятельный аноним с прерогативами второго правительства? Его контроль над правительством имеет не петроградский, а всероссийский характер.

... Может быть, состав СРСД сложился и не вполне удачно – в вихре революции некогда было обдумывать. Но это революционное воплощение «святого недовольства» совершенно необходимо, чтобы поддерживать во Временном правительстве реформаторский пафос.

НАРОДНАЯ АРМИЯ.

Вести с фронта всё более успокоительные – о бодром настроении в армии и готовности бороться до конца.

... Весть о крушении монархии не могла не захватить войска врасплох, от главнокомандующего до солдата. Можно было опасаться неожиданностей. Но вот становится ясным, что фронт принял новый строй.

... В одном из ораниенбаумских пулемётных полков сегодня бросался жребий, какой батальон должен выступить в первую очередь на фронт...

... Обилие военнопленных было позором прошлого. В новой армии сдача в плен станет явлением исключительным.

ОФИЦЕРСТВО. Всё офицерство как совокупность взято под подозрение. По каким основаниям? Потому что революцию начали солдаты, а не офицеры. И только. Основание не выдерживает критики. Офицерство не только нигде не защищало старого режима, но на второй же день революции всецело перешло на сторону Временного правительства и народа. И началась беззаветная борьба со всеми остатками старого режима. Один офицер в нашей редакции с горечью говорил: «Мне до слёз больно было смотреть, как неумело брались солдаты за борьбу.»

(«Новое время»)

Рабочие Казанской и Адмиралтейской слободы в ознаменование назначения А.И. Гучкова военным министром единогласно постановили: сверх усиленной работы на оборону надбавить производительность работ и назвать эту надбавку «гучковским процентом».

В военном министерстве. Министр Гучков отдал распоряжение, чтобы во все военные училища беспрепятственно принимались лица иудейского вероисповедания, а также баптисты, молокане.

... Нам сообщают, что предполагавшееся назначение генерала Лечицкого главнокомандующим армиями Западного фронта не состоялось ввиду того, что было признано необходимым присутствие этого генерала на Румынском фронте, знатоком которого он считается.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ СТРАНЫ. Нелёгкое наследство приняло новое правительство от старого режима. Предшественники министра земледелия приложили старания, чтобы запутать и осложнить продовольственное дело...

ХЛЕБ ВЕЗУТ! Чего не могло сделать прежнее правительство, то постепенно достигается всенародным порывом. Давно ли говорили, что нужны чрезвычайные мероприятия, чтоб откопать хлеб. Проснувшаяся и не сразу разобравшаяся, что произошло, провинция... Со всех концов России извещают о пожертвованиях хлебом для армии.

... Свобода мгновенно переродила миллионы людей, и крестьянство немедленно начало вывозить на рынки продукты. Нам возразят, что в Москве и Петрограде не заметно обилия. Но не нужно забывать, что при том расстройстве, какое нам оставило самодержавное правительство... Терпели долго, потерпим ещё – и все кризисы отойдут в область кошмарного прошлого.

... Крестьянин должен помнить, что у него имеются и обязанности. Разрушение помещичьего хозяйства грозит голодом городскому населению, и город может требовать от деревни, чтоб уважались и его права.

(Туган-Барановский, «Биржевые ведомости»)

В министерстве юстиции уже составлен набросок законопроекта об отмене всех вероисповедных и национальных ограничений.

... Закончен законопроект об общей уголовной амнистии...

О смертной казни. Отмена Россией смертной казни в военное время явится делом беспримерным. Но это такой вопрос, в отношении которого нельзя идти в хвосте за Западом. Мы не будем мстить смертью и шпионам. Раз человек уже схвачен – нет логического

основания вешать его.

Право ареста. Временные правила об условии освобождения арестованных и производства новых арестов в Петрограде...

... В первую неделю революции в Москве было отдано много приказов на право арестов и обысков. Теперь постепенно все они аннулируются. Теперь кончилось время так называемых «эксцессов». Главная забота момента – поскорее установить принцип неприкосновенности лиц и жилища.

... Не злоупотребляйте тем, что новый порядок не мстит за прошлое. Не испытывайте слишком проявляемой им терпимости. Новая Россия не мстит, но правосудие в ней будет действовать неуклоннее, чем прежде.

Короленко

Обыск в квартире Распутина. ... 15 марта арестованы, доставлены под конвоем в Таврический дворец и посажены в министерский павильон сын Распутина и две дочери, 18 и 15 лет.

Арестованный также секретарь Распутина Арон Симанович обещал конвойным 15 тыс. рублей, если ему разрешат поговорить по телефону.

Дому Романовых, несмотря на ненасытимую ненависть к нему, ничто в России не угрожает. Но не грозит ли Свободной России опасность от дома Романовых? Отравленные властью маленькие самодержцы полезут цепкими руками за шапкой Мономаха. Довольно нам быть мягкими и гуманными! Им – не место в России! Палачи русской свободы, вы не смеее больше ходить по русской земле!

(«Русская воля»)

... 15 марта по постановлению министра юстиции произведены обыск и выемка документов у известной графини М. Е. Игнатьевой, в салоне которой вращались высшие представители церкви и сановники.

Подруга бывшей царицы Анна Вырубова разошлась с мужем ещё в 1908 году, когда начались её похождения с Распутиным. Бывшая царица целые дни проводила в квартире Вырубовой, здесь же назначались любовные свидания.

БЕССАРАБСКАЯ ВАНДЕЯ. Черносотенная агитация в Аккермане.

Ликвидация марковцев. В Щиграх арестован брат Маркова 2-го, а также председатель местного «союза русского народа». Заключены в тюрьму.

... Режим самовластия, опричнины, насилия над жизнью и совестью миллионов «чужих» людей в Империи... выжимая кровь и слёзы... Цепи ограничений накладывались на народы высокой культуры... Поистине кошмарное еврейское бесправие... Самодержавие в союзе с погромными бандами мнимых патриотов. Союз русского народа – вот позорное явление, в котором отразилась грязная... Очищаться от остатков старого, закладывать фундамент нового можно только революционным путём.

(«Биржевые ведомости»)

Телеграмма петроградской еврейской общины. Мы счастливы сознанием, что отныне все творческие порывы евреев смогут пойти на дело обновления родины.

Париж. Телеграмма главе Временного правительства: «Лига для защиты прав угнетаемых евреев с энтузиазмом приветствует русскую революцию и выражает твёрдую уверенность, что Временное правительство немедленно проведёт в жизнь полное равноправие евреев согласно своей декларации.»

... Быть может, именно затем Россия и опоздала в своих политических формах и приёмах, чтобы ей ближе всех подойти к созданию «общества будущего».

«НОВОЕ ВРЕМЯ». Суворинская газета чувствует необходимость связать своё тёмное прошлое со светлым настоящим и как-нибудь объяснить свой резкий переход от вчерашнего к сегодняшнему. Трудная задача, но нужда в покаянии заставляет. «Новое время» объясняет свою трансформацию так: вся Россия переменялась, и мы в том числе...

«Правда» умнеет. ... После хороших уроков, полученных большевистской «Правдой», эта газета, к её чести, очень быстро сдала свои пораженческие позиции.

(«Новое время»)

ОДУМАЛИСЬ. К чести представителей русского большевизма, они очень скоро убедились в своей ошибке, отреклись от своей проповеди «долой войну», и проявили гражданское мужество заявить об этом в «Правде». Таким образом, исчез последний повод для внутренней смуты.

... Следует отметить как чрезвычайно отрадный симптом, что «Правда» начинает освобождаться от опасного угара и разбираться в окружающей обстановке. Искренне приветствуем это просветление.

(«Речь»)

... Все крайности «Правды» в смысле тона, стиля лежат всецело на ответственности старого режима, который так долго угнетал свободное слово. Ещё неизвестно, что хуже: узкий фанатизм «Правды» или потакание обывательщине. Время не такое, чтобы бояться парадоксов. Свобода личности – краеугольный камень нового строя, – но разве не обязано было правительство лишить свободы представителей старого строя? Именно во имя будущей близкой свободы (после Учредительного Собрания) правительство сейчас не может не прибегать к насилию. Например, свобода русской церкви есть одна из частных целей революции. Но пока с тела церкви не будет насильственно снята короста черносотенства – ни о какой свободе церкви не может быть речи. Поддаваться теперь на удочку софизмов о свободе – значит поощрять контрреволюцию.

Д. Философов

Свобода – это нежная красная роза, вынесенная на улицу Петрограда в день суровой зимы.

Советом Рабочих Депутатов установлены неслыханные доселе разрешения на бумагу для «благонадёжных газет». Что это? Все чистые восторги, надежды, упования, и вся «Европа с восхищением взирает» но?! – строится новая тюрьма для свободной мысли?... Цензоры прошлого не додумывались так: запрещать фабрикантам выдавать бумагу тем газетам, кто на подозрении... В час ослепительного торжества демократии больно и стыдно...

Чего только не говорят! Через второе ухо уже не успеваешь выпустить, в голове каждого гражданина столько набирается слухов, мнений и мыслей, что в голове его происходят митинги. Сейчас он большевик, через минуту уже в окопах и лупит немцев,

затем эмигрирует на Сандвичевы острова, чтоб ничего больше не видеть, не слышать, а не успев доехать до вокзала, записывается в социал-демократы. Но это – молодость народа, и хорошо, что мы не успели состариться.

... На Крестовском острове было расклеено по заборам воззвание арестовывать переписчиков населения (для хлебных карточек), так как перепись делается будто бы Союзом русского народа для организации погрома. Крестовский остров считает себя автономным и подчиняется только Государственной Думе.

... Разъясняется, что чиновники и офицеры также должны быть внесены в ведомости на получение хлеба, наряду со всеми.

ВОЗЗВАНИЕ КОМИССАРА г. МОСКВЫ. ... Многие и с карточками на руках, простояв много часов у булочных, не получают... При разгроме полицейских участков много хлебных карточек было расхищено и пущено в обращение... Солдаты получают вне очереди и без карточек... Не забывайте однако, что новая власть существует всего две недели. Нельзя в полмесяца создать заново то, что в обычное время строится веками и десятками лет. Граждане, вы произвели величайшую в мире революцию, низложили сильнейшего монарха Европы. Призываю же вас к самообладанию. На короткое время ограничьте свои потребности.

Н. Кишкин

... В успокоение жителей Москвы заведующий сахарным отделом сообщает, что город обеспечен сахаром с избытком относительно нормы потребления.

Грузинов в Алексеевском училище. «Юнкера! – теперь господ нет. Я счастлив, что в Московском округе солдаты и офицеры именно спаялись. Я думаю, вы понесёте в армию живой дух – и об него разобьётся железный немецкий кулак.» Повинуясь приказу подполковника, юнкера побороли своё стремление идти с приветствием к юродской думе. Один из юнкеров обратился: «Дорогой подполковник! От всего сердца приветствуем вас, одного из вождей революционной армии, первого командующего, избранного народной волей. Все мы пламенно желаем...»

ПРИКАЗ ПО МОСКОВСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ. ... Солдатам надлежит внушить, что они должны соблюдать железнодорожные правила, не позволять себе никаких бесчинств и быть вежливыми с пассажирами...

Грузинов

Арест губернатора . По распоряжению комиссара г. Москвы Кишкина арестованы владимирский губернатор и его супруга и доставлены под конвоем в Таврический дворец. Во Владимире толпа намеревалась совершить над ними самосуд. У губернатора сломана нога, у губернаторши вырваны из головы клоки волос.

Иркутск. Жандармские офицеры, арестованные в первые дни революции, предаются теперь суду.

Тифлис. Дворец наместника взят для общественных нужд в веденье Исполнительного комитета Совета. Ежедневно в воинское присутствие являются группы уклонявшихся от воинской повинности. И заявляют о готовности отдать жизнь за счастье свободной родины.

Владикавказ. Тёмные силы ещё не сложили оружия. Особое сопротивление оказывают осетины и ингуши. Из многих станиц поступают сведения о работе тёмных сил.

УДАЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА СТОЛЫПИНУ. Киев, 16. На сегодня назначен праздник свободы. Ночью войска оцепили думскую площадь, и начались работы по удалению памятника Столыпину. К утру работы не были окончены. Фигура Столыпина, сдвинутая с пьедестала, окутанная цепями, висела на блоках. Огромные толпы народа, еле сдерживаемые цепью милиции, с большим интересом следили за работами. В 3 с половиной часа дня фигура Столыпина грохнулась на землю. Толпа с Криком «ура» кинулась к поверженному Столыпину. Мимо бесконечной рекой потекли манифестации с оркестрами. Украинские процессии шли под марш запорожских казаков. Телеграфисты – с плакатом: «Телеграф – глаза и уши революции». Фигура Столыпина, весящая около 400 пудов, затем вывезена грузовыми автомобилями.

Проезд Николая Николаевича в Крым. Киев, 16. Приехавшего из Ставки великого князя на вокзале встречали его супруга, брат, супруга брата и Мария Фёдоровна. Высшей администрации не было. Великий князь не выходил на перрон.

Одесский уезд. Ненадёжные элементы старой полиции ликвидированы: часть бежали, частью арестованы. Был случай оставления их на местах по желанию жителей. Деревня нуждается в немедленном содействии интеллигентных сил для усвоения происшедшего.

Могилевская губ. В Рогачёвском уезде аграрные беспорядки. По прибытии солдат все взятые вещи возвращены потерпевшим. Усилена охрана винокуренных заводов. В Савинском уезде началась самовольная порубка крестьянами казённых лесов. Крестьяне согласились, что совершают беззаконие, и прекратили порубки.

Астрахань. Рыбачье население сместило казённую рыболовную полицию. В некоторых местах казённые рыболовные участки захвачены местным населением.

Троицкосавск. Веками угнетённые буряты радостно встречают благу весть...

ПРИВЕТСТВИЯ. ... Председатель ГД Родзянко продолжает получать телеграммы... от доктора Сун-ят-Сена, от социалистической партии Аргентины, от французской масонской ложи «Великий Восток»...

Привет масонов. Париж. Масоны ложи «Великий Восток», собравшись на малый конвент, отправили телеграмму князю Львову, выражая надежду... что Государственная Дума и Совет Рабочих депутатов сумеют сосредоточить всю нацию под одним братским знаменем.

... Депутация дворников заявила Совету, что все подозрительные элементы исключены из их среды. Вся масса петроградских дворников, в числе около 5000 человек, выражает желание прийти в Гос. Думу для выражения своей готовности.

... Долой ремесленное сословие как учреждение архаическое!...

Разгром квартиры банкира Гутмана. Трое в студенческой форме... Связали прислугу, взломали все хранилища и унесли ценности и деньги.

Арест громил. 15 марта ночью сторожа Апраксина рынка, обходя галереи, задержали нескольких человек, взламывавших магазинные замки. Громилы оказались из числа освобождённых революционным движением каторжан Шлиссельбургской тюрьмы.

Обыски в притонах по Свечному пер. ... Задержано несколько женщин. У одной

оказались снимки окрестностей Петрограда... Подозрение в шпионстве...

Неосторожное обращение с оружием. Один из милиционеров нечаянно взвёл курок... Раненые доставлены...

Около экрана . Письмо артистов. Беззастенчивые спекулянты, прикрываясь лозунгом свободы, выбрасывают на рынок циничные фильмы, вроде «Похождения Распутина»...

Самоубийство в Таврическом дворце. 16 марта на рассвете из солдатской винтовки застрелился в Совете Рабочих Депутатов делегат 3-го Сибирского ж.д. батальона. Ещё был жив: «Я не сумел справиться с возложенной обязанностью, мщу себе за это»... В письме: «Я прибыл в Петроград 3 марта. Приветствие от батальона так и не попало в «Известия», председатель забыл дать записку. Я просил три раза редактора внести поправку. Он забывал, а я терзался душевно. Всё это сделало меня полоумным. Так хочется жить на заре лучшей народной жизни.»

БИБЛИОТЕКА ПРОСВЕЩЕНИЯ. Книжный склад **ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА.** «Интернационал», «История Коммуны», «Всеобщая стачка», «Исторический материализм», «Общественное движение в России», «Положение рабочего класса».

В ближайшие дни выйдет в свет закрытый царским правительством в 1905 году журнал **ПУЛЕМЕТ.**

Литейный театр, **новая программа КРАХ ТОРГОВОГО ДОМА РОМАНОВ И КО.** Гротеск.

Театр «Мозаика». Пьеса «Гильотина». **Концерт цыган.** В концертном зале кабаре до 2-х ч. ночи.

Сваха нужна солидная, со связями – для молодого человека, имеющего общественное положение.

Господа рекомендуют камеристку, честную девушку.

Требуется **судомойка** с хорошей личной рекомендацией, приходите с паспортом.

ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНФЛИКТ.

Германо-китайский разрыв.

Угроза германцев. В перехваченной радиотелеграмме из Берлина сообщают, что германцы угрожают военными действиями, каких ещё никто не видел. Гений Гинденбурга в соединении с новыми методами войны...

Стокгольм. Поезда, отправляемые в Россию, переполнены возвращающимися на родину русскими.

Правое крыло шведских консерваторов, т.е. по нашей терминологии черносотенцы...
(«Новое время»)

... Довольно споров о каких бы то ни было вопросах, кроме защиты Родины! Помните,

что Петроград – не крепость, и если бы Вильгельму удалось до него добраться... Взятие Петрограда равносильно победе над Россией.

Телеграмма Кропоткина. ... Дети России, спасите нашу страну и цивилизацию от чёрных сотен Центральных Империй! Противопоставьте им героический фронт!

... воскресшую из смрадного гроба Россию защитить от врага...

... По Канту: «долг человека – смысл Вселенной». Вместе с Россией и мы, поэты-символисты, приняли эту войну – как величайшее социальное жертвоприношение. Старый мир багряно умирает. Преображение мира происходит в торжественном соборном действе. Но дракон ещё не повержен окончательно, и вселенское дело не кончено.

Ф. Сологуб

... Третий год мы стоим на рубежах, грудью отстаивая родину от вторжения осатаневшего гунна, который в жертву гнусному Молоху растерзал Бельгию, Сербию и Польшу. Он протягивает когтистые лапы, силясь схватить за горло прекрасную Францию, вольную Англию... До нас долетают неясные крики предателей свободы, требующих прекращения войны. Они раздражают нас и должны исчезнуть. Нас не смутит наивный лепет о немецком пролетарии...

Согласитесь, что люди имеют право знать, кто им приказывает. Хотелось бы думать, что ни анонимов, ни псевдонимов больше не будет в большом государственном деле.

(«Русское слово»)

НАРОДНАЯ АРМИЯ.

... Боязнь дезорганизации в армии в значительной мере преувеличена. Со дня на день в армии растёт сознание необходимости солидарности. Теперь-то и будет спаянность между офицерами и солдатами... Новая гражданская дисциплина... *(«Биржевые ведомости»)*

... Телеграмма обер-уполномоченного Щепкина: «В восемь дней кроме бесед произнёс населению и воинским частям 43 речи. Всюду доверие, дисциплина повышенная.»

... Наши товарищи под удушливыми газами, под огневыми струями, под свинцовым дождём, холодные, голодные, молят нас о помощи и смене. Самовольно отлучившиеся из Литовского батальона должны возвратиться в указанные сроки, иначе будут приняты лишь по постановлению комитета.

... Раньше у дезертиров было много смягчающих вину обстоятельств. Теперь – дезертирство ничем нельзя оправдать.

ИНВАЛИДЫ И ВОЙНА. Инвалиды, находящиеся на излечении в московских госпиталях, протестуют против лозунга «долой войну»: «Мы потребуем выдать нам оружие, будем умирать в окопах, но отстоим свободу родной России.»

Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления.

Постановление Временного Правительства... Освободить от суда и наказания не выше заключения в крепости или тюрьме... Уклонившихся от воинской повинности, если явятся не позже... Освободить от всех последствий судимости с правом повсеместного жительства... Каторгу, исправительное арестантское отделение уменьшить наполовину... Освободить от суда и наказания лиц, обвиняемых в промотании казённого оружия, в самовольном оставлении своих частей...

... Воспитанный в атмосфере бесправия и неуважения к человеческой личности, прежний тюремный персонал в ближайшем будущем будет удалён. Для подготовки новых

кадров начальников мест заключения будут открыты краткосрочные курсы тюремоведения.

... Началась «чистка Авгиевых конюшен» судебного ведомства. Список увольняемых должен расти с каждым днём. Пусть задумаются над словами министра Керенского, что «пусть у лиц, служивших старому строю, хватит мужества уйти».

... Таких идиотов, кто по свободному разумению стояли бы за самодержавную монархию, в России больше нет...

... Но, конечно, пропагандой не исчерпывается. Произвести безошибочный отбор вчерашних героев. С ними необходимо обойтись как с врагами... Они должны быть лишены всякого общения с населением... Удалите их... Арестуйте их... судите их. Изолируйте всеми законными способами, но без мягкотелой сентиментальности... Они не поколеблются покрыть шестую часть земного шара виселицами, если б одолели сейчас. Если нам суждено пережить смуту, то только в провинции будет её начало. Это надо предвидеть и предупредить.

(А. Вершинин, «Биржевые ведомости»)

... Там, в глуши, куда ещё не донёсся благовест новых дней, там ещё чёрная сотня щёлкает зубами...

ПРОИСКИ РЕАКЦИОНЕРОВ. Низложенную царскую чету при первом громовом ударе покинули все, кто вчера ещё лежал, распростершись ниц перед престолом. Все они спешат выразить удовольствие от ниспровержения самодержавия, торопятся обвесить себя лентами революционных цветов и предложить Временному Правительству свои продажные услуги... Но притихшая реакция начинает поднимать голову, и против неё...

НЕ СПЕШИТЕ ЗАБЫВАТЬ! Это слепой оптимизм, что Николай II уже в прошлом и обезврежен. Короткую память надо иметь, чтобы так скоро позабыть режим засилия. Забить осиновый кол в могилу династии! Нет, русская печать не должна умолкать о её грязных скандалах. Россией управляла шайка политического негодяйства! Слишком великодушны те, кто предлагает набросить вуаль на преступные тайны царскосельских разбойников, на скверну царизма. Нет, рассказывать, рассказывать и рассказывать!

Амфитеатров

ЗА ЧТО АРЕСТОВАН ГЕНЕРАЛ ИВАНОВ. Имеются данные, вполне уличающие его в замыслах против революционного народа. Поводом к аресту явились показания георгиевских кавалеров, с которыми он ехал для усмирения.

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ. Независимо от Чрезвычайной Следственной Комиссии при министре юстиции образуется и при московском комиссаре местная следственная комиссия для рассмотрения дел арестованных лиц, опасных в смысле их участия в контрреволюции.

Арестован полковник Резанов, проводивший следствие по делу Д. Л. Рубинштейна.

Объяснение Маркова 2-го. «... В том, что монархическая печать получала поддержку от монархического правительства, ничего предосудительного нет, как и в том, что нынешнее революционное правительство поддерживает Совет Рабочих и Солдатских депутатов. Мы старались просветить народ, но не готовили из своих отделов вооружённых отрядов. Сравнительно с действительной потребностью помощь правительства была ничтожна. Ныне, как известно, полная свобода печати, и потому редакция и типография

«Земщины» конфискована, редактор «Русского знамени» сидит в тюрьме, а остальным правым изданиям во имя равноправия воспрещено выходить в свет.»

ЗАДАЧИ ЦЕРКОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА... Очистить личный состав органов управления от элементов... Наряду с чисткой личного состава следовало бы установить строгий общегосударственный контроль над денежными капиталами и всяким прочим имуществом церкви. Конечно, новая государственная власть не может примириться с наследием прошлого в составе Синода. Но для этого надо вызвать деятельность республиканского духовенства... Петроград и Москва одни уже могли бы послужить базисом для новой организации церкви. Обер-прокурор Синода как комиссар правительства должен был бы, немедленно распустив св. Синод... Предупредить, что будущий церковный собор не явился бы орудием...

(«Речь»)

В ночь на 17 марта произведены обыски и арестованы: директор канцелярии обер-прокурора, управляющий синодальной типографии и ещё несколько синодальных чиновников.

КУРСЫ ЗАКОНА БОЖЬЕГО, ИСТОРИИ И ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА, учреждённые раввином Айзенштадтом. *Занятия продолжаются.*

ДАВНО ЖДАННЫЙ ДЕНЬ. Создалась целая «поэзия русско-польской дружбы, спаянная кровью»... Лживые декларации старого лицемерного правительства... Царское правительство откладывало решение польского вопроса. Положение спасла великая русская революция. Свободный народ отринул ложь старой власти... «За вашу и нашу свободу!»

(«Новое время»)

В 9-й аудитории университета состоится **сходка студентов-евреев** для обсуждения вопросов переживаемого момента.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БУНДА состоится в Петрограде 1, 2, 3 апреля... Отношение к войне и восстановление Интернационала, взаимоотношения Совета Рабочих Депутатов и Временного правительства... равноправие евреев и культурно-национальная автономия, отношение к политическим партиям и группам в еврействе и к общееврейским учреждениям, задачи партийного строительства, съезд Бунда...

Перепуг «Правды». «Правда» сама себя произвела в герои-мученики и с перепугу вообразила, что против неё «организован поход буржуазной контрреволюции». С тонкостью Ляпкина-Тяпкина она объясняет... Страхи её так же преувеличены, как представление о своём влиянии.

... «Правда», после короткого момента просветления, отказывается даже от оборончества.

«ПРАВДА». На неё ополчилась буржуазная пресса, которой большевизм не по сердцу и, главное, не по карману. А во всей буржуазной прессе нет ни одного органа, который мог бы похвастаться такой кристальной чистотой.

(«Московский листок»)

Откуда опасность контрреволюции? Революция – не праздник разрушения, но торжество государственного строительства. Европа изумляется той стройностью, с какой совершился у нас государственный переворот. Русская социал-демократия обязана покорно

преклониться перед священной волей русского народа закончить войну победой.

(«Новое время»)

ГНУСНЫЙ ПРИЗЫВ. Нам доставлена отлично отпечатанная прокламация за подписью «Харьковский комитет» и от имени Российской социал-демократической партии. Она содержит ряд грубых выхонок против Государственной Думы, Родзянко, Милюкова и призыв распространять лозунг «долой войну». В конце прокламации жирным шрифтом гнусные слова: «Да здравствует гражданская война!»

Нельзя допустить, конечно, чтобы социал-демократическая партия выпустила такую преступную прокламацию. Очевидно, контрреволюция работает вовсю. Нам пишут, что прокламация усердно распространяется среди населения. Слишком много негодяев старого режима, которые ни перед чем не остановятся.

(«Речь»)

Городские дела. О наилучшем использовании для общественных нужд свободных зданий Александровской Лавры. Юревич и Книпович вместе со следователем по особо важным делам посетили... В настоящее время там проживает всего около 200 человек братии и прислуги. Решено разместить: воинские части, камеру судебных следователей и дом для приезжающих.

... Вино для церквей отпускать по удостоверениям, выдаваемым общественным градоначальником.

В Тенишевском училище состоялось общее собрание учащихся средних учебных заведений Петрограда. Прочтено приветствие от министра просвещения. Юные ораторы не пожалели чёрных красок заклеить старый порядок в средней школе... Представители учительского союза и педагогического общества восхищались зрелым пониманием, обнаруженным учащимися... «Мы пойдём в деревню не только помочь крестьянам пахать, но будем пропагандистами»...

У будущих могил. 17 марта. Несмотря на объявление, что похороны жертв революции отложены, сегодня из некоторых частей города к Марсову полю потянулись дроги с гробами. Ошибочно привезенных покойников пришлось вернуть.

В совещании петроградского городского головы. ... Сложная задача, как охранить от тёмных элементов все дома в столице, когда население из них выйдет на улицу на похороны жертв революции. Решено держать на запоре все дома и чердаки. Ко дню похорон будут изъяты целые группы преступных элементов...

Трамвай. Московский трамвай с каждым днём работает всё хуже и хуже. Например, 16 марта на работе было всего 30% вагонов от действовавших до начала событий. Объясняется это тем, что рабочие относятся к своему делу вяло. Городское управление решило обратиться к Совету рабочих депутатов с просьбой оказать давление на рабочих в целях предупреждения полной остановки, а к рабочим – с воззванием не сокращать числа рабочих часов.

Таинственные автомобили появляются в Москве в ночное время, несутся с бешеной скоростью. Пока существенного вреда никому не причинили.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ. Комиссар казённой палаты обращается к населению Москвы с напоминанием, что подоходный налог не отменён.

Подполковник Грузинов. Вчера командующий войсками, проезжая верхом по городу, обратил внимание, что у Спасских казарм идёт самая оживлённая торговля солдатскими вещами. Командующий въехал в середину толпы и обратился к солдатам с короткой речью, что они расхищают народное достояние. Обратясь к покупателям, он напомнил, что скупка солдатского имущества преступна. Солдаты тут же потребовали обратно уже проданные вещи, и скупщики охотно их возвратили.

Из приказов по Московскому военному округу. ... Солдаты и офицеры рот пополнения! Армия ждёт не дожждётся вашей поддержки. Напрягите все свои силы, готовьтесь к отправке на фронт. Держите связь со свободным русским народом – он вас накормит, напоит, только не дайте зачахнуть его свободе.

Грузинов

ПРОТИВ ПОРАЖЕНЧЕСТВА. В провинции нарастает сильное движение против распространяемых от имени какого-то Совета рабочих депутатов летучек с призывом «долой войну!». Собрание жителей Сергиевского посада...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ. Не прекращаются слухи о погромной агитации на местах. Провинция не пережила великих дней переворота, как мы, не ощутила этого энтузиазма – и враги переворота там не обезврежены, как здесь. Совершается великая ошибка: происходит централизация отечественной истории в Петрограде. Надо дать русской провинции то ощущение счастья и радости освобождения, которое испытали мы. Массам нужны эмоциональные восприятия. Устраивайте парады, спектакли, зрелища, пусть массы на местах получают свою долю праздника революции и непременно официального. Кричите о великом счастье освобождения! В провинции имеется беспутная чернь, усиленная теперь неосторожно выпущенными уголовными преступниками. Можно не верить в русскую Вандею, но можно верить в российский погром. Бессарабская, Херсонская, Подольская губернии – полоса изуверства и зверства. Ergo, необходимо принять меры немедленно. Не верьте этой тишине на местах, за ней чувствуется предательство.

(«Новое время»)

Сход Подорвановской волости Пешехоновского уезда постановил: убрать царские портреты, оставить только Царя-Освободителя.

Минск. Из уездов поступают сведения о порубках в частновладельческих лесах.

Из волостного приговора... низвержение старого преступного правительства... горячо приветствовать борцов за народную свободу... Ввиду малого запаса дров на будущую зиму – оставшийся запас очередных делянок распилить на дрова. Должна быть низложена спекуляция, торговать чаем и табаком по цене этикета...

Красноярск. Многие крестьяне сдают в казначейство попятанное золото и серебро.

Рыбинский уезд. Крестьянское население собрало крупные суммы на памятник в честь павших борцов за свободу. Волостное собрание постановило: в память освобождения от романовского ярма все солдатки отказываются от мартовского пайка в пользу правительства.

... В ответ на призывы доставлять хлеб для армии – со всех концов России приходят телеграммы от лиц, жертвующих хлеб... В Пензенской губ. многие сельские общества жертвуют хлеб бесплатно. 4 волости пожертвовали 12 тысяч пудов.

Появление продуктов, падение цен на рынках...

... На днях ожидается закон об укреплении навсегда запретительных мер по продаже спиртных напитков.

Митинг полицейских. Одесса. Полиция должна отдать свои силы на служение обновлённой России. Отныне участок должен перестать быть презренным отверженным местом... Если нам выкажет доверие Совет Рабочих и Солдатских депутатов...

Одесса. Студенческий комитет возбудил ходатайство о распространении среди населения громадных запасов литературы 1905 года. Ходатайство будет удовлетворено. В комитет поступают сведения о попытках притаившихся монархистов сеять смуту. Совещания монархистов немедленно раскрываются, некоторые участники арестованы. Правая «Русская речь», преобразовавшаяся было в «Свободную Россию», окончательно прекратилась.

Ф.И. Шаляпин сочинил слова и музыку нового гимна «Свободный гражданин» и исполнит его в воскресенье с хором Мариинского театра:

К оружию, граждане, к знамёнам,
Тиранов жадных свергнут гнёт,
Знамёна красные – вперёд,
Во славу русского народа!

... Вчера, 15-го, в первом балетном спектакле зал Мариинского театра, полный демократической публики от верхних ярусов до первых рядов кресел, представлял редкостное зрелище. Не было отвратительных фраков и низко вырезанных жилетов со снежно белеющими манишками, ни следа ресторано-аристократического шика, обычно господствующего на балетных представлениях. Не было безвкусицы расфранчённых неприличий и безбрежных богатств, амальгамы биржи и кокетства... Перед третьим действием вся труппа выстроилась на сцене, под марсельезу, Фокин прочёл от артистов адрес с выражением преданности новому строю. Карсавина сидела в ложе честных борцов за новую гражданственность.

Посох «Васи-Босоножки». В следственную комиссию при Гос. Думе доставлен посох юродивого, железный, весом около пуда, на нём выгравирована надпись следующего содержания: «Сей посох дан страннику Василию Его Императорским Величеством». Следственная комиссия нашла нужным отобрать посох, дабы «Вася-Босоножка» не мог использовать надпись на посохе для агитации среди тёмных масс.

Дешевый прокат изящных автомобилей.

ПРОДАЕТСЯ РОСКОШНАЯ ГОСТИНАЯ красного дерева с бронзовыми предметами.

РАЗВОД быстро и дешево.

Приезжая молодая девушка желает получить место к одинокому (или к одинокой).

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПЕРЕД ВОЙНОЙ. Президент Вильсон в своём послании к конгрессу в понедельник укажет, что Соединённые Штаты были вынуждены к войне.

Английские войска в 70 километрах от **Иерусалима** . Новый крестовый поход! В случае овладения Палестиной Англия официально выскажется за предоставление страны евреям для колонизации.

Приготовление Бразилии к войне... варварская германская подводная война...

ПРОРЫВА НЕ БУДЕТ. Ввиду близкой распутицы нельзя ожидать решительных действий противника... остающиеся недели распутицы будут употреблены Германией на энергичную подготовку операций.

Победа или рабство. Всего несколько недель отделяют нас от начала нового немецкого наступления. Не сумев устоять, мы потеряем золотую свободу.

(«Новое время»)

... нужно призвать и старых и малых. Нужно превратить ночи в дни и работать изо всех сил...

Страна ждёт от петроградских рабочих чуда, что 8-часовой день не подорвёт производства. Заводские комитеты несомненно помнят прекрасное место из речи Ллойд Джорджа... Они не уподобятся приспешникам старого режима, забывавшим обо всём, кроме своих интересов...

(«Новое время»)

Телеграмма химического комитета. Доношу, что государственный переворот не вызвал остановки заводов взрывчатых веществ, удушающих средств и кислотных... Рабочие проявляли радость событиям только в свободное время...

Академик Ипатьев

Батальон 1-го марта... из бывших дезертиров, добровольно желающих в строй, и из солдат, освобождённых из тюрем... Командный состав батальона будет избираться, должности будут распределяться вне зависимости от числа звёздочек на погонах. Может быть это – первая частица республиканских войск, будущий оплот свободы против посягательств контрреволюции!... Товарищи солдаты-дезертиры! Вам указывается путь доказать вашу любовь к Родине. Батальон ходатайствует о присвоении ему имени подполковника Грузинова.

Химики и огнемечники! Ротный комитет извещает, что если не явитесь в часть до 28 марта, то будете считаться изменниками родины, сторонниками старого режима и отданы под суд.

... объявляется, что явка дезертиров ещё раз отложена до 15 апреля, последний срок...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

... Отмена казни в момент торжества революции – признак великодушия и пронизательной мудрости. В новой свободной России уже никогда не может быть того надругательства над человеческой душой...

Керенский со слезами на глазах сказал: «Я счастлив, что мне выпало на долю подписать указ об отмене смертной казни в России навсегда.»

... Сотни лет лучшие умы мира боролись с этим жестоким бессмысленным... Тысячу раз доказана бесполезность устрашения смертью. Тем не менее до настоящего дня даже в демократических государствах, как Англия, Франция и Соединённые Штаты, смертная казнь продолжает существовать... Никогда, ни при каких условиях, ни за какие вины Россия не

будет больше убивать своих граждан. Что бы ни дала наша свобода потом, – более полного выражения народоправства не найти! День очищения народной души от величайшего греха монархической России.

(«Биржевые ведомости»)

СМЕРТЬ ГИЛЬОТИНЫ. Одна великая революция ввела гильотину, другая отменила её. Как празднично светло и красиво, что свободная республиканская Россия начинает с отмены казни! Власть подаёт обществу возвышенный пример облагорожения нравов. Великая Французская Революция, провозглашая высокие принципы, не гнушалась насаждать их при помощи палача. Русская революция начинает с того, что берёт человеческую жизнь под охрану. Отменить смертную казнь во время войны может только власть, создающая свою силу.

... Кто теперь смеет упрекнуть революцию в кровожадности? Кто осмелится оспаривать её глубокую чистоту?

ОТМЕНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Быть может, завтра эта реформа, которой страна тщетно ждала при старом строе, станет законом. Могут упрекнуть, почему правительство начинает с уравнивания инородцев, а не уравнивания крестьян... А тут – ничего не надо создавать, а только разрушить уродливые...

Но все правоограничения национальностей бледнели перед чисто средневековой системой издевательства и гнёта, которой подвергался еврейский народ.

(«Русское слово»)

... Прежде всего по отношению к евреям непрерывно производились эксперименты, которые в последние годы приняли характер открытого глумления и издевательства над человеческим достоинством. Царизм может сказать про себя словами Макбета: эту кровь не смоет с рук весь океан Нептуна!

Отмена вероисповедных и национальных ограничений... в отношении жительства, передвижения; приобретения вещественных прав на имущества, не исключая казённых; представления их в залог; участия в казённых подрядах, поставках, акционерных обществах, публичных торгах; найма рабочих; занятия всяких должностей также и в государственной и военной службе; поступления в учебные заведения, преподавания в них; занятия должностей присяжных заседателей и попечителей. Действие проекта не распространяется лишь на германских, австрийских и венгерских выходцев. Акт будет обсуждаться во Временном Правительстве 18 марта.

Приезд американских капиталистов. ... сообщают о приезде в скором времени в Россию большого числа русских евреев, предполагающих применить капиталы на дело развития русской промышленности. Лицо, недавно вернувшееся из Нью-Йорка, рассказывает, что нигде не приходилось наблюдать такого интереса к России, как среди русских евреев.

(«Новое время»)

Возвращение политических эмигрантов. В Торнео называют свою принадлежность к политическим эмигрантам – и комендант, не входя в проверку этих данных, предоставляет таким лицам места в первом же курьерском поезде. Эмигранты проверяются комиссаром лишь на Финляндском вокзале.

В первые дни революции, как известно, жандармы, охранявшие пограничные станции, бросили свои посты, вследствие чего через Торнео хлынула в Россию масса шпионов. В настоящее время охрана границ восстановлена.

ХВАЛА МАРКОВУ 2-му. Он всегда в принципе отвергал свободу слова. Теперь он требует её для себя. Он говорит: старый порядок я защищал раньше, остаюсь его защитником и в дни падения. Согласитесь, в этой позиции Маркова больше достоинства, чем в пресмыкательстве оборотней, поспешивших преклониться перед новым строем.

НОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ? Некрасивая картина массового отъезда из Петрограда. Буржуазные слои, которые молчаливо приняли переворот, но взирают на будущее с тревогой... Дряблые души, лишённые чувства гражданственности, у них нет веры в прочность нового уклада. Они перенесут панику за рубеж, дискредитируют дело свободы в глазах иностранцев. Изменники нашему демократическому строю, они увозят из страны массу денег, подрывают курс рубля.

РЕЧЬ КЕРЕНСКОГО В СВЕАБОРГЕ. ... Я приехал принести финляндскому народу весть о его свободе, которую дал ему русский рабочий, крестьянин, солдат. Отныне прочь всякие сомнения! Позвольте мне объявить финляндским гражданам, совершившим политические преступления, полную амнистию! Товарищи, на днях я еду в Ставку для свидания с генералом Алексеевым. Позвольте мне ему сказать, что отныне он может надеяться на Балтийский флот, как на самого себя? Можно мне это ему сказать? (*Рукоплескания, «просим!»*)

Союз писателей. Русские писатели должны немедленно создать общедоступную народную литературу по всем важнейшим идейно-политическим вопросам, которая помогла бы тёмным людям уловить идеи... (*Любовь Гуревич, «Речь»*)

Искусство должно служить народу! В демократическом государстве искусство имеет право на существование, поскольку оно является орудием народного просвещения.

... В Таврический дворец продолжают поступать арестованные, но это по большей части лица, не совершившие никаких преступлений. Их тотчас освобождают.

Облава. В ночь на 18 марта в разных районах Петрограда задержано милиционерами 70 воров.

Мнимые страхи. В комиссариат Лесного района явилась жительница с заявлением, что она укажет штаб черносотенцев, у которых несколько автомобилей, вооружённых пулемётами, они разъезжают по окрестностям Петрограда и расстреливают прохожих и милиционеров. При проверке выяснилось, что никакого штаба черносотенцев и никаких автомобилей не имеется, заявительница оказалась психически больной. Подобных заявлений много поступает, особенно в окраинные комиссариаты.

Надзор за проституцией. Отменён прежний надзор полицейских комитетов с врачами. Ныне для женщин, занимающихся позорным промыслом, будут созданы особые приёмные пункты.

Воззвание комиссара Москвы. Граждане! С падением старой власти пришлось устранить и ту полицию, на которой лежало взывание налогов. Но потребности государства не могут ждать ни дня, ни часа. Граждане, несите сами в казначейство налоги, какие с вас следуют.

Предупреждение населению. За последнее время участились случаи принуждения

торговцев продавать товары, находящиеся у них на складах. Комиссар Москвы Кишкин просит население сохранять на некоторое время полное спокойствие... Все эти запасы будут предоставлены не случайно подошедшим группам населения. Бессистемная продажа товаров влечёт за собой ухудшение положения.

Присяга Грузинова. ... В 12 час. дня в Кремле, на Царской площади против Архангельского собора, командующий войсками с чинами штаба принесёт присягу на верность российскому государству, после чего гарнизонным духовенством будет отслужено молебствие. По приказу командующего на торжество явится от каждой части по взводу со знаменем.

Приказ комиссара по Москве. Для устранения затруднения в движении населения предписываю немедленно приступить к очистке мостовых и тротуаров ото льда, снега и сора.

Ростов-на-Дону. Общественный комитет решил распустить выборную городскую думу как непригодную в условиях настоящего момента. Нахичеванская дума остаётся, исключаются только гласные, заведомо негодные по своим антиобщественным взглядам.

Тюмень. Прекращена газета «Ермак». Издатель заключён в тюрьму.

Нижний Новгород. В приказе по гарнизону объявлено, что ввиду высокого значения Совета Солдатских Депутатов – временно считать всех его членов неприкосновенными, не приводить в исполнение дисциплинарных взысканий к ним, освободить от нарядов и обязанностей службы. По всей губернии началась чистка приверженцев старой власти.

Одесса. Арестованы ещё несколько видных черносотенцев.

Житомир. Прекращено печатание правой газеты, её редактор – председатель Союза русского народа, арестован.

ДЕРЕВНЯ. Переворот был совершён городом. Деревни город не знает, но установилось подозрительное отношение к ней. Само Учредительное Собрание в крестьянских руках начинает казаться опасной игрушкой. В среде крестьянства нет никакого ясного самосознания. По деревням не стало житья от воров и хулиганов.

Новая сенсационная книга ТАЙНЫ РУССКОГО ДВОРА. Закулисная жизнь Николая II. Секрет распутинского влияния на женщин. Распутин и экс-императрица. Тайны великосветских салонов.

Молодая особа с хорошим разборчивым почерком...

МЭЗОН АНГЛЕЗ. К сезонам в колоссальном выборе МАНТО, ПАЛЬТО, КОСТЮМЫ.

В СИБИРСКОМ ЭКСПРЕССЕ желаю купить билеты, плачу за переуступку.

ОСТАТКИ ВЕНСКОЙ МЕБЕЛИ продаются в очень большом количестве.

Так и чуяло сердце Николая Иудовича: не обойдётся. Ох, нет, не обойдётся!

Уехал как мог далеко ото всех этих опасных мест – и от Петрограда, и от Могилёва – в Киев. В Киев, где он так долго и счастливо служил командующим Округа, оставил хорошую память, имел много друзей, – хотя и здесь теперь кипела со всею страстью революция, но тут-то он думал перебыть. Нет, не удалось! Разнёсся по Киеву слух, что он приехал, достиг Исполнительного комитета – и именно его здешние знакомства и связи почему-то толкнули комитет на подозрение, что генерал может что-то злоумышлять, может перестать быть верен новому правительству.

И два дня назад его незаслуженно жестоко арестовали – а позавчера, неведомо зачем, отправили в зловредный Петроград, от которого он не знал, как унести ноги дальше.

За что??! Откуда же он мог знать 28 февраля, что мятежники станут правительством?

Правда, везли его благородно: никто не стоял у купе со штыком, никакого конвоя, а сопровождали генерала два киевских офицера, самых предупредительных. Можно было на станциях выходить из вагона гулять – но Николай Иудович не вышел ни разу, ни даже в Могилёве, где прирастал его вагон, откуда вся беда его и пошла. (Да боялся он – и чтоб не оскорбили прохожие солдаты.)

Этой дорогой от Киева до Петербурга сколько раз он ездил прежде, сколько мест знал глазом, – сейчас на эти поля и междулеся, где боролись туман, солнце, снег, вода и чернеющие проталины, – с новым отрешённым захолонувшим чувством смотрел Николай Иудович, пытаясь проникнуть в свою чёрную судьбу и найти выход.

Он уже видел по многим расправам и общему суматошью, что могут засудить и безо всякой вины, разорить, растоптать. А за ним, – за ним пристрастный взгляд мог найти и вину?

Но взгляд справедливый должен был высветлить от обвинений: нет, не было вины за генералом Ивановым, не было!

Теперь он особенно жалел о несчастных обстоятельствах 2-го марта – что не удалось ему тогда встретиться с Гучковым. Достаточно было в тот день оправдаться перед Гучковым – и теперь, когда он стал военным министром, никто б и руки не поднял на Николая Иудовича.

И, как съедающий парной туман на полях, клубилось в нём: надо оправдаться перед Гучковым! Ещё и сейчас не поздно написать, подать обстоятельный доклад Гучкову.

Но в дороге ему не пришлось написать: ещё не были готовы все доводы, и трясло. Да чем больше он обдумывал свою защиту – тем более она глубилась, расщеплялась, уже целое дерево корней и ветвей.

Сперва подробно обдумывал он свои действия в первомартовские дни. Взгляду придирчивому, недоброжелательному они, действительно, могли представиться отягощающей цепью: он – и единственный он во всей России! – прямо ехал на подавление революции! Это был – эшафот.

Но если теперь со всею силой ума вдумываться и вдумываться в каждый шаг и перипетию той злополучной поездки, и вдумываться с прониканием ума сочувствующего, заинтересованного (как только может быть заинтересован сам человек в сохранении своей шеи!), – то та же самая злонесчастливая цепь событий могла быть (лишь при малых изменительных мазках) совсем напротив обрисована и истолкована – в оправдание Николаю Иудовичу!

Всю дорогу теперь, почти не спя, почти не ея, генерал обдумывал каждое звёнышко той поездки: как его объяснить, понять и представить.

Если ничего не пропускать и с самого начала: в ту ночь назначения, в императорском вагоне на могилёвском вокзале, – я уже понимал, что причины петроградских волнений имеют глубокие корни. И я уже тогда доложил – как бы сказать? – бывшему царю Николаю Второму, что надо удовлетворить недовольство народа, и нельзя рассчитывать, что все войска останутся на стороне правительства.

А ввести войска в Петроград? – совсем не имело карательного назначения. Предполагалось привлечь войска с фронта лишь для облегчения положения запасных

петроградских войск. Лишь – для охраны петроградских заводов, не больше.

И именно для того, чтобы ни в коем случае не применить вооружённую силу, я и приказал войскам высаживаться из поездов не в Петрограде, но далеко в окрестностях. Я – именно желал избежать междуусобицы. Части, бывшие со мной, не имели никаких столкновений и не пролили ни капли крови.

Это – главный выигрыш! С этим не поспоришь.

Да собственно – нет, даже нет, не так! Я к этим войскам не имел никакого отношения! Я – их не посылал. И я – не видел их в дороге. И я не посещал их под Петроградом. Прошу отметить, это все знают: я ведь не поехал к Тарутинскому полку на станцию Александровская. Хотя он был рядом. У меня, по сути, никаких войск не было. А в Петроград я ехал просто как отдельное лицо: просто принять командование Петроградским военным округом. (Вовремя он сжёг удостоверение Алексеева о диктаторстве.)

Георгиевский батальон? Моя поездка совершенно случайно совпала с поездкой батальона. Просто – мой вагон подцепили к их поезду. Нет оснований ставить это мне в вину.

Да всю эту поездку просто раздули газеты.

Да, в пути были некоторые нежелательные эпизоды, между станциями Дно и Вырица, когда солдаты отбирали у офицеров оружие, – и мне пришлось прибегнуть к силе, но безо всякого оружия. Некоторые из задержанных имели уже по несколько экземпляров оружия.

В самом Царском Селе, лишь исполняя приказ бывшего Верховного Главнокомандующего, я посетил его супругу, – но вы можете любыми средствами проверить, что я не принял от неё никаких поручений и не установил никакой связи против нового народного правительства.

Моё положение очень осложнялось тем, что я не имел никаких сведений об обстановке, – но именно поэтому я принял благоразумное добровольное решение – уйти сам и увести этот единственный батальон в Вырицу – для ещё большего успокоения. Тут я имел от генерала Алексеева сообщение, что в Петрограде начинается успокоение и надо ожидать благополучного исхода. На станции Вырица я и решил ожидать исхода переговоров бывшего царя с делегацией Думы.

(Чего ни в коем случае только не следует делать – это ссылаться на обмен телеграммами с Гучковым и надежду встретиться. На нынешнего военного министра это может наложить пятно, быть ему неприятно – и только ухудшит положение обвиняемого генерала.)

И так я не имел никаких важных для дела сведений до утра 3-го марта, когда получил от Государственной Думы приказ, что вместо меня командовать Округом назначен генерал Корнилов – а я, стало быть, свободен от своих обязанностей.

И я тотчас же стал возвращаться к месту своего жительства в Ставку. И только уже на обратном пути узнал об отречении бывшего царя.

Да более того! да гораздо более того и глубже! Упрёки в «царизме», которые мне делают последние дни, – глубоко несправедливы! Вместе со всеми я разделял общее недовольство делами царствования Николая II – за что меня очень не любила придворная немецкая партия. Моё отчисление с Главнокомандования Юго-Западным фронтом и было большой интригой группы лиц, с Распутиным в центре.

Это уже тогда породило у меня чрезвычайно тяжёлое чувство по отношению к бывшему царю и его супруге.

Царизмом я не был заражён и не мог быть.

И в Ставке я находился в совершенно изолированном положении. На вокзале.

Напротив, отречение последнего царя отнюдь не освободило меня от верности службы Отечеству – и всем властям, Отечеством поставленным.

Моя готовность служить новому правительству усугубляется сознанием необходимости искоренения того многого отрицательного, что я наблюдал и испытал при прежних порядках.

И я – никогда не принадлежал к каким-либо политическим или хотя бы религиозным организациям и кружкам. Поэтому отпадает всякая возможность дурного влияния на меня моих знакомств, в том числе в Киеве.

А в Киев я приехал – просто отдохнуть и разобраться в личных делах.

... Так кручинные думы отемняли и гнули генерала всю дорогу. Как будто он неплохо строил свою круговую защиту, – но что можно ждать от этих обезумелых революционеров? Недорого возьмут потащить и на эшафот.

Надежда была – на одного только Гучкова.

И вторую ночь в поезде, как и первую, Николай Иудович почти не спал. Остро болело сердце.

С воспалённой душой он сидел у окна последние часы перед Петроградом. Что ждало его?

Подъехали к Варшавскому вокзалу. У Николая Иудовича было два довольно тяжких чемодана, сопровождающий офицер не сразу нашёл и носильщика. Встречал их офицер – адъютант коменданта Таврического дворца. Стали выходить из вагона – откуда ни возьмись кучка солдат. Увидели генерала – столпились, кто-то пронзительно свистнул, зубоскалили – и хотя ни по чему не было видно, что генерал арестован, – но потребовали, чтобы он сам понёс свои чемоданы, иначе не пропускали.

И так – с каждым генералом, значит?... И офицеры ничего не могли поделать. Неограждённость была полная – могли и оскорбить, и ударить. Слава Богу, хотя и отставленный, хотя и почётно-старый, но генерал ещё не потерял силушку. Он безропотно взял оба чемодана и понёс, вовсе даже не зашатавшись, только налился красно.

Солдаты, очень довольные, шли рядом, погогатывали и посвистывали.

К счастью, дальше их ждал автомобиль – и так они оторвались от этой группы. Но тотчас дальше, по Обводному, шли войска с красным знаменем. Николай Иудович попросил: везти как-нибудь стороною, так чтоб не мимо войск.

Но и перед самым Таврическим все улицы были забиты стоящими, чего-то ожидающими войсками. Только и везти мимо них такого видного генерала, дразнить. По Шпалерной вообще было невозможно проехать – объехали по Кировной, с другого ходу. Уж чемоданов пока не брали, офицеры любезно обещали доставить вослед.

Но и в самом Таврическом было не избежать перейти зал – а в нём тоже в обилии толпились солдаты, и заметили генерала, и это вызвало колкое недружелюбное внимание.

Воистину, был ход как на Голгофу. Уж не чаял Иудович, как скорей бы привели его в отъединённое, хоть и запёртое место. Болезненно ждал он оскорбления.

Но обошлось. Довели его коридором до какого-то часового, там дальше ещё коридор – и в комнату. Обыкновенную комнату, без решёток, не было в ней никого, стоял стол, диван, стулья. Ему принесли завтрак и оставили его одного.

Николай Иудович покушал, посидел, походил: вот так-так, судьбы человеческие! – он арестант.

А время уходило, надо было писать Гучкову.

Он позвал, попросил чернил и хороший лист бумаги. И хотя перо подали дрянное, но всё ж он выписал красивым, чисто писарским почерком:

«Милостивый государь Александр Иванович!

Если назначение меня Командующим Петроградского Округа с целью успокоения в нём брожения и предполагавшееся усиление гарнизона Петрограда действующими войсками не соответствовало обстановке наступившего момента, – то принятое мною решение остановиться в Царском Селе, а затем и отойти на станцию Вырица представляется вполне целесообразным: иначе возможное кровопролитие затруднило бы установление нового порядка управления Отечеством.

Отречение последнего царя от престола не избавило меня от верности Отечеству и поставленным властям. Как я служил 47 1/2 лет чуждый искательству, так буду служить и новому правительству, тем более, что новый государственный строй может дать блага

народу. И я никогда не принадлежал никаким политическим и религиозным... Напротив, солдата и простолюдина люблю с первых лет моей офицерской службы...

Прошу о восстановлении моего доброго имени и о предоставлении мне возможности ещё послужить на пользу дорогой родины и её Временного Правительства...»

644

Минувшие недели всё-таки не одной революцией были наполнены, Свечин имел удовольствие последить и за настоящей войной, имел азарт и угадывать стратегический замысел и чужое исполнение: германское отступление на Сомме. Как всегда, первые вести приносились близорукими и крикливыми газетными корреспондентами – и сообщения о якобы грандиозном наступлении союзников, какого у них и за всю войну не было, не пресловутый домик паромщика, но сотни квадратных километров, и даже союзные военные представители при Ставке поняли так. Но затем, и через них же, стали приходить сведения достоверные – и проступил истинный смысл события, какой Свечин и подозревал: ничего французы не прорвали, слишком это было бы легко на устоявшемся фронте: немцы отступали сами, ничем не вынужденные к тому! Да отступали – как? С высоким искусством, узнавалась до мелочей разработанная напряжённая программа гинденбурговского штаба: отступали так, что имели всё время инициативу, свободу действий, а французам покидали настолько методически разорённую территорию вместо их налаженной прифронтной, что обрекали их на важнейшем участке фронта к длительной разрухе и бездействию. Великолепный замысел и великолепное исполнение! Немцы на несколько месяцев создавали себе новое выгодное соотношение и освобождали много своих сил. Свечин и всегда считал, что гениальность более всего может проявиться не в наступлении, а в отступлении.

На третьем году войны немцы ни в чём не проявили ослабления, но оставались всё тем же мировым классическим врагом.

Следил за чужим замыслом и завидовал, что не русская стратегия мечет такие петли. Русских стратегов посадили под дурацкий красный колпак.

Но – где используют немцы освободившиеся силы? На Западном ли фронте? Не на Восточном? В отношении чисто военном это было для них и возможно и исключительно выгодно: при начавшемся развале русской армии они могли бы иметь здесь крупный быстрый успех.

Однако, кажется, политическое зарево стояло выше военного: нужно ли им на наше разложение наступать, или дать нам разлагаться дальше?

Революционные события Свечин переносил, точнее всего сказать: безразлично. Высокоразумные существа – люди вдруг обращаются в стадо озверелых обезьян. Личность растворяется в слепых страстях толпы, и больше всего боятся люди показаться умеренными. Об этой революции или дворцовых переворотах давно болтали все петроградские и московские салоны и земгородские интеллигентские агитаторы, внушали, кликали, призывали – не могли потерпеть до конца войны.

Великому народу в великих боях такое легкомыслие не проходит зря.

Но остановить – было упущено в роковые февральские дни. Прохлопал Государь. Прохлопал Алексеев со своей блеклой упряжкой Лукомского-Клембовского. Прохлопал Хабалов. Прохлопал Иудушка Иванов. Уже не говоря о размазне императорского правительства. И наконец, сползая с гривы на хвост, прохлопал и долгоногий великий князь. (Что он заменён на Кавказе деловым Юденичем – только к счастью для Кавказского фронта. Лишь не дать англичанам погонять нас захватывать для них мосульскую нефть.)

Они все прохлопали, и закатились или быстро закатывались, – но должна была стоять Россия, и её Армия, и её Ставка – и все, кто служил в Ставке, пренебрежа своей безразличностью, или презрением. Для того, чтобы всем им стоять, приходилось терпеть и неприятное, и неопрятное – и как-то служить и ему. Терпеливая линия в дальнем просмотре всегда оказывается верней. Какая-то дрянь ушла с переворотом, какая-то наплывёт и новая,

может быть и гуще, – а Ставка должна стоять. И не только решать обычные задачи стратегические, но ещё и методами, которых у неё сроду не было, охранить солдат от подстрекательства депутатов, комитетов, Советов, – удержать армию от переёма порядков тыла. А сейчас опубликовали ещё какую-то «Декларацию прав солдата», – это что ж? в отмен всех уставов? Окончательно отменяется отдание чести, и даже перед строем? отменяется вечерняя поверка, а «смирно» – команда лишь предварительная, – это что?

Свечин всегда знал один девиз: служить. Пути вольномыслия очень завлекательны и разнообразны, и очень приняты образованными людьми, но дело движут и развивают не они, а вот те самые презренные чиновники и военные служаки, которые являются на службу утром и уходят в пять пополудни, если нет сверхурочных работ.

Справится ли Ставка в новом положении? Способна ли Ставка ещё на что-нибудь? Но нельзя признать положение уже загубленным, а службу уже бесполезной. Вот, Егор просится – хочет что-то придумать? (В нынешней неразберихе, да когда ликвидируются все великокняжеские отделы, наверно удастся всунуть его в Ставку, вот только улучшить Алексеева наедине.)

Главное – Ставка не должна выступить против нового правительства, это Алексеев ведёт правильно.

Выход – всегдашний единственный выход жизни: компромисс. Принести присягу Временному правительству? Пожалуйста. С почётом принять в Ставке министров нового правительства как людей якобы серьёзных и что-то понимающих? Пожалуйста.

Как оправдать новую присягу? Можно это составить. Я прежде присягал императору Николаю II? Но разве я присягал лично ему, Николаю Александровичу? Я присягал главе государства, которое является моим отечеством. Однако, раз благо отечества не осуществилось при том императоре – будем искать его при новой власти.

Уже вчера на завтраке в собрании Свечин видел Гучкова, тот поздоровался весьма прохладно. Он конечно помнил крутой отказ Свечина тогда, в ресторане Кюба, когда пылкий Воротынцев чего-то от Гучкова с верою ждал. А Свечину давно уже надоела эта игра в младотурок, давно пора становиться взрослыми. Но раз Гучков стал военным министром – он переходит из сил мятежных в силы созидающие, в те, с которыми неизбежен компромисс. Он становится одной из дюжины голов этого нового сочленения, которой Свечин уже присягнул. И потому, и по служебному благоразумию, не следует продолжать прежнего вызова – но сгладить, сколько удастся.

Достиг Гучков задуманной своей высоты, но показался он Свечину не орлом, ширяющим под небесами, а довольно утомлённым и помятым петухом. И аресты ставочных чинов по его приказу выглядели не грозно, а жалко. И офицеры, приехавшие с Гучковым, таскали позорные красные банты, – а ставочные ни один.

Встречать министров сегодня на вокзале, Алексеев настоял, должны все ведущие чины Ставки.

Вдруг почему-то пожалел Алексеева. (Никогда не жалел.) Вся мера унижения, какая была в этой встрече, она падала больше всего ему. Серых, честных, трудолюбивых – таких ни при какой власти не возвышают, это ещё государева была личная склонность, – а вот обливала его революция помоями, а ему оставалось только отираться, как и ничто.

Итак, на вокзале был выстроен почётный караул из георгиевского батальона. Вся главная квартира, вместе и с морским штабом. Военные агенты союзных держав вышли на перрон из гучковского вагона. (Это Гучков подстроил повремени. А сам не вышел. И понимающий глаз разило, что военного министра встречали вчера не так.)

Обывателей из города было мало – город не смыкался с вокзалом. Но приехали на извозчиках (носились на них по городу) какие-то с красными бантами, красными шарфами и даже красными лентами наискось, через плечо. Но привели и построили какую-то школу, уже с красным флагом. Остальной перрон был беспорядочно забит любопытными железнодорожниками и солдатами, что создавало толпу, но нарушало строй.

Ещё и на крышах примыкающих станционных построек тоже набрался

любопытствующий народ. Ещё выше, вокруг высоких станционных тополей, в тепловатом пасмурном дне суетились, возились, кричали грачи, прилетевшие тому дня три.

На подходе поезда два оркестра уже заиграли марсельезу.

Вагон министров сразу был отмечен тем, что из него выходила и строилась охрана из гвардейского экипажа.

Встречающие не знали точно, кто именно из министров будет, ожидали первым увидеть князя Львова – первым явлением не царской власти на Руси.

Но в вагонной двери появился – подчёркнуто узкий, тщедушный, подчёркнуто подвижный, не в штатском пальто, но в полувоенной куртке и в полувоенном картузе, всем видом и движениями явно претендуя казаться военным. И ещё ему явно хотелось отдать под козырёк. Но он удержался, а с тамбурной площадки приветствовал всех собравшихся каким-то римским движением руки – и тут же, звонкогласо перекрикивая ещё не замолкший оркестр, закричал:

– Товарищи! Армиям фронта – низкий поклон свободного народа! Надеюсь, ваше воинство сломит упорство внешнего врага!

И – не сошёл, и не сбежал, а почти спрыгнул к Алексееву со ступенек. И не просто пожал руку генералу, но повышенным тоном вскричал:

– Позвольте мне, генерал, в знак братского приветствия армии, поцеловать вас как её верховного представителя и передать привет от Государственной Думы!

И – смело поцеловал колючего Алексеева своим голым обгубьем.

Дальше вышла заминка, которую Свечин хорошо видел поблизости: этот мальчиковый министр тут же намеревался и идти, с Алексеевым или даже без него, мимо почётного караула. Но Алексей, естественно, ждал следующих министров. А следующий министр в тамбуре не появлялся. (Когда потом появился надутый Милюков в шубе, можно было догадаться, что он не хотел просто прилипнуть к спине юного предшественника.) Вышла заминка, – а тем временем матрос гвардейского экипажа с усилием опустил одно вагонное окно – и оттуда выставился ещё какой-то штатский, без шапки, хорьковатого вида, с холёными усами, и тоже ораторски высунул руку и закричал, но уже в тишине, в приготовленном внимании:

– Товарищи железнодорожники! Ваш героизм и сознательность безропотно несущих днём и ночью свой труд с удвоенной энергией на алтарь отечества!... Старое правительство разрушило железные дороги, но мы оживим их и поднимем правовое положение железнодорожников!

Так что постепенно прояснялось, что это наверно – министр путей сообщения.

А в тамбуре показался и выдвигался к двери – очень постепенно, очень солидно, на голове богатая меховая шапка, шея в меховом воротнике, строгий вид, строгие очки – всем известный Милюков.

От некоторых не в строю раздались аплодисменты.

Милюков осторожно, как бы остерегаясь свалиться, сошёл по ступенькам, внизу поздоровался с Алексеевым. И движенья не делал приобнять или целоваться.

Тем временем сходил со ступенек ещё один министр – ростом выше Милюкова, совсем не надутый, открытое прямое лицо.

Затем и тот хорьковатый.

И теперь все четверо с Алексеевым двинулись мимо почётного караула, – но министр-мальчик на нетерпеливый шаг вперёд всех остальных, и первый звонко крикнул, смешно из юношеского горла:

– Здорово, молодцы!

И георгиевские кавалеры отлично отрубали:

– Здравия – желаем – господин – министр!

Милюков и другие уже не кричали караулу.

И мимо выстроенных чинов Ставки прошли со штатскими поклонами, никто никому не подал руки.

Впрочем, и много стояло же этих чинов.

Впрочем, Государь подавал.

Затем опять возвратились к своему тамбуру, и тот шустрый министр легко взлетел на площадку, обернулся и быстрым горячим голосом начал выбрызгивать речь. Кидалась его необычайная взволнованность, и ощущение необычайности момента, и страсть голоса, – за всем тем Свечин только и усвоил из его речи, что Учредительного Собрания нельзя собрать, не достигнув прежде победы над немцами.

По крайней мере хоть это понимали.

И – «ура» за армию!

– Ура-а-а-а!

Затем медленно, солидно на ту же площадку взошёл тяжёлый Милюков, обернулся, взялся руками за верхи поручней (проверяя пальцем, нет ли там налётов паровозной сажи) – и стал подчёркнуто не торопясь и подчёркнуто без азитации, довольно долго говорить.

Он отмечал заслуги армии в свержении старого режима.

(Если говорить об Армии Действующей, то заслуга могла быть только в полном бездействии.)

Уверен был:

– Народ, сумевший в четыре дня совершить мировой переворот, – добьётся и победы над внешним врагом!

Сесть бы тебе за оперативный стол, да посчитать, сколько мы потеряли от петроградских заводов. Да смещённых начальников. Да комитетов сколько. Да дезертиров.

И – «ура» за армию!

– Ура-а-а-а!

А затем поднялся тот третий министр, с таким хорошим, естественным лицом. И голос у него оказался естественный и душевный, даже редко такой услышишь. Но говорил он зачем-то длинно, с косвенными отвлечениями, всё не мог остановиться, – всё о тяжёлом наследстве старого режима, как его преступный хаос отразился на продовольствии. Говорил как-то растерянно или рассеянно, будто сам озабоченно думая о другом:

– Хлебородная страна вследствие преступной политики старого режима осталась без хлеба. В две недели наладить снабжение было, конечно, трудно. Но будут привлечены лучшие люди общества. Не пеняйте нам, если на первых порах придётся несколько и сократить потребление.

А что ж пеняли старому правительству? Оно и не сокращало.

– Теперь – мы сами делаем свою историю – и не на кого сваливать ответственность. Во имя будущего надо ограничить себя в настоящем. Только общей неустанной самоотверженной работой...

645

Не прошло и трёх недель революции – армия была расколота до основания, шаталась и гнила. Не то что наступать в этом году на Германию, – разумному военному человеку было ясно, что для спасения самой-то армии, чтобы было кому **стоять**, могли остаться только недели!

А Лечицкий сказал: всё равно ничего не поделаться...

А сослуживцы по штабу армии и кого Воротынцев повидал в поездке по корпусам – были встревожены, уязвлены, ироничны, или даже равнодушны (или даже перекрашивались под новую власть?), – но никто не разделял, что надо немедленно, вот тут же, самим, что-то резкое предпринять.

Армия – всегда и на всё ждёт команды.

Как мы все разъединены! Все дёргаемся поодиночке. Офицерство оказалось – сплошное баранство. Мы смелы в своём обязательном строю, в бою против Гинденбурга, – но пришло с неожиданной стороны, из-за нашей спины, – и какой мрази уступили?

Впрочем, большинство когда умело что-нибудь сделать? Большинство и всегда лениво духом, на него надежды нет.

Но – немыслимо не противостоять этому разложению! Ведь на этом не кончится, пойдёт ещё глубже. Лечицкий прав: это – осыпь земляной кручи, и она тронулась ещё только по верху. О революции уже все пишут как о чём-то, произошедшем три недели назад. Хо-го! Она только начинается!

И надо спешно искать наилучшей точки: и – чтоб самому не сползти, и – чтоб удержать. Если это вообще кому-нибудь посильно.

Воротынцев стал спать дурно, его жгло, что надо немедленно **делать** ! Он ждал ответа от Свечина. Свечин пока дал телеграмму, что – надеется устроить.

Решение – не рождалось. Первое соображение военного – применить к ситуации военные средства. Но такие средства – у кого были? И был бы у Воротынцева свой прежний полк – сегодня, конечно, тоже разлагаемый – так и тоже не то, вращённый в костяк фронта, отдельно не вынешь. И: революция – точно как зараза: тот, кто хочет приблизиться лечить от неё, – обречён прежде заразиться сам.

Да и что на Румынском фронте можно делать?

Он только мог присоединиться к кому-то крупному и сильному.

Но вот – и Лечицкий не собирал таких. Западный фронт – на уровне Москвы! – мог быть таким центром действия! – но вот Лечицкий не брал его.

Вчера весь день стоял туман, над городишкой Романом, а сегодня подул совсем тёплый ветер, туман сдёрнуло, под солнцем и небом открылся Серет и степь за ним в сторону Ясс – нигде уже ни клочка снега, и только чёрные-пречёрные плодороднейшие поля, ждущие семян, и такие же чёрные взмешенные дороги, по которым проехать совсем невозможно. На несколько дней вся Девятая армия потонула в этом море грязи. Но каждый, кто становился пощуриться под солнцем и принять этот обещательный ветер в лёгкие, – узнавал вокруг и в себе каждогоднее, каждый год удивляющее ликование весны – толчком в грудь, вмещающее в нас сноп радости, самоуверенности и надежд.

В такую погоду, и чувствуя себя молодым – нельзя не верить в успех.

И в этот солнечно-голубой день – пришла Воротынцеву телеграмма из военного министерства. Не от самого Гучкова, но от помощника его, генерала Новицкого. А содержание – захватывало дух: немедленно прибыть в министерство получить назначение с **большим повышением!**

Такая телеграмма может прийти офицеру – раз в жизни. И не в каждой жизни.

Да Воротынцев, признаться-сказать, и ждал такой телеграммы. И даже удивлялся, почему не шлют: обиделся на него Гучков?

Воротынцеву, в его разряде командира полка, повышением было бы – получить дивизию и генеральский чин. А – **большим** повышением? Сразу корпус?...

Или... революция чудит... или – даже Армию потом вскоре?

Всё может быть, когда прежние начдивы и комкоры начали сыпаться как сосновые шишки.

«Дорогу независимым!»... На этом тезисе ведь и было их совпадение с Гучковым. Об этом и мечтали: сменять по непригодности, а не по старческой только болезни. Это и обличали: загромождение командных постов засидевшимися стариками.

Головокружительный соблазн.

Выбор – целой жизни...

Какой выбор? Да, конечно, я согласен! Кто может быть не согласен?

А Лечицкий сказал: не время сейчас возвышаться.

Но и именно – время! Но и важнее всего – управлять событиями **сейчас!**

Но если Лечицкий не видит силы в Главнокомандовании Фронтом – то что может сделать корпусной? Получить от Гучкова корпус, – а с чего он окажется крепкий и стойкий?

И потом: идти сейчас к Гучкову – значит и служить этой самой революции? Разве Гучков позовёт – противодействовать ей? Он же сам – петроградская власть.

Но революция – это событие слишком огромного масштаба, чтоб его безошибочно разглядеть изблизи. И из революций тоже выходили могучие государства, на века.

Могут быть ещё разные, разные повороты к лучшему, там дальше увидим?...

Но что, вот, сразу близко видно: Временное правительство, которому так бы естественно выйти из войны, – безмозгло кричит о новом приливе сил и о войне до победы.

И – сами же при этом разрушают армию.

На что ж они надеются?...

Продолжать войну? – уже в прошлом году это было преступно перед русским народом. Сегодня – это стало и безнадежно. После того как отпробовали шипучего комитетского напитка – кто ж вернётся в старый строй? Теперь-то, после революции, – продолжать войну самоубийство.

Теперь долг – не переть на войну, не жалея лба, – но спасти народ в час его охмеления.

Да вот: как Гучков допустил эту «Декларацию прав солдата»? Он возвышает энергичных офицеров – и он же разваливает армейские уставы? И чего он ещё наворочает?

И какой же смысл возвышаться по куче, которая рушится?

А в этих комиссиях – поливановской, Военной – однако, кто и налип, как не младотурки же?...

Нет, пути расходятся. Это был самообман, будто и Воротынцев состоял в той компании. Как будто все едино хотели разумных армейских реформ. А они, вот, готовы и на развал.

Новицкий, подписавший телеграмму, – генерал-писатель, большой любитель изъяснять военную жизнь пером. Сейчас, когда больше всего нужна пропаганда, конечно, ему и быть при военном министре. Он ещё из юнкеров был разжалован за политику, потом всё же прошёл курс. А недавно был отставлен от бригады: что она по его вине понесла потери газовой атакой.

Ка к всегда жаждал Воротынцев высокого назначения! И вдруг сверкнуло – внезапное, небывалое!

Но – не от тех.

Но – не в то время.

Нет, не должность важна при революции. А – реальная возможность делать дело.

Однако в штабе Девятой армии теперь уж вовсе не остаётся делать ничего серьёзного.

Ставка! Вот единственное место, которое может противостоять и развалу от правительства, и развалу снизу. Единственное место, независимое от Петрограда и само себе командующее.

Единственное место, где может завязаться армейское сопротивление красному Петрограду. Если уж не в Ставке – то где ж ещё?

Или, всё-таки, принять вызов Гучкова?

С какой решимостью – отшвырнуть?... Ведь на корпусе вскоре – и генерал-лейтенантский чин! А в Ставке – ничто, какая-нибудь жалкая должность?

Выбор честолюбия: да, безусловно ехать к Гучкову! Сейчас же – согласие, и выезжать!

Как вот подсохнет.

Выбор реального дела: только Ставка! Нервный узел.

Не может быть, чтоб уже всё было без поворота проиграно!

Во всякой стеснённой задаче, если всматриваться в неё пристально и со свежестью, можно увидеть решение – и даже достаточно простое, неожиданное.

И есть – азарт опасных положений!

Сказал Лечицкий: революцию не перехитрить?

А может быть, всё-таки, есть такой способ?

Да не может быть, чтоб не оставалось никакого выхода! Так не бывает ни на войне, ни в природе.

И снова катили торжественные валы революции! И снова текли и текли праздничные войска к Государственной Думе!

Позавчера пришёл из Нового Петергофа гвардейский артиллерийский дивизион – и притащил за собой 12 тяжёлых пушек. И с оркестром и со всеми плакатами хлынул на ненадёжные полы Екатерининского зала, к счастью не пытаясь втянуть с собой и пушки – они все двенадцать остались на Шпалерной, грозную народную защитой Государственной Думы. Но ещё стояли в Екатерининском артиллеристы – как уже подошёл к дворцу, мешая строй из-за пушек, – гвардейский Литовский батальон. Пока разобрались, вывели одних, ввели других, произнесли речи перед литовцами (и Родзянко опять, но и Чхеидзе опять), – доложили, что снаружи подошёл 180-й запасной полк. («Тех, кто предавал народ, – под народный суд!»)

Уже так много было полков, желающих выразить преданность, что не все могли пойти по круговороту Таврический дворец-Дворцовая площадь, но кто куда успел. С Дворцовой площади доносили по телефону, что там в этот день Корнилов принимает парад и митинг сразу двух пулемётных полков перед отправкою их в Ораниенбаум. (Уже который день пулемётные полки ходили в разные места Петрограда и прощались.)

Вчера привалил к Государственной Думе запасной батальон гвардейского Петроградского полка – с полуистлевшим георгиевским знаменем, простреленным в турецкую кампанию, и красной лентой: «Доверяем Временному правительству». Родзянко в это время не было в Таврическом; Чхеидзе, на этот раз не «генерал», а «солдат от народного доверия», воспользовался и звал зорко следить за шагами Временного правительства. А к Измайловскому батальону Родзянко поспел, и выборный полковник произнёс здравицу: «За мудрого честного вождя Родзянко!» – и обоих понесли на руках.

Однако высшего ликования шествия полков достигли сегодня! Феерически повторялась незабываемая картина революционных дней! Колонны войск забили всю Шпалерную, завернули на Потёмкинскую и дальше вокруг Таврического сада – и по несколько часов ожидали впуска во дворец, многие сидя на снегу, а то и лёжа, ружья везде составлены в пирамидки.

Первым пригарцевал 9-й запасной кавалерийский полк, сам себя назвавший «1-м кавалерийским полком республиканской армии», – это название они и везли на пиках первой шеренги.

Сразу же за ними пришёл лейб-гвардейский Московский, и тут же за ним – лейб-гвардии Преображенский.

Так и забили улицы – хотя и это был не конец: дальше пришли пешком из Петергофа, потом 2-й балтийский флотский экипаж и, уже к вечеру, – гвардейский экипаж. А в 8 часов вечера, уже в полной темноте, – дошагал из Красного Села 176-й полк.

И все дожидались очереди войти в Екатерининский зал и тут держать митинг. Законное желание! (Хотя и утомительное.)

И выступали, выступали, чередуясь, то думские депутаты, то члены Совета. Сам Родзянко берёт свои силы, чтобы выступить перед экипажами, тем и другим. Вот вливались в зал и чёрные шинели. (У гвардейцев на знамени с одной стороны изображён крестьянин, «земля и воля», с другой – кузнец с наковальней и «да здравствует свобода».) Второй Балтийский экипаж Родзянко убеждал терпеливо ждать воли Учредительного Собрания, которое и ответит на все вопросы, волнующие русский народ. Но тут же влез от московского совета депутатов: что моряки – революционный авангард и выдвинули лейтенанта Шмидта, и отстают теперь свободу, которая пока завоёвана лишь наполовину.

И его – балтийцы качали. А Родзянку – не качали.

А к гвардейскому экипажу прежде Родзянки обратился их командир, капитан первого ранга: мол, 100 лет назад, когда декабристы вывели на улицу петербургские полки, – гвардейский экипаж тогда вышел первый. Теперь – не первым, но тоже вышел. А с проклятыми немцами будем бороться до победного конца! С «ура» подхватили матросы его

качать. Затем и Родзянку.

Так до позднего вечера ликовал сегодня Таврический. А завтра, в воскресенье, сюда ожидалась огромная манифестация женщин, добиваться избирательных прав, – и тоже ведь не мог Михаил Владимирович не выступить.

Всё так, всё отлично, но разве деятельность его только была приветствовать полки? Да именно в эти самые дни 23 армейский корпус прислал Комитету Государственной Думы в подарок шлем – как эмблему безопасности от посягательств врагов свободы. А артиллерийский парк прислал всё месячное солдатское жалование на усиление войны. И приходили сведения, что крестьяне жертвуют для родины хлеб. И надо было принять делегацию объединившихся демократических поляков, пришедшую благодарить Думский Комитет за обещание независимости Польше. (И хотя Комитет был ни при чём – но как не принять благодарности?) И нельзя было не принять Громана, который приходил мутить и жаловаться по продовольствию на Шингарёва. (Да и пора была писать воззвание к крестьянам: не поддаваться агитаторам и не громить имения. Очнулся теперь Родзянку, что зря это он в революционных попыхах утвердил реквизицию хлеба, у кого свыше 50 десятин. Это – разбой. И он теперь протестовал Львову.) И надо было рассылать, рассылать комиссаров Думы во все концы страны и разъяснять единство Думского Комитета, Временного правительства и Совета Рабочих Депутатов. А сегодня вызывал к прямому проводу генерал Рузский – и ни с того ни с сего повёл по телеграфу дискуссию: кого именно понимать под правительством – Думский Комитет или Совет министров? Генерал понимает совет министров лишь как исполнительный орган, а Комитет Государственной Думы – как орган высшего контроля. Да, конечно, именно так! – горячо подтверждал Родзянку. Но мы решили предоставить им отчасти и законодательную власть.

А дошло ли в Петрограде до полного успокоения?

Ох, много раз говорил Родзянку, кажется, что дошло. Но нет, увы, далеко до успокоения.

Именно в эти последние дни успевал решать Михаил Владимирович и ещё более важные вопросы. Тяготящий душу позорный вопрос, что некоторые депутаты получали субсидии из секретного фонда. Наконец, пришли объяснения ото всех них. К счастью, Пуришкевич, оказывается, получал для составления солдатских библиотек – и так оказался чист. А Марков имел наглость открыто признать в газетах, что да, получал помощь от правительства и сам как монархист поддерживал правительство – и гордится этим. А другие – уверяли, что не получали. А Крупенский прислал чек назад.

В тревоге заседал трижды Комитет и наконец постановил: лишить недостойных депутатского звания и считать это мнением как бы всей Государственной Думы, которую невозможно теперь собрать.

Но, когда ездил в довшин, принял Михаил Владимирович на душу ещё горшую тревогу и отемнение: узнал он, что готовится назначение Алексева Верховным Главнокомандующим.

Роковой шаг! Этого он и боялся! С первой минуты пронзило его, что это – опасная ошибка. И потом час за часом прорабатывалось в нём: какая же это опасная ошибка!

Лукавое котячье лицо Алексева так и стояло перед ним, живое!

Как фактический глава государства, как человек, ответственный за Россию, – Михаил Владимирович не мог не вмешаться! И самым энергичным образом! Он должен был спасти – и русскую армию, и победу, и революцию.

Но не имея прямо власти вмешаться и запретить и не имея под рукой полной Государственной Думы для запроса – один способ имел Родзянку: написать предупредительное увещательное письмо. Кому же? Ну, очевидно, князю Львову.

Письмо прорабатывалось в нём, – и сегодня в дальней комнате дворца, сотрясаемого шагом тысяч, он написал – своим красивым решительным разбросистым почерком, мысли легко ложились под перо:

«Милостивый государь князь Георгий Евгеньевич.

... Это назначение не приведёт к благополучному окончанию войны... Я сильно сомневаюсь, чтобы генерал Алексеев сосредоточил в себе сумму достаточного таланта, силы воли... Генерал Алексеев всегда считал, что армия должна командовать над тылом, над волей народа... Помните обвинение генерала Алексеева против народного представительства: что оно из главных виновников надвигающейся катастрофы... Не забудьте, что он настаивал на введении военной диктатуры... Ширины умственного кругозора в этом человеке нет, охватить широким размахом донельзя усложнившиеся условия ему будет не по силам, да имя его и мало известно в России... Для меня совершенно ясно, что только Юго-Западный фронт оказался на высоте положения. Там чувствуется голова широкого полёта мысли – я имею в виду генерала Брусилова. Это единственный генерал, совмещающий... Другим лицом широкого государственного ума я считаю генерала Поливанова. Быть может, ещё не поздно изменить ваше решение...»

Вот. Вот так. Сегодня же и отправить.

А если не повлияет?

О-о-о!... О-о-о!...

Тогда: завтра же собрать заседание Временного Комитета Государственной Думы – и просто постановить!

То есть, вынести рекомендацию.

647

По-настоящему, трудно было уразуметь, о чём бы Верховному Главнокомандующему надо было совещаться с министром юстиции и даже путей сообщения после того, как накануне уже обо всём важном отсовещались с военным министром. Другое дело – по иностранным делам. И всегда охотно – по продовольствию.

Да ещё: как понимать этих пятерых министров в их совокупности и взаимоположении? если не приехал премьер – то кого из них считать старшим? Гучкова? А может быть Милюкова? (А Керенский уверенно держал себя как за старшего. Впрочем, простой искренний молодой человек, неожиданный его поцелуй тронул Алексеева.)

Травимый Советом депутатов, Алексеев ли всей душой не хотел наладить сотрудничество с правительством? Да как без этого вести дальше войну? Без Временного правительства – что теперь есть Ставка? Она не может решить ни одного стратегического вопроса, ни с пополнениями, снаряжением. Надо любой ценой установить бесконфликтные отношения, и придётся принять дух, круг понятий и условия новой власти.

Но принять их условия – не значило принять все их безумия подряд. Вот они простили всех дезертиров, вот они простили уголовных, – а теперь отменили смертную казнь! во время войны и на фронте! Хотя этого и раньше почти не применяли – но оно же должно быть! Газеты давно болтали об этой отмене – но никак Алексеев не думал, что у правительства настолько не хватит благоразумия. Они как будто совсем не понимали реальной опасности развала армии – всё заслонялось выставочным щитом *демократизации*.

Через глухое течение телеграфных лент или сухую сдержанность донесений передать в дальний Петроград здешнюю тревогу и опасность было непосильно. Но теперь-то, когда министры сами наехали сюда в таком числе, – теперь-то и было высказать всё открыто. Да, поддержать хорошее взаимопонимание, но также и отстоять армейский взгляд. Как-то нужно в сегодняшнем совещании всё это тактично совместить.

Генерал Алексеев сильно волновался. После дня отречения Государя вчера и сегодня были для армии самые важные дни.

По пути с вокзала министры проявили приятное весёлое настроение: сегодня в вагоне, говорили они, впервые за три недели они крепко спали. А то ведь в самые революционные дни не умывались по шесть дней и спали в сутки по часу! – но скорее с гордостью об этом. Всем министрам Алексеев приготовил номера в гостинице «Бристоль», рядом со штабом, однако номера могли понадобиться им лишь для дневных переодеваний: дела революции не

позволяли им задержаться в Ставке, и сегодня же поздно вечером намеревались они отправляться назад и поспать снова в поезде.

Против штаба собралась на площади большая толпа – поглядеть министров. Охрана гвардейского экипажа продолжала сопровождать их, и ещё филёры сновали в толчее. Министры махали руками толпе, и особенно воодушевлённо Керенский.

Завтрак сервировали в узком составе – пятеро министров и три ведущих генерала, и уже за завтраком началось деловое обсуждение. Потом перешли в конференц-комнату, то есть всё в ту, где висело пять карт фронтов. Теперь собраны были все новые лица, о ком и вообразить нельзя было прежде тут, – а решать, по сути, надо было всё тот же вопрос: план кампании 1917 года.

И вот теперь Алексеев мог повторить им свои новейшие выводы: что наступление – лучший выход для нас. И мы можем намечать его, хотя и в ограниченном размере, на первые числа мая.

Какое облегчение! – не придётся краснеть перед союзниками! Министры радостно засветились, едва ли не больше всех сдержанный Миллюков. И все стали крайне благожелательны к Алексееву. В десять глаз рассматривали этого царского генерала и удостоверяться, что – можно ему доверить всероссийскую вооружённую силу!

(Да уж забыли они или не ценили: кто ж больше Алексеева помог им самим утвердиться?..)

А тут ещё именно сегодня появился при Ставке американский военный агент поручик Ригс. Он вот-вот ожидает извещения о вступлении Соединённых Штатов в войну, чтобы официально начать действовать при Ставке. Это – радовало всех, ещё бы!

Но Алексеев не дал себе раскиснуть от их доброжелательства, но стал выдвигать твёрдо. Господа! Освободите армию от тлетворных влияний и от политики. (И особенно смотрел при этом на Керенского: затлела у него надежда, что именно этот министр – мог бы!) Мы не можем допустить такой резкой ломки всего воинского устава. Армия переживает фактически болезнь, упадок духа офицерского состава, солдатское брожение. А – Балтийский флот?... Провален весь наш правый фланг. А как может быть, что Петроградский военный округ отказывается давать пополнения Действующей армии? А петроградские заводы уже три недели не дают вооружения... А именно в Петрограде главное производство всех боевых припасов. По причине революционных событий мы не получаем более ни снарядов, ни патронов, ни орудий, ни ружей. Не поступают и мины для обороны Балтийского моря, оно станет открыто противнику. Теряя столицу, мы теряем возможность победы. А такая неудача сотрясла бы страну морально – и население припишет тому, что переворот произведен не вовремя. И будет искать виновников.

Кого?...

Так Алексеев выдвинул остриём против министров всё, что мог.

А вот – сведены заявки по разным отделам интендантской части, по артиллерийской части, по снаряжению, по людским укомплектованиям, конским, по железнодорожному транспорту, по топливу, по металлам. Вот – графы потребных норм, вот – наличных запасов, вот – ожидаемое от тыла. Война теперь ведётся на истощение.

Всё так, господин генерал, но Ставка должна уяснить себе народные желания и руководствоваться ими. Слишком настаивать на узких военно-технических вопросах – значит не понимать духа революции, это производит невыгодное впечатление на общественность. Ставка не должна дозвлеть сама себе, а являться исполнительным органом революционной власти. Возникает вопрос: достаточно ли разъяснено командующим армиями значение переворота? Войска должны идти рука об руку с народом, и враги нового строя нетерпимы. Новое правительство и само имеет значительные трудности с Советом депутатов, да. Тем не менее, оно смогло спасти родину от грозящей гибели. У нас у всех преобладает оптимистический взгляд на будущее.

При такой настороженности министров – разве мог Алексеев дальше пожаловаться, что даже в Могилёве сама Ставка чувствует себя неуверенно, страдает от хамства *товарищей*

из местного Совета. Даже в Могилёве Алексеев реально теряет власть.

Ну что ж, проще двигаться по повестке дня, вот по этим заготовленным заявкам, которые уже и в Петроград многие посылались. На фронтах запасов продовольствия и фуража стало недостаточно. Значит, надо либо уменьшить суточную дачу, но это опасно при нынешнем возбуждённом настроении армии, либо надо сократить в армии число ртов и лошадей. Отводить в тыл конные дивизии?

Затруженный Шингарёв печально отвечал: сокращать лошадей и рты – да, но этого мало: неизбежно и значительно уменьшить суточную дачу хлеба, круп, фуража: хлеба – до двух фунтов, крупы – до четверти фунта. Шингарёв разводил большими ладонями: всё посчитано, у нас нет другого выхода. Настроения армии не надо бояться: как раз революционное настроение и поможет перенести урезы, которых не простили бы царю. Причём: категорически воспретить воинским частям производить закупки или заготовки в тылу собственным попечением, как это разрешалось до сих пор: это разваливает всё государственное снабжение. Пусть армия разводит огороды, вот выход.

Разводить огороды? – какое ж тогда наступление!

Но если мы не можем снабдить самих себя, запротестовал Алексеев, то надо же прекратить отправку пшеницы союзникам!

Малоподвижное лицо Милюкова и твёрдый лоб его омрачились: ведь это ему, ему придётся краснеть и извиняться перед союзниками.

Некрасов занервничал: железные дороги не могут сейчас справиться одновременно и с перевозкой запасов для армии и с оперативными перебросками войск, если они понадобятся для наступления.

Вот как... Генерал Алексеев нашёл доводы и силы обнадёжить правительство – а правительство, напротив, глушило его. И – что ж из этого выйдет?

А вот что. Генерал Алексеев должен издать ободряющую директиву фронтам. Нынешнее положение создано от неумения прежних министров наладить продовольствие и транспорт. Новые народные министры стараются распутать, но требуется терпеливо пережить переходное время. Потребности армии огромны, и дороги пока не могут удовлетворить их в полной мере. Ограничены и ресурсы в Европейской России. Внутри страны нет такого запаса собранных продуктов, и вот почему придётся уменьшить дачу продовольствия и фуража. Пусть армия обходится пока тем, что доставляется, и верит, что в тылу всё делают лучшие люди и лучшим образом. Затруднения – и во всех странах, и даже там дачи – меньше. Война идёт на истощение, и победа достанется тому, кто сумеет всё перетерпеть. Временное правительство обещает, что через 1 1/2-2 месяца уже будут благоприятные результаты.

Да не для того министры приехали в Ставку на короткие часы, чтоб изучать эти цифры, настроенные в тяготеющих докладах, – над тем будут работать комиссии по секциям.

А – вот что надо сокращать: саму Ставку. Во-первых, ускорить ликвидацию управлений бывших великих князей. И сами они, и принц Ольденбургский пусть немедленно подадут прошение об отставке и отправляются в Петроград, мы не будем арестовывать их. Затем: царский железнодорожный батальон – отправить на фронт. Георгиевский батальон? – тоже доверять им нельзя, это каратели, хотя теперь притворяются, что не знали, куда едут.

Генерал Алексеев не спорил. Он даже, со своей стороны, просит правительство как можно скорей отправить бывшего царя в Англию: его пребывание в России может нервировать армию.

Керенский возразил с оживлением, что надо прежде разобрать все царские бумаги – и только тогда...?

Да, вот ещё, В правительственных кругах очень сочувственно относятся к новой инициативе Земсоюза: сверх всей многообразной заботы, которую он уже ведёт об армии, ещё взять на себя создание Комитета Пропаганды, который будет давать армии ответы на все интересующие её вопросы политической, социальной, военной жизни, способствовать росту её сознания и подготовке выборов в Учредительное Собрание. (А пока на этот комитет

нужен один миллион рублей.)

Земсоюз был больным местом генерала Алексеева, теперь скрывается больным: ведь он докладывал царю свой решительный вывод, что Земсоюз приносит армии больше вреда, чем пользы, и следовало бы его разогнать, и рассылал секретную директиву, как надо ограничивать Земсоюз. И сейчас на это новое феерическое предложение он серьёзно мог бы ответить только одно: а не хотят ли все эти молодчики-земгусары да послужить в строю? Именно их пропаганды он и опасался всегда. Но председатель Земсоюза стал теперь премьер-министром России. И Алексееву оставалось только согласиться на эту новую карусельную болтовню.

С последней надеждой он взглянул на Гучкова, – должен же он понимать эту вздорность?! Но тот сидел как с зубной болью. Не возразил.

И ещё есть правительственное предложение: посылать делегации от войск в Петроград для приветствий Временному Правительству.

Ну что ж, если это нужно. (Алексеева как бы опять не познабливало, не возвращалась ли болезнь?)

Так постепенно совещание прошло через все трудности – и проступал итог для газетного коммюнике:

«Генерал Алексейев понял народные желания. Линия для общей работы с ним найдена.»

ДОКУМЕНТЫ – 31

18 марта

ФРАНЦУЗСКИЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛ НИВЕЛЬ – ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ ПРИ РУССКОЙ СТАВКЕ

Энергичным образом настаивать перед генералом Алексеевым, чтобы, несмотря на важные внутренние события, русская армия, в соответствии с принятыми ранее решениями, оказала возможно полное содействие операциям англо-французских войск. Наилучшим выходом как с точки зрения общих интересов коалиции, так и для морального состояния русской армии является как можно более скорый переход ее в наступление.

648

А даже и хорошо, что князь Львов не поехал в Ставку: у него образовался в субботу как бы невольный день полуотдыха. То есть нисколько не прервался ни поток приветствий, ни поток забот, звонков, докладов, и особенно Щепкин, в себе не уверенный, спешил решать в этот день с князем все вопросы по министерству внутренних дел, – а всё-таки чувствовалось облегчение: без половины министров ни одного мучительного вопроса не придётся сегодня постановлять. И не придётся мирить накапливающиеся страсти, особенно между Керенским и Милюковым, что бывает князю очень тяжело душевно. Заседание правительства если и состоится, то по вопросам третьестепенным – об отмене переводных и выпускных экзаменов в средних учебных заведениях, об обнаруженных хищениях при строительных работах, о выплате суточных и других вознаграждений комиссарам губернским и уездным, служащим правительственной канцелярии, телеграфного агентства, и процентные надбавки им.

Самым давящим в жизни князя Львова последние две недели то и было, что никто не состоял *над* ним в качестве начальника, высшей инстанции, с которой бы ему и ладить: спокойней было бы князю иметь над собою решительное твёрдое начальство. Нет, он стал тот самый верхний, за всё ответственный, который и должен теперь укладывать все неразрешимые вопросы России. И эта нагрузка была бы непосильна для человеческого мозга, если бы не верить, что сама Россия во всём разберётся и всё вытянет.

Отец князя Георгия был вольтерьянец, и не любил русской деревни, и даже бежал из неё в предреформенные, довольно жуткие тогда годы за границу, – так что Жоржинька

родился в Дрездене и первый язык его был не русский, а английский, от бонны. Отец, и воротясь потом в Россию, всё не доверял русским крестьянам и на более сложные работы в имени выписывал рабочих из Германии, хотя от этого смехотворно не было лучше. Однако Жоржинька, напротив, вырос в уверенности, что наши мужики во всём учителя жизни, и наш народ – богоносец. И эта вера в наш чистый, святой народ особенно поддерживала князя Георгия сейчас, на бурных общественных волнах. Он понимал, он верил, что вся стихия уляжется, когда здравый смысл возьмёт верх. Что наш народ сам знает, что ему нужно, и сам всё устроит.

А между тем корреспонденты, конечно, пронюхали и сообразили, что у князя Львова сегодня менее загруженный день, – и дружно приступили с просьбой о беседе для воскресных выпусков газет: дать читателям общий обзор переживаемого момента и общие перспективы.

Ну вот и недостающее сегодня бремя, – грустно усмехнулся князь. Но не только невозможно было отказать настойчивым корреспондентам, а он тут же и подумал, что это хорошо, что это даже лучший способ управления: не постановления выносить, не указы, но – вольными, широкими словами объяснить всё народу России.

Пригласил корреспондентов к себе в кабинет, выдержанный в синих и косяных тонах.

Лакей в ливрее и высоких белых чулках подал кофе.

Создалась вместе – интимность и просторность, было легко говорить. И слышал князь, как голос его задушевен и как это передаётся, умягчает корреспондентов. И князь говорил как бы сам с собой или мысленно со всей Россией:

– Время, которое мы переживаем, настолько выходит за рамки всех привычных представлений о ходе государственной жизни, что я чувствую себя затруднительно говорить в форме газетного интервью. Жизнь – ещё в расплавленном состоянии, и те твёрдые формы, в которые она выльется, намечаются пока лишь в общих очертаниях, а определятся со временем – свободным народным творчеством.

Князь говорил не торопясь, весь вдумываясь, весь вчувствуясь, поводя то к одному корреспонденту, то к другому седоватой своей головой и улыбаясь своею, как он знал неизъяснимой, улыбкой.

– Русский народ только сейчас стал перед всем миром и перед самим собою во весь свой гигантский рост. Он совершил настоящее чудо: в течение нескольких дней он снёс до конца прогнившее здание старого порядка – безо всякого междуусобия, почти без кровопролития. Он совершил и второе чудо: он сумел на второй день после своего великого переворота организовать новую власть и в центре, и на местах. Скажу вам, я верю в то, что он совершит и третье чудо: донесёт свою свободу и своё единение в неприкосновенности до того великого дня, когда Учреди...

Переполненный верой, князь дрогнул голосом:

– Только эта вера и помогает нам нести наши сверхчеловеческие задачи – и не сламываться. Без дружной народной поддержки мы бы... – закончил шёпотом, – свалились.

Он должен был передышать, чтоб овладеть собой, но корреспонденты не ринулись грубо в эту паузу с вопросами. Да это всё были чуткие интеллигентные люди. Чуть звякали кофейные ложечки.

– Великая русская революция сделала нас – исполнителями воли народной. Мы в полной мере оцениваем значение тех сил страны, которые сыграли главнейшую роль в час великого переворота.

То – не был ни сам князь, ни думцы, то – были удивительные герои, солдаты запасных полков, и удивительные рабочие, которые... Экспромтом блеснуло князю, что эту беседу он может использовать для публичного обмена как бы дружеской улыбкой с Советом рабочих депутатов, улыбкой, каких немало он послал им через стол в заседаниях Контактной комиссии – но, публичная, такая улыбка более обязывала и контрагентов. Он, кажется, нашёл очень тактичную форму:

– Всё старание наше – осуществить *полноту* власти, которую нам вверила народная

воля в согласии с этими силами. Но мы надеемся, что *и эти силы ясно понимают положение русской свободы и Временного правительства*. Чтоб ответственность Временного правительства передо всем русским народом была реальной, для этого ему нужны... возможности решения и действия...

Кажется, он хорошо и уместно это выразил!

– И признаки всеобщего объединения вокруг Временного правительства являются со всех сторон России – в выражениях доверия, приветствиях, депутациях. Наша программа – уже известна стране. Основное обязательство – это созыв Учредительного Собрания в возможно кратчайший срок. Определить этот срок уже сейчас с полной точностью – само собой разумеется, нет возможности. Нет готовых образцов. Составление избирательных списков уже будет грандиозно, как всеобщая перепись. И надо обеспечить голосование на фронте, – значит, чтобы военные действия не были в полном разгаре. И надо же обеспечить абсолютную тайну голосования.

Действительно, эта проблема была тем головоломней, чем пристальней в неё всматриваться. В горячке революционных дней обещали собрать Учредительное чуть ли не в мае. Но корреспондентов не приходилось убеждать, они понимали.

– А тем временем, господа, что ж, правительство приступает к самым неотложнейшим из реформ. На первом месте здесь – отмена нетерпимых, позорных вероисповедных и национальных ограничений, – это уже готово у нас и будет опубликовано в ближайшие дни. Затем пойдёт очередь – равноправия женщин, равноправия сословий. Затем потребуются регламентация... В краткой беседе трудно исчерпать, господа, бесконечный список вопросов. Но не могу не коснуться кардинальных: войны и продовольствия.

При слове «война» даже мирно-лучистые ласковые глаза князя Львова заблестели иным огнём (оставив недописанное, корреспонденты спешили записать это):

– Вступая во власть, мы были убеждены, что свободный русский народ не преклонится перед врагом. И мы оказались правы: клич «война до победного конца» уже звучит со всех сторон. И даже те, кто при старом порядке был холоден к этой борьбе, теперь зажигаются новым огнём! Но и враг не дремлет! – он уже стягивает войска к нашему фронту и готовит новый удар.

Лица корреспондентов выражали ту же мужественную решимость. Когда знала Россия такое душевное единение между председателем правительства и прессой!

– Внутренние отношения в армии уже обновляются в духе права и справедливости. Что же касается продовольствия, – тут князь тяжело вздохнул, – то нам досталось от старого порядка тяжёлое наследство. Вся надежда – на готовность земледельческого населения продавать и даже жертвовать хлеб для нужд свободной России. Я верю, – он поднял глаза выше своих собеседников на подпотолочную лепку, – что великая крестьянская сила выручит Россию из беды. И несмотря на все опасности, я – бодро смотрю в будущее. Я – верю в жизненные силы и мудрость нашего великого народа. Я верю в его великое сердце, этот первоисточник правды и истины.

Так эффектно он кончил, так полно выразил себя, что уже мелкие вопросы неудобно было и задавать. Его благодарили, беседа кончилась.

Князь позвал Щепкина, чтоб углубиться в министерство внутренних дел. Тут было множество вопросов назначения, увольнения, кредитования, распределения, – но в этой деловой сфере тем более не терялся князь, величайший практик. Однако пришли и доложили, что очень настаивает на приёме у князя некая депутация с Западного фронта.

С Северного уже побывало их несколько, с Западного – ещё не успевали приезжать. Досадно было отрываться, но и...

– А сколько их человек? – спросил князь.

Да не больше дюжины.

Обычно депутации принимались в ротонде или в Квадратном зале, отделанном в помпейском стиле.

– А вы заведите их прямо сюда, – предложил князь.

И, два штатских человека, они со Щепкиным встали, вышли на середину кабинета навстречу депутации, выровнялись.

Те входили, без шинелей, но с покрытыми головами, постукивая сапогами, брэнча оружием и шпорами, почти все с георгиевскими крестами, кто и по два. Выстроились в две шеренги, лицом к князю, три офицера – в первой шеренге. И самый младший из них – подпоручик, с очень свободной речью, произнёс звонкое приветствие правительству, в обычных словах.

Князь ответил, как всегда благожелательно, но кратко, по усталости. И у него тоже слова были все повторные: что правительство служит народу, а народ надеется на армию, которая и должна привести к победе.

Единственная необычность, может быть, была именно в том, что приём происходил в кабинете, и оттого не стягивалось никого со стороны – послушать и посмотреть. Только и стояли вдвоём князь со Щепкиным против малой депутации, в торжественном, но закрытом кабинете.

И от этой ли ощутимой отъединённости или такое намерение и было у делегации, – вдруг выступил старший из офицеров – донской казачий, с двумя звёздами при двух просветах, ещё совсем молодой, литой, и усы литые чёрные, черноглазый, с приятной мягкостью, скрывающей лихость, – сделал шаг из строя вперёд, молниеносно отсек князю честь, доложил:

– Войсковой старшина Ведерников! – и уже тише, но не от своей скрываясь делегации, ей-то слышно каждое слово, и лицом не продрогнул ни один унтер, ни солдат, не удивился ни слову произнесенному: – Ваше сиятельство! Мы наслышаны, что у вас в Петрограде – как бы две власти. Что вашему правительству мешают разные самочинные организации, суются не в свои дела. Вы, – он не смел улыбнуться в строевой позе, но всё смазливое лицо его просилось к весёлой улыбке, и даже можно было понять, что это – улыбка сговора и уверенности: – Вы – только прикажите нам! мы – вас освободим от них враз, ваше сиятельство!

И опять мелькнул честью, задержавшись у козырька, ожидая ответа.

Князь Львов почувствовал, что горячая краска ударила ему в лицо. Слава Богу, никто посторонний не слышал, но он покраснел даже перед Щепкиным, и перед самим войсковым старшиной, и перед молчаливыми солдатами в двух коротких шеренгах: а кто поручится, что один из этих солдат не отправится тотчас доложить в Совет рабочих депутатов?

Нет, в этой дружной группе было нечто слитное. Так и сдвинулись.

Однако князь покраснел сильно, краска не сходила, и в этом стыдливом пламени, стараясь держаться беспечней, он пробормотал в величайшем смущении:

– Что вы, что вы! Нет, нет! Эти слухи преувеличены. Всё приходит в равновесие. Всё приходит в порядок. Ничего, ничего не требуется, господа. Никакой защиты внутри страны нам не требуется, только защита от немцев!

Войсковой старшина опустил руку медленно-медленно, и уже никакой улыбки не проглядывало на его лице. И шагнул назад не оборачиваясь, спиной.

По его тихой команде две шеренги повернулись направо – и, стараясь не стучать после ковра на пороге, тихо вышли из кабинета.

Князь со Щепкиным сели заниматься дальше, не обсуждая происшедшего.

Но что-то очень испортилось в душе князя, что-то очень провалилось и тоскливо подымливалось, как от рухнувшей штукатурки. Князь Георгий Евгеньевич дозанимался с трудом и с упавшим вниманием.

Он не успевал дать себе отчёта, что это произошло, отчего так дурно? Сожаление? Опасение? Сомнение?

Щепкин ушёл – князь подпёр голову двумя руками, закрыл ладонями и отсиживался в некоем головокружении, как бы ожидая, чтобы осела эта тоскливая дымящая пыль.

Боже, отчего оптинские старцы не велели ему остаться в пустыни, как он хотел, не дали отрешиться от мирского, как он одно время просился?...

А ведь Нижняя Волга в эти дни уже вскрылась! – и суда выходят из затонов, начинается навигация. Гордей Польшиков и сердцем знал издали сроки, но и в Петрограде в утро отъезда успел получить телеграмму из Астрахани, что его первый пароход вышел в Красный Яр.

Всякое время года любил на Волге Гордей, но лучшее время – весеннее половодье! Эта всякий раз новая распахнутая радость от открывшейся реки, от мощи разливов, от воли и простора, какие дадены каждому человеку, и мне, и всем нам. От начала могучей общей работы, её чувствуют все, она на лицах всех матросов, рабочих, грузчиков, и даже пассажиры возбуждены по-своему. Парусные расшивы с рыбой выходят из Астрахани тотчас по ледоплаву, украшаясь флагами – и команды в красных рубахах. Лучшее время года! – и Польшиков всегда старался сам пройти на первом своём судне, – а вот в этом году задержался тут на севере. Но и сейчас из Москвы, отбыв завтра-послезавтра этот торгово-промышленный съезд, сразу же кинется в низовья Волги.

Его пароходное общество «Купец» соревновалось с «Самолётом» и с казённым пароходством – и в пассажирских рейсах, и в баловстве волжских гуляний, а более всего – в перехватчивых торговых перевозках, в чём и есть главная работа реки и главный доход судовладельца. Любил Польшиков все свои суда – от скоростных пассажирских бегунов и до последней сенобежки и угольной баржи, знал сильности, слабости каждого судна и помнил уем каждого. Да неплохо знал и чужие суда. И капитанов не только всех своих, но всех заметных волжских. И знатных лотовых. Это для посторонних Волга так длинна, так неохватна, и Царицын с Тверью как не видались никогда, и Ока с Камою как не обнимались, – а для волгарей всё в единстве. Когда на великой реке встречаются капитаны и пароходы, то узнают друг друга как односельчане на деревенской улице. И как те останавливаются потолковать о сельских новостях, так и эти – весело трубят друг другу, сигналият знаками, кричат в рупоры, а то и ссорятся, сбросив движение, а то и перекидывают лёгкие перильца, иногда и с мостика на мостик, и переходят в гости, как циркачи.

И своё волжское дело любил Польшиков (и своё коннозаводство за Волгой) – но и своё купеческое сословие. Правда, уже не из тех он был купцов – в армяках, в длинных кафтанах, шароварах с гармошкой на голенища, борода по брюхо и золотые цепочки на обеих сторонах живота симметрично. Он был – из купцов нового поколения, после коммерческого училища ещё год доучивался в Гамбурге корабельно-торговому делу, поездил и по Европе. Таких, как он, среди купцов звали «американцами», ещё и по западной одежде (хотя Польшиков любил русскую, даже в столицы не расставался с сапогами, а дома на выгулку надевал шубу лисью). Но никак не был он из тех, кто «тянулся за бaramи да распрощался с амбарами». Тысяцкий, почётный потомственный гражданин – и хватит с нас, борзых не гоняем, в карты не продуваемся, и в гвардейские полки не добиваемся. А истая сила русская – в нас! И посравнив наши коммерческие обычаи с западными, где на каждый шаг контракт и вексель, как не прохватиться нашими? Кто честен и проявил это среди купечества – то границ доверию нет, дают задатки по 50 тысяч и не берут расписок, – вот так, нам не по судам тягаться, всё торговое в России делается на слово, без бумаги, уговором торг стоит, ряда узлом затянута, обещал – выполняй, не выполнить купеческое слово – последний позор. У нас в России громадные сделки заключаются за чашкой чая, на словах, – и всегда выполняются, и чтоб дело шло разгонисто. Да помнил Польшиков и такое, ещё парнем, при отце, он попал у себя в Нижнем, в 96-м году, тоже вот на торгово-промышленный съезд: Витте хвастался пошлинами на западные товары, чтоб русским было легче, – а статейные купцы собрали большинство: не надо! открывай им ворота, пусть! поверстаемся, кто сильнее! Витте поверить не мог: не из-за границы ли их подкупили? А вот это – и было по-нашему, размахнуться так размахнуться!

Нынешним октябрём скончалась в Нижнем Новгороде знаменитая пароходчица Мария

Капитоновна Кашина, кликали её Марфой Посадницей. Много от неё Польщиков перенял в купецком деле, и говорила она: так – от Верхнего Новгорода идёт.

И когда в смуту Пятого-Шестого года иные состоятельные, напуганные грабежами, громежом, стали деньги переводить за границу, а предприятия сворачивать, то согласно корили их: «Стыдно деньги за границу прятать. Как бы нас малость ни потрясло – а Россия как стояла, так и будет стоять, и капиталы наши и силы наши – ей нужны каждый день.» И выгодные условия в Европе для денег предлагают – но нет!

В эту войну полили газеты глупую несмысленность, что «купцы прячут товары», не понимая, что когда купцам «прятать» будет уже нечего, тогда-то цены и подскочат до небес. В начале войны нас только и спасли запасы купцов: по дурацкому закону о мобилизации все товарные вагоны разгружались в тот час и в том месте, где их заставлял приказ. И на несколько месяцев прервалось товарное обращение по стране, и не будь торговых запасов у купцов – города бы обнищали и вымерли. А так – и не заметили перерыву.

В этот раз уехал Польщиков в Волхов да в Череповец ещё из цельного Питера, а воротился через пять дней – банки, фирмы, биржа закрыты, прекратились операции, не работают заводы, не разгружаются, не нагружаются товарные поезда. Так что и какие дела оставалось Польщикову доделать в Питере – все прервались. И он – уехал бы в Нижний, или повис бы тут без смысла и живого дела, сторонним наблюдателем революционного сумбура, – если б – не эта девочка.

Польщикову сейчас чуть за сорок, а ни в чём нет этих лет – ни на лице, ни в стане, ни в глазах, ни в ногах. Волгарь, капитан, всадник, лошади, лёгкий на подъём, на вспрыг, – в этом декабре в Астрахани из ледяной воды вытянул тонущего, два стакана водки выпил, бутылку шампанского – и как ни в чём. Лёгкий и на язык, весёлый, – он всегда всяким женщинам нравился. Хотя, конечно, женатый, но по роду подвижной своей жизни всегда в поездках, в чужих городах, Польщиков нигде не скучал. А ещё была у него страсть – наперерез всем страстям – к театру. И в Германии немало повидал, и в Москве-Петербурге. Хоть на сотый спектакль придёшь, хоть на трёхсотый, – а как только свет пригасили и занавес тихо-тихо стал расползаться, с шорохом метя по доскам просцениума, – так сердце и обоймёт: в этот раз – что-то особенное будет! Компаньоны смеялись, а мог Польщиков на изрядный новый спектакль тысячу вёрст отмотать, туда и назад.

А эту-то худенькую черноволосую – и не узнал по её тихости в уголку, хоть и надышанную тем же воздухом, – это она его узнала! и сама к нему подошла!

И – во всём остальном городе катилась ли революция, нет, – в эти часы они не думали. Запирались, зашторивались, и от раза к разу всё усладистей и захватней забирала его Ликоня, – да не забирала, а сама была забрана до последнего вздоха, до затворенных век, – и только в одном имела волю устояться упористо, стыдливо: никогда не обнажилась при свете. Только глазам его не далась открыть себя всю.

Старшему сыну Гордея было 17 лет, дочери 15, а Ликоне – 22, но не видел он в том покура. Жену свою, близко к ровеснице, Гордей ощущал чуть не как мать, а вот Ликоня была ему самая как бы ровня, и даже робела от его задора.

Он научился и говорить с ней – не как с девчёнкой, и не как с дамой, – а прямо, как думал.

Между тем жизнь в Петрограде ожила, и дела Польщикова как-то сносно закончились, время было гнать на Волгу, – а он не спешил уехать, добавлял день, второй – чтобы с ней побыть. Возобновились уже и театры – но не шёл с ней Гордей никуда, – и даже не чтоб уберечься от лишнего слуха (хотя и тоже ни к чему), а: показывать своё сокровище никому не нуждался.

И Ликоня тоже никуда не рвалась идти: лишь бы вдвоём.

Оттягивал отъезд – и вот как придумал: в воскресенье 19-го в Москве открывается общероссийский торгово-промышленный съезд, на который он был приглашён, да и надо же по новой обстановке посмотреть-послушать. Так в Нижний пока не возвращаться, а ещё были дела в Твери, сладить их по пути на съезд. И Польщиков дотянул петроградское

сиденье до позавчерашнего утра, четверга. Так в последнее утро и уехали из гостиницы: посадил её на извозчика, а сам – на Николаевский вокзал.

Каждый день с ней, а лишь втраплялся больше, и травля-то – медовая. Жизни такие разные, а не только не соскучился – а вот бы ты мне и нужна! И если б совсем у него был свободный выбор – взял бы её и в Тверь, и в Москву, как никого не возил.

Ещё в петроградском зале пароходного общества «Кавказ и Меркурий» потолковал со своими торговыми партнёрами: события обещали, что теперь враз отпадут таможенные границы губерний, запреты на вывоз, гибель грузов, твёрдые цены, все эти стеснения от уполномоченных, от петербургских канцелярий, от избытка начальников, – польётся теперь торговля свободным дыханием, и Россия сразу выиграет (а уж после войны-то!). Сильно гниловато было последнее время, да, сколько нечистых рук совалось погреться, «работать на оборону», а за горячими барышами, – теперь будет всё на открытом просмотре. Не как с уральской платиной: ведь на приисках и промышленники крали платину от учёта, и даже рабочие, и продавали в тайные руки, и утекала русская платина, в 5 раз дороже золота. (А сейчас, говорят, и вовсе не стало горно-полицейской стражи, так что там делается? – скорей бы мимо эти мутные дни.)

Сегодня вот уже приехал в Москву. (А всё в нём трубило и радовалось! Вошла Ликоня в жизнь – и уже так просто не уйдёт. Зажглась ему и правда – как Зоренька.) Стал в «Славянском базаре», который не за удобства любил, а за кипливість, лёгкость купеческих встреч, и Китай-город тут же.

И вот – особый день, у всех на устах: *мининские дни*, мининский съезд. Настал момент, когда России нужны Минины! Торгово-промышленное сословие объединяется на большие дела! Прошлую неделю неслись телеграммы туда и сюда, рассылались приглашения купеческим управам и обществам, биржевым и торговым комитетам. Приехали даже немудрящие купчишки из захолустий, почти – хозяйственные мужики. На завтра ждались и новые министры, Коновалов и Терещенко, и от Совета съездов промышленности-торговли Кутлер и барон Майдель.

Съезд открывался завтра, уже сегодня почти все участники съехались, много номеров заняли и в «Славянском базаре», гардеробы были изувешены купеческими шубами, меховыми картузами с пуговками, в столовом зале сидели большими рассудливыми группами, содвинув столы по два и по три, по посту заказав кто ботвинью с осетриной, кто паровую стерлядь, и беседовали в перемережке с бесконечной едой, и потом подолгу чай пьют, простяки с блюдечек, подувая. Мелькали половые с подносами блюд и фарфоровыми чайниками.

А ведь если тут покопать – то у трёх четвертей отцы были крепостные. Сами себя освободили, до всякой реформы, смекалкой.

И едва ль не за каждым столом виделось знакомое лицо. Были тут и знатнейшие – двое Хлудовых, один Рукавишников. С разных концов России знакомцы – из Сибири, Туркестана и Малороссии, узнавали друг друга, а кто знакомился впервой. И много было дремучих бородачей, а немало и в европейских манжетах-галстуках, среди них Польщикова – едва не из самых молодых, а из молодцеватых – уж точно.

И от одного стола звали судовладельцы: «Гордей Арефьевич!» Вот собирались обтолковать, где рабочих брать на ремонт судов, просить у министра военнопленных? и металл? и чтоб службу береговую не забирали в армию. А фрахты – повысить, не избежать.

А за другим столом увидел своего сибирского заимодавца. Так чем через банк – тут же подсел к нему, отсчитал три тысячи, тот переверил, ещё раз бумажки перекидал, крепче счёт – твёрже дружба.

В освобождении от денег, когда производишь законный платёж, есть приятное ощущение порядка, точности, выполненного долга, оправдания самих денег.

И когда Польщикова сел – под открытой форточкой, у окна на весенний солнечный день, на Никольскую с несколотым, дружно тающим льдом (дворники разбаловались без полиции) – то, повертя голову, и тут видел нескольких знакомцев рядом.

(Промышленники-фабриканты не останавливались в «Славянском», не было их сегодня тут. Сойдёмся с ними завтра.)

Такого съезда купцов давно не помнили. И среди этих сметливых лбов, цепких глаз, и отрывистого броского купеческого делового разговора – ощущал каждый гордость принадлежать к этому сборищу и соучаствовать завтра.

Да давно бы позвали их выручать Россию. Почему ж купечество не имеет власти решать, направлять? На купцов только натравливали, валили на них рост цен. Купцам зажимали рты, отстраняли всю войну, отказывались от их опыта и действия. А теперь-то – мы скажем своё!

Теперь – съезжалась глубинная кондовая Россия, не участница происшедшего трясения, но прихваченная им среди дела. Царя вспоминать, или пожалеть его – удерживались: по всему московскому разбору, застигнутому ими здесь, это было как бы запрещено, вон Рябушинский объявил привет «свержению презренной царской власти», да называют старый Петербург «ханской ставкой». Ханская – не ханская, но и произволяли нами, да. Труд народный опутан был препонами, и дело – не в тех руках состояло. Но вот собирались – чтобы сплотиться, и выдюжать, и устоять, а если мы не устоим – то кто? Многоликая русская торговая сила привалила спасать Москву, как в давние времена. И Учредительное Собрание назначим – только тут, в Белокаменной! Было торжественно, хотя не все могли выразить складно.

В ресторане «Славянского базара» окидывали друг друга ценящими взорами, переходили по залу, пересаживались, выслушивали вразумливо: да если мы – не сила, то кто же в России сила? Теперь вот только войну докончить – всё наладится у нас, расцветёт. Не Питер нам будет указчик. Вот пошагаем!

Думал так и Польщикова, и даже, Европу зная, – залётнее их. Природные дары у нас – богаче Америки, нам только – рассвободите движение, посостязаемся мы товарами со всей границей. Ещё б железные дороги наши так отладить и сгустить, как германские. А от войны оправимся, капиталы соберём – да, смотри, и Волгу с Доном соединим, ведь двести лет без дела проект лежит. И поплывут наши волжские – туда, в те моря!

Толковали, что надо на съезде хорошие головы избрать – в столице сидеть и защищать торгово-промышленные интересы. Все теперь так-то избирают, все защищают.

А тут скажи молодой Хлудов, да уж и передавали из уст в уста: тузы московского купечества, Третьяков и Четвериков, порешили предложить: самим торгово-промышленникам – и ограничить свою прибыль, с этого начать. За военные годы в иных предприятиях прибыль превысила основной капитал. Так надо нам сговориться и, не дожидаясь, самим отрубить излишки прибыли: сколько можно, а выше чего нельзя – отдай в казну. И все цены – вниз пойдут, а производство – вверх. И укрепим Расею-матушку, и мир будет промежду народом помягше, к нам же. Кому-то надо первым совесть заявить – так нам. Тогда отобьются от нас и все мародёры, притянутые высокой прибылью, очистимся и от них. Вырежем от нас эту язву, кто на армейских поставках нечистые срывы берёт, или как киевские сахарозаводчики – сахар через Персию едва ль не в Германию гнали.

– Э-ко-ста!...

Поблескивали глаза. Что ж, и наживе есть край, не всё нажива, а что-то куда-то жертвовать, чтобы после тебя осталось, в твою память и во спасенье души. А теперь вот – в казну, поддержать саму Расею. И оттого – всем отдастся добром.

Показывали на вёрткого черноусого посреди зала в большой компании, за столом на 12 персон. К нему какой-то нарядный вскочил с бокалом:

– Вашего имени, господин Бубликов, Россия никогда не забудет! Вам удалось предотвратить кровавую бойню!

А Бубликов – громко, для многих, шире своего стола:

– Смотреть на Россию не как на жирный пирог, а как на горячо любимую мать! Избегать бороться за классовые интересы. Предстоит увеличение налогового бремени – и примириться с этим. Лечь костями, но отдать свои силы на благо родины!

Отзывались ему:

– Для родины мо-ожно не поскупиться. Налоги-то малые платим, признаться сказать.

– Правительство новое на-адо подкрепить. Мы подкрепим – чтоб другие на него не больно давили.

А Бубликов:

– Так-так, но и Временное правительство тоже должно знать себе границы, а не душить нас новой 87-й статьёй. Сокращение прибыли – ещё неизвестно, как тот же Коновалов примет, как индустрия посмотрит. Там, в Петербурге – мародёрская штаб-квартира. Уже не приходится, господа, пугать катастрофой, – катастрофа у наших ворот.

И – разлилось, погудело по залу: ка-та-стро-фа?...

Да вести-то ползли, прислушаться купеческому люду, – так себе. Бумажных денег будут напечатывать всё больше. И, слышь, выжимают жертвовать – да не муку для голодающих, это-то мы готовы, а на «освобождённых, пострадавших за свои политические убеждения», – и уже Третьяков пожертвовал, Второв дал 500 тысяч, суконные фабриканты собрали 100 тысяч, – мол будто эти политические за нас всех страдали и нас вызволили. А – что они нам? кто такие? почему и им жертвовать? Что-т мы не замечали, как они нас вызволяли. Да не те ли они, что бомбы кидали, банки грабили?

А вон уже, слышь, готовят объединение всех приказчиков. Это значит – супротив нас?

И вон свобода – питерские рабочие стали 8 часов работать, не глядя на военное время. А питерские фабриканты все условия им сдали – а наценку переложат на изделия. На военные товары конкуренции нет, казна всё примет. Так чем же они поступились? Не своим карманом.

Да хуже того: хлебную вольную торговлю, мол, не воротить хотят, не снять запрет на вывоз из губерний, не дать хлебушку дышать по себе – а всё забрать в казённые руки и ими направлять. Мо-но-полия!

Ну, так и посевы сократятся. Ну, так и будет Русь гола. Всё клещами зажмут – всё и обронят. Россия – голодная будет.

– С Монополии – разве хлеб вырастет?

– Надо ото всего съезда слать министрам телеграмму: отменить монополию!!

– Кому вязнуть, кому вытянуть, – тут ещё не видеть. Завтра этот Коновалов ещё что в речи выразит? Какие у них задние цели есть? Мы-то добродушно съехались.

Э-э-э... Да не упущено ли уже, православные?...

650

Лихо ты моё, куда ж мы посунулись? Неделю назад Козьма ног под собою не чуял: какого соглашения достиг с фабрикантами! Одним шагом получил для всего Питера восьмичасовой день, о котором 20 лет только грезили, – и с сохранением прежней заработной платы!

А – рабочие? Оглянулись, что из свободы можно и больше выколотить, мало взяли, – и ну выколачивать! Почему у буржуазии барыши, а нам не вырвать? Распахнулась воля – так можно рвать!

И с каждым днём не меньше, а больше, на каждом заводе выдумывали по-своему. На том заводе угрожали администрации – и удвоили плату всем вкруговую. А там уже кричат: утроить! А на том: учетверить! Путиловекая верфь давала повышение 20 процентов – рабочие потребовали 400! Там – по болезни оплачивать две трети, там – оплачивать выборных. На Промете – отменить сверхурочные, из-за сверхурочных не остаётся времени на гражданские права, не видим завоеваний революции. Ещё где: отменить сдельную оплату труда, не желаем боле напрягаться! На Треугольнике потребовали: шестичасовой рабочий день, а наградные – на Рождество и на Пасху каждый раз по два месячных оклада; а все служащие – себе: чтоб им участвовать в прибылях. На Невском судостроительном уже приучили администрацию выполнять все требования тотчас: уже и старостах, и оплаченная

милиция, и отменили обыски на проходной, теперь надумали – убрать директора! На Адмиралтейском судостроительном – убрали 49 технических служащих. Там – инженеров стали избирать, и от этих уже требуют всего, за день – пять-шесть изменений. Там – фабричные инспектора тоже чтобы выборные. Там требуют: вообще безо всякого начальства, работа ещё лучше пойдёт! А чернорабочие (подстрекаемые большевиками) требуют и себе такую же оплату, как получают высшие разряды. Туда ж и баншики: не желаем работать больше четырёх дней в неделю, и чтобы в субботу тоже отдыхать (самое, когда людям мыться).

Никогда не ждал Козьма, что такое неоглядное озорство и такая жадность разгорится в рабочих людях. То и обидно было ему смертно, что не хотели внять, скандалили и всё разваливали – свои же рабочие, самый родной его люд, кто умел всё в мире сделать своими руками, и кем Козьма гордился всю жизнь, что и он из них.

А вот мы какие рыла вылезли. Попрекали образованных, что они своекорыстны, – а мы? Попрекали фабрикантов, что они жадны, никак не насытятся, – а мы? Да мы жадней и дичей!

Да питерские фабриканты – вот, подписали соглашение по-хорошему. Они рассужденье имели, что и мы тоже обороты подбавим, и так оборону вытянем, а? Им-то в глаза как Козьме смотреть, когда сам подписывал с ними? Они нашего Совета слушаются – так надо ж и нам знать край. Соглашение есть соглашение, надо и самим выполнять. Производительность обещали повысить, а она ни к чёрту упала, на заводы ходим только болтаться да требовать. А у них сырья нет, угля нет – откуда им повышать плату? Надо же совесть иметь, ребята! Надо же по справедливости!

Вчера петроградское общество заводчиков собралось – и составило Совету депутатов вопль: рабочие предъявляют невыполнимые требования, конфликты обостряются до полной анархии, постановления примирительных камер остаются без исполнения, работы идут беспорядочно, производительность резко упала, насилия над мастерами и администрацией, избиения до убийств, самовольные аресты, выгоны. Просят Исполнительный Комитет – принять меры!

И бумага эта – прилетела, легла к Гвоздеву на стол. А – к кому же?

Он сидел над ней – и держался за растрёпанную свою бедовую голову. Неделя прошла – и ото всего соглашения одна злоба. Подписывал Гвоздев своей рукой, и фабриканты улыбались ему, руку жали и верили.

Да что там стыдно! – страшно. Ведь знал он эти *насилия*, в бумаге подробно не расписанные: одного мастера утопили в проруби, а одного за малым не скинули живьём в вагранку.

И это – мы такие? И это мы такие – всегда и были? Только пока боялись тюрьмы или виновных пошлют на позиции – так сидели небось тихо? А теперь – давай, громи!

Две недели Козьма себя утишал, что это – только шатнулись, вывихнулись, что это всё станет по местам.

А – нет.

Да ведь этак – и все сгорим, как на пожаре.

Так значит, дело-то не в *классе* . А в своём сердце.

Да рабочие умелые, разрядами выше – во всей этой заварухе и кипели куда не так. Громили и зорили, и лезли в комитеты – не они, а валовые рабочие, самая чёрная нижняя людь.

Да не на кого и валить. Не мог быть Козьма в том сам не виноват. Полтора года он всё рабочее дело вёл, – так никто другой. И если завалилось – так не без его вины.

Но – чего? Но – когда? Он не видел.

Куда кидаться Козьме? Сидеть в своём отделе труда? – уже в двух отделах труда, с позавчера уже и в министерстве промышленности, считай в правительстве, был у него свой отдел, а что толку? Кидаться по заводам? Да с тёплой бы душой. Да ведь – и Козьму не слушают. Да ведь и не объедешь всех. Посылал помощников по всем местам – тоже не

обхватят. На электрической станции трамвая еле уговорили – не изгонять силой неугодных лиц.

А самого Козьму – то тянули на занудные заседания Исполнительного Комитета. То слали – непременно выступить в новом рабочем клубе на Херсонской с речью об Учредительном Собрании, – а что он сам в этом Учредительном понимает, и на кой оно ляд, когда заводы разваливаются? (Уговорил вместо себя – Станкевича.) А то погнали – необходимо надо ему сидеть в ложе, в Мариинском театре, на открытии спектаклей. Просидел как чучело, красно налитой, галстуком удушенный. А то теперь приступили: именно ему (как тогда – царя арестовывать) составить новую воинскую присягу. Почему-то другим – неудобно.

Да, конечно, знал Козьма, кто же не знал: что теперь семьёю день прожить надо 3-4 рубля, и не все же получают 5 и 8, многие и получают не более четырёх, а то и помене. Требование повышать оплату – не выдуманное, сама жизнь гонит, всё повышается. Но и должен же человек всегда знать себе границы, но и опаматоваться: не один же ты! Давайте всё ж попридержимся, да сделаем обдуманно. Ну даже-ть захватим – а удастся ли удержать? Смотрите, нам бы не захлебнуться. Пойдёт общий развал, не будет ни топлива, ни сырья, – так откуда нам будет плата? И что нам тогда этот 8-часовой день? Да хозяйственный развал – он хуже этой, бишь, контрреволюции. А крестьянин тоже не будет кормить нас в обмен. Мы ничего не дадим – так и хлеба не будет. Мы все границы переступим – так и фабриканты на том заводы закроют – и конец.

А – война? Война же идёт, очнитесь, ребята, что за дикие мы оказались? В твёрдом разуме выход один – чтобы Питер давал и снаряды, и пушки. А как нам иначе смотреть в глаза фронтовым делегациям?

Они и стали тут подбивать, да с резолюциями фронтовиков, корящими рабочих за 8-часовой день и что снарядов не шлют. Кой-где рабочие застыдились, стали и своими резолюциями отвечать: мы не лодыри! а просто не хватает угля и нефти, только из-за этого работа тормозится, не верьте слухам, что мы не дорожим обороной. Да со всего громадного Путиловского проняло одну башенную мастерскую, 800 человек, постановили: «Учитывая серьёзность момента, производить работу полностью. Всякое манкирование и требование чрезмерной оплаты – позорное явление. Товарищей, желающих закрепления свободы, призываем присоединиться.»

Знал Гвоздев, что дело куда хуже, чем в этих резолюциях, – но хоть бы принимали везде такие. Один выход – не бунтовать каждому заводу по-своему, сохранять какой-то порядок, – а уж Исполнительный Комитет (Гвоздев же) будет стараться добиться общего по городу минимума оплаты, на какой можно жить.

Призывы помогали мало, но только призывы и оставались.

Исполком не поможет (позавчерашний доклад Дмитриева ничего не сдвинул) – так ставить вопрос на пленуме Совета, пусть воззовет сам Совет.

Хотя и он уже взывал, тоже не помогло.

Взъерошенный озабоченный Гвоздев пошёл на сегодняшнее дневное заседание Исполкома, чтоб уговориться о постановке вопроса на пленуме.

Из Екатерининского зала бодро вспыхивала очередная марсельеза очередного затопившего полка.

Перед дверьми Исполкома ждала польская делегация: пришли благодарить за независимость.

А на Исполкоме – и уже который раз – озабоченно обсуждали: как сократить пленум Совета, разросшийся до трёх тысяч? Там совсем бессмысленные прения, социалистический дух распадается, большой перевес солдат над рабочими придает консервативность. Такой Совет становится просто даже вреден.

Однако, где сила, которая убедила бы его распуститься? Кто посмел бы теперь распустить Совет?

Выходило: надо как-то обмануть Совет. Рафес, Соколовский, Капелинский высказали

опасение, что Совет забунтует. Всё сорвётся – и только хуже станет.

А Богданов – взялся: сегодня же вечером он попробует!

– Погодите, погодите! – вмешался тут и Гвоздев. – Но неотложный вопрос с положением работ на заводах. Это нельзя откладывать, я прошу поставить на пленум сегодня!

Но тут ворвался комендант Таврического дворца и, не прося слова, стал кричать, что он снимает с себя дальше ответственность за митинги: полы залов больше не выдерживают марширования! Или переносите митинги на улицу, или все тут провалимся!

Входила приосиянная торжественная польская делегация.

*Взыграли радостные силы,
Как буйный волжский ледоход.
И вышел Стенька из могилы
Вновь поглядеть на свой народ.
(«Русская воля»)*

651

Острое объяснение с Еленькой позавчера ещё долго докалывало и дозванивало в сашиной груди – как колют и бьются острые льдинки, со звоном печальным. И даже не взбрыкнуло в нём: «Ах так? Так обойдусь без тебя!» Наоборот, чем непоправимее он узнавал, что теряет Еленьку, – тем нежней хотелось оставаться ей верным. Почему-то – надежды он не потерял, хотя она всё сделала, чтоб отбить её. И даже какое-то большое наслаждение было в этом мучительстве: не добиться её – а продолжать любить. Вот теперь он особенно понял, что не просто хочет её, а любит. Даже понимая с ужасом её в чьих-то чужих руках – не освободился от неё.

Ещё и потому, что наступило такое подвижное время – и обстоятельства сами могут вернуть ему Еленьку.

Всё это так беспокоило в нём колыхалось, что и вчера весь день пролетел как потерянный.

А сегодня позвонил Матвей: не хочет ли Саша познакомиться с ведущими большевиками? На совещание о принципах действий к ним идут от межрайонцев человека три, можно взять и Сашу.

И без того тошно. Отказался.

Но прошло полчаса, час, – пожалел: а что вот так травиться? Лучше уж на совещание. Перезвонил Матвею. Ещё успел.

А совещание оказалось в особняке Кшесинской, который Саша хорошо запомнил. Только теперь уже не было того безлюдья, во дворе стояло несколько броневинов, расхаживали унтеры в кожаных куртках и штанах, в вестибюле – часовой с винтовкой, а внутри – совсем была оголена столовая, как уже и не столовая, и гостиная не как гостиная, уже не было аромата дома знатной дамы, но мебель ещё на месте, в беломраморном зале так же рояль, бело-золотые полумягкие стулья, а совещание – в той скруглённой комнате, как бы зимнем садике, где посередине грот с голубым фоном, вода уже не сочится, но ещё стоят две пальмы, раньше, кажется, больше.

Саша пришёл, как и всегда ходил теперь, в военной форме. Разумеется, никто из этих унтер-офицеров или дежурный не потянулись отдать ему чести, он и не ждал – но шагал и понимал, что военный человек нужен, понадобится любой из социалистических партий. Да и в совещании, среди двух десятков сидящих, оказался один рослый черноволосый мичман.

По пути снова рассказывал Матвей Саше, что сейчас владеет социалистами дух

объединения – всех фракций в одну партию – и есть к тому реальные возможности: не только межрайонцы хотят слиться с большевиками, но, с другой стороны, и часть меньшевиков (а их межрайонцы как раз не хотят), и московские большевики *за*, но тут приехали *сибирцы* и противятся.

Объединение всех социалистов в одну партию – это казалось Саше всего надёжней: будет сила! и выбирать не надо, в кого вступать, – а то что, правда, делают?

Пришли к самому началу, сели, где было место. Через соединённые окна полукруглой стороны виделся Троицкий мост. Там в выступе, лицом к остальным, сидели как бы президиум, около них и Кротовский, одного его Саша и знал в лицо, – да лидер он был никудышный, суетливый, и физиономия, надо сказать, без налёта интеллекта, а весьма премерзкая: голова вокруг лысины будто усеяна волосиками, а не выросли, лысина со лбом как нахлобучена на юркие глаза, не давая им высоты взгляда, губы толстые, а уши мясистые. А большевиков Саша никого не знал. Один там, в полукруге, сидел очень интеллигентный, в очках, симпатичный. А рядом с ним, руки сплетя на груди, беспокойный, простоватый, с небрежными усами, всё вертелся: проверял ли, кто здесь или кто говорить будет. А в общем-то лица были очень заурядные, до того неиндивидуальные, что встретить их кого Саша на петроградской улице – никогда б не догадался подумать, что они из головки той партии, наводящей последнее время такой страх на общество. И не интеллигенты, и не рабочие, а так – мелкие служащие.

Повестку озаглавили: *вопросы тактики*. А начали обсуждать последний Манифест ко всем народам.

Саша-то находил Манифест просто замечательным: сама необычность прямого обращения ко всем народам Европы – не остаться революционным островком в воюющем мире, а чтобы революция перекидывалась дальше и дальше! И ведь действительно европейская война тогда остановится, действительно! Всеобщий мир через всеобщую революцию – ну разве не красота? Вот это – цель!

Но так – никто тут не думал и не высказывался. Этот интеллигентный – Каменев – умеренно похваливал Манифест, только надо ещё давить на Временное правительство, чтоб заставить его открыто высказаться против завоевательных планов. А какие-то резвые кричали ему:

– А где призыв к немедленному прекращению?

– Да так и любой Шейдеман охотно выскажется! Нет, надо заставить их формулировать нашу революционную волю! Надо их заставить немедленно вести переговоры о мире!

– Как же мы их заставим? – снисходительно усмехался невозмутимый Каменев, не повышая голоса. – Чем?

Но, видно, тема была больная, о ней говорено раньше, ораторы ссылались на прежние стычки, выступали не связно, а короткими репликами, поднимаясь со стульев или не поднимаясь. Очень горячился, больше чем мог доказать, тот простоватый усач – Шляпников (ах, это и был их главный Шляпников? всего-то? не боги горшки обжигают), и те все резвые были за него, и Кротовский: если не свергать Временное правительство, то бить его в спину и в шею.

Это ещё что за дикость? – удивлялся Саша. Против своего же революционного правительства? Каменев на это возражал с большим самообладанием, разумно. (Вообще, он тут, кажется, единственный умный.) А большеголовый бровастый Муранов – рядом с Каменевым – очень важно голову держал, но молчал.

Замелькало «надеть узду на революционную стихию?», «оборонцы!», «пораженцы!». Шляпников горячился, что среди собравшихся не может звучать термин «пораженцы», это недостойно, так клеймила большевиков неразборчивая буржуазная печать, либералы в союзе с чёрной сотней, а «пораженчество» было всего лишь предсказанием неизбежности крушения романовской монархии на почве внешних неудач. На «пораженцев» не клеветал только ленивый – а предсказание их блестяще оправдалось, первый революционный полк на улицах Питера и был главный «пораженец», – бессмысленное и обидное слово.

Но Каменев разумно возражал ему, что не надо кидаться и «оборончеством» и «революционным оборончеством», это тоже бессмысленные обидные клички, лишь смазывающие суть вещей.

Шляпников, горячась:

– Зачем пролетариату война? – на его долю только увечья и смерть, а в тылу – длинный рабочий день и дороговизна. Правящие круги запутались, выйти из войны не могут. Надо заключать мир без официальных сфер!

Каменев, уравновешенно:

– Конечно, хотелось бы кончить войну поскорей. Но когда армия стоит против армии – не сложить же оружие и домой? – это политика рабства. Если Германия сейчас начнёт наступать – надо дать ей сильный отпор.

– Правительство капиталистов – наши враги!

– Но на «долой правительство», – улыбался Каменев, – у нас просто нет сил.

– Если не свергать сейчас – то хоть объяснять массам, что всё равно неизбежно нам придётся брать власть!

А рядом с Ленартовичем сидел какой-то кавказского вида, маленького роста, с оспинками на лице и с толстыми длинными усами, разведенными ровно вбок. Саша ещё удивился, какие туповатые сюда попадают, сказать бы – чистильщик сапог, при чём тут он? А тот поднял руку, объявили «товарищ Сталин» (только в насмешку можно было к нему прицепить!). И этот тихий забитый встал, подшагнул к фонтанному гроту и стал говорить заунывно, но не так глупо.

Как это теперь модно козырялось, он потянул из французской истории: что в 1792 году республиканская Франция воевала против коалиции реакционных королей, и если б что-нибудь подобное было сейчас, то социал-демократы все бы дружно поднялись на защиту свободы. Но нынешняя война – с обеих сторон империалистическая, за рынки сбыта и сырья, а главное: сегодня она не угрожает нам восстановлением старых порядков, как пугает буржуазная печать, и нет никаких оснований бить в набат, что свобода в опасности.

Таким образом грузин подыграл как будто шляпниковцам – но тем же тоном ровно подыграл и Каменеву, что лозунг «долой войну» выглядит голым пацифизмом и тоже ничего не даёт. Что Манифест Совета надо приветствовать, но (уклонился тут же) приветствовать с оговорками, что он не разоблачает хищнического характера войны. А нам (вроде опять в сторону резвых) надо давить на Временное правительство, чтоб оно начинало мирные переговоры, – и только так мы сорвём маску с этих наших империалистов.

Примиришь – никого не примирил, а запутал больше.

Энергичные: надо бороться за армию! Буржуазия призывает к бургфридену. А нам нужно – выборное начало! чтобы солдаты не шли покорно за офицерами, вот чем надо заниматься! – и только так мы отберём у них силу.

Что ж, Саша к такой армии был вполне готов: честно, демократично. А толковый офицер всегда сумеет и обратиться к солдатам и заечь их, и быть выбранным, – и поведёт их ещё лучше, чем в подневольной армии.

Тут выступил один кудлатый, здоровый, а лицо барановатое, Кривобоков-Невский. Он на гротик как наступал, тот не давал ему простора:

– Надеяться на бывшую императорскую армию, как бы её там ни демократизировали, – в корне неверный путь! Преступно забывать, что ни одна революция не побеждала без собственного войска. В 1789 году сразу стали создавать национальную гвардию и только потому победили. В 1848 не было её – и революцию потопили в крови. И сегодня реакция не спит и готовит нам разгром...

Вот уж галдели об этой контрреволюции, но Саша нигде её не видел, выдумки. Где она есть?

– ... И пока мы хозяева положения – надо требовать декрета о немедленном вооружении народа! Если не хотим дожить до парижских июньских дней, чтобы буржуазная молодёжь топила нас в крови.

А Муранов в президиуме – водил своими страшными огромными бровями. Но ничего не говорил.

– А это кто? – спросил Саша про смешного толстяка, весь объём живота которого нельзя было вообразить в сидячем положении, а только когда он вот поднялся, безобразный живот, хоть и обтянутый армейским поясом поперх суконной рубахи.

– Бонч-Бруевич, – шепнул Матвей.

Толстяк вколачивал кулаком невидимые гвозди с поспешностью, как бы предыдущий оратор не забрал всю его мысль:

– ... Да если Совет рабочих депутатов не будет опираться на революционную армию, то он осуждён на падение! Вооружение рабочих – это один наш путь. Напряжём все силы для устройства громаднейшей армии пролетариата! Нам именно нужна другая, своя рабочая армия, как финляндская Красная гвардия в Девятьсот Пятом! И не револьвер каждому нужен, а солдатская винтовка с большим количеством патронов!

А что? готовность *к делу* у большевиков – как ни у кого не увидишь, это правда. Кажется, не в плохое место Матвей привёл. (И сам захвачен, раскраснелся.) Там ещё объединение социалистов будет, не будет, а эти... Хоть энергичны.

Вдруг – всё изменилось на совещании: с гордым видом вошла красивейшая женщина – вот удалась природе! – и одетая так хорошо, как не одеваются на партийные совещания и вообще в этой среде. Белокурая голова, тщательно выложены волосы отдельными кольцевыми кудрями. Тонкий профиль. При властном взгляде как будто выражала готовность и к приветливой улыбке. На груди брелок на цепочке. Невысокая фигура с приятною полнотой: заняты все формы, отпущенные природой, и все в меру. Выталкивая коленями тяжёлую ткань лилового платья, она прошла, как это было ни закрыто, – по одной стороне гротика, мимо колен сидящих, – по какому-то праву прошла в полукруглый уступ позади спин президиума, там нашёлся стул, она повернула его боком к окну и села, облокотясь на подоконник, профилем к Троицкому мосту. И так (проектируясь для Саши на череду мостовых фонарей как скульптура) сидела: слушая речи, но и рассеянно, но и показывая себя всем тут.

Да она одна и подходила к этим стенам как состоятельная хозяйка этого дома, а они все тут – случайный сброд посетителей.

Мичман откровенно воззрился на неё. И в Саше тоже – замутило, и он на какое-то время перестал слышать, что говорилось.

И пропустил: очевидно, перешли на другой вопрос повестки? или как? Почему-то опять этот комичный Сталин получил слово и монотонно негромко вёл, никак не подавая надежды на пламенную речь:

– Уч-редительные Собрания а-бычно собираются уже после успокоения страны. Поэтому о-пытные революционеры, – и тень улыбки прошла по его лицу, – всегда пытались а-сущест-вить свою программу, ат-тягивая созыв Учредительного Собрания, и поставить его уже перед фактом а-существленных реформ. Но наше Временное правительство возникло сав-сем не на баррикадах, а... – сожаление выразилось в его голосе. – Па-этому оно сав-сем не революционно. На-ше Учредительное Собрание будет на-много демократичней этого правительства. Поэтому нам – ны в коем случае нэ надо оттягивать Учредительного Собрания.

Матвей с кривоватой улыбкой шепнул:

– Член ЦК.

Ах вот как. Ну, это сильно разочаровывало. А та красивая большевичка, как она прошла-села, так она, может быть, тоже член ЦК?

– ... Можно назвать че-тыре условия победы русской революции. Первое...

Винаверов, в минувшие дни, по соседству с Думой, не раз приют для ЦК кадетов, – сейчас, ещё до вечерней темноты, светилась во все электрические лампы – с потолков и со стен. В столовой сновала прислуга, кончая собирать парадный обед, в других комнатах сидели и гуляли гости, числом до двадцати, больше мужчины, больше – сотрудники и соучастники жизни Максима Моисеевича, – по юриспруденции, по борьбе за еврейское равноправие, по еврейским культурным организациям. И ещё ждали двух почётных гостей.

Весь вид квартиры, всё настроение да и одежда собравшихся были торжественно именинны – и не к рядовым именинам, но к большому юбилею. Однако никто не принёс юбиляру подарков. Хотя он и был здесь, по сути, главный виновник торжества – но плоды его и ликованье его разделяли равно все.

Приглашены и собрались они сегодня по тому поводу, что не только уже были уверены, что закон о национально-вероисповедном равноправии утверждён, – но Максим Моисеевич получил на руки его полный текст, а со дня на день он появится в газетах.

И какое же указующее совпадение: почти в день еврейской Пасхи!...

Да! Это и есть наш второй исход из Египта!

Сейчас же после опубликования будет общегородской митинг, и обещал выступить Милюков. И там начнём сборы пожертвований, чтобы построить в Петрограде большой еврейский Народный Дом.

Какой долгий путь страданий и борьбы пройден – и как вдруг быстро всё совершилось!

– Да, господа, двадцать пять лет усилий, как раз юбилей! Я считаю, мы начали эту борьбу в начале девяностых годов, с «Бюро Защиты». Считайте, как раз двадцать пять!

Но – и износился же хозяин-юбиляр за эти четверть века. Ведь ему сейчас только 54, а на вид давали и шестьдесят. Уже припокачена была его спина, как если б он носил, и носил, и носил мешки. И крупный лоб его облысел далеко на верх темени, борода с сединой, и уже куда не расцветный вид, но по-старчески сложены складки, утопляющие серые глаза. Однако и пободрели, побыстрели его движения за последние две недели, и поживели глаза. А улыбка всегдашняя – добродушно-хитроватая, и добродушно-радушно разводил он руки, встречая каждого нового гостя, – а вот и Фёдора Фёдоровича Кокошкина!

А Кокошкин и сам блистал как главный юбиляр, да – по-кокошкински: франтовски одетый, сверкающий белизною и стекломками, веретенно-стройный, закованно-крахмальный, а на маленьком сухоньком личике – чёрные усы почти по-вильгельмовски загнуты тонкими воинственными пиками вверх, но и всем этим Кокошкин как будто скрывал, а скрыть не мог, что сам он – эстет, мечта и нежность. Он – сиял, и взгляд его был – задумчиво-радужный.

Винавер обнял его простоватым движением и поцеловал, но так, чтоб не испортить это картинное чудо. И не сломать: изысканная подобранность Кокошкина всегда вызывала опасение, не прячет ли он за ней нездоровье.

Боже, сколько их соединяло, от самой Первой Думы! Сколько решающих ночных совещаний разделили они! Сколько исторических документов составили совместно прежде – начиная от бессмертного Выборгского воззвания в июльскую ночь – и снова, в новый прибой, новый орлиный полёт – воззвание Временного правительства – «свершилось великое!» – и вместе же работали теперь над проектом Учредительного Собрания. Какой рок сводил их руки над самыми великими документами!

Да ведь программа Февральской революции – это и есть программа нашей Первой Думы! Все попытки вразумить власть оказались тщетны.

Да, конечно, они оба и сегодня расплачивались за Выборгское воззвание: не имели права избираться в три последние Думы, оттого их имена не стояли так высоко у публики – и они не смогли войти прямо во Временное правительство. Но поддерживали его из-за кулис своими перьями и советами.

Теперь главное: не дать силам контрреволюции расправить чёрные крылья и посягнуть на новый строй! Вот, арестовал Гучков кое-кого из Ставки. И арестован кровавый семёновец Рима... Вот, вы слышали, господа, арестовали полковника из следственной комиссии Батюшина... Как? Разве ещё не вся комиссия посажена? Давно пора этих зубров всех!... К

сожалению только – Совет депутатов несколько выходит за пределы своих функций... Да, это отчасти есть... Но – обойдётся...

– Но, господа! Кто у меня был на днях? Не догадаетесь! Пуришкевич.

Загудели, действительно удивлённые.

– Пришёл спрашивать пути спасения России! Теперь нашёл, у кого. Я ответил: это вы, тёмные элементы, ввергли Россию во все её несчастья. Это вы приучили народ к бесправию – и теперь чего будет стоить вернуть его к правому строю!

Ну, действительно, психопат был, и остался.

А вот он, вот он! – грузно появился князь Павел Дмитриевич Долгоруков, неся мамонтовую голову на слоновьем корпусе. (Тот самый князь Павел, который революционной молвою Девятьсот Пятого года выдвигался на императорский престол, а в Шестом году своё место в Думе уступил Герценштейну; и потом ездил к Клемансо от имени России просить не давать нам займа.)

Винавер приветствовал князя сердечно, обеими руками за обе, и снизу вверх лобызал. Князь тоже был среди тех ведущих кадетов, десять дней назад и составивших проект отмены национальных ограничений, – ещё неизвестно, когда б у правительства дошли бы руки. Ещё предстояло министерству юстиции кропотливо изыскать и перечесать все изменяемые и отменяемые статьи прочих законов – но общий закон, первейшая задача правительства, – уже был утверждён, уже был – вот.

Переходили в столовую. Стол сверкал всей возможной белизной и серебристой. Горничные в кружевных передниках и наколках были наготове обносить закусками. Хозяин и хозяйка сели на противоположных оконечностях стола, Максим Моисеевич – под большими часами, а по две руки от него – Кокошкин и князь Павел.

От Винавера ждали не тоста – речи. Гости замерли ещё прежде ножевого стука о хрусталь. От знаменитого адвоката ждали речи сильной, и сам он, давно отволновавшийся на речах, поднялся растроган, взнесен, вскружен. Он был невысокого роста, но с головой непропорционально большой.

– Друзья мои! – гулко выговорил он, вкладывая весь смысл. – «Свершилось великое!» – так начали мы на днях обращение Временного правительства. Но с ещё большей заслуженностью просятся эти слова на язык сейчас. **Упали** цепи рабства с еврейского народа! Едва ли мировая история знает пример столь ошеломляющего превращения! За последние 25 лет русское еврейство подверглось гонениям и унижениям, неслыханным и небывалым даже в истории нашего многострадального народа. Ещё вчера безрассудная злоба и ненависть загоняли евреев в тиски морального гетто, лишали его неотъемлемых прав. Ещё вчера наши права на передвижение, образование взвешивались на унции. Наш народ, согбанный под тяжестью вековой неправды, и неся все государственные повинности, – ждал как милости хоть какого-нибудь незначительного послабления в праве дышать воздухом родины. Еврейский народ пронёс через тысячелетия провозглашённые им когда-то идеалы равенства и братства. Гонимый из края в край, он всё не терял надежду на царство Божие на земле – и вот теперь, на самом краю своего рассеяния, он обретает всю полноту человеческих прав!

Максим Моисеевич вошёл в речь, иногда прикрывал веки, и плавный голос выносил:

– Разлетается прахом злосчастный постыдный вопрос о вероисповедных ограничениях, многолетнее злопыхательство поколений казённых глупцов! От клеветы и наветов более всего страдали евреи. И в чём только не обвиняли их: то – они эксплуатируют коренное население, то – стоят во главе Освободительного движения, то паразиты и тунеядцы, то слишком энергичны и деятельны. Жертвостопособность еврейской молодёжи – и та стала для старой власти орудием возбудить инстинкт толпы. Сколько раз царизм с подлой хитростью пользовался бесправием нашего народа, чтобы свалить на него месть и злобу. Еврейский вопрос сделался для старого режима козлом отпущения. Мы перестояли и смерч столыпинского режима. Царизм не задумывался даже расстроить акционерное дело у себя в стране, лишь бы ограничить участие евреев. Не останавливался перед охлаждением

отношений с Америкой. В разжигании ненависти к евреям царизм видел средство поддержать своё существование. Еврейское неравноправие усугублялось общим отсутствием правового начала в стране. Положение евреев уже было препоной для общего введения правового строя. Еврейская молодёжь в течение десятков лет шла в ряды борцов за общерусскую свободу, здоровым инстинктом чуя, что одна и та же твердыня охраняет и политическое рабство по всей России и гражданское рабство евреев. И отцы взирали на своих детей, идущих на каторгу, с болью, но не с осуждением. Самые большие тяготы в этой стране падали на долю еврейского народа – но он не уставал бороться. История национальных гонений в России ещё не написана. Сегодня мне не хочется возвращаться даже чувством к тем танталовым мукам, какие пришлось перетерпеть евреям. Да ведь пострадали и притеснители, морально: это от еврейского бесправия у них развивался произвол, беззаконие и взяточничество.

Что это напоминало? Что это ужасно напоминало? – вот такой торжественный сверкающий стол и торжественные заседатели, но собравшиеся вовсе не для еды, а лишь по поводу её, – а выход весь, а ожиданье всё – пламенная речь? Да – *банкеты* же, банкеты с Девятьсот Четвёртого на Пятый! – не зря прогремевшие серебром и стеклом, нагремевшие нам и революцию!

– Духа же евреев тяжкий гнёт нисколько не угасал, напротив – возбуждал к сознательности и борьбе! Вместо прежней покорной и трусливой массы явилась нация с высоко развитым чувством собственного достоинства! И вот сегодня, когда вся гниль одним ударом смыта с тела народного, – перед нами во весь рост стоит еврей-гражданин, с достоинством перенесший годы угнетения и преследования. Навсегда закрыта ещё одна позорная страница нашей государственности. Вырван ядовитый зуб царизма. Снята тяжесть с русской совести. На долю Временного правительства выпала великая честь снять с русского народа тяготевшее на нём пятно. Теперь Россия вступает в ряды цивилизованных народов. Мы освободились от засилия отечественных погромщиков. Сегодня мы в полном смысле можем назвать русскую революцию Великой: ещё горят страсти – а революция спешит восстановить значение личности, выполнить повелительный долг чести относительно евреев! Вот она, грань между старым и новым строем. «Ныне отпускаеши.» Первый раз за две тысячи лет мы будем праздновать нашу Пасху не рабами, а свободными гражданами. Радостные чувства этих великих дней откristаллизуются и передадутся потомству в восторженных рассказах и трогательных легендах.

Заплодировали. Сверкали глаза. Предупредительно поднимали бокалы. Максим Моисеевич отдышался от радости, как от большого подъёма. Но он ещё не кончил.

– Теперь евреи могут смело войти в храм свободы, ибо он воздвигнут и на костях еврейских борцов. Евреи могут гордиться, что и они принимали участие в революции. Евреи добивались свободы не как рабы – и теперь полноправно могут участвовать в закреплении достигнутого успеха. Конечно, одним росчерком пера ещё не будут устранены все противоеврейские традиции. Вот и сегодня: освобождённая Финляндия ещё сохраняет у себя еврейское бесправие. Из Дерпта приходит новая клевета, что милиция из евреев-студентов вызвала кровопролития. Ползут нашёптывания тёмных сил, и провокаторы хотят сорвать революцию на вопросе допуска евреев в офицерство. Понадобится ещё одна революция – в тёмных невежественных мозгах, чтобы поняли все, что никакого еврейского вопроса вообще никогда не существовало. Но в ярком пламени революции постепенно забудутся рознь и недоверие, которые сеял старый режим. Все помыслы нового еврейского гражданина теперь – на благо родины, открывшей ему свои объятия. И весь его никем не отрицаемый гений теперь будет вложен в строительство родины. Забудем же наши обиды – и пусть запоздалость зари не отягчит души страдальца. Никогда ещё Россия так не нуждалась в энергиях и талантах – и евреи принесут их ей. Еврейский народ теперь докажет, как высоко может подняться волна преданности родине в сердцах свободных граждан. И да не омрачится больше наше братство взаимным подозрением, также и на поле брани с внешним врагом. Вот, придёт Учредительное Собрание, будут решены и другие национальные

вопросы – и наступит тесное содружество народов России к умножению её вечных ценностей.

По составу речи можно было понять, что он – кончил, и отчего ж не на высокой ноте, упущенной раньше? А Максим Моисеевич вовсе не кончил, главный-то поворот был сейчас.

– Напомню, что в своей известной речи в Первой Государственной Думе я бросил в лицо правительству: да, мы полны силы отчаяния, но у нас есть и один союзник – это исполненный истинной человечности русский народ! Да, господа, это так, – обвёл он глазами всех, но не двух самых близко сидящих. – За светлое будущее России мы боролись не одни, но вместе с лучшими русскими людьми. **Такая** Россия не погибнет и **такую** Россию кровно полюбили мы, так называемые инородцы, с нею сплелись неразрывно, через неё связали себя с русским прошлым и с нею вместе будем строить русское будущее. Дух Пушкина, Белинского, Герцена и Толстого, и вся атмосфера Девятьсот Пятого-Шестого годов и Девятьсот Семнадцатого – это негаснущие эманации. И современное нам поколение русских людей сумело выявить те же истинные черты русской души – и этих дорогих друзей мы видим сегодня и здесь, в нашем узком избранном кругу – и – и разрешите, – сияюще повернулся он направо, – обнять вас, дорогой князь Павел Дмитриевич?

И наложил руки на плечи слоногрузного князя, не давая ему подняться в рост, – тот разошёлся в смущённой улыбке. Обнялись.

– И разрешите, – с глубинным порывом повернулся Винавер налево, к своему сердечному любимцу, – обнять вас, наш ненаглядный Фёдор Фёдорович!

И наложил руки на хрупкость Кокошкина.

Все встали.

653

Обедать министры должны были в офицерском собрании Ставки. Но вовремя не пришли, и всё не шли – и обед начался без них.

Тут они и вошли, все в пиджаках, Керенский в курточке. Никто из офицеров не поднялся. Лишь когда министры подошли к генеральскому столу – привскочил Алексеев. И иностранные офицеры прекратили еду.

Все жадно смотрели на диковинных министров, и особенно на Керенского: больше всего он гремел по газетам, а портретов его ещё не знали.

Только после обеда, когда поднялись, вокруг каждого из пяти смогли образоваться группы – и так присмотрелись и прислушались к ним ближе. Трое старших были люди привычного общества, таким же старался быть и Некрасов, а Керенский излишне нервно дёргался то в одну, то в другую сторону, иногда его жесты и фразы были напряжены, сценичны, не по размеру аудитории.

Но эти беседы стоя не продолжались долго: все министры спешили, в разные места, использовать для своих дел эти немногие часы в Ставке.

Милюков объявил представителям союзников, что на сегодняшнем заседании правительство решило оставить Алексеева Верховным Главнокомандующим. Союзные агенты внимательно и вежливо кивали. (Они ещё утром, до совещания, знали об этом же от Гучкова.) Разумеется, никакого неприятного упоминания о задержке нашего наступления тут не прозвучало.

Затем Милюков и Гучков вместе с Алексеевым отправились на совещание с морским штабом. Гучкову как морскому министру неизбежно было такое совещание устроить, но Милюков непременно хотел участвовать – и тут стал проводить свой заветный план: убедить и Ставку и морской штаб энергично подготовить и произвести высадку в Босфоре! Он знал, что адмирал Колчак только об этом и грезит, – и тут в темпераментном кругленьком адмирале Бубнове нашёл тоже горячую поддержку. Но вечный противник босфорской операции Алексеев стал кисло и скучно выговаривать и выписывать на бумаге целые столбики возразительных соображений – всё вокруг распыления сил, нехватки десантных

судов, трудностей снабжения, задержки сроков и тяжёлых особенностей момента.

Но как же было из-за мелочей малодушно отложить, не осуществить в эти революционные яркие месяцы константинопольскую мечту России?! Милюков никогда, и даже в эти месяцы особенно, не терял государственной мысли: путь России – через проливы, через Балканы, через Средиземное море!

И он смотрел на Гучкова со страстным выражением, – если таковое было ему доступно.

Но Гучков, ведь тоже прикосновенный к балканским проблемам, – нет, не выказывал мужества. Любил он дерзкие шаги, но что-то слишком много сразу предпринималось дерзких: одна его генеральская пертурбация чего стоила. А все перетряски уставов, комитеты? Однако и боевой расчёт, представленный Колчаком, был поразительно убедительный: вся недоступность Босфора казалась мнимой, – а только руку протянуть – и взять!

Но уже привыкнув за эти дни к подавляющим трудностям, Гучков скрипел. Не столько против расчёта Колчака, как – о снабжении. О разгрузке железных дорог. Мы везём из Донбасса уголь, перегружая дороги, – а могли бы морем везти его из Мариуполя в Одессу – но для этого тоже нет судов, а придётся с транспортов Колчака снять десантные приспособления и поставить их под уголь и руду.

Милюков сердито возражал. Не сошлись, не решили.

Гучков весь день был настроен нервно именно из-за обильного присутствия других министров, которые лезли не в свои дела, отравляли ему встречу со своею Ставкой. И хотя его главные дела уже были за полтора дня все обсуждены – но он решил пересидеть министров, не уезжать сегодня, остаться ещё на день. Как заноза досадная ему особенно мешал Керенский своим претенциозным, неуместным здесь поведением. На дневном заседании Гучкову подали телеграмму из министерства, что получено известие: в Петроград из Архангельска везут арестованных там по приказу министра юстиции – двадцать пять морских офицеров и трёх генералов! Каково? И это – без морского министра! Гучков едва не захлебнулся этой телеграммой – но всё шло совещание, а потом Керенский сразу ускользал, а потом обед, а потом опять ускользнул, – никак не удавалось его припереть и выпалить ему! Между совещаниями у самого Гучкова были встречи: утром – с военными представителями союзников (осторожно готовя их, что России очень трудно будет выполнить обязательства, но скоро-скоро восстановится её военная мощь), затем сидел в Дежурстве у генерала, получая самое для себя нужное: списки всех старших начальников от дивизии вверх со всеми аттестационными отметками.

Наконец, из вежливости просидел и час с великим князем Сергеем Михайловичем, отставляемым от инспектора артиллерии: тот боялся ехать куда бы то ни было, уже наученный злоключениями династии и своей бывшей любовницы Кшесинской в Петрограде («Скажите, Александр Иванович, женщину, балерину – за что?» – «Но разве я могу уследить, кто кого арестует?»), – и вопреки официальным рекомендациям правительства Гучков советовал ему ехать куда угодно, только не в Петроград.

Лишь поздно вечером Гучков узнал, что Керенский в этот день успел принять смотр георгиевского батальона (в какой сумасшедшей стране это мог сделать министр юстиции?!) – а только что, вечером, выступил на собрании офицерских и солдатских депутатов (куда и Гучкова звали, да он был занят). Ну, чёрт подери, Гучков рассердился уже черезкрайне: с этим фигляром надо как-то кончать, он открыто лез в компетенцию военного министра. И выходки его были так неожиданны, что нельзя их предусмотреть. И – уже уехал.

Откладывая объяснение до следующего правительственного заседания (осадить фигляра по первому же поводу), – пока только и мог Гучков: остаться на следующие сутки, завтра собрать это же самое собрание офицерских и солдатских депутатов и на нём произнести обширную речь, заслоняя болтовню Керенского: как он, Гучков, ещё с 1907 года пытался возродить боевую мощь России, а ему мешали правительственные сферы. Как революция вызволила нас из проклятой тины – и теперь солдату предоставлены все права гражданина, и теперь свободным революционным развитием мы создадим непобедимую

армию!

А Керенский – а Керенский, со своим динамизмом, провёл сегодня ослепительно-очаровательный день! Уже утром, с вокзала, – единственный министр, кого подняли на руки, был он! И вот блистательно придумал принять парад батальона георгиевских кавалеров – умеренно укорил их, что они поддались карательной поездке в Петроград, но и тут же благодарил, что они остались верны народу, – держа руку у картузного козырька, пропустил мимо себя их печатный шаг – и очаровал. Пробежал в комнаты военно-судного управления – и очаровал. Наконец, приятно поболтал часок с великим князем Сергеем Михайловичем. К каждому великому князю Керенский испытывал острое любопытство, желание сокоснуться. А в эту поездку – неудобно было поехать в самом царском поезде, – но тоже в одном из литерных вагонов, похоже. А в самой Ставке – какой особенно бодрящий, военизирующий воздух. А вот и опустевший двухэтажный дом, где жил царь. Как министр юстиции Керенский должен был проверить – и прошёлся дорожками двора и сада: вот тут ходил сам царь – а теперь ходит Керенский! (Так же одинокий, заложив руки за спину, – а охрана из гвардейского экипажа всё время за ним, в отдалении. Распорядился выдать им царского вина.)

Во время большого совещания Керенский то и дело вставал и подходил рассматривать карты, развешанные на стене. Молодой, стройный, впечатлительный, умный, с одной рукой небрежно заложенной за спину, он чувствовал, как полководческий дар вливается в него час от часу. (А кто был здесь полководец? И Николай Николаевич не был полководец, его популярность раздула общественность в пику царю.)

Очень обижало Керенского пренебрежение Гучкова, что он приехал на сутки раньше, держался всё время особо, отдельно и как бы выше. А вот что надо: по возврату в Петроград тотчас же дать газетам интервью о впечатлениях от Ставки – и заявить от себя проект омоложения командного состава армии, – да разве Керенский не думает так? не думал так всегда? Этим путём и будет создана та революционная армия, которая существовала во Французскую революцию! Проект омоложения командного состава вызовет восторг и сочувствие всей армии!

Так в разнообразных событиях, чувствах и впечатлениях прокатился этот незабываемый день Керенского – а закончился он блестящим выступлением в солдатско-офицерском могилёвском Совете депутатов (60 солдат, 30 офицеров) в здании городской думы. Его встретили, конечно, единодушными овациями – и он взнёсся на помост и тотчас же приступил к речи, каждым свободным жестом своим показывая, насколько новая власть выгодно отличается от старой.

– Товарищи! Русская революция поразила весь мир быстрым темпом своего свершения – и порядком, не имеющим примера в истории! Старая власть, лишённая всякой опоры в народе и армии, сдалась в несколько дней без сопротивления! И они все – в наших руках! Дело реакции проиграно бесповоротно! Но должен последовать справедливый суд, а не мелкая мстительность! Великий народ должен проявить величие и в великодушии.

В такие мгновения – гусиным перышком щекотало Керенского в горле.

– А что мы видим в нашей армии? Она станет ещё сильнее, когда до конца осуществится приобщение к гражданским правам! Уже сегодня я вынес самое отрадное впечатление. Офицеры чувствуют себя прекрасно и говорят, что наконец-то нашли своё настоящее место. Они прониклись пониманием психологии солдата-гражданина. Солдаты проникнуты духом верности, чувством долга перед родиной. Дезертирство не только не усилилось, но многие возвращаются на фронт. Генералитет, хотя и не ориентируется в новых формах жизни, но мы не встречаем от него противодействия. Внутри государства – больше нет нам опасности! Но она – от внешних врагов. Если бы немцам удался прорыв – они бы восстановили у нас старый деспотический режим. Но я ни минуты не сомневаюсь, что наша армия грудью защитит завоёванную свободу! Если не исчезнет наш энтузиазм – мы выдержим удар! Солнце свободы всходит – и осветит не одну Россию, но и весь мир, который напряжённо ждёт с Востока своего освобождения!

А дальше – аплодисменты, аплодисменты, энтузиазм не поддавался описанию!

И снова его вынесли из зала на руках. (В сопровождении подпьяневших матросов гвардейского экипажа.)

654

Сегодня в Белом думском зале очередь собираться была рабочей секции Совета. Не так избыточно, как солдатская, двери закрывались и по проходам можно было пробраться, но всё же сидели впритыку и во всех ложах, и на ступеньках. И даже – не курили, обязались так, иногда кто где засмолит – на него цыкнут. Всё это рознилось от солдатских дней, когда стояли даже и во все стороны лицами, и всё висло в дыму. Сегодня, в рабочий день, и на хорах оставалось место – и там расселась стража арестованных из соседнего коридора, кто-то и до белья раздевшись от духоты, на привольи чай пили.

А Екатерининский зал по соседству грохотал от пришедших там сейчас моряков.

На родзянковскую вышку, на фон опустошённой императорской рамы, уверенно взошёл полноватый Богданов. Он теперь стал ходить с портфелем, что, при упитанном белом лице, придавало ему и министерскую солидность. И перед подъёмом на трибуну снимал, совал в карман пенсне, нужное ему только для бумаг. Энергично постучал по пюпитру (родзянковский колокольчик за эти дни украли) – уже и стук его и манеру знали, и сразу слушали. За три недели уже привык Совет к Богданову и Богданов к Совету, управлялся с ним оборотисто, и доводов его слушались, он и был тот главный, кто приносил из Исполнительного Комитета директивы, а здесь превращал в решения. По умелости, бодро надеялся он и сегодня справиться, хотя понимал, что дело окажется потрудней.

– Товарищи! – сильным голосом подал в тишине. – Сегодня нам предстоит два вопроса. О положении работ на заводах – но это потом. А раньше нам надо обсудить некоторую перестройку работы самого Совета. Исполнительный Комитет пришёл к выводу: в таком виде, как мы существуем, мы больше существовать не можем. Теперь в Совете две тысячи солдат и восемьсот рабочих, – это слишком много, на общих собраниях решение вопросов может быть непродуманное. Простое голое поднятие рук – это не решение. Как теперь изменить положение вещей? Это называется – реорганизация. В теперешнем составе Совета много наслоений, ибо он сложился стихийно. Наш Совет рос на случайных основаниях. И пришлось разбиться на отдельные солдатские и рабочие собрания, у солдат своя Исполнительная комиссия, тоже 107 человек. Так работать нельзя, это слишком громоздко.

Солдатская аудитория – много бород, здесь – ни одной, самое большее – усы у третьего, а то бриты. Сквозь солдатские дремучие бороды нескоро проникает речь оратора. А тут, с рабочими, поостерегись, их всё же (сами же) годами приучали к сходкам и речам. И лица у них – размысливые, честно серьёзные, и пришли они – понимать, и торжественный парламентский зал приосеняет им важности. Тут – поосторожней, через каждую фразу – и успокаивать. (А начали с рабочих, потому что перестройка ущемит солдат побольше.)

– Но, надо сказать, хотя состав Совета и случайный – он сохраняет полное единство. Нам нельзя ломать эту машину. Нельзя сказать – распускаем и созываем новый. Мы всё-таки связаны друг с другом, рабочие с солдатами, и через Исполнительный Комитет. Мы росли стихийно – но рвать эту связь нельзя. Этот аппарат нельзя уничтожить. Наша задача – связать эту машину, чтоб она представляла сильное гармоническое целое. Хотя мы считаем, что три тысячи человек работать трудно, всё же вопрос слабо освещён. Но Совет распустить нельзя. Он должен сохраниться, только его роль должна быть точно определена.

Пока сходило ничего. Но слушали – не безразлично, кажется, начиная подозревать и подвох.

– И вот я доложу проект сегодня на вашей секции, завтра на солдатской. Впредь Совет должен намечать общую линию. А разрабатывать эту линию при таком большом количестве членов нельзя. Кроме того, есть случаи торжественные, например, обращение к полякам, когда нужен весь Совет. Разработка же и принятие решений и постановлений должна лежать

на рабочем органе. И мы предлагаем такой создать: Малый Совет Рабочих и Солдатских депутатов, не больше пятисот человек. Теперь момент спокойный, не как 27 февраля, и выборы могут быть произведены закономерно. Выбирать депутата не на полтысячи, а на две тысячи человек. И солдат – не от каждой роты, а от батальона, полка. А ещё в Совете отдельно должны быть представлены партии. И профсоюзы. Мы ценим организации. Возьмём депутатов и из ремесленного пролетариата. А из торгового пролетариата – только нижние слои, они стоят на страже демократии. А верхняя часть настроена буржуазно. Итак, старый Совет не уничтожается! – который раз оговорился он, хотя ж никто ещё этого ему не кинул, но промахнулся языком, назвал Совет не Большим, а сразу старым, – его задача – разработка общей линии и вотирование торжественных актов.

Теперь зашевелились. Только радости и поддержки в движении не было.

– А Исполнительный Комитет??! – крикнули, даже из разных мест.

Этого Богданов и ждал, самое больное место, осторожно его обойти – не допустить и мысли переизбрать Исполнительный Комитет.

– Исполнительный Комитет, товарищи, избран ещё 27 февраля...

– Временно! – крикнули.

Помнили...

– Сперва решили, что он будет состоять из девяти рабочих, девяти солдат. А потом ещё присоединялись партийные депутаты. Да, он сложился несколько стихийно. В нём сейчас 37 человек, из них далеко не все бывают на собраниях. И мы предполагаем доизбрать туда рабочих и солдат. – (И не собирались.) – Но сейчас надо думать, как реорганизовать Большой Совет.

Богданов ждал сразу большого шума, но если быстро бы проявился – быстро его и приглушить. А тут разрабатывалось медленно. Оттуда и отсюда стали выкликать вопросы:

– Так – депутатов в Малый Совет – новые выборы? Или – из этих, из нас?

– Новые! – уверенно ответил Богданов. Потому что так говорили на Исполкоме. А сам сразу и подумал: ошибка, вот тут надо было и уступить.

– А остальным – чего ж? – забеспокоились ещё в нескольких, справа, слева, высоко, и внизу. – К станкам?

Их ведь, этих заседающих, освободили от работы.

– Да, товарищи, а что ж, с работой у нас плохо. Но Большой Совет время от времени будет собираться.

– А – топлива нет, какая работа?...

– А районные советы – будут?...

– А Малый Совет – будет выбирать свой Исполнительный Комитет?...

Ишь, куда заваливают! Нет-нет:

– Исполнительный Комитет остаётся от Большого, мы туда довыберем. Малый Совет не избирает своего Исполнительного. Так, товарищи, давайте организованно выступать, но покороче! – гнал Богданов.

– Не покороче! – распалялось в зале. – Вопрос важный, сокращать времени нельзя!

Стали выкликать и фамилии – и записываться. И быстро записалось больше двадцати человек. Таких прений Богданов допустить не мог: чем дольше прения – тем больше проигрываешь, уж он знал. Но уже шёл первый – с завода Паля, и уже с привычками и словечками оратора:

– Та-ак, – сказал, – товарищи! Вопрос требует самого напряжённого обсуждения. Он постановлен расплывчато и не конкретно. Мы не видим плана реорганизации. Надо его раскритиковать как следовало... Мы реорганизуемся, пожалуйста, но чтобы был максимум пользы и чтоб мы не потеряли своего удельного веса.

– Вы сами, товарищ, говорите конкретно, а не лишнее! – стал подправлять Богданов. Эти речи, он знал, нельзя запускать.

– Чего неконкретно? – стал сбиваться оратор. – Если, например, три депутата от завода уже есть, а надо выбрать ещё один, так будет четыре? А если от одного завода сразу восемь и

говорят одно и то же, так не лучше ли их сократить, а на их место других добавить?

– Чего сократить! Кого сократить! – возмущённо закричали из зала, это от крупных заводов. – И сбили оратора. Он ещё поблукал языком и ушёл. Когда само собрание прогоняет ораторов – тогда председателю и вести легче.

Второй вылез с Лангезиппена, тоже, видно, умелец поговорить:

– Да, товарищи! Как и для чего – это вопрос очень сурьёзный. Когда начиналась революция – так и всё делалось кое-как. А Исполнительный Комитет – он есть теперь законодательный комитет. А не только здесь, но и по всей России оказывается давление со стороны остатков тёмных сил. Старая власть местами ещё существует, ого! Вот я, например, узнал: в Великих Луках земский начальник ещё и сегодня арестовывает. Мы находим, что три тысячи депутатов – это много? но, товарищи, и выходов много. Учредительное Собрание, вот, недалеко – а на местах нигде нет передового элемента. А в Петрограде этого элемента как раз очень даже много. И мы можем часть существующего нашего Совета отделить и разослать по провинциям, чтоб они организовывали массы к Учредительному Собранию. Мы вынесли на себе тяжесть революции – и нам теперь надо взять на себя пропаганду! На местах буржуазия, небось, работает, а мы почему-то ничего не делаем. Исходя из этого, я предлагаю: часть Совета командировать во все провинции для пропаганды. Докладчик сказал – в Малый Совет войдёт 500 человек, а нам остальным – куда? на улицу? И я предлагаю: рассыпаться нам по всей России!

Он покидал трибуну – уже заспорили на местах, соседи с соседями. Многим показалось заманно, другим неохота из Питера уезжать.

Ох, трудна ты, работа головы! Ох, трудно пробиться, весь хлам прокидать: чего же именно правильно?

И с трибуны очередной тоже сетовал, отирая серый лоб:

– Вопрос, товарищи, сложный. В пять минут его никак решить нельзя. В этом зале, в Думе, самый сраненький вопрос и обнаковенно обсуждался по нескольку дней. А теперь – вся Россия к нам прислушается, ибо должен быть один центральный орган. Исполнительный Комитет должен был проект соопчить нам заблаговременно, а не этак сразу на голову кидать. Мы так уразуметь не успеем. Да по какой категории избирать-то будем? Значит, один Совет у нас будет правильный, а другой неправильный?

А сразу за ним – полез конторщик с Айваза с выложенной у кармана цепочкой часов, слышали его в Совете, не раз. Так и заявил сразу громко наотрез:

– Нет, товарищи! Я хочу указать на замечание товарища Богданова, что наши решения просто принимались поднятием рук. Это неверно, они принимались вполне сознательно. Никто решений Совета не опротестовывает – значит, работа ведётся правильно. А если это так – то к чему нам меняться? Теперь я перехожу к существу вопроса, что якобы Совет продуктивно работать не может, и предлагают схему реорганизации. Я не согласен. Да, у нас около трёх тысяч человек, и возможно, будет расти до пяти тысяч. А Малый вырастет до семьсот, это не парламент? А что же будут делать наши три тысячи человек? Только ждать торжественного случая? Это – опять не решение. Вот, товарищ с Лангезиппена наметил выход, и он мне рисуется приемлемым. Сократим Совет до пятисот-шестисот человек – но и остальных оставим в звании, только поручим им: подтянуть к нашему сознательному уровню обширные области страны. Выплатим командировочные – и пусть едут, возглашают. Многие по России не знают, что в Петрограде творится, – и надо им это показать. Это даст – колоссальнейшую пользу! Итак, одна часть осталась бы здесь, а другая поехала бы. У нас тут, однако, разные взгляды, и вот, чтобы понести всё одинаково, надо выработать план. А если сделать, как предлагает Богданов, то положительного результата мы не получим. Мы бы, значит, топтались тут, на месте, а там бы, на местах, шла работа тёмных сил? Временное правительство с этим мирится, но мы должны добиваться своего. На местах есть тёмные массы – и тогда мы убили бы сразу двух зайцев: и здесь бы сократили бы количество депутатов – и страну бы подготовили к восприятию великих реформ.

Так, самодельно и неожиданно, повернул Совет весь вопрос. Но не для того был

поставлен ловкий председатель-докладчик, и он загремел, опоминая зал:

– Предыдущие товарищи говорили не по существу. Нам надо – усилить, укрепить Совет *рабочих*, а не усылать его в провинцию, не подменять всероссийской проблемой. – То есть он хотел им намекнуть, что надо увеличить рабочих за счёт солдат, но об этом никак нельзя сказать прямо вслух, дойдёт до солдат. – Давайте говорить о Малом Совете.

Но не взял их с наскоку сразу к голосованию, теперь забарахталось трудней. За время трёх-четырёх ораторов стали рабочие – опоминаться, в затылках расчёсывать, друг с другом обменялись из ряда в ряд: да нет, тут дело не чисто! это ведь нас разогнать хотят.

И вылез длинный хитрый черноусый дядька со Старого Парвйайнена, обопёрся об трибуну хорошо и повёл так:

– Я – с другими говорившими тут не согласен. Как это: Совет слишком большой – давайте выбирать других? Как это: Совет – уменьшить, а Большой – для торжественного случая? Это не выдерживает критику. Значит – мы годны только для парада? Я не думаю, чтоб свобода была настолько упрочена, – и нам расхотеться ещё рано, – как это: выбирать других? Теперь настроение масс опустилось и начинают действовать нежелательные силы, и если новые выборы – то только ухудшат состав Совета. И получится мнение, что мы были – не совсем подходящий элемент? И что ж будет делать дальше Совет? У меня такое предложение: если от какой фабрики двадцать депутатов – ну, можно сократить. Хорошо, выберем 500 человек, но из нашей здешней среды. Но и Исполнительный Комитет – тогда тоже заново. Из этих пятисот выберем.

– Этого – не допустим! – застучал Богданов кулаком. – Ещё чего? Кто не доверяет нашему Исполнительному Комитету – пусть организуется сам на стороне, как хочет. А наш Исполнительный Комитет – избран этим Советом.

Богданов лишил оратора слова, дядька не хотел уходить.

– Почему говорить не даёте? – загудели.

– Круто загибаешь – оглоблю сломаешь!

Но тут близко сразу несколько с вытянутыми руками совалились к трибуне – и как угадать полезного? Богданов отметил одного – опять вида приказчиьего или конторского.

Этот подвижный завертелся на трибуне, поспевая убеждать во все стороны:

– Товарищи! Мы с вами – люди подполья! А наш Совет организовался во время стихии. А если сделать теперь новые выборы – то в Совет придут люди, которые будут звать «воевать до победы».

Застучал над его головой уже недовольный Богданов, и с мест орали с разных, – но и конторский не растерялся, а продолжал виться:

– А сила перейдёт от Большого Совета к Малому? Нет, товарищи, мы явились сюда не для реорганизации, а – организовать разбитую Россию, и для этого нужны строители.

– А сам – кто? – глушил Богданов, сбивая.

– Я сам, товарищи, пожалуйста, фармацевт. Здесь много служащих. Раньше мы, служащие, были отделены от рабочих, а теперь мы слились. И цель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов – это контроль над Временным правительством. А между тем министр просвещения остался совсем без контроля, вы обратите ваше внимание! А нам говорят – разойтись? Нет, товарищи, делать государственное дело нужен инструмент – а нам говорят: разойтись? Здесь, в этом здании, была холопская Дума, а у нас новое настроение, мы хотим организовать, а нам говорят – реорганизоваться?

Наступил общий шум – от богдановского стука и горла и встречно от зала, как и раньше на Советах бывало: ораторов на трибуне оказалось сразу двое, и по ступенькам подпирали двое, а по всему залу ещё вставали и говорили окружающим. Совет расколыхался, окончательно поняв, что его обманывают и хотят разогнать. Кричали, и грозили кулаками Богданову – но и он смело кричал:

– А я вас не боюсь!

Но сам-то уже понял, что не справился, что прения проиграны и надо не голосовать, а откладывать на следующий раз.

Десять-пятнадцать минут покричали, разрядились, утомонились – выбрал Богданов на глаз и дал слово белокуруму парню с Трубочного.

– Я высказываю против посылки нас на места. Это значит – распылить силы, а нам надо быть в единении. Такая посылка будет громаднейшим ущербом. Чтобы не был громадный состав – так Малый надо выбирать из нас же, зачем же со стороны ещё набирать? А если уж со стороны – так пусть Малый Совет будет со всей России, ото всех разных городов и губерний. А то ведь нас и так считают Всероссийским – так вот. Не нам туда ехать – а пушай сюда едет провинция. Мы, Петроград, своё дело и сделали – теперь пушай делает провинция!

Пришлось Богданову опять вмешиваться, разгрести свою восьмисотную неразбериху:

– Нет, товарищи, это неправильно! Хотя мы и петроградские, но волею судеб мы и так уже всероссийские. Мы только формально именуемся Петроградским Советом – а сила у нас на всю Россию. И возможно, нас и так признают всероссийским.

А гуца ему – нового оратора вытолкнула, тоже кудрявого, молодого:

– Мы выбраны сюда решать вопрос – а получается, что знакомимся с готовым докладом. Надо раньше оповещать! Совет рабочих депутатов спаялся – и уничтожить его не дадим! Когда девятый вал прошёл – так мы уже и не нужны – и «выбирайте новых»? Мы распустить себя – никак не можем! Мы выбраны совсем не случайно, а вполне разумно. Да к чему нам новые выборы, зачем нам новые? Придут новые – мы должны их знакомить с делами снова. Среди нас тоже-ть нет буржуев! Да, разбирать при трёх тысячах трудно, – а ежели разойтись по комиссиям да по подкомиссиям – так и нет никого. Да вон, пулемётчики из Народного дома уходят – щекатуры обсвежат, да и занимайся! Хотя б и были у нас недостатки, но в такое ответное время распускать нас недопустимо! Выбирать новых членов Совета – это только внесёт путаницу. И зачем нам Москва и другие города? Если мы их пустим сюда – так они начнут нами управлять. Это мы – сбросили иго, мы и должны Россией управлять! А они – пусть присылают людей для связи. А подчинить себя мы никому не позволим! Ежели нужно выбирать Малый Совет – то и выбрать из сидящих здесь, и всё!

Ну, поднялось! – вой. Вставали, кричали, руками махали, выходили, ещё такого Совет не помнил. Сейчас оборвать прения – нельзя, всё проиграно. Сразу не прошло – теперь другой вариант: дать им много часов говорить, сами разбредутся и запутаются. В растянутых прениях толпа всегда запутывается и ослабляет сама себя, мысли расползаются, разделяются – и тут-то снова её можно взять сильной рукой.

– Куда вы уходите, товарищи? – перекрикивал Богданов, приложив раструб к губам. – Вопрос очень важный, продолжаем свободные прения, никто вам ничего не навязывает!

Уселись и опять продолжали.

Теперь – от Розенкранца:

– Да, товарищи, наш Совет выбран стихийно – но и надо издать директивы, чтобы не было заявлений, что мы неправильно избраны и наши решения неправильные. А раз демократическая республика – так сделать пропорционально тысячам. На нас смотрит вся Россия, и авторитетность наша увеличится, если будут представители от других городов. Тут ругали буржуазию – а что? Привлечь и её в Совет рабочих депутатов. – (Загудели, закричали недовольно.) – Её будет немного, но мы ещё больше поднимемся в глазах. Нужно привлечь в Совет и умственные силы. А если возникнет конфликт Большого Совета с Малым – так кого население будет слушаться? Они будут считаться правильно избранные? Они будут – всё, а мы – ничто? Нет, так не пойдёт.

А следующий повёл ещё загибистей:

– Я предложил бы лучше – удалить Исполнительный Комитет, а вместо него и создать Малый Совет с подкомиссиями. Мы в первый день революции избрали Исполнительный Комитет на три-четыре дня, а он остался постоянным, это нежелательно. Всё захвачено в руки кучки посторонних людей!

– Этого никто вам не разрешит! – бомбил Богданов по кафедре. – Исполнительный Комитет – не посторонние, а состоит из рабочих и солдат! И из политических партий!

– Здесь говорят массу пустых слов! Вопрос тонет в словах! – взывал следующий,

подмеченный зорким Богдановым, взятый на поддержку. – При чём тут Исполнительный Комитет? Обсуждается Совет! На нас устремлены взоры всей России! Мы сейчас должны реорганизоваться. Но мы никак не можем сговориться.

Теперь кого своих знал в лицо, так их бы вызывать – но рук не тянули.

– Исполнительный Комитет и так делает всё возможное в интересах революции! Мы только можем ещё расширить Комитет борцами за благо. Конечно, они перегружены работой, и надо их пополнить! Надо согласиться с предложением докладчика. Нас никто не упраздняет. Но Малый Совет будет продукт обдуманного решения. Эти люди не будут лишними, раз они выбраны!

– Так ежели нас уже много – зачем же ещё выбирать?! – волновались с разных мест.

Свои, проверенные, не тянулись, а какого-то глупого кудлатого Богданов выделил – и дал ему слово. И – не ошибся намётанный глаз. Кудлатый завёл, как и не слышал предыдущего, вот это и надо:

– Я хочу сказать: в настоящее время автомобильное дело на краю гибели, а мы тут чёрт-те что обсуживаем. Автомобили принесли большую пользу революции. Но каждая комиссия старается захватить над ними власть. А нас в комиссию не приняли. И людям дают право распоряжаться. А я говорю от пяти тысяч шоферов. Мальчишки разбивают автомобили. Тогда их – в мастерскую, а после починки уже худшего качества. И разве можно ограничивать движение автомобилей записками? Вот офицеры и развозили женщин, вместо прокламаций к Учредительному Собранию. Мы – погубим эту промышленность! Надо уничтожить пропуски...

Такой шум поднялся – не дали ему больше говорить. Но сделал своё: одно острое выбил другим острым.

Недалеко от входной двери, сбоку, сидел и волновался Гвоздев: он видел, что страсти разожглись, прения затягиваются – и всё меньше оставалось надежды сегодня же обсудить с успехом состояние заводов и убедить эту разгневанную массу ещё и в чём-то другом против её сочувствия, как можно было бы на холодную голову.

За недели революции, он заметил, это было не первый раз: или пустяк, или раззадорина захватывали всё внимание и силы людей – а главное рушилось.

Происходило безумие: не то что с петроградскими автомобилями – но обрушивалась вся оборонная промышленность в разгар войны – и свой брат-рабочий не хотел внять и отозваться, – чего же ждать от исполкомовцев? И если уж сам Совет тоже не направит...

Тут он услышал – за дверью прошли по коридору к Полуциркульному с радостными громкими голосами, будто что-то нашли редкое. В зале Гвоздеву делать было пока нечего – и он подался посмотреть, кто это там, что.

В двери Полуциркульного входили, толпясь, и от задних Козьма узнал: вот, приехали из Иркутска Церетели и Гоц, сейчас будут говорить!

Лидер социалистов во 2-й Думе, Церетели пробыл в Сибири 10 лет – и Козьма, простым ещё рабочим, никогда его близко не встречал. Хотя вот переписывался с ним недавно. Теперь он увидел на помосте рядом с Чхеидзе, Чхенкели и другими исполкомовцами очень высокого, стройного молодого грузина, в пальто, сильно чёрного волосами, усами. Приветственные речи приехавшему были уже произнесены на вокзале или на ступеньках Таврического – теперь отвечал он сам.

Он стоял как тополь. Говорил с улыбкой. В улыбке его было – ненаигранное, но смягчённое страдание пережитых лет. Говорил с паузами между фразами, с большим значением выбирая слова:

– Кончились мрачные годы реакции. Пробил час для полного торжества демократии! Ваш подвиг был и в том, что вы остановились вовремя: вы поняли, что идёт революция буржуазная и ещё не настал момент для конечных задач пролетариата. Которые и нигде ещё не осуществлены. Вы не стали навязывать событиям свою волю – но лишь толкаете буржуазию на путь революции. И хотя 4-я Дума была построена на костях 2-й – мы готовы забыть Временному правительству прошлое и поддерживать его.

Грозно повёл высокой головой:

– Но если правительство станет на путь компромиссов – мы низвергнем его в прах!

Вздыхнул. И – задумчиво:

– А самое главное, самое главное: кончилось наше собственное разделение. Мы больше не будем раскалываться на меньшевиков и большевиков, мы будем – единая социал-демократия!...

655

А говорят о возможной поездке через Германию – все и много. И несколько эмигрантских комитетов и все партийные направления просили Гримма вступить в переговоры с немецким послом Ромбергом. (Как Мартов предложил – за каждого эмигранта освободим пленного немца.) Отлично, отлично, *план Мартова* работает!

Гримм – взялся! (Ещё лучше.) Но он не только вождь Циммервальда – он и член швейцарского парламента, и такой шаг ему неблагоразумно делать без сочувствия правительства, например, министра иностранных дел Хоффмана. (И если Гримм взялся – значит, консультация была, заметим. А почему бы Швейцарии быть против? Швейцарии и самой бы неплохо эту шумную банду отправить. Швейцария сама стеснена войною со всех сторон.) Гримм ходит и ходит к Ромбергу, он ведёт переговоры *абсолютно-секретные*, чтоб не проникло в печать, чтоб не опорочить швейцарский нейтралитет, – но главным представителям каждой партии (Натансону, Мартову, Зиновьеву) он-то сообщает. Мы – знаем.

Улита едет – когда-то будет. Пусть, пусть.

А Ромберг всем отвечал: «да». И Гримм посчитал, что он легко всё исполнил: да – и да. Теперь остаётся вам, товарищи, обращаться за разрешением к своему Временному правительству.

Ах, спасибо! Ах, забыли перед вами шапочку снять! И потом век кланяться в ножки Луи Блану-Керенскому?

Все эти острые дни ужасно не хватало Радека-плута, телефоном вызвали его из давосской санатории, отдыхал, даже на русскую революцию сразу не ехал. Но уже по пути всё понял и придумал ещё один шаг отвлекающего зондирования: в Берне, через немецкого корреспондента.

Что ж, и тут был ответ от Ромберга, как и всем: да, да, конечно, всех желающих пропустим.

Но – не распахивалась германская граница, да и все *желающие* только узнать хотели, да посравнить, да спроситься Временного (слали телеграммы Керенскому), а так больше мялись.

Все согласны – и не начиналось ничто. Неуклюжи старинные дипломатические пути.

Не начиналось, пока тёмные крупные рыбы у самого дна не пройдут свой курс.

Пока Скларц не доложит в Берлине встречных предложений Ленина.

И германская Ставка не скажет окончательно: да.

И министерство иностранных дел не всполошится: уже так много публичных разговоров об этом возврате, уже князь Львов откровенно сказал швейцарскому посланнику, что быстрый отъезд эмигрантов из Швейцарии нежелателен. Так надо ж поспешить! – из-за кого же тянулось? – этот шанс для Германии не повторится!

И 18 марта, в субботу, Ромберг в Берне получил наконец распоряжение как можно быстрее сообщить Ленину, что его предложения об экстерриториальности приняты, не будет личного контроля и ограничительных условий.

В субботу – и «как можно быстрее»! Значит – не перемедливать лениво воскресенья. И нарушая все законы осторожности, используя запасную крайнюю связь, германский посол стал вызванивать по телефонам, в Народном доме нашёл наконец социалиста-немца Пауля Леви: надо немедленно передать Ленину, что...

И ещё одним звонком был вызван Ульянов к соседнему телефону на Шпигельгассе – и шёл, волнуясь, что это Инесса.

А это был – ответ!!!

И вот когда – путь был открыт! Вот когда можно было назначать группе в 40 человек отъезд хоть через два дня, ровно сколько нужно товарищам уложить вещи, сдать книги, уладить денежные дела, съехаться из Женевы, Кларана, Берна, Люцерна, купить продуктов на дорогу, можно было ехать уже во вторник, а в ту субботу – на одну субботу позже, чем со Складцем, – вмешаться в русскую революцию!

Но ещё во мраке тёмной затхлой лестницы, а потом в дневном мраке комнаты-камеры (с утра опять то крупный густой снег валит, то снег с дождём вперемежку), руки подхватывая к вырезам жилета, чтоб они не вырывались к действию прежде времени, и успокаиваемый пальтовой тяжестью старого засаленного пиджака, – Ленин заставил себя ни к кому не кидаться объявлять, но – подумать. Подумать. Подумать, бегая.

Потерять голову в поражении и в унынии не может твёрдый человек. Но потерять голову в успехе – легко, и это самая большая опасность для политика.

Всё открывалось – а воспользоваться и сейчас было нельзя: как потом объяснишь: через кого и как согласовано, что вдруг внезапно подали вагон одним ведущим большевикам – и уехали?

Ещё надо сделать несколько отвлекающих, ослепляющих шагов.

Никакого простора бегать ногам, и на улицу не выскочить в такую погоду (и давно забыты читальни), – и вся беготня ушла в огненные вихревые спирали, провинчивающиеся в мозгу.

Поездка – открыта, да, но – куда? Для задержки на финской границе? Или в тюрьму к Временному правительству? Можно представить, как там сейчас свистит шовинизм! По существующим мещанским представлениям это ведь так называемая «измена родине». И даже тут, в Швейцарии, – меньшевики, эсеры, вся бесхребетная эмигрантская сволочь, закричат об измене.

Нет!

Нет.

Нет...

(Кстати, пока Ганецкому: обращался к англичанам за пропуском, не дают!... Пусть трезвонит.)

Удерживали бы обстоятельства, – но держать себя самого, уже свободного, рваться – и держать, до чего ж трудно!

Тут надо... тут надо...

Всё, что проплыло у дна тяжёлыми тёмными рыбами, теперь провести по поверхности беленькой парусной лодочкой.

Переговоры **окончены?** – теперь-то переговоры начать! Как будто сегодня начать их в первый раз!

И нет фигуры приличнее, чем доверчивый безлукавый Платтен.

Готовить группу – само собой. Да список уже и есть.

(Инесса! Неужели и теперь не поедешь? Чудовищно! С нами – не поедешь? В Россию! – на праздник, на долгожданный? Останешься в этой гнили?...)

Сорок человек – уже не обвинишь в измене. По сорока человекам пятно расплылось – и нет. Конечно, можно бы прихватить и максималистов и разных отдельных отчаянных, тогда б ещё безгрешней. Но... Лучше с собой чужих не брать, лишние свидетели в пути, лишние свидетели каждого шага, а мало ли будет что. Да и в чём тогда успеваньё, если своими усилиями, в своём вагоне провозить врагов, а в Питере с ними бороться? Нет! Всё до последнего момента – втайне, и день и час отъезда втайне.

Только переговоры – открытые.

Не имея согласия уже в кармане – такие переговоры нельзя начинать: а вдруг не удадутся, что за позор! Но с согласием в кармане – вот тут-то их и вести.

И: как нужна высокая организация во всяком пролетарском деле, в каждом шаге пролетарского дела, – так и в этой поездке. Жестокий обруч. Чтобы какое-нибудь дерьмо в сторону не вывернулось. Чтобы все заодно – и никто не уклонился, не сказал бы никто: а я не участвовал! а я не подозревал, в чём дело!

Поэтому – за подписью каждого. Как присяга, как клятва. Как разбойники целуют нож. Чтоб никто не отбилась потом, не кинулся «разоблачать». Ответственность – самая серьёзная, и должны разделить все сорок.

(Неужели Инесса не поедет?...)

И уже – сидел, составлял такое обязательство. Уже набрасывал, на стуле у окна на коленях, в сумерках снежной вьюги, своим почерком косоугольным, как в настиг за мыслями наискосок листа, в эти дни крупней обычного, так волновался, – набрасывал пункты, какие могли бы тут войти: я подтверждаю... что условия, предложенные германским посольством товарищу Платтену, мне были объявлены... и я подчинился им со всей политической ответственностью перед возможными последствиями...

И вдруг из коридора – приятно-резкий, насмешливый голос Радека. Приехал?! Ну, лучшего гостя и помощника не придумать сейчас! Карл, Карл, здравствуйте, раздевайтесь, ох, за воротник вам насыпалось. Да вы новость нашу – **представляете** ?!?

Короткий вопль, сверкающие зубы, не убираемые за верхней губой, кучерявый, с ореолом бакенбардов – смеющийся озорник Радек!

Ну-ка-сь, ну-ка-сь, давайте вместе составлять. Такие же твёрдые условия надо подготовить и для Ромберга.

– Вы – им – условия?

– Да. А что?

– Восхитительно!

Такая затея – как раз по Радеку. Он – и советует, он – и шутит, у него и находки и мысли предусмотрительные.

Только вот курить в этой комнате запрещено, сухую трубку сосёт. И... Э-э...

– Владимир Ильич! А как же будет со мной? Неужели вы меня способны не взять?

– Да почему ж не взять?

– Да ведь если мы пишем – «русские эмигранты», а я – австрийский подданный?

Ах ты, чёрт, австрийский подданный! Ах, чёрт! Привыкли как к своему, только для виду считается – польская партия. Но как же можно Радека не взять? Радека – и не взять!

У Радека выход готов: если будет Платтен с Ромбергом заключать письменный договор (а не будет письменный, так устно ещё легче попутать) – пропустить слово «русские», написать – «политэмигранты», а – о каких же ещё речь? Не додумаются немцы, подмахнут.

Вообще, в такой архиответственный момент, в таком наисерьёзнейшем деле недопустима игра, и германская Ставка – не из тех партнёров, с которыми шутят. Но для Радека – незаменимого, ни с кем не сравнимого, фонтана изобретений, острого, едкого, нахального Радека – пожалуй и попробовать?

– Но – согласится ли Платтен вести эти переговоры? И сам – ехать с нами?

– А больше – некому. Значит, согласится.

– А если – Мюнценберг? Потвёрже.

– Вилли? Да ведь он считается немецкий дезертир. Как же ему – с послом? И как через Германию?

– Всё-таки... – постукивал Радек черенком между зубами, – всё-таки, Платтен – партийный секретарь, а какая-то поездка с эмигрантами? А тут начнёт мучиться, не будет ли вреда его Швейцарии?...

– А что – Швейцарии? Ей только лучше.

Нет, Ленин тут не сомневался. Перед Гриммом Платтен заминался, да, отступал, но в главном – пойдёт, раз увидит аргументы. Он – человек рабочий, пролетарская кость. О переговорах же с Парвусом он не знает и никогда не узнает.

А Радеку о Парвусе хоть рассказывай, не рассказывай, – всё понимает сам. Радек даже

неприлично преклонён перед Парвусом: в бернских кабачках, по интернациональному долгу как бы ни обязан был его поносить – за отчаянный шаг к шовинистам, за богатство, за тёмные сделки, за нечестность, за дамские истории, – а сам со ртом разинутым, с набившейся пеной в углу губ, видно: ах, и молодец! ах, мне бы так!...

– Про Скларца я ему сказал: восьмигрошовый парень немецкого правительства, я его выгнал! Про Гримма скажу: что-то подозрительное, тормозит отъезд, какие-то гешефты в свою пользу. А мы – больше ждать не можем, революция зовёт! По-пролетарски, открыто, без всяких тайностей – возьмём и обратимся в германское посольство! Возьмётся! – уверен был Ленин.

Да как научить его с Ромбергом говорить? Ведь это ж совсем новый текст. Мол, в России дела принимают опасный *для мира* оборот. Надо вырвать Россию у англо-французских поджигателей войны. Мы конечно приложим ответные усилия к освобождению немецких военнопленных (лови нас потом!...). Но мы должны быть застрахованы от компрометации и гарантированы, что не будет придирок в пути... Готовы ехать в запертых и даже в зашторенных купе. Но должны быть уверены, что вагон не остановят...

Ленин захватил пространство комнаты и носился по косо́й – три шага, три шага, три – одну руку за спину, а другой размахивая, – а Радек записывал, пустой трубкой придерживая лист.

С Радеком внакладку находки: для такого шага ещё неплохо бы нам собрать оправдательных подписей от западных социалистов... Социалистов – да, но и ещё бы каких-нибудь безупречных людей...

Да где же таких найти?...

– Ну, например, Ромена Роллана?

Головасто придумано, хорошо!

Так пора и крючок закинуть. Через кого бы закинуть под Роллана?

С приходом Радека облегчились неуместимые прожигающие вихри в голове: есть мыслям исход, можно высказать и услышать ответ. Вот... Если начинать демонстративные новые переговоры через Платтена, то ведь надо так же демонстративно порвать с Гриммом?

Да просто – звонко порвать!

– Да чтоб всю вину на него же и свалить!

– Да чтоб и за старое ему наложить, мерзавцу! Пусть попомнит, как отложил швейцарский съезд!

А для этого надо: во-первых, опубликовать все доверительные сведения о его скрытых переговорах!

Эт-то очень всегда ударяет: внезапная публикация доверительного. Оч-чень ошеломляет.

То есть просто вот сейчас, немедленно, подготовить такую публикацию!

– ... И расставить нужные акценты!

– ... И завтра же опубликовать!

Ну, с Радеком и самая напряжённая работа превращается в весёлую игру! За что Ленин особенно Радека любил – за хорошую пристрастность!

Уже сидели и писали: Радек писал, теребя пустую трубку в зубах, в коридор выйти некогда, иногда смеясь и даже подпрыгивая от выражений, – а Ленин сидел сбоку и советовал.

Единственный такой был Радек человек, кому, сидя рядом, Ленин вполне мог передать перо и только посмеиваться. Лучше радекова пера никогда не было во всей большевицкой партии. Луначарский, Богданов, Бухарин – все писали слабей.

– Тут важно, что ещё получится: что именно Швейцария все эти переговоры ведёт и нас выталкивает. А вовсе не мы!

Ах, умный, понимающий, золото!

– Завтра же и опубликуем – у Нобса или...

– Завтра – воскресенье. А вот что! – запрыгали, запрыгали искры за радековскими очками: – Завтра воскресенье, так пошлём **сейчас** же, немедленно – Гримму телеграмму! В субботу вечером, немедленно, сейчас! – Усмехался и подпрыгивал Радек, как будто его со стула кололо.

И Ленин подпрыгивал от удовольствия.

И говорили, говорили вперебой, поправляли, и Радек тут же записывал:

... Наша партия решила... безоговорочно принять... предложение о проезде через Германию... и тотчас же организовать эту поездку... Мы **абсолютно** не можем отвечать... за дальнейшее промедление... решительно протестуем... и **едем одни** !...

– Та-ак! – почесал Радек за ухом, – закатаем ему в листовой шоколад:

... **Убедительно просим** немедленно договориться...

– Завтра, в швейцарское воскресенье, договориться!... Да! ещё завтра первое апреля!

– Первое апреля!! – давно так не смеялся Ленин, всё напряжение последних недель выбивалось из его груди сильными, жёсткими, освобождающими толчками. – Вот получит бонбоньерку, центристская сволочь!

... Договориться... и, **если возможно, завтра** же...

– Когда вся Швейцария дрыхнет!

... Сообщить нам решение!... С благодарностью...

Как на шахматной доске, уже сделав задуманный ход, ещё больше видишь успеха и возможностей, чем рассчитывал перед тем. Но эту усмешку – с 1-м апреля и с воскресным заданием товарищу Гримму – придумал Радек-весельчак!

– А если за воскресенье он не сделает – так в понедельник мы свободны действовать сами!

– Ну, во вторник...

Да что! да ещё лучше придумал Радек:

– Владимир Ильич! А – Мартову? А Мартову мы тем более обязаны написать, он же **инициатор плана** !? – душился Радек от смеха.

– А что же Мартову? – так быстро и Ленин не сообразил.

– Да что мы немедленно **принимаем предложение Гримма о проезде через Германию!** Вот обкакать: что это **его** предложение!!! На весь мир – его! Швейцарские социалисты нас выталкивают! Член швейцарского парламента!

Ну, это совсем было гениально! Ну, Радек! Ну, завоюет Гримм! Ну, кинется оправдываться. Да отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым.

– Вспомнит, подлец, ненапечатанную мою брошюру!...

– Но уже поздно. Придётся идти сдавать на Фраумюнстер.

– Да я сбегаю, Владимир Ильич.

– Да уж пойдёмте вместе, разохотились.

Но уж тогда оглядеться, подумать – что ещё? А, вот, Ганецкому в Стокгольм:

– Срочно переведите три тысячи крон на дорожные расходы.

(Тогда уж и Инессе: «... О деньгах не беспокойтесь... Их больше, чем мы думали... Здорово помогают товарищи из Стокгольма... Надеюсь, мы едем вместе с Вами?...»)

И вот что: там залог в кантональном банке за проживание в Швейцарии, 100 франков, нечего баловать лакейскую республику, надо забрать.

Одевались, Ильич – в своё железно-неподъёмное, на ватине, а Радек – в летнее пальтишко, так всю зиму и пробегал, все карманы затолканы книгами.

Трубку набивал, спички готовил.

Ленин вслух:

– Ничего. У Платтена с Ромбергом – какие переговоры? Ромберг вынет из стола – и даст. Но эти несколько дней надо, надо было кинуть шовинистическим харям.

Радек крутился как юноша, лёгкий, удачливый:

– Руки чешутся, язык чешется! – скорей на русский простор, на агитационную работу!

И пропуская Ильича вперёд, уже спичка наготове, в коридоре зажечь:
– В общем так, Владимир Ильич: через шесть месяцев или будем министрами – или будем висеть.

ДОКУМЕНТЫ – 32

18 марта, Берлин

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЧИНОВНИКА М.И.Д. ИЗ ГЕНШТАБА

... Прежде всего, мы должны избежать компрометации едущих слишком большой предупредительностью с нашей стороны. Очень было бы желательно получить какое-либо заявление швейцарского правительства. Если без такого заявления мы внезапно пошлем эти беспокойные элементы в Швецию, это может быть использовано против нас.

18 марта, Берлин

ПОМОЩНИК СТАТС-СЕКРЕТАРЯ – ПОСЛУ В БЕРНЕ РОМБЕРГУ

Шифровано

Спешно! Проезд русских революционеров через Германию желателен как можно быстрее, т.к. Антанта уже начала противодействие в Швейцарии. По возможности ускорьте переговоры.

20 марта, Копенгаген

ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В ДАНИИ ГРАФ БРОКДОРФ-РАНЦАУ – В М.И.Д.

Совершенно секретно

... Мы должны теперь непременно стараться создавать в России наибольший хаос. Для этого избегать всякого внешне-заметного вмешательства в ход русской революции. Но втайне делать все, чтобы углубить противоречия между умеренными и крайними партиями, так как мы весьма заинтересованы в победе последних, ибо тогда переворот будет неизбежен и примет формы, которые сотрясут устои русского государства... Поддержка нами крайних элементов – предпочтительнее, ибо таким образом проводится более основательная работа и достигается быстрее результат. По всем прогнозам можно рассчитывать, что месяца за три распад продвинется достаточно, чтобы нашим военным вмешательством гарантировать крушение русской мощи.

656

И по-прежнему жил Волынский запасной батальон в тех же казармах, и учебная команда – на тех же нарах, близко которых подняла бунт, – но это была уже не та жизнь и не тот батальон. Две недели вовсе никаких занятий не было – ни строевых, ни учебных, ни даже в учебной команде. Только с этого понедельника в иных ротах унтеры сами стали выгонять молодых запасников пошагать по улице, да и то час неполный, а больше с них не возьмёшь. А ведь молодые – они ж ничего не смыслят, не умеют, – когда ж учиться будут?

Но в Тимофея Кирпичникова за годы военной службы, а других лет у него как и не было, – выросла строгость. И от этой новой сплошной разольго ты у него был развал сердца. Что ж это: солдаты уже и от унтеров стали свободны, делаем чего хотим? В казарме грязь – и никого не заставишь убрать как следует? Сидят на нарах босиком, ноги по-татарски, и в карты режутся. А пойдут по городу шаландаться – так на отлучку и разрешения не берут, да без пояса, да шинель внакидку, да ещё хлястик с одного конца отстёгнут и свис, – пришла пиву неперелива! Смотреть на это – глаза лопнут.

В учебной команде, конечно, построже, а уже и тут расслаба.

И начальства, офицеров в батальоне – тоже как не стало. Одних – совсем как вымело, нету, Воронцов-Вельяминов аж с того дня не являлся. Другие если и промелькнут – так стороной и словно не видят всего этого безобразия, не вмешаются. Уж не по команде обратился Кирпичников к штабс-капитану Цурикову: «Ваш высокоблагородие, что-то делать надо?» А он папироской об портсигар постучал, закурил – «Ладно, Кирпичников, постепенно наладится как-нибудь.» Мол, иди в батальонный комитет.

Так Кирпичников там и сам состоит. А головой у них – какой-то образованный, недавно призванный, уже в годах; солдат – ещё никакой, но де в ссылке побывал, в Сибири, и теперь всё солдатам указывает. Да два горлана, из расхлябанных. Теперь Комитет готовит батальонный оркестр – в театре выступать, деньги собирать на похороны жертв.

А молодые прапорщики составили свой офицерский комитет, но в угоде с солдатским.

Так если запасной народ вот этак и дальше – а как же наши на фронте? Вы там пропадите, а мы тут попроклажаемся?

Ну правда, раз ходили на парад на Дворцовую площадь. Принимал сам Командующий. Ничего прошлись. А то стали нахаживать гости сюда, в волынские казармы. Однажды пришёл итальянский генерал с офицерами – и уж как руками с табуретки размахивал, вот улетит. Пока чего переведут на наш – уж как волынцев нахваливал, революцию соделали, – покачали во дворе того генерала. И два англичанина долгоязые как-то приходили, офицер и солдат, оба в громких кованых ботинках, распаренные как из бани. Этот по-русски мал-мала говорил, двигал челюстью на помощь, уж наши смеялись над ними и пособляли. И тоже покачали их. И все они так говорили, что теперь обновлённая армия нанесёт вместе с союзниками последний сокрушительный удар.

Как же она нанесёт, ежели всю армию развинчивают? Если вот уже скоро месяц на охтенском полигоне и стрелять перестали? Если изо всех петербургских запасных, туча немалая, за это время не послали на фронт ни одной маршевой роты? – и обещают впредь не слать! Война там как ни должись – а мы к ней боком? – а паёк прежний. Так так нас Вильгельм и завоюет.

С каждым днём в казармах томче прежнего – без дела, без учения, – так чего мы тут? Изневолю побредёшь и сам по городу. А там – и раненые и калечные бродят, да как с ними разговоришься – так ещё растравней: за что ж мы-то руки-ноги отдавали, – дураки, значит? Надо было раньше охотиться? Или уж теперь эти пусть тоже идут!

До чего дошло: из госпиталя все санитары как один увалят в цирк на митинг, а лежачие больные без помощи.

На тех митингах чего только не галагонят.

А не решишь они тогда с Марковым – и не было б ничего нигде?

(Этим калечным, раненым он про свою заслугу помалкивал, совестно.)

Никто той ночи уже не вспоминал, и о самом Кирпичникове, – а дружно все галдели. Да уже слыхивали и такое по городу: мол «долгой войну!» – воевать не будем больше.

Как ж'эт так? – ополоумеешь. Так чтоб войну скорей кончать – на неё и надо идти!

А под Варшавой помнишь, Миша, каки сибирские полки сложили? Да ведь и моя и твоя кровь там осталась. А теперь – всё отдай, и русские города отдай?

И батальонный комитет не туда тянет.

И решили с Мишей Марковым: пусть наш ефрейтор Орлов, кого мы в Совет депутатов избрали, – пусть он там добьётся, чтобы вразумили гарнизон.

И говорили Орлову, а зря: выбрали мы его как здешнего питерского заводского – а он теперь к тем и поворачивает. Заводы-то работать не хотят! – что это, 8-часовой день? а свехурочно не желают. Снарядов не шлют, ни патронов, никакой амуниции, – что там с нашими будет? это в какую кровь обойдётся?

Орлов только своё: Совет – всё знает и укажет. Подчиняться только Совету и одному Совету!

Как это одному Совету? А – правительству?...

Кому? кому пожаловаться? – тянуло Тимофея. Некому. Один раз повезло: увидел их прежнего студента, который разъяснял им, в посёлке Михаила Архангела: увидел, тот проезжал в открытом зелёном автомобиле с красными спицами. Вот бы кинуться к нему, спросить: как? что? почему же? – так уже пролетел, не догонишь. На ту квартиру сходить, на Невскую сторону? – так то и не его квартира, там его и не найдёшь.

Раньше мог солдат из казармы в город отлучаться только с нарядом. А теперь – ходи когда хочешь. Солдаты ходят и гуляют и белый хлеб покупать: хвост баб оттеснят и себе берут. (Хвосты-то за хлебом стоят ещё длиннее, чем раньше, и с вечера становятся.)

Не стало в казармах вечерней поверки, так по вечерам все себе полные хозяева: кто опять на нары да в карты, кто друг дружке домашние побылки рассказывать, кто спать. Так ведь столько ночей и по столько часов никакой и медведь не выпит. И тянутся ребята опять в город, сами не зная зачем.

Сегодня пошли и Кирпичников с Марковым.

Город Питер из внезапного дружного восстания опять обращался в свой прежний самостный чужой обычай. В этом городе люди ведь копились не для какой прямой работы, а для весёлой жизни. С утра небось подолгу спят – а потом долго в ночь живут при светах. И когда по улице мельтешат – не понять: за каким делом? или гуляют просто? (В деревне сразу видно: кто с топором пошёл, кто с косой, или навоз вывозит. И в армии: при каком оружии рота пошла или с белыми свёртками в баню.)

Правду говорят: город затейный, что ни шаг, то питейный. Как выбредешь на Невский у Знаменской площади (откуда всё и началось) – у-у-у-ой! прямизна да светлизна, матушки мои! Да сколь огней, да сколь публики, да разодетые как. А на дамочках шляпки какие полястые, а под ними сетки зачем-то, как на рысистых лошадях, а пройдёт мимо – опанёт тебя каким-то запахом-зельем, какого сроду никогда не нюхано.

Так и в Варшаве всегда дразнило: барская жизнь недоступная. Как они – нам никогда не жить.

Но сейчас Питер малость пооблез. Дворники небрегут – кучи снега невывезенные, лёд из-под ног не сколот, – и семячек, семячек везде налускано. И не носят с шорохом ломким выездные санки под ковриками или баре с теми дамами в легковых автомобилях. И не стало городских, а стоит милиция из сопляков. (Говорят: полицейским платили 40 рублей в месяц, а эти 8 рублей за одно дежурство берут, этак бы и мы в охотку.) Барская публика на Невском осталась – а всё ж не ихняя уже улица, и нашего брата не мало.

И трамваев – с резкими звонами, а изнутри все огненные и ещё с парами глазков под крышей, там бело-красный, сине-зелёный, жёлто-синий, какой значит номер, – трамваев тоже по вечерам куда меньше стало: служащие работать не хотят, 8 часов – и в сторону. Оттого трамваи набиты невпротолчь, и ещё люди гроздами внавесь на держалках, на ступеньках – тут и солдат не вскочит.

А солдат любит поездить: ему – без платы, и гони хоть через весь город.

Да главная-то жизнь – она не на улицах, она вон там за толстыми стёклами (где побито – уже вставлено), в свету и в тепле. И вот уж там хахакают, зубы не покрывают. И чем позже вечер, когда солдату уже спать, – тем больше их туда, за стёкла, набивается. И сидят за белыми столами, и пьют и лакомятся часами, и всякую всячину едят, чуть де не лягушек, тьфу!

Вот, говорят, равенство: нижнему чину теперь никуда войти не запрещено. А попробуй войди туда к им, в ихнюю обжираловку – на всё нужны денежки. А денег – у смирных волынских унтеров нет.

– Другие хоть спирта где-то разок набрались, напились, а мы с тобой, Миша, всё проворонили.

Толкаются волынцы по тротуару – никто на их знаменитые бескозырки уже и не посмотрит, не вспомнит.

И куда как поздно, а магазины с озарными окнами – торгуют. И чего там на подоконниках за стёклами не выставлено под свет, стой и рассматривай бесплатно. Цветы,

цветы через каждый квартал, да каких в России и не растёт сроду, – откуда берут? да середь зимы?

И – фрукты, фрукты тоже. Какие ещё видывал, знаешь: вот это – виноград, вот это – абрикос, а других диковинных и название не ведано, однако ящики ими полные.

Или – финтифлюшки для барских баб, поблестушки, постеклушки на синем бархате выложены, или чего исподнее развешано, глаз не оторвать.

Или, поскольку грамота твоя твёрдая есть, иди и читай вывески: Жорж Борман... Бликен и Робинзон... Брокер... Сиу... Ралле...

Всё – не наши...

А то – кинематографов вывески и театров вывески, с лампочками вкруговую, и на тумбах же то повторено, читай откуда хочешь: «Наша соержанка»... «Цветок зла»... «Казнь женщины»...

Или: «Спальня...» – а дальше буквы не русские.

Или: театр Суворина – «Мотылёк под колесом».

А нам – только сталкиваться плечами, только сапоги тяжёлые переставлять по чужому лёгкому проспекту.

А в деревне, пишут, – ни керосина, ни мыла, ни гвоздей, ни соли.

А калек войны – и никому не жаль, кроме сродственников.

А и нас с тобой покалечат – так и тоже.

А в окопах – там сидят, сидят во тьме и сырости.

И теперь – всё немцу отдадим?

– И как это мы, Тимофей, решились? Как это нас понесло в то утро?

Самим дивно.

– Давно бы в петле жизнь кончили.

1977-1986

Кавендиш, Вермонт